

Мигель де Сервантес

# Дон Кихот



## Annotation

«Дон Кихот» – самый известный роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса (исп. Miguel de Cervantes; предположительно 1547–1616) \*\*\* Хитрый идалго Дон Кихот Ламанчский, главный герой романа, – неутомимый фантазер и борец за справедливость. Жажда подвигов овладевает им, и он отправляется в путь, чтобы искоренить всю неправду, завоевать себе титул, а заодно и благосклонность любимой Дульсинеи. «Дон Кихот» М. де Сервантеса стал лучшим романом в мировой литературе по итогам списка, опубликованного в 2002 году, а образ главного героя часто используется в музыке, театре и кинематографе.

---

- [Мигель де Сервантес](#)
  - [ТОМ I](#)
    - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
    - [ГЛАВА I](#)
    - [ГЛАВА II](#)
    - [ГЛАВА III](#)
    - [ГЛАВА IV](#)
    - [Глава V](#)
    - [ГЛАВА VI](#)
    - [ГЛАВА VII](#)
    - [ГЛАВА VIII](#)
    - [ГЛАВА IX](#)
    - [ГЛАВА X](#)
    - [ГЛАВА XI](#)
    - [ГЛАВА XII](#)
    - [ГЛАВА XIII](#)
    - [ГЛАВА XIV](#)
    - [ГЛАВА XV](#)
    - [ГЛАВА XVI](#)
    - [ГЛАВА XVII](#)
    - [ГЛАВА XVIII](#)
    - [ГЛАВА XIX](#)
    - [ГЛАВА XX](#)
    - [ГЛАВА XXI](#)
    - [ГЛАВА XXII](#)

- [ГЛАВА XXIII](#)
- [ГЛАВА XXIV](#)
- [ГЛАВА XXV](#)
- [ГЛАВА XXVI](#)
- [ГЛАВА XXVII](#)
- [ГЛАВА XXIII](#)
- [ГЛАВА XXIX](#)
- [ГЛАВА XXX](#)
- [ГЛАВА XXXI](#)
- [ГЛАВА XXXII](#)
- [ГЛАВА XXXIII](#)
- [ГЛАВА XXXIV](#)
- [ГЛАВА XXXV](#)
- [ГЛАВА XXXVI](#)
- [ГЛАВА XXXVII](#)
- [ГЛАВА XXXVIII](#)
- [ГЛАВА XXXIX](#)
- [ГЛАВА XL](#)
- [ГЛАВА XLI](#)
- [ГЛАВА XLII](#)
- [ГЛАВА XLIII](#)
- [ГЛАВА XLIV](#)
- [ГЛАВА XLV](#)
- [ГЛАВА XLVI](#)
- [ГЛАВА XLVII](#)
- [ГЛАВА XLVIII](#)
- [ГЛАВА XLIX](#)
- [ГЛАВА L](#)
- [ГЛАВА LI](#)
- [ГЛАВА LII](#)

○ [ТОМ II](#)

- [ГЛАВА I](#)
- [ГЛАВА II](#)
- [ГЛАВА III](#)
- [ГЛАВА IV](#)
- [ГЛАВА V](#)
- [ГЛАВА VI](#)
- [ГЛАВА VII](#)
- [ГЛАВА VIII](#)

- [ГЛАВА IX](#)
- [ГЛАВА X](#)
- [ГЛАВА XI](#)
- [ГЛАВА XII](#)
- [ГЛАВА XIII](#)
- [ГЛАВА XIV](#)
- [ГЛАВА XV](#)
- [ГЛАВА XVI](#)
- [ГЛАВА XVII](#)
- [ГЛАВА XVIII](#)
- [ГЛАВА XIX](#)
- [ГЛАВА XX](#)
- [ГЛАВА XXI](#)
- [ГЛАВА XXII](#)
- [ГЛАВА XXIII](#)
- [ГЛАВА XXIV](#)
- [ГЛАВА XXV](#)
- [ГЛАВА XXVI](#)
- [ГЛАВА XXVII](#)
- [ГЛАВА XXVIII](#)
- [ГЛАВА XXIX](#)
- [ГЛАВА XXX](#)
- [ГЛАВА XXXI](#)
- [ГЛАВА XXXII](#)
- [ГЛАВА XXXIII](#)
- [ГЛАВА XXXIV](#)
- [ГЛАВА XXXV](#)
- [ГЛАВА XXXVI](#)
- [ГЛАВА XXXVII](#)
- [ГЛАВА XXXVIII](#)
- [ГЛАВА XXXIX](#)
- [ГЛАВА LX](#)
- [ГЛАВА XLI](#)
- [ГЛАВА XLII](#)
- [ГЛАВА LXIII](#)
- [ГЛАВА XLIV](#)
- [ГЛАВА XLV](#)
- [ГЛАВА XLVI](#)
- [ГЛАВА XLVII](#)



- [ГЛАВА XLVIII](#)
- [ГЛАВА XLIX](#)
- [ГЛАВА L](#)
- [ГЛАВА LI](#)
- [ГЛАВА LII](#)
- [ГЛАВА LIII](#)
- [ГЛАВА LIV](#)
- [ГЛАВА LVI](#)
- [ГЛАВА LVII](#)
- [ГЛАВА LVIII](#)
- [ГЛАВА LIX](#)
- [ГЛАВА LX](#)
- [ГЛАВА LXI](#)
- [ГЛАВА LXII](#)
- [ГЛАВА LXIII](#)
- [ГЛАВА LXIV](#)
- [ГЛАВА LXV](#)
- [ГЛАВА LXVI](#)
- [ГЛАВА LXVII](#)
- [ГЛАВА LXVIII](#)
- [ГЛАВА LXIX](#)
- [ГЛАВА LXX](#)
- [ГЛАВА LXXI](#)
- [ГЛАВА LXXII](#)
- [ГЛАВА LXXXIII](#)
- [ГЛАВА LXXIV](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)

- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)



- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)

- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)

- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)

- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)

- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)

- [325](#)
  - [326](#)
  - [327](#)
  - [328](#)
  - [329](#)
  - [330](#)
  - [331](#)
  - [332](#)
  - [333](#)
  - [334](#)
  - [335](#)
  - [336](#)
  - [337](#)
  - [338](#)
  - [339](#)
  - [340](#)
  - [341](#)
  - [342](#)
  - [343](#)
  - [344](#)
  - [345](#)
  - [346](#)
  - [347](#)
  - [348](#)
  - [349](#)
-

**Мигель де Сервантес**  
**СЛАВНЫЙ РЫЦАРЬ ДОН-КИХОТ**  
**ЛАМАНЧСКИЙ**



**TOM I**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Досужий читатель, ты мне и без клятвы согласишься, конечно, если я тебе скажу, что я желал бы, чтобы эта книга, дитя моего ума, была прекраснейшей и остроумнейшей из книг, какие только можно себе представить. Но, увы! для меня оказалось невозможным избежать закона природы, требующего, чтобы всякое существо рождало только себе подобное существо. Что же иное мог произвести такой бесплодный и плохо образованный ум, каков мой, кроме истории героя сухого, тощего, сумасбродного, полного причудливых мыслей, никогда не встречающихся ни у кого другого, – такого, одним словом, каким он и должен быть, будучи произведен в тюрьме, где присутствуют всякие неприятности и гнездятся все зловещие слухи. Сладкий досуг, приятный образ жизни, красота полей, ясность небес, журчание ручьев, спокойствие духа – вот что обыкновенно делает плодотворными самые бесплодные музы и позволяет им дарить миру произведения, которые его чаруют и восхищают.

Когда какому-нибудь отцу случается иметь некрасивого и неловкого сына, то любовь, которую он питает к ребенку, кладет ему повязку на глаза и не позволяет ему видеть недостатков последнего; он принимает его дурачества за милые забавы и рассказывает о них своим друзьям, как будто это – самое умное и самое оригинальное из всего, что только есть на свете... Что касается меня, то я, вопреки видимости, не отец, а только отчим Дон-Кихота; поэтому я не последую принятому обыкновению и не стану со слезами на глазах умолять тебя, дорогой читатель, простить или не обращать внимания на недостатки, которые ты можешь заметить в этом моем детище. Ты ни его родственник, ни его друг; ты полный и высший господин своей воли и своих чувств; сидя в своем доме, ты располагаешь ими совершенно самодержавно, как король доходами казны, и, конечно, знаешь обычную пословицу: Под своим плащом я убиваю короля; поэтому, необязанный мне ничем, ты освобожден и от всякого рода уважения ко мне. Таким образом, ты можешь говорить об этой истории, как ты сочтешь для себя удобным, не боясь наказания за дурной отзыв и не ожидая никакой награды за то хорошее, что тебе заблагорассудится сказать о ней.

Я хотел бы только дать тебе эту историю совсем голою, не украшая ее предисловием и не сопровождая ее по обычаю обязательным каталогом кучи сонетов, эпиграмм и эклог, который имеют привычку помещать в заголовке книг; потому что, я тебе откровенно признаюсь, хотя составление

этой истории и представляло для меня некоторый труд, еще более труда стоило мне написать это предисловие, которое ты читаешь в эту минуту. Не один раз брал я перо, чтобы написать его, и затем опять клал, не зная, что писать. Но вот в один из таких дней, когда я сидел в нерешимости, с бумагой, лежащей предо мною, с пером за ухом, положив локоть на стол и опершись щекою на руку, и размышлял о том, что мне написать – в это время неожиданно входит один из моих друзей, человек умный и веселого характера, и, видя меня так сильно озабоченным и задумавшимся, спрашивает о причине этого. Я, ничего не скрывая от него, сказал ему, что я думал о предисловии к моей истории Дон-Кихота, – предисловии, которое меня так страшит, что я отказался уже его написать, а, следовательно, и сделать для всех известными подвиги такого благородного рыцаря. «Потому что, скажите, пожалуйста, как мне не беспокоиться о том, что скажет этот древний законодатель, называющийся публикою, когда он увидит, что, проспав столько лет в глубоком забвении, я снова теперь появляюсь старый и искалеченный, с историей сухою, как тростник, лишенной вымысла и слога, бедной остроумием и, кроме того, не обнаруживающей никакой учености, не имеющей ни примечаний на полях, ни комментариев в конце книги, тогда как я вижу другие произведения, хотя бы и вымышленные и невежественные, так наполненные изречениями из Аристотеля, Платона и всех других философов, что читатели приходят в удивление и считают авторов этих книг за людей редкой учености и несравненного красноречия? Не так же ли бывает и тогда, когда эти авторы цитируют священное писание? Не называют ли их тогда святыми отцами и учителями церкви? Кроме того, они с такою щепетильностью соблюдают благопристойность, что, изобразив влюбленного волокиту, непосредственно же за этим пишут очень милую проповедь в христианском духе, читать или слушать которую доставляет большое удовольствие. Ничего этого не будет в моей книге; потому что для меня было бы очень трудно делать примечания на полях и комментарии в конце книги; кроме того, я не знаю авторов, которым я мог бы при этом следовать, чтобы дать в заголовке сочинения список их в алфавитном порядке, начиная с Аристотеля и оканчивая Ксенофонтом или, еще лучше, Зоилом и Зевкисом, как это делают все, хотя бы первый был завистливым критиком, а второй – живописцем. Не найдут в моей книге и сонетов, составляющих обыкновенно начало книги, по крайней мере сонетов, авторы которых были бы герцоги, маркизы, графы, епископы, знатные дамы или прославленные поэты; хотя, по правде сказать, если бы я попросил двух или трех из моих услужливых друзей, то, наверное, они дали бы мне свои сонеты и притом

такие, что сонеты наших наиболее известных писателей не могли бы выдержать сравнения с ними.

«В виду всего этого, милостивый государь и друг мой», – продолжаю я – «я решил, чтобы сеньор Дон-Кихот оставался погребенным в архивах Ламанчи, пока не будет угодно небу послать кого-нибудь, который мог бы снабдить его всеми недостающими ему украшениями; потому что при моей неспособности и недостатке учености, я чувствую себя не в силах сделать это и, будучи от природы ленивым, имею мало охоты делать изыскания в авторах, которые говорят то же самое, что и сам я могу очень хорошо сказать без них. Вот отчего и происходят моя озабоченность и моя задумчивость, в которых вы меня застали и которые, без сомнения, теперь оправдали в ваших глазах моими объяснениями».

Выслушав это, мой друг ударил себя рукой по лбу и, разразившись громким смехом, сказал: «Право, мой милый, вы сейчас вывели меня из одного заблуждения, в котором я постоянно находился с того давнего времени, как я вас знаю: я вас всегда считал человеком умным и здравомыслящим, но теперь я вижу, что вы так же далеки от этого, как земля далека от неба... Как может случиться, чтобы такие пустяки и такая маловажная помеха имели силу остановить и держать в нерешимости такой зрелый, как ваш, ум, привыкший побеждать и превосходить другие более серьезные трудности? Поистине, это происходит не от отсутствия таланта, а от излишка лени и недостаточности размышления. Хотите видеть, что все сказанное мной верно? Хорошо, послушайте меня и вы увидите, как я во мгновение ока восторжествую над всеми трудностями и найду вам все, чего как недостает; я уничтожу все глупости, которые вас останавливают и настолько пугают, что даже мешают, по вашим словам, опубликовать и подарить миру историю вашего знаменитого Дон-Кихота, совершеннейшее зеркало всего странствующего рыцарства». – «Говорите же, – возразил я, выслушав его, – как думаете вы наполнить эту пугающую меня пустоту и расчистить этот хаос, в котором я не вижу ничего, кроме путаницы?»

Он мне ответил на это: «Что касается первого затрудняющего вас обстоятельства, этих сонетов, эпиграмм и эклог, которых вам недостает, чтобы поставить в заголовке книги, и которые, как желали бы вы, должны быть составлены важными и титулованными лицами, то я вам укажу средство: вам стоит только взять на самого себя труд написать их, а потом вы можете окрестить их тем именем, какое вам понравится, приписав их или пресвитеру Индии Хуану или императору Трапезондскому, которые, как я положительно знаю, были превосходные поэты: а если бы это было и не так, и если бы придирчивые педанты вздумали неожиданно уязвить вас,

оспаривая это уверение, то ни на мараведис не заботьтесь об этом; допуская даже, что ложь заметят, ведь вам не отрежут за то руки, написавшей ее».

«Для того же, чтобы на полях привести книги и авторов, откуда вы почерпнули достопамятные изречения и слова, которые вы поместите в своей книге, вам нужно только устроить так, чтобы при случае употребить какие-нибудь из латинских изречений, которые вы знали бы на память или могли бы без большого труда отыскать их. Например, говоря о свободе и рабстве, вы приводите:

*Non bette pro toto libertas venditur auro,*

и сейчас же на полях помечаете Горация или того, кто это сказал. Если вы говорите о силе смерти, тотчас же представляются стихи:

*Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas  
Regumque turres.*

«Если говорится о расположении и любви, которые Бог повелеваем вам иметь к нашим врагам, то немедленно Вы обращаетесь к священному писанию, это стоит труда, и приводите не более, не менее, как слова самого Бога: *Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros.* Если вопрос касается дурных мыслей, то вы прибегаете к евангелию: *De corde exeunt cogitationes malae.* Если – непостоянства друзей, то Катон дает вам свое двустишие:

*Donec eris felix, multos numerabis amicos;  
Tempera si fuerint nubila, solus eris.*

«И благодаря этим латинским и другим подобным фразам, вас сочтут, по крайней мере, за гуманиста, что в наше время считается не малою честью и значительным преимуществом.

«Для того, чтобы поместить в конце книги примечания и комментариев, вот каким образом можете вы поступать совершенно спокойно: если вам приходится назвать в вашем сочинении какого-нибудь великана, то сделайте так, чтобы это был великан Голиаф, и, благодаря этому, вы с небольшим трудом получите великолепный комментарий; вы можете

сказать: Великан Голиат или Голиаф был филистимлянин, которого пастух Давид убил одним ударом пращи в долине Теребинтской, как это рассказано в книге Царей, глава... и здесь указание главы, в которой находятся эта история, после этого, чтобы показан себя человеком ученым и хорошим космографом, устройте таким образом, чтобы в вашей книге была упомянута река Того, и вот в вашем распоряжении превосходный комментарий; вам стоит только сказать: Река Того, названная так в честь одного древнего испанского короля, берет исток в таком то месте и впадает в океан, омыв стены славного города Лиссабона. Уверяют, что она несет золотые пески и т. д. Если вы говорите о разбойниках, то я расскажу вам историю Како, которую знаю наизусть, если – о женщинах легких нравов, то епископ Мондовьедо представит вам Ламию, Лаиду и Флору, и это примечание доставит вам большое уважение; если о жестоких женщинах, то Овидий даст вам Медею; если о чародейках или волшебницах, – Гомер заставит явиться пред вами Калипсо, а Virgilий – Цирцею; если – о доблестных полководцах, то Юлий Цезарь предложит вам самого себя в своих комментариях и Плутарх даст вам тысячу Александров. Когда вы говорите о любви, то советуйтесь с Леоном Гебрео, если вы только знаете хотя несколько слов по-итальянски, и вы найдете все нужное в полной мере, если же вам неприятно обращаться к иностранному, то у вас под руками трактат Фонсеки О любви Бога, который включает все, что вы только можете пожелать и что мог бы пожелать самый разумный человек относительно этого предмета. Одним словом приводите только эти имена и упоминайте в вашей истории те историй, которые я только что вам сказал, и поручите мне примечания и комментарии; я берусь наполнить ими все поля вашей книги и даже несколько листов в конце ее.

«Перейдем теперь к этим ссылкам на авторов, имеющимся в других сочинениях и отсутствующим в вашем. Средство исправить это – одно из самых легких: вам достаточно отыскать книгу, которая приводила бы их всех от А до Z, как вы говорите, и эту же самую азбуку поместите вы в вашем произведении. Предположим, что это воровство откроют, и эти авторы принесут вам только посредственную пользу, – какое вам до этого дело? А может быть, попадетсЯ такой простодушный читатель, который подумает, что вы со всех их собрали дань, в своей простой и бесхитростной истории. Хорошо и то, что этот длинный перечень авторов придаст на первый взгляд книге некоторую авторитетность. И, кроме того, кому придет в голову, если он не имеет к тому интереса, проверять, пользовались мы ими или нет? Сверх того, если я не обманываюсь, ваша книга не имеет надобности ни в чем из всего того, что, как вы говорите, ей недостает;

потому что, ведь она от доски до доски ничто иное, как сатира на рыцарские книги, – о которых Аристотель ничего не знал, Цицерон не имел ни малейшего понятия, и святой Василий не сказал ни слова».

«Нет надобности смешивать эти фантастические вымыслы с точною истиною или с астрономическими вычислениями. Мало значения имеют для них геометрические измерения и суждения педантичной риторики. Разве они имеют целью кого-нибудь поучать, представляя смесь божественного с греховным, – смесь непристойную, которой должен избегать всякий истинно христианский ум? Надо подражать только в слоге, и, чем полнее будет ваше подражание, тем ближе будет ваш слог к совершенству. И, так как ваше сочинение имеет только целью разрушить то странное доверие, которым пользуются в мире рыцарские книги, то какая нужда вам выпрашивать изречения у философов, наставления у священного писания, басни у поэтов, речи у риториков и чудеса у святых? Старайтесь только легко и естественно, употребляя соответствующие, ясные и хорошо расположенные слова, сделать вашу фразу гармоничной и рассказ занимательным; пусть язык ваш описывает насколько возможно живо все, что вы задумали, и пусть он выражает ваши мысли, не затемняя и не запутывая их. Старайтесь только, чтобы, читая вашу историю, меланхолики не могли удержаться от смеха, люди, склонные к смеху, чувствовали свою веселость удвоившейся, чтобы простые люди не соскучились от ваших вымыслов, чтобы умные им удивлялись, серьезные особы не пренебрегали ими, и мудрецы были вынуждены похвалить их. Наконец, попытайтесь ловко разрушить эти шаткие подмостки рыцарских книг, столькими людьми проклинаемых, но еще большим числом их восхваляемых. Если вам это удастся, то вы приобретете не малую заслугу».

Я безмолвно выслушал то, что говорил мне мой друг, и его доводы произвели на меня такое сильное впечатление, что я, без всякого спора, признал их превосходство и решил составить это предисловие, в котором ты узнаешь, мой милый читатель, ум и здравый рассудок моего друга, мое счастье находить в такой крайней нужде подобного советника, и преимущество, которое ты извлечешь, найдя во всей ее простоте историю славного Дон-Кихота Ламанчского, бывшего, по мнению жителей округа Монтиэльской долины, самым целомудренным любовником и самым храбрым рыцарем из всех, каких только видели в течение многих лет в этой местности. Я не хочу слишком хвалиться услугой, которую я тебе оказываю, знакомя с таким замечательным и благородным рыцарем; но ты, надеюсь, будешь мною доволен за то, что я познакомил тебя с его оруженосцем Санчо Панса, в котором, как мне кажется, я представляю тебе



собрание всех блестящих качеств оруженосца, остававшихся до сих пор рассеянными в неисчислимой куче пустых рыцарских книг. А затем, да сохранит тебе Бог здоровье и мне также. Vale!

## ГЛАВА I

### Рассказывающая о характере и привычках славного Дон-Кихота Ламанчского

В одном местечке Ламанчи – об имени его мне не хочется вспоминать – жил недавно один из тех гидальго, у которых имеются копье в козлах, старинный круглый щит, тощий конь и борзая собака. Мясное блюдо, состоявшее чаще из говядины, чем из баранины<sup>[1]</sup> и соус с приправами почти каждый вечер, блюдо скорби печали<sup>[2]</sup> по субботам, чечевица по пятницам, и, сверх всего, несколько молодых голубей по воскресеньям, все это поглощало три четверти его дохода. Остальную часть он тратил на кафтан из тонкого сукна, на штаны из плиса и туфли из той же материи для праздников; в будни же носил платье из прочного, однако не особенно толстого сукна. У него жили экономка, которой было уже за сорок лет, племянница, не имевшая еще и двадцати лет, и молодой парень для полевых работ и других поручений, умевший и оседлать лошадь и работать садовым ножом. Нашему гидальго, было лет под пятьдесят; он был крепкого телосложения, сухощав телом, тощ лицом, очень рано вставал и был большим охотником. Говорили, что он назывался Кихада или Кесада (между авторами, писавшими о нем, существует разногласие по этому вопросу); но по наиболее вероятным догадкам, имя его было, кажется, Кихана. Впрочем, для нашей истории это имеет мало значения: достаточно того, чтобы в рассказе ли на йоту не удаляться от истины.

Но надо знать, что вышеупомянутый гидальго в минуты своего досуга, то есть почти круглый год, предавался чтению рыцарских книг и притом с таким увлечением и такою страстью, что почти совершенно забывал охотничьи забавы и даже управление своим имением. Наконец, его мания, его сумасбродство в этом дошли до того, что он продал несколько десятин своей лучшей земли, чтобы закупить рыцарских книг для чтения, и собрал их в своем доме столько, сколько мог достать. Но из всех книг ни одна не казалась ему так интересна, как сочинения знаменитого Фелициана-де-Сильва; так как ясность его прозы его восхищала, а запутанные периоды были для него настоящими драгоценностями, в особенности, когда ему приходилось читать объяснения в любви или вызовы в письмах, где он довольно часто находил выражения в роде следующих: безрассудное суждение о моем рассуждении в такой степени колеблет мое суждение, что

я не без рассуждения сожалею о вашей грации и красоте; или он читал: высокие небеса, которые помощью звезд вашу божественность божественно укрепляют и делают вас заслуживающими тех заслуг, которых заслуживает ваше величие.

Читая такие прекрасные вещи, бедный гидальго терял рассудок. Он лишился сна, стараясь понять их, пытаясь извлечь какой-либо смысл со дна этих хитросплетений – этого не удалось бы сделать и самому Аристотелю, если бы он нарочно воскрес для этого. Он был только наполовину доволен ранами, нанесенными и полученными Дон-Белианисом, и представлял себе, что, несмотря на все искусство врачей, которые лечили его, Дон-Белианис необходимо должен был иметь все тело и лицо покрытые рубцами и ранами. Но, тем не менее, он одобрял остроумный способ автора оканчивать свою книгу обещанием продолжения этих нескончаемых приключений. Ему даже часто приходила охота взяться за перо и окончить книгу, как обещал это автор; и, без сомнения, он бы это сделал и благополучно исполнил, если бы другие, более великие мысли не мешали ему постоянно. Несколько раз спорил он с местным священником, мужем начитанным и получившим ученую степень в Силуэнце,<sup>[3]</sup> по вопросу о том, кто был лучшим рыцарем – Пальмерин Английский или Амадис Гальский. Но сеньор Николай, цирюльник из той же деревни, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба и если с этим и может кто-нибудь сравниться, так это дон-Галаор, брат Амадиса Гальского; потому что он, поистине, обладал всеми желательными качествами, не будучи ни кривлякой, ни плаксой, как его брат, и, по крайней мере, равняясь ему в храбрости.

Короче сказать, наш гидальго так углубился в чтение, что проводил за этим занятием и день с утра до вечера, и ночь с вечера до утра, и, благодаря чтению и бессоннице, он так иссушил свой мозг, что лишился разума. Его воображению рисовалось все, что он читал в своих книгах: волшебные чары, ссоры, вызовы, битвы, раны, объяснения, любовь, жестокости и прочие безумства; он крепко забрал себе в голову, что вся эта куча бредней была сущей истиной, и потому для него во всем мире не существовало никакой другой более достоверной истории. Он говорил, что Сид-Рюи-Диац был прекрасный рыцарь, но что ему было все-таки далеко до рыцаря Пламенного Меча, который одним ударом перерубил пополам двух огромных и свирепых великанов. Он питал больше симпатии к Вернардо дель-Карпио за то, что в Ронсевальской долине он умертвил Роланда Очарованного, употребив при этом прием Геркулеса, который задушил Антея, сына Земли, в своих объятиях. Он также очень хорошо отзывался о

великане Морганте, который, хотя и происходил из породы великанов, всегда отличавшейся заносчивостью и гордостью, однако представлял исключение и был любезен и хорошо воспитан. Но всем им он предпочитал Рейнальда Монтальванского, в особенности, когда он представлял его себе выходящим из замка грабить всех, кто попадется по дороге, или похищающим по ту сторону пролива идол Могомета, отлитый из золота, как утверждает история. Что же касается этого изменника Гамелона, то за возможность порядком поколотить его, он охотно отдал бы свою экономку и даже племянницу в придачу.

Наконец, когда он окончательно потерял рассудок, ему пришла в голову самая странная из всех мыслей, которым когда либо предавались сумасшедшие; она заключалась в следующем: ему казалось полезным и даже необходимым, как для своего личного прославления, так и для блага родины, сделаться самому странствующим рыцарем и, на кони и с оружием в руках, отправиться по свету искать приключений, проделывая все то, что, как он читал, проделывали странствующие рыцари, исправлять всякого рода несправедливости и постоянно подвергаться все новым и новым опасностям, преодолевая которые он мог бы приобрести себе бессмертное имя. Наш бедный мечтатель уже видел чело свое увенчанным короною и притом короною, по крайней-мере, Трапезондской империи. Поэтому, полный этих приятных мыслей и ощущаемого от них удовольствия, он поспешил приняться за исполнение своего проекта. И первым его делом было вычистить доспехи, которые принадлежали его предкам и которые, изъеденные ржавчиной и покрытые плесенью, в течение веков покоились забытыми в углу. Он вычистил и поправил их, на сколько мог, хорошо. Но, заметив, что этому вооружению недостает очень важной вещи и что, вместо полного шлема у него имелся только один шишак, он, помощью своего искусства, устранил и этот недостаток: он сделал из картона нечто вроде полу-шлема, приделал к нему шишак, и в его глазах он явился целым шлемом. Надо сказать правду, что когда он, для испытания его прочности извлек свой меч и нанес шлему два удара, то первый же удар уничтожил работу целой недели. Легкость, с какою он обратил свой шлем в куски, не совсем ему понравилась; и для того, чтобы надежно предохранить себя от подобной же гибели, он, принявшись снова за его восстановление, снабдил его внутри железными полосами с целью придать ему достаточную прочность. Нового испытания он делать не пожелал и принял его пока за настоящий шлем с забралом самого лучшего закала.

После этого, он осмотрел своего коня; и хотя у бедного животного пороков было больше, чем членов тела, и более жалкий вид, чем у лошади

Гонила<sup>[4]</sup> которая *tantum pellis et ossa fuit*, тем не менее, нашему гидальго казалось, что ни Буцефал Александра Великого, ни Бабиэка Сида не могли сравняться с его конем. Он в течение четырех дней старался решить, какое имя дать ему; потому что, как говорил он себе, было бы несправедливостью, если бы лошадь такого славного рыцаря, и сама по себе такая замечательная, осталась без имени, под которым она впоследствии сделалась бы известной; и он ломал себе голову, пытаясь изобрести такое имя, которое указывало бы, чем она была до того времени, пока не стала принадлежать рыцарю, и чем она стала потом. Сверх того, нет ничего более справедливого, как то, чтобы конь менял свое название, и принял бы новое, блестящее и звучное, как это приличествует новому порядку вещей и новому ремеслу, которое ему предстояло. Таким образом, после изрядного количества имен, который наш гидальго в своем уме и воображении поочередно составлял, отбрасывал, укорачивал, удлинял, разъединял и вновь соединял, ему, наконец, удалось назвать своего коня Россинантом – именем, по его мнению, замечательным, гармоничным и многозначительным, бесподобно выражающим и то, чем лошадь была прежде, и то, чем она будет постоянно в будущем, – то есть первым из всех коней в мире.

Выбрав так счастливо имя для своего коня, он пожелал дать имя и самому себе, и изобретению его он посвятил еще восемь дней, по истечении которых он решил назваться Дон-Кихотом; вот благодаря этому-то, авторы этой правдивой истории, а также и другие, имели впоследствии повод утверждать, что он назывался Кихада, а не Кесада. Но, вспоминая, что доблестный Амадис не довольствовался одним только именем Амадиса, но к своему имени прибавил также и название своей родной страны, чтобы прославить и ее, и называл себя Амадисом Гальским, наш гидальго, как истинный рыцарь, решил тоже прибавить к своему имени имя своей родины и назваться Дон-Кихотом Ламанчским. Таким образом, он, как нельзя лучше, по его мнению, обозначал и свое происхождение и свою родину и воздавал почтение этой последней, делая из ее имени свое прозвище. После того, как он вычистил вооружение, сделал из шишака целый шлем, дал имя лошади и исправил свое собственное, он убедился, что ему остается только найти даму и влюбиться в нее; потому что странствующий рыцарь без любви был бы подобен дереву без листьев и плодов, телу без души. Он говорил себе: «Если в наказание за мои грехи, или, вернее, вследствие благосклонности судьбы я встречу когда-нибудь с великаном, как это обыкновенно случается с странствующими рыцарями, и если я, при первой же стычке, собою его с лошади или перерублю пополам

или, наконец, покорю его и пощажу ему жизнь, то хорошо было бы для такого случая иметь даму, в распоряжение которой было бы можно послать его; тогда он, войдя к моей милой даме и преклонив пред ней колени, сказал бы ей голосом робким и покорным: «Сеньора, я великан Каракулиамбро, господин острова Малиндраниа, побежденный на поединке превосходящим все похвалы рыцарем Дон-Кихотом Ламанчским, который приказал мне представиться вашей милости, чтобы ваше величие могло располагать мною, как вам будет угодно». О, как восхищался наш рыцарь этой мыслью, в особенности, когда он нашел ту, которую он мог назвать своей дамой! Это была, как рассказывают, молоденькая и очень хорошенькая крестьянка из соседней деревни; он в короткое время пленился ею, чего она так-таки никогда и не узнала и на что менее всего обращала внимание. Имя ее было Альдонса Лоренсо. Ей он и рассудил пожаловать титул госпожи его дум; и поискав для нее имени, которое, не разнясь значительно с его именем, представляло бы ее, как знатную даму и принцессу, – он, наконец, назвал ее Дульцинеей Тобозской, так как ее родная деревня называлась Тобозо. Это имя, по его мнению, было необыкновенно удачно выбрано, гармонично и многозначаще, как и другие имена, данные им своему коню и самому себе.

## **ГЛАВА II**

### **Рассказывающая о первом выезде, сделанном славным Дон-Кихотом из своей страны**

Окончив эти приготовления, он не хотел далее откладывать исполнения своего плана; потому что его и так уже угнетала мысль, что это дальнейшее откладывание явилось бы большим злом для мира, в котором, по его мнению, накопилось слишком много оскорблений, жаждущих удовлетворения, зла и несправедливостей, требующих возмездия, злоупотреблений, ждущих исправления, и долгов, подлежащих уплате. Вот почему, не поверив ни одной живой душе своего намерения и никем незамеченный, он утром одного из самых жарких дней поля вооружился всеми доспехами, сел на Россинанта, украсив предварительно свою голову сделанным им как-никак шлемом, надел на руку свой щит, взял копье и через ворота заднего двора выехал в поле, полный радости при мысли о том, с какой легкостью он начал осуществлять такой прекрасный проект. Но едва только очутился он в поле, как его охватило страшное раздумье – раздумье, едва не оказавшееся настолько сильным, чтобы заставить его покинуть начатое предприятие: ему пришло на ум, что он не был посвящен в рыцари и поэтому он не мог и не должен был вступать в поединок ни с каким рыцарем; и что, если бы он даже и был посвящен, то, как новопосвященный, он обязан был носить белое вооружение, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит этого девиза своею храбростью. Эти мысли поколебали его решимость; но его безумие одержало верх над всеми размышлениями, и он решил заставить первого встречного посвятить его в рыцари, в подражание многим другим находившимся в подобном же положении и, как он прочитал в книгах, поступавшим именно таким образом; что же касается белого вооружения, то он дал себе обещание при первом же случае так натереть свое собственное, чтобы оно стало белее горностаевого меха. После этого он успокоился и продолжал свой путь, лежавший именно туда, куда желал конь, так как в этом, по мнению Дон-Кихота, состояла вся доблесть приключений.

И вот, направляясь своим путем, наш новоиспеченный искатель приключений разговаривал сам с собою: «Могу ли я сомневаться, что в недалеком будущем, когда напечатается истинная история моих славных подвигов, мудрец, описавший их, рассказывая о моем первом раннем



выезде, выразится таким образом: «Лишь только светлый Феб успел разбросать по лицу необозримой земли золотые кудри своих прекрасных волос, лишь только маленькие птички с блестящими перышками запели на своих легких языках тихую, прелестную песенку, приветствуя появление розоперстой Авроры, которая, покинув мягкое ложе своего ревнивого супруга, показалась для смертных с высоты кастильского горизонта, – как славный Дон-Кихот Ламанчский, оставив ложе бездействия, сел на своего славного коня Россинанта и отправился в путь по древней и знаменитой Монтиэльской долине». Действительно, в этот момент он находился в этой долине; потом он прибавил: «Счастлив, трижды счастлив век, который увидит появление рассказа о моих славных подвигах, достойных быть выгравированными на бронзе, высеченными на мраморе и изображенными красками на дереве, чтобы на всегда остаться живыми в памяти будущих веков!.. О ты, кто бы ты ни был, мудрец волшебник, которому небом суждено написать эту чудную историю, не забывай, прошу тебя, моего доброго Россинанта, вечного моего сотоварища во всех моих подвигах и скитаниях». Потом он снова начал, как будто бы он был действительно влюблен: «О, принцесса Дульцинея, владычица этого плененного сердца! какой удар нанесли вы мне, удалив меня от себя со строгим запрещением никогда не появляться в присутствии вашей красоты! Удостойте, о сеньора, вспомнить об этом верноподданном сердце, из любви к вам испытывающем столько мучений!» К этим глупостям он еще прибавил другие в том же роде, составленные по образцу прочитанных им в своих книгах, языку которых он, насколько мог, старался подражать. А между тем он ехал так медленно, солнце же поднималось так быстро и грело с такою силою, что могло бы растопить ему мозг, если такового хоть немного осталось у него.

Он проехал целый день, не встретив ничего, что стоило бы рассказывать, и это приводило его в отчаяние, потому что ему хотелось возможно скорей встретить кого-нибудь, на ком бы он мог испытать силу своей могучей руки. Некоторые авторы говорят, что первое его приключение случилось в Лаписском проходе. По словам же других первое приключение было с ветряными мельницами. Но что я могу положительно сказать относительно этого предмета и что я нашел засвидетельствованным в летописях Ламанчи, это то, что он мирно проехал весь этот день и при наступлении ночи и он сам и конь его были истомлены усталостью и умирали от жажды. Посматривая во все стороны в надежде увидеть какой-нибудь замок или хотя бы хижину пастуха, где бы он мог найти ночлег и что-нибудь для утоления голода и страшной жажды, он заметил невдалеке от своей дороги постоялый двор, сиявший в глазах его подобно звезде,

ведущей к спасительной гавани. Подогнав коня; он поспел туда к ночи. У ворот случайно были две довольно молодых женщины из тех, которых называют продажными; они шли в Севилью вместе с погонщиками мулов, решившими на эту ночь остановиться на постоялом дворе. И так как все, что видел или чем бредил наш искатель приключений, представлялось ему повторением того, что он вычитал в рыцарских книгах, то и при виде постоялого двора, он вообразил себе, что это замок с четырьмя башнями и с капителями из блестящего серебра, у которого и подъемные мосты, и рвы, и все другие принадлежности, всегда встречающиеся в описаниях подобных замков. Он приблизился к постоялому двору, принимаемому им за замок, и, когда был уже недалеко от него, попридержал за узду Россинанта в ожидании, что вот появится карлик между стенными зубцами и звуком рога подаст сигнал о приближении рыцаря к замку. Но, видя, что карлик медлит появиться, а Россинант спешит в конюшню, он приблизился к воротам и увидел стоявших там двух погибших женщин, которые показались ему прекрасными благородными девицами или дамами, развлекавшимися перед воротами дома.

В этот момент, по милости случая, один свинопас, собиравший в полях стадо свиней (не моя вина, они так называются), задудел в рожок, на звук которого собираются эти животные; и тотчас же Дон-Кихот вообразил, как ему это хотелось, что карлик возвещает его прибытие. Поэтому, полный радостного чувства, он приблизился к постоялому двору и дамам. Эти же, видя приближающегося человека, вооруженного с головы до ног, с копьем и щитом, поспешили в испуге вбежать в дом; но Дон-Кихот, понимая чувство, обратившее их в бегство, поднял картонное забрало и, открывая свое сухое и запыленное лицо, с любезным видом и почтительным голосом, проговорил, обращаясь к ним: «Пусть сеньоры не спешат убежать и не опасаются с моей стороны никакой обиды; потому что в уставах рыцарства, строго соблюдаемых мною, считается неприличным и недозволенным обижать кого-либо, в особенности, девиц такого высокого происхождения, как я могу заключить по вашему виду». Женщины поглядели на него и старались через плохое забрало разглядеть лицо его. Но когда они услышали, что он их называет «девицами» – именем, не подходящим к их положению, то они не могли удержаться от смеха; это, наконец, рассердило Дон-Кихота и он им сказал: «Вежливость свойственна красоте, безосновательный же смех неприличен... Но я говорю это не для того, чтобы обидеть вас или нарушить ваше веселое настроение, так как я готов, чем могу, служить вам». Такой язык, совершенно новый для этих дам, и странная фигура нашего рыцаря могли только еще более возбудить их смех;

его гнев от этого только увеличился; и дело могло бы принять дурной оборот, если бы в эту самую минуту не появился хозяин постоялого двора, человек чрезвычайно полный и, следовательно, очень миролюбивый, который, видя эту странную фигуру в смешном и таком разнокалиберном вооружении, как его копье, щит и нагрудник, готов был тоже принять участие в смехе двух девиц. Однако, немного уstraшенный этими военными снарядами, он решился говорить вежливо с незнакомцем: – Если ваша милость, господин рыцарь, – сказал он ему, – ищете ночлега, то, за исключением постели, потому что на этом постоялом дворе нет ни одной постели, все остальное вы найдете в изобилии, – Дон-Кихот, видя кротость начальника крепости – именно такими казались ему постоялый двор и его хозяин – отвечал:

– Для меня, господин кастелян, достаточно того, что есть, потому что: мой наряд – оружие, мой отдых – битвы и пр.<sup>[5]</sup>

Хозяин подумал, что незнакомец потому назвал его кастеляном, что принял его за беглеца из Кастилии, тогда как он был андалузцем, притом из Сан-Лукана, мошенником не менее самого Како и таким же проказником, как какой-нибудь школьник или паж; поэтому он ему ответил:

– Поэтому ложем вашей милости должна быть твердая скала, и вашим сном постоянное бодрствование.<sup>[6]</sup> Если это так, то вы можете остановиться в полной уверенности, что вы найдете здесь тысячу причин против одной, чтобы не спать не только одну ночь, но целый год.

Говоря это, он придержал стремя Дон-Кихоту, который слез с лошади с большим трудом и усилиями, как человек не евший со вчерашнего дня. Он немедленно же попросил хозяина очень заботливо обходиться с его конем, потому что это было лучшее животное, которое когда-либо ело ячмень на этом свете. Хозяин осмотрел лошадь, но не нашел ее даже на половину хорошей, сравнительно с тем, как описывал ее Дон-Кихот. Это, впрочем, не помешало ему отвести ее в конюшню и позаботиться об удовлетворении ее потребностей; после этого он возвратился, чтобы узнать, чего желает гость. Между тем девицы, примирившиеся уже с Дон-Кихотом, занимались освобождением его из под вооружения; но, стащив с него броню и нашейник, они никак не могли расстегнуть и снять несчастный шлем, который наш рыцарь привязал зелеными лентами. За невозможностью развязать эти ленты, необходимо было их перерезать; но Дон-Кихот ни за что не хотел на это согласиться и предпочел лучше всю эту ночь пробыть со шлемом на голове, представляя из себя самую страшную и самую забавную фигуру, какую только можно вообразить. В продолжение этой

церемонии, вполне убежденный, что веселые девицы, разоблачавшие его, были знатными дамами замка, он, с неподражаемой любезностью, говорил им:

«Никто из рыцарей не видел,  
Чтобы ему так служили дамы,  
Как это пришлось видеть Дон-Кихоту,  
Когда он уехал из своей деревни:  
Благородные девицы заботились о нем,  
И принцессы о его кони<sup>[7]</sup>».

– Россинант – так называется мой конь, меня же самого зовут Дон-Кихотом Ламанческим. Я дал себе обещание не открывать своего имени раньше, чем меня откроют подвиги, совершенные в честь вашу, и только желание применить к настоящим обстоятельствам этот старый романс о Ланселоте было причиною того, что вы узнали мое имя ранее назначенного времени. Но настанет время, благородные госпожи, когда вы дадите мне повеления и когда я буду иметь счастье им повиноваться, и мужество моей руки покажет вам, как сильно мое желание быть вашим слугою. – Обе девицы, не привыкшие к подобного рода ретортке, не отвечали ему ни слова. Они удовольствовались тем, что спросили, не хочет ли он по есть чего-нибудь.

– Я буду охотно есть все, что только подадут, – отвечал Дон-Кихот, – и мне кажется, что все поданное будет кстати.

К несчастью, это происходило в пятницу, и на постоялом дворе нашлось только несколько кусков сушеной рыбы, называемой, смотря по местности, трескою, форелькою. Его спросили, согласится ли его милость есть форельку, потому что только эту рыбу могут предложить ему.

– Некоторое число форелек, – отвечал Дон-Кихот, – равняется одной форели, потому что разницы не будет, дадут ли мне восемь монет по одному реалу каждая, или одну монету в восемь реалов. Форелька может быть еще лучше форели, как мясо теленка нежнее мяса быка, а мясо козленка нежнее мяса козы. Но чтобы там ни было, пусть только поскорее приносят; потому что, чтобы выдерживать усталость и тяжесть оружия, надо, как следует удовлетворить желудок.

Для него накрыли стол на открытом воздухе, у ворот постоялого двора, и хозяин принес ему порцию трески, плохо приправленной и еще хуже вываренной; и хлеба такого же черного и такого же заплесневелого, как

оружие Дон-Кихота. Смешно было смотреть, как он ел; потому что, имея на голове шлем с поднятым забралом, он ничего не мог подносить ко рту своими руками, и нужно было, чтобы кто-нибудь другой кормил его. Но дать ему напиться оказалось ни для кого невозможным; и это так никогда и не удалось бы, если бы хозяин не догадался сделать из тростника трубку и, вставив один ее конец ему в рот, через другой наливать вина. Все это наш рыцарь переносил с терпением, лишь только бы не резать лент шлема. В это время к постоялому двору пришел какой-то свинопас, который при этом пять или шесть раз свистнул в свою тростниковую дудку. Это окончательно убедило Дон-Кихота, что он находится в каком-нибудь знаменитом замке, что во время послеобеденного отдыха его слух услаждают музыкой, что так называемая форелька была настоящая форель, хлеб был испечен из лучшей пшеницы, веселые девицы были благородные дамы, и хозяин двора был кастелян замка. Так радовался он завершению своего первого выезда. Единственным беспокоившим его обстоятельством было то, что он еще не был посвящен в рыцари; потому что, по его мнению, не получив рыцарского звания, он, конечно, не мог пускаться ни в какое приключение.

## ГЛАВА III

### В которой рассказывается, каким забавным способом Дон-Кихот был посвящен в рыцари

Мучимый этой мыслью, он поспешил съесть свой тощий ужин; когда же он покончил его, он вызвал хозяина, привел его в конюшню и, оставшись с ним вдвоем, стал перед ним на колени, говоря:

– Я ни за что не подвинусь с этого места, благородный рыцарь, до тех пор, пока ваша любезность не осчастливит меня одним даром, который я у вас попрошу и который послужит к вашей славе и ко благу коего человеческого рода.

Когда хозяин увидал гостя у своих ног и услышал эти слова, он смотрел на него крайне удивленный, не знал ни что делать, ни что сказать, и пытался было его поднять. Но наш рыцарь не соглашался на это, пока хозяин не обещал ему пожаловать желаемое.

– Я другого и не ожидал от вашей щедрости, – ответил Дон-Кихот, – и теперь я вам объявляю: тот дар, о котором я как прошу и который ваша милость обещали мне, состоит в том, чтобы вы завтра посвятили меня в рыцари. Эту ночь я проведу на страже оружия в часовне вашего замка, а завтра, как я уже сказал, свершится то, чего я так желаю, чтобы иметь возможность отправиться на все четыре стороны света, ища приключения для блага нуждающихся согласно долгу рыцарства и странствующих рыцарей, которых, подобно мне, склонность побуждает к подобного рода подвигам.

Хозяин, бывший, как уже сказано довольно большим хитрецом и начинавший уже подозревать, что мозг его гостя находится не в особенно хорошем состоянии, окончательно убедился в этом, услышав тацит речи. Тем не менее, чтобы можно было позабавиться в эту ночь, он решил притвориться и сказал Дон-Кихоту, что находить его желание и просьбу совершенно разумными, что такое решение совершенно естественно в знатных господах, к которым, судя по благородной наружности, принадлежит и его гость. Он сам будто бы годы своей молодости посвятил этому почетному занятию; он насчитал много разных посещенных им местностей, не забыв назвать Малаги, островов Риаранских, предместий городского округа Севильи, водопровода Сеговии, оливковых садов Валенции, городских валов Гренады, приморских берегов Сан-Лукара,

конских заводов Кордовы, кабачков Толедо и других тому подобных местностей, где он проявлял легкость своих рук и ног, совершив кучу мошенничеств, обманув многих вдов и девушек, обокрав нескольких сирот и познакомившись наконец с большею частью судебных и полицейских мест Испании. В конце концов он решил удалиться в свой собственный замок, где и живет на собственные доходы и на доходы других, собирая вокруг себя странствующих рыцарей всех сословий и званий, единственно только из любви, питаемой им к этим людям и из-за того, что они, в награду за его гостеприимство, делятся с ним всем, что имеют. Он прибавил также, что в его замке нет часовни, где бы было можно стать на страже оружия, потому что ее сломали, чтобы выстроить новую; но ему известно, что, в случае надобности, стоять на страже оружия можно всюду, где покажется удобным, и потому его гость может просторожить эту ночь в одном из дворов замка. С наступлением же утра, будут произведены, с Божьей помощью, все желаемые церемонии, так что его дорогой гость после этого может считать себя самым настоящим образом посвященным в рыцари.

Он спросил его, имеются ли у него деньги. Дон-Кихот отвечал, что у него нет с собой ни одного мараведиса, и что он не читал ни в одной истории странствующих рыцарей, чтобы кто-нибудь из них носил с собой деньги. На это хозяин возразил, что он заблуждается; в историях не упоминается об этом только потому, что авторы их не считали нужным писать о таком простом и естественном деле, как о запасе деньгами и чистыми сорочками, и из этого не следует заключать, чтобы странствующие рыцари не носили с собой денег. Напротив он знает наверно, что все рыцари, рассказами о которых так полны книги, носили с собой на всякий случай туго набитый кошелек, так же как и сорочки и маленький ящичек с мазью для лечения полученных ран; потому что, добавил хозяин, в долинах и пустынях, где им приходится сражаться и получать раны, не всегда может случиться человек, который изъявил бы готовность перевязать раны, если только у рыцаря нет друга, какого-нибудь мудрого волшебника, который немедленно явился бы на помощь, приведя на облаке по воздуху девицу или карлика со склянкою воды такой силы, что двух или трех влитых капель достаточно, чтобы исцелить раненого совершенно от всяких повреждений. Но, за неимением таких могущественных друзей, старинные рыцари постоянно следили, чтобы их оруженосцы имели при себе деньги и другие необходимые запасы, как корпия и целебная мазь; если у рыцаря не оказывалось оруженосца, что случалось очень редко, то они сами возили все это сзади седла в таких



маленьких сумочках, что они с трудом были заметны, как будто бы это был какой-нибудь другой, очень ценный предмет; за исключением же этого случая, возить с собою сумки было не принято у странствующих рыцарей. В виду всего этого он дает ему совет, а если нужно, даже приказание, как своему крестнику по оружию в близком будущем не пускаться с этого времени в путь без денег и без всего остального, и он сам поймет, когда подумает об этом, как может пригодиться эта предосторожность. Дон-Кихот обещал в точности исполнить все его советы.

После этого ему был отдан приказ стать на страже оружия на большом заднем дворе, находившимся рядом с домом; и Дон-Кихот, собрав все части своего вооружения, поместил их в корыте близ колодца. Затем он надел на руку свой щит, взял копье и с воинственным видом начал расхаживать перед водопоем. Когда он начал свою прогулку, наступила ночь. Но хозяин рассказал всем находившимся на постоялом дворе про безумство своего гостя, про стражу оружия и просьбу посвятить его в рыцари. Удивленные странным родом сумасшествия, все наблюдали за Дон-Кихотом издали и видели, как он то прохаживался медленным и размеренным шагом, то, опираясь на копье, устремлял свои взоры на оружие и долго, казалось, не мог их оторвать от него. Ночь окончательно настала; но луна разливала такой свет, что могла бы соперничать со светилом, которое она заменила, и потому все, что делал новопосвящаемый рыцарь, было прекрасно видно всем.

В это время один из остановившихся на этом постоялом дворе погонщиков мулов вздумал дать воды своим мулам, и для этого ему потребовалось снять оружие Дон-Кихота, лежавшее в корыте. Этот, видя, что кто-то приближается, сказал ему громким голосом:

– О, кто бы ты ни был, смелый рыцарь, имеющий намерение прикоснуться к оружию храбрейшего из странствующих рыцарей, которые когда-либо опоясывались мечем, не дерзай прикасаться к моему оружию, если не хочешь поплатиться жизнью за свою смелость. – Но погонщик, себе на беду, не позаботился принять к сведению это предостережение, иначе ему не пришлось бы потом заботиться о своем здоровье, он взял латы за ремни и отбросил их далеко от себя. Увидав это, Дон Кихот поднял глаза к небу и подумал, вероятно, о своей даме Дульцинее; «Помогите мне, моя дама», проговорил он «в этом первом оскорблении, испытанном верным подвластным вам сердцем! Пусть ваша помощь и защита не оставляют меня в минуту этой первой опасности». Произнеся это и несколько других подобных же слов, он отбросил свой щит, поднял обеими руками копье и обрушил такой удар на голову погонщика, что опрокинул его на землю и

другим таким ударом навсегда избавил бы его от труда звать врача. Совершив это, он поднял оружие и продолжал свой прогулку с прежним спокойствием.

Минуту спустя, не зная о происшедшем, так как погонщик все еще лежал совершенно оглушенный, один из его товарищей тоже возымел намерение напоить мулов и подошел, чтобы поднять оружие и освободить корыто. Тотчас же, не произнеся ни одного слова, и не попросив ни у кого помощи, Дон-Кихот снова бросил щит, снова поднял свое копье и страшным ударом чуть не разбил головы погонщика начетверо; на крики сбежались все находившиеся на постоялом дворе и сам хозяин. При виде их, Дон-Кихот надел свой щит и взял в руку меч.

– О, прекрасная дама, – воскликнул он, – укрепи и помоги этому слабому, теряющему мужество сердцу; настала минута, когда твое величие должно обратить своя очи на рыцаря, твоего пленника, которому предстоит такое страшное приключение. – После этого он почувствовал себя одушевленным такою смелостью, что, если бы на него напали все погонщики мулов в мире, он и тогда не отступил бы и на пядь земли. Товарищи раненых, видя их в таком положении, начали осыпать Дон-Кихота градом камней. Он, насколько мог, укрывался щитом, но не отходил от корыта, не желая оставить оружия. Хозяин кричал и просил их оставить рыцаря в покое, так как им уже сказано, что это – сумасшедший и, в качестве сумасшедшего, он не подлежал бы ответственности даже в том случае, если бы он убил всех. С своей стороны Дон-Кихот кричал еще сильнее, называя их бесчестными и изменниками, а владельца замка, позволяющего такое обращение со странствующими рыцарями, – вероломным и наглым рыцарем.

– Если бы я уже получил рыцарское звание, – добавил он, – я бы дал ему почувствовать, что он изменник; а вас подлые и низкие твари, я презираю. Бросайте, подходите и нападайте на меня, собрав все свои силы, и вы дорогою ценою заплатите за такую наглость. – Он говорил это с таким внушительным видом, что нападающие струсили; по крайней мере, уступив с одной стороны страху, с другой, увещаниям хозяина, они перестали бросать камни. Тогда Дон-Кихот допустил убрать раненых и снова начал стражу своего оружия с тем же спокойствием и с тою же невозмутимостью, как и прежде. Хозяину не совсем понравились шутки его гостя; он решил поскорее положить им конец и, пока не случилось другого несчастья, дать ему злополучное рыцарское звание. Поэтому, подойдя к нему, он извинился за наглость, с какою, по его мнению, вели себя эти негодные люди: он совершенно не знал этого, и, кроме того, они

достаточно наказаны за свою дерзость. Он повторил, что в замке его нет часовни, но для того, что оставалось сделать, можно было обойтись и без нее.

– Сущность посвящения в рыцари, на сколько я знаю этот церемониал, – добавил он, – состоит в двух ударах по затылку и по плечу; а это можно сделать и среди поля. Что же касается до стражи оружия, то вами исполнено все, что требуется правилами; потому что и двух часов стражи достаточно, вы же просторожили четыре.

Дон-Кихот, в простоте душевной, поверил этому. Он сказал хозяину, что он готов ему повиноваться, и попросил его исполнить все это возможно скорее, добавив, что, если на него нападут вторично, когда он уже будет посвящен в рыцари, то он не оставят ни одной живой души в замке, пощадив из уважения к владельцу замка, только тех, на кого тот укажет. Предупрежденный таким образом и не совсем успокоившийся кастелян отправился за книгой, в которой он записывал расход соломы и ячменя, выдаваемых погонщикам мулов, и в скором времени, сопровождаемый мальчиком, несшим огарок свечи, и двумя, знакомыми нам девицами, возвратился к месту, где его ожидал Дон-Кихот, приказал стать ему на колени, а сам притворился, будто читает в своей книге какую то благоговейную молитву. В середине чтения он поднял руку и дал Дон-Кихоту изрядный удар по затылку. После этого, тем же мечем своего крестника, он ударил его второй раз по плечу, все время бормоча сквозь зубы, как будто бы он читал молитвы. Сделав это, он предложил одной из дам опоясать Дон-Кихота мечем, что та очень охотно и ловко исполнила. Все присутствующие, глядя на эту церемонию, едва удерживались от смеха, но подвиги, совершенные недавно новопосвященным рыцарем, были у всех в памяти и охлаждали желание расхохотаться. Опоясывая его мечем, благородная дама сказала ему:

– Да соделает Бог вашу милость очень счастливым рыцарем и да ниспошлет вам успех во всех битвах! – Дон-Кихот спросил у ней ее имя, желая знать, кому он обязан полученною им милостью, чтобы впоследствии сделать и ее участницей в почестях, которые он приобретет силою своей руки. Она с большою скромностью отвечала, что ее зовут Толозой, что она дочь толедского портного-старьевщика, торгующего в рядах Санчо-Бьеная; что, где бы она ни была, она всюду готова ему служить и считать за своего господина. В ответ на это Дон-Кихот просил ее, из любви к нему, принять частицу дон и с этих пор называться донья Толоза. Это ему было обещано сделать. Другая подвязала ему шпоры, и с нею он имел почти такой же разговор, как и с опоясавшей его мечем. Он

спросил у ней ее имя; она отвечала, что ее зовут Моливерой, и что она дочь честного аптекарского мельника; на что Дон-Кихот, отдавая себя в распоряжение обеих дам, и ее просил принять частицу дон и называться донья Молинера. Когда эти новые церемонии были совершены на скорую руку, Дон-Кихот не мог бороться с своим нетерпением и желанием видеть себя на коне и отправиться в поиски за приключениями; он поспешно оседлал Россинанта, сел на него и, обняв хозяина, наскзал ему, в благодарность за посвящение в рыцари, таких нелепиц, что мы отказываемся передавать их. Хозяин, желавший, чтобы он как можно скорее убрался с постоялого двора, отвечал на его любезности в том же тоне, хотя и короче и не спрашивая с него денег за постой, с Богом отправил его в путь.

## ГЛАВА IV

### О том, что случилось с нашим рыцарем по выезде с постоянного двора

Рассвет только что начинался, когда Дон-Кихот выехал с постоянного двора, так довольный и восхищенный своим посвящением в рыцари, что чуть не прыгал на седле. Но вспомнив советы хозяина постоянного двора относительно необходимых запасов, которые он должен захватить с собой в особенности относительно того, что касалось денег и сорочек, он решился возвратиться домой, чтобы запастись всем этим, а также и оруженосцем; в услужение себе он рассчитывал взять одного земледельца, своего соседа, бедного и обремененного детьми, но вполне пригодного, чтобы быть оруженосцем странствующего рыцаря. С этой мыслью он направил своего Россинанта в сторону своей деревни, и этот, как будто почуяв свое стойло, пустился бежать с такою прытью, что, казалось, ноги его не касались земли.

Недолго проехал Дон-Кихот, как ему показалось, что в чаще леса, находившегося у него с правой стороны, раздавались пронзительные крики, как будто кто плакал и жаловался. – Благодарение небу, – сказал он тогда, – за милость, которую оно мне посылает, представляя случай исполнить долг моего звания и пожать плоды моих высоких намерений. Эти крики, без сомнения, идут от какого-нибудь несчастного или несчастной, которые нуждаются в моей помощи и защите. – Он пришпорил Россинанта и направился в ту сторону, откуда, казалось, доносились крики. Едва только он въехал в лес, как увидел лошадь, привязанную к одному дубу, и мальчика лет пятнадцати, привязанного к другому дубу и обнаженного до половины тела. Он-то и кричал так жалобно и, действительно, не без основания, так как здоровый крестьянин жестоко бил его медным поясом, сопровождая каждый удар таким совеют вместо припева:

– Закрой рот, – приговаривал он, – смотри весело.

На что мальчик отвечал:

– Я больше не буду, господин мой, клянусь Богом, я больше не буду. Я обещаю вам вперед лучше заботиться о саде.

При виде этой сцены, Дон-Кихот закричал голосом полным ярости:

– Недостойный рыцарь, стыдно вам нападать на того, кто не может защищаться. Садитесь на вашу лошадь и возьмите ваше копье (к дереву, у которого была привязана лошадь за узду, было прислонено копье),<sup>[8]</sup> и я

вам докажу, что только трусы поступают так, как вы.

Крестьянин, видя над собою вооруженное привидение, размахивающее копьем перед самым его носом, испугался и отвечал лукаво и смущенным тоном:

– Господин рыцарь, этот мальчик, которого я только, что наказывал, – мой слуга, и я заставляю его стеречь стадо овец в этой местности. Но он так небрежен, что не проходит дня, чтобы не пропадала одна овца; и так как я наказываю его за небрежность или плутовство, то он говорит, что я это делаю из скупости, чтобы не платить ему жалованья; но, клянусь Богом и моей душой, он лжет.

– Лжет! мне! бесстыдный негодяй! – возразил Дон-Кихот, – клянусь освещающим нас солнцем, я с большою охотою проткнул бы ваше тело этим копьем. Платите жалованье сию минуту и без возражений, – иначе, Бог свидетель, я убью и уничтожу вас в ту же минуту. Ну, отвязать его!

Крестьянин склонил голову и, не говоря ни слова, отвязал своего слугу, у которого Дон-Кихот спросил, сколько ему должен хозяин.

– За девять месяцев, – отвечал тот, – до семи реалов в месяц.

Дон-Кихот сосчитал; он нашел, что сумма равнялась шестидесяти трем реалам, и велел крестьянину сейчас же раскошелиться, если он не хочет умереть. Дрожа, негодяй отвечал, что, как он уже клялся (он совсем не клялся до сих пор), сумма не была так велика; потому что надо принять в расчет и скинуть за три пары башмаков, которыми он его снабдил, и один реал за два кровопускания, сделанные ему во время болезни.

– Пусть будет это так, – возразил Дон-Кихот; – но башмаки и кровопускания идут в зачет ударов, нанесенных ему вами незаслуженно. Если он разорвал кожу на купленных вами башмаках, то вы разорвали ему кожу на теле; и если цирюльник пустил ему кровь во время болезни, то вы пустили ему кровь, когда он находился в добром здоровье. Стало быть, вы сквитались!

– Но тут одно неудобство, господин рыцарь, у меня нет с собою денег; пусть Андрей пойдет со мной домой, и я ему заплачу там всю сумму, которую я ему должен, до последнего реала.

– Чтобы я пошел с ним! – воскликнул мальчик; – сохрани Бог! Нет, господин, и подумать то об этом мне страшно. Если мы останемся с ним один на один, он с меня с живого сдерет кожу, как со св. Варфоломея.

– Он не сделает вам ничего, – возразил Дон-Кихот, – достаточно моего приказанья, чтобы он чувствовал ко мне уважение, и если он поклянется законами рыцарства, к которому он принадлежит, то я отпущу его на свободу и поручусь за уплату.

– Но, ваша милость, обратите внимание на то, что вы говорите, – сказал мальчик, – мой хозяин вовсе не рыцарь и никогда не принадлежал ни к какому рыцарскому ордену; он – Иван Гальдудо, прозванный Богачем, и живущий в Гинтанаре.

– Что же из этого! – отвечал Дон-Кихот, – могут быть также и Гальдудо рыцарями; и, кроме того, каждый сын своих деяний.

– Это так, – сказал Андрей, – но сын каких деяний мой хозяин, не желающий платить мне жалованья, трудом и потом заслуженной мною награды?

– Я вовсе не отказываюсь, друг мой Андрей, – отвечал крестьянин; – сделайте одолжение, пойдемте со мною и, клянусь вам всеми рыцарскими орденами в свете, я, как уже сказал, уплачу вам всю сумму, и даже с процентами.

– От процентов я вас освобождаю, – возразил Дон-Кихот, – уплатите должную сумму и достаточно. Но позаботьтесь исполнить то, в чем вы только что поклялись; иначе, клянусь в свою очередь и тою же клятвой, я возвращусь, чтобы отыскать и наказать вас, и я вас найду, хотя бы вы умели так ловко прятаться, как ящерица. Если же вам любопытно знать, кто дает вам это приказание, – что еще более обяжет вас исполнить обещанное, то знайте, что я храбрый Дон-Кихот Ламанчский, разрушитель несправедливостей и мститель за притеснения. А теперь, прощайте!.. Не забывайте того, что вы обещали и в чем вы клялись, под страхом обещанного наказания. – Проговоря это, он прищипорил Россинанта и через минуту скрылся.

Крестьянин проводил его глазами и, когда убедился, что Дон-Кихот выехал из леса и не может более его слышать, обернулся к своему слуге Андрею со словами:

– Ну, сын мой, пойдемте, я уплачу, что я вам должен, как мне это приказано разрушителем несправедливостей.

– Клянусь, – отвечал Андрей, – пусть ваша милость в точности исполнит приказание рыцаря, которому да пошлет Бог тысячу лет жизни за его мужество и справедливость, и который, как свят Бог, возвратится исполнить обещанное, если вы мне не заплатите.

– Я тоже клянусь вам в этом, – возразил крестьянин, – и ради любви, которую я к вам питаю, я хочу увеличить мой долг, чтобы увеличить платеж.

И, взяв его за руку, он привязал его к дубу и бил его до тех пор, пока не оставил полумертвым.

– Зовите теперь, господин Андрей, – говорил крестьянин, – зовите

разрушителя несправедливостей, и посмотрим, разрушит ли он сделанное, хотя, по-моему мнению, оно не совсем доделано, потому что меня разбирает сильная охота содрать с вас живого кожу, как вы того опасались.

Наконец, он его отвязал и пустил отыскивать своего судью, чтобы тот привел в исполнение произнесенный приговор. Андрей ушел, полный злобы и клянясь, что он пойдет искать храброго Дон-Кихота Ламанчского, которому он в точности расскажет обо всем происшедшем, и тот сторицей оплатит его хозяину. Но как бы то ни было, он ушел в слезах, а хозяин его продолжал смеяться. Таким-то образом исправил одно зло храбрый Дон-Кихот.

Между тем Дон-Кихот, восхищенный приключением, которое представлялось ему счастливым и величественным началом его рыцарского поприща, продолжал путь к своей деревне, разговаривая в полголоса:

– Ты можешь считать себя счастливейшею среди всех женщин, живущих к настоящее время на земном шаре, о прекраснейшая из прекрасных, Дульцинея Тобозская! ибо тебе отдан в покорные и преданные рабы такой храбрый и славный рыцарь, каков есть и будет Дон-Кихот Ламанчский, который вчера только перед всем миром принял рыцарское звание и сегодня уже, вырвав бич из руки, этого безжалостного чудовища, терзавшего тело нежного ребенка, пресек ужаснейшее зло, какое, только могли изобрести несправедливость и совершить жестокосердие.

Разговаривая таким образом, он доехал до того места, где дорога шла на четыре стороны и сейчас же ему вспомнилось о перекрестках, на которых странствующие рыцари останавливаются в раздумье, какую дорогу им выбрать, и, в подражание им, он тоже на мгновение остановился. Затем, подумав хорошенько, он пустил поводья Россинанта, предоставив выбор дороги на волю своего коня, который и остался верным своему первоначальному намерению держать путь в свою конюшню. Проехав около двух миль, Дон-Кихот заметил большую толпу людей, оказавшихся, как узнали впоследствии, толедскими купцами, которые ехали в Мурцию закупать шелк. Их было шестеро; в руках они несли зонтики и имели при себе четырех конных слуг и четырех пеших погонщиков мулов. Увидав их, Дон-Кихот вообразил, что ему предстоит новое приключение, и, сгорая от желания совершить какой-либо подвиг в подражание прочитанному им в книгах, он решил, что для этого теперь ему представляется самый благоприятный случай.

Вот почему он свободно и гордо укрепился в стремянах, сжал в руке копье, прикрыл грудь щитом и, расположившись подле дороги, стал дожидаться приближения странствующих рыцарей – по его мнению, это



были именно они. Когда они приблизились настолько, что могли его разглядеть и услышать, Дон-Кихот возвысил свой голос и вызывающим тоном сказал им:

– Стойте все, если все вы не признаете, что во всей вселенной нет девицы более прекрасной, чем императрица Ламанчи, несравненная Дульцинея Тобозская.

При этих словах купцы остановились, чтобы рассмотреть странную фигуру говорившего; и по фигуре, а также и по словам, они без труда угадали безумие нашего героя; но им хотелось поближе узнать, к чему могло клониться требуемое от них признание, и потому один из них – порядочный насмешник и притом остроумный – отвечал Дон-Кихоту:

– Господин рыцарь, мы не знаем этой благородной дамы, о которой вы говорите. Покажите нам её, и, если она действительно так прекрасна, как вы уверяете, то мы с охотой и без всякого принуждения признаем требуемую вами истину.

– Если бы я вам показал ее, – возразил Дон-Кихот, – какая заслуга была бы с вашей стороны признать такую очевидную истину? Важно то, чтобы, не видя ее, вы были готовы этому верить, это признавать, утверждать, в этом клясться и даже защищать это с оружием в руках. В противном случае, готовьтесь в бой, гордые и дерзкие люди, и, станете ли вы нападать на меня один на один, как это принято у рыцарей, или, по привычке и недостойному обычаю людей вашего рода, нападете на меня все вместе, – все равно я твердо буду ждать вас здесь, веря в правоту моего дела!

– Господин рыцарь, – возразил купец, – чтобы не отягощать нашей совести признанием того, чего мы никогда не видали и не слышали, и что служит также к явному ущербу императрицы Эстрамадуры и городского округа Толедо, я, от имени всех, сколько нас есть здесь, принцев, умоляю вашу милость показать нам какой-нибудь портрет этой дамы. Пусть он будет не больше ячменного зерна, мы по образчику будем судить о целом: это успокоит нашу совесть, и вы получите полное удовлетворение. И я даже думаю, мы настолько предубеждены в ее пользу, что, если на портрете она предстанет нам на один глаз кривой, а другим изливающей киноварь и серу, – несмотря на это, мы все-таки, чтобы угодить вашей милости, скажем в похвалу ее все, что вам будет угодно.

– Она не изливает ничего, подлая тварь, – закричал Дон-Кихот, воспламененный гневом, – она не изливает ничего, кроме мускуса и амбры; она не крива и не горбата, а прямее гвадаррамского веретена. За ужаснейшую хулу, произнесенную вами на такую совершенную красоту,

как красота моей дамы, вы мне поплатитесь!

И сказав это, он так яростно бросился с опущенным копьем на разговаривавшего с ним, что если бы, к счастью, Россинант среди бега не спотыкнулся и не упал, то купцу пришлось бы раскаяться в своей смелости, но Россинант упал, и господин его далеко покатился по земле. Дон-Кихот пытался подняться, но этого не удавалось, так как ему сильно мешали копье, щит, шпоры и шлем, не считая уже тяжести его старинного вооружения. И, делая невероятные усилия подняться, он не переставал кричать:

– Не убегайте, трусы, не убегайте, презренные рабы! Знайте, это не моя вина, это вина моей лошади в том, что я упал.

Один погонщик мулов, бывший в свите купцов и не отличавшийся, очевидно, особенно сдержанным характером, не мог снести стольких произнесенных рыцарем хвастливых угроз, не посчитав ему в ответ реверанс. Поэтому он подбежал, отнял у него копье и, сделав из последнего несколько кусков, начал одним из них так жестоко бить нашего Дон-Кихота, что, несмотря на латы, чуть не переломал ему костей. Его господа напрасно ему кричали не бить и оставить рыцаря в покое, – негодяю понравилось это занятие, и он не хотел оставить его, пока не изольет своего гнева без остатка; и, собрав другие обломки копья, он доломал и их об упавшего несчастного, этот же, несмотря на град сыпавшихся на его тело ударов, кричал однако не тише прежнего, посылая угрозы небу и земле, а также и тем, кого он принимал за маландринцев. Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свою дорогу, рассказывая во время путешествия о бедном избитом сумасшедшем.

Увидев себя оставленным, Дон-Кихот снова попытался встать, но, если это не удавалось ему тогда, когда он был в добром здоровье, то как он мог сделать это теперь, избитый и наполовину обессиленный? Несмотря на то, он все-таки чувствовал себя счастливым, считая свое несчастье обычным явлением для странствующих рыцарей, и целиком приписывая его вине своей лошади. Но подняться ему было все-таки невозможно – настолько было избито его тело.

## Глава V

### В которой продолжается рассказ о приключении нашего рыцаря

Видя, наконец, что сдвинуться с места ему невозможно, Дон-Кихот решил прибегнуть к своему обыкновенному лекарству, т. е. к воспоминаниям некоторых мест из своих книг, и его безумие привело его на память эпизод с Бальдовиносом и маркизом Мантуанским, когда Карлотта оставляет первого раненым в горах – история знакомая детям, небезызвестная молодым людям, восхваляемая и даже принимаемая на веру стариками и, однако, настолько же истинная, насколько истинны и чудеса Магомета. Она казалась ему как нельзя более подходящею к его настоящему положению и потому, с признаками живейшей печали, он начал кататься по земле и повторять, тяжело вздыхая, те же слова, которые произносил, как говорят, раненый рыцарь рощи:

«О, моя дама! куда вы сокрылись?  
Иль мое горе вас вовсе мы трогает?  
Или о нем вы совсем и не знаете?  
Или, забыв обо мне, вы избрали другого?»

И он продолжал в этом же роде романс до стихов:

«О, благородный маркиз Мантуанский,  
Дядя и господин мой природный?»

Едва успел он окончить эти стихи, как этой же дорогой случилось проходить крестьянину из его деревни, его соседу, который возил хлеб на мельницу и теперь возвращался домой. Видя простертого на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что за горе испытывает, так печально жалуясь. Дон-Кихоту, наверное, представилось, что это его дядя, маркиз Мантуанский, и потому, вместо всякого ответа, он продолжал свой романс, в котором он рассказывал о своем несчастье и о любви его жены и сына императора, все это точь-в-точь так, как поется в романсе. Крестьянин был не мало удивлен, услышав такие нелепости; сняв

забрало; разломанное ударами палки в куски, он вытер покрытое пылью лицо рыцаря. Тогда только, узнав его, он воскликнул:

– О, Боже мой, синьор Кихада (таково было имя гidalьго в то время, когда он еще пользовался здравым рассудком и не превращался в странствующего рыцаря), кто это нас довел до этого? – Но тот на все вопросы отвечал только продолжением своего романа.

Видя это, бедняк снял с него, как мог, нагрудник и наплечник, чтобы посмотреть, нет ли у него раны; но следов крови он не заметил. Тогда он постарался приподнять рыцаря и ему не без труда удалось взвалить его на осла, показавшегося ему более смирным, чем Россинант, животным. Потом он собрал оружие, до обломков копья включительно, и, связав их, положил на Россинанта. Затем, взяв Россинанта за узду, а осла за недоуздок, он отправился в свою деревню, подвергаясь неприятности выслушивать нелепости, рассказываемые Дон-Кихотом. Не меньшие неприятности испытывал дорогой сам Дон-Кихот, который был настолько избит и взломан, что не мог держаться на осле и по временам посылал глубокие вздохи к небу, так что крестьянин счел себя обязанным еще раз спросить, какое у него горе. Но, вероятно, сам дьявол приводил Дон-Кихоту на память, все истории, имевшие хоть какое-нибудь отношение к его приключению, потому что, вдруг позабыв в эту минуту Бальдовиноса, он вспомнил о мавре Абиндарраэсе, которого анфекерский губернатор Родриг Нарваззский берет в плен и приводит в свой укрепленный замок. Когда крестьянин спросил его, как его здоровье и что он чувствует, то рыцарь отвечал ему теми же словами, какими пленный Абиндарраэс отвечает Родригу Нарваззскому, как об этом рассказывается в Диане Георга Монтемайорского; при этом он припоминал все подробности с такою точностью, что крестьянин, выслушивая эту кучу глупостей, призывал всех чертей. Тогда-то он узнал, что его сосед решительно сумасшедший, и стал спешить в деревню, чтобы избавиться от скуки, нагнанной на него нескончаемой болтовней Дон Кихота. Этот же, оканчивая рассказ, добавил:

– Пусть знает ваша милость, Дон-Родриг Нарваззский, что эта Харифа, о котором я только что говорил, есть в настоящее время прекрасная Дульцинея Тобозская и для нее я совершал, совершаю и совершу славнейшие из подвигов рыцарства, какие только видел, видит и увидят мир.

– Но, ради Бога, сеньор, – отвечал крестьянин, – сообразите, пожалуйста, что я ни Родриг Нарваззский, ни маркиз Мантуанский, а просто Петр Алонсо, ваш сосед; и что ваша милость ни Бальдовинос, ни Абиддарразс, но только уважаемый гidalьго, сеньор Кихада.

– Я знаю, кто я, – возразил Дон-Кихот, – я знаю, что я могу быть не только теми, кого я сейчас назвал, но даже двенадцатью пэрами Франции и девятью рыцарями славы,<sup>[9]</sup> потому что совершенные ими подвиги, все вместе и каждый в отдельности, должны быть превзойдены моими.

Среди подобных разговоров, они к закату солнца прибыли в деревню; но крестьянин подождал, пока наступила совсем ночь, чтобы никто не видел нашего гidalго, совершающим свой въезд в таком жалком виде и на осле.

Когда настал благоприятный час, крестьянин въехал в деревню и подъехал к дому Дон-Кихота. В доме в это время происходила большая суматоха. В нем собрались и священник, и деревенский цирюльник – оба большие друзья Дон-Кихота – и эконома жалобным голосом говорила им:

– Что вы думаете, господин лицензиат Перо Перес (так назывался священник) и как вы полагаете, какое несчастье могло случиться с моим господином? Вот уже шесть дней, как мы не видим ни его, ни коня, ни щита, ни копья, ни оружия... Ах, я несчастная! Я в этом не сомневаюсь, и это также верно, как то, что я родилась для того, чтобы умереть, – это проклятые рыцарские книги, его единственное и постоянное чтение, вскружили ему голову. Я теперь вспоминаю, что я много раз слыхала от него, как бы желал он сделаться странствующим рыцарем и отправиться по свету искать приключений. Пусть сатана унесет эти книги, погубившие наиболее тонкий ум во всей Ламанче!

Племянница, с своей стороны, сказала то же самое и добавила еще:

– Знаете, сеньор Николай (так было имя цирюльника), часто случалось, что дядя мой проводил два дня и две ночи подряд над чтением этих гнусных и злополучных книг, после чего он внезапно отбрасывал книгу, схватывал меч и начинал сражаться со стеною. Когда же он утомлялся и переставал, то он говорил, что убил четырех великанов, каждый вышиною с башню, а пот, катившийся с него от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в битве. Потом он залпом выпивал большую кружку холодной воды и после этого находил себя отдохнувшим и исцеленным, рассказывая, что эта вода – драгоценный напиток, который ему принес мудрый Эскиф, великий чародей и друг его. Но во всем этом виновата одна я: я не сообщала вам ничего про безумства моего дяди; вы бы тогда употребили какое-нибудь лекарство прежде, чем это дошло до такой степени, и сожгли бы эти проклятые книжки, которыми полон дом, потому что они заслуживают сожжения не менее, чем еретические сочинения.

– Таково же и мое мнение, – проговорил священник, – и завтрашний

день они непременно будут присуждены к сожжению, и мы устроим ауто-да-фе. Тогда уж они ни в кого больше не вселят желания делать то, что сделал, вероятно, наш бедный друг.

Дон-Кихот и крестьянин слушали уже у ворот все эти разговоры, и последний окончательно убедился в болезни своего господина. Поэтому он принялся кричать:

– Отворите немедленно сеньору Бальдовиносу и сеньору маркизу Мантуанскому, возвращающимся тяжело раненными, и сеньору мавру Абиндарраэсу, которого приводит пленником храбрый Родриг Нарваззский, губернатор антекерский.

Все выбежали на эти крики и поспешили обнять Дон-Кихота, сейчас же узнав в нем, одни – своего друга, другие – дядю и господина, у которого между тем не хватало сил слезть с осла. Но рыцарь произнес:

– Остановитесь все! Я возвращаюсь тяжело раненный по вине своей лошади; пусть меня отнесут в постель и позовут ко мне, если возможно, мудрую Урганду, чтобы она осмотрела и полечила мои раны.

– Ну, вот, – воскликнула тогда экономка, – не чувствовало ли мое сердце, на какую ногу хромает мой господин. Поднимайтесь же, сеньор, с Божьей помощью; вовсе нет надобности звать эту Урганду, потому что мы и без нее сумеем вас полечить. Пусть будут прокляты, повторяю я, тысячу раз прокляты эти рыцарские книги, которые довели вас до такого состояния.

Сейчас же отнесли Дон-Кихота в постель, но, когда вздумали осмотреть раны, то не нашли ни одной.

– У меня только, – сказал он, – разбито тело при страшном падении, которое я потерпел вместе с конем моим Россинантом, сражаясь против десяти великанов, громаднейших и страшнейших из всех, какие только могут быть на пространстве трех четвертей земли.

– Ба, ба! – сказал священник, – вот и великаны появились! Клянусь знаменем креста, завтра же до вечера они будут сожжены!

Все задавали Дон-Кихоту тысячу вопросов, но на все вопросы он отвечал только, чтобы ему дали поесть и оставили заснуть, в чем он более всего нуждался. Так и сделали. Потом священник долго осведомился у крестьянина обо всех обстоятельствах, относящихся к его встрече с Дон-Кихотом. Тот рассказал все, упомянул и о нелепостях, которые ему довелось услышать так, на месте встречи, и дорогой. Это только еще более могло усилить желание священника сделать то, что действительно сделал он на следующий день, то есть послать за своим другом цирюльником Николаем и вместе с ним отправиться в дом Дон-Кихота.

## **ГЛАВА VI**

### **О великом и приятном исследовании, произведенном священником и цирюльником в библиотеке нашего славного рыцаря**

Дон-Кихот все еще спал. Священник спросил у племянницы ключи от комнаты, в которой были книги вредных авторов, и та с радостью их отдала. Все, в сопровождении экономки, вошли в комнату, и нашли там более ста больших, хорошо переплетенных томов и несколько книг небольшого формата. При виде их экономка поспешно выбежала из комнаты и вскоре же возвратилась с чашей святой воды и кропилом.

– Возьмите, господин лицензиат, – сказала она, – окропите эту страшную комнату на случай, если здесь находится какой-нибудь волшебник из тех, которыми наполнены книги – чтобы он не мог очаровать нас в наказание за наши угрозы выгнать из мира его и его собратий.

Священник засмеялся над простотой экономки и попросил цирюльника подавать ему книги по одной, чтобы можно было рассмотреть, о чем каждая говорит, так как могли встретиться и такие, которые совсем не заслуживали сожжения.

– Нет, – сказала племянница, – не следует щадить ни одной, потому что все они приносят только вред. Лучше всего выбросить их за окно, сложить в кучу и поджечь, или еще лучше отнести их на задний двор, и там мы устроим из них костер, чтобы дым их не беспокоил нас.

Экономка высказала то же намерение – так сильно обе они желали смерти этих бедных невинных книг; но священник не соглашался на это, не прочитав предварительно хотя бы заглавий. И первым сочинением, которое вручил ему сеньор Николай, были четыре тома Амадиса Гальского; относительно его священник сказал:

– Мне кажется, что так случилось неспроста; как я слыхал, это – первая рыцарская книга, напечатанная в Испании, я от нее-то получили происхождение другие этого же рода; поэтому я думал, что, как основательницу гнусной ереси, мы должны без всякого сожаления приговорить ее к сожжению.

– Нет, сеньор, – возразил цирюльник, – а я также слыхал, что это лучшая из книг, написанных в этом роде, и потому, как образец, она заслуживает помилования.

– Это правда, – сказал священник, – и на этом основании мы пока пожалуем ей жизнь. Посмотрим теперь другую рядом!

– Это, – сказал цирюльник, – Подвиги Эспландиана, законного сына Амадиса Гальского.

– По моему мнению, – сказал священник, – заслуги его отца не должны быть причиною снисходительности к его сыну. Возьмите, госпожа экономка, откройте это окно и выбросьте эту книгу на двор: пусть она положит начало костру, на котором мы устроим наш потешный огонь.

Экономка от всего сердца повиновалась, – и храбрый Эспландиан полетел во двор терпеливо ожидать угрожавшего ему сожжения.

– Дальше! – сказал священник.

– Затем идет, – сказал цирюльник, – Амадис Греческий и все, которые на этой стороне, тоже, кажется, из семейства Амадисова.

– Ну, так пусть все они отправляются во двор! – сказал священник – право, за удовольствие сжечь королеву Пинтиклииэстру и пастуха Даринэля с его эклогами, а также запутанные речи и дьявольские рассуждения самого автора, я согласился бы вместе с ними сжечь моего собственного отца, если бы он мне предстал в образе странствующего рыцаря.

– Я думаю тоже самое, – сказал цирюльник.

– И я то же, – добавила племянница.

– Так давайте же их мне, – проговорила экономка, – и они отправятся во двор.

Ей передали книги (их было много) и, чтобы избавиться от трудов спускаться с лестницы, она и их отправила вниз через окно.

– Это что за толстый том? – спросил священник.

– Это, – отвечал цирюльник, – Дон Оливант де Лаура.

– Автор этой книги, – сказал священник, – тот самый, который сочинил Сад цветов; и, по правде сказать, я затруднялся бы решить, какая из этих книг более истинна или, скорее, менее ложна. Я могу пожелать только, чтобы она шла тоже во двор за свою нелепость и надутый тон.

– Теперь идет, – сказал цирюльник, – Флорисмарс Гирканский.

– Как! – воскликнул священник, – здесь есть также и сеньор Флорисмарс? Ну, так пусть поспешит он вслед за другими, несмотря на свое иностранное происхождение и фантастические приключения; потому что только этого он и заслуживает за грубость и сухость своего слога... Во двор и того и другого, госпожа экономка.

– С большим удовольствием, – отвечала та и с радостью исполнила данное ей распоряжение.



– Вот Рыцарь Платир, – сказал цирюльник.

– Это старая книга, – заметил священник, – но в ней нет ничего заслуживающего пощады. Пусть она без возражения идет в ту же компанию.

Это было тоже выполнено.

Открыли другую книгу и увидали заглавие Рыцарь Креста.

– Такое святое имя, каким называется эта книга, заслуживало бы, – сказал священник, – чтобы отнестись снисходительно к ее невежеству. Но не надо забывать обычной поговорки: за крестом прячется дьявол. Пусть же идет эта книга в огонь! – цирюльник взял другую книгу и сказал:

– Вот Зеркало рыцарства.

– Я уже имел честь с ней познакомиться, – сказал священник; – в ней является сеньор Рейнальд Монтальванский со своими друзьями и товарищами, мошенниками побольше Како, и двенадцать пэров Франции и истинный историк Тюрпен. Я полагал бы достаточным приговорить их всех к вечному заключению из уважения к тому, что они вдохновили знаменитого Матео Байардо и послужили нитью замысла для христианского поэта Людовика Ариосто. Что же касается этого последнего, то, если он попадется мне здесь говорящим на каком-нибудь другом языке, кроме своего, я не окажу ему никакого почтения; но если он встретится на своем родном языке, то я его приму со всем моим уважением.

– У меня он есть на итальянском языке, – сказал цирюльник, – но я не понимаю этого языка.

– Было бы не лучше, если бы вы его понимали, – отвечал священник, – и было бы не хуже, если бы, по милости Божией, его не понимал и известный капитан, который перевел Ариосто по-испански и изукрасил по-кастильски; потому что своим переводом он сильно понизил цену сочинения. Так, впрочем, случается со всеми, которые решаются перевести стихотворные произведения на другой язык; сколько бы забот они ни прилагали, какое бы искусство они ни выказывали, они никогда не придадут этим произведениям того совершенства, которым эти последние обладают на родном языке. Одним словом, мое мнение таково, чтобы эту книгу, а также и все те из найденных нами, которые говорят о делах Франции, – положить или бросить в сухой колодец до тех пор, пока нам будет можно на досуге обсудить, что с ними сделать. Я, конечно, исключая отсюда известного Бернардо дель Карпио, наверно находящегося здесь, и еще другую книгу под названием Ронсевальское ущелье, которые, если попадут в мои руки, немедленно же перейдут в руки экономки, а оттуда в огонь без всякой пощады.

Все это было одобрено цирюльником, находившим это, как нельзя более, справедливым и превосходно придуманным; потому что в глазах его священник был таким добрым христианином и другом истины, что ни за что в свете не сказал бы ничего противного последней. Затем, открыв другой том, он увидел, что это был Пальмерин Оливский, а рядом с ним находилась еще книга, озаглавленная Пальмерин Английский. Увидав их, лицензиат сказал:

– Эту оливу пусть сожгут, и чтобы не оставалось даже и пеплу от нее; что же касается этой английской пальмы, то ее следует тщательно сохранять, как единственную вещь в своем роде, и она достойна такого же драгоценного ящика, какой нашел Александр в добыче Дария и предназначил для хранения произведений поэта Гомера. Эту книгу, кум, можно вдвойне рекомендовать: прежде всего – благодаря ее внутренним достоинствам, а затем и потому, что она, как говорят, произведение португальского короля настолько же богатого воображением, насколько и мудрого. Все приключения в замке Мирагарда превосходны и рассказаны с большим искусством; речи – естественны, изящны, удачно и умно приспособлены к тем характерам, которые их произносят. Поэтому, с вашего позволения, господин Николай, я скажу, что эта книга и Амадис Гальский избавляются от огня; все же остальное, без всякой другой формы процесса, пусть погибнет немедленно. – Нет, кум, – возразил цирюльник, – у меня сейчас в руках Дон Беманис.

– Что касается этого, – отвечал священник, – то второй, третьей и четвертой части его следовало бы дать немного ревеню, чтобы очистить их от излишка желчи; следовало бы также исключить всю эту историю замка Славы и другие еще более возмутительные нелепости. А посему этой книге следует дать заморский срок<sup>[10]</sup> и, смотря по тому, насколько она улучшится, мы или поступим с нею со всею строгостью или окажем ей помилование. Пока же, берегите ее у себя, кум, и не давайте никому читать.

– Охотно, – отвечал цирюльник.

И, не утруждая себя более разбором рыцарских книг, священник приказал экономке взять все большие томы выбросить их на двор.

Он сказал это не дураку и не глухому, а человеку, у которого желание сжечь их было сильнее, чем заказать ткачу кусок полотна, хотя бы и очень большой кусок и очень тонкого полотна. Поэтому экономка схватила в охапку с полдюжины этих книг и бросила их за окно; но желая взять слишком много сразу, она уронила одну книгу к ногам цирюльника. Тот поднял ее, чтобы посмотреть, что это такое, и прочитал заглавие: История славного рыцаря Тиранта Белого.

– Слава Богу! – воскликнул священник – у нас Тирант Белый! Передайте мне его, кум; по моему мнению, мы нашли в нем сокровищницу веселья и источник приятного времяпрепровождения. В этой книге описываются и храбрый рыцарь Кирие-Елейсон Монтальванский, и его брат Фома Моитальванский, и рыцарь Фониоса, и бой, происходивший между Тирантом и охотничьей собакой, и остроумные уловки девицы Удовольствия моей жизни, а также любовь и хитрости вдовы, Спокойствия и императрица, влюбленная в своего оруженосца. По истине, скажу вам, кум, эта книга по своему стилю лучшая во всем мире. В ней вы увидите, как рыцари едят, спят, умирают в своих постелях, перед своей кончиной составляют завещания, и пропасть другого, что отсутствует во всех книгах этого рода. Так что я вас могу уверить, что тот, кто составил ее, заслуживал бы за добровольное изобретение стольких глупостей вечной ссылки на галеры. Возьмите эту книгу к себе, прочитайте ее и вы увидите, верно ли то, что я вам сказал.

– Хорошо, – отвечал цирюльник; – но что будем мы делать с остальными маленькими томами?

– Это, должно быть, не рыцарские книги, – сказал священник, – а поэтические произведения.

Он открыл одну из них и увидел, что кто была, Диана<sup>[11]</sup> Георга Монтемайорского. Думая, что и другие книги того же рода, он сказал:

– Эти не заслуживают быть сожженными вместе с другими, потому, что они не могут принести вреда, какой приносят рыцарские книги. Эти книги доставляют безопасное развлечение читателю.

– Ах, сеньор, – сказала племянница, – лучше бы вы сделали, если бы приговорили их к сожжению вместе с другими, потому что, если мой дядя излечился от болезни странствующего рыцарства, то, читая эти книги, он, чего доброго, заберет себе в голову сделаться пастухом и расхаживать по лугам и лесам, распевая песни и играя на свирели; или, что еще хуже, задумает сделаться поэтом, а это, говорят, болезнь заразительная и неизлечимая.

– Девушка права, – сказал священник, – и благоразумнее всего убрать с глаз нашего друга всякий повод к сумасшествию. Диану же Монтемайорскую я полагаю не сжигать, а только уничтожить в ней все, что говорится о мудрой Фелиции и о волшебной воде, и почти все большие стихами. Пусть она остается с своей прозой и с честью быть первой из книг этого рода.

– Затем идет, – говорил цирюльник, – Диана, называемая Вторая Саламантина, а вот другая с тем же заглавием, автор которой Хиль Поло.

– Диана Саламантина, – сказал священник, – пусть увеличит собой число приговоренных на заднем дворе; что же касается Дианы Хиль Поло, [\[12\]](#) то ее следует так хранить, как будто бы она принадлежала самому Аполлону. Будем, однако, продолжать, кум, и поспешим, потому что уже поздно.

– Это, – сказал цирюльник, открывая другой том, – Десять книг Фортуны любви, составленные Антонио де-Лофрасо, сардинским поэтом.

– В силу полученной мною власти, – сказал священник, – я полагаю, что с тех пор, как Аполлон стал Аполлоном, музы стали музами и поэты – поэтами, никто еще не составлял более забавной и сумасбродной книги. Она, в своем роде, лучшая и наиболее редкостная из всех появившихся при свете дня книг; кто не читал ее, тот не читал ничего забавного. Передайте мне ее, кум; право, найдя ее, я считаю себя более счастливым, чем если бы мне подарили рясу из флорентийской тафты. – И он, восхищенный, отложил ее в сторону.

– Потом следуют, – продолжал цирюльник, – Иберийский пастор, Генаресские нимфы и Лекарства против ревности.

– Ну, – сказал священник, – их лучше все передать в руки светской власти – экономки, и не спрашивайте меня почему, иначе мы никогда не кончим!

– Теперь вот Пастух Филиды.

– Это не пастух, – сказал священник, – а скорее умный и просвещенный придворный; берегите эту книгу, как драгоценность.

– У этого большого тома, – сказал цирюльник, – заглавие: Сокровищница различных стихов.

– Если бы их в ней не было так много, – сказал священник, – она от этого была бы только лучше. Эту книгу следует освободить от нескольких бездарных произведений, перемешанных с прекрасными вещами. Пусть, однако, она сохранится, так как автор ее мой друг, и из уважения к другим его более возвышенным и более героическим произведениям.

– Это – Песенник Лопеса Мальдонадо, – продолжал цирюльник.

– Автор этой книги – оказал священник, – тоже один из моих хороших друзей. Стихи его в его устах восхищают всех, кто их слышит, и голос его имеет такую прелесть, что, когда он их поет, он очаровывает. Его эклоги – немного длинны; но, что у него есть хорошего, на длину того никогда нельзя пожаловаться. Пусть положат ее к пощаженным. Но что это за книгу вижу я рядом? – это Галатея Мигеля Сервантеса. – Сервантес мой давнишний и хороший приятель; он более опытен в несчастиях, чем в поэзии. Его книга не лишена некоторой изобретательности; но он начинает

и не оканчивает. Подождем второй части, которую он обещает. Может быть, исправясь, он получит совершенное прощение, в котором ему отказывают теперь. До тех же пор, кум, берегите у себя книгу, как пленника.

– Согласен, – отвечал цирюльник! – вот три еще появляются вместе: Араукана Дон-Алонсо де-Эрсилья, Аустриадо Хуана Руфо, кордовского судьи, и Монсеррат, валансьенского поэта Крестовала де-Вируеса.

– Все три, – сказал священник, – лучшие из героических стихотворений, написанных на испанском языке, и могут соперничать с славнейшими из итальянских. Заботливо берегите их, как драгоценнейшие памятники, которыми обладает Испания.

Священник утомился, разбирая так много книг, и потому выразил желание, чтобы все остальное, без дальнейших замечаний, бросили в огонь. Но цирюльник держал уже раскрытой одну книгу, называвшуюся Слезы Ангелины.

– Право, – сказал священник, услышав это название, – я бы сам пролил столько же слез, сколько пролила ее героиня, если бы я заставил сжечь такую книгу, потому что автор ее был одним из славнейших поэтов не только Испании, но и всего мира, и необыкновенно удачно перевел несколько басен Овидия.

## ГЛАВА VII

### О втором выезде нашего рыцаря Дон-Кихота Ламанчского

В то время, как они беседовали таким образом, Дон-Кихот принялся страшно кричать: – Сюда, храбрые рыцари, – вопил он. – Здесь вы должны показать силу ваших страшных рук; иначе придворные отнимут у вас приз турнира!

Все бросились на шум и оставили не разобранными много других книг; поэтому предполагают, что Королева и Леон Испанский, без дальнейшего расследования, пошли в огонь вместе с Подвигами Императора, составленными Дон-Луисом де-Авила и, вероятно, находившимися в библиотеке; если бы эти книги видел священник, может быть, они подверглись бы менее суровому приговору.

Когда все прибежали к Дон-Кихоту, то увидали, что он уже оставил постель и продолжал вопить и безумствовать, коля и рубя мечем направо и налево, но уже совершенно проснувшись. Его схватили в охапку и насильно уложили снова в постель. Когда он немного успокоился, то, оборотясь к священнику, произнес:

– Поистине, господин архиепископ Тюрпен, страшный позор надает на нас, называющихся двенадцатью пэрами, за то, что мы позволили придворным рыцарям отнять у нас победу этого турнира после того, как во все три предыдущие дня она оставалась за нами, странствующими рыцарями.

– Оставим это, кум, – отвечал священник, – если угодно Богу, счастье опять перейдет на вашу сторону, и то, что проиграно сегодня, снова может быть выиграно завтра. Теперь же не заботьтесь ни о чем, кроме своего здоровья; потому что вы, кажется, истомлены усталостью, если при том еще и не ранены тяжело.

– Я не ранен, – проговорил Дон-Кихот, – но избит и изломан, это слишком верно, этот выродок Роланд колотил меня стволom целого дуба; и единственно из злобы, потому что только я один не трушу его самохвальства. Но пусть не буду я Рейнальдом Монтальванским, если он мне за это не заплатит, когда я встану с постели. Теперь же пока пусть мне дадут поесть, потому что это мне всего нужнее, и пусть предоставят мне самому заботу о своем отмщении.

Это было исполнено: ему принесли поесть, после чего он снова заснул, оставив всех в изумлении от его безумия.

В этот же вечер экономка предала сожжению все книги, которые только оказались на заднем дворе и в остальном доме; при этом пламя истребило наверное между книг и такие, которые заслуживали бы быть хранимыми в бессмертных архивах. Но злая судьба их, вследствие лености их исследователя, судила иначе, и таким образом на них осуществилась поговорка, что праведнику часто приходится расплачиваться за грешника.

Одним из лекарств, придуманных священником и цирюльником для излечения болезни их друга, было заделать дверь комнаты с книгами так, чтобы он не нашел ее, когда встанет (причина будет устранена, может быть, исчезнет и ее следствие, болезнь, рассуждали друзья), и затем сказать ему, что какой-то волшебник унес все – и кабинет, и книги. Это было с возможною поспешностью приведено в исполнение. Через два дня Дон-Кихот поднялся. Первым его делом было отправиться посмотреть свои книги: и, не находя более кабинета, где он их оставил, он заходил искать его и с той, и с другой стороны. Он подходил к месту, где прежде была дверь, ощупывал его руками и по несколько раз поводил кругом глазами, не говоря ни слова. Наконец, по истечении довольно долгого времени, он спросил у экономки, где комната с книгами. Экономка, хорошо подученная, отвечала ему:

– Какую несуществующую комнату ищете вы, ваша милость? В вашем доме нет уже ни этой комнаты, ни книг; сам черт явился и все унес.

– Не черт, – возразила племянница, – а волшебник, который явился в следующую же ночь после вашего отъезда в облаке, сидя верхом на драконе, спустился сверху и вошел, в ваш кабинет; потом я не знаю, что-то он там поделал и улетел через крышу, наполнив весь дом дымом; и когда мы захотели посмотреть, что он там натворил, то не нашли ни комнаты, ни книг. Мы только хорошо помним – экономка и я, – что, улетаая, этот злой старик закричал нам сверху, что тайная вражда, питаемая им к владельцу книг и комнаты, побудила его сделать в доме опустошение, которое заметят после. Он сказал также, что его зовут Мюньятоном.

– Фристоном, сказал он наверное, – проговорил Дон-Кихот.

– Не знаю, – возразила экономка, – назвался ли он Фристоном или Фритоном; знаю только, что имя его оканчивалось на тон.

– Да! – сказал Дон-Кихот, – этот ученый волшебник – мой большой враг, так как его искусство открыло ему, что через некоторое время мне придется вступить в поединок с рыцарем, которому он покровительствует, и из этого поединка я выйду победителем, что бы он ни делал. Вот почему

он и старается делать мне всякие неприятности, какие только может. Но пусть он знает, что трудно ему избегать того, что предназначено самим небом. – Кто в этом сомневается? – сказала племянница. – Но зачем, дядя, вмешиваться в подобного рода раздоры? Не лучше ли оставаться спокойно дома, чем отправляться искать по свету приключений, позабыв о том, что многие пускались добыть шерсти и вернулись еще более остриженными?

– О, племянница, – ответил Дон-Кихот, – как велика ваша простота! прежде чем меня остригут, я сам обрею и вырву бороду всем, кто осмелится дотронуться хотя бы до кончика моих волос!

Видя, что его гнев опять начинает разгораться, обе женщины удержались от дальнейших возражений.

Как бы там ни было, он пятнадцать дней оставался в доме, очень спокойный и не обнаруживая, ни малейших признаков желания снова приняться за старое. В течение этого времени он вел со своими друзьями – священником и цирюльником – очень занятные разговоры, уверяя, что самую сильную надобность мир ощущает в странствующих рыцарях и что поэтому надо воскресить странствующее рыцарство. Священник иногда ему возражал, иногда притворялся, как будто бы соглашается с его мнением, потому что, без подобных хитростей с ним было невозможно разговаривать.

Между тем Дон-Кихот вел тайные совещания с одним крестьянином, своим соседом, человеком честным (если только такой титул можно дать бедному человеку), но имевшим, надо сознаться, мало мозгу в голове. Он ему столько вещей насказал, так сильно убедил его и надавал столько обещаний, что бедняк решился отправиться вместе с ним и служить ему оруженосцем. Между прочим, Дон-Кихот сказал ему, что он должен без колебания решиться ему следовать; так как с минуты на минуту может представиться такое приключение, в котором он, Дон-Кихот, одним ударом руки приобретет целый остров и потом губернатором этого острова сделает своего оруженосца на всю жизнь. Соблазненный этим и тому подобными обещаниями, Санчо Панса (так звали крестьянина) оставил жену и детей своих и поступил оруженосцем к своему соседу. Дон-Кихот немедленно позаботился раздобыть денег и, продав одно, заложив другое, во всем терпя убытки, собрал некоторую сумму. В то же время он достал себе щит, одолженный ему одним из друзей, и, насколько мог, исправил разбитый шлем; потом он уведомил своего оруженосца Санчо о дне и часе, когда он думает отправиться в путь, чтобы тот также запасся всем, что считал для себя необходимым. Дон-Кихот в особенности советовал ему захватить сумку. Тот отвечал, что он ее не забудет, и сообщил вдобавок о своем



намерении взять с собою и своего осла, потому что он сам не обладает ни привычкой, ни склонностью делать пешком длинные переходы. Дон-Кихот некоторое время размышлял по этому поводу, стараясь отыскать в своей памяти такого рыцаря, которого бы сопровождал оруженосец, езда на осле. Но его память никак не могла представить ему ни одного такого примера. Однако он позволил Санчо захватить осла, предполагая впоследствии снабдить его более подходящим животным, отняв лошадь у первого же встретившегося непокорного рыцаря. Наконец, следуя совету хозяина постоялого двора, Дон-Кихот запасся также сорочками и другими вещами, которые только мог себе достать.

Совершив все это, они, не простившись, Панса – с своей женой и детьми, Дон-Кихот – с своей экономкой и племянницей; выехали в один прекрасный вечер из деревни никем не замеченные и всю ночь, так быстро ехали, что к рассвету могли себя считать уже в безопасности от погони, если бы на самом деле кто-либо вздумал пуститься на поиски их. Санчо Панса ехал, подобно патриарху, на своем осле, с сумкой и мехом и с сильным желанием видеть себя губернатором острова, обещанного ему его господином. Дон-Кихот поехал в том же направлении и по той же дороге, как и в прошлый свой выезд, т. е. через Монтиельскую долину, по которой он, однако, путешествовал теперь с меньшею неприятностью, чем прошлый раз, так как было раннее утро и солнце бросало на путников косые лучи, то они и не ощущали от этого никакого неудобства. Между тем Санчо сказал своему господину:

– Попомните же об этом, ваша милость, господин странствующий рыцарь! не забывайте обещанного вами острова. Я способен быть его губернатором, как бы он велик ни был.

На это Дон-Кихот отвечал:

– Знай, друг Санчо, что у странствующих рыцарей был некогда очень распространенный обычай делать своих оруженосцев правителями завоеванных островов или королевств, и я, с своей стороны, решил не нарушать такого похвального обычая. Более того, я хочу отличиться в этом от своих предшественников; часто и даже очень часто дожидались они, пока их оруженосцы сделаются старыми, потеряют силы у них на службе и утомятся от беспокойных дней и еще более беспокойных ночей; тогда они давали им титул графа или маркиза с более или менее значительною областью в придачу. Но если мы оба будем живы, может случиться, что я менее, чем в пять или шесть дней покорю королевство, окруженное несколькими подвластными королевствами, вот тогда-то ты будешь коронован королем одного из них. И ты не удивляйся этому: рыцарям

приходится встречать приключения такие необыкновенные, удивительные, что мне было бы легко дать тебе даже больше, чем я обещаю.

– В таком случае, – проговорил Санчо, – если, благодаря одному из этих чудес, я сделаюсь королем, то моя жена Хуана Гутьерес – чего доброго – будет, стало быть, королевой, не больше и не меньше, а дети мои – инфантами.

– Кто же в этом сомневается? – сказал Дон-Кихот.

– Я, – отвечал Санчо Панса, – потому что если бы Бог посылал, как дождь, короны на землю, то и тогда ни одной не пришлось бы по голове Марии Гутьерес; знайте, господин, такая королева не стоит и двух мараведисов. Еще графинею быть пристало ей лучше, и то да поможет ей Бог в этом.

– Ну и предоставь это Богу, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – Он подаст твоей жене то, что будет ей всего подходящее. Но ты никогда не удовлетворяйся меньшим, чем титул, по крайней мере, правителя области.

– Конечно, – ответил Санчо, – в особенности имея в вашей милости такого могущественного господина, который сумеет дать то, что лучше всего подойдет к моему росту и что могут вынести мои плечи.

## **ГЛАВА VIII**

### **О блестящем успехе доблестного Дон-Кихота в ужасном и невообразимом приключении с ветряными мельницами, а также и о других событиях, достойных приятного воспоминания**

В эту минуту они увидели на поле тридцать или сорок ветряных мельниц. Увидя их, Дон-Кихот сейчас же сказал своему оруженосцу:

– Судьба посылает нам дела даже лучшие, чем мы могли бы желать. Посмотри, друг Санчо, вот перед нами, по крайней мере, тридцать огромных великанов; я намереваюсь вступить с ними в битву и хочу убить их всех, сколько их есть. Добычею, отнятою у них, мы начнем свое обогащение, будет хорошим делом и большой заслугой перед Богом стереть с лица земли эту породу.

– Каких великанов? – спросил Санчо.

– Тех, которых ты видишь там, – ответил его господин, – с большими руками, длина которых равняется почти двум милям.

– Берегитесь же, – возразил Санчо, – то, что мы видим там, не великаны, а ветряные мельницы, а то, что вы принимаете за руки, – просто крылья, которые ворочаются от ветра и двигают мельничный жернов.

– Сразу видно, – сказал Дон-Кихот, – что ты неопытен в деле приключений: это великаны, говорю я тебе; и если ты боишься, то отойди подальше и стань на молитву, а я в это время дам им эту неравную, но страшную битву.

И сказав это, он дал шпоры своему коню Россинанту, не обращая внимания на уверения своего оруженосца Санчо, кричавшего ему, что, в самом деле, он нападает на ветряные мельницы, а не на великанов. Дон-Кихот же, в полном убеждении, что это – великаны, не слушал криков своего оруженосца Санчо и даже, когда был совсем близко, не узнал действительности. Напротив, он ехал все вперед, крича:

– Не бегите, подлые и презренные твари, на вас нападает только один рыцарь!

В это время поднялся маленький ветер, и крылья мельниц начали вращаться; видя это, Дон-Кихот крикнул:

– Можете размахивать руками сильнее, чем великан Вриарэ, все равно

вы мне поплатитесь.

Он говорит это от глубины своего сердца, поручает себя своей даме Дульцинее, прося ее помочь ему в таком опасном деле, затем, прикрывшись щитом, направив копье и заставив Россинанта бежать самым сильным галопом, бросается и нападает на первую попавшуюся мельницу; но в ту минуту, когда он сильным ударом копья пробил насквозь крыло, ветер повернул это последнее с такою силою, что оно разломало копье в куски и потащило за собою лошадь и рыцаря, который и покатился по земле в самом несчастном состоянии.

Санчо Панса поспешил к нему на помощь, насколько хватило прыти у его осла, и, приблизившись, нашел, что господин его не может ничем двинуться, так как сильно расшибся при падении вместе с Россинантом.

– Господи помилуй! – сказал Санчо, – не говорил ли я вашей милости, чтобы вы остерегались это делать, потому что это – просто ветряные мельницы, и только тот может сомневаться в этом, у кого такие же мельницы в голове.

– Молчи, друг Санчо, – ответил Дон-Кихот, – дела войны более, чем какие-либо другие, подвержены постоянным превратностям; кроме того, по моему мнению, – и я в этом, кажется, не обманываюсь – мудрый Фристон, похитивший мой кабинет и мои книги, превратил и этих великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы победы над ними – так непримирима его ненависть. Но, в конце концов, его проклятое искусство все-таки не победит силы моего меча.

– Да будет на то воля Божия, – отвечал Санчо Панса. И он помог своему господину сначала подняться, а затем влезть на Россинанта, у которого одна нога была наполовину вывихнута.

Разговаривая все еще о приключении, они направились по дороге к Лаписскому проходу, где, как говорил Дон-Кихот, не могло оказаться недостачи во всякого рода приключениях, так как этим местом ездило много народу. Дон-Кихот ехал сильно опечаленный тем, что потерял свое копье и, разговаривая об этом прискорбном обстоятельстве с своим оруженосцем, сказал ему:

– Я читал, помнится мне, что один испанский рыцарь, но имени Диег Перес-де-Варгас, разбив в сражении свой меч, сломил с дуба здоровый сук и этим оружием в тот же день совершил столько подвигов и умертвил столько мавров, что получил название Палицы, которое он и его потомки с тех пор прибавляли к имени де-Варгас. Я говорю это тебе потому, что с первого же дуба или вообще с первого дерева, которое попадется мне на дороге, я хочу сломать такой же здоровый сук, я с ним надеюсь совершить

такие подвиги, что ты почтешь себя счастливым, удостоившись быть свидетелем и очевидцем чудес, которым впоследствии весь мир поверит с трудом.

– Да будет воля Божья, – ответил Санчо, – и верю всему, что вы говорите. Но не мешало бы вашей милости немного выпрямиться; мне кажется, что вы держитесь довольно криво и, должно быть, еще чувствуете свое падение.

– Ты прав, – проговорил Дон-Кихот, – и если я не жалуясь на свою боль, то только потому, что странствующему рыцарю не позволено жаловаться ни на какие раны, хотя бы ему распороли живот и внутренности вывалились оттуда.

– Если это так, – возразил Санчо, – то мне нечего сказать более, но видит Бог, как бы я был рад, если бы ваша милость жаловались в тех случаях, когда вы ощущаете какую-либо неприятность. Что же касается меня, то я буду жаловаться при малейшей боли, если только, конечно, это запрещение жаловаться не распространяется также и на оруженосцев странствующих рыцарей.

Дон-Кихот не мог не посмеяться простоте своего оруженосца и объяснил ему, что он может совершенно спокойно жаловаться, когда и сколько ему будет угодно, по охоте или без всякой охоты, так как ничего противного этому он не читал в рыцарских законах.

Тогда Санчо заметил ему, что наступил час обеда, но Дон-Кихот ответил, что у него нет сейчас никакого аппетита, но что он, Санчо, может обедать, когда ему захочется. Получив это позволение, Санчо устроился, насколько мог удобнее, на своем осле и, вынув из сумки положенные туда запасы, продолжал путь сзади своего господина, закусывая с большим удовольствием; от времени же до времени он, запрокинув голову, пил из своего меха с такою ловкостью, что вселял бы зависть в любого кабатчика из Малаги. И когда он ехал, таким образом, попивая по глоточку, то он не думал ни об одном из обещаний, данных ему его господином, и считал вовсе не трудом, а скорее истинным отдохновением, отправляться на поиски за приключениями, даже самыми опасными, какие только могут быть.

Эту ночь они провели среди больших деревьев, у одного из которых Дон-Кихот отломил сухой сук, годный для того, чтобы, в случае нужды, служить копьём, и насадил на него железный наконечник от сломанного копья. Дон-Кихот не спал всю ночь, думая о своей даме Дульцинее, в подражание прочитанному им в книгах о том, как странствующие рыцаря проводили многие ночи без сна в лесах и пустынях, всецело занятые

воспоминаниями о своих дамах. Санчо Панса провел ночь совсем иначе; желудок его был полон и полон не цикорной водой, поэтому он спал без просыпу и разбудить его не могли ни солнечные лучи, падавшие ему прямо в лицо, ни пение тысячи птичек, радостно приветствовавших наступление нового дня: чтобы проснуться, ему нужно было услышать голос и зов своего господина. Открыв глаза, Санчо ласково погладил свой мех и, найдя его немного более тощим, чем накануне, опечалился в своем сердце, так как ему казалось, что им не придется наполнять его в скором времени. Что касается Дон-Кихота, то он отказался завтракать, предпочитая, как сказал он, подкреплять свои силы бодрыми воспоминаниями.

Они снова отправились по дороге к Лаписскому проходу и к трем часам пополудни прибыли к началу его.

– Здесь, – сказал Дон-Кихот при виде его, – здесь, друг Санчо, можем мы дать работу рукам до самых локтей в том, что называется приключениями. Но, будь осторожен! если бы даже ты увидел меня в страшной опасности, то и тогда ты не должен обнажать своего меча на защиту меня, разве только в том случае, если увидишь, что на меня нападает чернь или какие-нибудь негодяи, – только в этом случае ты можешь помочь мне; но если нападать будут рыцари, то рыцарские законы никак мы допускают и не позволяют тебе являться на помощь мне, пока ты сам не будешь посвящен в рыцари.

– Поверьте моей чести, господин, – ответил Санчо, – в этом я буду добросовестно слушаться вашей милости: тем более, что я от природы очень миролюбив и всегда питал отвращение к вмешательству в шум и распри. Однако, предупреждаю вас, что если только дело коснется защиты своей собственной особы, то я мало буду обращать внимания на эти законы; потому что, в конце концов, законы божеские и человеческие позволяют каждому защищаться, кто бы ни нападал на него.

– Я ничего не имею против того, – проговорил Дон-Кихот, – но что касается помощи мне против рыцарей, то в этом ты должен постараться сдерживать свою природную пылкость.

– Хорошо, – ответил Санчо, – я буду соблюдать этот приказ так же точно, как праздновать воскресенье.

В то время, как они так беседовали, на дороге показались два монаха из ордена св. Бенедикта, сидевшие верхом, и видимому, на двух дромадерах, так как мулы, на которых они ехали казались не меньшего роста. На глазах у них были дорожные очки, а в руках – зонтики. Сзади них ехала карета, которую сопровождали четыре или пять человек верховых и два пеших конюха. В этой карете находилась, как стало известно потом,

дама из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, собиравшийся отправиться в Индию на значительную должность. Монахи ехали не вместе с нею, но по одной дороге. Едва только Дон-Кихот заметил их, он сказал своему оруженосцу:

– Или я сильно обманываюсь или мне предстоит славнейшее приключение, какое только когда-либо видели, потому что эти черные привидения, появившиеся там, должны быть – и, без сомнения, это так и есть на самом деле – волшебники, которые везут в этой карате какую-нибудь похищенную принцессу, и на мне лежит долг употребить всю мою силу для исправления этого зла.

– Это приключение, – ответил Санчо, – кажется мне, будет еще хуже, чем приключение с ветряными мельницами. Будьте осторожны, мой господин, эти привидения – монахи бенедиктинцы, а карета принадлежит каким-нибудь путешественникам. Остерегайтесь, повторяю я, остерегайтесь делать то, что вы задумали, и пусть черт не соблазняет вас.

– Я уже тебе сказал, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – что ты мало понимаешь в деле приключений. То, что я сказал, совершенно верно, и мы это увидим сию же минуту.

Сказав это, он подвинулся вперед и стал посреди дороги, которой ехали монахи, и, когда он увидал их настолько близко к себе, что ему можно было услышать их, громко сказал им:

– Призраки и слуги дьявола! немедленно освободите высоких принцесс, которых вы силою увозите в этой карете; иначе готовьтесь принять скорую смерть, как справедливое возмездие за ваши злодеяния.

Монахи остановились и, не менее удивленные наружностью Дон-Кихота, чем его речью, ответили ему:

– Господин рыцарь, мы не призраки и не слуги дьявола, а просто два монаха ордена св. Бенедикта, едем своею дорогой и не знаем, сидят ли в этой карете высокие принцессы или нет.

– От меня не отделаться прекрасными словами, – снова проговорил Дон-Кихот, – и я хорошо вас знаю, бесчестная сволочь!

И, не дожидаясь ответа, он пришпорил Россинанта и, с опущенным копьем, бросился на первого монаха с такою силою и стремительностью, что, не свались тот заранее с своего мула, он был бы сброшен на землю с порядочною ранюю, если бы не был даже совсем убит ударом. Другой монах, видя, как поступили с его товарищем, обхватил ногами шею своего доброго мула и с быстротою ветра помчался по полю. При виде монаха лежащим на земле, Санчо Панса, легко соскочив со своего осла, бросился к упавшему и начал снимать с него платье. Между тем подбежали слуги двух

монахов и спросили его, зачем он обирает их господина. Санчо ответил, что эта добыча принадлежит ему по закону, вследствие одержанной его господином победы. Слуги, не любившие шутить и не понимавшие прекрасных выражений о добыче и победах, заметили, что Дон-Кихот удалялся для переговоров с людьми, сидевшими в карете; поэтому они накинулись на Санчо, повалили его на землю и, вырвав сначала у него бороду почти до последнего волоса, начали потом осыпать его ударами до тех пор, пока он не растянулся на земле бездыханным и беспмятным. Монах, не теряя ни минуты, снова влез на своего мула дрожащий, испуганный и без кровинки в лице; затем, устроившись верхом на нем, он направился к своему товарищу, который ожидал его на некотором расстоянии, посматривая, что произойдет из этой внезапной суматохи; и оба они, не желая ожидать конца приключения, поехали дальше своего дорогою, творя крестные знамения чаще, чем если бы за ними по пятам гнался дьявол.

Что же касается Дон-Кихота, то он вступил в разговор, как уже сказано, с дамой в карете; он сказал ей:

– Ваша красота, сеньора, может отныне располагать собою по своему желанию, ибо там валяется теперь во прахе гордость ваших похитителей, ниспровергнутая этой грозной рукой. И чтобы вам избежать затруднения в угадывании имени вашего избавителя, знайте, что я Дон-Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, плененный несравненно-прекрасной доньей Дульцинеей Тобозской. И в вознаграждение за услугу, оказанную мною вам, я прошу у вас только одного, это – отправиться в Тобозо, представиться от меня этой даме и рассказать ей все, что я совершил для вашего освобождения.

Всю эту речь Дон-Кихота слышал один из всадников, сопровождавших карету. Это был бискаец. Видя, как, вместо того, чтобы отпустить карету в путь, наш герой приказывает дамам немедленно отправиться в Тобозо, – бискаец подошел к Дон-Кихоту, схватил его копье и грубым, не то кастильским, не то бискайским языком, сказал ему:

– Уходи, рыцарь, что ты пристаешь? клянусь Богом, создавшим меня, если ты не отпустишь кареты, то так не верно, как то, что я бискаец, быть тебе мертвым.

Дон-Кихот понял его очень хорошо и с изумительным хладнокровием ответил:

– Если бы ты был рыцарем, на которого ты ни мало по похож, низкая тварь, то я бы наказал твою дерзость и грубость.

На это бискаец возразил:



– Я – не рыцарь? Клянусь Богом, никогда христианин не лгал больше этого. Если ты бросишь копье и вытащишь свой меч, то скоро узнаешь это, когда полетишь ко всем чертям. Бискаец на суше, гидальго на море, гидальго – черт знает, а ты лжешь, если говоришь иначе.

– Это мы посмотрим, – отвечал Дон-Кихот. И, бросив копье на землю, он обнажает свой меч, берет щит и устремляется на бискайца с твердым намерением умертвить его.

Бискаец, видя его приближение, хотел было соскочить со своего плохого наемного мула, на которого он не мог положиться; но успел только обнажить свой меч. К своему счастью, находясь вблизи кареты, он имел возможность схватить одну подушку, которая и послужила ему щитом. Вслед за тем они бросились друг на друга, как будто они были смертельными врагами. Присутствовавшие хотели было разнять их; но это оказалось невозможным, так как бискаец клялся на своем странном языке, что если будут мешать поединку, то он убьет и госпожу свою и всякого, кто осмелился бы вступить. Дама в карете, одновременно и удивленная и испуганная всем ею виденным, приказала кучеру свернуть немного в сторону и на некотором расстоянии стала смотреть на страшную встречу.

В этой битве бискаец обрушился таким свирепым ударом меча на плечо Дон-Кихота, что, не прикроясь последний щитом, он был бы рассечен до самого пояса. Дон-Кихот, почувствовав тяжесть этого удара, издал громкий крик и сказал:

– О, владычица моей души, Дульцинея, цвет красоты, помогите вашему рыцарю, который, желая угодить вам, как вы того заслуживаете, находится в такой крайности. Произнести эти слова, сжать меч, прикрыться щитом и напасть на бискайца – было делом одного момента; он был убежден, что все зависело от единственного удара. Бискаец уже по одному виду, с каким приближался его противник, угадал его ярость и решил употребить тот же прием, какой употребил Дон-Кихот; поэтому он ожидал его, хорошо прикрывшись своей подушкой, но повернуть мула ему не удалось ни на ту, ни на другую сторону, так как бедное животное; измученное усталостью и мало привычное к подобного рода потехам, было не в силах сделать ни одного шага. И вот, как уже было сказано, Дон-Кихот бросился с поднятым мечем на благоразумного бискайца, решившись разрубить его пополам, бискаец же ожидал его с обнаженным мечем и под прикрытием подушки. Все присутствовавшие в страхе и с любопытством ожидали исхода этих ужасных ударов. Дама, сидевшая в карете, и ее служанки воссылали тысячи молитв и давали тысячи обетов наиболее уважаемым иконам и наиболее известным церквам Испании, моля Бога

защитить их оруженосца и освободить их самих от опасности... Но, к несчастью, на этом самом месте автор этой истории оставляет битву нерешенной и в свое извинение говорит, что относительно этих подвигов Дон-Кихота он не нашел никаких других письменных свидетельств, кроме того, что было им уже рассказано. Однако другой автор этого сочинения не хотел верить тому, чтобы такая любопытная история могла быть поглощена рекою забвения, и чтобы у лучших умов Ламанчи не хватило заботливости сохранить в своих архивах и книгохранилищах рукописи, рассказывающие об этом славном рыцаре. Вот эта, именно, мысль и не позволяла ему терять надежду отыскать конец этой занимательной истории и, действительно, он нашел этот конец – каким способом, это будет сообщено во второй части.

## ГЛАВА IX

### **В которой происходит и оканчивается битва между храбрым бискайцем и доблестным уроженцем Ламанчи**

Мы оставили в первой части этой истории мужественного бискайца и славного Дон-Кихота с обнаженными и поднятыми мечами, готовых обрушиться друг на друга двумя такими яростными ударами острой стали, что, нанеси они их полностью, они разрубили бы друг друга сверху до низу и открылись бы пополам подобно двум разрезанным яблокам, но именно на этом то опасном месте мы видим эту интересную историю оставшейся без продолжения; точно обрезанную, при чем автор даже не указал нам, где бы можно было найти ее продолжение. Это причинило мне большое огорчение: удовольствие, полученное от немногого прочитанного, сменилось неудовольствием, когда я представил себе, как будет мне, трудно разыскать недостающее такому интересному повествованию. Тем не менее, мне казалось невозможным и несогласным, со всеми добрыми обычаями, чтобы для такого храброго рыцаря не осталось какого-нибудь мудреца, который бы возложил на себя обязанность описать его изумительные подвиги: в этом не ощущал недостатка ни один из странствующих рыцарей, про которых народ говорит, что они отправляются на свои приключения, и каждому из таких рыцарей всегда так кстати случалось иметь одного для двух мудрецов, описывавших не только все его дела и телодвижения, но выслеживавших даже его самые незначительные и пустые мысли, как бы глубоко они не были спрятаны. Не мог же такой доблестный рыцарь быть настолько несчастлив, чтобы не иметь того, что в такой широкой степени было дано Платиру и ему подобным. Поэтому не мог ли я допустить, что история была нарезана на куски и искалечена, и вину в этом приписать злобе всепожирающего и всеистребляющего времени, уничтожившего или скрывшего и эту историю. Кроме того, я говорил себе, так как между книгами нашего героя нашлись и, такие современные, как Средства, против ревности и Генаресские нимфы, и пастухи, то история его должна быть тоже современной и, даже, если предположить, что она не была написана, ее все-таки можно восстановить, пользуясь воспоминаниями жителей его деревни и окрестной страны.

Эта мысль не переставала занимать меня, и я горел самым сильным

желанием узнать целиком жизнь и чудесные подвиги нашего славного испанца Дон-Кихота Ламанчского, светоча и зеркала ламанчского рыцарства, первого в наш век и в эти бедственные времена избравшего для себя призвание странствующего рыцаря, первого давшего обет исправлять несправедливости, помогать вдовам, защищать девиц, – даже таких девиц, которые верхом на лошади, с хлыстом в руке и со всею тяжестью и неудобством своей девственности, разгуливали по горам и долинам, так что, если, даже, какой-нибудь вероломный рыцарь, или вооруженный негодяй, или громадный великан и не употребляли над ними насилия, то все-таки такая девица под конец восьмидесяти лет жизни, не проведя ни одной ночи под крышею, сходила в могилу такую же целомудренною, как и родившая ее мать. Я говорю, что в этом отношении и во многих других наш великодушный Дон-Кихот достоин великих и вечных похвал; нельзя отказать в них и мне самому за весь тот труд, который я предпринял для разыскания конца этой занимательной истории, принимая, впрочем, в соображение, что, если бы небо, судьба и обстоятельства не пришли мне на помощь, то мир лишился бы приятного времяпровождения, которое теперь в течение почти двух часов доступно всякому, кто только пожелает прочесть эту историю со вниманием. Вот каким образом сделал я это открытие:

Находясь однажды в Толедо, на улице Алькалы, я увидел мальчика, продававшего старые бумаги торговцу шелковыми товарами. Я всегда питал истинную страсть к чтению, так что с удовольствием стал бы собирать клочки бумаг, выброшенных на улицу. Я читал их, побуждаемый моей природной склонностью, я взял одну из тетрадей, которые продавал мальчик, и увидел, что буквы были на ней арабские. Узнать-то я их узнал, но прочесть их я был, все-таки, не в состоянии, а потому стал поглядывать по сторонам – нет ли по близости какого-нибудь обьиспанившегося мориска, который сумел бы прочесть их мне; найти такого толмача стоило мне небольшого труда, так как, если бы мне понадобился таковой даже для более уважаемого и более древнего языка, то и тогда я, наверное, нашел бы желаемое.<sup>[13]</sup> И вот, когда случай привел мне одного, я сообщил ему о своем желании, вручив книгу. Он открыл ее посередине, почитал одну минуту и рассмеялся. Я спросил его, чему он смеется.

– Над одним примечанием, – сказал он – которое сделано на полях этой книги.

Я попросил его прочесть вслух это примечание. Он, все еще смеясь, продолжал:

– Вот что написано на полях: «Эта Дульцинея Тобозская, о которой так часто упоминается в этой истории, была, говорят, первой мастерицей солить свиней между всеми женщинами Ламанчи».

Когда я услышал имя Дульцинеи Тобозской, я был поражен; так как немедленно же вообразил, что эти бумаги содержат историю Дон-Кихота. Под влиянием этой мысли, я стал настоятельно просить мориска прочесть мне заглавие, и он, в угоду мне, переводя прямо с арабского на кастильский, сказал, что эта тетрадь начинается так: история Дон-Кихота Ламанчского, написанная арабским историком Сид Гамедом Бен-Энгели. Мне потребовалось не малое благоразумие, чтобы скрыть радость, которую я испытал, услышав заглавие произведения. Я вырвал его из рук торговца шелком и купил все эти старые бумаги у ребенка за полреала; но, если бы у него хватило ума догадаться, как сильно я желаю их приобрести, он мог бы воспользоваться этим и нажить от продажи их более шести реалов.

Поспешно уйдя оттуда вместе с мориском, я ввел его за ограду собора и там просил его перевести мне по-кастильски все эти тетради или, по крайней мере, имеющие отношение к Дон-Кихоту, обещая уплатить ему за эту работу, сколько он пожелает. Он удовольствовался тем, что попросил полтора пуда изюма и четыре четверика пшеницы и дал слово мне перевести тетради, насколько возможно, верно и быстро. Я же, чтобы еще более облегчить дело и не упустить из рук такой драгоценной находки, увел мориска к себе, где он менее, чем в шесть недель, перевел всю историю так, как она рассказана здесь.

В первой тетради с замечательною верностью изображена битва Дон-Кихота с бискайцем; оба они находятся в том положении, в каком их оставила история, – с подмятыми мечами и закрывшихся один – щитом, другой – подушкой. Мул бискайца был нарисован с такою верностью, что на расстоянии мушкетного выстрела в нем можно было бы узнать наемного мула. Под ногами бискайца были написаны слова: Дон-Санчо-де-Аспейтия, так, вероятно, было его имя; у ног Россинанта можно было прочесть: Дон-Кихот. Россинант был чудесно представлен, – такой длинный, неуклюжий, тонкий и худой, с сильно выдавшимся крестцом и чахлой шеей, что своим видом он ясно свидетельствовал, как справедливо и удачно дал ему его господин название Россинанта. Около него находился Санчо Панса, придерживавший за недоуздок своего осла; у ног его была видна надпись, гласившая: Санчо Санкас, каковое имя происходило, вероятно, оттого, что он, как представлял его рисунок, имел толстый живот, короткое тело, слабые и кривые ноги; это объясняет прозвища Панса и Санкас, которые история дает ему попеременно.

Можно было бы отметить еще несколько мелких подробностей; но они имеют мало значения и не прибавляют ничего к истинности этой истории, то есть ее главному достоинству, ибо рассказ не может быть плох, если он только верен. Если и может возникнуть какое-либо сомнение в его искренности, так разве только то, что автор его – араб, а люди этой породы пользуются плохим доверием, но в этом отношении, вследствие ненависти, которую они к нам питают, писателя можно заподозрить скорее в замалчивании происшедшего, чем в том, что он перешел границы действительности. Таково, признаюсь, мое мнение; потому что, когда он мог бы и должен бы был распространяться в похвалах такому славному рыцарю, он, очевидно, обходит их молчанием; это – нехорошо, вообще, и еще хуже, если это делается намеренно, так как историки должны быть правдивы, точны и свободны от всякого пристрастия; ни личный интерес, ни страх; ни ненависть, ни дружба не должны уклонять их с пути истины, ибо истина есть мать истории – соперницы времени, хранилища человеческих деяний, свидетельницы прошедшего, примера настоящему, поучения будущему. Я знаю, что здесь найдут все, что только можно пожелать от самой приятной истории; если же чего-либо хорошего и недостает в ней, то в этом следует, по моему мнению, обвинять скорее собаку – автора,<sup>[14]</sup> чем бесплодность сюжета. Затем, согласно переводу, вторая часть начинается таким образом.

При виде острых мечей, поднятых в воздухе двумя храбрыми и разъяренными противниками, всякий сказал бы, что сражающиеся грозят небу, земле и преисподней, – столько было могущества и решимости в их позах! Первым нанес удар пылкий бискаец и ударил с такой силой и яростью, что, не уклонись его меч с своего пути, этого одного удара было бы достаточно, чтобы положить конец страшной битве и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая звезда последнего, сохранявшая его для более важных дел, отвратила меч его противника, успевший только задеть левое плечо, и единственный вред, который он причинил, состоял в том, что он лишил вооружения всю эту сторону, захватив по дороге добрый кусок шлема и половину уха; все это с страшным громом упало на землю. Великий Боже! кто может рассказать, какую яростью исполнилось сердце сына Ламанчи, когда он это увидал! С меня довольно только сказать, что он снова поднялся на стременах и, сжав крепче обеими руками свой меч, с такой яростью обрушился на бискайца, ударив его сразу и по подушке и по голове, что, не смотря на свою крепкую защиту, бедняку показалось, будто целая гора обвалилась на него. Кровь хлынула у него из носа, рта и ушей; он был уже готов, по-

видимому, упасть с мула и, неминуемо, упал бы, если бы не обвил руками шеи животного. Но, все-таки, ноги его выскочили из стремян, затем и руки разжались, а мул, испуганный этим страшным ударом, побежал по полю и, после трех или четырех скачков, повалился вместе с своим всадником.

Дон-Кихот наблюдал все это с величайшим хладнокровием, когда же он увидел, что его противник упал, он соскочил с коня, быстро подошел к упавшему и, приставив острие копья между его глаз, предлагал ему сдаться, в противном случае угрожая отрубить ему голову. Бискаец, совсем разбитый, не мог ответить ни одного слова и ему пришлось бы очень плохо – настолько Дон-Кихот был ослеплен гневом – но дамы, которые сидели в карете и смотрели на бой, ежеминутно готовые упасть в обморок, подбежали к рыцарю и, осыпая его великими похвалами, стали умолять его сжалиться и, из любви к ним, пощадить жизнь их оруженосцу. На это Дон-Кихот, со значительною важностью и величием, ответил:

– Конечно, благородные и прекрасные дамы, я буду счастлив сделать то, чего вы требуете, но только под одним условием: пусть этот рыцарь дает мне обещание отправиться в деревню Тобозо и от моего имени представиться несравненной донье Дульцинее, которая может располагать им, как ей будет угодно.

Дрожащие и огорченные дамы, не пытаясь даже объяснить себе, чего желал Дон-Кихот, и не спрашивая, кто эта Дульцинея, обещали нашему герою, что их оруженосец в точности исполнит все то, что будет приказано ему рыцарем.

– В таком случае, – произнес Дон-Кихот, – полагаясь на ваше слово, я согласен даровать ему жизнь, хотя он вполне заслужил смерть.

## ГЛАВА X

### О забавной беседе, которую вели между собою Дон-Кихот и Санчо Панса, его оруженосец

Спустя некоторое время Санчо Панса, с которым не совсем вежливо обошлись слуги монахов, поднялся и, наблюдая с большим вниманием битву своего господина Дон-Кихота, от всего сердца молил Бога даровать ему победу, чтобы его господин этой победой мог приобрести какой-нибудь остров и губернатором этого острова, согласно своему обещанию, сделать его, Санчо. Увидя потом, что поединок окончился и господин его собирается снова сесть на Россинанта, он подбежал поддержать ему стремя; но, прежде чем пустить его сесть, он стал перед ним на колени, попросил у него руку и поцеловал ее со словами:

– Соблаговолите, ваша милость, мой добрый господин Дон-Кихот, дать мне управление островом, завоеванным вами в этой жестокой битве; как бы велик он ни был, я чувствую в себе достаточно силы, чтобы управлять им так хорошо, как никто не управлял никаким островом во всем мире.

Дон Кихот ответил на это:

– Подожди, друг Санчо, это приключение не из тех, в которых завоевываются острова, это только – одна из встреч, обыкновенных на больших дорогах, – встреч, из которых можно извлечь только ту выгоду, что разобьешь себе голову и потеряешь ухо. Но вооружись терпением, нам представятся еще другие приключения, благодаря которым я буду иметь возможность сделать тебя не только губернатором, но чем-нибудь получше. Санчо с живостью поблагодарил Дон-Кихота и снова поцеловал его руку и низ кирасы; он помог ему влезть на Россинанта, сам взобрался на своего осла и последовал за господином, который, позабыв думать о дамах в карете, быстро поскакал и вскоре въехал в лес, находившийся неподалеку.

Санчо старался поспевать за ним во всю прыть его осла; но Россинант бежал так быстро, что наш оруженосец скоро отстал и потому был принужден крикнуть своему господину, чтобы он его подождал. Дон-Кихот попридержал тогда Россинанта и дождался, пока к нему не присоединился его отставший оруженосец. Этот же, подъехавши, сказал ему:

– Мне кажется, господин, с нашей стороны было бы очень благоразумно укрыться где-нибудь в церкви, потому что вы так нехорошо поступили с человеком, с которым у вас произошел бой, что он, пожалуй,



вздумает сообщить об этом святой германдаде и посадить нас в тюрьму. А право, если это случится, то нам придется порядком похлопотать, прежде чем удастся выйти из тюрьмы.

– Молчи – ты, – сказал Дон-Кихот, – где ты это видел, или читал, чтобы странствующий рыцарь был привлекаем к суду, какое бы количество смертоубийств он ни совершил?

– Я не знаю за собой никаких смертоубийств, – отвечал Санчо, – и во всю мою жизнь никто не мог упрекнуть меня в этом. Только я знаю хорошо, что тем, которые дерутся в стране, приходится иметь дело со святой германдадой, что я и хочу сказать.

– Ну, так не беспокойся, мой друг, – ответил Дон-Кихот, – я вырву тебя, если будет нужно не только из рук святой германдады, а даже из рук самих филистимлян. Но скажи мне; видал ли ты во всю свою жизнь, в целой вселенной, более храброго рыцаря, чем я? Читал ли ты в каких-нибудь историях про кого-нибудь другого, у которого было бы больше стремительности в нападении, больше твердости в битве, больше быстроты наносить удары и больше ловкости сбрасывать противника с лошади?

– По правде, сказать вам, – ответил Санчо, – я никогда не читал никакой истории по той причине, что не умею ни читать, ни писать; но осмелюсь сказать вам, что во всю мою жизнь я не служил более отважному господину, и молю Бога, чтобы Он не допустил вас поплатиться за свою отвагу так, как я только что говорил. Но теперь я посоветовал бы вашей милости перевязать ваше ухо, потому что из него сильно течет кровь. У меня есть в сумке корпия и белая мазь.

– Все это было бы излишним, если бы я позаботился заранее приготовить банку бальзама Фьерабраса, – сказал Дон-Кихот, – достаточно было бы одной капли его, чтобы сберечь и время и лекарства.

– Что это за банка и что за бальзам? – спросил Санчо.

– Это такой бальзам, – ответил Дон-Кихот, – рецепт его остался у меня в памяти, – имея который нет надобности бояться ни смерти, ни смертельной раны. Поэтому, когда я его приготовлю и отдам тебе на хранение, ты должен делать только одно: если ты увидишь, что в какой-нибудь битве меня перерубили пополам, как это много раз бывало, то поспеши подобрать упавшую на землю часть моего тела и, пока еще не запеклась кровь, приставь эту часть, насколько возможно, ровнее к другой половине, которая осталась в седле, заботясь при этом, чтобы обе части тела прились друг к другу как можно плотнее; затем ты мне дашь выпить только два глотка этого бальзама, и после этого опыта я предстану пред тобою свежее, чем роза.

– Если это так, – проговорил Санчо, – то я с этой минуты отказываюсь от губернаторства на обещанном острове и в награду за мои добрые и многочисленные заслуги желаю только, чтобы ваша милость дали мне рецепт этой чудесной жидкости; я думаю, что она везде будет стоять, по крайней мере, два реала за унцию, а в таком случае мне больше ничего не надобно, чтобы порядочно и без забот прожить всю жизнь. Но вопрос в том – дорого ли будет стоять приготовить побольше этой жидкости?

– Менее чем на три реала, – сказал Дон-Кихот, – этого бальзама можно приготовить более трех пинт.

– Великий Боже! – воскликнул Санчо, – что же вашей милости мешает сделать его и научить меня этому?

– погоди, друг, – ответил Дон-Кихот, – я надеюсь научить тебя многим другим секретам и осчастливить многими другими милостями, теперь же помоги мне полечиться, потому что это ухо причиняет мне больше страданий, чем я бы желал.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но едва Дон-Кихот заметил свой разбитый шлем, он едва не потерял рассудка; положив руку на меч и подняв глаза к небесам, он воскликнул:

– На четырех Евангелиях я на каком угодно месте в них приношу клятву Творцу всей вселенной вести жизнь такую, какую вел великий маркиз Мантуанский, когда он поклялся отмстить за смерть своего племянника Бальдовиноса, то есть не есть хлеба со скатерти, не любезничать с женщиной и отказаться от многого другого (чего я сейчас не могу припомнить, но я подразумеваю все это в моей клятве) до тех пор, пока не произведу страшного мщения над тем, кто причинил мне такое повреждение.

Услышав это, Санчо сказал ему:

– Обратите внимание, ваша милость, господин Дон-Кихот, на то, что, если рыцарь исполнит данное вами ему поручение, отправившись представиться госпоже Дульцинее Тобозской, то он тем заплатит вам свой долг, и не будет заслуживать более никакого наказания, если только, конечно, он не совершит нового проступка.

– Ты заметил это очень разумно и, как нельзя лучше, указал на затруднении, – ответил Дон-Кихот; – и потому я уничтожаю мою клятву в том, что касается мщения виновному; но повторяю и подтверждаю ее снова относительно упомянутого мною образа жизни, который я буду вести до тех пор, пока не отниму у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же прочного и прекрасного. И не думай, Санчо, что я говорю это на ветер, нет! в этом я даже не лишен образца, потому что точь-в-точь также произошло

со шлемом Мамбрина, стоившим так дорого Сакрипану.

– Э, господин мой, – возразил Санчо, – пошлите вы к черту все эти клятвы, так же вредные для здоровья, как и стеснительные для совести. Скажите мне, пожалуйста, что будем делать мы в том случае, если мы, как нарочно, не встретим человека, наряженного в шлем? Будете ли вы тогда исполнять вашу клятву, несмотря на многие неприятности и неудобства, как, например, – спать совсем одетым, не спать в жилом месте, и тысячу других наказаний, содержащихся в клятве этого старого безумца маркиза Мантуанского, которую ваша милость хотите теперь подтвердить? Подумайте только, прошу вас, что этими дорогами не ездят вооруженные люди, а только погонщики мулов да ямщики, которые не только не носят шлемов, но даже никогда и не видали этого рода головного убора.

– Ты в этом ошибаешься, – возразил Дон-Кихот, – потому что не проедем мы и двух часов по этим перекрещивающимся дорогам, как увидим вооруженных людей более, чем перед замком Альбраки, в войне за прекрасную Алгелику.

– Тогда вперед и пусть будет так! – сказал Санчо, – пусть будет угодно Богу, чтобы все шло так хорошо, и чтобы поскорее наступила та минута, когда будет завоеван этот остров, стоивший мне так дорого, – хотя бы я умер от радости при этом!

– Я уже сказал тебе, Санчо, чтобы ты не беспокоился об этом; допустим даже, что мы не найдем острова, то вот тебе, например, королевство Динамаркское или Собрадискское, которые точно созданы для тебя, как кольцо для пальца; они тебе тем более подходящи, что расположены на твердой земле. Но оставим это до поры до времени. Посмотри в сумке, нет ли у тебя чего-нибудь поесть, а потом мы отправимся на поиски какого-нибудь замка, где бы мы могли провести ночь и приготовить этот бальзам, о котором я тебе говорил; потому что, право, это ухо причиняет мне жестокие страдания.

– У меня есть одна луковица, немного сыру и, не знаю, сколько-то черствых корок хлеба, – сказал Санчо, – но эти блюда, пожалуй, не годятся для такого храброго рыцаря, как вы.

– Какая глупость! – воскликнул Дон-Кихот. – Знай, Санчо, что не есть по целому месяцу составляет славу странствующих рыцарей; когда же они едят, то довольствуются тем, что найдут под рукой. Если бы ты прочитал столько историй, сколько я, то ты бы не сомневался в этом. Я прочитал их тысячи, и ни в одной из них я не встречал упоминания, чтобы странствующие рыцари ели, кроме редких случаев и нескольких великолепных праздников, даваемых в честь их, чаще же они питались

одним воздухом. И хотя не следует думать, чтобы они могли жить, не евши и не удовлетворяя других естественных надобностей, потому что ведь все-таки они были такие же люди, как и мы, но отсюда следует заключить, что, находясь по обыкновению среди пустыней и лесов и не имея при том повара, они для своих обыденных обедов удовлетворялись такими же грубыми кушаньями, какие ты мне предлагаешь сейчас. Поэтому, друг мой Санчо, не огорчайся тем, что доставляет мне удовольствие, и не пытайся переделать мир и изменить древние обычаи странствующего рыцарства.

– Прошу извинения, – ответил Санчо, – не умея ни читать, ни писать, как я уже вам сказал, я не мог приобрести познаний в правилах рыцарских занятий; но с этих пор я буду снабжать сумку всякого рода сухими плодами для вашей милости, как рыцаря; для себя же, так как я не рыцарь, я буду припасать другие, более существенные предметы.

– Я не говорю того, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – будто бы странствующие рыцари были обязаны не есть ничего, кроме плодов, о которых я тебе говорил; я сказал только, что их обычная пища должна состоять из плодов и некоторых растущих на поле трав, которые они умели распознавать и которые я тоже знаю.

– Это очень полезно, – сказал Санчо, – знать такие травы и, если я не ошибаюсь, такое знание пригодится нам не один раз.

После этого, он вытащил из сумки все, что, по его словам, у него было, и оба вместе мирно занялись едой. Но, так как на ночь им желалось отыскать ночлег, то они торопились поскорее покончить с своим сухим и бедным ужином. Затем они сели опять на своих животных и поспешили отыскать какое-нибудь жилище засветло; но, когда они подъехали к шалахам пастухов коз, солнце уже, скрылось, а с ним вместе скрылась и их надежда найти то, чего они искали. Поэтому они и решили здесь провести ночь. Насколько велика была досада Санчо, когда им не удалось найти жилого места, настолько же сильную радость испытывал его господин при мысли о возможности спать под открытым небом, потому что, в глазах Дон-Кихота, каждый случай такого рода являлся как бы новым актом воздержания, облегчавшим для него испытания в ордене странствующего рыцарства.

## ГЛАВА XI

### О происшедшем между Дон-Кихотом и пастухами

Пастухи оказали Дон-Кихоту хороший прием; Санчо, пристроив поудобнее Россинанта и своего осла, направился тоже к ним, соблазненный запахом, который издавали несколько кусков козьего мяса, варившиеся в котелке на огне. Он хотел было немедленно же осведомиться, сварилось ли мясо настолько, чтобы можно было отправить его из котелка в желудок; но этого он не успел сделать, потому что пастухи сняли уже котелок с огня. Они постлали на землю несколько бараньих кож, старательно собрали свой простой ужин и очень гостеприимно пригласили двух пришельцев разделить его с ними. Все они – компания состояла из шестерых – сели, поджав ноги, вокруг кож, попросив сначала со своею деревенскою вежливостью Дон-Кихота сесть на деревянное корыто, опрокинутое ими для того, чтобы оно могло служить сиденьем. Дон-Кихот сел и Санчо же стал сзади него, чтобы подавать ему пить из простой роговой чаши. Его господин, увидав, что он стоит, сказал ему:

– Чтобы ты видел, Санчо, какие преимущества заключает в себе странствующее рыцарство, и насколько всякий, по какому-либо праву, принадлежащий к нему, достоин почестей и уважения, – я хочу, чтобы ты сел рядом со мною и, в обществе этих добрых людей, представлял одно со мною, твоим хозяином и природным господином, чтобы ты ел с одного блюда со мною и пил из той же чаши, из которой пью я; ибо о странствующем рыцарстве можно сказать точь-в-точь тоже самое, что о любви, которая равняет всех и все.

– Много благодарен, – ответил Санчо, – но осмелюсь доложить вашей милости, что я, стоя и в сторонке, угощаюсь так же хорошо и даже еще лучше, чем сила бок о бок с самим императором; и даже, по правде сказать, мне доставляет больше удовольствия есть хотя бы только лук да хлеб, но за то в своем уголке и без всяких церемоний, чем кушать индейку за таким столом, где надо жевать медленно, пить маленькими глотками, каждую минуту утираться, и где я не могу ни чихнуть, ни кашлянуть, когда мне захочется, ни позволить себе другие вольности, которые допускают уединение и свобода. Поэтому, господин мой, те почести, которые ваша милость хотите оказать мне, как члену странствующего рыцарства и вашему оруженосцу, благоволите превратить во что-нибудь другое, что представляло бы для меня больше пригодности и пользы, потому что от

этих почестей, хотя я их и высоко ценю, я отныне и до века отказываюсь.

– Все-таки ты сядь, – сказал Дон-Кихот, – Бог возносит смиряющегося; – и, взяв его за руку, он заставил его сесть рядом с собою.

Пастухи, ничего не понимавшие в этом языке оруженосцев и странствующих рыцарей, продолжали есть, молча и поглядывая на своих гостей, которые тоже с хорошим аппетитом и с наслаждением уписывали куски величиною в кулак. Покончив с мясным блюдом, пастухи высыпали на кожи некоторое количество сладких желудей и поставили на ту же скатерть половину такого твердого сыра, как будто он был сделан из известки. Между тем рог не бездействовал: он с такою быстротою ходил вокруг, являясь то полным, то пустым, подобно ковшам водоливного колеса, что вскоре осушил один из двух имевшихся мехов.

Когда Дон-Кихот вполне удовлетворил свой желудок, он взял горсть желудей, подержал в своей руке и, со вниманием посмотрев на них, выразился приблизительно так:

– Счастливы те времена, которым древние дали имя золотого века, счастливы не потому, что этот металл, так высоко ценимый в наш железный век, добывался без всякого труда в ту блаженную эпоху, но потому, что жившие тогда не знали этих двух слов: твое и мое. В то святое время все вещи были общими. Чтобы добыть себе нужное для ежедневного поддержания жизни, каждому стоило только протянуть руку и достать себе пищу с ветвей могучих дубов, которые свободно приглашали его насладиться их вкусными плодами. Светлые ручейки и быстрые реки в изобилии предлагали каждому свои прозрачные, восхитительные воды. В расщелинах скал и дуплах деревьев трудолюбивые пчелы устраивали свои республики, безвозмездно предоставляя рукам первого пришедшего обильную жатву своего мирного труда. Как будто желая быть предупредительными, крепкие пробковые деревья обнажали сами себя от широкой и толстой коры, которою люди начали покрывать хижины, воздвигнутые на простых столбах с единственной целью иметь убежище от небесных невзгод. Всюду были мир, дружба, согласие. Кривое железо тяжелого плуга не дерзало еще открывать и разрывать темную утробу нашей первой матери, ибо последняя и без принуждения, на всех местах своего обширного и плодородного лона, предлагала все нужное для питания и наслаждения произведенных ею детей. В это же самое время прекрасные и невинные пастушки бродили по холмам и лугам, с непокрытою головой, с волосами, ниспадающими длинными прядями, и без всяких лишних одежд кроме тех, которые скромно прикрывали то, что целомудрие прикрывало и всегда будет прикрывать. Их украшения

нисколько не походили на те, которые носят теперь, и не были такими дорогими; они не украшали себя ни шелков, ни тирским пурпуром, а вплетали себе в волосы только листья плюща и в этом наряде казались такими же прекрасными и величественными, как и наши придворные дамы, прибегающие для своего украшения к причудливым и дорогим выдумкам – плодам их праздности и любопытства. Нежные движения души обнаруживались тогда просто, непринужденно, – именно так, как они чувствовались, и не искали для своего выражения ложных оборотов искусственного языка. Обман, ложь, злоба не являлись еще и не примешивались к откровенности и доверию. Царствовали одна справедливость, пристрастие же и себялюбие, теперь преследующие и угнетающие ее, не осмеливались тогда возвышать своего голоса. Дух произвола не овладевал еще умами судей, ибо в то время некого и нечего было судить. Молодым девушкам с их неразлучною спутницею – невинностью, где бы они ни находились, как я уже сказал, не было причин опасаться бесстыдных речей и преступных покушений; если и случалось им падать, то это происходило по их доброй воле. В наш же развращенный век, ни одна девушка не может считать себя безопасной: хоть будь она заперта и спрятана в новом критском лабиринте, услуги проклятого волокитства вползут через его малейшие щели, вместе с воздухом проникнет любовная чума, и тогда прощай все добрые правила!.. Вот для исцеления этого-то зла, которое с течением времени не переставало расти вместе с развращенностью, был учрежден орден странствующих рыцарей, чтобы оказывать защиту девушкам, покровительство вдовам, помощь сиротам и нуждающимся. Братья пастухи! я принадлежу к этому ордену и благодарю вас за любезный прием, оказанный вами мне и моему оруженосцу. Хотя, по естественному закону, все живущие на земле обязаны помогать странствующим рыцарям, но вы, и не зная этой обязанности, тем не менее приняли меня и обошлись со мной хорошо; а потому, по справедливости, я должен от всего сердца поблагодарить вас за ваше доброе расположение.

Всю эту многословную речь, ради которой, пожалуй, ему и не стоило бы трудиться, наш рыцарь произнес только благодаря тому, что предложенные ему желуди возбудили в нем воспоминания о золотом веке и внушили мысль обратиться, кстати или некстати, с этой речью к пастухам, слушавшим его молча и с изумлением. Санчо тоже хранил молчание, глотая желуди и частенько посещая другой мех, который повесили на ветвях пробкового дерева, чтобы сохранить вино более свежим. Дон-Кихот говорил долго, почти до конца ужина; когда же он кончил, один из пастухов

сказал:

– Для того, чтобы ваша милость, господин рыцарь, могли по справедливости сказать, что мы угостили вас, как могли, мы хотим доставить вам также удовольствие и развлечение, заставив одного из наших товарищей, который скоро вернется, спеть песню. Он – парень смышленный и влюбчивый, кроме того, он грамотный, да еще и музыкант, так как чудесно играет на рабеле.<sup>[15]</sup>

Не успел пастух произнести последние слова, как присутствующие услышали звук рабеля и почти одновременно увидели игравшего на нем красивого парня, лет двадцати двух. Товарищи спросили его, ужинал ли он; он отвечал утвердительно. Тогда хваливший его таланты сказал ему:

– В таком случае, Антонио, ты доставишь нам большое удовольствие, если споешь что-нибудь; пусть этот господин, наш гость, узнает, что в горах и лесах тоже попадаются порядочные музыканты. Мы хвалили ему твои таланты, а теперь покажи их сам и докажи, что мы говорили правду. Поэтому, сядь, пожалуйста, и пропой нам романс о твоей любви, тот, который составил твой дядя церковник и который так понравился всем в нашей деревне.

– С охотой, – ответил молодой человек. И, не заставляя себя просить более, он сел на дубовый пенек, настроил рабеля и после этого очень мило пропел свой романс:

«Олалья, знаю я наверно,  
Что я тобой любим,  
Хоть речь твоя скрытна чрезмерно  
И взгляд неуловим.

«Тебе любовь моя не тайна —  
В том счастья мне залог:  
Кто страсть в другом открыл случайно,  
Сам полн ее тревог.

«Ах, правда, часто безучастной,  
Жестокой ты была,  
И думал я, что у прекрасной  
Не сердце, а скала.

«Но вопреки пренебреженью,  
Уму наперекор,



Надежды верил я внушенью,  
Ее я видел взор.

«Тебе таить любовь в молчанье  
Стыд девичий велел;  
Постигнув то, я в упованье,  
Что счастье – мой удел.

«Когда простое уверенье  
В любви – права дает,  
Ужели к цели обхожденье  
Мое не приведет?

«Взгляни на мой наряд привычный,  
Как он преображен!  
И в праздники и в день обычный  
Кого б не скрасил он?

«Наряд с любовью неизменно  
Рука с рукой идет;  
Меня нарядным непременно  
Всегда твой взор найдет.

«Оставил танцы для тебя я  
И только в честь твою,  
Когда луна взойдет, сияя,  
Перед окном пою.

«О всех хвалах мной расточенных  
Зачем упоминать? —  
О девах ими огорченных  
Довольно рассказать.

«Тереза Берроваль сказала,  
Услышав раз меня:  
«Глупец, стыдись! богиней стала  
«Мартышка для тебя.

«Ну, чем нашел ты восторгаться?

«Ну, чем обворожен?  
«На ней, не трудно догадаться,  
«Румяна и шиньон».

«Я возразил. Она озлилась  
И брата позвала.  
Меж нами ссора приключилась;  
Концом дуэль была.

«Олалья, верь! не увлечение  
Мою волнует кровь —  
Прими свободы приношение  
И вечную любовь.

«Пусть церковь узами святыми  
Сердца соединит  
И нас молитвами своими  
На брак благословит.

«Когда откажешь мне, — клянуся  
Святым всем для меня! —  
Уйду и раньше не вернуся,  
Как капуцином, я. <sup>[16]</sup>»

Пастух перестал петь. Дон-Кихот стал было просить его спеть еще что-нибудь, но Санчо Панса не дал на это своего согласия, чувствуя больше расположения ко сну, чем к слушанью песен.

— Ваша милость, — сказал он своему господину, — лучше бы вы теперь поискали себе приюта для ночлега, а то этим добрым людям после их дневной работы не годится проводить ночи в пении.

— Понимаю тебя, Санчо, — ответил Дон-Кихот, — и без труда замечая, что после сделанных тобою посещений меха, тебе сон нужнее, чем музыка.

— Слава Богу! — произнес Санчо, — никто из нас не побрезговал.

— Не спорю, — возразил Дон-Кихот, — так устраивайся себе, где и как тебе будет угодно; людям же моего звания приличествует более бодрствовать, чем спать. Однако было бы хорошо, Санчо, если бы ты показал мне ухо, которое, право, заставляет меня страдать более, чем нужно.

Санчо хотел повиноваться, но один из пастухов, увидав рану, просил Дон-Кихота не беспокоиться и сказал ему, что он знает лекарство, которое ее скоро излечит. Сорвав затем несколько листьев розмарина росшего там в изобилии, он пожевал их, смешал с небольшим количеством соли и, приложив крепко и привязав этот пластырь к уху, стал уверять, что ни в каком другом лекарстве нет надобности. Это, в самом деле, оказалось верным.

## ГЛАВА XII

### О том, что рассказал пришедший пастух тем, которые были с Дон-Кихотом

В это время пришел другой парень из тех, которые отправились в деревню за провизией. – Товарищи, – сказал он, – знаете ли, что случилось в нашей местности?

– Почему же мы можем знать? – отвечал один из них. – Ну, так знайте, – снова заговорил пастух, – что сегодня утром умер известный Хризостом, студент-пастух, и говорят, что умер от любви к этой проклятой Марселле, дочери богача Гильермо, которая бегает по нашим лугам в одежде пастушки.

– К Марселле, говоришь ты? – спросил один из пастухов.

– К ней самой, говорю я тебе, – отвечал парень. – И всего лучше то, что он в своем завещании велит похоронить себя, точно мавра, посреди полей и, именно, у подошвы утеса, где ключ Пробкового дерева; потому что, как говорят в народе (уверяют, будто бы он сам это высказывал), на этом самом месте он в первый раз увидал ее. Он приказывает еще кое-что, чего, как говорят члены нашего аббатства, непристойно и не следует исполнять, так как слишком отзывается язычеством. Напротив, его лучший друг, студент Амброзио, подобно ему тоже надевший пастушеское платье, говорит, что надо исполнить все без исключения и точь-в-точь так, как распорядился Хризостом; по этому поводу в деревне сильное волнение. Но все-таки, все говорят, что надо сделать так, как хотят Амброзио и все его приятели пастухи. Завтра с большою торжественностью предадут его погребению на том месте, про которое я вам уже говорил; это будет любопытно посмотреть и, если бы даже мне не было надобности завтра возвращаться в деревню, я все-таки непременно пошел бы туда.

– Так же сделаем и все мы, – отозвались пастухи, – мы бросим жребий, кому оставаться стеречь коз за других.

– Ладно, Педро, – сказано один из них, – но нет надобности прибегать к бросанию жребия; я останусь за всех. Не думайте, что я хочу принести этим жертву или не чувствую любопытства; вовсе нет! а просто потому, что заноза, два дня тому назад воткнувшаяся мне в ногу, мешает мне ходить.

– Тем не менее мы тебе благодарны, – ответил Педро.

Тогда Дон-Кихот попросил Педро оказать ему, кто этот умерший и эта

пастушка. Педро ответил, что он знает только, что умерший был молодым человеком из благородного и богатого семейства, живущего в одном местечке в этих горах; что он несколько лет учился в Саламанке, по прошествии которых он вернулся в страну с репутацией очень ученого и начитанного.

– Говорят, – добавил Педро, – что он в особенности знал науку о звездах и все, что там наверху, в небе, делают солнце и луна; потому что он нам точь-в-точь предсказывал потемнения луны и солнца.

– Затмения, мой друг, а не потемнения, – прервал его Дон-Кихот, – так называется внезапное помрачение этих двух больших светил.

Но Педро, не обращая внимания на подобные пустяки, продолжал свой рассказ:

– Он угадывал также, какой год будет урожайным и какой – безурожайным.

– Неурожайным, хотите вы сказать, мой друг, – прервал его снова Дон-Кихот.

– Неурожайным или безурожайным, это – все одно, – ответил Педро. – И вот, говорю я, следуя его советам, его родственники и друзья все богатели и богатели. Этот год, говорил он, сейте ячмень, а не пшеницу; этот вы можете сеять горох, а не ячмень; в следующем году будет большой урожай для масла, а затем в течение трех лет вы не соберете его ни одной капли.

– Эта наука называется астрологией, – сказал Дон-Кихот.

– Не знаю, как она там называется, – возразил Педро, – но знаю только, что он знал все это и много других вещей. Наконец, не прошло нескольких месяцев со дня возвращения его из Саламанки, как в один прекрасный день его увидели бросившим свой длинный студенческий плащ и одетым в пастушеское платье и с посохом в руке. В то же время и его большой друг и товарищ по учению, Амброзио, тоже нарядился пастухом, и забыл вам сказать, что покойный Хризостом был большой мастер слагать песни, а все рождественские песнопения и представления, играемые нашими парнями на святках, были сочинены им и всем очень нравилась. Когда в нашей деревне увидели двух студентов одетых пастухами, то все были очень удивлены, и никто не мог догадаться, что им вздумалось так нарядиться. К этому времени отец Хризостома уже умер и оставил сыну в наследство большое состояние в виде движимого и недвижимого, кроме значительного числа крупного и мелкого скота, и много наличными деньгами. Молодой человек остался полным и единственным хозяином всего, и, по правде сказать, он вполне этого

заслуживал, так как делал много добра, был добрым товарищем и другом честных людей и имел привлекательную наружность. Впоследствии узнали, что он переменял свое платье единственно для того, чтобы бегать по следам пастушки Марселлы, о которой вам уже говорили и в которую бедный покойный Хризостом был влюблен.

– Хотелось бы мне теперь сказать вам, что за создание эта Марселла; потому что вам, может быть и, даже, без сомнения, никогда не придется услышать ничего подобного, хоть проживите вы еще долее, чем старая Сарна.

– Скажите Сарра, – возразил Дон-Кихот, немогший выносить искажений пастуха.

– Сарра или Сарна – почти все равно, – ответил пастух, – если же вы, господин, будете придирается ко всякому моему слову, то нам не придется и в целый год окончить. – Но помилуй, мой друг, – сказал Дон-Кихот, – между Саррой и Сарной есть разница. Впрочем, продолжайте вашу историю, я больше не стану вас прерывать.

– Надо вам сказать, дорогой мой господин, – снова заговорил пастух, – что в нашей деревне жил земледелец, по имени Гильермо, еще более богатый, чем отец Хризостома; кроме его большого богатства, Бог даровал ему дочку, мать которой умерла рождая ее на свет. Мат ее была сажая уважаемая во всей окрестности женщина. Я как будто сейчас вяжу ее доброе лицо, светлое подобно солнцу или луне; за свое трудолюбие и милосердие, мне думается, она теперь в другом мире покоится во славе Господа. С горя от смерти такой доброй жены вскоре умер и сам Гильермо, оставив дочь свою Марселлу малолетнею и богатою на попечение ее дяди, священника и владельца прихода в нашей местности. Девочка росла и, вырастая, становилась такою красивой, что напоминала нам свою мать. Та была очень красивой, а, все-таки, многие говорили, что дочка, со временем будет еще красивее ее. И действительно, когда ей едва исполнилось четырнадцать-пятнадцать лет, никто, видя ее, не мог не благословить Бога за то, что Он создал ее такою прекрасною; большинство же влюблялось в нее до безумия. Дядя воспитывал ее с большим старанием и, насколько возможно, в уединении; тем не менее, слух об ее замечательной красоте так распространился, что многие молодые люди не только этой местности, но даже на несколько миль в окружности, просили ее руки и докучали дяде своими предложениями. Но он был, по истине, добрым христианином, и хотя желал бы пораньше выдать ее замуж, но принуждать ее к этому ни за что не хотел и поступал он так вовсе не из желания попользоваться ее состоянием, которое должно было отойти от него вместе с выходом ее

замуж. За это много хвалили священника на вечеринках, у нас в деревне. А вы, конечно, знаете, господин странник, что в таких маленьких местностях говорят обо всем и все пересуживают, и будьте уверены, как уверен в том я, что священник должен быть сторицею добр, чтобы заставить прихожан хорошо говорить о себе, в особенности, в деревнях.

– Совершенно верно, – воскликнул Дон-Кихот, – но продолжайте, пожалуйста, ваша история очень интересна и вы рассказываете ее очень мило.

– Пусть Господь не лишит меня своей милости, вот что главное! – сказал Педро. – И нужно вам, кроме того, сказать, что дядя всегда сообщал племяннице о представляющихся партиях и рассказывал о качествах каждого сватающегося, заставляя ее решать и выбирать по своему желанию; но она всегда отвечала, что еще не хочет выходить замуж, так как она еще молода и чувствует себя неспособной принять обязанности по хозяйству. Слушая эти извинения, казавшиеся ему основательными, дядя перестал ее торопить и стал ждать, пока она сделается постарше и сама сумеет выбрать себе человека по сердцу; потому что, как он очень умно говорил, родители не должны устраивать жизнь своих детей против желания последних. Но вот в одно прекрасное утро, неожиданно для всех, спесивая Марселла переодевается пастушкой, и, несмотря на уговоры своего дяди и соседей, вместе, с другими девушками деревни, отправляется в поле и начинает сама сторожить стадо; после того, как она появилась со своею красотою перед всем народом, то, не сумею вам сказать, сколько богатых молодых людей, из благородных и крестьянских семейств, надели костюм Хризостома и отправились в поле ухаживать за нею.

В числе их, вы уже знаете, был и наш покойник, который, как говорили, не любил, а обожал ее. Не думайте однако, что, начав такую свободную жизнь и освободившись от всякого присмотра, Марселла сделала, хотя бы по наружности, что-либо такое, что могло бы послужить в ущерб ее непорочности; напротив, она берегла свою честь с такою строгостью, что из всех тех, которые ухаживали за ней и делали ей предложения, никто не мог и не может ласкать себя хотя бы малейшею надеждою получить желаемое. Она не избегает ни общества, ни разговора с пастухами и обходится с ними очень приветливо и благосклонно, но, как только кто-либо из них вздумает открыть ей свое намерение, хотя бы такое законное и чистое, каков брак, так сейчас же она спраживает его от себя и не позволяет к себе приближаться ближе, как на расстояние мушкетного выстрела. С таким характером она делает у нас больше опустошений, чем сделала бы сама чума, если бы она здесь появилась; своею приветливостью

и красотой она привлекает к себе сердца всех видящих ее, и они начинают вскоре угождать ей и любить ее, своею же холодностью и презрением она приводит их в отчаяние. И все они в один голос громко называют ее неблагодарной и жестокой и другими подобными именами, которые хорошо определяют ее характер, если вы, господин, пробудете здесь несколько дней, то вы услышите в этих горах и лугах звуки жалоб преследующих ее, но отвергнутых его ухаживателей.

Недалеко отсюда есть место, где растут двадцать больших буков, и между ними нет ни одного, на коре которого не было бы написано и вырезано имя Марселлы; иногда над ее именем найдете вырезанную корону, как будто ее обожатель хотел сказать этим, что Марселла есть истинная царица красоты. Здесь вздыхает один пастух, там изливается в жалобах другой; здесь слышатся песни любви, там – стансы грусти и отчаяния. Тот проводит целую ночь под дубом или у подошвы скалы, и солнце застает его погруженным в печальные мысли и несомкнувшим своих мокрых от слез ресниц; другой, в самый жаркий час летнего дня, растянувшись на горячем песке, не перестает вздыхать, моля жалости у неба. И тот, и другой, и все прочие покорены беззаботной, торжествующей прекрасной Марселлой. Всем нам, знающим ее, любопытно знать, чем кончится ее гордость и кто будет тем счастливец, которому удастся покорить такой суровый нрав и овладеть такою длиною красотою. Все, что я вам рассказал, совершенно верно, как верно, я думаю, и то, что рассказал нам наш товарищ по поводу смерти Хризостома. Вот почему, господин, я советую вам присутствовать на его погребении: оно будет очень интересно, так как у Хризостома было много друзей; отсюда же до места, где он завещал себя похоронить, менее одной полумили.

– Я непременно поеду, – ответил Дон-Кихот, – благодарю вас на удовольствие, доставленное мне рассказом такой интересной истории.

– О, я не знаю, – возразил пастух, – и половины приключений с ухаживателями Марселлы; но, может быть, завтра, по дороге, мы встретим какого-нибудь пастуха, который и расскажет нам еще о чем-нибудь. Теперь же вам бы хорошо пойти спать под крышу; потому что вечерняя роса может оказаться вредной для вашей раны, хотя вам положено такое лекарство, что нечего бояться ухудшения.

Санчо Панса, давно уже посылавший к черту пастуха и его болтовню, тоже стал настаивать, чтобы его господин шел спать в хижину Педро. Дон-Кихот пошел туда, но только с тою целью, чтобы, в подражание поклонникам Марселлы, посвятить остаток ночи воспоминаниям о своей даме Дульцинее. Что же касается Санчо Панса, то он постарался поудобнее



устроиться между Россинантом и своим ослом и заснул, не как отвергнутый любовник, но как человек, с полным желудком и помятыми боками.

## **ГЛАВА XIII**

### **В которой оканчивается история о пастушке Марселле и рассказываются другие события**

Заря только что начала восходить на высоты востока, когда пятеро из шести пастухов поднялись, позвали Дон-Кихота и сказали ему, что, если он еще не покинул своего намерения идти посмотреть любопытное погребение Хризостома, то они готовы его сопровождать. Дон-Кихот, более всего желавший этого, встал и приказал Санчо оседлать Россинанта и осла. Санчо проворно повиновался и, ни мало не медля, все отправились в путь.

Не успели они сделать и четверти мили, как, при повороте дороги, увидели шестерых пастухов, одетых в куртки из черных кож; их головы были увенчаны кипарисом и олеандром, в руках же они держали здоровые пальмовые палки. С ними вместе ехали верхом два господина, одетые в прекрасный дорожный костюм, в сопровождении трех пеших слуг. Сойдясь вместе, обе толпы вежливо приветствовали друг друга и, взаимно осведомившись о цели путешествия, узнали, что все направляются к тому месту, где должно происходить погребение; тогда они решили держать путь вместе. Один из всадников, обращаясь к другому, сказал:

— Мне кажется, господин Вивальдо, мы не будем сожалеть о том, что несколько запоздаем благодаря этой церемонии: она, вероятно, будет очень занимательной, если судить по тому, что нам рассказали эти добрые леди о покойном пастухе и о жестокосердой пастушке.

— Я тоже думаю, — отвечал Вивальдо, — да, чтобы видеть ее, я согласился бы запоздать не только на день, но даже на четыре дня.

Дон-Кихот спросил их, что они слышали о Марселле и Хризостоме. Путешественник отвечал, что сегодня утром они встретили этих пастухов и, видя их в таком траурном наряде, спросили, по какому поводу они так оделись, тогда один из пастухов рассказал им о красоте и жестокости пастушки по имени Марселлы, о множестве влюбленных в нее и о смерти этого Хризостома, на погребение которого они отправлялись. Одним словом, путешественник повторил все то, что Педро уже рассказал Дон-Кихоту.

За этим разговором последовал другой. Всадник, называвшийся Вивальдо, спросил Дон-Кихота, что заставляет его путешествовать вооруженным во время полного мира и в совершенно спокойной стране.

– Избранное мною звание и данные обеты, – ответил на это Дон-Кихот, – не позволяют мне ехать в ином виде. Покой, сладкое бездействие, лакомая еда выдуманы для изнеженных придворных; труд, заботы, оружие по праву принадлежат тем, которых мир называет странствующими рыцарями; я же имею честь быть членом, хотя и недостойным и самым последним, этого сословия.

Услыхав такие речи, все приняли его за сумасшедшего; но чтобы еще более в этом убедиться и узнать хорошенько, какого рода было его помешательство, Вивальдо опять навел разговор на занятия Дон-Кихота и спросил его: что такое – странствующие рыцари?

– Не приходилось ли когда-нибудь вам, господа, – ответил Дон-Кихот, – читать хроники Англии, где рассказывается о славных подвигах короля Артура, которого мы, кастильцы, называем Артусом, и о котором предание, известное во всем королевстве Англии, рассказывает, что он не умер, но был только чарами волшебников обращен в ворона и что со временем Артур придет и снова примет свою корону и скипетр – предание, сделавшееся причиною того, что с того времени ни один Англичанин, как это достоверно известно, ни за что не убивает ворона? Так вот, во времена этого доброго короля был учрежден славный рыцарский орден, названный орденом Круглого стола, и в это же время жили и любили друг друга точь-в-точь, как об этом рассказывается, Ланселот и королева Женьевра, имевшие своей поверенной и посредницей почтенную дуэнью Квинтаниону; их любовь, вместе с дивным рядом других любовных приключений и рыцарских подвигов того же героя, воспевается в романсе, известном всякому в Испании: «Никто из рыцарей не был так хорошо принят дамами, как Ланселот по своем возвращении из Англии». С тех пор этот рыцарский орден, не переставая, развивался и распространялся в различных частях света, и к нему принадлежат такие знаменитые своими высокими подвигами рыцари, как храбрый Амадис Гальский с своими сыновьями и внуками до пятого колена, а также мужественный Феликс-Марс Гирканский, превосходящий все похвалы Тиран Белый и, наконец, почти современный наш непобедимый рыцарь Дон-Веланис Греческий. Вот, господа, что значит быть странствующим рыцарем и вот о каком рыцарском ордене говорю я вам; и я, хотя и грешник, присоединился к этому ордену и стараюсь поступать так, как поступали только что названные: мною рыцари... Это вам объяснит, почему я странствую по этим пустыням, отыскивая приключения, с твердым намерением броситься с самое опасное предприятие, какое укажет мне судьба, если только дело коснется помощи слабым и нуждающимся.

Эти слова окончательно убедили путешественников в том, что Дон-Кихот не в полном разуме и дали понять им, какого рода было его помешательство. Вивальдо – человек остроумный и веселого нрава – желая позабавиться во время дороги, решил дать Дон-Кихоту новый повод продолжать свои сумасбродные речи.

– Мне кажется, господин странствующий рыцарь, – сказал он ему, – что ваша милость принадлежите к самому строгому ордену, какой только существует на земле; если я не ошибаюсь, даже устав братьев картезианцев не так стеснителен.

– Может быть, и так же стеснителен, – отвечал Дон-Кихот, – но чтобы он был так же необходим для мира, – в этом я позволю себе сомневаться. По правде говоря, солдат, исполняющий приказания начальника, делает не меньшее дело, чем этот начальник. Я хочу тем сказать, что монахи в мире и спокойствии испрашивают у неба блага для земли; мы же, солдаты и рыцари, приводим в исполнение то, о чем они упоминают в своих молитвах, и распространяем это благо среди людей, действуя мы под покровом от невзгод погоды, но под открытым небом, подвергаясь и палящим лучам солнца и леденящему холоду зимы. Мы министры Бога на земле и орудия его правосудия. Но, так как дела войны и все другие, имеющие к ним отношение, могут исполняться только чрезмерным трудом, потом и кровью, то отсюда следует, что сделавшие из них свое призвание совершают дело неоспоримо большее, чем те, которые мирно и безмятежно довольствуются спрашиванием у Бога покровительства для слабых и несчастных. От меня, конечно, далека мысль, будто бы звание странствующего рыцаря святее звания затворившегося в монастыре инок; из испытываемых мною лишений я хочу вывести только то заключение, что это звание влечет за собою больше труда, страданий и бедствий и что избравшие его чаще подвергаются голоду, жажде, нищете, нечистоте. В самом деле, нельзя сомневаться в том, что странствующие рыцари минувших веков в течение своей жизни испытали много печали и страданий; и если некоторые из них и достигали, благодаря мужеству своих рук, трона, то, право, он стоил им много пота и крови. Кроме того, и достигшим такого высокого положения необходимо было покровительство волшебников и мудрецов, без чего не исполнились бы их желания и рушились бы их надежды.

– Таково же и мое мнение, – возразил путешественник, – но одно смущает меня в странствующих рыцарях, именно – когда им приходится отважиться на какое-нибудь большое и опасное приключение, то, в эти минуты, они не вспоминают Бога, чтобы поручить ему свою душу, что

обязан делать всякий добрый христианин в подобном случае; напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром обожания, как будто бы они были для них Богом: это, по моему, отзывается язычеством.

– Сеньор, – ответил Дон-Кихот, – этого невозможно уничтожить, и рыцарь, который поступал бы иначе, принес бы самому себе вред. Среди странствующего рыцарства принято и стало обычаем, чтобы странствующий рыцарь, готовясь вступить в бой в присутствии своей дамы, обращал к ней с влюбленных видом глаза, как будто взглядом прося ее помочь ему в опасности, которой он подвергается; и даже тогда, когда никто его не может слышать, он обязан сквозь зубы прошептать несколько слов, чтобы от всего сердца поручить себя ей. В историях существуют многочисленные примеры этого, но, однако, не следует думать, чтобы странствующие рыцари отказывались поручать свои души Богу; для этого у нет достаточно времени во время самого дела.

– Несмотря на то, – возразил путешественник, – у меня все-таки остается сомнение. Мне случалось много раз читать, что двое рыцарей, поспорив между собою, слово за слово, закипают враждою; они повертывают лошадей, разъезжаются на некоторое расстояние и сейчас же, без разговора, во всю прыть скачут друг на друга, поручая себя во время скачки своим дамам. Обыкновенно случается, что один из рыцарей надает с лошади, насквозь пронзенный копьем своего противника, да и другой тоже свалился бы на землю, если бы не успел удержаться за гриву своего коня. Когда же убитый имел время поручить себя Богу в течение так быстро свершившегося дела? Не лучше ли было бы для него, вместо того, чтобы употреблять слова, поручающие его даме, – употребить их для исполнения долга христианина? Тем более, что, по моему мнению, не у всех странствующих рыцарей есть дамы, которым бы можно было себя поручать, так как не все же они влюблены.

– Этого не может быть! – с живостью проговорил Дон-Кихот, – нет, не существует ни одного странствующего рыцаря без дамы, потому что для них так же естественно быть влюбленными, как для неба иметь звезды. Положительно можно сказать, что никогда не видали таких историй, в которых бы являлся странствующий рыцарь без любви; если же и появлялся, то он не считался там законным рыцарем, а вырожденком. Про него можно было бы сказать, что он вошел в крепость ордена не через большие ворота, а перелезши через стену подобно разбойнику и вору.

– Тем не менее, – возразил путешественник, – если мне память не изменяет, я, кажется, читал, что у Дон-Галаора, брата Амадиса Гальского, не было собственной дамы, которой он мог бы себя поручать в опасности;

однако же это нисколько никому не мешало считать его очень храбрым и знаменитым рыцарем.

– Сеньор, – отвечал Дон-Кихот, – одна ласточка не делает весны. Кроме того, я знаю из хороших источников, что тайно этот рыцарь был сильно влюблен; его же склонность ухаживать за всеми дамами, каких только ему приходилось видеть, обуславливается его природным нравом, которого он был не в силах переделать. Но, как нельзя лучше, было доказано, что у него была дама, верховная властительница его дум и желаний, которой он часто поручал себя, но втайне, так как отличался чрезвычайно скромностью.

– Так как быть влюбленным – существенное качество всякого странствующего рыцаря, – снова заговорил путешественник, – то надо думать, что и ваша милость не нарушали этого правила своего звания, и если ваша милость не отличается такой строгой скрытностью, как Дон-Галаор, то я, от имени всего этого общества и своего собственного, настоятельнейше умоляю вас сообщить нам об имени, отечестве, звании и прелестях вашей дамы. Она, конечно, будет очень польщена, если весь мир узнает, что ее любят и ей служит такой рыцарь, каким являетесь ваша милость.

– Увы! – сказал Дон-Кихот, испуская глубокий вздох, – я не мог бы наверно сказать, желает или нет моя прелестная неприятельница, чтобы весь мир знал, что я – ее слуга. Я могу только сказать в ответ на обращенную ко мне с такою вежливостью просьбу, что имя ее – Дульцинея, отечество – Тобозо, ламанчская деревня; ее звание – по крайней мере, принцесса, ибо она моя царица и дама; наконец, ее прелести превосходят человеческие понятия, так как в них воплощается вся та красота, которую поэты в мечтах наделяли своих возлюбленных. Волосы ее – золото, ее чело – елисейские поля, ее брови – небесные радуги, ее глаза – солнце, ее ланиты – розы, ее уста – кораллы, ее зубы – жемчуг, ее шея – алебастр, ее грудь – мрамор, ее руки – из слоновой кости, цвет же лица равен белизне снега, и, по моему, в тех прелестях, которые ее целомудрие похищает у взоров смертных, столько совершенства, что можно только ими восхищаться и восхвалять их, не находя выражений для сравнения.

– Теперь, – сказал Вивальда, – нам желательно было бы узнать ее происхождение и родословную.

На это Дон-Кихот ответил:

– Она не происходит ни от Курциев или Кайев, или Сципионов древнего Рима, ни от Колона или Урсини современного, ни от Монкада или Реквезенов Каталонских, на от Ребелла или Рилланова Валенцианских, ни

от Палафоксов, Нуза, Рокаберти, Корелла, Луна, Алогонов, Урреа, Фоцов или Гурреа Аррогонских; ни от Серда, Манрико, Мендосов или Гусманов Кастильских, ни от Аленнастро, Лалья или Минезесов Португальских; она из рода Тобозо Ламанчского, – рода нового, правда, но которому, наверно, суждено послужить для грядущих веков знаменитою колыбелью славнейших фамилий. И пусть на это никто ничего не возражает, разве только согласившись на условия, написанные Зербином у подножия трофеев оружия Роланда:

Да не дерзает коснуться их никто, —  
С Роландом будет драться он за то.

– Хотя бы мой род, – ответил путешественник, происходил от ларедских Качопинов,<sup>[17]</sup> я и тогда не осмелился бы сравнить его с родом Тобозо Ламанчским; однако, по правде сказать, я до сих пор ничего не слышал об этом имени.

– Я крайне удивляюсь этому, – возразил Дон-Кихот.

Все путешественники с большим вниманием прислушивались к разговору, и вскоре даже для пастухов коз стало ясно, что их знакомый не в полном разуме. Только один Санчо Панса все, что говорил его господин, считал чистою истиною, так как он хорошо с самого своего детства знал, что за человек был Дон-Кихот. Если что и возбуждало его сомнения, так это подробности о прелестной Дульцинее Тобозской, потому что ему совсем не были известны ни это имя, ни эта принцесса, хотя он жил вблизи этой деревни.

Разговаривая таким образом, они продолжали свои путь и скоро увидели в ущелье между двумя высокими горами десятка два спускающихся вниз пастухов, одетых в черные шерстяные куртки, в тисовых и кипарисных венках, как оказалось потом. Шестеро из них несли носилки, покрытые множеством цветов и зеленых ветвей. При виде их один пастух коз воскликнул:

– Вот несут тело Хризостома, у подошвы этой горы он хотел быть похороненным.

Эти слова заставили всех ускорить шаги, и наши путешественники подошли в ту минуту, когда несшие поставили носилки на землю и четверо из них начали острыми ломami рыть могилу у подошвы твердого утеса. Обе толпы, с вежливыми приветствиями, соединялись вместе. Дон-Кихот и его спутники стали рассматривать носилки на которых был положен труп,

одетый в костюм пастуха и весь засыпанный цветами. По виду, это был человек лет тридцати, красивый и прекрасно сложенный. Вокруг него и даже на самых носилках было разложено несколько книг и разных рукописей, раскрытых и закрытых.

Рассматривавшие его, как и рывшие могилу и все прочие присутствовавшие, сохраняли поразительную тишину, пока один из несших не сказал одному из своих товарищей:

– Смотри, Амброзио, про это ли самое место говорил Хризостом, потому что ты хочешь в точности исполнить все, о чем распорядился Хризостом в своем завещании.

– Это самое, – ответил Амброзио, – мой бедный друг сто раз рассказывал мне свою плачевную историю. Здесь, как говорил он мне, он в первый раз увидел эту безжалостную губительницу рода человеческого; здесь в первый раз он открылся ей в своей так же чистой, как и страстной любви; здесь, наконец, Марселла, своей холодностью, своим презрением заставила его окончательно предаться отчаянию и трагически окончить печальную драму его жизни... И здесь же, в воспоминание о стольких несчастиях, он хотел быть погруженным в лоно вечного забвения.

Обращаясь затем к Дон-Кихоту и путешественникам, он продолжал свою речь в следующих выражениях:

– Это тело, господа, рассматриваемое вашими полными жалости глазами, еще недавно заключало душу, которую небо одарило своими богатейшими дарами. Это тело Хризостома, единственного по уму и любезности, несравненного по благородству, феникса в дружбе, великодушного без расчета, гордого без надменности, веселого без пошлости, одним словом, человека, бывшего первым, как по своим достоинствам, так и по своим несчастиям. Он любил и был ненавидим; он обожал и был пренебрегаем; он хотел укротить дикого зверя, смягчить мрамор, догнать ветер, заставить услышать себя в пустыне; одним словом, он привязался к неблагодарности и она вознаградила его за это тем, что предала его смерти в середине жизни, прерванной одной пастушкой, которую он хотел сделать бессмертной в памяти людей. Это могли бы доказать бумаги, на которые вы обращаете свои взоры, если бы я не был обязан сжечь их, как только мы предадим его погребению.

– Это будет суровее, чем поступил бы с ними сам автор их, – сказал Вивальдо. – Несправедливо и неразумно исполнить в точности волю того, кто приказывает что-либо противное рассудку. Весь мир предал бы порицанию Августа, если бы он согласился исполнить волю божественного мантуанского певца. Поэтому, господин Амброзио, удовлетворитесь тем,



что предайте земле тело вашего друга, но не предавайте забвению его произведений. Если приказание дано человеком в возбужденном состоянии, то вам нет основания становиться его слепым орудием. Напротив, оставляя жить эти писания, вы увековечите тем жестокость Марселлы, чтобы она служила примером для будущего времени и чтобы люди остерегались впадать в подобные же пропасти. В самом деле, мы, все присутствующие здесь, знаем о любви вашего друга и его отчаянии; нам известны привязанность, соединявшая вас с ним, причина его смерти и распоряжения, оставленные им, прежде чем положить конец течению своих дней; и эта грустная история превосходно показывает всем величие его любви, жестокость Марселлы, вашу преданность в дружбе, а также и печальный конец, ожидающий всех, кто слепо предается губительным соблазнам любви. Вчера вечером мы узнали о смерти Хризостома и о том, что его должны предать погребению в этом месте; и столько же из сочувствия, сколько из любопытства, мы свернули с дороги, чтобы посмотреть на того, рассказ о ком нас живо тронул. В вознаграждение за одушевляющее нас чувство, – увы! единственное, что мы можем предложить вам в несчастии, – мы просил вас, благоразумный Амброзио, – по крайней мере, я, с своей стороны, умоляю отказаться от сожжения этих рукописей и позволить мне взять некоторые из них.

И, не дожидаясь ответа, Вивальдо протянул руку и взял несколько ближайших к нему листов. На это Амброзио сказал ему:

– Из вежливости, господин, я согласен оставить у вас то, что вы взяли; но вы сильно бы ошиблись, если бы подумали, что я могу отказаться от сожжения остального.

Вивальдо, горя желанием узнать, что заключали эти бумаги, тотчас же развернул одну из них и прочитал ее заглавие: Песнь отчаяния. «Вот, – сказал Амброзио, услышав это, – вот последние стихи, написанные несчастным, и чтобы все видели, до чего довели его страдания, прочитайте стихотворение вслух; вы успеете это сделать, пока кончат рыть могилу. – С удовольствием, – отвечал Вивальдо. Все присутствующие окружили его, так как все разделяли его любопытство, и он громко прочитал следующее:

## ГЛАВА XIV

### В которой приводятся и рассказываются другие неожиданные события

#### *Песнь Хризостома*

Когда, жестокая, ты хочешь, чтоб о дикой  
Суровости твоей переходила  
Молва из уст в уста и в род из рода,  
То пусть сам ад груди моей печальной  
Звук жалобный внушит и звуком этим  
Заменит мой обычный голос.  
И, моему желанью повинуюсь  
Все рассказать: и о моем страданье  
И о твоих поступках злобы полных,  
Пусть страшный крик из уст моих раздастся  
И к моему жестокому страданью  
Прибавятся минут последних муки.  
Внемли ж не песни гармоничным звукам,  
Но гулу смутному, который рвется  
Из глубины груди моей скорбящей  
На зло тебе, а мне на утешенье.

Пусть льва рычанье, волка вой свирепый,  
Ужасное в лесу змеи шипенье,  
Неведомых чудовищ крик ужасный,  
Пророческое воронов вещанье,  
Свист бурю поднимающего ветра,  
Быка предсмертное мычанье в цирке,  
Стон жалобный покинутой голубки,  
Совы в ночи таинственные крики  
И вопль всей черной рати преисподней —  
Пусть жалобе души моей все вторит  
И все сольется в звук единый с звуком,  
Который чувства возмутить все должен.

Чтоб рассказать правдиво о мученье,  
Что сердце мне на части разрывает,  
Нуждаюсь в новых я и сильных средствах.

Ни Того златоносного долины,  
Ни сень оливковых лесов Бетиса  
Того смятенья звуков не услышат,  
На скалах лишь и в пропастях глубоких  
На мертвом языке живая повесть  
Моих терзаний всех распространите.  
Внимать ей будут мрачные долины  
И берега бесплодные морские  
И те места, которые не видят  
В году ни разу солнца золотого;  
Внимать ей будут гадов мириады,  
Гнездящиеся в иле тучном Нила.  
И, прозвучав в пустынях диких, горя  
Души моей, твоей же несравненной  
Жестокости глухие отголоски,  
Под покровительством судьбы злосчастной,  
Во все концы вселенной разнесутся.

Пренебрежение смерть нам посылает;  
Души восторженной святую веру  
Измены призрак безвозвратно губит,  
И сердце ревность нам язвит жестоко;  
В разлуке долгой таят жизни силы,  
И страху быть забытым никакая  
Надежда противостоять не может —  
Во всем грозит нам смерть неотвратимо.  
Но я... но я, неслыханное чудо!  
Все жив еще, и ревностью томимый,  
И долгою разлукой, угнетенный  
Пренебрежением и убежденный,  
Что истинны мои все подозренья.  
В забвении, когда любовь сильнее  
Я чувствую, среди мучений стольких,  
И тени взор надежды мой не ищет.  
Отчаявшись, ее я не желаю —

Напротив, чтобы жаловаться мог я,  
Клянуся избегать ее и вечно.

Возможно ли в одно и тоже время  
И страху и надежде предаваться?  
И хорошо ли делать это, если  
Для страха верные у нас причины?  
Ужель глаза свои закрыть я должен,  
Когда является пред ними ревность,  
Когда ее я не могу не видеть,  
Страдающий от тысяч ран жестоких,  
Которыми душа моя покрыта?  
Кто недоверчивость и страх отринет,  
Когда увидит ясно равнодушие  
И в подозрениях всех убедится  
Своих из горьких опыта уронов,  
Когда пред истиной глава прозреют  
И истина предстанет без покрова?  
О Ревность, о тиран Амура царства,  
На руки эти наложи оковы!  
Пренебреженье, казнью жизнь прерви мне! —  
Но, нет! увы! жестокою победу  
Свою над вами празднует Странанье!..  
Я умираю, наконец, и, чтобы  
Надежды не лелеять на вниманье  
Твое ни в жизни этой, ни за гробом,  
Останусь твердо при своем решении.  
Скажу, что счастье нам любовь приносит,  
Что тот, кого рабом своим избрала  
Она, — свободней всякого другого.  
Скажу, что та, кого врагом считал я,  
Душой прекрасна так же, как и телом,  
Что в равнодушие я ее виновен  
И что Амур странанья посылает  
Нам, чтобы мир царил в его владеньях.  
Пусть эта мысль и, жалкая веревка  
Ускорят роковой конец, к какому  
Меня презрение твое приводит,  
И я умру, и прах мой ветер развеет,

И славы лавр меня не увенчает.

О, ты, которая жестокосердьем  
Принудила меня расстаться с жизнью,  
Кого я ненавижу и боюсь!  
Взгляни на это раненое сердце;  
Взгляни, как радостно оно трепещет,  
Испытывая все твои удары.  
И если окажуся я достойным,  
Чтобы из глаз твоих слеза скатилась, —  
Прошу, остановись в порыве добром:  
Я сожаленья не приму в отплату  
За стойвшие жизни мне мученья.  
Напротив, в эту мрачную минуту  
Пусть смех раздастся твой и всем докажет,  
Что праздник для тебя – моя кончина,  
Но, как я прост, совет такой давая,  
Когда твое в том состоит желанье,  
Чтоб смерть моя скорее наступила!

Час пробил!.. Вас молю, страдальцы ада!  
Явитесь! Тантал, жаждою томимый,  
Сизиф под бременем тяжелым камня!  
Ты, Прометей, явись с своею птицей!  
Иксион, не переставай вращаться!  
Вы, дочери Даная, лейте воду!..  
Пусть все они соединят мученья  
Свои и ими сердце мне наполнят,  
Пусть похоронную они мне песню  
Споют (когда прилично петь над гробом  
Того, кто кончил жизнь самоубийством).  
Пусть песня эта прозвучит над телом,  
Которого и в саван не оденут.  
Пусть трехголовый сторож адский, Цербер,  
И тысячи других химер и чудищ  
Свой голос присоединят унылый  
К напеву этой песни погребальной!  
Какая тризна более прилична  
Над гробом павшего от стрел Амура?

О песнь отчаянья! жестокосердой  
Не призывай к погибшему участия,  
Когда раздашь над моей могилой:  
Чем с большей выскажешь печаль ты силой,  
Тем более ты ей доставишь счастья.

Все присутствовавшие одобряли стихи Хризостома. Вивальдо, читавший их, заметил только, что эта песня кажется не совсем согласною с тем, что рассказывали о скромности и добродетели Марселлы; бедный влюбленный мучается, если судить по песне, ревностью, подозрениями, разлукой, а это все может служить только в ущерб доброй славе его возлюбленной. Но Амброзио, знавший самые тайные мысли своего друга, ответил:

– Надо вам сказать, господин, чтобы рассеять ваши сомнения, что в то время, когда несчастный сочинял это стихотворение, он находился вдали от Марселлы, покинутой им добровольно с целью испытать, имеет ли разлука для него ту силу, какое обыкновенно ей приписывают; а так как на отсутствующего любовника всегда нападают всякие подозрения и опасения, то, понятно, и Хризостом страдал слишком действительными муками ревности, которым, однако, основание было только в его воображения. Поэтому, остается вне всякого сомнения все, что утверждает заслуженная репутация Марселлы, которую, за исключением того, что она жестока, немного горда и довольно надменна, даже зависть не может упрекнуть в малейшем пороке.

Вивальдо ответил ему, что он прав, и собрался было уже прочитать другую из бумаг, спасенных им от огня, но этому помешало чудное видение, представшее его глазам. На утесе, у подошвы которого рыли могилу, появилась пастушка Марселлы с своей дивной, превосходившей всякие описания, красотой. Все – и не выдавшие ее прежде ни разу, и привыкшие ее часто видеть – замерли на своих местах, погрузившись в безмолвное, восторженное созерцание. Но как только Амброзио ее заметил, он полным негодования голосом воскликнул, обращаясь к ней:

– Явилась ли ты, дикий василиск этих гор с ядовитым взором, нарочно, чтобы посмотреть, не потечет ли кровь из ран этого несчастного, у которого твоя жестокость отняла жизнь? Явилась ли ты порадоваться и насладиться гнусным торжеством твоего необыкновенного своеуправия? Или же ты хочешь с высоты этого холма видеть, подобно второму

безжалостному Нерону, зрелище Рима, объятых пожаром, или попать ногами этот несчастный труп подобно тому, как бесчеловечная дочь Тарквиния попирает труп своего отца?<sup>[18]</sup> Скажи же нам скорее: что приводит тебя сюда и чего ты желаешь от нас? Зная, насколько все мысли Хризостома были подчинены тебе во время его жизни, я уверен, что и теперь, когда его уже нет более, ты найдешь то же послушание среди всех, кого он называл своими друзьями.

– Я явилась сюда не за тем, о Амброзио, зачем ты предположил, – ответила Марселла. – Я явилась только за тем, чтобы защититься и доказать, как неправы те, которые обвиняют меня в причинении им страданий и упрекают в смерти Хризостома. Поэтому я прошу вас, всех присутствующих здесь, выслушать меня со вниманием, – мне не потребуется ни много времени, ни много слов, чтобы обнаружить истину для таких разумных людей, как вы. Небо, по вашим словам, сотворило меня прекрасной; моя красота заставляет вас любить меня, и вы не можете противиться этому влечению: в награду же за любовь ко мне, вы говорите и требуете, чтобы и я любила вас. Благодаря природному разуму, дарованному мне Богом, я признаю, что все прекрасное – достойно любви, но я не признаю того, чтобы любимое, как прекрасное, обязано было за то только, что оно любимо, любить любящего его, тем более, что любящий прекрасное сам может быть дурен; и так как все дурное заслуживает только отвращения, то было бы странно сказать: я люблю тебя, потому что ты прекрасна, ты должна любить меня, хотя я и дурен. Но предположим, что с той и другой стороны красота равна; все таки и тогда еще мало основания, чтобы желания были одинаковы, так как не всякая красота внушает любовь, – есть такая красота, которая ласкает глаз, не подчиняя себе желания. Если бы всякая красота имела силу трогать и покорять сердца, то весь мир представил бы хаос, в котором блуждают и сталкиваются желания, не знающие на чем остановиться, потому что сколько бы было красивых предметов, столько же было бы и желаний. Истинная же любовь, как я слыхала, не умеет разделяться, она должна быть добровольна, а не вынуждена. Если это так, как я думаю, то зачем хотите вы, чтобы мое сердце уступило принуждению и только потому, что вы меня любите? Но, скажите мне, если бы небо вместо того, чтобы создать меня прекрасной, создало меня дурной, имела ли бы я право жаловаться на то, что вы меня не любили бы? Вы должны, кроме того, принять во внимание, что приписываемую мне красоту не я сама выбрала, а такой, как она есть, мне даровало ее небо по своей милости, без всяких просьб с моей стороны; и, как ехидна не заслуживает упреков за свой яд, хотя и смертельный, потому

что яд этот вложила в нее природа, так и я не заслуживаю упреков за то, что рождена прекрасной; красота в честной женщине подобна далекому огню или неподвижно лежащему мечу – ни тот не жжет, ни другой не ранит тех, которые держатся от них на некотором расстоянии. Честь и добродетель лучшие украшения души, без которых тело может, но не должно казаться прекрасным; почему же, если честность есть лучшее украшение души и тела, почему женщина, которую любят за ее красоту, должна терять это главное из своих благ, чтобы только удовлетворить желаниям мужчины, старающегося единственно только в виду собственного удовольствия отнять у ней это благо? Я рождена свободной и, чтобы иметь возможность вести свободную жизнь, я избрала уединение полей. Деревья этих гор составляют мое общество, чистые воды ручейков служат мне зеркалами: единственно только деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою красоту. Я сравниваю себя с далеким огнем, с мечем, которого невозможно достать. Тех, кого я заставила влюбиться моею наружностью, я разочаровала своими словами. И если желания поддерживаются надеждами, то, так как я ни Хризостому, ни кому другому надежды не подавала, то можно сказать, что в его смерти виновато скорее его упорство, чем моя жестокость. Если мне возразят, что желания его были честны и что потому я была обязана согласиться на них, то я отвечу, что на этом самом месте, где теперь предают его могиле, он мне открыл свое тайное намерение, я же сообщила ему свое желание жить в вечном одиночестве и предать земле непорочными останки моей девственной красоты; и если, несмотря на это предостережение, он захотел все-таки упорствовать в своей надежде и, плыть против ветра, то удивительно ли, что ему пришлось потерпеть крушение в водовороте собственного неблагоразумия. Если бы я ему подала надежду, я бы солгала; если бы я приняла его предложение, я изменила бы своему святому решению. Он упорствовал в своих обманутых надеждах, он пришел в отчаяние, не будучи ненавидим. Теперь вы видите, справедливо ли наказывать меня за его ошибку! Пусть жалуется на меня тот, кого я обманула; пусть отчаивается тот, кто получил от меня напрасные обещания; пусть пребывает в уверенности тот, кого я ободрила в его склонности; пусть торжествует тот, кому я подарила свою любовь! Но имеет ли право называть меня жестокой и убийцей тот, кого я не обманывала, кому я ничего не обещала и кто не видел от меня ни одобрения, ни расположения? До сих пор небо не захотело, чтобы любить было моею участью; ошибается тот, кто думает, что я буду любить по выбору. Пусть это служит общим предостережением для всех, кто домогается меня в своих личных видах, и пусть впредь знают, что, если кто



умрет из-за меня, то это не от ревности и не от презрения, потому что та, которая никого не любит, не может никому внушить ревности, выводить же людей из их заблуждения не значит их презирать. Пусть тот, кто называет меня василиском и диким зверем, избегает меня, как ненавистную и опасную тварь; пусть тот, кто называет меня неблагодарной, не дарит меня своими заботами; называющий меня своенравной, пусть не ищет знакомства со мной; называющий меня жестокой, пусть откажется от преследований меня – этот дикий зверь, этот василиск, эта неблагодарная, жестокая, эта женщина своенравного характера не просит для себя знаков их преданности и, ни в каком случае, не будет их искать и преследовать. Если нетерпение и жар желаний заставили умереть Хризостома, виновата ли в том моя честность, моя осмотрительность? Если я сохраняю мою добродетель среди деревьев этих уединенных мест, зачем же пытается заставить меня потерять ее тот, кто желает, чтобы я хранила ее между людьми? Как вам известно, у меня есть некоторое состояние; я не желаю состояния других. Я дорожу своей независимостью и не сумела бы подчиняться чужой воле. Я не люблю и не ненавижу никого; про меня не могут сказать, что я, обманывая одного, ласкаю другого; что, суровая с тем, я кротка и обходительна с другим. Честное общество пастухов и уход за своими козами – вот мои удовольствия. Что же касается моих желаний, то они не выходят из пределов этих гор, разве только для того, чтобы созерцать красоту неба, к которому душа всегда должна стремиться, как к своему естественному пребыванию.

Произнеся эти слова и не желая ничего больше слушать, пастушка удалилась и исчезла в чаще соседнего леса, оставив всех слушавших ее в большом удивлении как от ее ума, так и от красоты. Некоторые из присутствовавших, которых ранили могучие стрелы, брошенные ее прекрасными глазами, обнаружили намерение за нею последовать, не обратив внимания на довольно ясное, только что данное ею предупреждение. Но это заметил Дон-Кихот; и, найдя случай удобным, чтобы исполнить рыцарский долг, подав помощь нуждающейся девице, он положил руку на рукоятку своего меча и воскликнул громко и внятно:

– Пусть никто, к какому бы он званию или состоянию не принадлежал, не осмеливается следовать за прекрасной Марселлой, под страхом подвергнуться моему гневу и ярости. Она неопровержимыми доводами доказала, что она почти и даже совершенно безупречна в смерти Хризостома и далека от намерения снизойти на обещания кого-либо из своих любовников. Вот почему вместо того, чтобы быть преследуемой, она должна быть уважаема и почитаема, всеми честными людьми в мире,

потому что, по всей вероятности, она единственная женщина, проводящая свою жизнь в таких постоянных уважения чувствах.

Вследствие ли угроз Дон-Кихота или вследствие напоминания Амброзио о том, что они еще в долгу перед своим другом, – только никто из пастухов не делал больше шагу, чтобы удалиться до тех пор, пока не вырыли могилу, сожгли бумаги Хризостома и положили тело его в могилу; предание тела земле вызвало у всех присутствовавших слезы на глаза. Могилу прикрыли большим обломком скалы на то время, пока не будет готов надгробный камень, на котором, по словам Амброзио, он предполагал заказать высечь такую эпитафию:

«Здесь прах покоится холодный  
Того, кто роком был гоним.  
Хоть жребий пастыря свободный  
Он нес, но рабством был томим

«Любви и жертвой пал несчастной  
Презренья гордой красоты:  
Она с улыбкою бесстрастной  
И жизнь сгубила и мечты.»

Затем на могилу набросали цветов и ветвей, и все пастухи расстались с Амброзио, свидетельствуя своему другу участие к его горю. Вивальдо и его спутник поступили так же. Дон-Кихот тоже простился с своими хозяевами, пастухами и путешественниками, приглашавшими его отправиться с ними в Севилью, город, по их словам, настолько обильный приключениями, что на каждом углу улицы их найдешь больше, чем в каком-либо другом городе во всем мире. Дон-Кихот поблагодарил их за это сведение, а также и за выраженные ему чувства, но добавил при этом, что он не хочет и не должен ехать в Севилью прежде, чем не очистит все эти горы от разбойников, которыми они кишат.

Узнав про такое благое намерение, путешественники не стали больше настаивать и, снова простившись с ним, отправились в путь, все время не прерывая своего разговора, предметом которого служили то история Марселлы и Хризостома, то безумство Дон-Кихота. Рыцарь же решил отправиться на поиски пастушки Марселлы и, отыскав ее, предложить свои услуги. Но этого плана ему не удалось исполнить, как это увидят из продолжения этой правдивой истории, вторая часть которой оканчивается

на этом месте.

## **ГЛАВА XV**

### **В которой рассказывается о печальном приключении, происшедшем с Дон-Кихотом при встрече с несколькими бесчеловечными янгуэзцами**

Мудрый Сид Ганед Бен-Энгелли рассказывает, что, простившись со всеми присутствовавшими на погребении пастуха Хризостома, Дон-Кихот, в сопровождении своего оруженосца, въехал в лес, в котором скрылась прекрасная Марселла; но, проблуждав там в напрасных поисках повсюду часа два, они выехали на покрытую зеленой травой лужайку, посреди которой протекал прелестный светлый ручеек, и, соблазненные красотой места, решили провести здесь часы полуденного отдыха, так как жара давала сильно себя чувствовать. Дон-Кихот и Санчо слезли на землю и, пустив на волю Россинанта и осла пользоваться травой, росшей на лугу в изобилии, сани произвели нападение на сумку, и, без всяких церемоний, господин и слуга, вкупе и влюбе, принялись поесть ее содержимое.

Санчо не позаботился связать ноги Россинанту, зная его спокойный характер, так мало склонный к греху плоти, что все кобылы кордовских пастбищ не представили бы для него ни малейшего соблазна. Но по воле судьбы, а также и никогда недремлющего черта, случилось так, что в той же самой долине паслось стадо галицийских кобыл, которых гнали янгуэзские погонщики мулов. Эти погонщики имеют обыкновение отдыхать в полдень с своими стадами в местах, где есть трава и вода, и, стало быть, место, где остановился Дон-Кихот, было очень удобно для них. Вдруг на этот раз Россинанта разобрала охота приволокнуться за господами кобылами, как только он почуял их, и вот он, позабыв свои добрые привычки и природную походку, не спросив позволения у своего господина, помчался мелкою щегольской рысью поведать им свое любовное желание; но кобылы, нуждавшиеся, кажется, больше в корме, чем в чем-либо другом, принялись его лягать и кусать, в одну минуту порвали на нем седельные ремни и лишили всего его наряда. Но его ожидала и другая, более чувствительная невзгода: погонщики мулов, увидав его насильственное покушение на их кобыл, прибежали с палками и стали так жестоко бить его, что в скором времени он очутился лежащим

вверх ногами на лугу. Увидав поражение Россинанта, Дон-Кихот и Санчо прибежали, запыхавшись, и рыцарь оказал своему оруженосцу:

– По-видимому, эти люди не рыцари, а негодяи и подлая чернь. Поэтому ты можешь с совершенно спокойною совестью помочь мне отомстить за оскорбление, нанесенное у нас на виду Россинанту.

– Какое к черту мщение, – ответил Санчо, – когда их двадцать, а нас два человека или, даже скорее, полтора.

– Я один стою сотни человек, – возразил Дон-Кихот, и, без дальнейших разговоров, он схватил меч и бросился на янгуэзцев. Воодушевленный примером своего господина, Санчо последовал за ним.

При первом нападении Дон-Кихот нанес такой сильный удар мечом одному из погонщиков, что просек надетую на нем кожаную куртку, а также и добрую часть плеча. Янгуэзцы, которых была порядочная компания, увидев, что на них нападают только двое, прибежали со своими дубинками и, окружив толпою обоих смельчаков, осыпали их градом палочных ударов. При втором же приступе они свалили Санчо на землю, а вскоре и Дон-Кихот, несмотря на всю свою ловкость и мужество, подвергся той же участи. Звезда его судьбы пожелала так, что он упал у ног Россинанта, все еще не имевшего сил подняться, – обстоятельство, показывающее, как удивительно исправно исполняет свою службу палка в грубых и расходившихся руках. Янгуэзцы же, при виде учиненного ими злодеяния, проворно оседлали своих кобыл и пустились в путь, оставив наших искателей приключений в довольно дурном расположении духа и не менее того дурном состоянии.

Первым пришел в чувство Санчо Панса и, лежа рядом со своим господином, сказал ему жалобным и печальным голосом:

– Господин Дон-Кихот! А, господин Дон-Кихот!

– Что хочешь ты, мой брат Санчо? – отозвался так же плачевно рыцарь.

– Я хотел бы, если это возможно, – ответил Санчо, – чтобы ваша милость дали мне глотка два этого питья Фьербласо, если оно у вас имеется под рукою. Может быть, оно так же полезно при переломе костей, как и при ранах.

– Ах, если бы оно было у меня, несчастного, – ответил Дон-Кихот, – чего бы нам тогда не доставало? Но, клянусь тебе честью странствующего рыцаря, Санчо Панса, что не пройдет и двух дней – разве только судьба распорядится иначе – у меня будет этот бальзам, если только не потеряю употребления своих рук.

– Двух дней! – возразил Санчо; – а через сколько дней, по мнению

вашей милости, будем мы в состоянии пустить в употребление свои ноги?

– Относительно себя, – ответил избитый рыцарь, – я не могу сказать числа; но я сознаюсь, что вся вина в этом несчастии падает на меня, так как я не должен был обнажать меча против людей, непосвященных в рыцари; и, без сомнения, за это самое нарушение рыцарских законов Бог битв допустил меня принять такое наказание. Вот почему, мой дорогой Санчо, я считаю нужным тебе сообщить кое-что касающееся нашего общего благополучия, именно – если ты увидишь, что подобная сволочь сделает что-либо оскорбительное против нас, то не дожидаясь, чтобы я обнажил меч для наказания их – чего я не сделаю ни в каком случае, – а бери сам меч и расправляйся с ними по своему. Если же к ним на помощь придут рыцари, тогда я сам сумею тебя защитить и, как следует, поразить их. Ведь ты уже видел на множестве опытов, до чего простирается мужество этой грозной руки.

Настолько преисполнен был наш бедный рыцарь высокомерия со времени своей победы над бискайцем. Но Санчо не совсем одобрил совет своего господина и счел долгом ответить на него:

– Господин, – сказал он, – я человек смирный, спокойного и миролюбивого характера и умею прощать всякие оскорбления, потому что у меня есть жена, которую я обязан кормить, и дети, которых я должен воспитывать. И потому примите к сведению, ваша милость, это заявление – я не могу сказать это распоряжение, – что я никогда, ни в каком случае не возьму меча в руки ни против простолюдина, ни против рыцаря и что отныне и до самого страшного суда я прощаю все обиды и те, которые уже сделаны, и те, которые будут сделаны мне, от кого бы они не происходили, от знатной ли особы, или простого человека, от богатого ли, или бедного, от дворянина или мужика, без исключения всякого звания и состояния.

Услыхав это, господин его отвечал ему:

– Хотелось бы мне посвободнее дышать, чтобы выразаться ясно, и успокоить чем-нибудь боль, испытываемую мною в помятом боку, чтобы объяснить тебе, Панса, в каком ты заблуждении. Слушай же нераскаянный грешник! Если ветер судьбы, до сих пор дувший против нас, повернет в нашу сторону и наполнит паруса наших желаний, чтобы привести нас, без опасностей и без бурь, к гавани какого-нибудь острова, обещанного мною тебе, – что будет с тобою, когда я, покорив этот остров, захочу сделать тебя его господином? Мне будет невозможно это сделать, потому что ты не рыцарь и не хочешь быть им, не имеешь ни мужества, ни даже желания мстить за свои оскорбления и защищать свою владетельную особу. Ты ведь знаешь, что во всех вновь покоренных областях или королевствах умы

обитателей не настолько спокойны и не настолько привязаны к их новому господину, чтобы можно было не опасаться с их стороны волнений и желания, как говорится, попытать счастья. Следовательно, новому повелителю необходимо иметь достаточно разума, чтобы уметь себя вести, и достаточно храбрости, чтобы принимать, смотря по обстоятельствам, то оборонительное, то наступательное положение.

– В приключении, которое только что произошло с нами, – ответил Санчо, – мне бы очень хотелось иметь этого разума и этой храбрости, о которых говорит ваша милость; но сейчас, клянусь вам честью бедняка, мне больше нужен пластырь, чем проповеди. Ну-те-ка, попробуйте подняться, а потом мы поможем подняться и Россинанту, хоть он этого и не заслуживает совсем, так как он главный виновник всего происшедшего с нами. Вот совсем не ожидал я такого поведения от Россинанта, которого я считал за такую же целомудренную и миролюбивую особу, как и я. Правду, должно быть, говорят, что нужно много времени, чтобы узнать людей и что нет ничего надежного в этой жизни. Кто мог бы сказать, что после страшных ударов мечем, нанесенных вашею милостью этому несчастному странствующему рыцарю, скоро разразится и над вашими плечами в свою очередь эта сильная буря палочных ударов.

– Еще твои плечи, вероятно, привыкли к подобным ливням, – ответил Дон-Кихот, – но что касается моих, привыкших нежиться в тонком голландском полотне, то они, вероятно долго будут ощущать боль после этой невзгоды, и если бы я не думал – что я говорю, не думал! – если бы я не был уверен, что все такие неприятности необходимо связаны с званием рыцаря, то я умер бы здесь от стыда и досады.

Оруженосец ответил на это:

– Господин, если такие неприятности составляют преимущества рыцарей, то не можете ли вы мне сказать, случаются ли они круглый год или же для них существуют постоянные и определенные времена, как для уборки хлеба: потому что мне кажется, что после двух таких жатв, как эта, мы, пожалуй, будем не в состоянии собрать третью, разве только Бог в своем бесконечном милосердии явится к нам на помощь.

– Знай же, друг Санчо, – ответил Дон-Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей подвержена всякого рода опасностям и несчастиям; но им также постоянно представляется возможность сделаться королями и императорами, как это доказано опытом очень многих рыцарей, история которых мне отлично известна; если бы боль не мешала мне, я мог бы тебе рассказать про некоторых из таких рыцарей, которые только силою собственной руки достигли самого высокого положения. А, между тем, эти

же самые рыцари подвергались до этого и после этого всякого рода бедствиям и лишениям. Так храбрый Амадис Гальский видел себя во власти своего смертельного врага, волшебника Архилая, и достоверно известно, что этот волшебник, держа его в плену, дал ему более двухсот ударов ременными поводками своей лошади, привязав его к столбу во дворе собственного замка. Неизвестный, но заслуживающий доверия автор рассказывает также, что рыцарь Феб, будучи схвачен в потаенной яме, раскрывшейся под его ногами в одном замке, был брошен в глубокое подземелье с связанными руками и ногами; там его подчивали таким лекарством, составленным из песку и снега, что бедный рыцарь был на волосок от смерти и, наверно, погиб бы, если бы в таком бедственном положении не явился к нему на помощь один мудрец, его большой друг. Следовательно, и я могу пройти чрез те же самые испытания, чрез какие прошли эти благородные личности; они терпели более тяжелые оскорбления, чем только что испытанное нами. Кроме того, ты должен еще знать, Санчо, что раны, нанесенные орудиями, которые случайно попались под руку, не имеют ничего позорного для того, кто эти раны получает; так в законе о поединках в точных выражениях сказано: «Если один башмачник, – говорится там, – ударит другого колодкой, которую он держит в руке, та, хотя эта колодка и сделана из дерева, все-таки нельзя сказать, что получивший удар был побит». Говорю это я тебе затем, чтобы ты не вздумал предполагать, будто бы мы, побитые в этой схватке, были тем самым обесчещены; этого вовсе нет, так как оружием, которое носили эти люди, было ничто иное, как колья, и ни у кого из них, насколько мне помнится, не было ни меча, ни кортика, ни кинжала.

– Мне они не дали разглядеть себя подробно, – ответил Санчо, – потому что, прежде чем я успел взмахнуть моей Тисоной, <sup>[19]</sup> они так погладили мои плечи своими дубинками, что свет пропал у меня из глаз, а сила – из ног, и я повалился на то самое место, где я еще и теперь покоюсь. И злит меня вовсе не мысль, что эти удары нанесли мне бесчестие, а боль от полученных ударов, которые так же долго останутся запечатлевшимися у меня в памяти, как и на плечах.

– И все-таки, – ответил Дон-Кихот, – я тебе напомню, мой дорогой Санчо, что нет огорчения, которого не изглаживало бы время, и боли, которой не излечивала бы смерть.

– Так-то так, – возразил Санчо, – да ведь что же может быть хуже той боли, которая проходят только со временем и излечивается лишь со смертью? Если бы, по крайней мере, ваше бедствие было одним из тех, которые облегчаются одним или двумя пластырями, это было бы все еще



ничего; но мне кажется, что всех больничных припарок было бы мало, чтобы поставить нас на ноги.

– Ну, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – перестань жаловаться и примиришься с судьбою; я подам тебе в этом пример. Посмотрим-ка, как поживает Россинант, потому что на долю бедного животного, мне кажется, выпало тоже порядком.

– Тут нечему удивляться, – ответил Санчо, – ведь он – тоже странствующий: рыцарь; но меня удивляет, что мой осел остался здоров и невредим и ни волоска не потерял там, где мы поплатились своей шкурой.

– К несчастью, – ответил Дон-Кихот, – судьба всегда оставляет одну дверь открытой для выхода; я говорю так потому, что это доброе животное может на время заменить Россинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где бы полечили мои раны. Тем более, что я не считаю позорным ехать на этом животном; и читал, помнится мне, что добрый, старый Силен, воспитатели и наставник бога радости, въезжая в стовратный город, сидел верхом на красивом осле.

– Все-таки, надо сидеть верхом, как вы говорите, – ответил Санчо; – а то ведь есть разница между человеком, сидящим верхом, и человеком, положенным поперек осла точно мешок муки.

– Раны, получаемые в битвах, – проговорил важно Дон-Кихот, – приносят честь, которой ничто не может отнять. Потому, друг Санчо, не возражай больше, но, как я уже тебе сказал, поднимись, насколько для тебя это возможно, и положи меня на осла, как только можешь, поудобнее, а затем поедem отсюда, пока не застала нас ночь в этом уединенном месте.

– Но я часто слыхал от вашей милости, – отвечал Санчо, – что странствующие рыцари привыкли спать в пустынях при свете звезд и что это им нравится лучше всего.

– Конечно, так, – ответил Дон-Кихот, – когда они не могут устроиться иначе или когда они влюблены; и совершенно верно, что среди них встречался и такой рыцарь, который оставался на утесе, подвергаясь солнечным лучам, холоду и всем суровостям погоды в продолжении целых двух лет, причем его дама ничего об этом не знала. Одним из таких был и Амадос, который, назвавшись Мрачным Красавцем, выбрал своим местопребыванием утес Бедный и провел там, не могу сказать точно, восемь-ли лет или восемь месяцев, потому что неуверен в своей памяти: достаточно знать, что он там пребывал, наложив на себя эпитетом из-за какой-то неприятности, полученной им от своей дамы Орианы. Но кончим все это, Санчо, пока не случилось какого-нибудь несчастья с ослом, как с Россинантом.

– Это было бы черт знает что, – возразил Санчо. И затем, испустив тридцать вздохов, вскрикнув раз шестьдесят «ой!» и послав сто двадцать ругательств и проклятий тем, которые довели его до того, он наконец-то поднялся на ноги, но, остановившись в своем предприятии на полдороге, он так и остался согнутым, как дуга, не будучи в состоянии выпрямиться окончательно. Наконец, несмотря на страдания, ему удалось поймать и взнуздать осла, который, воспользовавшись свободой этого дня, тоже стал себя вести несколько вольно. Потом он поднял Россинанта, который, если бы у него был язык, чтобы жаловаться, не уступил бы в этом господину и слуге. В конце всего этого Санчо устроил Дон-Кихота на осле, привязал Россинанта сзади и, взяв своего скота за недоуздок, зашагал в ту сторону, где, по его предположению, должна была находиться большая дорога. По прошествии часа ходьбы смиростивившаяся судьба привила его неожиданно к большой дороге, где он увидал постоялый двор, который, наперекор его мнению, в воображении Дон-Кихота оказался замком. Санчо утверждал, что это – постоялый двор, а господин его упорствовал, говоря, что это, несомненно, замок. Спор их окончился только тогда, когда они приблизились к воротам постоялого двора, в которые и въехал Санчо со всем своим караваном, бросив дальнейшие уверения.

## ГЛАВА XVI

### **О том, что случилось с знаменитым рыцарем на постоялом дворе, принятом им за замок**

Хозяин постоялого двора, при виде Дон-Кихота лежащим поперек осла, спросил Санчо, чем болен этот человек. Санчо ответил, что его господин ничем не болен, что он только скатился с верхушки одного утеса вниз и тем помял себе немного ребра. Хозяин имел жену, бывшую, не в пример прочим женщинам ее звания, от природы человеколюбивой и исполненной сострадания к скорбям ближнего. Она скоро прибежала и начала ухаживать за Дон-Кихотом; в этом помогала ей ее дочь, молодая девушка, стройная и с хорошеньким личиком.

На этом же постоялом дворе была служанка астурийка с широким лицом, плоским затылком и сплюснутым носом, которая; кроме того, была крива на один глаз, да и другой имела не совсем в исправности. Изящество ее тела восполняло эти легкие несовершенства: ростом она была не более семи четвертей с головы до пят, а плечи ее настолько выдавались, что заставляли ее смотреть в землю немного больше, чем она желала бы. Эта прелестная особа помогала хозяйской дочери; и обе они изготовили Дон-Кихоту скверную постель на чердаке, служившем, по всей видимости, долгие годы сеновалом. Тут же спал один погонщик, лежавший немного подальше Дон-Кихота; и, хотя постель мужика была устроена из седел и попон, она, все-таки, была много удобней постели рыцаря, потому что последняя состояла просто из четырех негладких досок, положенных на две неодинаковой вышины скамейки, матрац такой тонкий, что имел вид одеяла, был весь покрыт какими-то выпуклостями, которые на ощупь можно было принять за камни, если бы несколько дыр в матраце не обнаруживали, что это была свалывшаяся шерсть; две буйволовых кожи служили вместо простыни, а в одеяле можно было сосчитать все до одной ниточки. На таком-то негодном ложе распростерся Дон-Кихот, и хозяйка с дочерью принялись растирать его мазью с ног до головы в то время, как Мариторна – так было имя астурийки – светила.

Во время этой операции хозяйка, увидя у Дон-Кихота синяки и ушибы в стольких местах, сказала, что, по-видимому, они скорее произошли от ударов, чем от падения.

– Вовсе не от ударов, – ответил Санчо, – и это произошло от того, что

утес, с которого он падал, был покрыт острыми выступами, и каждый из них положил свою отметину. Потом он прибавил:

– Сделайте милость, сударыня, оставьте несколько капель, я знаю кой-кого, кому они тоже были бы не лишни, потому что мне тоже здорово ломит поясницу.

– Разве вы тоже упали? – спросила его хозяйка.

– Совсем нет, – возразил Санчо. – но от страха и потрясения, которые я испытал при виде падения моего господина, у меня появилась такая боль в теле, как будто я получил сотню палочных ударов.

– Это может случиться, – сказала девушка, – мне часто грезится, что я падаю с высокой башни и никак не могу долететь до земли; и когда я просыпаюсь, то чувствую себя такой утомленной и разбитой, как будто я в самом деле упала.

– Вот именно, сударыня, – воскликнул Санчо, – также и со мной было! Разница только та, что я не грезил, а бодрствовал даже еще больше, чем теперь, и вот покрыт теми же следами ударов, как и мой господин Дон-Кихот.

– Как вы называете этого господина? – спросила астурийка Мариторна.

– Дон-Кихот Ламанчский, – ответил Санчо Панса, – лучший и храбрейший из странствующих рыцарей, когда-либо видевных на земле.

– Что такое странствующий рыцарь? – спросила миловидная служанка.

– Вот как! – произнес Санчо, – вы так неопытны в жизни, что не знаете этого? Ну так знайте же, моя милая, что странствующий рыцарь – такой человек, которого одинаково могут и поколотить, могут и сделать императором, сегодня он самое несчастное и нуждающееся существо в мире, завтра же он может отдать своему оруженосцу три или четыре королевских короны.

– В таком случае, – сказала хозяйка, – каким образом вы, оруженосец такого превосходного рыцаря, не имеете до сих пор, по крайней мере, графства?

– Пока еще рано, – ответил Санчо, – только еще месяц прошел, как мы отправились в поиски за приключениями и до сих пор не нашли еще ничего, что могло бы назваться этим именем. Ведь иногда, случается искать одно, а находить другое. Но пусть только мой господин Дон-Кихот поправится от этих ран или, вернее, от этого падения и пусть я сам не останусь изувеченным, – тогда я не променяю моих надежд на лучшую область Испании.

Весь этот разговор Дон-Кихот слушал с большим вниманием, лежа в

постели. Приподнявшись, насколько он мог, и нежно взяв на руку хозяйку, он сказал ей:

– Поверьте мне, прекрасная и благородная дама, вы можете назвать себя счастливой, так как приняли в своем замке такую особу, что, если я не хочу хвалиться, то только потому, что, как известно, похвалы самому себе унижительны; но мой оруженосец сообщит вам, кто я. С меня же будет довольно сказать, что я навеки сохраню запечатлевшейся в памяти оказанную вами услугу и всю мою жизнь буду питать к вам признательность. И если бы небу не было угодно, чтобы любовь подчинила уже меня своим законам и сделала меня рабом очей одной неблагодарной красавицы, имя которой я шепчу про себя, то глаза этой прелестной девицы были бы отныне верховными повелителями моей свободы.

Хозяйка, ее дочь и добрая Мариторна стояли в изумлении от речей странствующего рыцаря, в которых они ровно ничего не понимали, как будто бы он говорил по-гречески. Они догадались, правда, что он говорит что-то вроде благодарности и любезностей; но мало привыкшие к подобному языку, они с удивлением переглядывались между собою и посматривали на Дон-Кихота, казавшегося им совсем необыкновенным человеком. Поблагодарив за его любезность с учтивостью, свойственной людям их звания, хозяйка и ее дочь оставили его, а Мариторна принялась лечить Санчо, нуждавшегося в этом не меньше своего господина.

Надо, однако, знать, что погонщик мулов и служанка уговорились между собою коротать вместе эту ночь. Она дала слово ему, что, как только гости удалятся и хозяева заснут, придет к нему и предоставит себя в полное его распоряжение. Рассказывают, кроме того, что эта добрая девушка никогда не давала подобных слов понапрасну, хотя бы ей пришлось давать их в лесной глуши без всяких свидетелей, – она перед всеми хвалилась своим благородным происхождением, которого, как говорила она, не может унижить ее служба на постоялом дворе, так как только несчастья и превратности судьбы довели ее до такого положения.

Жесткая, узкая, грязная и непрочная постель, на которой покоился Дон-Кихот, стояла первой посреди этого чердака, в потолок которого заглядывали звезды. Санчо поместился с ним рядом, устроив свою постель из простой тростниковой рогожи и одеяла, состоявшего, по-видимому, скорее из конского волоса, чем из шерсти. За этими двумя постелями следовала постель погонщика, сделанная, как уже сказано, из седел и попон его двух лучших мулов; он вел всего двенадцать тучных, живых и сильных мулов, так как это был один из богатых аревальских погонщиков, как уверяет в том автор этой истории, обращающий на названного погонщика

особенное внимание, потому что он его близко знал и даже, по слухам, был несколько сродни ему.<sup>[20]</sup> Сид Гамед Бэн-Энгели был и вообще очень тщательным и точным историком относительно всех обстоятельств; это неоспоримо подтверждается тем, что он с своей стороны не обходит молчанием ни одной подробности, как бы проста и ничтожна по значению она ни была. Такое отношение к делу могло бы служить примером для важных и серьезных историков, которые рассказывают нам дела своих героев так лаконически кратко, что не успеешь их и раскусить хорошенько, и которые в своей чернильнице оставляют по небрежности, невежеству или по злобе всю главную суть их сочинения. Тысячи похвал автору Тобланта Рикамонтского и повествователю о подвигах и деяниях Графа Томильяса! Какая точность в их рассказах и описаниях!

Возвращаюсь, однако, к нашей истории. Погонщик, посмотрев своих мулов и дав им второй пай ячменя, растянулся на своей сбруе и стал поджидать точной Мариторны. Санчо Панса, хорошо натертый мазью, улегся, но, не смотря на все его старания, боль в ребрах не давала ему заснуть. Дон-Кихот, ощущая боль в том же месте, лежал тоже с открытыми, как у зайца, глазами. Во всем постоялом дворе царило молчание, и не было нигде другого света кроме зажженного ночника, висевшего у входа. Эта полная таинственности тишина и мысли, не перестававшие роиться в уме нашего рыцаря благодаря воспоминанию и приключениям, которые встречаются на каждой странице принесших ему несчастье книг, создали в его воображении одно из самых странных и безумных представлений, какие только можно придумать. Он был убежден, что прибыл в знаменитый замок, так как все постоянные дворы, в которых он останавливался, были в его глазах замками, что дочь хозяина двора была дочь владельца замка и что, покоренная его красотой и любезностью, эта девица влюбилась в него и решила тайно от родителей придти к нему в эту самую ночь и разделить с ним ложе. Приняв все эти им же самим составленные химеры за действительность, он стал беспокоиться при мысли о том, какая страшная опасность грозит его целомудрию, и в глубине сердца он принял твердое решение не допускать себя до измены своей даме Дульцинее Тобозской, даже в том случае, если бы явилась искушать его сама королева Женьевра, в сопровождении дуэньи Квинтильоны.

Между тем как он погружался умом в такие сумасбродные мечтания, время шло и наступил роковой для него час, когда, согласно своему обещанию, пришла астурийка, которая в одной сорочке, с босыми ногами и с волосами, собранными в бумажном чепчике, прокрадывалась по-волчьи в помещение, где спали гости, направляясь к погонщику мулов. Но едва

только переступила она порог, как Дон-Кихот уже услышал ее, сел на постели, позабыв о своей боли в пояснице и о пластырях, простер руки, чтобы принять очаровательную астурийскую девицу, которая, вся сжавшись, еле дыша и выставив вперед руки, ощупью отыскивала своего возлюбленного. Она угодила прямо в объятия Дон-Кихота, который крепко схватил ее за рукав рубахи и, притянув ее, не смеяшую пикнуть ни слова, к себе, посадил на свою постель. Он пощупал ее рубашку, сшитую из грубого мешочного холста, но показавшуюся ему сделанной из тончайшего полотна. На руках у астурийки были надеты стеклянные браслеты, приобретшие в его глазах красоту драгоценнейшего жемчуга востока; ее волосы, своею жесткостью и цветом несколько напоминавшие лошадиную гриву, он принял за пряди тончайшего аравийского золота, сияние которых помрачало сияние солнца, а ее дыхание, отзывавшееся вчерашним салатом из чеснока, показалось ему источавшим сладостное благоволение. Одним словом, в своем воображении он наделил ее теми же самыми прелестями и уборами, какие имелись у той принцессы, которая, как он читал в своих книгах, пришла ночью к раненому рыцарю, будучи не в силах бороться с своей пламенной любовью к нему. Ослепление бедного гidalго было так сильно, что ничто его не могло разочаровать: ни прикосновение, ни дыхание, ни некоторые другие особенности, отличавшие бедную девку и настолько приятные, что могли бы возбудить рвоту у всякого другого, кроме погонщика, несмотря ни на что, он воображал, что держит в своих объятиях богиню любви и, прижав ее крепко к себе, говорил ей тихим и нежным голосом:

— Благородная и очаровательная дама! я страстно бы желал быть в состоянии отплатить вам за то бесконечное счастье, которое вы мне дарите видом вашей несравненной красоты; но судьбе, никогда не перестающей преследовать добрых, угодно было бросить меня в эту постель, где я лежу настолько избитый и изломанный, что, если бы даже моя воля соответствовала вашей, и тогда дело оставалось бы все-таки невозможным. Но к этой невозможности присоединяется еще большая; это — клятва, данная несравненной Дульцинее Тобозской, единой повелительнице моих самых сокровенных мыслей. Если бы такие препятствия не мешали исполнению моих желаний, то, без сомнения, я оказался бы не настолько глупым рыцарем, чтобы упустить счастливый случай, которым дарит меня ваша бесконечная доброта.

Бедная, крепко стиснутая Дон-Кихотом Мариторна, не обращая внимания на эти речи и ни говоря ни слова, металась в смертельной тоске и всячески старалась высвободиться.

Погонщик, которому грешные желания не давали спать, слышал свою красавицу с того самого момента, как только она переступила порог, и затем внимательно прислушивался ко всему, что говорил Дон-Кихот. Мучимый ревностью и рассерженный на астурийку, изменившую своему слову ради другого, он поднялся, подошел поближе к Дон-Кихоту и стал, притаившись, ожидать, чем кончатся все эти речи, которых он никак не мог понять; но когда он увидел, что бедная девка усиливается вырваться, а Дон-Кихот, напротив, старается ее удержать, то, недовольный такою шуткою, он поднял кулак и со всего размаху так здорово хватил им по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того весь рот заполнился кровью; не довольствуясь, однако, и этим, он вскочил к нему на грудь и ногами перещупал ему все ребра сверху донизу. Но в это время тонкая и непрочная кровать не могла выдержать добавившегося веса погонщика, провалилась и упала. От треска и шума ее падения проснулся хозяин, стал звать во все горло Мариторну и, не получив от вся никакого ответа, сейчас же догадался, что это должны быть ее проказы. С этим подозрением он встал, зажег ночник и направился в ту сторону, откуда шел шум. Служанка, услышав шаги своего хозяина, жестокий нрав которого ей был известен, поспешила укрыться на постели все еще спавшего Санчо Панса и свернулась там в клубок. Хозяин вошел и крикнул:

– Где ты, каналья? я уж знаю, что это твои проделки!

В эту минуту Санчо проснулся и, ощущая на своем животе какую-то необыкновенную тяжесть, принялся совать кулаком то в ту, то в другую сторону, подумав, что его душит кошмар. Добрая доля этих туманов попала Мариторне и та, от боли потеряв всякое терпение, принялась отплачивать Санчо тою же монетою, чем окончательно довершила его пробуждение. Получая такие угощения и не понимая, кому и чему он ими обязан, Санчо постарался, как мог, подняться, схватил Мариторну в охапку, и оба противника вступили между собою в жесточайшую и презабавнейшую поволочку в мире. Между тем, погонщик, увидав при свете лампы опасное положение своей дамы, бросил Дон-Кихота и поспешил на помощь красавице. Хозяин последовал за ним, но с другим намерением: он хотел наказать астурийку, вполне убежденный, что она единственная причина всей этой суматохи. И подобно тому, как говорится кошка за крысу, крыса за веревку, веревка за палку, так происходило и здесь: погонщик дубасил Санчо, Санчо – девку, девка – Санчо, хозяин – девку, и все они работали так ловко и усердно, что не давали друг другу ни минутки отсрочки. К довершению забавности приключения ночник у хозяина погас, и сражающиеся, внезапно очутившись в совершенной темноте, осыпали друг



друга ударами уж без всякого разбора и без всякого милосердия, внося разрушение всюду, куда только доставали их руки.

Эту же ночь случилось ночевать на постоялом дворе одному полицейскому стражу из так называемой старой толедской святой германдады. Услыхав шум свалки, полицейский вооружился своим черным жезлом и ящичком из белого железа, хранившим его права, и, ощупью войдя в помещение, где происходила битва.

– Стой! – воскликнул он, – остановитесь! – почтение к правосудию! почтение к святой германанде!

Первым попавшимся ему под руку был наш несчастный Дон-Кихот, растянувшийся на развалинах своего ложа с разинутым ртом и без сознания. Полицейский, схватив его за бороду, снова крикнул:

– Помощь правосудию!

Но, заметив, что его пленник не делал ни малейшего движения, он вообразил себе, что это – мертвый, а остальные были его убийцами. Когда ему пришла в голову такая мысль, он еще громче заорал:

– Запереть ворота дома и смотреть, чтобы никто не вышел оттуда! Здесь убили человека.

Этот крик испугал сражавшихся, и битва прекратилась, как только раздался голос полицейского. Хозяин удалился в свою комнату, служанка – в свою конуру, и погонщик – на свою упряжь. Только двое несчастных, Дон-Кихот и Санчо, были не в состоянии сдвинуться с места. Полицейский выпустил наконец бороду Дон-Кихота и вышел добыть света, чтобы возвратиться потом и арестовать преступников, но света он не нашел, так как хозяин по возвращении позаботился погасить ночник. Поэтому полицейскому пришлось слазить в печку, и только после долгого времени и порядочного труда ему, наконец, удалось зажечь свечу.

## ГЛАВА XVII

**В которой продолжается история бесчисленных неприятностей, испытанных храбрым Дон-Кихотом вместе с своим добрым оруженосцем Санчо Панса на постоялом дворе, который рыцарем, к несчастью, был принят за замок**

Между тем Дон-Кихот пришел в сознание и таким же жалобным голосом, каким накануне его звал оруженосец, когда они оба распростерты лежали в долине приключения с дубинками, начал звать Санчо, говоря:

– Санчо, друг мой, ты спишь? ты спишь, мой друг Санчо?

– Куда к черту спать! – ответил Санчо с горечью и отчаянием – когда в эту ночь все черти ада сорвались с цепи и бросились на меня!

– Ах, ты, вероятно, прав, думая так, – ответил Дон-Кихот, – потому что, или я сильно ошибаюсь, или этот замок заколдован. Надо тебе сказать... Но прежде чем я буду продолжать, ты мне поклянешься, что сказанное мною будешь держать в тайне до самой моей смерти.

– Хорошо, я клянусь, – ответил Санчо.

– Я требую от тебя этой клятвы, – заговорил опять Дон-Кихот, – потому что ни за что в свете не хотел бы вредить чести кого-либо.

– Да говорю вам, что клянусь, – повторил Санчо, – и буду молчать о сказанном до конца вашей жизни!.. Дай Бог только, чтобы завтра же моя клятва разрешилась.

– Как, Санчо! – сказал Дон-Кихот, – разве я так дурно обходился с тобой, что ты желаешь мне смерти.

– Вовсе не потому, – возразил Санчо, – а потому что я не люблю долго хранить тайны и боюсь, что, если я буду скрывать их слишком долго, то они, пожалуй, сгниют внутри меня.

– Как бы там ни было, – сказал Дон-Кихот, – я вполне полагаюсь на твою привязанность ко мне и верность. Знай же, что со мною в эту ночь случилось одно из удивительнейших приключений, которое могло бы послужит к моей славе. Короче говоря, несколько минут тому назад ко мне приходила дочь владельца этого замка, прелестнейшая и милейшая из всех земных дев. Как описать тебе красоту этой особы, изящество ее ума и другие сокрытые прелести, которые вследствие клятвы, данной мною моей

даме Дульцинее Тобозской, я оставляю нетронутыми и обхожу молчанием. Скажу только, что или небо позавидовало посланному мне судьбою необычайному счастью или, может быть, – и это даже более вероятно – этот замок, как я уже сказал, – очарован; чтобы там ни было, только в то время, как я вел с нею самую нежную влюбленную беседу, вдруг, невидимо и неожиданно для меня, кулак какого-то огромного великана нанес мне такой сильный удар по челюстям, что они и до сих пор все еще в крови. Потом великан колотил и мямлял меня так, что я теперь нахожусь в худшем положении, чем вчера, когда, как ты знаешь, нас из-за волокитства Россинанта побили погонщики мулов. На основании этого я догадываюсь, что сокровище красоты этой девицы поручено на хранение какому-нибудь волшебному мавру, а потому оно существует не для меня.

– Ни для меня, тем менее, – ответил Санчо, – потому что больше четырехсот мавров так дубили мою кожу, что в сравнении с этим молотба дубинками просто благодать. Ну, скажите мне, господин, как можете вы называть редким и прекрасным такое приключение, из которого мы выходим в таком виде. Еще вашей милости беда не так велика, потому что вы хоть держали в объятиях эту несравненную красоту; о которой вы говорите; но я то, Господи Боже мой! я что приобрел кроме здоровеннейших тумачков, какие только можно получить в жизни? Горе мне и родившей меня в свет матери! я не рыцарь и не думаю никогда им сделаться, а между тем большая доля во всех неприятностях попадает мне.

– Как! – воскликнул Дон-Кихот, – тебя тоже колотили?

– Проклятие моему роду! – вскричал Санчо, – что же я вам и говорю-то?

– Не огорчайся, мой друг, – сказал Дон-Кихот, – я сейчас приготовлю драгоценный бальзам, и он исцелит вас в одно мгновение ока.

В эту минуту полицейский святой германдады появился с зажженным ночником, чтобы посмотреть на человека, которого он считал за мертвого. Когда Санчо увидел входящим человека довольно противной наружности, в рубашке, с головой, обернутой черным платком, и с ночником в руке, он спросил своего господина:

– Господин, не очарованный ли это мавр, вернувшийся для того, чтобы снова разглядеть нам спины, если только у него еще не уходились руки и ноги?

– Нет, – ответил Дон-Кихот, – это не мавр, потому что очарованные не дают себя видеть.

– Ну, если они не дают себя видеть, то порядком дают себя чувствовать, – сказал Санчо; – если вы сами не убедились, так можете

получить много сведений относительно этого от моих плечей.

– Мои могли бы тоже кое-что порассказать, – ответил Дон-Кихот, – но этого указания еще недостаточно для предположения, что тот, кого мы видим, – очарованный мавр. Полицейский приблизился и остановился, когда нашел их там спокойно разговаривающими; впрочем, Дон-Кихот все еще лежал с разинутым ртом, потеряв способность двигаться, благодаря полученным ударам и облепившим его пластырям. Полицейский подошел к нему.

– Ну, – сказал он, – как себя чувствуешь, приятель?

– Я говорил бы повежливее, – заметил Дон-Кихот, – если бы был на вашем месте. Разве в этой стране принято говорить так с странствующими рыцарями, грубый невежа вы!

Полицейский, встретив подобное возражение от человека такого печального вида, был взбешен его заносчивостью и, замахнувшись ночником, бывшим у него в руках, бросил его со всем маслом в голову Дон-Кихота, так что едва не расколол ему черепа; а затем он удалился, оставив опять все помещение в темноте.

– Ну, теперь нет сомнения, господин, – сказал Санчо Панса, – что это – очарованный мавр, который бережет сокровище для других, для вас же приберегает только удары кулаком да ночником.

– Должно быть, что так, – ответил Дон-Кихот, – но не следует обращать внимания на эти волшебства и еще менее того сердиться и досадовать на них; ведь это невидимые или фантастические существа, и, сколько бы мы их не искали, все равно не нашли бы никого, кому отомстить. Подымись, Санчо, если можешь, позови начальника этой крепости и скажи, чтобы он дал мне немного масла, вина, соли и розмарина – я хочу составить свой спасительный бальзам. Право, я думаю, что он мне теперь очень нужен, потому что я теряю много крови из раны, нанесенной мне этим привидением.

Санчо поднялся, ощущая боль до самого мозга костей, и ощупью отправился искать хозяина. Встретив полицейского, подслушивавшего у двери, что будет делать его несчастный противник, он сказал ему:

– Господин, кто бы вы ни были, будьте добры, сделайте милость, дайте нам немного розмарина, масла, вина и соли, это нам нужно для того, чтобы полечить лучшего из странствующих рыцарей, какие только существуют на земле, он лежит сейчас в постели тяжело раненый мавром, живущим в этом доме.

Услыхав такие слова, полицейский принял Санчо за человека не в полном разуме. Но так как начинало уже рассветать, то он отворил дверь и,

позвав хозяина, рассказал ему, чего желает этот простак. Хозяин снабдил Санчо всем желаемым, и тот поспешил все отнести Дон-Кихоту, который, обхватив голову обеими руками, жаловался на сильную боль от удара ночником, не причинившего, впрочем, никакого другого повреждения, кроме двух вскочивших на лбу довольно больших шишек; то же, что рыцарь принимал за кровь, было простым потом, вызванным усталостью и тревожностями последней бури. Дон-Кихот взял все принесенные вещества, смешал их вместе и довольно долго кипятил всю смесь на огне до тех пор, пока ему не показалось, что его лекарство готово. Он попросил тогда бутылку, чтобы вылить в нее жидкость, но так как бутылки не оказалось во всем постоялом дворе, то он решил довольствоваться жестянкой из-под масла, которую ему любезно подарил хозяин. Затем он прочитал над жестянкой раз восемьдесят слишком *Pater mater*, столько же *Ave Maria*, *Salve* и *Credo*, с каждым словом крестя свое лекарство. При этой церемонии присутствовали Санчо, хозяин и полицейский, погонщик же в это время спокойно занимался уходом за своими мулами.

Совершив все это, Дон-Кихот решил немедленно же испытать на себе силу столь драгоценного, по его мнению, бальзама и, потому, выпил добрую половину всего, что не поместилось в жестянке и осталось в чугунчике. Но едва он кончил пить, как у него поднялась сильная рвота, после которой, наверно, ничего не осталось в его желудке. От напряжения и мучений при тошноте у него появился очень обильный пот; тогда он попросил прикрыть себя потеплее в постели и оставить одного. Его послушались, и он проспал больше четырех часов, после чего, пробудившись и почувствовав свое тело сильно облегченным и исцелившимся от побоев, решил, что он совершенно выздоровел. Такое быстрое исцеление серьезно навело его на мысль, что он нашел бальзам Фьерабраса и, обладая таким лекарством, может без малейшего страха вступать во всякие столкновения и битвы, какие бы опасности они не представляли. Санчо Панса, которому выздоровление его господина тоже показалось чудесным, допросил позволения допить остальную довольно изрядную долю жидкости в чугунчике. Дон-Кихот дал ему это позволение, и Санчо с чувством простодушной веры обхватил чугунчик обеими руками и вылил себе в глотку почти столько же, сколько его господин.

Но желудок у бедного Санчо, должно быть, был не так нежен, как у его господина, и, потому, перед рвотой его столько раз прошибал холодный пот, так сильно мутило, так страшно жгло у него на сердце, что, испытывая столько страданий, он был вполне уверен в близости своего последнего часа, и в своих страшных муках проклинал не только бальзам, но и злодея,

предложившего ему такое лекарство. При виде его мучений, Дон-Кихот сказал ему:

– Я полагаю, Санчо, что все твои страдания происходят от того, что ты не посвящен в рыцари, потому что, по моему мнению, эта жидкость не может быть полезна для тех, кто не рыцарь.

– Проклятие на меня и на весь мой род! – вскричал Санчо, – если ваша милость знали это, зачем же вы угостили меня ею.

В эту минуту напиток возымел, наконец, действие, и бедный оруженосец начал опрастываться через оба природные канала с такою стремительностью, что рогожа, на которой он почивал, и покрывавшее его холщевое одеяло сделались навсегда негодными к употреблению. В тоже время он так сильно потел и мучился такими припадками и конвульсиями, что не только он сам, но и все присутствовавшие не сомневались в близости его кончины. Припадки и опасное положение длились у него около двух часов, и, когда они миновали, бедный оруженосец не только не испытал облегчения, как его господин, но, напротив, чувствовал себя так сильно утомленным и изломанным, что не мог держаться на ногах.

Но Дон-Кихот, убежденный в своем полном выздоровлении и чувствовавший себя даже бодрее, чем когда либо, решил немедленно же отправиться в путь на поиски приключений. В безграничном доверии, питаемом им отныне к своему бальзаму, он смотрел за то время, которое он промешкал в этом месте, как на потерянное для мира и для угнетенных, ожидавших его помощи. Поэтому, сгорая нетерпением, он сам оседлал Россинанта и осла и помог Санчо одеться и вскарабкаться на своего осла. Потом он сел верхом на коня, проехал в угол двора и взял стоявшую там пику сторожа, которою он решил заменить копье. Все находившиеся на постоялом дворе (более двадцати человек) смотрели на него; в числе их была также и хозяйская дочь, с которой он, с своей стороны, тоже не сводил глаз, испуская по временам вздохи, с мучением вырывавшиеся, казалось, из глубины его внутренностей, впрочем, присутствовавшие объясняли эти вздохи иначе, предполагая, что он испытывает сильную боль; в особенности, так думали те, кто видел его накануне намазанным и облепленным пластырями.

Когда они оба, рыцарь и оруженосец, уселись верхом, Дон-Кихот, остановившись у дверей, позвал хозяина и твердым и важным голосом оказал ему:

– Полученные мной в вашем замке милости велики и многочисленны, господин владелец замка, и, пока я жив, я обязан сохранять сердечную признательность к вам за них. Если я могу отблагодарить и отплатить вам

за них, предав мщению какого-нибудь нахала, нанесшего как какое-либо оскорбление, то знайте, что мои обязанности в том только и состоят, чтобы помогать слабым, мстить за оскорбленных и наказывать всякие вероломные деяния. Обратитесь к вашей памяти и если вы найдете поручить мне что-либо в этом роде, то вам стоит только сказать, и я носимым мною званием рыцаря обещаю дать вам всякое удовлетворение, какое только вы пожелаете.

Хозяин так же спокойно ответил ему:

– Мне нет надобности, господин рыцарь, чтобы ваша милость мстили за меня какую-либо обиду, потому что, когда меня обижают, я сумею сам за себя отомстить... Я желаю только, чтобы ваша милость заплатили мне за все забранное вами сегодня ночью на моем постоялом дворе, как за солому и ячмень, которые были даны этим двум животным, так за ужин и постели.

– Как! – воскликнул Дон-Кихот, – это, стало быть, постоялый двор?

– И очень известный, – ответил хозяин.

– В таком случае, – сказал Дон-Кихот, – я до сих пор странным образом заблуждался, потому что, по правде сказать, я думал, что это – замок и даже не из плохих. Но так как это постоялый двор, а не замок, то с вашей стороны лучше всего отказаться от получения платы за издержки, потому что я не могу нарушать правил странствующих рыцарей, которые, – как я знаю из надежных источников, не читав ничего противоречащего этому, – никогда не платили ни за постой, ни за что другое на каком-либо постоялом дворе. В самом деле, по своим правам и особым преимуществам, они должны находить хороший прием всюду, куда они являются, в вознаграждение за невыносимые труды, которым они предаются в поисках за приключениями ночью и днем, зимой и летом, пешком и на лошади, испытывая жажду и голод, стужу и жар, подвергаясь всем небесным невзгодам и земным неудобствам.

– Я ничего этого знать не хочу, – ответил хозяин, – заплатите, что вы мне должны, и бросьте рассказы о рыцарях, в том и состоит мое занятие, чтобы не упускать ничего своего.

– Вы – наглец и неуч, – проговорил Дон-Кихот; – затем, пришпорив Россинанта и взяв наперевес пику, он выехал, никем не остановленный, и поскакал, не заботясь о том, следует ли за ним его оруженосец или нет.

Когда хозяин увидел, что рыцарь уехал, не заплатив ничего, то стал требовать уплаты долга у Санчо Панса. Но и этот тоже ответил, что так как господин его не хотел платить, то и он заплатит не более того, и что, будучи оруженосцем странствующего рыцаря, он имеет право пользоваться преимуществами своего господина и не платить за свои издержки ни в

гостиницах, ни на постоянных дворах. Сколько хозяин ни бесился, как вы грозил ему порядком намять бока, если он все еще будет отказываться от уплаты, Санчо стоял на своем и клялся рыцарскими законами своего господина, что он не заплатит ни одного мараведиса, хотя бы это стоило ему жизни, так как он не хочет, чтобы через него исчез этот древний и превосходный обычай странствующих рыцарей, и чтобы оруженосцы преемников его господина жаловались и упрекали его в нарушении их законных преимуществ.

По воле злой судьбы несчастного Санчо, между людьми, бывшими на постоялом дворе, находились четыре суконщика из Сеговии, три кордовских разнощика и два проезжих севильских купца – все люди веселые, изобретательные и любившие пошутить, эти молодцы, как будто сговорившись одновременно, приблизились к Санчо, стащили его с осла и, когда один из них стащил и принес одеяло с постели хозяйки, бросили на это одеяло бедного оруженосца. Однако, подняв глава, они заметили, что потолок сеней немного низок для исполнения их намерения, и потому решили отправиться на задний двор, которому крышей служило только одно небо. Там они растянули Санчо на одеяле и стали подбрасывать его на воздух, играя им, как играют собакою во время карнавала.

Пронзительные крики несчастного Санчо дошли до ушей его господина, который, остановившись с целью повнимательнее прислушаться, сначала подумал, что ему представляется какое-нибудь новое приключение; скоро, однако, он положительно убедился, что кричит так отчаянно никто иной, как его оруженосец. Поэтому, повернув коня, он ускоренным галопом возвратился к постоялому двору и, найдя ворота закрытыми, объехал вокруг, чтобы посмотреть, нельзя ли проникнуть внутрь каким-нибудь другим путем. Но только что он подъехал к невысокому забору двора, как увидал злую шутку, жертвой которой был его оруженосец. Он увидел, как необыкновенно легко и грациозно порхал Санчо вниз и вверх по воздуху, и, наверно, сам разразился бы хохотом при таком зрелище, если бы тому не препятствовал душивший его гнев. Он пробовал было взобраться со своей лошади на стену, но, избитый и обессиленный, не мог даже твердо стоять на ногах. Принужденный оставаться на лошади, рыцарь стал посылать качающим Санчо столько ругательств и вызовов, что перечислить все их нет возможности. Но, несмотря на все его проклятия, качающие по-прежнему продолжали заниматься своим делом и потешаться, а порхающий Санчо не прекращал своих полетов и жалоб, попеременно присоединяя к последним то угрозы, то просьбы. Ничто не помогало и шутники только от усталости бросили



свою потеху.

Привели тогда осла, посадили на него Санчо и закутали его в плащ. Увидав его таким измученным, сострадательная Мариторна сочла своим долгом предложить ему кувшин воды и для этого накачала из колодца свежей. Санчо взял кувшин и поднес его уже ко рту, но в ту же минуту остановился, услышав голос своего господина, кричавшего ему:

– Санчо, сын мой, не пей этой воды! не пей ее, дитя мое! она тебя убьет. Ведь у меня есть благодетельный бальзам (и он показал ему свою жестянку); достаточно выпить тебе две капли, и ты непременно будешь здоров.

Санчо обратил свои глаза в ту сторону и еще громче крикнул:

– Или ваша милость опять позабыли, что я не рыцарь? или вы хотите, чтобы у меня вырвало и последние внутренности, которые еще остались от вчерашнего? Берегите ваш напиток для всех чертей, а меня оставьте в покое.

Произнеся последние слова, он начал было пить, но, с первого же глотка разобрав, что это была вода, отдал кувшин обратно и попросил Мариторну дать ему вина, что она исполнила с большою любезностью и даже заплатила за вино из своих денег, так как, говорят, несмотря на свои слабости, она не совсем была лишена христианских добродетелей.

Выпивши вино, он толкнул пятками своего осла и выехал в открытые настежь ворота двора, радуясь, по крайней мере, тому, что как-никак выпутался из беды, хотя бы и в ущерб своим плечам, расплачиваться которыми у него стало обыкновением. Хозяин, правда, оставил себе его сумку в уплату за долг; но Санчио выехал настолько расстроенный, что и не заметил этой дочери. По выезде его хозяин хотел было запереть ворота, но начальники воспротивились его намерению, потому что это были такие молодцы, что, будь Дон-Кихот хоть самым рыцарем круглого стола, они и тогда ни крошки не струсили бы.

## **ГЛАВА XVIII**

### **В которой рассказывается о беседе, происходившей между Санчо Панса и его господином Дон-Кихотом, а также и о других приключениях, достойных упоминания**

Санчо присоединился к своему господину настолько измученным и слабым, что даже не в состоянии был подогнать своего осла. При виде его болезненного состояния Дон-Кихот сказал:

– Теперь, добрый Санчо, я окончательно убедился, что этот замок или, если хочешь, постоялый двор – очарован. Иначе, кем могут быть те, которые там жестоко играли тобою, как не призраками и выходцами с того света? В этой мысли меня особенно утверждает то, что в то время, как я смотрел на эту печальную трагедию через забор двора, я не мог не только перелезть через него, но даже слезть с лошади. Это происходило несомненно оттого, что я сам был очарован ими. Клянусь честью, что, если бы я мог перелезть через забор или слезть с лошади, я отомстил бы за тебя этим негодьям так, что у них навсегда осталась бы память о своей скверной проделке, хотя бы мне пришлось при этом преступить рыцарские законы, запрещающие рыцарю, как я уже много раз говорил тебе, поднимать руку против не рыцаря, иначе, как только для защиты собственной жизни и в крайних случаях.

– Я тоже, – ответил Санчо, – сам порядком отомстил бы за себя – все равно, рыцарь я или нет, – если бы только мог, да в том то и дело, что я не мог. Однако я вполне уверен, что негодяи, забавлявшиеся мною, не были ни призраками, ни очарованными людьми, как это думает ваша милость, но такими же людьми из мяса и костей, как и мы; я у каждого из них было свое имя, как это я слышал в то время, как они меня подбрасывали: одного звали Педро Мартинес, другого Тенорио Фернандес, а хозяину было имя Хуан Паломек Левша. Стало быть, господин, если вы не могли, ни перепрыгнуть через забор, ни слезть на землю, то это происходило от другой причины, а не от очарования. Что же касается меня, то я вижу из всего случившегося, что эти приключения, искать которые мы отправляемся, доведут нас, в конце концов, до таких злоключений, что мы не сумеем отличить вашу правую ногу от левой. Лучше и благоразумнее

всего было бы, по моему суждению, вернуться в свою деревню, теперь же, во время жатвы, чем странствовал, попадая беспрестанно каждый день, как говорится, из огня да в полымя.

– Ах, Санчо, – произнес Дон-Кихот, – как ты невежествен в делах странствующего рыцарства! Молчи и вооружись терпением. Настанет день, когда ты собственными глазами увидишь, какое это прекрасное и благородное звание. Скажи мне, пожалуйста, разве не высшая на свете радость и не сладчайшее удовольствие одерживать победы и торжествовать над своим врагом.

– Это все может быть, – возразил Санчо, – но об этом я еще ничего не знаю. А знаю я только то, что с тех пор, как мы стали странствующими рыцарями, или, по крайней мере, вы стали таким, потому что я не имею права считать себя принадлежащим к такому почетному братству, – с тех пор мы не одержали ни одной победы, кроме победы над бискайцем, да и из той ваша милость вышли с потерей половины уха и половины шлема. Во все остальное время только и происходило, что нас дубасили палками да кулаками, кулаками да палками, в выдачу, и еще удостоился чести быть качаемым и, притом, очарованными людьми, которым я не могу отомстить, а следовательно, и испытать, так ли велико, как утверждает ваша милость, удовольствие победы над своим врагом.

– Это-то и огорчает меня, да и тебя тоже, вероятно, – ответил Дон-Кихот. – Но отныне я постараюсь добыть меч так искусно выкованный, что для носящего его не страшны никакие очарования. Очень может быть, что судьба мне подарит тот меч, который носил Амадис в то время, когда он назывался рыцарем Пламенного Меча – лучшего меча, каким когда-либо владел рыцарь. Он не только имел силу, про которую я тебе говорю, но он, кроме того, резал как бритва, и ни одно вооружение не могло противостоять его ударам, как бы оно ни было крепко или очаровано.

– Меня все-таки берет сомнение, – произнес оруженосец; – если такое счастье и в самом деле случится с вами и вы достанете такой меч, то ведь я-то ничего не выиграю, потому что он, как и бальзам, приносит пользу, вероятно, только настоящим рыцарям: а оруженосцам от него не легче!

– Не бойся, Санчо, – оказал Дон-Кихот, – небо смилостивится и над тобою.

Так беседовали оба искателя приключений, когда на дороге, по которой они ехали, Дон-Кихот заметил приближавшееся к ним густое облако пыли. Тогда, обратясь к своему оруженосцу, он сказал:

– Настал день, о Санчо, когда наконец-то проявится высокое назначение, приготовленное мне судьбою. Настал день, когда я должен

показать силу моей руки и совершить подвиги, которые останутся вписанными в книге славы на изумление всем грядущим векам. Видишь ли ты, Санчо, эту пыль, столбом кружащуюся пред нами? она поднята огромною армией, составленной из бесчисленных и самых разнообразных наций и идущей с этой стороны.

– В таком случае, – отозвался Санчо, – идут две армии, должно быть, потому что с противоположной стороны подымается другой столб пыли.

Дон-Кихот живо оборотился и, убедившись, что Санчо говорит правду, преисполнился необыкновенной радости, вообразив, что это были две армии, идущие одна на другую с целью дать сражение на этой обширной долине. Его ум был ежечасно и ежеминутно полон битвами, волшебствами, приключениями, любовью, вызовами, вообще всем тем, что рассказывается в книгах о странствующем рыцарстве, и все, что он думал, говорил или делал, носило на себе отпечаток этих бредней.

На самом же деле замеченные ими столбы пыли были подняты двумя большими стадами баранов, шедшими по одной дороге, но в противоположном направлении; эти стада были так скрыты пылью, что разглядеть их можно было лишь тогда, когда они подошли совсем близко. Дон-Кихот так настойчиво утверждал, что это были две армии, что Санчо, наконец, поверил ему.

– Что же мы будем делать? – спросил он.

– Что мы будем делать? – отозвался Дон-Кихот, – помогать слабым и нуждающимся. Знай, Санчо, что у этой армии, которая идет впереди нас, предводитель – великий император Алифанфарон, владетель великого острова Тапробана; ту же армию, идущую сзади нас, ведет его враг, король Гаранантский Пентаполин Обнаженная Рука, прозванный так потому, что в битвах он обнажает руку до локтя.

– А из-за чего же, – спросил Санчо, – хотят драться эти государи?

– Из-за того, – ответил Дон-Кихот, – что этот Алифанфарон, свирепый язычник, влюбился в дочь Пентаполина, прекраснейшую и разумнейшую девицу, притон же христианку, но ее отец не хочет отдавать свою дочь языческому королю, если только тот не согласится отречься от религии своего лже-пророка Магомета и принять христианскую.

– Клянусь моей бородой! – воскликнул Санчо, – Пентаполин сто раз прав, и я, насколько в силах, помогу ему.

– Ты этим исполнишь только свой долг, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – чтобы принимать участие в подобных битвах, нет нужды быть посвященным в рыцари.

– Я тоже самое думаю, – ответил Санчо. – Но куда денем мы этого

осла, чтобы можно было найти его снова по окончании свалки? Ведь вряд ли до сих пор был случай, чтобы кто-нибудь сражался в битве на таком животном.

– Правда твоя, – сказал Дон-Кихот, – но тебе лучше всего пустить его на волю. Если и пропадет он, беда невелика; после победы в нашем распоряжении будет столько лошадей, что даже самому Россинанту грозит опасность быть замененным другим конем. Но молчи, наблюдай и слушай меня со вниманием. Я тебе покажу наиболее замечательных рыцарей, которые идут с этими армиями, а чтобы тебе было можно рассмотреть их лучше, взойдем на тот холмик, – оттуда легко можно рассмотреть обе армии.

Свернув с дороги, они взобрались на маленькое возвышение, откуда, действительно, было бы легко различить оба стада, принятые Дон-Кихотом за армии, если бы облака пыли не мешали их видеть. Но, видя в своем воображении то, чего он не мог видеть глазами, как не существующее в действительности, Дон-Кихот громким голосом начал:

– Тот рыцарь, которого ты видишь там в золоченом вооружении и у которого на щите изображен коронованный лев, лежащий у ног молодой девушки, – это мужественный Лауркальво, владетель Серебряного моста. Этот другой с золотыми цветами на оружии и тремя коронами на лазуревом поле его щита, – это грозный Микоколимбо, великий герцог Кироцийский. По правую сторону от него, рыцарь огромных размеров, – это неустрашимый Брандабарбаран Болихийский, повелитель трех Аравий; броней ему, как ты видишь, служить змеиная кожа, а вместо щита – дверь, принадлежавшая, по преданию, к храму, который разрушил Самсон, когда, ценою собственной жизни, он так страшно отомстил своим врагам филистимлянам. Но обрати теперь свои глаза в эту сторону, и ты увидишь во главе другой армии вечного победителя и никогда не побежденного Тимонеля Каркахонского, принца Новой Бискайи, он носит оружие, покрытое лазурью, синоплем, серебром и золотом, а на щите у него изображена золотая кошка и четыре буквы Миои, составляющие начало имени его дамы, как предполагают, несравненной Миулины, дочери Альфеникена Альгарнского. Тот, под тяжестью которого гнется спина сильной кобылы и чье вооружение бело, как снег, и чей щит без девиза, – это новопосвященный рыцарь, француз Пьер Напэн, владетель Утрикийских баронств. Другой, широкие стремяна которого бьют по пестрым бокам быстрой зебры и у которого вооружение украшено лазурными чашами, – это Эспартафилардо Лесной, избравший себе эмблемою на щите поле спаржи с девизом на испанском языке: «Rastrea mi

suerte<sup>[21]</sup>».

Дон-Кихот долго называл все в том же роде массу рыцарей, которых его безумное воображение рисовало ему то в той, то в другой армии, снабжая каждого из них оружием, его цветами и девизами; и, не останавливаясь ни на минуту, он продолжал:

– Эти войска, которые ты видишь прямо против нас, составлены из бесконечного множества различных народностей. Вот те, которые пьют сладкие воды знаменитого Ксанфа. Здесь – горцы, обитающие на полях масидианских; там те, что просеивают мелкий золотой песок счастливой Аравии, там те, что пользуются свежими водами светлого Термодона; там те, что тысячами каналов истощают золотоносный Пактол; там лукавые нумидийцы, персы, знаменитые своею ловкостью в стрельбе из лука, парфяне и индийцы, сражающиеся набегу; арабы с кочевыми шатрами; скифы, сердца которых так же жестоки, как бела их кожа; эфиопы с продетыми сквозь губы кольцами; наконец, масса других наций, очертания лиц и наряд которых я узнаю, но имена которых ускользают у меня из памяти. В другой армии идут те, что пьют кристальные воды богатого оливками Бетиса; те, что омывают свое лицо в золотых струях Того; те, что пользуются плодотворными водами божественного Хениля, и те, что кочуют на тучных пастбищах полей тартесийских, и те, что беззаботно резвятся на блаженных полях Хереса; и богатые, светлокудрые сыны Ламанчи, и древние, благородные остатки крови готов, покрывающие себя железом, и те, что купаются в Писуэрге, славной мягкостью своих струй, и те, что пасут бесчисленные стада на обширных равнинах извилистой Гвадианы, знаменитой таинственностью своего истока, и те, что дрожат в тенистых лесах от холодного пиренейского ветра или под хлопьями снега, блестящего на вершинах Апеннин. Одним словом, все различные народы, какие только Европа заключает в своих пределах.

Всецело погруженный в воспоминания прочитанного им в рыцарских книгах, он назвал и еще много стран и народов, каждому из них придавая, без всякого затруднения, его наиболее отличительные признаки. Между тем, Санчо, не говоря ничего, внимательно слушал его слова и, по временам, оборачивал только голову, чтобы поглядеть на великанов и рыцарей, описываемых его господином. Не заметивши, однако, ни одного, несмотря на все свои старания, он, наконец, воскликнул:

– Клянусь честью, господин, пусть черт подерет меня, если я вижу хоть одного человека, великана или рыцаря, – сколько вы их там вы называли. Ни черта я не вижу, должно быть, это опять – очарованные, как призраки вчерашней ночи.

– Как ты можешь это говорить! – возразил Дон-Кихот, – разве ты не слышишь ржания лошадей, звуков труб, боя барабанов?

– Ничего не слышу, – ответил Санчо, – кроме блеяния ягнят и овец.

Это было совершенно верно, так как оба стада были уже совсем близко.

– Это твой страх мешает тебе видеть и слышать то, что есть в действительности, – сказал Дон-Кихот; – потому что одно из действий страха – это извращать чувства и давать вещам лживый вид. Но если твой страх так велик, то удались отсюда и оставь меня одного. Я один склоню победу на ту сторону, на которой будет помощь моей руки.

Сказав это, он вонзает шпоры в бока Россинанта и, взяв копье наперевес, с быстротою молнии опускается с холмика. Санчо изо всех сил кричал ему вслед:

– Стойте, господин Дон-Кихот, стойте! клянусь Богом, вы нападаете на баранов и овец. Остановитесь, клянусь душою моего родного отца!.. Что за безумие! Посмотрите же! ведь нет ни великана, ни рыцаря, ни кошки, ни цельного, ни разделенного вооружения, ни лазурного поля, ничего другого из этих чертовских вещей... Ах, я несчастный грешник! Что это он хочет делать?

Но крики его не остановили Дон-Кихота; он сам кричал еще сильнее:

– Мужайтесь, рыцари, сражающиеся под знаменем храброго императора Пентаполина Обнаженная Рука! Следуйте за мною, и вы увидите, с какою легкостью я отомщу его врагу Алифанфарону Тапробанскому.

С этими словами он бросается в средину войска овец и начинает с жаром и яростью поражать их копьем, как будто своих смертельных врагов. Пастухи, гнавшие стадо, сначала кричали, чтобы он перестал, но потом, увидав, что их предупреждения ни к чему не ведут, отвязали свои пращи и принялись подбивать его камнями величиною с кулак. Дон-Кихот же, не взирая на камни, сыпавшиеся дождем на него, скакал взад и вперед, крича:

– Где ты, пышный Алифанфарон? Подходи ко мне! только один рыцарь хочет померяться с тобою силами грудь с грудью и отнять жизнь у тебя в наказание за огорчения, причиненные тобою мужественному Пентаполину Гарамантскому.

Но едва он успел произнести эти слова, как один из гостинцев пастухов угодил ему в правый бок и вдавил внутрь пару ребер. Получив такой удар, рыцарь подумал, что он убит или, по крайней мере, тяжело ранен и, вспомнив сейчас же про свой бальзам, вынул жестянку, поднес ее к губам и начал вливать в желудок драгоценную жидкость. Но, прежде чем

он успел проглотить столько, сколько, по его мнению, ему требовалось, вдруг налетает другая пилюля и так ловко попадает ему по руке и по жестянке, что разбивает последнюю, раздробляет два пальца и по дороге выхватывает у него изо рта три или четыре зуба. Сила первого и второго ударов были так велики, что бедный рыцарь не мог более держаться и упал с лошади на землю. Пастухи приблизились к нему и, подумав, что он убит, поспешили собрать свои стада, взвалили на плечи мертвых овец (таких было штук восемь) и, немедля более, быстро удалились.

Все это время Санчо, оставаясь на холмике, наблюдал безумства, какие проделывал его господин, рвал свою бороду и проклинал тот час, когда судьба познакомила его с Дон-Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи удалились, то спустился с холма, приблизился к своему господину и нашел его в жалком состоянии, хотя и не лишившимся чувств.

– Ну, господин Дон-Кихот, – сказал он ему, – не просил ли я вас вернуться и не говорил ли я, что вы нападаете не на армию, а на стадо баранов.

– Увы! – ответил Дон-Кихот, – так может изменять и превращать вещи этот злодей-волшебник, мой враг. Знай, Санчо, что этим людям ничего не стоит представить нам то, что они желают, и потому преследующий меня чародей, завидуя славе, которую я приобрел бы в этой битве, превратил полки солдат в стадо овец. Если не веришь, Санчо, то, ради Бога, сделай следующее, чтобы выйти из своего заблуждения и убедиться в истинности моих слов: сядь на своего осла и незаметно поезжай за ними. Тогда ты увидишь, что, как только они отъедут подальше, так сейчас же примут свой прежний вид и, сбросив оболочку барана, снова станут настоящими людьми, такими, как я тебе их сначала описывал. Но погоди уезжать сейчас же, мне нужны твои услуги. Подойди и посмотри, сколько у меня недостает зубов. Право, мне кажется, что в моем рту не осталось ни одного зуба.

Санчо так близко подвинулся к своему господину, что глаза его почти влезли в рот Дон-Кихота. Но в эту самую минуту бальзам оказал действие на желудок последнего и, только что Санчо собрался осмотреть состояние его челюстей, как наш рыцарь с стремительностью выстрела из аркебуза извергнул из себя все содержавшееся в его теле и залил им лицо сострадательного оруженосца.

– Святая Дева! – воскликнул Санчо, – что это случилось со мною? Ну, стало быть этот грешник смертельно ранен, если его уже тошнить кровью изо рта.

Но, разглядев поближе, он по цвету, запаху и вкусу вскоре узнал, что



это была не кровь, а бальзам из жестянки, выпитый, как он видел, его господином. Тогда и его начало так мутить и так зажгло на сердце, что немедленно же стошнило прямо в лицо господину, и некоторое время они оба стояли необыкновенно хорошо разукрашенными.

Санчо побежал к своему ослу взять, чем бы вытереть и полечить своего господина, и, не найдя там своей сумки, чуть не потерял рассудка. Он снова разразился проклятиями и, в глубине сердца, решил покинуть своего господина и возвратиться в деревню, чтобы от этого ему пришлось потерять жалованье за свою службу и отказаться от губернаторства на обещанном острове. Дон-Кихот, между тем, поднялся и, прикрыв левою рукою рот, чтобы не дать выпасть оставшимся зубам, другою взял за узду Россинанта, который все время оставался около своего господина – так добр был его характер и непоколебима его честность. Затем рыцарь подошел к своему оруженосцу, который, опершись грудью на осла и щекою на руку, стоял в положении человека, погруженного в самое глубокое раздумье.

Догадавшись из его позы об его грусти, Дон-Кихот сказал ему:

– Знай, о Санчо, что один человек не больше всякого другого, если его дела не больше дел другого. Все эти бури, разразившиеся над нами, могут только служить признаками того, что погода скоро прояснится и дела наши примут лучший оборот. Ни зло, ни добро не постоянны, – откуда следует, что, если зло длилось слишком долго, то добро должно быть очень близко. Следовательно, ты не должен огорчаться неприятностями, случающимися со мною, тем более, что ты от них не страдаешь.

– Как так! – отозвался Сдичо, – разве тот, кого вчера качали, не был сыном моего отца? разве сумка, пропавшая у меня сегодня со всей моей поклажею, принадлежала кому другому, а не мне?

– Как, у тебя уж нет сумки, Санчо? – спросил Дон-Кихот.

– Нет, – ответил Санчо.

– Стало быть, как нечего есть сегодня, – проговорил Дон-Кихот.

– Было бы нечего есть, – ответил Санчо, – если бы на лугах не росли растения, которые ваша милость, как вы уверяли меня, хорошо знаете; в нужде и они могут служить пищею бедным странствующим рыцарям, подобным вам.

– Но все-таки, – сказал Дон-Кихот, – я бы с большим удовольствием съел ломоть хлеба, даже довольно толстый, и пару голов селедки, чем все растения, которые описал Диоскорид, комментированный знаменитым доктором Лагуною. Как бы там ни было, мой добрый Санчо, садись на своего осла и следуй за мною. Бог, заботящийся обо всех, не оставит без

своей помощи и нас, служащих ему, ибо Он печется и о мошке воздушной, и о черве земляном, и о водяных насекомых. Он, милосердый, велит своему солнцу светить добрым и злым и кропит дождем правых и неправых.

– По правде сказать, вам пристало более быть проповедником, чем странствующим рыцарем, – ответил Санчо.

– Странствующие рыцари, Санчо, – снова заговорил Дон-Кихот, – знали и должны звать все, и в прошлые века не один раз видали странствующих рыцарей, останавливающихся, чтобы посреди большой дороги произнести проповедь или речь, как будто они были удостоены ученой степени от парижского университета. Вполне справедливо говорят, что меч никогда не притуплял пера, а перо – меча.

– В добрый час! – ответил Санчо, – пусть будет так, как желает ваша милость. Поедьте отсюда и постараемся на ночь найти себе ночлег. Да пошлет только Бог такое место, где бы не было ни качанья, ни качальщиков, ни призраков, ни очарованных мавров, потому что, если они опять мне встретятся, то я пошлю к черту все эти приключения.

– Проси у Бога этой милости, – сказал Дон-Кихот, – и веди меня, куда хочешь; на этот раз я хочу тебе предоставить выбор вашей остановки, но, сначала, дай-ка мне твою руку и пощупай пальцем, скольких зубов недостает у меня на правой стороне верхней челюсти: в этом месте я чувствую боль.

Санчо всунул руку ему в рот и тщательно ощупал челюсти пальцем.

– Сколько зубов, – спросил он, – было у вас на этой стороне?

– Четыре, – ответил Дон-Кихот, – и все – целые, здоровые, не считая глазного.

– Вспомните хорошенько, – снова сказал Санчо. – Говорю тебе, четыре, если даже не пять, – повторил Дон-Кихот, – ни разу в жизни мне не выдергивали ни одного зуба и ни одного я не терял ни от гнилости, ни от флюса.

– Ну, так вот здесь внизу, – ответил Санчо, – только два зуба с половиною, а здесь, вверху, у вас нет ни одного, даже половинки зуба и той нет. Гладко, как на ладони.

– О я несчастный! – произнес Дон-Кихот, услышав печальные новости, сообщенные ему оруженосцем, – лучше бы у меня отняли руку, только не ту, которая владеет мечем; знай, Санчо, что рот без зубов подобен мельнице без жернова, и зубом следует так же дорожить, как алмазом. Но, впрочем, мы, обретшие свое призвание в суровом ордене странствующего рыцарства, должны ожидать всяческих невзгод. Ну, садись на своего осла и веди. Я войду за тобой, куда ты захочешь.

Санчо исполнил, что приказывал его господин, и направился, не покидая довольно многолюдной в этом месте большой дороги, в ту сторону, где он думал вернее найти ночлег. Они поехали медленно, потому что боль, испытываемая Дон-Кихотом в челюстях, не оставляла его и не позволяла ехать быстро. Чтобы рассеять и развлечь своего господина, Санчо затеял разговор и, между многим прочим, сказал ему то, что узнают из следующей главы.

## **ГЛАВА XIX**

### **Об остроумной беседе, происходившей между Санчо и его господином, о приключении, случившемся у нашего рыцаря с мертвым телом, и о других славных событиях**

– Мне кажется, господин, что все эти несчастья, случившиеся с нами в последние дни, посланы вам в наказание за грех, который совершили ваша милость против рыцарского устава, не исполнив данной вами клятвы – не есть со скатерти, не любезничать с королевой, не делать ничего прочего, пока вы не достанете шлема Маландрина, или как там называется этот мавр, я хорошенько не помню его имени.

– Ты совершенно прав, Санчо, – ответил Дон-Кихот; – но, по правде тебе сказать, это совершенно вышло у меня из памяти, я ты тоже можешь быть уверен, что приключение с качаньем случилось с тобою за то, что и ты не без греха в этом деле, так как во время не напомнил мне о клятве. Но я немедленно же исправлю свою вину, потому что в рыцарских правилах существуют наставления на грехи всякого рода.

– Да разве я сам в чем-нибудь клялся? – проговорил Санчо.

– Это ничего не значит, что ты не клялся, – возразил Дон-Кихот, – достаточно того, что ты не совсем свободен от упрека в соучастничестве. Но так или не так, нам надо постараться исправить свою ошибку.

– Ну, если так, – сказал Санчо, – то постарайтесь ваша милость не забывать этой новой клятвы, как забыли ту; а то ведь привидениям может опять придти охота позабавиться мною и даже вашей милостью, если они увидят, что мы снова принимаемся за старые грехи.

За подобными разговорами их застала ночь посреди дороги, и они были не в состоянии что-либо разглядеть и узнать, где они находятся. Хуже всего было то, что они просто умирали от голода, так как вместе с сумкой исчезли и все их запасы. К довершению несчастья, с ними случилось приключение, которое на этот раз действительно заслуживало этого имени. Настала уже ночь, и очень темная, но они все-таки продолжали ехать, так как Санчо надеялся, что по большой дороге, на которой она находились, им не придется сделать более одной или двух миль, как на пути попадетсся постоялый двор. Между тем, как они ехали в эту темную ночь –

оруженосец, умирая от голода, да и рыцарь, не лишенный порядочного аппетита, – вдруг на той же самой дороге они заметили громадное множество огней, похожих на движущиеся звезды и приближающихся к ним. При этом зрелище у Санчо душа ушла в пятки, да и самого Дон-Кихота подрал немного мороз по коже. Один придержал своего осла за недоуздок, другой – коня за узду, и оба остановились, с большим вниманием разглядывая, что бы это такое могло быть. Они увидали, что огни прямо идут на них и, по мере приближения, как бы возрастают в числе.

Санчо дрожал всем телом, а у Дон-Кихота волосы стали дыбом. Тем не менее, приободрившись немного, он сказал:

– Вот, без сомнения, – великое и опасное приключение, в котором я буду принужден обнаружить всю мою силу и все мое искусство.

– Ах, я несчастный! – воскликнул Санчо, – если это опять приключение с привидениями, – а оно очень похоже на то, – откуда же мне взять тогда ребер для него? – Я не позволю никаким привидениям даже дотронуться до твоей одежды, – сказал Дон-Кихот.

– Если они в последний раз забавлялись тобою, то это только потому, что я не мог перелезть через стену заднего двора, но теперь мы в чистом поле, где и могу работать мечем, как мне хочется.

– А если они вас самих очаруют и обессилят, – возразил Санчо, – то какая польза будет вам от чистого поля?

– Во всяком случае, – сказал Дон-Кихот, – я умоляю тебя, Санчо, не терять мужества, в моем же ты убедишься на опыте.

– Да пошлет его мне Бог, тогда оно у меня будет, – ответил Санчо.

И оба они, свернув с дороги в сторону, стали внимательно рассматривать, чем бы могли быть эти движущиеся огни.

Они вскоре разглядели множество людей, одетых сверх своих платьев в белые сорочки. От этого ужасного видения Санчо так упал духом, что у него начали щелкать зубы, как будто его трепала сильнейшая лихорадка. Он еще более струсил, и зубы его застучали еще звонче, когда они разобрали еще ясней, что это такое было, они увидали, что, по крайней мере, двадцать человек, одетые в сорочки, ехали верхом и держали зажженные факелы, а сзади них несли носилки, сопровождаемые шестью всадниками, закутанными в траур до самых ног их мулов, по спокойному шагу которых можно было угадать, что это мулы, а не лошади. Двигаясь, эти белые привидения тихим и жалобным голосом бормотали какие-то слова.

Такое странное явление, в такой час и в таком пустынном месте, было в состоянии наполнить ужасом сердце Санчо и даже сердце его господина,

если бы этот был кто-нибудь другой, а не Дон-Кихот. Действительно, в то время, как Санчо терял последние жалкие остатки своего мужества, противоположное происходило с Дон-Кихотом, которому безумная фантазия немедленно внушила, что ему представляется одно из приключений, встречающихся в рыцарских книгах. Он вообразил себе, что на носилках несут убитого или тяжело раненого рыцаря, обязанность мщения за которого лежит на нем одном. Без дальнейших размышлений, он крепче уселся на седле, взял на перевес свою пику и с самым решительным видом стал посреди дороги, где необходимо должны были проходить наряженные люди. Когда они приблизились, он, возвысив голос, сказал им:

– Стойте, рыцари! кто бы вы ни были, стойте и поведайте мне, кто вы, куда и откуда вы идете и что вы несете на этих носилках. По-видимому, или вы сделали или вам сделали, какое-нибудь зло, а потому мне необходимо знать все, чтобы или вас заставить понести наказание за содеянное вами зло или отомстить за вас тому, кто причинил вам таковое.

– Мы спешим, а постоянный двор еще далеко, – ответил один из людей в сорочках, – и потому мы не можем дать вам отчета, которого вы требуете.

И, прищпорив мула, он двинулся вперед. Но Дон-Кихот, услышав такой ответ, возмутился и, схватив мула за удила:

– Стой! – сказал он, – будьте повежливей и дайте мне ответ на все, о чем я вас спрашивал. Иначе готовьтесь к бою и обнажайте меч!

Мул был пуглив; почувствовав, что его схватили за удила, он испугался, взвился на дыбы и упал навзничь вместе с своим всадником. Слуга, шедший пешком, увидя падение всадника, принялся бранить Дон-Кихота, но уже разъяренный рыцарь, не дожидаясь ничего более, наклонил копье и, бросившись на одного из всадников, одетых в траур, сильным ударом поверг его во прах. Потом, ринувшись на других, он с поразительною быстротою напал на них и одного за другим начал опрокидывать на землю. Говорят даже, что в эту минуту как будто и у Роскнанта выросли крылья – так гордо и легко он скакал.

Все одетые в белые плащи были робкими и безоружными людьми, Поэтому, при первом же нападении, они с своими горящими факелами пустились бежать по полю, напоминая собою ряженых, бегавших, как сумасшедшие, ночью во время карнавала. Люди же в черных плащах так запутались в своих длинных одеяниях, что не могли двинуться с места, и потому Дон-Кихоту легко было при помощи копья заставить их отступить и, без полного урока для себя, прогнать с поля битвы. В их представлении он был не человеком, но самым чертом, явившимся из ада, чтобы отнять

труп, который они несли в носилках. Санчо, между тем, смотрел на все это, удивляясь неустрашимости своего господина и говоря себе:

– А и вправду, мой господин так храбр и так мужествен, как он сам в этом уверяет.

Один факел еще горел на земле около первого человека, опрокинутого мулом. При свете его Дон-Кихот заметил этого человека. Он приблизился к нему и, приставив острие копья к его горлу, громко приказывал сдаться, грозя иначе убить его.

– Я и так уже совсем сдался, – отвечал лежавший, – так как не могу сдвинуться с места и одна нога у меня переломлена. Но, если вы – дворянин и христианин, я умоляю вашу милость не убивать меня. Вы этим совершили бы большое преступление – я лицензиат и получил первый духовный чин.

– А какой черт привел сюда вас, духовного? – спросил Дон-Кихот.

– Кто привел, господин? – ответил тот, – мое несчастье.

– Ну, так вам угрожает другое, еще большее, – проговорил снова Дон-Кихот, – если вы не ответите сейчас же на все вопросы, которые я вам предложил сначала.

– Легко могу удовлетворить любопытство вашей милости, – ответил лицензиат. – Вы должны знать, поэтому, что, хотя я и назвал себя сейчас лицензиатом, я пока еще просто бакалавр. Зовут меня Алонсо Лопес, уроженец Альковенды. Иду я из города Баэзы с одиннадцатью другими священниками, именно теми, которые разбежались с факелами. Направляемся мы в Сеговию, сопровождая мертвое тело, лежащее в носилках. Это тело одного дворянина умершего в Баэзе, где он несколько дней пролежал в склепе. Но, как я уже вам сказал, мы несем его прах в Сеговию, где у него есть собственная фамильная усыпальница.

– Кто же его убил? – спросил Дон-Кихот.

– Бог, послав ему жестокую горячку, – ответил бакалавр.

– В таком случае, – сказал Дон-Кихот, – Господь освободил меня от труда мщения, который мне пришлось бы взять на себя, если бы его убил кто другой. Но удар последовал от такой руки, что если бы даже эта рука обрушилась на меня самого, то мне и тогда оставалось бы только молчать и пожать плечами. Я должен сообщить вашему преподобию, что я – ламанчский рыцарь, по имени Дон-Кихот, и что мое занятие – странствовать по свету, уничтожая зло и исправляя несправедливости.

– Не знаю, как вы уничтожаете зло, – ответил бакалавр, – потому что мне, по правде сказать, вы только причинили его, сломав мою ногу, которая не выпрямится во всю жизни и исправили несправедливость для меня

только тем, что сделали меня самого навеки неисправимым. Поэтому я считаю истинным злостью мою встречу с вами, искателем приключений.

– Не все дела удаются одинаково, – ответил Дон-Кихот. – Все зло произошло оттого, господин бакалавр Алонсо Лепес, что вы и ваши товарищи ехали ночью, одетые в стихари, с факелами в руках, бормоча губами и нарядившись в траур. Благодаря этому, вы совершенно походили на привидений с того света. Я не мог уклоняться от долга напасть на вас и исполнил бы свой долг даже в том случае, если бы знал из вполне верного источника, что вы демоны, явившиеся из преисподней, как я это думал и предполагал.

– Стало быть так хотела моя злая судьба, – ответил бакалавр, – теперь же я умоляю вас, господин странствующий рыцарь, жертвою странности которого стал я, помочь мне высвободиться из под это-то мула. Седло и стремя прижали мою ногу.

– Вы так бы я разговаривали до завтра? – сказал Дон-Кихот. – Что же вы раньше не говорили мне, что вам нужно?

Он немедленно позвал Санчо, но тот не особенно спешил, так как был занят разгрузкой одного мула, на которого добрые священники навьючили много превосходных закусок. Санчо сделал из своего кафтана нечто в роде котомки и, наполнив ее всем, что только туда влезло, взвалил на осла, а затем побежал на крики своего господина и помог ему высвободить бакалавра из-под мула. Потом они посадили церковника в седло, вручили факел, и Дон-Кихот разрешил ему отправиться в путь за своими товарищами, поручив попросить у них от его имени извинения за невольное оскорбление, которое он, по вине обстоятельств, нанес им. Санчо, кроме того, сказал ему:

– На случай, если эти господа любопытствуют узнать, кто этот храбрец, нанесший им поражение, то пусть ваша милость скажет им, что это – славный Дон-Кихот Ламанчский, иначе называемый рыцарем Печального образа.

Затем бакалавр удалился.

Когда Дон-Кихот спросил Санчо, на каком основании назвал он его рыцарем Печального образа, чего прежде никогда не делал:

– Я вам сейчас скажу почему, – ответил Санчо, – а потому, что я с минуту посмотрел на вас при свете факела, который был в руках у этого несчастного калеки, и, по правде сказать, у вас в это время был такой жалкий образ, какого я давно не видывал. Это произошло, вероятно, или от утомления в битве, или от потери вами зубов.



– Нет, это не потому; – ответил Дон-Кихот, – но мудрец, на которого однажды будет возложена честь писании истории моих подвигов, наверное, счел нужным, чтобы я выбрал себе какое-нибудь многозначительное прозвание, по образцу рыцарей прошлого времени. Так один из них назывался рыцарем Пламенного меча, другой – Единорога, этот – Дев, тот – Феникса, иной – рыцарем Гриффа и другой – рыцарем Смерти, и под этими прозваниями и обозначениями они были известны на всем земном шаре. Итак, говорю я, мудрец этот внушил твоей мысли и языку имя рыцаря Печального образа, которое я отныне предполагаю носить. Для того же, чтобы это имя ко мне лучше подходило, я намереваюсь, при первом же представившемся случае, велеть изобразить на моем щите самый печальный образ.

– Право, господин, – сказал Санчо, – не стоит тратить время, труд и деньги на изображение этого образа. Достаточно вашей милости показать свой образ и оборотиться лицом к тем, у которых есть досуг рассматривать его, – и я вам ручаюсь, что без всего прочего, без изображения и без щита, все в ту же минуту назовут вас рыцарем Печального образа. Поверьте, что я говорю правду; и, с позволения вашего, чем хотите, могу уверять вашу милость, что от голода и потери зубов у вас самое жалкое лицо, так что, право, можно легко обойтись без изображения.

Дон-Кихот улыбнулся выходке своего оруженосца, но все-таки решил принять это прозвище и изобразить на щите задуманное. Он добавил:

– А знаешь, Санчо, меня пожалуй, отлучат от церкви за то, что я насильственным образом поднял руки на священные вещи, согласно статье: *Si quis suadenie diabolo* и пр.; хотя, по правде сказать, я поднял не руки, а это копье. Кроме того, я не имел намерения оскорблять ни священников, ни чего другого, касающегося церкви, которую я люблю и уважаю, как христианин и истинный католик. Я только нападал на привидения и выходцев с того света. Впрочем, если бы это было даже и так, то я помню, что подобное же случилось с Сидом Руи Диасом, который перед его святейшеством папою разбил кресло посланника какого-то короля. За такой поступок добрый Родриг де Вивар был отлучен папою от церкви, но это нисколько не мешает считать его поведение в этот день достойным всякого честного и мужественного рыцаря.

Так как бакалавр уже удалился, то Дон-Кихот захотел посмотреть, лежит ли, в самом деле, на носилках труп или нет. Но Санчо воспротивился этому.

– Господин, – сказал он ему, – ваша милость развязались с этим приключением дешевле, чем с теми, которые я до сих пор видел.

Берегитесь же! Эти люди хотя и побеждены и обращены в бегство, но могут все-таки подумать о том, что всего только один человек их разбил. От стыда и досады они могут возвратиться, чтобы отомстить нам, и тогда как, я думаю, не поздоровится. Послушайтесь меня, осел нагружен, гора близко, голод вас мучает – поэтому мы лучше всего сделаем, если потихоньку поедем отсюда. Пусть же, как говорится, «мертвый идет в склеп, а живой – за обед».

И, взяв своего осла за поводья, он стал просить своего господина опять следовать за ним, и тот, признавая правоту доводов Санчо, последовал за ним без возражений.

Проехав некоторое время между двумя косогорами, они очутились на широком и свежем лугу, где и спустились на землю. Санчо быстро облегчил своего осла, а затем Дон-Кихот и его оруженосец, растянувшись на зеленой траве и приправляя кушанья только своим аппетитом, завтракали, обедали, полдничали и ужинали одновременно, угощая свои желудки на счет целой корзины холодной говядины, которую церковники, сопровождавшие труп (эти господа редко забывают себя), позаботились нагрузить на мула. Но тут с ними случилась другая неприятность, которую Санчо нашел хуже всех: у них не было ни вина и даже ни капли воды, чтобы промочить горло. Жажда мучила их. Видя, что луг, на котором они были, покрыт свежою травою, Санчо сказал своему господину то, что будет приведено в следующей главе.

## ГЛАВА XX

### **О неслыханном и невероятном приключении, которое покончил мужественный Дон-Кихот с меньшею опасностью, чем это случалось с каким-либо другим славным рыцарем**

– Не может быть, господин мой, чтобы здесь не было родника или ручейка, который бы, орошал и поил эту лужайку, – без него трава не была бы так зелена. Не мешало бы нам проехаться немного вперед, – там мы, вероятно, найдем, чем утолить страшную одолевающую нас жажду, муки которой еще хуже мук голода.

Дон-Кихот одобрил этот совет. Он взял своего Россинанта за узду, а Санчо – своего осла за недоуздок, предварительно положив на его спину остатки ужина, и оба они отправились в дорогу, идя по лугу ощупью, потому что ночь была такая темная, что ни зги не было видно. Но не прошли, они и двухсот шагов, как слух их был поражен сильным шумом воды, шедшим как будто от большого водопада, падавшего с вершины высокой скалы. Этот шум возбудил в них живейшую радость, но, остановившись, чтобы прислушаться, с какой стороны он шел, они вдруг услышали другой шум, гораздо менее для них приятный, в особенности для Санчо, от природы порядочного труса. Они услышали сильные, глухие и мерные удары, сопровождаемые бряцаньем железа и цепей, которые, вместе со страшным шумом воды, наполнили бы ужасом всякое другое сердце, но не сердце Дон-Кихота. Ночь была, как только что сказано, очень темна, и наши путники стояли среди нескольких больших деревьев, листья которых, волнуемые ветром, издавали приятный и в то же время пугающий шелест. Уединенное местоположение, мрак, шум воды и шелест листьев – все внушало страх и ужас, тем более, что удары ни на минуту не переставали раздаваться, а ветер – дуть. Рассвет все еще не начинался, и это мешало Дон-Кихоту и Санчо узнать, наконец, место, где они находились.

Но Дон-Кихот, которого никогда не покидала его неустрашимость, быстро вскочил на Россинанта и, надев на руку свой щит и взяв копье:

– Санчо, мой друг! – воскликнул он, – знай, – волею неба я родился в наш железный век, чтобы воскресить в нем золотой. Для меня сохранены

непреодолимые опасности, громкие дела, мужественные подвиги! Это я, вновь повторяю, должен воскресить двадцать пять паладинов Круглого стола, двенадцать пэров Франции и девять рыцарей Славы! Мне суждено заставить забыть Слатиров, Фебов, Белианисов, Таблантов, Оливантов, Тирантов и всю бесчисленную толпу славных странствующих рыцарей прошлых веков, совершив в вашем веке настолько великие и чудесные подвиги, что они затмят самые блестящие дела, какими только могут хвалиться другие. Обрати внимание, честный и верный оруженосец, на мрак и глубокое безмолвие этой ночи, на глухой и неясный шум этих деревьев, на ужасный гул этой воды, которую мы искали и которая, кажется, низвергается с высот гор Луны, наконец, на беспрестанный стук этих ударов, раздирающих как слух. Все эти явления, не только вместе взятые, но и каждое в отдельности, способны наполнить страхом, ужасом, трепетом душу самого бога Марса, тем более сердце человека, не привыкшего ни к таким встречам, ни к подобным приключениям. И что же? все, описанное мною, только возбуждает мое мужество, и сердце стучит в моей груди от ощущаемого мною желания испытать это приключение, как бы опасно оно ни казалось. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги Россинанта и оставайся здесь вод защитой Бога. Жди меня здесь в течение трех дней, не более. После этого, если я не вернусь, ты можешь возвратиться в нашу деревню, а оттуда, чтобы оказать мне услугу и сделать доброе дело, ты пойдешь в Тобозо, где скажешь Дульцинее, моей несравненной даме, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиг, который сделал бы его достойным называться ее рыцарем.

Когда Санчо услышал такие слова от своего господина, он с необыкновенною нежностью принялся плакать.

— Господин, — говорил он ему, — не знаю, зачем ваша милость непременно хочет пускаться в это ужасное приключение. Сейчас ночь, вас никто не видит, мы можем переменить дорогу и уйти от опасности, хотя бы нам пришлось оттого не пить целых три дня. А если никто вас не видит, то никто и не может назвать нас трусами. Притом же я часто слыхал, как священник нашей местности, которого ваша милость хорошо знает, говорил в проповеди, что кто ищет гибели, тот в ней, в конце концов, и погибнет. Не следует искушать Бога, бросаясь в такое дело, из которого можно выйти только благодаря чуду. Довольно вам и тех чудес, которые небо до сих пор явило, сохранив вас от качанья, испытанного мною, и выведя вас здоровым и невредимым и победителем из толпы провожатых покойника. Если же ничто из этого не может тронуть или смягчить ваше

бесчувственное сердце, то пусть оно тронится хоть тою мыслью, что не успеет ваша милость сделать шага отсюда, как я, от страха, отдам свою душу первому, кто только пожелает ее взять. Я оставил свою страну, покинул жену и детей, чтобы следовать за вами и служить вашей милости, предполагая стать от этого скорее дороже, чем дешевле. Но, как говорится, желание положить слишком много в мешок разрывает его; так и моя жадность разрушила мои надежды, потому что когда я уже вообразил себе, что наконец-то получаю этот злополучный остров, столько раз мне обещанный вашею милостью, как вдруг взамен и в награду за мою службу, вы хотите теперь покинуть меня в этом месте, отрезанном от всякого сообщения с людьми. Ах, ради самого Бога, господин мой, не принимайте на себя греха жестокости ко мне. И если ваша милость не хочет окончательно отказаться от этого приключения, то подождите, по крайней мере, до утра; до рассвета ведь остается не более трех часов, как я могу вам, наверное, сказать, помня науку, которую я узнал, когда был пастухом. В самом деле, отверстие Рожка<sup>[22]</sup> находится уже над головой Креста, а в полночь они стоят на линии его левой половины.

– Как ты это видишь, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – и эту линию и где стоят рожок и голова, когда ночь так темна, что во всем небе не видать ни одной звездочки?

– Что правда, то правда, – сказал Санчо, – но у страха глаза велики, и если они, как говорится, видят под землю, то еще легче им видеть над землею, на небе. Да и так легко догадаться, что до рассвета недалеко.

– Далеко или близко, – сказал Дон-Кихот, – я не хочу чтобы обо мне можно было сказать, теперь или в какое-нибудь другое время, будто бы слезы и просьбы отклонили меня от исполнения обязанностей, налагаемых званием рыцаря. Поэтому, прошу тебя, Санчо, замолчать; Бог, вложивший мне в сердце желание отважиться на это неслыханное и отчаянное приключение, позаботится о моем спасении и утешит твое горе. Тебе остается только подтянуть подпруги на Россинанте и ожидать меня здесь. Обещаю тебе скоро возвратиться, живым или мертвым.

Убедившись в непоколебимом решении своего господина и увидав, как мало влияния имеют на него просьбы, советы и слезы, Санчо решил употребить хитрость и, во что бы то ни стало, заставить его, волею или неволею, подождать дня. С этою целью он, подтягивая подпруги лошади, тихо и незаметно связал обе ноги Россинанта недоуздом, снятым с осла, и потому, когда Дон-Кихот хотел отправиться в путь, то это оказалось для него невозможным – конь мог двигаться только прыжками. Увидав, что его хитрость удалась, Санчо Панса сказал Дон-Кихоту:

– Вот видите, господин! самому небу, тронувшемуся моими слезами и мольбами, угодно, чтобы Россинант не мог двинуться с места и, если вы и после того будете стоять на своем и мучить бедное животное, то это значит гневить судьбу и, как говорятся, прать против рожна.

Между тем Дон-Кихот приходил в отчаяние, но, сколько он ни прищпоривал коня, тот ни на шаг не подвигался. Наконец, не подозревая того, что ноги Россинанта были связаны, он решил вооружиться терпением и подождать, пока или настанет день, или коню возвратится способность двигаться. Не догадываясь, что все это происходит благодаря изобретательности Санчо, он сказал ему:

– Если уж так случилось, что Россинант не хочет двигаться, то я должен примириться с мыслью ожидать рассвета, хотя бы мне пришлось взбеситься за то время, пока он не появится.

– Не от чего беситься, – ответил Санчо, – я буду забавлять вашу милость сказками всю ночь напролет, если только вы не предпочтете слезть с лошади и, по обычаю странствующих рыцарей, малость поспать на траве, чтобы получше отдохнуть и набраться сил для завтрашнего ужасного приключения.

– Что говоришь ты о слезаньи с лошади и о спанье? – сказал Дон-Кихот, – разве я из тех рыцарей, что предаются отдыху во время опасности? Спи ты, рожденный для сна, и делай, что хочешь. Я же буду делать то, что более согласуется с моими намерениями.

– Не гневайтесь, ваша милость, мой дорогой господин, – ответил Санчо, – я сказал это без злого умысла, – и, подойдя, к нему, он положил руку на переднюю луку седла, другую поместил сзади и таким образом обнял левую ляшку своего господина, не осмеливаясь ни на шаг отойти от него – настолько пугали его удары, продолжавшие стучать по временам.

Дон-Кихот велел Санчо рассказывать сказку, как тот предлагал сначала.

– От всего бы сердца рассказал, – отвечал оруженосец, – если бы страх не связывал мне языка. Но все-таки попытаюсь рассказать вам такую историю, что, если мне удастся рассказать ее, как следует, ничего не пропустив, – это будет лучшая история в свете. Будьте же внимательны, ваша милость, я начинаю.

«Случилось однажды то, что случилось... Да пошлетса добро всем людям, а зло тем, кто зла ищет!.. Заметьте, пожалуйста, господин мой, начало у этих сказок, которые рассказывали старики по вечерам. Это ведь не первый встречный сказал, а изрек Катон, римский цензор: И зло тому, кто зла ищет!.. Это изречение подходит к нам, как кольцо к пальцу, и

говорит, чтобы ваша милость оставались спокойными и не искали бы зла нигде, и чтобы направились мы поскорее по другой дороге, потому что никто не заставляет нас силой ехать по этой, где нас осаждает столько страхов.

– Продолжай твою сказку, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – и предоставь мне позаботиться о дороге, по которой мы поедем.

«Итак, говорю я, – продолжал Санчо, – в одном месте Эстрамадуры жил один козий пастух, я хочу сказать, человек, пасший коз, который, то есть пастух или человек, пасший коз, назывался Лопе Руисом. И был этот Лопе Руис влюблен в одну пастушку овец, которую, то есть пастушку овец, звали Торральвой, и эта пастушка овец, по имени Торральва, была дочерью одного богатого владельца стад. И этот богатый владелец стад... – Ну, Санчо, если ты так будешь рассказывать историю, – прервал Дон-Кихот, – повторяя по два раза все, что хочешь сказать, то ты и в два дня ее не кончишь. Говори только то, что следует по рассказу и так, как должен рассказывать умный человек. Иначе можешь не оканчивать ее.

– Таким образом, как я вам рассказываю, – ответил Санчо, – в моей местности рассказываются все истории на вечеринках. Я не умею рассказывать ее иначе, и ваша милость поступает несправедливо, заставляя меня изобретать новый способ.

– Ну рассказывай, как знаешь, – сказал Дон-Кихот, – и продолжай, если уж моя несчастная судьба принуждает меня слушать тебя.

– Так вот да будет вам известно, господин души моей, – продолжал Санчо, – что, как я уже вам сказал, этот пастух был влюблен в Торральву, пастушку, которая была краснощекой, толстой и грубоватой девкой и немножко даже смахивала на мужчину; потому что над губами у ней были маленькие усы. Я как будто сейчас вижу ее перед собой.

– Ты стало быть знал ее? – спросил Дон-Кихот.

– Нет, знать-то я ее не знал, – ответил Санчо, – но тот, кто рассказывал мне эту историю, говорил мне, что она так истинна и несомненна, что, когда мне самому придется рассказывать ее кому-нибудь, то я могу клясться в ней и уверять, как-будто все это я сам видел... ну, дни проходили и наступали новые и черт, который никогда не дремлет и старается всюду напутать, устроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась вдруг в ненависть и злобу; причиной тому, как говорят злые языки, были также отчасти и ревнивые упреки, которыми пастушка осыпала его беспрестанно, так что они не на шутку могли надоест. С этого времени ненависть пастуха стала так сильна, что он не мог видеть пастушку и потому решил покинуть свою страну и идти в такое место, где бы она не попадалась ему

на глаза. Но Торральва, как только увидела, что Лопе ее ненавидит, сейчас же стала его любить даже сильнее, чем любила прежде.

– Таков нрав и обычай женщин, – заметил Дон-Кихот, – ненавидеть любящих их и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай.

– Случилось, стало быть, – снова заговорил Санчо, – что пастух исполнил свое намерение и, погнав своих коз перед собою, зашагал по эстрамадурским полям в королевство Португалию. Узнав об этом, Торральва пустилась за ним в погоню. Она шла за ним вдалеке пешком, без башмаков, с посохом в руке и с маленькой сумкою на шее; в сумке, говорят, были кусок зеркала, половина гребешка и еще, кажется, – наверно не знаю, – маленькая коробочка с каким-то притиранием для лица. Ну да что бы она там ни несла, мне этого теперь некогда проверять, – верно только то, что пастуху пришлось с своим стадом переправляться через Гвадиану в то время, когда воды в ней прибавилось столько, что река вышла почти из берегов. На том же берегу, где он был, не случилось ни барки, ни лодки, ни лодочника, чтобы перевезти его на ту сторону. Это его очень бесило, так как он видел, что Торральва приближалась, и ожидал, что она будет надоедать ему своими просьбами и слезами. Стал он посматривать вокруг и вот, наконец, заметил рыбака, рядом с которым стояла лодка, но такая маленькая, что в ней могли поместиться только один человек и одна коза. Все-таки он позвал рыбака и уговорился, чтобы тот перевез на ту сторону его и триста коз, которых он гнал. Рыбак сел в лодку, взял одну козу и перевез ее. Он возвратился, взял другую козу и еще перевез. Он возвратился снова, взял еще одну козу и еще перевез... Ах да! потрудитесь ваша милость хорошенько считать коз, которых перевозит рыбак, потому что, как только вы забудете хоть одну козу, так уж больше нельзя будет ни слова сказать и сказка останется без конца. Так я продолжаю. Противоположный берег, где приходилось приставать лодке, был крут и глинист и потому рыбак терял много времени на свои поездки туда и обратно. Но все-таки он возвратился захватить еще одну козу, потом еще одну, потом еще одну...

– Ах, Боже мой! ну предположи, что он уже всех их перевез, – воскликнул Дон-Кихот, – и перестань перечислять все поездки и возвращения, потому что иначе тебе в целый год не перевезти всех твоих коз.

– А сколько он перевез их до сих пор? – спросил Санчо.

– Черт его знает, – ответил Дон-Кихот.

– Ведь я же просил вашу милость хорошенько считать их, – сказал Санчо. – Ну, теперь моя история кончилась и продолжать ее нет



возможности.

– Как же это может быть? – спросил Дон-Кихот. – Разве для твоей истории так существенно необходимо знать точное число коз, которые уже перевезены, что если на одну случится ошибка, то ты уже не можешь закончить рассказа?

– Нет, не могу, – ответил Санчо, потому что, как только я спросил вашу милость, сколько коз переехало, и вы мне ответили, что не знаете, – так в ту же минуту все, что оставалось мне сказать, вылетело у меня из памяти, а это было, наверное, – самое лучшее и самое интересное.

– Стало быть твоя история кончилась? – спросил Дон-Кихот.

– Как жизнь моей матери, – ответил Санчо.

– Ну, в так случае, могу тебя уверить, – возразил Дон-Кихот, – что ты рассказал одну из чудеснейших сказок и историй, какие только можно выдумать на свете, и что такого способа рассказывать и оканчивать никто еще не слышал и никогда не услышит. Я, впрочем, и не должен был ожидать ничего иного от твоего высокого разума. Да и чему тут удивляться? Может быть, эти удары, стук которых не перестает слышаться, немного помутили твой ум.

– Все это может быть, – ответил Санчо; – но, что касается моей истории, я говорю, что она кончается там, где начинается ошибка в счете коз, которые переезжают.

– Ну, ладно! – сказал Дон-Кихот, пусть она кончается, где ей хочется! Посмотрим ка теперь, не двинется ли Россинант.

С этими словами он снова принялся работать шпорами, и лошадь снова принялась делать прыжки, не двигаясь с места – так хорошо была она связана.

Случилось в эту минуту так, что, вследствие ли свежести утра, дававшего уже себя чувствовать, или оттого, что накануне вечером Санчо съел что-нибудь слабительное, или наконец, вернее всего, тут просто действовала сама природа, – только Санчо почувствовал потребность сделать то, чего никто иной не мог бы сделать за него. Но страх так овладел всем его существом, что он ни на волосок не осмеливался отойти от своего господина. С другой стороны пытаться побороть необходимость было невозможно. В таких затруднительных обстоятельствах, он решился освободить правую руку, которою он уцепился за лук седла. Потом он, потихоньку и чуть шевелясь, развязал шнурок, поддерживавший его штаны, которые от этого упали к его пяткам и остались на ногах в виде пут, поднял поудобнее рубашку и выставил на воздух обе половинки своей неособенно тощей задней части. Когда он это сделал и уже подумал, что

совершил все труднейшее для того, чтобы освободиться от этого ужасного и гнетущего томления, его стало мучить новое, еще более жестокое беспокойство – ему показалось, что он не может облегчиться, не издав некоторого шума, и вот, стиснув зубы и сжав плечи, он, насколько мог, стал удерживать свои порывы. Но, несмотря на все предосторожности, к своему несчастью, он, в конце концов, произвел легкий шум, вовсе непохожий на тот, который привел в такое волнение его и его господина. Дон-Кихот услышал.

– Что это за шум, Санчо? – спросил он тотчас же.

– Не знаю, господин, – отвечал тот; – но это, кажется, что-то новое, ведь приключения и злоключения никогда не ограничиваются немногим.

Потом он снова стал пытаться счастья и на этот раз с таким успехом, что без всякого огорчения и тревоги освободился от тяжести, ставившей его в такое сильное затруднение.

Но у Дон-Кихота чувство обоняния было так же тонко, как и чувство слуха, и так как Санчо стоял очень близко, точно пришитый, к нему, то испарения шли почти по прямой линии к голове рыцаря и неизбежно должны были коснуться и его носа. Когда он ощутил их, то на защиту своего обоняния он призвал большой и указательный пальцы, зажав между ними свой нос, и слегка гнусливым голосом сказал:

– Санчо, ты, кажется, сильно трусишь сию минуту.

– Это правда, – ответил Санчо; – но почему ваша милость думает, что я трушу сию минуту сильнее, чем незадолго перед тем?

– А потому, что сию минуту от тебя пахнет сильнее, чем незадолго перед тем, – ответил Дон-Кихот, – и не амброй, по правде сказать.

– Это может быть, – возразил Санчо, – но в том не я виноват, а виноваты ваша милость тем, что водите меня в неположенные часы по таким глухим местностям.

– Друг мой, отойди на пять, на шесть шагов, – сказал Дон-Кихот, все еще держа свой нос между пальцами, – и отныне будь поосторожнее относительно собственной особы и оказывай побольше уважения к моей. Я позволяю тебе слишком свободно обращаться с собою; оттого-то и происходит твоя непочтительность.

– Я готов побиться об заклад, – возразил Санчо, – что ваша милость думает, будто я сделал из своей особы что-нибудь такое, чего бы я не должен был делать.

– Оставь, оставь, – закричал Дон-Кихот, – этого предмета лучше не трогать.

В таком и подобных ему разговорах провели ночь господин и слуга.

Как только Санчо увидел, что начинает светать, он потихоньку развязал Россинанта и подтянул свои штаны. Россинант, почувствовав себя свободным, ощутил в своем сердце, по-видимому, прилив бодрости и, от природы не обладавший особою пылкостью, принялся топтать ногами, потому что делать прыжки он был не мастер, прошу у него в том извинения. Дон-Кихот, заметив, что Россинанту, наконец, возвратилась способность движения, счел это знаком того, что наступила пора, когда он может предпринять это страшное приключение. Между тем рассвело окончательно, и окружающие предметы ясно обозначились. Дон-Кихот увидел, что он находится под группой высоких каштанов, дающих очень густую тень; но что касается ударов, не перестававших ни на минуту раздаваться, то причины их он и теперь не мог открыть. Бросив дальнейшие ожидания, он дал шпоры Россинанту и, еще раз простившись с Санчо, приказал ему дожидаться его здесь не более трех дней, как он сказал уже раньше, по прошествии которых, если Санчо не увидит его возвратившимся, он может быть уверен, что его господин по воле Божьей погиб в этом отчаянном приключении. Он напомнил ему затем о посольстве, возложенном на него, Санчо, к его даме Дульцинее, и добавил, чтобы Санчо не беспокоился о своем жалованье, так как он, Дон-Кихот, перед отъездом из своей местности, оставил завещание, в котором находится распоряжение вознаградить его за все время, которое он прослужит.

– Но, – продолжал он, – если небу будет угодно вывести меня живым и невредимым из этой опасности, то ты можешь считать получение обещанного мною острова самым несомненным делом на свете.

Когда Санчо услышал эти трогательные речи своего господина, он снова принялся плакать и решил не покидать его до полного и совершенного решения дела. На основании этих слез и такого почтенного решения Санчо Панса автор нашей истории выводит заключение, что Санчо был добрым и старинным христианином.<sup>[23]</sup> Горе его до некоторой степени растрогало его господина, но не настолько, чтобы заставить его обнаружить хотя бы малейшую слабость. Напротив, насколько можно, сдерживая себя, он направился к тому месту, откуда, казалось, шел этот не умолкавший шум воды и ударов. Санчо следовал за ним пешком, ведя, по своему обыкновению, за недоуздок осла, постоянного товарища его счастливой и злой судьбы. Проехав некоторое время под темною листвою каштанов, они выехали на маленькую лужайку у подножья нескольких скал, с высоты которых с сильным шумом свергался красивый водопад. Внизу, около скал, стояло несколько плохеньких домиков, которые легко

было бы можно принять за развалины; из середины их-то, как заметили теперь наши путники, исходил стук этих ударов, продолжавшийся и теперь. Шум воды и стук ударов напугали Россинанта, но Дон-Кихот, успокоив голосом и рукою своего коня, стал понимногу приближаться к лачугам, от всего сердца поручая себя своей даме, которую он умолял оказать ему покровительство в этом ужасном предприятии, и в тоже время моля Бога о помощи. Санчо тоже не отставал от своего господина и, вытягивая шею и изошряя зрение, старался из-под брюха Россинанта рассмотреть, что так долго было причиною его волнения и тревог. Они сделали еще сотню шагов. Тогда, наконец, за поворотом одного утеса их глазам ясно представилась причина этого адского гула, всю ночь продержавшего их в смертельной тревоге. – Это просто были (о читатель! не предавайся ни сожалениям, ни досаде) шесть молотов валяльных мельниц, которые, попеременно ударяя, и производили весь этот шум.

При виде этого Дон-Кихот онимел и похолодел с головы до ног. Санчо посмотрел на него и увидал, что голова его опустилась на грудь, как у человека смущенного и упавшего духом. Дон Кихот тоже посмотрел на Санчо и, когда он увидал его с двумя вздувшимися щеками и готовым, казалось, задохнуться от смеха, то, несмотря на всю свою грусть, не мог сам удержаться от улыбки при виде забавной рожи Санчо. Санчо, видя, что господин его засмеялся первый, дал волю своему веселому настроению и разразился таким смехом, что был принужден, во избежание опасности лопнуть, подпереть свои ребра кулаками. Четыре раза он успокаивался и четыре раза вновь начинал смеяться так же неистово, как и первый раз. Дон-Кихот посылал себя к черту, в особенности, когда он слышал, как Санчо, передразнивая его голос и движения, воскликнул:

– Узнай, друг Санчо, что я по воле неба родился в наш железный век, чтобы воскресить золотой век. Это для меня сохранены грозные опасности, громкие дела, мужественные подвиги!

Далее он повторял все или почти все речи, которые держал Дон-Кихот, когда они в первый раз услышали удары молотов. Заметив тогда, что Санчо над ним явно насмехается, Дон-Кихот вспылал гневом и, подняв рукоятку копья, нанес своему оруженосцу два таких сильных удара, что если бы тот, вместо плеч, встретил их головою, то его господину пришлось бы платить жалованье не ему лично, а разве только его наследникам. Когда Санчо увидел, что шутки его вознаграждаются плохо, то, опасаясь как бы господин его не пожаловал ему новой награды, сказал ему покорным тоном и с почтительным видом:

– Успокойтесь, ваша милость; разве вы не видите, что я шучу?

– Потому-то я и не шучу, что вы шутите, – ответил Дон-Кихот. – Подите сюда, господин насмешник, и отвечайте: вы, может быть, думаете, что если бы эти валяльные молоты действительно представляли опасное приключение, то у меня не хватило бы храбрости предпринять и покончить его? Да разве я, будучи рыцарем, обязан уметь различать звуки и распознавать, происходит ли шум, который я слышу, от валяльных молотов или от чего другого? Разве не могло случиться – и это так в действительности и есть, – что я никогда не видел и не слышал их, как видели и слышали их вы, мужик, родившийся и выросший в соседстве с ними? Попробуйте-ка превратить эти шесть молотов в шестерых великанов, затем пустите их на меня по одиночке или всех вместе и, если у меня не хватит смелости вступить с ними в бой, тогда насмехайтесь надо мною, сколько вам будет угодно.

– Довольно, мой дорогой господин, – возразил Санчо; – я и так сознаюсь, что я слишком много позволил себе. Но скажите мне теперь, когда мир заключен (пусть Бог выводит вас из всех приключений таким же здоровым и невредимым, как Он вывел из этого), скажите мне, разве не над чем посмеяться и нечего порассказать после всех великих страхов, которые мы испытали или, по крайней мере, я испытал, потому что ваша милость, как мне это известно, никогда не испытывали страха и ничего похожего на него?

– Я не отрицаю того, – ответил Дон-Кихот, – что происшедшее с нами действительно смешно, но не думаю, чтобы это стоило рассказа, так как не все люди имеют настолько смысла и ума, чтобы уметь всем вещам определить надлежащее место.

– За то вы, господин мой, – возразил Санчо, – сумели определить надлежащее место палке вашего копья, потому что только по милости Бога и благодаря моему старанию увернуться случилось так, что вы, целясь мне в голову, попали по плечам. Но довольно! все позабывается, и я часто слышал: тот тебя крепко любит, кто заставляет тебя плакать. Да к тому же знатные господа, побранив своего слугу, имеют обыкновение после этого дарить ему платье. Не знаю, что они дарят ему после палочных ударов, но думаю, что странствующие рыцари в таких случаях дарят острова или королевства на твердой земле. – Дела могут пойти и так, что все, что ты говоришь, осуществится, – сказал Дон-Кихот.

– Сначала, прости за все случившееся: ты рассудителен и знаешь, что первые движения не в нашей власти. Я хочу, кроме того, кое-что впредь объявить тебе, чтобы, если возможно, удержать тебя от излишнего разговора со мной: дело в том, что ни в одной из рыцарских книг,

прочитанных мною, – а прочитал я бесконичное множество – я не встречал, чтобы какой-либо оруженосец так смело, как ты, болтал со своим господином. И, по правде сказать, мы оба в этом одинаково виноваты: ты – за свое недостаточное почтение ко мне, я – за то, что не внушаю тебе почтения к себе. Вот тебе, например, Гандалин, оруженосец Амадиса Гальского, ставший потом графом Твердого острова; рассказывают, что он иначе и не разговаривал со своим господином, как сняв шляпу, наклонив голову и согнув туловище, *more turquesco*. А что сказать о Газабале, оруженосце Дон-Галаора, который был так мало разговорчив, что, с целью показать совершенство его необыкновенного молчания, имя его только один раз упоминается во всей этой обширной и истинной истории. Из всего сказанного мною ты должен заключить, Санчо, что необходимо делать различие между господином и слугой, государем и вассалом, рыцарем и оруженосцем. И так будем отныне в обращении друг с другом соблюдать больше сдержанности, не позволяя себе ни болтовни, ни вольности; ведь отчего бы я не рассердился на вас, во всяком случае тем хуже будет для кувшина.<sup>[24]</sup> Награды и благодеяния, обещанные мною, явятся в свое время, а если и не явятся, то, как я уже вам сказал, вы не потеряете своего жалованья, по крайней мере.

– Все, что сказали ваша милость, – очень хорошо, – ответил Санчо, – но мне хотелось бы знать, в тех случаях, когда время для наград совсем не наставало и приходилось удовольствоваться одним жалованьем, сколько в прежние времена получал оруженосец странствующего рыцаря и нанимался ли он помесечно или поденно, как каменщики?

– Насколько я знаю, – ответил Дон-Кихот, – в прежние времена оруженосцы служили не на жалованье, а даром, а если я и определял тебе вознаграждение в завещании, которое я оставил дома, то только в виду разных, могущих произойти, случайностей; потому что, по правде тебе сказать, я еще не знаю хорошенько, какой успех будет иметь рыцарство в наши бедственные времена, и не хочу, чтобы такие пустяки, как твое жалованье, тяготили мою душу на том свете. На этом же свете, надо тебе знать, Санчо, нет положения более трудного, опасного, чем положение искателя приключений!

– Охотно верю тому, – произнес Санчо, – потому что простой шум валяльных молотов может смущать и беспокоить сердце такого храброго странствующего искателя приключений, каков – ваша милость. Впрочем, вы можете быть вполне уверены, что отныне я не позволю себе рта раскрыть, чтобы посмеяться над вашими делами, и буду чтить и уважать вас, как моего господина и природного повелителя.

– В таком случае, – возразил Дон-Кихот, – ты долголетен будешь на земле, ибо после родителей больше всего надо почитать господ, так как они заступают их место!

## ГЛАВА XXI

### Рассказывающая о славном и драгоценном завоевании шлема Мамбрина, <sup>[25]</sup> а также и о других событиях, происшедших с нашим непобедимым рыцарем

В эту минуту пошел маленький дождик, и Санчо хотел было укрыться от него в валяльных мельницах. Но Дон-Кихот так возненавидел их за злую шутку, которую они над ним сыграли, что ни за что не соглашался ступить в них ногой. Он круто повернул направо, и они выехали на дорогу, похожую на ту, по которой они ехали накануне.

Проехав несколько времени, Дон-Кихот заметил всадника, у которого на голове была надета какая-то вещь, блестящая точно золотая. Едва только он увидел это, как, обратившись к Санчо, сказал:

– Нет, кажется мне, Санчо, пословицы, смысл которой не был бы справедлив, потому что все они являются изречениями, основанными на опыте, общем источнике всех знаний. В особенности же это верно относительно пословицы: Когда закрывается одна дверь, открывается другая. В самом деле, судьба, вчера вечером жестоко обманувшая нас этими валяльными молотами и тем закрывшая для нас дверь приключения, которое мы искали, теперь настает и растворяет перед нами дверь другого лучшего и более надежного приключения, и если я и в этот раз не сумею найти вход в него, то в этом виноват буду уж я сам, не имея возможности извиниться ни моим незнанием, ни темнотою ночи, как в случае с валяльными мельницами. Говорю я это тебе потому, что, если не ошибаюсь, в нашу сторону едет кто-то, имеющий на голове шлем Мамбрина, по поводу которого я произнес клятву, как ты знаешь.

– Ради Бога, господин, – ответил Санчо, – будьте осторожны в своих словах и, в особенности, в своих делах; не хотелось бы мне, чтобы мы наткнулись на другие валяльные молоты, которые бы окончательно извляли и вымолотили у нас всякое соображение.

– Черт побери этого человека! – закричал Дон-Кихот, – что общего между шлемом и молотами?

– Я не знаю – ответил Санчо, – но, право, если бы я мог говорить по прежнему, то я вам представил бы, думается мне, такие доказательства, что



ваша милость увидели бы свое заблуждение.

– Как могу я заблуждаться в том, что я говорю, трус и изменник? – спросил Дон-Кихот. – Скажи мне, разве ты не видишь этого рыцаря, приближающегося к нам, сидящего на серой в яблоках лошади и имеющего на голове золотой шлем?

– Я вижу только, – ответил Санчо, – человека, сидящего на таком же сером осле, как мой, и имеющего на голове какую-то блестящую вещь.

– Так вот эта-то вещь и есть шлем Мамбрина, – сказал Дон-Кихот. – Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним. Ты увидишь, как, не говоря ни слова для сбережения времени, я быстро покончу с этим приключением, и так сильно желаемый мною шлем останется в моем обладании.

– Отъехать-то в сторону, я отъеду – ответил Санчо, – но дай Бог, чтобы это было, в самом деле, что-нибудь путное, а не валяльные молоты.

– Я уже вам говорил, голубчик, – сказал Дон-Кихот, – чтобы вы перестали надоедать мне с этими валяльными молотами. Клянусь Богом... я остановлюсь... и вымолочу вам душу из тела!

Санчо сейчас же замолчал, боясь, как бы его господин не исполнил клятвы, произнесенной им почти с пеной у рта.

На самом же деле, вот чем были этот шлем, эта лошадь и этот рыцарь, которых увидал Дон-Кихот. В окрестности было две деревни: одна – маленькая, в которой не было ни аптекаря, ни цирюльника, другая – побольше, имевшая и того, и другого. Поэтому цирюльнику большой деревни приходилось иметь практику и в маленькой, где один житель был болен и нуждался в кровопускании, а другой имел обыкновение брить себе бороду. С этого целью цирюльник и отправился туда, захватив с собою тазик из красной меди; но так как, по воле судьбы, в дороге его застал дождик, то, чтобы не попортить своей шляпы, вероятно, совсем новой, он надел на голову тазик для бритья, который был хорошо вычищен и, потому, блестел чуть не на полмили. Он ехал верхом на сером осле, как верно сказал Санчо; Дон-Кихоту же представились и серая в яблоках лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на глаза, он с удивительною легкостью приспособливал к своему рыцарскому бреду и странствующим мыслям.

Когда он увидал, что бедный рыцарь приближается, то, не входя в предварительные переговоры, он бросился вперед во весь галоп Россинанта, с опущенным копьём и с твердой решимостью проткнуть насквозь несчастного. Но в тот момент, когда он уже почти достиг его, он, не умеря страшной стремительности своего нападения, крикнул:

– Защищайся, подлая тварь, или добровольно отдай то, что принадлежит мне по справедливости.

Цирюльник, нежданно-негаданно увидавший перед своим носом нападавшее на него привидение, не придумал лучшего средства уберечься от удара копья, как свалиться на землю с своего осла; очутившись на земле, он вскочил проворнее меня и пустился бежать по полю с такою легкостью, что его не догнать бы самому ветру. Он бросил свой тазик на землю, а это только и было нужно Дон-Кихоту, который объяснил себе такой поступок тем, что язычник не так был глуп и поступил подобно бобру, когда тот, чтобы избавиться от преследования охотников, своими собственными зубами откусывает свое украшение, понимая природным инстинктом, что его и преследуют из-за этого украшения.

Дон-Кихот, затем, приказал Санчо поднять шлем, и тот, взвешивая его в руке, сказал:

– Право, тазик недурен и стоит пару реалов, как мараведиса, – и отдал его господину.

Рыцарь же надел его на голову и долго вертел его во все стороны, стараясь отыскать застёжки; но, не найдя ничего, он сказал:

– Должно быть у этого язычника, по мерке которого был первоначально выкован шлем, была громадная голова; но хуже всего то, что шлему недостает целой половины.

Когда Санчо услышал, что он называет цирюльничий тазик шлемом, то прыснул было со смеху, но сейчас же спохватился, вспомнив про гнев своего господина.

– Чему ты смеешься? – спросил Дон-Кихот.

– Мне смешно, – ответил Санчо, – когда я подумаю, что за громадная башка была, должно быть, у язычника, которому сначала принадлежал этот шлем, точь-в-точь похожий на цирюльничий таз.

– Знаешь, что я думаю, Санчо? – снова заговорил Дон-Кихот.

– Эта знаменитая вещь, этот очарованный шлем, должно быть, благодаря какому-нибудь странному случаю, попал в руки человека, неспособного понять и оценить его стоимость, и его новый владелец, не ведая, что творит, и видя только, что это чистое золото, переплавил, должно быть, половину шлема, чтобы обратить ее в деньги; так что другая половина его стала в этом виде, действительно, как ты говоришь, несколько похожей на цирюльничий таз. Но чтобы там ни было, для меня, понимающего в нем толк, это превращение имеет мало значения. В первой же деревне, где я найду кузницу, я приведу его в прежний вид, так что ему не придется завидовать даже тому шлему, который был выкован богом

кузнечного искусства для бога брани. Пока же буду носить его, как могу, потому что лучше что-нибудь, чем ничего, и, кроме того, он совершенно достаточен, чтобы защитить меня, по крайней мере, от удара камнем.

– Да, – подтвердил Санчо, – если только их не будут бросать пращею, как это было в битве двух армий, когда вам так хорошо поправили челюсти и разбили в дребезги посудину с этим благословенным напитком, от которого меня вырвало всеми моими потрохами.

– Я не особенно сожалею о том, что лишился бальзама, – сказал Дон-Кихот, – потому что, как тебе известно, Санчо, я помню его рецепт.

– Я тоже знаю его наизусть, – ответил Санчо, – но пусть пропаду я, если я его сделаю или еще раз в жизни попробую! Мало того, я даже не думаю ставить опять себя в такое положение, чтобы нуждаться в нем; напротив, я решил теперь принимать всякие предосторожности при помощи моих пяти чувств, чтобы меня не ранили и чтобы мне самому кого-нибудь не ранить. Что же касается до вторичного качанья, то я ничего не хочу говорить о нем; это одно из таких несчастий, которых почти невозможно предвидеть, и когда они случаются, то самое лучшее, что можно сделать, это – пожать плечами, подавить свой вздох, закрыть глаза и отправляться туда, куда вас досылают судьба и одеяло.

– Ты плохой христианин, Санчо, – сказал Дон-Кихот, услышав последние слова, – потому что, раз тебе нанесли обиду, ты уж не забываешь ее никогда. Знай же, благородному и великодушному сердцу не свойственно обращать внимание на подобные пустяки. Скажи мне, какая нога у тебя хромота? какое ребро у тебя сломано? какой глаз потерял ты в драке, чтобы быть не в состоянии забыть этой шутки? ведь если хорошенько разобрать дело, то это была только шутка и забава. Если бы я это понимал иначе, то я возвратился бы туда и в отмщение за тебя произвел бы больше опустошений, чем сделали Греки, мстя за похищение Елены, которая, наверно, не была бы так знаменита своею красотою, если бы она жила в наше время или моя Дульцинея жила в ее время.

С этими словами он испустил глубокий вздох, поднявшийся до облаков.

– Ну, хорошо, – сказал Санчо, – будем считать это шуткой, когда мы не можем отомстить не в шутку. Только я-то лучше всякого другого знаю, что тут, в самом деле, шуточного и нешуточного, и это приключение изгладится из моей памяти не прежде, чем с моих плеч. Но оставим его, и скажите мне, пожалуйста, господин, что вам делать с этой серой в яблоках лошадыю, у которой вид точь-в-точь такой же, как у серого осла, и которую бросил на поле битвы этот Мартын, так ловко повергнутый на землю

вашею милостью. Судя по тому, как он наострил лыжи и улепетывал, трудно предположить, чтобы он возвратился взять его, а, его скотина, клянусь моей бородой, не совсем плоха.

– Я не имею обыкновения, – отвечал Дон-Кихот, – обирать побежденных мною, и с рыцарскими обычаями несогласно отнимать у них лошадей и тем заставлять их идти пешком, если только победитель сам не потерял лошадь в битве; тогда дозволяется взять лошадь побежденного, как приобретенную законным образом. Итак, оставь, Санчо, эту лошадь или этого осла, или назови ее там, как хочешь: хозяин, вероятно, возвратится и возьмет ее, как только мы уедем.

– Это еще Бог знает, хочу ли я его увести, – возразил Санчо, – или только променять на своего осла, который, мне кажется, будет похуже. По правде сказать, рыцарские законы очень узки, если они не позволяют даже обменять одного осла на другого. Но мне хотелось бы знать, могу ли я обменяться, по крайней мере, сбруей?

– Этого я не знаю наверное, – ответил Дон-Кихот, – а потому, пока я в сомнении и не вполне ознакомился с этим вопросом, ты можешь, я думаю, произвести этот обмен, если чувствуешь в том крайнюю нужду.

– Таковую крайнюю, – ответил Санчо, – что если бы эта сбруя была для моей собственной особы, то и тогда она не была бы мне так необходима.

И, воспользовавшись позволением, он произвел то, что называется *mutatio sarraum*, и так нарядил своего осла, что сам никак не мог достаточно налюбоваться им.

Затем они позавтракали остатками припасов, снятых ими с мула благочестивых отцов, и напились воды из ручья валяльных мельниц, не оборачивая, однако, головы, чтобы посмотреть на них, – так возненавидели они их за волнения прошлой ночи. Наконец, когда гнев и дурное расположение рыцаря прошли вместе с аппетитом, они опять сели верхом и, не избирая себе определенного пути, чтобы полнее подражать странствующим рыцарям, отправились по той дороге, какую выбрала воля Россинанта, увлекавшая за собою волю своего господина и даже волю осла, который следовал за своим руководителем, как подобает верному и доброму товарищу. Таким образом, они выбрались на большую дорогу, по которой и поехали наудачу и без определенного намерения.

По дороге Санчо сказал своему господину:

– Господин, не соблаговолите ли ваша милость дать мне позволение немного поговорить с вами? Потому что с того времени, как вы отдали мне строгий приказ молчания, вот уж больше четырех хороших вещей сгнило у меня в желудке и сейчас на кончике, языка у меня одна такая штучка,

которую мне не хотелось бы видеть тоже погибшей.

– Скажи, – ответил Дон-Кихот, – но будь краток, длинная речь никогда не может быть приятной.

– Я говорю, господин, – начал Санчо, – что вот уж несколько дней я размышляю о том, как мало выигрывают и приобретают те, кто, подобно вашей милости, ищет приключений в этих пустынях и странствованиях по большим дорогам, где сколько ни преодолевай опасностей, сколько ни одерживай побед, никто этого не увидит и не узнает, и так они и останутся преданными вечному забвению к большому ущербу благих намерений и заслуг вашей милости. Поэтому, мне кажется, было бы лучше, если только ваша милость не имеет лучших видов, отправиться нам к какому-нибудь императору или принцу, которому придется вести войну; у него на службе ваша милость могли бы показать мужество вашей руки, вашу великую силу и ваш еще более великий ум. Когда это увидят государь, которому мы будем служить, он наградит нас каждого по заслугам. Там найдутся и писатели, которые составят описание подвигов вашей милости, чтобы увековечить их в памяти людской. Что касается моих, но о них я ничего не говорю, так как они не выходят из границ славы оруженосцев; но все-таки осмелюсь сказать, что если бы у рыцарей был обычай описывать и подвиги оруженосцев, то, я думаю, мои тоже не были бы забыты.

– Ты говорил недурно, Санчо, – ответил Дон-Кихот; – но прежде, чем являться туда, надо сначала, в виде испытания, постранствовать по свету, поискать приключений и приобрести в них себе имя и известность. Рыцарь должен быть уже известен своими делами, когда он представляется ко двору какого-нибудь великого монарха, так чтобы, едва он въехал в городские ворота, мальчишки окружили его и бежали за ним, крича вслед: «Вот рыцарь Солнца», или хоть Змеи, или какого-нибудь другого отличительного знака, под которым он совершал великие подвиги. «Вот тот, – скажут они, – который победил в поединке страшного великана Брокабруно; вот тот, который разочаровал персидского Мамелюка из долгого очарования, в котором он пребывал около девятисот лет»; и они будут бежать за ним, провозглашая одно за другим его великие дела. И вот на шум детей и толпы народа выйдет король этого королевства на балкон своего королевского дворца, и как только он увидит рыцаря, которого он узнает по цвету вооружения и девизу на его щите, то громко воскликнет: «Пусть все рыцари, которые находятся при моем дворе, выйдут на встречу приближающемуся к нам цвету рыцарства». По этому повелению все выйдут, и он сам сойдет до половины лестницы навстречу рыцарю. И крепко обнимет он его и запечатлеет на его лице лобзание мира. Затем, взяв

за руку, он проведет его в покои королевы, где рыцарь найдет ее вместе с инфантой, ее дочерью, непременно, прелестнейшей и очаровательнейшей из молодых девиц, каких только можно встретить на большей части земной поверхности. И немедленно тогда же случится так, что инфанта кинет взор на рыцаря, а рыцарь – на инфанту, и каждый из них покажется другому скорее божественным, чем человеческим, существом, и, сами не сознавая, как и почему, окажутся они пойманными и запутанными в неразрешимые сети любви с сердцем, полным беспокойного желания переговорить и открыть друг другу свои чувства, желания и муки. Отсюда конечно, рыцаря поведут в какой-нибудь богато-обставленный покой дворца, где, сняв с него вооружение, ему подадут одеться в богатую пурпурную тунику; и если наружность его была прекрасна в вооружении, то еще прекрасней предстанет она в придворном платье. Наступает вечер, и он ужинает вместе с королем, королевой и инфантой и не может оторвать глаз от юной принцессы, беспрестанно посматривая на нее украдкой от присутствующих; она с невинною ловкостью отвечает ему тем же, потому что она особа очень разумная, как я уже сказал. Ужин кончен; и вот видят, в дверь покои входят отвратительный карла, а за ним прекрасная дама с двумя великанами, которая предлагает для разрешения какое-нибудь дело, составленное древним мудрецом самых отдаленных времен, и такое, что кто решит его, тот будет считаться лучшим рыцарем в свете. Немедленно же король повелевает тогда, чтобы все рыцари его двора произвели этот опыт, но никому не удастся покончить это дело, кроме незнакомого рыцаря, решающего его к своей еще большей славе и к великой радости инфанты, которая сочтет себя счастливейшей из смертных, найдя такого достойного избранника своих дум. Но суть дела состоит в том, что король или принц, или кто бы он там ни был, будет вести жестокую войну с таким же могущественным принцем, как он, и рыцарь, его гость, проведя несколько дней в его дворце, попросит у него позволения отправиться служить ему в этой войне. Король с большою любезностью дает ему это позволение, и рыцарь вежливо поцелует ему руки за пожалованную милость. И в ту же ночь он идет проститься с своей дамой, инфантой, через решетку сада, в который выходит ее спальня; здесь он уже несколько раз беседовал с нею при посредничестве одной фрейлины, поверенной всех ее тайн. Он вздыхает, она лишается чувств, фрейлина приносит воды и сильно беспокоится, видя, что наступает день, потому что не хочет, оберегая честь своей повелительницы, чтобы они были открыты. Наконец, инфанта приходит в сознание и через решетку протягивает рыцарю своя белые руки и он покрывает их тысячею поцелуев и орошает слезами, они

условливаются, как подавать друг другу добрые и худые вести, и принцесса умоляет его, как можно меньше отсутствовать; он дает ей в этом обещание, подтверждая его тысячею клятв и, поцеловав еще раз ее руки, удаляется с таких горем в душе, что чуть от него не умирает. Он возвращается в свои покои, бросается в постель, но не смыкает глаз от тоски, вызванной этой жестокой разлукой. Рано утром он поднимается, идет проститься с королем, королевой и инфантой; но король и королева при прощанье с ним говорят, что инфанта нездорова и потому не может принять его посещения. Рыцарь догадывается, что причина этого нездоровья – огорчение вследствие разлуки с ним, сердце надывается от скорби, и он сам едва в силах скрывать свое горе. Фрейлина, поверенная инфанты, присутствует при этой сцене, она все замечает и потом рассказывает своей повелительнице, которая со слезами слушает ее и говорит, что самую сильную печаль испытывает она оттого, что не знает, королевской крови ее рыцарь или нет. Фрейлина уверяет, что столько изящества, любезности и мужества могут встречаться только в рыцаре королевского рода. Огорченная инфанта принимает это утешение; она старается успокоиться, чтобы не возбуждать подозрения в своих родителях и через два дня показывается людям. Между тем рыцарь уехал. Он принимает участие в войне, бьет и одолевает врага короля, покоряет много городов, одерживает много побед. Он возвращается ко двору, видит свою даму на обычном месте их свиданий и условливается с всю, что в награду за свои услуги он будет проситься руки у ее отца. Король, не зная, кто рыцарь, не хочет отдавать ему принцессы, но все-таки принцесса, или через похищение, или каким-нибудь другим способом, делается женою рыцаря, и король, наконец, сам начинает считать этот брак великой честью, так как удалось открыть, что этот неизвестный рыцарь оказывается сыном храброго короля, не знаю какого королевства, потому что его, кажется, нет на карте. Отец умирает, инфанта ему наследует, и вот рыцарь – король. Тогда-то настает время осыпать щедротами своего оруженосца и всех тех, кто помогал ему достигнуть такого высокого положения. Он женит своего оруженосца на фрейлине инфанты, – той, конечно, которая была их поверенною и которая, по происхождению, дочь герцога первой степени.

– Вот это так! – воскликнул Санчо; – вот чего мне и требуется, а там пусть будет, что будет! Да я на это крепко рассчитываю и непременно все так и случится буква в букву, если только вы называетесь рыцарем Печального образа.

– Не сомневайся в этом, Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – потому что по этим, именно степеням и тем же самым способом, как я тебе рассказал,

возвышались некогда, возвышаются еще и теперь странствующие рыцари до сана короля и императора. Остается только отыскать, какой христианский или языческий король ведет в настоящий момент войну и имеет прекрасную дочь. Но у нас еще есть время подумать об этом, потому что, как я уже тебе сказал, прежде чем представляться ко двору, надо сначала приобрести известность. Затем, вот еще чего мне недостает. Предположим, что мы найдем короля с войною и прекрасною дочерью и что я добыл невероятную славу во всей вселенной, но я, все-таки, не знаю, как это может случиться, чтобы я оказался потомком короля или, по крайней мере, дальним родственником императора; потому что, прежде чем король вполне не уверится в том, он не согласится отдать мне свою дочь в жёны, как бы вы были блестящи совершенные мною подвиги; и вот, вследствие не имения царственного родства, я рискую потерять то, что вполне заслужила моя рука. Правда, я сын гидальго почтенного рода, имею наследственную собственность и могу, в случае обиды, требовать пятьсот су вознаграждения.<sup>[26]</sup> Может быть даже, мудрец, который будет писать мою историю, откопает и составит так мою родословную, что я окажусь в пятом или шестом колене правнуком императора. Ты должен знать, Санчо, что есть два рода дворянства и родословных: одни происходят от принцев и монархов, но, с течением времени, мало-помалу приходят в упадок и оканчиваются точкой, подобно пирамидам; другие ведут свое происхождение от людей низкого звания, но постепенно возвышаются и делаются вельможами; и между обоими ими та разница, что одни были тем, чем они перестали быть, другие же стали теперь чем, чем они прежде небыли. И так, как я тоже могу принадлежать к первому разряду и исследование подтвердить и удостоверит мое знатное и славное происхождение, то король, мой будущий тесть, наверно этим удовлетворится, а то может случиться и так, что инфанта влюбится в меня без памяти и, наперекор воле отца, изберет меня своим супругом и господином, хотя бы она знала наверно, что я сын водовоза. В таком случае мне пришлось бы похитить и увести ее, куда мне заблагорассудится, до тех пор, пока время или смерть не укротили бы гнева ее родителей. – В этом случае, – сказал Санчо, – не мешает вспомнить, что говорят разные негодяи: не проси отдать добровольно то, что ты можешь взять насильно. Другое же изречение здесь еще более кстати: прыжок через забор пригоднее, чем молитва честных людей. Я говорю это к тому, что если господин король, тесть вашей милости, не согласится на просьбы и не выдаст за вас инфанту, то ничего не останется делать, как говорите вы, как только похитить ее и припрятать в надежное местечко. Но вот в чем беда:



пока-то вы там помиритесь со всеми и станете мирно управлять королевством, все то время бедному оруженосцу придется, в ожидании будущих благ, положить зубы на полку, если только фрейлина-наперсница, которая должна сделаться его женою, не убежит вместе с инфантой и не станет вместе с ней вести бедную жизнь до тех пор, пока по воле неба не устроится все иначе. Мне кажется, что его господин может сейчас же отдать ее в законные супруги своему оруженосцу.

– Кто же мешает тому? – ответил Дон-Кихот.

– Стало быть, нам остается только поручить себя Богу и предоставить все дело на волю судьбы, – сказал Санчо.

– Да, – подтвердил Дон-Кихот, – пусть сотворит Бог согласно моему желанию и твоей нужде, Санчо. Тот же, кто себя ни за что не считает, пусть и будет ничем.

– Слава Богу! – воскликнул Санчо, – я старинный христианин; чтобы быть графом, этого совершенно достаточно.

– И даже слишком, – возразил Дон-Кихот; – если бы этого даже и не было, то дело от того нисколько бы не пострадало; раз я буду король, я могу дать тебе дворянство, которого тебе не нужно будет ни покупать, ни приобретать заслугами. Если же я тебя сделаю графом, то ты вместе с тем станешь и дворянином, а там пусть говорят, что хотят, злые языки; они все-таки будут принуждены смотреть на тебя, как на вельможу.

– Еще бы, – воскликнул Санчо, – я уж сумею заставить себя уважать. Я однажды был церковным сторожем при одном братстве, и, право, одежда сторожа так хорошо шла во мне, что все говорили, что по моей осанке мне следовало бы быть церковным старостой. А что будет, Господи Боже мой, когда я надену на спину герцогскую мантию и наряжусь в золото и жемчуг, как иностранный граф! Я уверен, что тогда будут приходить смотреть на меня миль за сто.

– Да, у тебя довольно представительная наружность, – ответил Дон-Кихот, – но тебе следует почаще брить бороду, а то она у тебя такая густая, всклокоченная и грязная, что если ты не будешь тщательно бриться, хотя бы через день, то, благодаря ей, тебя будут узнавать на расстоянии выстрела из аркебуза.

– Это пустяки, – возразил Санчо, – стоит только завести у себя цирюльника на жалованьи, а нужно будет, так я даже заставлю его ходить за собою, как оруженосца знатного господина.

– А почему ты знаешь, – спросил Дон-Кихот, – что знатные господа водят за собою своих оруженосцев?

– А вот почему, – ответил Санчо; – несколько лет тому назад мне

пришлось пробыть месяц в столице, и там я видел прогуливающимся одного очень маленького господина, которого все однако называли очень великим, и за ним, куда бы он ни отправлялся, ездил человек верхом, точно он был его хвостом. Я спросил, почему этот человек не ездит рядом с господином, а всегда сзади него; тогда мне ответили, что это его оруженосец и что у знатных особ существует обычай водить за собой таких людей. С тех пор я уж знал это очень хорошо и никогда не забывал.

– Ты прав, – сказал Дон-Кихот, – ты можешь водить за собою цирюльника. Обычай не все сразу завелся на свете, а устанавливались постепенно, по одному; а потому ты можешь быть первым графом, который станет водить за собой цирюльника. Кроме того, лицо, на которое возложена обязанность брить бороду, должно быть облечено большим доверием, чем тот, кто седлает коня.

– Уж, что касается цирюльника, я сам позабочусь, – сказал Санчо, – а вы только постарайтесь стать королем и сделать меня графом.

– Что и будет, с Божьей помощью, – ответил Дон-Кихот, и, подняв глаза, увидел то, о чем будет сказано в следующей главе.

## ГЛАВА XXII

### **О том, как Дон-Кихот возвратил свободу нескольким несчастным, которых вели против их воли туда, куда бы они с удовольствием не пошли**

Сид Гамет Бен-Энгели, арабский и ламанчский писатель, рассказывает в этой серьезной, величественной, скромной, приятной и остроумной истории, что после того, как славный Дон-Кихот Ламанчский и его оруженосец Санчо Панса обменялись мыслями, приведенными в конце главы XXI, Дон-Кихот поднял глаза и увидел, что по той же дороге, по которой ехал он, шли пешком человек двенадцать, своими шеями нанизанные, подобно зернам в четках, на железную цепь, и с кандалами на руках. Их сопровождали двое верховых и двое пеших; верховые были вооружены аркебузами, а пешие пиками и мечами. Когда Санчо заметил их, «Вот – воскликнул он, – цепь каторжников короля, которых ведут работать на галерах.

– Как, каторжников короля! – спросил Дон-Кихот, – возможно ли, чтобы король делал над кем бы то ни было насилие?

– Я не говорю этого, – сказал Санчо, – я говорю только, что эти люди осуждены насильно служить королю на галерах.

– Как бы там ни было, – возразил Дон-Кихот, – этих людей ведут насильно, а не по их собственной воле?

– Без сомнения, – ответил Санчо.

– Ну в таком случае, – сказал Дон-Кихот, – мне придется здесь исполнить свой долг – препятствовать насилиям и помогать несчастным.

– Но обратите внимание на то, – возразил Санчо, – что правосудие, которое есть сам государь, не делает ни насилия, ни вреда подобным людям, но только наказывает их за их преступления.

В эту минуту партия каторжников приблизилась к ним, и Дон-Кихот с безупречною вежливостью обратился к конвойным с просьбой соблаговолить сообщить ему причину или причины, вследствие которых ведут в таком виде этих бедных людей.

– Это каторжники, отправляющиеся служить его величеству на галерах; – ответил ему один из верховых конвойных, – больше нечего мне вам сказать, а вам меня спрашивать. – Но мне бы хотелось, – возразил Дон-Кихот, – знать причину несчастья каждого из них в отдельности.

К этому он прибавил еще несколько таких любезностей для большей убедительности своей просьбы, что другой верховой конвойный, наконец, ответил ему:

– У нас есть с собою список преступлений каждого из этих негодяев; но сейчас не время останавливаться и читать его. Приблизьтесь к ним, ваша милость, и спросите их самих. Если они захотят, они вам ответят, да и, наверное, они захотят, потому что подобным людям рассказывать свои плутни доставляет, пожалуй, не меньше удовольствия, чем их совершать.

Получив такое позволение, которое и сам бы дал себе Дон-Кихот, если бы ему было в нем отказано, он приблизился к цепи и спросил шедшего впереди каторжника, за какие грехи подвергнут он такому наказанию.

– За то, что был влюблен, – отвечал тот.

– Как! только за это! – воскликнул Дон-Кихот; – право, если людей приговаривают к галерам за то, что они были влюблены, то мне бы уж давно следовало там работать!

– О, моя любовь была не такова, как предполагаете ваша милость, – ответил каторжник. – Я без памяти влюбился в корзину с бельем и так крепко сжимал ее в своих объятиях, что если бы суд не вырвал у меня ее насильно, то я и сейчас бы не прекратил своих ласк. Я был захвачен на месте преступления, в допросе не было надобности, дело решили живо. Почесали мои плечи сотней плетей и вдобавок попросили меня три года косить большой луг. Вот и делу конец.

– Что это значит – косить большой луг? – спросил Дон-Кихот.

– Значит грести на галерах, – ответил каторжник, бывший молодым человеком, лет двадцати четырех, родом, по его словам, из Пьедрахиты.

Дон-Кихот с теми же расспросами обратился ко второму каторжнику, но тот, погруженный в глубокую печаль, не хотел отвечать ни слова; тогда первый отвечал за него:

– Этот идет на галеры, господин, в качестве канарейки, то есть, собственно говоря, музыканта и певца.

– Как так! – возразил Дон-Кихот, – разве музыкантов и певцов тоже ссылают на галеры?

– Да, господин, – ответил каторжник, – хуже ничего не может быть, как петь в мучениях.

– Напротив, – сказал Дон-Кихот, – пословица говорит: кто распевает, свое горе развеивает.

– Ну, а у нас наоборот, – возразил каторжник, – кто раз попой, тот всю жизнь поплачет.

– Не понимаю, – произнес Дон-Кихот.

Но один из конвойных ответил ему:

– У этих храбрых людей петь в мученьях значит признаваться на пытке. Этот негодяй был подвергнут допросу и сознался в своем преступлении, которое состоит в краже скота; и после его признания его приговорили к шести годам на галерах и, кроме того, к двумстам ударов плетью, которые теперь уже получены его плечами. Он идет постоянно печальным и пристыженным, потому что другие воры, идущие с ним вместе, относятся к нему с пренебрежением и насмешкою и всячески стараются обижать его за то, что у него не хватило мужества запереться в своем преступлении, и он сознался. Они говорят, что в нет столько же слогов, как и в да, и обвиняемому гораздо лучше держать на своем языке свою жизнь и смерть, чем на языке свидетелей и доказчиков... По моему, в этом они не совсем не правы.

– И я тоже думаю, – ответил Дон-Кихот. Потом, приблизившись к третьему, он обратился к нему с теми же вопросами, как и к другим. Этот, не заставляя еще раз просить себя, ответил развязным тоном:

– Я отправляюсь навестить госпожи галеры на пять лет, за неимением десяти дукатов.

– Я с охотою дал бы двадцать, чтобы выручить вас из нужды, – сказал Дон-Кихот.

– Я бы был тогда похож на того человека, который находится среди моря с полным кошельком и несмотря на то умирает от голоду, так как не может купить, чего ему требуется. Говорю я это к тому, что, будь у меня вовремя двадцать дукатов, предлагаемые теперь вашей милостью, и бы сумел смазать писца при суде и подбодрить ум и язык моего защитника; и был бы я теперь посреди Зокодоверской площади в Толедо, а не плелся бы по этой дороге, привязанный, как охотничья собака. Но велик Бог, терпение, довольно!

Дон-Кихот перешел к четвертому. Это был человек почтенной наружности, с длинной, белой бородой, покрывавшей ему всю грудь. Услышав обращенный к нему вопрос, как очутился он в цепи, он принялся плакать, не отвечая ни слова. Но пятый осужденный ответил за него:

– Этот почтенный бородач, – сказал он, – отправляется на четыре года на галеры, прогулявшись сначала с великим торжеством в пышных одеждах по улицам.

– Если я не ошибаюсь, – прервал Санчо, – это значит, что он был подвергнут публичному покаянию.

– Вот именно, – подтвердил каторжник, – а преступление, за которое он подвергнут такому наказанию, состояло в том, что он был маклером по

части ушей и даже целого тела. Я хочу сказать, что этот господин был известного рода посредником и, кроме того, чуточку занимался колдовством.

– Оставив в стороне эту чуточку колдовства, – возразил Дон-Кихот, – я скажу, что, если этот человек и заслуживает быть отправленным на галеры за свое занятие посредничеством, то только разве для того, чтобы быть там распорядителем и генералом. В самом деле, должность посредника не похожа на другие. Это – должность, требующая людей умных и ловких, необходимая во всяком благоустроенном государстве, и занимать ее должны только порядочные и хорошо воспитанные люди. Для нее, как и для прочих должностей, следовало бы учредить инспекторов и испытателей и установить определенное число членов этого занятия, как это сделано для торговых маклеров. Благодаря этому было бы можно избежать многих зол, происходящих оттого, что к этому ремеслу приступают много людей, неимеющих ни познаний, ни навыка, дабы, мелкие прислужники, юные и неопытные негодяи; такие люди в самых трудных обстоятельствах, когда более всего требуется изобретательности и ловкости, не умеют отличить своей правой руки от левой и дают супу застыть на пути от тарелки ко рту. Мне бы хотелось развить эту мысль и доказать, почему следовало бы делать выбор лиц, которые занимали бы в государстве такую важную должность, но сейчас не место и не время для того; я поговорю в свое время с кем-нибудь, кто в состоянии об этом позаботиться. Сейчас же я скажу только, что сожаление, которое я испытываю при виде этих седи и почтенного лица, подвергнутого такому тяжелому наказанию за исполнение нескольких любовных поручений, успокаивается другим обвинением в колдовстве. Впрочем, я знаю, что в мире не существует ни порчи, ни мотовства, которые могли бы принуждать или совращать нашу волю, как это думают некоторые простаки. У всякого из нас есть свободная воля, и никакие травы, ни какие наговоры не имеют силы над нею. Какие-нибудь бабы по своей простоте или плуты из мошеннических видов составляют разные напитки, смеси – истинные яды, которыми они сводят людей с ума, заставляя их верить, будто бы эти снадобья обладают свойством внушать любовь, тогда как, повторяю, нашу волю принудить не возможно.

– Вы совершенно правы, – воскликнул старец, – но по совести скажу, господин мой, что касается колдовства, то мне не в чем упрекать себя. От любовных поручений я не могу отречься; но я этим никогда не думал принести зла, а хотел только способствовать тому, чтобы все люди веселились и жили в мире и спокойствии, без раздоров и печалей. Однако

это человеколюбивое желание не помешало мне отправиться туда, откуда уже не думаю больше возвратиться, – я уже так обременен летами и, кроме того, страдаю каменной болезнью, ни на минуту не перестающей мучить меня.

При этих словах добряк стал плакать самым жалостным образом, и Санчо почувствовал к нему такое сострадание, что вынул из кармана монету в четыре реала и подал ее ему как милостыню.

Продолжая свой допрос, Дон-Кихот спросил у следующего, в чем состоит его преступление. Этот каторжник ответил таким же веселым и развязным тоном, как и предыдущий:

– Я попал за то, что слишком свободно пошалил в двумя своими двоюродными сестрицами и с двумя другими двоюродными сестрицами, не моими. Добаловался я с ними до того, что получилось приращение семейства, до такой степени запутавшее все родство, что в нем теперь не разобраться самому остроумному генеалогу. Я был изобличен в этом доказательствами и свидетельствами, обратиться за покровительством мне было не к кому, денег у меня не было, и увидал и тут, что грозит мне неминуемая беда. Присудили меня на галеры на шесть лет, а я не позаботился и обжаловать приговор. Я несу наказание за свою ошибку; но я молод, жизнь длинна и на все существует лекарство. Если ваша милость, господин рыцарь, можете чем-нибудь помочь этим бедным людям, то Бог наградит вас за это на небе, а мы на земле не позабудем в наших молитвах просить Бога, чтобы он послал как такую долгую и счастливую жизнь, какой ваша почтенная особа заслуживает.

Этот каторжник был в одежде студента, и один из конвойных сказал, что он большой краснобай и силен в латыни.

Сзади всех них шел человек лет тридцати, хорошо сложенный и, можно было сказать, приятной наружности, если бы он, когда смотрел, не сводил обоих глаз вместе. Он скован был несколько иначе, чем его товарищи: на нем была надета такая длинная цепь, что она, поднимаясь вверх, обхватывала все его тело; кроме того, на шее у него были два кольца – одно склепанное с цепью, другое вроде ошейника, от последнего шли две железных полосы, спускавшиеся до пояса и оканчивавшиеся двумя наручниками, в которых руки его были заперты двумя большими висячими замками; вследствие этого он не мог ни поднять своих рук к голове, ни склонить своей головы к рукам. Дон-Кихот спросил, почему этот человек закован крепче других. Конвойный ответил:

– А потому что он один совершил больше преступлений, чем все другие вместе; кроме того, это – такой смелый и хитрый мошенник, что

даже, ведя его в таком положении, мы не совсем уверены в том, что удержим его, и потому постоянно боимся, как бы не удалось ему от нас улизнуть.

– Но, – возразил Дон-Кихот, – что за ужасные преступления совершил он, если они заслуживают только галер?

– Он отправляется туда на десять лет, – ответил конвойный, – а это ведет за собою гражданскую смерть. Достаточно будет вам сказать, что это знаменитый Хинес де-Пассамонт, иначе называемый Хинесилом де-Паранилья.

– Эй, господин комиссар, – сказал на это каторжник, – потише, пожалуйста; не будем забавляться коверканием чужих имен и прозвищ. Меня зовут Хинесом, а не Хинесилом, и фамилия моя Пассамонт, а вовсе не Парापилья, как вы говорите. Пусть каждый оглядывает и разбирает самого себя, это будет лучше.

– Разговаривайте потише, господин первосортный мошенник, – возразил комиссар, – если вы не желаете, чтобы я заставил вас замолчать против вашего желания.

– Известно, что человек живет, как Богу угодно, – сказал каторжник, – но настанет день, когда кое-кто узнает, зовут ли меня или нет Хинесилом де-Парапилья.

– Да разве тебя не так зовут, негодяй? – закричал конвойный.

– Так, конечно, – ответил каторжник, – но я приму меры, чтобы меня так больше уже не называли, или я вырву себе бороду, клянусь в этом... Господин рыцарь, если вы хотите что-нибудь дать нам, так давайте поскорее и отъезжайте себе с Богом, потому что ваше раскрашивание жизни ближнего, начинает нам надоедать, и если вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я – Хинес де-Пассамонт, история которого написана пятью пальцами этой руки.

– Он правду говорит, – сказал конвойный, – он сам написал свою историю, да так, что лучше и желать нельзя; но свою рукопись он заложил в тюрьме за двести реалов.

– И непременно выкуплю ее, хотя бы она была заложена за двести дукатов, – воскликнул Хинес.

– Разве она так хороша? – спросил Дон-Кихот.

– Так хороша, – отвечал каторжник, что Лазарильо Термезский,<sup>[27]</sup> и все сочинения прошлого, настоящего и будущего времени в том же роде никуда не годятся в сравнении с нею. Могу сказать вашей милости, что она содержит одну только истину, но эта истина так приятна и занимательна, что никакому вымыслу не сравниться с нею.



– А как заглавие сочинения? – спросил Дон-Кихот.

– Жизнь Хинеса де-Пассамонте, – ответил каторжник.

– И оно окончено? – опять спросил Дон-Кихот.

– Как может быть она окончена, когда моя жизнь еще не кончилась? Написанное обнимает всю жизнь мою со дня моего рождения до того времени, как меня в этот последний раз приговорили к галерам.

– Стало быть, вы уже были там? – спросил Дон-Кихот.

– Пробыл там раз четыре года, чтобы послужить Богу и королю, – ответил Хинес, – и знаю вкус сухарей и ременных плетей. Впрочем, я не особенно сожалею о том, что возвращаюсь туда опять; у меня там будет возможность окончить мое сочинение. Мне остается порассказать еще пропасть вещей, а на испанских галерах досуга даже больше, чем мне требуется; к тому же мне нужно немного времени, написать остальное, ведь я все знаю наизусть.

– Ты умен, – сказал ему Дон-Кихот.

– И не счастлив, – ответил Хинес, – потому что несчастье всегда преследует ум.

– Преследует злодейство! – воскликнул комиссар.

– Я уже вас просил, господин комиссар, говорить повежливей, – возразил Пассамонт, – начальство дало вам в руки эту черную палку не для того, чтобы обижать бедных людей, но чтобы отвести нас туда, куда повелевает его величество. Иначе, клянусь жизнью... но довольно. Может быть, пятнышки, сделанные на постоялом дворе, и попадут когда-нибудь в отмывку. Пусть всякий молчит, хорошо живет и еще лучше говорит. А затем будем продолжать наш путь, потому что довольно намолости мы всякого вздору.

Коммисар поднял было палку, чтобы ответить на угрозы Пассамонта, но Дон-Кихот, вмешавшись, просил не обижать этого несчастного.

– Нет ничего удивительного, – сказал Дон-Кихот, – если у того, чьи руки связаны, немного слишком свободный язык.

Затем, обратившись к каторжникам, он сказал им следующее:

– Из всего рассказанного вами, мои возлюбленные братья, я вижу ясно, что хотя вы и несете кару за свои проступки, но наказания, которым вы подвергнуты, не совсем вам нравятся, и что все вы идете на галеры совершенно против своей воли. Я вижу также, что недостаток мужества, обнаруженный при допросе одним, неимение денег у другого, отсутствие покровительства у того и, наконец, ошибка или пристрастие судьи стали причинами вашей гибели и лишили вас должной справедливости. Все это приходит мне на ум, чтобы заставить меня показать вам, для чего небо

произвело меня на свет и повелело мне вступить в рыцарский орден, членом которого я состою, и для чего я дал обет защищать слабых и нуждающихся от угнетения сильными. Но благоразумие, я знаю, запрещает делать то силою, что может быть сделано кроткостью, и потому я обращаюсь к господам конвойным я господину комиссару с просьбою благоволить освободить вас и отпустить с миром: другие в более подходящих случаях не замедлят послужить за вас королю; делать же рабами тех, кого Бог и природа создали свободными, по моему мнению, слишком жестоко. Кроме того, господа конвойные, – добавил Дон-Кихот, – эти несчастные ничем не обидели лично вас. Так предоставьте же каждому заботы о его грехах. На небе есть Бог, который не забывает наказывать злого и вознаграждать доброго; честным же людям непристойно делаться палачами других людей, раз они не видят в том никакой выгоды для себя. Я вас прошу об этом спокойно и кротко, и буду весьма благодарен, если вы исполните мою просьбу, если же вы не согласитесь на все добровольно, то это копье и этот меч, с помощью моей мужественной руки, заставят вас силою повиноваться мне.

– Вот это, право, милая шутка! – воскликнул комиссар, – стоило так долго разглагольствовать из-за такой нелепости. Послушайте, пожалуйста, он, кажется, хочет, чтобы мы отпустили каторжников, как будто мы имеем власть возратить им свободу и как будто он может давать нам приказания. Ну-те-ка, господин, поезжайте своей дорогой, поправив сперва таз на голове, и не ищите понапрасну пятой лапы у нашего кота.

– Вы сами кот, крыса и грубиян, – крикнул Дон-Кихот и, произнеся эти слова, бросился на него с такою яростью, что, прежде чем тот успел приготовиться к защите, сбросил его тяжело раненого ударом копья на землю. К счастью рыцаря, это был именно человек, вооруженный аркебузом. Другие конвойные сначала остолбенели от изумления при этом неожиданном нападении; но потом, придя в себя, они схватились, конные – за свои мечи, пешие – за свои пики, и все вместе напали на Дон-Кихота, ожидавшего их с удивительным хладнокровием. Без сомнения, ему пришлось бы плохо, если бы каторжники, пользуясь прекрасным случаем возратить себе свободу, не стали тоже употреблять усилий с этой целью разорвать цепь, к которой они были прикованы. Тогда произошла такая суматоха, что конвойные, то подбегая к освобождавшимся каторжникам, то защищаясь от нападений Дон-Кихота, не могли сделать ничего путного. Санчо помог освободиться Хинесу де-Пассамонту, который первый и очутился на свободе, и, сейчас же бросившись на поверженного комиссара, отнял у него меч и аркебуз и стал наводить последний попеременно то на

того, то на другого, не стреляя однако ни в кого; благодаря такому маневру он вскоре очистил поле сражения от всех конвойных, поспешивших убежать, спасаясь от аркебуза Пассамонта и от камней, которые дождем сыпали на них освободившиеся каторжники. Прекрасный успех этого приключения сильно беспокоил Санчо, опасавшегося, как бы беглецы не отправились донести об этом деле святой германдаде, которая, в таком случае, при звоне колоколов немедленно выступила бы на преследование виновников; он сообщил эти опасения своему господину и стал просить его удалиться поскорее от дороги и скрыться в соседних горах.

– Хорошо, – ответил Дон-Кихот, – но я знаю, что мне следует сделать прежде всего. Он позвал всех каторжников, которые бежали в рассыпную, обобрав сначала комиссара догола, и, когда эти честные люди собрались вокруг него, чтобы узнать, что ему от них нужно, обратился к ним с такими словами:

– Порядочные люди всегда бывают признательными за получаемые ими благодеяния, и неблагодарность – один из самых неугодных Богу грехов. Я говорю это потому, господа, что вы видели сейчас на очевидном опыте благодеяние, оказанное мною вам, и в отплату за него я желаю и даже требую, чтобы вы, с тяжестью этой самой цепи, от которой я освободил ваши руки и ноги, немедленно же отправились в город Тобозо, представились там госпоже Дульцинее Тобозской и сказали ей, что ее рыцарь Печального образа шлет ей привет, расскажите ей от слова до слова все подробности этого славного приключения до того самого момента, когда я вам возвратил столь желанную свободу. После этого вы можете удалиться и идти каждый своею дорогой.

Хинес де-Пассамонт от лица всех своих сотоварищей сказал Дон-Кихоту:

– Ваше приказание, господин и освободитель, нам совершенно невозможно исполнить, так как мы должны идти не по большим дорогам и не все вместе, а все в стороне от дороги, по одиночке, стараясь спрятаться в недрах земли, чтобы не попасть в руки святой германдады, которая, без сомнения, выпустит на наши следы своих ищеек. Все, что по справедливости может требовать ваша милость, это – взамен путешествия к госпоже Дульцинее Тобозской, произнести из уважения к вам несколько раз *Credo* и *Ave Maria*. По крайней мере, это будет для нас таким покаянием, которым можно будет заниматься ночью и днем, в дороге и на отдыхе, в мире и в войне. Но полагать, что мы возвратимся теперь в котлы египетские, то есть опять наденем на себя цепь, это значит думать, что сию минуту ночь, когда, на самом деле, нет и десяти часов утра, и требовать

этого от нас – все равно, что требовать груш от вяза.

– Ну, так клянусь Богом, – закричал Дон-Кихот, воспламенившись гневом, – клянусь, дон бездельник, дон Хинесиль де-Парапилья, или как вас там зовут, что вы пойдете туда одни, склонив голову и поджав хвост, со всею цепью на спине.

Пассимонт – человек от природы не особенно сдержанный и к тому же не замечавший, что у Дон-Кихота мозг не совсем в порядке, о чем он мог бы догадаться из того великого безумства, которое совершил рыцарь, возвратив им свободу. – Пассамонт увидав, как дерзко обращаются с ним, мигнул глазом товарищам, и те, отбежав на некоторую дистанцию, начали осыпать Дон-Кихота таким градом камней, что он не успевал прикрываться от них своим щитом; бедный же Россинант совсем не обращал внимания на шпоры, как будто он был вылит из бронзы. Что же касается Санчо, то он пригнулся за своим ослом и укрывался за ним, как за щитом, от тучи камней, которая разразилась над ними обоими. Дон-Кихот, сколько ни старался, не мог так хорошо укрыться, чтобы порядочное число увесистых булыжников не попали ему по телу и с такою силою, что свалили его на землю. Как только он упал, студент вскочил на него и, сняв у него с головы цирюльничий таз, ударил рыцаря три или четыре раза этой вещью по плечам, потом, швырнув столько же раз этот таз на землю, чуть не разбил его на куски. Злодеи сняли затем с рыцаря камзол, носимый им поверх вооружения, и стащили бы даже чулки, если бы латные набедренники не помешали этому. Они отняли также и у Санчо его кафтан, оставив его в одной куртке, и, поделив между собою военную добычу, пошли каждый в свою сторону, больше заботясь о том, как бы ускользнуть от страшной для них святой германдады, чем о том, чтобы задеть цепь себе на шею и пойти представиться госпоже Дульцинее Тобозской. На поле битвы остались только осел, Россинант, Санчо и Дон-Кихот; осел, с наклоненной головой, погруженный в задумчивость и время от времени дергавший ушами, как будто дождь камней до сих пор еще не прекращался; Россинант, тоже распростертый другим залпом камней на землю, рядом со своим господином; Санчо в одной рубашке, дрожавший при мысли о появлении святой германдады, и, наконец, Дон-Кихот, с болью в душе думавший, как дурно поступили с ним те, которым он оказал такое великое благодеяние.

## ГЛАВА XXIII

**О том, что случилось с славным Дон-Кихотом в горах Сьерры Мораны,<sup>[28]</sup> то есть об одном из самых редких приключений, рассказываемых этой правдивой историей**

В таком печальном положении Дон-Кихот сказал своему оруженосцу:

– Я часто слыхал, Санчо, что делать добро негодяям все равно, что лить воду в море. Если бы я тебе поверил, я бы избежал этой беды, но дело сделано, остается только вооружиться терпением и воспользоваться этим для будущего.

– Скорее я стану турком, чем вы воспользуетесь уроком, – ответил Санчо. – Но так как вы говорите, что если бы поверили мне, то избежали бы беды, – поверьте мне теперь и вы избегнете гораздо большей, так как объявляю вам, что святая германдада не признает никакого рыцарства, и все странствующие рыцари в свете не стоят для нее и двух мараведисов. Вот уж мне кажется, что я слышу свист ее стрел.<sup>[29]</sup>

– Ты от природы трус Санчо, – возразил Дон-Кихот; – но, чтобы ты не мог сказать, что я упрям и никогда не слушаюсь твоих советов, я соглашаюсь на твое предложение укрыться от этого мщения, которое кажется тебе таким страшным, но только на одном условии; никогда, ни при жизни, ни по смерти, ты никому не скажешь, будто бы я удалился, уклоняясь от опасности из страха, а не из-за того, что уступил твоим мольбам. Если ты скажешь так, то ты солжешь, и, отныне на будущее время и от будущего времени до ныне, я уличаю тебя и говорю, что ты лжешь и солжешь всякий раз, как скажешь или подумаешь что-либо подобное. Ни слова, прошу тебя; даже только подумать, что я удаляюсь от опасности, и, в особенности, от этой, где может показаться, что я обнаруживаю хотя бы ничтожную тень страха, – стоит мне только подумать об этом, и мною овладевает желание остаться здесь и одному ожидать не только эту святую германдаду или братство, которое тебя так пугает, но даже и братьев двенадцати колен Израиля и семерых Маккавеев, и Кастора с Поллуксом, и всякого рода братьев, собратьев и собратств на свете.

– Господин, – ответил Санчо, – отступить не значит бежать, и ожидать опасность, превосходящую все надежды и силы, – вовсе неразумно. Умный

человек должен приберегать себя сегодня для завтрашнего дня и не ставить всего на один день; знаете, как ни груб и ни необразован я, однако имею кое-какое понятие о том, что называется умно распоряжаться собою. Итак, не раскаивайтесь в том, что последовали моему совету. Садитесь поскорее на Россинванта, если можете; если же нет, то я вам помогу, и следуйте за мною, так как что-то говорит моему сердцу, что наши ноги теперь нам нужнее рук!

Дон-Кихот, не возразив ни слова, влез на своего скота, и вместе с Санчо, ехавшем впереди на своем осле, они въехали в один из проходов Сиерры Морены, находившийся по близости от них. Намерением Санчо было пересечь весь хребет и выйти из гор близ Визо или Альмодовара дель Кампо, попрятавшись несколько дней в этих пустынных местах, чтобы скрыться от святой германдады, если бы она стала их преследовать. Подкрепляло его в этом намерении то, что он нашел свой мешок с запасами каким-то чудом уцелевшим от грабежа каторжников, которые тщательно обшарили всю его поклажу и утащили все, что нашли для себя подходящим. Наши путешественники в ту же ночь добрались до середины Сьерры Морэны, где Санчо рассудил, что было бы не дурно в этом месте остановиться и даже провести несколько дней до тех пор, по крайней мере, пока хватит съестных припасов. Они устроились на ночь между двумя скалами, среди нескольких больших пробковых деревьев. Но судьба, которая, по мнению иных непросвещенных светом истинной веры, распоряжается и управляет всем по своей фантазии, устроила так, что Хинес де-Пассамонт, этот отъявленный злодей, освобожденный из оков мужеством и безумием Дон-Кихота и объятый теперь вполне основательным страхом перед святою германдадою, вздумал тоже укрыться в этих горах; мало того, она распорядилась так, что негодяй был приведен своею звездою и своим страхом именно в то место, где находились Дон-Кихот и Санчо Панса. Он немедленно же их узнал и предоставил им мирно заснуть. Так как негодяи всегда неблагодарны, так как необходимость делает людей ворами и настоящее заставляет забывать будущее, то Хинес, так же мало отличавшийся признательностью, как и благими намерениями, решился украсть осла у Санчо Панса, выказав полной пренебрежение к Россинанту, который показался ему негодным ни для заклада, ни для продажи. Санчо спал, а Хинес украл у него в это время осла, и до наступления дня был уже слишком далеко, чтобы можно было его догнать.

Заря загорелась, принесла радость всей земле и горе доброму Санчо Панса, который, увидав пропажу своего осла, стал изливать скорби в самых печальных и самых горьких воплях; пробужденный его жалобами, Дон-

Кихот услышал, как он говорил, рыдая:

– О, сын моей утробы, рожденный в моем доме, забава моих детей, отрада моей жены, зависть моих соседей, облегчение коих трудов и, наконец, кормилец половины моей особы, ибо двадцатью шестью мараведисами, которые ты ежедневно зарабатывал, я покрывал половину моих расходов!..

Дон-Кихот, узнав причину слез Санчо, стал утешать его самыми убедительными доводами, какие он только мог придумать, и обещал дать ему письмо на получение трех ослят из пяти, оставленных им в своей конюшне. После этого Санчо утешился, осушил свои слезы, успокоил рыдания и поблагодарил своего господина за оказанную милость.

У Дон-Кихота же, как только он вступил в эти горы, казавшиеся ему местами, исключительно подходящими для приключений, сердце переполнилось радостью. Он перебирал в своей памяти чудесные происшествия, которые случались с странствующими рыцарями в подобных же пустынных местах, и эти мысли до такой степени поглощали и увлекали его, что он забывал все остальное. Что же касается Санчо, то с тех пор, как он решил, что путешествует в безопасном месте, у него не было другой заботы, кроме заботы начинять свой желудок припасами, оставшимися еще от поживы у церковников. Он шел не спеша сзади своего господина, нагруженный всем, что должен бы был везти осел, и иногда потаскивал из мешка, чтобы уложить вытащенное в свой желудок. Ему до такой степени нравилось подобное путешествие, что за встречу с каким-нибудь приключением он, наверное, не дал бы ни одного обولا. Но вот он поднял глаза и увидел, что господин его остановился и острием копья пытается поднять что-то лежащее на земле. Пospешив к нему на помощь, он приблизился в тот момент, когда Дон-Кихот концом своей пики поднял подушку и чемодан, связанные вместе, оба в лохмотьях и на половину сгнившие. Но эти вещи были так тяжелы, что Санчо должен был взять их в руки, и его господин приказал ему посмотреть, что есть в чемодане. Санчо поспешил исполнить это приказание и, хотя чемодан был заперт замком с цепью, однако в дыры, сделанные плесенью, можно было видеть, что он содержал. В нем были четыре сорочки из тонкого голландского полотна и другое изящное и чистое белье, кроме того в платке Санчо нашел порядочную кучку червонцев.

– Благословение всему небу, – воскликнул он, – посылающему нам, наконец, приключение, в котором можно кое-чем поживиться.

Потом, принявшись опять за поиски, он нашел небольшой, богато-переплетенный альбом. Дон-Кихот взял этот альбом у него, позволив ему

оставив себе деньги. Санчо поцеловал руки своему господину и, выгрузив из чемодана, переложил белье в свой мешок с провизией. Приняв в соображение все обстоятельства, Дон-Кихот сказал своему оруженосцу:

– Я, кажется, не ошибусь, Санчо, предположив, что какой-нибудь заблудившийся путешественник захотел пересечь эту горную цепь, но разбойники, напав на него в этом проходе, убили и похоронили его в этой пустыне.

– Этого не может быть, – ответил Санчо, – разбойники не оставили бы денег.

– Ты прав, – проговорил Дон-Кихот, – и я не могу, в таком случае догадаться, что бы это могло быть. Но погоди, посмотрим нет ли в альбоме какой-нибудь заметки, которая могла бы нас направить на следы того, что мы отыскиваем!

Он открыл альбом и первую вещь, написанную начерно, но прекрасным почерком, нашел сонет, который он и прочитал вслух, чтобы Санчо слышал. Вот этот сонет.

«Иль справедливою любовь быть не умеет,  
Иль бог любви заведомо жесток,  
Иль приговор его чрезмерно строг,  
Который надо мной грозою тяготеет.

«Когда ж любовь название божества имеет, —  
(Противное кто утверждать бы мог?)  
Жестокосердым быть не может бог.  
Кого ж началом бед назвать мой ум посмеет.

«Вас, Фили, обвинять во всем безумно б было:  
Возможно ль, чтобы зло от блага исходило  
И небо посылало ад тревог?...

«Я должен умереть, мое в том убеждение —  
Болезни корень скрытый – вот предлог  
И доктору терять надежду на спасенье.»

– Ну, из этой песенки немного узнаешь, – заметил Санчо, – в ней поется про филина, а нам нужно самого соловья.

– Про какого филина ты говоришь? – спросил Дон-Кихот.



– Мне показалось, – ответил Санчо, – что ваша милость помянули что-то про филина, ответил Санчо.

– Я сказал Фили, – возразил Дон-Кихот, – это, должно быть, имя дамы, на которую жалуется автор этого сонета. И, по правде сказать, он изрядный поэт, или я ничего не смыслю в этом занятии.

– Как, – спросил Санчо, – разве ваша милость и песни сочинять умеете?

– И даже больше, чем ты думаешь, – ответил Дон-Кихот. – Ты с этим познакомишься на опыте, когда понесешь моей даме Дульцинее Тобозской письмо, – сверху до низу написанное стихами. Нужно тебе знать, Санчо, что все или, по крайней мере, большая часть странствующих рыцарей прошлых времен были величайшими трубадурами, то есть великими поэтами и музыкантами, и эти два таланта или, вернее, два дара существенно необходимы влюбленным странствованиям. Правда, что в поэзии старинных рыцарей больше силы, чем изящества.

– Продолжайте же читать, – сказал Санчо, – может быть, вы найдете что-нибудь более положительное.

Дон-Кихот перевернул лист.

– Вот проза, – сказал он, – что-то похожее на письмо.

– На послание? – спросил Санчо.

– Судя по началу, кажется, – любовное письмо, – ответил Дон-Кихот.

– Ну-те-ка, прочитайте его, пожалуйста, вслух, – сказал Санчо, – я страх как люблю всякие любовные истории.

– С удовольствием, – ответил Дон-Кихот и, прочитав вслух, как об этом просил Санчо, нашел следующее:

«Лживость твоих обещаний и несомненность моего несчастья ведут меня в такое место, откуда до твоих ушей скорее донесется весть о моей смерти, чем мои упреки и жалобы. Ты изменила мне, неблагодарная, для человека, обладающего большим, но не стоящего больше, чем я; если бы достоинства ценились наравне с богатством, то мне не пришлось бы завидовать счастью других и оплакивать свое собственное несчастье. То, что сделала твоя красота, уничтожили твои поступки: благодаря первой я думал, что ты ангел, благодаря вторым я узнал, что ты только женщина. Живи в мире, ты, объявившая войну несчастному, и да сокроет небо навсегда от тебя вероломство твоего супруга, чтобы тебе не пришлось раскаиваться в своем деле и чтобы я не получил отмщения за то, чего я больше не желаю.»

Когда Дон-Кихот окончил чтение этого письма:

– Из него мы узнаем еще менее, чем из стихов, – сказал он, – именно

только то, что оно написано каким-нибудь отвергнутым любовником.

Потом, перелистывая весь альбом, он нашел там другие стихи и письма, из которых только некоторые он мог прочесть, другие же уже стерлись. Но все они содержали только жалобы, слезы, упреки или ласки и презрение, наслаждения и муки, первые с восторгом превозносимые, вторые же горько оплакиваемые.

Пока Дон-Кихот знакомился с содержанием альбома, Санчо в это время ознакомился с содержанием чемодана, не позабыв в нем, а также и в подушке, осмотреть все углы, порыться в каждой складке, распороть все швы и внимательно ощупать каждый комочек шерсти, чтобы ничего не потерять от недостатка заботливости и старания; так возбудила его аппетит находка червонцев (их было не менее сотни). Больше, однако, он ничего не нашел, но и без того он теперь забыл и простил и прыжки на одеяле, и рвоту от фьерабрасовского бальзама, и ласки дубинок, и тумачи погонщика мулов, и пропажу сумки, и кражу кафтана, и все муки голода, жажды и усталости, которые ему пришлось претерпеть на службе своего доброго господина, так как теперь он считал себя с лихвой вознагражденным за все это найденным кладом.

Рыцарю Печального образа сильно хотелось узнать, кто был хозяином этого чемодана, — догадываясь по сонету, письму, червонцам и тонким сорочкам, что этот чемодан принадлежал, наверно, какому-нибудь знатному влюбленному, которого пренебрежение и жестокосердие дамы довели до отчаянного конца. Но так как в этих пустынных и диких местах не было никого, кто бы мог сообщить ему какие-либо сведения, то он и решил ехать далее, по такой дороге, которая была более подходящая для Россинанта, то есть идти по которой бедному животному стоило немногих усилий; он все еще воображал, что в этой пустыне ему непременно представится какое-нибудь необыкновенное приключение. Между тем как он ехал, погруженный в задумчивость, вдруг на вершине одного пригорка, возвышавшегося прямо перед ним, он увидел человека, который бежал, с удивительною легкостью перескакивая со скалы на скалу и с куста на куст. Рыцарь успел заметить, что этот человек был почти голый и с непокрытой головой, что у него была черная, густая борода, длинные, спутанные волосы и босые ноги. Штаны, сшитые, по-видимому, из желтого бархата, прикрывали ему бедра, но были так изодраны, что открывали тело в нескольких местах. Несмотря на то, что это видение явилось и исчезло с быстротою молнии, от внимания рыцаря Печального образа не ускользнули все-таки эти подробности, и он хотел было за ним последовать, но способность бегать по такой каменистой почве не была дана слабым ногам

Россинанта, от природы обладавшего коротким шагом и флегматическим нравом. Дон-Кихот сейчас же догадался, что это хозяин чемодана и про себя решил, во чтобы то ни стало, найти его, хотя бы ради этого ему пришлось проехать целый год. С этой целью он приказал Санчо обойти по одной стороне пригорка, а сам намеревался объехать по другой, надеясь благодаря этой уловке настигнуть человека, так быстро скрывшегося у них из глаз.

– Никак не могу исполнить вашего приказания, – ответил Санчо, – потому что, как только я покину вашу милость, так сейчас же мне начнут мерещиться всякие страхи и привидения. Запомните и на будущее время то, что я говорю вашей милости, и впредь ни на палец не удаляйте меня от собственной особы.

– Согласен на это, – сказал рыцарь Печального образа; – меня радует твое доверие к моему мужеству, в котором ты не ощутишь недостатка, даже в том случае, если бы твоему телу не доставало души. Следуй же за мною шаг за шагом, или как ты там можешь, и гляди во все глаза. Мы объедем вокруг этих холмов, и, может быть, нам удастся встретить этого человека, которого мы только что видели и который, без сомнения, и есть хозяин нашей находки.

– В таком случае лучше его не искать, – возразил Санчо, – потому что если мы его найдем и если он, в самом деле, окажется хозяином денег, то мне, конечно, придется их ему возвратить; а потому, говорю я, пусть лучше я, не производя бесполезных поисков, по чистой совести, останусь владельцем этих денег, пока их настоящий хозяин не отыщется сам без всяких поисков и стараний с нашей стороны; авось это случится тогда, когда я уже истрату все деньги и взятки будут с меня гладки.

– Ты заблуждаешься, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – раз у нас зародилось подозрение, что деньги принадлежат тому человеку, которого мы видели, то мы обязаны отыскать его и возвратить их ему; если бы мы не стали его искать, то, имея основания только догадываться, что он и есть их хозяин, мы были бы так же виноваты, как если бы он в действительности был их владельцем. Итак, друг, Санчо, ищи его и не горюй, потому что я буду очень рад, когда его найду.

С этими словами он дал шпоры Россинанту, и Санчо последовал за ним на своем осле.<sup>[30]</sup> Они объехали уже почти вокруг всей горы, когда на берегу одного ручья нашли труп мула, еще с сохранившимися седлом и уздой, но уже на половину съеденный собаками; это еще более подкрепило их догадки, что виденный ими беглец был хозяином чемодана и мула. Продолжая все еще рассматривать труп, они услышали свист, каким

обыкновенно пастух скликает свои стада, и вскоре, слева от них, действительно появилось множество коз, а за ними на горе показался и их пастух, пожилой уже человек. Дон-Кихот громко окликнул его и попросил спуститься к ним. Тот в ответ тоже крикнул, спрашивая путешественников, как они попали в это место, где бродят только козы да водки и другие дикие звери. – Санчо ответил ему, что ему стоит только спуститься, и ему объяснят все в подробностях. Тогда пастух спустился и, подойдя к Дон-Кихоту, сказал ему:

– Бьюсь об заклад, что вы смотрите на мертвого мула, который лежит в этом овраге! – Прошло, как бы не соврать – пожалуй уже месяцев шесть, как он лежит на одном и том же месте. Но, скажите мне, ни встретили ли вы где-нибудь его хозяина?

– Встретить мы никого не встретили, – отвечал Дон-Кихот; – а недалеко отсюда мы нашли подушку и чемодан.

– Мне тоже попадался этот чемодан, – сказал пастух; – но я не подумал даже подойти к нему поближе, боясь, как бы не случилось какого-нибудь несчастья или не обвинили бы меня в воровстве его. Черт ведь хитер, он всегда сумеет подбросить что-нибудь вам под ноги, чтобы вы спотыкнулись и упали, сами не зная ни как, ни почему это с вами случилось.

– Вот именно то же и я подумал, – ответил Санчо; – я тоже видел этот чемодан, но не посмел подойти к нему ближе, как только можно добросить до него камень. Там он так и остался, как был; я ведь не охотник подвязывать собакам погремушки.

– Скажите мне, добрый человек, – спросил Дон-Кихот, – не знаете ли вы, кто хозяин этих вещей?

– Все, что я знаю, – ответил пастух, – это то, что вот уже около шести месяцев – немного больше, немного меньше – к пастушеским шалашам – они в трех милях отсюда – приехал молодой человек, стройный и нарядный, на этом самом муле, который теперь лежит там мертвый, и с тем самым чемоданом, который, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил нас, где самое уединенное и самое дикое место на горе. Мы указали ему на то самое место, где мы находимся сию минуту, и в самом деле, если вы проедете еще полмили подальше, то вам, может быть, даже не удастся оттуда больше выбраться; удивительно, как вы и сюда-то могли попасть, потому что нет ни дороги, ни тропинки, которые вели бы сюда. Выслушав наш ответ, молодой человек повернул своего мула и отправился к тому месту, на которое мы ему указали, а мы остались в восторге от его красоты и в удивлении от его расспросов и поспешности, с которою он направился к этим горам. С тех пор мы его не видали несколько дней, но

потом он встретился одному из наших пастухов, загородил ему дорогу и, подойдя к нему, надавал ему здоровых тумаков, кулаком и ногами; потом подбежал к ослице, схватил весь сыр и хлеб, которые лежали на ней, и затем во весь дух пустился бежать и скрылся в горах. Узнав об этом случае, мы – несколько пастухов и я – почти целых два дня проискали его в самой чаще лесов этих гор и, наконец, нашли спрятавшимся в дупле одного большого пробкового дерева. Он со спокойным видом подошел к нам; одежда его вся изорвалась, и лицо так загорело и почернело от солнца, что мы насилу его узнали; только по платью – хотя оно и было изорвано, но мы его хорошо помнили – и догадались мы, что это – тот самый, кого нам надобно. Он вежливо приветствовал нас и в кратких, но прекрасных выражениях просил нас не удивляться его жалкому состоянию, говоря, что это нужно ему для того, чтобы совершить некоторое покаяние, которое он наложил на себя за свои многочисленные грехи. Мы попросили его сказать нам, кто он, но этого вам не удалось добиться от него. Мы просили его также, если ему требуется пища, указать нам, где было бы можно найти его, и тогда мы охотно стали бы ее приносить ему; или если так ему не нравится, то пусть он сам приходит просить пищи, а не отнимает ее силою у пастухов. Он благодарил вас за ваши предложения, извинялся за совершенную им грубость и обещал нам впредь просить пищи ради Бога и не обижать никого. Жилищем же, по его словам, ему служит первое попавшееся место, где застанет его ночь; под конец разговора он так трогательно расплакался, что мы были бы каменными, если бы при этом не заплакали сами, в особенности когда вспомнили и сравнили, каким мы его видели в первый раз и каким он стал теперь. Я уже вам говорил, что в то время это был стройный и красивый колодой человек, в разговоре и во всем обращении которого было столько вежливости и благородства, что и для нас, мужиков, стали понятны его знатное происхождение и хорошее воспитание. Вдруг, прервав посредине свою речь, он умолкает и долго не сводит глаз с земли, мы с удивлением, с беспокойством и жалостью ждем, чем кончится этот припадок. Действительно, когда мы увидали, как он то открывал, то закрывал глаза, то смотрел, ни мигнув ни разу, в землю, как он сжимал губы и морщил брови, мы догадались, что на него нашло безумие, да он и сам вскоре показал нам, что мы не ошиблись, потому что, вдруг расвирепев, он вскочил с места, где лежал, и с такою яростью кинулся на первого, кто ближе стоял к нему, что, если бы мы не вырвали своего товарища из его рук, он бы убил его, колотя кулаком, кусая зубами и крича при этом:

– А, бесчестный Фернанд! Наконец-то ты заплатишь за твою подлую

штуку, сыгранную со мной. Эти руки вырвут у тебя сердце, в котором гнездится множество всяких злодейств, в особенности же вероломство и измена!

К этому он прибавил еще много других дурных слов о Фернанде и его вероломстве. Наконец нам не без труда удалось отнять у него из рук нашего товарища, и тогда он, не говоря ни слова, со всех ног пустился бежать от нас и так быстро скрылся между скалами и кустарниками, что никому и в голову не пришло догонять его. Благодаря этому мы догадались, что на него по временам находило безумие и что кто-то по имени Фернанд, сыграл, должно быть, с ним какую-нибудь злую шутку, если о ней судить по тому крайнему положению, в которое она его привела. Наши догадки более и более подтверждались с каждым разом, как он, попадался нам навстречу, то прося у пастухов дать ему поесть, то отнимая пищу у них силою; когда им овладевал припадок безумия, то, сколько бы пастухи ни предлагали ему добровольно все, что у них есть, он ничего не хочет так брал, а отнимает все насильно. Напротив же, когда он в здравом уме, он всегда кротко и учтиво просит дать ему ради Бога и, получив желаемое, несколько раз благодарить и при том плачет. И откровенно вам скажу, господин, – продолжал пастух, – вчера мы решили – я и еще четверо пастухов – отыскать его, волею или неволею отвезти в город Альмодовар, который находится в восьми милях отсюда, и там полечить, если его болезнь излечима; если же нет, то, по крайней мере, когда он будет в здравом уме, мы узнаем, кто он и есть ли у него родственники, которых можно было бы уведомить об его несчастьи. Вот, господин, все, что я могу сообщить вам о том; вы меня спрашивали, и будьте уверены, что хозяин попавшихся вам вещей и есть тот самый человек, которого вы видели бегущим с такою легкостью, потому что его не стесняет никакая одежда! (Дон-Кихот рассказал перед этим пастуху, в каком наряде видел он этого человека прыгающим по уступам гор).

Наш рыцарь был сильно изумлен всем слышанным; в нем еще сильнее загорелось желание узнать, кто этот несчастный сумасшедший, и потому он решил привести в исполнение свое первоначальное намерение и поискать его по всей горе, не оставив не осмотренными на ней ни одной пещеры, ни одной трещины, до тех пор, пока не будет достигнута цель поисков. Но судьба устроила дела лучше, чем он ожидал. В эту самую минуту в горном проходе, выходящем на их сторону, показался тот молодой человек, которого хотел искать Дон-Кихот. Он шел, бормоча про себя какие-то слова, которые было бы трудно разобрать и вблизи, а издалека и совсем невозможно было понять. Одет он был так, как уже описано; только, когда

он приблизился, Дон-Кихот заметил, что лохмотья платья на его плечах были некогда камзолом из душистой замши; это окончательно убедило рыцаря, что особа, носившая подобное платье, не могла быть из низкого сословия. Подойдя, молодой человек приветствовал их грубым и хриплым голосом, но очень вежливо. Дон-Кихот с не меньшею вежливостью отвечал на его приветствия и, слезши на землю, с необычайною сердечностью заключил его в свои объятия и несколько минут крепко прижимал его в своей груди, как будто они долгие годы были знакомы между собой. Молодой человек, которого мы можем назвать оборванцем дурной наружности, как Дон-Кихота рыцарем Печального образа, освободившись от объятий, отступил немного назад и, положив обе руки на плечи Дон-Кихота, стал рассматривать его, очевидно пытаясь его узнать и, может быть, не менее изумляясь наружности, манерам и вооружению Дон-Кихота, чем Дон-Кихот удивлялся его жалкому положению. Наконец, после взаимных объятий, оборванец заговорил первым и сказал то, что будет приведено нами ниже.

## ГЛАВА XXIV

### В которой продолжается рассказ о приключении в горах Сьерра-Морэна

История передает, что Дон-Кихот с большим вниманием слушал жалкого рыцаря горы, который в разговоре сказал ему:

– Кто бы вы ни были, незнакомый мне господин, я приношу вам благодарность за те знаки сочувствия и любезности, которыми вы меня почтили, и мне хотелось бы иметь возможность отвечать вам не одним только добрым расположением к вам, какое вы обнаружили ко мне вашим сердечным приемом; но моя печальная судьба не позволяет отвечать на оказанные мне услуги иначе, как только простым желанием признать их.

– Мое же желание – служить вам, – ответил Дон-Кихот. – Я решил не выходить из этих гор до тех пор, пока не отыщу вас и не узнаю от вас самих, нельзя ли для горя, о котором дает понять странность избранной вами жизни, найти какое-нибудь лекарство; в случае, если таковое существует, то я приложу все мои старания, чтобы отыскать его. Если же ваше несчастье из таких, для которых закрыты двери всякого рода утешения, то я желал бы помочь вам нести его, смешав мои слезы и стенания с вашими, ибо найти сочувствующего служит большим облегчением для страждущего. Если же мои добрые намерения заслуживают награды в виде какого-нибудь знака любезности, то я умоляю вас добротой, святящейся в ваших глазах, и заклинаю вас предметом, который вы когда-либо любили или теперь любите больше всего на свете, сказать мне, кто вы и какая причина побудила вас жить и умирать подобно дикому зверю, среди этих пустынь, где вы томитесь в положении настолько отличном от того, в котором вы, наверное, жили прежде, как о том свидетельствует ваша наружность. Клянусь, – продолжал Дон-Кихот, – клянусь рыцарским уставом, мною, грешником и недостойным, принятым, и званием странствующего рыцаря, что если вы согласитесь уважить мою просьбу, то я буду служить вам со всем рвением и со всею преданностью, на какие я только способен, или стараясь облегчить ваше несчастье, если существует лекарство для него, или, как я вам уже обещал, проливая вместе с вами слезы.

Рыцарь Леса, слушая такие слова рыцаря Печального образа, продолжал рассматривать и разбирать его с ног до головы, когда же он



достаточно насмотрелся, то сказал:

– Если вы можете дать мне чего-нибудь поесть, то дайте ради Бога, и когда я поем, то сделаю, что вам будет угодно, в признательность за обнаруженные добрые намерения.

Немедленно же Санчо вынул из своей сумки, а пастух – из своей котомки, все, что было нужно оборванцу для утоления голода, и последний, как озверевшее и неразумное существо, набросился на пищу и принялся с страшною жадностью пожирать ее, глотая, почти не жуя, и один кусок погоняя другим. Пока он ел, ни он, ни смотревшие на него не проронили ни одного слова: покончив с едой, он дал им знак следовать за собой и привел их на небольшой зеленый луг, находившийся недалеко от того места, за поворотом одной скалы. Придя сюда, он лег на траву. Спутники последовали его примеру, продолжая сохранять молчание, пока, наконец, рыцарь-оборванец, устроившись на своем месте поудобнее, не обратился к ним с такою речью:

– Если вы, господа, желаете, чтобы я в коротких словах рассказал вам обо всех моих неисчислимых несчастиях, то обещайте мне, что вы ни словом, ни движением не станете прерывать нити моей печальной истории; иначе я в ту же минуту прерву мой рассказ.

Это предисловие оборванца вызвало в уме Дон-Кихота воспоминание об истории, которую ему начал рассказывать его оруженосец, но никак не мог кончить, не зная числа перевезенных коз. Между тем, оборванец продолжал:

– Я делаю это предостережение для того, – сказал он, – чтобы поскорее рассказать повесть моих несчастий, потому что всякое воспоминание о них причиняет мне только новые страдания и, чем менее будете вы предлагать мне вопросов, тем скорее я кончу свой рассказ о них. Впрочем, желая вполне удовлетворить ваше любопытство, я не пропущу ничего сколько-нибудь важного.

Дон-Кихот от лица всех обещал исполнить его просьбу и, положившись на это обещание, рассказчик начал так:

– Мое имя – Карденио, отчество мое – один из главных городов Андалузии, мой род – знатен, мои родители – богаты и несчастье мое – так велико, что сколько бы ни плакали, сколько бы ни скорбели о нем мои родители и родственники, они не в силах уменьшить его всеми своими богатствами, ибо блага состояния не могут облегчить горя, посылаемого нам небом. В той же местности жил ангел небесный, которого любовь одарила всем своим сиянием, всеми совершенствами, какие я только мог бы пожелать: такова была красота Люсинды, девушки такой же

благородной, такой же богатой, как и я, но более счастливой и менее постоянной, чем того заслуживали мои благородные чувства. Эту Люсинду я любил, я обожал с самого моего нежного возраста. С своей стороны и она любила меня с невинностью и простотой, свойственными ее юным летам. Родители наши знали нашу взаимную склонность, но не препятствовали ей, так как были уверены, что, зародившись еще в детстве, она должна окончиться браком, который вполне допускало равенство нашего благородного происхождения и состояний. Между тем мы росли, и вместе с нами росла и наша любовь. Для соблюдения приличий, отец Люсинды, подобно родителям столь прославленной поэтессой Тисбеи, счел нужным воспретить мне вход в их дом; подобное запрещение только сильнее воспламеняло нашу страсть и, налагая молчание на наши уста, было не в состоянии наложить его на наши перья, а перо часто свободнее языка передает тому, кому мы желаем, волнующие нашу душу чувства, высказать которые не решается самый смелый язык, немеющий в присутствии любимого человека. О небо! сколько записок написал я ей! и сколько милых и очаровательных ответов я от нее получил! сколько сложил я стихов, песен любви, в которых душа моя открывала свои сокровенные чувства, изображала свои пылкие желания, предавалась воспоминаниям и ласкала себя надеждою! Наконец, чувствуя, что душа моя сгорает от нетерпеливого желания видеть опять Люсинду, я решился привести в исполнение то, что казалось мне необходимым для получения желанной и, может быть, заслуженной моею любовью награды, то есть просить ее у отца ее в законные супруги. Я так и сделал. Он ответил мне, что он весьма польщен моим намерением почтить его и самого себя этим союзом, но что, так как мой отец еще жив, то право делать такое предложение принадлежит по справедливости ему; потому что если этот проект не получит его полного и безусловного одобрения, то Люсинда не из тех особ, которых было бы можно тайком брать или отдавать замуж. Все сказанное им я нашел справедливым и поблагодарил его за доброе расположение ко мне, вполне уверенный, что отец мой даст свое согласие, как только я скажу ему об этом. С такой надеждой я отправился сообщить моему отцу о моем намерении, но, войдя к нему в комнату, я застал его с раскрытым письмом в руках, которое он передал мне прежде, чем я успел произнести хотя одно слово.

– Карденио, – сказал он мне, – из этого письма ты увидишь, что герцог Рикардо желает тебе добра.

Герцог Рикардо, как вам, господин, это должно быть известно, один из грандов Испании, имеющий свои земли в прекраснейшей местности

Андалузии. Я взял письмо, прочитал его; оно было написано в таких сердечных, убедительных выражениях, что я сам нашел невозможным для отца не исполнить того, что у него просили; а, между тем, герцог просил прислать меня возможно скорее к нему, говоря, что он хочет сделать меня не слугою, а компаньоном его старшего сына и что он дает слово доставить мне положение соответствующее его любви ко мне. Прочитав письмо, я не мог произвести ни одного слова, в особенности когда услышал слова отца:

– Через два дня, Карденио, ты отправишься на службу к герцогу, и благодари Бога, открывающего тебе такую дорогу, по которой ты можешь достигнуть всего, чего ты заслуживаешь.

К этим словам он присоединил еще несколько отеческих советов. В ночь накануне отъезда я имел разговор с Люсиндой и сообщил ей все, что произошло. На следующий день я рассказал о происшедшем также и ее отцу, умоляя его некоторое время держать свое слово и отказываться от другой партии, могущей представиться его дочери, хотя бы до тех пор, пока я не узнаю, чего желает от меня герцог Рикардо. Он обещал мне это, а Люсинда подтвердила это обещание многочисленными клятвами и обмороками. Затем я отправился к герцогу Рикардо и был принят им так благосклонно, что немедленно же этим возбудил зависть, в особенности между старыми служителями дома: им показались обидны знаки участия, оказанные мне герцогом. Но самую сильную радость при моем появлении обнаружил второй сын герцога, по имени Фернанд, красивый, благородный, щедрый и увлекающийся молодой человек. Между ним и мною установилась вскоре такая дружба, что все об этом стали говорить. Старший его брат тоже любил и отличал меня, но в его чувстве не было ничего похожего на ту страстную привязанность, какую питал ко мне дон-Фернанд. Так как между друзьями не бывает тайн, а мы с дон-Фернандом вскоре сделались истинными друзьями, то он открыл мне свою душу и, между прочим, поведал о своей несколько беспокоившей его любви. Он любил молодую девушку, дочь одного земледельца, хотя и богатого, но все-таки бывшего их вассалом. Она была так прекрасна, умна, добра и мила, что все знакомые с ней не знали, какое из ее достоинств более всего достойно похвалы. Столько прелестей соединенных в прекрасной крестьянке до того воспламенили желания дон-Фернанда, что он решил, ради обладания ею, дать ей слово на ней жениться, так как иным путем достичь своей цели ему было невозможно. Во имя дружбы, связывавшей нас, я сначала счел себя обязанным самыми сильными доводами и убедительными примерами, какие я только мог представить, постараться отклонить его от такого решения, но, увидав всю безуспешность моих

увещаний, я решил потом все открыть герцогу, его отцу. Однако ловкий и хитрый дон-Фернанд догадался, что я, как верный слуга, не могу поступить иначе и скрыть дело, которое может послужить в ущерб чести герцога, моего господина. Желая отклонить меня от этого намерения, он сказал мне, что не находит лучшего средства изгладить из своего сердца воспоминание о пленившей его красоте, как только уехать для этого на несколько месяцев отсюда, и потому он желал бы со мной вдвоем отправиться к моему отцу, отпросившись у герцога под предлогом покупки нескольких хороших лошадей на моей родине, славившейся лучшими лошадьми во всей вселенной. Моя любовь заставила бы меня одобрить и менее разумное решение, так как благодаря ему мне представлялась счастливая возможность снова увидеться с моей Люсиндой, и потому я с восторгом отнесся к его намерению и плану и посоветовал ему поскорее осуществить его, говоря, что разлука оказывает действие даже на самые сильные чувства. Но, как я потом узнал, дон-Фернанд сделал мне это предложение уже после того, как он соблазнил дочь земледельца, дав обещание на ней жениться, и теперь, опасаясь гнева своего отца за свой проступок, старался только скрыться, прежде тем его обман будет открыт. Так как у большинства молодых людей любовь вовсе не заслуживает этого имени и бывает только мимолетным желанием, которое не имеет другой цели, кроме наслаждения, и гаснет после достижения этой цели, чего не бывает с истинной любовью, то и в дон-Фернанде, после того, как он овладел крестьянкою, желания пресытились и пламя угасло; если он сначала притворялся, будто он хочет удалиться, чтобы не принимать на себя обязательства, то теперь он действительно уезжал для того, чтобы не исполнять его. Герцог позволил ему совершить это путешествие и мне поручил его сопровождать. Мы приехали в мой родной город; отец мой принял дон-Фернанда, как должно. Я вскоре увидел Люсинду, и мои никогда не умиравшие и не охлаждавшиеся чувства усилились еще более. К своему несчастью, я, полагая, что между друзьями не должно быть тайн, сообщил о своей любви дон-Фернанду, и в таких выражениях восхвалял ему красоту, любезность и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в нем желание увидеть особу, украшенную столькими прелестями, и был настолько неблагоразумен, что удовлетворил его желание и показал ее ему ночью, при свете восковой свечи, в окне, у которого мы обыкновенно вели беседу. Она и в утреннем платье была так прекрасна, что, увидав ее, он немедленно же забыл всех красавиц, виденных им до сих пор. С этого времени он стал молчалив, задумчив, рассеян, и в конце концов им овладела сильнейшая любовь, как вы это потом увидите из моей печальной

повести. Как будто для того, чтобы еще более воспламенить его желание, которое он тщательно скрывал от меня и доверял только небу, судьбе было угодно, чтобы он однажды увидал записку, написанную Люсиндой с целью побудить меня просить ее руки, записку настолько полную прелести, невинности и любви, что, прочитав ее, он мне сказал, что только в одной Люсинде соединены все прелести ума и красоты, распределенные между всеми другими женщинами. По правде сказать, – почему мне не признаться теперь в этом? – догадываясь об истинных причинах, заставлявших дон-Фернанда восхвалять Люсинду, я почувствовал некоторое неудовольствие от похвал в его устах и, не без основания, начал тревожиться и не доверять ему. В самом деле, ему ежеминутно хотелось говорить о Люсинде, и он, кстати и некстати, навел разговор на этот предмет. Все это возбуждало во мне некоторого рода ревность: я не боялся непостоянства и неверности Люсинды, и все-таки мой рок заставлял меня опасаться именно того, что он мне готовил. Дон-Фернанд постоянно старался прочитывать ее и мои записки, которыми мы обменивались, и в объяснение этого говорил, что ему доставляет большое удовольствие читать искусные выражения нашей нежной любви.

«Случилось однажды, что Люсинда попросила у меня почитать одну рыцарскую книгу, которую она очень любила, – Амадиса Гальского»... Едва только Дон-Кихот услышал слово «рыцарская книга», как он воскликнул:

– Если бы ваша милость сказали в начале своего рассказа, что госпожа Люсинда любила рыцарские книги, то для вас были бы излишни другие похвалы, чтобы дать возможность мне оценить ее высокий ум, который не был бы так замечателен, как вы его мне описывали, если бы она не любила такого избранного и прекрасного чтения. По моему мнению, теперь нет надобности восхвалять ее красоту, достоинства и ум; для меня достаточно знать ее любимое чтение, чтобы объявить ее прекраснейшей и умнейшей из женщин. Вашей милости следовало бы только вместе с Амадисом Гальским послать ей славного Дон-Ругеля Греческого, так как я уверен, что госпожа Люсинда была бы в восторге от Дараиды и Гарайи и остроумных речей пастуха Даринеля<sup>[31]</sup> и от его восхитительных буколик, которые он распевал и играл с такою грацией и весельем; но время еще не ушло и исправить эту ошибку вовсе не трудно. Вам стоит только отправиться со мною в мою деревню, потому что там я могу дать вам более трехсот сочинений, составляющих отраду моей души и отдохновение моей жизни... Хотя, помнится мне, коварство и зависть злых волшебников не оставили из них ни одного. Простите же это нарушение нашего обещания

не прерывать нашего рассказа; но как только я услышу разговор о рыцарстве и странствующих рыцарях, то мне так же трудно удержаться, чтобы не присоединять к этому своего слова, как было бы невозможно лучам солнца перестать распространять теплоту или лучам луны – сырость. Поэтому простите мне и продолжайте рассказывать дальше.

В то время, как Дон-Кихот произносил вышеприведенную речь, Карденио опустил свою голову на грудь, как человек, впавший в задумчивость; Дон-Кихот два раза повторил свою просьбу продолжать рассказ, но он все по прежнему оставался с опущенной головой и молчал. Наконец, после долгого молчания он поднял голову и сказал:

– Я не могу отогнать от себя одну мысль, и никто в свете не отгонит ее от меня, и тот был бы большим бездельником, кто думал бы и полагал иначе: я уверен, что этот отъявленный пройдоха Элизабад был в связи с королевой Мадасимой.

– О, нет! этого не было, черт побери! – гневно воскликнул Дон-Кихот, по обыкновению в чересчур сильных выражениях опровергая ложь. – По истине, только злой сплетник или, вернее сказать, большой негодяй может говорить так! Королева Мадасима была благородная и добродетельная принцесса, и никак нельзя предположить, чтобы такая высокая дама могла состоять в любовной связи с лекарем грыж. И кто это скажет, тот солгал, как презренный негодяй. И я ему это докажу пешим или на коне, вооруженным или безоружным, днем или ночью, – одним словом, как ему будет угодно.

Карденио, которым овладело вновь его безумие, упорно смотрел в это время на него; он был так же не в состоянии продолжать своей истории, как Дон-Кихот ее слушать – настолько этот последний был задет за живое оскорблением королевы Мадасимы. Странное дело! он заступился за нее, как будто она была его настоящей и законной повелительницей – так его проклятые книги перевернули ему мозги! Но Карденио, на которого снова напало его безумие, услышав такое опровержение и название плута и другие подобные любезности, обиделся такою шуткой и, подняв большой камень, попавшийся ему под руку, так сильно хватил им по груди Дон-Кихота, что тот упал навзничь. Санчо Панса, видя как поступают с его господином, с сжатыми кулаками бросился на сумасшедшего; но сумасшедший принял его так, что одним тумаком бросил на землю, а затем, вскочив на брюхо, порядком помял ему ребра. Пастух, хотевший было защитить Санчо, потерпел ту же участь, и, поколов и помяв всех трех, наш несчастный помешанный оставил их и преспокойно скрылся в лесах горы. Санчо поднялся и, разъяренный тем, что его так ни за что ни про что

поколотили, накинулся на пастуха, говоря, что во всем этом виноват он, так как он не предупредил их о припадках безумия, случающихся с этих человеком, – если бы они знали, они бы приняли предосторожности. Пастух ответил, что он им это говорил, и что если они его не послушались, то это не его вина. Слово за слово, и после этих перебранок Санчо и пастух вцепились друг другу в бороду и начали взаимно угощать друг друга такими тумакami, что, если бы Дон-Кихот их не разнял, они переломали бы себе все ребра. Санчо, не выпуская пастуха, говорил:

– Не мешайте мне, господин рыцарь Печального образа! он такой же мужик, как и я, он не посвящен в рыцари, и я могу, как мне угодно, отмстить за нанесенное мне им оскорбление, сражаясь в рукопашную, как честный человек.

– Это верно, – сказал Дон-Кихот, – но только он невиноват в случившемся с нами. Сказав это, он заставил их помириться. Затем он опять спросил пастуха, можно ли будет найти Карденио, потому что ему сильно хотелось знать окончание его истории. Пастух повторил ему, как он говорил уже ранее, что он в точности не знает, где скрывается Карденио; но что, объехав окружающую местность, наверно можно найти его или в здравом уме или безумным.

## **ГЛАВА XXV**

### **Повествующая об удивительных делах, случившихся в горах Сьерра-Морэна с доблестным ламанчским рыцарем, и о покаянии, которое он наложил на себя в подражание Мрачному Красавцу**

Дон-Кихот, простившись с пастухом, сел на Россинанта и приказал следовать за собою Санчо, который, хотя и не охотно, повиновался ему, севши на своего осла.<sup>[32]</sup> Мало-помалу они пробрались в самую глушь. Санчо умирал от желания поболтать с своим господином, но, боясь нарушить данный ему приказ, хотел, чтобы сам Дон-Кихот завязал разговор. Наконец, у него не хватило сил выдерживать такое долгое молчание, и он сказал:

– Господин Дон-Кихот, соблаговолите, ваша милость, дать мне свое благословение и отпуск; мне хочется, ни мало не медли, вернуться домой, к моей жене и детям, с которыми, по крайности, я могу говорить и болтать, сколько мне угодно; ведь требовать, наконец, чтобы я ездил с вашей милостью по этим пустыням, днем и ночью, и чтобы я не промолвил вам ни одного слова, когда придет охота, – это все равно, что зарыть меня живым в землю. Если бы еще судьбе было угодно, чтобы животные умели говорить, как это было во времена Эзопа, тогда еще беда была бы невелика: я стал бы беседовать с моим ослом или с первым встречным скотом обо всем, что придет в голову, и терпеливо переносил бы свое несчастье. Но ведь это жестокая мука, с которой я никак не могу свыкнуться, – постоянно разыскивать приключения и ничего другого не находить, кроме ударов кулаком, ударов ногами, ударов камнями и прыжков по одеялу; и притом зашей себе рот и не смей пикнуть ни о чем, что лежит у тебя на сердце, как будто немой!

– Понимаю тебя, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – ты умираешь от желания освободиться от запрета, наложенного мною на твой язык. Ну, ладно! снимаю его. Говори все, что хочешь, но только с условием, что эта отсрочка запрещения продолжится только то время, которое мы пробудем в этих горах.

– Ладно, – сказал Санчо, – хорошо, что теперь можно говорить, а там



Бог знает еще, что будет. И, чтобы начать пользоваться этим милостивым разрешением, позвольте вас спросить, с какой стати ваша милость так горячо заступились за эту королеву Махимасу, или как она там называется? Какое дело вам до того, был ли этот Илья аббат ее любовником или нет? Если бы ваша милость не трогали этого дела, в котором не вам быть судьей, то сумасшедший рассказал бы дальше свою историю, а мы бы убереглись, вы – от камня по брюху, а я – от полдюжины, по крайней мере, тумачков и пинков ногами.

– Поверь мне, – ответил Дон-Кихот, – что, если бы ты знал так же хорошо, как и я, что за благородная и добродетельная дама была эта королева Мадасима, то и ты нашел бы – я в этом уверен, – что я оказался очень терпелив, если не разбил рта, произнесшего подобные клеветы; ибо это страшная клевета говорить или думать, будто королева находится в любовной связи с каким-то лекарем. Правда, этот господин Элизабад, о котором говорил сумасшедший, был очень умным человеком и превосходным советником и служил королеве одновременно и в качестве правителя и в качестве лекаря; но думать, будто бы она была его возлюбленной, это – нелепость, заслуживающая самого жестокого наказания. Да, чтобы убедиться в том, что Карденио сам не понимал, что он говорит, тебе достаточно вспомнить, что, когда он говорил это, с ним случился уже припадок.

– Вот это-то именно я и говорю, – возразил Санчо, и потому-то не следовало обращать внимания на слова сумасшедшего; – ведь не попади вам, по воле вашей счастливой звезды, камень, вместо головы, в живот, вам бы пришлось порядком поплатиться за желание защитить эту прекрасную даму, которая по воле Бога теперь уже, наверно, сшила. – Пойми, Санчо, что даже безумие Карденио не в состоянии оправдать его, – возразил Дон-Кихот. – Нет, и против умных и против безумных каждый странствующий рыцарь обязан вступаться за честь женщин, кто бы они не были; тем более за честь таких высоких принцесс, какою была королева Мадасима, к которой я питаю особое уважение за ее редкие достоинства; потому что, кроме своей красоты, она выказала себя необыкновенно благоразумной, терпеливой и мужественной в многочисленных удручавших ее несчастиях. Вот в это-то время ей и оказали большую помощь советы и общество лекаря Элизабада тем, что дали ей возможность с умом и твердостью переносить ее горе; а невежественная и злонамеренная чернь воспользовалась этим случаем, чтобы говорить и думать, будто бы она была его любовницей. Но они лгали, повторяю я, и двести раз солгут все те, которые осмелятся говорить или думать что-либо подобное.

– Я не говорю и даже не думаю ничего подобного, – ответил Санчо, – а кто распускает такие сплетни, пусть тот и ест их с хлебом. Любились они между собою или нет, в этом они отдадут отчет Богу. А я иду из своих виноградников, ничего не знаю и не люблю копаться в чужой жизни; тот же, кто покупает и врет, все это потом в своем кошельке найдет. Притом же, как я родился, наг и остаюсь, не проигрываю, и не выигрываю, и если что и было между ними, мне-то какое дело! Многие рассчитывают там найти куски сала, где нет и крючков-то, чем бы взять их. Кто же может поставить ворота на поле? Да разве не хулили самого Бога?

– Господи помилуй! – закричал Дон-Кихот. – Сколько глупостей нанизал ты одну на другую, Санчо! и какая связь между предметом нашего разговора и твоими пословицами? Заклинаю тебя твоею жизнью, Санчо, замолчи ты раз навсегда и лучше занимайся с этих пор разговором со своим ослом, не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Вбей себе хорошенько в голову при помощи твоих пяти чувств, что все, что я делал, делаю и буду делать, находится в согласии с истинным разумом и вполне соответствует рыцарским законам, которые я знаю лучше, чем все рыцари, делавшие когда-либо в мире из них свое призвание.

– Но, господин мой, – возразил Санчо, – разве хорошо то рыцарское правило, из-за которого мы шатаемся, точно отчаянные, без пути, без дороги по этим горам, отыскивая этого сумасшедшего, которому, когда мы его найдем, может быть, придет охота докончить то, что он уже начал, только не историю свою, а голову вашей милости и мои ребра, то есть в конец доломать их на этот раз.

– Замолчи ты, Санчо, повторяю я тебе, – проговорил Дон-Кихот, – ты должен знать, что в эти пустынные места ведет меня не одно только желание встретить этого сумасшедшего, но также и намерение совершить подвиг, который увековечит мое имя по лицу всей земли и завершит ряд достоинств, отличающих истинного и славного странствующего рыцаря.

– А этот подвиг – очень опасен? – спросил Санчо.

– Нет, – отвечал рыцарь Печального образа, – хотя жребий может выпасть и так, что меня постигнет неудача; но все зависит от твоего старания.

– От моего старания? – спросил Санчо.

– Да, – ответил Дон-Кихот, – потому что, чем скорее возвратишься ты оттуда, куда я тебя хочу послать, тем скорее кончится мое испытание и тем скорее начнется моя слава. Но несправедливо с моей стороны держать тебя в недоумении, в незнании той цели, к которой клонятся моя речь, и потому ты должен знать, Санчо, что славный Амадис Гальский был одним из

самых совершенных странствующих рыцарей; что говорю я, один из самых совершенных! один, единственный, первый, господин тех рыцарей, существовавших во времена его на свете. Меня сердят те, которые уверяют, будто бы Дон-Белианис равнялся ему в чем-либо – клянусь, они заблуждаются! С другой стороны, говорю я, когда художник хочет усовершенствоваться в своем искусстве, то он старается подражать оригиналам лучших известных ему художников; это правило применимо ко всем искусствам и занятиям, составляющим славу государств. Так должен поступать и поступает и тот, кто желает получить известность благоразумного и терпеливого человека: он подражает Улиссу, в лице и испытаниях которого Гомер нарисовал как живой образец терпения и благоразумия, равно как в лице Энея Виргилий изображал нам мужество почтительного сына и искусство мудрого полководца; при этом оба они представили своих героев не такими, какими они были в действительности, но такими, какими они должны бы были быть, чтобы тем побудить людей стремиться к достижению таких законченных образцов добродетелей. Точно также и Амадис был полярною звездой и солнцем храбрых и влюбленных рыцарей, и ему-то должны подражать все мы, вступившие под знамена любви и рыцарства. На этом основании, Санчо, я полагаю, что тот странствующий рыцарь, который лучше всего будет подражать ему, более всего приблизится и к рыцарскому совершенству. Но одно из дел, в которых рыцарь самым блестящим образом проявил свой ум, свое мужество, свою твердость, свое терпение и свою любовь, он совершил тогда, когда, вследствие пренебрежения, оказанного ему его дамой Орианой, он удалился совершить покаяние на утес Бедный, переименовав свое имя на имя Мрачного Красавца – имя, без сомнения, многозначительное и, как нельзя лучше, соответствовавшее той жизни, которой он себя добровольно подверг. Так как мне ему в этом подражать легче, чем поражать великанов, обезглавливать драконов, убивать вампиров, разбивать армии, потоплять флоты и разрушать очарования, и так как, кроме того, эти места удивительно удобны для исполнения таких намерений, то я и не хочу упускать случая, с такою предупредительностью предлагающего мне кончик своих волос. – Что же, в конце концов, ваша милость намереваетесь делать в этом уединенном месте? – спросил Санчо.

– Разве я тебе уже не говорил, – ответил Дон Кихот, – что я хочу подражать Амадису, изображая здесь отчаявшегося, обезумевшего и разъяренного, и подражая в то же время и мужественному Дон-Роланду, когда он на деревьях, окружавших один ручей, нашел признаки того, что Анжелика прекрасная пала в объятиях Медора. Это причинило ему такое

сильное горе, что он совсем обезумел и начал вырывать с корнем деревья, мутить воду в светлых ручейках, убивать пастухов, опустошать стада, поджигать хижины, разрушать дома, таскать свою кобылу и проделывать тысячи других безумств, достойных вечной славы. По правде сказать, я не думаю точь-в-точь подражать Роланду, или Орланду, или Ротоланду (у него было сразу три имени) во всех безумствах, которые он сделал, сказал или подумал, – но все-таки попытаюсь воспроизвести, как могу, те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. Может быть даже я удовлетворюсь простым подражанием Амадису, который, не совершая таких дорогих безумств, только своею печалью и слезами приобрел больше славы, чем кто-либо другой.

– Я думаю, – сказал Санчо, – что рыцари, поступавшие таким образом, были к этому чем-нибудь вызваны и имели свои причины проделывать все эти глупости и покаяния; ну, а вам-то, господин мой, какой смысл сходить с ума? Какая дама нас отвергла и что за признаки отыскиали вы, которые могли бы заставить вас думать, что госпожа Дульцинея Тобозская позволила себе баловаться с каким-нибудь мавром или христианином?

– В том-то и сущность и преимущество моего предприятия, – ответил Дон-Кихот. – Когда странствующий рыцарь сходит с ума, имея причины для этого, – тут еще нет ничего удивительного; похвально потерять рассудок без всякого повода и заставить сказать свою даму: если он делает такие вещи хладнокровно, то что он наделает сгоряча? Кроме того, разве не может для меня служить достаточным предлогом долгая разлука с моей обожаемой дамой Дульцинеей Тобозской, потому что ты сам знаешь, как сказал этот пастух Амброзио, что отсутствующий испытывает все муки, которых он страшится. Поэтому, друг Санчо, не теряй напрасно времени, пытаясь отклонить меня от такого редкого, счастливого и неслыханного подражания. Безумен я теперь, и безумен я должен быть до тех пор, пока ты не вернешься с ответом на письмо, которое я предполагаю тебе поручить отнести моей даме Дульцинее. Если это будет такой ответ, какого заслуживает моя преданность, то немедленно же прекратятся мое безумие и покаяние; если же случится иначе, то я в самом деле сойду с ума, и утрачу все чувства. Следовательно, каков бы ни был ее ответ, я освобожусь от неизвестности и мучений, в которых ты меня оставишь, буду ли я в полном разуме наслаждаться доброю вестью, которую ты мне принесешь, или от безумия потеряю окончательно ощущение моих страданий. Но скажи мне, Санчо, тщательно ли ты сохранил шлем Мамбрина? Я видел, что ты поднял его с земли после того, как этот неблагодарный хотел разбить его в куски, но не мог этого сделать, что ясно доказывает, как крепок его закал!

Санчо ответил ему на это:

– Ей Богу, господин рыцарь Печального образа, я не могу терпеливо выносить некоторых вещей, которые говорит ваша милость. Они могут заставить меня предположить, что все ваши рассказы о рыцарских приключениях, о завоевании королевств и империй, о раздавании островов и о других милостях и щедротах по примеру странствующих рыцарей, все это – вздор и ложь и пустые бредни; потому что, если бы кто-нибудь услышал, как ваша милость называете цирюльничий таз шлемом Мамбрина и вот уже четыре дня упорствуете в этом заблуждении, то, как вы полагаете, не подумал ли бы тот человек, что у того, кто говорит и утверждает нечто подобное, мозги не совсем в порядке? Цирюльничий таз у меня в сумке, совсем изогнутый, и я повезу его исправить домой и буду брить с ним бороду, если только Господь не лишит меня своей милости и снова приведет когда-нибудь увидиться с моей женой и детьми.

– Знаешь ли ты, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – клянусь тебе Богом, которого ты только что призывал, что ни у одного оруженосца в свете не было такого ограниченного разума, как у тебя. Возможно ли, чтобы за все время, которое ты находишься в моем обществе, ты не мог заметить, что все дела странствующих рыцарей похожи на бредни, нелепости и безумства и что все они устраиваются наыворот? Но это не потому, что это так и есть в действительности, а потому, что среди нас беспрестанно действует толпа волшебников, которые изменяют, превращают все по своей воле, смотря по тому, хотят ли они нам покровительствовать или – погубить нас. Вот почему тот предмет, который тебе кажется цирюльничьим тазом, мне кажется шлемом Мамбрина, а другому покажется еще чем-нибудь. И, по истине, это редкая заботливость покровительствующего мне волшебника – устроить так, чтобы весь мир принимал за цирюльничий таз то, что в действительности есть шлем Мамбрина, потому что, если бы знали о драгоценности этого предмета, все стали бы преследовать меня, чтобы отнять его; но теперь видят, что это ничто иное, как цирюльничий таз, а потому и не стараются добыть его, как это доказал тот, который пробовал его разбить и оставил на земле, потому что, знай он, что это такое, он не оставил бы его, – будь в том уверен. Береги же его теперь у себя, друг, пока мне нет надобности в нем; потому что мне следует снять с себя и все это вооружение и остаться голым, каким я вышел из чрева матери, если только я желаю подражать в своем покаянии больше Роланду, чем Амадису.

Беседуя таким образом, они прибыли к подошве высокой горы, одиноко возвышавшейся в виде остроконечной скалы среди других окружавших ее гор. У подошвы этой горы протекал светлый ручей, а

вокруг простирался мягкий зеленый луг, радуя останавливавшийся на нем взор. Множество раскиданных там и сям деревьев и обилие полевых цветов еще более украшали этот очаровательный уголок. Его-то и выбрал рыцарь Печального образа местом своего покаяния; только что, увидав его, он громко закричал, как будто уже потеряв рассудок:

– Вот место, о небо, избранное мною для оплакивания несчастья, в которое ты меня повергло. Вот место, где слезы моих глаз сольются с водами этого маленького ручейка, где мои непрерывные и глубокие вздохи не перестанут волновать листьев этих деревьев в знак и свидетельство скорби, раздирающей мое опечаленное сердце. О вы, кто бы вы ни были, боги природы, избравшие своим пребыванием эти необитаемые места, услышьте жалобы этого несчастного любовника, долгой разлукой и воображаемыми муками ревности приведенного в эту пустыню рыдать и оплакивать суровость неблагодарной красавицы, образца и последнего предела человеческой красоты. О вы, нимфы лесов и долин, обыкновенно обитающие в глубине этих гор, пусть легкомысленные и сладострастные сатиры, тщетно обожающие вас, никогда не нарушат вашего мирного покоя, если вы поможете мне оплакивать мои несчастья или, по крайней мере, не утомитесь моими жалобами. О Дульцинея Тобозская, день моих ночей, слава моих испытаний, полярная звезда моих странствований, светоч моей судьбы! да ниспошлет небо исполнение всем мольбам, которые тебе будет угодно обратить к нему, если ты сообразишь обратить внимание на то, в какое место и какое состояние привела меня разлука с тобою, и ответить, наконец, каким-нибудь милостивым знаком на мою неизменную преданность. О вы, уединенные деревья, отныне долженствующие быть моими единственными товарищами, легким шелестом ваших листьев поведайте мне, что мое присутствие не причиняет вам неприятности. И ты, мой оруженосец, веселый и верный товарищ в моей счастливой и злой судьбе, заботливо сохрани в своей памяти все, что и сделаю здесь при тебе, дабы с точностью рассказать об этом той, которая служит единственной причиной моих страданий.

С этими словами он слез на землю и поспешил снять с Россинанта узду и седло; затем, слегка ударив его по крупу, он сказал:

– Получай свободу от того, кто сам потерял ее, о скакун настолько же превосходный по своему бегу, насколько несчастный по своей участи; иди, избирай себе, какой хочешь, путь, ибо на лбу у тебя написано, что никто не равнялся с тобою в легкости, ни гиппогриф Астольфа, ни славный Фронтин,<sup>[33]</sup> так дорого стоивший Брадаманту.

Видя это, Санчо сказал:

– Право, хорошо, что кто-то избавил нас от труда развьючивать моего ослика! а то, пришлось бы, я полагаю, и ему расточать много ласк и похвал. Но если бы он был здесь, разве я позволял бы кому-нибудь развьючивать его? да и к чему? Мало было бы дела ему до влюбленных и отчаявшихся, так как хозяин его не был ни тем, ни другим, потому что его хозяином был я, пока так было угодно Богу... Право, господин рыцарь Печального образа, если мой отъезд и ваше сумасшествие будут не в шутку, а на самом деле, то не мешало бы снова оседлать Россинанта, чтобы он заменил мне осла, тогда я скорее съезжу и возвращусь; если же я пущусь в дорогу пешком, то я не знаю, ни когда я приду, ни когда я вернусь, уж очень я плохой ходок.

– Говорю тебе, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – делай, как хочешь; я нахожу твою мысль не особенно глупой и добавляю, что ты отправишься через три дня, дабы ты мог за это время увидеть, что я здесь делаю и говорю ради нее и рассказать об этом ей.

– Что же мне еще глядеть после того, что я уже видел? – спросил Санчо.

– Ты еще не доглядел до конца, – ответил Дон-Кихот, – не следует ли мне теперь разодрать свои одежды, разбросать свое вооружение и начать кувыркаться через голову по этим скалам, а также проделывать и другие подобные вещи, способные возбудить в тебе удивление?

– Ради Бога, – возразил Санчо, – делайте поосторожней, ваша милость, эти кувыркания, вы можете попасть на какой-нибудь выступ таким местом, что при первом же прыжке кончатся все ваши покаянные труды. По-моему, уж если ваша милость находите так необходимыми эти кувыркания, что дело без них не может обойтись, то согласитесь, так как все это только притворство и для смеха, – согласитесь, говорю я, делать их в воде или на чем-нибудь мягком, вроде ваты; а об остальном предоставьте позаботиться мне, я уж сумею сказать госпоже Дульцинее, что ваша милость проделывали свои кувыркания по остриям скал, которые были тверже алмаза.

– Я тебе признателен за твое доброе намерение, друг Санчо, – ответил Дон-Кихот, – но должен тебе сказать, что все, что я здесь делаю, я делаю, совсем не смеясь, а вполне серьезно; иначе это противоречило бы рыцарским правилам, запрещающим нам всякую ложь под страхом оказаться отступником, и делать одно дело вместо другого, это значит лгать. Поэтому-то мои кувыркания должны быть чистосердечны, непринужденны и неподдельны, свободны от всякого рода софистики и фантастичности; необходимо даже, чтобы ты оставил мне немного корпии,

так как судьбе было угодно лишить нас бальзама.

– Но еще хуже с ее стороны было лишить нас осла, – ответил Санчо, – потому что вместе с ним потеряли мы и корпию и все прочее. Умоляю вашу милость не вспоминать более об этом проклятом питье; потому что при одном только имени его у меня выворачивает душу наизнанку, не говоря уже о желудке. Кроме того, я умоляю вашу милость счесть уже прошедшими три дня, назначенные мне вами для того, чтобы я мог видеть безумства, которые вы собираетесь совершить: я объявляю, что эти безумства мною, как следует, видены, как будто они уж в самом деле сделаны, и на скажу о них чудес госпоже Дульцинее. Собогаволите же написать письмо и отправить меня поскорее; потому что меня разбирает сильная охота поскорее возвратиться и извлечь вас из чистилища, в котором я вас оставляю.

– Чистилища, говоришь ты, Санчо? – сказал Дон-Кихот. – Ты бы мог сказать из ада, и даже еще хуже, если только есть что-нибудь хуже его.

– Для того, кто в аде, – возразил Санчо, – *nulla est retentio*,<sup>[34]</sup> как мне приходилось слышать.

– Я не понимаю, что означает слово *retentio*, – сказал Дон-Кихот.

– *Retentio*, – сказал Санчо, – значит то, что кто в аде, тот уже не выйдет и не может выйти оттуда. С вашей же милостью будет совсем иначе, если только я не потеряю способности владеть пятками и угощать ими бока Россинанта. Раз только пустите вы меня в Тобозо пред лицо вашей дамы Дульциinei, то я того на скажу ей о всех дурачествах и безумствах (ведь это все одно), которые вы наделали и еще в эту минуту делаете, что, в конце концов, сделаю ее мягче перчатки, хотя бы мне пришлось найти ее тверже пробки. Получив от нее приятный и сладкий, как мед, ответ, я подобно волшебнику, по воздуху примчусь назад и вытащу вашу милость из этого чистилища, кажущегося адом, не будучи им однако, потому что у вас есть надежда выйти из него, тогда как ее нет у тех, кто находится в аду; и я не думаю, чтобы ваша милость были другого мнения.

– Да, это правда, – ответил рыцарь Печального образа, – но как мы устроимся, чтобы написать письмо для вся?

– А также и записку на получение осликов, – добавил Санчо.

– Разумеется, – ответил Дон-Кихот, – за неимением бумаги, нам бы следовало, подобно древним, написать на листьях деревьев или на восковых дощечках, но найти воск, по правде сказать, также трудно, как бумагу. Но я придумал, на чем удобнее всего написать, – в альбоме Карденио. Позаботься только заставить переписать письмо на большой лист бумаги красивым почерком в первой же деревне, где ты найдешь



школьного учителя; если же не найдешь учителя, то пусть тебе перепишет первый же попавшийся церковный ключарь; но не доверяй этого дела какому-нибудь писарю, потому что у этих господ такой запутанный почерк, что сам сатана не сумеет его разобрать.

– А как же насчет подписи? – спросил Санчо.

– Амадис никогда не подписывал своих писем, – ответил Дон-Кихот.

– Очень хорошо, – возразил Санчо, – но письмо на получение осленков должно быть непременно подписано; а если я заставлю его переписать, то скажут, что подпись у него ненастоящая, и я останусь тогда без осленков.

– Это письмо, – сказал Дон-Кихот, – так и останется с моею подписью в альбоме, и когда моя племянница увидит ее, то не найдет никакого затруднения исполнить написанное. На любовном же письме поместишь вместо подписи: до гроба ваш рыцарь Печального образа. Это ничего не значит, что рука будет чужая, потому что, если память мне не изменяет, Дульцинея не умеет ни читать, ни писать и во всю свою жизнь не видала ни одного письма, ни одного слова, написанного моей рукой. Любовь наша, в самом деле, была всегда только платонической и не шла дальше невинного обмена взглядами. Да и это случалось так редко, что я смею с совершенно спокойною совестью поклясться в том, что в течение двенадцати лет, как я люблю ее больше, чем зеницу своих очей, которые когда-нибудь будут съедены земляными червями, я не видал ее и четырех раз, да и из этих четырех раз она может быть ни разу не заметила, что я смотрел на все, – в таком одиночестве воспитали ее отец Лоренсо Корчуэло и ни мать Альдонса Ногалес.

– Что! Как! – воскликнул Санчо, – это дочь Лоренсо Корчуэло и есть госпожа Дульцинея Тобозская, иначе называемая Альдонсой Лоренсо?

– Она самая и есть, – ответил Дон-Кихот, – и она достойна быть царицей над всей вселенной.

– О! я ее хорошо знаю, – ответил Санчо, – и могу сказать, что она швыряет брусьями так же хорошо, как самый здоровый парень во всей деревне. Ей богу! это девка смышленная, здоровая и красивая и сумеет намылить голову всякому странствующему рыцарю, который вздумал бы взять ее в свои дамы. Черт возьми! а какой голос у ней, какая здоровенная грудь! Надо вам сказать, что один раз она влезла на деревенскую колокольню и стала звать слуг фермы, работавших на поле ее отца, и, хотя они были полмили от нее, они все-таки слышали ее так же хорошо, как если бы были у самой колокольни. Но главное, что она не чванится, у нее самый веселый нрав, она со всеми шутит и, при всяком удобном случае, хохочет и балует. Теперь скажу я вам, господин рыцарь Печального образа,

что ваша милость не только можете и должны делать безумства ради нее, но вы имеете полное право даже совсем отчаяться и удавиться, и всякий, узнав об этом, скажет только, что вы сделали хорошо, хотя бы вас черт побрал. Право, мне хотелось бы быть уже теперь в дороге только ради одного того, чтобы посмотреть на нее, потому что я давно уже ее не видал. Наверное, она сильно изменилась, ничто так быстро не портит цвета лица женщин, как постоянная ходьба по полям, на открытом воздухе и под солнцем. Должен сознаться вам, господин Дон-Кихот, что я находился в большом заблуждении, спроста думая, что госпожа Дульцинея – какая-нибудь принцесса, в которую ваша милость влюбились, или, по крайней мере, какая-нибудь особа высокого сословия, достойная тех богатых подарков, которые вы послали ей, например, побежденного бискайца, освобожденных каторжников и так же много других, как много побед было, вероятно, одержано, вашей милостью в то время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но если так, то какая радость госпоже Альдонсе Лоренсо, то есть госпоже Дульцинее Тобозской, смотреть, как приходят и преклоняют пред ней колена все побежденные, посланные вашей милостью? при том же может еще так случиться, что они явятся в то время, когда она треплет пеньку или молотит хлеб на гумне; тогда эти люди, видя ее за такими занятиями, могут разгневаться, да и сама она будет и сердиться, и смеяться в одно и тоже время.

– Много раз говорил уж я тебе, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – что ты большой болтун и с своим тупоумием постоянно стараешься шутить и говорит разные колкости, но, чтобы ты сам признал, насколько ты глуп, а я умен, я расскажу тебе одну маленькую историю. Слушай же. Одна молодая, красивая, свободная и богатая вдова влюбилась в одного здорового и веселого детину с толстой шеей. Когда узнал об этом ее старший брат, он решил сделать ей братское увещание. «Я не без основания удивляюсь, сударыня, – сказал он прекрасной вдовушке, – тому, что женщина с вашим положением, с вашей красотой и вашим богатством могла влюбиться в человека такого низкого звания и такого ничтожного ума; между тем как в том же самом доме столько докторов, учителей и богословов, из которых вы могли бы выбирать любого и сказать: этот мне по сердцу, а тот мне не нравится». Но вдова очень откровенно и остроумно ответила ему: «Вы сильно заблуждаетесь, мой дорогой братец, и рассуждаете совсем по-старинному, если предполагаете, что я ошиблась, избрав этого человека, каким бы глупцом он вам ни казался; ведь для того, что мне от него надобно, он так же силен в философии, как и Аристотель, и даже сильнее». Точно также, Санчо, и для того, что мне надобно от Дульцинеи Тобозской,

она так же годится, как и самая знатная принцесса на земле. Не следует думать, будто все поэты действительно знали тех дам, которых они воспевали под вымышленными именами. Ты думаешь, что все эти Аварильи, Фили, Сильвии, Дианы, Галатеи и многие другие, которыми наполнены книги, романсы, лавки цирюльников и театральные представления, в самом деле были живыми существами с телом и костями и дамами прославлявших их? Вовсе нет, большинство поэтов выдумали их только для того, чтобы иметь сюжет для стихов и чтобы люди считали их влюбленными или, по крайней мере, способными быть влюбленными. Поэтому и для меня достаточно думать и верить, что Альдонса Лоренсо прекрасна и умна. До ее рода нам нет дела; мы не собираемся делать исследование этого вопроса, чтобы облачить ее потом в одежду канониссы, я же считаю ее самой знатной принцессой на свете. В самом деле, ты должен знать, Санчо, если до сих пор еще этого не знал, что два достоинства больше, чем все другие, способны возбуждать любовь: красота и добрая слава. Но этими двумя достоинствами Дульцинея обладает в высокой степени, ибо в красоте с ней не сравняется никто, а в доброй славе она имеет мало себе равных. Короче сказать, я воображаю, что так и есть на самом деле, как я говорю, не больше и не меньше, и рисую ее себе именно такую прекрасной и благородной, какою мне желательно, чтобы она была; и потому ни одна женщина не сравнится с нею, ни Елена, ни Лукреция, никакая другая героиня прошлых веков, греческая, римская или варварская. Пусть всякий говорит об этом, что хочет; если меня порицают невежды, то, по крайней мере, строгие люди ни в чем не упрекнут меня.

— И я говорю, — сказал Санчо, — что ваша милость во всем правы, а я просто осел. И зачем только это слово приходит мне на язык, ведь в доме удавленника не следует говорить о веревке. Но готовьте письмо, а затем я отправлюсь.

Дон-Кихот взял альбом Карденио и, отойдя в сторону, начал с большим хладнокровием писать письмо. Кончив писать, он позвал Санчо и высказал желание прочитать ему написанное, чтобы тот выучил его наизусть на случай, если письмо потеряется дорогой, — «ибо злая судьба моя, — сказал Дон-Кихот, — заставляет меня всего опасаться».

— Ваша милость сделали бы лучше, — ответил Санчо, — если бы написали письмо в альбоме два или три раза, а потом отдали мне. Я буду беречь его; но думать, будто бы я могу выучить письмо наизусть — глупо; у меня такая скверная память, что я часто забываю даже свое собственное имя. Все-таки вы прочитайте мне его, я послушаю с большим удовольствием, ведь оно должно быть так написано, что хоть печатай.

– Слушай же, – сказал Дон-Кихот, – вот оно:

**Письмо Дон-Кихота к Дульцинее Тобозской.**

«Высокая и самодержавная дама!

Жестоко изъязвленный иглами разлуки, раненый в тайник самого сердца желает тебе, дульцинейшая Дульцинея Тобозская, доброго здоровья, которым он сам уже больше не наслаждается. Если твоя красота меня презирает, если твои достоинства неблагоприятны ко мне и если твоя суровость поддерживают мои терзания, то трудно мне, хотя бы и в достаточной степени закаленному в терпении, пребыть непреклонным в этом ужасном положении, не только мучительном, но и продолжительном. Мой добрый оруженосец Санчо представит тебе полный рассказ, о неблагоприятная красавица, о обожаемая неприятельница, о том состоянии, в которое я ввергнут тобою. Если угодно тебе придти мне на помощь, я – твой; если нет, – поступай по своему произволу, я же, окончив мои дни, удовлетворю тем твою жестокость и мое желание.

До гроба твой,

*Рыцарь Печального образа».*

– Клянусь жизнью моего отца! – воскликнул Санчо, когда письмо было прочитано, – это чудеснейшая штука из всех слышанных мною. Черт возьми! как хорошо вы высказываете все, что вам хочется сказать! и как ловко вы подогнали к подписи рыцаря Печального образа. Право, можно подумать, что вы сам черт, и нет ничего на свете, чего бы вы не знали.

– Для того звания, к которому принадлежу я, необходимо все знать, – ответил Дон-Кихот.

– Ну теперь, – сказал Санчо, – поверните страницу и составьте письмецо насчет трех осленков и подпишите его поотчетливей, чтобы всякий посмотревший сейчас же узнал вашу руку.

– С удовольствием, – сказал Дон-Кихот и, написав другое письмо, тоже прочитал его Санчо:

«Благоволите, госпожа моя племянница, предъявителю сего письма Санчо Панса, моему Оруженосцу, выдать трех из пяти осленков, оставленных мною дома и вверенных попечениям вашей милости; за каковые три осленка я от него соответствующую сумму наличными сполна получил и расчет за каковые, согласно сему письму и его расписке,

закljučается. Дано в ущельях Сьерры-Морены двадцать седьмого августа настоящего года».

– Очень хорошо, – воскликнул Санчо, – теперь вашей милости остается только подписать.

– Подпись не нужна, – ответил Дон-Кихот; – я только поставлю свою отметку; ее, все равно, что и подписи, было бы достаточно для получения не только трех, но трехсот ослов.

– Вполне полагаюсь на вашу милость, – сказал Санчо; – позвольте мне теперь оседлать Россинанта и приготовьтесь дать мне благословение; я хочу немедленно же отправиться в путь, не дожидаясь тех безумств, которые вы собираетесь делать; впрочем я сумею сказать, что я их вдоволь насмотрелся от вашей милости.

– Но все-таки я хочу и считаю необходимым, – сказал Дон-Кихот, – чтобы ты посмотрел, как я без всяких других одеяний, кроме своей кожи, совершу дюжину или две безумных дел. Это продолжится не более получаса. Когда ты увидишь своими собственными глазами, тогда тебе будет можно с совершенно спокойною совестью рассказывать и обо всех тех, которая ты заблагорассудишь прибавить, и уверяю тебя, что тебе не выдумать столько безумств, сколько я их собираюсь сделать.

– Ради Господа Бога, господин мой, – воскликнул Санчо, – позвольте мне не смотреть на кожу вашей милости: это сильно расстроит меня, я непременно заплачу, а у меня и так болит еще голова со вчерашнего вечера от слез по моем ослике, и мне не хотелось бы опять плакать. Если уж вашей милости непременно хочется показать мне несколько своих безумств, то сделайте одетым, какие покороче и скорее придут вам в голову. А по-моему, и совсем этого не нужно; как я уже вам сказал, без этого скорее настанет время моего возвращения и вы скорее получите вести, которых ваша милость так желает и заслуживает. Иначе, клянусь Богом, пусть госпожа Дульцинея поостережется! если она не ответит, как следует, то даю перед всеми торжественный обет ногами и кулаками вырвать у ней надлежащий ответ из нутра. Чтобы такой славный странствующий рыцарь сходил с ума без толку, без смыслу из-за какой-нибудь... Пусть ваша дама не заставляет меня говорить из-за какой, потому что, ей Богу! я дам волю своему языку и все, что он скажет, выплуну ей в лицо. Я покажу ей себя, она еще меня плохо знает; иначе сперва помолилась бы да поговела, прежде чем разговаривать со мной.

– Право, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – ты, кажется, нисколько не умнее меня.

– Я не такой сумасшедший, я только сердитей вас, – возразил Санчо.

– Но оставим это; скажите мне, ваша милость, что вы будете есть до моего возвращения? Разве вы, подобно Карденио, будете прятаться в засаду и силой отнимать у пастухов пищу?

– Об этом не беспокойся, – ответил Дон-Кихот, – даже если бы у меня в изобилии имелись всякие съестные припасы, я и тогда питался бы только травами и плодами, растущими на этих лугах и деревьях. Окончательная цель моего предприятия в том и состоит, чтобы совсем ничего не есть и претерпеть другие лишения.

– Кстати, знаете чего я боюсь? – сказал Санчо. – Я, пожалуй, не найду обратной дороги к тому месту, где я вас покину, ведь оно очень пустынно и глухо.

– Запоминай по дороге все приметы, – ответил Дон-Кихот, – а я не буду удаляться из этой местности и даже буду влезать на самые высокие из этих скал, чтобы посматривать, не возвращаешься ли ты. Кроме того, чтобы тебе вернее не заблудиться и не потерять меня, ты нарежь ветвей дрока, растущего вокруг, и бросай их через некоторые расстояния, пока ты не выедешь на долину. Эти ветви послужат тебе приметами и проводниками и, подобно нитке, употребленной Персеем<sup>[35]</sup> в лабиринте, помогут тебе найти меня.

– Это я сделаю, – отвечал Санчо.

И, нарезав несколько ветвей кустарника, он испросил благословение у своего господина и простился с ним, причем они оба всплакнули. Потом, сев на Россинанта и выслушав увещания Дон-Кихота, настоятельно просившего его заботиться об его коне, как о своей собственной особе, верный оруженосец направился по дороге к долине, разбрасывая по пути, как ему советовал его господин, ветви дрока и вскоре скрылся к великому сожалению Дон-Кихота, сильно желавшего проделать на его глазах, по крайней мере, хоть парочку безумств.

Но, не отъехав и сотни шагов, Санчо воротился и сказал своему господину:

– Я говорю, что ваша милость были правы: для того, чтобы я мог со спокойною совестью клясться в том, что я видел, как вы делали безумства, мне необходимо увидеть, по крайней мере, одно из них, хотя самое ваше намерение остаться здесь кажется мне порядочным безумством.

– Не говорил ли я тебе этого? – сказал. Дон-Кихот, – погоди же, Санчо; не успеешь ты прочитать сredo, я сделаю, что нужно.

Он немедленно же разулся и скинул с себя все платье, кроме рубашки; потом, без дальнейших церемоний, он щелкнул себя пяткой по заду, два раза подпрыгнул на воздух и два раза кувыркнулся вниз головой и вверх

ногами, выставив при этом наружу такие вещи, что Санчо, чтобы в другой раз не смотреть за них, повернул коня и снова пустился в путь, считая себя в полном праве клятвенно уверять в безумии своего господина. А затем мы оставим его ехать своей дорогой вплоть до времени его возвращения, которое не замедлит наступить.

## **ГЛАВА XXVI**

### **В которой продолжают прекрасные любовные подвиги, совершенные Дон-Кихотом в горах Сьерры-Морены**

Возвратимся к повествованию о том, что сделал рыцарь Печального образа, оставшись один. Как только Дон-Кихот, голый вниз от пояса и одетый вверх от пояса, кончил свои прыжки и кувыркания и увидал, что Санчо уехал, не захотев дожидаться других сумасбродств, – он взлез на вершину высокой скалы и принялся размышлять над одним вопросом, неоднократно уже занимавшим его мысль и до сих пор еще надлежащим образом не решенным: ему хотелось определить, что лучше для него и более приличествует обстоятельствам, подражать ли опустошительным неистовствам Роланда или же томной печали Амадиса. Рассуждая сам с собою, он говорил:

– Что удивительного, что Роланд был таким храбрым и мужественным рыцарем, каким его все считают? Ведь он был очарован и никто не мог лишить его жизни иначе, как только вонзив черную шпильку в подошву его ноги. Поэтому-то он и носил постоянно на своих башмаках семь железных подметок и все-таки его волшебство не помогло ему в битве с Бернардо дель-Карпио, который открыл хитрость и задушил его в своих объятиях в Ронсевальской долине. Но оставим в стороне все, что касается его мужества, и перейдем к его безумству. Несомненно, известно, что он потерял рассудок, когда на деревьях, окружавших ручей, нашел некоторые приметы и узнал от пастуха, что Анжелика несколько раз во время полуденного отдыха покоилась сном вместе с Медором, этим маленьким мавром с курчавыми волосами, пажем Аграманта. И действительно, раз он убедился, что это известие верно и его дама, в самом деле, сыграла с ним такую штуку, – ему нетрудно было сойти с ума. Но как же я-то могу уподобляться ему в безумствах, когда у меня нет подобного же повода? Потому что относительно Дульцинеи Тобозской я могу поклясться, что она во всю свою жизнь не видала и тени живого настоящего мавра и до сих пор пребывает такою же, какою ее произвела на свет мать. Следовательно, я нанес бы ей явное оскорбление, если бы, подумав о ней что-либо подобное, предался того же рода безумству, как и неистовый Роланд. С другой стороны, я вижу, что Амадис Гальский, не теряя разума и не совершая



разных сумасбродств, приобрел, как любовник, такую же и даже большую славу, чем кто-либо другой. Однако же, по словам его истории, он только всего и сделал, что, не вынеся пренебрежения своей дамы Орианы, запретившей ему появляться в ее присутствии без ее позволения, удалился на утес Бедный в сообществе с одним пустынником и там давал волю своим рыданиям до тех пор, пока небо не оказало ему помощи в его горе и печали. Если в самом деле было так – а в этом нельзя и сомневаться, – то с какой стати стану я теперь догола раздеваться и наносить вред этим бедным, ни в чем неповинным передо мною деревьям? И для чего мне нужно мутить воду в этих светлых ручейках, всегда готовых дать мне напиться, когда мне только захочется? Итак, да живет память об Амадисе, и пусть ему, насколько возможно, подражает Дон-Кихот Ламанчский, о котором могут сказать тоже, что говорят о другом герое, – если он и не совершил великих дел, то он погиб, чтобы их предпринять.<sup>[36]</sup> И если я не видал ни оскорбления, ни пренебрежения от моей Дульцинеи, то не достаточно ли с меня, как я уже сказал, и одной разлуки? Мужайся же и принимайся за работу! Явитесь же моей памяти прекрасные дела Амадиса и научите меня, чем должен я начать свое подражание вам. Но я уже знаю это, большую часть своего времени он употреблял на чтение молитв; тоже буду делать и я.

И он, вместо четок, набрал десяток больших пробковых шариков и нанизал их друг на друга, более всего досадуя на то, что у него нет отшельника, который бы мог его исповедать и утешить. Таким образом, проводил он время, то прогуливаясь по лугам, то сочиняя и чертя на коре деревьев и на песке множество стихов, рассказывавших о его грусти и воспевавших иногда Дульцинею. Но уцелевшими и доступными для чтения в то время, когда его самого нашли в этих местах, оказались только следующие строфы:

«Полей питомцы и дубравы,  
Деревья с зеленью своей,  
Душистые цветы и травы!  
Коль вам мой плач не для забавы,  
Внемлите жалобе моей.  
Пускай ничто вас не смущает:  
Ни эти слезы, ни затеи —  
Судьба вам славу посылает:  
Среди вас Дон-Кихот рыдает  
Вдали от доньи Дульцинеи

Тобозской.

«Вот место то, куда от милой  
Любовник верный удален,  
Не знает он, зачем, чьей силой  
В разлуке горькой и постылой  
К страданию он приговорен.  
Им страсть жестокая играет,  
Его сосут сомненья змеи;  
Он кадь слезами наполняет, —  
Так сильно Дон-Кихот рыдает  
Вдали от доньи Дульцинеи  
Тобозской.

«Отыскивая приключенья  
Повсюду средь суровых скал  
И находя лишь злключенья,  
Он в дни несчастья и сомненья  
Суровой сердце проклинал.  
Ударом плети награждает  
Здесь вдруг Амур его по шее,  
А не повязкой ударяет,  
И горько Дон-Кихот рыдает  
Вдали от доньи Дульцинеи  
Тобозской.»

Немало смеялись нашедшие эти стихи над этим добавлением Тобозской к имени Дульцинеи; предполагают, что Дон-Кихот воображал, будто строфа будет непонятна, если он, называя Дульцинею, не добавит Тобозской и, действительно, он в этом сам потом признался. Он написал много других стихов, но, как уже было сказано, только эти три строфы и можно было разобрать. Влюбленный рыцарь то наполнял свои досуги подобными занятиями, то вздыхал, призывал фавнов и сильфов этих лесов, нимф этих ручейков, печальное воздушное эхо, заклиная их всех услышать и дать ему ответ и утешение; по временам он отыскивал съедобные травы, чтобы поддерживать ими свою жизнь в ожидании возвращения Санчо. И если бы Санчо вместо того, чтобы пробыть в отлучке три дня, отсутствовал три недели, то рыцарь Печального образа таким бы печальным образом

изменился, что его не узнала бы родная мать. Но оставим его пока занятым вздохами и стихами и поговорим немного о Санчо Панса и о случившемся с ним во время его посольства.

Выехав на большую дорогу, Санчо принялся разыскивать Тобозо и на следующий день приехал к тому постоялому двору, в котором он испытал неприятность прыжков на одеяле. Как только он его заметил, ему сейчас же представились новые воздушные полеты и потому он решил не въезжать во двор, хотя время было как нельзя более подходящее для этого – был обеденный час, и Санчо, давно уже не евшего ничего, кроме холодных яств, разбирала сильная охота отведать чего-нибудь горяченького. Повинуясь, однако, своему желудку, он подъехал к постоялому двору, еще не решив наверное, остановится он или будет продолжать путь. Пока он пребывал в таком колебании, из дома вышли два человека; заметив Санчо, один из них сказал другому.

– Как вы думаете, господин лицензиат, ведь этот человек на лошади, кажется, Санчо Панса, тот самый, который, по уверению экономки нашего искателя приключений, последовал за ее господином в качестве оруженосца?

– Он самый, – ответил лицензиат, – и под ним лошадь нашего Дон-Кихота. – И, в самом деле, им было не трудно узнать нашего путешественника и лошадь, потому что эти два человека были цирюльник и священник, которые некогда предали суду и аутодафе рыцарские книги. Окончательно убедившись, что они узнали Санчо и Россинанта, они, с целью получить известия о Дон-Кихоте, приблизились к всаднику, и священник, назвав его по имени, сказал ему.

– Друг Санчо Панса, что поделывает ваш господин?

Санчо сейчас же их узнал, но решил скрыть место и положение, в которых он оставил своего господина. Поэтому он ответил им, что господин его занят в некотором месте некоторым делом, имеющим необыкновенную важность, и что, под страхом потерять собственные глаза во лбу, он не может сказать им ничего более.

– Ну, нет, Санчо Панса, – возразил цирюльник, – если вы не скажете нам, где он и что он делает, то мы подумаем – да мы и теперь уже имеем право это думать, что вы его убили и ограбили; потому что вы ведь едете на его лошади; клянусь, или вы дадите нам сведения о хозяине лошади, или берегитесь!

– О! – ответил Санчо, – вы грозите мне понапрасну, я не такой человек, чтобы убивать или грабить кого-нибудь; пусть всякий помирает собственной смертью, как угодно Господу Богу, его Создателю. Мой

господин остался в прекрасном местечке среди этих гор, чтобы на воле заняться там покаянием.

Затем, залпом, не переводя духа, Санчо рассказал им о положении, в котором он его оставил, о приключениях, встреченных ими, и о письме, имевшемся у него к госпоже Дульцинее Тобозской, дочери Лоренсо Корчуэло, в которую его господин по уши влюбился.

Немало дивились священник и цирюльник всему, что рассказал им Санчо; хотя им и были известны сумасшествие Дон-Кихота и странный характер этого сумасшествия, но все-таки их изумление росло с каждым разом, как они слышали что-нибудь новое об этом. Они попросили Санчо показать им письмо, которое он вез к Дульцинее Тобозской. Он ответил им, что оно написано в альбоме и что, согласно приказанию его господина, он должен в первой же встретившейся ему деревне отдать переписать это письмо на хорошую бумагу. На это священник возразил, что если Санчо покажет ему письмо, то он сам берется его переписать. Санчо Панса сейчас же запустил руку за пазуху и принялся там искать альбом; но он его там не нашел, да и не нашел бы никогда, если бы он даже по сию минуту его искал, потому что альбом остался у Дон-Кихота; написав в нем письмо, Дон-Кихот позабыл передать его Санчо, и Санчо позабыл его спросить. Увидав, что альбома не оказывается, добрый оруженосец покрылся холодным потом и смертельною бледностью. Потом он принялся поспешно ощупывать все свое тело сверху до низу, но, не найдя и тут ничего, он, без разговору, обеими руками вцепился себе в бороду, вырвал половину ее и потом, не передохнув, закатил себе по челюстям и по носу с полдюжины таких здоровых тумачков, что раскровенил себе все лицо. Увидав с его стороны такое неистовое обращение с самим собою, священник и цирюльник оба сразу спросили его, что с ним случилось.

– Что со мной случилось! – воскликнул Санчо, – а то случилось, что я сразу потерял трех ослят, из которых самый маленький стоил двorca.

– Как так? – спросил цирюльник.

– А так, – ответил Санчо, – что я потерял альбом с письмом к Дульцинее, а вместе с ним и записку моего господина, в которой он приказывает своей племяннице выдать мне трех ослят из четырех или пяти, стоящих в конюшне.

И затем Санчо рассказал им о потере осла. Священник постарался утешить его, говоря, что, когда он встретится с его господином, он попросит его возобновить свой дар, на этот раз на отдельном листе бумаги, как того требуют закон и обычаи, потому что обязательства, написанные в альбомах, не принимаются и не оплачиваются. Утешенный этими словами,

Санчо сказал, что в таком случае он мало горюет о потере письма к Дульцинее, так как он знает его почти наизусть и потому может дать переписать его где и когда угодно.

– Ну, так прочитайте его нам, – сказал на это цирюльник, – а потом мы его перепишем. Санчо помолчал немного и почесал затылок, чтобы вспомнить письмо, перевалился сперва на одну ногу, потом на другую, посмотрел на небо, посмотрел на землю, наконец, изгрызши до половины ноготь и истомив ожиданием священника и цирюльника, он воскликнул после долгого молчания:

– Клянусь Богом, хоть тресни, ничего не помню из этого письма! Пойдите, оно начиналось так: Высокая и самонравная дама.

– Не самонравная, а, должно быть, самодержавная дама, – прервал цирюльник.

– Да это все равно, – воскликнул. Санчо. – Потом, помнится мне... дальше дня слова: Раненый и бессонный... и уязвленный целует у вашей милости ручки, неблагодарная и очень неузнаваемая красота. Потом, уж я не знаю, он что-то говорил о добром здоровье и о болезни, которые он ей посылает, и в этом роде говорится до самого конца, а в конце: Ваш до гроба рыцарь Печального образа.

Обоим слушателям такая прекрасная память Санчо доставила немало удовольствия. Они произнесли множество похвал ему и просили его еще два раза повторить письмо, чтобы их можно было выучить его наизусть и при случае переписать. Санчо повторил еще три раза и в эти три раза наговорил три тысячи других нелепостей. Затем он принялся рассказывать им о приключениях своего господина, не проронив однако ни одного слова о качанье, испытанном им на этом постоялом дворе, в который он все еще не решался войти. Он добавил потом, что как только господин его получит ожидаемый благоприятный ответ от своей дамы Дульциinei Тобозской, так сейчас же отправится в поход и постарается сделаться императором или, по крайней мере, монархом, как у них уже был об этом уговор; что это очень простое и легкое дело для его господина при его мужестве и силе его руки; и что потом, как только он взойдет на трон, он женит и его, Санчо, который к тому времени уже непременно овдовеет, потому что иначе ему никак нельзя быть, и в жены даст ему фрейлину императрицы, наследницу богатого и большого государства на твердой земле, а до островов и островков ему теперь мало заботы.

Санчо расписывал все это с такою уверенностью, по временам утирая себе нос и бороду, и так был сам похож на сумасшедшего, что оба слушателя только диву давались при мысли о том, как сильно должно быть

безумие Дон-Кихота, если оно могло заразить и рассудок этого бедняка. Они сочли пока бесполезным выводить его из заблуждения, в котором он находился, так как его совести от этого не представлялось никакой опасности, а им самим будет забавно иногда послушать его болтовню. Поэтому они только посоветовали ему молиться Богу за здоровье его господина, которому в будущем, может быть, действительно предстоит сделаться императором или архиепископом, или какой-нибудь другой важной особой одинакового достоинства.

– В таком случае, господа, – возразил Санчо, – если судьба повернет дела так, что господин мой бросит мысль сделаться императором, а захочет быть архиепископом, – мне хотелось бы знать, чем обыкновенно странствующие архиепископы жалуют своих оруженосцев?

– Они обыкновенно их жалуют, – ответил священник, – или простую бенефицию, или бенефицию с приходом, или какое-нибудь капелланство, приносящее им порядочный постоянный доход, не считая случайного дохода такого же размера.

– Но ведь для этого, – возразил Санчо, – нужно, чтобы оруженосец был холост и умел, по крайней мере, отслужить обедню. Если это так, то горе мне – я, как на грех, и женат и не знаю ни одной буквы в азбуке! Господи Боже мой! Что будет со мною, если моему господину придет фантазия сделаться архиепископом, а не императором, как обыкновенно делают странствующие рыцари?

– Не огорчайтесь, друг Санчо, – сказал цирюльник; – мы попросим вашего господина, мы ему посоветуем, в случае надобности затронем даже его совесть, чтобы он сделался императором, а не архиепископом; да это и легче для него, потому что у него больше храбрости, чем учености.

– И я тоже думаю так, – ответил Санчо, – но только должен вам сказать, что он на все горазд. Ну, а пока мне остается только молить Господа Бога, чтобы Он направил моего господина туда, где бы он мог найти счастье для себя и средство оказать мне побольше милостей.

– Вы сейчас говорите, как умный человек, и намереваетесь поступить, как добрый христианин, – сказал на это священник. – Но теперь главное – постараться извлечь вашего господина из этого бесполезного покаяния, которым, по нашим словам, он там забавляется; чтобы обсудить, какие нам надо принять меры для этого, а также и пообедать, потому что для обеда теперь самая настоящая пора, – мы хорошо сделаем, если зайдем на этот постоялый двор.

Санчо ответил, что они могут идти туда, но что сам он останется наружи, и обещал после сказать, что за причины мешают ему сопровождать

их; он попросил только принести ему чего-нибудь поесть, лучше коего горяченького, и ячменя для Россинанта. Оба друга оставили Санчо, и через несколько минут цирюльник принес ему пообедать.

Потом священник и цирюльник стали обдумывать, каким бы способом им достигнуть своей цели и первому пришла в голову мысль, которая, как нельзя более, соответствовала и характеру Дон-Кихота и их намерениям.

– Вот что я придумал, – я надену костюм странствующей девицы, – сказал священник своему товарищу, – а вы получше переоденьтесь оруженосцем; потом мы отыщем Дон-Кихота и тогда я, изображая из себя оскорбленную и нуждающуюся в помощи девицу, попрошу у него милости, в которой он, как мужественный рыцарь, не сумеет мне отказать, а эта милость будет заключаться в том, что я попрошу его следовать за мною туда, куда я захочу его проводить, чтобы исправить некоторое зло, причиненное мне одним бесчестным рыцарем. Я буду умолять его не требовать, чтобы я поднял вуаль, и не расспрашивать о моих делах до тех пор, пока он не отомстит этому недостойному рыцарю. И будьте уверены, что Дон-Кихот непременно согласится на все, что только попросим у него в этом роде, и мы таким образом вытащим его оттуда и приведем опять в нашу местность, где уж попытаемся найти какое-нибудь лекарство против его странного сумасшествия.

## ГЛАВА XXVII

### **О том, как священник и цирюльник привели в исполнение свой план, а также и о других делах достойных быть рассказанными в этой великой истории**

Цирюльник ничего не имел против выдумки священника, и оба друга, окончательно остановясь на этой мысли, немедленно же принялись за ее исполнение. Они попросили хозяйку постоялого двора одолжить им юбку и головной убор, оставив ей в залог за эти вещи новую рясу священника, цирюльник сделал себе большую бороду из рыжего коровьего хвоста, на который хозяин постоялого двора обыкновенно нацеплял свой гребень. Хозяйка спросила, зачем им все это понадобилось, и священник рассказал ей в немногих словах о безумии Дон-Кихота и объяснил, что это переодевание нужно им для того, чтобы вытащить его из гор, в которые он уединился. Хозяин и хозяйка вскоре догадались, что этот сумасшедший – их гость, изобретатель бальзама и господин оруженосца, преданного некогда качанью, и рассказали священнику обо всем происшедшем у них, не умолчав и о том, что так упорно замалчивал Санчо. Потом хозяйка преуморительно нарядила священника; она дала ему надеть суконную юбку, обшитую черными бархатными лентами в пядь шириною, с зубцами на подоле, и зеленый бархатный лиф с каймою из белого сатина; весь этот наряд, должно быть, помнил еще времена доброго короля Вамбы.<sup>[37]</sup> Головного убора священник не захотел надеть, он только покрыл свою голову маленькой стеганой полотняной шапочкой, которую он имел обыкновение надевать на сон грядущий. Одной широкой черной тафтяной повязкой он обвязал свой лоб, а из другой сделал нечто вроде вуаля, закрывавшего ему бороду и все лицо. Сверх всего этого он надвинул свою священническую шляпу, которая была настолько велика, что могла служить ему в то же время и зонтиком, и, накинув на плечи свой плащ, уселся по-женски на своего мула; цирюльник украшенный полурыжей, полубелой бородой, сделанной из хвоста рыжесаврасой коровы и падавшей ему до пояса, тоже сел верхом на своего мула. Они со всеми простились, даже и с доброй Мариторной, которая, хотя и грешница, обещала им перебраться за них на молитве четки, чтобы Бог послал им успех в таком трудном и



вполне христианском деле. Но едва только священник выехал с постоялого двора, как его умом овладело сомнение: ему пришла в голову мысль, что рядиться таким образом, хотя бы и с добрых намерением, нехорошо и непристойно для священника.

– Кум, – сказал он цирюльнику, сообщив ему о своих размышлениях, – поменяйтесь-ка костюмами, пожалуйста; вам приличнее изображать странствующую девицу, а я буду представлять оруженосца, что будет менее оскорбительно для моего сана. Если же вы откажетесь, то я дальше не сделаю ни шагу, хотя бы сам черт собирался унести Дон-Кихота.

В эту минуту прибыл Санчо и, увидав обоих друзей в таком наряде, не мог не расхохотаться. Цирюльник согласился на предложение священника, и они поменялись ролями. Тогда священник принялся наставлять своего кума, как себя вести и что говорить Дон-Кихоту, чтобы заставить его отправиться с ними и покинуть уединение, избранное им для своего бесплодного покаяния. Цирюльник ответил, что он и без подучивания сыграет, как следует, свою роль. Он не захотел наряжаться сейчас же, решив подождать, пока они подъедут поближе к Дон-Кихоту; поэтому он сложил свой наряд, священник приладил себе бороду, и они пустились в путь, предводимые Санчо Панса. По дороге последний рассказал им, как его господин и он встретили на горе сумасшедшего и что у них с ним произошло, умолчав, однако, о находке чемодана и его содержимого – как ни глуп был парень, а выгоду свою умел оберегать.

На следующий день путники подъехали к месту, где Санчо набросал ветвей дрока, чтобы легче найти своего господина. Узнав местность, он сказал своим спутникам, что они у самого входа в горы и что им следует теперь переодеться, если только их переодевание может чем-нибудь послужить к освобождению его господина. Друзья, в самом деле, сказали ему, что их переодевание и путешествие чрезвычайно важны и имеют целью отвлечь его господина от той дурной жизни, которой он теперь предался. Кроме того, они не велели ему говорить своему господину, кто они такие и что он их знает, и сказали, что если Дон-Кихот вздумает спросить его, как это наверное и случится, – вручил ли он письмо Дульцинее, то пусть он ответит, что вручил, но что его дама, не умея читать, удовольствовалась тем, что велела только передать своему рыцарю приказание немедленно же явиться к ней по весьма важному делу, под страхом подвергнуться немилости за ослушание. Наконец, друзья добавили, что таким ответом и теми словами, которые будут сказаны ими самими, они вполне уверенно рассчитывают возвратить его господина к лучшей жизни и заставить его отправиться в путь, чтобы сделаться

императором или монархом; опасаться же, что он захочет сделаться архиепископом, нет уже больше никаких оснований.

Все это Санчо слушал с необыкновенным вниманием, стараясь хорошенько запомнить, и потом долго благодарил их за их доброе намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не архиепископом, так как он, с своей стороны, был вполне убежден, что от императоров оруженосцам следует ожидать больше наград, чем от странствующих архиепископов.

– Не мешает, – добавил он, – пойти мне вперед, отыскать своего господина и сообщить ему ответ его дамы. Может быть, и этого будет довольно, чтобы вывести его оттуда, и вам не нужно будет так трудиться самим.

Друзья одобрили мнение Санчо и решили подождать, пока он не известит их о том, что он нашел своего господина. Санчо скрылся в глубине горных проходов, а священник и цирюльник остались в узком ущелье, которое, журча, пересекал маленький ручей, и одевали освежительною тенью высокие скалы и деревья, росшие по сторонам их. Был август месяц, когда жара в этой местности очень сильна, около трех часов пополудни. Все это делало местечко особенно приятным и соблазняло наших путешественников остаться здесь поджидать Санчо. Так они и решили сделать. Но в то время, как они, сидя в тени, мирно отдыхали, внезапно до слуха их донеслись звуки необыкновенно нежного, чистого и приятного голоса, певшего без всякого аккомпанемента какую-то песню. Это немало удивило их, не думавших, чтобы в этом месте можно встретить такого хорошего певца. Действительно, хотя и говорят обыкновенно, что среди полей и лесов встречаются пастухи с восхитительными голосами, только это чаще бывает плодом воображения поэтов, чем истиною. Их удивление возросло еще более, когда они разобрали, что они слышат не грубоватую песню пастухов, а изящные стихи горожан. Вот, впрочем, слышанные ими стихи:

«Что превращает жизнь мою в мученье?

Презренье.

А что мне умножает огорченье?

Сомненье.

А что в терпении моем наука?

Разлука.

Так стало быть моей болезни мука

Продлится век. Искать лекарств напрасно,

Когда надежду губит ежечасно  
Презрение, сомнение и разлука.

«Что скорби яд в мою вливает кровь?  
Любовь.  
Что отдалило моего блаженства срок?  
Рок.  
А что мне посылает огорченье?  
Провиденье.  
Так стало быть надежду на спасенье  
Оставить разум мне повелевает.  
И я умру, когда того желает  
Все – и любовь, и рок, и Провиденье.

«Что кончит горькое мое раздумье?  
Безумье.  
Что будет лучшей участи причина?  
Кончина.  
А покорило что Амура царство?  
Коварство.  
Так стало быть и всякое лекарство  
Помочь в моей болезни не по власти —  
Три средства лишь действительны от страсти  
Безумие, кончина и коварство.»

Время, погода, уединение, прекрасный голос и искусство певца – все способствовало тому, чтобы возбудить удивление и восторг в слушателях, и они сидели неподвижно, надеясь услышать еще что-нибудь. Певец, однако, молчал довольно долго, и они уже было решились отправиться на поиски его, но только что они поднялись, как тот же самый голос вновь донесся до их слуха и удержал их на месте. Он пел следующий сонет:

«Святая дружба, жизнь земную покидая,  
Чтоб легкий свой полет направить к небесам,  
Свое подобие оставила ты нам,  
Сама ж, блаженная, живешь в чертогах рая.

«Оттуда ясный лик свой нам явить желая,

Ты поднимаешь свой покров по временам,  
И свет твой нас ведет к благим делам,  
Но следом зло идет, плоды их истребляя.

«Сойди для нас, о дружба, с высоты небесной  
И повели лжи скинуть твой убор чудесный,  
Чтоб дать взойти стремлений чистых семенам.

«Когда же ей свое подобье ты оставишь,  
Ты род людской предашь раздору и слезам  
И в хаосе страстей погибнуть мир заставишь.»

Пение закончилось глубоким вздохом. Слушатели долго и внимательно прислушивались в надежде услышать новые песни. Но когда музыка сменилась воплями и рыданиями, то они поспешили узнать, кто – этот печальный певец, стоны которого были на столько же трогательны, насколько восхитителен был его голос. Им пришлось недолго искать: обогнув выступ скалы, они увидали человека, по наружности очень похожего на того, которого описал им Санчо, рассказывая историю Карденио. При виде их этот человек не обнаружил ни испуга, ни удивления; как он был, так и остался на том же месте, с опущенной на грудь головою, погруженным в глубокую задумчивость и не поднимая даже глаз, чтобы посмотреть на подошедших к нему, как будто бы они уже не в первый раз неожиданно появляются перед ним. Священник, от природы одаренный красноречием и вскоре по сообщенным ему Санчо приметам узнавший незнакомца, приблизился к нему и в кратких, но умных и прочувствованных словах стал убеждать его бросить такую презренную жизнь в этой пустыне, говоря, что иначе ему угрожает опасность окончательно погибнуть здесь, что было бы величайшим из всех несчастий. Карденио был в то время в здравом уме и свободным от припадков ярости, так часто выводивших его из себя. Поэтому, увидав двух человек, одетых в одежду необычную для посещающих часто эти уединенные места, он испытал некоторое удивление, увеличившееся еще более после того, как он понял из обращенных к нему слов священника, что его история была известна этим людям. Он ответил им следующими словами:

– Кто бы вы ни были, господа, я уверен, что небо, помогающее добрым, а часто и злым, посылает и мне, недостойному этой милости, в этих удаленных от человеческого общения местах людей, которые, живо

изобразив перед моими глазами, как безумно вести такую жизнь, какую я веду, пытаются вывести меня из этого печального одиночества для более пристойного существования. Но они не знают того, что знаю я, не знают, что, избегнув зла, в котором я нахожусь теперь, я подвергся бы еще худшему злу, а потому они, вероятно, считают меня за человека слабоумного, а может быть, и совсем лишенного всякого рассудка. Да и нет ничего удивительного, если это случится в действительности; я и сам замечаю, что воспоминания о моих несчастьях так постоянны, так живы во мне и так неудержимо влекут меня к гибели, что я часто, не имея сил бороться с ними, остаюсь, подобно камню, лишенным всякого чувства и всякого сознания. Я по необходимости должен признать эту истину, когда представляя доказательства, мне рассказывают о том, что я делаю во время ужасных припадков, овладевающих мною. Тогда я могу только предаваться бесполезным жалобам, напрасно проклинать свою злую судьбу и, в оправдание своего безумия, рассказываю его причину всем, кто только захочет послушать. Узнав причину, умные люди не удивляются следствиям. Если они и не находят для меня лекарства, то, по крайней мере, перестают обвинять меня, и страх перед моими безумствами сменяется в них жалостью к моим несчастьям. Поэтому, господа, если вы пришли сюда с таким же намерением, как и другие, то умоляю вас, прежде чем продолжать ваши мудрые увещания, выслушайте мою злополучную повесть. Узнав ее, вы, может быть, убедитесь, что утешать меня в таком несчастье, которое недоступно никакому утешению, – совершенно бесполезный труд.

Священник и цирюльник, сгоравшие от желания услыхать от самого Кардеаио историю его несчастий, настоятельно просили его рассказать ее им, обещаясь сделать только то, что он сам пожелает для исцеления или облегчения своих страданий. Тогда печальный рыцарь начал свою грустную повесть почти в тех же выражениях и с теми же подробностями, как он рассказывал ее Дон-Кихоту и пастуху, когда, по вине лекаря Элизабада и щепетильной точности Дон-Кихота в исполнении рыцарского долга, она так и осталась неоконченной. Но теперь припадок, к счастью, не овладевал Карденио и дал ему время довести повествование до конца.

Когда Карденио рассказал о том, как дон-Фернандо нашел записку в одном томе Амадиса Гальского, он продолжал:

– Она у меня сохранилась в памяти, вот, что было написано в ней:  
Люсинда к Карденио.

«С каждым днем я открываю в вас новые достоинства, заставляющие меня уважать вас все более и более. Если вы желаете, чтобы я без ущерба для своей чести исполнила свой долг к вам, то вы легко можете этого

достигнуть. Мой отец, знающий вас и любящий вас, не принуждая моего желания, удовлетворит ваше справедливое желание, если только действительно вы меня так сильно любите, как вы меня в этом уверяете, и как я думаю».

– Я уже вам рассказывал, что эта самая записка побудила меня просить руки Люсинды. Благодаря этой же записке дон-Фернанд составил мнение о Люсинде, как о самой разумной женщине нашего времени, и эта же самая записка, зародила в нем желания погубить меня раньше, чем исполнились мои желания. Я уже сообщил дон-Фернанду о том, что, согласно желанию отца Люсинды, мой отец сам должен просить ее руки для меня, и что я не осмеливаюсь сказать об этом своему отцу из боязни, что он, пожалуй, не согласится на это, не согласится не потому, что бы он не знал звания, добродетелей и красоты Люсинды, достоинства которой могли бы принести честь всякому дону в Испании, а потому, что, как я предполагал, он не позволит мне жениться до тех пор, пока не узнает, что хочет сделать из меня герцог Рикардо. Одним словом, я сказал ему, что не решаюсь открыться моему отцу, как вследствие этой причины, так и потому, что со страхом предчувствую много других препятствий, которые, как кажется мне, хотя я в этом и не могу отдать себе ясного отчета, никогда не позволят моим желаниям осуществиться. Дон-Фернанд ответил мне на это, что он сам берется уговорить моего отца просить для меня руки Люсинды... О лживый Марий! жестокосердый Катилина! вероломный Ганелон!<sup>[38]</sup> изменник Вельидо!<sup>[39]</sup> Что тебе сделал этот несчастный, с такою искренностью поверявший тебе все тайны, все радости своего сердца? Чем я тебя оскорбил? Какие слова сказал я, какие советы я дал тебе, которые не имели бы единственную целью принести тебе пользу и честь? Но к чему послужат жалобы? увы! разве это не всем известно, что когда по воле злой судьбы на нас стремительно обрушивается несчастье, то никакая сила на земле не может его остановить, никакое человеческое благоразумие не может его предупредить? Кто бы мог себе представить, что дон-Фернанд, дворянин знатного рода, одаренный светлым умом, обязанный мне признательностью за мои услуги и бывший настолько могущественным, что мог доставлять удовлетворение всякому своему любовному желанию, – решится отнять у меня моего единственного ягненка, которым я еще и не обладал? Но оставим эти бесполезные размышления и последуем за прерванною нитью моей печальной истории.

«Дон-Фернанд, которому мое присутствие было помехой для исполнения его бесчестного плана, решил послать меня к своему

старшему брату под предлогом взять у того некоторую сумму денег для уплаты за шестерых лошадей, купленных им в тот же день, когда он вызвался говорить с моим отцом, единственно с тою целью, чтобы удалить меня и быть свободным в своих поступках. Мог ли и я предвидеть подобную измену, могла ли она придти мне на мысль? О, нет; напротив, а с радостью изъявил готовность ехать немедленно, довольный такою покупкою. Ночью я виделся с Люсиндой; и рассказал ей о нашем уговоре с дон-Фернандом, убеждая и ее иметь крепкую надежду на исполнение наших справедливых и честных желаний. Так же, как и я, не подозревая возможности измены со стороны дон-Фернанда, она просила меня возвращаться поскорее, потому что наши желания, как думала она, немедленно же исполнятся, как только переговоят между собою наши отцы. Не знаю, как это произошло, но только, когда она произносила эти слова, глаза ее наполнились слезами и голос задрожал, – казалось, что-то узлом сжимало ее горло и не позволяло ей произнести еще другие слова, которые она силилась мне сказать. Меня поразило это новое, никогда до сих пор мною невиданное явление. В самом деле, всякий раз, как счастливый случай или мое старание давали нам возможность видеться, никогда к нашему радостному разговору не примешивалось ни слез, ни вздохов, ни упреков, ни подозрений. Я только наслаждался своим счастьем иметь ее своею дамою; я гордился ее красотою, я восхищался ее достоинствами и умом. Она простодушно отвечала мне тем же, хваля во мне то, что, в своей любви ко мне, она считала достойным похвал. Мы болтали во время наших свиданий о тысяче пустяков, рассказывали друг другу разные случаи, происшедшие у наших соседей или знакомых, и смелость моя ни разу не шла дальше того, что я иногда, почти насильно, брал ее прелестные, белые ручки и прижимал их к своим губам – насколько мне эта дозволяли железные полосы разделявшего нас низкого окна. Но в ночь, предшествовавшую печальному дню моего отъезда, она плакала, стонала, вздыхала и, наконец, скрылась, оставив меня в смущении, тоске и испуге от этих новых и печальных признаков горя и сожаления, однако, чтобы не разрушать самому своих надежд, я приписал все это сильной любви... питаемой ею ко мне, и огорчению, всегда испытываемому при разлуке с любимым человеком. Я уехал печальный и расстроенный, с душою полною страха и подозрений, хотя и не знал, чего страшиться и что подозревать, – слишком ясные знамения ожидавшего меня удара.

«Прибыв к месту моего назначения, я передал письмо брату дон-Фернанда, был хорошо принят им, но отправлен обратно нескоро; к моему великому неудовольствию, он велел мне ждать восемь дней в таком месте,

где бы меня не мог видеть герцог отец, так как дон-Фернанд писал ему прислать денег без ведома отца. Все это было лишь хитростью и вероломством, – денег у него было достаточно, и он мог бы отправить меня немедленно же. Я имел право послушаться такого непредвиденного приказания, потому что мне казалось невозможным жить столько времени вдали от Люсинды, в особенности после того, как я оставил ее в такой глубокой печали: но, как верный слуга, я повиновался, хотя и знал, что это повиновение послужит в ущерб моему спокойствию, моему здоровью. На четвертый день моего приезда ко мне является человек, искавший меня, чтобы передать письмо от Люсинды, как я об этом сразу узнать по почерку, которым была написана надпись. Весь дрожа от страха, я вскрываю его, догадываясь, что, вероятно, важная причина заставила ее написать ко мне, что она делала очень редко, когда я бывал вблизи ее. Прежде чем прочитал письмо, я спрашиваю человека, кто ему дал это письмо и сколько времени он был в дороге. Он отвечает мне, что, когда он проходил случайно в полдень по одной городской улице, то его позвала к окну какая-то прекрасная дама и сказала ему поспешно и со слезами на глазах: «Брат мой, если вы христианин, как кто по всему видно, то именем Бога умоляю вас, поскорее, поскорее отвезите это письмо; вы этим сделаете дело, угодное Богу; место и человек, которому это письмо посылается, указаны в адресе и известны всем; а чтобы для вас не было никаких затруднений в этом деле, возьмите, что есть в этом платке.» – Сказав это, – добавил посланный, – она бросила из окна платок, в платке оказалось сто реалов, этот золотой перстень, который я теперь ношу, и письмо, которое теперь у вас. Затем, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, посмотрев сначала, как я поднял письмо и платок и дал ей понять знаками, что я исполню ее поручение. Получив вперед такую хорошую плату за труд и узнав из адреса, что письмо для вас, мой господин, я решил, тронутый слезами этой прекрасной дамы, не доверяться никому и самому отнести это письмо по назначению: и вот с тех пор, как она мне дала его, прошло шестнадцать часов, и за это время я сделал восемнадцать миль! – В то время, как признательный посланный передавал мне все эти подробности, я жадно прислушивался к его словам и от сильной дрожи едва мог стоять на ногах. Наконец, я вскрыл письмо, бывшее приблизительно следующего содержания:

«Слово, которое дал вам дон-Фернанд, – уговорить вашего отца переговорить с моим – он сдержал скорее для своего удовлетворения, чем для вашей пользы. Знайте, милостивый государь, что он просил моей руки, и отец мой, соблазненный теми преимуществами, которыми, по его



мнению, дон-Фернанд обладает в сравнении с вами, согласился на его предложение. Дело очень серьезно, так как через два дня должно произойти мое обручение, но оно хранится в тайне и свидетелями его будут только небо и домашние. В каком положении я нахожусь и следует ли вам приехать – судите сами; люблю ли я вас или нет – покажет вам будущее. Да будет угодно Богу, чтобы мое письмо дошло до ваших рук прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукою человека, умеющего так дурно исполнять раз данное обещание.»

Такова была сущность содержания письма. Как только я его прочитал, я немедленно же уехал, не дожидаясь ни ответа, ни письма – теперь я уже ясно видел, что дон-Фернанд послал меня к брату не для покупки лошадей, а с единственной целью развязать себе руки. Ярость, воспламенившаяся во мне на дон-Фернанда, и страх потерять сердце, приобретенное мною долгими годами любви и обожания, придавали мне крылья, и на следующий же день я был в своем родном городе, именно в тот час, когда мне было возможно видеться с Люсиндой. Я вошел тайно, оставив мула, на котором я ехал, у доброго человека, привезшего мне письмо. По счастью, я застал Люсинду у низкого окна, давно уже бывшего свидетелем наших любовных бесед. Она тотчас же узнала меня и я ее узнал; но не так должна бы была она увидаться со мною и не такую надеялся я ее найти... Увы! кто на свете может льстить себе надеждою, что он проник, измерил всю бездну смутных мыслей и изменяющегося настроения женщин? Никто, наверное... Увидав меня, Люсинда сказала: «Карденио, я одета в свадебное платье; в зале меня уже ожидают вероломный дон-Фернанд и мой честолюбивый отец с другими свидетелями, которые скорее станут свидетелями моей смерти, чем моего обручения. Не падай духом, друг мой, и постарайся присутствовать при этом жертвоприношении; на случай, если мои слова скажутся бессильными, я спрятала у себя кинжал, который сумеет избавить меня от всякого принуждения, не даст пасть моим силам и прервав нить моей жизни, запечатлеет тем мои уверения в любви к тебе». С тоской и поспешностью ответил я ей, боясь, что у меня не хватит для это-то времени: «Пусть твои поступки оправдают твои слова, о Люсинда! если у тебя есть кинжал, чтобы исполнить свое обещание, то при мне – мой меч, чтобы защитить тебя или убить себя, когда судьба окажется против нас.» Не думаю, чтобы она слышала все мои слова – ее в то время поспешно позвали и повели туда, где ждал ее жених. Тогда то, могу сказать, закатилось солнце моей радости, и окончательно настала ночь моего горя. Из глаз моих исчез свет, голова лишилась разума, я был не в состоянии ни найти вход в дом, ни двинуться с места. Вспомнив, однако, как важно мое

присутствие в таком трудном и важном деле, я, как мог, ободрился и вошел в дом. Давно зная все ходы в нем, я проник туда никем не замеченный, воспользовавшись царившей в нем суматохой; мне удалось пробраться в укромное местечко, образовавшееся у окна залы и закрытое складками двух занавесов, через которые я, невидимый никому, мог видеть все, что происходило в комнате. Кто может выразить теперь, как тревожно билось мое сердце все время, проведенное мною в этом уголке! какие мысли во мне бушевали! какие решения мною принимались! Это были такие решения, что повторять их теперь невозможно, да и не следует. Достаточно вам сказать, что жених вошел в залу, одетый по-обыкновенному, без всякого особенного наряда. Свидетелем бракосочетания у него был двоюродный брат Люсинды, и во всей зале не было никого, кроме слугителей дома. Немного позднее вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух камеристок и Люсинда, одетая и наряженная так, как того требовали ее происхождение и ее красота и насколько могло достигнуть совершенство ее изящного вкуса. Волнение, в котором я находился, не дало мне рассмотреть подробностей ее костюма; я заметил в нем только красный и белый цвета и блеск богатых драгоценностей, украшавших ее прическу и все платье. Но ничто не могло сравниться с необыкновенной красотой ее белокурых волос, своим сиянием поражавших глаза сильнее, чем все драгоценные камни, сильнее, чем четыре факела, освещавших залу. О воспоминание, смертельный враг моего покоя! зачем рисует оно мне теперь несравненные прелести этой боготворимой мною изменницы? Не лучше ли будет, жестокое воспоминание, напомнить и представить мне совершенное ею потом, чтобы такое явное оскорбление побудило меня искать, если не мщения, то, по крайней мере, конца моей жизни? Не утомляйтесь, господа, моими отступлениями; моя печальная повесть не из таких, которые рассказываются скоро и в кратких словах; каждое ее событие стоит, по моему мнению, долгой речи.»

Священник ответил ему, что они не только не испытывают утомления от его рассказа, но, напротив, слушают с большим интересом все эти подробности, заслуживающие такого же внимания, как и самая сущность рассказа.

Затем Карденио продолжал:

— Когда все собрались в зале, — сказал он, — немедленно же ввели приходского священника, который взял жениха и невесту за руки, чтобы совершить требующуюся церемонию. Когда он произносил эти торжественные слова: «Желаете ли вы, госпожа, взять находящегося здесь господина дон-Фернанда в свои законные супруги, как то повелевает святая

мать церковь?» — я выставил голову и шею из-за занавесов и с напряженным вниманием и с душевным трепетом стал прислушиваться, ожидая для себя от ее ответа или смертного приговора, или пощады моей жизни. О, зачем я не покинул тогда своего уединения? зачем я не крикнул: «Люсинда, Люсинда! посмотри, что ты делаешь, вспомни о своем долге ко мне; подумай, что ты принадлежишь мне и не можешь принадлежать другому, что произнести «да» и отнять у меня жизнь будет делом одного и того же мгновения. А ты, вероломный дон-Фернанд, похититель моего счастья, убийца моей жизни, чего ты хочешь? чего ты требуешь? разве ты не видишь, что, как христианин, ты не можешь удовлетворять своих желаний, ибо Люсинда — моя жена, а я — ее супруг?». Несчастный безумец! теперь, когда опасность давно миновала, я говорю о том, что я должен был сделать и чего, я не сделал; теперь после того, как я допустил похитить мое драгоценнейшее сокровище, я тщетно проклинал похитителя, которому я мог бы отомстить, если бы у меня тогда хватило духу драться, как теперь хватает его жаловаться! А если я был тогда глуп и труслив, то так и следует мне теперь умирать в стиле, раскаянии и безумстве. Священник все еще ожидал ответа Люсинды, долгое время собиравшейся с силами его произнести; и, когда я уже подумал, что она вынимает кинжал и хочет сдержать свое обещание или собирается с духом, чтобы объявить истину и сказать в мою пользу, — я вдруг слышу, как она слабым и трепещущим голосом произносит: «Да, я его беру». Дон-Фернанд сказал те же слова, надели ему на палец обручальное кольцо, и они соединились неразрешимыми узами. Супруг приблизился, чтобы обнять свою супругу, но она, положив руку на сердце, без чувств упала в объятия своей матери.

«Теперь мне остается только сказать, что со мною было, когда, услышав это роковое да, я понял гибель моих надежд, лживость обещаний и слов Люсинды и невозможность когда-либо вновь найти счастье, утраченное мною в эту минуту. Я стоял лишенный рассудка, и покинутый небом и ставший для земли предметом злобы; вздохи мои не находили воздуха, для моих слез не было влаги; только огонь рос непрерывно, и все мое сердце пылало ревностью и бешенством. Обморок Люсинды привел в волнение все собрание. Когда ее мать расшнуровала ее, чтобы освободить дыхание, то на груди у ней нашли спрятанной бумагу, которую дон-Фернанд сейчас же схватил и стал читать при свете одного из факелов. Прочитав ее, он бросился в кресло и так и остался в нем, подперев голову рукою, как глубоко задумавшийся человек, и не принимая никакого участия в заботах, употребляемых всеми с целью привести его жену в чувство. Я же, при виде смятения и суматохи во всем доме, рискнул выйти, не

беспокоясь о том, как бы меня не увидели, и твердо решившись, в этом случае, устроить такую кровавую потеху, чтобы всем стало известно справедливое негодование, которое побудило мое сердце подвергнуть каре изменника и эту непостоянную, все еще лежавшую без чувств. Но моей звезде, сохранявшей меня, наверное, для еще больших зол, если только большие могут существовать, угодно было, чтобы у меня оставалось тогда слишком много рассудка, который она у меня потом совсем отняла. Поэтому я вместо того, чтобы мстить своим злейшим врагам, что я мог бы легко сделать, так как никто не думал в это время обо мне, – рассудил произвести мщение над самим собой и самого себя наказать той мукой, которую они заслужили; мое наказание, без сомнения, тяжелее, чем то, которому я мог бы их тогда подвергнуть, если бы я предал их смерти, – смерть, поражающая неожиданно, быстро прекращает казнь, тогда как долгие нескончаемые мученья убивают постоянно, не отнимая жизни. Итак, я выбежал из дома и направился к человеку, у которого оставил своего мула. Я велел сейчас же оседлать его и покинул город, не простившись ни с кем и не смея, подобно Лоту, повернуть головы, чтобы посмотреть на него. Когда я увидел, что я один, среди поля, покрытого мраком ночи и как бы манившего меня своим безмолвием дать волю рыданиям, отбросив всякое опасение быть услышанным или узнанным, – я перестал сдерживаться и разразился проклятиями на Фернанда и Люсинду, как будто мстя им за нанесенное мне оскорбление. В особенности я обвинял ее, давая ей названия жестокой, неблагодарной, лживой, клятвопреступницы и, кроме того, корыстолюбивой и скупой, потому что только богатство моего врага ослепило ей глаза и соблазнило ее предпочесть мне того, кого судьба щедрее наделила своими дарами. Потом, среди этого потока горячих излияний, я стал извинять ее: «Можно ли тому удивляться, – говорил я, – что молодая девушка, воспитанная в одиночестве, постоянно жившая у своих родителей и привыкшая им всегда повиноваться, согласилась уступить их желанию и теперь, когда они давали ей в супруги такого благородного, богатого и красивого дворянина, что, отказываясь от него, она дала бы повод считать себя или сумасшедшей, или уже отдавшей свое сердце другому, а это последнее сильно повредило бы ее доброй славе?» Но первоначальное чувство вновь овладевало мною, и я говорил: «Зачем же она не сказала, что я ее супруг? тогда все увидели бы, что она сделала не такой плохой выбор, чтобы не нашлось оправдания для нее; ведь, прежде чем дон-Фернанд сделал предложение, сами родители ее не могли желать лучшего, чем я, супруга для своей дочери, если только они умели соразмерять свои желания с рассудком. Разве она не хотела, прежде

чем решаться на этом последний и ужасный шаг, прежде чем отдавать свою руку, – разве она не могла сказать, что она уже отдала ее мне, потому что я бы с радостью подтвердил все, в чем бы она ни вздумала притвориться?» Под конец я убедился, что недостаток любви, недостаток рассудительности и излишество честолюбия и властолюбивых желаний заставили ее позабыть обещаний, которыми она убаюкивала, обманывала и поддерживала мои честные и постоянные надежды. В таком волнении и в таких разговорах с самим собою я проехал всю остальную часть ночи и к рассвету очутился у одного из входов в эти горы. Я вступил в них из течение целых трех дней, без всякой дороги, продолжал ехать вперед; наконец, я приехал их какому-то лугу, местоположение которого я плохо помню, и спросил у бывших там пастухов, где самое глухое и самое дикое место в этих горах. Они указали мне его, и я немедленно отправился туда, решившись там окончить свою жизнь. Войдя в это ужасное уединение, мой мул пал мертвым от голода и утомления, а, может быть, как я скорее склонен думать, и для того, чтобы освободиться от такой бесполезной тяжести, как моя особа. Я остался изнуренный усталостью, мучными голодом, не имея и не желая иметь никого, кто бы помог мне. Прележав в таком состоянии на земле, не знаю сколько времени, я поднялся, не ощущая более голода, я увидел около себя нескольких пастухов, наверно, тех, которые позаботились о моих потребностях. Действительно, они рассказали мне, как они меня нашли и как я им наговорил столько бессмыслиц и нелепостей, что мое безумие сделалось для них вполне очевидным. Увы! с этой минуты я и сам чувствую, что кой разум не всегда свободен и здоров, но, напротив, так ослаблен и так удручен, что я совершаю тысячи безумств – раздираю мою одежду, громко разговариваю среди этой пустыни, проклиная мою злосчастную судьбу и беспрестанно повторяю милое имя моей изменницы, ничего другого не жилая, как только вместе с этими криками испустить и мой дух. Приходя в себя, я чувствую такое утомление и такой упадок сил, что с трудом могу держаться на ногах. Обычным жилищем служит мне дупло одного пробкового дерева, достаточно большое для того, чтобы укрыть это несчастное тело. Пастухи, пасущие свои стада на этих горах, из сострадания приносят мне виду, которую они кладут на дорогах и скалах, где только, по их мнению, я могу найти ее; потому что, даже во время припадков моего безумия, голос необходимости говорит во мне и природный инстинкт внушает мне желание отыскивать пищу и утолять свой голод. Иногда же, как рассказывают они мне, когда встречаются меня в здравом разуме, я устраиваю засаду на дорогах и отнимаю силой съестные припасы, которые

носят пастухи из деревни в свои хижины, хотя они мне и отдают их добровольно. Так влачу я остаток своей несчастной жизни до того времени, пока небу будет угодно положить ей последний предел или же лишить меня памяти и совершенно изгладить во мне воспоминание о красоте и неверности Люсинды и оскорблениях дон-Фернанда. Если небо пошлет мне эту милость, не лишая жизни, то мои мысли придут снова в порядок; в противном же случае, мне останется только молить его быть милосердным к моей душе, так как я уже не нахожу в себе ни мужества, ни силы, чтобы избавить свое тело от тех лишений, к которым я приговорен своим собственным выбором. Вот, господа, горькая повесть моих несчастий. Скажите же, можно ли рассказывать ее с меньшими сожалениями и меньшей скорбью? Не трудитесь же напрасно, стараясь разубедить меня своими советами, какие вам подскажет ваш разум для исцеления моих несчастий. – Эти советы были бы так же бесполезны для меня, как бесполезно прописанное врачом лекарство для больного, не желающего его принимать. Я не желаю исцеления без Люсинды; если же ей хотелось принадлежать другому, когда она принадлежала или должна была принадлежать мне, то и я хочу отдаться несчастью, тогда как мог бы наслаждаться счастьем. Своим легкомыслием она захотела сделать мою погибель неизбежной; так пусть же, погубив себя, я удовлетворю тем ее желания. Отныне будут говорить, что только мне одному не доставало последней поддержки для всех несчастных, которым утешением служит самая невозможность быть утешенными; для меня же, наоборот, это – причина живейших сожалений и сильной печали, так как мне думается, что мои муки не прекратятся и после моей смерти.

Так закончил Карденио длинную и печальную повесть своей любви. Священник собрался было уже обратиться к нему несколько слов утешения, но его удержал голос, внезапно донесшийся до его слуха и жалобным тоном говоривший то, о чем расскажет четвертая часть этого повествования; третью же часть мудрый и рачительный историк Сид Гамет Бен-Энгели оканчивает на этом месте.

## **ГЛАВА XXIII**

### **Рассказывающая о новом и приятном приключении, представившемся священнику и цирюльнику в горах Сьерры-Морэны**

Счастливы, трижды счастливы те времена, когда явился свету отважный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский! В самом деле, благодаря тому, что он принял благородное решение воскресить почти исчезнувший и мертвый орден странствующего рыцарства, – мы наслаждаемся теперь, в ваше бедное развлечением и весельем время, не только прелестями его подлинной истории, но также и заключающимися в ней рассказами и повестями, в большинстве случаев, не менее приятными, не менее остроумными и истинными, чем сама история. Возвращаясь снова к нити своего замысловатого и разнообразно украшенного повествования, история рассказывает, что в ту минуту, когда священник намеревался, как мог, утешить Карденио, ему в этом помешал какой-то голос, печальные звуки которого донесли до его слуха.

– О, Боже мой, – говорил этот голос, – действительно ли мною найдено место, могущее послужить одинокой гробницей этому телу, гнетущую тяжесть которого я ношу против своей воли? Да, на это я надеюсь, если только меня не лишат также и уединения, которое обещают эти горы. Увы! насколько приятнее мне общество этих скал и кустарников, позволяющих мне в жалобах поведать небу о моих несчастиях, чем общество какого бы то ни было человека в свете, потому что на земле нет никого, от кого было бы можно ожидать совета в затруднениях, облегчения в печали, помощи в бедствиях!

Священник и его товарищи слышали эти печальные слова; так как им показалось, что слова эти произнесены где-то совсем близко от них, то они сейчас же поднялись, чтобы отыскать того, кто так изливал свою печаль. Не сделали они и двадцати шагов, как за поворотом одной скалы увидели сидящим под ясенем мальчика, одетого по-крестьянски, лица которого они видеть не могли, так как он наклонился и мыл ноги в протекавшем там ручье. Собеседники подошли так тихо, что мальчик совсем не слышал их, да он и не обращал ни на что внимания, занявшись мытьем своих ног, которые у него были такими белыми, что их можно было бы принять за два куса белого горного хрусталя, попавшие среди других камней ручья. Такая

красота и белизна их привели в большое удивление смотревших, невольно подумавших, что эти ноги созданы не для того, чтобы топтать глыбы земли сзади плуга и быков, как можно было бы заключить, судя, по платью незнакомца. Видя, что он их не слышит, священник, шедшие впереди всех, дал знак своим товарищам присесть завалявшиеся там обломки скал. Все трое спрятались, с любопытством рассматривая мальчика. На нем был надет кафтан в два полотнища, перехваченный на пояснице толстым, белым поясом, широкие штаны из темного сукна и на голове шапочка из той же материи. Его штаны были засучены до половины ног, действительно, казавшихся сделанными из белого алебаstra. Окончив мытье своих прелестных ног, он, чтобы обтереть их, взял из-под шапочки платок и, поправляя свои волосы, приподнял голову; тогда наблюдавшим за ним представилась такая несравненная красота, что Карденио тихо сказал священнику:

– Так, как это не Люсинда, то это – не земное существо!

Молодой человек снял свою шапочку и, наклонив голову на другую сторону, уронил и рассыпал свои волосы, красоте которых могли бы позавидовать лучи солнца. Тогда трое любопытных узнали, что тот, кого они принимали за крестьянина, был молодой и прелестной женщиной, прекраснейшей из всех женщин, каких только видели оба друга. Дон-Кихота и даже сам Карденио, если бы он не знал Люсинды, так как потом он утверждал, что только красота Люсинды могла спорить с красотой незнакомки. Эти длинные, белокурые волосы не только покрывали ей плечи, но прятали всю ее под своими густыми прядями, так что от всего ее тела были видны только одни ноги. Чтобы расправить волосы, она, вместо гребня, употребляла пальцы обеих рук, и если ее ноги казались в воде кусками хрусталя, то ее руки, разбиравшие волосы, были подобны хлопьям снега. Все виденное тремя наблюдателями могло только усилить их удивление и желание узнать, кто она такая, и они решились показаться ей. Но как только они, поднимаясь, сделали движение, прекрасная молодая девушка повернула голову и, разделив обеими руками волосы, покрывавшие ее лицо, посмотрела туда, откуда послышался шум. Увидав трех мужчин, она стремительно поднялась, затем не обувшись и не собрав волос, схватила лежавший около нее небольшой узел с пожитками и бросилась бежать, полная страха и смущения. Но ее нежные ноги были не в состоянии ступать по таким жестким и острым камням, и она, не сделав и четырех шагов, упала на землю. При виде этого, трое друзей подбежали в ней, и священник первый обратился к ней к следующими словами:

– Остановитесь, сударыня! Кто бы вы не были, знайте, что



единственное наше намерение – это служить вам. Не пытайтесь же понапрасну обращаться в бегство; этого не позволят вам ваши ноги, да и мы сами не можем допустить.

Испуганная и смущенная, она ни слова не отвечала на эту речь. Они приблизились к ней, и священник, взяв ее за руку, продолжал:

– То, что скрывает от нас ваша одежда, сударыня, выдали вам ваши волосы; очевидно, немаловажные причины заставили вашу красоту перерядиться в это недостойное ее одеянье, и привели вас в глубину этой пустыни, где нам выпало счастье найти вас, если не для того, чтобы дать лекарство против ваших бедствий, то, по крайней мере, предложить вам наши советы. Действительно, ни одно горе в течение всей жизни не может усилиться до такой крайней степени, чтобы тот, кто его испытывает, имел право отказаться даже выслушать советы, предлагаемые ему с добрым намерением. Итак, моя дорогая госпожа, или мой дорогой господин, или тот, кем вам угодно быть, оправьтесь от испуга, причиненного вам нашим появлением, и расскажите о вашей счастливой или злой судьбе, в полной уверенности, что в нас вы найдете людей, готовых помочь вам переносить несчастья, разделив их с вами.

Все время пока говорил священник, прекрасная незнакомка была как будто охвачена очарованьем; она смотрела, то на одного, то на другого, не шевеля губами и не произнося ни одного слова, похожая на молодого крестьянина, которому неожиданно показали редкие и невиданные им вещи. Наконец, когда священник опять обратился к ней с своею убедительною речью, она глубоко вздохнула и прервала молчание.

– Если уединение этих гор не скрыло меня от посторонних взоров, – сказала она, – и распутившиеся волосы отняли у моего языка возможность солгать, то с моей стороны было бы теперь напрасным трудом притворяться и говорить то, чему поверили бы только из любезности. Приняв это в соображение, я говорю, господа, что я глубоко благодарна вам за предложения ваших услуг и чувствую себя обязанной удовлетворить ваши просьбы. Боюсь только, по правде сказать, как бы рассказ о моих несчастьях не вызвал в вас, вместе с сочувствием, и досады, потому что вам не найти ни лекарства, способного их исцелить, ни утешения, которое могло бы усладить их горечь. Тем не менее, чтобы моя честь не пострадала в вашем мнении после того, как вы узнали во мне молодую женщину и нашли меня одинокою и так странно наряженною, – чтобы все эти обстоятельства, взятые вместе и каждое отдельно, не уничтожили доверия к моей чести, я решаюсь рассказать вам о том, о чем так сильно желала бы молчать.

Эта маленькая речь была произнесена без остановки и таким мелодичным голосом, с таким изяществом языка, что трое друзей уму очаровательной девушки удивились не менее, чем раньше удивлялись ее красоте. Они повторили предложения своих услуг и снова настоятельно просили ее исполнить свое обещание. Тогда она, не заставляя себя больше просить, скромно надев свою обувь и собрав волосы, села на большой камень, вокруг которого уселись и трое слушателей; затем, сделав усилие, чтобы удержать набежавшие на ее глаза слезы, она звучным и спокойным голосом начала историю своей жизни:

– В соседней нам части Андалузии есть маленький город, от которого берет свой титул один герцог, считающийся в ряду тех, кого называют испанскими грандами. У этого герцога есть два сына: старший, наследник его владений, наследовал, по-видимому, и все его прекрасные качества; младший же наследовал, кажется, только хитрость Ганелона и предательство Вельидо. Мои родители считаются от рождения покорными вассалами этого сеньора; но они так наделены богатствами, что если бы дары природы были одинаковы с благами состояния, то им не оставалось бы ничего больше желать, а для меня не было бы причин бояться тех бедствий, которые теперь испытываю, так как все мое несчастье происходит, может быть оттого, что они не имели счастья родиться знатными. Правда, их происхождение не настолько низко, чтобы им приходилось стыдиться его; но оно и не настолько высоко, чтобы изгнать из моей головы мысль, что их простое звание служит причиной всех моих несчастий. Одним словом, они – земледельцы, но земледельцы чистой крови, без всякой примеси какого-либо постыдного происхождения, и, как говорят, христиане старинного закала; их старинное происхождение, а также богатства и широкая жизнь мало-помалу приобрели им прозвание гидальго и даже дворян. Но больше, чем своим богатством или своим благородством, они славились тем, что имели меня своею дочерью. И так как других детей у них не было, то я была их единственною страстно-любимою наследницею и была так нежно лелеема ими, как только могут лелеять родители. Я была зеркалом, в котором они любовались, посохом, поддерживавшим их старость, единственною целью всех их покорных воле неба желаний, с которыми, в благодарность за их любовь, не расходились и мой желанья. Таким образом, я владела, как их сердцами, так и их состоянием. Я нанимала и увольняла слуг, в мои руки передавался отчет обо всем посеянном или собранном. Масляные мельницы, виноградные давилни, стада крупного и мелкого скота, пчелиные ульи – одним словом, все, что бывает у такого богатого земледельца, как мой отец, было передано

на мое попечение. Я была и управляющим и госпожою, и не сумею вам выразить, с какою заботливостью и с каким удовольствием я исполняла свои обязанности. Время, оставшееся после отдачи распоряжений помощникам, служителям и поденщикам, я употребляла на занятия, свойственные и дозволенные моему полу, – шитью, вышиванью и пряденью. Когда же хотела отдохнуть, то развлекалась или какой-нибудь хорошей книгой, или игрой на арфе, так как я по опыту знала, что музыка успокаивает усталую голову и облегчает работу ума. Вот какую жизнь вела я в родительском доме; я рассказываю вам ее так подробно вовсе не из тщеславия и не с целью дать вам понять, что я богата, а только для того, чтобы вы могли судить, как я без вины с моей стороны пала из такого счастливого положения до того печального состояния, в котором вы меня теперь находите. Напрасно я вела свою жизнь среди этих занятий, в таком строгом одиночестве, что его можно было бы сравнить с монастырем, невидимая никем, как думала я, кроме своих домашних; потому что если мне и случалось иногда посещать церковь, то я ходила туда ранним утром, в сопровождении матери и служанок и, притом, под таким густым вуалем и с такою робостью, что мои глаза, кроме того места земли, на которое наступали мои ноги, почти ничего больше не видали. Однако, у любви или, лучше сказать, у праздности глаза острее, чем у рыси, и они-то открыли меня для преследований дон-Фернанда. Таково имя второго сына герцога.

Едва губы рассказчицы успели произнести это имя, Карденио изменился в лице и в очевидном волнении так сильно задрожал всем телом, что священник и цирюльник, взглянув на него, стали опасаться, как бы с ним не случился один из тех припадков безумия, которые, как они слышали, овладевали им во времена. Однако, этого с Карденио не случилось; только пот выступил у него, и он, весь дрожа, но не двигаясь с места, устремил пристальные взоры на прелестную крестьянку, по-видимому догадываясь, кто она такая. Она же, не обратив внимания на конвульсивные движения Карденио, продолжала свой рассказ:

– Как только глаза его заметили меня, как говорил он потом, он почувствовал, что его охватило пламя той страстной любви, доказательства которой он вскоре представил. Но, чтобы поскорее окончить историю моих несчастий, я обойду молчанием все уловки, употребленные дон-Фернандом с целью поведать мне свои желания. Он подкупал слуг моего дома, а моим родителям делал тысячи подарков и предлагал тысячи милостей; дни в той улице, где я жила, были бесконечными праздниками; ночью же серенады не давали никому спать; бесчисленные записки, не знаю, каким путем попадавшие мне в руки, были полны любовных речей и заключали

обещаний и клятв больше, чем слогов в словах. Однако, все это не только не смягчало меня, но, напротив, ожесточало против него, как против смертельного врага, как будто все его старания прельстить меня он делал с целью меня раздражить. Для меня не оставались неизвестными личные достоинства дон-Фернанда, и я не оскорблялась его ухаживанием, напротив, мне льстило то, что меня уважает и любит такой благородный человек, и я не без удовольствия читала похвалы себе в его письмах; мне кажется, что нам, женщинам, как бы мы безобразны ни были, всегда приятно слышать, как нас называют красивыми. Но непреклонной меня делали заботы о моей чести и постоянные советы моих родителей, легко догадавшихся о намерениях дон-Фернанда, который, впрочем, и не старался ни от кого их скрывать. Они говорили мне, что на моей добродетели основываются их честь и уважение, что мне стоит только поразмыслить о расстоянии, отделяющем меня от дон-Фернанда, и я тогда по необходимости должна буду признать, что его намерения, хотя он и говорит совсем другое, клонятся скорее к собственному наслаждению, чем к моей пользе; к этому они добавляли, что если я хочу заставить его прекратить обидные преследования, то они готовы выдать меня замуж за того, кого я пожелаю выбрать не только в нашем, но и в окрестных городах, так как их богатое состояние и моя добрая слава делали все это вполне возможным. Эти обещания и советы, справедливость которых я признавала, так укрепляли меня в моем решении, что я не хотела отвечать дон-Фернанду ни одного слова, способного подать ему хотя бы отдаленную надежду на удовлетворение его притязания. Такая строгая заботливость, принятая им, без сомнения, за пренебрежение, только еще сильнее воспламенила его греховные желания, только этим именем и могу я назвать его любовь, потому что если бы она была тем, чем она должна бы была быть, то мне не пришлось бы рассказывать вам о себе в эту минуту. Наконец, дон-Фернанд узнал о намерении моих родителей выдать меня замуж, чтобы тем лишить его всякой надежды на обладание мною или, по крайней мере, дать мне людей, готовых защитить меня. Этого известия, или этого подозрения, было достаточно, чтобы заставить его предпринять то, о чем я вам сейчас расскажу.

«Однажды ночью я осталась одна с горничной в своей комнате, позаботившись сначала хорошо запереть двери, зная, что малейшая небрежность может погубить мою честь. Не могу себе представить, как это могло случиться, несмотря на все предосторожности, только вдруг среди уединения и безмолвия моего уголка появился передо мною он. Его появление так смутило меня, что в глазах у меня потемнело, и язык мой

лишился слова; я даже не могла крикнуть, чтобы позвать к себе на помощь, да он и не дал мне времени крикнуть, потому что он немедленно приблизился ко мне и, заключив меня в свои объятия – испугавшись, я не могла и защищаться, – повел такие речи, что я не знаю, как ложь может быть такой искусной, чтобы суметь представить их истинными. Изменник употребил и слезы, и вздохи, чтобы заставить меня поверить своим словам и намерениям. Я же, бедное дитя, неопытное в подобного рода случаях, я, сама не зная как, начала считать всю его ложь за истину, не испытывая однако ничего, кроме простого сочувствия к его слезам и вздохам. Придя немного в себя от первоначального испуга, я привела в порядок мои смущенные неожиданностью мысли и с мужеством, неожиданным для самой себя, сказала ему: «Государь мой! Если бы я находилась в когтях свирепого льва, как я теперь нахожусь в ваших руках, и если бы для моего несомненного избавления мне требовалось только сделать или сказать что-либо противное моей добродетели, то и тогда сделать или сказать это было бы для меня так же невозможно, как невозможно не быть тому, что уже было. Если вы сжимаете мое тело в своих объятиях, то душа моя находится во власти благородных чувств, совершенно отличных от ваших, как вы это увидите на опыте, если решитесь употребить насилие для удовлетворения своей страсти. Я ваша подданная, но не раба; знатность вашего рода не дает вам права презирать и бесчестить моего скромного рода; я, простая крестьянская девушка, так же умею уважать себя, как и вы, дворянин и гранд. Ваша власть не имеет силы надо мною и ваши богатства не оказывают никакого влияния на меня; не обманут меня ваши слова и не тронут ваши вздохи и слезы. Но если бы того человека, в котором я нашла все перечисленное мною, мои родители предназначали мне в супруги, тогда моя воля подчинилась бы его воле я всегда оставалась бы ему покорной. Я добровольно отдала бы как то, что вы, государь мой, хотите вырвать у меня силой, хотя такая уступка и была бы сделана мною против собственного желания. Кроме же человека, которому суждено быть моим законным супругом, никто другой не дождется от меня ни малейшей благосклонности.

– Если только это требуется для твоего спокойствия, – ответил мне бесчестный рыцарь, – то вот, очаровательная Доротея (таково имя вашей несчастной собеседницы), я предлагаю тебе свою руку и клянусь быть твоим супругом; в свидетели же моей клятвы призываю небо, от которого ничего утаить нельзя, и этот образ Богоматери, стоящий перед нами.

Едва лишь Карденио услышал имя Доротеи, с ним снова повторились конвульсивные движения, и его первоначальная догадка подкреплена

окончательно. Но, не желая прерывать рассказа, конец которого он предвидел и знал почти наверное он сказал только: – Как, сударыня! ваше имя – Доротея? Я слышал об одной особе, носившей одинаковое с вами имя и постигнутой точь-в-точь такими же, как ваши, несчастиями. Но продолжайте ваш рассказ: со временем я вам расскажу кое о чем, что возбудит в вас столько же удивления, сколько и жалости.

При этих словах Карденио Доротея взглянула на него, осмотрела его странный нищенский наряд и, затем, попросила его рассказать немедленно же, если он знает что-нибудь касающееся ее.

– Все, что судьба оставила мне, – это только мужество терпеть и бороться, какие бы бедствия меня не постигали, – добавила она; – она знала наверно, что среди них нет ни одного, которое могло бы усилить мое несчастье.

– Я бы, ни минуты не медля, рассказал нам все, что я думаю, – ответил Карденио, – если бы не опасался ошибиться в своих предположениях; но случай высказать их еще не представлялся, и вам нет надобности знать их.

– Как вам будет угодно, – сказала Доротея; – я возвращаюсь к своей истории.

«Схватив образ Святой Девы, находившейся в моей комнате, дон-Фернанд поставил его перед нами, как свидетеля нашей помолвки, и произнес самые торжественные и грозные клятвы в подтверждение своего обещания стать моим мужем. Прежде чем он стал приносить клятву, я посоветовала ему хорошенько обдумать свой поступок, вспомнить о том, как сильно разгневается его отец, узнав о его женитьбе на вассальной крестьянке, и не ослепляться моею красотой, которая не может служить достаточным извинением его проступка; я просила его оставить меня устраивать свою судьбу соответственно моему происхождению, если, любя меня, он желает мне хоть немного добра, потому что такие неравные браки всегда бывали неудачны и счастье, приносимое ими в первое время, бывало непродолжительно. Я изложила ему все эти доводы и много других, которых я теперь не помню. Но ничто не заставило его отказаться от своего намерения, – также точно человек, который занимает, не намереваясь уплатить долг, не обращает почти никакого внимания на условия договора. В тоже время мысленно я говорила и самой себе: «Что же, не я буду первая, которая, благодаря супружеству, возвышается из низкого положения до высокого; и дон-Фернанд будет не первым, которого красота или, вернее, слепая страсть заставила вступить в брак, несоответствующий знатности его происхождения. Если я не хочу ни переделывать свет, ни создавать новые обычаи, то я буду вправе воспользоваться честью, представляемой

мне судьбою, потому что если бы даже обнаруживаемая им любовь продлилась только до того времени, пока не удовлетворятся его желания, то все-таки, перед Богом я буду его супругой. Если же я захочу удалить его своим презрением и своею суровостью, то он теперь в таком состоянии, что, кажется, готов забыть всякие обязанности и употребить насилие, и тогда я останусь лишенной не только чести, но и оправдания в своем проступке, в котором меня может упрекнуть всякий, кто не знает, насколько я в нем невиновна. В самом деле, какими доводами можно бы было уверить моих родных и знакомых в том, что этот господин вошел в мою комнату без моего согласия? – Все эти вопросы и ответы моментально промелькнули в моем уме, но в особенности стали меня колебать и влечь к гибели клятвы и обещания дон-Фернанда, призывавшиеся им свидетели, слезы, проливаемые им в изобилии, и, наконец, обаяние его прекрасной наружности, которое, вместе с такою истинною страстью, было бы в состоянии покорить и всякое другое сердце, такое же свободное и благоразумное, как и мое. Я позвала мою служанку, чтобы и она, как живой свидетель, присоединилась к призываемым им небесным свидетелям; дон-Фернанд повторил и подтвердил свои первые клятвы: он снова призывал всех святых в свидетели и осыпал себя тысячами проклятий в том случае, если бы он нарушил свое обещание; глаза его наполнились новыми слезами, грудь была взволнована вздохами, он еще крепче сжал меня в своих объятиях, из которых я ни на мгновение не могла высвободиться, наконец, когда служанка опять вышла из комнаты, он запятнал меня позором и себя изменою.

День, следовавший за ночью моего падения, не настаивал так скоро, как, мне думается, желал того дон-Фернанд: известно ведь, что после того, как преступное желание насыщено, живейшим желанием бывает покинуть место его удовлетворения. Так, по крайней мере, думала я, когда увидела, как дон-Фернанд торопился уйти. Та же служанка, которая провела его в мою комнату, до рассвета вывела его из дома. При прощании со мной он повторил, хотя и с меньшею силою и с меньшим жаром, чтобы я положила на его честь и верила действительности и искренности его клятв; и для того, чтобы придать больше веры своим словам, он снял с своего пальца богатое кольцо и надел его на мой. Наконец, он меня покинул, и, не знаю, в грустном или радостном настроении осталась я одна. Одно только могу я сказать, что я была смущена и задумчива и так поражена происшедшим, что у меня не хватило духу и даже в голову не пришло бранить служанку, изменнически спрятавшую дон-Фернанда в моей комнате; я не могла все еще решить считать случившееся добром или

злом. При разлуке с дон-Фернандом я ему сказала, что тем же путем он может тайно посещать меня и в следующие ночи, потому что до того времени, когда он сочтет удобным огласить наш брак, я все-таки буду принадлежать ему. Но, кроме следующей ночи, он больше не являлся, и в течение месяца были напрасны все мои старания увидеть его в церкви или на улице, хотя я и знала, что он не покидал города, а большую часть времени посвящал страстно любимой им охоте. Увы! как длинны и грустны казались мне эти дни и часы! я начала сомневаться в его честности и даже совсем перестала ей верить. Моей служанке пришлось в это время выслушать множество упреков за ее дерзость, хотя прежде я и не думала упрекать ее в этом. Мне приходилось делать усилие над собою, удерживать свои слезы и притворяться веселой, чтобы избежать вопросов моих родных о причине моей грусти и не употреблять для ее объяснения лжи. Но такое натянутое положение длилось недолго. Настала минута, когда мое терпение истощилось, когда меня покинули всякая рассудительность и всякая сдержанность и мой гнев излился наружу. Это произошло тогда, когда, по прошествии некоторого времени, у нас распространилась новость, будто бы дон-Фернанд женился в соседнем городе на молодой особе замечательной красоты и из благородного семейства, хотя и не настолько богатой, чтобы, благодаря одному только приданому, рассчитывать на такой знатный союз. Говорили, что ее зовут Люсиндой, и рассказывали много странных слухов о происшедшем во время бракосочетания.

Услыхав имя Люсинды, Карденио только пожал плечами, наморщил брови и закусил губы; по щекам его потекли ручьи слез. Но Доротея, не прерывая нити своего рассказа, продолжала:

— Эта печальная новость вскоре дошла до меня; но вместо того, чтобы оледенить, она воспламенила мое сердце такою злобою, что я едва не выбежала из дома, чтобы громкими криками разгласить по городским площадям бесчестную измену, жертвой которой стала я. Но эта ярость успокоилась несколько, когда мне пришел в голову один план, который я и привела в исполнение в следующую же ночь. Я переоделась в эти платья, данные мне одним слугою моего отца, которому я рассказала о своем несчастье, прося его проводить меня до города, где я намеревалась отыскать своего врага. Слуга, попробовав убедить меня в рискованности и неблагопристойности моего предприятия и увидав, однако, что я твердо решилась, согласился сопровождать меня, как он выразился, хоть на край света. Я немедленно же положила в холщевый мешок женское платье, деньги и драгоценности, на случай нужды, и в тихую ночь, не сказав ничего вероломной служанке о моем бегстве, покинула родительский дом,



сопровождаемая слугою и обуреваемая тысячею смутных мыслей. Я пошла в город пешком; но мне страстно хотелось поскорее придти туда, и если уже не помешать тому, что, по моему мнению, безвозвратно совершилось, то, по крайней мере, спросить дон-Фернанда, как у него хватило бесстыдства на такой поступок, – и это желание как будто придавало мне крылья. Через два с половиной дня я прибыла в город и прежде всего осведомилась о доме родителей Люсинды. Первый же встречный, к которому я обратилась с этим вопросом, сообщил мне больше, чем я желала бы знать. Он указал мне их дом и рассказал о случае, происшедшем на обручении их дочери и ставшем предметом разговоров и пересудов во всем городе. Я узнала от него, будто бы в тот вечер, когда праздновалась свадьба дон-Фернанда с Люсиндою, невеста, произнеся да на вопрос, согласна ли она взять его в супруги, упала в обморок, и что, когда ее супруг захотел расшнуровать ее, чтобы сделать дыхание свободным, то нашел записку, написанную собственною рукой Люсинды; в этой записке она объявляла, что она не может быть супругою дон-Фернанда, так как она стала супругою Карденио (одного благородного дворянина из того же города, как мне сообщил рассказчик) и что она дала свое согласие на брак с дон-Фернандом только для того, чтобы не ослушаться родителей. В конце записки она уведомляет, что она решила убить себя по окончании свадебных церемоний, и объясняет причины, побудившие ее к самоубийству. По слухам, то, что у ней было такое намерение, подтверждалось еще и кинжалом, который нашли спрятанным под ее свадебным платьем. Тогда дон-Фернанд, считая себя обманутым и оскорбленным Люсиндою, бросился к ней, лежавшей еще в обмороке, и хотел заколоть ее тем же кинжалом, который был найден у ней на груди; и он сделал бы так, если бы ее родители и присутствовавшие не удержали его. Затем, добавляют, что дон-Фернанд немедленно же вышел, а Люсинда очнулась от своего обморока только на другой день и рассказала тогда своим родителям, как она стала законною женою Карденио, о котором я уже упоминала. Я узнала, кроме того, что, если верить ходившим слухам, Карденио присутствовал при бракосочетании и, увидав свою возлюбленную обрученную с другим, чего он никогда не считал возможным, в отчаянии покинул город, предварительно написав письмо, в котором он жалуется на измену Люсинды. Это происшествие было известно всему городу и служило почти единственным предметом всех разговоров. Но еще большие толки возбудило известие о том, что Люсинда исчезла из дома своего отца и даже из города и все поиски ее были напрасны, ее несчастные родители чуть не потеряли рассудка, не зная, на

что решиться, чтобы ее найти. Все эти новости несколько воодушевили меня надеждою, и я считала меньшим несчастьем для себя совсем не найти дон-Фернанда, чем найти его женатым. Действительно, мое горе не казалось мне уже таким безнадежным, и я старалась убедить себя, что, может быть, небо поставило это непредвиденное препятствие второму браку дон-Фернанда с целью напомнить ему об обязательствах, принятых им при первом, и заставить его поразмыслить о том, что он христианин и должен заботиться о спасении своей души больше, чем о земных расчетах. Я перебирала в голове все эти соображения и утешалась без всякого основания для утешения, мечтая об отдаленном будущем, чтобы иметь силы вести жизнь, какой я предалась из презрения к настоящему.

«Бродя по городу и не зная, на что решиться после того, как мне не удалось встретить дон-Фернанда, я услышала глашатая, громко объявлявшего на улицах большое вознаграждение тому, кто меня найдет, и описывавшего мой возраст, наружность и одежду, и услышала также молву, рассказывавшую, будто бы сопровождавший меня слуга похитил меня из родительского дома. Этот новый удар поразил меня в самое сердце; с отчаяньем увидела я, каким позором покрылась моя репутация, потому что как будто было недостаточно, чтобы я потеряла ее чрез свое бегство, и моим сообщником, предметом моих мыслей, надо было сделать такого грубого и недостойного человека. Как только я услышала это объявление, я немедленно же покинула город в сопровождении слуги, начавшего, по-видимому, колебаться в верности, в которой он обещал пребывать ко мне при всякого рода испытаниях. Из боязни быть узванными, мы в ту же ночь зашли в самую глубину этих гор; но справедливо говорят, что одна беда влечет за собою другую и конец одного несчастья служит обыкновенно началом другого. Так же случилось и со мною: как только мой служитель, до сих пор верный и преданный, увидел, что мы одни в этой пустыне, он, побуждаемый больше своею развращенностью, чем моею красотою, захотел воспользоваться случаем, казавшимся ему таким удобным в этом совершенном уединении. Позабыв почтение ко мне и всякий страх к Богу, он осмелился обратиться ко мне с бесстыдною речью, когда же я с справедливым презрением отвергла его бесчестные предложения, то он бросил просьбы, к которым он прибег сначала, и решил перейти к насилию. Но справедливое небо, редко оставляющее без внимания и помощи честные намерения, явило свое покровительство и моим намерениям, и я, без особого труда, не смотря на недостаточность моих сил, сбросила наглеца в пропасть, где он и остался, не знаю, живым или мертвым. Насколько позволяли мне усталость и страх, я немедленно же поспешила

углубиться в эти горы с единственным намерением спрятаться там от моих родителей и от посланных ими на мой поиски. С тех пор прошло уже несколько месяцев. Я вскоре встретила пастуха, который взял меня в свои помощники и привел в деревушку, расположенную в самом сердце этих гор. С этого времени я стала служить у него, стараясь целый день быть в полях, чтобы укрыть от взоров людей волосы, которые, без моего ведома, выдали меня вам. Но все мое искусство и все мои заботы оказались в конце концов напрасными. Мой хозяин заметил, что я не мужчина, и почувствовал такие же греховные желания, как и мой слуга. Зная, что не всегда судьба, вместе с опасностью, представляет и средство избегнуть ее, и что нельзя постоянно рассчитывать на близость пропасти, в которую я могла бы сбросить хозяина так же, как сбросила слугу, – я сочла более благоразумным бежать и еще раз скрыться в этом диком убежище, чем опять пробовать мои силы и действие моих убеждений. Я опять принялась искать среди этих утесов и лесов такое место, где я могла бы беспрепятственно излить пред небом мои вздохи и слезы, где я могла бы молить его умилосердиться над моими несчастьями и помиловать меня, или положив им конец или оставив меня навеки в этом уединенье и покрыв забвением самую память о несчастной, которую злословие так безвинно преследует и терзает.

## **ГЛАВА XXIX**

### **Рассказывающая об остроумной хитрости, которая была употреблена для того, чтобы заставить нашего влюбленного рыцаря покинуть наложенное им на себя суровое покаяние**

– Такова истинная история моих печальных приключений, господа. Смотрите и судите сами, достаточно ли у меня причин, чтобы предаваться беспрестанным вздохам, которые, как вы слышали, вместе со словами вырываются из моей груди, и проливать горькие слезы, которые, как вы видели, текли из моих глаз. Подумав о характере моих бедствий, вы сами признаете, что всякое утешение – излишне для меня, ибо помочь мне ничем нельзя. Я обращаюсь к вам только с одной просьбой, которую вам легко исполнить: укажите мне, где бы я могла вести жизнь, не подвергаясь опасности потерять ее каждое мгновение от страха и опасений, что меня могут, наконец, найти ищущие меня. Я уверена, что мои родители, нежно любящие меня, с радостью примут меня; но при мысли о том, что я явилась пред ними иною, чем они надеялись, мною овладевает страшный стыд, и я лучше предпочту навсегда остаться в вечном изгнании и вдали от их взоров, чем согласиться прочитать в их глазах мысль о том, что мое лицо утратило ту чистоту и ту невинность, которые они ожидали от своей дочери.

Произнеся эти слова, она умолкла и краска стыда и сожаления, которыми была полна душа ее, покрыла ее лицо. Слушавшие рассказ о ее несчастьях снова почувствовали удивление и сострадание к ней, внушенные ею с первого раза. Священник хотел было обратиться к ней с утешениями и советами, но Карденио предупредил его:

– Как, сударыня! – воскликнул он, – вы – прелестная Доротея, единственная дочь богатого Кленардо!

Доротея была поражена, когда услышала имя своего отца и увидала жалкую наружность называвшего его – нам уже известно, как был одет Карденио.

– Кто вы, мой друг, – обратилась она к нему, и почему вы знаете имя моего отца? Если не изменяет мне память, я, кажется, ни разу не назвала его в продолжение моего рассказа. – Я тот несчастный, которого по вашим

словам, сударыня, Люсинда назвала своим мужем; – ответил Карденио, – я – злополучный Карденио, которого вероломство того же человека, ставшего виновником и вашего настоящего состояния, довело до такого положения, в котором вы меня видите нагим, оборванным, лишенным всякого утешения на земле и, что еще хуже, лишенным даже рассудка, так как, кроме немногих минут, посылаемых мне небом, я уже больше не обладаю своим разумом. Да, Доротея, я был свидетелем и жертвою развращенности дон-Фернанда, я ждал до тех пор, пока Люсинда произнесла роковое «да», беря его в супруги; но у меня не хватило мужества дожидаться и посмотреть, какие последствия будут иметь ее обморок и найденная записка, спрятанная у ней на груди, ибо у души моей не стало силы выносить столько сразу обрушившихся на нее несчастий. Потеряв терпение, я вышел из дома и, оставив хозяину гостиницы письмо для передачи в руки Люсинды, отправился в эту пустыню с намерением окончить здесь мою жизнь, которую я с тех пор возненавидел, как моего смертельного врага. Но небо не хотело отнять ее у меня, отнявши у меня только разум, и сохранило меня, может быть, для счастья встретить сегодня вас; потому что, если все рассказанное вами верно, как я это думаю, то возможно, что небо готовит лучший конец наших бедствий, чем мы это думаем. Если правда, что Люсинда не может стать супругой дон-Фернанда, потому что, как она открыто объявила, принадлежит мне, и дон-Фернанд не может на ней жениться, так как он принадлежит вам, – то мы можем еще надеяться, что небо возвратит вам все нам принадлежащее, так как наше достояние продолжает существовать, не уничтожено и не стало собственностью других. Если же нам остается это утешение, основанное не на безумных мечтах и пустых надеждах, то я умоляю вас принять в вашей благородной душе новое решение, согласное с тем, какое я принимаю сам, и воскресить в себе надежду на лучшее будущее. Я же клянусь вам честью дворянина и христианина не покидать вас до тех пор, пока вы не будете возвращены дон-Фернанду. Если моим убеждениям не удастся заставить его признать ваши права, то я, как дворянин, помощью других убеждений, сумею вызвать его на правый бой со мною, в отмщение за зло, причиненное им вам; об оскорблении же, понесенном мною, я вспоминать не стану – мщение за них я предоставляю небу и беру на себя только мщение за ваши обиды.

Все сказанное Карденио до такой степени усилило изумление Доротеи, что, не зная, как благодарить его за такие предложения услуг, она хотела броситься к его ногам и обнять их, но Карденио не допустил ее до этого. Добрый лицензиат заговорил за них обоих; он одобрил мудрый проект

Карденио и советами и просьбами убеждал их отправиться с ним вместе в его деревню, где они могут запастись всеми необходимыми им вещами и условиться, как отыскать дон-Фернанда, ввести Доротею в родительский дом и сделать все прочее, что окажется нужным. Карденио и Доротея с признательностью приняли его предложение. Цирюльник, до сих пор безмолвно слушавший, тоже сказал небольшую речь и с тою же любезностью, как и священник, вызвался служить им, чем может. Кстати, он вкратце рассказал о причине, приведшей их в это место, а также и о странном сумасшествии Дон-Кихота, на поиски которого они послали его собственного оруженосца, ожидаемого ими теперь. Тогда Карденио вспомнил, но как сквозь сон, о своем столкновении с Дон-Кихотом, будучи не в силах однако вспомнить о поводе ссоры. В эту минуту послышались крики; священник и цирюльник сейчас же узнали голос Санчо Панса, который, не найдя их в том месте, где он их оставил, звал их во все горло. Они со всей компанией пошли к нему навстречу, и, когда они стали торопить его сообщить им известия о Дон-Кихоте, Санчо рассказал им, как он нашел своего господина голым, в одной только сорочке, сухим, тощим, испытанным и умирающим от голода, но все-таки вздыхающим постоянно по своей даме Дульцинее.

– Я ему сказал, – добавил он, – что она приказывает ему покинуть это место и отправиться в Тобозо, где она станет его ожидать; но он ответил мне, что он решился до тех пор не появляться в присутствии ее красоты, пока не совершит подвигов, которые сделали бы его достойным ее благосклонности. Но, право, если это еще немного продолжится, то моему господину грозит сильная опасность никогда не сделаться ни императором, как он обязался, ни даже архиепископом, а это уж самое меньшее для него. Подумайте же, ради самого неба, как поступить, чтобы вытащить его оттуда.

Лицензиат ответил Санчо, чтобы он не беспокоился и что они сумеют извлечь его господина, несмотря на все нежелание последнего, из места его покаяния. Потом он рассказал Карденио и Доротее о средстве, придуманном им для излечения Дон-Кихота, или, по крайней мере, для возвращения его домой. Доротея охотно вызвалась исполнить роль угнетенной девицы, которую, по ее словам, она исполнит лучше, чем цирюльник, тем более, что у ней есть и женские платья, позволяющие ей быть совершенно естественной; изображение этого действующего лица, добавила она, тем увереннее можно возложить на нее, что она прочитала достаточное количество рыцарских книг и знает, в каком духе безутешные девицы просят милости у странствующих рыцарей.

– В добрый час! – воскликнул священник – остается только приняться за дело. По истине, судьба благоприятствует нам; не думая о вас совершенно, сударыня и милостивый государь, мы послужили ее орудием, которым она снова открыла двери вашей надежде, а в вас она указала нам самим нужную для нас помощь.

Доротея сейчас же вынула из своего узла юбку из цельной, тонкой и богатой материи и лиф из зеленой парчи, а из шкатулки жемчужное ожерелье и другие драгоценности. Через минуту она явилась такою нарядною, что могла бы сойти за богатую и знатную даму. Весь этот наряд, по ее словам, она захватила из родительского дома на случай надобности в нем; но до сих пор ей не приходилось употреблять его. Все были очарованы ее чудною грациею и необыкновенною красотою и окончательно признали дон-Фернанда глупцом, если он мог пренебречь такую прелестною особою. Но сильнее всех удивлялся и восхищался Санчо Панса. Во всю свою жизнь ни разу он не видал такого прелестного создания. Он поспешно спросил у священника, кто эта очаровательная дама и чего она ищет по этим горам.

– Эта прекрасная дама, – ответил священник, – откровенно и без преувеличения скажу я вам – наследница по прямой мужской линии великого Микомиконского государства, а ищет она вашего господина, чтобы просить его оказать ей милость и исправить зло, причиненное ей одним бесчестным великаном; громкая слава нашего доброго рыцаря, разнесшаяся по лицу всей земли, побудила ее отправиться с Гвинейских берегов на поиски его.

– Счастливые поиски, счастливая находка! – воскликнул Санчо вне себя от радости, – в особенности, если моему господину удастся отмстить оскорбление и исправить зло, убив этого негодяя, великана, о котором говорили ваша милость. А он, ей Богу, убьет его, если встретит, только бы это было не привидение, потому что против привидений мой господин – бессилен. Но, господин лицензиат, позвольте, между прочим, попросить у вас одной милости. Что бы моему господину не пришла в голову мысль сделаться архиепископом – я этого боюсь больше всего на свете, – посоветуйте вы ему сейчас же жениться на этой принцессе: после женитьбы ему уже нельзя будет принять епископского сана, и он волей-неволей согласится на титул императора, а это – венец моих желаний. Откровенно сказать, я порядком поразмыслил, рассчитал все и нахожу, что мне будет не на руку, если мой господин станет архиепископом; ведь я церкви ни на что не годен, потому что я женат; гнаться же за тем, чтобы мне позволили пользоваться доходом от прихожан, когда у меня жена и

дети, это значило бы никогда не кончить. Стало быть, ваша милость, все дело в том, чтобы господин мой сейчас же женился на этой даме, которую я не умею назвать по имени, потому что не знаю его.

— Ее имя — принцесса Микомикона, — ответил священник; — так как королевство ее называется Микомиконским, то ясно, что и она должна называться так же.

— Само собой разумеется, — отозвался Санчо; — я встречал много людей, у которых фамилии составлены из названий местностей, где они родились, например — Педро Алькальский или Хуан Убедский, или Диего Вальядолидский; должно быть, также принято и там, в Гвинее, чтобы и королевы принимали названия своих королевств.

— Должно быть, что так, — ответил священник, — а что касается женитьбы нашего господина, то, поверьте, я употреблю всю силу моего красноречия, чтобы склонить его к этому.

Санчо остался очень доволен таким обещанием; священника же его простота привела в сильное удивление, когда он увидел, как глубоко внедрилось заразительное безумство рыцаря в уме его оруженосца, совершенно серьезно верившего, что в один прекрасный день его господин сделается императором.

Во время этого разговора Доротея села на мула священника, а цирюльник пристроил к своему подбородку бороду из коровьего хвоста. Они велели потом Санчо вести их туда, где находился Дон-Кихот, но не подавать и виду, что он знает священника и цирюльника, так как в этом-то и состоит весь фокус, чтобы сделать его господина императором. Карденио и священник не пожелали идти с ними вместе, Карденио — из опасения, как бы Дон-Кихот не вспомнил об их ссоре, священник же потому, что считать свое присутствие бесполезным. Они пустили троих отправлявшихся к Дон-Кихоту вперед, а сами не спеша пошли за ними. Священник счел полезным дать наставления Доротее, так она должна поступать, но она просила его не беспокоиться относительно этого и уверяла его, что она будет вести себя согласно всем требованиям описаний и рассказов в рыцарских книгах.

Проехав около трех четвертей мили, Доротея и ее два спутника увидели среди нагроможденных друг на друга скал Дон-Кихота, уже одетого, но еще не вооруженного. Как только Доротея увидела его и узнала от Санчо, что это Дон-Кихот, она подогнала своего мула и, в сопровождении бородатого цирюльника, подъехала к рыцарю. Тогда оруженосец соскочил со своего мула и принял Доротею на руки, а затем последняя, спустившись, на землю, грациозно бросилась к ногам Дон-Кихота, и, сколько бесполезных усилий не употреблял рыцарь, чтобы



поднять ее, она осталась стоять на коленях и обратилась к нему с следующими словами:

– Я до тех пор не встану, о мужественный и грозный рыцарь, пока ваше великодушие и любезность не заставят вас обещать мне один дар, который послужит к чести и славе вашей особы и к благу самой угнетенной и самой неутешной девы, какую только когда-либо освещало солнце. И если мужество вашей непобедимой руки действительно соответствует всюду гремющей о вас славе, то вы обязаны оказать помощь и покровительство несчастной, пришедшей из далеких краев по следам вашего знаменитого имени, чтобы просить у вас защиты в своих бедствиях.

– Я не отвечу вам ни слова, прекрасная и благородная дама, – сказал Дон-Кихот, – и ничего не стану слушать о ваших приключениях, пока вы не встанете с земли.

– А я не встану с земли до тех пор, – возразила угнетенная девица, – пока вы не обещаете мне дара, о котором я вас со слезами умоляю.

– Я соглашаюсь, я обещаю вам его, – ответил Дот-Кихот, – если только он не послужит ко вреду или унижению моего короля, моего отечества и той, которая владеет ключом от моего сердца и моей свободы.

– Она не послужит ни ко вреду, ни к унижению никого из тех, кого вы сейчас назвали, мой добрый господин, – отвечала неутешная девица. Она хотела было продолжать, но в это время Санчо подошел к своему господину и сказал ему на ухо:

– Право, господин мой, ваша милость можете совершенно спокойно обещать ей этот дар, который она требует; это пустяковое дело; нужно только убить одного толстого дурака – великана; а ведь та, кто просит этой маленькой услуги у вас, – высокая принцесса Микомикона, королева великого Микомиконского государства в Эфиопии.

– Кто бы она ни была, – ответил Дон-Кихот, – я сделаю для нее все, что я обязан сделать и что повелевает мне моя совесть в согласии с законами моего звания.

Затем обратившись к девице, он сказал:

– Встаньте же, несравненно-прекрасная дама; я обещаю вам тот дар, о котором вам угодно меня просить.

– В таком случае, – воскликнула девица, – я прошу великодушного рыцаря немедленно же отправиться со мною туда, куда я его поведу, и до тех пор не пускаться на в какие приключения, не вмешиваться ни в какие распри, пока он не отомстит за меня одному изменнику, который, поправ божеские и человеческие законы, похитил мое королевство. – Я повторяю свое обещание, – ответил Дон-Кихот, – а потому вы с этой минуты можете

прогнать угнетающую вас грусть и снова ободрить вашу ослабевающую надежду. С помощью Бога и моей руки, вы вскоре увидите возвращенным себе ваше королевство и, себя снова сидящей на троне великих государств ваших предков, на зло притязаниям всех вероломных злодеев. Итак, примемся же за дело, потому что, как говорят, в промедлении-то и заключается опасность.

Бедствующая девица сделала вид, будто бы она хочет поцеловать его руки; но Дон-Кихот, бывший постоянно учтивым и любезным рыцарем, не допустил этого. Он только поднял ее и почтительно обнял; затем он приказал Санчо оседлать Россинанта и немедленно же вооружить его самого. Оруженосец снял вооружение, висевшее, подобно трофеям, на ветвях дуба и, оседлав коня, проворно вооружил своего господина. Дон-Кихот, увидав на себе вооружение, воскликнул:

– Теперь, с помощью Бога, окажем помощь нашей великой принцессе.

Цирюльник все еще стоял на коленях, стараясь, как бы не приснуть со смеха и не уронить бороды, что могло бы окончательно и непоправимо разрушить их удачный план. Когда же он увидал, что просимый дар пожалован и Дон-Кихот с большим усердием готовится к исполнению своего обещания, – он поднялся, взял свою госпожу за ее свободную руку и, с помощью рыцаря, посадил ее на мула. Дон-Кихот легко влез на Россинанта, и цирюльник устроился на своем нуле; бедному же Санчо пришлось путешествовать пешком; это обстоятельство заставило его вспомнить о потере осла и снова почувствовать горечь сожалений. Впрочем, на этот раз он терпеливо переносил свое горе, утешая себя тою надеждою, что теперь его господин находятся на прямой дороге к императорскому трону, так как он, без всякого сомнения, женится на этой принцессе и сделается, по крайней мере, королем Микомиконским. Одно только его несколько огорчало: это – мысль о том, что Микомиконское государство находятся в земле негров и люди, которых ему, Санчо, отдадут в подданные, будут черного цвета. Но в его воображении нашлось и на это утешение, и он сказал самому себе:

– Э! да что за беда, в сущности, если мои подданные будут неграми? Мое дело будет только нагружать и возить их в Испанию, а здесь продавать их на наличные денежки. На эти денежки я потом куплю себе какой-нибудь титул или должность и без забот проживу весь остаток моих дней. Так и будет; или вы думаете, что мы спим на оба глаза и что у нас не хватит ни ума, ни способностей извлечь свою выгоду из обстоятельств и продать тысяч тридцать подданных так же просто, как сжечь пук соломы? А, ей Богу, я своего добьюсь и сумею превратить их в беленьких или в

желтеньких в моем кармане, хоть будь они так же черны, как душа у черта. Посмотрите и увидите, дурак ли я.

Погрузившись душой в эти сладкие мечты, он шел такой задумчивый и довольный, что совершенно позабыл о неприятностях пешего хождения.

Всю эту странную сцену священник и Карденио наблюдали сквозь кустарники и не знали, каким бы способом присоединиться им к остальной компании. Но изобретательный священник вскоре нашел средство, как выйти из этого затруднения. Он очень искусно остриг бороду Карденио ножницами, которые он носил в футляре, затем надел на него свой темный плащ и черный воротник; сам же остался в одних штанах и подряснике. Карденио настолько изменился от такого наряда, что не узнал бы самого себя, если бы посмотрел в зеркало. Хотя за это время остальная компания опередила их, тем менее оба друга успели раньше ее добраться до большой дороги, потому что выступы и кусты заграждали проход и не позволяли всадникам совершать путь так же скоро, как пешеходам. Придя на долину, оба пешехода остановились у выхода из гор; и, как только священник увидал, что Дон-Кихот, в сопровождении своих спутников, приближается, он стал пристально рассматривать его, показывая жестами, как будто бы он старается его узнать; затем, понаблюдав его долгое время, он побежал в веку с распростертыми объятиями, крича на бегу, насколько хватало силы в его легких:

– Привет зеркалу рыцарства, моему храброму земляку Дон-Кихоту Ламанчскому, цвету и сливкам вежливости, прибежищу и защите угнетенных, квинтэссенции странствующих рыцарей!

С этими словами он обнял колено левой ноги Дон-Кихота, пораженного тем, что делал и говорил этот человек, и со вниманием его рассматривавшего. Наконец, он узнал священника и, сильно удивленный встречей с ним, хотел сейчас же слезть с коня; но священник не пускал его.

– Нет, господин лицензиат, – воскликнул Дон-Кихот, – с позволения вашей милости я это сделаю. Не годится мне быть на лошади, когда ваше преподобие идет пешком.

– Ни за что не допущу этого – ответил священник, – оставайтесь, ваше величие, на лошади, ибо на лошади вы кидаетесь в величайшие приключения и совершаете изумительнейшие подвиги, какие только когда-либо служили зрелищем для нашего века. Для меня же, недостойного священника, достаточно будет сесть на мула, позади кого-нибудь из этих господ, сопровождающих вашу милость, если они дадут на то свое позволение, и я буду воображать, что сижу, по крайней мере, на коне Пегасе или на зебре, на которой ездил славный мавр Мусарак, до сих пор

покоящийся очарованным в великой пещере Зулеме<sup>[40]</sup> вблизи великого города Комплута.

– Я не подумал об этом раньше, господин: лицензиат, – сказал Дон-Кихот, – но я уверен, что принцесса, во имя любви ко мне, прикажет своему оруженосцу уступить вам седло на своем муле, а самому устроиться сзади вас, если только животное потерпит другого всадника.

– Без сомнения, – ответила принцесса, – но мне нет надобности приказывать господину моему оруженосцу; он так предупредителен и так строго соблюдает правила придворной вежливости, что, наверное, и сам не допустит идти пешком духовное лицо, когда оно могло бы ехать.

– Конечно, нет, – отозвался цирюльник; и, спустившись с мула, он предложил священнику сесть в седло, что тот и сделал без дальнейших церемоний. Но беда была в том, что мул был наемный, то есть плохой. Когда цирюльник хотел усесться на его спину сзади священника, животное взбросило кверху задние ноги и так лягнуло ими по воздуху, что, будь удары направлены в голову или в живот господина Николая, он бы, наверно, проклял пришествие Дон-Кихота в этот мир. Все-таки эти удары толкнули его так сильно, что он порядком ударился о землю, позабыв о бороде, полетевшей в другую сторону. Заметив свою потерю, он не мог придумать ничего лучшего, как только закрыть лицо обеими руками и жалобно закричать, что проклятое животное разбило ему челюсти. Когда Дон-Кихот увидал, что пук волос без мяса и крови далеко отлетел от лица оруженосца, он воскликнул:

– Великий Боже! вот чудо-то! мул отшиб ему бороду от подбородка, как будто мечем срезал.

Священник, увидав, что его выдумке грозит опасность быть разоблаченной, поспешил подобрать бороду и отнести ее к господину Николаю; все еще распростертому на земле и издававшему глухие стоны; затем, прижав голову цирюльника к своему животу, он привязал к ней бороду, бормоча про себя слова, как говорил он, некоторого заклинания, имевшего силу приращивать бороды, в чем все и убедились потом. Действительно, когда он привязал хвост и отошел, оруженосец оказался таким же здоровым и бородатым, как и прежде. В изумлении от такого исцеления, Дон-Кихот стал просить священника научить его, когда будет время, словам этого заклинания, сила которого, по его мнению, наверно, не ограничивается только приклеиванием бород, так как очевидно, что, когда отрезают бороды, то повреждают при этом и мясо, и, стало быть, заклинание оказывает действие и на мясо и на волосы, если исцеляет все сразу. Священник согласился с ним и обещал при случае научить его

заклинанию.

Затем было решено, чтобы на мула сел только один священник; цирюльник же и Карденио должны были по временам сменять его до тех пор, пока не доедут до постоянного двора, находившегося, во всей вероятности, на расстоянии двух миль от того места. Когда двинулись в путь, трое верховых, Дон-Кихот, священник принцесса, и трое пеших, Карденио, цирюльник и Санчо Панса, рыцарь сказал девице:

– Ведите теперь нас, ваше величие, куда вам будет угодно.

Но прежде чем она ответила, священник сказал ей:

– Куда вы хотите вести нас, ваше высочество? Не в Микоммонское ли государство? Ведь, кажется, так, или я ничего не понимаю в государствах?

Догадливая Доротея хорошо поняла, что ей нужно ответить.

– Именно в это-то государство я и направляюсь, милостивый государь, – сказала она.

– В таком случае, – возразил священник, – вам неминуемо придется проезжать через мою деревню; оттуда ваша милость отправитесь в Карфаген, где с помощью Бога вы можете сесть на корабль, и если ветер будет попутный и море спокойно, то лет через девять или немного раньше, вы уже увидите озеро Меонское, то есть Палус-Меотиды, от которых дней сто пути до королевства вашего величия.

– Нет, вы ошибаетесь, ваша милость, – ответила она, – не прошло и двух лет, как я выехала из него, и хотя погода не всегда благоприятствовала нам, вот уже достигла Испании, чтобы найти предмет моих желаний, рыцаря Дон-Кихота Ламанчского, гром славы которого поразил мои уши, едва только я вступила на испанскую почву. Именно молва об его подвигах и побудила меня отправиться на его поиски, чтобы доверить себя его великодушию и поручить посредничество в моем деле мужеству его непобедимой руки.

– Довольно, довольно, сударыня! – воскликнул Дон-Кихот, – прекратите свои похвалы мне; я враг всякого рода лести и, хотя бы вы и не имели намерения льстить мне, все-таки такие речи оскорбляют мои целомудренные уши. Не знаю, есть у меня мужество или нет, но могу только сказать одно, что тем, которое у меня имеется, я, пока жив, готов служить вам, принцесса. Но до поры до времени оставив это; теперь же я бы попросил господина лиценциата рассказать мне, что привело его сюда одного, без слуги, и, притом, так легко одетого, что мне просто становится страшно.

– Я коротко отвечу на ваш вопрос, – сказал священник. – Надо вам сказать, господин Дон-Кихот, что я и господин Николай, наш друг и

цирюльник, отправились в Севилью получить некоторую сумму денег, присланную мне одним родственником, много лет тому назад переселившимся в Индию; сумма была не пустяковая, около шестидесяти пиастров высокой пробы; и вот, когда мы проходили вчера этою глухою местностью, на нас напали четыре разбойника большой дороги, которые и обобрали нас до самой бороды, так что цирюльник счел даже нужным устроить себе поддельную бороду. А молодого человека (он указал при этом на Карденио) они оставили, просто в чем мать родила. Но любопытнее всего, что в окрестности ходят слухи, будто бы люди, очистившие нас, были галерными каторжниками, которых, не смотря на сопротивление комиссара и конвойных выпустил на свободу один храбрый человек, давший им возможность наострить лыжи. Без всякого сомнения, этот человек лишился рассудка, или он – такой же злодей, как и освобожденные им, одним словом, человек без души и без совести, если у него хватило духу пустить волка в стадо овец, лисицу – в курятник, трутня – на мед. Он захотел оскорбить правосудие и восстать против своего короля и природного господина, справедливые повеления которого он грубо нарушил; он захотел, говоря я, отнять у галер руки, которые приводят их к движению и встревожил святую германдаду, мирно покоившуюся в течение многих лет; он захотел, наконец, совершить дело, губящее его душу и не приносящее пользы его телу.

Санчо рассказал священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, из которого его господин вышел с такою славою; вот почему священник и налегал особенно на описание его, чтобы посмотреть, что сделает или окажет Дон-Кихот. Бедный рыцарь только менялся в лице при каждом слове, не осмеливаясь признаться, что он был освободителем этих честных людей.

– Вот какие люди ограбили нас и довели до такого положения, – продолжал священник. – Да простит же Господь, в своем бесконечном милосердии, того, кто не допустил их понести заслуженное ими наказание!

## **ГЛАВА XXX**

### **Рассказывающая об остроумии, обнаруженном прекрасною Доротеєю, и о других необыкновенно занимательных делах**

Не успел священник окончить свою речь, как Санчо сказал ему:

– А, знаете ли, господин лицензиат, кто совершил этот прекрасный подвиг? Мой господин; напрасно я предостерегал его не делать этого, напрасно говорил я ему, что смертный грех примет на душу тот, кто освободит этих отъявленных плутов.

– Дурак! – воскликнул Дон-Кихот, – разве обязаны странствующие рыцари справляться о том, за что терпят несчастья и страдания все униженные, закованные и угнетенные, попадающие на больших дорогах, – за свои пороки или за свою добродетель; дело рыцарей только помогать несчастным, обращая внимание на их бедствия, а не на их проступки. Я встретил цепь бедняков, печальных и страдающих, и сделал для них то, что требовала от меня присяга моего звания. Если же кто-либо вздумает утверждать противное, кроме господина лицензиата, к священному сану и почтенной особе которого я питаю глубокое уважение, – то я скажу ему, что он ничего не смыслит в рыцарских делах и лжет, как грубый невежда; и я докажу ему это мечем или копьем, пешим или конным, каким угодно способом.

С этими словами Дон-Кихот укрепился в стременах и надвинул на самые глаза свой шлем, цирюльничий же таз, представлявший ему шлемом Мамбрина, висел у луки его седла, в ожидании того времени, когда он будет исправлен от последствий дурного обращения с ним каторжников.

Скромная и благоразумная Доротея, познакомившаяся уже с безумием Дон-Кихота, которое служило предметом потехи для всех, кроме Санчо, нарушила свое молчание, увидав, что рыцарь разгневался, я сказала ему:

– Господин рыцарь! не забывайте об обещанной вами милости, в силу которой вы не можете пускаться ни в какое приключение, как бы действительно нужно оно ни было. Успокойте же ваше раздраженное сердце, потому что, наверно, если бы господин лицензиат знал, что каторжники обязаны своим освобождением вашей непобедимой руке, то он трижды наложил бы палец на уста и трижды прикусил бы язык, прежде чем произнести хоть одно слово, способное причинить вашей милости

малейшее огорчение. – О! клянусь в этом честью, – воскликнул священник, – я скорей бы оторвал себе усы. – Я умолкаю, сударыня, – ответил Дон-Кихот, – я заглушу справедливый гнев, воспламенившийся в моей душе, и буду вести себя мирно и спокойно, пока не исполню данного вам обещания. Но, взамен за мои добрые намерения, я прошу вас сказать мне, если только это для вас не будет неприятно, что за причина, вашего горя, кто те люди и сколько их, которых я должен подвергнуть за вас законному и справедливому мщению.

– Я от всего сердца готова исполнить вашу просьбу, – ответила Доротея, – если вам не будет неприятно слушать мои жалобы на несчастья.

– О, нет, без сомнения, – возразил Дон-Кихот.

– В таком случае, – снова сказала Доротея, – я прошу у вас внимания, господа.

Когда она проговорила это, Карденио и цирюльник подошли к ней поближе, желая послушать, как скромная Доротея расскажет свою мнимую историю; их примеру последовал и Санчо, также заблуждавшийся, как и его господин, относительно ее королевского титула. Она же, усевшись хорошенько на седле, откашлявшись и приняв предосторожности, какие принимает обыкновенно начинающий оратор, очень мило и свободно начала:

– Прежде всего, господа, я должна вам сказать, что меня зовут... и запнулась, потому что забыла имя, данное ей священником; но последний, угадав причину ее смущения, поспешил к ней на помощь и сказал:

– Нет ничего странного, что ваше величие смущается и путается при рассказе о своих бедствиях. Это – обыкновенное действие несчастий отнимать память у тех, кто ими постигнут, до такой степени, что они часто забывают даже свои собственные имена, как это случилось с вашим величием, которое, по-видимому, забыло, что вас зовут принцесса Микомикона, законная наследница великого Микомиконского королевства. Благодаря такому простому напоминанию ваше величие теперь вспомнить конечно печальные события, о которых вам будет угодно нам рассказать.

– Ваши слова совершенно справедливы, – ответила девица, – но с этих пор, я думаю, мне не понадобится больше ваших указаний и подсказываний, и я сама доведу мою неподдельную историю до благополучного конца. Итак вот она.

«Король, мой отец, по имени Тинакрио Мудрый, был весьма сведущ в науке, называемой магией. С помощью своего искусства он открыл, что моя мать, по имени Харамилья, умрет прежде его, и что сам он, спустя малое время после ее смерти, тоже переселится в иной мир, а я останусь круглой



сиротой. При этом он говорил, что его огорчает не столько мысль о своей смерти, сколько одно открытие, основанное на верном источнике; отец предсказывал, что страшный великан, владетель великого острова, почти прилегающего к нашему королевству, по имени Пантахиландо Мрачного взора (так прозвали его за то, что хотя оба глаза были у него на месте и совершенно правильны, но глядел он ими наискось, как будто бы был кос, делая это умышленно для того, чтобы пугать тех, на кого он смотрит), – что этот великан, повторяю я, узнав о моем сиротстве, нападет на мое королевство и по частям отнимет его все у меня, не оставив мне даже ни малейшего селения, где бы я могла найти прибежище; избежать же этого несчастья и разорения я могу только посредством своего согласия вступить в брак с завоевателем. Однако, отец мой предвидел, что я никогда не решусь на брак с таким чудовищем, и он не ошибался, потому что мне никогда и в голову не приходило выходить замуж за этого или какого-либо другого великана, как бы велик и колоссален он ни был. Мой отец сказал мне также, что, когда, после его смерти, Пантахиландо начнет отнимать у меня королевство, и должна отбросить всякую мысль о защите, так как это только послужило бы к моей гибели; он мне советовал лучше добровольно покинуть свое королевство, если я не хочу смерти и полного разорения моих добрых и верных подданных, ибо я не в силах буду противостоять дьявольской силе этого великана. Отец добавил, что я тогда немедленно должна отправиться с некоторыми из моих окружающих – в Испанию, где я найду лекарство против всех моих зол в лице одного странствующего рыцаря, слава которого распространится в то время по всему этому королевству и который называется, если мне не изменяет память, Дон-Азот или Дон-Хигот...

– Дон-Кихот, сударыня, сказал он наверно, – прервал ее на этом месте Санчо, – иначе называемый рыцарем Печального образа.

– Вот именно, – отозвалась Доротея, – он сказал, кроме того, что этот рыцарь должен быть высок ростом, сухощав лицом, и с правой стороны, под левым плечом или около этого места у него должно иметься темное родимое пятно с несколькими волосками, вроде свиной щетины.

– Поди сюда, сын мой Санчо, – сказал тогда Дон-Кихот своему оруженосцу, – и помоги мне раздеться; я хочу посмотреть, тот ли самый рыцарь я, о котором возвещает пророчество этого мудрого короля.

– Зачем же вашей милости нужно для этого раздеваться? – спросила Доротея.

– Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил ваш отец, – ответил Дон-Кихот.

– Нет нужды раздеваться вам для этого, – вмешался Санчо; – я и так знаю, что у вашей милости точь-в-точь такое родимое пятно сидит по самой середине спинного хребта; это, говорят, признак силы в человеке.

– И довольно этого, – сказала Доротея, – между друзьями не место такой щепетильности. Благо есть родимое пятно, а так что за важность, на плече ли оно сидит или на спине или еще на чем-нибудь, где ему покажется удобнее? ведь тело-то одно и то же. Без всякого сомнения, предсказание моего отца оказалось верным, и я, обратившись к рыцарю Дон-Кихоту, имела счастье найти того, о котором говорил мой отец, потому что приметы его лица вполне соответствуют великой славе, разнесшейся о этом рыцаре не только по Испании, но и по всей Ламанче.

«В самом деле, не успела я высадиться в Осуне, как я услышала столько рассказов об его подвигах, что мое сердце сейчас же угадало в нем того, кого я отправилась искать.

– Но как же вида милость могли высадиться в Осуне, когда этот город не морской порт? – прервал ее Ден-Кихот.

Но священник предупредил ответ Доротеи.

– Принцесса, – сказал он, – хотела, наверно, сказать, что после высадки ее в Малаге, первым местом, где она услышала рассказы о вас, была Осуна.

– Именно это я и хотела сказать, – подтвердила Доротея.

– Ну тогда все совершенно понятно, – добавил священник, – и ваше величие может продолжать свой рассказ.

– Мне больше нечего рассказывать, – ответила Доротея, – остается только сказать, что я считаю таким великим счастьем свою встречу с господином Дон-Кихотом, что считаю уже себя королевой и госпожой моего государства; раз он в своем великодушии и своей щедрости дал мне обещание следовать за мною всюду, куда мне заблагорассудится его повести, то я и поведу его навстречу Пантахиландо Мрачного взора, чтобы он умертвил этого вероломного великана и возвратил мне все, отнятое у меня похитителем вопреки закону и справедливости. Все должно исполниться буквально так, как предсказал мой добрый отец Тинакрио Мудрый; он также написал не то по-халдейски, не то по-гречески (я не умею читать на этих языках), что если рыцарь его пророчества, обезглавив великана, пожелает жениться на мне, то я, без всяких возражений, должна стать его законной супругой и вручить ему обладание и королевством, и своей собственной особой.

– Ну, как тебе это кажется, друг Санчо? – сказал тогда Дон-Кихот, – видишь, что случилось? не говорил я тебе об этом раньше? Посмотри-ка,

ведь мы, кажется, теперь можем и управлять королевством и жениться на королеве.

– Клянусь! – воскликнул Санчо, – плевать на того болвана, который не захотел бы жениться, перехвативши глотку господину Пантахиландо. Такой смазливенькой королевы еще поискать, хе! Я бы не прочь и без королевства заполучить ее!

С этими словами он, в порыве сильной радости, два раза подпрыгнул на воздух, хлопнув себя ладонями по пяткам, а затем схватил мула Доротеи за узду, остановил его и став на колени, перед принцессой, умолял ее позволить ему поцеловать ее руки, в знак того, что он признает ее своей королевой и повелительницей.

Кто из присутствовавших сумел бы удержаться от смеха при виде безумия господина и простоты его слуги? Доротея дала руку Санчо для поцелуя и обещала сделать его большим господином в своем королевстве, как только небо возвратит ей мирное обладание им. Признательный Санчо рассыпался в выражениях благодарности, возбуждивших новый смех.

– Вот, господа, – продолжала Доротея, – моя истинная история. Мне остается только сказать, что из всех людей, сопровождавших меня из моего королевства, при мне остался только этот бородатый оруженосец; остальные все утонули во время сильной бури, испытанной нами уже в виду гавани. Мы же с ним каким-то чудом добрались до земли на двух досках; да и вся моя жизнь, как вы, вероятно, заметили, полна чудес и тайны. Если я сказала излишнее, если я не всегда говорила то, что следует, то прошу вас вспомнить о словах, сказанных господином лиценциатом в начале моего рассказа, – что чрезмерные и продолжительные страдания отнимают память у того, кто их испытывает.

– Но они не отнимут памяти у меня, высокая и мужественная Принцесса, – воскликнул Дон-Кихот, – как бы неслыханно велики ни были те страдания, которые мне предстоит испытать у вас на службе. И потому, я снова подтверждаю пожалованный мною дар и клянусь следовать за вами хоть на край света, пока я не стану лицом к лицу с вашим свирепым врагом, которому, с помощью Бога и моей руки, я надеюсь снести гордую голову острием этого... не смею сказать, хорошего меча, потому что Хинес де-Пассамонт унес мой собственный меч.

Последние слова Дон-Кихот процедил сквозь зубы и затем продолжал!

– Отрубив ему голову и восстановив вас в мирном обладании королевством, я предоставлю вам полную свободу распоряжаться своей особой, как вам заблагорассудится, мое же сердце занято, воля порабощена и разум подчинен той... Я не скажу больше ничего, но не могу допустить

даже и мысли о женитьбе, хотя бы на самом фениксе.

Санчо был так поражен последними словами своего господина и его отказом от женитьбы, что от досады не мог сдержаться, и закричал громким голосом:

– Клянусь Богом, господин Дон-Кихот, ваша милость не в полном уме! Да можно ли отказываться от женитьбы на такой высокой принцессе, как эта? Что же вы думаете, может быть, что судьба на каждом шагу будет посылать вам такие же прекрасные приключения, как теперешнее? или, может быть, вы полагаете, что Дульцинея красивее? Да, честное слово, у ней нет и половины-то такой красоты, для нее было бы слишком много чести развязать башмаки у принцессы. Вот тут и ожидай графства, когда ваша милость сами не знаете, что ищете. Заклинаю вас всеми чертями! женитесь, женитесь поскорее, возьмите это королевство, которое само лезет вам в руки, а, когда станете королем, сделайте меня маркизом или губернатором, и пусть черт поберет все остальное.

Услыхав столько ругательств, посыпавшихся на Дульцинею, Дон-Кихот не мог сдержать своего гнева. Он поднял пик и, не произнеся ни слова, не предупредивши Санчо, так сильно ударил его палкой по груди, что свалил его на землю. Рыцарь, наверно, убил бы своего оруженосца на месте, если бы Доротея не крикнула, прося его остановиться.

– Вы думаете, подлый негодяй, – сказал он ему немного погодя, – что вам всегда будет можно безнаказанно всюду совать свой нос, что ваше дело – грешить, а мое – только прощать? Напрасно так думаете, отъявленный мерзавец; да, именно мерзавец, если ты осмелился своим языком оскорбить несравненную Дульцинею. А, знаете ли вы, плут, бездельник, негодяй, что если бы она не укрепила мужеством моей руки, то у меня не хватило бы силы даже убить блоху? Скажите мне, ехидный болтун, кто же, по вашему мнению, добыл королевство, отсек голову великану и сделал вас маркизом, – потому что все это можно считать уже сделанным и порешенным, как вполне оконченное дело, если не сила Дульцинеи, избравшей мою руку орудием своих великих дел? Это она сражается и побеждает во мне, а я живу и дышу ею; в ней я почерпаю для себе жизнь и бытие. О, грубый невежда, как вы неблагодарны! вас возвышают из праха, делают вельможей, а вы за такое доброе дело платите клеветой своим благодетелям!

Как ни сильно был избит Санчо, однако он очень хорошо слышал все, что говорил его господин. Поспешно поднявшись, он спрятался за мулом Доротеи и оттуда отвечал своему господину:

– Скажите мне, господин мой! ведь если ваша милость решили не

жениться на этой великой принцессе, то, стало быть, королевство будет не ваше, а если оно будет не ваше, то что пользы можете вы сделать для меня? Вот об этом-то я и горюю. Послушайтесь меня, женитесь раз навсегда на этой королеве, которая к нам точно с неба упала, а потом вы можете себе вернуться к своей Дульцинее; мало ли на свете королей, у которых, кроме жены, есть и любовницы. А красоты их я вовсе не касаюсь; для меня они обе совершенно одинаковы, хотя я и не видал никогда госпожи Дульцинеи.

– Как ты не видал никогда, подлый клеветник? – воскликнул Дон-Кихот.

– А разве теперь не от нее ты привез поручение?

– Я хочу сказать, – ответил Санчо, – что, как следует, не видал ее, чтобы подробно и одну за другой рассмотреть ее прелести; но в общем она мне кажется ничего себе.

– На этот раз я тебя прощаю, – сказал Дон-Кихот, – прости и ты меня за маленькую причиненную тебе неприятность: первые движения не во власти человека.

– Я это хорошо вижу, – ответил Санчо, – у меня так первым движением всегда бывает говорить, и я никак не могу удержаться, чтобы не высказать коего, что придет на язык.

– Но все-таки, – возразил Дон-Кихот, – будь осторожен, Санчо, в словах, потому что повадятся кувшин по воду ходить... я не стану продолжать.

– Хорошо, – сказал Санчо, – на небе есть Бог, видящий все проделки, и Он рассудит, кто хуже поступает: я ли, дурно говоря, или ваша милость, еще хуже поступая.

– Довольно же, – прервала Доротея, – подите, Санчо, поцелуйте руку у вашего господина и попросите прощения; с этих пор будьте осторожны в своих похвалах и осуждениях; в особенности же никогда ничего не говорите об этой даме, Тобозе, которой я была бы рада служить, если бы знала ее. Уповайте на Бога, и Он не оставит вас без какого-нибудь княжества, в котором вы будете жить, как подобает принцу.

Санчо, с покорно опущенной головой, отправился попросить руки у своего господина, который дал ее ему с важным и величественным видом. Когда оруженосец поцеловал у него руку, Дон-Кихот дал ему свое благословение и приказал, ему идти недалеко от себя, так как он хотел расспросить его и поговорить с ним о весьма важных делах. Санчо повиновался, и, когда они немного опередили своих спутников, Дон-Кихот сказал ему:

– С тех пор, как ты возвратился, у меня не было ни времени, ни случая

подробно допросить тебя об исполненном тобою посольстве и полученном ответе. Теперь судьба посылает нам и время, и случай для этого, а потому не откажись удовлетворить мое желание, сообщив мне такие приятные известия.

– Можете спрашивать меня, что будет угодно вашей милости, – отвечал Санчо, – все выйдет из моего рта в таком же виде, как вошло в мои уши. Только умоляю вашу милость, не будьте впредь так мстительны.

– К чему ты говоришь это, Санчо? – спросил Дон-Кихот.

– Я говорю это к тому, – ответил Санчо, – что палочные удары влетели мне сейчас скорее из-за ссоры, которая, по милости дьявола, загорелась у нас в ту ночь, чем за мои речи о госпоже Дульцинеи, которую я люблю и обожаю, как святыню только потому, что она принадлежит вашей милости, хотя она сама, может быть, и не стоит того.

– Не возобновляй этого разговора, – отозвался Дон-Кихот, – он мне не нравится и огорчает меня. Я сейчас только простил тебя, а ты знаешь, что, как говорится, за новый грех и новое покаяние.

Во время этой беседы они увидели, что навстречу им, по той же дороге, по которой ехали они, ехал на осле человек, принятый ими сначала за цыгана. Но Санчо Панса, который не мог взглянуть ни на одного осла без того, чтобы вся его душа не устремилась туда же вместе с глазами, едва только заметил этого человека, как сейчас же узнал в нем Хинеса де-Пассамонта, а узнав цыгана, он без труда узнал и своего осла; и, действительно, Пассамонт сидел на его осле. Чтобы не быть узанным и по-выгоднее продать осла, мошенник нарядился цыганом, – цыганским языком, как и многими другими, он владел, как своим природным. Едва только Санчо увидал и узнал его, как принялся орать во всю глотку:

– А! мошенник Хинезил, оставь мое добро, отпусти мою жизнь, слезь с ложа моего оудохловения, возврати мою душу, возврати мою радость, мою гордость; беги, негодяй, утекай, бездельник, и возврати мне то, что не твое.

Впрочем, не было надобности испускать столько криков и ругательств; при первом же слове Хинес соскочил на землю и, пустившись бежать рысью, сильно похожей на галоп, вскоре далеко удрал от компании. А Санчо подбежал к ослу и, обнимая его, сказал:

– Как ты поживаешь, дитя мое, товарищ мой, радость очей моих и утробы моей, серенький ослик?

Произнося эти слова, он целовал и ласкал его, как разумное существо. Осел, между тем, молчал, не зная, что сказать, и давал Санчо целовать и ласкать себя, не отвечая ему ни одного слова. Подъехала вся компания и все

поздравили Санчо с находкой осла, а Дон-Кихот, кроме того, добавил, что письмо на получение трех ослят остается все-таки действительным. Такая щедрость заставила Санчо вновь засвидетельствовать свою благодарность.

В то время, когда рыцарь и оруженосец беседовали в стороне, священник похвалил ловкость и ум Доротеи, которые она обнаружила, сочинив сказку, хотя и коротенькую, но очень похожую на рыцарские рассказы. Доротея отвечала, что она часто развлекалась чтением рыцарских книг, но, не зная местонахождения всех провинций и морских портов, сказала наугад, будто бы она высадилась в Осуне.

– Я заметил это, – сказал священник, – и поспешил исправить. Но не кажется ли вам удивительным, с какою легкостью и как слепо верит этого несчастный гидадьго всяким вымыслам и обманам, только бы по виду и духу они подходили к бредням его книг?

– Действительно, – отозвался Карденио, – его помешательство так странно и неслыханно, что страннее этого ни у кого не хватило бы изобретательности нарочно выдумать.

– Но всего страннее то, – сказал священник, – что если вы коснетесь какого-нибудь другого предмета, кроме предмета его помешательства, по поводу которого он говорит столько нелепостей, то этот гидадьго будет рассуждать обо всем очень дельно и обнаружить свой светлый и возвышенный ум. Только бы не затрагивать странствующего рыцарства, и всякий сочтет его за человека умного и рассудительного.

## **ГЛАВА XXXI**

### **О занимательном разговоре, происходившем между Дон-Кихотом и Санчо Панса, его оруженосцем, а также и о других событиях**

Пока священник разговаривал с своими спутниками, Дон-Кихот продолжал свою беседу с Санчо.

– Друг Панса, – сказал он ему, – забудем наши ссоры, заключим мир, и скажи мне, не питая ни злобы, ни досады, где, когда и как ты нашел Дульцинею. Что делала она? что ты ей сказал? что она тебе ответила? какое лицо было у ней при чтении моего письма? кто переписал письмо тебе? одним словом, скажи все без обмана, что в этом приключении кажется тебе достойным упоминания, ничего не удлиняя, чтобы увеличить мое удовольствие, но и ничего не укорачивая, чтобы уменьшить его.

– Господин, по правде сказать, письмо мне никто не переписывал, потому что я позабыл его захватить.

– Я так и знал, – сказал Дон-Кихот, – через два дня после твоего отъезда я нашел альбом, в котором я его написал, и сильно беспокоился, не зная, что ты будешь делать, когда не найдешь письма; я думал, что ты возвратишься, как только заметишь, что письма у тебя нет.

– Я так бы и сделал, – отвечал Санчо, – если бы не заучил письма наизусть, когда ваша милость его читали. Я слово в слово рассказал его одному ключарю, который переписал его с моей памяти на бумагу, и он сказал мне, что на своем веку ему приходилось видеть много погребальных билетов, а такого искусного письма он все-таки не видывал.

– А ты еще помнишь его наизусть, Санчо? – спросил Дон-Кихот.

– Нет, господин, – ответил Санчо, – как только я пересказал его ключарю, так сейчас же увидел, что мне теперь незачем помнить его, и стал забывать. Если что и осталось еще в моей памяти, так разве начало, самонравная, то бишь самодержавная, и конечно – до гроба ваш рыцарь Печального образа. А между этими двумя вещами я вставил сотни три душ, жизней и прекрасных глаз!

– Все это недурно, – заметил Дон-Кихот; – продолжай твой рассказ. Когда ты к ней прибыл, что делала эта царица красоты? Наверно, ты застал ее за нанизыванием жемчуга на ожерелье или за вышиванием золотою ниткой какого-нибудь любовного девиза для плененного ею рыцаря.



– Я застал ее на заднем дворе, когда она провеивала две четверти хлеба, – ответил Санчо.

– В таком случае, – сказал Дон-Кихот, – ты можешь быть уверен, что хлебные зерна от прикосновения ее рук превращались в жемчуг. Но заметил ли ты, что она веяла – наверно, тяжелые и темные зерна чистейшей пшеницы.

– Нет, простую светлую рожь, – возразил Санчо.

– Уверяю тебя, – снова сказал Дон-Кихот, – что провеянная ее руками, эта рожь даст чистейший пшеничный хлеб. Но дальше – когда ты передал ей мое письмо, поцеловала ли она его? Подняла ли она его над головой? Совершила ли она какую-нибудь церемонию, достойную такого послания? Одним словом, что она сделала?

– Когда я ей передавал его, – ответил Санчо, – она сильно хлопотала за своих делом и перетряхивала порядочную пригоршню ржи в своей веялке; она сказала мне: положи, парень, это письмо на мешок; я прочитаю его потом, когда провею все, что здесь есть.

– О, скрытная красавица! – воскликнул Дон-Кихот, – ей хотелось прочитать его наедине и вполне насладиться каждым его выражением. Продолжай, Санчо. Пока она занималась своим делом, какой разговор вели вы? какие вопросы она задала тебе относительно меня? и что ты ей ответил? Доканчивай же, пожалуйста, расскажи мне все, не пропустив ни одного слова.

– Она не спрашивала меня ни о чем, – продолжал Санчо, – я сам рассказал ей, как ваша милость остались в угодую ей проделывать покаяние; сказал ей, что вы, как настоящий дикарь, бродите голым от пояса до шеи по этим горам и скалам, спите на голой земле, не едите хлеба со стола, не расчесываете бороды, а только плачете, вздыхаете и клянете свою судьбу.

– Вот это ты напрасно сказал, будто бы я проклиная свою судьбу, – прервал Дон-Кихот, – напротив, я благословляю и буду благословлять ее во все дни моей жизни за то, что она удостоила меня счастья любить такую высокую даму, как Дульцинея Тобозская. – А, в самом деле, она очень высока, – отозвался Санчо, – она выше меня, по крайней мере, пальца на три.

– А ты почему это знаешь, Санчо, – спросил Дон-Кихот, – разве ты мерялся с нею?

– Я вот как мерялся с нею, – ответил Санчо, – я помогал ей взвалить мешок с хлебом на осла, а тогда мы были очень близко друг к другу, так что я увидал, что, она целой головой выше меня.

– Но не правда ли, – добавил Дон-Кихот, – это величие ее тела

сопровождается и украшается миллионом прелестей ее ума? Ты не можешь, по крайней мере, отрицать одного, Санчо: когда ты приблизился к ней, не ощущал ли ты чудного запаха, невыразимо сладкого благоухания, какого-то восхитительного испарения, как будто бы ты находился в лавке лучшего парфюмера?

– Могу сказать, – ответил Санчо, – что я слышал такой же запах, как и от всякого мужика; этот запах происходил, вероятно, оттого, что она сильно потела за работой.

– Вовсе не по той причине, – возразил Дон-Кихот, – а потому, что у тебя был насморк или ты слышал свой собственный задах; я-то уж знаю, слава Богу, чем пахнет эта роза с шипами, эта полевая лилия, эта разжиженная амбра.

– Может быть и так, – ответил Санчо, я часто слышу от себя тот же запах, который, мне показалось, исходил от ее милости госпожи Дульцинеи. Да в том нет ничего и удивительного, один черт похож на другого.

– Итак, – продолжал Дон-Кихот, – окончив веять свой хлеб и отослав его на мельницу, что сделала она, когда прочитала мое письмо?

– Письма она совсем не читала, – ответил Санчо, – потому что, сказала она, она не умеет ни читать, ни писать; а разорвала его на мелкие кусочки и сказала, что не хочет, чтобы кто-нибудь прочитал его и в деревне уважали ее секреты, и что с вся довольно и сообщенного мною на словах о любви вашей милости к вся и о вашем изнурительном покаянии. Потом, она просила меня передать вашей милости, что она целует ваши руки и больше желает вас видеть, чем получать от вас письма; и что она умоляет вас и приказывает вам немедленно же выйти из этих кустов, перестать делать глупости и сейчас же отправиться в Тобозо, если только вам не помешает какое-нибудь важное дело, потому что она умирает от желания вас видеть. Она от всего сердца смеялась, когда я рассказал ей, что ваша милость назвали себя рыцарем печального образа. Спросил я ее, являлся ли к ней бискаец; она отвечала, что являлся и оказался очень любезным господином. Я спросил ее, тоже о каторжниках, но она отвечала, что из них никто до сих пор не показывался.

– Пока все идет хорошо, – сказал Дон-Кихот; но скажи мне, при прощании какой драгоценный подарок сделала она тебе за вести, принесенные тобой об ее рыцаре? У странствующих рыцарей и их дам существует древний и ненарушимый обычай дарить оруженосцам, служанкам или карлика, приносящим известия рыцарям об их дамах, а дамам об их рыцарях, какой-нибудь драгоценный подарок в награду за

исполненное поручение.

– Очень может быть, что и есть такой обычай, – ответил Санчо, – и мне этот обычай, по правде сказать, нравится; только он, должно быть, исполнялся в прошлые времена, а в ваше время кажется, стало обычаем дарить кусок простого хлеба с сыром, потому что именно это дала мне госпожа Дульцинея через забор заднего двора, когда я с ней простился.

– Она в высшей степени щедра, – сказал Дон-Кихот, – и если ты не получил от нее никакой золотой вещи, то только потому, что у ней ничего не было под рукой, чем бы подарить тебя. Но то, что отсрочено, еще не потеряно; я ее увижу, и тогда все устроится. Знаешь ли, чему я удивляюсь, Санчо? Это тому, что ты совершил свое путешествие в Тобозо и обратно, точно по воздуху; не прошло и трех дней, как ты уехал и возвратился, а между тем от этих гор до Тобозо, наверное, миль тридцать. Это заставляет меня думать, что какой-нибудь мудрый волшебник, мой друг, покровительствующий мне, – у меня непременно должен быть такой покровитель, иначе я не был бы настоящим и хорошим странствующим рыцарем, – этот волшебник, говорю я, помогал тебе ехать незаметно для тебя самого. Действительно, эти волшебники часто берут странствующего рыцаря из постели и вдруг тот нежданно-негаданно просыпается за тысячу миль от того места, где он лег спать. Если бы этого не было, то странствующие рыцари никогда не могли бы помогать друг другу в опасностях, как они это делают ври всяком случае. Например, случается одному из них сражаться в горах Армении с вампиром или с андриакой, или с каким-нибудь другим рыцарем, и в этой битве ему грозит опасность погибнуть; и вот вдруг, неожиданно для него, на облаке или на огненной колеснице приносится другой рыцарь, его друг, незадолго перед тем находившийся в Англии; прилетевший рыцарь вступается за своего друга, спасает ему жизнь, а вечером опять спокойно сидит у себя дома за столом и ужинает; между тем, от одного до другого места будет две или три тысячи миль. Все это совершают при помощи своей науки и своего искусства мудрые чародеи, пекущиеся о мужественных рыцарях. Итак, друг Санчо, не сомневайся в том, что ты действительно ездил в Тобозо и обратно, я тебе говорю, что какой-нибудь волшебник, мой друг, нес тебя на крыльях птицы по воздуху, а ты этого не заметил.

– Это очень может быть, – ответил Санчо, – Россинант, в самом деле, бежал с такою прытью, точно осел цыгана со ртутью в ушах.<sup>[41]</sup>

– Что ты говоришь – со ртутью! – воскликнул Дон-Кихот – тут действовала не ртуть, а легион чертей, а этот народ и сам несется и других несет, никогда не уставая, пока есть охота. Но оставим это, и скажи мне,

что, по твоему мнению, должен я теперь делать, в виду приказания моей дамы посетить ее? Я знаю, что я обязан повиноваться ее повелениям; но, в таком случае, у меня не будет возможности исполнить обещание, данное мною принцессе, сопровождающей нас, а рыцарские законы обязывают меня подчинять свою волю больше данному слову, чем собственному удовольствию. С одной стороны, меня соблазняет желание видеть мою даму; с другой, меня требуют и призывают данное обещание и слава, которой это предприятие должно покрыть меня. Но вот что я предполагаю сделать: я поскорее отправлюсь туда, где обитает этот великан; приехав туда, отрублю ему голову, восстановлю принцессу в мирном обладании ее государством, а потом, сделав это, уеду и поспешу взглянуть на эту звезду, своим светом озаряющую все мое существо. Тогда я принесу ей свое извинение, и она не только не рассердится, но даже похвалит меня за мое промедление, увидав, что оно послужило к ее вящей славе, ибо все, что я в течение своей жизни приобрел, приобретаю и приобрету оружием, – все является следствием ее благосклонности ко мне и моей преданности ей!

– Батюшки мои! – воскликнул Санчо, – да ваша милость не в полном разуме! Скажите мне, господин, что же вы весь этот путь собираетесь сделать для того только, чтобы подышать воздухом? И вы хотите упустить случай жениться на такой знатной особе, дающей вам в приданое целое королевство в двадцать тысяч миль в окружности, как я слыхал, королевство, которое изобилует всем, что нужно для человеческого пропитания и которое больше, чем Португалия и Кастилия, вместе взятые? Ах! замолчите ради Бога и краснейте своих слов, и послушайтесь моего совета, и простите меня, и женитесь в первой же деревне, где мы найдем священника; а то так и наш лицензиат сумеет чудеснейшим образом обвенчать вас; поверьте, я уж ведь пожил на свете и могу давать советы, а тот совет, который я вам сейчас даю, подходит к вам, как перчатка к руке, потому что вы знаете: лучше синица в руках, чем журавль в небе, и когда дают тебе кольцо, то протягивай палец.

– Поверь мне сам, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – если ты даешь мне совет жениться только для того, чтобы, убив великана и став королем, я мог бы осыпать тебя милостями и дать обещанное, то сообщаю тебе, что я, и не женясь, легко могу исполнить твое желание. До начала битвы я могу заключить такое условие, чтобы мне, в случае победы, все равно – женюсь я или нет, выдали какую-нибудь часть королевства, которую я мог бы отдать, кому мне вздумается; и когда мне выдадут эту часть, то кому же отдать мне ее, кроме тебя?

– Ну, это дело другое, – произнес Саинчо, – только постарайтесь ваша

милость выбрать такой кусочек, который был бы на берегу моря, чтобы в случае, если мне жизнь там не понравится, нагрузить корабль моими черными подданными и сделать с ними, как я уже сказал. А теперь бросьте пока думать о посещении госпожи Дульцинеи, а отправляйтесь-ка поскорей убить великана и покончить с этим делом, которое, кажется, с Божьей помощью, принесет вам немало добра и чести.

– Это ты говоришь справедливо, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – и я последую твоему совету: сперва съезжу с принцессой, а потом уж отправлюсь к Дульцинее; но прошу тебя никому, даже нашим спутникам, не говорить, о чем мы с тобой беседовали: если Дульцинея из скромности и стыдливости не хочет, чтобы кто-либо знал ее тайны, то было бы нехорошо с моей стороны или со стороны кого-нибудь другого рассказывать их.

– Но в таком случае, – возразил Санчо, – зачем же ваша милость посылаете всех побежденных вашей рукою представляться госпоже Дульцинее? Не значит ли это расписываться в том, что вы ее любите и что вы ее возлюбленный? Если вы со всех берете обещание отправиться преклонить веред ней колени и от вашего имени изъявить ей свою покорность, то как же вы думаете сохранить ваши тайны между вами двумя?

– О, как же ты прост и глуп! – воскликнул Дон-Кихот, разве ты не понимаешь того, что все это служит к ее славе и возвышению? Знай же, в рыцарском сословии считается великою честью для дамы иметь нескольких странствующих рыцарей, которые не простирали бы своих желаний далее удовольствия служить ей ради нее самой и не питали надежды на какую-либо иную награду за свои обеты и услуги, кроме награды быть принятыми ею в число ее рыцарей.

– Я слышал, – возразил Санчо, – что такую любовью следует любить Господа Бога, любить не из-за надежды на рай или боязни ада, а ради Него Самого, хотя я сам согласился бы любить Его и служить Ему из-за чего-нибудь другого.

– Черт разберет этого плута! – воскликнул Дон-Кихот, – как он иногда удачно скажет, точно учился к Саламанке.

– Что ж тут такого! Право, я ведь только читать не умею, – ответил Санчо.

В эту минуту цирюльник Николай крикнул, чтобы они немного подождали, так как его товарищи хотят отдохнуть у ручейка, протекавшего по соседству с дорогой. Дон-Кихот остановился к большому удовольствию Санчо, который сильно устал от столького лганья, да, кроме того, еще боялся провраться в чем-нибудь перед своим господином, потому что, хотя

он и знал, что Дульцинея была крестьянкой из Тобозо, но видеть ее никогда не видел. За это время Карденио успел переодеться в одежду, которую носила Доротея до встречи с ним; не особенно хорошая сама по себе, эта одежда была все-таки в десять раз лучше снятой им. Все остановились у ручейка и припасами, которые священник захватил с постоялого двора, принялись утолять голод, порядком мучивший всех.

В то время, как они закусывали, по дороге проходил мальчик; он остановился, внимательно посмотрел на сидевших у ручейка, затем внезапно подбежал к Дон-Кихоту и, обняв его колени, заплакал горькими слезами.

– Ах, мой добрый господин! – воскликнул он, – или ваша милость не узнаете меня? Ведь я бедный Андрей, отвязанный вашей милостью от дуба, к которому я был привязан.

После этих слов Дон-Кихот узнал его и, взяв его за руку, с важностью обратился ко всему обществу:

– Чтобы вы, господа, яснее видели, – произнес он, – как важно для мира существование странствующих рыцарей, исправляющих все неправды и обиды, учиняемые наглými и бесчестными людьми, надо вам знать, что несколько дней тому назад, проезжая мимо одного леса, я услышал жалобные крики, как будто кого-то обижали и мучили. Побуждаемый чувством долга, я направился к тому месту, откуда шли эти горькие стоны, и нашел там привязанным к дубу этого стоящего теперь перед нами мальчика, присутствие которого, к моему счастью, делает невозможным заподозривание меня во лжи. Итак, я говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с головы до пояса, и какой-то мужик – его хозяин, как я узнал потом, – рвал его тело, стегая лошадиной сбруей. Как только это зрелище предстало моим глазам, я спросил у крестьянина о причине такого жестокого обращения. Негодяй ответил мне, что это – его слуга и что он стегает его за некоторые упущения, происшедшие по его словам, скорее из плутовства, чем по глупости; ребенок же закричал на это: «Господин, он сечет меня за то, что я спрашиваю у него жалованье». Хозяин возразил на его слова какими-то вздорными оправданиями, на которые я не обратил внимания, хотя и выслушал их. Наконец, я заставил мужика отвязать мальчика и поклясться мне, что, приведя его к себе домой, он заплатит ему жалованье сполна и даже с процентами. Не правду ли я говорю, дитя мое Андрей? Заметил ли ты, как властно я приказывал твоему хозяину и как покорно он обещал мне исполнить все, что повелевала ему моя воля? Отвечай без колебаний и смущения, расскажи этим господам, как было дело, чтобы они ясно видели, полезно ли, как говорю я,

существование странствующих рыцарей на больших дорогах.

– Ваша милость говорите сущую истину, – ответил мальчик, – только кончилось то дело совсем по другому, чем вы думаете.

– Как, по другому? – воскликнул Дон-Кихот, – разве негодяй тебе не заплатил?

– Не только не заплатил, – возразил мальчик, – но, как только ваша милость выехали из леса и мы с ним остались одни, он схватил меня, привязал опять к тому же дубу и так драл меня ремнями, что содрал с меня кожу, как со святого Варфоломея; и при каждом ударе он страх как потешался над вами, так что, не будь мне больно боков, я бы сам от души посмеялся над его шуточками относительно вас! В конце концов, он довел меня до того, что мне пришлось потом лечь в больницу и лечиться от побоев, которые нанес мне этот злой человек. И во всем этом виноваты ваша милость; ехали бы вы своею дорогой и не совались бы в чужие дела, где вас не спрашивают, тогда мой хозяин дал бы мне дюжину или две ударов плеткою, а потом отпустил бы и заплатил мне жалованье. А ваша милость совсем некстати явились и обругали его, вот он и взбесился, а так как вам он отомстить не мог, то вся туча разразилась надо мною, оттого-то я теперь и стал на весь век не человек.

– Я дурно сделал, что рано уехал, – сказал Дон-Кихот, – и не подождал, пока он тебе заплатит. Мне из долгого опыта следовало бы знать, что чернь никогда не держит своих обещаний, если не видит в том своей выгоды. Но ты помнишь, Андрей, что я поклялся, если он не заплатит тебе, отыскать его, хотя бы он спрятался во чреве китовом.

– Да, это правда, – ответил Андрей, – но пользы-то от этого никакой не будет.

– А вот ты скоро увидишь, будет ли от этого польза или нет, – сказал Дон-Кихот; с этими словами он быстро встал, позвал Санчо и приказал ему оседлать Россинанта, пасшегося на лугу во время отдыха. Когда Доротея спросила его, что он намерен делать, Дон-Кихот ответил, что он намерен отыскать мужика, наказать его за жестокость и заставить заплатить Андрею до последнего мараведиса, хотя бы все мужики в мире воспротивились этому. Но она напомнила ему, что по данному им обещанию он не может пускаться ни в какое предприятие, пока не окончит ее дела, и что, зная это лучше всех остальных, он должен подавить свое справедливое негодование до возвращения из ее королевства.

– Согласен, – ответил Дон-Кихот, – Андрею нужно, стало быть, потерпеть до моего возвращения, как говорите ваша милость; но я вновь обещаю и клянусь не успокоиться до тех пор, пока он не получит должного

отмщения и своего жалованья.

– Что пользы мне от этих клятв, – возразил Андрей, – мне бы хотелось лучше получить не мщение, а с чем бы добраться до Севильи. Если у вас есть, дайте мне что-нибудь поесть или сколько-нибудь денег, и да сохранит вас Бог, а также и странствующих рыцарей, которым я желаю столько же добра, сколько я его от них видел.

Санчо вынул из сумки ломоть хлеба и кусок сыра и, подавая их мальчику, сказал:

– Возьмите, мой брат Андрей, и тогда каждому из нас выпадет своя доля в наших невзгодах.

– А какая же ваша доля? – спросил Андрей.

– Эта доля сыра и хлеба, которую я вам отдаю, – ответил Санчо, – Бог знает, будут ли они еще у меня или нет, потому что, должен я вам сказать, мой друг, нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится терпеть и голод, и нищету, и многое другое, что лучше чувствуется, чем говорится.

Андрей взял хлеб и сыр и, видя, что больше ничего ему не получить здесь, опустил голову, повернулся и приготовился наострить лыжи. Однако, уходя, он снова оборотился и сказал Дон-Кихоту:

– Ради Бога, господин странствующий рыцарь, если вы встретите еще раз меня, не вздумайте опять помогать мне, хотя бы вы увидели, что меня раздирают на куски; оставьте лучше меня с моей бедой, потому что от вашей помощи мне будет только хуже; и да покарает и истребит Господь вашу милость со всеми странствующими рыцарями вместе, которые когда-либо родились на свет.

Дон-Кихот встал и хотел было наказать дерзкого мальчишку, но он так проворно припустился бежать, что догонять его никто не решился. Сгорая от стыда, рыцарь остался на месте, и всем присутствующим стоило порядочных усилий удержаться от смеха, чтобы не разгневать его окончательно.



## **ГЛАВА XXXII**

### **Рассказывающая о том, что случилось на постоялом дворе с четырьмя спутниками Дон-Кихота**

Покончив с пышной трапезой, путешественники живо оседлали своих животных и без всяких достойных рассказа приключений прибыли на другой день на постоялый двор, столь страшный для Санчо Панса. Он бы не переступил и порога его, но этой неприятности нельзя было избежать. Хозяин, хозяйка, их дочь и Мариторна, издали увидавшие Дон-Кихота и Санчо, вышли к ним навстречу и приняли их с изъявлениями живейшей радости. Наш рыцарь принял их с важным и величественным видом и приказал приготовить лучшую постель, чем прошлый раз. Хозяйка ответила ему, что если он заплатит, лучше, то найдет княжеское ложе. Дон-Кихот обещал заплатить, и ему приготовили сносную постель на чердаке, уже служившем раз его опочивальней; рыцарь тотчас же улегся, потому что его тело было в таком же плохом положении, как и его ум.

Как только он затворил за собой дверь, хозяйка подошла к цирюльнику, подскочила к самому его лицу и, вцепившись обеими руками в бороду, закричала:

– Довольно вам, право, устраивать бороду из моего хвоста, отдавайте его сейчас же! И так просто стыд – гребень моего мужа весь в грязи, потому что нет хвоста, на который я его нацепляла.

Однако сколько она ни тащила, цирюльник не давал ей оторвать у него бороду, пока, наконец, священник не сказал ему, что он может отдать свою бороду, так как теперь ему нет надобности продолжать хитрость, и он может показаться в своем обыкновенном виде. – Дон-Кихоту же вы скажете, – прибавил он, – что после того, как вас ограбили каторжники, вы убежали и скрылись на этом постоялом дворе; а если он осведомится, куда девался оруженосец принцессы, то мы скажем, что он отправился вперед, чтобы возвестить жителям ее королевства ее прибытие в сопровождении их общего освободителя.

Тогда цирюльник с охотой отдал хвост хозяйке; все платья, одолженные ею для освобождения Дон Кихота, были тоже возвращены ей.

Красота Доротеи и привлекательная наружность пастуха Карденио приводили в изумление всех находившихся в доме. Священник заказал обед

из всего, что имелось на постоялом дворе, и, в надежде на щедрую плату, хозяин приготовил им довольно сносную трапезу. Дон-Кихот все еще спал, и все согласились не будить его, решив, что сон для него теперь полезнее обеда. За десертом в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, Мариторны и всех путешественников зашел разговор о странном безумии бедного Дон-Кихота и о том состоянии, в каком его нашли в горах. При этом хозяйка сообщила собеседникам о происшествии с влюбленным погонщиком, а потом, убедившись, что Санчо не может ее услышать, рассказала и о приключении с качаньем, развеселившем все общество. По этому поводу священник сказал, что Дон-Кихоту вскружили голову прочитанные им рыцарские книги.

– Не понимаю, как это может случиться! – воскликнул хозяин, – по моему, лучшего чтения и не найти. У меня есть две или три таких книжки, и они мне часто доставляли развлечение, и не мне одному, а многим другим. Во время жатвы здесь сходится толпа жнецов в праздничные дни, и среди них всегда выискивается один грамотный, вот он-то и берет книгу в руки, а мы все, человек тридцать, садимся вокруг него и с таким удовольствием слушаем, что, по-моему, не одна тысяча седых волос на голове убавилась у нас от этого. По крайней мере, я про себя скажу, что когда я слушаю про то, какие свирепые и ужасные удары мечем наносят друг другу рыцари, то самого разбирает страшная охота проделать тоже самое; так бы весь день и всю ночь прослушал эти рассказы.

– Я тоже, – добавила с своей стороны хозяйка, – в доме у меня только те минуты и хороши, когда вы слушаете чтение, потому что в то время вы бываете так заняты, что забываете даже браниться.

– О, совершенно верно! – вмешалась Мариторна, – я тоже, ей Богу, страшно люблю слушать эти милые истории; в особенности, в которых рассказывается о том, как какая-нибудь дама, сидя под померанцевым деревом, без стеснения обнимается с рыцарем, а дуэнья стоит на страже, умирая от зависти и страха. Для меня такие истории слаще меда. – Ну, а вы как думаете относительно этого, моя красавица? – сказал священник, обращаясь к хозяйской дочери.

– Право, сама не знаю, – ответила она, – я, как и другие, слушаю эти истории, и хоть мало понимаю, но все-таки мне весело их слушать. Но меня забавляют не удары, как моего отца: занимательней всего для меня жалобы рыцарей, которые находятся вдали от своих дам: по правде сказать, я сама иногда плачу из жалости к ним.

– Стало быть, сударыня, – сказала Доротея, – если бы они плакали из-за вас, то вы бы не дали им долго горевать?

– Не знаю, чтобы я сделала, – ответила девушка, – но только между дамами попадают такие жестокие, что их рыцари называют их тиграми, пантерами и другими погаными именами. Ах, Господи! что это за люди такие без души и без совести, которые только для того, чтобы не видеть какого-нибудь хорошего человека, заставляют его умереть или сойти сума? Не понимаю, к чему столько церемоний; если они делают так из благоразумия, то почему же они не выходят замуж? Ведь рыцари только того и добиваются.

– Замолчи, девочка! – крикнула хозяйка, – можно подумать, что ты слишком много знаешь в таких делах: в твои годы неприлично много знать и болтать.

– Должна же я отвечать, когда господин меня спрашивает, – ответила девушка.

– Принесите-ка мне эти книги, господин хозяин, – сказал священник, – мне хочется их посмотреть.

– С удовольствием, – отвечал тот и, сходя в свою комнату, принес старый сундук, запертый висячим замком, открыл его и вынул оттуда три объемистых тома. Священник взял их в руки и, открыв, увидел, что первый был Дон-Сиронилио Эракийский, другой – Феликс Марс Гирканский и третий – История Великого Капитана Гонзальва Хернандеса Кордовского с Жизнью Диэго Гарсиа Парадесского. Прочитав заглавия первых двух произведений, священник обратился к цирюльнику.

– Куманек, – сказал он ему, – как жаль, что экономка и племянница нашего друга не с нами.

– Ничего не значит, – отвечал цирюльник, – я и сам могу отнести их на задний двор, а то, не ходя далеко, можно бросить их в камин, кстати там и огонь есть.

– Вы хотите сжечь мои книги? – воскликнул хозяин.

– Только вот эти две – Дон-Сиронилио и Феликса Марса.

– Что же, – спросил хозяин, – разве мои книги еретические или флегматические, что вы хотите бросить их в огонь?

– Схизматические, хотите вы сказать, мой друг, – прервал цирюльник, – а не флегматические.

– Как вам угодно, – ответил хозяин, – но если уж сжигать какую-нибудь из них, то сжигайте, по крайней мере, книгу великого капитана и Диэго Гарсиа, потому что я скорее позволю сжечь жену и детей, чем эти две книги.

– Но послушайте, братец, – возразил священник, – эти две книги – лживые рассказы, набитые всякими глупостями и нелепостями; та же,

наоборот, истинная история. Она рассказывает жизнь Гонзальва Кордовского, который своими великими и многочисленными подвигами стяжал себе во всей вселенной имя Великого Капитана, имя славное, блестящее и только им одним заслуженное. А Диэго Гарсиа Парадесский был благородным рыцарем, уроженцем города Трухильо в Эстрамадуре и доблестным воином и обладал такою значительною телесною силою, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на самом быстром ходу. Однажды, с мечем в обеих руках ставши у моста, он загородил вход на этот мост бесчисленному войску и совершил такие подвиги, что если бы их рассказал не сам скромный рыцарь, бывший своим собственным летописцем, а писал бы более подробно кто-нибудь другой, то они заставили бы забыть все подвиги Гектора, Ахилла и Роланда.

– Экая важность! – воскликнул хозяин, – остановить мельничное колесо – нашли чему удивляться! Вы почитайте-ка, пожалуйста, что написано о Феликсе Марсе Гирканском, который одним взмахом меча перерубал пополам пятерых великанов, точно они были сделаны из репы, как монашки, которых делают дети; а в другой раз он напал на страшно большую и сильную армию, которая состояла более, чем из миллиона шестисот тысяч солдат, вооруженных с головы до ног, и перекрошил ее всю в кусочки, как будто стадо баранов. Ну, а что вы скажете о славном Сиронгилио Оракийском, который был так мужествен и бесстрашен, что однажды – рассказывает его книга – он плывал по речке и вдруг из середины воды появляется огненный дракон; как только Дон-Сиронгилио увидел его, он вскакивает на него, садится верхом на его чешуйчатые плечи и начинает с такою силою сжимать ему глотку, что дракон, чувствуя, что он его задушит, не мог ничего поделать, как только опуститься на дно реки, увлекая за собою и рыцаря, не желавшего выпустить добычу; а когда они добрались до дна, то рыцарь очутился в большом дворце и среди чудесных садов; тогда дракон обратился в прекрасного старца, наставлявшего его таких вещей, что развесишь уши, слушая их. Да вы только послушайте эту историю, господин, вы с ума сойдете от удовольствия; а что за радость в великом капитане, про которого вы говорите, и в этом Диэго Гарсиа.

Выслушав эту прекрасную речь, Доротея наклонилась к Карденио и сказала потихоньку: – Наш хозяин чуть-чуть не под парю Дон-Кихоту.

– Мне тоже кажется, – ответил Корденио, – только послушать его, и увидишь, что он воображает, будто бы все рассказанное в его книгах точно-точно так и произошло, как там описано; сомневаюсь, чтобы все босоногие монахи сумели разубедить его в этом.

– Но обратите внимание на то, братец, – повторял между тем

священник, – что ни Феликс Марс Гирканский, ни Сиронгилио Оракийский, ни все другие рыцари той же масти, описанные в рыцарских книгах, никогда на свете не существовали. Все это ложь и выдумка, все это басни, сочиненные праздными умами, которые составили их с единственной целью позабавить людей так же, как, по вашим словам, забавлялись ваши жнецы.

– Полно вам! – воскликнул хозяин, – соблазняйте другую собаку вашей костью, разве я не знаю, в каком месте мне жмет башмак и сколько у меня пальцев в пятерне? Не кормите меня кашкой, я не ребенок. Вы опять хотите заставить меня поверить, что все написанное в этих прекрасных книгах печатными буквами – ложь и нелепость, когда они печатались с дозволения и разрешения королевского совета! как будто эти люди могут позволить печатать такую пропасть лжи, столько битв и волшебств, что просто голова идет кругом!

– Но я уже вам сказал, мой друг! – возразил священник, – что все это написано для того, чтобы позабавить нас, когда нам делать нечего; подобно тому, как во всех благоустроенных государствах разрешается игра в шахматы, в мяч или на бильярде для того, чтобы занять тех, которые не хотят, не могут или не должны работать, точно так же разрешают печатать и продавать и эти книги, рассчитывая, что не найдется такого простодушного и невежественного человека, который мог бы принять какую-нибудь из рассказываемых ими историй за истинную. Если бы у меня сейчас были время и подходящая аудитория, то я многое высказал бы о рыцарских романах и о том, чего им недостает, чтобы быть хорошими и приносить отчасти и пользу, и даже удовольствие. Но придет время, когда, я надеюсь, мне представится возможность переговорить о них с людьми, имеющими силу все это устроить. А пока, господин хозяин, поверьте тому, что я вам сказал; возьмите ваши книги, разберитесь в их лжи и в их истине, и да пошлетесь вам всякое благополучие; дай Бог только, чтобы вы не захромали на одну ногу с вашим гостем Дон-Кихотом.

– О, за это не бойтесь! – ответил хозяин, – я не спячу с ума, чтобы сделаться странствующим рыцарем; я ведь понимаю, что теперь не то время, что было прежде, когда эти славные рыцари странствовали, как говорят, по свету.

Санчо, пришедший к последней части этого разговора, крайне удивился и глубоко задумался, услышав, что время странствующих рыцарей уже прошло и что все рыцарские книги наполнены глупостями и ложью; тогда в глубине своего сердца он решил подождать только, к чему приведет теперешнее путешествие его господина, намереваясь в случае, если исход

его не будет таким счастливым, как он воображал, возвратиться к своей жене и детям и приняться с ними вместе за обычные работы.

Между тем хозяин понес было свой чемодан и книги, но священник сказал ему:

– Подождите; покажите-ка, что это за бумаги, написанные таким прекрасным почерком. Когда хозяин вынул их из чемодана и отдал священнику, то последний увидал, что бумаги составляли тетрадь из восьми рукописных листов, на первой странице которой было большими буквами написано следующее заглавие:

Повесть о безрассудном любопытном.

Прочитав про себя три или четыре строчки, священник воскликнул:

– Право, заглавие этой повести меня соблазняет прочитать ее всю целиком.

– И хорошо сделаете, ваше преподобие, – ответил хозяин, – знаете ли, некоторые из моих гостей читали и нашли ее очень занимательною и потом долго просили меня уступить ее, но я не согласился на это, рассчитывая возвратить ее тому, кто позабыл у меня чемодан с книгами и бумагами. Может случиться, что их хозяин в один прекрасный день опять приедет ко мне, и, хотя наверно мне придется лишиться книг, все-таки я их возвращу ему, потому что я, хоть и содержатель постоянного двора, но христианин.

– Вы совершенно правы, мой друг, – сказал священник, – тем не менее, если повесть понравится мне, вы ведь позволите списать ее?

– О, с удовольствием! – ответил хозяин.

Во время этого разговора Карденио взял повесть и, прочитав несколько строчек, возымел тоже желание, как и священник, которого он стал поэтому просить прочитать ее вслух.

– Я с радостью прочитал бы ее, – ответил священник, – но я думаю, что для вас всех было бы полезнее употребить это время на сон, чем на чтение.

– Что касается меня, – возразила Доротея, – то для меня будет достаточным отдыхом в течение часа или двух прослушать какую-нибудь историю; притом же я недостаточно успокоилась, чтобы заснуть, как следует.

– Если так, – сказал священник, – то я готов прочитать ее, хотя бы только из любопытства; может быть, оно не будет обмануто.

Цирюльник и даже Санчо обратились к нему с такою же просьбою; видя, что он доставит удовольствие своим чтением, и надеясь, что труд его

не пропадет даром, священник тогда сказал:

– Ну, так будьте же внимательны; повесть начинается так.

## **ГЛАВА XXXIII**

### **В которой рассказывается приключение Безрассудного Любопытного**

Во Флоренции, славном и богатом городе Италии, в области Тоскане, жили два дворянина знатной фамилии, Ансельм и Лотар, связанные между собой узами такой тесной дружбы, что все звали их не иначе, как двумя друзьями. Оба они были молоды и одинакового возраста, оба обладали теми же склонностями, и этого было достаточно, чтобы они питали друг к другу взаимную привязанность. Ансельм был, правда, более склонен к увлечениям любви, а Лотар со страстью предавался удовольствиям охоты; но, при случае Ансельм жертвовал своими склонностями, чтобы подчиниться вкусам Лотара, а Лотар отказывался от своих привычек и делал угодное Ансельму. Благодаря этому, между волей одного и волей другого царствовало такое полное согласие, какого не могут проявить даже строго выверенные часы.

Ансельм был страстно влюблен в одну благородную и прелестную девицу, пользовавшуюся большим уважением в городе, как дочь почтенных родителей и как сама по себе достойная особа; с одобрения своего друга Лотара, без совета которого он не делал ничего, он решил просить ее руки. Это решение было быстро приведено в исполнение; послом от него отправился Лотар, который так удачно для своего друга повел переговоры, что в короткое время Ансельм получил в обладание предмет своих желаний, и Камилла, счастливая своим супругом, постоянно благодарила небо, а также и Лотара, посредничеству которого она была обязана своим благополучием.

В первые дни после свадьбы (они всегда бывают шумны и веселы) Лотар по обыкновению продолжал посещать дом своего друга, – от всей души поздравляя его и принимая участие в его празднествах; но когда эти праздничные дни прошли, когда прекратились посещения и поздравления, то и Лотар стал мало-помалу замедлять свои посещения дома своего друга. Он полагал – так должны рассуждать и все честные и благоразумные люди, – что женатого друга не следует посещать так же часто, как холостого; правда, тесная и искренняя дружба не может и не должна допускать никаких подозрений, но все-таки честь супруга так нежна, что ее могут уязвить даже братья, не только друзья.



Ансельм вскоре заметил охлаждение Лотара. Он осыпал его живейшими упреками, говоря, что если бы он знал, что его женитьба нарушит их привычку видаться каждый день, то он никогда бы не женился; он убеждал его, что если их взаимная привязанность во время его холостой жизни заслужила для них это сладкое прозвание двух друзей, то не следует позволить дурно понятой и безосновательной осмотрительности губить это редкое и драгоценное имя; поэтому, он просил его – если только это слово должно употребляться между ними, – стать снова хозяином в его доме, без всякого стеснения, как и прежде, входить в него и выходить, и уверял, что его супруга Камилла желает того же, чего желает он, и что она была удивлена и огорчена установившейся теперь между ними холодностью, зная, какая нежная дружба соединила их прежде.

На все эти и другие доводы, представленные Ансельмом с целью убедить Лотара возобновить свои прежние привычки, Лотар отвечал очень благоразумно и оставил Ансельма вполне удовлетворенным, добрыми намерениями своего друга. Они условились, что два раза в неделю и по праздничным дням Лотар будет обедать у Ансельма. Но, согласившись на это, Лотар решил не делать больше того, на что ему давала право честь его друга, добрая слава которого ему была дороже своей собственной. Он говорил и говорил справедливо, что супруг, которому небо даровало красивую жену, должен соблюдать осторожность, как в выборе друзей, принимаемых им у себя в доме, так и в выборе подруг, посещающих его жену, так как то, чего нельзя устроить во время прогулок, в храмах, на богомольях и публичных гуляньях (в последних мужья тоже не должны постоянно отказывать женам), то легко устраивается у подруги или родственницы, на которую более всего полагаешься. Лотар говорил также, что мужьям следовало бы иметь такого человека, который мог бы указывать им на различные упущения, которые они делают; так как зачастую бывает, что сильная любовь мужа к жене мешает ему, или благодаря его ослеплению, или из боязни огорчить жену, посоветовать ей делать что-либо похвальное или не делать чего-нибудь достойного порицания; вот этот-то именно недостаток и исправляется легко советами друга. Но где найти такого честного, преданного и благоразумного друга, какого желает Лотар? Я, по крайней мере, не знаю наверно. Таким другом только и мог быть один Лотар, который так бдительно оберегал честь своего друга и под различными предлогами старался откладывать условленные дни своих визитов для того, чтобы праздные глаза и злые языки не нашли чего-либо предосудительного в слишком частом посещении молодым, богатым и блестящим дворянином дома такой

красавицы, как Камилла; хотя ее добродетель и была непреодолимым препятствием для всякого злоречия, но все-таки он сильно заботился и о ее доброй славе и о чести ее супруга. Таким образом, большую часть дней его обусловленных посещения он употреблял на другие необходимые, по его словам, дела; итак, упреки одного, отговорки другого занимали большую часть времени их свиданий.

Однажды, во время прогулки за городом на лугу, Ансельм отвел Лотара в сторону и обратился к нему с такою речью:

– Не правда ли, друг Лотар, что я должен бы был безгранично благодарить Бога за милости, которые он мне явил, – за то, что я происхожу от таких, как мои, родителей, за то, что он щедрою рукою осыпал меня дарами рождения и состояния, и, наконец, за его еще большую милость – за то, что он дал мне тебя в друзья и Камиллу в жены – два сокровища, которые я ценю, может быть, и не столько, сколько они заслуживают, но, по крайней мере, сколько я могу? И что же? несмотря на все это благополучие, способное всякого человека сделать счастливым, никто другой в целой вселенной не влачит такой унылой и безотрадной жизни, как я. Вот уже несколько дней, как меня давит и мучает одно настолько странное и безумное желание, что я сам себе изумляюсь, и обвиняю и браню себя, стараюсь молчать и скрыть его от моего собственного сознания. Но больше я не в силах скрывать своей тайны и хочу доверить ее твоей скромности, в надежде, что, благодаря твоим дружеским стараниям излечить меня, и освобожусь от терзающей меня тоски и твоя заботливость возвратит мне радость, столь же полную, как полна та печаль, в которую повергло меня мое безумие.

С удивлением слушал Лотар Ансельма, не понимая, к чему клонится это длинное предисловие; как не пытался он сам догадаться, что за желание могло мучить его друга, он не мог напасть на след истины. Наконец, желая поскорее выйти из мучительной неизвестности, он сказал Ансельму, что высказывать свои сокровенные помыслы с помощью стольких изворотов – это значит оскорблять чувство искренней дружбы, потому что у друга всегда можно найти или советы относительно путей, или средства для исполнения задуманного.

– Ты прав, – ответил Ансельм, – и, доверяясь тебе, я хочу тебе сообщить, друг Лотар, что преследующее меня желание состоит вот в чем: я хочу знать, действительно ли моя супруга Камилла так добродетельна и совершенна, как я думаю. Но удостовериться в этом я могу не иначе, как подвергнув ее испытанию, которое обнаружило бы всю чистоту ее добродетели подобно тому, как огонь показывает чистое золото. Друг мой!

по моему мнению только такую женщину можно назвать добродетельной, которая не поддается соблазнам, и только ту женщину назову я стойкой и сильной, которая недоступна ни обещаниям, ни подаркам, ни слезам, ни постоянным преследованиям пылкого любовника. Можно ли вменить в заслугу женщине, если она не теряет своего благоразумия, когда никто не соблазняет ее на это? Удивительно ли, если скромной и робкой остается та, для которой ни разу не представилось случая пользоваться свободой, которая знает, что муж заставит ее жизнью искупить первый же проступок, как только он ее уличит? Я не могу одинаково уважать и женщину добродетельную только из боязни или за неимением возможности грешить, и ту, которая подвергалась всяческим соблазнам и преследованиям и выходит из всех этих искушений с венком победы на челе. И вот все эти соображения и многие другие, которые я мог бы привести в подтверждение моего мнения, заставляют меня желать, чтобы моя супруга Камилла подверглась такому испытанию и прошла через горнило преследований и обожания со стороны человека, имеющего право, благодаря своим достоинствам, рассчитывать на ее благосклонность. Если моя надежда осуществится, и она выйдет с пальмой торжества из той борьбы, то счастье мое будет чрезмерно, и я скажу тогда, что все мои желания исполнились, и я обладаю непоколебимо-верной женой, про которую мудрец сказал: кто ее найдет? Но если бы даже случилось и не так, как я надеюсь, то удовольствие убедиться в том, что я не ошибался в своих предположениях, облегчит мучения, причиненные мне таким дорогим опытом. Затем, еще вот что: так как, сколько возражений не представляй ты мне против моего намерения, все равно тебе не удастся отклонить меня от исполнения его, то мне бы хотелось, о друг мой Лотар, чтобы орудием, которое должно воздвигнуть здание моего благополучия, был ты. Я представлю тебе всякую возможность для действия, и ты не ощутишь недостатка ни в чем нужном, чтобы поколебать честную, скромную, целомудренную и бескорыстную женщину. Доверить такое щекотливое предприятие тебе, а не другому, побуждает меня, между прочим, уверенность в том, что если Камилла будет побеждена тобою, то в своей победе ты не перейдешь последних границ и сочтешь сделанным то, что мог бы ты сделать. Таким образом, я буду оскорблен только намерением, и тайна моего бесчестия будет погребена в твоём молчании, которое, подобно молчанию смерти, во всем касающемся меня будет длиться вечно. Итак, если ты хочешь, чтобы моя жизнь была действительно достойна названия жизни, то начинай безотлагательно же свои любовные ухаживания и действуй не с робостью и медлительностью, но с пылкостью и рвением, как я того желаю и ожидаю, веря твоей дружбе.

С такою речью обратился Ансельм к Лотару, который слушал его с большим вниманием и удивлением и не раскрывал рта, пока друг его не кончил говорить. Убедившись, что Ансельм высказал все, Лотар сначала долго смотрел на него, как будто на что-то, до сих пор им невиданное и возбуждавшее в нем страх и изумление. Наконец, после долгого молчания он сказал:

– Я все никак не могу убедить себя, друг Ансельм, в том, что все твои слова – не шутка; если бы я думал, что ты говоришь серьезно, то не дал бы тебе кончить, я бросил бы тебя слушать и тем прервал бы твою длинную речь. Я думаю, что и ты меня не знаешь, или я тебя не знаю. Но нет, я знаю, что ты – Ансельм, и ты знаешь, что я – Лотар. Мне кажется, что ты, к несчастью, уже не тот Ансельм, и ты, должно быть, думаешь, что я уже не тот Лотар, потому что ни то, что ты говоришь, не свойственно прежнему Ансельму, моему другу, ни то, что ты просишь, не может относиться к тому Лотару, которого ты знаешь. В самом деле, хорошие друзья должны подвергать друг друга испытаниям *usque ad aras*, как говорит поэт, то есть не должны требовать от дружбы чего-либо противного заповедям Божиим. Если так думал язычник о дружбе, то еще более обязан думать так христианин, который знает, что ни для какой человеческой любви нельзя жертвовать божественной любовью; хотя другу иногда и приходится ради обязанностей дружбы забывать свои небесные обязанности, то это должно происходить не по пустым причинам, а только тогда, когда дело идет о спасении чести или жизни своего друга. Скажи же мне теперь, Ансельм, какой из этих двух твоих сокровищ подвергается опасности, чтобы я мог решиться совершить в угоду тебе гнусный поступок, о котором ты меня просишь? Ни какое, конечно. Напротив, ты требуешь, кажется, чтобы я попытался отнять у тебя и честь, и жизнь, и отнять их в одно и то же время; так как ясно, что, отнимая у тебя честь, я отнимаю также и жизнь, ибо человек без чести – хуже мертвого; мало того, если я, согласно твоему желанию, стану орудием твоего несчастья, хотя сам теряю честь, а следовательно и жизнь. Послушай, друг Ансельм, будь терпелив и не прерывай меня до тех пор, пока я не расскажу тебе всего, что придет мне в ум о твоём замысле. Времени нам еще хватит для того, чтобы тебе отвечать, а мне слушать.

– Хорошо, говори, что ты хочешь сказать, – сказал Ансельм, и Лотар продолжал:

– Мне кажется, Ансельм, что твой ум стал теперь таким же, каким обладают мусульмане, которых невозможно убедить в личности их секты ни цитатами из священного писания, ни выводами, извлеченными из

умственных рассуждений или основанными на правилах веры; им нужно приводить очевидные, вразумительные и несомненные примеры, неоспоримые математические величины, вроде того, что: если от двух равных величин отнимем равные части, то оставшиеся величины будут равны между собою; они даже не понимают простых слов, им все нужно представить перед глазами, показать руками; и все-таки никому не удастся убедить их в истинности нашей святой религии. Точь-в-точь такой же способ должен и употреблять в разговоре с тобою, потому что желание, зародившееся к твоему сердцу, настолько далеко ото всего, что носило бы хотя тень разумности, что я напрасно бы потерял время, если бы попробовал убедить тебя в твоем безрассудстве, которому я пока не даю другого имени. Мне даже хотелось бы, в наказание тебе, оставить тебя в твоем безумии; но дружба не позволяет мне быть таким суровым; напротив, она обязывает меня спасти тебя от угрожающей опасности. Отвечай же, Ансельм, чтобы опасность стала и для тебя ясна: не говорил ли ты мне, что надо искушать женщину, живущую в уединении? соблазнять честную женщину? предлагать подарки бескорыстной женщине? ухаживать за благоразумной женщиной? Да, все это ты мне сказал. Но если ты знаешь, что твоя жена живет уединенно, что она честна, бескорыстна и благоразумна, то чего ты еще ищешь? Если ты полагаешь, что она выйдет победительницей из всех употребленных мною искушений, то какими именами, какими титулами рассчитываешь ты наградить ее, которые были бы выше и драгоценнее уже имеющихся у нее? Станет ли она тогда лучше, чем теперь? Или ты не считаешь ее за такую, какою ты ее называешь, или ты не знаешь сам, чего требуешь; в первом случае, зачем тебе ее испытывать? гораздо лучше и обращаться с нею как с дурною женщиной и как тебе захочется. Но, если она так добра и честна на самом деле, как ты предполагаешь, то было бы безрассудно испытывать самую истину, потому что и после испытания она будет обладать тем же уважением и тою же ценою, как и прежде. Отсюда вытекает очевидное заключение, что намерение предпринять что-либо, от чего скорее можно ожидать зла, чем добра, свойственно безрассудному и дерзкому уму, в особенности, когда ничто к тому не побуждает и не принуждает и когда ясно, что всякая такая попытка – очевидное безумие. Трудные дела предпринимаются ради Бога, ради мира и ради них обоих вместе. Дела, предпринимаемые ради Бога, делают святые, которые, нося человеческое тело, стремятся жить ангельскою жизнью; дела ради мира предпринимает те люди, которые странствуют по неизмеримым морям, в разных климатах и чужих странах с целью приобрести то, что называется дарами счастья; наконец, делами,

предпринимаемыми ради Бога и ради мира вместе, являются подвиги мужественных солдат, которые, заметив в неприятельской стене брешь, сделанную пушечным ядром, без страха и рассуждения, позабыв о грозящей им очевидной опасности и летя на крыльях одушевляющего их желания послужить вере, родине и королю, стремительно бросаются среди тысячи смотрящих им в лицо смертей. Вот дела, которые приносят честь, славу и выгоду, хотя и влекут за собою много неудобств и опасностей. Но то, которое ты намереваешься предпринять и осуществить, не приобретет тебе ни заслуги перед Богом, ни благ состояния, ни славы среди людей. Ведь если успех твоего предприятия и будет соответствовать твоему желанию, то ты не станешь оттого ни славнее, ни богаче, ни почтеннее, чем теперь; если же исход его будет иного рода, то ты почувствуешь самую глубокую скорбь, какую только можно представить. И нисколько не облегчит ее для тебя мысль о том, что твое несчастье никому неизвестно; достаточно, чтобы оно было известно самому тебе – и оно растерзает твое сердце. В доказательство этой истины, я приведу тебе одну строфу из первой части поэмы Слезы святого Петра славного поэта Луиджи Тансильо. Вот она:

«И скорбь и стыд в душе Петра растут,  
Лишь ночи тень день ясный заменит;  
Пускай к суду его не призовут, —  
Стыдится он себя, что согрешил.  
Не суд людской и не людской укор  
В великодушном сердце стыд родит; —  
Пускай от всех сокрыт его позор,  
Мысль о грехе стыдом его томит.»

Итак, тайна не уменьшит твоего горя; напротив, она заставит тебя плакать постоянно и не простыми слезами, текущими из глаз, а слезами кровавыми, текущими из сердца, подобно тому, как плакал легковерный ученый, сделавший, как рассказывают наши поэты, опыт, с вазой, от испытания которой так мудро воздерживался Рейнальд.<sup>[42]</sup> Конечно, это только поэтический вымысел, но он заключает в себе нравственную истину, достойную внимания и подражания. Но чтобы окончательно убедить тебя в том, что твое намерение безрассудно, я приведу тебе следующий пример. Скажи мне, Ансельм, если бы небо или благосклонная судьба сделали тебя хозяином, законным обладателем драгоценнейшего алмаза, который бы

своими достоинствами приводил в восторг всех ювелиров; если бы все единогласно и единодушно объявили, что блеском и чистотой воды он так прекрасен, как только это возможно для природы драгоценного камня, и если бы ты сам был такого же мнения, не имея оснований в том сомневаться, — скажи мне, благоразумно ли было бы твое желание положить этот камень на наковальню и со всего размаху молотом попробовать, так ли он крепок и прекрасен, как говорят? благоразумно ли было бы исполнить такое желание? Если бы камень выдержал такое безрассудное испытание, он все равно ничего мы приобрел бы ни в ценности, ни в славе; а если бы он разбился, что таки может случиться, то все было бы потеряно и, кроме того, его владельца, все бы назвали настоящим глупцом. Так знай же, мой дорогой Ансельм, что Камилла, в глазах света и в твоих собственных, именно и есть этот дорогой алмаз, который неблагоразумно подвергать опасности разбиться; подумай, что если она останется непорочной, то ценность ее от этого не возвысится; а если она не устоит и падет, то, сообрази сам, чем она станет, утратив свою чистоту, и не вправе ли ты будешь жаловаться на самого себя, как на единственного виновника ее и своей гибели. Помни, что в этом мире нет большей драгоценности, чем целомудренная и добродетельная женщина, и что вся честь женщин именно и состоит в той доброй славе, которой они пользуются; и если твоя супруга наделена благоразумием в высшей степени, то какое основание для тебя сомневаться в этой истине? Не забывай, друг, что женщина несовершенно существо, что не только не следует ставить ей разные препятствия, которые могут ее поколебать и заставить упасть, но надо, напротив, старательно удалять их, очищать ей дорогу от всяких преград, чтобы она могла легко и уверенно идти по пути к недостающему ей совершенству добродетели. Естествоиспытатели рассказывают, что для ловли горностая — маленького животного, обладающего шкурою блестящей белизны — охотники употребляют следующую испытанную уловку. Узнав, где горностаи проходят, они покрывают эти места грязью, а потом загоняют животных к этим местам; как только горностаи добегают до грязи, он останавливается и скорее решается отдаться в руки охотников, чем войти в грязь и замарать свою шерсть, цenia свою чистоту дороже свободы и жизни. Честная и целомудренная женщина тот же горностаи, и ее добродетель — белее снега, тот, кто желает, чтобы она не теряла ее, но тщательно хранили и блюла, не должен поступать с ней так же, как охотник с горностаем; он не должен помещать на ее пути грязь подарков и любовных ухаживаний, потому что в ней, может быть, и даже без всяких может быть, не найдется достаточно

природной силы и добродетели, чтобы побороть все эти препятствия. Добродетельная женщина подобна хрустальному зеркалу светлому и блестящему, но тускнеющему при самом легком дыхании. С женщинами надо вести себя, как с мощами: ей надо поклоняться, не касаясь ее; на нее надо смотреть, как на прекрасный полный роз и всякого рода цветов сад, в который его хозяин не пускает, однако, входить: для прохожих довольно того, что они видали и через железную решетку, могут наслаждаться его красотой и благоуханием. Наконец я приведу тебе пришедшие мне на память стихи из одной современной комедии, они как раз подходят к предмету нашего разговора. Один мудрый старец советует другому, отцу молодой девушки, воспитывать ее в уединении и взаперти и, между прочим, говорит ему:

«Как не следует пытаться  
Может ли стекло разбиться,  
Точно так же не годится  
Женщин хрупких искушать.

«Если, что легко разбить,  
Мы для опыта бросаем, —  
Неразумно поступаем:  
Что разбито, — не склеить.

«Точно так и с красотой —  
Это истина святая:  
Где скрывается Даная,  
Льет и дождь там золотой.»

— Все до сих пор сказанное мною, Ансельм, касается только одного тебя; теперь я скажу тебе кое-что относящееся до меня; если же речь моя покажется тебе длинна, извини — того требует твоя просьба вывести тебя из лабиринта, в котором ты заблудился. Ты считаешь меня своим другом, а между тем хочешь совершить дело, противное дружбе, — лишить меня чести; но это не все: ты хочешь, чтобы я отнял честь и у тебя. Что ты хочешь отнять ее у меня, это совершенно ясно: если Камилла увидит, что я волочусь за нею, как ты того требуешь, то она, несомненно, сочтет меня за бесчестного и бесстыдного человека, — настолько несвойственно будет мое поведение нашим дружеским отношениям. Несомненно также, что ты



хочешь, чтобы я отнял честь и у тебя; действительно, увидав мои притязания, Камилла подумает, что я заметил в ней какую-нибудь слабость, которая дает мне смелость питать к ней преступные желания, она сочтет себя опозоренной, а ее позор затрагивает и тебя, ее мужа. На этом-то основании и составилось общее мнение о муже неверной жены: пусть он не знает за собою и не подает никакого повода для измены жены, все равно его называют унижительным и бранным именем, и все, знающие дурное поведение его жены, смотрят на него скорее с презрением, чем с состраданием, хотя и видят, что в его несчастье виновен не он, а виновно непостоянство его неверной подруги. И я тебе скажу, почему муж изменницы-жены действительно обещен, хотя бы он ничего не знал о своем бесчестии, хотя бы с его стороны не было никакой вины, никакого повода для нее грешить. Не утомись только слушать меня, потому что все это должно послужить тебе на пользу. Когда Бог сотворил нашего праотца в земном раю, то, по словам божественного писания, он погрузил его в глубокий сон, и, пока Адам спал, вынул из его левого бока правое ребро, из которого и создал нашу праматерь Еву. Пробудившись и увидав ее, Адам воскликнул: «Вот плоть от плоти моей и кость от костей моих!» И сказал ему Бог: «Ради этой жены да оставит человек своего отца и свою мать, и будут оба единою плотью! Тогда-то и было установлено божественное таинство брака, узы которого так крепки, что только одна смерть может порвать их. Таковы сила и значение этого чудесного таинства, что, благодаря ему, двое различных людей становятся одною плотью. В добрых семействах происходит еще большее: там супруги, имея две души, обладают только одною волею. И вот, вследствие того, что супруги составляют одну и ту же плоть, проступки и пятна, марающие и безобразящие плоть супруги, падают также и на плоть супруга, хотя бы он сам и не был виноват в своем несчастье, как боль ноги или какого-либо другого члена человеческого тела ощущается всем телом, как голова чувствует боль ступни, хотя бы ей самой ничто не причиняло боли, – подобно тому и муж разделяет с женою ее бесчестие, ибо он составляет одно с нею. Всякая честь и всякое бесчестие в мире происходят от плоти и крови, а потому в случае неверности жены муж тоже должен считать себя обещенным. О, Ансельм! подумай, какой опасности подвергаешься ты, желая возмутить покой твоей добродетельной супруги; подумай, как пусто и безрассудно твое желание разбудить уснувшие страсти в ее добродетельном сердце. Обрати внимание на то, что выиграть ты можешь очень мало, а проиграть так много, что у меня не хватает слов для выражения. Если же всего сказанного мною недостаточно, чтобы отворотить

тебя от этого дурного намерения, тогда ты можешь поискать другое орудие твоего позора и несчастья; я же таковым быть не хочу, хотя бы мне пришлось понести величайшую потерю, какую я только могу представить, – потерю твоей любви.

Мудрый и благородный Лотар умолк, и Ансельм, задумчивый и смущенный, долго не мог ответить ему ни одного слова.

– Ты видел, – произнес он наконец, несколько оправившись, – с каким вниманием слушал я всю твою речь. Из твоих рассуждений, примеров и сравнений я увидал и ясный ум, которым одарило тебя небо, и одушевлявшее тебя чувство истинной дружбы. Я понял и сознал, что если я не послушаюсь твоего совета и последую своему желанию, то тем самым я буду бегать от добра и искать зла. Но, допуская все это, ты должен смотреть на меня, как на человека, одержимого одною из тех болезней, которыми иногда страдают беременные женщины, принимающие есть землю, известку, уголь и другие еще худшие вещи, вызывающие отвращение не только своим вкусом, но даже и видом. Следовательно, для того, чтобы меня вылечить, надо употреблять какую-нибудь уловку, а это совсем мы трудно. Начни только, хотя бы слегка и притворно ухаживать за Камиллой, добродетель которой вовсе не так слаба, чтобы пасть при первом же нападении: я удовлетворюсь и таким опытом, а ты исполнишь то, что ты обязан сделать во имя нашей дружбы, и не только возвратишь мне жизнь, но убедишь меня не терять и чести. Согласиться заставить тебя, между прочим, следующий довод: если я уже решился произвести это испытание, то, ведь, ты не захочешь допустить, чтобы я открыл мои безрассудные намерения кому-нибудь другому, так как это подвергало бы опасности мою честь, которую ты мне хочешь сохранить. Что же касается твоей чести, о которой Камилла, увидав твои ухаживания, может составить дурное мнение, то отсюда не может произойти ничего важного, так как вскоре же после того, как мы встретим тот отпор, на который мы надеемся, ты можешь открыть Камилле всю правду, сообщить о нашей хитрости и тем возвратить себе ее первоначальное уважение. Итак, если ты рискуешь столь немногим и вместе с тем доставляешь мне так много удовольствия, то не отказывайся сделать по-моему, какие бы возражения не представлялись тебе, и будь уверен, что, как я уже сказал тебе, едва только ты начнешь дело, я сочту его уже выигранным.

Услыхав такие слова от Ансельма, не зная больше никаких доводов и примеров, которые могли бы отвлечь его от принятого решения, и опасаясь, как бы его друг в самом деле не исполнил своих угроз и не вздумал открыть кому-нибудь свой дурной умысел, Лотар решил исполнить его

желание и повиноваться ему, приняв однако твердое решение повести дело так, чтобы удовлетворить Ансельма, не смущая души Камиллы. Он просил его не сообщать никому своего намерения и сказал, что он сам берется за это дело и начнет его, когда его другу покажется это удобнее. Ансельм так горячо обнял и поблагодарил его за согласие, как будто он получил необыкновенную милость. Они условились между собою приступить к делу с завтрашняго же дня. Ансельм обещал Лотару представлять время и случай говорить с Камиллой наедине и снабдить его деньгами и драгоценностями, как средствами искушения. Он советовал ему давать серенады его жене и сочинять хвалебные стихи, вызываясь сам сочинять их, если тому не хотелось тратить труд на это занятие. Лотар согласился на все, но с совершенно иным, чем предполагал Ансельм, намерением. После всех этих уговоров они возвратились в дом Ансельма, где Камилла с беспокойством ожидала своего супруга, запоздавшего сегодня более, чем обыкновенно. Насколько довольным остался Ансельм, настолько же озабоченным отправился Лотар к себе домой, безуспешно стараясь придумать средство, чтобы с честью выйти из этого безрассудного дела. Ночью он нашел средство обмануть Ансельма, не оскорбляя Камиллы. На следующий день он отправился обедать к своему другу, и был хорошо принят его женой, которая, зная о его дружбе с мужем, встречала его всегда приветливо. Когда обед кончился, и со стола убрали, Ансельм попросил Лотара побыть с Камиллой, говоря, что по неотложному делу ему необходимо уйти из дома на час или на два. Камилла хотела было задержать своего мужа, а Лотар вызвался его сопровождать, но Ансельм не послушался ни того ни другого: он настаивал, чтобы Лотар остался и подождал его, так как им нужно потом переговорить об одном очень важном деле, а Камиллу он просил не оставлять Лотара до его возвращения. Наконец он так хорошо сумел притвориться, будто ему необходимо уйти, что никто не догадался бы о его притворстве. Ансельм ушел, Камилла и Лотар остались одни за столом, так как все люди в это время обедали. Итак, Лотар выступил на ту арену, на которой, согласно желанию своего друга, он должен был дать битву; неприятель уже пред ним, неприятель, который одною своею красотою был в силах победить целый отряд вооруженных рыцарей. Пусть судит всякий сам, основательны ли были опасения Лотара! Он не придумал ничего лучшего, как опереться локтем на ручку кресла, положить щеку на ладонь и, извинившись пред Камиллой за свою невежливость, сказать ей, что ему хотелось бы немного отдохнуть до возвращения Ансельма. Камилла ответила ему, что ему будет удобнее спать на подушке, чем в кресле, и предлагала ему перейти в

комнату. Но Лотар не согласился на это и проспал на месте до тех пор, пока не возвратился Ансельм. Найдя Камиллу в своей комнате, а Лотара, спящим, и думая, что его друг имел во время его отсутствия достаточно времени, чтобы переговорить и даже заснуть, Ансельм с нетерпением стал ожидать пробуждения Лотара, чтобы войти и расспросить его о положении дела. Наконец желание его исполнилось, Лотар проснулся, и они оба немедленно же вышли из дома. На вопрос Ансельма Лотар ответил тогда, что ему показалось неудобным высказывать Камилле все сразу при первом же свидании, и что он ограничился пока похвалами ее достоинств, сказав, что об ее уме и красоте говорит весь город.

– Это мне показалось, – добавил он, – самым удачным началом для того, чтобы мало-помалу приобрести ее благосклонность и расположить слушать меня с удовольствием. Я употребил ту же уловку, какую употребляет дьявол, когда ему нужно соблазнить какую-нибудь душу, удаляющуюся от него; он, дух тьмы, обращается тогда в светлого ангела и прикрывается его прекрасною наружностью; только под конец он показывается в своем виде и торжествует победу, если только его обман не был раскрыт с самого начала.

Ансельм вполне удовлетворился таким ответом и обещал Лотару каждый день оставлять его с женой, не выходя из дома, а занявшись каким-нибудь делом, чтобы Камилла не заметила их хитрости.

Таким образом, прошло несколько дней, и Лотар ни слова не оказал Камилле, уверяя, однако, каждый раз Ансельма, что он обращался к ней с самою пылкою речью, но не мог заметить с ее стороны ни малейшей благосклонности, ни тени надежды, и что, напротив, она грозила открыть все мужу, если он не прогонит своих дурных мыслей.

– Пока все хорошо, – сказал Ансельм, – до сих пор Камилла устояла против слов; посмотрим теперь, устоит ли она против дел. Завтра я тебе дам две тысячи червонцев, которые ты предложишь ей в подарок, а на другие две тысячи купишь драгоценных камней и других дорогих вещей – всего, что только может ей понравиться: ведь все женщины, в особенности красивые, как бы они не были целомудренны, страстно любятрядиться и показываться людям в своих нарядах. Если она противостоит и этому новому искушению, то я удовлетворюсь совершенно и перестану надоедать тебе.

Лотар ответил, что раз уж он начал дело, то доведет его до конца, хотя и уверен, что выйдет из него побежденным и разбитым.

На следующий день он получил четыре тысячи червонцев, принесших ему вместе с собою и четыре тысячи беспокойств, потому что он не знал

теперь, что бы такое придумать для продолжения своего обмана. Во всяком случае, он решил сказать своему другу, что Камилла также недоступна для обещаний и подарков, как и для слов, и что дальнейшее продолжение испытания было бы бесполезной тратой времени. Но по воле судьбы, устроившей дела совсем иначе, Ансельм, оставив однажды, по обыкновению, Лотара наедине с Камиллой, вздумал запереться в особенной комнате и оттуда посмотреть через замочную скважину, что происходит между ними. Тогда он увидел, что в продолжение более, чем получаса, Лотар не сказал Камилле ни слова, и что он не сказал бы ей ни слова даже в том случае, если бы ему пришлось пробыть с нею целое столетие. Он понял тогда, что все рассказы его друга об ответах Камиллы были ложью и выдумкой. Чтобы окончательно убедиться в этом, он вышел из комнаты и, уведя Лотара, спросил его, что нового может он ему сообщить, и как приняла его Камилла, Лотар ответил, что он не хочет более продолжать этого дела, потому что она с таким гневом и резкостью ответила ему, что у него теперь не хватит духу обратиться в ней хоть с одним словом.

– Ах, Лотар, Лотар! – воскликнул Ансельм, – как плохо ты исполняешь свое обещание, и как плохо отвечаешь на мое крайнее доверие к тебе! Я смотрел сейчас в эту замочную скважину и видел, что ты ни слова не сказал Камилле, откуда заключаю, что ты и вообще не говорил ей ни слова. Если это так, – а что это так, я не сомневаюсь, – то зачем ты обманываешь меня и своею хитростью хочешь лишить меня других способов удовлетворить свое желание.

Ансельм больше ничего не сказал, но и этих немногих слов было достаточно, чтобы Лотар почувствовал стыд и смущение. Считая свою честь задетой этим уличеньем его в обмане, он поклялся Ансельму, что с этого времени он серьезно возьмется за порученное ему дело, и без всякого обмана постарается удовлетворить своего друга.

– Ты сам уверишься в этом, если из любопытства последуешь за мной, – сказал он ему, – хотя, впрочем, всякий труд с твоей стороны будет излишен, и мои старания удовлетворить тебя в скором времени рассеют все твои подозрения.

Ансельм поверил ему, и чтобы дать своему другу возможность действовать с большей свободой и большим удобством, решил уехать дней на восемь за город, к одному из своих приятелей. Он даже заставил этого приятеля формально пригласить его, и таким образом сумел представить Камилле благовидный предлог своего отъезда. Безрассудный и несчастный Ансельм, что ты замышляешь, что ты делаешь, что ты себе готовишь?

Подумай, что ты действуешь против самого себя, замышляешь свой позор и готовишь себе гибель! Твоя супруга Камилла добродетельна, ты в мире обладаешь ею; никто не причиняет тебе тревог, ее мысли не идут дальше стен твоего дома, ты для нее небо на земле, цель ее желаний, ее радость, мерило ее воли, во всем согласующейся с небесною волею и твоею. Если рудник ее чести, красоты, добродетели дает тебе, без всякого труда с твоей стороны, все богатства, какие в нем заключаются, и какие ты только можешь пожелать, зачем же ты хочешь снова рыть землю и отыскивать какое-то неизвестное сокровище, рискуя обрушить все богатство, которым ты теперь обладаешь, так как оно держится на слабых устоях его хрупкой природы? Помни, что тот, кто ищет невозможного, часто бывает вынужден отказаться от возможного, как это прекрасно выразил поэт, говоря:

«Ищу я в смерти бытия,  
Цвет сил в болезни годы,  
В стенах тюрьмы свободы;  
Ищу в злодее чести я.

«Но такова моя судьба —  
Не знать мне счастья никогда.  
Так небо сердцу возвестило:  
Ты невозможного просило,  
И счастье скрылось навсегда.»

На другой день Ансельм уехал, перед отъездом он сказал Камилле, что во время его отсутствия Лотар будет управлять его делами и обедать вместе с нею, и просил ее обходиться с его другом так же, как с ним самим. Камилле, как честной и благоразумной женщине, было неприятно такое распоряжение мужа; она обратила его внимание на то, что во время его отсутствия неприлично кому-либо занимать его место за столом, и что если он поступает так из недоверия в ее способности управлять домом, то пусть он сделает этот первый опыт, и он на деле убедится, что она может нести и более важные заботы. Ансельм ответил, что такова его воля, и что ей остается только склонить голову и повиноваться; Камилла так и сделала, хотя и скрепя сердце.

Ансельм уехал; Лотар с следующего же дня переселился в его дом и был вежливо и радушно принят его женой. Но она устроилась так, чтобы никогда не оставаться наедине с Лотаром, и постоянно была с кем-нибудь

из прислуг, чаще всего с своей горничной Леонеллой, которую она очень любила, как воспитывавшуюся вместе с всю с самого юного возраста, и, выходя замуж, взяла вместе с собою. В первые три дня Лотар ничего не сказал Камилле, хотя он и мог бы говорить с нею в то время, пока, убрав со стола, люди наскоро, согласно приказанию хозяйки, обедали. Леонелла получила даже приказание обедать раньше Камиллы, чтобы потом безотлучно находиться при ней; но у горничной голова была занята другими делами, приходившимися ей больше по вкусу, и потому она, нуждаясь в свободном времени, часто не исполняла приказания своей госпожи. Напротив, как будто ей это было приказано, она все чаще и чаще оставляла госпожу наедине с гостем. Но безупречное обращение Камиллы, строгое выражение ее лица и скромность всей ее наружности – все это сковывало язык Лотара. Но те же добродетели Камиллы, которые налагали молчание на язык Лотара и тем ограждали ее, в конце концов послужили ей во вред: язык Лотара молчал, а воображение работало свободно и могло на досуге созерцать очаровательную наружность Камиллы, способную взволновать мраморную статую, не только сердце живого человека. Все время, в которое он мог бы говорить, Лотар смотрел на все и все больше и больше убеждался, насколько она достойна быть любимой. Эти мысли мало-помалу стали грозить ему нарушением его обязанностей к другу. Сто раз собирался он уехать из города и бежать, чтобы больше никогда не видеть ни Ансельма, ни Камиллы; но он уже чувствовал, что его приковывало к месту удовольствие смотреть на нее. Он боролся с собою, он делал усилия заглушать радость, испытываемую им при виде ее. Наедине с собою, он осыпал себя упреками в безумной страсти и называл себя плохим другом и даже плохим христианином; потом он начинал сравнивать себя с Ансельмом и, в конце концов, убеждался, что он, Лотар, менее достоин осуждения за недостаток верности, чем его друг – за свое безумие и слепое доверие, и что если бы он Богу мог представить такие же оправдания, какие он может представить людям, то ему нечего бы было бояться наказания за свой грех. Одним словом, достоинства и красота Камиллы, вместе с благоприятным случаем, который доставлял ему сам неблагоприятный супруг, восторжествовали в конце концов над верностью Лотара. Через три дня после отъезда Ансельма, проведенных им в постоянной борьбе с своими желаниями, и в созерцании красоты предмета, к которому его неудержимо влекла страсть, Лотар признался Камилле в своей любви; он сделал это признание с таким волнением и с такою страстью, что смущенная Камилла не нашла ничего лучшего сделать, как только встать с места и войти в свою комнату, не ответив ему ни слова. Но

такое холодное пренебрежение не лишило Лотара надежды, зарождающейся вместе с любовью; напротив, тем дороже стало для него обладание Камиллою. Она же, после такого неожиданного поступка Лотара, не знала, что предпринять. Наконец, считая неприличным, да и небезопасным предоставлять неверному другу время и случай вторично говорить ей такие речи, она решилась в ту же ночь послать одного из своих слуг к Ансельму с запискою следующего содержания:



## **ГЛАВА XXXIV**

### **В которой продолжается повесть о Безрассудном Любопытном**

«Говорят, что плохо приходится войску без генерала и крепости без начальника, я же скажу, что еще хуже оставаться молодой и замужней женщине без мужа, когда они расстаются не по каким-либо важным причинам. Мне так плохо без вас и разлука с вами так невыносима для меня, что, если вы немедленно не возвратитесь, то мне придется переехать к родителям, хотя бы ради этого я должна была оставить ваш дом без сторожа; тот же сторож, которого вы мне оставили, если он только заслуживает этого имени, склонен заботиться, как мне кажется, больше о своем удовольствии, чем о вашей пользе. Вы догадливы, поэтому я не скажу вам больше ни слова, да больше нечего и не следует говорить».

Получив это письмо, Ансельм понял, что Лотар начал свои ухаживанья, и что Камилла оказала ему такой прием, какого Ансельм и желал. В восторге от такого известия, он ответил Камилле, чтобы она ни в каком случае не оставляла дома, и что он в скором времени возвратится. Камиллу такой ответ Ансельма сильно удивил и доставил в еще большее, чем прежде, затруднение, так как теперь она боялась и остаться дома и еще более отправиться к родителям. Остаться, значит подвергать опасности свою честь, уехать – ослушаться приказания мужа. После некоторого колебания она выбрала из этих двух зол худшее, то есть остаться и даже не избегать общества Лотара, чтобы ничем не подавать прислугам повода для пересудов. Она теперь даже раскаивалась в том, что написала мужу, опасаясь, как бы он не вообразил, что она сама позволила себе какую-нибудь вольность и тем подала Лотару повод позабыть о должном уважении к ней. Но, уверенная в непоколебимости своей чести, она поручила себя защите Бога и своей добродетели, и, надеясь молча устоять против всего, что будет угодно сказать Лотару, решила, во избежание ссоры, скрыть все от мужа. Она придумывала даже отговорки, чтобы выгородить Лотара в случае, если Ансельм спросит о причине, заставившей ее написать письмо. Приняв такое очень честное, но мало благоразумное решение, она на следующий день снова виделась с Лотаром, который на этот раз так горячо повел свое нападение, что твердость Камиллы начала колебаться, и ей пришлось призвать на помощь всю силу

своей добродетели, чтобы в своих взорах не обнаружить сердечного сочувствия, возбужденного в ней признаниями и слезами Лотара. Но от внимания последнего ничто не ускользало, и страсть его все больше и больше воспламенялась. Наконец Лотар счел необходимым употребить все для осады этой крепости, пока еще не возвращался Ансельм. Он напал на нее со стороны пристрастия к похвалам ее красоты, ибо ничто так успешно не побеждает тщеславия красавицы, как то же тщеславие, употребленное языком лести. И действительно, он так искусно сумел подвести подкоп под твердыню ее добродетели и привел в действие такие орудия войны, что Камилле, будь она хоть из бронзы, приходилось сдаться. Лотар просил, молил, плакал, льстил, настаивал, проявлял столько страсти и искренности, что, в конце концов, разрушил все укрепления добродетели Камиллы и овладел тем, чего более всего желал, но на что менее всего надеялся. Камилла сдалась, Камилла была побеждена. Но что в том страшного? разве дружба Лотара осталась непоколебимой? Поразительный пример, показывающий нам, что единственное средство победить любовь это – бежать ее, и что никто не должен решаться на борьбу с этим могущественным врагом, так как для того, чтобы восторжествовать над его человеческими силами, нужны божественные силы. Одна только Леонелла знала о падении своей госпожи, потому что плохие друзья и новые любовники не могли скрыть от нее своей тайны. Опасаясь, как бы Камилла не перестала дорожить его любовью и не подумала, что он соблазнял ее случайно и без серьезных намерений, Лотар не открыл ей проекта Ансельма и не сказал, что ее супруг сам способствовал успеху его любви. Через несколько дней возвратился домой Ансельм и не заметил, чего ему недостает, хотя не доставало того, что он выше всего ценил и чего больше всего стал бы жалеть. Он немедленно же отправился к Лотару, и застал его дома. Оба друга обнялись, и прибывший сейчас же осведомился о новостях, несущих ему жизнь или смерть.

– Могу тебе сообщить только одну новость, мой друг – ответил Лотар, – что жена твоя, по справедливости, может служить примером и славою всех добродетельных женщин. Все мои слова были сказаны на ветер; мои предложения были ею отвергнуты, мои подарки – не приняты, мои притворные слезы – осмеяны. Одним словом, Камилла – сокровищница красоты, храм, в котором воздвигнут алтарь целомудрию, и пребывают скромность, чистота и все добродетели, способные украсить честную женщину. Возьми обратно, друг, свои деньги и драгоценности; мне не было надобности их трогать, потому что честь Камиллы не купить такую презренною ценою, как подарки и обещания. Удовлетворись этим

Ансельм, и не предпринимай другого испытания. Если ты вышел сухим из моря тревог и подозрений, обыкновенно внушаемых женщинами, не пускайся же опять в океан новых бурь: не призывай другого лоцмана и не испытывай прочности корабля, с которым небо предназначило тебе совершить твой путь в этом мире, убедись лучше, что ты достиг надежной гавани, укрепись хорошенько на якорях благоразумия и оставайся в стоянке до тех пор, пока тебе не будет предъявлен долг, от уплаты которого не в силах освободить никакая знатность.

Восхищенный Ансельм поверил словам Лотара, как будто они были изречены каким-нибудь оракулом. Тем не менее он просил его не оставлять предпринятого дела, хотя бы только из любопытства, для препровождения времени, и с меньшею настойчивостью, чем прежде.

– Мне хочется, – сказал он, – чтобы ты написал несколько стихов, воспевающих ее под именем Хлорис, а я скажу Камилле, что ты влюблен в одну даму, которую ты назвал так для того, чтобы иметь возможность воспевать ее красоту, не покидая должного уважения к ней. Если тебе самому не хочется писать стихов, то я сам берусь сочинить их.

– Не надо – возразил Лотар, – музы не так враждебны ко мне, чтобы изредка не навестить меня. Расскажи Камилле о моей мнимой любви, а стихи я сочиню сам, хотя, может быть, и не такие, каких заслуживает воспеваемый ими предмет, но во всяком случае лучшие, какие я могу.

Когда оба друга – неблагоразумный и изменник, уговорились между собою, Ансельм возвратился домой, спросил Камиллу, какая причина заставила ее написать ему записку. Камилла, удивлявшаяся, почему этот вопрос не был предложен ей раньше, ответила, что ей показалось тогда, будто бы Лотар стал смотреть на нее менее почтительно, чем прежде, когда ее муж был дома; но потом она в этом разубедилась и увидала, что это только ее пустое воображение, и что Лотар избегал ее присутствия и всяких случаев быть вместе с всю. Ансельм сказал, что ее подозрение не основательно, так как ему известна страстная любовь Лотара к одной благородной девице в городе, воспеваемой им под именем Хлорис, и что такого преданного друга, вообще, нечего опасаться, если бы даже его сердце и было свободно. Если бы Камилла не была предуведомлена Лотаром о том, что об этой вымышленной любви он рассказал Ансельму только для того, чтобы иметь возможность воспевать саму Камиллу, то, наверно, она попала бы в мучительные сети ревности; но, будучи предупреждена, она спокойно выслушала эту новость.

На другой день, когда они еще сидели за столом, после десерта, Ансельм попросил Лотара прочитать какое-нибудь из стихотворений,

сочиненных им в честь своей возлюбленной. Хлорис, говоря, что так как Камилла не знает его дамы, то он может говорить о ней все, что ему угодно.

– Да если бы Камилла и знала ее, – возразил Лотар, – то и тогда мне нечего скрываться, потому что когда влюбленный воспевает красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, то этим он не причиняет ни малейшего ущерба ее доброй славе. Но, как бы то ни было, вот сонет, написанный мною вчера по поводу холодности Хлорис:

<i>Сонет.</i>
---------------

«В тиши ночной, когда на смертных сон слетает,  
И мир в его объятьях сладких почиет,  
Я небесам и Хлорис отдаю отчет  
В страдании, которое конца не знает.

«Когда же солнце край востока позлащает,  
Являясь из пурпурных его ворот,  
Опять в моей душе страдание встает  
И слезы и мольбы к тебе возобновляет.

«Когда ж, взойдя на звездный свой престол небесный,  
На землю посылает солнце луч отвесный,  
Вдвойне я чувствую моих терзаний гнет.

«Но вот вернулась ночь, и с ней – опять страданья,  
И в той борьбе жестокой дух мой тщетно ждет  
От неба жалости, от Хлорис – состраданья.»

Сонет понравился Камилле, а еще больше Ансельму, который похвалил его и сказал, что дама, должно быть, уж слишком жестока, если ее не трогают такие искренние признания. – В таком случае, – воскликнула Камилла, – по-вашему, то, что пишут влюбленные поэты, – все верно?

– Они говорят тогда не как поэты, – ответил Лотар, – а как влюбленные, и потому все их слова – не только истинны, но и не достаточны.

– В этом нет никакого сомнения, – подтвердил Ансельм, хотевший, казалось, объяснить мысль Лотара Камилле, которая настолько же мало

думала о хитрости Ансельма, насколько сильно была влюблена в Лотара. Камилла, зная, что все стихи и признания ее любовника предназначались ей, и что в действительности она была этой Хлорис, просила Лотара прочитать еще какой-нибудь другой сонет, если он помнит.

– Я помню еще один, – ответил Лотар, – но он, по моему мнению, не так хорош, как первый, или вернее сказать, хуже первого. Впрочем, судите сами:

**Сонет.**

«Жестокая, отверженный тобою,  
Скорей я кончу жизнь у ног твоих,  
Чем откажуся с пламенной мольбою  
К тебе стремиться в помыслах моих.

«Покинутый любовью и судьбою,  
Когда во мне иссякнет сил родник,  
В стране забвенья сердце я открою; —  
В нем узрит твой запечатленный лик.

«Пусть будет он мне в горе утешеньем,  
Когда, подавленный твоим презреньем,  
Я испущу отчаяния крик.

«Страшись, пловец, когда гроза играет,  
А океан безбрежен и велик,  
И бег ладьи звезда не направляет!»

Ансельм похвалил и второй сонет, прибавляя, таким образом, одно кольцо за другим к той цепи, которой он скреплял и сковывал свой позор. Действительно, чем более бесчестил его Лотар, тем почетнее становился он в своих собственных глазах, и с каждой из ступеней, по которым Камилла спускалась в глубину своего унижения, она выше и выше возносилась во мнении своего мужа к совершенству добродетели и доброй славы. Однажды, оставшись одна с своей горничной, Камилла сказала ей:

– Мне стыдно, милая Леонелла, что я могла так низко ценить себя и так легко броситься в объятия Лотара, не заставив его даже ухаживанием купить обладание мною. Боюсь, как бы он не обвинил меня в опрометчивости и легкомыслии, не поняв того, что у меня не хватило сил

противостоять его пилкой страсти.

– Не огорчайтесь напрасно, моя дорогая госпожа, – ответила Леонелла, – ни одна дорогая вещь не теряет своей цены оттого, что ее дают скоро. Говорится даже, что кто дает скоро, дает вдвое.

– Да, – сказала Камилла, – но говорят также, что кто себя мало ценит, стоит еще того меньше.

– К вам эта поговорка не применима, – возразила Леонелла, – ведь любовь, как я слыхала, и ходит и летает; за тем она бежит, за этим ползет, одного охлаждает, другого воспаляет, ранит налево и убивает направо. Случается, что она дает волю своим желаниям и в одну минуту достигает цели; утром оно только что подступает к крепости, а с вечера заставляет уж ее сдаться, потому что никакая сила не устоит против силы любви. Если это так, то чего вам бояться? И Лотар, вероятно, так же думает. Для покорения вас любовь избрала своим орудием отсутствие господина, и потому ей надо было поспешить, чтобы успеть совершить во время его отсутствия задуманное, не давая, как говорится, времени; а то Ансельм мог вернуться, и туда пришлось бы оставить дело в несовершенном виде. У любви, для исполнения своих желаний, нет лучшего помощника, как случай; случай помогает ей во всех делах, в особенности в начале. Все это мне хорошо известно не столько понаслышке, но еще больше по опыту; как-нибудь я расскажу вам кое-что о себе, потому, что ведь я тоже человек, и в жилах у меня течет молодая кровь. Притом же, сударыня, вы сдались не сейчас же, а только после того, как Лотар открыл всю душу в своих взорах, во вздохах, в речах, в подарках, и вы узнали, стоит ли его любить. А если так, то нечего пугать себя разными сомнениями и жеманничать; будьте уверены, что Лотар дорожит вами не меньше, чем вы им дорожите; и будьте счастливы и довольны тем, что поймавший вас в сети любви достоин своей добычи. И в самом деле у него не только имеются все четыре качества на S,<sup>[43]</sup> какие должны быть у настоящего любовника, но достоинств его хватит даже на целую азбуку. Послушайте, я прочитаю ее вам наизусть.

Тут служанка стала высчитывать достоинства Лотара, которых хватило на каждую букву азбуки за исключением X, как грубой буквы, и Y, не имеющей подходящего слова. Камилла сильно смеялась над этой азбукой и убедилась, что Леонелла опытнее в любовных делах, чем это казалось бы с первого раза. Леонелла же призналась ей, что она любит одного молодого человека из хорошего семейства в том же городе. Это признание смутило Камиллу, которая теперь стала опасаться, как бы это обстоятельство не сделалось причиной раскрытия ее позора. Она осыпала Леонеллу вопросами, желая разузнать, ни зашли ли они при своих свиданиях дальше

разговора, и та, отбросив всякую скромность, бесстыдно ответила, что она перестала уже забавляться словами. Известная истина, что проступки госпожи заставляют часто терять стыд и служанку, которая, зная, как госпожа ее делает ложный шаг, и сама не стесняется хромать на обе ноги, не беспокоясь о том, что это для всех заметно. Камилле оставалось только попросить Леонеллу не рассказывать своему любовнику об ее любви и вести свои дела, как можно осторожнее, чтобы они не дошли до сведения Ансельма или Лотара. Служанка обещала ей это, но держала свое слово так, что возбуждала в Камилле постоянные опасения, как бы из-за Леонеллы не погибла ее репутация.

Зная о падении своей госпожи, смелая и бесстыдная Леонела сделалась так дерзка, что стала приводить своего любовника в дом, вполне уверенная, что ее госпожа, если и узнает, не посмеет выдать ее. Такие-то последствия часто влечет за собой слабость женщин: они делаются рабынями своих собственных служанок и бывают вынуждены покрывать все их низкие проделки. Это испытала на себе и Камилла, которая, часто зная, что, Леонелла заперлась в одной из комнат с своим любовником, не только не осмеливалась ее бранить, но даже принуждена бывала помогать служанке проводить любовника и наблюдать за тем, как бы не застал его ее муж.

Однако, несмотря на все предосторожности, Лотар все-таки увидал любовника, когда тот на рассвете выходил из дома. Не догадываясь, кто бы это мог быть, он принял его сначала за привидение; но потом, увидав, как он закутанный в плащ, шагал, осторожно прокрадываясь, Лотар отбросил эту детскую мысль и остановился на другой догадке, которая погубила бы их всех, если бы Камилла не сумела исправить зла. Лотар вообразил, что этот человек, выходивший в такой ранний час из дома Ансельма, был там не у Леонеллы, – мог ли он помнить, что существует на свете какая то Леонелла? – а у Камиллы, которая, решил он, так же легкодоступной оказалась и для другого, какой оказалась для него. Таково и еще одно из последствий, которые влечет за собой порочное поведение женщины, нарушившей свой супружеский долг; она теряет доверие к своей чести даже в глазах того, ради кого она ею пожертвовала, уступив его ухаживаниям; ее любовник, в свою очередь, думает, что она и ради других так же жертвует своею честью, как пожертвовала ею для него, и всякое подозрение такого рода, зародившееся в его уме, становится для него непогрешимой истиной. В эту минуту Лотар, казалось, потерял рассудок и всякое благоразумие. Разъяренный, ослепленный терзавшее его сердце ревностью, весь горя нетерпеливым желанием отомстить ни в чем

неповинной пред ним Камилле, он, без всяких рассуждений и размышлений, немедленно же бросился к спавшему еще Ансельму.

– Узнай, – сказал он ему, – узнай, Ансельм, что я уже несколько дней борюсь с самим собою; принуждая себя признаться тебе в том, что невозможно и нечестно скрывать от тебя; узнай, что крепость Камиллы сдалась и готова сделать все, что я захочу. Если я раньше не открывал тебе этой роковой правды, то только для того, чтобы убедиться, действительно ли это с ее стороны преступное легкомыслие, и не притворяется ли она, с целью испытать меня и увериться, серьезно ли я веду свою любовную осаду, начатую с твоего позволения. Я думаю также, что если бы она была тем, чем она должна бы была быть, и чем мы ее считали, то она сообщила бы тебе о моих поисках. Но, видя, что она медлит признаться тебе в этом, я склонен считать искренним ее обещание принять меня, как только тебя не будет дома, в комнате, которая тебе служит уборною (там, действительно, происходили свидания Лотара с Камиллою). Однако мне не хотелось бы, чтобы ты немедленно же подверг мщению изменницу, потому что, грех совершен ей пока только мысленно и до совершения его на деле еще далеко; до того времени Камилла может изменить свое намерение и раскаяться; до сих пор ты, во всем, кроме одного обстоятельства, в точности следовал моим советам, поэтому послушайся и теперь моего совета, чтобы тебе не ошибиться в своих подозрениях и действовать вполне сознательно. Притворись будто бы ты уезжаешь на два, на три дня, как с тобой это несколько раз случалось, а на самом деле спрячься в уборной, – там, за драпри и мебелью, спрятаться очень удобно. Тогда оба мы своими собственными глазами увидим, чего хочет Камилла. Если ее намерение действительно преступно, чего надо скорее опасаться, чем надеяться на противоположное, тогда ты обдуманно и без всякого шума отмстишь ей за свой позор.

Бедный Ансельм остоленел, уничтоженный таким признанием Лотара. Действительно, оно поразило его в то время, когда он всего менее ожидал его, когда он уже начинал с восторгом думать, что Камилла вышла победительницей над притворными происками Лотара, и наслаждался радостным сознанием ее торжества. Долго оставался он неподвижным и безгласным, опустив глаза вниз; наконец он воскликнул:

– Ты поступал так, Лотар, как я и ожидал того от твоей дружбы; я во всем следовал твоим советам; делай же и теперь, как будет по-твоему лучше, и храни тайну такого неожиданного события.

Лотар обещал ему это и, уйдя от него, стал горько раскаиваться в своем непростительном и безумном поступке, когда подумал, что он и сам



бы мог отомстить Камилле, не прибегая к такому жестокому и бесчестному способу. Он проклинал свою нерассудительность, упрекал себя в опрометчивости и не знал, что предпринять, чтобы исправить сделанное, найти разумный исход из этого положения, в которое его поставила собственная глупость. В конце концов, он решился открыться во всем Камилле и, так как в случаях видеться с нею у него недостатка не было, то он отправился к ней в тот же день. Только что увидав его, Камилла сказала ему:

– Если бы знали, друг Лотар, горе, которое терзает мое сердце и когда-нибудь разорвет его в груди. Леонелла до того дошла в своем бесстыдстве, что каждую ночь приводит к себе любовника и держит его у себя до самого утра; судите сами, как это опасно для моей репутации, и какое подозрение может возникнуть у всякого, кому пришлось бы увидеть его выходящим от меня в такие ранние часы. Но больше всего меня огорчает то, что я не могу не прогнать ее, ни сделать ей выговор; ведь ей известны наши отношения, а потому я должна молчать об ее поведении и постоянно бояться, как бы от этого не произошло какого-нибудь несчастья.

При первых словах Камиллы Лотар подумал, что она прибегает к хитрости для того, чтобы уверить его, будто виденный им человек приходил к Леонелле, а не к ней, но увидав, что она совершенно искренно плачет, тревожится и просит ей помочь ей в этом затруднении, он убедился в истинном положении дела, и тогда его раскаяние и стыд еще более усилились. Он попросил Камиллу перестать огорчаться и сказал ей, что он найдет средство положить предел дерзости Леонеллы; затем он сообщил ей обо всем, что он в припадке ярости и ревности рассказал Ансельму, и о составленном ими заговоре, согласно которому Ансельм должен был спрятаться в уборной и стать таким образом свидетелем измены, какую будет награждена ею нежная любовь. Он просил у ней прощения за его безумие и совета, как его поправить и выйти из запутанного лабиринта, в который их завело его злополучное безрассудство. Камилла была сильно встревожена признанием Лотара и осыпала его нежными упреками за дурное мнение о ней и за еще худшее решение, принятое им. Но так как женщина от природы обладает умом, неспособным на зрелое размышление, но более находчивым, чем у мужчины, и на доброе и на злое, то Камилла сейчас же нашла средство исправить такую, по-видимому, непоправимую ошибку. Она оказала Лотару, чтобы Ансельм, согласно уговору, спрятался в уборной, потому что она этим испытанием еще надеется облегчить им возможность продолжать свои любовные свидания без тревог и опасений. Не раскрывая ему всего своего плана, она сказала

ему только, чтобы в то время, когда Ансельм будет сидеть в засаде, он вошел на зов Леонеллы и отвечал на все вопросы, которые ему предложат, там, как будто бы он не знает, что здесь спрятан Ансельм. Напрасно Лотар упрашивал ее объяснить ему свое намерение для того чтобы он мог действовать более сознательно и обдуманно; Камилла повторяла, что он должен только отвечать на вопросы, которые ему будут. Она не сообщила ему больше никаких подробностей из боязни, чтобы он не отказался от исполнения прекрасного, по ее мнению, проекта и не придумывал других менее удачных.

Лотар удалился, а на другой день Ансельм, под предлогом посещения своего друга, жившего за городом, уехал из дома, но немедленно же возвратился и спрятался, что ему было очень легко сделать, так как Камилла и Леонелла искусно предоставили ему для того всяческие способы. Сидя спрятанный Ансельм испытывал все муки, какие только могут терзать человека, готовившегося собственными глазами увидеть гибель своей чести, и с горестью думал, что он теряет свою дорогую Камиллу. Как только Камилла уверилась, что Ансельм уже спрятался, они обе вошли в комнату, и тяжело вздохнув Камилла воскликнула:

– Увы, милая Леонелла! не лучше ли будет, если ты возьмешь шпагу Ансельма, которую я тебе велела принести, и пронзишь это бесчестное сердце, бьющееся в моей груди, прежде, чем я приведу в исполнение то, о чем я тебе молчу из боязни, как бы ты не помешала? Но нет, несправедливо, чтобы я одна понесла наказание за чужую вину. Я хочу сначала узнать, что такое заметили во мне бесстыдные глаза Лотара, что могло бы внушить ему смелость признаться мне в преступном желании, которое он, презрев и мою честь и свою дружбу к Ансельму, не посовестился предо мной обнаружить. Открой это окно, Леонелла и подай ему знак; он, наверно, дожидается на улице, надеясь вскоре удовлетворить свое развратное намерение, но прежде я удовлетворю свое, настолько же благородное, насколько и жестокое, намерение.

– Ах, моя дорогая госпожа! – ответила ловкая Леонелла, отлично знавшая свою роль, – что вы хотите делать этой шпагой? Убить себя или Лотара? Но ведь та или другая из этих крайностей все равно повредит вашей доброй славе. Забудьте лучше ваше оскорбление не пускайте этого злодея теперь, когда он застанет нас одних в доме. Не забывайте, что мы, ведь, слабые женщины, а он мужчина и смелый мужчина, который, под влиянием своей слепой страсти, может с вами сделать хуже, чем отнять у вас жизнь, не дав вам времени привести в исполнение ваш план. Будь проклята доверчивость господина Ансельма, впустившего к себе в дом

такого развратника! Но, сударыня, если вы его убьете, как я догадываюсь о вашем желании, что будем делать с ним, с мертвым?

– Что мы будем делать с ним? – сказала Камилла, – оставим его погребать Ансельму: для него, вероятно, будет не трудом, а наслаждением погребать свой собственный позор. Зови же этого изменника, наконец; мне кажется, что, медля своим законным мщением за обиду, я нарушаю свою супружескую верность.

В Ансельме, слушавшем этот разговор, каждое слово Камиллы переворачивало все его мысли. Когда же он услышал об ее решении убить Лотара, он хотел было выйти из своей засады и помешать совершению такого дела. Однако, повинуясь желанию посмотреть, к чему приведет такое смелое и благородное решение, он остался на месте и только приготовился во время появиться и предотвратить несчастье. В эту минуту Камилла притворно упала в глубокий обморок, и камеристка, положив ее на стоявшую там постель, принялась горько плакать.

– Ах, я несчастная! – восклицала она – неужели мне суждено видеть, как на моих руках умрет этот цветок целомудрия, этот пример добродетели, этот образец женщин!

И она продолжала причитать в том же роде, заставляя думать, что она – несчастнейшая и преданнейшая из служанок, а госпожа ее – вторая Пенелопа; Камилла вскоре очнулась и, открыв глаза, воскликнула:

– Что же ты, Леонелла, не зовешь этого вероломнейшего друга, друга истинного, какого только освещало солнце и покрывал мрак ночной? Беги, лети, спеши, чтобы медлительность не погасила воспламенившегося во мне огня гнева, и мое справедливое мщение не иссякло в угрозах и проклятиях.

– Сейчас позову, сударыня, – ответила Леонелла, – но прежде отдайте мне эту шпагу, а то я боюсь, как бы вы в мое отсутствие не сделали того, что заставило бы любящих вас плакать всю жизнь.

– Не беспокойся, милая Леонелла, – ответила Камилла, – как ни проста и смела кажусь я тебе, решив защищать свою честь все-таки не Лукреция, которая, как известно, убила себя, не совершив никакой вины и не отомстив сначала виновнику своего несчастья. Умирать, так я умру, отмстив, как следует, тому, кто своей вольностью заставил меня без вины проливать слезы.

Леонелла заставила еще несколько раз просить себя, прежде чем пойти позвать Лотара, но, наконец, она вышла из комнаты и, оставшись одна, в ожидании ее возвращения Камилла стала разговаривать сама с собою:

– Боже, прости мне! не благоразумнее ли было бы отпустить Лотара,

как я это уже много раз делала, чем давать ему право считать меня за легкомысленную и бесчестную женщину, хотя время и разубедит его в этом? Да, это, конечно, было бы лучше; но разве бы я была отомщена, разве бы была удовлетворена честь моего супруга; если бы изменник вышел отсюда, умывая руки в том деле, которое его заставили сделать бесчестные мысли? Нет; пусть он жизнью заплатит за дерзость своих желаний, и пусть мир узнает, если он должен знать, что Камилла не только сохранила должную верность своему супругу, но я отомстила тому, кто осмелился нанести ему оскорбление. Однако не лучше ли бы было открыть все Ансельму? Но я уже говорила ему ясно о том в посланном ему письме и если бы он тогда же не принял против этого зла, то, стало быть, он по излишку доброты и доверчивости не может допустить, чтобы в душе его недостойного друга могла заключаться хотя бы малейшая мысль, направленная против его чести; я сама долго не верила этому и никогда бы не поверила, если бы его наглость не проявилась в богатых подарках, беспредельных обещаниях и постоянных слезах. Но что пользы теперь от этих размышлений? Разве смелое решение необходимо так осторожно взвешивать? конечно, нет. Так прочь отсюда, измена! ко мне, мщение! Явись изменник, войди, умри, а там будь, что будет. Чистой я перешла в обладание того, кого небо дало мне в супруги, чистой я и останусь, хотя бы мне пришлось для того обогреть его своею целомудренною кровью и невинною кровью бесчестнейшего из друзей, какие только когда-либо в свете оскверняли святое имя дружбы.

Говоря, таким образом, Камилла быстрым и твердым шагом ходила по комнате, с обнаженною шпагою в руке, делая яростные жесты, так что могло показаться, что она потеряла разум и превратилась из нежной женщины в отчаянного головореза.

Ансельм, скрытый драпировкой, сзади которой он притаился, все видел и слышал. Изумленный, он уже решил, что виденного и слышанного им более, чем достаточно для того, чтобы рассеять его подозрения, и, потому, хотел прекратить испытание раньше прихода Лотара, опасаясь, как бы не вышло чего дурного. Но когда он уже собирался покинуть свое убежище, чтобы обнять и вывести из заблуждения свою супругу, он был удержан возвращением Леонеллы, вошедшей, ведя Лотара за руку. Увидав его, Камилла провела острием шпаги черту на полу и обратилась к Лотару с следующими словами:

– Лотар, слушай внимательно, то, что я тебе скажу. Если у тебя к несчастью, хватит смелости перейти эту черту на полу или даже приблизиться к ней, то я немедленно же пронжу себе сердце шпагой,

которую я держу в руке. Прежде чем ты ответишь что-либо на это предупреждение, я хочу сказать тебе несколько слов, и ты выслушай их молча. Потом ты можешь отвечать, что тебе будет угодно. Прежде всего, я хочу, Лотар, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты Ансельма, моего супруга и какого ты мнения о нем; потом скажи мне, знаешь ли ты меня, разговаривающую с тобой. Сперва, без смущения и колебания отвечай на это, потому что предложенные мною вопросы решить не трудно.

Лотар не был настолько прост, чтобы не догадаться о задуманной Камиллою хитрости в ту же минуту, как только она велела ему спрятать Ансельма. Поэтому он быстро нашелся и так кстати ответил ей, что они сами могли бы легко поверить своему обману, как самой очевидной истине. Вот, что ответил он ей:

— Я никак не думал, прекрасная Камилла, что ты позовешь меня с целью предлагать мне такие странные вопросы о намерении, приведшем меня сюда. Если ты делаешь так для того, чтобы отдалить награду, обещанную моей страсти, то ты напрасно так делаешь, потому что желание блаженства горит во мне и мучает меня тем сильнее, чем ближе становится надежда на достижение его. Но чтобы ты не сказала, будто бы я отказываюсь отвечать на твои вопросы, я отвечу тебе, что я знаю твоего супруга Ансельма, что мы знакомы между собою с самого нежного детства; что же касается до нашей дружбы, так же хорошо тебе известной, как и нам самим, то я ничего не хочу говорить о ней, чтобы не делать ее свидетельницей оскорбления, которое я наношу ей, повинуюсь любви, могущественной любви, извиняющей и более тяжелые проступки. И тебя я тоже знаю, и обладание тобой для меня так же драгоценно, как и для обладающего тобою; если бы было иначе, то разве бы я решился ради женщины, обладающей меньшими прелестями, чем ты, позабыть о своих обязанностях и преступить святыне законы дружбы, теперь нарушенные мною и попираемые таким страшным врагом, как любовь?

— Если ты это признаешь, смертельный враг всего достойного любви, — возразила Камилла, — то как же ты осмеливаешься появляться пред женщиной, служащей, как тебе известно, зеркалом, в которое смотрится тот, на кого ты бы должен был обратить свои взоры в эту минуту, чтобы увидеть, как несправедливо ты его оскорбляешь? Но горе мне несчастной! я теперь отдаю себе отчет в том, что заставила тебя потерять уважение ко мне. Наверно, это был какой-нибудь слишком вольный поступок с моей стороны, — я не хочу называть его предосудительным, потому что он мог произойти не умышленно и только благодаря небрежности, которую часто позволяют себе женщины, когда они не видят необходимости остерегаться

кого бы то ни было, – если это не так, то скажи мне, изменник, когда я ответила на твои мольбы, хотя одним словом или одним жестом, способным возбудить, в тебе малейшую надежду на исполнение твоих желаний? Когда твои любовные речи не были отвергнуты, не были встречены холодностью и суровостью моих речей? Когда я давала веру тысячам твоих обещаний или принимала твои соблазнительные подарки? Но так как я не могу поверить, чтобы можно было упорствовать в своих любовных преследованиях, не поддерживая себя какой-нибудь надеждою, то я должна приписать себе вину в твоей дерзости; наверно какая-нибудь невольная небрежность с моей стороны поддерживала так долго твой добровольный план обмана. Поэтому я хочу себя наказать и обрушить на себя кару, заслуженную моим проступком. Но чтобы ты видел, что жестокая с собой, я буду такой же и с тобою, я хотела сделать тебя свидетелем жертвы, которую я хочу принести опозоренной чести своего супруга, оскорбленной тобою так глубоко, как это было для тебя возможно, и мною тоже, не старавшейся избегать всех случаев, способных возбуждать и поддерживать твои преступные намерения. Итак, повторяю, меня более всего мучает и огорчает подозрение, что какая-нибудь оплошность с моей стороны могла возбудить в тебе такие гнусные мысли; благодаря этому-то подозрению я и хочу наказать себя своими собственными руками, так как если бы я стала искать другого палача кроме самой себя, то мой проступок непременно сделался бы всем известным. Но я не хочу умирать одна; я хочу увлечь с собою и того, смерть которого исполнит меру моего мщения, чтобы он узнал, что правосудие всегда настигнет развращенность, где бы она ни скрывалась.

Произнеся эти слова, Камилла с невероятною силою и легкостью бросилась на Лотара; она казалась так твердо решившейся пронзить ему сердце, что сам Лотар не мог быть вполне уверенным, серьезны или притворны ее намерения, и был принужден употребить всю свою ловкость и силу, чтобы успевать уклоняться от наносимых ею ударов. Между тем Камилла, увлекшись исполнением своей хитрости, решила для того, чтобы придать ей еще более истинный вид, пожертвовать своею собственной кровью. Видя, что она не может настигнуть Лотара, или скорее притворяясь, будто бы она не может этого сделать, она воскликнула:

– Если судьбе не угодно, чтобы я вполне удовлетворила свое желание, то по крайней мере, она не настолько могущественна, чтобы помешать мне удовлетворить его половину. Сделав усилие освободить схваченную Лотаром шпагу, она обратила ее на себя и, направив острие за такое место, где оружие не может войти глубоко, воткнула его над левою грудью около

плеча; затем она упала, как будто потеряла сознание. Лотар и Леонелла одинаково были поражены изумлением и страхом при такой неожиданности и не знали, что думать, когда увидели Камиллу, распростертую на полу и обливавшуюся собственной кровью. Вне себя и почти не дыша, Лотар бросился, чтобы вырвать у ней шпагу; и увидав, что рана была легкая, он успокоился и снова стал удивляться искусству и изобретательности прекрасной Камиллы. Впрочем, чтобы до конца исполнить свою роль, он долго и печально причитал над телом Камиллы, как будто бы она скончалась, и осыпал проклятиями и себя и того, кто был первым виновником несчастья. Так как он знал, что его друг Ансельм все слышит, то он говорил такие вещи, что всякий послушавший их пожалел бы его самого еще больше, чем Камиллу, хотя бы и был уверен, что она умерла. Леонелла, взяв ее на руки, положила на постель и стала умолять Лотара отыскать кого-нибудь, кто бы мог тайно полечить ее госпожу. Она просила у него также совета, что сказать господину относительно раны, если он возвратится, прежде чем госпожа, вылечится. Лотар ответил ей, что она может сказать все, что ей будет угодно, так как он не в состоянии теперь давать советы; он посоветовал ей только попробовать остановить текущую кровь и добавил, что сам он отправляется туда, где никто его больше не увидит. Затем с выражениями сильнейшего горя и сожаления он стремительно покинул дом. Очутившись один и убедившись, что его никто не может заметить, Лотар стал долго и часто креститься, изумляясь мужеству Камиллы и превосходной игре Леонеллы. Он представлял себе, как сильно должен быть убежден Ансельм в том, что его жена вторая Порция, и горел желанием увидеться с ним, чтобы вместе отпраздновать это событие, в котором, как нельзя лучше, была скрыта правда и представлена ложь.

Между тем Леонелла унимала кровь своей госпожи, текшую лишь столько, сколько было нужно для того, чтобы сделать хитрость правдоподобной. Омыв рану вином, она, как умела, завязала ее, повторяя во все время лечения такие речи, что даже если бы им не предшествовали и другие, они одни были бы в состоянии уверить Ансельма в том, что в Камилле он обладает живым воплощением добродетели. К словам Леонеллы присоединились слова Камиллы, начавшей обвинять себя в трусости за то, что у ней не хватило мужества именно в ту минуту, когда это ей было нужно, чтобы отнять опротивевшую жизнь. Она спрашивала совета у служанки относительно того, надо ли сообщать обо всем происшедшем ее дорогому супругу; но Леонелла посоветовала ей скрыть все, говоря, что иначе он счел бы своей обязанность мстить Лотару и тем

подвергать опасности свою собственную жизнь, и что добрая жена не только не должна подавать мужу повод для ссоры с кем бы то ни было, но даже обязана, насколько возможно; устранять их. Камилла ответила, что этот совет ей нравится и потому она ему последует, но, что во всяком случае, нужно что-нибудь придумать, чтобы сказать Ансельму о происхождении этой раны, которую он непременно увидит. На это Леоннелла ответила, что она не умеет лгать даже с добрым намерением.

– А разве я умею? – воскликнула Камилла, – у меня не хватило бы духу придумать и представить ложь даже в том случае, если бы дело шло о моей жизни. Если мы не знаем выхода из этого затруднения, то лучше, не прибегая ко лжи, сказать ему голую правду.

– Сударыня, – ответила Леоннелла, – до завтрашнего дня я подумаю о том, как нам сказать ему, притом же рана нанесена в такое место, что, может быть, нам удастся скрыть ее, если небу будет угодно послать нам помощь, в наших честных намерениях. Успокойтесь, государыня, и постарайтесь оправиться, чтобы господин не застал вас в таком волнении. А остальное оставьте на мое попечение и на милость Божию, всегда являющуюся на помощь благим намерениям.

Как и можно догадаться, Ансельм с напряженным вниманием слушал и смотрел, как представляли трагедию смерти его чести, трагедию, в которой действующие лица играли свои роли так естественно и правдиво, как будто действительно превратились в тех, кем они притворялись. С нетерпением ожидал он ночи, когда ему можно было бы пойти из засады и отправиться к своему лучшему другу Лотару, чтобы обменяться взаимными поздравлениями с находкой драгоценного камня, открытого при испытании добродетели Камиллы. Обе комедиантки не замедлили представить ему удобный способ выбраться из дому и, воспользовавшись случаем, он сейчас же побежал к Лотару; он нашел его дома и трудно было бы рассказать о всех объятиях, которыми он наградил своего друга, обо всех словах, которые он говорил о своем счастье, и о похвалах, которыми он осыпал Камиллу. Лотар слушал его, не обнаруживая никакого знака радости, потому что совесть постоянно напоминала ему о том, в каком заблуждении находится Ансельм, и упрекала его в оскорблении своего друга. Ансельму не трудно было заметить, то Лотар не сочувствует его радости, но приписывал эту холодность тому, что его друг оставил Камиллу с тяжелою ранюю и считал себя виновником ее несчастья. Поэтому он сказал ему, между прочим, чтобы он не беспокоился о случившемся с Камиллой, так как рана, наверное, легкая, раз она уговаривалась со служанкой скрыть ее от мужа.



– Итак, – добавил он, – брось всякие опасения относительно этого; тебе остается только радоваться вместе со мною, потому что единственно благодаря твоим стараниям и твоему искусству, я достиг величайшего блаженства, какого только я смел желать. Отныне все мои досуги я хочу посвятить сочинению стихов в хвалу Камилле, которой я создам вечную славу в памяти грядущих времен.

Лотар похвалил благое намерение своего друга и обещал с своей стороны способствовать созиданию великолепного храма славы его жене.

После этого события Ансельм так и остался наилучше обманутым в целом мире мужем, он сам ввел за руку в свой дом того, кого он считал орудием своей славы, но кто был, на самом деле, орудием его позора; и Камилла приняла Лотара с сердитым выражением на лице, но с улыбкой и радостью в душе. Этот обман имел успех некоторое время; но, наконец, колесо судьбы повернулось, позор, до сих пор так хорошо скрываемый, вышел на свет, и Ансельм жизнью заплатил за свое безрассудное любопытство.

## **ГЛАВА XXXV**

### **Рассказывающая об ужасной битве, которую дал Дон-Кихот мехам с красным вином, и содержащая конец повести о Безрассудном Любопытном**

Оставалось дочитать несколько страниц повести, как вдруг с чердака, где почивал Дон-Кихот, сбежал Сачо Панса, вне себя от испуга, крича во все горло:

– Помогите, господа, поскорее моему господину; он вступил в страшнейшую и кровопролитнейшую битву, какую только видели когда-либо мои глаза. Клянусь Богом! он так хватил мечом великана, врага госпожи принцессы Микомиконы, что снес ему голову, точно репу, начисто по самые плечи.

– Что вы говорите, братец! – воскликнул священник, прервав чтение.

– Как черт угораздил его на это, когда великан слишком за две тысячи миль отсюда?

В эту минуту из каморки Дон-Кихота послышался сильный шум, заглушаемый его голосом.

– Стой, мошенник! – кричал он, – стой, злодей, разбойник, грабитель прохожих; ты у меня в руках, и меч твой ни к чему тебе не послужит. – Затем послышался стук ударов мечом, попадавших по стене.

– Не след теперь, – сказал снова Санчо, – оставаться, сложа руки и развесив уши, идите поскорей, разнимите сражающихся и помогите моему господину; может помощь еще нужна, хотя великан теперь, наверно, уже мертв и отдает Богу отчет в своей прошлой дурной жизни: ведь я видел, что по земле текла кровь, а в углу валялась отрубленная голова, толстая, право, точно здоровый мех с вином.

– А чтоб меня повесили! – воскликнул тогда хозяин постоялого двора, – если этот Дон-Кихот или дон-дьявол не изрубил один из мехов с красным вином, которые полнехоньки рядом висят в головах его постели! и разлившееся-то вино этот простак и принял за кровь.

С этими словами хозяин побежал на чердак, куда за ним последовало и все общество. Дон-Кихота они застали в самом странном наряде, какой только существует на свете; на нем была надета только сорочка, спереди закрывавшая до середины его ляжки, сзади же бывшая дюймов на шесть короче. Его длинные тощие волосатые ноги были сомнительной чистоты;

на голове у него был маленький колпачок красного цвета, издавна уже собравший жир с головы хозяина, на левой руке у него было наверху то одеяло, к которому Санчо, по весьма понятным для него причинам, продолжал еще питать злобу, а в правой он держал обнаженный меч, которым он колот и рубил направо и налево, продолжая бормотать, как будто бы он в самом деле сражался с каким-нибудь великаном. Лучшее всего было то, что глаза его были закрыты, потому что он спал и во сне вступил в битву с великаном. Его воображение до того было поражено представившимся ему приключением, что ему приснилось, будто бы он уже прибыл в Микомиконское королевство и мерился силами с своим врагом. И вот воображая, что он сражается с великаном, он сыпал за мехи столько ударов, что вся комната вскоре наполнилась вином.

Когда хозяин увидел это опустошение, он пришел в ярость, бросился с сжатыми кулаками на Дон-Кихота и принялся в свою очередь осыпать его такими тумаками, что если бы Карденио и священник не схватили его за руки, он бы навсегда положил конец войне рыцаря с великаном. А бедный рыцарь все-таки не просыпался, несмотря на этот град ударов. Цирюльнику пришлось принести большой котелок холодной воды из колодца и сразу выплеснуть всю ее на тело рыцаря. Тогда только Дон-Кихот проснулся, но опять-таки не вполне, чтобы заметить свое положение. Доротея, увидев его в таком легком и коротком одеянии, не захотела войти, чтобы присутствовать при битве ее защитника с ее врагом, Санчо же ползал в это время на четвереньках, ища во всех углах голову великана, и не найдя ее, воскликнул:

– Я так и раньше знал, что в этом проклятом доме все очаровано; прошлый раз вот на этом самом месте, где я сейчас нахожусь, меня лупили кулаками и ногами, и я не знал, от кого я получаю тумаки, я никого не мог увидеть; а теперь вот эта голова не показывается, хотя я видел сам своими собственными глазами, как она была отрублена, и как кровь ручьем лила из тела.

– О каком ручье и о какой крови болтаешь ты, ненавистник Бога и всех святых? – воскликнул хозяин, – разве ты не видишь, мошенник, что и кровь и ручей эти ничто иное, как мои продырявленные мехи и красное вино, в котором плавает вся комната? Хотелось бы мне, чтобы так же плавала в аду душа того, кто их испортил.

– Ничего я этого не понимаю, – ответил Санчо, – одно только я знаю, что если эта голова не найдется, то и мое графство пропадет, как соль в воде.

Бодрствующий Санчо был хуже своего спящего господина – так

сильно вскружили ему голову обещания Дон-Кихота.

Хозяин приходил в отчаяние при виде того хладнокровия, с которым относился оруженосец к разрушению, произведенному его господином; он клялся, что в этот раз не случится уже так, как в прошлый: когда они уехали, не заплатив за постой, – и что теперь привилегии их рыцарского звания не помогут им увернуться от уплаты за все сразу, даже за швы и заплаты, которые придется сделать на козлиной коже. Священник держал за руки Дон-Кихота, который, воображая, что он окончил приключение и стоит теперь перед лицом принцессы Микомиконы, стал перед священником на колени и сказал ему:

– Отныне, ваше величие, высокая и очаровательная дама, можете жить в спокойствии, не боясь никакого вреда от этого злобного существа; и отныне же я освобождаюсь от данного мною вам слова, так как при помощи Бога и по милости той, которой я живу и дышу, я его благополучно исполнил.

– Не говорил ли я этого? – воскликнул Санчо, услышав эти слова, – по-вашему, уж не пьян ли я был, может быть? Что, неправда, что мой господин искрошил великана? Дело ясное, и мое графство ждет меня.

Кто удержался бы от смеха при виде безумствований этой парочки сумасшедших, господина и слуги? Смеялись все, кроме хозяина, призывавшего всех чертей. Наконец цирюльнику, священнику и Карденио, хотя не без большого труда, удалось снова уложить в постель Дон-Кихота который тотчас же и заснул, как человек удрученный усталостью. Они оставили его спать, а сами возвратились на крыльцо постоялого двора и стали утешать Санчо Панса в пропаже головы великана. Но еще большого труда стоило им успокоить хозяина, приведенного в отчаяние внезапной смертью его мехов. Хозяйка тоже кричала, сопровождая свои слова сильными жестами:

– Нелегкая принесла ко мне этого проклятого странствующего рыцаря, который обошелся мне так дорого. В тот раз он уехал, не заплатив за ночлег, ужин, постель, солому и ячмень, ни за себя, ни за оруженосца, ни за коня с ослом, говоря, что он – рыцарь, ищущий приключения (да пошлет Бог всякие скверные приключения и ему и всем искателям приключений, какие только есть на свете), что он не обязан ничего платить, потому что так написано в уставах странствующего рыцарства. Теперь ради него же является другой добрый господин, уносит мой хвост и возвращает его на половину меньше и весь общипанный, так что он уже теперь не годится моему мужу для прежнего дела. Потом конец, делу венец: он же разрывает мои меха и разливает вино. Пусть бы его кровь пролилась так перед моими

глазами! Но клянусь костями моего отца и вечною памятью своей бабушки, пусть не думает он уехать и на этот раз, не заплатив до последнего гроша за все, что он должен, или, ей Богу, пусть меня не зовут так, как зовут теперь, и пусть я не буду дочерью той, кто меня родил на свет.

Мариторна вторила этим речам, произнесенным хозяйкою с большою горячностью. Одна хозяйская дочка не говорила ни слова и только по временам улыбалась.

Наконец священник успокоил эту бурю обещаньем заплатить за все убытки, как за разорванные мехи и разлитое вино, так, в особенности, и за порчу хвоста, из-за которого хозяйка подняла такой страшный шум. Доротея утешала Санчо Панса, говоря ему, что так как господин его, по-видимому, действительно отрубил голову великану, то она обещает ему дать, как только ей будет возвращено мирное обладание ее государством, самое лучшее графство, какое только найдется там. Санчо утешился этим обещанием и умолял принцессу поверить тому, что он действительно видел голову великана, со всеми имеющимися у ней приметами и с бородой, доходившей до пояса, и что, если она не находится, то только потому, что в этом доме все делается волшебным образом, как он это на самом себе испытал в свою прошлую ночевку здесь. Доротея ответила, что без труда верит всему, и просила его не печалиться, так как все устроится, как он желает.

Когда мир был восстановлен, и все удовлетворились, священник пожелал дочитать повесть, до конца которой оставалось немного. Об этом его просили Карденио, Доротея и все остальное общество. Итак, чтобы доставить удовольствие всем присутствовавшим и самому себе, он стал продолжать чтение повести.

Это происшествие имело то следствие, что уверенный с этого времени в добродетели своей жены Ансельм зажил спокойною и счастливою жизнью. Камилла умышленно строила недовольное лицо в присутствии Лотара, чтобы заставить Ансельма думать противоположное об ее чувствах к его другу; с целью сделать эту хитрость еще правдоподобнее, и Лотар просил у Ансельма для себя позволения не посещать Камиллы, так как он ясно видел, что его присутствие для нее неприятно. Но по-прежнему недогадливый Ансельм ни в каком случае не соглашался на это, в тысячный раз становясь таким образом творцом собственного позора, но в своем уме считая себя творцом своего счастья. Между тем Леонилла, в восторге от своей знатной любви, с каждым днем становилась вольнее и вольнее, полагаясь на свою госпожу, смотревшую сквозь пальцы на ее дурное поведение и даже помогающую ее связи. Наконец, однажды ночью

Ансельм услышал шаги в комнате Леониллы и, желая войти, чтобы узнать, кто там шумит, заметил, что дверь кто-то удерживал. Раздраженный этим сопротивлением, он так сильно рванул дверь, что она, наконец, отворилась, и он вошел именно в то время, когда какой-то человек прыгнул из окна на улицу. Ансельм бросился было, чтобы схватить или, по крайней мере, узнать его, но Леонилла, стремительно став перед ним и обхватив его руками, непустила его.

– Успокойтесь, мой господин, – сказала она, – не делайте шума и не гонитесь на убежавшем. Он мне близок, очень близок, потому что он мой муж.

Ансельм не поверил этой увертке; в ярости он выхватил свой кинжал и, сделав вид, как будто он хочет поразить им Леониллу, сказал ей, что, если она не откроет правды, он убьет ее на месте. Испуганная и не сознававшая, что она говорит, служанка воскликнула:

– О, не убивайте меня, господин, я вам расскажу вещи поважнее, чем вы думаете.

– Говори сейчас же, – ответил Ансельм, – или ты умрешь.

– Сейчас не могу, – произнесла Леонилла, – я сильно взволнована. Оставьте меня до завтра, и я расскажу вам кое-что удивительное для вас. Поверьте, что выпрыгнувший в окно молодой человек дал мне слово жениться на мне.

Эти немногие слова успокоили Ансельма, и он дал Леонилле просимую ею отсрочку, вовсе не ожидая услышать от нее разоблачения, касающиеся Камиллы, добродетель которой он ставил вне всякого подозрения. Он вышел из комнаты, заперев в ней Леониллу, которой он сказал, что ей не выйти отсюда, пока он не услышит обещанного ею признания. Затем он поспешно отправился к Камилле и рассказал ей о происшедшем у него с ее горничной, добавив, что она обещала ему открыть очень важные вещи. Излишне говорить, поразил или нет Камиллу этот неожиданный удар. Когда она подумала, как и следовало предположить, что Леонилла откроет Ансельму все известное ей об измене госпожи, то ею овладел такой сильный страх, что у нее не хватило мужества дожидаться подтверждения своей догадки. В ту же самую ночь, как только она решила, что Ансельм заснул, она собрала свои наиболее драгоценные украшения, взяла денег и, незамеченная никем, вышла из дому и побежала к Лотару. Прибежав к нему, она рассказала ему о случившемся и просила его спрятать ее в безопасное место, или уехать вместе с нею, чтобы им обоим избежать гнева Ансельма. Смущение Лотара от посещения Камиллы было так велико, что он не знал, ни что отвечать,

ни, тем менее, что предпринять. Наконец, он предложил Камилле отправиться с ним в один монастырь, в котором его сестра была настоятельницей. Камилла согласилась на это, и Лотар со всею поспешностью, какую требовали обстоятельства, проводил ее в монастырь, где и оставил ее, а сам немедленно же уехал из города, не уведомив никого о своем отъезде.

С наступлением дня Ансельм встал, не замечая, что возле него нет уже более Камиллы; и, горя желанием поскорее узнать, что ему откроет Леонилла, побежал в комнату, где она была заперта им. Он отворил дверь, вошел в комнату, но горничной там не нашел; только постельные простыни, привязанные к окну, указали ему тот путь, которым она скрылась. Опечаленный, пошел он рассказать Камилле о своей неудаче; но не найдя и ее ни в постели, ни во всем доме, он был поражен, уничтожен. Напрасно расспрашивал он всех слуг, никто из них не мог ничего сообщить. Ища Камиллу по всем комнатам, он случайно заметил, что ее сундуки были открыты, и большая часть драгоценностей пропала. Тогда вполне ясна стала для него роковая истина, и уже не Леониллу винил он в своем несчастии. Не одевшись даже, как следует, он, полный печальных мыслей, побежал поведать о своем новом горе своему другу Лотару; но не найдя его и узнав от слуг, что он этой же ночью скрылся со всеми своими деньгами, Ансельм чуть не потерял рассудка. Как будто, чтобы окончательно свести его с ума, произошло так, что по возвращении своем он не нашел никого из прислуги: дом стоял покинутый и пустынный. Теперь он не мог ничего ни придумать, ни сказать, ни сделать и только чувствовал, как мало-помалу мутится его голова. Он рассматривал свое положение и видел себя сразу лишенным жены, друга, слуг, покинутым небом и всею природою и, сверх того, обесчещенным, так как в бегстве Камиллы он ясно видел гибель своей чести. Наконец, после долгого колебания, он решился отправиться в город к тому другу, у которого он проводил время, данное им самим для сознания своего несчастья. Он запер двери дома, сел на лошадь и, еле дышащий, пустился в путь. Но он не сделал и половины дороги, как им снова овладели печальные мысли; одолеваемый ими, он слез на землю, привязал лошадь к дереву и сам с горькими и тяжелыми вздохами повалился под ним; так и пролежал он здесь до захода солнца. В это время случилось проезжать мимо одному всаднику, ехавшему из города, и после приветствия Ансельм спросил его, что нового во Флоренции.

— Новости самые странные, каких давно не слыхали; — ответил проезжий, — повсюду рассказывают, что Лотар, этот задушевный друг Ансельма богатого, живущего близ церкви святого Иоанна, сегодня ночью

похитил Камиллу, жену Ансельма, который тоже скрылся. Об этом рассказала служанка Камиллы, схваченная губернатором в то время, когда она спускалась на простынях из окна дома Ансельма. В точности не знаю, как произошло дело; знаю только, что весь город изумлен таким происшествием, так как этого никак нельзя было ожидать, зная тесную дружбу, соединившую Ансельма и Лотара, которых, благодаря ей, так и звали, говорят, двумя друзьями.

– А не знаете ли вы, – спросил Ансельм, – куда отправились Лотар и Камилла?

– Менее всего на свете, – ответил флорентинец, – хотя губернатором уже приняты все возможные меры для открытия их следов.

– Поезжайте с Богом, господин, – сказал Ансельм.

– А вы с ним оставайтесь, – отозвался проезжий и пришпорил свою лошадь.

Такие страшные новости довели бедного Ансельма до того, что он готов был потерять не только разум, но даже самую жизнь. Он поднялся, как мог, и потащился к дому своего друга, еще не знавшего об его несчастии. Когда тот увидел его бледным, убитым и дрожащим, он сначала подумал, что Ансельм опасно заболел. Последний попросил положить его в постель и дать ему перо и бумаги. Поспешили сделать так, как он просил, и затем оставили его одного лежать в комнате, двери которой он просил запереть. Когда он остался один, то воспоминание несчастий всею тяжестью обрушилось на него и по смертельной муке, терзавшей его сердце, он ясно догадался, что жизнь его покидает. Желая оставить объяснение своей преждевременной смерти, он поспешил взять перо, но, прежде чем он успел написать все, что желал, дыхание его прервалось, и он испустил дух под ударами горя, причиненного ему его безрассудным любопытством.

На другой день, видя, что уже поздно, а Ансельма все еще не слышно, хозяин дома решил войти в комнату и узнать продолжается ли его нездоровье. Он нашел Ансельма распростертым без движения; одна половина его тела лежала на постели, другая – на письменном столе; перед ним была бумага, а в руках он держал перо, которым перед тем писал. Хозяин подошел, позвал его сначала, но, не получив ответа, взял его за руку, и, почувствовав, что она холодна, догадался наконец, что его гость умер. В страхе и изумлении он позвал всех слуг дома, чтоб и они были свидетелями несчастия. Затем он прочитал записку, которая, как он догадался вскоре, была написана рукою Ансельма и содержала следующие немногие слова: «Нелепое и безрассудное желание лишает меня жизни.



Если известие о моей смерти дойдет до слуха Камиллы, то пусть она знает, что я ее прощаю: она не была создана делать чудеса, и я не должен был требовать их от нее. Так как я был сам виновником своего позора, то было бы несправедливым...» Больше Ансельм ничего не написал, и было ясно, что на этом месте, не кончив своей фразы, он кончил свою жизнь. На другой день его друг уведомил о его смерти родственников его, уже знавших о несчастье покойного; они знали также и тот монастырь, в котором находилась Камилла, готовая последовать за своим супругом в неизбежное странствование, вследствие полученных ею вестей не об умершем супруге, а об уехавшем друге. Говорят, что, и ставши вдовою, она не хотела покидать монастыря, но и не хотела произносить монашеского обета, пока, спустя немного времени, она не узнала, что Лотар был убит в битве, данной Лотреком<sup>[44]</sup> великому капитану Гонзальву Кордовскому в королевстве Неаполитанском, куда отправился слишком поздно раскаявшийся друг. После этого известия Камилла сделалась монахиней и вскоре окончила свою жизнь в слезах и раскаянии. Таков был печальный для всех трех конец безумно начатого.

— Эта повесть, — сказал священник, — по-моему, недурна; но я не могу допустить, чтобы рассказанное ею случилось действительно. Если же это вымысел, то автор придумал неудачно, так как трудно поверить, чтобы нашелся такой глупый муж, который бы стал делать такой рискованный опыт, какой сделал Ансельм. Между любовниками это приключение предположить еще возможно; но между мужем и женою оно невозможно; рассказана же повесть, по моему мнению, недурно.

## ГЛАВА XXXVI

### Повествующая об удивительных приключениях, происшедших на постоялом дворе

В эту минуту стоявший на пороге хозяин воскликнул:

– Слава Богу, подъезжает компания прекрасных гостей! если они у нас остановятся, нам можно будет порадоваться.

– Что это за путешественники? – спросил Карденио.

– Четыре всадника, – ответил хозяин, – вооруженные копьями и щитами и с черными масками на лице; <sup>[45]</sup> среди них едет в дамском седле дама, одетая в белое платье, тоже с закрытым лицом; сзади них двое пеших слуг.

– А близко они? – спросил священник.

– Так близко, что почти у ворот, – ответил хозяин.

Услышав это, Доротея сейчас же закрыла лицо, а Карденио поспешил уйти в комнату, где спал Дон-Кихот. Едва успели они принять эти предосторожности, как компания, о которой возвестил хозяин, въехала на постоялый двор. Четыре всадника – люди прекрасной наружности и, по-видимому, богатые, – слезши на землю, поспешили снять даму с седла, и один из них, взяв ее на руки, донес до стула, стоявшего у входа в комнату, в которой спрятался Карденио. За все это время ни дама, ни всадники не снимали своих масок и не произносили ни одного слова; только когда ее посадили на стул, дама испустила глубокий вздох и, точно больная и обессиленная, уронила свои руки. Слуги отвели лошадей в конюшню. Смотревший на эту сцену священник, желая узнать, кто эти люди, так строго сохранявшие молчание и инкогнито, подошел к слугам и спросил одного из них о предмете своего любопытства.

– Право, господин, не знаю, что вам сказать о том, кто эти господа; только, кажется, они знатные люди, в особенности тот, который нес на руках даму, виденную вами; думаю так потому, что все остальные относятся к нему с почтением и делают только то, что он прикажет.

– А кто эта дама? – спросил священник.

– И о ней не умею вам сказать больше ничего, – ответил слуга, – потому что во всю дорогу я не видал и кончика ее лица. Зато вздохов – о! их я наслушался вдоволь, она так печально стонала, что можно бы было подумать, как бы она вместе со стоном не испустила и дух свой. Да и нет

ничего удивительного, что мы с товарищем ничего больше того не знаем, потому что мы сопровождаем их только два дня. Они попались нам на дороге и уговорили вас проводить их до Андалузии, обещав нам заплатить хорошенько. – Может быть, вы слышали, как они называли по имени друг друга? – спросил священник.

– Право, нет, – ответил слуга, – они все едут, не говоря ни слова, точно они дали обет молчания. Только и слышатся вздохи да раздирающие душу рыдания этой дамы; по всей вероятности, ее везут куда-нибудь против ее воли и насильно. Если судить по ее платью, то она или монахиня или, что еще более вероятно, скоро будет ею; потому-то, может быть, она так и огорчается, что ей не хочется в монастырь.

– Очень может быть, – подтвердил священник и, выйдя из конюшни, пошел к Доротее, которая, услышав вздохи неизвестной дамы и движимая состраданием, свойственным ее полу, подошла к ней и сказала:

– Что с вами сударыня? чем вы страдаете? Если ваши страдания из тех, для ухаживания за которыми женщины обладают и привычкой и опытом, то я от всего сердца предлагаю вам свои услуги.

Но печальная дама не отвечала ни слова на это и, хотя Доротея с настойчивостью продолжала свои предложения, все время хранила молчание; наконец, замаскированный всадник, которому, по словам слуги, все повиновались, возвратился к ней и сказал Доротее:

– Не теряйте напрасно времени, сударыня, предлагая свои услуги этой женщине; ей не свойственна признательность за сделанное для нее добро, и не пробуйте добиться от ней какого-нибудь ответа, если не хотите услышать из ее уст какой-нибудь лжи.

– Никогда я не, говорила лжи, – горячо воскликнула та, которая до сих пор была, как убитая, – напротив, я была слишком смиренна, слишком чужда всякой хитрости, и потому-то я так жестоко и несчастна теперь; и если для этого требуется свидетель, то я беру свидетелем вас самих – вас, которого моя чистая любовь к истине сделала лжецом и обманщиком.

Находясь близко от говорившей и отделенный от нее только дверью комнаты, в которой спал Дон-Кихот, Карденио ясно слышал весь этот разговор.

– Боже мой! – раздирающим душу голосом воскликнул он тотчас же, – что я слышу? чей голос донисся до моих ушей?

Изумленная и испуганная дама обернула голову на этот крик и, не видя никого, встала и хотела войти в соседнюю комнату; но ее спутник, следивший за всеми ее движениями, остановил ее и не давал ей сделать ни шагу более. В волнении она уронила маску из тафты, скрывавшую ее лицо,

и открыла свой небесный образ чудной красоты, которому бледность и глаза, безостановочно перебежавшие с предмета на предмет, придавали несколько дикий вид. У ней был беспокойный и испуганный, как у сумасшедшей, взгляд, и эти признаки безумия возбудили сожаление в душе Доротеи и всех присутствовавших, хотя они и не знали причины его. Всадник крепко держал ее обеими руками за плечи и, стараясь ее удержать, не мог поддерживать своей маски, которая развязалась и, наконец, упала. Тогда, подняв глаза, Доротея, державшая даму в своих руках, увидела, что господин, тоже обнявший даму, был ее супруг дон-Фернандо. Узнав его, она от глубины сердца горько вздохнула и, лишившись чувств, упала навзничь; если бы цирюльник не случился около нее и не подхватил ее на руки, она грохнулась бы на пол. Прибежавший сейчас же священник раскрыл ее лицо, чтобы sprysнуть его водою, и дон-Фернанд, – державший даму господин был он, – узнал ее и помертвел при виде ее. Он, однако, продолжал удерживать Люсинду (женщина, старавшаяся освободиться из его рук, была она), которая узнала Карденио по крику в то же время, как он узнал ее. Карденио услышал также стон Доротеи, когда она упала в обморок, и, подумав, что это простонала Люсинда, вне себя бросился из комнаты. Первым, кого он увидел, был дон-Фернанд, державший Люсинду в своих руках. Дон-Фернанд тоже немедленно узнал Карденио, и все четверо стояли немymi от изумления, будучи не в силах понять случившегося с ними. Все молчали и глядели друг на друга: Доротея устремила глаза на дон-Фернанда, дон-Фернанд – на Карденио, Карденио – на Люсинду и Люсинда – на Карденио. Первой нарушила молчанье Люсинда, обратившись к дон-Фернанду с следующими словами:

– Пустите меня, господин дон-Фернанд, во имя всего, чем вы обязаны самому себе, если ничто другое: не в силах убедить вас. Дайте мне возвратиться к дубу, которому я служу плющом, к тому, с которым не могли меня разлучить ни ваша настойчивость, ни угрозы, ни обещания, ни подарки. Посмотрите, какими необыкновенными и неизвестными путями привело меня небо к моему истинному супругу. Вы из тысячи мучительных опытов знаете уже теперь, что только могущество смерти в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же такое очевидное разрушение ваших несбыточных надежд заставит вас изменить вашу любовь в презрение, вашу благосклонность – в ненависть. Возьмите у меня жизнь, если я отдам свой последний вздох в глазах моего милого супруга, то я сочту свою смерть счастливой. Может быть, в ней он увидит доказательство той преданности, которую я к нему сохранила до последнего дыхания моей жизни.

Доротея, придя в сознание, услышала между тем слова Люсинды, по смыслу которых она догадалась, кто была она. Видя, что дон-Фернанд не выпускал из своих рук Люсинды и ничего не отвечал на ее трогательные просьбы, Доротея сделала усилие, встала, бросилась на колени у ног своего соблазнителя и, проливая ручьем слезы из своих прекрасных глаз, оказала прерывающимся голосом:

– Если лучи солнца, которое ты держишь в своих руках омраченных, не лишает твоих глаз света, то ты узнаешь, что склонившая колени у твоих ног есть несчастная, по твоей милости, и печальная Доротея, да, это я, та покорная крестьянка, которую ты по своей доброте или ради своего удовольствия возвысил до чести называться твоею; я та юная девушка, которая в невинности вела мирную и счастливую жизнь до той поры, пока, повинувшись голосу твоих настойчивых ухаживаний, твоих таких искренних, по-видимому, любовных речей, она не растворила двери скромности и не вручила тебе ключей от своей свободы; я – отвергнутая тобою, потому что ты заставил меня находиться в том месте, в котором ты меня находишь, и видеть тебя в том положении, в котором я тебя вижу. Но прежде всего я не хочу, чтобы ты подумал, будто бы я пришла сюда по следам моего бесчестия, тогда как, на самом деле, меня привели сюда мое горе и сожаление о том, что я позабыта тобою. Ты хотел, чтобы я была твоею, и ты так этого хотел, что, невозможно уже для тебя перестать быть моим, как бы сильно ни было твое желание. Подумай, мой господин, что моя чрезмерная любовь к тебе может вполне заменить красоту и благородство, ради которых ты меня покидаешь. Ты не можешь принадлежать прекрасной Люсинде, потому что ты – мой, и она не может принадлежать тебе, потому что она принадлежит Карденио. Обрати внимание на то, что тебе легче заставить себя любить ту, которая тебя обожает, чем заставить ненавидящую тебя любить тебя. Ты похитил мою невинность, и восторжествовал над моим целомудрием; мой род был тебе известен, и ты знаешь, на каких условиях я уступила твоим клятвам; для тебя не существует никакого исхода, никакого средства сослаться на ошибку и объявлять себя обманувшимся. Если это так, и если ты настолько же христианин, насколько дворянин, то к чему ты ищешь разные уловки, чтобы избежать возможности сделать меня счастливою под конец, какою ты сделал меня вначале? Если ты не хочешь сделать меня своей истинной и законной женой, какой я себя признаю, то сделай меня, по крайней мере, своею рабою; я буду считать себя счастливою и вознагражденной уже тем, что буду в твоей власти. Не допусти, покидая меня, чтобы моя честь погибла от злых клевет; не будь причиною грустной старости моих

родителей, ибо не того они достойны за свою верную службу, которую они, как добрые вассалы, несли у твоих родителей. Если тебе кажется, что ты унизишь свою кровь, смешав ее с моею, то подумай, что немного существует на свете благородных фамилий, которые бы не вступали на эту дорогу, и что благородное происхождение женщин не в состоянии возвысить знатный род. Кроме того, благородство состоит в добродетели; и если последней не найдется у тебя, чтобы возратить мне ту, что мне принадлежит, то я буду благороднее тебя. Наконец, мне остается еще сказать тебе, что волей-неволей я твоя супруга. Ручательством тому служат для меня твои слова, которые же могут быть лживы, если ты еще хвалишься тем, за что ты меня презираешь, подписка, данная мне тобою, небо, призванное тобою в свидетели своих обещаний; даже если бы этих доказательств у меня и не было, то твоя собственная совесть среди твоих греховных наслаждений возвысит свой тайный голос, возьмет под свою защиту провозглашенную мною истину и смутит твои самые сладкие радости.

Эти и многие другие слова плачущая Доротея произнесла так трогательно, проливая такие обильные слезы, что у всех присутствовавших, даже у всадников из свиты дон-Фернанда, выступили слезы на глаза. Дон-Фернанд слушал ее, не произнося ни слова в ответ до тех пор, пока ее голос не был заглушен вздохами и рыданиями. Тогда ему нужно было иметь сердце из бронзы, чтобы не тронуться знаками такого глубокого горя. Люсинда тоже смотрела на нее, так же сильно тронутая ее печалью, как и удивленная ее умом и красотой. Она хотела подойти к ней и сказать несколько слов утешения, но руки дон-Фернанда все еще удерживали ее. Между тем смущенный и растроганный дон-Фернанд, молча устремив некоторое время свои взоры на Доротею, наконец, раскрыл свои руки и, выпустив Люсинду на волю, воскликнул:

– Ты победила, очаровательная Доротея, ты победила! У кого хватило бы духа устоять против стольких истин, соединенных вместе?

Еще плохо оправившаяся от своего изнеможения Люсинда, оказавшись на свободе, снова лишилась сил и упала бы, если бы около нее не было Карденио, который стоял сзади дон-Фернанда, чтобы не быть узанным им. Отбросив всякий страх и позабыв обо всем на свете, он бросился, чтобы поддержать Люсинду и, приняв ее в свои объятия, произнес:

– Если милосердное небо желает, чтобы ты снова нашла спокойствие, прекрасная постоянная и верная дама, то нигде ты не найдешь такого надежного и невозмутимого, как в этих объятиях, принимающих тебя ныне и принимавших тебя в иные времена, когда судьба позволила мне считать

тебя своею.

При этих словах Люсинда обратила свои глаза на Карденио; она начала узнавать его по его голосу, по его виду же она окончательно убедилась, что это он. Вне себя и пренебрегая всякими условными приличиями, она обвила своими руками шеи Карденио и, прильнув своим лицом к его, воскликнула:

– Это вы, мой повелитель, о! да, это вы, истинный господин этой рабы, которая принадлежит вам, несмотря на сопротивление судьбы, несмотря на угрозы, сделанные моей жизни, связанной с вашею.

Это было странным зрелищем для дон-Фернанда и для всех присутствовавших, изумленных таким новым событием. Доротея заметила, что дон-Фернанд изменился в лице и, схватившись за рукоятку меча, по-видимому, хотел отмстить Карденио. Тогда с быстротою молнии она бросилась к его ногам, покрыла их поцелуями и слезами и, крепко сжав их, так что он не мог двигаться, проговорила:

– Что хочешь ты сделать при этой неожиданной встрече, о мое единственное прибежище? У твоих ног твоя супруга, а та, которую ты хочешь иметь своею супругою, в объятиях своего мужа. Посмотри, возможно ли для тебя переделать то, что сделало небо? Не лучше ли для тебя согласиться возвыситься и сделать равной себе ту, которая, вопреки стольким препятствиям, подкрепляемая своим постоянством, устремляет свои глаза в твои и орошает слезами любви лицо своего истинного супруга? Заклинаю тебя именем того, что есть Бог, именем того, что есть ты сам, пусть это зрелище, выводящее тебя из заблуждения, не возбуждает твоего гнева; напротив, пусть оно успокоит его, чтобы ты оставил этих двух любовников в мире наслаждаться своим счастьем все время, пока будет угодно небу. Ты обнаружишь тем величие твоего благородного сердца, и свет увидит, что разум имеет власти над тобою больше, чем страсти.

Пока Доротея говорила это, Карденио, продолжая крепко сжимать Люсинду в своих объятиях, не спускал все время своих глаз с дон-Фернанда, твердо решившись, в случае какого-либо угрожающего движения, насколько хватит сил, защищаться против него и против всех, кто пожелает напасть, хотя бы это стоило ему жизни. Но в эту минуту, подоспели с одной стороны друзья дон-Фернанда, с другой – священник и цирюльник, бывшие так же, как и добрый Санчо Панса, в числе присутствовавших при этой сцене: все окружили дон-Фернанда и умоляли его сжалиться над слезами Доротеи, и не дать ей обмануться в ее справедливых надеждах, если она говорила правду, как они были в том

убеждены.

– Подумайте, господин, о том, – добавил священник, – что не случай, как может показаться сначала, но особая воля Провидения собрала вас в таком месте, где каждый из нас менее всего ожидал этого. Подумайте о том, что только смерть может разлучить Люсинду и Карденио, и что, разлученные острием меча, они, умирая вместе, с радостью примут и самую смерть. Верх благоразумия в безнадежных, непоправимых случаях это – побеждать самого себя и обнаруживать великодушное сердце. Предоставьте же добровольно этим двум супругам наслаждаться счастьем, которое им уже посылает небо. Кроме того, обратите ваши взоры на красоту Доротеи; много ли видали вы женщин, которые могли бы, не говоря, превзойти ее в прелестях, но только сравняться с всю. К ее красоте присоединяются ее трогательная покорность и необыкновенная любовь, питаемая ею к вам. Наконец, подумайте о том в особенности, что если вы с гордостью считаете себя дворянином и христианином, то вы не можете поступить иначе, как только сдержать данное вами слово. Этим вы умилюстите Бога и удовлетворите разумных людей, которые очень хорошо знают, что красота, сопровождаемая добродетелью, обладает преимуществом уметь возвышаться до уровня всякого благородства, не унижая того, кто возвышает ее до своего величия, и что уступать силе страсти, не греша ни чем для ее удовлетворения, не представляет никакого порока.

К этим увещаниям каждый присоединил свой довод, так что благородное сердце дон-Фернанда, в котором все-таки текла знатная кровь, успокоилось, смягчилось и было побеждено могуществом истины. Чтобы показать, что он сдался и уступает благим советам, он наклонился, обнял Доротею и сказал ей:

– Встаньте, сударыня, с моей стороны несправедливо позволять стоять на коленях у ног моих той, которую и ношу в моей душе; и если я ничем не доказал сказанного мною, то это произошло, может быть, по особой воле неба, желавшего, чтобы я, видя, с каким постоянством вы меня любите, научился ценить вас так, как вы того достойно. Я прошу вас об одном: не упрекайте меня в бегстве и забвении, жертвою которых были вы, потому что та же сила, которая принудила меня сделать вас своею, впоследствии побудила меня стараться больше не принадлежать вам, если вы в том сомневаетесь, то обратите ваши взоры и посмотрите в глаза теперь счастливой Люсинды; в них вы найдете извинение всех моих проступков. Так как она нашла то, чего она желала, а я – то, что мне принадлежит, то пусть она живет спокойной и довольной долгие годы со своим Карденио;



я же на коленях буду молить небо позволит мне так же жить с моей Доротеей.

С этими словами, он снова сжал ее в своих объятиях и с такой нежностью прижался своим лицом к ее лицу, что ему стояло больших усилий не дать слезам выступить на глаза и тоже засвидетельствовать его любовь и раскаяние. Люсинда и Карденио, а также и все присутствовавшие, не сдерживали своих слез, и все так искренно плакали, одни от собственной, другие от чужой радости, что можно было бы подумать, что всех их поразило какое-нибудь важное и неожиданное происшествие. Сам Санчо разливался в слезах; впрочем, как он потом признался, он плакал только о том, что Доротея оказалась не королевой Микомикондой, которой он ее считал и от которой ждал стольких милостей.

Удивление, радость и слезы продолжались некоторое время. Наконец, Люсинда и Карденио бросились на колени перед дон-Фернандом, и в таких трогательных выражениях благодарили его за оказанную им милость, что дон-Фернанд не нашелся ничего ответить и только, заставив их встать, обнял их с живейшими знаками приветливости и любви. Затем он попросил Доротеею рассказать ему, как зашла она так далеко от своей родной страны. Доротея вкратце и с изяществом рассказала ему все, что она прежде рассказала Карденио, и дон-Фернанд, а также и его спутники были так восхищены ее рассказом, что готовы были слушать ее еще и еще, – так мило рассказывала очаровательная поселянка о своих несчастиях. Когда она окончила, дон-Фернанд в свою очередь рассказал, что произошло с ним в городе после того, как он нашел на груди Люсинды записку, в которой она объявляла, что она – жена Карденио и потому не может быть женою дон-Фернанда.

– Я хотел ее убить, – сказал он, – и убил бы, если бы меня не удержали ее родственники; со стыдом и яростью в душе покинул я тогда ее дом с намерением жестоко отомстить за себя. На другой день я узнал, что Люсинда бежала из родительского дома, и никто не знает, куда она отправилась. Наконец, через несколько месяцев я узнал, что она укрылась в одном монастыре, где обнаруживает желание остаться всю свою жизнь, если ей нельзя провести ее вместе с Карденио. Узнав это, я выбрал себе в спутники этих трех господ и отправился к монастырю, служившему ей убежищем. Не желая предварительно с нею разговаривать из боязни, чтобы, узнав о моем появлении, не усилили стражи в монастыре, я подождал дня, когда монастырская приемная была открыта, тогда, оставив двух своих товарищей у ворот, и с третьим вошел в дом, чтобы отыскать Люсинду. Мы нашли ее разговаривающей в коридоре с монахиней и, не дав

ей времени позвать к себе на помощь, привели в первую деревню, где мы могли бы найти все необходимое для ее увоза. Сделать все это было для нас легко, так как монастырь стоит уединенно вдали от жилищ. Увидав себя в моей власти, Люсинда сначала лишилась сознания; потом, очнувшись от обморока, она только и делала: что проливала слезы и вздыхала, не произнося ни слова. Так, в молчании и слезах, прибыли мы на этот постоянный двор, ставший для меня вторым небом, где оканчиваются и забываются все земные бедствия.

## **ГЛАВА XXXVII**

### **В которой продолжается история славной принцессы Микомикона с другими занимательными приключениями**

Не без боли в душе слушал Санчо все эти разговоры, так как он видел, что с тех пор, как очаровательная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а великан Пантахиландо – в дон-Фернанда, все его надежды на знатность разлетелись, как дым; а господин его в это время покоился блаженным сном, не подозревая происшедшего. Доротея никак не могла уверить себя, что ее счастье – не сон; Карденио приходила на ум та же мысль, которую разделяла и Люсинда. Дон-Фернанд, с своей стороны, воссылал благодарения небу за ту милость, которую оно явило, выведя его из запутанного лабиринта, где его честь и благополучие подвергались такой большой опасности. Наконец, все находившиеся на постоялом дворе принимали участие в общей радости при виде счастливой развязки стольких запутанных и, по-видимому, безнадежных приключений. Священник, как разумный человек, изобразил в своей речи это чудесное сцепление обстоятельств и каждого поздравил с полученною им долею в общем счастье. Но более всего радовалась хозяйка, когда священник и Карденио обещали с лихвою заплатить за все убытки, причиненные ей Дон-Кихотом.

Как сказано, один только Санчо сокрушался сердцем; только он один был грустен и безутешен. С вытянувшимся на локоть длины лицом, вошел он к своему господину, только что проснувшемуся в это время и сказал ему:

– Ваша милость, господин Печальный образ, можете спать спокойно, сколько вам угодно и не заботиться о том, как убить великана и возвратить принцессе ее государство; потому что все уже сделано и покончено.

– Я и так это знаю, – ответил Дон-Кихот, – потому что я дал великану отчаяннейшую и страшнейшую битву, какой мне, может быть, никогда не приходилось испытывать во все дни моей жизни; один взмах меча – и голова его отлетела в сторону, и кровь полилась в таком обилии, что текла по земле ручьями, точно вода.

– Точно вино, лучше бы вам сказать, – возразил Санчо, – потому что пусть будет известно вашей милости, если вам это еще неизвестно, что

убитый великан оказался разрезанным мехом, пролитая кровь – тридцатью пинтами красного вина, которое было у него в брюхе, а отсеченная голова – злой судьбой, родившей меня на свет, и вся эта история пусть идет теперь ко всем чертям!

– Что ты говоришь, сумасшедший? – воскликнул Дон-Кихот, – или ты лишился рассудка?

– Встаньте, господин, – ответил Санчо, – вы тогда увидите, что вы сделали миленькое дельце, за которое вам придется заплатить. Вы увидите потом, что королева Микомикона превратилась в простую даму по имени Доротея, и много еще других приключений, которые вас немало удивят, если только вы что-нибудь понимаете.

– Ничто не удивит меня, – сказал Дон-Кихот, – если у тебя хорошая память, то ты помнишь, что прошлый раз, когда мы останавливались здесь на ночлег, я говорил тебе, что все происходившее здесь было делом волшебства и очарования. Не будет ничего удивительного, если так же случится и на этот раз.

– Я бы поверил этому, – ответил Санчо, – если бы мое качанье было в том же роде; но, ей Богу, оно было самое настоящее и самое истинное. Я своими обоими глазами видел, как хозяин, тот самый, который сию минуту находится там, держал за один угол одеяла, изо всех сил подбрасывал меня к небесам и во всю мочь хохотал надо мною. Как ни прост и ни грешен я, а все-таки я думаю, что, где можно узнавать людей, там очарования не больше, чем в моей руке, а только одни тумаки да синяки на память.

– Ну хорошо, дитя мое, – сказал Дон-Кихот, – Бог позаботится об излечении их; а теперь дай мне одеться и пойти посмотреть на эти приключения и превращения, о которых ты говорил.

Санчо стал подавать ему платье и, пока он помогал ему одеваться, священник рассказал дон-Фернанду и его спутникам о безумии Дон-Кихота, а также и о хитрости, употребленной ими для того, чтобы стащить его с утеса Бедного, на который он был приведен воображаемой суровостью своей дамы. Он рассказал им также почти обо всех приключениях, которые он узнал от Санчо и которые сильно изумляли и забавляли слушателей, полагавших, как и все, что это самый странный род сумасшествия, какой только может поразить расстроенный мозг. Священник добавил, что, так как счастливое превращение принцессы не позволяет исполнить до конца их план, то нужно придумать какую-нибудь новую уловку, чтобы привести Дон-Кихота домой. Карденио предложил продолжать начатую комедию, в которой роль Доротеи с удобством могла бы исполнять Люсинда.

– Нет, нет, – воскликнул дон-Фернанд, – так не будет; я хочу, чтобы Доротея продолжала играть свою роль, и если дом этого доброго гидальго не особенно далеко отсюда, но я с радостью буду способствовать его исцелению.

– Отсюда не будет и двух дней езды, – сказал священник.

– Даже если бы было больше, – возразил дон-Фернанд, – я поехал бы, чтобы сделать доброе дело.

В эту минуту появился Дон-Кихот в полном вооружении, с шлемом Мамбрина, хотя и совершенно изогнутым, на голове, со щитом, надетым на руку, и с пикой сторожа в другой руке. Это странное явление повергло в изумление дон-Фернанда и всех вновь прибывших. Они с удивлением смотрели на это сухое и желтое лицо, чуть не в полмили длиною, на этот сбор разрозненных частей вооружения, на эту спокойную и гордую осанку и, молча, ждали, что он им скажет. Устремив глаза на Доротею, Дон-Кихот с важным видом и медленным голосом обратился к ней с следующими словами:

– Я сейчас узнал, прекрасная и благородная дама, что ваше величие унижено, что ваше существо – уничтожено, ибо из королевы и высокой дамы, какой вы были, вы обратились в простую девицу. Если так произошло по повелению короля-волшебника, вашего отца, опасавшегося, что я не сумею оказать вам нужной помощи, то я говорю, что он обладал недостаточными познаниями в рыцарских историях; потому что если бы он читал и перечитывал их с таким же вниманием и так же часто, как я старался их читать и перечитывал, то он на каждом шагу видел бы, как рыцари даже менее известные, чем я, оканчивали более трудные предприятия. В самом деле, не велика важность убить какого-нибудь маленького великана, как бы заносчив он ни был; немного часов тому назад я был лицом к лицу с ним и... Я не хочу больше нечего говорить, чтобы не сказали, будто бы я солгал, но время, раскрывающее все дела, подтвердит мои слова, когда мы менее всего будем думать об этом.

– Это вы с двумя мехами, а не с великаном были лицом к лицу, – воскликнул хозяин, но дон-Фернанд велел сейчас же ему замолчать и не прерывать речи Дон-Кихота.

– Итак, я говорю, – продолжал последний, – высокая низложенная дама, что если ваш отец на этом основании совершил превращение вашей особы, то вы должны не давать ему никакой веры, так как нет опасности на земле, через которую бы этот меч не проложил дороги, и этот меч, положив к вашим ногам голову вашего врага, в то же время вновь возложит корону на вашу голову.

Больше Дон-Кихот не сказал ничего и ожидал ответа принцессы. Доротея, зная, что дон-Фернанд решил продолжать хитрость, пока Дон-Кихот не будет приведен к себе домой, с большою ловкостью и не меньшею важностью ответила ему:

– Кто бы ни был тот, кто сказал вам, мужественный рыцарь Печального образа, будто бы я изменилась, – он сказал вам неправду; ибо, чем я была вчера, тем я остаюсь и сегодня. Правда, некоторая перемена произошла со мной, благодаря кое-каким радостным событиям, наградившим меня всем счастьем, какого только я могла желать; но во всяком случае я не перестала быть тем, чем была прежде, я не покинула моей первоначальной мысли прибегнуть к мужеству вашей непобедимой руки. Итак, мой господин, будьте добры восстановить честь моего родного отца и с этих пор считайте его за человека умного и здравомыслящего, так как он, с помощью своей науки, нашел легкое и верное средство помочь мне в моих несчастиях; поистине скажу вам, господин, что, не встретясь я с вами, никогда бы я не узнала того счастья, которое я испытываю теперь. Я говорю совершенную истину, и в свидетели моих слов беру большинство присутствующих здесь господ. Нам остается только завтра утром отправиться в путь, потому что сегодня наш путь был бы короток, а счастливый исход предприятия я предоставляю Богу и мужеству вашего благородного сердца.

Находчивая Доротея умолкла, и Дон-Кихот, с разгневанным лицом обратившись к Санчо, сказал ему:

– Ну, голубчик Санчо, теперь я могу уверить вас, что вы величайший бездельник во всей Испании. Скажи мне, плут и бродяга, не говорил ли ты мне, что эта принцесса обратилась в простую девицу, по имени Доротея, и что голова, которую я отрубил просто-напросто несчастная судьба, родившая тебя на свет и сотню других нелепостей, приведших меня в ужаснейшее смущение, которое я когда-либо испытывал в жизни. Клянусь Богом... (и он поднял глаза к небу, скрежеща зубами). Не знаю, что мешает мне проучить тебя за это так, чтобы память о наказании навсегда осталась в твоей башке в поучение всем оруженосцам-лжецам, которые когда-либо будут состоять на службе у странствующих рыцарей.

– Успокойтесь, ваша милость, успокойтесь, мой дорогой господин, – ответил Санчо, – может быть, я и в самом деле ошибся относительно превращения принцессы Микомиконы, но что касается до головы великана или, собственно говоря, обезглавленных мехов и того, что кровь оказалась красным вином, то, ей-богу! я не ошибаюсь, потому что козлиная кожа и сейчас валяется у изголовья вашей постели, изрезанная на части, а в

комнате целое озеро вина, не верите, так вы сами увидите, когда дело дойдет до расплаты, то есть когда его милость, господин хозяин потребует платежа за убытки. Впрочем, я от глубины души радуюсь тому, что госпожа королева так и осталась королевою, потому что и у меня есть свой пай в ее выгодах, как у каждого участника общества.

– Ну, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – скажу тебе только, что ты дурак; прости меня, и бросим об этом говорить.

– И отлично, – воскликнул дон-Фернанд, – оставимте этот вопрос, и так как госпожа принцесса хочет отправиться в путь только завтра, потому что сегодня слишком поздно, то исполним ее повеление. Мы можем провести ночь в приятном разговоре до самого рассвета. А потом мы все будем провожать господина Дон-Кихота, потому что мы все хотим быть свидетелями неслыханных подвигов, которые совершит его мужество в течение этого великого предприятия, взятого им на себя.

– Я буду вас сопровождать и буду вам служить, – ответил Дон-Кихот, – я весьма признателен вам за оказываемую мне милость и чувствую себя обязанным пред вами за доброе мнение обо мне, которое я постараюсь не обмануть, хотя бы мне это стоило жизни и даже больше того, если что-либо большее возможно.

Дон-Кихот и дон-Фернанд продолжали обмениваться любезностями и предложениями услуг, когда они были прерваны прибытием путешественника, внезапно появившегося на постоялом дворе. При виде его все замолчали. Его костюм обличал в нем христианина, недавно возвратившегося из страны мавров. На нем была надета короткая куртка из синего сукна, с полурукавами, но без воротника, штаны и шапочка из той же материи, на ногах у него были желтые полусапоги, а в боку висел мавританский палаш, на кожаной перевязи, обхватывавшей всю его грудь. За ним въехала, сидя на осле, женщина, одетая по-мавритански, с лицом закрытым тафтою, с головой обвернутой широкой чалмой, сверх которой была надета маленькая парчовая шапочка. Длинное арабское платье закрывало ее с плеч до ног.

Мужчина был крепкого и красивого телосложения; лет ему было за сорок. У него было загорелое лицо, длинные усы и красивая борода; в общем всей своей осанкой он обнаруживал, что в лучшей одежде в нем не трудно было бы узнать человека знатного. При входе он спросил отдельную комнату и, казалось, был сильно раздосадован, когда ему сказали, что такой нет во всем постоялом дворе; тем не менее, подошедши к женщине, одетой по-арабски, он взял ее на руки и поставил на землю. Люсинда, Доротея, хозяйка, ее дочь и Мариторна, заинтересованные новизной ее костюма,

невиданного ими прежде, сейчас же окружили мавританку, и всегда любезная и предупредительная Доротея заметив, что женщина, кажется, разделяет неудовольствие своего спутника, сообщившего ей, что не нашлось комнаты, ласково сказала ей.

– Не огорчайтесь, сударыня, тем, что этот дом представляет так мало удобства. Постоялые дворы не представляют обыкновенно никаких удобств; но если вам угодно будет разделить с нами (она при этом указала пальцем на Люсинду) наш уголок, то, может быть, в течение всего вашего путешествия вы не всегда найдете лучший прием.

Незнакомка, лицо которой все еще было закрыто, не ответила ничего; она только поднялась с своего места и, скрестив обе руки на груди, в знак благодарности наклонила голову и все туловище, ее молчание окончательно убедило всех, что она мавританка, не знающая языка христиан. В эту минуту подошел пленник, занимавшийся до сих пор другими делами. Увидав, что все женщины окружили его спутницу, и что та не отвечала ни слова на все обращаемые к ней речи, он сказал:

– Сударыня, эта молодая девушка почти не понимает нашего языка и говорит только на своем родном языке, вот почему она и не отвечает на все ваши вопросы.

– Мы ни о чем ее и не спрашиваем, – ответила Люсинда, – а только просим провести эту ночь в нашем обществе, в той же комнате, в которой мы будем ночевать. Мы ее примем так, как только это здесь возможно, и с тем уважением, какое должно оказывать чужестранцам, в особенности женщинам.

– Сударыня, целую ваши руки за нее и за себя, – ответил пленник, – и вполне оцениваю ту милость, которую вы мне оказываете; действительно, в таких обстоятельствах и от таких особ, как вы, она не может быть маловажною.

– Скажите мне, господин, – прервала Доротея, – эта дана христианка или мусульманка? Судя по платью и ее молчанию, мы склонны думать, что она не той веры, какой бы мы желали.

– Телом и платьем она мусульманка, – ответил пленник, – но душой она истинная христианка, потому что питает живейшее желание быть ею.

– Стало быть она еще не крещена? – спросила Люсинда.

– Нет еще, – ответил пленник, – со времени нашего отъезда из Алжира, ее отечества, не представлялось такой возможности; и до сих пор ей не угрожала опасность такой неминуемой смерти, чтобы была необходимость крестить ее до совершения церемоний, требуемых нашей святой матерью церковью; но Бог поможет, и она будет вскоре крещена со



всею торжественностью, подобающей званию ее особы, более значительному, чем о том можно заключить по ее одежде и по моей.

Такая речь возбудила во всех слушателях желание узнать, кто были мавританка и пленник; однако никто не решался расспрашивать его об этом, хорошо понимая, что им теперь нужно время для отдыха, а не для рассказывания своей истории. Доротея взяла незнакомку за руку и, посадив рядом с собой, попросила ее снять вуаль. Та посмотрела на пленника, как бы спрашивая его, что ей говорят и что ей нужно сделать. Он ответил ей на арабском языке, что ее просят снять вуаль, и что она хорошо сделает, если исполнит просьбу. Тогда она развязала вуаль и открыла такое восхитительное лицо, что Доротея нашла ее прекрасней Люсинды, а Люсинда – прекраснее Доротеи, и все присутствующие единогласно признали, что если какая-нибудь женщина и могла сравниться по красоте с той или другой – то это мавританка; многие даже отдавали ей предпочтение в этом отношении. И так как красота всегда обладает преимуществом соглашать между собой умы и привлекать симпатии, то все поспешили сказать свое приветствие прелестной мавританке и чем-нибудь услужить ей. Дон-Фернанд спросил у пленника, как ее зовут, и тот ответил, что ее зовут Лелья<sup>[46]</sup> Зоранда; но услышав свое имя, она поняла предложенные христианином вопрос и сейчас же воскликнула с какой-то милой досадой:

– No, no, Zoranda... Maria, Maria, – желая тем дать понять, что ее зовут Марией, а не Зорандой. Эти слова и искренний тон, которым они были произнесены мавританкой, заставили пролиться не одну слезу у присутствовавших, в особенности у женщин, как существ более нежных и более чувствительных; Люсинда с восторгом обняла ее и сказала: «Да, да, Мария», на что мавританка ответила: «Si, si Maria, Zoranda macange», то есть: «Да, да, Мария. Нет более Зоранды».

Между тем ночь наступала, и, по распоряжению спутников дон-Фернанда, хозяин употребил все свои старания, чтобы приготовить для своих гостей лучший ужин, какой был только для него возможен. Настал час для ужина, и все сели вокруг длинного и узкого стола, как будто сделанного для монастырской трапезной, так как во всем доме не было ни круглого, ни квадратного. Верхний конец его предложили занять Дон-Кихоту, который, тщетно стараясь отклонить от себя такую честь, пожелал потом, чтобы рядом с ним посадили принцессу Микомикону, так как он был ее рыцарем-охранителем; затем сели: Люсинда и Зораида, а против них дон-Фернанд и Карденио; за ними пленник и спутники дон-Фернанда; потом, рядок с дамами, священник и цирюльник. Все ужинали с аппетитом и в веселом настроении, и общая радость еще более возросла, когда

увидали, что Дон-Кихот, перестал есть и побуждаемый тем же чувством, которое заставляло его когда-то обратиться с длинной речью к пастухам, – приготовился говорить:

– Поистине, господа, – сказал он, – нельзя не согласиться, что избравшие свое призвание в ордене странствующего рыцарства, часто видят необыкновенные, чудесные, неслыханные вещи. Иначе скажите мне, найдется ли на свете живое существо, которое, войдя в дверь этого замка и увидав нас сидящими в таком виде за столом, могло бы догадаться и поверить тому, кто мы такие? Кто скажет, например, что эта дама, сидящая рядом со мною, есть великая королева, которую мы все знаем, и что я – тот рыцарь Печального образа, молва и слава о котором распространилась по всей земле? Излишне сомневаться, что это занятие или скорее это звание превосходит все остальные, когда-либо изобретенные людьми, и что ему нужно оказывать наибольшее уважение, потому что оно сопряжено с наибольшими опасностями. Пусть исчезнут с моих глаз все, кто стал бы уверять, что перо важнее меча; я говорю им, кто бы они ни были, что они сами не знают, что говорят. В самом деле, довод, который представляют эти люди и которого они никогда не покидают, состоит в том, что умственный труд превосходит труд телесный, и что в военных делах действует только одно тело: как будто это занятие то же, что ремесло носильщика, не требующее ничего кроме здоровых плеч, или как будто в военной деятельности, избираемой своим призванием, не принадлежат также и дела военного искусства, требующие ума в высшей степени, или как будто начальник, командующий войском в походе, и защитник осаждаемой крепости не работают так же умом, как и телом. Разве телесными силами стараются проникнуть намерения неприятеля, угадать его проекты, его военные планы, его затруднения, для предотвращения угрожающей беды, – дела, в которых требуется усилия мышления и в которых телу нечего делать. Таким образом, если верно, что военная деятельность так же, как и письменная, требует сотрудничества ума, посмотрим, какому из этих умов приходится делать важнейшее дело, – уму ли письменного человека или уму военного человека. Это легко решить, узнав конец и цель, которые ставит себе тот и другой, ибо наиболее важное дело есть то, которое совершается с намерением наиболее достойным уважения. Конец и цель писаний (я не говорю о священных писаниях, назначение которых обращать и вести души к небу, потому что с таким бесконечным концом никакой другой не может сравниться; я говорю о человеческих писаниях), цель их, говорю я, поставить торжество справедливости распределения, отдать каждому то, что ему принадлежит, вводить хорошие законы и

следить за их исполнением. Цель эта несомненно велика, благородна и достойна похвалы, однако уступает цели военной деятельности, ибо предметом и целью последней служит мир, то есть величайшее благо, какое только могут желать люди в этой жизни. Первую благую весть, принятую миром, дали ангелы в ту ночь, ставшую нашим днем, когда они пропели среди облаков: Слава с Вышних Богу и на земле мир, в человечесих благоволение! Точно также лучший привет, которому научил своих возлюбленных учеников величайший Учитель земли и неба, состоял в том, чтобы они говорили, входя к кому-нибудь: Мир дому сему. И много раз еще говорил Он им: Мир даю я вам, мир оставляю я вам, мир да будет с вами, как драгоценнейшее сокровище, которое может дать и оставить Его божественная рука, сокровище, без которого ни на небе мы на земле не может существовать никакое счастье. Но мир есть истинная цель войны, а война-то и есть военная деятельность. Раз мы признаем эту истину, что цель войны есть мир, и что эта цель выше цели письменной деятельности, перейдем теперь к телесному труду человека работающего пером и человека, избравшего своим призванием оружие, и посмотрим, чей труд тяжелее.

Дон-Кихот говорил свою речь так последовательно и в таких прекрасных выражениях, что понизволе заставил своих слушателей забыть, что он – сумасшедший; напротив, так как большинство из них были дворяне, с своего рождения предназначенные к военной деятельности, то они слушали его с большим удовольствием.

– Итак говорю я, – продолжал он, – вот труды и лишения студента: прежде всего и главное всего – бедность; не все, конечно, студенты бедны, но будем брать самое худшее положение их. Когда я сказал, что студент терпит бедность, мне кажется, что этим сказано все об его печальной участи, ибо кто беден, для того ничего нет хорошего в свете. Эту бедность он терпит иногда по частям: то голод, то холод, то наготу, а иногда и все три вещи сразу. Но все-таки он никогда не бывает так беден, чтобы, в конце концов, не найти себе чего-нибудь поесть, хотя бы это случилось и не совсем вовремя, и найденное оказалось остатками кушаний богатых; величайшая бедность студентов состоит в том, что они называют между собою хождением на суп.<sup>[47]</sup> С другой стороны, для них всегда к услугам или кухонная печь или какой-нибудь очаг, хотя бы в чужой комнате, около которых они могут, если не согреться, то, по крайней мере, поразмять свои окоченевшие члены; и, наконец, с наступлением ночи все они спят под крышею дома. Не хочу касаться других мелочей их жизни, то есть недостатка в сорочках, отсутствие изобилия башмаков, ветхости и скудости

платья и этой склонности объедаться по горло, когда благая судьба посылает им какую-нибудь пирушку. Вот какой обрисованной мною дорогой, суровой и трудной, спотыкаясь здесь и падая там, поднимаясь с одного бока, чтобы упасть на другой, они достигают степеней, к которым стремится их честолюбие. Раз эта цель достигнута, мы видим многих из них, которые, пройдя через эти подводные камни между Сциллой и Харибдой, как будто бы увлекаемые полетом благоприятной судьбы, достигают возможности управлять миром с высоты своего кресла и меняют свой голод на сытость, холод – на приятную свежесть, наготу – на парадное одеяние и свою тростниковую рогожку – на простыни из голландского полотна и занавесы из дамасской материи. Награда, несомненно, заслуженная их наукой и талантами! Но если сравнить и взвесить их труды с трудами воина, насколько они уступают последним! Я вам сейчас это легко докажу.

## **ГЛАВА XXXVIII**

### **В которой продолжается любопытная речь, произнесенная Дон-Кихотом по поводу дел оружия и пера**

Дон-Кихот передохнул немного и затем продолжал:

— Так как мы начали по поводу студентов с бедности и ее различных сторон, посмотрим теперь, богаче ли солдат, и мы увидим, что даже в самой бедности нет человека, бедней его. В самом деле, он принужден постоянно ограничиваться своим скудным жалованьем, которое им получается поздно или никогда не получается, и тем, что он награбит своими руками, подвергая очевидной опасности и свою жизнь и свою душу. Нагота его иногда доходит до того, что кожаный камзол служит ему одновременно и мундиром и сорочкой; а, находясь в открытом поле, в самой середине зимы, чем он может защитить себя от небесных невзгод? Только дыханием своего рта, да и то, выходя из пустого места, неминуемо должно быть холодно, согласно всем законам природы. Но вот наступает ночь, и он может отдохнуть в ожидающей его постели от дневных лишений. Право, он сам будет виноват, если постель его будет недостаточно широка, так как он свободно может отмерить на земле, сколько ему угодно, шагов и вволю ворочаться на ней с одного бока на другой, без боязни измять простыню. Вот настает, наконец, день и час принять степени своего звания, то есть настает день битвы, и кладут ему на голову, вместо шапочки ученого, компресс из корпии для излечения раны от пули, которая прошла ему чуть не через оба виска, или оставила калеккой без руки или ноги. Если этого не случится, если небо в своем милосердии, сохранит его живым и все его члены невредимыми, то он, во всяком случае, останется таким же бедняком, каким был и прежде; нужно, чтобы произошли другие события, случились другие битвы, и чтобы всегда он выходил победителем из них, — тогда только он успевает достигнуть чего-нибудь, а такие чудеса мы видим не часто. Но скажите мне, господа, если только вас этот вопрос когда-нибудь занимал, насколько меньше число вознагражденных войною в сравнении с числом погибших от ее случайностей? Без сомнения, вы ответите мне, что излишне даже делать сравнение, так как мертвые — бесчисленны, а живых и получивших награду можно пересчитать тремя цифрами. Иначе происходит с людьми,

работающими пером; полой своей одежды, не говорю уже своими широкими рукавами, они всегда добудут себе пропитание; и так труд солдата гораздо больше, а его награда гораздо меньше. На это мне, наверно, возразят, что гораздо легче прилично вознаградить две тысячи человек, посвятивших себе перу, чем тридцать тысяч солдат, так как первых вознаграждают тем, что поручают им должности, которые и должны принадлежать людям их звания, в то время как другие могут быть вознаграждены только на издержки господина, которому они служат; но именно эта невозможность еще более и подкрепляет мои доказательства. Впрочем, оставим это, так как это почти безвыходный лабиринт, и перейдем к преимуществу оружия над письменами. Вопрос надо решить, разобрав доводы, приводимые каждой стороной в свою пользу. Письмена говорят с своей стороны, что оружие без них не могло бы существовать, так как война имеет тоже свои законы, которым она подчиняется, а все законы принадлежат к области писем и к деятельности людей пишущих. На это оружие отвечает, что и без него законы тоже не могли бы существовать, так как оружие защищает государства, поддерживает королевства, оберегает города, делает дороги безопасными и очищает моря от пиратов; одним словом, без его помощи государства, королевства, монархии, города, сухие и морские пути были бы в вечном неустройстве и смуте, которые влечет за собой война все время, пока она продолжается и пользуется своим преимуществом делать насилия. Дело известное, что, чем дороже вещь стоит, тем дороже она ценится и должна цениться. Но чего стоят сделаться известным в гражданской деятельности? Это стоит времени, бессонных ночей, голода, нищеты, головных болей, расстройств желудка и многих тому подобных неприятностей, о которых я уже упоминал. Но чтобы сделаться в равной же степени хорошим солдатом, человек должен претерпеть те же лишения, как и студент, да кроме того еще и другие несравненно более значительные, так как каждая из них угрожает ему смертью. Может ли сравниться страх бедности и нищеты, мучающий студента, со страхом, который испытывает солдат, когда, находясь в какой-нибудь осажденной крепости и стоя на часах на углу какого-нибудь рavelина, он слышит, что неприятель роет подкоп в направлении к его посту, и ни за что на свете не смеет уйти с места и избежать так близко угрожающей ему опасности? Только всего он и может сделать, что уведомить своего начальника о замеченном, чтобы контрминой успели предотвратить опасность; сам же он остается на месте, ожидая, что вот-вот взрыв заставит его без крыльев взлететь к облакам и оттуда, против его воли, низвергнуться в бездну. Если эта опасность не кажется вам

достаточно грозной, то посмотрим, нет ли такой при abordage двух галер, когда они среди обширного океана сцепляются своими носами, оставив в их взаимной схватке места для солдата не больше двух футов носовых досок. Солдат видит тогда перед собою столько же ангелов смерти, сколько жерл у пушек и аркебузов, направленных на неприятельскую палубу на расстоянии длины одного копья; он видит, что стоит ему сделать один неверный шаг, и он отправится в глубину державы Нептуна; и все-таки, с сердцем бесстрашным и одушевляемым чувством чести, он добровольно ставит себя мишенью всех этих мушкетов и пытается проникнуть через узкий проход на неприятельскую галеру. Удивительней всего то, что не успеет один солдат упасть туда, откуда он не встанет раньше, чем при конце мира, как другой немедленно же занимает его место; падает и этот в море, ожидающее его, как свою добычу, его заменяет третий; потом идут другие, не давая времени умереть своим предшественникам. Ничто не может превзойти храбрость и мужество в делах войны! О, блаженны века, не знавшие ужасающей ярости этих орудий, изобретателю которых я шлю мое проклятье в глубину ада, где он получает награду за свое дьявольское изобретение! Оно служит причиной того, что какая-нибудь подлая и трусливая рука может лишить жизни самого доблестного рыцаря; оно виновно в том, что среди жара и воодушевления, воспламенивших великодушное сердце, прилетает, неведомо как и откуда, какая-нибудь шальная пуля, пущенная, может быть, таким человеком, который сам убегает, испуганный огнем своей проклятой машины, и вот она разрушает мысли и пресекает жизнь такого человека, который заслуживал жить долгие годы. Да, когда мною овладевает такое размышление, то в глубине души невольно сожалею о том, что принял звание рыцаря в такой гнусный век, как тот, в котором мы имеем несчастье жить. Право, меня не смущает никакая опасность; но мне тяжело думать, что немного пороху и кусочек свинца могут лишить меня возможности прославиться мужеством моей руки и острием моего меча по лицу всей земли. Но да будет воля неба; если я достигну того, чего желаю, то я буду этим достойнее уважения, чем большим опасностям я подвергался сравнительно со странствующими рыцарями прошлых веков.

Всю эту длинную речь Дон-Кихот произносил в то время, как другие ужинали, и забывал сам есть, хотя Санчо Панса неоднократно и напоминал ему, что теперь надо ужинать, а проповедовать у него будет вдоволь времени после. Слушавшие же его вновь почувствовали сожаление, видя, что человек, с таким светлым разумом и так прекрасно обо всем говоривший, безвозвратно потерял ум из-за своего проклятого и

злополучного рыцарства. Священник сказал ему, что он совершенно прав в своей защите преимуществ оружия, и что он сам, хотя человек и книжный, и получивший ученую степень, держится совершенно того же мнения. Ужин кончился. Сняли скатерть, и в то время как хозяйка, ее дочь и Мариторна хлопотали на чердаке Дон-Кихота, где всем дамам предназначалось провести ночь, дон-Фернанд попросил пленника рассказать историю своей жизни. Она, наверно, очень занимательна, говорил он, если судить по образчику, представляемому его спутницей. Пленник ответил, что он от всего сердца исполнил бы эту просьбу, что он боится только, как бы его история не вызвала в них удовольствия меньше, чем ему желательно; но что все-таки он готов ее рассказать, чтобы не выказать ослушания. Священник и все присутствовавшие поблагодарили его и опять возобновили свои просьбы. Тогда, видя, что его просит столько народу, он сказал:

– Нет надобности просить того, кому можно приказывать. Одолжите меня вашим вниманием, господа; вы услышите истинный рассказ, с которым, может быть, не сравнятся басни, выдуманные людьми учеными и богатыми воображением.

После этих слов все присутствующие уселись на свои места, и вскоре воцарилось полное молчание. Когда пленник увидал, что все молча ожидают его рассказа, он ровным и приятным голосом начал так:



## **ГЛАВА XXXIX**

### **В которой пленник рассказывает свою жизнь и свои приключения**

– Род мой, к которому природа оказалась милостивее судьбы, происходит из маленького городка в Леонских горах. В этой бедной местности мой отец слыл за богатого человека и, в самом деле, он был бы таким, если бы он так же старался сохранять свое родовое имение, как старался его расточать. Этот великодушный и расточительный нрав образовался у него еще в годы его юности, когда он был солдатом; – ведь известно, что военная служба представляет школу, в которой скряга делается щедрым, а щедрый – расточительным, и скупой солдат – очень редкое явление. Мой же отец обладал щедростью, граничившей с расточительностью, что могло только вредить человеку семейному, имя и состояние которого наследуют его дети. У моего отца нас было трое; все мальчишки и все в таком возрасте, когда составляют уже положение. Увидав, что он не в силах бороться с своими привычками, как признавался он сам, он решил устранить самую причину своей расточительности; он решил лишиться себя своего состояния, – без чего и сам Александр оказался бы не больше как скрегой. Однажды, призвав нас всех трех к себе, он заперся в своей комнате и обратился к нам приблизительно со следующей речью:

– Мои дорогие сыновья, чтобы понять, что я желаю вам добра, достаточно знать, что вы мои дети; с другой стороны, чтобы подумать, что я желаю вам зла, достаточно видеть, как плохо я умею сберегать ваше родовое состояние. В виду этого, чтобы вы с этих пор были убеждены, что я люблю вас как отец, и не желаю вашего разорения, я решаюсь, ради вас, на одно дело, которое я долго обдумывал и зрело обсудил. Вы все трое теперь в таком возрасте, что вам уже пора занять положение в свете, или, по крайней мере, выбрать род занятия, который принес бы вам почести и богатство, когда вы вполне станете мужчинами. Надумал же я вот что: я хочу разделить мое состояние на четыре части, три из них я отдам вам, каждому по совершенно равной части, а четвертую оставляю себе на прожитие остатка дней, которые будет угодно небу послать мне. Я только хочу, чтобы каждый из вас, получив свою часть состояния, выбрал одно из поприщ, которые я сейчас назову. У нас в Испании есть пословица, на мой взгляд, мудрая и справедливая, как и все вообще пословицы, так как они

ничто иное, как краткие правила, навлеченные из долгого опыта; она говорит: «Церковь или море или дворец короля». Это означает ясно, что кто хочет иметь успех в жизни и разбогатеть, тот должен или избрать себе церковное поприще, или отправиться в торговое плавание, или поступить на службу во дворец короля, потому что говорится: лучше королевские крохи, чем барские щедроты. Поэтому я хотел бы, и даже прямо такова моя воля, чтобы один из вас посвятил себя наукам, другой избрал торговлю, а третий служил королю в войске, потому что получить возможность служить ему во дворце – трудно, а война, хотя и не дает много богатства, зато приносит много почестей и славы. Через неделю я вручу вам ваши части наличными деньгами сполна, ни на мараведис меньше, как это вы увидите из счетов; теперь же скажите мне, согласны ли вы с моим мнением и последуете ли вы моему совету.

Прежде всех мой отец приказал отвечать мне, как старшему. Попробовав уговорить его не лишать себя своего состояния и тратить, сколько ему угодно, потому что мы еще молоды, и у нас еще будет время нажить свои деньги, я добавил, что я, впрочем, готов повиноваться его желанию, и занятием для себя хочу выбрать оружие, чтобы послужить Богу и королю. Мой второй брат, обратившись сначала к отцу с теми же предложениями, сказал потом, что он хочет отправиться в Индию с товарами, которых он накупит на свою долю. Самый младший и, по моему мнению, самый благоразумный сказал, что он избирает церковное поприще, или, по крайней мере, намеревается пройти курс учения в Саламанке. Когда мы, таким образом, согласились и избрали каждый себе по профессии, отец обнял нас и принялся за исполнение своего намерения с тою же поспешностью, с какою он нам о нем сообщил. Каждому из нас он дал по части, которая (я помню хорошо) составляла три тысячи дукатов серебром; один из наших дядей купил все наше имение, чтобы оно не выходило из рода, и заплатил за него наличными деньгами. Мы все трое простились с нашим добрым отцом, и в тот же день, находя, что было бы бесчеловечно с моей стороны оставлять моего отца на склоне лет с такими ничтожными средствами, я заставил его взять из моих трех тысяч дукатов две тысячи, так как я считал одну тысячу достаточной для обмундировки и всего нужного солдату. Следуя моему примеру, мои оба брата дали тоже по тысяче дукатов, так что у моего отца осталось четыре тысячи дукатов серебром, кроме тех трех тысяч, которые, как его доля, остались ему от продажи родового имения. Наконец, не без грусти и слез, мы простились с отцом и с дядей, о котором я говорил. Они оба просили нас в особенности присылать вести, при всяком удобном случае, о своем счастье и несчастье.

Мы обещали им это, и, получив от них прощальные поцелуи и благословения, один из нас отправился в Саламанку, другой в Севилью, а я в Аликанте, где, как я узнал, находился Генуэзский корабль, намеревавшийся с грузом шерсти возвратиться в Италию.

В этом году минуло двадцать два года, как я покинул дом моего отца, и за это долгое время я не получил ни одного известия ни от него, ни от моих братьев, несмотря на несколько посланных мною писем.

Теперь я вкратце расскажу, что со мной случилось в течение этого времени. Я сел на корабль в порте Аликанте и после благополучного плавания прибыл в Геную; отсюда я отправился в Милан, где купил себе оружие и солдатскую амуницию и хотел вступить в ряды пьемонтских войск; но по дороге в Александрию я узнал, что великий герцог Альба отправлялся во Фландрию. Тогда я изменил свое намерение и отправился за ним вслед: я участвовал с ним во всех его битвах, присутствовал при смерти графов Горна и Эгмонта и был произведен в первый офицерский чин славным капитаном Диего-де-Урбина,<sup>[48]</sup> уроженцем Гуадалахарским. Спустя некоторое время по прибытии во Фландрию, пришла весть, что блаженной памяти Его Святейшеством папою Пием V составлена с Венецией и Испанией лига против общего врага христианства, против турок, флот которых овладел незадолго славным островом Кипром, принадлежавшим венецианцам, – тяжелая и злополучная потеря. Господствовала всеобщая уверенность, что главнокомандующим этой лиги будет светлейший инфант Дон-Хуан Австрийский, побочный брат нашего великого короля Филиппа III-го. Носились слухи также о производившихся громадных военных приготовлениях. Все это возбудило во мне крайнее желание принять участие в начинающейся морской компании; хотя я и мог надеяться, и даже был уверен, что я получу чин капитана при первой же возможности, но, все-таки мне хотелось более бросить все и отправиться в Италию; так я действительно и сделал. Моей счастливой звездой угодно было, чтобы я прибыл туда в то время, когда Дон-Хуан Австрийский, высадившись в Генуе, отправлялся в Неаполь, чтобы соединиться с венецианским флотом, – соединение это произошло позднее в Мессине. Ставши пехотным капитаном, – почетное звание, которому я больше обязан своему счастью, чем своим заслугам, – я был участником великого и памятного дела при Лепанто.<sup>[49]</sup> Но в этот день, такой счастливый для христианства, потому что он вывел все народы света из заблуждения, будто бы на море турки непобедимы; в этот день, когда была ниспровергнута оттоманская гордость, среди всех бывших там счастливых

(ибо христиане погибшие в битве удостоились еще большего счастья, чем оставшиеся живыми и победителями) один я был несчастен. Вместо того, чтобы быть увенчанным, как во дни Рима, морским венком, я увидел у себя в ночь, сменившую этот славный день, кандалы на руках и ногах. Вот как постигло меня это жестокое несчастье. Учали, король алжирский, счастливый и смелый корсар, напал на главную мальтийскую галеру и впал ее на бордаж; только трое рыцарей остались в живых и все трое тяжело раненные. Тогда галера Иоанна Андрея Дориа двинулась на помощь. Я с моим отрядом сел на эту галеру и, поступая так, как предписывал мне долг в подобном случае, вскочил на неприятельскую палубу; но галера неприятеля быстро отошла от напавшей на нее нашей галеры, и мой солдаты не могли последовать за мной. Я остался один среди многочисленных врагов, которым я не в силах был долго сопротивляться. В конце концов, они овладели мною совершенно израненным, и я стал пленником, потому что Учали, как вам это известно, удалось уйти со всей своей эскадрой. Вот почему я был одних печальным среди стольких счастливых и одним пленным среди стольких освобожденных, так как в этот день была возвращена свобода более чем пятнадцати тысячам христиан, работавших веслами на скамьях турецких галер.

Меня отвезли в Константинополь, где султан Селим произвел моего господина в морские генералы, потому что он в этой битве исполнил свой долг и, как трофей своего мужества, захватил знамя Мальтийского ордена. В следующем 1572 году я был при Наварине, гребя веслами на галере, называвшейся «Три фонаря». Там я был свидетелем того, как упустили случай овладеть всем турецким флотом, так как левантинцы и янычары, бывшие на судах, ожидали нападения внутри самого порта и приготовили уже свои пожитки и туфли, чтобы бежать на землю, не ожидая сражения, – настолько был велик страх, внушаемый им нашим флотом. Но небу было угодно устроить дела иначе, не по причине слабости или небрежности нашего главнокомандующего, но за грехи христиан и потому, что такова воля Божья, чтобы всегда были палачи, готовые нас наказать. Учали спасся бегством на остров Модон, близ Наварина; затем, высадив свои войска на землю, он велел укрепить вход в порт и оставался в покое, пока не удалился Дон-Хуан. Именно в этой компании христиане овладели галерой под названием «Добыча», капитаном которой был сын славного корсара Барбаруссы. Она была захвачена главной неаполитанской галерой «Волчицей», капитаном которой был этот отец солдат, эта боевая молния, славный и непобедимый капитан Дон-Альваро де Базан, маркиз Санта-Крузский. Не хочу обойти молчанием то, что произошло при взятии этой

«Добычи». Сын Барбаруссы был жесток и дурно обращался с пленниками; как только невольники, сидевшие на скамейках галеры, увидели, что галера «Волчица» направляется к ним и нагоняет их, они сразу бросили весла и схватили своего капитана, кричавшего им с заднего бака, чтобы они гребли поскорее; потом, передавая его со скамьи на скамью, от кормы к носу судна, они так искусили его, что, не добравшись и до мачты, он отдал свою душу аду, настолько были велики жестокость его обращения и внушаемая им ненависть.

Мы возвратились в Константинополь, и в следующем 1573 году пришло известие, что Дон-Хуан Австрийский взял приступом Тунис и отдал этот город Мулей-Гамету, отняв, таким образом, у Мулея-Гамида, <sup>[50]</sup> самого жестокого и самого храброго мавра в свете, всякую надежду возвратить себе трон. Великий турок живо почувствовал эту потерю и с благоразумием, свойственным всем членам его семейства, попросил у венецианцев мира, которого они желали еще больше, чем он. В следующем 1574 году он осадил Гулетту и форт, воздвигнутый Дон-Хуаном вблизи Туниса и оставленный им на половину выстроенным. В течение всех этих событий, я оставался прикованным к веслу, без всякой надежды на получение свободы, по крайней мере, на получение свободы посредством выкупа, так как я твердо решился ничего не сообщать своему отцу о моих несчастьях. Наконец Гулетта была взята, а за нею был взят и форт. В осаде этих двух мест, как тогда считали, участвовало до 65,000 турецких наемных солдат и более 400,000 мавров и арабов, собравшихся со всей Африки. Эта бесчисленная толпа сражающихся привезла с собой столько припасов и военных материалов, ее сопровождало столько мародеров, что одними своими ладонями и горстями земли враги наши могли бы покрыть и Гулетту и форт. Гулетта перешла первая во власть неприятеля. Первой сдалась она, считавшаяся неприступной, и сдалась не по вине своего гарнизона, сделавшего для защиты ее все, что он мог и должен был сделать, но потому что в этой песчаной пустыне, как показал опыт, легко воздвигать траншеи; прежде предполагали, что вода находится на глубине двух футов от почвы, между тем, как турки не нашли ее и на глубине двух локтей. Из громадного количества мешков с песком неприятель воздвиг такие высокие траншеи, что они превышали стены крепости, и, стреляя оттуда, не давал никому возможности показываться для защиты стен. Распространено мнение, что наши должны бы были не запирались в Гулетте, но ожидать неприятеля в открытом поле и при высадке. Кто так говорит, тот, очевидно, судит издалека и не имеет ни малейшего понятия в подобного рода делах, потому что в Гулетте и в форте не было и 7000 человек. Можно ли было с

этой горстью солдат, как бы они храбры ни были, осмелиться выступить в поле и схватиться с такой громадной массой неприятеля? можно ли было удержать за собой крепость, не получавшую ни откуда помощи, окруженную громадным войском разъяренного неприятеля и находившуюся на земле последнего? Многим, напротив, кажется, и мне первому в том числе, что небо оказало особую милость Испании, допустив разрушение этого притона разврата, этого гложущего червя, этой ненасытной пасти, бесплодно поглотившей столько денег, разве только для того, чтобы сохранить память о взятии ее непобедимым Карлом V, как будто для такого увековечения нужно напоминание этих камней.

Потеряли мы также и форт; но им, по крайней мере, турки овладевали шаг за шагом. Защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что убили слишком 25000 неприятелей во время двадцати двух общих приступов, выдержанных ими. Из трехсот человек, оставшихся в живых, никто не отдался в руки невредимый, – ясное и очевидное доказательство их несокрушимого мужества и упорного сопротивления при защите этих мест. Сдался и другой маленький форт: это была башня, построенная посреди острова Эстаньо и состоявшая под командой дон Хуана Саногера, валенсийского дворянина и заслуженного солдата. Турки взяли в плен дон-Педро Пуертокарреро, генерала Гулетты, который сделал все возможное для защиты этого укрепленного места и так сильно сожалел, когда оно было взято, что умер от горя по пути в Константинополь, куда его повезли пленником. Турки взяли в плен также и генерала форта Габрио Сервеллона, миланского дворянина, знаменитого инженера и мужественного вояку. Много замечательных людей погибло тогда и, между прочим, рыцарь ордена св. Иоанна Пагано Дориа, человек великодушного характера, как то обнаружила его необыкновенная щедрость по отношению к его брату, славному Иоанну Андрею Дориа. Его смерть была еще печальнее оттого, что он пал под ударами нескольких арабов, которым он доверился, видя, что форт безвозвратно потерян, и которые предложили провести его в мавританском платье до Табарки, маленького порта, выстроенного на этом берегу гемузцами для ловли кораллов. Эти арабы отрубили ему голову и отнесли ее генералу турецкого флота. Но тот поступил согласно нашей кастильской пословице – нравится измена, да не нравится изменник, – потому что он велел повесить представивших ему этот подарок, в наказание за то, что они не привели ему пленника живого. Среди христиан, захваченных в форте, находился один по имени Дон-Педро-де-Агиляр, уроженец, не знаю, какого-то андалузского города, служивший офицером в форте; это был очень храбрый солдат, одаренный редким умом и тем

особенным талантом, который называется поэтическим; я могу о нем говорить потому, что злая судьба привела его на мою галеру и на мою скамейку, как раба того же господина; еще до отплытия из порта он сочинил два сонета вроде эпитафий, один посвященный Гулетте, другой – форту. Я помню их наизусть, и потому мне хочется прочитать их вам, так как я надеюсь, что они возбудят в вас скорее удовольствие, чем скуку.

Когда пленник произнес имя дон Педро де-Агиляр, дон-Фернанд посмотрел на своих спутников, которые при этом улыбнулись, и один из них, предупредив рассказчика, собиравшегося читать стихи, сказал ему:

– Прежде чем ваша милость будете продолжать, я прошу вас сказать мне, что случилось с дон-Педро де-Агиляром, о котором вы говорили.

– Я знаю только то, – ответил пленник, – что прожив два года в Константинополе, он убежал оттуда в костюме арнаута<sup>[51]</sup> вместе с одним греческим шпионом; но не знаю, удалось ли ему возвратить себе свободу, хотя и предполагаю так, потому что менее года спустя я снова видел этого грека в Константинополе, но не мог только расспросить его об их путешествии.

– Ну так я вам могу сказать, – возразил дворянин, – что этот дон-Педро – мой брат; он теперь на родине, здоров, богат, женат и отец троих детей.

– Благодарение Богу, ниспославшему ему столько милостей! – воскликнул пленник, – потому что, по моему мнению, счастье возвратить себе утраченную свободу не имеет себе равного на земле.

– Я тоже знаю сонеты, сочиненные моим братом, – продолжал путешественник.

– В таком случае, – ответил пленник, – я предоставляю прочитать их вашей милости, так как вы это сделаете лучше меня.

– С удовольствием, – ответил путешественник, – вот сонет на взятие Гулетты:

## ГЛАВА XL

### В которой продолжается история пленника

#### Сонет.

Блаженные души отважных людей,  
Вы подвигом славным грехи искупили  
И, к звездам поднявшись с долины скорбей,  
Небесные веси собой населили.

Вы, гневом пылая, при жизни своей  
Мощь брэнного тела в сраженье явили  
И берег песчаный и волны морей  
Своею и кровью врагов напоили.

В телах изнуренных свет жизни погас,  
Но мужество – нет, не покинуло вас,  
И, быв побежденными, вы победили:

Блаженство небесное, славу земли  
Вы мужеством стойким себе обрели,  
Пред тем как навеки средь битвы почили.

- Вот тоже самое и я помню, – сказал пленник.  
– А вот сонет, посвященный форту, – продолжал путешественник; –  
если память мне не изменяет, он таков:

#### Сонет.

От этих диких, знойных берегов,  
От этих стен, что прахом стать успели,  
Трех тысяч храбрых души отлетели  
В блаженства край, за гранью облаков.

Они толпе бесчисленной врагов,  
Бесстрашные, противостать посмели



И победить желаньем пламенели;  
Но на земле их жребий был суров...

Не раз войны гроза здесь бушевала,  
Не раз земля здесь храбрых принимала  
И в этот и в минувшие года;

Но более угодных душ для рая  
И стойких тел от века никогда  
Не избирала мать земля сырая.

Сонеты были найдены недурными, и пленник, обрадованный добрыми вестями о своем товарище, возвратился к нити своего повествования.

– После взятия Гулетты и форта, – сказал он, – турки распорядились, чтобы Гулетта была скрыта; в форте было уже нечего разрушать. Чтобы поскорей покончить с этим делом, под нее подвели мины с трех сторон, но ни в одном месте не удалось взорвать то, что казалось самым непрочным, то есть старые стены; тогда как новейшие укрепления, устроенные Фраатином, были легко опрокинуты. Наконец победоносный торжествующий флот возвратился в Константинополь, где немного времени спустя умер его повелитель Учали. Его называли Учали Фартакс, что на турецком языке означает паршивый ренегат, потому что таковым он был в самом деле, а у турков принято давать людям фамилии сообразно их недостаткам или достоинствам. Действительно, у них есть не больше четырех фамилий, происходящих им оттоманского дома; остальные, как я уже сказал, получают свое происхождение от телесных пороков или душевных добродетелей. Этот паршивый четырнадцать лет работал в качестве невольника на галерах султана и тридцати четырех лет от роду сделался ренегатом, разозлившись на турка, давшего ему оплеуху в то время, когда он греб; чтоб иметь возможность обидчику отомстить, он отказался от своей веры. Благодаря своему мужеству он, не прибегая к низким и подлым способам, посредством которых обыкновенно возвышаются большинство любимцев султана, сделался алжирским королем, а потом и главнокомандующим флота, что является третьею по степени должностью в государстве; по происхождению он был калабриец, в нравственном отношении хороший человек; он очень человеколюбиво обращался со своими невольниками, число которых доходило до трех тысяч. После его смерти, согласно распоряжению, оставленному им в

своим завещании, эти невольники были разделены между его ренегатами и султаном, который тоже всегда бывает наследником умирающих и получает равную с детьми покойника часть в наследстве. Я достался одному ренегату венецианцу, которого Учали взял в плен, когда тот был юнгой на одном христианском корабле, и сделал своим самым близким любимцем. Это был самый жестокий ренегат, какого только когда либо видели: звали его Гассан-Ага; он разбогател и сделался королем Алжира. Я отправился из Константинополя с ним вместе в этот город, радуясь, что буду так близко к Испании, радовался я этому не потому, что бы я думал кому-либо писать о своем печальном положении, но потому что хотел посмотреть, не будет ли судьба благосклоннее ко мне в Алжире, чем она была в Константинополе, где я пробовал тысячу способов бежать, но всякий раз неудачно. Я думал поискать в Алжире других средств того, чего так пламенно желал, так как надежда вернуть себе свободу никогда не покидала меня. Когда я придумывал и приводил в исполнение задуманное, и успех не соответствовал моим намерениям, то я не предавался отчаянию; но немедленно создавал новую надежду, которая, как бы она слаба ни была, поддерживала мое мужество.

Вот чем наполнил я свою жизнь; заключенный в тюрьме, называемой турками баньо, в этой тюрьме они содержат всех христианских невольников, как принадлежащих королю, так и частным лицам и альмасаку, то есть городскому управлению. Этому последнему разряду невольников, составляющих собственность города и употребляющихся на общественные работы, трудно надеяться на возвращение себе свободы; принадлежа всем и не имея отдельного господина, они не знают с кем условливаться о выкупе даже тогда, когда они могли бы представить таковой. В эти баньо, как я уж сказал, много частных лиц приводят своих невольников, в особенности, когда последние должны быть выкуплены, потому что в таком случае они оставляются в покое и безопасности до самого выкупа. Также бывает и с невольниками короля, когда они ведут переговоры о своем выкупе; тогда они не ходят на невольнические работы; но если выкуп медлит появляться, то, чтобы заставить пленников написать о нем поубедительнее, их посылают работать и вместе с другими отыскивать лес, что считается не легким делом. Я был среди пленников, подлежащих выкупу; когда узнали, что я капитан, то, сколько я ни говорил, что у меня нет никаких средств, ничто не помешало все-таки поместить меня в ряды дворян и людей, которые должны быть выкуплены. На меня надели цепь, скорее в знак выкупа, чем для того, чтобы держать меня в рабстве, и я проводил мою жизнь в этом баньо среди множества почетных

людей, тоже предназначенных к выкупу. Голод и нагота мучили нас иногда и даже почти постоянно, но еще больше мучений доставляло нам зрелище неслыханных жестокостей, учиняемых моим господином над христианами. Каждый день он приказывал кого-нибудь повесить; этого сажали на кол, тому обрезали уши, и все это по ничтожным причинам и даже совсем без причин, так что сами турки говорили, что он делает зло ради самого зла, и что, по своему природному праву, он создан быть палачом всего человеческого рода.<sup>[52]</sup> Только один пленник умел обходиться с ним: это был испанский солдат, некто Сааведра,<sup>[53]</sup> который, с целью возвращения себе свободы, совершил такие дела, что они на долгие годы останутся в памяти жителей этой страны. Между тем ни разу Гассан-Ага не ударил его палкою, ни разу не приказывал его ударить и ни разу не обратился к нему с ругательством, тогда как, после каждой из его многочисленных попыток бежать, мы боялись, что он будет посажен на кол, да он и сам этого опасался. Если бы у меня было время, я рассказал бы вам теперь о каком-нибудь из дел, совершенных этим солдатом, оно, наверное, заинтересовало и изумило бы вас больше, чем рассказ моей истории; но надо возвратиться к ней.

На двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого и знатного мавра. По обыкновению, существующему в той стране, это были скорее круглые слуховые, чем обыкновенные окна при том же они были всегда закрыты толстыми и частыми решетками. Однажды я был на террасе нашей тюрьмы с тремя моими товарищами; другие христиане ушли на работу. Мы были одни и для провождения времени пробовали прыгать с нашими цепями. Нечаянно я поднял глава и увидал, что в одно из этих окон высунулась тростниковая палка, на конце которой был привешен маленький сверток; палкой кто-то размахивал, как будто давая нам знак взять ее. Мы внимательно глядели на нее, и один из товарищей подошел к окну, чтобы посмотреть, что будет дальше, бросят ли палку. Но когда он был уже под окном, палку подняли и замахали из стороны в сторону, подобно тому, как отрицательно качают головой. Христианин возвратился к нам, и палка снова стала опускаться, делая те же движения, как и прежде. Другой товарищ попытался подойти, и с ним случилось то же, что и с первым; затем и третий не оказался счастливым. Увидав это, я в свою очередь захотел испытать счастье, и только что подошел к палке, как она упада в баню к моим ногам. Я немедленно же поспешил отвязать маленький сверток и нашел завязанными в платке десять сианисов, золотых монет низкой пробы, обращающихся среди мавров и стоящих каждая

десять наших реалов. Бесполезно говорить, как я был рад этой находке; моя радость равнялась только удивлению, которое я испытывал, раздумывая о том, откуда могло явиться такое счастье нам или скорее мне; так как из того, что палка не опускалась до тех пор, пока не подошел я, было ясно видно, что это благодеяние предназначалось мне. Я взял эти особенно дорогие для меня деньги, сломал тростник и возвратился на террасу, чтобы опять посмотреть на окно; тогда я увидел в окне необыкновенно белую руку, стремительно открывшую и закрывшую его. Последнее заставило нас догадаться или, по крайней мере, предположить, что эту милостыню мы получили от какой-нибудь женщины, живущей в этом доме, и, в знак благодарности, мы сделали поклон по мавританскому обычаю, – наклонив головы, перегнув туловище и скрестив руки на груди. Минуту спустя, в том же окне появился маленький крест, сделанный из тростника, и сейчас же скрылся вновь. Этот знак подтвердил нашу догадку, что в этом доме живет рабой какая-нибудь христианка, и что она-то и делала нам добро. Но белизна руки и украшавшие ее браслеты опровергали это предположение. Тогда мы подумали, что нам покровительствует какая-нибудь христианка-отступница, из тех, которых их господа часто берут в законные жены; такого рода браки пользуются большим уважением среди мавров, ценящих христианских женщин выше женщин своей нации. Во всех наших догадках мы были, однако, очень далеки от истины. – С этого времени нашим единственным занятием было смотреть на окно – этот полюс, на котором появилась звезда тростниковой палки. Но прошло пятнадцать дней, и мы не видали ни руки, ни другого какого-либо знака. Как мы ни старались за это время узнать, кто живет в этом доме, и нет ли там христианки-отступницы, мы не нашли никого, кто бы мог нам сообщить больше того, что в этом доме живет богатый и знатный мавр, по имени Агиморого, бывший начальник форта Вата, должность очень значительная в этом краю. Но в то время, когда мы совсем уже бросили думать о том, что на нас посыпятся новые сианисы, мы вдруг увидели, что в окне опять появилась тростниковая палка с привязанным на ее конце свертком, еще большим, чем первый. Как и в прошлый раз, это случилось в тот день, когда баньо был совершенно пуст. Мы проделали первоначальный опыт: каждый из моих товарищей подходил к стене, но палка не давалась никому из них и упала только тогда, когда подошел к ней я. В платке я нашел сорок золотых испанских эскудо и написанную по-арабски записку, в конце которой стоял большой крест. Я поцеловал крест, взял деньги и вернулся на террасу; мы все опять почтительно поклонились, и снова показалась рука; тогда я сделал знак, что прочитаю записку, и окно закрылось. Мы, конечно, были

удивлены и обрадованы таким приключением, но никто из нас не знал арабского языка и потому, если велико было наше желание узнать содержание бумаги, то еще больше была трудность найти человека, который бы мог ее прочитать. Наконец я решился довериться одному ренегату,<sup>[54]</sup> уроженцу Мурции, который уверял меня в своей дружбе, и с которого я взял слово хранить тайну, доверенную ему мною. Между ренегатами есть такие, которые, намереваясь возвратиться в христианскую страну, имеют обыкновение брать от некоторых значительных пленников свидетельства, удостоверяющие в том, что означенный ренегат хороший человек, оказал много услуг христианам и имеет намерение бежать при первом благоприятном случае. Есть такие, которые ищут этих свидетельств с искренним намерением, другие же с хитростью и для выгоды. Последние отправляются на грабеж в христианские страны и, когда им приходится потерпеть кораблекрушение, или когда их поймают, они вынимают свои свидетельства и говорят, что они имели намерение возвратиться к христианам, как это видно из свидетельств, и для этого пошли вместе с турками. Таким образом, они избегают первой опасности, без всякого труда для себя примиряются с церковью а, когда найдут для себя удобным, возвращаются в Бербирию, чтобы приняться за прежнее ремесло. Другим действительно такие бумаги нужны; они отыскивают их с добрым намерением и остаются навсегда в христианских странах. Один из таких ренегатов был, как я уже говорил, нашим другом, который подучил свидетельства от всех наших товарищей, давших о нем самые лучшие отзывы, какие только возможны. Если бы мавры нашли у него эти бумаги, они сожгли бы его живым. Я узнал, что он умеет по-арабски не только довольно хорошо говорить, но и писать. Однако, прежде чем открыться ему вполне, я попросил его прочитать эту бумагу, найденную мною, как я ему сказал, в щели моего сарая. Он развернул ее, несколько времени внимательно смотрел на нее и потом начал шептать сквозь зубы; я спросил, понимает ли он, что там написано.

– Очень хорошо понимаю, – сказал он мне, – если вы хотите, чтобы я перевел ее вам слово в слово, то дайте мне перо и бумагу; так мне будет легче сделать это.

Мы дали ему просимое, и он начал понемногу переводить. Окончив, он сказал нам:

– Все, что написано в этой бумаге, я перевел по-испански, не пропустив ни одной буквы. Заметьте только, что Лелья Мариэм означает Пресвятую Деву Марию.

Тогда мы прочитали записку, в которой было написано: «Когда я была

ребенком, у моего отца была невольница,<sup>[55]</sup> которая научила меня на моем языке христианской азале<sup>[56]</sup> и много рассказывала мне о Лелье Мариэм; христианка умерла, и я знаю, что она отошла не в огонь, но к Аллаху, потому что с того времени я ее видела два раза, и она мне сказала, чтобы я отправилась в ее страну христиан увидеть там Лелью Мариэм, которую я очень люблю. Я не знаю, как мне туда отправиться. В это окно я видела много христиан, но ни один из них не показался мне дворянином, кроме тебя. Я красива и молода и могу взять с собой много денег. Подумай, не можем ли мы с тобой отправиться туда? там ты станешь моим мужем, если хочешь; а если не хочешь, то все равно Лелья Мариэм даст мне кого-нибудь, кто женится на мне. Пишу я тебе сама; но будь осторожен, когда ты дашь кому-нибудь прочесть эту записку и не доверяй ее никакому мавру, потому что они все обманщики. Все это меня сильно тревожит, и мне хотелось бы, чтобы ты никому ничего не рассказывал, потому что, если мой отец узнает об этом, он сейчас же бросит меня в колодец и закидает камнями. Я прикреплю к тростнику нитку, привяжи к ней свой ответ; и если у тебя нет никого, кто бы написал тебе по-арабски, то ответь мне знаками: Лелья Мариэм поможет мне понять их. Да сохранят тебя Она и Аллах, а также и этот крест, который я часто целую, как мне велела невольница». Теперь, господа, судите сами по содержанию этой записки, имели ли мы причины удивляться и восхищаться. Видя нашу радость и удивление, ренегат догадался, что эта записка была найдена не случайно, но предназначалась кому-нибудь из нас. Поэтому он заклинал нас, если его догадка верна, открыться и довериться ему, обещая не пощадить своей жизни для нашего освобождения. С этими словами он вынул из-за пазухи маленькое металлическое распятие и поклялся нам Богом, образ которого находится перед ним и в которого он, хотя и грешник и дурной человек, сохранил чистую веру, держать в строгой тайне все, что нам угодно будет ему открыть. Он говорил, что ему кажется, или, вернее, он предчувствует, что при помощи женщины, написавшей эту записку, все мы должны получить свободу, и он – достигнуть цели своих пламенных желаний, то есть вступить в лоно его святой матери-церкви, из которой он был извергнут, как гнилой член, за свое неверие и свой грех. Ренегат подтверждал свои слова такими обильными слезами и знаками такого искреннего раскаяния, что мы все единодушно согласились рассказать ему истинное происшествие и, в самом деле, дали ему точный отчет обо всем, ничего не скрывая. Мы показали ему маленькое окошечко, в котором появлялась тростниковая палка, и он, со вниманием заметив дом, обещал

употребить все свои старания, чтобы узнать, кто живет в нем. Мы решили также ответить сейчас же на записку мавританки, благо у нас есть человек, который может нам помочь в этом деле. Ренегат написал ответ, который я ему продиктовал. Я прочитаю вам его от слова до слова, потому что ни одна из важных подробностей этого приключения не изгладилась из моей жизни и не изгладится до последнего дыхания моей жизни. Итак, вот что я ответил мавританке: «Да сохранят тебя истинный Аллах, моя госпожа, а также и блаженная Мариэм, истинная Матерь Бога, вложившая в твое сердце желание отправиться в страну христиан, потому что она тебя нежно любит. Моли ее открыть тебе, как ты должна исполнить ее повеление; она так добра, что исполнить твою просьбу. От себя и от всех находящихся со мною христиан я обещаю тебе сделать для тебя все, что только можем, до самой смерти. Не замедли написать и сообщить мне о том, что ты думаешь делать; я буду отвечать тебе постоянно. Великий Аллах послал нам христианина, умеющего говорить и писать на твоём языке так хорошо, как ты в том убедишься из этой записки. Поэтому, ни мало не беспокоясь, ты можешь сообщать нам обо всем, что захочешь. Что же касается того, чтобы, по прибытии в страну христиан, ты стала моей женой, то я, как истинный христианин, обещаю тебе это, а ты знаешь, что христиане лучше мавров держат свои обещания. Да примут тебя Аллах и его мать Мариэм под свое святое покровительство».

Когда эта записка была написана и спрятана, я подождал два дня, пока баньо не опустел по обыкновению, и тогда отправился на обычную прогулку на террасу, чтобы посмотреть, не покажется ли опять тростниковая палка; она не замедлила появиться. Как только я ее заметил, хотя и не видя того, кто ее держал, я показал бумагу, желая дать понять тем, чтобы привязали нитку; но она уже висела на палке. Я привязал к ней записку, и несколько мгновений спустя мы снова увидели нашу звезду с ее белым знаменем мира, с маленьким платком на конце. Он упал, я поспешил его поднять, и мы нашли в нем более пятидесяти эскудо в золотых и серебряных монетах разного рода, увеличившие в пятьдесят раз нашу радость. Наши надежды на освобождение окрепли. В ту же ночь наш ренегат пришел опять в баньо. Он узнал и сообщил нам, что в этом доме действительно живет мавр, о котором нам говорили, по имени Ага-Морато; что он необыкновенно богат, и что он имеет единственную дочь, наследницу всего его богатства, которую во всем городе единогласно признают за прелестнейшую женщину во всей Берберии; он рассказывал нам также, что многие вице-короли, приезжавшие в область, просили ее руки, но что она не хотела выходить замуж; он сообщил наконец, что у ней

долго жила одна невольница-христианка, недавно умершая. Все это вполне согласовалось с содержанием записки; затем мы вместе с ренегатом держали советы что должны мы предпринять, чтобы похитить мавританку из ее дома и добраться всем до христианской стороны.

Решили сначала подождать второго известия от Зораиды (так звали ту женщину, которая теперь хочет называться Марией), потому что мы все признавали, что она и только она одна может найти выход из этих затруднений. Когда мы остановились на этом решении, ренегат советовал нам не терять мужества и сказал, что он сам или потеряет жизнь, или возвратит нам свободу.

Целых четыре дня баньо был полон народу, и это обстоятельство было причиною того, что четыре дня не появлялась палка. По истечении этого времени, когда восстановилось обычное уединение, она появилась, наконец, с большим свертком, обещавшим нам богатую добычу. Палка спустилась ко мне, и я нашел в платке другую записку с сотней эскудо одними золотыми монетами. Присутствовавший тут же ренегат прочитал нам записку в нашем общем помещении. Вот что было написано в ней: «Не знаю, мой господин, что нам нужно предпринять, чтобы отправиться в Испанию, и Лелья Мариэм не сказала мне ничего, хотя я ее об этом просила. Все, что я могу сделать, это – дать вам через это окно много золотых монет. Выкупайтесь этими деньгами, ты и твои друзья, и пусть один из вас отправится в христианскую страну, купит там лодку и возвратится захватить других. Меня найдете вы в саду моего отца, находящемся у ворот Баб-Асуна вблизи морского берега, где я буду проводить лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда ночью вы можете меня легко похитить и отвести в лодку. Помни, что ты должен быть моим мужем; а то я попрошу Мариэм наказать тебя. Если ты не можешь никому доверить покупку лодки, то выкупайся сам и отправляйся; я знаю, что ты возвратишься скорей, чем кто-либо другой, потому что ты – христианин и дворянин. Постарайся разузнать, где сад; когда ты пойдешь гулять туда, я буду знать, что в баньо нет никого, я дам тебе много денег. Аллах да хранит тебя, мой господин».

Таково было содержание записки. Услыхав его, мы все изъявляли желание быть выкупленными и исполнить поручение, обещаясь съездить и возвратиться с возможной поспешностью. Я тоже предлагал свои услуги. Но ренегат воспротивился всем этим намерениям, говоря, что он не позволит никому из нас выйти на свободу, прежде чем выйдут другие, так как он из опыта знал, как плохо, получив свободу, держат слова, данные в рабстве. Очень часто, говорил он, пленники знатного происхождения



прибегали к подобным способам, они выкупали кого-нибудь из своих товарищей, которого они посылали с деньгами в Валенсию или Майорку, чтобы вооружить там лодку и возвратиться на ней за выкупившими его пленниками; но больше уже не приходилось им увидеть опять посланных: потому что счастье возвращения на свободу и страх снова потерять ее изглаживали из памяти последних всякие обязательства в свете. Чтобы подтвердить истину своих слов, он вкратце рассказал нам о приключении, случившемся с несколькими христианскими дворянами, приключении самом странном из всех, какие нам приходилось слышать в этой местности, где каждый день происходят удивительные вещи. Наконец, он заключил свою речь тем, что предложил отдать деньги, назначенные для выкупа христианина, ему, чтобы в самом же Алжире купить катер; он сделает это под предлогом намерений сделаться купцом и вести торговлю с Тетуаном и прибрежными городами; когда же он станет хозяином судна, то, по его словам, ему легко будет вывести нас из баньо. «Впрочем, – добавил он, – если мавританка даст, как обещает, достаточно денег, чтобы выкупить всех, то, когда вы будете на свободе, вам не трудно будет самим купить лодку и отплыть среди бела дня. Затруднение состоит в том, что мавры не позволяют ренегатам покупать, или вообще иметь лодки, но только большие суда, потому что они опасаются, что тот, кто покупает лодку, в особенности, если это испанец, приобретает ее с единственной целью бежать в христианскую землю; но я обойду это препятствие тем, что войду в долю с каким-нибудь мавром-тагарином,<sup>[57]</sup> предложив ему купить пополам лодку и потом делить торговые барыши. Прикрываясь его именем, я стану хозяином лодки, а тогда все остальное дело сделано.» Хотя мне и моим товарищам и казалось предпочтительнее послать за лодкой в Майорку, как это советовала также и мавританка, однако мы не осмелились противоречить ренегату из боязни, как бы он нас не выдал, если мы не исполним его требований и тем не погубит и нас и Зораиду, за жизнь которой мы были готовы пожертвовать собственной жизнью. Итак, мы решились отдать нашу судьбу в руки Бога и ренегата. Мы немедленно же ответили Зораиде, что мы сделаем все согласно ее советам, потому что они так хороши, как будто были внушены Лельей Мариэм, и что от нее одной зависят, обождают ли с этим планом, или теперь же приняться за его осуществление. В этом же письме я повторил свое обещание быть ее супругом. На другой день, когда баньо был пуст, она спустила нам в несколько приемом помощью палки и платка до двух тысяч эскудо золотом. В записке она сообщала нам, что в следующую джиуму, то есть пятницу, она отправится в сад своего отца, но что прежде своего отъезда она даст

нам еще денег; она добавляла также, что если этого будет недостаточно, то нам стоит только ее уведомить и она нам даст, сколько мы потребуем, потому что у ее отца денег так много, что он не обращает на них внимания, и при том же ключи от всего хранятся у нее. Мы немедленно передали пятьсот эскудо ренегату, для покупки катера; восьмьюстами эскудо выкупил я себя. Я передал деньги одному валенсианскому купцу, находящемуся в это время в Алжире. Он выкупил меня у короля, дав слово и обязавшись заплатить мой выкуп по прибытии первого валенсианского корабля, так как если бы он сейчас же сполна внес все деньги, то он возбудил бы в короле подозрение, что выкуп уже несколько дней был в Алжире, но что купец ничего не говорил ему об этом, пустив назначенную сумму в оборот. Мой господин был так коварен, что я не осмелился советовать купцу отдавать сейчас же все деньги.

Накануне пятницы, в которую прекрасная Зораида должна была отправиться в летний сад, она дала нам еще тысячу золотых экю и уведомила нас о своем предстоящем отъезде, причем просила меня, как только я буду выкуплен, узнать, где находится сад ее отца, постараться пройти в него и увидеться с ней. Я ответил ей, что не премину это сделать и просил ее молиться обо мне Лелье Мариэм во всех молитвах, которым ее научила невольница. После этого пришлось позаботиться о выкупе моих трех товарищей, чтобы облегчить им выход из баньо; кроме того я боялся, как бы дьявол не надумил их на что-нибудь недоброе и не заставил их сделать какой-нибудь глупости во вред Зораиде, когда они увидит что я выкуплен, а они – нет, между тем как деньги есть и для их выкупа. Правда их благородство делало излишним подобное опасение, но все-таки я не хотел подвергать свое дело никакому риску. Поэтому я велел выкупить их тем же способом, как и меня, предварительно передав выкупные деньги купцу, чтобы он мог с спокойной душой принимать обязательства за нас; но своего тайного заговора мы ему не открывали: такое признание было бы слишком опасно.

## ГЛАВА XLI

### В которой пленник продолжает свою историю

Не прошло и пятнадцати дней, а наш ренегат купил уже хороший катер, способный поднять тридцать человек. Чтобы придать делу другой вид и предупредить всякие подозрения, он решил сделать и действительно сделал путешествие в городок Саргел, расположенный в двадцати милях от Алжира на Оранском берегу, где велась значительная торговля сушеными финиками. Он два или три раза повторил это путешествие в компании с тагарином, а которым он вам говорил. В Берберии тагаринами называются аррогонские мавры, а мавры Гренады называются мудехаресами. Эти последние в королевстве Фец называются эльчесами, и король феций охотно принимает их на военную службу. Всякий раз, как ренегат плыл в своей лодке, он бросал якорь в маленькой бухте, находившейся в двух выстрелах из аркебуза от сада Зораиды. Там с своими гребцами, молодыми маврами, он принимался за исполнение своего намерения, то читая Азалу, то, как будто шутя, пытаясь сделать то, что намеревался сделать серьезно. Так он отправлялся в сад Зораиды, чтобы попросить фруктов, и ее отец, не зная его, давал ему их. Он хотел поговорить с Зораидой, как сообщал он мне потом, чтобы сказать ей, что это он по моему приказаний должен отвезти ее в христианскую землю, и чтобы она с терпением и полной уверенностью ждала его, но ему ни разу не удалось ее видеть, потому что мавританские женщины не показываются ни мавру ни турку иначе, как по приказанию своего отца или мужа. Пленным же христианам они показываются и разговаривают с ними, может быть, даже больше, чем следовало бы. Мне и самому было бы досадно, если бы ему пришлось говорить с ней, потому что она бы, наверно, сильно испугалась, если бы увидала, что судьба ее вверена ренегату. Но Бог, устроивший дела иначе, не дал ренегату возможности удовлетворить свое желание. Этот последний, увидав, что он может беспрепятственно плавать туда и обратно в своих путешествиях в Саргел и бросать якорь, где ему угодно; что его товарищ тагарим вполне подчиняется его воле; видя, наконец, что я выкуплен, и что остается только найти христиан в гребцы, – сказал мне, чтобы я выбрал тех, кого хочу увезти с собой, кроме уже выкупленных дворян, и сообщил им день отъезда, назначенного им на первую пятницу. Тогда я обратился с предложением к двенадцати испанцам, здоровым гребцам, имевшим возможность свободно выходить из города. Таких найти было не легко,

потому что в это время двадцать судов отправились в плавание и увезли с собой всех невольников. И этих то гребцов я нашел только потому, что хозяин их, оканчивавший постройку новой галиоты на верфи, не пускался в это лето в плавание. Я сказал им только, чтобы в первую пятницу они потихоньку, поодиночке вышли из города, отправились к саду Агиморато, и там ожидали моего прихода. Я отдал это приказание каждому из них отдельно, причем сказал им, что если они увидят там других христиан, то пусть скажут им, что в этом месте я велел им ожидать себя.

Сделав эти приготовления, мне оставалось сделать самое важное: это уведомить Зораиду о положении наших дел, чтобы она была наготове и не испугалась бы, если мы ее внезапно похитим, прежде того времени, когда, должен был, по ее расчету, прийти катер христиан. Поэтому я решил пойти в сад и посмотреть, нельзя ли с ней переговорить. Под предлогом сорвать там некоторые травы, я вошел в сад накануне моего отъезда и первым лицом, попавшимся мне навстречу, – был ее отец, заговоривший со мной на том языке, которым говорят между собой пленники и мавры по всему Берберийскому побережью, и даже в Константинополе, и который представляет ни арабский, ни кастильский, ни язык какой-либо другой нации, но является смесью всех языков, всеми нами, однако понимаемою. Итак, он спросил меня на этом языке, кто я и что я ищу в его саду. Я ответил ему, что я невольник Арнаута Маами (я звал, что это один из самых близких его друзей) и ищу трав для салата. Потом он спросил меня, выкупной ли невольник я или нет, и сколько мой господин требует за мой выкуп. В то время, как он спрашивал, а я отвечал, прекрасная Зораида вышла из дому в сад. Она давно уже увидела меня и, так как мавританки не стесняются показываться христианам, как я уже сказал, то ей ничего не мешало подойти к нам. Напротив, видя, что она приближается к нам медленно, сам отец подозвал ее к нам. Я не в силах передать вам, с какою чудной красотой, с какой необыкновенной грацией и с какими богатыми украшениями предстала моим глазам моя милая Зораида. Скажу только, что на ее прекрасной шее, в ее ушах и в локонах ее волос жемчугу было больше, чем волос на голове. На ее ногах, бывших, по обычаю той страны, по щиколотку голыми, были надеты два каркади (так по-арабски называют ножные браслеты) из чистого золота украшенные брильянтами, и ценимые ее отцом, как она мне потом говорила, в десять тысяч дублонов; да запястья, которые она носила на руках, стоили столько же. Жемчуг был прекрасен и многочислен, так как он и брильянты составляют любимое украшение мавританских женщин. Потому-то у мавров и можно найти его больше, чем у других наций. Отец Зораиды владел жемчугами в большом

количестве, и самыми прекрасными во всем Алжире. Говорили, что он имеет также более двухсот тысяч испанских эскудо, и госпожою всего этого богатства была та, которая теперь со мною. Как прекрасна была она тогда во всех ее украшениях, вы можете судить по красоте, оставшейся у нее после стольких лишений и трудов от той очаровательной наружности, которая она обладала в дни своего благополучия. Известно, что красота женщин имеет дни и эпохи своего расцвета, что разные жизненные случайности ее уменьшают или увеличивают, и что душевным волнениям свойственно ее унижать или возвышать, хотя в общем они ее разрушают, одним словом, она показалась мне необыкновенно прекрасной; я увидел пред собою богатейшую и очаровательнейшую женщину, какую только видели мои глаза. Кроме того, полный глубокого чувства признательности к ней за ее благодеяния, я подумал, что передо мною спустилось с неба какое-то божество для моей радости и моего спасения. Когда она приблизилась, ее отец сказал ей по-арабски, что я невольник его друга Маута Мамми и пришел в сад за салатом. Тогда она заговорила на том же языке, о котором я упомянул, и спросила меня – дворянин ли я, и почему я до сих пор не выкупился, я ответил ей, что я уже выкупился, и что по сумме моего выкупа она может судить о том, как высоко ценил меня мой господин, который потребовал за меня полторы тысячи сольтани.<sup>[58]</sup> «По правде сказать, если бы ты принадлежал моему отцу, – сказала она, – я бы сделала так, чтобы он не отдал тебя и за вдвое больше, потому что вы, христиане, всегда притворяетесь бедными и обманываете мавров. – Может быть, моя госпожа, – ответил я, – но я уверяю тебя, что я сказал правду моему господину, я говорю и буду говорить правду всем на свете. – Когда же ты уезжаешь? – спросила Зораида. – Я думаю завтра, – ответил я, – завтра поднимает паруса один французский корабль, и я предполагал отправиться с ним. – Не лучше ли было бы, – говорила Зораида, – подождать тебе кораблей из Испании и отправиться с ними, чем с французами, которые вам на друзья? – Нет, – ответил я, – если бы я не был уверен, что скоро придет испанский корабль, тогда я решил бы подождать, но гораздо вернее отправиться завтра же, потому что желание увидеть свою родину и дорогих мне людей так сильно во мне, что не позволяет мне дожидаться другого случая, как бы скоро он не представился, и как бы удобен он ни был. – Ты, конечно, женат в своей стороне, – спросила Зораида, – потому-то так спешишь, чтобы свидеться с своей женой? – Нет, – ответил я, – я еще не женат, но дал слово жениться по прибытии на родину. – А хороша та особа, которой ты дал слово? – спросила Зораида. – Так хороша, – ответил я, – что для того, чтобы, не

солгав, достойно похвалить ее; я могу сказать, что она очень похожа на тебя». При этих словах отец Зораиды добродушно рассмеялся и сказал мне: «Клянусь Аллахом, христианин, она действительно должна быть очень хороша, если похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей во всем королевстве; если ты в этом сомневаешься, то посмотри хорошенько, и ты увидишь, что я сказал правду». Сам Аги-Морат служил нам посредником, в этом разговоре, как говоривший лучше нас обоих на этом исковерканном языке, которым говорят в том краю; Зораида же, хотя тоже понимала его, но мысли свои выражала больше знаками, чем словами.

Беседа наша продолжалась в то время, когда в сад вбежал один мавр, весь запыхавшийся и громко кричавший, что четыре турка перелезли через стены сада, и рвут незрелые плоды. При этом известии и старик и его дочь задрожали от страха, потому что мавры питают общий и, пожалуй, естественный страх перед турками, в особенности перед их солдатами, которые очень наглы, позволяют себе много насилий над маврами, их подданными, и вообще обращается с ними хуже, чем если бы они были их невольниками. Тогда Аги-Морато сказал Зораиде: «Дочь моя, поди в дом и запишись там, пока я поговорю с этими собаками; а ты, христианин, ищи себе трав, сколько угодно, и да поможет тебе Аллах благополучно добраться до твоей родины». Я поклонился, и он отправился к туркам, оставив меня одного с Зораидой, которая сначала притворилась, как будто она хочет, повинувшись приказанию отца, идти домой, но едва только он скрылся за деревьями сада, она вернулась ко мне и сказала с глазами полными слез: «Atameji, христианин, atameji?» то есть «ты уезжаешь, христианин, ты уезжаешь?» – Да, моя госпожа, – ответил я ей, – но ни за что не уеду без тебя. – В первую же джиуму ожидая меня и не пугайся, когда нас увидишь, потому что мы отвезем тебя в христианскую страну. – Я постарался сказать ей эти немногие слова, а также и другие речи, которыми мы обменялись, понятным для нее способом. Потом, обвив своей рукой мою шею, она пошла вся трепещущая домой. Судьбе, должно быть, угодно было погубить нас, и только небо помогло нам дать делам другой оборот; в то время, как мы шли так, обнявшись, ее отец, выпроводивший уже турок, возвратился и увидел нас в этом положении; мы и сами видели, что он нас заметил. Но ловкая и находчивая Зораида не сняла рук с моей шеи; напротив, она еще ближе прижалась ко мне, положила свою голову ко мне на грудь и, согнув немного колени, притворилась, будто бы она в сильном обмороке. С своей стороны и я сделал вид, будто бы я принужден держать ее против воли, ее отец побежал к нам навстречу и, увидав свою дочь, в таком положении, спросил ее, что с ней. Но она ничего не ответила ему.

«Наверно, – воскликнул он тогда, – она упала в обморок, испугавшись этих собак». Потом, взяв с моей груди, он прижал ее к своей. Она глубоко вздохнула и с глазами, еще не высохшими от слез, обернулась в мою сторону и сказала мне: «Атејі, христианин, атејі», то есть «уходи, христианин, уходи». – Зачем тебе нужно, моя дочь, – ответил на это ее отец, – чтобы христианин уходил? Он тебе зла не сделал, а турки уж ушли. Не пугайся же ничего, потому что, говорю тебе, турки, по моей просьбе, уж ушли, откуда пришли. – Да это они ее испугали, мой господин, – сказал я ее отцу. – Но раз она хочет, чтобы я ушел, я не хочу ее огорчать. Оставайся с миром, и с твоего позволения, я приду еще, когда понадобятся, нарвать трав в твоём саду, потому что, по словам моего господина, ни в каком другом саду нет лучшего салата. – Можешь приходить, сколько тебе угодно, – ответил Аги-Морато, – моя дочь велит тебе уходить не потому, чтобы ей был неприятен твой вид, или вид других христиан; уходить она тебе велела для того, чтобы велеть уйти туркам, или потому, что тебе уже пора искать травы». После этого я сейчас же простился с ними обоими, и Зораида, у которой, казалось, с каждым шагом разрывалась душа, ушла со своим отцом. Я же, под предлогом отыскивания трав, исходил весь сад, осмотрел все входы и выходы, сильные и слабые места дома и удобства, представляемые им для успеха нашего предприятия; затем я ушел и сообщил обо всем происшедшем ренегату и моим товарищам, вздыхая о том времени, когда я буду мирно наслаждаться тем счастьем, которое мне посылает небо, в лице очаровательно-прекрасной Зораиды.

Время шло, и, наконец, настал желанный день. Мы в точности исполнили план, зрело обдуманый нами в наших совещаниях, и успех вполне соответствовал нашим надеждам. В ближайшую пятницу, после того дня, когда я разговаривал с Зораидой в саду, ренегат, при наступлении ночи, бросил якорь своей лодки почти прямо против дома, где нас ждала милая дочь Аги-Морато. Христиане, которым предназначалось занять скамьи гребцов, уже были уведомлены и спрятаны в разных местах поблизости. Они были бодры и веселы в ожидании моего прибытия и горели нетерпением напасть на судно, стоявшее у них перед глазами, потому что, не зная нашего уговора с ренегатом, они думали, что добыть себе свободу придется силою своих рук, перебив мавров, находившихся в лодке. Поэтому, едва только я появился со своими товарищами, все, прятавшиеся в ожидании нашего прихода, сейчас же сбежались вокруг нас. Был час, когда городские ворота были уже заперты, и вокруг не было видно ни одного человека. Собравшись вместе, мы стояли некоторое время в раздумье, что предпринять сначала – отправится ли за Зораидой, или взять

в плен мавров-багаринов,<sup>[59]</sup> бывших гребцами в лодке. Пока мы решали этот вопрос, явился наш ренегат и спросил нас, зачем мы теряем время, когда пора действовать, потому что все его мавры, заснув, совсем позабыв о страже. Мы сообщили ему о причине нашего колебания, он сказал, что прежде всего надо овладеть лодкою, дело очень легкое и безопасное, а потом уже отправиться на похищение Зораиды. Все мы единогласно одобрили его мнение и, не теряя больше времени; под его предводительством подошли к маленькому судну. Он первый вскочил на борт, выхватил свой палаш и крикнул по-арабски: «Не смей трогаться, если вам дорога жизнь». За ним сейчас же вошли и все христиане. Мавры, люди не особенно решительные, были охвачены страхом, когда услышали такие слова от своего ардоса<sup>[60]</sup> и, не попытавшись прибегнуть в оружие, молча позволили христианам себе связать. Христиане сделали это очень поспешно, угрожая маврам изрубить их в куски, если кто-нибудь из них вздумает крикнуть. Покончив с этим делом, половина христиан осталась на страже пленников, а с другими я отправился в сад Аги-Морато, опять-таки имея ренегата своим руководителем. По счастью нам так легко удалось отворить ворота, как будто они были не заперты. Мы тихо подошли к дому, не разбудив никого. Прекрасная Зораида ждала нас у окна, и, услышав, что кто-то идет, спросила тихим голосом, назаряни ли мы, то есть христиане ли мы. Я ответил ей утвердительно, и ей стоило только сойти вниз. Узнав меня, она больше ни минуты не колебалась; не возразив ни слова, она сошла вниз, отворила дверь, и показалась перед глазами всех такой прекрасной и так богато одетой, что я не в силах этого описать. Увидав ее, я взял и поцеловал ее руку. Ренегат и мои двое товарищей сделали тоже; нашему примеру последовали также и другие двое, которые, не зная о нашем приключении, делали то, что мы делаем, таким образом, все мы, казалось, благодарили ее и признавали госпожой нашей свободы. Ренегат спросил ее, в саду ли ее отец. Она ответила, что в саду и что он спит. «В таком случае его надо разбудить, – сказал ренегат, – и увезти его с собою, а также захватить и все, что только есть драгоценного в этом прекрасном саду. – Нет, – воскликнула она, – не касайтесь ни одного волоса на его голове, и в этом доме больше ничего нет, кроме того, что я увожу; этого вполне достаточно, чтобы сделать вас всех богатыми и довольными. Подождите немного и вы увидите». С этими словами она вошла в дом, и, обещав скоро вернуться и прося нас стоять спокойно и не шуметь. Я спросил ренегата, о чем они разговаривали, и, узнавши, в чем дело, просил его исполнять только волю Зораиды. Она между тем возвратилась, неся



маленький сундучок, так переполненный золотыми монетами, что она едва была в силах держать его. Рок судил, чтобы в эту минуту проснулся ее отец и услышал шум в саду. Он подошел к окну и, вскоре узнав, что стоявшие около его дома люди были христиане, начал пронзительно кричать по-арабски: «Христиане, христиане! воры, воры!!» Эти крики привели нас всех в страшное смущение. Но ренегат, увидав грозившую нам опасность и сознавая, что необходимо покончить предприятие прежде, чем тревога будет услышана, со всех ног бросился наверх в комнату Аги-Морато. Некоторые за ним последовали; я же не осмелился покинуть Зораиду, которая без чувств упала в мои объятия. Ушедшие быстро покончили с своим делом: через минуту они опять спустились вниз, ведя Аги-Морато со связанными руками и со ртом, завязанным платком, угрожая ему заставить его жизнью заплатить за одно только слово. При виде этого его дочь закрыла себе глаза, чтобы не смотреть на отца, а он остолбенел, увидав ее и не зная, что она добровольно отдалась в наши руки. Но так как в то время ноги нам были всего нужнее, то мы поспешили поскорей добраться до нашей лодки, где оставшиеся ожидали нас, сильно беспокоясь о том, не случилось ли с нами какого несчастья.

Было только с небольшим два часа ночи, когда мы все собрались в лодку. Отцу Зораиды развязали руки и рот, но ренегат еще раз повторил ему при этом, что если он скажет хоть одно слово, то пусть тогда пеняет на себя. Взглянув на свою дочь, Аги-Морато тяжело зарыдал; он зарыдал еще тяжелее, когда увидал, что я крепко обнял ее, и что она, без слез и без сопротивления, спокойно остается в моих объятиях; тем не менее, он хранил молчание, боясь, как бы ренегат не привел своей угрозы в исполнение. В ту минуту, когда мы уже взялись за весла, Зораида, видя в лодке своего отца и других связанных мавров, сказала ренегату, чтобы он попросил у меня милостивого позволения развязать мавров, и возвратить ее отцу свободу, потому что ей легче броситься в воду, чем видеть, как везут пленником нежно любившего ее отца. Ренегат передал мне ее просьбу, и я ответил, что я готов ее исполнить. Но он возразил, что сделать это невозможно. «Если мы оставим их здесь, – сказал он мне, – то они станут кричать о помощи и сделают тревогу в городе, и тогда в погоню за нами пошлют легкие фрегаты, так что отрежут нам путь и на суше и на море и лишат нас всякой возможности убежать. Только одно и можем мы сделать, это – возвратить им свободу по прибытии в первую христианскую страну». Мы все согласились с этим мнением, и Зораида, которой мы тоже объяснили причину, отчего нельзя сейчас же исполнить ее желания, удовлетворилась нашими доводами.

Тогда в строгом молчании, но с радостной поспешностью, каждый из наших здоровых гребцов схватил свое весло, и из глубины наших сердец поручив себя Богу, мы поплыли по направлению к островам Болеарским – самой ближней христианской стране. Но так как дул довольно сильный ветер, и на море было порядочное волнение, то нам нельзя было взять путь на Майорку, а пришлось плыть вдоль берега Оранского; это причиняло нам большое беспокойство, так как мы боялись быть залеченными из маленького городка Саргеля, расположенного на этом берегу в шестидесяти милях от Алжира. Мы опасались также, что нам придется встретиться с какой-нибудь из галиот, которые возят товары из Тетуана, хотя каждый из нас рассчитывал и на себя и на других и надеялся, что если мы встретимся с торговой невооруженной галиотой, то мы не только не будем взяты ею, но даже сами возьмем это судно, на котором нам будет можно с большою безопасностью совершить наше путешествие. В то время, как мы, таким образом, плыли, Зораида сидела со мной рядом, спрятав свою голову в моих руках, чтобы не видеть своего отца, и я слышал, как она тихо призывала Лелью Мариэм, прося ее помочь нам. К рассвету мы проплыли около тридцати миль, но все-таки были не более как на расстоянии трех выстрелов из аркебуза от земли. Берег был пустынен, и мы не боялись быть никем замеченными; отплыв на веслах в открытое море, немного к тому времени успокоившееся, и очутившись в двух милях от берега, мы отдали гребцам приказание грести по-тише, пока все подкрепятся пищею, которою лодка была снабжена в изобилии. Но гребцы отвечали, что теперь не время отдыхать, и что есть могут те, кому нечего делать, а они ни за что на свете не сложат весел. Их послушались, и в ту же минуту подул свежий ветер, заставивший нас поднять паруса и оставить весла, повернув лодку носом в Орану, так как другое направление принять было нельзя. Все это произошло очень быстро, и мы поплыли на парусах, делая по восьми миль в час, опасаясь только, как бы не встретиться с вооруженным разбойничьим судном. Мы дали поесть маврам-багаритам, которых ренегат утешал, говоря им, что они не невольники, и что при первой же возможности им будет возвращена свобода. С тою же речью он обратился к отцу Зораиды, но старик отвечал: «Я могу ожидать всего другого от вашего великодушия и вашей любезности, христиане; но не считайте меня таким простаком, чтобы подумать, будто бы вы мне дадите свободу. Наверно, не для того вы подвергали себя опасности при моем похищении, чтобы потом так бескорыстно освободить меня, зная в особенности, кто я и какие выгоды вы можете извлечь из моего выкупа; если вам угодно назначить цену, то я теперь же предлагаю вам все, что вы захотите за меня, и за это бедное дитя,

составляющее лучшую и драгоценнейшую часть моей души». Произнеся эти слова, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас сострадание, и Зораида невольно бросила на него взор. Глубоко тронутая его слезами, она поднялась с моих колен, подошла к своему отцу и обняла его. Она прижалась своим лицом к его лицу, и оба они стали проливать горькие слезы, так что и большинство из нас, свидетелей этого трогательного зрелища, тоже почувствовали свои глаза мокрыми от слез. Но, увидав свою дочь в праздничном платье и украшенную множеством драгоценностей, Аги-Морато сказал ей на его родном языке: «Что это значит, моя дочь? вчера вечером, перед тем как с нами случилось это ужасное несчастье, я тебя видел в обыкновенном домашнем платье, а теперь я вижу тебя во всех уборах, которые я тебе подарил в дни нашей счастливой жизни. У тебя не было времени переодеться, и я не сообщал тебе никакого радостного известия, ради которого можно было бы праздновать и торжествовать? Отвечай на мой вопрос, потому что это удивляет и тревожит меня больше чем постигшее меня несчастье».

Ренегат перевел для нас все сказанное мавром своей дочери. Зораида не отвечала ни слова. Но, когда Аги-Морато увидал в одном углу лодки сундучок, в котором она обыкновенно хранила свои драгоценности и который он считал оставшимся в алжирском доме, при переезде их в сад, он спросил ее, как этот сундучок попал в наши руки и что внутри его. Тогда ренегат, не дожидаясь ответа Зораиды, сам ответил старику: «Не трудись, господин, расспрашивать твою дочь Зораиду; я дам тебе один ответ, который решит все твои вопросы. Она пришла сюда добровольно и, вероятно, теперь так же довольна своим положением, как доволен перешедший из мрака к свету, от смерти к жизни и из ада в рай. – Дочь моя, правду ли он говорит? – воскликнул мавр. – Да, правду, – ответила Зораида. – Как! – воскликнул он, – ты христианка, и это ты предала своего отца в руки его врагов? – Да, я христианка, – подтвердила Зораида, – но не я довела тебя до этого состояния, и у меня никогда не было желания ни тебя покинуть ни сделать тебе зло, но только сделать себе добро. – Какое же добро сделала ты себе, дочь моя? – Об этом спроси Лелью Мариэм, она сумеет ответить тебе лучше меня». Едва только мавр услышал этот ответ, как с невероятной быстротой он бросился вниз толовой в воду и непременно бы утонул, если бы его не удержала некоторое время на воде его длинная одежда. Мы подбежали на крики Зораиды и, схватив за плащ, вытащили его на половину захлебнувшимся и потерявшим сознание. Его вид вызвал глубокое горе в душе Зораиды, которая стала горько и неутешно рыдать над его телом как над мертвым. Но мы повесили мавра вниз

головой, из него вылилось много воды, и часа через два он пришел в себя. За это время ветер переменился, и мы принуждены были приблизиться к земле и изо всех сил работать веслами, чтобы не быть выброшенными на берег. Но наша счастливая судьба привела нас в бухту, которую образует маленький мыс, называемый маврами мысом *Sava rhoumia*, что по-нашему означает дурной христианки. Среди них существует предание, что на этом месте погребена та *Sava*, которая была причиною гибели Испании. – *Sava* на их языке означает дурная женщина, а *rhoumia* – христианка. Они считают дурным предзнаменованием, когда им приходится бросить якорь в этом месте, и потому они без необходимости не пристают там к берегу. Для нас же этот мыс был не местом погребения дурной женщины, но спасительною гаванью, так как море страшно бушевало. Мы поставили часовых на земле, а сами стали подкрепляться запасами, которые захватил ренегат; после чего мы из глубины сердца помолили Бога и Пресвятую Деву взять нас под свое покровительство и помочь нам довести до благополучного конца так счастливо начатое дело.

Уступая просьбам Зораиды, мы приготовились высадить на землю ее отца и других мавров, до сих пор еще связанных; у нее разрывалось сердце при виде ее отца, связанного как злодей, и ее пленных соотечественников. Мы обещали повиноваться ей перед отъездом, потому что выпустить мавров в этом пустынном месте не представляло никакой опасности. Наши молитвы были не напрасны, небо услышало их; подул благоприятный ветер, море успокоилось, и все манило нас продолжать наше радостное путешествие.

Сочтя минуту удобной, мы развязали мавров и, к большому их удовольствию, высадили поодиночке на землю. Но, когда высаживали отца Зораиды, совершенно пришедшего уже в сознание, он сказал нам: «Как вы думаете, христиане, почему эта злая женщина радуется тому, что вы возвращаете мне свободу? вы думаете потому, что она жалеет меня? О, нет, она рада избавиться от моего присутствия, которое мешало бы ей удовлетворять ее преступные желания. Не думайте, что она решила переменить свою религию на вашу потому, что она считает вашу религию лучше нашей. О, нет, она делает так только из-за того, что у вас распутству дано больше простору, чем в нашей стране». Затем, обращаясь к Зораиде в то время, как я с другим христианином удерживал его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь безумного поступка, он воскликнул; «О, бесчестная и развратная девушка! Куда ты идешь, слепая и бесчеловечная? во власть этих собак, наших природных врагов? Проклят тот час, в который я тебя зачал, прокляты те попечения, которыми я окружал тебя с детства!»

Увидав, что он не собирается скоро кончить, я поспешил спустить его на землю, и там он продолжал громко кричать свои проклятия, моля Могомета упросить Аллаха, чтобы он погубил и низверг нас всех в бездну. Когда, став на паруса, мы уже не могли слышать, что он говорит, мы все еще видели, что он делает. Он рвал на себе волосы, бил себя по лицу и катался по земле. На одну минуту он крикнул таким громким голосом, что мы еще раз ясно услышали его слова: «Воротись, моя милая дочь, сойди на землю; я тебе все прощаю, отдай этим людям твои деньги, уже принадлежащие им, и воротись утешить твоего печального отца, который лишится жизни на этом пустынном берегу, если он лишится тебя». Все это Зораида слышала и с разбитым сердцем горько плакала. Она могла только ответить ему этими немногими словами: «Да будет угодно Аллаху, о мой отец, чтобы Лелья Мариэм, сделавшая меня христианкой, утешила и тебя в твоём горе. Аллаху хорошо известно, что я не могла не сделать того, что я сделала, и что эти христиане ничем не обязаны моей воле. Если бы я даже хотела позволить им уехать одним, а сама остаться дома, то и тогда это было бы для меня невозможно: душа моя полна нетерпения исполнить это решение, которое мне кажется столько же святым, насколько тебе, мой отец, оно кажется преступным».

Зораида говорила это в то время, когда ее отец не мог ее больше слышать, и когда мы уже потеряли его из виду. В то время, как я ее утешал, все принялись за работу и так быстро поплыли под благоприятным ветром, что к рассвету мы надеялись видеть себя у берегов Испании. Но, так как редко или скорей никогда счастье не бывает чистым и совершенным, а всегда сопровождается каким-нибудь несчастьем, нарушающим и изменяющим его, то и наша радость скоро была нарушена нашей несчастной звездой, а может быть, и проклятиями мавра, которым он предал свою дочь (потому что каков бы ни был отец, проклятья его всегда надо бояться). Мы плыли в открытом море, в четвертом часу ночи, с развернутыми парусами и со сложенными веслами, потому что благоприятный ветер делал греблю излишнею, как вдруг при свете луны мы заметили круглый корабль, который, на всех парусах и склонившись на борт, пересекал нам путь. Он был так близко, что мы принуждены были ослабить паруса, чтобы не столкнуться с ним, а он с своей стороны тоже затормозил свой ход, чтобы освободить нам дорогу. Тогда с палубы этого корабля к нам обратились с вопросом: кто мы, куда и откуда мы идем. Но так как эти вопросы были сделаны по-французски, то ренегат сейчас же крикнул нам: «Не отвечайте никто; это, должно быть, французские корсары, которые грабят всех». Послушавшись этого совета, мы ничего не

ответили и, продвинувшись вперед, оставили корабль под ветром; но в ту же минуту вслед нам послали два пушечных выстрела, без сомнения, связанными ядрами, потому что первый выстрел сломал половину нашей мачты, упавшей в море вместе с парусом, а другой, произведенный почти в ту же минуту, попал в корпус нашего катера и пробил его насквозь, не задев никого. Чувствуя, что в нашем судне образовалась течь, мы стали громко звать о помощи и просить людей находящихся на корабле взять нас к себе, если они не хотят, чтобы мы потонули; тогда с корабля спустили шлюпку, и двенадцать французов, вооруженные аркебузами, с зажженными фитилями, приблизились к нашему судну. Когда они увидели, что нас немного, и что в нашем катере действительно образовалась течь, они пригласили нас к себе на борт, добавив, что мы получили урок за свою невежливость и нежелание отвечать. Тогда наш ренегат взял сундук с богатствами Зораиды и бросил его в море так, что никто не заметил этого. Наконец мы перебрались на судно французов, которые осведомились обо всем, что им было угодно узнать от нас; затем, как будто бы они были нашими смертельными врагами, они отняли все, что у нас было; Зораиду они обобрали до колец, которые она носила на ногах. Но меня меньше мучили эти потери, огорчавшие Зораиду, чем страх ожидания, что эти пираты перейдут к другим насилиям и отнимут у ней, после этих богатых и драгоценных вещей, сокровище самое драгоценное и выше всего ею ценимое. Но к счастью, желания этих людей не идут дальше денег и добычи, которыми они никогда не могут насытить свою жадность, действительно настолько ненасытную, что они отняли бы у нас наши невольнические платья, если бы могли ожидать от них какой-нибудь выгоды для себя.

Некоторые из них советовали бросить нас всех в море завернутыми в парус; они намеревались плыть для промысла в некоторые испанские порты под британским флагом и потому не могли везти нас живыми, так как при этом они подверглись бы опасности быть открытыми и наказанными за грабеж. Но капитан, обобравший мою дорогую Зораиду, сказал, что он доволен добычей и не хочет заезжать ни в какой испанский порт, а намерен поскорее продолжать путь, пробраться ночью через Гибралтарский пролив и достигнуть Ла-Рошеля, откуда он отплыл. Поэтому пираты решили дать нам шлюпку с своего корабля и все что требуется для остающегося нам короткого плавания. На следующий день они исполнили свое обещание в виду испанской земли, – сладкий и радостный вид, который заставил нас забыть все наши несчастья, все наши лишения, как будто другие, а не мы, их претерпели. Так велико счастье найти утраченную свободу.

Было около полудня, когда нас посадили в шлюпку и дали нам два бочонка воды и несколько сухарей. Капитан, движимый непонятным для меня состраданием, дал прекрасной Зораиде, когда мы садились в шлюпку, даже сорок золотых эскудо и не позволил своим солдатам снимать с нее платье, которое она носит теперь. Мы вошли в шлюпку и, чувствуя признательность, а не злобу, поблагодарили пиратов за оказанное ими нам добро. Они немедленно же отправились в открытое море по направлению к проливу, а мы, не смотря ни на какой другой компас, кроме представлявшейся нашим глазам земли, принялись грести с таким рвением, что к заходу солнца были уже очень близко от берега и надеялись высадиться до наступления ночи. Но небо было мрачно, луна закрыта тучами; и так как мы не знали той местности, к которой мы пристанем, то нам казалось не совсем благоразумным выходить теперь на землю.

Однако многие между нами держались иного мнения; они предполагали пристать к берегу теперь же, хотя бы высаживаться пришлось среди скал и вдали от всякого жилья, потому что, говорили они, это единственное средство избежать опасности встречи с тетуанскими разбойничьими судами, которые отплывают из Берберии с наступлением ночи, к рассвету подходят к испанским берегам, грабят и возвращаются затем домой. Наконец, среди разноречивых советов, остановились на том, чтобы понемногу приближаться к земле, и если спокойствие моря позволит, – высадиться, где это будет возможно. Так мы и сделали; раньше полночи мы подплыли к высокой горе, несколько отодвинувшейся от моря, так что образовалось небольшое пространство, довольно удобное для высадки. Мы протащили вашу лодку по песку, и, соскочив на берег, на коленях поцеловали землю нашей родины; потом, с глазами орошенными сладкими слезами радости, мы возблагодарили Господа Бога за несравненную помощи, явленную Им нам во время вашего путешествия. Мы взяли из лодки бывшие там запасы и, вытащив ее на берег, влезли почти на самую гору, потому что, даже взобравшись на нее, мы никак не могли успокоить наше сердечное волнение, никак не могли уверить себя, что эта державшая нас теперь земля – земля христианская. День занялся позднее, чем вы желали бы. Мы взошли на вершину горы, чтобы посмотреть, не видно ли с нее какой-нибудь деревни или пастушьих хижин; но, как далеко мы ни напрягали зрение, нам не удалось заметить ни тропинки, ни жилища, ни живого существа. Тем не менее, мы решили проникнуть глубже в страну, уверенные, что встретим кого-нибудь, кто мог бы нам сказать, где мы находимся. Более всего меня тревожило то, что Зораиде приходилось идти пешком по этой каменистой почве; на некоторое

время я взял ее на плечи, но моя усталость утомляла ее больше, чем подкреплял ее силы такой отдых; и она, не желая утруждать меня, терпеливо и радостно шла, взяв меня за руку. Не успели мы сделать четверти мили, как наших ушей коснулся звон колокольчика. Услыхав этот звон, возвещавший близость стада, мы внимательно осмотрелись вокруг и увидали молодого пастуха, который, смирно сидя под пробковым деревом, резал ножом палку. Мы его позвали, и пастух, повернув голову, стремительно вскочил с своего места. Но, как мы потом узнали, увидав Зораиду и ренегата, бывших в мавританской одежде, он вообразил, что все берберийские мавры гонятся по его следам, и потому бросился со всех ног бежать по лесу, крича во все горло: «Мавры, мавры! мавры в нашей стороне! Мавры! к оружию!» Услыхав эти крики, мы смутились и не знали, что делать; но, сообразив, что кричавший пастух встревожит всю местность, и, надеясь быть вскоре узнанными береговой стражей, мы велели ренегату снять турецкую одежду и надеть куртку без рукавов, которую дал ему один из освобожденных нами невольников; затем, поручив себя Богу, мы вошли по той же дороге, по какой убежал пастух, ожидая вскоре встретить береговую стражу. Наша надежда не обманулась: не прошло и двух часов, как, выйдя из кустарников на долину, мы увидали человек пятьдесят всадников, ехавших крупною рысью к нам навстречу. Увидав их, мы остановились в ожидании. Подъехав и найдя вместо мавров, которых они искали, бедных христиан, они остановились в изумлении, и один из них спросил нас, не мы ли случайно стали причиной тревоги, поднятой пастухом. «Да, мы, – ответил я ему, и хотел уже рассказать ему о случившемся с нами, сказать, кто мы и откуда идем, как один из приехавших вместе с нами христиан, узнав всадника, предложившего вопрос, перебил меня и воскликнул: «Благодарение Богу, приведшему нас в такую надежную гавань! Если я не ошибаюсь, земля, которую мы попираем ногами, есть земля Велес-Малаги, и если долгие годы моего рабства не лишили меня памяти, то я узнаю в вас, господин, спрашивающий, кто мы, моего дядю Педро-де-Бустаженте». Едва невольник-христианин успел произнести эти слова, как всадник соскочил с лошади и сжал молодого человека в своих объятиях. «Ах! – воскликнул он, – узнаю тебя, мой милый, дорогой племянник! я уж оплакивал твою смерть; да и сестра моя и твоя мать и все твои родственники, до сих пор живые, не надеялись больше тебя видеть. Бог явил мне свою милость, дав мне дожить до радостного свидания с тобой. Мы слышали, что ты был в Алжире, и по твоему платью и по платью всех твоих спутников я догадываюсь, что вы каким-нибудь чудом вырвались на свободу. – Совершенно верно, – ответил молодой



человек, – будет время, когда я вам расскажу все наши приключения». Когда всадники услышали, что мы пленники-христиане, они слезли с своих коней, и предлагали нам доехать до Велес-Малаги, до которого от того места было мили полторы. Некоторые из них, узнав от нас, где мы оставили нашу лодку, отправились за ней, чтобы переправить ее в город. Другие посадили нас на лошадей сзади себя, и Зораида села на лошадь дяди нашего товарища. Все население города, узнав о нашем прибытии от одного из всадников, поехавшего вперед, вышло к нам навстречу. Зрелище освобожденных пленников не вызывало в народе удивления, как не удивило бы никого и появление пленных мавров, потому что жители этого берега привыкли видеть и тех и других. Но всех приводила в изумление красота Зораиды, бывшая во всем своем блеске: утомление от ходьбы и радость, испытываемая ею при мысли о том, что она, наконец, в безопасности и в христианской стране, оживляли ее лицо чудною краской, и если бы меня не ослепляла любовь, я сказал бы, что во всем мире нельзя было найти более прелестного создания. Мы отправились прямо в церковь возблагодарить Бога за оказанную им милость, и Зораида, войдя в храм, воскликнула, что она видит в нем лица, похожие на лицо Лельи Мариэм. Мы сказали ей, что это ее иконы, и ренегат растолковал ей, как мог, значение их, внушая ей почитать их так, как будто бы каждая икона была самою явившейся ей Лельею Мариэм. Зораида, от природы обладавшая живым и проницательным умом, скоро поняла все сказанное ей по поводу икон. Оттуда нас повели в город и разместили по разным домам. Но христианин, уроженец этой местности, привел нас – ренегата, Зораиду и меня – в дом своих родителей, бывших людьми зажиточными и встретивших нас с такою же любовью, как и своего сына.

Шесть дней прожили мы в Велесе, по прошествии которых ренегат отправился в Гренаду, чтобы через посредство инквизиции вступить в святое лоно церкви. Другие освобожденные христиане разошлись, куда хотели. Мы с Зораидой остались одни, имея всего на всего только те деньги, которыми мы были обязаны любезности французского капитана. На них я купил это животное, на котором она едет, и как отец и оруженосец до сей поры, но не как супруг, я веду ее на мою родину. Там я надеюсь узнать, жив ли еще мой отец, была ли судьба к кому-нибудь из моих братьев благосклоннее, чем ко мне, хотя, правду сказать, небо, дав мне в спутницы жизни Зораиду, наградила меня такою участью, что я не желаю никакой другой, как бы она счастлива ни была. Терпение, с которым Зораида выносит все неудобства и лишения, неразлучные с бедностью, и ее желание видеть себя наконец христианкой так велики, так поразительны, что,

восхищенный ими, я посвящаю остаток моей жизни на служение ей. Однако радость, которую испытываю при мысли о том, что я принадлежу ей и она – мне, невольно омрачается, когда я подумаю: неизвестно, найду ли я на родине какое-нибудь скромное убежище для нее, если время и смерть были так беспощадны к моему отцу и моим братьям, что я не найду никого, кто бы удостоил меня узнать. Вот, господа, вся моя история; насколько она приятна и занимательна, судить о том предоставляю вашему просвещенному уму. Я же хотел бы рассказать ее еще короче, хотя и без того опасение утомить вас, заставило меня умолчать о некоторых обстоятельствах и опустить многие подробности.

## **ГЛАВА XLII**

### **Рассказывающая о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о некоторых других делах, достойных быть известными**

С последними словами пленник умолк, и дон-Фернанд сказал ему:

– Поистине скажу вам, господин капитан, – ваш способ рассказывать эти необыкновенные приключения вполне достоин новизны и занимательности самих приключений. Все рассказанное вами любопытно, необыкновенно, полно неожиданных случайностей, которые приводят слушателей в восторг и удивление; мы с таким удовольствием слушали вас, что с радостью были бы готовы послушать вашу историю во второй раз, хотя бы за этим занятием нас застал завтрашний день.

Карденио и все присутствовавшие поспешили предложить капитану-пленнику свои услуги в самых задушевных и искренних выражениях, так что тому оставалось только благодарить их за доброе расположение в нем. Дон-Фернанд обещал ему, между прочим, устроить там, что его брат маркиз будет крестным отцом Зораиды, если только пленник согласится поехать с ним. Он предлагал ему также нужные средства доехать до своей родины со всеми удобствами приличествующими его особе. Пленник учтиво поблагодарил дон-Фернанда, но отказался от его предложений. Между тем день клонился к вечеру, и с наступлением ночи у ворот постоялого двора остановилась карета, сопровождаемая несколькими всадниками, потребовавшими помещения. Хозяйка ответила, что во всем доме нет ни одного свободного местечка.

– Черт возьми! – воскликнул один из всадников, слезший уже с коня, – как бы там мы было, а думаю, что найдется место для господина аудитора, который едет в этой карете. Услыхав слово аудитор, хозяйка смутилась.

– Господин, – сказала она, – дело в том, что у меня нет постели. Если его милость господин аудитор возит с собою постель, как я предполагаю, то милости просим. Мы с мужем уступим ему нашу комнату, в которой его милость может поместиться.

– В добрый час, – сказал оруженосец. В эту минуту из кареты вышел человек, по костюму которого можно было увидеть, какую должность он занимал. Его длинное платье, с разрезными рукавами показывало, что он был действительно тем, кем его назвал слуга. Он вел за руку девушку лет

шестнадцати, одетую в дорожное платье; она была так изящна, свежа и хороша, что ее появление вызвало общий восторг, и если бы тут же не находились Доротея, Люсинда и Зораида, то все бы невольно подумали, что трудно найти другую красоту, равную красоте этой молодой девушки. Дон-Кихот был тут же, когда приехал аудитор. Увидав его входящим с девушкой, он сказал ему:

– Ваша милость можете спокойно войти в этот замок и принять участие в его увеселениях. Он тесен и представляет довольно мало удобств, но нет таких неудобств и стеснений в этом мире, которые не уступили бы оружию и науке, в особенности если оружие и наука имеют своей спутницей и руководительницей красоту, как это случается именно теперь, когда наука в лице вашей милости сопровождается этой прекрасной девицей, пред которой должны раскрываться не только ворота замков, но, открывая ей дорогу, должны расступаться скалы и преклоняться горы. Войдите, говорю я, ваша милость, в этот рай: в нем найдутся звезды и светила, достойные быть подругами солнцу, которое ведет ваша милость за руку; вы найдете оружие на страже и красоту во всем ее великолепии.

Аудитор, пораженный длинной речью Дон-Кихота, принялся рассматривать его с головы до ног, столько же удивленный его наружностью как и его словами; прежде чем он нашелся ответить ему хоть одно слово, его постигло новое изумление, когда он увидал появлявшихся Доротею, Люсинду и Зораиду, которые, услышав известие о прибытии новых гостей и узнав из описания хозяйки о красоте молодой девушки, выбежали посмотреть и приветствовать ее. Дон-Фернанд, Карденио и священник обратились к господину аудитору с самыми простыми любезностями и предложениями. После этого он вошел в дом, смущенный виденным и слышанным; знакомые же нам красавицы оказали прекрасной путешественнице сердечный прием. Аудитор скоро убедился, что все присутствующие – люди благородного происхождения; но наружность, лицо и обхождение Дон-Кихота продолжали его смущать. Когда кончился обмен взаимных любезностей и предложений услуг, когда узнали и взвесили все удобства, представляемые постоялым двором для дам, то остановились на принятом еще раньше решении, состоявшем в том, чтобы дамы поместились в упоминавшейся уже несколько раз комнате, а мужчины остались наруже, как бы на страже их. Аудитор согласился к удовольствию своей дочери, которой действительно оказалась молодая девушка, чтобы она поместилась с другими дамами, устроившимися на ночь лучше, чем они надеялись, при помощи скверной постели хозяев и постели аудитора.

Между тем с первого взгляда пленник по тайному волнению своего сердца узнал, что аудитор его брат. Он пошел расспросить сопровождавших его слуг, и на его вопрос, как зовут аудитора и откуда он родом, один оруженосец ответил ему, что его господин зовется лиценциат Хуан Перес-де-Виедма, по слугам, родом из одного городка в Леонских горах. Это известие вместе с тем, что он сам видел, окончательно подтвердило догадку пленника, что аудитор – его брат, который, по совету отца, выбрал юридическое поприще. Взволнованный и обрадованный этой встречей, он отвел дон-Фернанда, Карденио и священника в сторону и рассказал им о своем открытии, уверяя, что этот аудитор его брат. Оруженосец сказал ему также, что его господин отправляется в Мексико, облеченный должностью аудитора Индии при управлении этой столицы. Капитан узнал, наконец, что сопровождавшая его молодая особа, – его дочь, мать которой умерла, рождая ее на свет, и оставила мужа очень богатым, благодаря своему приданому, переходящему по праву наследства его дочери. Пленник просил у них совета, открыть ли ему себя немедленно или прежде убедиться, что брат не оттолкнет своего бедного брата, а примет его с братским чувством.

– Предоставьте мне сделать этот опыт, – сказал священник, – впрочем, господин капитан, нет сомнения в том, что вы будете хорошо приняты; ум и достоинства, обнаруживаемые вашим братом в его разговоре и обращении, не дают основания предполагать, что он заносчив и неблагодарен и не умеет оценивать ударов судьбы.

– Все-таки мне хотелось бы, – сказал капитан, – открыться не внезапно, но после подготовки.

– Повторяю вам, – возразил священник, – я устрою дело так, что все мы останемся довольны.

В эту минуту накрыли ужинать; все гости уселись за общий стол за исключением пленника и дам, ужинавших отдельно в своем помещении. Во время ужина священник сказал:

– С такой же фамилией, какая у вашей милости, господин аудитор, у меня был товарищ в Константинополе, где я пробыл несколько лет пленником; этот товарищ был одним из самых храбрых солдат, одним из лучших капитанов во всей испанской пехоте; но на сколько он был храбр и благороден, настолько же был и несчастен.

– А как звали этого капитана? господин лиценциат? – спросил аудитор.

– Его звали, – ответил священник, – Руя Перес де-Виедма; он был уроженцем одного городка в Леонских горах. Он рассказывал мне об одном событии, происшедшем с его отцом и братьями, происшествии, настолько необыкновенном, что я счел бы его за одну из тех историй, которые

рассказывают старухи, сидя зимой у огонька, если бы мне рассказывал о нем человек менее искренний и менее достойный доверия. Он мне говорил, что его отец поделил свое состояние между тремя сыновьями, дав им при этом советы лучше катоновских. Помню только, что на военном поприще, выбранном моим знакомым, он имел такой успех, что через немного лет за свою храбрость и прекрасное поведение и без всякой другой поддержки, кроме своих достоинств, он получил чин пехотного капитана и в скором времени был бы пожалован чином полковника. Но в эту пору судьба вооружилась против него; в то время, когда он ожидал всех ее милостей, ему пришлось испытать всю ее суровость. Одним словом, он лишился свободы в тот счастливый и славный день, когда многие возвратили ее себе в день битвы при Лепанто. Я же потерял ее при Гулетте, и после целого ряда различных приключений мы стали товарищами в Константинополе. Оттуда он был отвезен в Алжир, и я знаю, что там с ним случилось одно из самых необыкновенных приключений, какие только когда-либо происходили на свете. Продолжая в том же роде, священник подробно рассказал историю капитана и Зораиды. Аудитор слушал этот рассказ с таким вниманием, что действительно в эти минуты был более, чем когда-либо настоящим аудитором. Но священник рассказал историю только до того места, когда бежавшие христиане были ограблены французскими пиратами; он остановился, описав тяжелое и горькое положение, в котором остались после этого его товарищ и прекрасная мавританка, добавив, что он не знает, что с ними случилось потом, удалось ли их высадиться в Испании, или французы увезли их с собою.

Все рассказанное священником было очень внимательно выслушано капитаном, наблюдавшим за всеми движениями своего брата. Последний же, увидав, что священник окончил свою историю, глубоко вздохнул и воскликнул с влажными от слез глазами:

— О, господин, если бы вы знали, кому вы рассказали эти новости, какие нежные струны моего сердца затронули вы! Несмотря на всю мою сдержанность и мое благоразумие, ваш рассказ вызвал эти слезы на мои глаза. Этот мужественный капитан — мой старший брат; он, как одаренный более сильной душой, чем я и другой мой брат, и возвышенными мыслями, выбрал славную военную службу из тех трех поприщ, которые предложил нам наш отец. Да, это было действительно так, как рассказывал вам ваш товарищ, рассказ которого вам показался похожим на сказку. Я выбрал дорогу письменной деятельности, на ней Бог и мое прилежание помогли мне достигнуть той должности, которую, как видите, я занимаю теперь. Мой младший брат теперь в Перу; он так богат, что не только прислал

обратно мне и моему отцу ту часть состояния, которая ему досталась, но даже дал моему отцу средства не стеснять своей природной щедрости, и я сам, благодаря ему, мог продолжать свое учение, живя в более приличной обстановке, и легче достигнуть моего теперешнего положения. Мой отец жив еще, но умирает от желания узнать, что случилось с его старшим сыном, и в постоянных молитвах просит Бога, чтобы смерть не закрыла его глаз прежде, чем он увидит глаза своего сына. Но меня удивляет то, что мой всегда такой благоразумный брат не подумал во все время своих скитаний, горьких и счастливых событий послать о себе весть своему семейству. Нет сомнения, что если бы мой отец или кто-нибудь из нас знал об его судьбе, то ему не пришлось бы ожидать чудесной тростниковой палки, чтобы получить выкуп. Теперь же меня тревожит мысль о том, что сделали с ним французы, выпустили ли они его на свободу или предали смерти, чтобы скрыть свой грабеж. Оттого-то мое путешествие, начатое мною с такою радостью, будет с этой поры полно грусти и тоски. О, мой милый брат, если бы кто сказал мне, где ты теперь, чтобы я мог отправиться и освободить тебя от мучений, хотя бы мне пришлось взять их на себя! О, если бы кто принес моему старому отцу весть о том, что ты еще жив, хотя бы ты был в подземной темнице, более глубокой, чем берберийские тюрьмы! Все его богатства, богатства мои и моего брата сумели бы извлечь тебя оттуда. И ты, прекрасная и великодушная Зораида, зачем не могу вознаградить тебя за добро, которое ты сделала моему брату? Зачем я не могу присутствовать при возрождении твоей души, при твоей свадьбе, которая завершила бы наше счастье!

В таких и других подобных словах изливал аудитор свои чувства, растревоженные в нем известием о своем брате, и трогательная нежность его выражений возбудила во всех слушателях сочувствие к его горю. Священник, увидав, что его хитрость и желания капитана имели счастливый успех, не захотел больше оставлять аудитора в печали. Он встал из-за стола, вошел в комнату, где была Зораида и, взяв за руку, повел ее в сопровождении Люсинды, Доротеи и дочери аудитора. Капитан ожидал, что будет делать священник дальше. Этот же взял его другой рукой и, ведя их обоих рядом с собою, возвратился в комнату, где находились аудитор и другие путешественники.

— Осушите ваши слезы, — сказал он ему, — и да исполнятся ваше желание. Пред вами ваш достойный брат и ваша милая невестка. Вот — капитан Виедма, а вот прекрасная мавританка, оказавшая ему столько благодеяний; французские пираты, о которых я вам рассказывал, довели их до такой бедности, очевидно, с тою целью, чтобы вы могли обнаружить

перед ними все великодушные вашего благородного сердца.

Капитан бросился сейчас же обнять своего брата, который в удивлении положил обе руки к нему на грудь, чтобы рассмотреть его на некотором расстоянии, и, окончательно убедившись, что это – его брат, крепко сжал его в своих объятиях, проливая слезы любви и радости. Все присутствующие при виде этой сцены тоже не могли удержаться от слез. Невозможно, по моему мнению, не только передать, а даже выдумать все сказанные обоими братьями слова и всю силу их взволнованных чувств. Они то коротко рассказывали свои приключения, то снова отдавались излияниям братской дружбы. Аудитор обнимал Зораиду, предлагал ей свое состояние, заставлял свою дочь обнимать ее, и прелестная христианка и прекрасная мавританка знаками своей любви снова вызывали слезы на глаза всех присутствовавших. Молча и внимательно смотрел Дон-Кихот на эти необыкновенные события, которые он все причислял к бредням своего странствующего рыцарства. Между тем было решено, что капитан и Зораида возвратятся с своим братом в Севилью и известить их отца об освобождении и прибытии его сына, чтобы и он, если сможет, приехал на свадьбу и на крестины Зораиды. Аудитору нельзя было ни переменить дороги, ни отложить путешествия; он узнал, что через месяц из Севилья отправляется флот в Новую Испанию, и ему не хотелось упустить этот случай.

В конце концов, все были обрадованы счастливым приключением пленника, и так как прошло уже почти две трети ночи, то было решено отдохнуть немного до утра. Дон-Кихот вызвался охранять замок, чтобы, как говорил он, какой-нибудь великан или другой злонамеренный негодяй, соблазненный сокровищами красоты, заключающимися в этом замке, не осмелился их потревожить. Знакомые уже с рыцарем поблагодарили его за предложение и сообщили об его странном помешательстве аудитору, чем сильно удивили последнего. Один только Санчо Панса приходил в отчаяние от того, что ему приходится не спать до такой поздней поры; однако он устроился на ночь лучше всех прочих, улегшись на сбрую своего осла, которая впоследствии так дорого обошлась ему, как увидит потом. Дамы вошли в свою комнату; мужчины тоже постарались устроиться с наименьшим неудобством. А Дон-Кихот, выйдя с постоялого двора, стал на часы для охраны замка.

Но едва только занялась заря, как до слуха дам донесся какой-то чрезвычайно приятный голос, заставивший их внимательно прислушаться. Доротея проснулась первой; между тем, как донья Клара де-Виедма, дочь аудитора, продолжала спать рядом с ней. Никто из них не мог догадаться,



кто это так хорошо поет; слышался один голос, не аккомпонируемый никаким инструментом. Казалось, что песнь раздавалась то на дворе, то в конюшне. В то время, как они были всецело погружены во внимание и удивление, к двери их помещения подошел Карденио и сказал:

– Если вы еще не спите, то послушайте пение молодого погонщика, который не поет, а чарует.

– Мы и так слушаем его, – ответила Доротея, и Карденио ушел. Тогда Доротея, напрягая все более и более свое внимание, услышала пение следующих стихов:

## ГЛАВА XLIII

### **В которой рассказывается: трогательная история молодого погонщика и другие необыкновенные события, случившиеся на постоялом дворе**

Я пловцом любви зовуся,  
По ее плыву я волнам,  
Не надеясь достигнуть  
Никогда спокойной бухты.

В небе звездочку я вижу;  
Путь она мой направляет —  
Палипуру<sup>[61]</sup> не случилось  
Видеть той звезде подобной.

Долго как в пучине бурной  
Мне носиться, я не знаю;  
Лишь на ней мой взгляд горячий,  
Беспокойный отдыхает.

Недоступность через меру,  
Добродетель без сравненья —  
Вот те тучи, что от взоров  
Страстных звездочку скрывают.

О, звезда! сияньем полным  
Осветить меня должна ты;  
Если ж ты совсем исчезнешь,  
Умереть я должен буду.

Когда певец допел до этого места, Доротее пришла мысль, что было бы жаль, если бы Клара лишилась удовольствия послушать такое прекрасное пенье. Она слегка потолкала ее и сказала, когда та проснулась:

— Извини, милая, что я тебя бужу, но мне хотелось бы доставить тебе удовольствие послушать очаровательнейший голос, какой ты только

слышала, может быть, во всю свою жизнь.

Еще не совсем проснувшись Клара протерла себе глаза и, не поняв с первого раза слов Доротеи, попросила ее повторить их. Та повторила, и Клара стала внимательно прислушиваться, но едва только она услышала два или три стиха, которые продолжал распевать юноша, как все ее тело охватила сильная дрожь, точно с ней приключился припадок жесточайшей лихорадки; и, бросившись на шею Доротеи, она воскликнула:

– Ах, госпожа души моей и жизни, зачем ты меня разбудила? Судьба оказала бы мне величайшее благо, если бы закрыла мне глаза и уши, чтобы я не могла ни видеть, ни слышать этого несчастного певца.

– Что ты говоришь, милая девочка? – возразила Доротея, – подумай, ведь этот певец, говорят, простой погонщик мулов.

– Он господин земель и душ, – ответила Клара, – в том числе и моей души, которая будет принадлежать ему вечно, если он сам не оттолкнет ее.

Доротея была сильно удивлена такими страстными речами, находя их несоответствующими возрасту и развитию молодой девушки.

– Я не понимаю ваших речей; объяснитесь понятней, что вы хотите сказать этими землями и душами, и кто этот певец, голос которого вам причиняет столько волнения. Впрочем, нет, не говорите сейчас ничего; я не хочу, занявшись вашими тревогами, лишиться удовольствия послушать певца, который, кажется, начинает новую песню.

– Как вам угодно, – ответила дочь аудитора и, чтобы ничего не слышать, закрыла себе уши обеими руками. Доротея удивилась опять, но, обратив затем все свое внимание на пение, услышала следующее:

Святое упование!  
Среди помех ты к цели нас ведешь.  
Недолго испытанье, —  
И пристань ты желаньям обретешь.  
Страшиться не посмей  
Опасности и смерти вместе с ней.

Ленивый не достигнет  
Победой славной счастья никогда;  
Удача не постигнет  
Своей судьбе покорного всегда.  
Печаль того удел,  
С судьбою кто бороться не посмел.

Блаженство мы напрасно  
Так дорого любовь вам продает:  
Всему, что жаждем страстно,  
Она печать небесного дает.  
Дешевою ценой  
Достигнут ли бывал успех какой?

С любовью постоянство  
Чудесных дел немало ли творит?  
Ни время, ни пространство —  
Ничто мне путь в любви не преградит.  
Уверен я, судьбой  
Мне на земле назначен рай с тобой.

Здесь певец прекратил свое пенье, и Клара начала опять вздыхать. Это возбудило в Доротее желание узнать причину таких приятных песен и таких печальных слез, и она поспешила спросить у Клары, что она хотела ей рассказать. Тогда Клара, опасаясь, как бы ее не услышала Люсинда, крепко обняла Доротею и приставила свои губы так близко к уху подруги, что могла говорить совершенно спокойно, не боясь быть услышанной никем другим.

— Этот певец, моя дорогая госпожа, — сказала она ей, — сын одного дворянина из королевства Аррогония, владелец двух областей. Он жил против дома моего отца в Мадриде; хотя мой отец и имел обыкновение закрывать всегда окна дома зимой занавесами, а летом ставнями, но все-таки этот дворянин, тогда еще учившийся, не знаю как-то увидел меня, должно быть в церкви или где-нибудь еще. В конце концов, он влюбился и из окон своего дома дал мне это понять таким множеством знаков и слез, что мне пришлось ему в этом поверить и даже полюбить его, хотя я и не знала, чего он хочет. Чаще всех прочих знаков, он делал мне один знак, состоявший в том, что он соединял одну свою руку с другой, желая тем дать мне понять, что он женится на мне. Я и сама была бы рада, если бы так случилось, но я одна, матери у меня нет, и я не знала к кому обратиться с своим делом. Потому я позволяла ему продолжать вести себя по-прежнему, ничем не обнаруживая, однако, своей благосклонности к нему, если не считать только того, что, когда наши отцы уходили из дому, я поднимала немножко занавес или ставни и показывалась ему; это было для него таким праздником, что он, казалось, сходил с ума. В это время моему

отцу был прислан приказ об отъезде; молодой человек узнал об этом, но не от меня, потому что не было никакой возможности сказать ему об этом. Я думаю, что он заболел от горя, и в тот день, когда мы уезжали, мне не удалось его видеть, чтобы проститься с ним, хотя бы взглядом. Но через два дня, подъехав к гостинице в одной деревне, до которой отсюда один день езды, я увидела у ворот этой гостиницы его в одежде погонщика мулов; он был так хорошо переодет, что мне бы самой не узнать его, если бы его образ не запечатлелся в моей душе. Я узнала его, удивилась и обрадовалась. Когда он проходит мимо меня по дороге или в гостинице, где мы останавливаемся, он поглядывает на меня потихоньку от отца, взглядов которого он избегает. Я знаю, кто он, и знаю, что это из-за любви ко мне он идет пешком и так сильно устает; поэтому я умираю от горя и глазами слежу за каждым его шагом. Не знаю, с каким намерением он идет и как он мог убежать из дома своего отца, который его страстно любит, потому что он его единственный наследник и потому что, кроме того, он сам по себе заслуживает любви, как вы в этом убедитесь сами, когда его увидите. Могу вас еще уверить, что все песни, которые он поет, он сочиняет из своей головы, потому что он хороший поэт и студент. Всякий раз, как я его слышу или вижу, я дрожу всем телом от страха, что отец узнает его и догадается о наших желаниях. Во всю свою жизнь я не сказала ему ни одного слова, но все-таки я так люблю его, что не могу без него жить. Вот, моя дорогая госпожа все, что я могу вам сказать об этом певце, голос которого доставил вам столько удовольствия; и его голос убедит вас, что он не погонщик, как думаете вы, но владетель душ и земель, как говорю я.

— Довольно, донья Клара, — воскликнула Доротея, покрывая ее тысячью поцелуев, — довольно, говорю я. Подождите наступления дня, и я надеюсь с Божьей помощью повести ваши дела, так, что доведу их до счастливого конца, какого заслуживает такое благородное начало.

— Увы, моя дорогая госпожа, — возразила донья Клара, — на какой конец можно надеяться, когда его отец так знатен и богат, что он сочтет меня не достойной быть, не говорю уже женой, но даже служанкой его сына? Обвенчаться же тайком от моего отца я не соглашусь ни за что на свете. Я хотела бы только, чтоб этот молодой человек меня оставил и вернулся домой; может быть, когда я не буду его видеть больше и когда мы будем разделены друг от друга большим расстоянием, которое нам остается проехать, горе, испытываемое мною теперь, немножко смягчится, хотя думаю, что это средство окажет на меня мало действия. Уж и не знаю, как вмешался сюда дьявол, как приключилась эта любовь, которую я питаю к нему, тогда как я такая молодая девушка, а он почти мальчик; ведь, по

правде сказать, мне кажется, что мы ровесники, а мне еще нет и шестнадцати лет; по крайней мере мой отец говорит, что мне будет шестнадцать лет в день Святого Михаила.

Доротея не могла удержаться от улыбки, слушая детский лепет доньи Клары.

– Заснем пока до утра, – сказала она ей, – бог пошлет нам день и мы постараемся употребить его на пользу, раз только руки и язык будут по-прежнему в моем распоряжении.

После этого разговора они заснули, и во всем постоялом дворе водворилось глубокое молчание. Не спали только хозяйская дочь да служанка Мариторна, которые, зная, на какую ногу хромает Дон-Кихот и что он в полном вооружении и на лошади стоит на часах около дома, уговорились между собой сыграть с ним какую-нибудь штуку или, по крайней мере, позабавиться, слушая его нелепые речи. Надо, однако, знать, что во всем доме не было другого окна, которое выходило бы в поле, кроме слухового окна сеновала, через которое бросали сено наружу. У этого-то слухового окна и поместились обе полудевушки. Они увидели Дон-Кихота, который сидел неподвижно на коне, опершись на древко копья и испуская по временам такие глубокие и жалобные вздохи, как будто с каждым из них у него отрывалась душа. Они услышали также, как он сладким, нежным и влюбленным голосом говорил:

– О, моя госпожа Дульцинея Тобозская, предел красоты, совершенного ума, верх разума, хранилище прелестей, склад добродетелей и, наконец, совокупность всего, что есть на свете доброго, честного и приятного, – что делает в эту минуту твоя милость? Погружена ли ты в воспоминания о твоём пленном рыцаре, который, единственно чтобы служить тебе, добровольно подвергает себя стольким опасностям? О, дай весть о ней, трехликое светило! Завидуя ей, ты, быть может, смотришь теперь на нее, как прогуливаясь по галерее своих пышных дворцов, или опершись на какой-нибудь балкон, она размышляет теперь о средстве укротить, без ущерба для своего величия и целомудрия, бурю, испытываемую ради нее моим огорченным сердцем, или о том, каким блаженством обязана она моим трудам, каким спокойствием – моей усталости, какой наградой – моим услугам и, наконец, какой жизнью – моей смерти. И ты, о солнце, спешащее наверно оседлать своих коней, чтобы подняться ранним утром и увидеть мою даму, молю тебя, когда ты ее увидишь, передай ей мой привет. Но не дерзай запечатлеть поцелуй мира на ее лице; я ревновал бы ее тогда больше, чем ты ревновало эту неблагодарную ветреницу, заставившую тебя столько бегать и потеть в долинах Эссалийских, или на берегах

Пенейских, ибо я не помню хорошенько, где ты тогда, любя и ревнуя, бежало.

Когда Дон-Кихот дошел до этого места своего трогательного монолога, хозяйская дочь шепотом позвала его и затем сказала ему:

– Мой добрый господин, будьте любезны, приблизьтесь, пожалуйста, сюда.

На эти слова Дон-Кихот повернул свою голову и при свете луны, сиявшей в то время во всем своем блеске, увидал, что его зовут к слуховому окошку, показавшемуся ему настоящим окном, и даже с золотыми решетками, которые должен был иметь такой богатый замок, каким показался ему постоялый двор; в то же мгновение в его безумном воображении родилась уверенность, что прелестная девица, дочь госпожи этого замка, мучимая и побежденная любовью к нему, явилась, как и в прошлый раз, соблазнять и прельщать его. С этой мыслью, чтобы не показаться неблагодарным и невежливым, он двинул Россинанта и подъехал к слуховому окошку. Увидав обеих молодых девиц, он сказал:

– Я искренно сожалею о том, очаровательные дамы, что вы направили свои любовные помыслы туда, где они не могут найти ответа, достойного вашей прелести, но не вините за это несчастного странствующего рыцаря поставленного любовью в невозможность сложить оружие перед кем-либо другим, кроме той, которую он сделал постоянной госпожой своей души, как только его глаза ее увидели. Простите же мне, любезные девицы, и войдите в ваши покои, не обнаруживая передо мною ясно ваших желаний, чтобы я не показался вам еще более неблагодарным; если любовь ко мне открывает вам во мне что-нибудь такое, в чем я могу вас удовлетворить, кроме, конечно, самой любви, то требуйте этого от меня; и я клянусь этой милой мучительницей, разлуку с которой я оплакиваю, исполнить ваше желание немедленно же, хотя бы вы потребовали пучок волос Медузы, состоявших из одних змей, или солнечных лучей, закупоренных в склянке.

– Ни того, ни другого не требуется моей госпоже, господин рыцарь, – сказала Мариторна.

– А чего же ей требуется, скромная дуэнья? – спросил Дон-Кихот.

– Только одну вашу прекрасную руку, – ответила Мариторна, – чтобы она могла удовлетворить страшное желание, которое с опасностью для ее чести привело ее к этому слуховому окошку; если об этом узнает господин, ее отец, то он из нее сделает рубленое мясо, так что от всей ее особы самым большим куском останется ухо.

– Это еще посмотрим, – возразил Дон-Кихот, – пусть он побережется, если он не хочет, чтобы его постиг самый злополучный конец, какой только

постигал какого-либо отца на свете за то, что он поднял руку на нежные члены его влюбленной дочери.

Мариторна знала наверное, что Дон-Кихот даст руку, когда у него попросят, потому, подумав немного, что ей делать, побежала от окошка и спустилась в конюшню; там она взяла недоуздок с осла Санчо и затем поспешно влезла на сеновал в ту минуту, когда Дон-Кихот встал на седло Россинанта, чтобы достать решетчатое окно, где по его предположению была девица с раненым сердцем. Протягивая ей руку, он сказал:

– Берите сударыня, берите эту руку или скорее этого палача всех злодеев на свете. Берите эту руку, говорю я, до которой не дотрагивалась рука ни одной женщины, даже рука очаровательницы, обладающей всем моим телом. Я даю ее вам не для того, чтобы вы ее поцеловали, но чтобы вы видели сплетение нервов, связь мускулов, ширину и толщину жил и отсюда заключили, насколько велика должна быть сила такой руки.

– А вот мы увидим, – сказала Мариторна, и, сделав из недоуздка петлю, она накинула ее на кисть руки Дон-Кихота; затем, отойдя от слухового окна, она привязала другой конец недоуздка к дверному засову сеновала.

Дон-Кихот, почувствовав на кисти руки жесткую веревку, сказал:

– Мне кажется, что ваша милость скорей царапаете, чем ласкаете мою руку; не обходитесь с ней так жестоко, она не виновата в зле, причиненном вам моею волею, и нехорошо было бы с вашей стороны вымещать на такой маленькой части моей особы весь ваш великий гнев; вспомните, кроме того, что тот, кто любит сильно, не мстит так зло.

Но никто не слушал этих речей Дон-Кихота, потому что, как только Мариторна его привязала, так сейчас же обе девушки убежали, умирая со смеха, и оставили его в этой ловушке, из которой он не имел никакой возможности высвободиться. Как уже сказано, он стоял на спине Россинанта, просунув руку в слуховое окошко и привязанный за кисть руки к дверному засову; сильно опасаясь, как бы его лошадь, отодвинувшись в сторону, не заставила его висеть на руке, он не осмеливался сделать ни малейшего движения, хотя спокойный и терпеливый характер Россинанта позволял ему надеяться, что последний простоит целый век, не двинувшись с места. Наконец, когда Дон-Кихот убедился, что он крепко привязан и что дамы скрылись, он вообразил себе, что все это произошло благодаря волшебству, как и в прошлый раз, когда в том же замке его отдул очарованный мавр – погонщик мулов. Про себя он упрекал себя в неблагоразумии и нерассудительности за то, что, пострадав так сильно в первый раз, при испытаниях в этом замке, он решился войти в него опять,



тогда как всякому странствующему рыцарю должно быть известно, что если он предпринял какое-нибудь приключение и оно ему не удалось, то это значить, что это приключение предназначается не ему, а другим; поэтому он ни в каком случае не должен был его предпринимать во второй раз. Тем не менее, он попробовал потянуть свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить, но петля была сделана так хорошо, что все его попытки были тщетны. Правда, он тащил ее очень осторожно из страха, как бы Россинант не двинулся; ему хотелось сесть в седло, но он должен был стоять или оторвать себе руку. Вот когда желал он меча Амадиса, над которым не имели власти никакие очарования; вот когда он проклинал свою судьбу и оценивал во всем его объеме то зло, которое потерпит мир от его отсутствия во все время, пока он останется очарованным, потому что он в самом деле считал себя очарованным; вот когда он чаще чем когда-либо вспоминал о своей возлюбленной Дульцинее Тобозской и призывал своего доброго оруженосца Санчо Панса, который, растянувшись на вьюке своего осла и погружившись в сон, не помнил даже о родившей его матери; вот когда призывал он к себе волшебников Алкифа и Лирганда и заклинал явиться свою приятельницу Урганду. В таком отчаянном положении застал его дневной рассвет: он ревел, как бык, не надеясь, что и день поможет его горю, которое он считал вечным, думая, что он очарован. В этой мысли его укрепляло в особенности то, что и Россинант ничуть не двигался. Поэтому он думал, что в этом положении, без еды, без питья, без сна, они с лошадью останутся до тех пор, пока не минет это злополучное влияние звезд или пока их не разочарует другой более мудрый чародей. Но он сильно обманулся в своих предположениях. Едва только начало светать, как к постоялому двору подъехали четверо видных, хорошо одетых всадника с карабинами, привешенными к лукам седел, и стали сильно стучаться в еще закрытые ворота. Но Дон-Кихот, увидав их с того места, на котором он продолжал стоять на часах, крикнул им громким и вызывающим голосом:

— Рыцари или оруженосцы, кто бы вы ни были, вы не имеете права стучать в ворота этого замка, потому что в эти часы его обитатели еще спят, и к тому же крепости не отворяются прежде, чем солнце осветит лучами всю землю. Отъезжайте же немного и подождите наступления дня, мы тогда увидим, следует ли вам отворять ворота или нет.

— Какие тут к черту крепости и замки? — сказал один из всадников, — к чему мы станем церемониться? Если вы хозяин постоялого двора, то прикажите нам отворить ворота; мы путешественники; мы дадим только ячменя лошадям, и затем поедем дальше, потому что мы спешим.

— Вам кажется, рыцарь, чего я по виду похож на хозяина постоялого

двора? – спросил Дон-Кихот.

– Не знаю, на кого вы похожи, – возразил тот, – знаю только, что вы говорите глупости, называя замком этот постоялый двор.

– Это замок, – твердил Дон-Кихот, – и даже один из лучших в этой области, и в нем находится теперь такая особа, которая носит скипетр в руке и корону на голове.

– Лучше сказать наоборот, – возразил путешественник, – скипетр на голове и корону в руке. Должно быть, здесь остановилась труппа комедиантов; у них обыкновенно попадают эти скипетры и короны, о которых вы говорите, но, чтобы на таком скверном постоялом дворе могли останавливаться люди со скипетром и короною, я ни за что не поверю.

– Вы неопытны в делах, происходящих на свете, – возразил Дон-Кихот, – и не знаете, какие события случаются среди странствующих рыцарей.

Но спутники разговаривавшего, которым надоел разговор с Дон-Кихотом, снова принялись стучать в ворота с такой яростью, что хозяин проснулся и встал узнать, кто стучит. Проснулись и все в доме. В эту минуту одна из лошадей четырех всадников подошла и понюхала Россинанта, который, с печальным видом и с опущенными ушами, недвижимо поддерживал вытянувшееся тело своего господина; там как он состоял все-таки из плоти и крови, хотя и казался сделанным из дерева, то он не преминул приободриться и в свою очередь понюхать животное, подошедшее к нему со своими ласками. Но едва только он сделал маленькое движение, как обе ноги Дон-Кихота соскочили, а он, скользнув по седлу, упал бы на землю, если бы не повис на руке, что причинило ему такую сильную боль, что ему показалось, что или ему отрезали кисть или у него оторвалась рука. Действительно, он находился так близко к земле, что носками своих ног чуть-чуть касался травы – и это только ухудшило его положение, так как, видя что ему немного остается, чтобы всею ступнею стать на землю, он изо всех сил вытягивался и мучился, стараясь достичь твердой почвы. Так несчастные, подвергнутые пыткам под блоком,<sup>[62]</sup> усиливают сами себе казнь, стараясь вытянуться, обманутые надеждой коснуться земли.

## ГЛАВА XLIV

### В которой продолжается рассказ о неслыханных событиях на постоялом дворе

Наконец, услышав пронзительные крики Дон-Кихота, испуганный хозяин поспешно отворил ворота двора и выбежал посмотреть, кто это так громко кричит. Между тем Мариторна, проснувшись от тех же криков и сейчас же догадавшись, в чем дело, влезла на сеновал, и отвязала, так что никто этого не видал, недоуздок, на котором висел Дон-Кихот. Рыцарь упал на землю на глазах хозяина и путешественников, которые, подойдя к нему, спросили его, чего он так кричит. Дон-Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с руки, встал, сел на Россинанта, надел на руку щит, взял копье наперевес, отъехал немного, чтобы выиграть пространство, возвратился легким галопом и сказал:

– Кто скажет, что я поделом был очарован, того я называю лжецом и вызываю на поединок, если принцесса Микомикона даст мне на то свое разрешение.

Эти слова привели вновь прибывших в изумление, которое однако хозяин скоро рассеял, сказав им, что на такого человека, как Дон-Кихот, не следует обращать внимания, так как он сумасшедший.

Путешественники спросили хозяина, не останавливался ли у него в доме молодой человек лет пятнадцати – шестнадцати, одетый в одежду погонщика мулов, и описали ему при этом, рост, наружность и приметы возлюбленного доньи Клары. Хозяин ответил, что у него стоит сейчас так много народу, что он не мог заметить молодого человека, о котором его спрашивают. Но один из всадников, увидав карету аудитора, воскликнул:

– Без сомнения, он здесь, вот и карета, которую он сопровождает. Пусть один из нас останется у ворот, а другие отправятся искать его внутри. Не мешает также одному из нас ходить вокруг постоялого двора, чтобы он не мог перелезть через забор и убежать.

– Так и сделаем, – ответил другой всадник; и двое из них вошли в дом, третий остался у ворот, а четвертый стал ходить вокруг постоялого двора. Хозяин смотрел на все эти приготовления и не мог догадаться, к чему принимаются эти меры, хотя и знал, что эти люди ищут молодого человека. Между тем день уже настал и при его наступлении, а также и от шума, виновником которого был Дон-Кихот, проснулись, и прежде всех – донья

Клара и Доротея, которые не спали почти всю ночь, одна от волнения, причиняемого ей близостью ее возлюбленного, другая – от желания видеть молодого погонщика. Дон-Кихот, видя, что никто из путешественников не обратил на него внимания и не соблаговолил ничего ответить на его вызов, задыхался от гнева и ярости, и, наверное, напал бы на них всех и заставил бы их волей или неволей отвечать ему, если бы известные ему рыцарские правила позволяли рыцарю предпринимать другое дело, после того, как он дал слово и клятву не вмешиваться ни во что, пока он не окончит того дела, которое он обещался совершить. Но ему было известно, что непозволительно бросаться в новое предприятие, прежде чем принцесса Микомикона не будет восстановлена на троне, и потому он решил молчать и стоять спокойно, скрестив руки на груди и ожидая, к чему приведут эти уловки путешественников. Один из них нашел молодого человека, которого он искал; тот спал рядом с настоящим молодым погонщиком, ни мало не беспокоясь о том, что его ищут и должны найти. Нашедший потряс его за руку и сказал:

– По правде сказать, господин дон-Луис, ваше теперешнее платье хорошо идет к вам! И постель, в которой я вас нахожу, тоже вполне соответствует нежным попечениям, в которых вы воспитаны вашей матерью.

Юноша протер заспанные глаза и, внимательно посмотрев на толкавшего его, скоро узнал в нем слугу своего отца. Его появление так смутило молодого человека, что он некоторое время не мог ответить ни слова. Слуга продолжал:

– Вам остается только, господин дон-Луис, терпеливо покориться и отправиться обратно домой, если ваша милость не желаете, чтобы ваш отец, мой господин, отправился на тот свет, так как только такого конца и можно ожидать от того горя, в которое поверг его ваш побег.

– Но как мог узнать мой отец, – прервал дон-Луис, – что я отправился по этой дороге и в этом костюме.

– Это ему открыл студент, – ответил слуга, – которому вы сообщили ваши намерения: он поступил так из сожаления к горю, поразившему вашего отца, когда он не нашел вас. Тогда ваш отец отправил четверых своих слуг на поиски за вами, и вот мы все четверо к вашим услугам. Даже вообразить нельзя, как мы рады тому, что нам выпадает счастье привести вас к отцу, который вас так нежно любит.

– Это еще как я захочу, и как велит небо, – ответил дон-Луис.

– Что можете вы захотеть, – возразил слуга, – и что иное может велеть небо, как не согласиться на возвращение? Все остальное невозможно.

Мальчик погонщик, рядом с которым спал дон-Луис, слышал весь этот разговор; вставши, он вошел сообщить о случившемся дон-Фернанду, Карденио и другим гостям, которые в это время одевались. Он рассказал им, как этот человек называл юношу дон, как он хочет отвести его домой к отцу и как тот не хочет его слушаться. Услыхав эту новость и зная уже молодого человека по прекрасному голосу, которым его одарило небо, все выразили желание узнать подробней, кто он, и даже помочь ему, если он подвергнется какому-нибудь насилию. Поэтому все направились в ту сторону, где еще разговаривал и спорил с своим слугой дон-Луис. В эту минуту Доротея вышла из комнаты, а за нею и донья Клара, сильно расстроенная. Отведя Карденио в сторону, Доротея в коротких словах рассказала ему историю певца и доньи Клары. В свою очередь, Карденио сообщил ей о прибытии слуг его отца, отправленных на его поиски, но он сообщил ей это известие не так тихо, чтобы донья Клара не могла расслышать его слов, и они поразили ее так сильно, что она упала бы на землю, если бы Доротея не поддержала ее. Карденио посоветовал отвести ее в комнату, добавив, что он постарается устроить все, как следует; и обе подруги последовали его совету.

В то же время искавшие дон-Луиса четыре всадника вошли на постоянный двор и, окружив юношу, пытались убедить его возвратиться с ними и утешить отца. Он ответил им, что он ни в каком случае не может последовать их совету, прежде чем он не кончит дела, касающегося его жизни, чести и души. Слуги настаивали на своем, говоря, что они не возвратятся без него и что они приведут его домой даже против его воли:

– Вы приведете меня только мертвым, – возразил дон-Луис: – каким бы способом вы не повели меня, все равно – вы поведете меня только мертвым.

Между тем шум их препирательств привлек многих гостей, находившихся на постоялом дворе, именно Карденио, дон-Фернанда, его провожатых, аудитора, священника, цирюльника и Дон-Кихота, который теперь считал уже излишним дальнейшее оберегание замка. Карденио, знакомый уже с историей юноши-погонщика, спросил у желавших вести его силою, что дает им право насильно заставлять молодого человека вернуться домой.

– То, – ответ один из них, – чтобы сохранить жизнь отцу этого дворянина, которому грозит опасность потерять ее.

– Считаю излишним давать здесь отчет в моих делах, – прервал дон-Луис, – я свободен я иду туда, куда мне хочется, и никто не может принуждать меня.

– Вас должен принуждать разум, – ответил слуга; – если этого недостаточно для вашей милости, то достаточно для нас, чтобы заставить нас сделать то, зачем мы приехали и что мы обязаны сделать.

– Разберем дело по существу, – сказал аудитор. Но слуга, узнав своего соседа по дому, сейчас же ответил ему:

– Да разве, ваша милость господин аудитор, не узнаете этого дворянина? Это сын вашего соседа; он убежал из дому своего отца в таком неприличном для его звания платье, как в этом ваша милость можете убедиться.

Аудитор внимательно поглядел тогда на юношу и, узнав, обнял его.

– Что за ребячество, господин дон-Луис! – сказал он ему, – какие такие важные причины заставили вас бежать в таком непристойном для вашего звания наряде?

У молодого человека выступили слезы на глаза, и он не мог ни одного слова ответить аудитору, который сказал слугам, чтобы они успокоились и что он устроит дело; затем, взяв дон-Луиса за руку, он отвел его в сторону, чтобы расспросить его насчет его шалости.

В то время как он предлагал ему эти вопросы, у ворот двора слышались сильные крики. Вот что было причиной их: двое гостей, ночевавшие в этом доме, пользуясь тем, что все занялись делом дон-Луиса и четырех всадников, вздумали улизнуть, не заплативши за ночлег, но хозяин, бывший к своим дедам внимательнее, чем к чужим, остановил их у ворот и стал у них спрашивать платы за постой, осыпая их такими ругательствами за их бессовестное намерение, что те, в конце концов, разозлились и полезли отвечать ему с кулаками. Они начали так здорово тузить его, что бедному хозяину пришлось взывать о помощи. Хозяйка и ее дочь видели, что только один Дон-Кихот был незанят и был более всех способен помочь им, поэтому хозяйская дочь подбежала и сказала ему:

– Господин рыцарь, ради мужества данного вам Богом, помогите поскорей, помогите моему бедному отцу, которого двое злодеев колотят без пощады.

На это Дон-Кихот медлительно и с величайшим хладнокровием ответил:

– Ваша просьба, прекрасная девица, не может быть принята мною в эту минуту: я нахожусь в невозможности предпринимать всякие другие приключения, пока не кончу того, окончить что меня обязывает данное слово. Но вот чем я могу услужить вам: бегите и скажите вашему отцу, чтобы он держался в этой битве, насколько хватит сил, и ни в каком случае не давал побеждать себя, между тем как я отправлюсь к принцессе

Микомиконе испросить у ней позволения помочь ему в его несчастии; если она мне даст таковое, то я уж сумею его освободить.

– Ах я грешница! – воскликнула Мариторна, присутствовавшая здесь же; – да прежде, чем ваша милость получит позволение, мой хозяин уж будет на том свете.

– Ну, так что ж, сударыня! – отозвался Дон-Кихот, – устройте так, чтобы я получил это позволение, которое мне нужно. Раз я его буду иметь, то что за беда, что он будет на том свете; я вытащу его и оттуда, на зло всему этому свету, который вздумал бы мне воспротивиться или, по крайней мере, я произведу такое мщение над теми, кто его туда послал, что вы будете вполне удовлетворены.

И не говоря больше ни слова, он вошел, преклонил колено перед Доротеей и попросил ее в рыцарских выражениях, чтобы ее величие соблаговолило дать ему позволение поспешить на помощь к владельцу этого замка, которому угрожает огромная опасность. Принцесса от всего сердца дала ему таковое, и он немедленно же, надев свой щит и выхватив свой меч, побежал к воротам, где двое гостей продолжали еще дубасить хозяина. Но, прибежав на место происшествия, он внезапно остановился и стал неподвижно, не обращая внимания на упреки Мариторны и хозяйки, спрашивавших его, отчего он остановился и не хочет помочь их господину и мужу.

– Отчего я остановился? – ответил Дон-Кихот, – да оттого, что мне не дозволяется поднимать меча на людей низкого звания; но позовите моего оруженосца Санчо; ему принадлежит право защиты и мщения этого рода.

Такое-то происшествие случилось у ворот постоянного двора, где градом сыпались тумачи и пинки, все к большому ущербу для особы хозяина и к великой ярости Мариторны, хозяйки и ее дочери, которые приходили в отчаяние при виде трусости Дон-Кихота и печального положения их хозяина, супруга и отца. Но оставим его в этом положении, потому что кто-нибудь, наверно, явится к нему на помощь, а если нет, тем хуже для того, кто берется за дело себе не по силам: пусть он терпит и молчит. Возвратимся теперь шагов на пятьдесят назад и послушаем, что ответил дон-Луис аудитору, которого мы оставили в ту минуту, когда он отвел юношу в сторону и стал расспрашивать о причине его путешествия пешком и в таком странном костюме. Молодой человек, с силой схватив его руки, как будто какое-то великое горе сжимало его сердце, и проливая целый поток слез, ответил ему:

– Могу вам сказать только, мой господин, что в тот день, как по воле неба или благодаря нашему соседству, я увидел донью Клару, вашу дочь и

мою госпожу, – с этого мгновенья я сделал ее повелительницей моего сердца; и если ваша воля, мой истинный господин и отец, не находит тому препятствий, то сегодня же она станет моей супругой. Для нее я покинул дом моего отца; я надел эту одежду для нее, для того, чтобы следовать за ней всюду, куда она пойдет, подобно стреле, стремящейся к цели, или моряку, следящему за полярной звездой. Она ничего не знает о моих желаниях, кроме того, что дали ей понять слезы, которые, как она часто видала, текли из моих глаз. Вы знаете, мой господин, состояние и благородство моих родителей, вы знаете, что я их единственный наследник. Если этих преимуществ вам достаточно, чтобы дать свое согласие на мое блаженство, то считайте меня теперь же своим сыном. Если мой отец, занятый другими личными соображениями, будет недоволен найденным мною счастьем, то возложим наши надежды на всесильное время, способное изменять все на свете, в том числе и человеческую волю.

Произнеся это, молодой человек умолк; аудитор же стоял удивленный его изящною и трогательною речью и озабоченный мыслью о том, как ему поступить в таком важном и неожиданном деле. Он мог только посоветовать юноше успокоиться, и сказал, что он попросит слуг не увозить его сегодня же с тем, чтобы он имел время обдумать свое решение. Дон-Луис насильно поцеловал его руки и даже оросил их слезами, и такой поступок смягчил бы каменное сердце, а не только сердце аудитора, который, как человек умный, с первого же взгляда понял, какой выгодный брак представляется его дочери. Тем не менее, он хотел по возможности устроить все дело с согласия отца дон-Луиса, рассчитывавшего сделать из своего сына важного вельможу.

За это время драчуны-гости заключили мир с хозяином, согласившись уплатить ему то, что он требовал, более побужденные на это красноречивыми увещаниями Дон-Кихота, чем угрозами хозяина; с другой стороны, слуги дон-Луиса ожидали окончания его беседы с аудитором и его окончательного решения. И вот в эту минуту никогда не дремлющий черт привел на этот постоялый двор цирюльника, у которого Дон-Кихот отнял некогда шлем Мамбрина, а Санчо Панса – сбрую осла, обменяв ее на свою собственную. Приведя своего осла в конюшню, цирюльник сразу же наткнулся на Санчо, который не знаю, что-то починял в своем вьюке. Увидав этот вьюк, он его немедленно узнал и потому, храбро схватив Санчо за шиворот, закричал:

– А, дон-негодяй, попался! отдавай мне сейчас мой таз и мой вьюк и всю сбрую, которую ты у меня украл.

Санчо, так неожиданно схваченный за горло, услышав обращенные к



нему ругательства, обхватил одной рукой выюк, а другой дал такой тумак цирюльнику, что раскровенил ему челюсти; но цирюльник своей добычи все-таки не выпустил и, крепко уцепившись за выюк, заорал во все горло, так что все гости прибежали на шум их сражения:

– Именем короля и правосудия, – кричал он, – я хочу взять мое добро, а он хочет меня убить, этот негодяй, грабитель больших дорог.

– Ты врешь! – отвечал Санчо, – я не грабитель на больших дорогах, и эту добычу мой господин Дон-Кихот получил в честном бою.

Между тем Дон-Кихот, тоже в числе прочих проворно прибежавший сюда, был уже свидетелем этого свора и приходил в восторг, видя с каким мужеством его оруженосец принимал то наступательное, то оборонительное положение. Он убедился в эту минуту, что его оруженосец – человек храбрый, и в глубине души строил предположения при первом же удобном случае посвятить его в рыцаря, находя, что рыцарское звание как нельзя лучше пристанет к нему. Между прочими словами, которыми разразился цирюльник, он сказал в ссоре:

– Этот выюк мой, как смерть – Божья; я его так хорошо знаю, как будто родил его на свет да вот мой осел в стойле, он не позволит мне соврать. Не верите, так примерьте выюк, и если он не подойдет к нему, как перчатка к руке, пусть я буду подлецом. Мало того, в тот же день они у меня отняли еще и таз для бритья, совсем новенький, еще не обновленный и стоивший мне порядочных денег.

Далее Дон-Кихот не мог сдерживаться; он стал между двумя сражающимися, развел их и, положив выюк на землю, чтобы он был виден всем до выяснения истины, воскликнул:

– Господа, для вас всех станет сейчас очевидно, в каком заблуждении находится этот добрый оруженосец, называя тазом для бритья то, что есть, было и будет шлемом Мамбрина, которым я завладел в честном бою и обладаю теперь по праву и справедливости. Что касается выюка, то я в это дело не вмешиваюсь, могу только сказать, что мой оруженосец Санчо попросил у меня позволения снять сбрую с лошади этого побежденного труса и нарядить в нее свою; я дал ему это позволение: он взял сбрую, а относительно того, как седло превратилось в простой выюк, я могу дать вам только обычное объяснение, то есть, что подобного рода превращения часто случаются в рыцарских событиях. В доказательство и подтверждение моих слов, беги поскорей, мой сын Санчо, и принеси сюда шлем, который этот чудак называет тазом для бритья.

– Ну, уж нет, господин, – возразил Санчо, – если у нас нет ничего другого в доказательство нашей правоты, то наше дело не выгорело. Этот

шлем Мамбрина – такой же цирюльничий таз, как это – вьюк, а не седло.

– Делай, что я тебе приказываю! – сказал Дон-Кихот, – может быть не все в этом замке происходит благодаря очарованию.

Санчо отправился за цирюльничьим тазом, принес его, и Дон-Кихот, взяв его в руки, воскликнул:

– Посмотрите же, господа, с какими глазами может этот оруженосец говорить, что это цирюльничий таз, а не шлем Мамбрина, как утверждаю я? Клянусь рыцарским орденом, звание которого я ношу, что с того времени, как я овладел этим шлемом, я ничего не убавил и не прибавил к нему.

– Совершенная правда, – прервал Санчо, – потому что с того времени, как мы его добыли, до сей поры – мой господин дал только одну битву, – это когда он освобождал несчастных каторжников и, право, без помощи этого тазика-шлема ему пришлось бы тогда плохо, потому что в этой свалке камни сыпались на него градом.

## **ГЛАВА XLV**

### **В которой окончательно выясняются сомнения относительно выюка и шлема Мамбрина и рассказываются во всей их истинности другие приключения**

– Как это вам покажется, господа? они все еще стоят на своем, что это не таз для бритья, а шлем.

– И кто скажет противное, – прервал Дон-Кихот, – того я заставлю понять, что он лжет, если он рыцарь, и что он солгал тысячу раз, если он – оруженосец. Присутствовавший при этих препирательствах наш знакомый цирюльник господин Николай, прекрасно зная характер Дон-Кихота, захотел еще больше раззадорить рыцаря и пошутить для потехи зрителей. Поэтому, обращаясь к другому цирюльнику, он сказал:

– Господин цирюльник, или кто бы вы там ни были, знайте, что я принадлежу к тому же званию, как и вы, что вот уже больше двадцати лет, как я получил свой диплом после испытания, и отлично знаю все без исключения орудия и принадлежности цирюльничьего ремесла, знайте кроме того, что во времена моей молодости я служил в солдатах и не менее хорошо знаю, что такое шлем, шишак и другие военные вещи, то есть все виды вооружения, носимого солдатами. И я теперь утверждаю, если только никто не выскажет другого более справедливого мнения, – потому что я всегда готов уступить мнению человека более разумного, – итак, я утверждаю, что эта вещь, которую мы видим перед собой и которую наш добрый господин держит в руке, – не только не цирюльничий таз для бритья, но так же похожа на него, как белое на черное, как истина на ложь. Но я должен также прибавить, что хотя это и шлем, но шлем не целый.

– Нет, не целый, – воскликнул Дон-Кихот, – ему недостает целой половины, у него нет застежек.

– Совершенно верно, – добавил священник, понявший к чему клонит его друг, господин Николай, и их мнения немедленно же нашли поддержку со стороны Карденио, дон-Фернанда и спутников последнего. Сам аудитор принял бы участие в шутке, если бы не был так занят делом дон-Луиса; но он был так погружен в серьезные размышления, что не обращал почти никакого внимания на эту потеху.

– Батюшки мои! – воскликнул одураченный цирюльник, – возможно ли, чтобы столько порядочных людей говорили, что это не таз, а шлем! Ну, над этим в пору подивиться самому ученому университету! Ну, уж если этот таз для бритья – шлем, так этот выюк, стало быть, в самом деле седло, как уверял этот господин.

– Мне он кажется выюком, – ответил Дон-Кихот, – но я уж сказал, что я не вмешиваюсь в это дело.

– Выюк ли это или седло, – сказал священник, – решить этот вопрос мы предоставляем господину Дон-Кихоту, потому что в делах, касающихся рыцарства, и я, и эти господа – все мы предоставляем ему пальму первенства.

– Правда, господа, – воскликнул Дон-Кихот, – после таких странных приключений, случившихся со мной в этом замке за два раза, когда я в нем останавливался, я не осмеливаюсь решать предлагаемые мне вопросы относительно чего бы то ни было, что в нем находится; потому что я уверен, что все происходящее здесь делается посредством очарования. В первый раз меня беспокоили посещения очарованного мавра, прогуливающегося по этому замку, а Санчо не мог избежать посещения его свиты, потом вчера вечером я целых два часа провисел, повешенный за руку, сам не зная, ни как, ни за что постигла меня эта невзгода. Поэтому было бы слишком большою смелостью с моей стороны, если бы я среди таких неустойчивых обстоятельств решился высказать свое мнение. Относительно странного уверения, будто бы это цирюльничий таз, а не шлем, я уже ответил; что же касается того, выюк ли это или седло, я не осмеливаюсь произнести определенный приговор и предпочитаю оставить этот вопрос на ваше решение, господа. Так как вы не рыцари, то, может быть, вам не придется иметь дело с здешними очарованиями, и, имея свой разум вполне свободным, вы будете в состоянии судить о делах этого замка так, как они происходят в действительности, а не как они мне кажутся. – Несомненно, – ответил дон-Фернанд, – господин Дон-Кихот говорил как оракул: решение этого затруднения принадлежит действительно нам; и чтобы оно было разрешено на сколько возможно верно, я соберу голоса этих господ и представлю точный и верный отчет о результате этой тайной подачи голосов.

Для знавших Дон-Кихота вся эта комедия была неистощимым источником смеха; но не знавшим об его сумасшествии она представлялась величайшею глупостью в свете; к последним принадлежали четверо слуг дон-Луиса, сам дон-Луис и еще трое путешественников, по-видимому, полицейских св. Германдады, случайно зашедших на постоялый двор. Но

больше всех приходил в отчаяние цирюльник, на глазах которого его так для бритья превратился в шлем Мамбрина, а вьюк, как ему казалось, грозил превратиться в богатое седло. Все зрители помирали со смеху, видя как дон-Фернанд отбирал ото всех голоса, и говорили ему на ухо, – как они втайне решили относительно этого драгоценногоклада, послужившего предметом спора, – вьюк ли он или седло. Собрав голоса всех знавших Дон-Кихота, дон-Фернанд сказал:

– Добрый человек, дело в том, что я совершенно напрасно трудился, собирая столько мнений, потому что не успевал я спросить о том, что мне надо знать, как мне сейчас же каждый отвечал, что безумно утверждать, будто бы это ослиный вьюк, тогда как на самом деле это – лошадиное седло, и даже от породистой лошади. Итак, вам остается только вооружиться терпением, потому что вопреки вам и вашему ослу это – седло, а не вьюк, и вы не сумели поддержать своего обвинения.

– Пусть лишусь я царства небесного, – воскликнул бедный цирюльник, – если вы все, господа, не ошибаетесь! и пусть моя душа предстанет так же перед Богом, как этот вьюк предстал передо мной, именно вьюком, а не седлом. Ну, да законы пишутся так...<sup>[63]</sup> больше не скажу ни слова. Я ведь не пьян, у меня сегодня во рту и росинки не было.

Простодушие цирюльника возбуждало не меньший смех, чем сумасбродства Дон-Кихота, заметившего между прочим:

– В таком случае лучше всего каждому взять свое добро, и быть довольным тем, что Бог ему послал.

Тогда один из четверых слуг подошел и сказал:

– Если все это не шутка, то я не могу себе растолковать, как могут такие умные господа, какими, по крайней мере, кажутся присутствующие здесь, утверждать, будто бы это не вьюк, а это не цирюльничий таз. Но так как я вижу, что продолжают стоять на своем, то я думаю, что есть какая-нибудь тайная цель в упорстве, с каким утверждают вещь настолько противную истине и самой действительности. Клянусь (я при этом он сильно поклялся), что все люди на свете не заставили бы меня признать то – ничем иным, как цирюльничьим тазом, а вот это – ничем иным, как вьюком осла.

– А может быть это вьюк ослицы, – прервал священник.

– Это все равно, – возразил слуга, – не в том дело, а вопрос в том, вьюк это или нет, как утверждаете вы господа.

Один из вновь пришедших на постоянный двор полицейских св. Германдады, заставший конец ссоры, не мог после этих слов удержать своей досады:

– Это вьюк, – воскликнул он, – как мой отец – человек, и кто скажет противное, тот пьяней вина.

– Ты врешь, болван и бездельник! – ответил Дон-Кихот и, подняв копье, с которым он никогда не расставался, обрушился таким ударом на голову полицейского, что не увернись последний вовремя, ему пришлось бы растянуться во весь рост. Копье сломалось, ударившись о землю, другие стрелки, увидав, что их товарища бьют, стали громко кричать о помощи св. Германдаде. Хозяин, принадлежавший к братству, сбегал за своим жезлом и мечом и присоединился к своим сочленам; слуги дон-Луиса окружили своего господина, чтобы тот, воспользовавшись суматохой, не вздумал улизнуть, цирюльник, увидав весь дом вверх дном, схватился за свой вьюк, который Санчо не отпускал однако ни на палец от себя; Дон-Кихот выхватил меч и бросился на стрелков; дон-Луис кричал своим слугам оставить его и помочь Дон-Кихоту, а также и дон-Фернанду и Карденио, ставших на его защиту; священник проповедовал, не щадя легких, хозяйка кричала, ее дочка стонала, Мариторна вопила, Доротея остолбенела, Люсинда перепугалась и донья Клара лишилась чувств. Цирюльник тузил Санчо, Санчо лупил цирюльника; дон-Луис дал оплеуху одному из слуг, осмелившемуся схватить его за руку, чтобы он не убежал, и раскровенил ему челюсти; аудитор его защищал; дон-Фернанд подмял под себя одного из полицейских и преспокойно месил его тело своими ногами; хозяин слова зывал о помощи св. Германдаде.

Одним словом, весь постоялый двор был полон плача, рыданий, воплей, ужасов, грома крушений, ударов мечом, тумачков кулаками, пинков ногами, палочных ударов, членовредительств и кровопролития. Вдруг, среди этого смятения, этого лабиринта, этого хаоса, новая мысль блеснула в воображении Дон-Кихота. Ему представилось, что он перенесен в лагерь Аграманта,<sup>[64]</sup> и громовым голосом, потрясшим весь постоялый двор, он воскликнул:

– Все остановитесь, все сложите оружие, все примиритесь, все слушайте меня, если все хотите остаться в живых.

Услышав эти крики, действительно все остановились, и он продолжал:

– Не говорил ли я вам, господа, что этот замок – очарован и что в нем живет легион чертей? В доказательство этого посмотрите, и вы увидите собственными глазами, как произошел и был перенесен между нас раздор в лагере Аграманта. Смотрите, – здесь сражаются за меч, там – за коня, по одну сторону – за белого орла, по ту – за шлем, и все мы сражаемся и все ничего не понимаем. Подите сюда, господин аудитор и вы также, господин священник; пусть один из вас будет королем Аграмантом, а другой королем

Собрином, и восстановите между нами мир, потому что, клянусь всемогущим Богом, было бы очень нехорошо, если бы такие благородные люди, каковы мы, перебили друг друга до таким ничтожным причинам.

Стрелки св. Германдады, ничего не понявшие из разглагольствований Дон-Кихота и порядочно помятые дон-Фернандом, Карденио и их спутниками, не хотели, однако, успокоиться. Цирюльник был не прочь помириться, так как во время сражения ему вместе с вьюком изорвали в клочья и бороду. Санчо, как добрый слуга, повиновался первому слову своего господина. Четверо слуг дон-Луиса тоже успокоились, увидав, как мало пользы получают они от драки; только один хозяин продолжал стоять на своем, что нужно непременно наказать безобразия этого сумасшедшего, который на каждом шагу перевертывает весь дом вверх дном. В конце концов, шум на некоторое время прекратился и до самого дня страшного суда вьюк остался седлом, цирюльничий таз – шлемом и постоянный двор – замком в воображении Дон-Кихота.

Когда, стараниями аудитора и священника, спокойствие было восстановлено и мир заключен, слуги дон-Луиса снова вспомнили о своем поручении и хотели сейчас же увести их господина, в то время, как он препирался с ними, аудитор советовался с дон-Фернандом, Карденио и священником относительно того, какое решение ему принять в таких обстоятельствах; перед этим он рассказал им о признании, сделанном ему дон-Луисом. Под конец совещания решили, что дон-Фернанд объявит слугам дон-Луиса, кто он такой и скажет им, что он берет молодого человека с собой в Андалузию, где его брат примет последнего, как он того заслуживает; иного ничего нельзя было сделать, так как было очевидно, что дон-Луис скорее допустит зарубить себя в куски, чем сейчас же возвратится к своему отцу. Узнав как дон-Фернанда и решение дон-Луиса, четверо слуг согласились, чтобы трое из них отправились к его отцу рассказать о происшедшем, а четвертый останется для услуг дон-Луису и не выпустит его из виду, пока не возвратятся остальные и не будет известно распоряжение отца.

Так властью Аграманта и мудростью короля Собрина утишились великие распри. Но когда дьявол, враг согласия и противник мира, увидел себя побежденным и посрамленным, когда он убедился, как мало пользы извлек он, заведя всех в этот безвыходный лабиринт, он решился снова попытать счастье, возжегши новые смуты и раздоры.

Узнав, с какими знатными людьми они дрались, стрелки поспешили уйти из сумятицы, понявши, что им опять достанется, что там ни случись; но один из них, тот, которого дон-Фернанд так здорово помял своими

пятками, вспомнил, что между прочими имеющимися у него приказами об арестовании преступников есть один приказ на Дон-Кихота, которого св. Германдада повелевала задержать за освобождение каторжников, чего вполне основательно опасался Санчо. Пораженный этой мыслью, стрелок решил проверить, соответствуют ли приметы, описанные в приказе, приметам Дон-Кихота. Он вытащил из-за пазухи пергаментный сверток, нашел нужную ему бумагу, и, будучи неважным грамотеем, начал читать ее по складам, при каждом разобранном им слове вскидывая глазами на Дон-Кихота и сравнивая приметы упоминаемые в приказе с приметами лица рыцаря. Скоро он окончательно убедился, что это был тот, кого описывал приказ. Уверившись в справедливости своей догадки, он левой рукой сжал свой пергаментный сверток, а правой рукой так крепко схватил Дон-Кихота за ворот, что тот едва мог вздохнуть.

– Помощь св. Германдаде! – громко закричал он потом, – и чтобы видели, что я требую помощи теперь серьезно, пусть прочитают этот приказ, в котором повелевается арестовать этого грабителя на больших дорогах.

Священник взял приказ и увидел, что стрелок говорил правду, и что в приказе действительно описываются приметы Дон-Кихота. Рыцарь же, разъяренный до пены у рта таким грубым обращением негодяя-мужика, изо всех сил схватил стрелка за горло руками, так что, не освободив последнего товарища, он скорее испустил бы свой дух, чем Дон-Кихот выпустил бы свою добычу.

На помощь стрелкам прибежал хозяин, обязанный помогать своим собратям по должности. Хозяйка, увидав, что ее муж снова полез в драку, опять завопила; на шум прибежали: Мариторна и хозяйская дочь, и вместе с ней стали взывать о помощи к небу и ко всем присутствующим. Санчо же, при виде происходившего, воскликнул:

– Ну, ей Богу, совершенную правду говорит мой господин, что этот замок очарован; в нем часу не проживешь спокойно.

Дон-Фернанд развел стрелка и Дон-Кихота и, не обижая никого, заставил каждого из них выпустить свою добычу, хотя они изо всех сил вцепились с ногтями друг в друга: стрелок держал рыцаря за ворот камзола, а рыцарь – стрелка за горло. Однако все четверо стрелков не переставали требовать выдачи арестованного ими; они кричали, чтобы его передали им со связанными ногами и руками, как того требует служба королю и святой Германдаде, именем которых они просили себе помощи и пособия для ареста этого разбойника, этого грабителя больших и малых дорог. Дон-Кихот только презрительно улыбался на эти крики и, сохраняя



свою важность, произнес:

– Подойдите, подойдите сюда, подлая и невежественная сволочь! Возвратить свободу закованным в цепи, освободить пленников, поднять поверженных на землю, помочь несчастным и облегчит страждущих – это вы называете грабежом на больших дорогах. О, род нечестивый, род недостойный во низменности своего разума! О, если бы небо пожелало открыть вам то благородство, которое заключается в странствующем рыцарстве, о, если бы оно позволило вам понять хотя бы то, какой великий грех вы совершаете, относясь с неуважением к особе – что говорю я? – даже к тени какого-либо странствующего рыцаря. Подойдите снова вся четверка мерзавцев, а не объездные полицейские, подойдите сюда, грабители прохожих, с разрешения св. Германдады, скажите мне, какой невежда подписал приказ об арестовании такого рыцаря, как я. Кто не знает, что странствующие рыцари не подлежат никакому уголовному суду, что для них не существует никаких законов, кроме меча, и никаких правил, кроме их подвигов, никаких кодексов, кроме их воли? Какой болван, повторяю я, мог не знать, что никакая дворянская грамота не дает таких льгот и преимуществ, какие получает странствующий рыцарь в тот день, когда он посвящается в рыцари и отдается тяжелому рыцарскому служению? Какой рыцарь когда-либо платил десятины, соляные, винные, хлебные, таможенные, дорожные или речные пошлины? Какой портной спрашивал у него о покрое платья? Какой владелец замка, приняв его у себя, брал с него плату за постой и ночлег? Какой король не сажал его рядом с собой за стол? Какая девица не влюблялась в него и с покорностью не отдавала ему сокровище своих прелестей? Наконец, кто видит, видел или увидит когда-либо на свете такого странствующего рыцаря, у которого не хватило бы силы и мужества дать сотни по четыре палочных ударов четверемстам четверкам стрелков, которые осмелились задрать перед ним нос?

## ГЛАВА XLVI

### О значительном приключении с объездными служителями святой Германдады и о великой ярости нашего доброго рыцаря Дон-Кихота. [\[65\]](#)

В то время, как Дон-Кихот произносил эту речь, священник старался втолковать объездным, что у рыцаря мозги не в порядке и что поэтому нет надобности исполнять распоряжения об его задержании, так как если бы и удалось схватить и увести его, то все равно потом пришлось бы вскоре освободить его, как сумасшедшего. Но объездной, у которого был приказ, отвечал, что не его дело судить о том, сумасшедший Дон-Кихот или нет, что он обязан только исполнять приказания своего начальства, и что, раз сумасшедший будет арестован, его можно триста раз потом отпустить на волю.

— Все-таки, — возразил священник, — вам теперь не следует задерживать его; да он и сам, если я не ошибаюсь, не в таком расположении духа, чтобы позволить себя арестовать.

В конце концов священник сумел представить столько доводов, а Дон-Кихот — наделать столько безумств, что стрелки сами были бы безумнее рыцаря, если бы не убедились в его сумасшествии. Они успокоились и даже стали посредниками между цирюльником и Санчо Панса, которые все еще продолжали враждовать с непримиримой ненавистью. В качестве представителей правосудия, они учинили третейский суд и решили дело так, что обе стороны, если и не вполне, то, по крайней мере, отчасти удовлетворились; они постановили, что обмену подлежать только выюки, но не подпруги и недоуздки, что же касается дела о шлеме Мамбрина, то священник тайком от Дон-Кихота заплатил за цирюльничий таз восемь реалов, и цирюльник вручил ему формальную расписку, в которой он отказывался от всяких претензий отныне и во веки веков, аминь.

Когда были порешены эти самые ожесточенные и важные споры, оставалось только уговорить слуг дон-Луиса, чтобы трое из них возвратились домой, а четвертый сопровождал своего господина, отправляющегося вместе с дон-Фернандом. Но рок смягчил свою суровость, счастье стало благосклоннее, и оба они, став на сторону любовников и храбрецов постоянного двора, привели дело к благополучному концу. Слуги дон-Луиса соглашались на все, что он желал, и тем возбудили

в душе доньи Клары необыкновенную радость, всецело отразившуюся на ее личике. Зораида, не понимавшая вполне событий, происходивших перед ее глазами, печалилась или радовалась, смотря по тому, что она замечала на лицах других присутствовавших и, главным образом, на лице своего капитана, к которому устремлялась вместе с глазами и ее душа.

Хозяин, от внимания которого не ускользнуло вознаграждение полученное цирюльником, стал требовать от Дон-Кихота денег за постой, а также и возмещения убытков от испорченных мехов и пролитого вина, клянясь, что ни Россинант, ни осел Санчо не выйдут с постоянного двора до тех пор, пока не будет заплачено все до последнего гроша. Недоразумения и с этой стороны были улажены благодаря стараниям священника и щедрости дон-Фернанда, уплатившего всю требуемую хозяином сумму, несмотря на то, что аудитор изъявлял готовность принять уплату ее на себя. Наконец, мир и спокойствие окончательно восстановились, и состояние постоянного двора было подобно уже не междоусобиям в лагере Аграманта, как сказал Дон-Кихот, но всеобщему миру времен царствования Октавиана; и общая признательность приписывала восстановление спокойствия и тишины добрым намерениям и высокому красноречию священника, а также и несравненной щедрости дон-Фернанда.

Увидав, что он свободен и счастливо отделался от всех распрей, как своих личных, так и касавшихся его оруженосца, Дон-Кихот решил, что теперь настало время продолжать путешествие и довести до конца великое приключение, для которого он был призван и избран. С этим энергичным решением он пошел и преклонил колено перед Доротеей, которая не позволяла ему однако сказать ни слова, пока он не поднимется. Повинуясь ей, он встал и сказал:

– Пословица гласит, о, прекрасная принцесса, что прилежание есть мать удачи, и опыт множеством убедительных примеров доказал, что усердие истца часто выигрывает даже сомнительное дело. Но нигде эта истина не обнаруживается так очевидно, как в делах войны, в которых благодаря быстроте, предупреждающей намерения неприятеля, одерживают победу прежде, чем он успеет приготовиться к защите. Все это я говорю, высокая дама, к тому, что, по моему мнению, наше пребывание в этом замке не приносит нам уж больше никакой пользы и даже может принести такой вред, что вам придется об этом сожалеть; кто поручится в самом деле, что ваш враг великан не узнал уже, при помощи ловких шпионов, о моем намерении покарать его, и вот, воспользовавшись временем, предоставляемом ему вами, он укрепитя в какой-нибудь неприступной крепости, против которой окажутся бессильными все мои

попытки и все мужество моей неутомимой руки. Итак, принцесса, предупредим, говорю я, его замыслы нашей быстротою и отправимся немедленно в добрый час, какой также не замедлит представиться вашей милости, как я не замедлю стать лицом к лицу с вашим врагом.

Произнеся эти слова, Дон-Кихот умолк и с важным видом ожидал ответа прекрасной инфанты. Она же, изображая из себя принцессу и подражая слогу Дон-Кихота, ответила в таких выражениях:

– Приношу вам мою благодарность, господин рыцарь, за обнаруженное вами желание оказать мне помощь в моем великом несчастье; так свойственно поступать рыцарю, посвятившему себя покровительству сирот и помощи нуждающимся, и да будет угодно небу исполнить ваше общее желание, тогда бы вы узнали, что на свете есть признательные женщины! Что же касается моего немедленного отъезда, то пусть он совершится сейчас же, ибо у меня нет другой воли, кроме вашей. Располагайте мною по вашему желанию; та, которая передала в ваши руки защиту своей особы и доверила вам восстановление ее царственных прав, не может желать ничего противного тому, что повелевает ваша мудрость.

– Да будет воля Божия! – воскликнул Дон-Кихот, – когда принцесса склоняется предо мною, я не упущу случая поднять ее и восстановить на наследственном троне. Отправляемся сейчас же, потому что мое желание и дальнейшее расстояние только подстрекают меня; в промедлении же, говорят, опасность. Ничего не может создать небо или извергнуть из недр своих ад, что могло бы устроить меня; поэтому седлай скорей, Санчо, седлай Россинанта, своего осла и лошадь королевы, простимся с владельцем замка и с этими господами и покинем поскорей эту местность.

– Ах, господин мой, – воскликнул присутствовавший при этой сцене Санчо, качая головою, – на нашу деревню так и шлются беды; не в обиду будь сказано хорошим людям...

– Глупец, – прервал его Дон-Кихот, – какая беда может еще случиться в какой-нибудь деревне и в городах всего света, куда только проникла слава моего имени?

– Если ваша милость сердитесь, – сказал Санчо, – то я лучше замолчу и не скажу того, что должен вам донести, как добрый оруженосец и слуга своему господину.

– Говори, что хочешь, – ответил Дон-Кихот, – если только не думаешь пугать меня своими словами; если ты боишься, то поступай, как тебе свойственно, я же, не знающий страха, поступлю так, как свойственно мне.

– Не о том речь, клянусь грехами моими перед Богов, – ответил Санчо, – а дело в том, что я уверился и удостоверился, что эта дама,

называющая себя королевой великого королевства Микомиконского, такая же королева, как и моя мать; потому что, если бы она была тем, чем она себя называет, она не стала бы целоваться с одним из этих господ за каждым углом, чуть только от них отвернутся.

Услыхав эти слова, Доротея покраснела до корня волос: дон-Фернанд действительно частенько тайком целовал ее, – считая свои желания вполне достойными этой награды. Санчо подметил это, и такое свободное обращение показалось ему более пристойным для женщины веселого поведения, чем для королевы великого государства. Смущенная Доротея не знала, что отвечать ему, и Санчо продолжал:

– Говорю я это вам, господин мой, к тому, – добавил он, – что если в конце концов, когда мы проедем такой длинный путь, проведем столько скверных ночей, и еще более скверных дней, – если, говорю я, плод наших трудов придется сорвать этому молодцу, который теперь здесь болтается, то к чему, право, спешить седлать Россинанта, осла и иноходца? Лучше оставаться в покое; и каждая баба останется при своей прялке, а мы пойдем обедать.

Великий Боже, каким ужасным гневом был охвачен Дон-Кихот, услышав такие нахальные слова своего оруженосца! С глазами, бросавшими молнии, он воскликнул прерывающимся голосом и заплетающимся от ярости языком:

– О мужик, о скот, бесстыдный, наглый, дерзкий клеветник и богохульник! Как осмелился ты произнести такие слова в моем присутствии и перед этими знатными дамами? Как осмелился ты, даже в своем тупом воображении, допустить подобное богохульство. Убирайся отсюда, чудовище природы, распространитель лжи, скопище обманов, изобретатель клевет, глашатай глупостей, враг уважения к царственным особам! Убирайся, не показывайся мне на глаза или трепещи моего гнева!

Проговорив это, он наморщил брови, надул щеки, искоса взглянул, топнул правой ногой, – очевидные признаки бушевавшей внутри его ярости. От этих слов и движений рыцаря Санчо присел чуть не на землю, дрожа всем телом и желая, чтобы земля сию же минуту разверзлась под его ногами и поглотила его. У него хватило решимости только проворно повернуться и скрыться от лица его разгневанного господина. Но умная Доротея, хорошо уже знавшая характер Дон-Кихота, чтобы успокоить его гнев, сказала:

– Не гневайтесь, господин рыцарь Печального Образа, на дерзкие слова вашего доброго оруженосца – может быть он и имел некоторое право так говорить, и мы не можем подозревать его христианскую совесть в

лжесвидетельстве против кого-либо. Вероятнее всего предположить, что так как в этом замке, по вашим словам, все происходит посредством волшебства, то может случиться, что и Санчо, благодаря этим дьявольским ухищрениям, действительно видел что-либо оскорбительное для моей добродетели.

– Клянусь всемогущим Богом! – воскликнул Дон-Кихот, – ваше величие напали на истину. Да, этого грешника Санчо посетило какое-нибудь дурное видение, потому-то он и видел то, что невозможно видеть иначе, как благодаря волшебству. Я слишком хорошо знаю добрый и незлобивый нрав этого бедняка, чтобы заподозрить его в лжесвидетельстве против кого либо.

– Да будет так! – воскликнул дон-Фернанд, – поэтому, господин Дон-Кихот, простите и призовите вновь его на лоно вашей милости, *sicut erat in principio*, пока проклятые видения, посещающие его, не перевернули окончательно его мозги.

Дон-Кихот ответил, что он прощает его, и священник отправился за Санчо, который, возвратись, с покорностью стал на колена перед своим господином и попросил позволения поцеловать его руку. Дон-Кихот позволил ему взять и поцеловать свою руку, затем дал ему свое благословение и сказал:

– Теперь, сын мой Санчо, ты окончательно убедишься, до какой степени верно то, что я тебе много раз говорил, – что все в этом замке делается посредством волшебства...

– Охотно верю этому, – ответил Санчо, – исключая все-таки историю с одеялом, которая произошла на самом деле.

– Не верь этому, – возразил Дон-Кихот, – если бы дело было так, то я бы тогда отомстил за тебя и мстил бы еще и теперь. Но ни тогда, ни теперь не мог я увидеть никого, кому бы отомстить за твое оскорбление.

Присутствующие захотели узнать эту историю с одеялом, и хозяин подробно рассказал их о воздушных путешествиях Санчо Панса, рассмешив до слез всех слушателей и в такой же степени рассердив Санчо, которого рыцарь продолжал уверять, что это было чистейшее очарование. Но Санчо не был так прост, чтобы сомневаться в том, что история с одеялом была самой очевидной действительностью, без всякой примеси какого-либо волшебства и что его качали самым настоящим образом и самые настоящие люди из плоти и костей, а не бестелесные призраки, – плоды воображения, как полагал и уверял его господин.

Двое суток жило уже знатное общество на постоялом дворе, и, наконец, все решили, что настала пора разъезжаться. Дело было только за

тем, чтобы придумать способ, как освободить Доротею и дон-Фернанда от труда сопровождать Дон-Кихота до его деревни, продолжая в тоже время освобождение королевы Микомиконы, и поручить рыцаря попечениям священника и цирюльника, решивших отвезти его домой и там полечить от сумасшествия. С общего согласия было постановлено нанять крестьянина, случайно остановившегося с своей телегой и волами на том же постоялом дворе, и увезти рыцаря таким образом: из палок устроили нечто вроде клетки, в которой Дон-Кихот мог располагаться, как ему удобнее; затем, по совету священника, дон-Фернанд с своими спутниками, слуги дон-Луиса и стрелки, вкупе с хозяином, закрыли свои лица и переоделись всякий по своему, чтобы не быть узнанными Дон-Кихотом. Затем в полном молчании они вошли в комнату, в которой он почивал, отдыхая от пережитых им тревог, и, приблизившись к бедному рыцарю, покоившемуся мирным сном и не подозревавшему такого приключения, все сразу накинулись на него и крепко связали ему руки и ноги; когда он проснулся, он не мог уже ничем шевельнуться и принужден был только изумляться, видя перед собою какие-то странные фигуры. В его уме сейчас же родилась догадка, которую постоянно подсказывало ему его безумное воображение: он решил, что все эти лица были привидениями этого очарованного замка, и что и сам он, без сомнения, тоже очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Одним словом, случилось именно так, как и ожидал священник, выдумавший это представление.

Из всех присутствовавших один только Санчо сохранил свой здравый смысл и обычный вид; и хотя он тоже был не совсем свободен от той болезни, какую страдал его господин, тем не менее, он скоро узнал всех этих переодетых людей; но у него не хватало смелости раскрыть свой рот, и потому он решил сначала посмотреть, чем кончится пленение его господина, который тоже не произносил ни слова, ожидая дальнейших последствий своего несчастья. А дальше последовало то, что его вместе с постелью отнесли в клетку, заперли там и так крепко забили выход дубовыми досками, что рыцарь скорее надорвал бы себе живот, чем успел разломать его. Затем клетку взвалили на плечи, и, когда ее выносили из дома, раздался ужасный голос, – по крайней мере, настолько ужасный, насколько сумел сделать свой голос таким цирюльник, не хозяин вьюка, а другой, говоривший следующее:

– О, рыцарь Печального Образа, не предавайся отчаянию, видя себя заключенным в тюрьму, в которой тебя увозят. Так должно случиться, дабы ты скорее покончил с приключением, которое ты предпринял, повинувшись своему великому сердцу; это приключение окончится тогда, когда

страшный лев Ламанчский и белая голубка Тобозская, склонив свое благородное чело под легким и сладким ярмом Гименея, будут обитать в одном гнезде. От это-то неслыханного союза произойдут на удивление всего мира мужественные львенки, которые наследуют хищные когти их доблестного отца. Это должно произойти прежде, чем бог, преследующий беглую нимфу, дважды обойдет в своем быстром и природном беге блестящие образы зодиака. И ты, благороднейший и послушнейший оруженосец, постоянно имеющий меч у пояса, бороду на подбородке и нюх в ноздрях, не смущайся и не падай духом при виде того, как на твоих глазах похищают цвет странствующего рыцарства. Скоро, если будет угодно великому Творцу всех миров, ты будешь вознесен так высоко, что не узнаешь сам себя, и исполнится обещание твоего доброго господина. Уверяю тебя именем мудрой Ментиоронианы, что твое жалование будет тебе уплачено, как ты это увидишь на деле. Шествуя по следам мужественного и очарованного рыцаря, ибо так надлежит, чтобы ты дошел до того места, где вы остановитесь оба; и так как мне не позволено говорить более, то да будет милость Божья с вами; я возвращаюсь туда, один я знаю куда.

В конце проповеди пророк возвысил голос до фистулы я потом понемногу понижал его с такими трогательными переливами, что сами участники шутики чуть было не поверили его словам.

Дон-Кихота такое пророчество сильно утешило, и он по пунктам разбирал его смысл и значение. Он понял, что ему обещают узы святого и законного брака с его возлюбленной Дульцинеей Тобозской, счастливая утроба которой произведет на свет львенков – его сыновей, на вечную славу Ламанчи. Полный слепой веры в слышанное им, он воскликнул, испустив глубокий вздох:

– О ты, кто бы ты ни был, пророчащий мне столько счастья, холю тебя, попроси от моего имени мудрого чародея, на которого возложены заботы о моих делах, чтобы он не допустил меня погибнуть в тюрьме, в которой меня теперь увозят, пока я не увижу совершения таких радостных, таких несравненных обещаний. Да будет так, и я стану считать небесными наслаждениями муки моей тюрьмы, истинной отрадой – отягчающие меня цепи, и эта досчатая постель, на которую меня положили, покажется мне не суровым походным ночлегом, но сладостнейшим и счастливейшим брачным ложем. Что же касается общества моего оруженосца Санчо Панса, которое должно утешать меня за это время, то я питаю слишком сильное доверие к его честности и преданности, чтобы опасаться, что он покинет меня в моей доброй или злой судьбе; потому что если даже, вследствие



не милости моей или его звезды, я и не сумею дать ему обещанный мною остров или что-либо другое равноценное, то жалованье его, по крайней мере, не пропадет ни в каком случае, потому что в сделанном уже мною завещании я написал, чтобы ему заплатили жалованье хотя и не в том размере, какого стоили бы его преданность и многочисленные заслуги, но, по крайней мере, в том, какой доступен для моих слабых средств.

Выслушав эти слова, Санчо почтительно поклонился рыцарю и поцеловал его обе руки, потому что поцеловать одну руку было невозможно, так как они были связаны вместе. Затем привидения, подняв клетку на плечи, взвалили ее на телегу.

## ГЛАВА XLVII

### О странном способе, каким был очарован Дон-Кихот Ламанчский, и о других славных событиях

Увидав себя запряганным в клетку и взваленным на телегу, Дон-Кихот сказал:

– Много прочитал я серьезных и достоверных историй странствующих рыцарей, но никогда мне не приходилось ни читать, ни видеть, ни слышать, чтобы очарованных рыцарей возили так медленно. Обыкновенно их всегда с необыкновенной быстротой мчат по воздуху на темном облаке, или на огненной колеснице, или на каком-нибудь гиппогрифе; но везти в телеге, на волах, великий Боже! И – меня это страшно смущает. Но, может быть, в наши времена правила очарований так же, как и рыцарские, – другие, чем прежде, и так как я новый рыцарь и первый воскресил уже забытое звание странствующего рыцарства, то, может быть, для меня изобрели новые виды очарования и новые способы перевозки очарованных. Как ты об этом думаешь, мой сын Санчо?

– А не знаю, как я думаю, – ответил Санчо, – я ведь не читал столько странствующих писаний, как ваша милость; только осмелюсь уверить вас и поклянусь вам, что эти привидения не совсем православны.

– Православны! – воскликнул Дон-Кихот, – как могут они быть православны, когда они демоны, принявшие фантастические тела, чтобы обделать свое дельце и поставить меня в это прекрасное положение? Если хочешь уверяться в этой истине, то потрогай, пощупай их, и ты увидишь, что у них нет другого тела, кроме воздуха, и что они существуют только по видимости.

– Помилуйте, господин! – возразил Санчо, – я уж их трогал; вон смотрите, тот дьявол, который так там хлопочет, лицом свеж как роза и имеет свойство, которого не бывает у чертей, – от тех, я слышал, пахнет серой и другой скверностью, а от него на полмили несет духами.

Санчо говорил это о дон-Фернанде, от которого, как от знатного господина, действительно пахло духами.

– В том нет ничего удивительного, друг Санчо, – ответил Дон-Кихот, – знай, что черти хитры, и хотя носят с собою некоторые запахи, но сами по себе ничем не пахнут, потому что они духи, но за то если пахнут, то не иначе, как зловонием. Доказать это очень просто; так как, куда они не

пойдут, они всюду несут с собой ад, нигде не находя облегчения своей казни, и так как, с другой стороны, хороший запах возбуждает приятные чувства, то очевидно, что пахнуть хорошо они не могут. А если тебе кажется, что от этого дьявола пахнет духами, то или ты ошибаешься, или он хочет тебя обмануть, чтобы ты не угадал в нем дьявола.

Такой разговор происходил между господином и слугой; но дон-Фернанд и Карденио, опасались, как бы Санчо окончательно не открыл их хитрости, которую он уж почуял, решили поспешить с отправкой рыцаря. Отозвав в сторону хозяина, они приказали ему оседлать Россинанта и осла, что тот быстро и исполнил; в то же время священник уговорился за известную плату в день со стрелками св. Германдады, чтобы они проводили его до деревни. Карденио привязал к луке седла Россинанта с одной стороны щит Дон-Кихота, с другой – его цирюльничий таз и знаками приказал Санчо сесть на своего осла и взять Россинанта за узду; потом он поставил с каждой стороны телеги по два стрелка с аркебузами. Но, прежде чем телега двинулась, из дому вышли хозяйка со своей дочкой и Мариторна, чтобы проститься с Дон-Кихотом; они притворялись горько плачущими об его несчастьи, и Дон-Кихот сказал им:

– Не плачьте, мои прекрасные дамы, все эти несчастья нераздельны с званием, к которому я принадлежу; и если бы такие невзгоды не постигали меня, я не имел бы права считать себя славным странствующим рыцарем. В самом деле, с менее известными рыцарями не случается ничего подобного, и за то никто на свете о них не вспоминает; такова участь только славнейших, сила и мужество которых возбуждают зависть во многих принцах и других рыцарях, старающихся разными нечестными способами погубить добрым. И все-таки, мужество последних так велико, что, несмотря на все чернокнижие, хотя бы самого Зороастра, его первого изобретателя, оно одержит победу и распространит свой свет по всему миру, подобно солнцу, светящему в небесах. Простите мне, мой любезные дамы, если я по небрежности или рассеянности чем-нибудь вас обидел, потому что добровольно и умышленно я никого никогда не обижал. Молите Бога, чтобы он извлек меня из этой тюрьмы, в которую меня заключил какой-нибудь злонамеренный волшебник. Если я когда-либо увижу себя снова на свободе, то я не забуду милостей, оказанных мне вами в этом замке, и, признательный, вознагражу их так, как они этого заслуживают.

Пока происходила эта сцена между Дон-Кихотом и господами замка, священник и цирюльник простились с дон-Фернандом и его спутниками, с капитаном и его братом аудитором и со всеми теперь счастливыми дамами, в том числе с Доротеей и Люсиндой. Они все обнялись и обещались

посылать друг другу о себе вести. Дон-Фернанд сказал священнику, куда тот должен писать, когда будет сообщать о дальнейшей судьбе Дон-Кихота, к которой дон-Фернанд питал живейший интерес. С своей стороны, он дал слово священнику извещать его обо всем, что может быть для него интересно, как о своей свадьбе, так и о крещении Зораиды, о конце приключения дон-Луиса и о возвращении Люсинды к своим родителям. Священник изъявил готовность с величайшей точностью исполнять все, о чем его просили. Они снова обнялись и снова обменялись предложениями и обещаниями взаимных услуг.

Тогда хозяин подошел к священнику и вручил ему пачку бумаг, найденных, по его словам, за подкладкой того же чемодана, в котором была Повесть о безрассудном любопытном.

— Так как хозяин их до сих пор не явился, — добавил он, — то я могу отдать их вам; сам я не умею читать, поэтому они мне ни к чему.

Священник поблагодарил его и, развернув бумаги, увидел, что у них следующее заглавие: Повесть о Ринконите и Кортадильо; так как Повесть о безрассудном любопытном ему понравилась, то у него явилась надежда, что и эта повесть окажется хорошею, так как обе они могут принадлежать одному и тому же автору, и потому он спрятал ее с намерением прочитать на досуге.

Когда он и его друг цирюльник сели на мулов, оба с масками на лицах, чтобы не быть сейчас же узванными Дон-Кихотом, поезд тронулся в путь в нижеследующем порядке: во главе его ехала телега, ведомая крестьянином; по бокам ее, как уже сказано, шествовали стрелки с своими аркебузами; за ней ехал Санчо, сидя на своем осле и ведя Россинанта за узду; в конце поезда важно и медленно двигались цирюльник и священник с замаскированными лицами, сидя на здоровых мулах. Благодаря медленному шагу волов, поезд двигался не быстро. Дон-Кихот ехал, сидя в клетке со связанными руками, протянув ноги и прислонившись спиной к решетке, и во все время не нарушил своего молчания и неподвижности, как будто, он был не человек из плоти и крови, а каменная статуя.

Проехав около двух миль с тою же медленностью и в том же, ненарушимом молчании они приехали на долину, показавшуюся хозяину телеги удобным пастбищем для быков. Он сообщил об этом священнику, но цирюльник советовал проехать немного подальше, потому что, как ему было известна, за поворотом за холмик, бывший у них в виду, была другая долина лучше и обильнее травой, чем та, на которой хотели остановиться. Совет цирюльника был принят и весь караван продолжал путь. В эту минуту священник, повернул голову и увидел, что сзади них едут шесть

или семь хорошо одетых верховых. Последние скоро догнали наших путников, потому что ехали не на апатичных и неповоротливых волах, а на монастырских мулах, погоняемые желанием поскорее отдохнуть на постоялом дворе, показавшемся на расстоянии одной мили от них.

Итак, прилежные нагнали ленивых и, подъехав, вежливо приветствовали их. Но один из подъехавших, Толедский каноник и господин сопровождавших его путников, видя эту в порядке двигавшуюся процессию, состоявшую из телеги, стрелков, Санчо, Россинанта, священника и цирюльника и, главным образом, Дон-Кихота, заключенного в своей клетке, не мог удержаться, чтобы не спросить, что это означает и за что везут таким образом этого человека. Между прочим, он вообразил, увидав вооруженных стрелков, что везут какого-нибудь разбойника больших дорог или другого преступника на суд св. Германдады. На обращенный к нему вопрос один из стрелков ответил:

– Пусть сам этот господин ответит вашей милости, что означает такое путешествие, а мы не знаем.

Дон-Кихот услышал разговор.

– Известно ли вашей милости, – сказал он, – что называется странствующим рыцарством? Если да, то я расскажу вам о своих невзгодах; в противном случае было бы бесполезным трудом их рассказывать вам.

В эту минуту приблизились священник и цирюльник; которые, увидав, что между путешественниками и Дон-Кихотом завязался разговор, поспешили подъехать, чтобы своим ответом предупредить разоблачение их хитростей. Каноник отвечал Дон-Кихоту:

– По правде сказать, брат, в рыцарских книгах я знаю толк немного больше, чем в началах логики доктора Вильльпандо.<sup>[66]</sup> Если вам этого достаточно, то вы можете рассказывать мне, что вам угодно.

– Слава Богу, – сказал Дон-Кихот, – так знайте же, господин рыцарь, что я очарован в этой клетке злыми волшебниками, питающими ко мне зависть и ненависть, ибо, как известно, всякой доблести больше приходится терпеть преследований от злых, чем пользоваться уважением среди добрых. Я – странствующий рыцарь, и не из тех, которым не суждено быть увековеченными бессмертною славою, но из тех, имена которых на зло самой зависти, на зло всем персидским магам, индийским браминам, эфиопским гимнософистам, она должна начертать в храме бессмертия, дабы они служили примером и образцом будущим векам и указывали странствующим рыцарям грядущих времен путь, которым они должны следовать, чтобы достигнуть совершенства воинской славы.

– Господин Дон-Кихот говорит сущую истину, – вмешался

священник, – он едет очарованным в этой телеге не по своей вине и не за свои грехи, но по злобе тех, кому завидна его доблесть и досадно его мужество. Одним словом, господин, это – рыцарь Печального Образа, о котором вы, вероятно уже слышали, так как мужественные подвиги и великие дела его будут начертаны на нетленной бронзе и вечном мраморе, какие бы усилия ни делали зависть и злоба, чтобы их скрыть или помрачить.

Услыхав подобные речи сначала от человека, посаженного в клетку, а потом от другого, гулявшего на свободе, каноник чуть не перекрестился от изумления; он никак не мог догадаться, в чем тут дело, да и все спутники его были поражены не меньшим удивлением. В эту минуту Санчо Панса, подъехавший, чтобы послушать разговор, своими словами поправил все:

– Право, господин, – сказал он, – сердитесь вы или не сердитесь на меня, а только мне сдается, что господин мой Дон-Кихот так же очарован, как моя мать; он в полном разуме, он пьет, ест, исправляет свои нужды так же, как и все другие и как он делал вчера, когда еще не был в клетке. В таком случае, могу ли я поверить, что он очарован? Я от многих слышал, что очарованные не могут ни есть, ни пить, ни спать, ни говорить, а мой господин, если ему не заткнуть рта, наговорит больше, чем тридцать прокуроров.

Затем, посмотрев на священника, Санчо прибавил:

– Ах, господин священник, господин священник, неужто вы думаете, что я не узнаю вашей милости? уж не думаете ли вы, что я ничего не смыслю и не догадываюсь, к чему понадобились эти новые очарования. Ну, нет, как ни прячьте вы свое лицо, а я вас узнал, и да будет известно, что я вас хорошо понял, так что вам не скрыть от меня своих плутней. Ведь зависти не ужиться с доблестью, а щедрости рядом со скупостью. Если бы нелегкая не принесла вашего преподобия, то, назло всем чертям, мой господин был бы сейчас женат на принцессе Микомиконе, а я, по меньшей мере, был бы графом, потому что чего ж иного ожидать, зная щедрость моего господина Печального Образа за мои великие услуги? Но верно правду говорят в нашей стороне, что колесо судьбы вертятся скорей мельничного колеса, и что кто вчера был на верхушке, глядишь, сегодня валяется в пыли. Больше всего меня бесит, как я подумаю о своей жене и детях: ведь они могли да и должны были даже надеяться, что их отец войдет в ворота губернатором какого-нибудь острова или вице-королем какого-нибудь государства, а он вернется теперь конюхом. Все это я говорю к тому, господин священник, чтобы ваше преподобие хоть немного помучила совесть за дурное обращение, которое терпит от вас мой добрый

господин. Берегитесь, как бы на том свете Господь не потребовал вас к ответу за эту клетку моего господина, и поплатитесь вы тогда за то, что лишили всех несчастных помощи и благодеяний, посадив моего господина в заключение.

– Вот тебе раз! – воскликнул цирюльник, – как, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Ей-богу, мне кажется, что и вас нужно для компании с ним посадить в клетку и считать тоже очарованным. У вас, видно, одинаковый с ним рыцарский бред. В недобрый час, вижу я, надулись вы как от его обещаний и набили себе, в башку этот остров, о котором вы бредите и которого вам, как ушей своих не видеть.

– Не надулся я нисколько, – ответил Санчо, – и не надуть меня самому королю; и, пусть беден я, а все-таки я старый христианин; я ничем ни одной живой душе не обязан; и если и брежу островами, то другие бредят еще хуже, и всякий сын своих дел; и раз я человек, я могу сделаться папой, не только, что губернатором какого-то острова и в особенности, когда мой господин может набрать их столько, что ему некуда будет девать. Подумайте о ваших словах, господин цирюльник; тут дело похитрей, чем брить бороду. Ведь мы все знаем друг друга и не в мой огород следовало бы бросать камушки; а что касается до очарования моего господина, то Господь про то ведает; и лучше уж этого не трогать.

Цирюльник ничего не отвечал Санчо, из страха, как бы он своею болтовнею не раскрыл того, что он такими усилиями старались скрывать он и священник. Из той же боязни, священник попросил каноника проехать немного вперед и обещался рассказать ему тайну этого человека в клетке и другие занимательные дела. Каноник поехал с ним вперед в сопровождении слуг и с большим вниманием выслушал все, что рассказал ему священник о звании, жизни, характере и безумии Дон-Кихота. Священник вкратце рассказал ему также о причине сумасшествия рыцаря, обо всем ряде его приключений вплоть до заключения в клетку и об их намерении насильно отвезти его домой, чтобы там поискать лекарств против его безумия.

Изумление каноника, и его слуг удвоилось, когда они услышали странную историю Дон-Кихота.

– Поистине скажу вам, господин священник, – сказал каноник выслушав рассказ, – по моему мнению, эти так называемые рыцарские книги – сущий бич государства. Правда, праздность и лживая заманчивость заставили меня прочесть начало почти всех таких книг, напечатанных до сих пор, но ни одной из них я не решился дочитать до конца, потому что все они, по моему мнению, содержат более или менее одно и то же, в каждой из них то же самое, что и во всякой другой, и в первой то же, что и

в последней. Эти сочинения я причисляю к тому же роду древних милезианских басен, то есть нелепых рассказов, имевших целью развлекать, но не поучать, в противоположность апологическим басням, долженствовавшим одновременно и развлекать и поучать читателя. Но, согласившись даже на то, что главной целью подобных книг может быть только забава, я все-таки не могу понять, как они достигают этой цели, будучи наполнены таким множеством таких страшных нелепостей. Удовольствие, восторг, ощущаемые душою, рождаются тогда, когда в являющихся ей вещах она может любоваться красотой и гармонией; все же, заключающее в себе безобразие и неестественность, неспособно вызвать удовольствие; теперь, какую же красоту, какую соразмерность в отношении целого к частям и частей к целому видим мы в книге или в басне, рассказывающей как о том, что шестнадцатилетняя девушка ударом меча перерубает пополам великана, величиною с башню, так легко, как будто он был сделан из теста? В другом месте нам описывают битву, предварительно сообщив нам, что в неприятельском войске был миллион воинов. Герой книги обыкновенно выходит один против них, и вот вам, волей или неволей, приходится примиряться с тем, что этот рыцарь только мужеству и силе своей руки обязан одержанною им победой.

А что скажете вы относительно той готовности, с какою королева или наследственная императрица кидается в объятия неизвестного странствующего рыцаря? Какой ум, если только не совершенно дикий и варварский, может испытывать удовольствие, читая о том, как по морю плывет высокая башня, наполненная рыцарями, как вечером она покидает берега Ломбардии и утром пристает к землям Иоанна Индийского или в каком-нибудь, которых никогда не описывал Птолемей и не видывал Марко Паоло.<sup>[67]</sup> Если мне ответят, что сочинители этих книг сами смотрели на них, когда писали, как на вымысел, и что поэтому они не обязаны так щепетильно соблюдать истину, то я возражу, что вымысел тем лучше, чем он менее похож на ложь, и нравится тем больше, чем больше он приближается к вероятному и возможному. Все сочиняемые рассказы должны до некоторой степени будить мысль, надо писать их так, чтобы, делая возможное вероятным и избегая уродливостей, они были способны изумлять, будить ум и в тоже время доставлять ему удовольствие. Но ничего подобного не даст вам перо писателя, как будто умышленно избегающего правдоподобия и подражания природе, от которых именно и зависит совершенство сочинения. Я не видал ни одной рыцарской книги, в которой, как в целом теле, наблюдалось бы правильное соотношение частей вымысла, так чтобы середина соответствовала началу, а конец



соответствовал началу и середине. Напротив, авторы составляют их из стольких разрозненных частей, что скорее может показаться, будто они имеют намерение произвести на свет какую-то химеру, чудовище, а не правильный образ. Кроме того, они сухи и грубы по слогу, невероятны в описаниях подвигов, нечистоплотны в изображениях любовных сцен, пошлы в любезностях, длинны и тяжеловесны в реляциях битв, тупоумны в разговорах, нелепы в рассказах о путешествиях, – одним словом, лишены такта, искусства и остроумия и на этом основании достойны быть изгнаны из христианского государства, как праздные и опасные люди.

Внимательно выслушав каноника, наш священник заключил на основании его слов, что он человек умный, и согласился с его мнением. Он ответил ему, что, держась того же взгляда на рыцарские книги и питая к ним такую же ненависть, он сжег книги Дон-Кихота, число которых была довольно значительно. Потом он рассказал своему собеседнику, как он делал расследования этих книг, какие приговорил к сожжению, каким помиловал жизнь. Каноник слушал его с большим интересом и затем, возвращаясь к предмету своей речи, добавил, что, несмотря на все дурное, сказанное им об этих книгах, он находит в них и кое-что хорошее, именно канву рассказа, взяв которую, истинный талант мог бы развернуться и показать себя.

– В самом деле, – сказал он, – перу здесь представляется обширное поприще, на котором оно не встретит препятствий для своего свободного бега; ему представляется здесь возможность описывать кораблекрушения, бури, встречи, битвы; оно может изобразить мужественного полководца со всеми достоинствами, заслужившими ему воинскую славу, – искусного и разумного, умеющего обезоруживать хитрости врага, красноречивого оратора, способного убедить и разубедить солдат, мужа совета и разума, быстрого в исполнении, терпеливого в ожидании и храброго в нападении. Писатель может рассказать то грустное и трагическое событие, то забавное и непредвиденное приключение; там он опишет благородную даму, прекрасную, честную, умную, здесь – мужественного христианина; с одной стороны он выведет грубого и наглого хвастуна, с другой – любезного, приветливого и мужественного принца, он может изобразить преданность верных подданных, щедрости и великодушие повелителей и явиться нам то астрономом, то географом, то музыкантом, то государственным человеком и даже, если захочет, чернокнижником. Он может последовательно изобразить нам хитрость Улисса, набожность Энея, мужество Ахиллеса, несчастье Гектора, измену Синона, дружбу Эвриала, щедрость Александра, храбрость Цезаря, кротость Траяна, верность Зопира, мудрость Катона, –

одним словом, всевозможные добродетели, свойственные истинному герою, или соединив их в одном человеке, или оделив между несколькими. Если все это написано чистым, легким, приятным слогом, и составлено с искусством, приближающим насколько возможно вымысел к истине, тогда такое произведение будет подобно ткани, сотканной из разнообразных и драгоценных нитей, и представит такую красоту, такое совершенство, что достигнет последней цели, к какой только могут стремиться подобного рода сочинения, цели – поучать, забавляя. Действительно, простор, представляемый этими книгами, позволяет писателю обнаруживать в них попеременно свой эпический, лирический, комический или трагический талант и соединять в них все привлекательные стороны приятных и сладких наук красноречия и поэзии, ибо эпопея может быть написана и прозой, так же как и стихами.

## **ГЛАВА XLVIII**

### **В которой каноник продолжает рассуждать о рыцарских книгах и о других вещах, достойных его внимания**

– Вы совершенно правы, господин каноник, – заметил священник, – и из этого следует, что тем более достойны порицания те из писателей, которые до сих пор сочиняли подобные книги без всякого соображения и размышления, пренебрегая искусством и правилами, руководясь которыми они могли бы так же прославиться в прозе, как прославились в стихах два князя поэзии греческой и латинской.

– Я сам было собрался попробовать написать рыцарскую книгу, – возразил каноник, – соблюдая при этом все перечисленные мною условия. Признаться, я уж написал больше ста листов, и чтобы вполне убедиться, заслуживают ли они того хорошего мнения, которое я сам о них имею, я отдал их прочесть людям, увлекающимся этим чтением, но умным и образованным, и другим читателям невежественным, которые находят удовольствие в чтении разных нелепых рассказов. Как те, так и другие одобрили мое сочинение. Тем не менее, я не смог продолжать своего труда. Причиной тому послужило прежде всего то, что он показался мне делом несвойственным моему званию; затем я бросил свою работу и потому, что так как число темных людей значительней числа просвещенных, то мне и не хотелось подвергать себя несправедливому буду невежественной черни, которая главным образом и занимается чтением подобных книг, хотя я и согласен с тем, что похвала немногих умных дороже похвалы множества глупцов. Но больше, чем что-либо другое, заставила меня бросить свое предприятие мысль, на которую меня навели представляемые в настоящее время комедии. Если эти представления как вымышленные, так и исторические, в большинстве случаев ни что иное, как очевидные нелепости; если, несмотря на то, чернь с удовольствием смотрит их и одобряет; если авторы их сочиняющие и актеры играющие их говорят, что такими эти комедии и должны быть, потому что таких хочет публика, его пьесы, соблюдающие правила искусства, хороши только для трех-четырех умных людей, понимающих их, а все другие не сумеют оценить их достоинств, и что для сочинителей и актеров важнее добыть себе пропитание от толпы, чем одобрение от немногих; – если все это так, то

наверно тоже самое случится с моей книгой, при сочинении которой я, нахмутив брови соблюдать все правила и сделаюсь, как говорится, портным Кампильо, доставлявшим нитки и фасон. Не раз старался я убедить авторов, что их мнение ошибочно, что они привлекли бы больше народа и приобрели бы больше славы, представляя комедии, сообразующиеся с правилами искусства, чем посредством представлений нелепых пьес; но они так упрямы, так упорно держатся своего мнения, что никакие доводы, ни сама очевидность не в состоянии заставить их отказаться от него. Помню, однажды говорил я одному из этих упрямцев:

– Помните ли вы, как немного лет тому назад в Испании представляли три трагедии; принадлежащие перу знаменитого поэта наших королевств, в какое удивление, в какой восторг приводили они всех жителей, – безразлично и чернь и образованное меньшинство, доставив актерам денег больше, чем тридцать лучших из пьес, которые были написаны с тех пор?

– Конечно, помню, – отвечал мой писатель, – ваша милость имеете в виду Изабеллу, Фили и Александру?<sup>[68]</sup>

– Совершенно верно, – ответил я, – я говорю о них. Они конечно соблюдали все правила искусства, и что же? Стали ли они от этого хуже и перестали ли они нравиться всем? Виновата, стало быть, не публика, требующая будто бы глупостей, а виноваты те, которые не могут дать ей ничего другого, кроме глупостей. В Отмщенной неблагодарности, в Нуманции, во Влюбленном купце, нет нелепостей, еще меньше их в Полезном враге,<sup>[69]</sup> нет их и в других пьесах, сочиненных талантливыми поэтами во славу свою и на пользу кошелька актеров. Я приводил много других доводов, которые отчасти смутили, отчасти поколебали его, но все-таки не сумели вывести из заблуждения.

– Ваша милость, господин каноник, – сказал священник, – коснулись предмета пробудившего во мне давнишнюю злобу к современным комедиям, которая, пожалуй, не меньше, чем злоба, питаемая мною к рыцарским книгам. Если комедия, как говорит Цицерон, должна быть зеркалом человеческой жизни, примером нравов и изображением истины, то каждая из играемых в настоящее время комедий ничто иное, как зеркало нелепостей, примеры глупостей, изображение распутства. В самом деле, может ли быть что-нибудь нелепее в первой сцене первого действия заставить появиться ребенка в колыбели, а во второй – выводить его уже взрослым человеком с бородой на подбородке? Что может быть глупее намерения изображать старика – хвастуном, молодого человека – трусом, лакея – оратором, пажа – советником, короля – носильщиком тяжестей и

королеву – судомойкой? А каково правдоподобие относительно времени, в течении которого случаются представляемые события? Разве не видали мы такой комедии, первый акт которой начинается в Европе, второй продолжается в Азии, третий оканчивается в Африке; будь комедия четырехактной, то четвертый акт, наверное, заключал бы в Америке.

Если историческая точность есть главное условие комедии, то каким образом удовлетворится ум, хотя и самый низменный, когда в рассказе о событии, происшедшем во времена Пипина или Карла великого, главное действующее лицо является несущим, как император Гераклий, крест в Иерусалим и, подобно Готфриду Бульонскому, завоевывает св. Гроб у Сарацинов, между тем, как этих лиц в действительности отделяет друг от друга много лет? Если, напротив, комедия вся целиком ничто иное, как вымысел, то к чему брать некоторые истинные события из истории, зачем без всякого искусства и правдоподобия перепутывать между собою происшествия, случившиеся с разными лицами и в разные времена? Хуже всего – то, что находятся невежды, уверяющие будто бы только такие произведения и прекрасны, и будто бы желать чего-либо другого значит обнаруживать прихоти беременной женщины. Но, великий Боже! что мы увидим, если перейдем к священной комедии! Сколько ложных чудес, сколько апокрифических фактов, сколько дел одного святого, приписанных другому. Даже у авторов светских комедий хватает смелости изображать чудеса и приводить в свое оправдание такой довод: что в этом месте хорошо бы было изобразить чудо, чтобы изумить и заманить дураков за комедию! Все описанное может только служить в ущерб истине и истории; и к стыду испанских писателей, потому что иностранцы, точно соблюдая законы комедии, называют нас варварами и невеждами, видя, какие нелепости мы пишем. Не имеет значения и тот довод, что правительства, дозволяя представления комедий, имеют главною целью доставить какое-нибудь здоровое развлечение народу и предотвратит развитие дурных склонностей, зародыш которых таится в праздности; и что, так как всякая комедия, хорошая или дурная, достигает этой цели, то и нет оснований издавать законы для принуждения сочинителей и актеров сочинять их так, как они должны быть сочиняемы, раз всякая такая комедия дает то, что от нее ожидают! На это отвечаю я, что эта цель достигалась бы хорошими комедиями лучше, чем дурными, потому что, посмотрев на хорошую, талантливо написанную комедию, зритель мог бы посмеяться над веселым, поучиться от серьезного, подивиться событиям, усовершенствовать свой вкус хорошим слогом, лучше узнать различные плутни, просветить свой ум примерами, вознегодовать на порок и преклониться пред добродетелью.

Такие чувства должна возбуждать хорошая комедия в души зрители, как бы груб и не образован он ни был. Следовательно, комедия, соединяющая все эти достоинства, не может не нравиться, не может не восхищать зрителей больше, чем совершенно лишенные их, каковы все пьесы, представляемые в настоящее время. Вина в том лежит не на поэтах, их авторах, потому что многие из них знают, чем они грешат, и не знают только что им надо делать. Беда в том, что комедии в наши время сделались продажным товаром и потому авторы их не без оснований говорят, что актеры не купили бы их пьес, если бы последние не были скроены по моде. Итак, поэту приходится подчиняться требованиям актера, покупающего произведение. Нужны ли доказательства этой истины? Тогда пусть посмотрят на множество комедий, написанных осчастливленными гением наших королевств, с таким умом, с такою прелестью, такими изящными стихами и с такими диалогами, полными и веселых шуток и глубоких истин, благодаря чему слава его распространилась по всему миру.<sup>[70]</sup> И вот, благодаря тому, что он уступает требованиям авторов, только немногие из его пьес достигли должной степени совершенства. Другие писатели пишут такие бессмысленные пьесы, что после первого же представления их комедианты часто бывают вынуждены бежать из отечества, избегая наказания за изображение на сцене обстоятельств предосудительных для некоторых, государей и позорящих некоторые благородные семейства. Все эти и многие другие неудобства прекратились бы, если бы кому-нибудь из состоящих при дворе лиц, человеку умному, просвещенному и талантливому, было поручено просматривать все комедии прежде их представления, и не только те, которые играют в столице, но и все предназначенные к исполнению в остальной Испании. Без одобрения, подписи и печати такого испытателя никакая местная власть не должна бы была позволять представления какой-либо комедии в своем округе. Таким образом, комедиантам пришлось бы отсылать свои пьесы ко двору, и только после этого они могли бы спокойно представлять их. Сочинители клали бы больше труда, забот и изучения на составление своих пьес, имея в виду строгий и просвещенный суд, которому должны подвергнуться их произведения. Наконец, если бы сочинялись хорошие комедии; то благополучно достигалась бы и их предположенная цель – развлечение публики, слава испанских писателей и хорошо понятый интерес комедиантов, которые были бы освобождены от надзора и наказания. Затем, если бы на другое лицо и на то же самое возложили обязанность подвергать испытаниям сочиняемые рыцарские книги, то, наверное многие из них достигли бы того совершенства, какое описывала ваша милость. Они

обогатили бы наш язык драгоценной сокровищницей приятного красноречия; древние книги померкли бы при свете новых книг, написанных для добропорядочного препровождения времени не только праздных, но и людей очень занятых, – ибо лук не может быть постоянно натянутым, и человеческой слабости необходимо отдыхать в дозволенных развлечениях.

Здесь разговор каноника и священника был прерван цирюльником, который подъехал к ним и сказал священнику:

– Господин лицензиат, вот место, о котором я говорил; хорошо бы было здесь отдохнуть, пока волы будут пастись на свежем и богатом лугу.

– Я согласен, – ответил священник.

Он сообщил свое намерение канонику, и тот тоже решил остановиться, соблазненный красотой вида долины, представлявшего их взору. Побуждаемый желанием подольше полюбоваться этой прекрасной местностью и насладиться разговором со священником, к которому он начал питать привязанность, а также для того, чтобы поподробнее разузнать о подвигах Дон-Кихота, каноник приказал некоторым из своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший невдалеке, и принести оттуда все, что там найдется для обеда всего общества потому, что он решил провести здесь полдень. Один из слуг ответил на это, что на их муле, отправленном на постоялый двор раньше, припасов достаточно, так что нет надобности ничего брать, кроме ячменя.

– В таком случае, – сказал каноник, – отведите туда наших мулов и приведите мула с припасами.

Пока исполнялось это распоряжение, Санчо, улучив минуту, когда он мог поговорить со своим господином, нестесняемый постоянным присутствием священника и цирюльника, не пользовавшихся уже теперь его доверием, приблизился к клетке Дон-Кихота и сказал ему:

– Господин, мне хотелось бы облегчить свою совесть и поговорить кой о чем насчет вашего очарования. Прежде всего, надо вам знать, что эти два человека, которые вас провожают с масками на лице, – священник и цирюльник из нашей деревни, и мне сдается, что они-то и затеяли увезти вас в таком виде просто из злобы и зависти, что вы превзошли их своими славными подвигами. Раз это правда, стало быть вы не очарованы в этой клетке, а одурачены, как олух. В доказательство своих слов, я предложу вам один вопрос; и если вы дадите мне такой ответ, какого я ожидаю, то вы сами раскусите эту плутню и сознаетесь, что вы не очарованы, а просто умом рехнулись.

– Ладно, – ответил Дон-Кихот, – спрашивай, что тебе угодно, мой сын

Санчо; я готов по возможности удовлетворить тебя. Что же касается твоих слов, будто бы те, которые кружатся около нас, священник и цирюльник, наши знакомые и земляки, то весьма возможно, что они тебе и кажутся именно таковыми; но чтобы они в действительности были ими, – то не верь этому ни в каком случае. Поверь мне и запомни раз навсегда, что если мои очарователи и похожи на тех, о ком ты говоришь, то это только потому, что они приняли их образ и подобие. Действительно, волшебникам очень легко принимать ту наружность, какая требуется, и вот они облеклись в наружность наших друзей, чтобы заставить тебя подумать то, что ты думаешь, и ввести тебя в лабиринт сомнения и неизвестности, из которого тебе не удалось бы выйти и с ниткой Тезея. Этот вид они приняли также и для того, чтобы я поколебался в своем убеждении и не мог догадаться, откуда нагрянула на меня эта беда. В самом деле, если с одной стороны, мне говорят, что наши спутники – цирюльник и священник, наши земляки, и если, с другой стороны, я вижу себя посаженным в клетку, зная хорошо, что никакая сила человеческая, кроме сверхъестественной, не в силах посадить меня в клетку, – то что же по твоему мне остается говорить или думать, если не то, что мое очарование превосходит все прочие, рассказываемые историками о странствующих рыцарях, когда-либо бывших очарованными? Итак ты можешь успокоиться, покинув мысль, будто бы эти люди таковы, какими тебе кажутся; тогда как на самом деле они совсем не то, – как я не турок; если же ты хочешь спросить меня о чем-нибудь, то говори, – я буду тебе отвечать, хотя бы ты предлагал мне вопросы до завтрашнего утра.

– Пресвятая Богородица! – с отчаянием воскликнул Санчо, – неужели ваша милость совсем с ума спятили, когда не видите такой очевидной истины? Неужели вы не понимаете, сколько вам не толкуй, что ваше заключение больше дело рук злобы, чем очарования. Но пусть так, я вам сейчас докажу, что вы не очарованы. Скажите мне, видали ли вы... Помогите вам Бог из этой муки поскорей попасть в объятия госпожи Дульцинеи, когда вы о том меньше всего будете думать.

– Прекрати свои заклинания, – воскликнул Дон-Кихот, – и спрашивай, что тебе нужно; я сказал уже, что я готов отвечать тебе со всею точностью.

– Вот именно это мне и требуется, – ответил Санчо, – но мне хочется быть вполне уверенным, что вы ответите, ничего не прибавляя и не убавляя, по сущей правде, как и нужно ожидать от языка того, кто, подобно вашей милости, избрал себе военное звание и титул странствующего рыцаря!

– Повторяю тебе, – сказал Дон-Кихот, – что я не солгу. Но говори же,



спрашивай по правде сказать, Санчо, ты мне надоел своими предисловиями и околичностями.

– Я говорю только, – возразил Санчо, – что я вполне уверен в искренности и откровенности моего господина, и, так как это близко касается нашего дела, я хочу ему предложить один вопрос с его позволения. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку или, вернее сказать, очарованы в этой клетке, скажите мне, пожалуйста, чувствовали ли вы, как говорится, большую или маленькую нужду?

– Ничего не понимаю, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – что ты хочешь сказать этими словами: маленькая или большая нужда; выразишься ясней, если хочешь, чтобы я давал тебе точные ответы.

– Неужели, – возразил Санчо, – ваша милость не понимаете, что такое маленькая или большая нужда? Да за это ребятишек в школе наказывают. Ну, так я скажу проще: хотелось ли вам сделать то, чего за вас никто не может сделать?

– О, да, да, Санчо! – воскликнул Дон-Кихот, – несколько раз и даже теперь еще. Спаси меня от этой опасности, если тебе жалко моей одежды.

## ГЛАВА XLIX

### Рассказывающая об интересной беседе Санчо Панса с своим господином Дон-Кихотом

– Ага! вот я вас и поймал, ей Богу, поймал! воскликнул Санчо, – вот что мне и нужно было знать от вас, клянусь моей душой и жизнью! Не слышали ли вы, господин, как в нашей стороне говорят, как замечают, что кому-нибудь не по себе: не знаю, что с ним такое, он точно очарованный – не ест, не пьет, не спит, отвечает невпопад. Стало быть, те только по настоящему очарованы, которые не едят, не пьют, не спят и не делают других естественных дел, о которых я говорил; а не те, которым хочется того же, чего хочется вашей милости, которые пьют, когда им дают пить, едят, когда им дают есть, и отвечают на все вопросы.

– Твоя правда, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – но я уже тебе говорил, что есть много видов очарования; очень может быть, что вместе с временем его обычная форма изменилась, и теперь принято, чтобы очарованные делали все то, что я делаю или хочу делать и что они прежде не делали. Но когда дело касается изменчивости времени, то было бы бесплодным трудом приводить какие либо доказательства и выводить следствия. Для меня не представляет никакого сомнения, что я очарован, и этого достаточно, чтобы успокоить мою совесть; в противном случае, – если бы у меня было какое-либо сомнение в том, что я очарован, я счел бы делом противным моей совести трусливо и праздно оставаться в клетке, лишая тем помощи моей руки множество угнетенных и несчастных, которые, наверно, в этот час испытывают крайнюю нужду в моей защите и покровительстве.

– И все-таки, – возразил Санчо, – повторяю, что для большей уверенности не мешало бы вашей милости попробовать выйти из этой тюрьмы; я с своей стороны обещаюсь вам помогать изо всех сил и даже тащить вас оттуда; попробуйте потом сесть на доброго Россинанта, который по виду тоже как будто очарованный: так грустно он шагает; а затем мы еще раз попытаем счастье в поисках приключений; не повезет нам, так мы всегда успеем вернуться в клетку; и даю вам слово доброго и преданного оруженосца, что я запрусь в ней вместе с вашей милостью, если только вы будете так несчастливы, а я так глуп, что наши дела пойдут плохо.

– Ладно, – отозвался Дон-Кихот, – согласен и даю обе руки. Как только

ты найдешь момент удобным, чтобы привести в исполнение дело моего освобождения, я во всем буду слушаться тебя. Но ты увидишь, Санчо, как сильно ты заблуждаешься в своем мнении о моем несчастье.

Такой разговор вели странствующий рыцарь и его преданный оруженосец, пока не подъехали к тому месту, где их ожидали слезшие уже на землю священник, каноник и цирюльник. Крестьянин выпряг быков из телеги и пустил их пастись на широкий луг, манивший насладиться его мирной прохладой и красотой не только очарованных людей, вроде Дон-Кихота, но и таких умных и догадливых, как его оруженосец. Последний обратился к священнику с просьбой позволить его господину выйти на минутку из клетки, потому что, в противном случае, этой тюрьме грозит опасность остаться не такой чистой, как того требовали сан и достоинство такого рыцаря, как заключенный в ней. Священник понял, в чем дело, и ответил Санчо, что он с радостью исполнил бы его просьбу, если бы не боялся, что его господин, увидав себя на свободе, наострит лыжи и удерет, так что его больше не увидишь.

— Я ручаюсь за него, — возразил Санчо.

— Я тоже, — добавил каноник, — я за все возможные последствия в особенности, если он даст мне свое рыцарское слово, что не удалится от нас без нашего позволения.

— Даю вам это, — воскликнул Дон-Кихот, слышавший этот разговор.

— Да и кроме того, кто, подобно мне, очарован, тот не свободен делать все, что захочется, потому что зачаровавший его волшебник может пожелать, чтобы он не двигался с места в течение трех веков, и если бы очарованный вздумал убежать, то волшебник заставил бы его прилететь обратно. В виду всего этого вы можете меня освободить тем более; что это послужит на пользу всем, так как уверяю вас, что, если вы меня выпустите, то — разве только вы подальше отъедете — мне, пожалуй, придется побеспокоить вас неприятным запахом.

Каноник заставил его протянуть руку, хотя у него обе руки и были связаны, и, наконец, после того, как с него взяли в залог честное слово, дверь клетки отворилась, что причинило ему живейшее удовольствие.

Первым его делом по выходе из клетки было расправить один за другим свои члены; а затем он подошел к Россинанту и, слегка потрепав ладонью его по спине, с нежностью сказал ему:

— Уповаю всегда на Бога и Его Святую Матерь, о цвет и зеркало скакунов, я надеюсь, что мы скоро увидимся как мы оба того желаем, и будем вместе, — ты, нося своего господина, а я, сидя на твоих ребрах, и оба вместе исполняя призвание, ради которого Бог произвел меня на этот свет.

Проговорив эти слова, Дон-Кихот в сопровождении Санчо пробрался в уединенное местечко, откуда возвратился с большим облегчением и с возросшим еще более, чем прежде, желанием привести поскорее в исполнение проект Санчо.

Каноник внимательно рассматривал его, изумляясь его необыкновенно странному умопомешательству. Он в особенности удивлялся тому обстоятельству, что этот испанский гidalго относительно всего прочего своими речами и ответами обнаруживал светлый разум и городил вздор, когда разговор заходил о рыцарстве, как мы в этом не один раз могли убедиться. Когда все в ожидании прибытия припасов уселись на траве, каноник, в душе которого шевельнулось сострадание к рыцарю, обратился к последнему с следующими словами:

– Возможно ли допустить, господин гidalго, чтобы чтение пустых и нелепых рыцарских книг было в состоянии до такой степени вскружить ум вашей милости, что вы поверили в свое очарование и во многие другие глупости того же рода, настолько же правдоподобные, насколько ложь похожа на истину? Неужели найдется хоть один человеческий ум, способный поверить в действительность существования на свете этого множества Амадисов и бесчисленной кучи славных рыцарей? Неужели кто-нибудь может серьезно выдумать, что на самом деле существовало это великое множество Трапезондских императоров, Феликс-Мартов Гирканских, скакунов и иноходцев, странствующих девиц, змей, драконов, андриак, великанов, неслыханных приключений, различных очарований, битв, ужасных великанов, костюмов, украшений, влюбленных принцесс, оруженосцев, ставших потом графами, красноречивых карликов, любовных записок, любезностей, воинственных женщин – одним словом, всяческих нелепостей, заключающихся в рыцарских книгах? Про себя скажу, когда я читаю эти книги я не останавливаю мое воображение тою мыслью, что все они – сплошная ложь и нелепость, признаюсь, они доставляют мне тогда некоторое удовольствие; но достаточно мне вспомнить о том, какое они из себя представляют, и я швыряю книгу об стену, и швырнул бы ее в костер, если бы он случился вместо стены. Да, все рыцарские книги заслуживают сожжения за свою ложь и противоречие общим законам природы; они достойны этого наказания, как основатели явных сект и обманщики, выдающие невежественной черни свои бредни за истину. У них хватает даже смелости смущать умы благородных и воспитанных гidalго, подобных вам, потому что это они довели вашу милость до такого состояния, что вас пришлось посадить в клетку и везти на волах в телеге, как какого-нибудь льва или тигра, которого на показ и для наживы возят по

деревням. Сжальтесь же, господин Дон-Кихот, над самим собой и возвратите себе здравый рассудок. Упражняйте данный вам небом ум, направив ваши счастливые способности на другого рода чтение, которое могло бы просветить ваше понимание и заслужить вам добрую славу. Если, однако, повинувшись вашей природной склонности, вы пожелаете продолжать чтение историй о рыцарских подвигах, то читайте из священного писания Книгу Судей, и вы найдете возвышенные истины и настолько же достоверные, как и возвышенные, подвиги. Лузитания имела Вириатеса, Рим – Цезаря, Карфаген – Аннибала, Греция – Александра, Кастидия – графа Фернандо Гонзалеса, Валенсия – Сида, Андалузия – Гонзалво Кордовского, Эстрамадура – Диего Гарсиа Пародесского, Херес – Гарсиа Перес де-Варгас, Толедо – Гарсиаиво, Севилья – дон Мануэля Понса Леонского, и рассказы об их мужественных подвигах способны позабавить, научить, восхитить и удивить возвышеннейший ум, занявшийся подобного рода чтением. Вот какое чтение достойно вашего разума, мой добрый господин Дон-Кихот; занявшись им, вы станете знатоком истории, полюбите добродетель, узнаете много хорошего, укрепитесь в нравственности, будете храбрым без заносчивости и мудрым без слабости; и все это послужит во славу Бога, к вашей собственной пользе и в честь Ламанчи, откуда, как мне известно, родом ваша милость.

Дон-Кихот с величайшим вниманием прослушал речь каноника. Увидав, что он кончил, рыцарь сначала, молча и упорно, посмотрел на него и потом сказал:

– Если не ошибаюсь, господин гидальго, речь, обращенная вашей милостью ко мне, имеет целью убедить меня, что никаких странствующих рыцарей никогда не было на свете; что все рыцарские книги – вымышлены, лживы, бесполезны и вредны для государства; что, наконец, я дурно сделал, читая их, еще хуже, поверив им, и еще хуже, решившись подражать им и избрать себе трудное поприще странствующего рыцаря, которое они указывают, – потому что вы отрицаете, чтобы когда-либо существовали Амадисы Гальский и Греческий и множество других рыцарей, которыми полны эти книги. – Совершенно справедливо, ваша милость, – ответил каноник, и Дон-Кихот продолжал:

– Затем ваша милость добавили, что эти книги принесли мне много зла, потому что расстроили мой ум и под конец посадили меня в клетку; и что мне следовало бы исправиться, переменяв чтение рыцарских книг на более интересное и поучительное истинных историй.

– Вот именно, – ответил каноник.

– Ну, а я с своей стороны нахожу, – возразил Дон-Кихот, – что безумны

и очарованы вы сами, так как вы осмелились изрыгать клеветы на произведения, распространенные по всему миру и всеми считаемые настолько истинными, что всякий, подобно вашей милости, отвергающий это, заслуживает того же наказания, к какому вы присуждаете скучные и неприятные для вас книги. В самом деле, решиться уверять кого либо, что на свете не было ни Амадиса, ни других рыцарей – искателей приключений, ни все ли равно, что желать убедить, что солнце не светит, мороз греет и земля не держит вас на себе? Может ли найтись в свете ум, способный убедить другого, что история инфанты Флорины и Гвидо Бургонского так же ложна, как ложно приключение Фиерабраса на Мантибльском мосту, случившееся во времена Карла Великого? Клянусь Богом, все эти истории так же верны, как верно то, что теперь день! Если они – ложь, то, стало быть, ложь и рассказы о Гекторе, об Ахилле, Троянской войне, о двенадцати пэрах Франции и о короле Артуре Английском, до сих пор остающимся превращенным в ворона и ожидаемом его подданными с часа на час. Неужели кто-нибудь осмелится сказать, что ложна история Гуарино Мескино, ложны сказания о святом Граале,<sup>[71]</sup> вымышлены повествования о любви Тристана и королевы Изольды, а также королевы Женевьевы и рыцаря Ланселота, тогда как есть люди почти что видевшие дуэнью Квинтаньону, этого лучшего виночерпия Великобритании? Это так верно, что я сам помню слова одной из моих бабушек по отцу, говорившей мне часто при встрече с какой-нибудь дуэньей, наряженной в почтенный головкой убор: «Эта женщина, дитя мое, похожа на дуэнью Квинтаньону»; из чего я заключаю, что она знала эту дуэнью или, по крайней мере, видала ее портрет. Кто может сомневаться в правдивости истории Петра и прелестной Магалоны, когда и ныне еще в оружейной зале наших королей можно видеть пружину, приводившую в движение деревянную лошадь, на которой мужественный Петр Провансальский неся по воздуху, – пружину немного меньших размеров, чем дышло телеги, запряженной волами, рядом с ней лежит седло Бабиэки, кобылы Сиды, а в Ронсевальском ущелье и до сих пор можно видеть трубу Роланда, величиною с большое бревно. Из этого следует заключить, что существовали двенадцать пэров Франции, существовал Петр, существовал Сид, существовали и другие рыцари того же рода, которых люди называют искателями приключений. Иначе пришлось бы отрицать, что мужественный португалец Хуан де Мерло действительно был странствующим рыцарем, который отправился в Бургундию, сражался в городе Расе с славным рыцарем Шарни, прозванным Моисеем Петром, потом в городе Базеле с Моисеем Генрихом де-Раместаном и дважды

вышел из борьбы славным победителем. В таком случае мы должны отвергнуть также рассказы о приключениях и битвах, данных в Бургундии испанскими храбрецами Педро Барба и Гутьерро Кикада (от последнего происхожу я по прямой мужской линии), победившими сыновей графа Сен-Поля. Тогда неправда и то, что дон-Фернандо де-Гевара отправился искать приключений в Германию и сражался там с Георгом, придворным рыцарем герцога Австрийского. Считайте сказками, сочиненными для потехи толпы, также и рассказы о турнирах Суэро де-Киннонис, подвигах Орбиго, поединках Мозес-Луиса де-Фальцеса с дон Гонзальво Гусманом, Кастильским рыцарем, и о других великих делах, совершенных христианскими рыцарями нашего королевства и чужих стран, – рассказы настолько истинные и достоверные, что только совершенно лишенный всякого ума и соображения может сомневаться в них.

Каноник был необыкновенно удивлен, выслушав слова Дон-Кихота, представлявшие из себя такую странную смесь истины и лжи, и лично убедившись, насколько основательно было его знакомство во всем, касающемся странствующего рыцарства.

– Я не отрицаю того, господин Дон-Кихот, – ответил он ему, – что в словах вашей милости есть некоторая доля истины, в особенности, в словах, относящихся к испанским странствующим рыцарям. Я согласен также признать и действительность существования двенадцати пэров Франции, но только я не решаюсь верить, будто бы они на самом деле совершили все, что о них рассказывает архиепископ Тюрпен. Одно только верно, что это были рыцари, избранные французскими королями и называвшиеся пэрами, так как по мужеству, и достоинствам они были все равны между собою или, по крайней мере, было желательно, чтобы они были равными в этом отношении. Это был военный орден, подобные существующим теперь орденам св. Иакова и Калатравы, в которых все участники считаются одинаково храбрыми и благородными рыцарями и как говорят теперь: рыцарь св. Иоанна или Алькантары, так тогда говорили: рыцарь Двенадцати Пэров, потому что для этого ордена выбирали двенадцать равных по достоинству рыцарей. Что существовали Сид и Бернардо дель-Карпио, в том нет, никакого сомнения; но другое дело, совершили ли они все те подвиги, которые им приписываются. Что же касается пружины графа Петра, упомянутой вашей милостью и лежащей будто бы рядом с седлом Бабиэки в королевской оружейной зале, то признаюсь вам в моем грехе: я или кос или настолько близорук, что не мог заметить этой пружины, как ни велика она по словам вашей милости, хотя отлично видел седло.

– Однако она несомненно там, – возразил Дон-Кихот, – и хранится в кожаном футляре, чтобы не заржавела.

– Очень может быть, – ответил каноник, – но только клянусь принятым мною священным саном, я не помню, чтобы я ее видел. Но, даже допустив, что она хранится там, обязан ли я верить историям обо всех этих Амадисах и множестве других рыцарей, о которых выдуманно столько сказок? И может ли это служить достаточным основанием для того, чтобы такой почтенный, достойный и разумный человек, как ваша милость, считал истинными все эти необыкновенные глупости, рассказываемые в нелепых рыцарских книгах?



## **ГЛАВА I**

### **Об остроумном споре Дон-Кихота с каноником и о других событиях**

– Вот это, право, мило! – воскликнул Дон-Кихот. – Как! книги, напечатанные с дозволения королей и одобрения испытателей; книги, с одинаковым удовольствием читаемые и хвалимые большими и малыми, богатыми и бедными, учеными и невеждами, мужиками и дворянами, одним словом, всеми людьми, к какому бы званию они ни принадлежали; эти книги, по-вашему – чистая ложь, между тем как они такой точный отпечаток истины, что в них пункт за пунктом и день за днем описываются отец, мать, страна, родственники, возраст, место и подвиги рыцарей. Замолчите же, пожалуйста, господин, и не произносите таких великих клевет; поверьте мне, я вам даю в этом отношении лучший совет и которому только может последовать умный человек. Впрочем, прочтите сами эти книги, и вы тогда увидите, какое удовольствие доставляют они. Скажите мне, какая картина может быть восхитительнее этого описания: пред вами большое озеро кипящей смолы, в котором кипит и плавает бесконечное множество змей, ужей, ящериц и других свирепых и ужасных гадов. Вдруг из глубины это-то озера слышится жалобный голос, говорящий: «О, кто бы ты ни был, рыцарь, смотрящий на это ужасное озеро, если ты хочешь овладеть сокровищами, скрытыми под его черными волнами, то покажи мужество твоего непобедимого сердца и бросься в середину этой огненной жидкости. Если ты этого не сделаешь, то ты окажешься недостойным увидеть великие, несравненные чудеса, которые заключаются в семи замках семи фей, обитающих под этой черной водной громадой». И вот рыцарь, не дав еще времени умолкнуть этому странному голосу, не рассуждая, не соображая грозящей ему опасности, не снимая даже с себя тяжелого вооружения, но только поручив себя Богу и своей даме, бросается вниз головой в середину кипящего озера и вдруг, когда он меньше всего думает о том, что ему предстоит, оказывается среди цветущего луга, с которым по красоте не могут сравняться даже Елисейские поля. Там, и воздух прозрачнее, и солнце сияет новым светом. Мирный лес представляется его глазам; в нем радуют взор ярко-зеленые, густолиственные деревья, и до слуха доносится сладкое и чистое пение бесчисленного множества маленьких птичек с блестящими перышками,

весело порхающих среди переплетающихся древесных ветвей. Здесь он видит ручеек, свежие кристальные воды которого бегут по восхитительному руслу, усеянному белыми камешками и похожему на золотое поле, украшенное восточным жемчугом. Там он замечает роскошный фонтан, художественно устроенный из тысячецветной яшмы и полированного мрамора; дальше он встречается другой более простой отделки фонтан, где красивые раковины ракушки и извилистые белые и желтые домики улитки, разбросанные в беспорядке и перемешанные с блестящими кусочками хрусталя, образуют разнохарактерное произведение, в котором искусство, подражая природе, кажется на этот раз побеждающим ее. С этой стороны возвышается грозный укрепленный замок или великолепный дворец, стены которого сделаны из массивного золота, стенные зубцы из алмазов, двери из гиацинтов, и, наконец, чудная архитектура которого кажется драгоценней золота, алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга и изумрудов – всех материалов, из которых замок построен. И чего же желать еще больше, когда, увидав все это, мы видим, что из ворот замка выходит множество девиц, богатые и изящные наряды которых так прекрасны, что, если бы я начал их описывать, как это делает история, я никогда бы не кончил? Сейчас же та, которая по-видимому госпожа остальных, берет за руку отважного рыцаря, бросившегося в кипящие волны озера, и ведет во внутренность крепости. Раздев его догола, она моет его в теплой воде, натирает благовонными мазями и одевает в сорочку из тонкого полотна, надушенную изысканными ароматами; появляется другая девица, которая набрасывает ему на плечи тунику, стоящую, как говорят, по меньшей мере целого города и даже больше. Что может быть очаровательнее рассказа о том, как эти дамы ведут рыцаря затем в другую залу, где он находит стол, убранный с таким великолепием, что он стоит в немом изумлении? Как ему льют на руки чистую воду из амбры и душистых цветов! как его сажают в кресло из слоновой кости! как ему служат все девицы, сохраняя чудесное молчание! какие разнообразные вкусные кушанья приносят ему, из которых его аппетит не знает какое выбрать! какую музыку слушает он за столом, не зная, где и кто играет! Когда же, по окончании обеда, рыцарь, небрежно развалился в своем кресле, по обычаю ковыряет у себя в зубах, вдруг отворяется дверь и впускает другую девицу, еще более прекрасную, чем все остальные, которая садится рядом с рыцарем и начинает ему рассказывать, что это за замок, каким образом она в нем очарована и кучу других вещей, удивляющих рыцаря и восхищающих читателя этой истории! Не хочу больше распространяться об этом предмете, но из всего сказанного мной можно заключить, что

какую страницу какой бы то ни было истории странствующего рыцаря ни открой, она может только возбудить восторг и удивление в читателе, кто бы он ни был. Примите мой совет, ваша милость: прочитайте эти книги и вы увидите, что они прогонят грусть, может быть, удручающую вас, и рассеют дурное расположение духа, если вы им страдаете. Я как могу сказать про себя, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я сделался храбрым, щедрым, вежливым, воспитанным, великодушным, приветливым, предприимчивым, кротким, терпеливым, и с покорностью выношу усталость, горе, заключение, очарование; и, хотя прошло еще немного времени с тех пор, как я заключен в этой клетке, как сумасшедший, и все-таки надеюсь, что, если небо мне поможет, и судьба не воспротивится, я благодаря мужеству своей руки сделаюсь через несколько дней королем какого-нибудь государства и тогда буду иметь возможность проявить свойственные моему сердцу благодарность и щедрость. Вы сами хорошо знаете, господин, что бедный не в состоянии обнаружить свою мудрость, в какой бы степени он ею ни обладал, а признательность, существующая только в желании, также мертва, как и вера без дел. Вот почему мне и хотелось бы, чтобы судьба поскорее доставила мне случай сделаться императором, ибо только тогда я мог бы обнаружить мое сердце в тех благодеяниях, которыми я осыпал бы моих друзей, в особенности этого бедного Санчо Панса, моего оруженосца и лучшего человека в свете; да, мне хотелось бы дать ему графство, обещанное мною несколько дней тому назад; боюсь только, что у него не хватит умения как следует управлять своим государством. Услышав последние слова своего господина, Санчо поспешил ответить ему:

— Постарайтесь только, господин Дон-Кихот, дать мне это графство, столько раз обещанное мне вашею милостью и так давно ожидаемое мною, а как уж у меня хватит умения управлять им. Да и! если и не хватит, не беда: я слышал, что есть люди, которые берут в аренду имения господ; они дают им столько-то в год доходу и занимаются сами делами управления, а господин сидит себе, сложив ручки, да без забот получает и тратит денежки. Точь-в-точь также и я сделаю: вместо того, чтобы ломать себе башку, я устранюсь от дел и буду жить да поживать на свои доходы, как герцог, и пусть говорят, что хотят.

— Брат мой Санчо, — сказал каноник, — так возможно поступать относительно пользования доходами, но право отправления правосудия принадлежит только государю. Вот здесь то и необходимо искусство, разум и, в особенности, искренние намерения быть справедливым; если же этого не будет, то все пойдет вкось да вкривь. Бог обыкновенно помогает

доброму намерению человека простого и лишает своей помощи злые желания искусного.

– Ничего не понимаю я в этих философиях, – возразил Санчо, – знаю только, что мне хотелось бы получить графство в ту же минуту, как я буду способным управлять им; потому что души у меня столько же, сколько и у другого, да и тела не меньше, чем у любого человека; и я буду таким же королем в своих государствах, как и все другие в своих; а когда я буду королем, я буду делать, что захочу; а когда я буду делать, что захочу, я буду делать все по своему вкусу; а когда я буду делать по своему вкусу, я буду доволен; а когда человек доволен, то ему нечего больше желать; а когда ему нечего больше желать, то и делу конец. И больше нечего толковать; пусть приходит графство, и да благословит вас Бог; и до свиданья, как говорил один слепой своему товарищу.

– Я говорил вам не пустую философию, как думаете вы, Санчо, – сказал каноник; – по поводу графства можно было бы много сказать.

– Не знаю, что остается сказать, – прервал Дон-Кихот, – но я руковожусь только примером, который дал мне великий Амадис Гальский, сделавший своего оруженосца графом Твердого острова; поэтому я, ни мало не тревожась совестью, могу сделать графом Санчо Панса, лучшего оруженосца, какой только имелся когда-нибудь у какого-либо странствующего рыцаря.

Каноника невольно смутила рассудительная чепуха (если только чепуха может быть рассудительной) Дон-Кихота, его описание приключения рыцаря озера, глубокое впечатление, по-видимому, произведенное на его ум ложными бреднями прочитанных им книг, и, наконец, легкое Санчо, так пламенно вздыхавшего по обещанному его господином графству.

В эту минуту возвратились с постоялого двора слуги каноника, ведя с собою мула с припасами. Разостлав ковер на траве, они приготовили стол, и все собеседники, усевшись под тенью нескольких деревьев, принялись за обед, чтобы, по их словам, крестьянин мог без стеснения и не спеша пасти волов. В то время, как они мирно закусывали, из чащи кустарника, бывшей недалеко от них, донесся до их слуха пронзительный звук свистка, и в ту же минуту из этого кустарника к ним на луг выскочила хорошенькая разношерстая коза; за нею на некотором расстоянии бежал пастух и звал ее к стаду. Испуганное животное подбежало к путешественникам, как бы прося у них защиты, а за нею подбежал и пастух, схватил ее за рога и, обращаясь к ней, как к существу одаренному разумом и понятием, сказал:

– Ах, беглянка, ах, пеструшка! что с тобой случилось, что уж несколько

дней тебя нельзя иначе пускать, как только со связанными ногами? Какая муха тебя кусает? Или ты испугалась волка, моя дочка? Скажи-ка мне, милочка. Да, впрочем, какая ж другая причина может быть, как не та, что ты женского пола и потому не можешь быть покойной? Пусть будет проклят ваш нрав и нрав тех, кому вы подражаете! Иди назад, иди назад, голубушка, если там и не будет так же весело тебе, то, по крайней мере, с пастухами и своими подругами будет безопасней: подумай же, что будет с остальными, если ты сама, которая должна руководить и управлять ими, пойдешь без пути и руководства.

Слова пастуха сильно рассмешили всех, в особенности же каноника, который сказал ему:

– Ради Бога, брат, успокойтесь немного и не спешите так вести козу к стаду; раз эта особа женского пола, как вы говорите, то, сколько ни мешай ее, она должна повиноваться своему природному влечению. Нате, скушайте этот кусочек, да выпейте малую толику; авось ваш гнев усмирится, а коза тем временем отдохнет.

С этими словами он протянул ему на конце ножа кусок холодного зайца. Пастух взял, выпил, поблагодарил и, успокоившись, сказал:

– Не хотелось бы мне, господа, чтобы вы сочли меня за дурака, услышав мои серьезные разговоры с этим маленьким животным; поверьте, в моих словах есть некоторый таинственный смысл. Хоть я и мужик, но уж не на столько глуп, чтобы не понимать, как надо обращаться с людьми и с животными.

– Охотно верю вам, – ответил священник, – потому что по опыту знаю, что часто леса питают поэтов и пастушьи хижины укрывают философов.

– По крайней мере, – возразил пастух, – в них попадают люди, своим умом дошедшие до всего. Чтобы вы убедились в истине моих слов и слов этого господина (он указал при этом на священника), я расскажу вам одно истинное происшествие, если только я не наскучу вам своим непрошенным рассказом.

– Так как это носит на себе отпечаток какого-то рыцарского приключения, – ответил ему Дон-Кихот, – то я буду слушать вас с большим удовольствием; также сделают и эти господа, потому что они умные люди и большие охотники до всяких любопытных новостей, способных удивлять, развлекать и восхищать ум; не сомневаюсь, что таковой будет и ваша история. Итак, начинайте, мой друг, – мы вас слушаем.

– Ну, а на мне не взыщите, – воскликнул Санчо, – я уйду с этим пирогом к ручейку и наемся там дня на три; я слыхивал от своего господина Дон-Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря должен

при всяком случае есть, сколько влезет, а то вдруг случится ему заблудиться в непроходимом лесу, из которого он не найдет выхода дней шесть; тогда от бедняги останутся кожа да кости, если только перед тем он не позаботился порядком набить себе живот или сумку.

– Ты всегда судишь положительно, – сказал ему Дон-Кихот, – иди, куда хочешь, и ешь, сколько можешь; у меня же желудок полон, и мне остается только дать пищи своей душе, что я сделаю, прослушав историю этого молодца.

– И мы все попитаем ею наши души, – добавил каноник и попросил пастуха начать обещанный рассказ.

Пастух слегка потрепал рукой козу, которую он все еще держал за рога, и сказал ей:

– Ляг рядом со мной, пеструшка; мы еще успеем вернуться домой.

И, как будто она поняла слова своего хозяина, коза сейчас же спокойно улеглась рядом с ним, как только он сел, и, смотря ему в лицо, казалось, приготовилась внимательно слушать рассказ пастуха, начавшего свою историю так:

## ГЛАВА LI

### Повествующая о том, что рассказал пастух спутникам Дон-Кихота

В трех милях от этой долины есть деревушка, хотя и очень маленькая, но считающаяся одной из самых богатых во всей окрестной местности. В ней жил один почтенный крестьянин, пользовавшийся всеобщим уважением, как за свой честный нрав, так еще больше за свои богатства, тоже, как известно, способные доставлять их обладателям уважение. Но величайшею радостью в жизни была для него дочь, умная, милая, добродетельная и прелестная девушка, которую небо и природа щедро наделили редкими достоинствами, приводившими в изумление всех ее знавших. Совсем маленькая она была уже прекрасна, и, постоянно хорошея, в шестнадцать лет стала чудною красавицей. Молва об ее очаровательной наружности распространилась по всем соседним деревням; да, что я говорю – по деревням? Она достигла и далеких городов; она проникла даже в королевский дворец и дошла до слуха людей всех сословий, со всех стран съезжавшихся посмотреть на нее, как на поразительное явление, как на чудесный образ. Ее отец заботливо смотрел за ней, да и она сама вела себя осторожно, потому что никакие замки, никакие запоры на свете не могут уберечь девушку, если ее не бережет ее собственное благоразумие. Богатство отца и красота дочери заставляли многих молодых людей из той же деревни и из других местностей свататься за девушку, но отец все еще колебался в выборе счастливца, достойного сделаться обладателем его сокровища. Я сватался за нее тоже, и даже имел некоторые основания надеяться на успех, так как собственно для ее отца достаточно было звать, что я – его земляк, молод, не обижен разумом, происхожу из старинного христианского рода и владею богатым родовым именем. Ее руки просил еще другой молодой человек из той же деревни, совершенно равный со мною в достоинствах; и это обстоятельство ставило отца в затруднение относительно выбора жениха для своей дочери, там как он видел, что судьба ее будет одинаково хорошо устроена, выдаст ли он ее замуж за того или за другого. Чтобы выйти из этого затруднения, он решил спросить мнения самой Леандры (такт звали красавицу, которая довела меня до настоящего жалкого положения), рассуждая, что, так как мы оба равны, то право выбора можно предоставить любимой дочери, –

решение, которому должны бы следовать все родители, собирающиеся женить или выдавать замуж своих детей. Не говорю конечно, что они должны позволять своим детям делать дурной выбор; я советую только предлагать им хороший и приличный выбор женихов, предоставляя детям право поступать во всем остальном по своему желанию. Не знаю, какой выбор сделала Леандра; знаю только, что отец ее продолжал отговариваться перед нами молодостью своей дочери и другими общими словами, которые, не обязывая его, в тоже время не освобождали нас от обязанности. Моего соперника зовут Ансельм, а меня – Евгению; упоминаю об этом для того, чтобы вы знали имена участников в этой трагедии, развязка которой, хотя еще не наступила, но неминуемо будет злополучной и кровавой.

В это время в нашу деревню прибыл некто Викентия де-ла-Рока, сын одного бедного крестьянина из нашей деревни. Этот Викентий возвратился из Италии и из других стран, в которых он служил солдатом. Ему еще не было и двенадцати лет, когда он ушел из дому с одним капитаном, проходившим мимо их деревни с своим отрядом, и через двенадцать лет вернулся на родину молодым человеком в военной форме, обшитой тысячью разноцветных галунов и снизу до верху увешанный разными стеклянными украшениями и стальными цепочками. Сегодня он надевал один наряд, завтра – другой, но все его украшения были ни что иное, как легковесные грошовой безделушки. Деревенские жители по природе злоязычны, и на досуге их злоречие переходит все границы; они заметили и в точности сосчитали все наряды и драгоценности Викентия и под конец счета нашли, что у него всего на всего три разноцветных платья с чулками и подвязками; но он умел так ловко распорядиться ими, что, не сосчитав, всякий готов был поклясться в том, что у него, по крайней мере, десять пар платьев и больше двадцати султанов. Не считите пустой и непристойной болтовней мои рассказы об его нарядах, – нет, они имеют большое значение в моей истории. Он часто усаживался на каменную скамейку под большим тополем на площади, а мы, разинув рты, слушали его рассказы о совершенных им подвигах. Не было, кажется, на всей земле такой страны, которую бы он не видал, не случилось ни одной битвы, в которой бы он не участвовал. Если верить его словам, то мавров он убил больше, чем их живет в Марокко и Тунисе, а поединков он имел больше, чем Ганте или Луна, больше, чем Диего Гарсиа Парадесский или другие воины, имена которых он называл; из всех этих поединков он выходил победителем, не потеряв ни капли крови. Впрочем, он показывал нам следы ран, полученных им будто бы в разных приключениях никто однако их не мог заметить, хотя он и говорил, что эти раны были причинены ему аркебузом



при разных встречах. Он чрезвычайно высокомерно обращался с равными себе и со своими знакомыми; он говорил, что его отец – его собственная рука, его дворянство – его дела, и что, в качестве солдата, он ничем не обязан самому королю. Добавлю к этому, что он был немножко певец и играл на гитаре; но и тогда я еще не перечислил всех его достоинств. Кроме всего этого, он был еще поэтом и по поводу каждого пустяка, случившегося в деревне, сочинял длинейшее стихотворение. И вот этот солдат, которого я вам описал, этот Викентий де-ла-Рока, этот храбрец, щеголь, поэт и музыкант несколько раз попался на глаза Леандре. Ее прельстила мишура его красивого мундира, ее очаровали его романсы, и она вполне поверила в действительность подвигов, о которых он сам рассказывал. В конце концов, обстоятельства, при помощи дьявола, наверно, устроились так, что она влюбилась в него прежде, чем у него зародилось тщеславное желание поволочиться за ней. А так, как дела любви особенно легко устраиваются тогда, когда того желает сама женщина, то Леандра и Викентий скоро согласились между собой. Прежде чем кто-либо из ее многочисленных ухаживателей пронюхал об ее намерении, она уже привела его в исполнение, убежав из дома своего любимого отца (ее мать уже умерла), из деревни вместе с солдатом, оказавшимся в этом предприятии счастливее, чем в любом из всех остальных, удачею в которых он хвастался.

Это событие поразило всю деревню и вообще всех знавших Леандру. Я был поражен, Ансельм смущен, отец опечален, родственники оскорблены, правосудие встревожено и полицейские пущены в дело. Обходили все дороги, обшарили все леса; и через три дня нашли легкомысленную Леандру в глубине одной пещеры в горе, одетую в одну сорочку, без денег и драгоценностей, которые она унесла с собой из дому. Привели ее к плачущему отцу и стали спрашивать, как с нею случилось это несчастье. Она без принуждения созналась, что Викентий де-ла-Рока ее обманул, что, дав клятву быть ее мужем, он убедил ее покинуть родительский дом и обещал отвести ее в богатейший и прекраснейший город во всей вселенной, в Неаполь; неопытная и прельщенная его обещаниями, она поверила его словам, и, обокрав своего отца, отдалась во власть солдата именно в ту ночь, как скрылась с ним. Он завел ее в самую глушь гор и покинул там, где ее потом нашли. Затем она рассказала, что солдат, не лишая ее чести, отнял у ней все ее драгоценности и, бросив ее в пещере, скрылся. Рассказ Леандры удвоил всеобщее изумление.

Конечно, господа, трудно поверить такой воздержности со стороны молодого человека; но она, произнося торжественные клятвы, уверяла в том, что он не позволял себе никакого насилия над нею, и этого было

достаточно, чтобы утешить огорченного отца, переставшего жалеть о похищенных богатствах, после того как он убедился, что его дочь сохранила сокровище, которое, раз потеряв, невозможно найти вновь.

В тот же день, когда Леандра была приведена домой, ее отец постарался скрыть ее от взоров посторонних, заключив ее в монастырь ближайшего города до того времени, пока не заглохнут, как он надеялся, дурные слухи, распространявшиеся об его дочери. Молодость Леандры могла служить некоторым извинением ее поведения, по крайней мере, в глазах тех людей, которым нет никакого интереса считать ее дурной или хорошей; что же касается знавших ее ум и живой характер, то причину ее проступка они видели не в неведении ее, а в легкомыслии и в свойственной всем женщинам склонности поступать в большинстве случаев наперекор уму и здравому смыслу.

После заключения Леандры глаза Ансельма стали слепы или, по крайней мере, потеряли способность видеть что-либо приятное. В разлуке с Леандрой мои глаза тоже покрыл мрак, не освещаемый ни одним лучом света радости. Наша печаль усиливалась по мере того, как истощалось наше терпение; мы проклинали щегольство солдата, мы бранили неблагоразумие и ослепление отца. Наконец, мы решили с Ансельмом покинуть деревню и уйти в эту долину, где он стал пасти своих баранов, а я – принадлежащее мне стадо коз. Мы ведем жизнь среди этих деревьев, то предаваясь излипаниям нашей нежной страсти, то распевая хвалебные или порицательные песни, посвященные прекрасной Леандре, то вздыхая в уединении и поверяя наши жалобы бесчувственному небу.

В подражание нам множество других влюбленных в Леандру тоже пришли укрыться в эти дикие горы и начали подобную же жизнь. Их так много, что это место окончательно превратилось в пастушескую Аркадию, так многочисленны в нем пастухи и овчани, и всюду постоянно слышится имя прекрасной Леандры. Один осыпает ее проклятиями, называет своенравной, безрассудной, легкомысленной; другой упрекает ее в преступной податливости; этот ее прощает, тот хулит и осуждает; один славит ее красоту, другой проклиняет ее нрав – одним словом, все оскорбляют ее бранью и все ее обожают, и безумие их доходит до того, что один плачется на ее пренебрежение, не сказав ей никогда ни одного слова, а другой изливается в жалобах, испытывая острые муки ревности, для которой она никому никогда не давала повода, там как ее грех стал известным, прежде ее желания совершить его. Нет ни одной пещеры, ни одного отверстия в скале, ни одного берега ручейка, ни одной древесной тени, где бы не нашли вы какого-нибудь пастуха, описывающего ветрам

своя несчастья. Всюду, где живет эхо, оно повторяет имя Леандры; «Леандра», вторят горы; «Леандра», журчат ручейки; Леандра держит нас очарованными, надеющимися без надежды и страшась, не зная, чего страшиться. Среди всех этих постигнутых горем людей меньше всех и в тоже время больше всех ума оказывается у моего соперника Ансельма; имея столько причин горевать, он горюет только о разлуке. Под звуки скрипки, на которой он восхитительно играет, он изливает свою печаль в стихах, проявляющих всю тонкость его ума. Я же избрал более удобный и, по моему мнению, более благоразумный способ переносить свое горе: я свысока осуждаю легкомыслие женщин, их непостоянство, двоедушье, лживость в обещаниях, измену и, наконец, отсутствие вкуса и умения, обнаруживаемое ими при выборе предмета своих дум и привязанностей. Вот, господа, почему пришли мне на язык слова, сказанные мною, когда я славил эту козу, которую я, как особу женского пола, ценю очень низко, хотя она и лучшая из моего стада. Вот обещанная мною история. Если я был слишком многословен в рассказе, то я не буду короче и в предложении моих услуг; моя овчарня недалеко, там есть у меня свежее молоко, отличнейший сыр и разные плоды, приятные на вид и сладкие на вкус.

## **ГЛАВА LII**

### **О споре Дон-Кихота с пастухом и о поразительном приключении с белыми кающимися, которое в поте своего лица и во славу своего имени окончил рыцарь**

История пастуха доставила слушателям большое удовольствие. Канонику, более всех остальных восхищенному, в особенности нравился способ выражения рассказчика, которого, судя по рассказу, скорее можно было принять за изящного придворного, чем на грубого пастуха.

– Действительно, – воскликнул каноник, – господин священник сказал истину «что леса и горы часто укрывают ученых людей».

Все похвалили Евгению, но особенно щедрым на предложение услуг оказался конечно Дон-Кихот.

– Уверяю вас, брат пастух, – оказал он ему, – что если бы у меня была хоть какая-нибудь возможность предпринимать приключение, я немедленно же правился бы за ваше дело. Я бы вытащил из монастыря (где она, без сомнения, томится против своей воли) вашу прекрасную Леандру, на зло настоятельнице и всем, кто бы ни вздумал мне воспротивиться; затем я передал бы ее в ваши руки, предоставив вам право делать с ней, что вы хотите, с условием, однако, соблюдать рыцарский закон, запрещающий всякое насилие над девицей. Но с Божией помощью, я надеюсь, что будет время, когда сила злонамеренного очарователя не устоит против силы очарователя более благожелательного. Тогда я обещаю вам мою поддержку и мое покровительство, как того требует от меня мое звание, состоящее в том, чтобы помогать нуждающимся и гонимым.

Пастух посмотрел на Дон-Кихота и, удивленный несчастной и тощей фигурой рыцаря, обратился к цирюльнику, сидевшему с ним рядом:

– Господин, – сказал он ему, – что это за человек такой странной наружности, и что за странные слова он говорит?

– Кем же и быть ему, – ответил цирюльник, – как не славным Дон-Кихотом Ламанчским, истребителем зла, исправителем неправды, поддержкой девиц, ужасом великанов и победителем в битвах?

– Это похоже на то, – возразил пастух, – что рассказывается в книгах о странствующих рыцарях, которые проделывали тоже самое, что вы

рассказываете об этом господине; только мне сдается, что или ваша милость смеетесь или у этого милого человека в башке пустовато.

– Ты величайший мерзавец! – воскликнул Дон-Кихот, – у тебя башка пуста и не в порядке, а у меня голова полнее, чем было брюхо у той сволочи, которая тебя родила.

Затем, без дальнейших разговоров, он схватил лежавший около него хлеб и с такой яростью хватил им пастуха по лицу, что у того от удара приплюснулся нос. Пастух, не любивший шутить, увидав, что его бьют не в шутку, бросился на Дон-Кихота, не обращая внимания ни на ковер, ни на скатерть, ни на обедавших, и схватил его обеими руками за горло. Он непременно задушил бы его, если бы не подоспел во время Санчо Панса и, схватив пастуха за плечи, не повалил его навзничь на ковер, перебив притом все тарелки и стаканы и разлив все их содержимое. Очутившись на свободе, Дон-Кихот засел на живот пастуха, который, с окровавленным лицом и поколоченный Санчо, ощупью искал ножа, чтобы произвести кровавое мщение. Но каноник и священник помешали ему. Цирюльник же помог пастуху в свою очередь подмять под себя Дон-Кихота, и тогда на лицо бедного рыцаря посыпался такой град ударов, что оно вскоре оказалось таким же окровавленным, как и лицо пастуха. При виде такого зрелища каноник и священник хохотали, ухватившись за бока, стрелки покатывались со смеху и все при этом натравливали дерущихся друг на друга, точно грызущихся собак. Один Санчо Панса приходил в отчаяние от того, что ему никак не удавалось отделаться от слуги каноника, не пускавшего его пойти помочь его господину. В то время, как происходила эта потеха и двое силачей угощали друг друга тумаками, вдруг послышался печальный и заунывный звук трубы, заставивший всех обернуться в сторону, откуда он раздавался. Более всех взволновался, услышав его, Дон-Кихот, который, наполовину избитый, продолжал поневоле лежать под пастухом.

– Послушай, брат дьявол, – сказал он пастуху, – ибо никем иным ты же можешь быть, раз твоя сила превзошла мою, – прошу тебя, заключим перемирие только на один час, мне кажется, что этот печальный звук трубы, поразивший мой слух, призывает меня на какое-нибудь приключение.

Пастух, которому уже надоело бить и быть битым, сейчас же выпустил его, и Дон-Кихот, став на ноги, обратил свои глаза в ту сторону, откуда слышался шум, и увидел множество людей, спускающихся по склону холма и одетых, подобно кающимся, в белые одежды. Дело было в том, что в этом году небо долго не орошало земли дождем и во всех окрестных деревнях

устраиались молебны и крестные ходы, дабы Господь отверз руку своего милосердия и ниспослал благодать своего дождя. По той же причине и жители одной соседней деревушки отправились крестным ходом к почитаемому ими за святое месту на одном из холмов этой долины.

Дон-Кихот, увидав странные одеяния кающихся и совершенно позабыв, что он тысячу и один раз видал прежде подобные же процессии, вообразил, что вновь представляется какое-нибудь приключение и что ему одному, как странствующему рыцарю, надлежит предпринять его. В этом безумном решении его подкрепило в особенности то, что покрытую трауром статую Мадонны он принял за благородную и могущественную даму, увозимую какими-нибудь вероломными негодяями. Забрав себе в голову эту мысль, он со всех ног бросился ловить пасшегося на лугу Россинанта и, отвязав от седла узду и щит, мгновенно взнуздal своего коня; затем, потребовав у Санчо свой меч, он вскочил на Россинанта, надел на руку свой щит и громким голосом сказал своим безмолвно смотревшим на него спутникам:

– Теперь, почтенное общество, вы увидите, как важно для мира существование странствующих рыцарей; теперь, говорю я, после освобождения этой пленной дамы, вы убедитесь, следует ли уважать странствующих рыцарей.

С этими словами он, за неимением шпор, коленями сжал бока Россинанта и крупной рысью (но не галопом, потому что во все продолжение этой истинной истории читатель не видал, чтобы Россинант когда-либо поскакал галопом) пустился навстречу кающимся. Священник, каноник, цирюльник пытались было его остановить, но все их старания были тщетны. Не остановил его и голос Санчо, кричавшего ему во все горло:

– Куда вы, господин Дон-Кихот? Черти что ли сидят в вашем теле и заставляют вас бунтовать против нашей католической веры? Горе мне! посмотрите, ведь это процессия кающихся, а эта дама, которую несут на носилках – изображение св. Девы Марии. Посмотрите, что вы хотите делать, подумайте, господин, вот уж на этот раз можно сказать, что вы не ведаете, что творите.

Но Санчо напрасно надрывался; его господину крепко засела в голову мысль, что он нападает на белые привидения и освобождает даму в трауре, и он не слышал ни одного слова, да если бы и слышал, то не воротился бы даже по повелению самого короля. Он доскакал до процессии, остановил Россинанта, уже ощущавшего сильное желание передохнуть малость и резким взволнованным голосом крикнул:

– О, вы, ради своих злодеяний закрывающие свои лица, стойте и слушайте, что я вам скажу.

Первыми остановились несшие изображение, и один из священников, служивших молебствие, увидав странную наружность Дон-Кихота, тощую фигуру Россинанта и множество смешных особенностей костюма рыцаря, ответил ему:

– Брат, если вы желаете сказать нам что-нибудь, то говорите поскорей, потому что у этих бедных людей болят уже плечи и нам некогда останавливаться и слушать ваши объяснения, разве только они не длиннее двух слов.

– Я вам объясню все одним словом, – возразил Дон-Кихот, – слушайте: возвратите сию минуту свободу этой прекрасной даме, слезы и печальный вид которой ясно свидетельствуют о том, что вы уводите ее против ее воли, и нанесли ей какое-нибудь тяжкое оскорбление. И я, пришедший в мир для исправления подобных дел, – я не позволю вам сделать шаг пока вы не возвратите ей свободу, которой она желает и заслушивает.

Услыхав такие речи, все сочли Дон-Кихота за убежавшего откуда-нибудь сумасшедшего и разразились громким смехом. Но этот смех еще более воспламенил ярость Дон-Кихота, который, не говоря ни слова, выхватил меч и напал на носилки св. Девы. Тогда один из несших их, оставив ношу своим товарищам, вышел навстречу Дон-Кихоту, вооруженный вилами, на которые ставились носилки во время отдыха. Дон-Кихот ударил мечом по палке вил и перерубил ее пополам, но кающийся обломком, оставшимся у него в руке, обрушил такой удар на плечо Дон-Кихота со стороны меча, где щит не мог защитить рыцаря от нападения мужика, что бедный гидальго в несчастнейшем виде свалился с коня на землю.

Санчо Панса, бежавший за рыцарем по пятам и страшно запыхавшийся, увидав его падение, крикнул злодею, чтобы он не пускал опять в ход своей дубинки против этого бедного очарованного рыцаря, в жизни не сделавшего никому зла. Но удержали руку мужика не крики Санчо; удержал ее вид Дон-Кихота, неподвижно лежавшего на земле. Подумав, что рыцарь убит им, кающийся подобрал свое длинное платье и с быстротою лани бросился бежать по полям. В эту минуту подбежали к Дон-Кихоту его спутники. Но при виде их приближения в сопровождении стрелков, вооруженных аркебузами, участники процессии построились в ряды вокруг священного изображения, вообразив, что на них нападают. С непокрытыми головами, вооружившись, кто покаянным бичом, кто подсвечником, они ожидали нападения своих противников, твердо

решившись защищаться и даже, если окажется возможным, перейти в наступательное положение. Но судьба устроила дела лучше, чем предполагали; Санчо только и сделал с своей стороны, что бросился на тело своего господина, и, решив, что он умер, начал самым печальным и в тоже время смешным образом причитать над ним, священник был узнан одним из своих братьев, участвовавшим в процессии, и эта встреча двух знакомых заставила улечься взаимный страх обеих сторон. Первый священник передал другому в двух словах историю Дон-Кихота, и, когда после его рассказа кающиеся всею толпою приблизились, чтобы посмотреть, жив ли бедный гидальго, они услышали, как Санчо, со слезами на глазах, говорил:

– О цвет рыцарства, которому один взмах палки пресек бег твоих так прекрасно прожитых годов! О гордость своего рода! О слава Ламанчи и даже целого мира, который, лишившись тебя, переполнится злодеями, не боящимися уже более наказания за свои преступления, о превзошедший щедростью всех Александров, ибо за восемь месяцев моей службы, никак ни больше, ты подарил мне лучший остров, какой только море омывает своими волнами! О ты, смиренный с высокомерными и дерзновенный с смиренными, пренебрегавший опасностями, претерпевавший оскорбления, влюбленный сам не зная в кого, подражатель добрым, бич злых, враг нечестивых, одним словом, странствующий рыцарь, и этим сказано все.

На вопли и стенания Санчо Дон-Кихот открыл глаза, и первым его словом было:

– Живущий вдали от вас, Дульцинейшая Дульцинея, подвергается величайшим бедствиям. Помоги мне, друг Санчо, подняться на очарованную колесницу, я не в состоянии держаться в седле Россинанта, потому что у меня раздроблено это плечо.

– С превеликим удовольствием, мой дорогой господин, – ответил Санчо, – и вернемся в нашу деревню в компании с этими господами, желающими нам добра, и займемся приготовлениями к третьему выезду, который, надеюсь, принесет нам больше славы и выгоды.

– Золотые слова говоришь ты, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – мы проявим величайшее благоразумие, если дадим пройти этому дурному влиянию звезд, тяготеющему над нами теперь.

Каноник, священник и цирюльник в один голос одобрили такое благоразумное решение; посмеявшись над простотою Санчо, они по-прежнему поместили Дон-Кихота на телегу, и процессия в прежнем порядке отправилась в дальнейший путь; пастух простился со всеми; священник заплатил, сколько следовало, стрелкам, отказавшимся идти



далее; каноник попросил священника известить его о том, что потом станется с Дон-Кихотом, – вылечится ли он от своего безумия или будет в нем упорствовать, – и, когда священник обещал ему это, отправился своим путем. Одним словом, общество разошлось, и каждый пошел своей дорогой, покинув наших знакомцев: священника и цирюльника, Дон-Кихота и Санчо Панса, а также и доброго Россинанта, который при виде всего происходящего проявлял тоже терпение, как и его господин. Крестьянин запряг своих волов, устроил Дон-Кихота на сене и поехал с своей обычной флегмой по пути, указанному ему священником.

Через шесть дней они прибыли в деревню Дон-Кихота. Это случилось в самый полдень, и так как день пришелся воскресный, то все обитатели собрались на площади, по которой должна была проезжать колесница Дон-Кихота. Все жители сбегались посмотреть, что она везла, и, увидев в клетке своего земляка, были необыкновенно изумлены этим. Один мальчик опрометью бросился сообщить эту новость эконолке и племяннице. Он рассказал им, что их дядя и господин приехал, худой, желтый, изнуренный, растянувшись на охапке сена, на телеге, запряженной быками. Трудно себе представить, как поняли эти добрые дамы, как били себя по щекам и какими новыми проклятиями осыпали они рыцарские книги. Но отчаяние их удвоилось, когда они увидели Дон-Кихота въезжающего в ворота дома.

Как только услышала о возвращении Дон-Кихота жена Санчо Панса, она, зная, что ее супруг уехал с ним в качестве оруженосца, тоже скоро прибежала. Едва она увидела Санчо, первым ее вопросом было, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего хозяина.

– Благодарение Богу за его великую милость ко мне! – воскликнула она. – Ну, теперь, голубчик, расскажи мне, что ты нажил на своей службе оруженосцем; привез ли ты мне новую юбку и башмачки ребятам?

– Ничего этого я не привез, жена, – ответил Санчо, – я привез вещи поважней и подороже.

– Вот радость-то, – возразила жена, – покажи мне поскорей эти вещи поважней и подороже, мой милый; порадуй мое бедное сердце, а то оно истосковалось и измучилось в разлуке на целый век с тобой.

– Дома увидишь, жена, – сказал Панса, – а пока будь и тем довольна: потому что, если Господ поможет нам во второй раз отправиться на поиски приключений, то я возвращусь к тебе скоро графом или губернатором острова, да не первого попавшегося острова, а самого, что ни есть, лучшего.

– Дай-то Бог, муженек, – ответила жена, – мы очень нуждаемся. Но скажи мне, что такое остров? Я этого не понимаю.

– Не ослу кушать мед, – возразил Санчо, – будет время, ты сама увидишь остров, жена, и подивишься тогда, когда твои подданные будут называть тебя вашим сиятельством.

– Что это ты говоришь, Санчо, о подданных, об островах, об сиятельствах? – недоумевала Хуана Панса (так называлась жена Санчо не потому, чтобы они были родственники, а потому, что в Ламанче жены обыкновенно принимают фамилию своих мужей.<sup>[72]</sup>

– Не спеши узнавать все сразу, Хуана. Довольно тебе знать, что я говорю правду, и заткни рот. Скажу тебе только к слову, что нет ничего приятнее для человека, как быть честным оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Оно правда, что большая часть из этих приключений оканчивается не так весело, как бы хотелось, потому что из сотни тех приключений, которые встречаются по дорогам, ровно девяносто девять идут шиворот на выворот. Я это знаю по опыту, потому что в одних приключениях меня качали, в других колотили; а все-таки скажу, преприятная вещь искать приключения, пробираясь через горы, рыская по лесам, лазая по утесам, посещая замки, днюя и ночуя на постоялых дворах и не платя ровно ничего за постой.

Пока происходила эта беседа Санчо Панса с его женой Хуаной Панса, экономка и племянница Дон-Кихота встретили рыцаря, раздели его и уложили в его старую постель. Он смотрел на них дикими глазами и никак не мог признать. Священник, поручая племяннице попечения об ее дяде, советовал ей быть постоянно на стороже, чтобы он во второй раз не убежал из дому; потом он рассказал им, чего ему стояло привезти рыцаря домой. Его рассказ вызвал у женщин новые крики, новые проклятия рыцарским книгам и новые мольбы к небу, дабы оно низвергло в бездну ада авторов лживых и нелепых рассказов. Их мучило сильнейшее беспокойство, как бы им снова не пришлось лишиться своего дяди и господина, когда его здоровье немного поправится; и, действительно, их опасения оправдались.

Но автор этой истории, несмотря на все старание и любознательность, обнаруженные им в изысканиях касательно подвигов, совершенных Дон-Кихотом в его третьем выезде, не мог нигде найти относительно этого предмета и следа каких-либо рукописей, по крайней мере, достоверных. Слава сохранила только в памяти жителей Ламанчи предание, рассказывающее, что, когда Дон-Кихот к третий раз покинул свой дом, он отправился в Саррогосу, где присутствовал на праздниках знаменитого турнира, происходившего в этом городе,<sup>[73]</sup> и что при этом с ним случились события, достойные это высокого мужества и совершенного разума.

Относительно же того, как он окончил свою жизнь, историк ничего не мог открыть и никогда об этом ничего не знал бы если бы, благодаря счастливому случаю он не встретил одного старого лекаря, обладавшего свинцовым ящиком, найденным, по его словам, под фундаментом одной древней часовни, которую сломали для перестройки.<sup>[74]</sup> В этом ящике оказалось несколько пергаментов, написанных готскими буквами, но кастильскими стихами, рассказывавших о многочисленных подвигах нашего рыцаря, свидетельствовавших о красоте Дулцинеи Тобозской, о статности Россинанта, о преданности Санчо Панса, и указывавших гробницу самого Дон-Кихота; они содержали множество стихов и эпитафий, восхвалявших его жизнь и характер. Только немногие из этих стихов можно было прочесть, другие же, насквозь изъеденные червями, были переданы одному академику, чтобы он постарался разобрать их хоть по догадке. Говорят, что после долгого труда и многих бессонных ночей, его старания увенчались успехом, и он намерен напечатать эти стихи – в надежде на третий выезд Дон-Кихота.

В вознаграждение за громадный труд, который пришлось ему потратить до обнародования своего произведения, перерывая все архивы Ламанчи, автор просит читателей осчастливить его таким же доверием, каким обыкновенно пользуются среди умных людей рыцарские книги, всюду с такой благосклонностью принимаемые. Этой ценою вполне оплатятся его труды, и он вполне удовлетворится; что даст ему смелость сочинить и печатать другие истории, если и уступающие этой в подлинности, но за то равные ей по остроумию и забавности.

Forse altro cantera con miglior plettro.<sup>[75]</sup>

Конец первого тома.

**TOM II**

## **ГЛАВА I**

### **О том, как священник и цирюльник беседовали с Дон-Кихотом о его болезни**

Сид Гамед Бен-Энгели рассказывает во второй части этой истории, а именно при описании третьего выезда Дон-Кихота, что священник и цирюльник почти целый месяц не посещали его для того, чтобы не вызвать в нем воспоминания о недавних событиях. Несмотря на это, они часто навещали его к племяннице и экономке и убеждали их как можно лучше ухаживать за Дон-Кихотом, давая ему есть такие кушанья, которые целительно действуют на ум и сердце, так как от расслабления последних, как можно заключить по зрелому размышлению, и возникла его болезнь. Те отвечали, что они не забывают этого и на будущее время, насколько хватит сил, будут заботиться о его здоровье; что они замечают являющиеся по временам у их господина светлые минуты, когда он бывает в полном рассудке. Оба друга были чрезвычайно обрадованы этим известием, полагая, что этим они обязаны счастливой мысли увезти его очарованным домой на телеге, запряженной волами, как это было рассказано в последней главе первой части этой большой и правдивой истории. Поэтому они решили навесить его и посмотреть, как подвигается его выздоровление, в котором они все еще сомневались; они сговорились между собой не затрагивать в разговоре ничего такого, что касалось бы странствующего рыцарства, чтобы как-нибудь неосторожно опять не разбередить едва начавшие заживать раны.

Когда они вошли к нему, он сидел на своей кровати, одетый в камзол из зеленой фланели, с пестрой толедской шапочкой на голове, и был так худ и изнурен, что, казалось, на нем была только одна кожа да кости. Он принял их очень ласково; они осведомились у него относительно его здоровья, и он отвечал на все их вопросы очень разумно и в самых изысканных выражениях. В разговоре они коснулись между прочим и так называемых политических и государственных вопросов, при чем, беседуя, старались искоренить то то, то другое злоупотребление; отменяли один старый обычай и вводили на его место другой – новый, – короче сказать, каждый из троих собеседников изображал из себя в это время нового законодателя, нечто в роде второго Ликурга или новоиспеченного Солона; и таким образом они до такой степени преобразовали на словах государство, что

его, в конце концов, нельзя было узнать. О каждом предмете, про который шла речь, Дон-Кихот говорил так разумно, что оба друга, испытывавшие его, более не сомневались в совершенном восстановлении его рассудка. Племянница и экономка присутствовали при этом разговоре и не знали, как благодарить Бога за то, что их господин рассуждал так здраво. Но священник переменял свое первоначальное намерение не затрагивать ничего, что касалось бы рыцарства, так как он вполне хотел убедиться в действительности выздоровления Дон-Кихота. Поэтому он рассказал одну за другой несколько новостей из столичной жизни и, между прочим, что, как ему передавали за достоверное, турки выступили в поход с большим флотом; неизвестно, в чем состоит их намерение и над какою страной разразится эта гроза; но так как страх нападения турок почти из года в год овладевает христианским миром, то его величество король повелел привести в оборонительное положение как берега Неаполя и Сицилии, так и остров Мальту.

Дон-Кихот ответил на это:

– Его величество поступает как предусмотрительный воин, вовремя заботясь об обороне своих владений, для того, чтобы враг не напал на них врасплох. Если бы он, однако, захотел послушаться моего совета, то я рекомендовал бы ему такую меру, которая, по всей вероятности, в эту минуту менее всего может прийти ему в голову.

Услышав эти слова, священник сказал про себя:

– Помилуй Бог тебя, бедный Дон-Кихот! Кажется, ты с высочайшей вершины твоего сумасшествия стремишься низринуться в глубокую пропасть твоего простодушия. Цирюльник же, который напал на ту же самую догадку, спросил его, в чем собственно заключается та мера, которую он считает такою целесообразной, и не принадлежит ли она к числу тех необдуманных проектов, которые так часто представляют на одобрение государей.

– Мой проект, господин брадобрей, – сказал Дон-Кихот, – не будет необдуманным, напротив, он очень обдуман.

– Я не говорю ничего, – возразил цирюльник, – я хотел только сказать, что большая часть планов, которые представляются на усмотрение его величества, или невыполнимы, или просто несуразны, или даже могут быть вредны как для короля, так и для государства.

– Мой план, – ответил Дон-Кихот, – нельзя назвать ни невыполнимым, ни несуразным; напротив, он самый легкий, самый лучший, самый удобоисполнимый и самый короткий, который рождался когда-либо в чьей-либо изобретательной голове.

– Однако, вы не решаетесь сообщить нам его, господин Дон-Кихот, – сказал священник.

– Мне бы не хотелось делать его известным теперь, – ответил Дон-Кихот, – так как в таком случае он завтра же утром дойдет до ушей господ королевских советников и другие получают благодарность и награду за мой труд.

– Что касается меня, – сказал цирюльник, – то обещаю вам перед Богом, что ничего из сообщенного вами не узнает от меня ни король, ни оруженосец, ни какой-либо другой смертный, – клятва, которой я научился из романа о священнике, указывавшем королю разбойника, который украл у него сто пистолей и быстрого мула.

– Я не знаю этой сказки, – сказал Дон-Кихот, – но для меня довольно клятвы, потому что я знаю, что господин цирюльник – честный человек.

– Если бы даже вы этого не знали, – сказал священник, – то я ручаюсь за него и уверяю, что он будет в этом случае нем, как рыба, под страхом тяжкого наказания.

– А кто поручится за вас, господин священник? – спросил Дон-Кихот.

– Мой сан, – ответил священник, – он вменяет мне в обязанность соблюдение тайн.

– Ну, так клянусь небом! – воскликнул Дон-Кихот, – что другое может сделать его величество, как не объявить всенародно, чтобы все странствующие по Испании рыцари в назначенный день собрались при дворе? Если бы их явилось даже не более полдюжины, то и тогда среди них мог выискаться такой, которого одного было бы достаточно, чтобы уничтожить все могущество турок. Слушайте меня внимательно, господа, чтобы вы могли хорошенько понять мою мысль. Разве это неслыханная вещь, чтобы один странствующий рыцарь сразил войско в двести тысяч человек, как если бы у них всех была только одна шея, или они были бы испечены из марципана? Скажите мне, пожалуйста, много ли существует историй, которые не были бы наполнены подобными чудесами? Если бы только в настоящее время жил среди вас славный Дон-Велианис или один из бесчисленных потомков Амадиса Галльского, и захотел померяться с турком, то я бы не пожелал быть на месте последнего. Но Бог помилует народ свой и пошлет того, кто, не будучи так могуч, как прежние странствующие рыцари, все же не уступит им в мужестве. Господь слышит меня. Больше я ничего не скажу.

– Ах, умереть мне! – вскричала племянница, – если дядя опять не думает о том, как бы сделаться странствующим рыцарем.

– Я буду жить и умру странствующим рыцарем, – сказал Дон-Кихот, –

и пусть турок наступает и отступает, сколько его душе угодно, я повторяю еще раз: Господь слышит меня.

В это время цирюльник перебил его следующими словами:

– Позвольте мне, господа, рассказать вам маленькую историю, которая произошла в Севилье, и которой мне очень бы хотелось поделиться с вами, потому что она как нельзя более подходит к настоящему случаю.

Дон-Кихот и священник изъявили на это свое согласие, другие тоже начали прислушиваться, и он начал таким образом:

– В сумасшедшем доме в Севилье находился человек, которого посадили туда его родственники, так как он лишился рассудка. Он получил степень лиценциата в Оссуне, но если бы он получил ее даже в Саламанке, то и тогда бы он, по всеобщему мнению, остался сумасшедшим. После того, как этот лиценциат провел там несколько лет, он забрал себе в голову, что он в здравом уме и твердой памяти, и написал к архиепископу, прося его убедительно и в изысканных выражениях освободить его из заключения, в котором он находился, так как, благодаря милосердию Божию, к нему вернулся рассудок; родственники его, писал он, оставляют его там для того, чтобы воспользоваться его состоянием, и, вопреки справедливости, хотят, чтобы его до самой смерти считали за сумасшедшего.

Архиепископ, тронутый его многочисленными разумно и складно составленными письмами, приказал одному из своих капелланов осведомиться у смотрителя больницы, правда ли все то, о чем писал лиценциат; он приказал ему также самому поговорить с ним и в случае, если окажется, что он в здравом уме, взять его оттуда и возвратить ему свободу. Капеллан отправился туда, и смотритель сказал ему, что этот человек до сих пор еще сумасшедший; что хотя он и говорит часто очень разумно, но под конец понисет опять такую чепуху, которая сразу перевесит все его разумные речи; если он пожелает вступить с ним в разговор, он сам убедится в справедливости его слов.

Чтобы сделать испытание над сумасшедшим, капеллан велел отвести себя к нему, говорил с ним более часа, и в продолжение всего этого времени тот не проронил ни одного неразумного слова; напротив, – говорил так складно, что капеллан принужден был поверить в совершенное выздоровление сумасшедшего.

Между прочим, последний жаловался на смотрителя, преследовавшего его потому только, что ему жаль было лишиться подачек, которые он получал от его родственников за то, чтобы утверждать, что он сумасшедший, хотя по временам у него и являются светлые минуты.



Величайшим несчастьем для него было его большое состояние, так как, чтобы воспользоваться им, его враги оклеветали его и отрицают факт милости, явленной ему господом Богом, который обратил его снова в человека из неразумного животного. Короче сказать, он сумел так много наговорить, что набросил тень на смотрителя, изобразил своих родственников безжалостными скрягами, а себе самому придал так много ума, что капеллан решил взять его с собою для того, чтобы архиепископ увидел его и лично мог убедиться в положении дела. С этим намерением добрый капеллан приказал смотрителю возвратить лиценциату платье, которое тот носил до поступления в сумасшедший дом. Смотритель напомнил ему, чтобы он подумал, что делает, так как лиценциат на самом деле все еще не в своем уме, но все представления и увещания смотрителя были напрасны, и капеллан стоял на том, чтобы взять лиценциата с собою. Смотритель повиновался, так как понимал, что такова была воля архиепископа, и на лиценциата было снова надето его платье, которое было еще ново и совершенно прилично. Как только лиценциат увидел, что с него сняли платье сумасшедшего и надели платье человека в здравом уме, он стал просить капеллана позволить ему проститься с его безумными товарищами. Капеллан сказал, что он сам войдет с ним и посмотрит сумасшедших, которые находились в заведении. Таким образом, они отправились наверх в сопровождении нескольких других присутствовавших при этом особ, и, когда все подошли к клетке с находившимся в ней беспокойным сумасшедшим, который как раз в это время утих, лиценциат сказал, обращаясь к нему:

— Мой друг, подумай, не имеешь ли ты чего поручить мне; я ухажу домой. Так как Бог, в своей безграничной благодати и милосердии, вернул мне мой рассудок без всякой заслуги с моей стороны, то я стал здоров и разумен, потому что для Бога ничего нет невозможного. Полагайте всю надежду вашу и все упование ваше только на Него; ибо, возвратив мне рассудок, Он возвратит его и всякому другому, кто уповает на Него, и позабочусь о том, чтобы как прислали чего-нибудь хорошенького поесть; ешьте только как можно лучше, ибо я твердо убежден, так как и мне пришлось испытать это, что все ваши беснования возникают из того, что наши желудки пусты, а ваши головы полны ветра. Побольше мужества только, побольше мужества, потому что уныние в несчастьи расшатывает наше здоровье и влечет за собою смерть.

Все, что говорил лиценциат, слышал другой безумный, находившийся в клетке напротив бешеного; он вскочил со старого матраца, на котором лежал совершенно голый, и спросил громким голосом, кто там такой

уходит здоровый и разумный?

– Это я, друг мой, – сказал лицензиат. – Я уйду потому, что пребывание мое здесь больше не нужно, и за это и приношу бесконечную благодарность небу, которое ниспослало мне эту великую милость.

– Подумай, что ты говоришь, лицензиат, – возразил безумный. – Не давай себя ослепить черту, а силы лучше смирно и оставайся в покое в своей клетке, и тебе не нужно будет снова возвращаться в нее.

– Я знаю, что я здоров, – ответил лицензиат, – и что мне не нужно будет больше возвращаться сюда для того, чтобы снова начать лечение.

– Ты здоров? – вскричал безумный, – хорошо, это мы увидим; ступай с Богом, но клянусь тебе Юпитером, которого величие я представляю здесь на земле, что за преступление, которое сделала сегодня Сивилла, отпуская тебя из этого дома и объявляя тебя за человека с здравым рассудком, я накажу так, что во веки веков не забудут об этом, аминь. Знаешь ли ты, жалкий лицензиатишка, что я могу сделать то – так как я Юпитер-громовержец и в руках моих держу огненные громовые стрелы, – отчего мир потрясется и распадется в прах? А на этот невежественный город я наложу только одно наказание – я не дам пролиться над ним и над окрест лежащими местами дождя в течении полных трех лет, считая со дня и часа объявления этого наказания. Ты свободен?! ты здоров?! ты в полном рассудке?!.. А я сижу в клетке!.. прежде чем я позволю пойти дождю, я скорее повешусь.

Все присутствовавшие были поражены этим криком и речью сумасшедшего; лицензиат же повернулся к капеллану, взял его за руку и сказал ему:

– Будьте покойны, мой благодетель, и не обращайтесь внимания на то, что говорит этот сумасшедший; потому что, если он Юпитер и не хочет позволить идти дождю, то я Нептун – отец и бог вод, и повелю идти дождю, если это будет нужно и угодно мне.

– Несмотря на это, – возразил капеллан, – было бы неблагоприятно гневить Юпитера. Оставайтесь же здесь в вашей комнате, мы вернемся и возьмем вас отсюда в другой раз, когда время и обстоятельства будут более благоприятны для этого.

Смотритель и зрители засмеялись, к большому неудовольствию капеллана. С лицензиата сняли его платье; он остался в госпитале, как был прежде, и... этим кончается моя история.

– Так это та самая история, – сказал Дон Кихот, – которая так подходит к случаю, что вы не могли обойтись без того, чтобы не рассказать ее?

– Ах, господин борододер, господин борододер! как же должен быть

слеп тот, кто не может видеть дальше своего носа! Как возможно, что вы до сих пор не знаете, что все сравнения, делаемые между талантом и талантом, красотой и красотой, полом и полом, – гнусны и непристойны? Я, господин цирюльник, не бог вод Нептун, и не требую, чтобы меня считали за человека в здравом уме, если этого нет на самом деле. Я стараюсь только доказать миру заблуждение, в котором он находится, не возвращаясь к тому блаженному времени, когда процветал орден странствующих рыцарей. Но наш выродившийся век недостойн вкусить того великого счастья, каким пользовались те времена, когда странствующие рыцари вменяли себе в труд и обязанность оборонять государства, защищать дев, помогать старым и вдовым, наказывать высокомерных и вознаграждать смиренных. Большая часть нынешних рыцарей больше шумят шелком и парчою, чем гремят оружием. Никто из них не спит теперь в поле под открытым небом и в полном вооружении; никто из них не довольствуется теперь легким сном, не вынимая ног из стремян, опершись на копье, как делали прежние странствующие рыцари. Теперь нет ни одного рыцаря, который то странствовал бы по лесам и пустыням, то достигал бы безмолвного песчаного берега почти вечно бушующего моря, где зачастую находился утлый челн без мачты, паруса, весел или руля; бесстрашно садился бы в него и предавался на волю ревущих волн, которые то подымут его до облаков, то повергнут в бездну. Но мужественно выставляет он грудь навстречу неиствующей стихии, и прежде, чем успеть подумать, он уже за три тысячи миль от того места, откуда отплыл, и высаживается на берег далекой и неведомой страны, где приходится испытать ему много чудесных приключений, достойных не только быть начертанными на пергаменте, но даже вырезанными на скрижалях. В наше же время леность господствует над прилежанием, праздность над трудом, порок над добродетелью, теория над действительным умением владеть оружием, которое существовало и процветало только в давно минувший золотой век, век странствующего рыцарства. Скажите мне на милость, кто был когда-либо благороднее и храбрее знаменитого Амадиса Галльского? Кто был мудрее Пальмерина Английского? Кто был обходительнее и вежливее Тиранта Белого? Кто был учтивее Лизуара Греческого? Кто стремительнее поражал мечом и более других был поражаем им, чем Дон Белианис? Кто был неустрашимее Периона Галльского? Кто мужественнее противостоял опасностям, чем Феликс Марс Гирканский? Кто был откровеннее Эспландиона? Кто был стремительнее Дона Эйронгильо Фракийского? Кто – неукротимее Родомонта? Кто осмотрительнее короля Собрино? Кто – мужественнее

Рейнальда? Кто – непобедимее Роланда? И кто был благороднее и более блестящ, чем Руджиеро, от которого, как говорит Тюрпен в своей космографии, происходят нынешние герцоги Феррара? Все эти рыцари и много других, которых я мог бы назвать, были странствующими рыцарями, доставившими рыцарству честь и славу. Такими или похожими на такие должны были бы быть рыцари, которых предполагает мой проект; и тогда у его величества были бы надежные слуги, и он мог бы сберечь много денег, и турок с досады вырвал бы себе всю бороду. Впрочем, я остаюсь у себя в комнате, потому что капеллан не хочет меня взять с собою, и если Юпитер, как сказал цирюльник, не позволит идти дождю, то я буду здесь и заставлю идти дождь, когда мне это заблагорассудится, и говорю это для того, чтобы господин борододер знал, что я его понял.

– Клянусь вам, господин Дон Кихот, – возразил цирюльник, – я сказал это не с дурным умыслом, – мое намерение было чисто, Бог тому свидетель, и ваша милость не должны сердиться на меня.

– Должен ли я сердиться или нет, – ответил Дон Кихот, – это мое дело.

После этого священник проговорил:

– К счастью, я не сказал до сих пор почти еще ни одного слова, а я очень хотел бы освободиться от одного сомнения, которое отегищает и гложет мою совесть и которое возникло из того, что сказал господин Дон-Кихот.

– Вместе со многим другим, – ответил Дон-Кихот, – и это позволяется сказать господину священнику; пусть же расскажет он про свое сомнение, ибо нет ничего приятного, когда сердце и совесть отягчены сомнением.

– Итак, с вашего любезного позволения, скажу я вам, – сказал священник, – в чем состоит мое сомнение. Дело в том, господин Дон-Кихот, что я никак не могу убедить себя в том, чтобы та куча странствующих рыцарей, которых вы перечислили, действительно существовала и была настоящими людьми из мяса и костей; мне думается, что будто бы все это выдумки, басни, ложь и сновидения, рассказываемые только что проснувшимися или, вернее сказать, наполовину заснувшими людьми.

– Это другая ошибка, – ответил Дон-Кихот, – в которую впадают многие, не желая верить, что на свете существовали такие рыцари, и мне нередко приходилось у различного рода людей и при различных случаях стараться искоренять это почти всеобщее заблуждение. Мне, однако, редко удавалось это сделать, несмотря на то, что опорой в выражаемом мною мнении служит истина, и непогрешимость его так очевидна, что я почти могу сказать, что видел Амадиса Галльского собственными своими

глазами. Он был человек высокого роста; лицо у него было белое с черною, густою бородой; в его взоре была какая-то смесь суровости и кротости; он был краток на словах, труднодоступен для гнева и легко умиротворяем. И точно так же, как описал я вам сейчас Амадиса, мне кажется, я мог бы изобразить и представить вам всех странствующих рыцарей, которые попадают только в романах всего мира. Ибо при помощи моего убеждения, что они были именно такими, какими описывают их нам историки, и судя по деяниям, которые они совершали, и по характеру, которым они обладали, можно с некоторою определенностью сказать, какие были у них черты, цвет лица и вообще вся их наружность. – В таком случае, господин Дон-Кихот, как полагаете вы, какой величины был великан Моргант? – спросил цирюльник.

– Что касается великанов, – ответил Дон-Кихот, – то мнения расходятся относительно вопроса, существовали ли таковые на свете или нет. Однако Священное Писание, которое не может уклоняться от истины ни на один волос, убеждает нас в их существовании, рассказывая вам о длинном филистимляnine Голиафе, который был семи с половиной локтей вышины, что представляет необычайный рост. Кроме того, на острове Сицилия нашли кости рук и плечевые такой величины, что они, без сомнения, могли принадлежать только великанам, которые были ростом с башню – истина, которую геометрия ставит вне всякого сомнения. При всем этом я не могу сказать с точностью, какой вышины был этот Моргант, хотя я не могу допустить, что он был очень велик, потому что в подробной истории его деяний упоминается, что он спал под кровлею. А так как он находил дома, которые могли укрывать его, то ясно, что он не должен был быть чрезмерно велик.

– Совершенно справедливо, – сказал священник, и так как ему доставляло удовольствие слушать чепуху, которую нес рыцарь, он спросил Дон-Кихота, что он думает о наружности Рейнальда Монтальбанского, Роланда и других двенадцати пэров Франции, которые все были странствующими рыцарями.

– Относительно Рейнальда, – ответил Дон-Кихот, – я позволю себе утверждать, что у него было широкое лицо с ярким румянцем, большие, блестящие, несколько навывкате, глаза; он обладал вспыльчивым и раздражительным характером и был другом негодяев и разбойников. Что касается Роланда, Ротоланда или Орланда, так как все эти имена дает ему история, то я держусь того мнения и даже убежден в том, что он был среднего роста, широкоплеч, с немного кривыми ногами, смуглолиц, с рыжею бородой и волосами на всем теле; взгляд его был суров, и сам он

был неразговорчив, впрочем, чрезвычайно вежлив и благовоспитан.

– Если этот Роланд не был привлекательнее того, чем вы его описываете, – возразил священник, – то не диво, что прекрасная Анжелика отвергла его и предпочла ему красивого, веселого, обходительного молодого мавра, с пушком на месте бороды, которому она отдалась; и она поступила вполне благоразумно, отдав предпочтение нежности Медора перед грубостью Роланда.

– Эта Анжелика, господин священник, – ответил Дон-Кихот, – была взбалмошная, легкомысленная и своенравная девчонка; она наполнила мир столько же молвою о ее шалостях, сколько похвалами ее красоте. Она отвергла тысячи знатных, храбрых и мудрых мужей и удовольствовалась безбородым юношею, который ничем другим не отличался и ничем другим не обладал, кроме известности, которую доставила ему его верность другу. Великий певец ее красоты, славный Ариосто, потому ли, что не решился или потому, что не имел охоты воспевать то, что случилось с этой дамой после ее пошлого выбора – может быть, вещи не совсем похвальные – покидает ее с такими словами:

«Достался как потом Катая ей венец,  
Пускай расскажет вам искуснейший певец».

И это без сомнения было пророчеством, ибо поэты по-латыни называются *votes*, что означает прорицатели. Это видно из того, что впоследствии один знаменитый андалузский поэт воспел и оплакал ее слезы, а другой знаменитый и величайший кастилианский поэт воспел ее красоту.

– Скажите, однако, господин Дон-Кихот, – перебил цирюльник, – были ли какой-нибудь поэт, который писал сатиры на эту Анжелику, в то время как другие расточали ей похвалы?

– Я полагаю, – ответил Дон-Кихот, – что если бы Сакрипант или Роланд были поэтами, то они изрядно намылили бы голову этой девчонке, так как отвергнутым и несчастливым в любви поэтам присуще мстить своим вымышленным или настоящим возлюбленным, которых они сначала избрали повелительницами своих помыслов, посредством сатир и эпиграмм – мщенье, недостойное благородной души. Впрочем, мне до сих пор не попадалось ни одного ругательного стиха на госпожу Анжелику, натворившую столько бед в мире.

– Это я нахожу странным, – сказал священник.

В эту минуту они услышали на дворе громкий крик племянницы и экономки, которые незадолго перед тем оставили общество. Все выбежали поэтому на двор, чтобы посмотреть, что значит этот шум.

## **ГЛАВА II**

### **Повествующая о замечательном споре Санчо Панса с племянницей и экономкою и о других забавных происшествиях**

История повествует, что шум, услышанный Дон-Кихотом, священником и цирюльником, производили племянница и экономка, которые загородили вход намеревавшемуся ворваться силою Санчо Панса и кричали:

– Чего надобно в нашем доме этому бродяге? Убирайся в свой собственный, приятель, так как никто иной, как ты вскружил голову нашему господину и таскал его по большим дорогам и проселкам.

– Чертова экономка! – возразил Санчо, – меня обманули, мне вскружили голову, меня таскали по дорогам и проселкам, а не твоего господина. Это он кружил меня по свету, а вы ни бельмеса не понимаете, о чем толкуете. Это он одурачил меня и выманил из дому, обещая мне остров, которого я жду и по сию пору.

– Чтоб тебе подавиться твоими проклятыми островами, окаянный Санчо! – вскричала племянница.

– Что это такое значит – острова? Можно это есть, лакомка, обжора?

– Этого нельзя есть, но этим можно повелевать и управлять, – возразил Санчо; – это лучше чем полудюжина городов или наместничеств.

– Все-таки, – сказала экономка, – ты не войдешь сюда, мешок полный низости и бочка полная зла. Иди и управляй своим домом, обрабатывай свое поле и выбей навсегда из головы все свои острова и бредни.

Священник и цирюльник очень забавлялись, присутствуя при этом споре. Но Дон-Кихот, который опасался, как бы Санчо не выкинул какой злой шутки и не коснулся вещей, которые могли бы послужить ему не к особенной чести, позвал его к себе и велел женщинам замолчать и пропустить его в комнату. Санчо вошел, а священник и цирюльник простилась с Дон-Кихотом, на выздоровление которого они теперь потеряли всякую надежду, так как видели, с каким упорством продолжает он носиться с своими безумными мечтаниями и как глубоко вкоренилась в нем несчастная идея рыцарства.

– Поверьте мне, кум, – сказал священник цирюльнику, – прежде чем мы успеем с вами оглянуться, пташка опять вылетит из клетки.



– Я в этом нисколько не сомневаюсь, – сказал цирюльник, – и я менее удивлен безумием рыцаря, чем простотою оруженосца, который так уверен в своем острове, что ничто в мире не могло бы выбить эту веру у него из головы.

– Да помилует их Бог, – сказал священник, – подождем и посмотрим, что выйдет в конце концов из всех сумасбродств подобного господина и подобного слуги. Кажется, как будто они сделаны из одного и того же материала и представляют из себя одно целое, так что безумства господина без глупостей слуги не имели бы никакой цены.

– Это правда, – сказал цирюльник, – и мне очень интересно было бы знать, о чем толкуют они в настоящую минуту.

– Уверяю вас, – возразил священник, что племянница и экономка обо всем нам расскажут так как обе они не такого сорта, чтобы побрезговали подслушиванием в настоящем случае.

Между тем Дон-Кихот заперся с Санчо Панса в своей комнате и, оставшись с ним наедине, сказал ему:

– Меня очень огорчает, Санчо, что ты сказал уже однажды и теперь продолжаешь утверждать, будто бы я выманил тебя из твоей хижины, между тем, как тебе известно, что я и сам не остался дома. Мы вместе пустились в дорогу, вместе странствовали и вместе вернулись из нашего странствования. То же самое счастье и тоже самое несчастье досталось на долю нам обоим, и если тебя однажды побили, то меня сто раз поколотили; вот все преимущество, которое я имею перед тобой.

– И этому так и следовало случиться, – ответил Санчо, – ибо, как говорит ваша милость, злоключения более выпадают на долю странствующих рыцарей, чем их оруженосцев.

– Ты заблуждаешься, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – пословица говорит: Quando captus dolet etc.

– Я не понимаю никакого языка кроме своего собственного, – ответил Санчо.

– Это значит, – сказал Дон-Кихот, – когда болит голова, все члены чувствуют боль; итак, если я твой господин и повелитель, то я твоя голова, а ты моя часть, ибо ты мой слуга, а по этой причине и всякую боль, которую я чувствую или буду чувствовать, должен чувствовать и ты, точно так же как и я твою.

– Хорошо, если б это было так, – сказал Санчо; – а то, когда меня, член, подбрасывали вверх, моя голова стояла за стеною и смотрела, как я летал в воздухе, не ощущая ни малейшей боли; и если обязанность членов состоит в том, чтобы разделять боль с головой, то и голова в свой черед

должна была бы по настоящему терпеть боль вместе с членами. – Ты хочешь сказать этим, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – что я не чувствовал никакой боли, когда тебя подбрасывали вверх? Не говори этого больше, даже не смей думать об этом, потому что в то время я ощущал большую боль в своей душе, чем ты в своем теле. Но оставим это теперь, так как, наверно, когда-нибудь найдется время, чтобы поговорить об этом поподробнее. Скажи мне лучше, друг Санчо, что говорят обо мне в нашей деревне. Какого обо мне мнения народ, что думают обо мне помещики и знатное дворянство? Что поговаривают они об моей храбрости? Как судят они о моих деяниях? Что думают они о моей рыцарской вежливости? Что говорят о моем предприятии снова пробудить к жизни почти забытый орден странствующих рыцарей? Короче, расскажи мне все, Санчо, что доходило до твоего слуха, и расскажи, не преувеличивая хорошее и ни на каплю, не уменьшая дурное; ибо честным слугам приличествует говорить господам только чистую и неподкрашенную истину, ничего не прибавляя из лести и ничего не скрывая из мелких соображений. И да будет тебе известно, Санчо, если бы голая истина, без прикрас лести, всегда достигала слуха государей, то у нас были бы лучшие времена, и скорее прошедшие века пришлось бы назвать железными, чем наш век, ибо я полагаю, что его можно было бы назвать тогда золотым. Пусть это замечание, Санчо, послужит тебе к тому, чтобы ты обдуманно и откровенно рассказал сущую правду обо всем, что я у тебя спрашиваю, как ты про то сам слышал.

– Охотно исполню ваше желание, господин, – ответил Санчо, – с тем условием однако, что вы не будете гневаться на то, что я скажу, так как вы сами желаете, чтобы я рассказал вам все без утайки, как сам слышал, ничего не прикрашивая.

– Ни в каком случае я не рассержусь, – сказал Дон-Кихот – ты можешь говорить не стесняясь и без околичностей.

– Ну, ладно! – сказал Санчо. – Прежде всего, народ считает вас за величайшего безумца, а меня самого называет не меньше безумным. Дворяне говорят, что вы, вместо того, чтобы держаться в рядах мелкопоместного дворянства, с вашими несколькими моргами земли, присвоили себе титул дон и, увешанные спереди и сзади лохмотьями, забрали себе в голову объявить себя рыцарем. Рыцари говорят, что мелкопоместные дворяне и думать не должны меряться с ними, в особенности же такие голыши, которые башмаки ваксят грязью и черные чулки штопают зеленым шелком.

– Это меня не касается, – возразил Дон-Кихот – потому что я всегда бываю хорошо одет и никогда не ношу заплатанных камзолов, скорее еще

они могут быть разорванными, да и то не от долгого ношения, а вследствие трения лат.

– Что же касается, – продолжал Санчо, – храбрости вашей милости, вежливости, деяний и предприятий, то на этот счет мнения расходятся. Одни говорят, он презабавный, но безумный; другие говорят, он храбр, но только на своей горе; третьи молвят, он вежлив, но там, где не следует, и так иного болтают и судят вкривь и вкось, что ни в вас ни во мне не осталось больше ни одной живой косточки.

– Слушай, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – везде, где добродетель проявляет себя с особенным блеском, она находит и своих преследователей. Очень немногим или даже ни одному из знаменитых мужей древности не удалось избежать клеветы злых языков. Юлий Цезарь, отважнейший, мудрейший и храбрейший из полководцев был объявлен корыстолюбцем и, кроме того, нечистоплотным как в отношении своей одежды, так и в отношении своих привычек; про Александра, который своими деяниями стяжал себе прозвание великого, говорят, что он имел задатки сделаться пьяницею; Геркулесу, совершившему столько неслыханных подвигов, приписывают сластолюбие и изнеженность. Про Дон-Галаора рассказывают, что тот был задира, а его брата Амадиса Галльского называют плаксой. Итак, мой добрый Санчо, если клевета не пощадила столько великих людей, то пусть поносят и меня вместе с ними, если дело не идет дальше того, что ты мне сейчас сказал.

– В том то и закорючка, что идет дальше, – сказал Санчо.

– Что же такое?

– Лучшее еще впереди, – сказал Санчо; – до сих пор было только пирожное да марципан, но если ваша милость желает знать все досконально, что говорят про вас, то я приведу к вам в один миг человека, который может вам все рассказать до ниточки. Вчера вечером приехал домой сын Бартоломея Карраско, который учился в Саламанке и кончил бакалавром, и, когда я пришел к нему, чтобы поздравить его с приездом, он сказал мне, что уже отпечатана в книгах история про вашу милость, под названием «Славный Дон-Кихот Ламанчский»; он говорит еще, что и про меня там идет речь, и я там прописан под моим настоящим именем, и про нашу даму Дульцинею Тобозскую; он рассказывает еще и про другие вещи, которые случились с нами наедине, так что я просто остолбенел от удивления, как это печатники могли обо всем проведать.

– Будь уверен, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – какой-нибудь мудрый волшебник – составитель нашей истории; ибо для таких людей ничего не остается скрытым из того, что они хотят описать.

– Эх, что вы говорите, – сказал Санчо: – мудрый и волшебник! Как мне сказал Самсон Карраско – это тот, про которого я говорил вам, – имя составителя истории – Сид Гаман Беренгена.

– Это имя мавританское, – сказал Дон-Кихот.

– Очень возможно, – ответил Санчо, – ибо я слышал, мавры большие охотники до бадиджан.<sup>[76]</sup>

– По всей вероятности, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – ты перевираешь прозвище этого Сида, что на арабском языке означает господин.

– Очень может быть, – ответил Санчо; – и если вам угодно, то я могу позвать самого бакалавра; я мигом добегу.

– Этим ты сделаешь мне величайшее одолжение, – сказал Дон-Кихот – ибо то, что ты рассказал мне, возбудило во мне живейшее любопытство, и я не успокоюсь прежде, пока не разужнаю в точности обо всем.

– Тогда я позову его, – сказал Санчо и побежал разыскивать бакалавра, с которым через несколько минут и вернулся, после чего между тремя собеседниками произошел весьма забавный разговор.

## **ГЛАВА III**

### **О смешном разговоре, происшедшем между Дон-Кихотом, Санчо Панса и бакалавром Самсоном Карраско**

Погруженный в глубокую задумчивость, ожидал Дон-Кихот бакалавра Самсона Карраско, долженствовавшего привести ему известия о его собственной особе, которые, как говорил Санчо, уже красовались отпечатанными в книге. Он никак не мог убедить себя, что уже существует подобная история, ибо еще не высохла кровь убитых им врагов на лезвие его меча, а слава о его рыцарских подвигах уже распространилась при помощи печатного слова по всему свету. Не смотря на это, он вообразил, что какой-нибудь волшебник – друг его или враг – помощью своего искусства предал тиснению сказание о его подвигах. Если это был друг, – то для того, чтобы прославить их и возвеличить перед величайшими деяниями всех странствующих рыцарей; если враг, – с тем умыслом, чтобы уменьшить им цену и поставить их ниже самых обыкновенных дел простых оруженосцев, которые когда бы то ни было были описаны. При этом, однако, ему опять пришло на ум, что подвиги оруженосцев никогда не описывались, и если правда, что подобная история действительно существовала, то она, как история странствующего рыцаря, должна быть написана безукоризненно высоким слогом, должна быть возвышенна, великолепна, чудесна и правдоподобна. Это соображение успокоило его до некоторой степени; однако ему была неприятна мысль, что составитель книги, судя по его имени Сид, был мавр, а, по его мнению, от мавра нельзя было ожидать правды, так как все они лжецы, хвастуны и обманщики. Поэтому, он опасался найти историю своей любви рассказанную с некоторою неблагопристойностью, которая могла бы повредить чести его повелительницы, Дульцинеи Тобозской. Его желанием было то, чтобы верность и почтительность, которые он всегда соблюдал по отношению к ней и которые заставляли его отвергать любовь королей, императриц и девиц всякого звания и налагать узду на природное влечение, были представлены с выдающеюся наглядностью. Когда он был погружен в такие мысли, на пороге появились Санчо и бакалавр Карраско, которого Дон-Кихот принял с большою предупредительностью.

Бакалавр, хотя носил имя Самсона, был маленьким человечком, но

зато большим шутником с бледным цветом лица, но с ярким умом. Ему было по виду около двадцати четырех лет, у него были: широкое лицо, плоский нос и большой рот – верные признаки злобного характера и того, что он был большим любителем шуток и насмешек, как это он тотчас же и доказал на деле, лишь только заметил Дон-Кихота. Он опустился перед ним на колени и сказал:

– Дайте мне, ваше высочество, господин Дон-Кихот Ламанчский, вашу руку; ибо – клянусь одеянием святого Петра, которое я ношу, хотя я и принял только четыре первые посвящения, – ваша милость – один из знаменитейших странствующих рыцарей, которые когда-либо существовали или будут существовать на земле. Да прославится имя Сила Гамеда Бен-Энгели, написавшего историю ваших великих подвигов, и трижды да будет прославлено имя ученого, взявшего на себя труд перевести ее на усладу всего человечества с арабского языка на наш испанский!

Дон-Кихот просил его встать и сказал:

– Так это правда, что обо мне написана история, и что ее составил ученый мавр?

– Это настолько правда, господин мой, – ответил Самсон, – что я за верное знаю, что до сего дня отпечатано уже более двенадцати тысяч экземпляров этой истории. Спросите только, где она ни печаталась: и в Португалии, и в Барселоне, и в Валенсии; говорят даже, будто ее перепечатывают также и в Антверпене, и я уже предвижу день, когда не будет существовать того народа и того языка, которые не обладали бы переводом этой книги.

– Для человека с выдающимися заслугами, – возразил Дон-Кихот, – во всяком случае, очень отрадно видеть, как уже при его жизни в чужих краях и на чужих языках, в печатном произведении, повторяется его доброе имя. Я говорю «доброе», потому что противоположное этому злее самой постыдной смерти.

– Что касается доброго имени, – сказал бакалавр, – то ваша милость имеет преимущество перед всеми странствующими рыцарями, так как мавр на своем языке и христианин на своем с одинаковым правдоподобием стремились изобразить нам ваше непоколебимое мужество, вашу неустрашимость в опасностях, ваше терпение в неудачах, ваше презрение к несчастным случайностям и ранам, а также целомудрие и скромность вашей платонической любви к вашей даме, донне Дульцинее Тобозской.

– Никогда еще, – сказал Санчо Панса, – не приводилось мне слышать, чтобы даму Дульцинею называли донна, а все только – просто дама

Дульцинея Тобозская; тут уже начинаются враки в истории.

– Это простая неточность, не имеющая значения, – возразил Карраско.

– Конечно, так, – сказал Дон-Кихот. – Но скажите мне, пожалуйста, господин бакалавр, каким из моих подвигов придается в этой истории наибольшее значение?

– На этот счет мнения расходятся, – ответил бакалавр, – точно также, как и вкусы бывают различны. Одни превозносят приключение с ветряными мельницами, которых ваша милость приняли за Бриарея и великанов, другие предпочитают приключение с валяльными мельницами; третьи в восторге от описания двух армий, которые потом оказались двумя стадами баранов, четвертых особенно восхищает история с трупом, который несли для погребения в Сеговию; пятые говорят, что освобождение каторжников превосходит все остальное; шестые – что ничто не может быть сравнимо с приключением с двумя бенедиктинцами-великанами и битвой с храбрым бискайцем.

– Скажите, пожалуйста, господин бакалавр, – прервал его Санчо, – попадает ли там также описание приключений с ангуэзцами, когда вашему доброму Россинанту взбрело на ум собирать виноград с терновника.

– Мудрый историк, – ответил Самсон, – ничего не оставил в чернильнице. Он говорит обо всем, рассказывает все, до самых полетов включительно, которые добрый Санчо совершал на простыне.

– Не в простыне я совершал полеты, а в воздухе, и притом больше, чем мне этого хотелось.

– Я полагаю, – сказал Дон-Кихот, – на свете не существует ни одной истории, в которой счастье не сменялось бы несчастьем и наоборот, в особенности, когда описываются судьбы рыцарства, где ни в каком случае нельзя ожидать одних только счастливых событий.

– При всем том, – возразил бакалавр, – некоторые читатели говорят, что для них было бы приятнее, если бы авторы позабыли про некоторые из бесчисленных побоев, которые при различных случаях достались на долю господина Дон-Кихота.

– Этого требовала достоверность истории, – сказал Санчо.

– Но, по правде сказать, они могли бы пройти молчанием это, – сказал Дон-Кихот, – ибо те события, которые ничего не прибавляют в ходе истории, не следует упоминать, если они дают повод к унижению героя истории. В действительности Эней не был так набожен, как описывает его Вергилий, и Улисс – так мудр, как изображает его Гомер.

– Совершенно верно, – возразил Самсон – но это две вещи разные –

писать как поэту и как историку. Поэт может рассказывать или петь вещи не так, как они были, но как они должны были быть, историк же должен их описывать не так, как они должны были быть, но как они действительно были, не отнимая ни малейшей черты от истины и ничего не прибавляя к ней.

– Если этот господин мавр нападает на то, чтобы говорить истину, – сказал Санчо, – то я уверен, что между побоями моего господина попадают и мои собственные; так как ни одного раза не снимали мерки со спины его милости, без того, чтобы не вымерить всего моего тела. Но этому нечего удивляться, ибо, как говорит мой господин, боль, которую терпит голова, должны разделять и члены.

– Ты плут, Санчо, – сказал Дон-Кихот – по истине, у тебя нет недостатка в памяти, когда ты хочешь что-либо запомнить.

– Если бы я также захотел забыть свои побои, – сказал Санчо, – то этого не позволили бы рубцы, которые еще совершенно явственно видны у меня на спине.

– Молчи, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – и не перебивай господина бакалавра, которого я убедительно прошу рассказать мне что еще дальше говорится обо мне в этой истории.

– И что обо мне, – прибавил Санчо; – так как, говорят, я там один из интереснейших карактеров.

– Характеров, а не карактеров, друг Санчо, – сказал Самсон.

– Вы тоже принадлежите к буквоедам, если вы будете заниматься этим, то мы во всю жизнь не дойдем до конца.

– Накажи меня Бог, – ответил бакалавр, – если ты не второй характер в истории и если не найдется такого человека, который бы скорее согласился слушать твою болтовню, чем умнейшего во всей книге. Конечно, находятся и такие люди, которые говорят, что ты чересчур много выдаешь легковерия, надеясь на губернаторство на острове, которое обещал тебе Дон-Кихот.

– Не все еще потеряно, – сказал Дон-Кихот – и когда Санчо более войдет в лета, то вместе с опытностью, которая приобретается с годами, он сделается также более искусным и опытным для должности губернатора, чем теперь.

– Клянусь душою, ваша милость, – возразил Санчо, – если я не могу управлять островом в теперешних моих летах, то я не научусь управлять им и тогда, когда сделаюсь так же стар, как Мафусаил. Жаль только, что неизвестно, куда запропастился этот остров, а вовсе не затем дело стало, что у меня нет головы на плечах управлять им.



– Поручи это воле Божией, – сказал Дон-Кихот. – Он все устроит к лучшему, и даже лучше, чем ты думаешь; ибо без Его воли не упадет мы единый лист на дереве.

– Совершенно верно, – ответил Самсон, – если Бог захочет, у Санчо не будет недостатки в тысяче островов, не говоря уже об одном, которым он будет управлять.

– Мне случалось уже видеть губернаторов, – сказал Санчо; – они, на мой взгляд, недостойны развязать ремней у моих башмаков, а между тем называются превосходительствами и едят на серебре.

– Это были губернаторы не островов, – возразил Самсон, – а других мест, где поспокойнее; те же, которые управляют островами, должны, по крайней мере, хорошо быть знакомы с грамматикою своего языка.

– Что касается моего языка, – сказал Санчо, – то я не ударю в грязь лицом в каком угодно разговоре, а кто такая грамматика, я не знаю, да и связываться с ней не хочу. Но предадим это губернаторство воле Господа, который пошлет меня туда, где Он может с большею пользою употребить меня. Впрочем, мне чрезвычайно приятно, господин бакалавр Самсон Карраско, что составитель истории таким манером говорит обо мне, что не наводит на людей скуки вещами, которые он обо мне рассказывает, так как – и это так же верно, как то, что я честный оруженосец, – если бы он выдумал про меня вещи, которые не к лицу христианину древнего рода, каков я, о, слепой увидел бы, что бы из этого вышло!

– Это значит, случилось бы чудо, – сказал Самсон.

– Чудо или не чудо, – возразил Санчо, – а всякий должен думать о том, что он говорит о людях или пишет, и не должен писать все без разбора, что только ни понравится.

– Один из недостатков, которые находят в этой истории, – сказал бакалавр, – заключается в том, что составитель присоединил к ней рассказ под заглавием: Безрассудно-любопытный – и не потому, чтобы он был плох или дурно написан, но потому, что он там не на месте и не имеет ни малейшего отношения к истории его милости господина Дон-Кихота.

– Побьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что дурень и солому и навоз – все свалил в одну кучу.

– И я утверждаю теперь, – сказал Дон-Кихот, – что автор моей истории был не мудрец, а невежественный болтун, который пустился писать на авось и без плана, не заботясь о том, что из того выйдет – точно так же, как делал Орбанейя, живописец Убеды, который на вопрос, что он пишет, ответил: «А, что выйдет». Однажды он нарисовал петуха, который вышел настолько непохожим, что он должен был написать под ним готическими

буквами: это петух. Точно тоже случилось, очевидно, и с моей историей, для понимания которой необходим комментарий.

– Нисколько, – ответил Самсон, – она так понятна, что не представляет ни малейшей трудности при чтении. Дети перелистывают ее, юноши читают ее, зрелые мужи понимают ее и старцы восхищаются ею. Короче сказать, она так часто перелистывается, читается и рассказывается людьми всякого рода, что едва покажется на улице тощая кляча, как уже раздаются крики: вот идет Россинант! Но охотнее всех читают ее оруженосцы. Не найдется ни одной передней знатного барина, в которой не лежал бы «Дон-Кихот» и не переходил бы из рук в руки; и все ссорятся из-за того, кому он должен прежде всех достаться. Одним словом это самое веселое и невинное препровождение времени из всех, какие только существовали по сие время, так как во всей книге не найдется ни одного сколько-нибудь неприличного выражения, ни одной грешащей против религия мысли.

– Писать иначе, – сказал Дон-Кихот, – значило бы писать не истину, но ложь, и историки, которые занимаются распространением лжи, заслуживали бы по настоящему сожжения на костре наравне с фальшивыми монетчиками. Я не понимаю только одного, зачем автору понадобилось заниматься рассказами и новеллами, когда было так много всего порассказать обо мне! Кажется, он руководился пословицею: наполни брюхо сечкой или сеном – для него все равно. Но, уверяю вас, если бы он удовольствовался только тем, что описал бы мои мысли, мои вздохи и слезы, мои добрые намерения и мои подвиги, то он мог бы составить из этого такой же толстый том, или даже еще толще, чем все сочинения Тостало,<sup>[77]</sup> соединенные вместе. Насколько я понимаю, господин бакалавр, нужны большой ум и зрелое размышление для того, чтобы писать истории; для того же, чтобы рассказывать занимательно и писать остроумно, нужен гений. Самая ответственная роль в комедии – роль дурака; так как тот, который хочет казаться глупым, не должен быть таким на самом деле. История есть в некотором роде святилище, ибо она должна быть убежищем истины, а где есть истина, там и Бог. Но, несмотря на это, находятся люди, которые пекут книги, как будто бы они пекли блины.

– Однако не найдется ни одной плохой книги, в которой нельзя было бы найти чего-либо хорошего, – сказал бакалавр.

– В этом нет никакого сомнения, – возразил Дон-Кихот – но часто случается также, что люди, стяжавшие своею ученостью большую и заслуженную известность, сразу лишаются своей славы, лишь только они успеют предать тиснению свои произведения.

– Это происходит оттого, – сказал Самсон, – что печатные

произведения можно читать на досуге, когда ошибки легче бросаются в глаза; и тем строже подвергаются они критике, чем знаменитее имя их авторов. Славные своим гением мужи, великие поэты и знаменитые историки всегда или, по крайней мере, большею частью подвергаются зависти тех, которые находят особенное удовольствие в том, чтобы судить произведения других, ни разу не подарив миру своего.

– Этому не должно удивляться, – сказал Дон-Кихот – например, есть много теологов, которые не годились бы для кафедры, но которые, тем не менее, превосходно могут указывать на ошибки и недостатки проповедников.

– Все это совершенно справедливо, господин Дон-Кихот, – сказал Карраско; – я желал бы только, чтобы подобные критики были несколько снисходительнее, менее мелочны и не так ревностно отыскивали пятна на солнце; потому что *si aliquando bonus dormitat Homerus*, то все же они должны додумать о том, как долго он бодрствовал, стараясь, насколько возможно, отнять от своего произведения больше пятен и увеличить его блеск. Часто случается, что то, что они принимают за уродливое пятно, есть только маленькая родинка, которая часто только еще более увеличивает красоту лица. Поэтому я утверждаю, что тот подвергается большому риску, кто печатает книгу; потому что из всех невозможностей, самое невозможное – написать ее так, чтобы она понравилась всем, кто будет читать ее, и всех удовлетворяла.

– Книга, которая написана обо мне, конечно, немногих удовлетворит, – сказал Дон-Кихот.

– Совсем наоборот, – возразил Самсон, – так как *stultorum infinitus est numerus*, и поэтому так же бесконечно число тех, которым эта история пришла по вкусу. Однако некоторые ставят в вину автору плохую память, потому что он позабыл сказать, кто был вор, укравший у Санчо Серого. Сначала, говорят они, по ходу событий, должно догадываться, что он у него украден, а вскоре затем читатель встречает его снова едущим на том же самом осле и никак не может взять в толк, откуда он взялся. Они говорят также, что он позабыл сообщить, что сделал Санчо с тою сотней золотых, которые он нашел в чемодане в горах Сиерра Морены и о которых затем больше уже ничего не упоминается. Но так как многие желали бы знать, как он их употребил или на что израсходовал, то это является большим недостатком в книге.

– Господин Самсон, – ответил Санчо, – мне недосуг теперь сводить счета и давать отчеты; я чувствую такое урчанье в животе, что должен пропустить туда малую толику старого вина, чтобы не очутиться как раку

на мели. Дома у меня найдется что выпить, да и старуха моя заждалась меня. Как только я закушу, я опять вернусь и тогда дам ответ вам и всему свету во всем, что вы у меня вы спросите, и как пропал осел, и куда пошли сто золотых.

Сказав это, не дожидаясь ответа и не прибавив больше ни слова, Санчо пошел домой. Дон-Кихот радушно просил бакалавра остаться и отобедать с ним. Бакалавр принял приглашение и остался. К обыкновенным кушаньям было прибавлено еще несколько голубей; за столом разговор шел о рыцарстве, при чем Карраско старался попасть в тон хозяину. Когда обед кончился, они немного отдохнули, а затем вернулся Санчо, и прерванный разговор продолжался.

## **ГЛАВА IV**

### **В которой Санчо Панса разъясняет сомнения бакалавра и отвечает на его вопросы, и которая заключает в себе, кроме того, и нечто другое, достойное быть упомянутым**

Санчо вернулся в дом Дон-Кихота и тотчас же возобновил разговор на прежнюю тему, сказав:

– Что касается желаний господина Самсона знать, кем и когда украден мой осел, то я отвечу нижеследующее. В ту самую ночь, когда мы после несчастного приключения с каторжниками и трупом, который везли в Сеговию, бежали от страха перед святым братством по направлению к Сиерра Морене, мой господин и я укрылись в густом лесу; там мой господин, опершись на свое копье, а я, сидя на своем Сером, оба усталые и изнуренные недавними передрыгами, погрузились в такой крепкий сон, как будто бы мы покоились на перине. В особенности я спал так крепко, что кто-то – все равно, кто бы он там ни был – ухитрился подкрасться и подставить четыре подпорки под четыре угла моего седла таким образом, что я остался сидеть на нем, а он украл у меня Серого из-под меня же, не дав мне этого заметить.

– Это не хитро и не ново, – сказал Дон-Кихот, – потому что то же самое случилось с Сакрипантом, у которого при осаде Альбраки известный вор Брунелло посредством той же хитрости украл лошадь между ног.

– Наступило утро, – продолжал Санчо, – и лишь только я немного потянулся, как подпорки подо мною подломились, и я полетел на землю. Я стал искать глазами моего Серого и не нашел его. Слезы брызнули у меня из глаз, и я поднял такой вопль, что составитель вашей истории, если он не описал этой сцены, может быть уверен, что выпустил самое замечательное место. По прошествии, не знаю, скольких дней, когда мы ехали с Микомиковской принцессой, я встретил моего осла, и тот, кто на нем ехал переодетый цыганом, был Гинес Пассамонт – тот самый негодяй и разбойник, которого мой господин и я освободили от оков.

– Не в этом состоит погрешность автора, – возразил Самсон, – а в том, что, прежде чем осел нашелся, автор рассказывает, как Санчо, ехал на этом же самом осле.

– Если так, – сказал Санчо, – то я больше ничего не умею сказать, кроме того, что тут или составитель ошибся или печатник не так напечатал.

– Без сомнения, это так и есть на самом деле, – сказал Самсон.

– Но что же ты сделал с сотнею золотых?

– Издержал, – ответил Санчо. – Я израсходовал их на себя, на жену и на детей; поэтому-то моя жена и отнеслась снисходительно к бродяжнической жизни, которой я должен был предаваться на службе у моего господина, Дон-Кихота, так как если бы я после столь продолжительного отсутствия вернулся домой без осла и без звона червонцев в кармане, то-то зазвенела бы у меня голова. Если вы хотите от меня знать еще больше, то вот я здесь на лицо, и расскажу вам все как перед Богом. А впрочем, никого это больше не касается, нашел ли я что или не нашел, издержал или не издержал, так как если бы за все побои, которые я получил в этом путешествии, заплатили мне деньгами, считая каждый удар по четыре мараведиса, то мне пришлось бы получить еще сотню золотых, да и тогда было бы выплачено мне меньше половины. Каждый сверчок знай свой шесток и не суйся туда, куда его не спрашивают, ибо каждый таков, каким его создал Бог, а часто и гораздо хуже.

– Я не премину, – сказал Карраско, – напомнить автору истории, при ее новом издании, чтобы он принял во внимание то, что только что сказал добрый Санчо, так как от этого его произведение много может выиграть.

– Нет ли еще чего-нибудь в этой книге, что нужно было бы исправить, господин бакалавр? – спросил Дон-Кихот.

– Без сомнения – да, – ответил Самсон, но это не представляет такой важности, как только что приведенные мною погрешности.

– А, может быть, – сказал Дон-Кихот, – автор обещает вторую часть?

– Всенепременно, – сказал Самсон, но он говорит, что не нашел еще материалов для нее и не знает, где может отыскать их, поэтому неизвестно, выйдет ли вторая часть в свет или нет, и это тем более подлежит сомнению, что некоторые утверждают, будто бы вторые части сочинений редко когда удаются. Есть такие, которые полагают также, что о деяниях Дон-Кихота написано довольно; другие же, люди скорее веселого чем скучного характера, напротив, говорят: подавайте нам больше этих Дон-Кихотских выходов, пусть Дон-Кихот действует, а Санчо болтает, сколько им обоим будет угодно: для вас это было бы очень приятно.

– Что же думает делать автор? – спросил Дон-Кихот.

– Что? – ответил Самсон, – со всем усердием разыскивает он материалы для второй части и, как скоро найдет, отдаст их в печать, побуждаемый к тому более выгодною, которую он из этого может извлечь,

чем желанием прославиться.

– Как! – воскликнул Санчо, – ради денег и из-за выгоды пишет составитель истории? В таком случае, было бы чудом, если бы из этого вышло что-либо путное; так как он только и будет звать, что поскорей да поскорей, как это водится у портных накануне Светлого Воскресенья; а что делается с такою поспешностью, то никогда не может быть сделано там, как следует. Пусть господин мавр, или кто бы он там ни был, побольше только следит за тщательностью работы, и тогда мы, я и мой господин, своими приключениями и другими происшествиями доставим ему столько дела, что он будет в состоянии написать не только вторую часть истории, но даже сотую. Добрый человек, наверно, думает, что мы здесь лежим на печи да спим, а нет, мы уже настраиваем подковы, и скоро увидят, разучились ли мы танцевать. По крайней мере, я могу сказать, что если бы мой господин последовал моему совету, мы уже снова были бы в открытом поле для того, чтобы наказывать порок и неправое делать правым, как это было в ходу и обычае у храбрых странствующих рыцарей.

Лишь только Санчо произнес последние слова, как они услышали на дворе ржанье Россинанта. Дон-Кихот принял это за счастливое предзнаменование и решил через три или четыре дня предпринять новую поездку. Он сообщил свое намерение бакалавру и просил у него совета, в какую сторону направить ему свой путь. Тот ответил, что, по его мнению, ему нужно ехать в Аррогонию, а именно в город Сарогоссу, где через несколько времени, в праздник святого Георгия, готовится торжественный турнир, в котором он может победить всех аррогонских рыцарей, что будет равносильно тому, если бы он сделался первым рыцарем в свете. Он восхвалял его решимость, называя ее прекраснейшею и великодушнейшею, но притом советовал при встрече с опасностями быть более осторожным, так как жизнь его принадлежит не ему одному, но всем тем, которые нуждаются в его помощи и защите в своем несчастье.

– Это самое меня и огорчает больше всего, господин Самсон, – воскликнул Санчо, потому что мой господин бросается на сто вооруженных парней, как лакомый мальчишка на сверток с коринкой. Но черт меня возьми, господин бакалавр! бывает время, когда надо нападать, и бывает время, когда надо отступать, и не всегда нужно кричать: «Сантьего и Испания, вперед!» тем более, что я слышал, и даже, если не ошибаюсь, от самого моего господина, что истинная храбрость лежит посередине между трусостью и безумною отвагой. Если это так, то не следует бежать, когда к тому нет необходимости, и не должно бросаться на врага, когда превосходство его препятствует этому. Но прежде всего, да будет известно

моему господину, что я поеду с ним опять только под таким условием, чтобы он принял на себя одного все стычки, и чтобы я не имел никаких других обязанностей, кроме заботы о его столе и удобствах в дороге, в этом я всегда буду готов служить ему. Но чтобы я обнажил когда-нибудь свой палаш, если бы это понадобилось даже только для бродяг и оборванцев в куртках и деревянных башмаках, то пусть он не рассчитывает на это. Я не требую, господин Самсон, чтобы меня считали героем, а хочу прослыть только лучшим и вернейшим оруженосцем, который когда либо служил странствующему рыцарю; и если мой господин, Дон-Кихот, в награду за многие и великие мои услуги подарит мне когда-либо один из тех многочисленных островов, которые, как он говорит, предстоит завоевать нам, то я приму этот подарок с превеликою благодарностью; а не случится этого, я только подумаю: чем я был, тем я и остался, и – человек живет не милостью людей, а милостью Божией. К тому же, может быть, кусок хлеба, который я ем в моем теперешнем положении точно также вкусен и даже вкуснее губернаторского. При том, разве я знаю наверно, что этим самым губернаторством черт не подставит мне ножки, для того чтобы я упал и сломал себе шею? Санчо я родился, Санчо хочу и умереть; но если небу угодно будет при случае, без большого для меня труда и риска, ниспослать мне какой-нибудь этакий остров или что-нибудь в этом роде, то я не буду дураком и не откажусь от этого, ибо говорится; если тебе подарили корову, то привяжи ее к стойлу, или: если счастье стучится к тебе в двери, то не отгоняй его прочь. – Друг Санчо, – сказал Карраско, – ты говоришь как оракул, при всем том положишься на Бога и на господина Дон-Кихота, который подарит тебе с такою же охотою королевство, как и остров.

– Немногим больше, немногим меньше – это не расчет, – ответил Санчо.

– Но я должен сказать господину Карраско, что мой господин не собакам бросит королевство; потому что я сам щупал себе пульс и нахожу себя достаточно здоровым для управления государствами и владычества над островами. Я уже не раз говорил тоже самое и моему господину.

– Подумай о том, Санчо, – сказал Самсон, – что положение меняет образ мыслей, и возможно, что, сделавшись губернатором, ты не узнаешь своей родной матери.

– Это может случиться, – ответил Санчо, – с людьми, которые выросли под забором, а не с тем, у которого, как у меня, душа покрыта на четыре пальца толщины жиров древнего христианства. Да, что! посмотрите только на меня и скажите, вопиет ли моя природа быть неблагодарной против кого-нибудь.



– Подай Бог, – сказал Дон-Кихот. – Мы это увидим, когда тебе придет время управлять островом, который, мне кажется, я уже вижу близко перед своими глазами.

С последним словом Дон-Кихот просил бакалавра, чтобы он, если тот поэт, написал ему стихи на разлуку с Дульцинеей Тобозской; и написал их таким манером, чтобы каждый стих начинался буквою ее имени, так чтобы, когда будешь читать начальные буквы строк, выходило: Дулцинея Тобозская. Самсон ответил, что, хотя он не принадлежит к славнейшим из современных поэтов Испании, которых, как говорят, только три с половиною, однако он попытается написать стихи, несмотря на всю трудность, представляющуюся при их сочинении, так как имя состоит из семнадцати букв. Если бы он таким образом попытался сделать четыре кастильские строфы по четыре стиха в каждой, то одна буква оказалась бы лишнею; если же он выберет строфы по пяти стихов, которые называются децимы или редондиллы, то не хватит трех букв, но он попробует, если это возможно, опустить одну букву, так чтобы имя Дулцинея Тобозская выходило в четырех кастильских строфах.

– Это необходимо сделать на всякий случай, – сказал Дон-Кихот, – так как если имя выражено неясно и непонятно, то никакая женщина не поверит, что стихи написаны для нее.

На этом и порешили; точно также было решено, что отъезд состоится через неделю. Дон-Кихот просил бакалавра держать все в тайне, в особенности от священника, цирюльника, племянницы Дон-Кихота и экономки, чтобы они не могли воспрепятствовать его достохвальному и мужественному решению. Карраско обещал все исполнить; потом он простился с Дон-Кихотом, прося его, когда представится случай, давать ему известие о всех своих удачных и неудачных приключениях. Так они расстались, и Санчо пошел сделать необходимые приготовления к отъезду.

## ГЛАВА V

### О глубокомысленном и забавном разговоре Санчо Панса с его женою Терезою Панса и других достойных упоминания событиях

Начиная эту пятую главу, переводчик Дон-Кихота замечает, что он считает ее подложной; потому что Санчо Панса говорит в ней совершенно другим языком, чем можно ожидать от его ограниченного ума, и ведет речь об таких тонких материях, которые никоим образом не могли входить в круг его понимания. Однако, чтобы вполне добросовестно исполнить свою обязанность переводчика, он не пропускает этого места и продолжает таких образом:

Санчо возвращался домой таким веселым и довольным, что жена его еще за версту могла прочитать выражение радости на его лице.

– Что новенького, милый Санчо, – закричала она ему навстречу: – почему ты такой веселый?

– Ах, жена! – ответил Санчо: – если бы Богу было угодно, чтобы я не был так весел, я очень был бы доволен этим.

– Я не понимаю тебя, муж, – возразила Тереза, – и не знаю, что ты хочешь сказать словами: если бы Богу угодно было, чтобы я не был так весел, я очень был бы доволен этим. Насколько я ни глупа, я хорошо понимаю, что не найдется такого человека, который радовался бы тому, что он не весел.

– Вот видишь ли, Тереза, – сказал Санчо, – я весел потому, что решился опять поступить на службу к своему господину Дон-Кихоту, который в настоящее время в третий раз намерен пуститься в путешествие за поисками приключений. Я отправляюсь с ним, во-первых, потому, что к этому принуждает моя бедность и, во-вторых, потому, что мне улыбается надежда найти еще раз мешочек с сотнею золотых, точно таких же, какие мы только что израсходовали. Но при этом меня печалит то, что я должен оставить тебя и детей; а если бы такова была милость Божия дать мне здесь, в моей хижине, хлеб насущный, не заставляя меня таскаться по горам и буеракам – что для него не стоят никакого труда, так как Он может сделать это одною Своею волею, – то ясно, что тогда я с большим основанием и уверенностью мог бы быть веселым, наоборот, моя теперешняя веселость смешана с печалью о разлуке с вами, – так, что я, по

всей справедливости, могу сказать, что я очень бы был доволен, если бы Богу угодно было, чтобы я не был таким веселым.

– Послушай, Санчо, – сказала Тереза, – с тех пор как ты сделался в некотором роде странствующим рыцарем, ты говоришь так темно, что ни один человек тебя не поймет.

– Довольно того, если меня понимает Бог, жена, – ответил Санчо, – ибо он понимает всяческое, тем и делу конец! Но послушай, голубка! в эти три дня позаботься-ка хорошенько о Сером, чтобы он был в силах носить вооружение, давай ему двойную порцию корма, положи заплаты на седло и исправь остальные доспехи; так как мы не на свадьбу едем, а пускаемся в путешествие по целому свету, где придется драться с великанами, драконами и привидениями и где случится слышать и визг, и писк, и мычанье, и рычанье; и однако все это было бы сущими пустяками, если бы не приходилось иметь дела с ангуэзцами и очарованными маврами.

– Я думаю, муженек, – возразила Тереза, – что странствующие оруженосцы не даром едят хлеб, поэтому я буду усердно молить Господа Бога, чтобы он поскорее избавил тебя от твоей горькой доли.

– Уверяю тебя, жена, – ответил Санчо, – что если бы я не был уверен в короткое время сделаться губернатором острова, то желал бы лучше умереть на этом месте.

– Ах, нет, муженек, – сказала Тереза, – пусть курочка живет, если и типун у нее. Без губернаторства явился ты на свет Божий из чрева матери, без губернаторства прожил свой век, без губернаторства сойдешь и в могилу, или будешь отнесен до нее, если такова будет воля Божия. Разве на свете нет людей, которые жили бы без всяких губернаторств? Ведь есть же они, да и считаются-то за честных. Самая лучшая приправа в мире – это голод, и так как в нем нет недостатка у бедняков, то еда всегда доставляет им удовольствие. И берегись, Санчо, если когда-нибудь губернаторство действительно выпадет на твою долю, позабыть меня и твоих детей! подумай о том, что Санчино исполнилось уж и пятнадцать лет, и пора посылать его в школу, если его дядя, аббат, предназначает его для духовного звания. Подумай также и о том, что Мария Санча, дочь твоя, не пропадет с тоски, если мы выдадим ее замуж, так как, думается мне, она с такою же охотою приобрела бы себе мужа, как ты – губернаторство. Да, в конце концов, лучше плохо сосватать дочь, чем хорошо довести ее до падения.

– По правде скажу, – возразил Санчо, – если Господь пошлет мне что-нибудь этакое в роде губернаторства, то я выдам тебе Марию Санча за такого знатного барина замуж, что никто не посмеет приблизиться к ней, не

назвав ее сиятельством.

– Нет, Санчо, – ответила Тереза, – выдай ее за равного ей, это будет самое лучшее. Если она из деревянных башмаков очутится прямо на высоких каблуках и вместо серого, байкового платья наденет фижмы и шелковые наряды, из Марики и ты превратишься в донну такую-то и ваше сиятельство, то девушка совсем смешается и в один миг наделает столько глупостей, что все тотчас же увидят в ней деревенщину.

– Молчи, дура, – сказал Санчо; – все явится само собою через два-три года упражнений, и у нее будет такое обхождение и такие тонкие манеры, как будто бы она родилась с ними; а не случится этого, что за нужда в том? Раз она сиятельство, пусть там говорят, что хотят, – она так и останется сиятельством.

– Оставайся-ка, Санчо, при своем звании, – возразила Тереза, – и не ищи высших степеней. Вспомни только пословицу: «утри сыну твоего соседа нос и возьми его в твой дом». То-то было бы хорошо, если бы мы вашу Марию отдали за какого-нибудь олуха-графа или дубину-рыцаря! Во всякое время, когда бы ему ни вздумалось, он мог бы ругать ее деревенской бабой и делать намеки на то, что ее отец мужик, а мать – кухарка. Нет, муженек, нет! не для того взрастила я свою дочь. Добывай только денег, а о замужестве ее я уже сама позабочусь. Есть тут у вас Лопе Тоху, сын Хуала Тоху, здоровый, красивый парень (ты знаешь его); он не прочь жениться на девушке. За него отдать было бы хорошее дело, так как он нам ровня, и мы всегда имели бы их на глазах и жили бы вместе, отцы, дети и внуки, и мир и Божие благословение было бы с нами. Вот это было бы лучше, чем посылать ее с мужем в твои столицы и большие дворцы, где другие ее не поймут, а она других не поймет.

– Слушай же, животное и жена Баррабы, – вскричал Санчо, – что это тебе вздумалось во что бы ни стало препятствовать тому, чтобы моя дочь вышла за человека, производящего мне внуков, которых будут величать сиятельствами? Смотри, Тереза, часто приходилось мне слышать от умных людей, что тот, кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, не должен и жаловаться, когда оно уходит. Поэтому было бы глупо теперь, когда оно стучится к нам в двери, запирасть ему их перед носом, нет, отдадимся этому благоприятному ветру, который дует в наш парус.

(Из подобного рода выражений и из того, что Санчо говорит ниже, переводчик этой истории заключает, что настоящая глава – подложная).

– Разве плохо было бы, глупое создание, – продолжал Санчо, – если бы я своей собственной особой попал на выгодное губернаторство, которое вытащило бы нам ноги из грязи и потом дало бы возможность выдать

Марию Санча замуж по моему желанию? Ты увидишь тогда; как тебя будут величать донной Терезой Панса, и ты будешь сидеть в церкви на коврах и подушках на зло и досаду всем нашим дворянкам. Но нет, ты хочешь лучше быть и оставаться тем, что ты есть, и не хочешь сделаться ни больше ни меньше, точно фигуры на стене. Не говори мне больше ничего; сказано, Санчика будет графиней, и она будет ею во что бы то ни стало, что бы ты там ни болтала.

– Подумай, что ты говоришь, – возразила Тереза: – чует мое сердце, не принесет счастья моей дочери это графское достоинство. Но делай, что хочешь; сделай ее хоть герцогиней или принцессой; одно тебе скажу, никогда не будет на то моей воли и согласия. Всегда старалась я держаться равных себе, муженек, и не могу терпеть, когда люди надуваются без всякой причины. Терезой назвали меня при крещении, и это – простое и честное имя, без всякой мишуры и погремущек из донов и донн. Каскайо назывался мой отец, а меня зовут Терезой Панса, потому что я твоя жена, хотя, собственно говоря, меня должно было бы звать Терезой Каскайо, если бы право не уступало силе; и я довольна этим именем и без примешивания к нему донны, что было бы для меня слишком тяжело носить. Я не хочу также дать повода для разговоров тем, что увидал бы меня одетой на манер графини и губернаторши; потому что тогда стали бы говорить: «посмотрите, как форсит жена свинопаса; вчера еще она сидела и пряла пеньку и вместо вуали покрывала свою голову полою, когда шла к обедне; а сегодня она уже идет в платье с фижмами и обвесилась побрякушками, и задирает нос, как будто не знают, кто она такая!.. Нет, если Господь сохранит мне мои семь или пять, или, сколько там у меня есть, чувств, я буду остерегаться доказываться на глаза людей в таком наряде. Ступай же, муженек, и делайся губернатором или островитянином, и важничай сколько хочешь; я и моя дочь, клянусь тебе вечным блаженством моей матери, мы не сделаем шага из нашей деревни. Хорошая жена сидит себе тихо дома; а если девушка хочет остаться честной, то она должна работать. Иди же искать приключений с твоим Дон-Кихотом, а мы останемся здесь с нашей бедностью. Господь поможет нам, если мы будем честны. Я не знаю также, по правде сказать, кто прибавил твоему господину дон, ибо ни у его родителей, ни у его предков не было этого.

– По истине, жена, – воскликнул Санчо, – ты одержима бесом. Боже милостивый! Сколько чепухи нагородила ты! Что имеет общего Каскайо, побрякушки, поговорки, важничанье с тем, что я сказал? Слушай же, безмозглая дура, – ибо так я могу тебя называть, потому что ты не понимаешь моих слов и бежишь от своего счастья, – если бы я сказал,

чтобы моя дочь бросилась с башни или странствовала до свету подобно инфанте Урраке, то ты имела бы право со мной не соглашаться; но когда я в одно мгновение ока, не успеешь оглянуться, награждаю ее донной и сиятельством, когда я возношу ее с соломенного тюфяка на бархатное ложе под золотым балдахином или на такое же множество оттоманок в ее комнатах, сколько когда-либо считалось жителей в оттоманской империи; почему тогда ты не хочешь дать своего согласия и допустить то, что я допускаю?

– Ты хочешь знать, почему? – ответила Тереза, – потому что пословица говорит: протягивай ножки по одежке. Бедного никто не замечает, а на богатого всегда пялят глаза; и если этот богатый был прежде беден, то сейчас начинаются брань, суды и пересуды без конца; а в нашей деревне злых языков столько же, сколько пчел в улье.

– Слушай, Тереза, – возразил Санчо, и заметь, что я тебе теперь скажу, потому что ты, без сомнения, не слыхала этого никогда в жизни; и ведь это я выдумал не из своей головы: все, что я тебе намерен сказать, слова доминиканского патера, который прошедшим постом говорил проповедь в нашей деревне. Если я не ошибаюсь, он сказал, что все существующие вещи, которые мы видим своими глазами, гораздо живее и прочнее запечатлеваются в нашей памяти, чем вещи, которые были когда-то.

(Слова, которые здесь говорит Санчо, служат для переводчика новым основанием считать эту главу подложной, там как они далеко выходят из круга понятий Санчо. В оригинале он продолжает таким образом:)

– Поэтому и происходит, что, когда мы видим какую-нибудь особу в богатом и великолепно сшитом платье, окруженную толпою слуг, мы не можем удержать себя высказать этой особе наше глубокое уважение, хотя бы в это самое время наша память говорила нам о слышанной нами когда-нибудь про нее низкой вещи; потому что бедность или низкое происхождение, благодаря которым ее прежде не уважали, не существуют более, и эта особа для нас только то, что мы видим в ней в настоящее время. Если таким образом тот, кого счастье вознесло из грязи на вершину благополучия – таковы слова употребленные патером – будет со всеми добр, любезен и вежлив, не равняясь с теми, которые принадлежат к старинному дворянству, то будь уверена, Тереза, что никто не вспомнит о том, чем он был, а все будут почитать за то, чем он есть, исключая завистников, конечно, от которых не уберется никакое счастье, никакое благополучие. – Я не понимаю тебя, муж, – сказала Тереза.

– Делай что хочешь и не набивай мне головы твоими речами и проповедями, и если ты раз принял революцию сделать это, как ты

говоришь...

– Резолюцию, хочешь ты сказать, – не революцию, – вскричал Санчо.

– Не пускайся со мною в рассуждения, муж, – сказала Тереза; – я говорю так, как Бог на душу положит, а все другое меня не касается. Только вот что еще скажу я тебе: если ты так рассчитываешь на свое губернаторство, то возьми с собою своего сына Санчо, чтобы и его малопомалу приучить губернаторствовать; потому что всегда бывает хорошо, если сыновья выучиваются ремеслу отцов и продолжают заниматься ими.

– Лишь только я получу губернаторство, – ответил Санчо, – я тотчас же велю выслать его ко мне на почтовых и пришлю тебе денег, в которых у меня не будет недостатка; потому что губернаторы всегда находят людей, которые одолжают им деньги, если они их сами не имеют. Только одень его тогда так, чтобы не было заметно, кто он есть, но чтобы у него был такой вид, каким он должен быть.

– Высылай только денег, – сказала Тереза, – и я его так разодену, как куколку.

– Стало быть, мы порешили на том, чтобы наша дочь была графиней?

– С того самого дня, когда я увижу ее графиней, она умрет для меня. Но я еще раз говорю тебе: делай что хочешь; так как мы женщины только для того и рождены на свет, чтобы повиноваться мужьям даже и тогда, когда они просто болваны.

С этими словами она начала так горько плакать, как будто Санчика в самом деле умерла и была уже похоронена.

Санчо утешал ее, уверяя, что хотя он и сделает ее графиней, но, насколько будет возможно, повременит с этим делом. На этом и покончили они разговор, и Санчо пошел к Дон-Кихоту, чтобы принять от него приказания относительно приготовления к отъезду.

## **ГЛАВА VI**

### **Повествующая о том, что случилось с Дон-Кихотом, его племянницей и экономкой, – одна из важнейших глав во всей этой истории**

В то время как Санчо Панса и его жена Тереза Каскайо вели этот неуместный разговор, племянница и экономка Дон-Кихота тоже не оставались без дела; из тысячи признаков они вывели заключение, что их дядя и господин хочет во что бы то ни стало в третий раз покинуть их для того, чтобы пуститься в свои, по их мнению, проклятые рыцарские приключения. Они разными способами старались отклонить его от этой несчастной мысли, но все было напрасно: их увещания были гласом вопиющего в пустыне. После множества всякого рода убеждений, экономка, наконец, сказала Дон-Кихоту:

– Даю вам слово, господин мой, если вы не останетесь дома, как подобает благоразумному человеку, и опять, как кающийся грешник, будете скитаться по горам и долинам, чтобы отыскивать то, что вы называете приключениями, но что я считаю самым последним несчастьем, я буду взывать и Богу и королю, чтобы они положили конец этому сумасбродству.

– Я не знаю, экономка, – ответил Дон-Кихот, – что скажет Бог на вашу жалобу, равно как не знаю я того, что ответит на все король. Я могу сказать вам только, что, если бы я был королем, я ни слова не отвечал бы на все те бесчисленные и достойные удивления просьбы, которые подаются ежедневно; потому что одна из тягчайших обязанностей, которые лежат на королях, между многими другими, есть та, что они принуждены всех выслушивать и всем давать ответ. Поэтому мне было бы неприятно, если бы ему еще досаждали мною.

– Скажите только, господин, – сказала экономка, – ведь при дворе короля нет рыцарей?

– Конечно их там много, – возразил Дон-Кихот, – и там их настоящее место, потому что они служат к увеличению блеска владык и к возвышению их королевского достоинства.

– Так не могли бы вы сделаться одним из рыцарей, – спросила снова она, – которые, не нарушая мира и спокойствия, служат своему королю, находясь при его дворе?

– Слушай, дитя мое, – возразил Дон-Кихот, – не все рыцари могут



быть придворными, точно так же как не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями. Те и другие нужны миру, и хотя мы все считаемся рыцарями, однако между нами существует огромная разница; так как придворные, не выходя из комнаты и не покидая окрестностей дворца, могут странствовать по целому свету, держа перед собою карту, и это не стоит им ни гроша, и они не терпят при этом ни голода, ни жажды, ни холода, ни жары. А наш брат, странствующий рыцарь, напротив того, скитается и в жару, и в холод, и под дождем, и под палящими лучами солнца, ночью и днем, на коне и пешком, и вымеряет целый свет своими шагами; мы знаем ваших врагов не только по портретам и описаниям, но из настоящего знакомства с ними лицом к лицу, и при каждом удобном случае мы стараемся сразиться с ними, не занимаясь при этом пустяками и не задумываясь долго над законами поединка и над тем, длиннее или короче копье или меч врага, носит ли он на теле ладанку или амулет или иное какое тайное средство; разделяется ли солнце между обоими противниками на равные доли или частицы, или нет, вместе со множеством других подобного рода церемоний, которые в обычае при схватках один на один, ты не знаешь их, мне же они хорошо известны. Кроме всего этого, ты должна знать, что настоящий рыцарь никоим образом не побоится, если бы ему пришлось увидеть даже десяток других рыцарей, которые головами своими не только доставали бы до облаков, но и превышали их, или из которых у каждого вместо ног было бы по две высоких башни, руки которых походили бы на мачты огромнейших военных кораблей, а глаза были бы такие же большие, как жернова, и так же бы пылали, как плавильные печи: напротив, с благородною решимостью и неустрашимым сердцем схватится он с ними и сразится, и, если возможно, в один миг преодолеет и сокрушит их, будь они даже закованы в чешую известной рыбы, которая, как говорят, тверже алмаза, и имей они вместо мечей шпаги из дамасской стали или дубины с стальными зубцами, какие мне приходилось не раз видеть. Все это, любезная экономка, я говорю к тому, чтобы вы видели, какая разница существует между рыцарями и рыцарями. И как было бы хорошо, если бы все государи как следует ценили этот последний или, правильнее говоря, первый род рыцарей; ибо, как мы читаем в жизнеописаниях их, между нами существовали такие, которые были основателями благополучия не одного только, но многих государств.

– Ах, милый дядя! – вскричала племянница, – подумайте, наконец, о том, что все, что вы наговорили сейчас о странствующих рыцарях, одни басни и выдумки; и если их истории не хотят предать сожжению, то пусть по крайней мере поставят на них Сан-бенито<sup>[78]</sup> или какой-нибудь другой

знак, по которому можно бы было узнать их вред и опасность для добрых нравов.

– Клянусь Богом, сотворившим нас, – сказал Дон-Кихот, – если бы ты не была моей родной племянницей, дочерью моей сестры, я так бы наказал тебя за это поношение, что молва о том прошла бы по всему миру. Возможно ли? девчонка, которая едва умеет обращаться с своими двенадцатью коклюшками, осмеливается судить о рыцарских книгах и поносить их? Что сказал бы на это Амадис, если бы он услышал что-либо подобное? Но, конечно, он бы простил тебя, потому что он был терпеливейшим и учтивейшим рыцарем своего времени и, кроме того, ревностным защитником девиц. Однако тебя мог услышать и другой, с которым тебе бы не поздоровилось; ведь не все же они учтивы и благодущны – между ними попадаются подчас и неучтивы и несговорчивые. Не всякий из них также бывает истинным рыцарем, хотя и называется им, ибо некоторые только бывают из чистого золота, другие же все из простой меди, и хотя все они на вид рыцари, но не все могли бы доказать это на деле. Существуют обыкновенные люди, которые выбиваются из сил, чтобы в них видели рыцарей, и, наоборот, есть благородные рыцари, которые, по-видимому, полагают всяческое старание для того, чтобы казаться обыкновенными людьми. Одни возвышаются или благодаря своему честолобию или благодаря своей добродетели; другие падают благодаря лени или благодаря пороку; поэтому-то и нужно быть крайне осмотрительным при отличии этих двух родов рыцарей, которые, нося одно и то же имя, так не походят друг на друга в своих деяниях.

– Боже праведный! – вскричала племянница, – какими познаниями обладаете вы, дядя! если бы было нужно, вы могли бы взойти на кафедру и проповедовать пред всем народом, и при всем том вы так слепы и так просты, что воображаете себя крепким, будучи старым, думаете, что вы сильны, будучи слабы; хотите выправлять неправильное, тогда как сами искривились под бременем лет. Но, прежде всего, вы воображаете себя рыцарем, не будучи таковым в действительности; потому что хотя все дворяне могут быть рыцарями, но для бедных это невозможно.

– В твоих словах есть доля правды, племянница, – ответил Дон-Кихот, – и относительно происхождения вообще я мог бы рассказать такие вещи, что ты бы удивилась; но я лучше промолчу, чтобы не смешивать божественного с человеческим. Все роды в мире могут быть разделены на четыре разряда, а именно таким образом: на те, которые, будучи низкого происхождения, возвышаются и растут до тех пор, пока не достигнут предельной высоты; на те, которые с самого начала были велики и до сего

дня сохранили свой блеск и свое величие; на те, которые хотя и имеют солидное начало, но потом кончаются точкой, подобно пирамидам, которые мало-помалу суживаются, начиная от самого своего основания, и сводятся на нет в своих вершинах, наконец, на те, — и этих последних большинство, — которые, не имея за собою ни благородного происхождения, ни большого успеха, в какую бы то ни было пору своего существования, так и остаются до конца бесславными, как это бывает с средним сословием и простым народом. Как пример первого разряда, именно тех родов, которые, будучи низкого происхождения, возвысились до крайнего предела величия, я приведу вам род Османов, родоначальник которых был пастух верблюдов и которые стоят теперь на недостижимой высоте. Примером второго разряда фамилия тех, которые были велики по своему происхождению и сохранили это величие, ничего от него не убавив, но и не прибавив к нему ничего, могут служить многие княжеские дома, которые с веками сохраняют унаследованный ими титул и мирно держатся в пределах своих княжеств, не расширяя их и ничего в них не теряя. Тех же, которые начались величественно, а под конец кончились точкой, существуют тысячи примеров, ибо все фараоны и Птоломеи Египта. Все цезари Рима и целая вереница, если я могу так выразиться, бесчисленных государей, монархов, князей Мидян, Ассирийцев, Персов, Греков и варваров — все эти роды потерялись в одной точке и сошли на нет, так же как и их родоначальники, так что нельзя больше найти и следа их потомков, или, если бы их кто захотел искать, то нашел бы среди низших сословий и черви. О простом народе мне нечего вам больше говорить, так как он служит для того только, чтобы увеличивать число живущих, не стяжая себе своим достоинством ни славы ни величия. Из всего мною сказанного, простофили, вы можете заключить, что существует большое различие в родах и что только те из них величественны и исполнены блеска, которые отличаются добродетелью, богатством и щедростью. Я говорю: добродетелью, богатством и щедростью — потому что величие, которое порочно, есть только великая порочность, и богатый, который не щедр, есть жадный нищий; ибо обладателя богатств не то делает счастливым, что он их имеет, но то, что он пользуется ими, и пользуется не для удовлетворения своих прихотей, а для благих целей. Бедному рыцарю не остается другого средства показать себя рыцарем кроме добродетели, он должен быть благонравен, учтив, вежлив, скромен и готов на услуги; он не должен быть горд, хвастлив и злоязычен, но прежде всего он должен быть сострадательным, ибо несколькими мараведисами, которые он от чистого сердца дает бедному, он делает ему больше благодеяния нежели богач,

расточающий милостыни при кликах народа; и ни один человек, который увидит в нем эти добродетели, – знает ли он его или нет – все равно, – не поколеблется ни одной минуты признать его за человека благородного происхождения. Если этого не случится, то будет чудом, потому что похвала была всегда наградой добродетели, а у добродетельных есть все для того, чтобы быть восхваляемыми. Существует два пути, дети мои, для того, чтобы достигнуть богатства и почестей, первый – это науки, второй – оружие. Я более склонен носить оружие, чем заниматься науками, и, судя по моему влечению к оружию, должно полагать, что я рожден под влиянием планеты Марса; вот почему я и не могу бороться с собою, чтобы не вступить на этот путь, и пойду по нем наперекор всему миру. Поэтому нет пользы в том, что вы стараетесь уговорить меня не делать того, что хочет Небо, что повелевает судьба, требует рассудок и, прежде всего, к чему влечет меня мое собственное желание. Мне известны неисчислимые тегости, связанные с жизнью странствующего рыцаря; но я также хорошо знаю и великие преимущества, которые она дает. Мне известно, что стезя добродетели узка, а путь порока широк и просторен, и мне известно также, что оба они ведут к совершенно противоположным целям, ибо широкий и просторный путь порока кончается в смерти, узкая же и трудная стезя добродетели оканчивается в жизни, и не в той жизни, которая имеет конец, но в той, которая бесконечна. Мне известно, что сказал по этому поводу наш великий кастильский поэт:

«Путем тернистым этим достигают  
Бессмертия вершины вожделенной  
С которой больше никогда не сходят <sup>[79]</sup>».

– Ах, я несчастная! – вскричала племянница, – мой дядя и поэт то же! все он знает, все он умеет! Побьюсь об заклад, если бы ему вздумалось сделаться каменщиком, он так же легко построил бы дом, как клетку для птиц.

– Уверяю тебя, племянница, – возразил Дон-Кихот, – что, если бы все мои помыслы не были заняты одним странствующим рыцарством, не было бы на свете вещи, которой бы я не сумел сделать, и не было бы такой мудреной работы, которую я бы не мог выполнить, в особенности по части клеток и зубочисток.

В то время кто-то позвал за дверь, и, когда спросили, кто там, слышался голос Санчо Панса, что это он.

Едва экономка услышала его голос, как она бросилась бежать и спряталась, чтобы не видеть его – такое отвращение внушал он ей своим видом. Племянница отворила ему дверь, и его господин, Дон-Кихот, пошел ему навстречу, чтобы принять его в свои распростертые объятия. Затем они оба заперлись в комнате и завели разговор, который ни в чем не уступал приведенному выше.

## **ГЛАВА VII**

### **О том, что случилось с Дон-Кихотом и его оруженосцем, вместе с другими, в высшей степени, замечательными событиями**

Лишь только экономка увидела, что Санчо Панса заперся с ее господином, как она тотчас же догадалась об истинном намерении обоих и не сомневалась более, что совещание кончится решением на третий выезд. Поэтому она накинула на себя свою мантию и, полная тоски и огорчения, побежала с целью разыскать бакалавра Самсона Карраско; потому что она думала, что он, будучи человеком красноречивым, и как совершенно новый друг ее господина, лучше всего может убедить его отказаться от его злосчастного предприятия. Она нашла его прохаживающимся взад и вперед по двору его дома и, лишь только его увидела, тяжело переводя дух и задыхаясь, упала к его ногам. Когда Карраско увидел ее с этими признаками горя и ужаса, он спросил:

– Что с вами, госпожа экономка? Что случилось? у вас такой вид, как будто ваша душа расстаётся с телом.

– Что же другое могло случиться, кроме того, что мой господин покидает нас! истинная правда, покидает нас!

– Каким же образом он покидает? – спросил Самсон. – Не сломал ли он себе чего-нибудь?

– Ах нет, – ответила она, – он покидает нас чрез двери своего безумия. Я хочу сказать, мой добрый господин бакалавр, что он опять – и это уже в третий раз – хочет уехать от нас, для того чтобы искать по свету, как он говорит, счастливых приключений; но я не могу никак понять, почему он так называет это. В первые раз его привезли домой положенного поперек спины осла, и он был избит до полусмерти; во второй раз он приехал, заключенный в клетку, куда, по его мнению, он попал благодаря волшебным чарам, и вид у него был до того жалкий, что его родная мать не узнала бы его, – тощий, бледный, как смерть, с глубоко впавшими глазами. И, чтобы его опять сделать мало-мальски похожим на человека, мне стоило больше шестисот яиц – будь тому свидетелями Бог, целый мир и мои куры, которые никогда еще не уличали меня во лжи. – Я охотно верю этому, – ответил бакалавр, – потому что вы так добры, так толсты и здоровы, что не скажете вместо одного другое, если бы вам даже пришлось лопнуть от

этого. Но больше ничего нет, госпожа экономка, и ничего больше не приключилось, кроме того, что вас так пугает, – намерения господина Дон-Кихота?

– Нет, господин мой, – ответила та.

– Ну, тогда не беспокойтесь, – ответил бакалавр, – идите с Богом домой и приготовьте чего-нибудь тепленького к завтраку, а дорогою твердите молитву святой Аполлонии, если вы ее знаете. Я же буду следом за вами, и тогда вы увидите чудо.

– Боже милостивый?! – сказала экономка, – я должна говорить молитву святой Аполлонии? Это помогло бы, если бы у моего господина болели зубы; но у него болезнь в голове.<sup>[80]</sup>

– Я знаю, что говорю, госпожа экономка; идите, я – бакалавр и диспутировал в Саламанке, поэтому не вступайте со мною в дальнейший диспут, – отвечал Карраско.

После этих слов экономка ушла, а бакалавр тотчас же пошел к священнику, чтобы переговорить с ним о том, что читатель узнает в свое время. Когда Дон-Кихот и Санчо Панса заперлись в комнате, между ними произошел следующий разговор, который точно и обстоятельно передает нам история.

– Ваша милость, – сказал Санчо рыцарю, – я, наконец, утрезвонил свою жену, и она позволила мне ехать с вами, куда вы только пожелаете.

– Урезвонил, хочешь ты сказать, а не утрезвонил, – сказал Дон-Кихот.

– Один раз или два раза, если не ошибаюсь, – возразил Санчо, – я уже просил вас не поправлять моих слов, если вы понимаете, что я хочу сказать. Если же вы меня не понимаете, то скажите только: Санчо, или: чертов сын, я не понимаю тебя! И если я и после этого не объяснюсь ясно, то вы можете тогда меня поправить, так как меня легко можно набузовать.

– Я не понимаю тебя, – прервал его Дон-Кихот, – потому что мне неизвестно, что такое значит: меня легко можно набузовать.

– Легко набузовать, – отвечал Санчо, – значит все равно что: я чрезвычайно, так сказать...

– Теперь я понимаю тебя еще меньше, – возразил Дон-Кихот.

– Если вы меня не можете понять, – ответил Санчо, – то я не знаю, как мне говорить. Пусть Бог вразумит вас, – большей ничего не знаю.

– Ах, теперь я начинаю понимать, – ответил Дон-Кихот, – ты хотел сказать, что тебя легко цивилизовать, что ты понятлив и скоро все перенимаешь, что я тебе скажу или чему научу тебя.

– Побьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что вы тотчас же поняли меня, с первого монумена; вы любите только всегда меня контузить, чтобы

слышать от меня несколько лишних глупостей.

– Может быть, – сказал Дон-Кихот. – Ну, так что же сказала Тереза?

– Тереза сказала, – ответил Санчо, – что я должен искать с вашей милостью твердого фундамента. Что написано пером, того не вырубишь топором, уговор лучше денег, лучше синица в руке, чем журавль в небе. И я говорю: у бабы волос долог, а ум короткий, а все же дурак тот, кто ее не слушает.

– Я держусь того же мнения, – ответил Дон-Кихот. – Продолжай, друг Санчо, ты сегодня изрекаешь великие истины.

– Дело в том, – возразил Санчо, – что все мы, как вы изволите знать, подвержены смерти; сегодня жив человек, а завтра помер. Ягненок не в большей безопасности от нее чем баран, и ни один человек в этом мире не может рассчитывать прожить одним часом долее, чем на то есть воля Божия; ибо смерть глуха, и если она раз стукнула в дверь нашей жизни, – она не ждет, и ее не удержать тогда ничем, ни просьбами, ни силой, ни скипетром, ни епископскою митрой. По крайней мере, так все говорят, и мы слышим то же самое с кафедры.

– Это все правда, – сказал Дон-Кихот, – но я еще все не могу понять, куда клонится твоя речь.

– Моя речь клонится к тому, – сказал Санчо, – чтобы ваша милость выплачивали мне определенное жалованье, пока я вам служу, и чтобы это жалованье я получал наличными деньгами, так как я не могу полагаться на посулы, которые либо будут исполнены либо нет. Блаженны имущие. Одним словом, я хочу знать, что я заработаю, потому что из яйца выводится наседка, и много малого составляет большое; ибо когда лежит одно яйцо, то наседка кладет дальше, и малый прибыток не есть убыток. Если же в самом деле случится то – на что я не надеюсь и не рассчитываю, – что вы подарите мне остров, который вы мне обещали, – то я не настолько неблагодарен или жаден, чтобы иметь что-либо против того, если мне зачтут в мой счет доходы с этого острова и из них вычтут все полученное много жалованье.

– Друг Санчо, – возразил Дон-Кихот, – бывает то, что гусь стоит столько же, сколько утка.

– Понимаю, – сказал Санчо; – но, побьюсь об заклад, вы хотели сказать: утка стоит столько же, сколько гусь. Однако, это не важно, если вы меня поняли.

– И даже так хорошо понял, – ответил Дон-Кихот, – что постиг самые сокровенные твои мысли и ясно вижу цель, в которую ты пускаешь бесчисленные стрелы твоих поговорок. Охотно стал бы я выплачивать тебе



жалованье, Санчо, если бы в какой-нибудь истории странствующих рыцарей мне удалось найти пример, который дал бы мне слабый и неясный намек на то, сколько жалованья ежегодно или ежемесячно получали оруженосцы. Но я читал все или, по крайней мере, большую часть этих историй, и не припомню, чтобы мне когда-нибудь пришлось встретить место, где бы говорилось, чтобы странствующий рыцарь выплачивал своему оруженосцу определенное содержание. Я знаю одно только, что все они служили из-за милости; и когда счастье благоприятствовало их господам, они нежданно-негаданно награждались островом или другим каким-либо даром такой же ценности, или, по меньшей мере, получали титулы и почетные награды. Итак, Санчо, если ты, руководясь этими надеждами и видами, хочешь снова поступить ко мне на службу, то добро пожаловать; ибо думать, что я предам забвению или уничтожу этот древний обычай странствующих рыцарей, значит думать пустое. Поэтому, друг Санчо, ступай сначала домой и объяви своей Терезе о моем мнении. И если ты и она будете согласны, чтобы ты пошел служить ко мне, рассчитывая только на мои милости, *bene quidem*; если нет, то останемся такими же добрыми друзьями, как были прежде; потому что, если только есть корм в голубятне, никогда не будет в ней недостатка в голубях, но заметь то, мой друг, что добрая надежда лучше ничтожной собственности и данный выгодно займы рубль лучше полученной чистоганом копейки. Я говорю с тобою таким образом, Санчо, чтобы показать тебе, что я так же, как ты, могу пустить в тебя град пословиц. Одним словом, я хочу тебе сказать, что если у тебя нет охоты поступить ко мне на службу и делить со мною счастье и несчастье, то уходи с Богом и будь счастлив, потому что у меня не будет недостатка в оруженосцах, более тебя послушных и радивых и не таких прожорливых и болтливых, как ты.

Лишь только Санчо услышал это твердое решение своего господина, как у него потемнело в глазах и сердце перестало биться, – так он был уверен, что его господин ни за какие сокровища в мире не решится без него ехать.

В то время, когда он стоял еще так, в унынии и нерешимости, в комнату вошел Самсон Карраско, в сопровождении экономки и племянницы, с нетерпением желавших узнать, какими доводами намеревается он убедить их господина не пускаться опять в новые приключения. Самсон, этот отъявленный плут, подошедши к Дон-Кихоту, обнял его, как и в первый раз, и сказал громким голосом:

– О ты, цвет странствующего рыцарства! О ты, далеко разливающийся свет оружия! О ты, честь и зеркало испанского народа! Да исполнятся

молитва моя к всемогущему Богу и да ниспошлет Он, чтобы тот или те, которые противятся твоему третьему выезду или хотят затормозить его, никогда не нашли средства к этому в лабиринте своих замыслов и чтобы им никогда не удалось то, что они злоумыслили.

Он обратился в экономку и сказал:

– Любезная экономка, вы можете теперь прекратить чтение молитвы святой Аполлонии; ибо я знаю, что в заоблачных сферах бесповоротно решено, чтобы господин Дон-Кихот еще раз обратился к выполнению своих великих и неслыханных предначертаний, и я безмерно отягчил бы свою совесть, если бы не обратился к этому славному рыцарю с ободрением и увещанием не скрывать долее и не держать в бездействии мощь своей храброй руки и благородство своих высоких замыслов, потому что своим промедлением он упустил бы возможность сделать неправильное правильным, помочь сиротам, охранить честь девиц, призреть вдов, оказать услуги и женам и совершить множество других вещей подобного рода, которые лежат на обязанности ордена странствующих рыцарей, зависят от него и составляют его неотъемлемую принадлежность. Итак, за дело, мой прекрасный и храбрый господин Дон-Кихот! Пусть лучше сегодня, а не завтра, отправится в путь ваша милость и ваше высочество, и если у вас в чем-либо есть недостаток для выполнения вашего намерения, то я тотчас готов служить вам моею собственной особой и всем, что у меня есть, даже если бы потребовалось служить вашей светлости в качестве оруженосца, то я почел бы это для себя за величайшее счастье.

– Что, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – разве я тебе не говорил, что у меня не будет недостатка в оруженосцах? Смотри, кто предлагает себя на эту должность; – никто иной, как славный бакалавр Самсон Карраско, неувядаемая краса и слава аудиторий Саламанки, здоровый телом, проворный членами, кроткий сердцем, молчаливый, не боящийся ни жары, ни холода, ни голода, ни жажды; обладающий всеми другими качествами, которых можно только пожелать оруженосцу странствующего рыцаря. Но сохрани меня Бог, если бы я, повинуясь своему желанию, повалил этот столп учености и разбил этот сосуд знаний, и таким образом загубил эту высокую пальму прекрасных свободных искусств. Нет, пусть новый Самсон остается на своей родине, и, служа ей украшением, пусть он в то же время украшает и седые волосы своих достойных родителей. Что касается меня, то я удовлетворюсь и всяким другим оруженосцем, так как Санчо не согласен ехать со мною.

– Да я согласен, – ответил Санчо, задетый за живое и с глазами полными слез.

– Нет, ваша милость, это не про меня сказано: «сначала нажрался, а потом домой убрался.» Нет, я происхожу не из неблагодарного рода, ибо весь свет и в особенности вся наша деревня знают хорошо, что за люди были Панса, мои предки. И, кроме того, я заметил по некоторым добрым делам и еще более добрым словам вашим, что ваша честь желает оказать мне милость; и если я, несмотря на это, завел речь насчет жалованья, то сделал это единственно в угоду жене; потому что если она захочет поставить на своем, то иной обруч не так напирает на бочку, как она подопрет тебе бока. Но, в конце концов, все же мужчина должен быть мужчиной, а баба – бабой, и так как я не совру, сказав, что я во всем прочем достаточно таки мужчина, то я хочу быть им и в своем доме – на зло тому, кто что-либо имеет против этого. Итак ничего больше не остается, как чтобы вы, ваша милость, сделали свое завещание с своею на нем приписью, и таким манером, чтобы оно никоим образом не могло быть предано уничижению; и после этого пустимся сейчас же в дорогу, дабы душа господина Самсона нашла успокоение, так как он говорит, что совесть побуждает его советовать вам в третий раз пуститься странствовать. И я снова обещаю служить вам верой и правдой, так же хорошо, даже еще лучше, чем оруженосцы, которые в наше время или в старину когда-либо служили странствующим рыцарям.

Бакалавр не мало дивился, слушая замысловатую речь Санчо. Хотя он и прочел первую часть истории его господина, но он никогда не воображал себе, чтобы Санчо на самом деле был так забавен, как он в ней изображен. Но, услышав, как он говорил о завещании, которого нельзя было бы предать уничижению, вместо – уничтожению, он поверил всему, что про него читал, и вполне убедился, что он один из достойнейших удивления глупцов нашего столетия, и что пара таких сумасшедших, как господин и его слуга, едва ли когда-нибудь встречалась на свете.

Дон-Кихот и Санчо обнялись и опять стали друзьями, и с одобрения и по совету великого Карраско, который теперь сделался оракулом Дон-Кихота, было решено, чтобы отъезд состоялся через три дня. А в этот промежуток времени условились приготовить все нужное для путешествия и достать совершенно целый шлем с забралом, который Дон Кихот, по его словам, во что бы то ни стало должен был иметь. Самсон вызвался добыть ему шлем, так как у него был друг, который не отказал бы ему ссудить его таковым, правда, он не блистал полировкой, а был с избытком покрыт ржавчиной и пылью, и блеск стали не проникал через них наружу.

Нельзя передать тех проклятий, которыми без числа осыпали бакалавра племянница и экономка; они рвали на себе волосы, царапали

лицо и, как плакальщицы на похоронах, рыдали об его отъезде, как будто наступил день смерти их господина. Намерение, которое имел Самсон, уговаривая Дон-Кихота на третью поездку. Состояло в том, чтобы привести в исполнение то, о чем в свое время будет рассказано ниже; все было сделано с согласия священника и цирюльника, с которыми Самсон перед тем сговорился. В продолжение этих трех дней Дон-Кихот и Санчо снабдили себя всем, что они считали необходимым, и после того, как Санчо немного успокоил свою жену, а Дон-Кихот – племянницу и экономку, они, не будучи никем замечены, кроме бакалавра, который провожал их около полумили, пустились по дороге в Тобозо – Дон-Кихот на своем добром Россинанте, а Санчо – на своем старом осле, с мешком позади, наполненным всем нужным для буколической жизни, и с кошельком, набитым деньгами, которые Дон-Кихот дал ему на непредвиденные случаи. Самсон обнял рыцаря и просил его извещать его о его удачах и неудачах, дабы он мог радоваться первым и печаловаться над последними, как требуют того законы дружбы. Дон-Кихот обещал ему исполнить это; Самсон повернул назад к своей деревне, а двое путешественников поехали по направлению славного города Тобозо.

## **ГЛАВА VIII**

### **В которой рассказывается, что случилось с Дон-Кихотом, когда он отправился посетить свою даму Дульцинею Тобозскую**

«Благословен Аллах всемогущий!» восклицает в начале этой восьмой главы Гамед Бен-Энгели; «благословен Аллах!» повторяет он три раза к ряду. Затем он прибавляет, что если посылает Богу такие благословения, то потому, что наконец Дон-Кихот и Санчо находятся в открытом поле, и что читатели его интересной истории могут рассчитывать на то, что теперь наконец начнутся подвиги господина и дурачества оруженосца. Он предлагает читателям забыть прежние удалства хитроумного гидальго и обратить все свое внимание на будущие, которые начнутся на Тобозской дороге, как прежние начались в Монтиельской долине. А то, что он требует, ничтожно в сравнении с тем, что он обещает. Затем он продолжает:

Дон-Кихот и Санчо остались одни. Не успел Самсон Карраско удалиться, как Россинант заржал, а осел заревел, и оба путешественника, рыцарь и оруженосец, приняли это за добрый знак и весьма благоприятное предзнаменование. Впрочем, если сказать правду, вздохи и рев осла были многочисленнее и сильнее ржания лошади, из чего Санчо заключил, что его удачи будут больше удач его господина. Основывал он это мнение, не знаю, на какой астрологии, которую он, может быть, и знал, хотя история об этом умалчивает. Во всяком случае, когда он спотыкался или падал, от него часто можно было слышать, что лучше было бы не выходить из дому, потому что от спотыкания или падения одна только выгода: разорванный башмак или сломанные ребра, и, право, как он ни был глуп, а не далеко ушел от истины.

Дон Кихот говорит ему:

– Друг Санчо! чем дальше мы едем, тем ночь становится глубже. Она станет чернее, тем нужно для того, чтобы нам на заре увидеть Тобозо. Туда решил я отправиться, прежде, нежели пущусь в какое бы то ни было приключение. Там я испрошу соизволение и благословение несравненной Дульцинеи, а с этим соизволением – я надеюсь и твердо уверен в этом – я благополучно доведу до конца всякое опасное предприятие, ибо ничто в этой жизни не делает странствующих рыцарей более храбрыми, как оказываемая им их дамами благосклонность.

– Я тоже так думаю, – отвечал Санчо, – но мне кажется, что вашей милости очень трудно будет говорить с нею и иметь с нею свидание в таком месте, где вы могли бы получить ее благословение, если только она не даст вам его из-за забора заднего двора, где я ее видел в первый раз, когда относил ей письмо, в котором передавалось о безумствах и чудачествах, сделанных вашей милостью в глубине Сиерра-Морены.

– Забор заднего двора, говоришь ты, Санчо! – воскликнул Дон-Кихот. – Как! ты вбил себе в голову, что на нем или из-за него ты видел этот цветок, изящество и красота которого не могут быть достаточно воспеты? Видеть ее ты мог только в галереях, коридорах или преддвериях богатых, пышных дворцов.

– Возможно и это, – отвечал Санчо, – но мне они показались забором заднего двора, если память мне не изменяет.

– Во всяком случае, отправимся туда, Санчо, – возразил Дон-Кихот. – Лишь бы мне увидеть ее, а произойдет ли это у забора заднего двора, на балконах или у решетки сада, – мне все равно. Солнечный луч ее красоты достигнет моих глаз, осветит мой разум и укрепит мое сердце, и я сделаюсь единственным и несравненным по уму и храбрости.

– Ну, честное слово, господин, – отвечал Санчо, – когда я видел это солнце, госпожу Дульцинею Тобозскую, оно не было так ярко, чтобы отбрасывать лучи. Ее милость просевала хлеб, как я вам говорил, так, наверно, густая пыль, которая от этого подымалась и окружала облаком ее лице, и затмила его.

– Как, Санчо, – воскликнул Дон-Кихот, – ты продолжаешь думать, верить, говорить и утверждать, что дама моего сердца, Дульцинея, просевала хлеб, когда это упражнение и это ремесло вполне чужды тому, что делают и должны делать знатные особы, для которых существуют другого рода упражнения и другого рода препровождение времени, на расстоянии ружейного выстрела выдающие высоту их происхождения! О, как плохо ты, Санчо, помнишь стихи нашего поэта,<sup>[81]</sup> где он нам описывает те тонкие работы, которыми занимались в своем хрустальном местопребывании четыре нимфы, выплывавшие из волн Тахо и садившиеся на зеленый луг, чтобы работать над богатыми материями, описанными искусным поэтом и сотканными из золота, шелка и жемчуга! Такова должна была быть работа дамы моего сердца, когда ты ее видел, если бы только зависть злого волшебника ко всему, что меня касается, не изменяла и не обезображивала различного вида вещей, которые могли бы доставить мне удовольствие. Так, я очень боюсь, как бы в истории моих подвигов, распространенной в печати, если случайно автор ее какой-либо мудрец,

мой враг, не смешал одних вещей с другими, впутывая в истину кучу вранья, отвлекаясь в сторону и рассказывая не о тех поступках, которых требует последовательность правдивого повествования. О, зависть, корень всех зол и червоточина всех добродетелей! Все пороки, Санчо, приносят с собою нечто приятное; но зависть влечет за собою только досаду, злобу и бешеный гнев.

– Это самое и я говорю, – заметил Санчо, – и бьюсь об заклад, что в этой сказке или истории, о которой бакалавр Карраско говорит, что видел о нас писанную, честь моя катится, как опрокинутая телега, в которой, с одной стороны, все смешалось, и которая, с другой, замечает улицы. Между тем, слово честного человека! никогда не говорил и ничего дурного ни об одном волшебнике, да и добра у меня не так много, чтобы внушить кому-нибудь зависть. Правда, я немножко хитер, и есть во мне частица плутовства, но все это прикрывается и скрывается под большим плащом моей простоты, всегда естественной и никогда не искусственной. Если бы у меня и не было других заслуг, кроме искренней и твердой всегдашней веры в Бога и во все, во что верует святая римская католическая церковь, и смертельной всегдашней моей вражды к жидам, то и тогда историки должны были бы быть ко мне милосерды и хорошо говорить обо мне в своих писаниях. Впрочем, пусть говорят, что хотят, нагим я родился, наг я теперь; ничего я не теряю, ничего не приобретаю, а о том, что меня вписали в книгу, которая ходит по всему свету из рук в руки, я забочусь как о выеденном яйце. Говорите обо мне, что хотите!

– Это похоже, Санчо, – заметил Дон-Кихот, – на историю знаменитого поэта наших времен, который, написав злобную сатиру на всех распутных дам, упустил назвать одну, о которой сомнительно было, распутная она или нет. Она же, увидав, что ее нет в списке этих дам, обратилась к поэту с жалобой, спросила его, что такое увидал он в ней, что помешало ему поставить ее в число других, и просила его увеличить объем сатиры, чтоб и ей дать там место, в противном случае пусть остережется. Поэт удовлетворил ее желание и отдал ее так, как не сумели бы сделать того никакие дуэньи; и дама осталась довольна, когда увидела себя знаменитою, хотя и обесславленной. Сюда же подходит и история одного пастуха, который только для того, чтобы имя его пережило века, поджог знаменитый храм Дианы Эфесской, считавшийся одним из семи чудес света. И, несмотря на то, что отдан был приказ ни устно, ни письменно не называть этого пастуха, чтоб он не достиг цели своего желания, все-таки известно каждому, что его звали Геростратом. Можно еще упомянуть о том, что произошло в Риме между императором Карлом V и одним римским

дворянином. Император хотел видеть знаменитый храм, который в древности назывался храмом всех богов, а теперь известен под лучшим названием – храма всех святых.<sup>[82]</sup> Это здание – наиболее сохранившееся и наиболее совершенное из всех, оставшихся от сооружений языческого Рима и более других напоминает о величии и великолепии его строителей. Он построен в виде купола, занимает громадное пространство и прекрасно освещен, хотя свет проникает в него чрез одно только окно или вернее чрез круглое отверстие, находящееся на вершине. Оттуда-то император и осматривал здание, имея около себя одного римского дворянина, который объяснял ему подробности и особенности этого шедевра архитектуры. Когда император отошел от отверстия, спутник его сказал ему: «Тысячу раз, ваше августейшее величество, являлось у меня желание схватить ваше величество в свои объятия и броситься чрез это отверстие вниз, чтобы оставить о себе вечную память в этом мире. – Чрезвычайно вам благодарен, отвечал император, что вы не выполнили эту злую мысль; но я не хочу впредь подвергать испытанию вашу преданность и повелеваю вам никогда более не говорить со мною и никогда не присутствовать там, где буду находиться я.» После этих слов он оказал ему большую милость. Я хочу сказать, Санчо, что желание заставить говорить о себе есть чувство в высшей степени сильное и мощное. Как ты думаешь, что потянуло с высоты моста в глубокие волны Тибра Горация Коклеса, обремененного всею тяжестью вооружения? что сожгло руку Муция Сцеволы? что заставило Курция броситься в пылающую бездну, разверзшуюся среди Рима? что принудило Юлия Цезаря перейти Рубикон, вопреки противным предзнаменованиям?<sup>[83]</sup> Или возьмем пример более современный: что, потопив корабли, лишило возможности отступления и поддержки доблестных испанцев, которые под начальством великого Кортеса прибыли в Новый Свет? Все эти подвиги и тысячи других были и будут делом известности, которую смертные желают получить в вознаграждение и как часть того бессмертия, которого они заслуживают за свои великие дела. Но мы, христиане-католики и странствующие рыцари, скорее должны искать славы в будущих веках, непреходящей в эфирных областях небес, чем суетной известности в здешнем тленном мире. Ибо, в конце концов, эта известность, сколько бы она ни длилась, должна будет погибнуть с самим этим миром, конец которому уже намечен. И так, о Санчо, пусть деяния наши не переходят границ, обозначенных христианской религией, которую мы исповедуем. Мы должны убить гордость в гигантах, мы должны победить зависть благородством и величием души, гнев – хладнокровием и



спокойствием духа, чревоугодие и сонливость – малой едой и многим бодрствованием, невоздержность и сластолюбие – верностью тем, кого мы сделали дамами наших дум, леность – объездом четырех частей света и поисками случаев, которые помогут нам сделаться не только хорошими христианами, но и знаменитыми рыцарями. Вот, Санчо, средства достигнуть той блаженной вершины, на которой находится добрая слава.

– Все, что ваша милость сейчас сказали, – заговорил Санчо, – я совершенно понял. Только я просил бы вас, разрешите мне, пожалуйста, одно сумление, которое пришло мне в голову.

– Сомнение, хочешь ты сказать, – отвечал Дон-Кихот, – хорошо, говори, и я отвечу тебе, как смогу.

– Скажите мне, господин, – продолжал Санчо, – все эти Июли, Августы и все эти рыцари, об удалстве которых вы говорили и которые умерли, где они теперь?

– Язычники, – отвечал Дон-Кихот, – находятся, без сомнения, в аду; христиане, если они были добрыми христианами, в чистилище или на небе.

– Прекрасно, – снова заговорил Санчо, – а теперь вот что: могилы, где покоятся тела этих молодцов, имеют у входа серебряные лампы, а стены их часовен украшены костылями, саванами, волосами и восковыми ногами и глазами? Если нет, то чем они украшены?

Дон-Кихот отвечал:

– Гробницами язычников были большею частью пышные храмы. Прах Юлия Цезаря был положен под каменную пирамиду безмерной величины, которую теперь в Риме называют иглой св. Петра.<sup>[84]</sup> Императору Адриану гробницей служил замок, громадный как большая деревня, называвшийся *moles Hadriani*, а в настоящее время называющийся замком св. Ангела. Царица Артемизия похоронила мужа своего Мавзола в гробнице, которая слыла одним из семи чудес света. Но ни одна из этих гробниц и ни одна из многих других, в которых погребены язычники, не была украшена саванами и другими приношениями, указывающими, что те, кто там покоятся, стали святыми.

– Так, – возразил Санчо: – теперь скажите мне, что лучше: воскресить мертвого или убить великана?

– Ответ очень легок, – сказал Дон-Кихот: – лучше воскресить мертвого.

– А, вы попались! – воскликнул Санчо. – Итак слава тех, кто воскрешает мертвых, кто возвращает зрение слепым, кто делает прямыми калек, кто дает здоровье больным, слава тех, чья могилы освещены лампадами, чьи часовни наполнены набожными людьми, поклоняющимися

их мощам, – слава их, говорю я, стоит на этом и на том свете больше, нежели та слава, которую оставили после себя все эти идолопоклонники императоры и странствующие рыцари, сколько их ни было на свете.

– Это истина, которую и я признаю, – отвечал Дон-Кихот.

– Итак, эта слава, – продолжал Санчо, – эти милости или эти привилегии – назовите их, как хотите, – принадлежат телам и мощам святых, которым с соизволения вашей святой матери церкви приносят в дар лампы, восковые свечи, саваны, костыли, волосы, глаза, ноги, увеличивающие их христианскую славу и усиливающие благочестие верующих. На своих плечах короли носят мощи святых;<sup>[85]</sup> они прикладываются к осколкам их костей; они украшают ими свои молельни, они обогащают ими свои алтари. – А какое заключение из того, что ты сейчас сказал? – спросил Дон-Кихот.

– То, что мы сделаем лучше, если будем стараться сделаться святыми, – отвечал Санчо, – и мы скорей тогда достигнем славы, которой добиваемся. Заметьте, господин: вчера или третьего дня (времени прошло так мало, что можно так сказать) церковь превознесла и причислила к лику святых двух невидных босоногих монахов,<sup>[86]</sup> так что за большое счастье почитается приложиться или даже дотронуться до цепей, которыми они истязали и кровавили свои тела, и даже самые эти цепи, говорят, почитаются большие, нежели меч Роланда, который находится в оружейной палате нашего милостивого короля, да хранит его Бог. Итак, господин мой, лучше быть смиренным монашком, все равно какого ордена, нежели храбрым странствующим рыцарем: двумя дюжинами ударов бичом можно более заслужить пред Богом, нежели двумя тысячами ударов копьем, направленных в великанов, вампиров или других чудовищ.

– Согласен, – отвечал Дон-Кихот, – но мы не можем все быть монахами, а у Бога один только путь на небеса для избранных. Рыцарство есть религиозный орден, и в раю тоже есть святые рыцари.

– Да, – сказал Санчо, – но я слышал, что на небесах больше есть монахов, нежели странствующих рыцарей.

– Это потому, что монахов вообще больше, нежели рыцарей, – отвечал Дон-Кихот.

– А между тем много есть людей блуждающих, – сказал Санчо.

– Много, – отвечал Дон-Кихот; – но мало заслуживающих название рыцаря.

В такой и подобных ей беседах прошла ночь и следующий день, в течение которых ничего не случилось такого, о чем стоило бы рассказать,

что не мало печалило Дон-Кихота. Наконец, на другой день к вечеру они увидели великий город Тобозо. Вид его развеселил душу Дон-Кихота и опечалил душу Санчо, ибо он не звал дома, где жила Дульцинея, и никогда в жизни не видел эту даму, как и его господин, так что оба они были беспокойны и взволнованы, один потому, что ожидал ее увидеть, другой потому, что не видел ее, а Санчо даже не мог себе представить, что он будет делать, когда господин его пошлет его в Тобозо. Наконец, Дон-Кихот решил не вступать в город до наступления ночи. В ожидании этого они спрятались в дубовой рощице, находившейся неподалеку от Тобозо, и, когда наступило время, вступили в город, где с ними произошло то, что может быть названо так:

## ГЛАВА IX

### В которой рассказано то, что в ней окажется

Была как раз полночь<sup>[87]</sup> или около того, когда Дон-Кихот и Санчо покинули свой лесок и вступили в Тобозо. Деревня была погружена в покой и молчание, так как обитатели ее спали, как убитые. Месяц светил только наполовину, но Санчо хотел, чтобы ночь была еще темнее, чтобы в ее мраке найти оправдание своим проделкам. Ничего не было слышно, кроме лая собак, которые оглушали Дон-Кихота и омрачали душу Санчо. По временам слышался рев осла, хрюканье свиней, мяуканье кошек, и все эти звуки различных голосов лишь увеличивали тишину ночи. Влюбленный рыцарь принял их за дурное предзнаменование. Тем не менее, он сказал Санчо:

– Проводи нас к дворцу Дульцинеи, сын мой Санчо; может быть мы найдем ее еще бодрствующей.

– К какому чертову дворцу проводить вас, грома небесные?! – воскликнул Санчо; – дворец, где я видел ее высочество, был всего, только маленький домишка.

– Без сомнения, она удалилась в какой-либо небольшой апартамент своего алказара,<sup>[88]</sup> чтобы позабавиться со своими фрейлинами, как это принято у дам высокого происхождения и принцесс.

– Господин, – сказал Санчо, – так как ваша милость во что бы то ни стало хотите, чтобы дом дамы Дульцинеи был алказаром, то скажите мне, время ли теперь застать ворота отпертыми? Хорошо ли мы сделаем, если изо всей силы примемся стучать, чтобы нас услышали и отперли нам, и тем подыдем общую тревогу? Разве мы, примерно, будем стучаться в двери беспутных женщин, как делают это любовники за деньги, которые приходят, стучатся и входят во всякое время, как бы поздно это ни было.

– Отыщем сперва алказар, – ответил Дон-Кихот, – и тогда я тебе уже скажу, что надо нам делать. Но слушай, или я ничего не вижу, или эта масса, которая там бросает такую большую тень и есть дворец Дульцинеи.

– Ладно, так ваша милость и ведите нас, – отвечал Санчо; – может быть это и так, а я, если увижу его глазами и дотронусь до него руками, поверю этому столько же, сколько тому, что теперь день.

Дон-Кихот двинулся вперед, и когда проехал шагов двести, он нашел массу, которая отбрасывала большую тень. Он увидел большую башню и

сейчас узнал, что это не алказар, а церковь местного прихода.

– Это мы увидали церковь, Санчо, – сказал он.

– Я сам это хорошо вижу, – отвечал Санчо, – и дай Бог, чтобы мы не увидали также нашу могилу: в такой час ходить по кладбищу плохое предзнаменование. И говорил же я вашей милости, если память мне не изменяет, что дом этой дамы находится в тупом переулке.

– Да будешь ты проклят Богом! – воскликнул Дон-Кихот. – Где ты видел, негодяй, чтобы алказары и королевские дворцы помещались в тупых переулках?

– Сударь, – отвечал Санчо, – что город, то норов: может быть в Тобозо и принято строить в тупых переулках дворцы и большие здания. Умоляю вашу милость позволить мне поискать по улицам и переулкам, которые я увижу пред собою; может быть в каком-нибудь уголке я и найду этот алказар, чтоб его собаки съели – так он мне надоел.

– Говори, Санчо, с уважением о предметах, принадлежащих моей даме, – сказал Дон-Кихот. – Проведем праздник в мире и не будем отчаиваться в успехе.

– Я буду держать язык за зубами, – заметил Санчо; – но как же я могу перенести равнодушно то, что ваша милость требует во что бы то ни стало, чтобы я сразу узнал дом нашей госпожи, который я видел один только раз, и чтобы я нашел его среди ночи, когда вы сами не находите его, хотя видели его тысячи раз.

– Ты приведешь меня в отчаяние, Санчо! – воскликнул Дон-Кихот. – Слушай, еретик, не говорил ли я тебе тысячи раз, что я никогда в жизни не видал несравненной Дульцинеи, что я никогда не переступал порога ее дворца, что, наконец, я влюблен только понаслышке и по той славе, которая распространена о ее красоте и уме.

– Теперь я уже этого не забуду, – отвечал Санчо, – и я говорю, что так как ваша милость ее не видала, то и я тоже ее не видал.

– Не может этого быть, – возразил Дон-Кихот, – потому что ты сказал мне даже, что видел, как она просевала хлеб, когда ты принес мне ответ на письмо, которое относил ей от меня.

– Не обращайтесь на это внимания, сударь: вы должны знать, что посещение мое было тоже понаслышке, так же как и ответ, который я вам принес, потому что я столько же знаю, кто такая госпожа Дульцинея, сколько могу кулаком дать тумака луне.

– Санчо, Санчо! – воскликнул Дон-Кихот. – Бывает время для шуток и время, когда шутки неуместны! Если я говорю, что я не видал и не беседовал с дамой моего сердца, это не значит, мне кажется, что и тебе

позволено говорить, что ты не видел ее и не беседовал с нею, когда это было совершенно наоборот, как ты хорошо знаешь.

В этом месте беседы обоих искателей приключений они увидели человека, проходившего с двумя мулами. По шуму, который производил плуг, везомый мулами, они решили, что какой-нибудь крестьянин встал до света, чтобы отправиться на свою работу. Они не ошиблись. Приближаясь, крестьянин напевал старинный романс, начинавшийся так:

«Плохо вам пришлось, французы,  
На охоте в Ронсевале.<sup>[89]</sup>»

Начало очень популярного и очень старинного романса, находящегося в Антверпенском Cancionero.

– Пусть меня убьют, Санчо, – вскричал Дон-Кихот, – если с нами случится что-либо хорошее этой ночью. Слышишь ты, что поет этот мужик?

– Да слышу, – отвечал Санчо, – но что нам за дело до охоты в Ронсевале? Он мог петь также романс Калаиноса<sup>[90]</sup> и это также было бы безразлично для того хорошего или дурного, что может случиться с нами. Крестьянин в эту минуту поравнялся с ними, и Дон-Кихот спросил его:

– Не можете ли вы, любезный друг мой (да ниспошлет Господь на вас блага всякого рода!), сказать нам, где находятся тут дворцы несравненной принцессы донны Дульцинеи Тобозской!

– Сударь, – отвечал работник, – я не здешний и пришел сюда всего несколько дней назад на службу к богатому крестьянину, для работы на его полях. Но постойте, в этом доме напротив живут священник и пономарь этого села. Один из них сумеет указать вам дом этой госпожи принцессы, потому что у них есть список всех тобозских жителей, хотя, правду сказать, я не думаю, чтобы здесь жила хоть одна принцесса; но тут есть много знатных дам, и, конечно, каждая из них может быть принцессой в своем доме.

– Между этими-то дамами, – заметил Дон-Кихот, – и должна быть та, мой друг, о которой я у вас спрашиваю.

– Возможно, – заметил крестьянин, – но прощайте, день уже начинается.

И, хлестнув своих мулов, он удалился, не обращая более внимания на другие вопросы.

Санчо, видя, что господин его стоит в нерешительности и очень недовольный, сказал:

– Господин, день наступает, а было бы неосторожно оставаться на улице до восхода солнца. Лучше было бы нам выйти из города и вашей милости засесть в каком-либо ближайшем лесу. Я возвращусь днем сюда и не оставлю местечка во всей стороне, чтоб не поискать дворца или алказара вашей дамы. Я буду очень несчастен, если не найду его; а когда найду, буду говорить с ее милостью и скажу ей, где и как ожидаете вы, чтобы она устроила и уладила, как нам видеться с нею без ущерба для ее чести и доброго имени.

– Ты высказал, Санчо, – воскликнул Дон-Кихот, – в нескольких словах тысячу превосходных мыслей. Я соглашаюсь и принимаю от всего сердца совет, который ты мне дал. Хорошо, сын мой, отправимся искать место, где мне можно будет засесть в засаду, пока, как ты говоришь, ты будешь разыскивать, лицезреть и беседовать с моей дамой, обходительность и скромность которой позволяют мне надеяться более нежели на чудесные милости.

Санчо сгорал от нетерпения извлечь своего господина из города, опасаясь, чтобы он не раскрыл обмана в ответе, который он передал ему от Дульцинеи, в Сиерра-Морене. Поэтому он поспешил увести его, и в двух милях от города они нашли лесок, где Дон-Кихот засел, тогда, как Санчо возвратился в город. Но во время его посольства случились вещи, которые требуют и заслуживают удвоенного внимания.

## **ГЛАВА X**

**В которой рассказывается, в каком средстве  
прибег хитроумный Санчо, чтобы очаровать г-жу  
Дульцинею, вместе с другими событиями, столько  
же смехотворными, сколько правдивыми**

Дойдя до того, что заключается в настоящей главе, автор этой великой истории подумал было совсем обойти это молчанием, из опасения, что ему не поверят, так как безумства Дон-Кихота дошли здесь до последнего предела, которого могут достигнуть величайшие безумства, какие только можно себе представить, и даже на два ружейных выстрела больше. Но потом, несмотря на это опасение, он описал их в том виде, в каком рыцарь их творил, не убавляя и не прибавляя ни на йоту и не думая о том, что его могут упрекнуть во лжи. И он был прав, потому что истина, как бы тонка она ни была, никогда не переламывается и всегда всплывает над ложью, как масло над водой.

Итак, продолжая свой рассказ, историк говорит, что как только Дон-Кихот засел в роще, лесочке или лесе по близости от Тобозо, он приказал Санчо возвратиться в город и не показываться ему снова до тех пор, пока ему не удастся с своей стороны поговорить с его дамой, чтобы попросить ее, что бы она снизошла до разрешения пленному рыцарю увидеть ее и соизволила дать ему свое благословение, дабы он мог обещать себе счастливый исход всем своим предприятиям, на которые он впредь решится. Санчо взялся сделать все, что ему приказал его господин, и обещался принести ему такой же хороший ответ, как и в первый раз.

– Иди, мой сын, – сказал Дон-Кихот, – и не смутись, когда увидишь солнечный свет ее красоты, на поиски которой отправляешься ты, счастливейший из всех оруженосцев мира! Собери свою память и хорошенько запомни, как она тебя примет, изменится ли цвет ее лица, когда ты будешь излагать ей предмет твоего посольства; смутится и покраснеет ли она, когда услышит мое имя. В случае если ты застанешь ее сидящею на богатой эстраде, соответствующей ее рангу, заметь, усидит ли она на своих подушках, если она будет стоять, смотря, не будет ли она становиться то на одну, то на другую ногу; не повторит ли она два или три раза ответ, который она тебе даст, не изменит ли она его из сладкого в горький, из



высокомерного в ласковый, не подымет ли она своей руки к прическе, чтобы ее поправить, хотя бы она и не была в беспорядке. Наконец, мой сын, тщательно заметь все ее действия, все движения, ибо, если ты мне хорошо передашь, как они совершались, я выведу из них заключение о том, что осталось скрытым в глубине ее сердца по отношению к моей любви. Нужно тебе знать, Санчо, если ты этого не видишь, что жесты и внешние движения, вырывающиеся у влюбленных, когда им говорят об их возлюбленных, суть верные вестники, передающие о том, что происходит в глубине их дум. Отправляйся, друг. Да будет тебе проводником большее счастье нежели мое, и да возвратишься ты с лучшим успехом, нежели тот, на которые я могу надеяться со страхом в том горьком одиночестве, в котором ты меня оставляешь.

– Я пойду и возвращусь скоро, – отвечал Санчо. – Ну, господин души моей, дайте немножко поправиться этому маленькому сердцу, которое в настоящую минуту должно быть не больше ореха. Вспомните, что обыкновенно говорится: о здоровое сердце разбивается злая судьба, и что где нет свиного сала, там нет и крючка, на который его вешают. Говорят еще: заяц выскакивает там, где его всего менее ждут. Я говорю это потому, что если нынче ночью мы не нашли дворца или алказара моей госпожи, то теперь, днем, я надеюсь найти его, когда всего менее буду об этом думать. А когда я его найду, тогда не мешайте мне только с нею.

– Положительно, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – ты так удачно применяешь поговорки ко всему, о чем мы говорим, что мне остается просить себе у Бога такой же удачи во всем, чего я желаю.

При этих словах Санчо отвернулся и хлестнул своего осла, тогда как Дон-Кихот остался на лошади, опершись на стремяна и на свое копье, полный печальных и смутных мыслей. Мы его тут оставим и последуем за Санчо, который удалился от своего господина не менее задумчивый и смущенный, нежели тот, так что, едва выехав из лесу, он повернул голову и, увидав, что Дон-Кихот скрылся из его глаз, сошел с осла, сел под одним деревом и повел с самим собою такую речь:

– Теперь, брат Санчо, подумаем немножко, куда идет ваша милость. Отправляетесь вы искать осла, которого вы потеряли?

– Конечно нет.

– Ну, так чего же вы идете?

– Я иду искать так называемую принцессу, а в ней солнце красоты и все звезды небесные.

– А где вы думаете найти то, что вы вам говорите, Санчо?

– Где? в великом городе Тобозо.

– Очень хорошо. А от кого вы к ней идете?

– От славного Дон-Кихота Ламанчского, который разрушает всякое зло, поит голодных и кормит жаждущих.

– И это очень хорошо; но знаете ли вы, где она живет, Санчо?

– Мой господин говорит, что в каком-то королевском дворце или великолепном алкаzare. – А видели вы ее когда-нибудь?

– Ни я, ни мой господин никогда ее не видали.

– Но не думаете ли вы, что жители Тобозо, если бы узнали, что вы явились сюда с целью сманивать их принцесс и развращать их дам, не помнут вам бока дубиной, так что в вас не останется живого местечка?

– Да, и они были бы совершенно правы, если бы я не действовал от чужого имени и если бы они не знали, что ты посол, мой друг, ты не заслуживаешь наказания.<sup>[91]</sup>

– На это не полагайтесь, Санчо, потому что жители Ламанча так же горячи, как и почтенны, и никому не дадут себя обойти. Боже мой! Если они только пронюхают ваши намерения, вам не сдобровать.

– Ого! Слуга покорный! Чего ради я стану искать вчерашнего дня для чужого удовольствия. К тому же искать Дульцинею по Тобозо все равно, что спрашивать графа при дворе или бакалавра в Саламанке. Да, это черт, сам черт впутал меня в это дело.

Этот монолог Санчо произнес про себя, и результатом его было то, что он пришел к такому заключению.

– Черт возьми! – подумал он. – От всякого зла есть средство, только не от смерти, игу которой мы все должны покориться, под конец жизни, как бы это нам ни было неприятно. Мой господин, как я уже тысячу раз замечал, сумасшедший, которого надо бы держать на привязи; а я, сказать по правде, не далеко ушел от него; я даже еще глупее его потому, что сопровождаю его и служу у него, если верить поговорке: «Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты таков», или еще: «Не с кем ты родился, а с кем ты сдружился». Ну, а так как он помешанный, и помешательство его такое, что он почти всегда принимает одну вещь за другую, белое за черное и черное за белое, как это видно было, когда он сообразил, что ветряные мельницы великаны с громадными руками, мулы монахов дромадеры, постоянные дворы замки, стада баранов неприятельские армии и многое другое в том же роде, то мне и не трудно будет убедить его, что первая крестьянка, которую я здесь найду, и есть госпожа Дульцинея. Если он не поверит, я побожусь; если он тоже побожится, я побожусь еще крепче; а если он заупрямится, я не уступлю: таким образом, я все время буду брать верх над ним, что бы случилось. Может быть, я совсем отважу его от таких

поручений, когда он услышит, какие поклоны я ему принес. А может быть, он вообразит, что какой-нибудь злой волшебник из тех, которые, как он говорит, преследуют его, изменил лицо его дамы, чтобы сыграть с ним штуку.

На этих словах Санчо Панса совершенно успокоил себя и счел свое дело счастливо законченным. Он некоторое время полежал под деревом, чтоб Дон-Кихот поверил, что он успел съездить туда и обратно. Все шло так хорошо, что когда он поднялся, чтобы влезть на осла, он увидел, что из Тобозо приближаются три крестьянки на трех ослах, или трех ослицах – этого автор хорошенько не разъяснил, хотя вероятнее, что это были ослицы, так как крестьянки обыкновенно ездят на них, но так как этот вопрос большого интереса не представляет, то и бесполезно дальше останавливаться на нем, чтоб его разъяснить. Словом, едва Санчо увидел этих крестьянок, как рысью поскакал к своему господину Дон-Кихоту, которого нашел вздыхающим и испускающим жалобные возгласы влюбленного. Увидав его, Дон-Кихот сказал:

– Ну, что, друг Санчо? Отметить мне нынешний день белым или черным камнем?<sup>[92]</sup>

– Вам бы лучше, – ответил Санчо, – отметить его красными буквами, как на надписях в коллегиях, чтобы всякий мог издали прочитать их.

– Значит, – возразил Дон-Кихот, – ты принес хорошие вести?

– Такие хорошие, – ответил Санчо, – что вам остается только пришпорить Россинанта и выехать навстречу к госпоже Дульцинее Тобозской, которая едет с двумя из своих камеристок в гости к вашей милости.

– Пресвятая Богородица! – вскричал Дон-Кихот. – Что ты говоришь, друг Санчо? О, заклинаю тебя, не обманывай меня и не старайся ложными радостями рассеять мою печаль!

– Какая мне польза обманывать вас, – возразил Санчо, – когда вам так легко открыть обман? Пришпорьте-ка, коня, господин, и поедemте со мной, и вы увидите нашу госпожу принцессу, раздетую и разряженную, как ей подобает. Она и ее камеристки – это, я вам говорю, целая золотая река, жемчужные колосья, бриллианты, рубины, парча в десять этажей вышиной. Волосы рассыпаны у них по плечам, точно солнечные лучи, играющие с ветром. И в довершение всего, они на трех прекрасных пегих одноходцах.

– Иноходцах, хочешь ты сказать, Санчо? – заметил Дон-Кихот.

– От иноходца до одноходца недалеко, – возразил Санчо; – но на чем бы они не ехали, они прелестнейшие дамы, каких только можно желать, особенно принцесса Дульцинея, моя госпожа, которая очаровывает все пять

чувств.

– Пойдем, сын мой Санчо! – вскричал Дон-Кихот. – А чтоб вознаградить тебя за эти вести, столь же прекрасные, сколько неожиданные, я дарю тебе богатейшую добычу, какая достанется мне от первого же приключения; а если тебе этого мало, я дарю тебе жеребят, которых принесут мне в этом году мои кобылы, которые теперь на сносях, как ты знаешь, на общественных лугах.

– Я возьму лучше жеребят, – ответил Санчо, – потому что еще неизвестно, будет ли стоить еще внимания добыча от первого приключения.

С этими словами они выехали из лесу и очутились около трех поселянок. Дон-Кихот окинул взглядом всю тобозскую дорогу, но, видя только этих трех крестьянок, он смутился и спросил у Санчо, не оставил ли он дам за городом.

– Как за городом? – вскричал Санчо. – Разве у вашей милости глаза назад? Разве вы не видите тех, которые приближаются к нам, сияя, как полуденное солнце?

– Я вижу, Санчо, только трех крестьянок на трех ослицах, – ответил Дон-Кихот.

– С нами крестная сила! – возразил Санчо. – Возможно ли, чтоб три иноходца, или как их там называют, белые, как снег, казались вам ослицами? Клянусь Богом! я вырвал бы себе бороду, если б это была правда.

– Да уверяю тебя, друг Санчо, – возразил Дон-Кихот, – что это так же верно, что это ослицы или ослы, как то, что я Дон-Кихот, а ты Санчо Панса. По крайней мере, мне так кажется.

– Молчите, господин! – вскричал Санчо Панса. – Не говорите таких вещей, а протрите глаза и подите, приветствуйте даму ваших мыслей, которая здесь, около вас.

С этими словами он подъехал к трем поселянкам, и, соскочив с своего осла, взял за недоуздок осла первой из них, потом, опустившись на оба колена, вскричал:

– Царица, принцесса и герцогиня красоты! Да будет ваше высокомерное величие так великодушно, чтобы милостиво допустить и благосклонно принять этого покоренного вами рыцаря, который стоит там, как каменное изваяние, смущенный, бледный и бездыханный оттого, что видит себя в вашем великолепном присутствии. Я Санчо Панса, его оруженосец, а он беглый и бродячий рыцарь Дон-Кихот Ламанчский, иначе называемый Рыцарем Печального Образа.

В эту минуту Дон-Кихот уже бросился на колени рядом с Санчо и растерянным, смущенным взглядом глядел на ту, которую Санчо называл царицей и госпожой. А так как он видел в ней только простую деревенскую девку, и к тому еще довольно невзрачную, потому что лицо у нее было раздутое и курносое, то он стоял ошеломленный и не мог открыть рта. Крестьянки были не менее поражены, видя этих двух людей, таких различных по наружности, на коленях на дороге заграждающими путь их товарке. Эта же, нарушив молчание, закричала с мрачным видом:

– Прочь с дороги! убирайтесь! дайте проехать, нам некогда!

– О, принцесса! – ответил Санчо Панса, – О, всемирная дама из Тобозо! Как! Ваше великодушное сердце не трогается при виде столпа и славы странствующего рыцарства на коленях в вашем божественном присутствии?

Одна из двух остальных, услышав эти слова, сказала:

– Эй ты! Поди-ка сюда, я тебя отдую, ослица свекрова.<sup>[93]</sup> Смотрите-ка, как эти щеголи потешаются над поселянками, словно мы хуже других будем. Ступайте своей дорогой и пустите нас ехать, куда нужно, если не хотите, чтоб вам попало.

– Вставай, Санчо, – сказал Дон-Кихот: – я вижу, что судьба, которая еще не насытилась моим несчастьем, закрыла все дороги, по которым могла бы прийти радость к жалкой душе, находящейся в моем теле.<sup>[94]</sup> А ты, о божественный предел всех достоинств, совершенство человеческой прелести, единственное лекарство для этого огорченного сердца, которое тебя обожает! Пусть злой волшебник, преследующий меня, набросил на мои глаза облака и катаракты и превратил – не для других, а только для них – твою несравненную красоту и божественное лицо в наружность жалкой крестьянки; но если он только не превратил и моего лица в морду какого-нибудь вампира, чтобы сделать его отвратительным в твоих глазах, – о, не переставай глядеть на меня с кротостью, с любовью, видя в моей покорности, в моем коленопреклонении перед твоей искаженной красотой, с каким смирением душа моя тебя обожает и сливается с тобой.

– Эй, не подъезжай ко мне, – ответила поселянка. – Не таковская я, чтоб слушать всякую дребедень. Прочь, говорят вам! Дайте дорогу: некогда нам возиться.

Санчо посторонился и дал ей проехать, довольный тем, что его плутни так удалась. Когда поселянка, сыгравшая роль Дульцинеи, почувствовала себя свободной, как ткнула свою ослицу гвоздем, который был у нее на конце палки, и пустилась вскачь вдоль луга; но когда ослица почувствовала,

что гвоздь колет ее более обыкновенного, она стала делать прыжки, и госпожа Дульцинея очутилась на земле. При виде этого злоключения, Дон-Кихот бросился ее подымать, а Санчо принялся поправлять вьюк, очутившийся у ослицы под животом. Когда вьюк был поднят и привязан, Дон-Кихот хотел поднять заколдованную даму и на руках снести ее на ослицу, но дама избавила его от этого труда: она поднялась, сделала несколько шагов назад, разбежалась и, упершись руками в круп ослицы, вскочила на вьюк легче сокола и села верхом по-мужски.

– Клянусь святым Рохом! – вскричал Санчо. – Наша госпожа прыгает лучше козленка и могла бы научить вольтижированию самого ловкого из оруженосцев Кордовы или Мексики; она одним прыжком перескочила через овраг седла; и как она без шпор умеет наставлять своего иноходца наострять лыжи, точно зебр, и право, ее камеристки не отстают от нее: они все летят, как ветер.

Это была правда, потому что, увидав Дульцинею в седле, они пришпорили ослиц и все трое пустились вскачь, проехав, не оборачиваясь, добрых полмили.

Дон-Кихот долго следил за ними глазами, а когда они скрылись, он обернулся к Санчо и сказал:

– Как это тебе покажется, Санчо? видишь, как меня ненавидят колдуны; видишь, до чего доходят их коварство и злоба, когда они вздумали даже лишить меня счастья, которое я испытал бы, созерцая мою даму в настоящем ее виде. О, да! я рожден, чтобы быть олицетворением несчастий, белым цветом, который служит мишенью для стрел злой судьбы. Притом заметь, Санчо, что эти мошенники не удовольствовались тем, что преобразили Дульцинею, дав ей такое низменное лицо, безобразное, как у поселянки: они еще отняли у нее все то, что составляет принадлежность знатных дам – благоухание от жизни среди цветов и ароматов, ты должен узнать, Санчо, что когда я подошел, чтобы посадить Дульцинею на ее животное (иноходца, как ты говоришь, но который все-таки показался мне ослицей), она обдала меня запахом сырого чеснока, который замутил мое сердце и отравил душу.

– Ах, каналы! – изо всех сил закричал Санчо. – О, подлые, коварные волшебники! Почему я не могу видеть вас всех повешенными за жабры, как сардинки на вертеле! Много вы знаете, много можете и много делаете зла! Мало вам было, проклятые плуты, изменить жемчужные глаза моей госпожи в гадкие желуди, ее волосы из чистого золота в шерсть рыжей вороны и все ее черты из очаровательных в отвратительные; зачем же было трогать еще ее запах? По нем мы бы, по крайней мере, предугадали, что

скрыто под этой уродливой оболочной; хотя я, правду сказать, не видал ее уродства, а видел только ее красоту, еще увеличенную большим родимым пятном, которое виднеется на ее верхней губе, на подобие усов, с семью или восемью светлыми волосами, словно золотыми нитями, длиною больше пяди.

– Кроме этого родимого пятна, – сказал Дон-Кихот, – и судя по соответственно между родимыми пятнами на лице и на теле,<sup>[95]</sup> у Дульцинеи должно быть пятно на бедре, соответствующем той стороне, где у нее родимое пятно на лице. Но такой величины волосы, как ты сказал, невозможны на родимых пятнах.

– Ну, я могу сказать вашей милости, – ответил Санчо, – что они казались там точно нарочно для того созданными.

– Конечно, друг, – возразил Дон-Кихот, – потому что природа ничего не дала Дульцинее, что не было бы самым совершенством, потому, имей она хоть сто таких родимых пятен, как ты говоришь, это все были бы знаки зодиака и блестящих звезд.<sup>[96]</sup> Но скажи мне, Санчо: то, что показалось мне выюком и что ты поднял на место, было седлом плоским или в виде кресла?

– Это было, черт возьми, наездничье седло,<sup>[97]</sup> – ответил Санчо, – с попоной, которая стоит полцарства, так она богата.

– Как это я всего этого не заметил, Санчо! – вскричал Дон-Кихот. – О, повторяю и тысячу раз буду повторять, что я несчастнейший из смертных!

Плут Санчо едва мог удержаться от смеха, слыша чудачества своего господина, так тонко одураченного им. Наконец, после многих разговоров, они оба сели на своих животных и поехали в Сарогоссу, куда надеялись приехать вовремя, чтобы присутствовать на пышных празднествах, которые ежегодно происходили в этом славном городе.<sup>[98]</sup> Но прежде, чем они туда доехали, с ними случилось так много приключений, и таких удивительных и таких новых, что стоит их записать и прочитать, как читатель увидит ниже.

## ГЛАВА XI

### О странном приключении, случившемся с доблестным Дон-Кихотом при встрече с телегой или тележкой Кортесов Смерти

Дон-Кихот задумчиво ехал своей дорогой, озабоченный плохой шуткой, которую сыграли с ним волшебники, превратив его даму в безобразную крестьянку, и не в состоянии придумать средства, как бы воротить ей ее прежний вид. Эти мысли так выводили его из себя, что, сам того не замечая, он выпустил уздечку Россинанта, который, заметив предоставленную ему свободу, останавливался на каждом шагу, чтобы поесть свежей травы, обильно покрывавшей это место.

Санчо вывел своего господина из этого молчаливого экстаза.

– Господин, – сказал он, – печаль создана не для скотины, а для людей, и однако, когда люди без меры предаются ей, они становятся скотами. Полно, придите в себя, мужайтесь, возьмите в руки узду Россинанта, откройте глаза и явите твердость, подобающую странствующим рыцарям. Что это, черт возьми? К чему это уныние? Во Франция мы или здесь? Пусть лучше сатана поберет всех Дульциней, какие есть на свете, потому что здоровье одного странствующего рыцаря дороже всех чародейств и превращений в мире! – Молчи, Санчо, – ответил Дон-Кихот, довольно громким голосом, – молчи, говорю я, и не произноси богохульств против этой заколдованной дамы, которой опала и несчастье произошли по моей вине. О, ее ужасное приключение есть последствие зависти, которую чувствуют ко мне эти злодеи!

– Я это самое и говорю, – возразил Санчо; – кто это видел и видит, у того сердце не может не разрываться на части.

– О, ты можешь, конечно, говорить это, Санчо! Ты видел ее во всем блеске ее красоты, потому что колдовство не омрачает твоего зрения и не скрывает от тебя ее прелестей: против меня одного и против моих глаз направлена сила его яда. Тем не менее, Санчо, мне сдается, что ты плохо описал ее красоту, потому что, сколько мне помнится, ты сказал, что у нее жемчужные глаза, а жемчужные глаза скорее похожи на рыбы, чем на дамские. Мне думается, что глаза Дульциней должны быть изумрудно-зеленые, с красивым разрезом и бровями в виде радуг. Что касается жемчуга, то убери его от глаз и перенеси на зубы, потому что ты, наверное,



перепутал, Санчо, приняв глаза за зубы.

– Очень может быть, – ответил Санчо, – потому что меня так же смутила ее красота, как вашу милость ее безобразие. Но положимся на Бога, который один знает, что должно случиться в этой юдоли слез, в этом злом свете, который служит нам местопребыванием и в котором ничего не найдешь без примеси обмана и коварства. Одно меня огорчает более всего, господин: что делать, когда ваша милость победит какого-нибудь великана или другого рыцаря и прикажете ему явиться к прелестям госпожи Дульцинеи? У какого черта найдет ее этот бедный великан или этот несчастный побежденный рыцарь? Я уже будто вижу, как они рыскают, словно ротозеи, по Тобазо, обнюхивая воздух и ища госпожу Дульцинею, которую могут встретить на улице, узнав ее не лучше, чем моего отца.

– Быть может, – ответил Дон-Кихот, – чародейство не дойдет до того, чтоб отнять у великанов и побежденных рыцарей, которые явятся от моего имени, способность узнавать Дульцинеи. Мы сделаем опыт с одним или двумя из первых, которых я побегу и пошлю к ней, и узнаем, увидит они ее или нет, потому что я прикажу им явиться ко мне с докладом о том, что они при том испытают.

– Уверяю вас, господин, – ответил Санчо, – что я нахожу очень хорошим то, что вы сейчас сказали. Эта хитрость нам действительно поможет узнать то, что мы желаем знать. Если она скрыта только от вас одних, то это будет несчастьем скорее для вас, чем для нее. Но только бы госпожа Дульцинея была здорова и весела, а уж мы здесь как-нибудь уладим дело и будем жить как можно лучше, ища приключений и предоставляя времени делать все дело, потому что это хороший врач подобных и всяких других болезней.

Дон-Кихот хотел ответить Санчо Панса, но его остановило появление на повороте дороги тележки, на которой сидели самые разнообразные люди, самых странных наружностей, какие только можно себе вообразить. Тот, который управлял мулами и исполнял обязанность возницы, был отвратительный черт. Тележка была открытая, без полотняного или ивового верха. Первая фигура, представлявшаяся глазам Дон-Кихота, была сама смерть в человеческом образе. Рядом с нею находился ангел с большими цветными крыльями. С другой стороны сидел император, носивший на голове, по-видимому, золотую корову. В ногах смерти сидел бог, называемый Купидоном, без повязки на глазах, но с луком, стрелами и колчаном. Далее виднелся рыцарь в полном вооружении, только без шишака и шлема, а в шляпе, украшенной разноцветными перьями. Позади этих лиц сидели еще другие в разных костюмах и равных видов. Все это

своим внезапным появлением несколько смутило Дон-Кихота и испугало Санчо. Но Дон-Кихот сейчас же почувствовал радость, подумав, что судьба, наконец, посылает ему новое и опасное приключение. С этой мыслью он, одушевленный храбростью, готовый идти навстречу всякой опасности, подъехал к тележке и вскричал громким, угрожающим голосом:

– Возчик, кучер или дьявол, или кто бы ты ни был! говори скорее, кто ты такой, куда едешь и кто эти люди, которых ты везешь в своем шарабане, который скорее похож на лодку Харона, чем на телегу, какие обыкновенно употребляются людьми.

Дьявол, остановив телегу, ответил сладким голосом:

– Господин, мы комедианты из труппы Ангуло Дурного.<sup>[99]</sup> Сегодня, в восьмой день праздника тела Господня, мы играли в одной деревне, которая находится вот за этим холмом, божественную комедию Кортесы Смерти,<sup>[100]</sup> а сейчас мы должны играть ее вот в той деревне, которая видна отсюда. Так как это очень близко, и мы хотели сэкономить труд переодевания, то мы и поехали в костюмах, в которых должны представлять. Этот молодой человек изображает смерть, тот – ангела, эта женщина, жена антрепренера,<sup>[101]</sup> одета царицей, этот – солдатом, тот императором, а я – чертом, и я одно из главных действующих лиц божественной комедии, потому что я в этой труппе играю первые роли. Если ваша милость хотите еще что-нибудь узнать о нас, так спрашивайте: я сумею ответить самым точным образом, потому что от меня, как от черта, ничто не скрыто, и я все знаю.

– Клянусь честью странствующего рыцаря, – возразил Дон-Кихот, – что, увидав эту тележку, я подумал, что мне представляется какое-нибудь великое приключение, а теперь я говорю, что надо дотронуться руками до внешности, чтоб разубедиться. Ступайте с Ботом, добрые люди, хорошенько повеселитесь на празднике и подумайте, не могу ли я на что-нибудь пригодиться вам: я бы охотно и от души послужил вам потому, что я с детства очень люблю театральные маски, и в молодости комедия была моей страстью.<sup>[102]</sup>

Пока они так разговаривали, судьбе угодно было, чтоб один из отставших актеров труппы подошел к ним. Он был одет придворным шутом со множеством бубенчиков, и держал в руках палку, на конце которой привязано было три надутых бычачьих пузыря. Подойдя к Дон-Кихоту, этот урод принялся фехтовать своей палкой, бить по земле пузырями и прыгать направо и налево, позвякивая бубенчиками. Это фантастическое зрелище до того испугало Россинанта, что, прежде чем Дон-Кихот успел осадить его, он закусил удила и бросился спасаться через

поле с большей легкостью, чем можно было ожидать от его костей. Санчо, видя, что господину его грозит опасность быть сброшенным на землю, соскочил с своего осла и со всех ног пустился спасать его. Когда он добежал до Дон-Кихота, тот лежал уже распростертый на земле, а около него лежал Россинант, виновник его падения: обычный конец и последний результат всех резвостей и подвигов Россинанта. Но едва Санчо оставил свое животное, как дьявол с пузырями вскочил на осла и, хлестнув его ими, заставил его – скорее от страха, чем от боли – помчаться через поле к деревне, где должно было произойти празднество. Санчо глядел на бегство своего осла и на распростертого господина, не зная, чему прежде помочь. Но так как он был хорошим оруженосцем и верным слугой, то любовь к господину взяла в нем верх над любовью к ослу, хотя каждый раз, как он видел, что пузыри поднимаются и опускаются на круп осла, он чувствовал смертельную тоску и предпочел бы, чтобы удары эти лучше сыпались на зрачки его глаз, чем на малейший волосок от хвоста его осла. В этой смертельной тревоге он приблизился к месту, где покоился Дон-Кихот, гораздо более пострадавший, чем ему это было желательно, и сказал, помогая ему сесть на Россинанта: – Господин, черт унес осла.

– Какой черт? – спросил Дон-Кихот.

– С пузырями, – ответил Санчо.

– Ну, я у него отыму его, – возразил Дон-Кихот, – хотя бы он спрятался с ним в самые глубокие и темные недра ада. Следуй за мной, Санчо; тележка медленно едет, и я вознагражу потерю осла мулами, которые везут ее.

– Не зачем вам трудиться, господин, – ответил Санчо, – пусть ваша милость успокоит свой гнев. Мне кажется, что дьявол бросил осла, и бедное животное возвращается восвояси.

Санчо говорил правду, потому что дьявол упал вместе с ослом, в подражание Дон-Кихоту с Россинантом, и пешком дошел до деревни, тогда как осел возвратился к своему господину.

– Все равно, не мешает наказать нахальство этого черта, – сказал Дон-Кихот, – на ком-нибудь из сидящих в тележке хотя бы это был сам император.

– Выкиньте это из головы, – вскричал Санчо, – и последуйте моему совету, который состоит в том, чтоб никогда не затевать ссор с комедиантами, потому что этот народ пользуется привилегиями. Я видел, как одного из них арестовали за два убийства и выпустили из тюрьмы без наказания. Знайте, господин, что это люди удовольствия и веселья; все им покровительствуют, помогают и уважают, особенно когда они принадлежат

к королевским и титулованным<sup>[103]</sup> трупам, потому что тогда их по одежде и осанке можно принять за принцев.

– Все равно! – вскричал Дон-Кихот. – Этот дьявол-скоморох не уйдет так, издеваясь надо мной, хотя бы весь род человеческий покровительствовал ему!

С этими словами он повернул лошадь в вдогонку тележки, которая уже почти въезжала в деревню, и стал кричать на ходу:

– Остановитесь, остановитесь, веселый, гаерный сброд! Я хочу научить вас, как надо обращаться с ослами и другими животными, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей.

Крики, испускаемые Дон-Кихотом, были так громки, что ехавшие на тележке слышали их и поняли из слов намерение говорившего. В одно мгновение Смерть соскочила на землю, за ней император, потом черт-кучер, а там и ангел, не остались в тележке и царица, и бог Купидон. Все они схватили камни и стали в боевую позицию, готовые встретить Дон-Кихота своими снарядами. Рыцарь, видя, что они выстроились в боевой порядок и подняли руки, готовые с силой пустить в него камнями, удержал Россинанта за узду и принялся размышлять, каким образом с наименьшей опасностью для себя атаковать их. Пока он стоял, к нему подъехал Санчо и, видя, что он готовится атаковать отряд, вскричал:

– Это было бы чересчур безумно братья за такое дело! Сообразите, мой дорогой господин, что против такого гостинца нет на свете оборонительного оружия, кроме разве прикрытия из бронзового колокола. Сообразите также, что было бы скорее безрассудством, чем храбростью, если б один человек атаковал армию, во главе которой стоит Смерть, в которой сражаются сами императоры и в которой участвуют добрые и злые ангелы. Если этих соображений недостаточно, чтоб удержать вас в покое, так пусть вам хоть будет достаточно знать, что между всеми этими людьми, хотя они и кажутся королями, принцами и императорами, нет ни одного, который был бы странствующим рыцарем.

– Теперь, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – ты действительно коснулся пункта, который может и должен изменить мое решение. Я не могу и не должен обнажать шпаги, как я уже много раз говорил тебе, против людей, которые не принадлежат к числу посвященных в рыцари. Дело это касается тебя, Санчо, если ты хочешь отомстить за оскорбление, нанесенное твоему ослу. Я отсюда стану помогать тебе поощрениями и благодетельными советами.

– Не из-за чего, господин, и не кому мстить, – ответил Санчо. – К тому же, добрый христианин не должен мстить за оскорбление, тем более, что я

улажу с своим ослом, чтоб он предоставил свое оскорбление в руки моей воли; которая состоит в том, чтобы прожить мирно те дни, которые небу угодно будет дать мне прожить.

– Ну, – сказал Дон-Кихот, – если твое решение таково, добрый Санчо, благоразумный Санчо, христианин Санчо, – бросим эти призраки и отправимся искать более солидных приключений: эта страна, сдается мне, способна доставить их нам много, и притом самых чудесных.

Он сейчас же повернул лошадь, Санчо отправился сесть на осла, Смерть со своим летучим отрядом села в тележку, чтобы продолжать путь, – и таков был счастливый исход ужасного приключения с телегой Смерти. Благодарить за это следует Санчо, давшего благодетельный совет господину, с которым на другой день случилось не менее интересное и не менее любопытное приключение с одним влюбленным странствующим рыцарем.

## ГЛАВА XII

### О странном приключении, случившемся с славным Дон-Кихотом и храбрым рыцарем Зеркал

Ночь, следовавшую за днем встречи с телегой Смерти, Дон-Кихот и его оруженосец провели под большими тенистыми деревьями, и Дон-Кихот, по совету Санчо, поел провизии, которую нес осел. За ужином Санчо сказал своему господину:

– Гм! господин, будь я скотиной, если я выберу в награду добычу от вашего первого приключения, вместо жеребят от трех кобыл! Правда, правда, лучше синицу в руки, чем журавля в небе.

– Тем не менее, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – если б ты не помешал мне и дал бы мне атаковать, как я хотел, ты подучил бы свою долю добычи – по крайней мере, золотую корону императрицы и пестрые крылья Купидона, которые я вырвал бы у него, чтоб отдать их тебе.

– Ба! возразил Санчо. – Скипетры и короны театральных императоров никогда еще не бывали из чистого золота, а попросту из принцметалла или жести.

– Это правда, – ответил Дон-Кихот, – потому что неприлично было бы, чтобы принадлежности комедий были из благородных металлов: они должны быть, как и самая комедия, поддельны и мишурны. Что же касается комедии, то я хочу, Санчо, чтоб ты ее полюбил так же, как тех, которые изображают комедии и которые сочиняют их потому, что они служат благу государства, давая нам на каждом шагу зеркало, в котором все деяния человеческой жизни отражаются в настоящую величину. И в самом деле, никакое сравнение не показало бы нам так наглядно, что мы есть и чем должны быть, как комедия и комедианты. Скажи мне, Санчо, видал ли ты комедии, в которых изображаются короли, императоры, архиереи, рыцари, дамы и разные другие личности? Один изображается фанфароном, другой обманщиком, этот солдатом, тот купцом, один благоразумным олухом, другой влюбленным олухом, а когда комедия кончается, и они снимают костюмы, все комедианты становятся равными за кулисами.

– Да, это я видел, – ответил Санчо.

– Ну, – продолжал Дон-Кихот, – то же самое происходит и в комедии этого мира, где одна играют роли императоров, другие архиереев, и есть

еще много личностей, которых невозможно ввести в комедии. Когда же они доходят до конца пьесы, т. е. когда кончается жизнь, смерть со всех снимает мишуру, которая различала их, и все становятся равны в могиле.

– Славное сравненье! – воскликнул Санчо. – Хотя оно и не так ново, чтоб я не слышал его много раз, так же как другое, о шахматной игре: пока игра длится, каждая фигура имеет свое особое значение; когда же она кончается, их смешивают, встряхивают, опрокидывают и, наконец, бросают в мешок, точно из жизни бросают их в могилу.

– С каждым днем! – сказал Дон-Кихот, – я замечаю, ты становишься менее простоват, что ты делаешься все понятливее, умнее.

– От прикосновения к вашему уму, – ответил Санчо, – у меня должно же что-нибудь оставаться на кончике пальцев. Земли, которые от природы сухи и бесплодны, начинают давать хорошие плоды, когда их унаваживают и возделывают. Я хочу сказать, что разговоры вашей милости были навозом, упавшим на сухую почву моего бесплодного ума, а его возделыванием было время, которое прошло с той поры, как я вам служу и с вами вожу компанию. С этим я надеюсь принести плоды, которые будут благословенны, никогда не выроются и не уклонятся с пути хорошего воспитания, которое ваша милость дали моему сухому рассудку.

Дон-Кихот принялся хохотать над напыщенными выражениями Санчо; но ему казалось, что тот сказал правду относительно своих успехов, потому что Санчо по временам говорил так, что поражал своего господина, хотя почти всякий раз, как он хотел выразиться хорошим языком, как кандидат на конкурсе, он кончал свою речь, бросаясь с вершины своей простоты в пучину своего невежества. Всего более изящества и памяти он обнаруживал при цитировании кстати и не кстати пословиц, как читатель видел и еще увидит в течение этой истории.

Этот разговор и еще многие другие заняли большую часть ночи. Наконец, Санчо почувствовал желание опустить занавески своих глаз, как он выражался, когда хотел спать; он расседлал осла, и пустил его свободно пастись на траве. Что касается Россинанта, то он не снял с него седла, потому что его господин отдал особый приказ, чтобы во все время, пока они будут в походе и не будут ночевать под кровлей дома, Россинант был под седлом, по древнему обычаю, соблюдаемому странствующими рыцарями. Снять уздечку и повесить ее на орчаг седла – это так, но снять с коня седло – слуга покорный! Так и сделал Санчо, чтобы дать ему такую же свободу, как и ослу, дружба которого с Россинантом была так велика, так единственна в своем роде, что, если верить преданию, передаваемому от отца в сыну, автор этой правдивой истории посвятил этой дружбе несколько

глав, но затем, чтоб не нарушить приличия и достоинства, подобающих такой героической истории, он их выключил. Тем не менее, он иногда забывает о своем решении и пишет, например, что, как только оба животных получали возможность соединиться, они принимались тереться друг о друга, и, удовлетворившись этой взаимной услугой, Россинант клал свою шею поперек шея осла, так что она выдвигалась с противоположной стороны более, чем на поларшина, и оба, пристально уставившись в землю, обыкновенно стояли так по три дня или, по крайней мере, столько времени, сколько им позволяли, или пока голод не разъединял их. Автор сравнивал, говорят, их дружбу с дружбой Низуса и Эвриала или Ореста и Пилада. Если это так, то автор хотел показать, как искренна и прочна была дружба этих двух мирных животных, на всеобщее удивление и в посрамление людям, которые так не умеют сохранять друг к другу дружбы. Поэтому-то и говорят: «Нет друга для друга, тростниковые палки становятся копьями», [104] и поэтому составила пословица: «От друга другу клоп в глаз». Но следует, однако, думать, будто автор уклонился от настоящего пути, сравнивая дружбу этих животных с людскою, потому что люди уже много раз были предостерегаемы зверями и многому весьма важному научились от них: например, у аистов они научились клистирам, от собак рвоте и благодарности, от журавлей бдительности, от муравьев предусмотрительности, от слонов стыдливости и от лошади верности. [105]

Наконец, Санчо уснул у подошвы пробкового дерева, а Дон-Кихот улегся под громадным дубом. Немного прошло времени с тех пор, как они уснули, когда Дон-Кихот был разбужен шумом, который послышался позади его. Он вскочил и стал всматриваться и прислушиваться, откуда идет шум. Он увидел двоих человек верхами и услышал, как один из них, соскочив с седла, сказал другому:

– Слезай на землю, друг, и сними узду с лошадей; это место, как мне кажется, столько же изобилует травой для них, сколько уединением и тишиной для моих мыслей влюбленного.

Сказать эти немногие слова и растянуться на земле было делом одной минуты; а когда незнакомец ложился, на нем застучало оружие. По этому признаку Дон-Кихот догадался, что это бил странствующий рыцарь.

Подойдя к спавшему Санчо, он дернул его за руку и не без труда растолкал его, затем тихо промолвил:

– Санчо, брат мой, приключение наклеывается.

– Слава тебе Господи! – ответил Санчо. – Но скажите, господин, где ее милость госпожа приключение?



– О, Санчо, – вскричал Дон-Кихот. – Обернись и взгляни туда: ты увидишь расprostертым на земле странствующего рыцаря, который, как мне кажется, не очень то счастлив, потому что и видел, как он соскочил с коня и бросился на землю с некоторыми проявлениями печали; а когда он падал, я слышал бряцание его оружия.

– Но из чего же вы видите, – спросил Санчо, – что это приключение?

– Я не утверждаю, чтоб это было уже самое приключение, – ответил Дон-Кихот, – но это начало: так всегда начинаются приключения. Но, тс! прислушайся: мне кажется, что он настраивает лютню или мандалину, а из того, как он отплевывается и откашливается, видно, что он собирается что-то спеть.

– Правда, правда! – согласился Санчо. – Это, наверное, влюбленный рыцарь.

– Не влюбленных странствующих рыцарей и нет на свете, – возразил Дон-Кихот. – Но послушаем, а когда он запоеет, мы из нитей его голоса намотаем клубок его мыслей, ибо от избытка сердца говорят уста.<sup>[106]</sup>

Санчо хотел ответить своему господину, но ему помешал голос рыцаря леса, не плохой и не хороший. Они оба стали слушать и услышали следующий

### **Сонет.**

Прекрасная, пускай твое решенье  
Моею волей вечно руководят,  
Пускай оно с пути того не сходит,  
Что указало ей твое веленье.

Желаешь ты, чтоб, скрыв в груди мученье,  
Замолкнул я, – и смерть моя приходит,  
Желаешь песен ты, – и в душу, сходит,  
С самих небес святое вдохновенье.

Противоречье в сердце мне вселилось:  
Как воск стал мягок я и тверд как камень;  
Любви законам сердце покорилось.

На воске иль на камне страсти пламень  
Веления твои пускай начертит,  
И сердце, восприняв, их обессмертит.

Рыцарь леса закончил свое пение вырвавшимся из глубины души возгласом увы! затем, после некоторого молчания, томно и жалобно вскричал:

– О, прекраснейшая и неблагодарнейшая из всех женщин в мире! Как можешь ты, блистательнейшая Кассильда Вандалийская, допускать, чтобы покоренный тобой рыцарь изнурился и погибал в вечных странствованиях и в мучительных, тяжких трудах? Разве тебе мало того, что я заставил всех наваррских, леонских, андалузских и кастильских, и, наконец, ламанчских, рыцарей признать тебя первой красавицей в мире?

– О, уж это неправда! – вскричал Дон-Кихот. – Я сам из Ламанчи, и никогда не признавал ничего подобного и не мог и не должен был признавать ничего такого оскорбительного для красоты моей дамы. Ты видишь, Санчо, что этот рыцарь забирается; но послушаем еще: может быть, он еще что-нибудь откроет.

– Наверное, откроет, – ответил Санчо: – он собирается, кажется, целый месяц нюнить.

Однако, ничего подобного не случилось; рыцарь леса, услышав, что поблизости разговаривают, прекратил свои вопли и, приподнявшись, сказал звучным, учтивым голосом:

– Кто там? Что за люди? Счастливые это или несчастные?

– Несчастные, – ответил Дон-Кихот.

– Ну, так подите ко мне и знайте, что вы приближаетесь к олицетворенному несчастью и олицетворенной горести, – продолжал рыцарь леса.

Дон-Кихот, услышав такой чувствительный и учтивый ответ, подошел к незнакомцу, а за ним подошел и Санчо. Печальный рыцарь схватил Дон-Кихота за руку и сказал:

– Садитесь, господин рыцарь. Я сразу узнаю в вас рыцаря, и притом из тех, которые принадлежат к числу странствующих рыцарей, иначе вы не находились бы в этом месте, где одно уединение и одно открытое небо составляют вам компанию, в этом обычном жилище и естественном ложе странствующих рыцарей...

Дон-Кихот отвечал:

– Я действительно рыцарь и действительно странствующий, и хотя горе и несчастье навсегда поселились в моем сердце, но они еще не лишили его способности сочувствовать чужому несчастью. Из того, что, вы сейчас пели, я понял, что ваше несчастье любовное, т. е. я хотел сказать,

произошло от любви, которую вы питаете к той неблагодарной, чье имя вы произнесли в своих жалобах.

Разговаривая, таким образом, оба рыцаря мирно и согласно сидели рядом на жестком земляном ложе, точно из не предстояло при первых лучах восходящего солнца перерезать друг другу горло.

– Господин рыцарь, – обратился рыцарь Леса к Дон-Кихоту, – не влюблены ли вы, скажите?

– К несчастью, да – ответил Дон-Кихот, – хотя, собственно говоря, страдания, проистекающие из достойной любви, могут быть названы скорее счастьем чем несчастьем.

– Совершенно верно, – согласился рыцарь леса; – если только холодность красавицы не помутит нашего рассудка и не подвинет его к отмщению.

– Я никогда не испытывал холодности моей дамы, – ответил Дон-Кихот.

– Нет, нет! – прибавил Санчо, находившийся близ него. – Наша дама кротка, как агнец, и мягка, как масло.

– Это ваш оруженосец? – спросил незнакомец.

– Он самый, – ответил Дон-Кихот.

– Я, – возразил незнакомец, никогда не видывал оруженосцев, которые бы осмеливались вмешиваться в разговор своих господ. Вот, например, моего оруженосца никто не упрекнет в том, чтоб он когда-нибудь вмешивался в мои разговоры.

– Ну, а я, – вскричал Санчо, – и говорил, и буду говорить перед другими... и даже... но оставим это: лучше не трогать.

Тут оруженосец незнакомца схватил Санчо за руку.

– Пойдем-ка, куманек, – сказал он, – в такое место, где нам можно будет поболтать всласть, и дадим нашим господам рассказывать друг другу свои любовные похождения. Они, чего доброго, и до рассвета не наговорятся.

– Изволь, – ответил Санчо. А я скажу вашей милости, кто я такой, чтоб вы знали, можно ли меня причислить к обыкновенным болтливым оруженосцам.

С этими словами оба оруженосца удалились, и происшедший между ними разговор был столь же забавен, сколько разговор их господ был важен и серьезен.

## ГЛАВА XIII

### **В которой продолжается приключение с неизвестным рыцарем и излагается пикантный, приятный и новый диалог между обоими оруженосцами**

Разделившись таким образом, рыцари сидели с одной стороны, а оруженосцы с другой, причем первые рассказывали другу другу о своих любовных похождениях, а вторые о своей жизни. Но история прежде повествует о разговоре слуг, а затем уже переходит к господам. Из повествования этого мы узнаем, что когда оба оруженосца удалились, прислуживавший неизвестному рыцарю сказал Санчо:

– Тяжкую, суровую жизнь, дружище, ведем мы, оруженосцы странствующих рыцарей. На нас поистине тяготеет проклятие, которым Бог поразил ваших прародителей: мы смело можем сказать, что едим хлеб в поте лица нашего.

– Мы можем также сказать, что едим его в морозе тела нашего, – ответил Санчо. – Ведь никто столько не страдает от холода и жары, сколько злополучные оруженосцы странствующих рыцарей. И это бы еще было с полгоря, если бы мы ели, потому что, как говорить пословица: «Не красна изба углами, а красна пирогами». Но нам подчас приходится поститься целый день и даже два, питаюсь одним воздухом.

– Все это еще можно терпеть, – возразил оруженосец незнакомца, – в надежде на предстоящую нам награду, потому что если только странствующие рыцари, которым мы служим, не совсем неблагодарные люди, то мы можем в один прекрасный день оказаться, в награду за свою службу, губернаторами каких-нибудь островов или владельцами хорошенького графства.

– Что до меня, – ответил Санчо, – то я уже сказал своему господину, что удовольствуюсь губернаторством на каком-нибудь острове, а он так благороден и щедр, что обещал мне это много раз и неоднократно.

– А я, – возразил оруженосец рыцаря Леса, – хочу в награду каноникат, и мой господин уже обещал мне его.

– Эге! – вскричал Санчо. – Значит, господин вашей милости духовный рыцарь, <sup>[107]</sup> что делает такие подарки своим добрым оруженосцам? А мой

так светский, хотя, помнится, умные, но, по-моему, злонамеренные люди советовали было ему сделаться архиепископом. К счастью, он не хотел быть ничем, кроме императора; а я уж совсем было струсил, как бы ему не вздумалось вступить в церковь потому, что я не считаю себя способным управлять приходом. Оно, видишь ли, хоть я и не глуп, а все же в церкви я был бы как есть дураком.

– Вот и ошибаетесь, ваша милость, – возразил оруженосец рыцаря леса: – не все губернаторства такие лакомые куски. Есть между островами и бедные, и скучные, и никуда не годные; и даже лучшие и красивейшие из них налагают пропасть забот и тягостей на несчастных, которым выпадает на долю управление ими. Право, было бы в тысячу раз лучше, если бы мы, занимающиеся этим проклятым ремеслом, службой, вернулись домой и проводили бы время в более мирных занятиях, нам напр., в охоте или рыбной ловле. Ведь даже у самого бедного оруженосца есть своя лошадка, пара гончих и удочка, чтоб развлекаться у себя в деревне.

– У меня то сот все такое, – ответил Санчо. – Правда, лошадки у меня нет, но зато есть осел, который вдвое лучше лошади иного господина. Пусть Бог омрачит мне Светлый праздник, хотя бы и ближайший, если я променяю своего осла на его коня, дай он мне в придачу хоть четыре четверика овса! Ваша милость можете сколько угодно смеяться над моим Серым, я говорю так, потому что вся осел серый. А что касается гончих, так на кой они мне черт, когда их много в околodge, тем более, что гораздо приятнее охотиться с чужими собаками.

– В самом деле, почтенный оруженосец, – сказал оруженосец рыцаря Леса, – я порешил покончить с глупыми удовольствиями этих рыцарей и вернуться в свою деревню, чтоб воспитывать детишек, которых у меня трое и которые все прекрасны, как восточные жемчужины.

– А у меня детей двое, – возразил Санчо, – я их обоих хоть самому папе покажи, особенно молодую девушку, которую я готовлю в графини, если на то будет Господня воля, – хотя и против воли ее матери.

– А сколько лет этой даме, которую вы готовите в графини? – спросил оруженосец рыцаря леса.

– Не то пятнадцать, не то года на два больше или меньше, – ответил Санчо; – но она длинна, как жердь, свежа как апрельское утро, и сильна, как дрягиль.

– Черт возьми! – вскричал оруженосец рыцаря Леса, – это такие качества, что годятся не только для графини, но и для нимфы из зеленой рощи. О, плутовка, плутовское отродье! Какие могучие плечи должны быть у этой молодчины!

– Ну, ну! – перебил несколько раздосадованный Санчо. – И она не плутовка, и ее мать не была плутовкой, а обе они никогда не будут плутовками, пока я жив, если Богу будет угодно. Да говорите, сударь, повежливее, потому что слова ваши кажутся мне не особенно изысканными для человека, воспитанного между странствующими рыцарями.

– Э, да вы ничего не понимаете в хвалебных речах, почтенный оруженосец, – вскричал оруженосец рыцаря Леса. Да разве вы не знаете, что когда рыцарь в цирке попадает копьем в быка, или когда кто сделает что-нибудь хорошо, то обыкновенно говорят: «Ах, он плутовское отродье! как он ловко обделал это!». <sup>[108]</sup> И слова эти, которые кажутся будто бранными, служат высшей похвалой. Так-то, сударь! Отказываться надо от сыновей и дочерей, которые не заслуживают подобных похвал.

– Я и откажусь, черт возьми, если на то пошло! – вскричал Санчо. – Предоставляю вам в таком случае обзывать, сколько душе вашей угодно, и меня, и детей моих, и жену мою плутами, потому что, знаете, все, что они говорят и делают, так совершенно, что заслуживает таких похвал. Ах, для того, чтоб с ними свидеться, я молю Бога, чтоб Он избавил меня от смертного греха, или, что то же самое, от это-то опасного ремесла странствующего оруженосца, в которое я сунулся опять, польстившись на кошелек со ста дукатами, которые я раз нашел в горах Сьерра-Морена; а дьявол то и дело соблазняет меня, суя мне под нос то тут, то там, то с этой стороны, то с той, большой мешок с дублонами, так что мне уж кажется, будто я нащупываю его руками, беру в объятия, несу домой, покупаю разного добра и получаю столько доходов, что живу принцем. И как я подумаю об этом, так, поверишь ли, даже совсем легко станет терпеть всякие неприятности от коего рехнувшегося господина, который, право, скорее похож на сумасшедшего, чем на рыцаря.

– Правду говорят, – возразил оруженосец рыцаря Леса, – что ври, да знай же меру: если уж говорят о господах, так такого сумасшедшего, как мой, во всем свете не сыскать, потому он из тех людей, про которых говорится: «За друга живот положил». И вправду, чтоб вернуть рассудок одному безумному рыцарю, он сам с ума спятил и пошел искать по свету того, от чего Боже упаси.

– Уж не влюблен ли он? – спросил Санчо.

– В том то и дело, – ответил оруженосец рыцаря Леса, – что он влюбился в какую-то Кассильду Вандалийскую, самую жестокую и злую женщину на свете. Да за жесткость? Это бы куда ни шло: у нее еще миллион другим подлостей бурчат в животе. <sup>[109]</sup>

– Ну что ж? – заметил Санчо, – какая же дорога бывает без камней и рытвин? Другой, может быть только начинает варить бобы, а у меня они уже кипят: ну, и безумцев должно быть еще больше, чем умников. Только, если правду говорят, что за компанию жид повесился, так мне теперь будет утешением, что ваша милость служите такому же дураку, как и я.

– Дураку-то дураку, – ответил оруженосец рыцаря Леса, – но за то он храбр, а больше всего плут.

– О! ну, мой не таков, – возразил Санчо. – Вот уж ни чуточки не плут, напротив, у него голубиное сердце; никому он зла ни сделал, а всем только добро, и никакой в нем хитрости нет. Ребенок может убедить его средь бела дня, что наступила ночь. За эту-то доброту я и люблю его пуще зеницы ока и не могу его бросить, сколько бы он ни сумасбродствовал.

– Так-то оно так, – сказал оруженосец рыцаря Леса, – а все-таки, если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.<sup>[110]</sup> Оно, значит, нам, брат мой и господин, и лучше повернуть оглобли и вернуться восвояси, потому что пойдешь-то за одними приключениями, а нарвешься на другие.

Во время этого разговора Санчо то и дело выплевывал сухую липкую слюну. Сострадательный оруженосец заметил это:

– Мне кажется, – сказал он, – что наши языки от болтовни пухнут и прилипают к гортани. У меня на седле висит лекарство, которое развязывает языки и от которого никто не отказывается.

С этими словами он встал и через минуту принес мех с вином и поларшинный пирог. Пирог этот был так велик, что Санчо показалось, когда он до него дотронулся, что в нем сидит целый козел.

– Так вот что ваша милость таскаете с собой! – вскричал он.

– А вы как думали? – ответил оруженосец рыцаря Леса. – Неужто ж я стану жить на хлебе и на воде? Как бы не так! У меня на лошадке бывает больше провизии, чем у генерала во время похода.

Санчо не заставил себя долго просить и принялся есть; под прикрытием ночи он исподтишка пожирал один за другим куски с кулак величиной.

– Видно, – сказал он, – что ваша милость верный и преданный оруженосец и славный и отличнейший малый, как показывает этот пир, который как есть похож на волшебный. Куда мне до тебя! У меня, несчастного, в котомке только всего и есть, что кусок сыру, да и тот так засох, что им можно проломить голову даже великану, да в придачу еще несколько рожков и орешков. Это все оттого, что мой господин беден и вдобавок еще вбил себе в голову, что должен так жить потому, что странствующие рыцари должны питаться одними сухими плодами и

полевыми травами.

– Ну, брат, – вскричал оруженосец, – мой желудок не создан для чертополоха, диких груш или лесных овощей. Пусть наши господа сочиняют себе какие угодно рыцарские законы, пусть думают, что хотят, и едят, что им вздумается, – а я все-таки буду на всякий случай возить с собой холодную говядину и этот мех на арчаге седла. Я его так люблю и уважаю, что каждую минуту по тысяче раз целую и обнимаю.

С этими словами он подал мех Санчо, которые, поднеся ко рту, добрых четверть часа созерцал небо. Перестав пить, он опустил голову на одно плечо и сказал с глубоким вздохом:

– О, плутовское отродье! Да какое же оно вкусное!

– Вишь ты! – вскричал оруженосец рыцаря Леса, услышав эти слова. – Как ты похвалил вино, обозвав его плутовским отродьем!

– Я сознаюсь, – ответил Санчо, – что обозвать кого плутовским отродьем, когда хочешь похвалить, не значит обидеть. Но скажи мне, товарищ, во имя чего бы это ни было, не сиуд-реальское ли это вино?<sup>[111]</sup>

– Да ты, видно, знаток! – вскричал оруженосец рыцаря Леса. – Оно самое и есть, да еще старое: ему будет несколько лет.

– А ты как думал? – возразил Санчо. – Не распознаю я, что ли, вина-то твоего? Так знайте, сударь, что я так хорошо знаю толк в винах, что мне довольно только понюхать, чтобы сказать, откуда оно, сколько ему лет, какого оно вкуса и все другое прочее. Да оно и неудивительно, потому что в моем роду с отцовской стороны было два таких знатока в винах, что старожилы Ламанчи таких не запомнят. Вот ты сам увидишь, когда я тебе расскажу, что с ними случилось. Раз им дали попробовать вина из чана и попросили их сказать свое мнение о его вкусе и хороших или дурных качествах. Один попробовал вино кончиком языка, а другой только понюхал его кончиком носа. Первый сказал, что вино отзывает железом, а другой, что оно скорее пахнет козьей кожей. Хозяин стал уверять, что чан совершенно чист и что в вино не намешано ничего, что придавало бы ему запах железа или кожи. А оба знаменитые знатока стояли на своем. Время шло, вино было распродано, и, когда чан опустел, в нем нашли ключик на сафьяновом ремешке. Вот и суди, может ли знать толк в винах человек, который произошел от таких предков!<sup>[112]</sup>

– Оттого-то я и говорю, чтоб ты бросился гоняться за приключениями, – сказал оруженосец рыцаря Леса, – и чтобы лучше помирились на синице в руках, чем рыскали за журавлями в небе. Давай лучше вернемся по домам и будем там доживать свой век.



– Нет, – ответил Санчо, – пока мой господин не доедет до Сарогоссы, я не перестану ему служить, а там я уж буду знать, что делать.

Наконец, оба оруженосца до того напились и наболтались, что сну пришлось связать им языки и унять их жажду, иначе им бы никогда ее не утолить. Любовно держа в общих объятиях почти опустевший мех и не успев дожевать взятых в рот кусков, они оба уснули на месте, где мы их и оставим, чтоб рассказать, что произошло между рыцарем Леса и рыцарем Печального Образа.

## ГЛАВА XIV

### В которой продолжается приключение с рыцарем Леса

Среди множества речей, которыми обменялись Дон-Кихот и рыцарь Леса, история повествует, что последний сказал Дон-Кихоту:

– В заключение господин рыцарь, я хочу рассказать вам, как судьба или, лучше сказать, собственный мой выбор воспламенили меня любовью к несравненной Кассильде Вандалийской.<sup>[113]</sup> Я называю ее бесподобной, потому что во всем свете нет женщины, подобной ей по росту и красоте. Ну, эта самая Кассильда, которую я перед вами восхваляю, отплатила мне за мои честные намерения и благородные желания тем, что кинула меня, подобно тому, как мачеха поступила с Геркулесом, в жертву массе опасностей, суля мне каждый раз, как одна опасность кончается, что после следующей исполнятся мои желания. Так испытания мои, цепляясь одно за другое, сделались до того многочисленны, что я уж и не знаю, когда наступит последнее, которое даст мне возможность исполнить мои заветные мечты. Раз она мне приказала выйти на поединок с знаменитой Севильской великаншей по имени Гиральдой, которая храбра и сильна, потому что сделана из бронзы, и которая, не двигаясь с места, тем не менее, изменчивее и непостояннее всех женщин в мире.<sup>[114]</sup> Я пришел, увидел, победил и заставил ее стоять неподвижно (потому что более недели дул только северный ветер). В другой раз она мне приказала взять и взвесить древних каменных быков Гизандо,<sup>[115]</sup> предприятие, более приличное дрягилю, чем рыцарю. В третий раз она потребовала, чтоб я бросился в пещеру Кабра – неслыханная, ужасная опасность! – и донес бы ей подробнейшим образом о том, что заключается в этой пучине.<sup>[116]</sup> Я остановил движение Гиральды, я взвесил быков Гизандо, я спуускался в пещеру и донес обо всем, что скрывает ее мрак, и, тем не менее, мои надежды все также тщетны, а ее требования и холодность все также безграничны. Наконец, недавно она приказала мне объехать все провинции Испании, чтоб заставить всех странствующих рыцарей, которые бродят по стране, признать ее прекраснейшей из существующих ныне красавиц, а меня самым отважным и самым влюбленным рыцарем в мире. С этой целью я объездил уже половину Испании и победил множество рыцарей, которые осмеливались мне противоречить. Но более всех подвигов я

горжусь тем, что победил в поединке знаменитого рыцаря Дон-Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Кассильда Вандалийская прекраснее его Дульцинеи Тобозской. Одной этой победой я считаю, что победил всех рыцарей в мире, потому что этот Дон-Кихот, о котором я говорю, побеждал их всех, а так как я в свою очередь победил его, то его слава, его знаменитость, его честь перешли в мою собственность, как сказал поэт: «победитель тем более приобретает славы, чем знаменитее побежденный».<sup>[117]</sup> Значит, все рассказы, переходящие из уст в уста, о подвигах упомянутого Дон-Кихота, относятся и ко мне.

При этих словах рыцаря Леса Дон-Кихот просто остолбенел. Несколько раз у него едва не вырвалось «ты лжешь», но он каждый раз воздерживался, чтобы заставить собеседника самого сознаться во лжи. Наконец, он сказал:

– Против того, что ваша милость, господин рыцарь, победили большинство странствующих рыцарей Испании и даже всего мира, я ничего не имею; но чтоб вы победили Дон-Кихота Ламанчского, позвольте усомниться. Быть может, это был кто-нибудь другой, похожий на него, хотя едва ли кто на свете похож на него.

– Как другой! – вскричал рыцарь Леса. – Клянусь небом, которое над нами! я сражался с Дон-Кихотом, победил его и заставил просить пощады! Это человек высокого роста, сухощавый, с длинными ногами и руками, желтым цветом лица, волосами с проседью, орлиным, несколько загнутым носом и большими черными усами! Он воюет под именем рыцаря Печального Образа и возит с собой вместо оруженосца крестьянина по имени Санчо Панса. Он ездит на славном коне Россинанте и избрал дамой своего сердца Дульцинею Тобозскую, называвшуюся некогда Альдонсой Лоренсо, как я называю свою Кассильдой Вандалийской, потому что ее зовут Кассильдой и она из Андалузии. Ну а если всех этих признаков недостаточно, чтобы внушить веру в мои слова, так вот эта шпага заставит даже самого недоверчивого человека поверить.

– Успокойтесь, господин рыцарь, – ответил Дон-Кихот, – и выслушайте, что я вам скажу, Вы должны знать, что этот Дон-Кихот мой лучший друг, так что я могу сказать, что люблю его, как самого себя. По приметам его, которые вы сейчас перечислили, я принужден верить, что вы победили именно его. С другой же стороны, я вижу собственными глазами и осязаю собственными руками невозможность, чтоб это был он. Я могу допустить только одно: что так как у него между волшебниками много врагов, и один особенно его преследует, то разве кто-нибудь из них принял его образ, чтобы дать себя победить и отнять у него славу, которую он

заслужил во всем мире своими великими рыцарскими подвигами. В доказательство скажу вам еще, что эти проклятые волшебники, его враги, дня два назад превратили лицо и всю фигуру очаровательной Дульцинеи Тобозской в гадкую, грязную крестьянку. Так же точно они могли превратить и Дон-Кихота. Если же всего этого мало, чтоб убедить вас в истине того, что я говорю, так вот вам Дон-Кихот собственной персоной, который докажет эту истину с оружием в руках, верхом или пеший, или каким вам будет угодно способом.

С этими словами он встал на ноги и, схватившись за рукоятку шпаги, ждал решения рыцаря Леса.

Последний ответил так же спокойно:

– Хороший плательщик не жалеет денег, и тот, кто раз сумел победить вас преображенного, господин Дон-Кихот, может надеяться победить вас и в настоящем вашем виде. Но так как рыцарям не подобает исполнять свои воинственные дела исподтишка или ночью, подобно разбойникам и ворам, то дождемся утра, чтобы солнце осветило наши деяния. Условием нашего поединка будет, что побежденный останется во власти победителя, который может сделать с ним, что захочет, не роняя, конечно, его рыцарской чисти.

– Вполне согласен, – ответил Дон-Кихот, – и на такое условие и на такое решение.

После этого они пошли разыскивать своих оруженосцев, которых нашли спящими и громко храпящими в тех позах, в которых их застиг сон. Они разбудили их и приказали приготовить лошадей, так как на рассвете им предстоял кровавый и ужасный поединок. При этом известии Санчо задрожал от удивления и испуга, боясь за жизнь своего господина по причине отважных подвигов рыцаря Леса, о которых рассказал ему оруженосец последнего. Тем не менее, оба оруженосца отправились, не говоря ни слова, к своему табуну, так как все три лошади и осел, обняв друг друга, стали пастись вместе.

Дорогой оруженосец рыцаря Леса сказал Санчо:

– Знай, братец, что андалузские храбрецы, когда бывают крестными в поединках, не имеют привычки оставаться праздными зрителями боев между своими крестниками.<sup>[118]</sup> Я говорю это, чтобы предупредить тебя, что, пока наши господа будут драться, мы тоже поиграем ножами.

– Этот обычай, господин оруженосец, – ответил Санчо, – может быть, и водится между самохвалами, о которых вы говорите, но не между оруженосцами странствующих рыцарей; по крайней мере, я никогда не слышал о таком обычае от моего господина, а уж он наизусть знает все правила странствующего рыцарства. Да если б и было такое правило, что

оруженосцы должны драться, когда их господа дерутся, я бы все-таки не придерживался его; я уж лучше заплачу штраф, какой полагается с мирных оруженосцев: он, верно, не будет больше двух фунтов воска,<sup>[119]</sup> а я предпочитаю заплатить за свечи, потому что знаю, что это обойдется мне дешевле, чем корпия, которую надо было бы купить для моей раненой головы, которая у меня уже словно разбита и расколота пополам. И это еще не все: главное, я не могу драться, потому что у меня нет шпаги, и в жизнь никогда я не носил ее.

– Ну, этому горю помочь не трудно, – возразил оруженосец рыцаря Леса: – вот у меня два полотняных мешка: ты возьмешь один, я другой, и мы будем драться равным оружием.

– Это другое дело, – ответил Санчо, – такой поединок вас только очистит от пыли и не причинит никакой боли.

– Да я вовсе не то хотел сказать, – перебил его собеседник. – Мы положим в каждый мешок, чтобы ветер их не унес, по десятку хорошеньких камешков, кругленьких и гладеньких, и чтоб в обоих мешках был одинаковый вес. А потом мы будем стегать друг друга мешками, не сделав даже царапины на коже.

– Скажите на милость, – вскричал Санчо, – какую вату и мягкие луковицы он предлагает положить в мешки, чтоб мы не могли размозжить друг другу головы и растереть в порошок кости! Ну, так знайте же, сударь, что будь они набиты хоть коконами шелковичных червей, я все равно драться не стану. Пусть дерутся господа и пусть делают, что хотят, а мы будем есть, пить и жить, потому что жизнь и без того уходит, и нам незачем искать средств раньше времени избавиться от нее и дать ей опасть прежде, чем она созреет.

– И все-таки, – возразил оруженосец рыцаря Леса, – мы будем драться хоть полчаса. – Ну, нет, – ответил Санчо, – я не буду так неучтив и неблагодарен, чтоб затеять даже малейшую ссору с человеком, который меня напоил и накормил. Да и какого черта стану я драться, когда не чувствую вы злобы, ни гнева?

– Ну, если так, – ответил оруженосец рыцаря Леса, – то я уж позабочусь дать тебе хорошенький повод. Перед поединком я тихонько подойду к вашей милости и отпущу вам три-четыре таких оплеухи, что вы упадете на землю к моим ногам: этим я уж непременно вызову ваш гнев, хотя бы он спал, как суров.

– А я сумею на это дать хорошую сдачу, – сказал Санчо: – я отломлю славную трость, и прежде чем ваша милость соберется вызвать мой гнев, я так усыплю палочными ударами ваш, что он пробудится разве на том

свете, где известно, что я не такой человек, чтоб дать кому-нибудь расплющить себе лицо. Пусть всякий смотрит за собой и лучше усыпить свой гнев, потому что никто не может знать чужой души, и часто тот, кто собирается стричь других, сам возвращается стриженный. Бог благословил мир и проклял распри, и если кошка, когда ее запирают, превращается в льва, то Бог знает, во что могу обратиться я, человек. Поэтому, господин оруженосец, предупреждаю вас, что вы будете виноваты во всем, что может случиться из-за нашего поединка.

– Ладно, – ответил оруженосец рыцаря Леса. – Бог даст день, и мы тогда увидим.

В это время на деревьях уже начали щебетать тысячи блестящих птичек, которые своим веселым пением словно приветствовали свежую зарю, мало-помалу показывавшую на востоке свое прелестное личико. Она стряхивала с своих золотистых кудрей бесчисленное множество жемчужных капелек, и растения, смоченные этой нежной влагой, казалось, сами разбрасывали жемчужные капли: ивы сбрасывали вкусную манну, родники будто улыбались, ручейки журчали, леса веселились, а луга расстилали свой зеленый ковер.

Но едва дневной свет осветил все предметы, как первое, что бросилось в глаза Санчо, был нос оруженосца рыцаря Леса, такой длинный, такой огромный, что от него падала тень на все тело. В самом деле, говорят, что этот нос был невероятных размеров, с горбом в середине, с бородавками, сизый, как шелковица, и спускавшийся на два пальца ниже рта. Эта длина носа, этот цвет, эти бородавки и этот горб до того безобразили его лицо, что у Санчо затряслись руки и ноги, как у ребенка в припадке эпилепсии, и он решил про себя, лучше свести сотни две оплеух, чем позволять пробудить свой гнев и драться с этим вампиром.

Взглянул и Дон-Кихот на своего соперника, но тот уже надвинул шлем и опустил забрало, так что невозможно было разглядеть его лица. Он мог только заметить, что это был человек сильный и невысокого роста. Незнакомец носил поверх оружия короткую тунику из материи, словно сотканной из золотых нитей, усыпанную блестящими зеркалами в форме маленьких лун, и этот богатый наряд придавал ему особенное изящество. На верхушке его каски развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев, а его копье, прислоненное к дереву, было очень длинно, очень толсто и со стальным острием длиною в пядь. Дон-Кихот заметил все эти мелочи и заключил из них, что незнакомец должен быть важным рыцарем. Тем не менее, его не леденил страх, как Санчо Панса; напротив, он развязно сказал рыцарю Зеркал:

– Если страстное желание начать поединок не лишило вас учтивости, господин рыцарь, то я попросил бы вас во имя ее приподнять слегка ваше забрало, чтоб я мог видеть, соответствует ли красота вашего лица изяществу наряда.

– Победитель или побежденный, – ответил рыцарь Зеркал, – вы будете иметь достаточно времени, чтоб увидеть мое лицо; а теперь я отказываюсь исполнить ваше желание потому, что мне кажется большим оскорблением для прекрасной Кассильды Вандалийской откладывать хотя бы на мгновение для поднятия забрала деяние, которое заставит вас признать уже известное вам.

– Но вы можете, по крайней мере, – возразил Дон-Кихот, – сказать, пока мы будем садиться на коней, тот ли я Дон-Кихот, которого вы будто победили.

– На это мы вам скажем, <sup>[120]</sup> – ответил рыцарь Зеркал, что вы походите на него, как две капли воды; но так как вы уверяете, что вас преследуют волшебники, то я и не осмелюсь утверждать, чтоб вы были тот самый.

– Этого с меня достаточно, – сказал Дон-Кихот, – чтоб я поверил, что вы введены в заблуждение; но чтобы вывести вас из него, пусть подведут нам коней. Скорее, чем вы бы подняли свое забрало (если Бог, моя дама и моя рука меня поддержат), я увижу ваше лицо, а вы увидите, что я не тот Дон-Кихот, которого вы победили.

Прервав так внезапно разговор, они вскочили на коней, и Дон-Кихот повернул Россинанта, чтобы проехать необходимое пространство навстречу своему противнику, который сделал то же самое. Но не успел Дон-Кихот проехать и двадцати шагов, как услышал, что рыцарь Зеркал называет его по имени. Остановившись на половине пути от противника, этот рыцарь сказал:

– Помните, господин рыцарь, что, по условию вашего боя, побежденный, как я вам уже говорил, остается в распоряжении победителя.

– Я это уже знаю, – отвечал Дон-Кихот, – но побежденному не должно быть предписано ничего, выходящего из пределов рыцарства.

– Само собою! – заметил рыцарь Зеркал.

В эту минуту оруженосец с странным носом предстал пред глазами Дон-Кихота, который поражен был его видом не менее, нежели Санчо, принявший его за некое чудовище или за человека особой породы, не вошедшей в обыкновение на этом свете. Санчо, увидав, что господин его отъезжает для занятия в бою позиции, не хотел остаться один на один с длинноносым чудовищем из опасения, чтобы одним чиханием его не закончилась их битва и чтобы от сотрясения или испуга он, Санчо, не



повержен был на землю. Поэтому он побежал за своим господином, повис на стремянном ремне Россинанта, и, когда ему показалось, что Дон-Кихот поворачивает лошадь, он закричал:

– Умоляю вашу милость, дорогой господин, позвольте мне, прежде чем вы возвратитесь к битве, взлезть на это седло, где мне можно будет удобнее нежели с земли смотреть на забавное столкновение ваше с этим рыцарем.

– Мне кажется, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – что тебе скорее хочется взойти на скамейку, чтобы в безопасности любоваться бегом быков.

– Если сказать правду, – отвечал Санчо, – то страшные ноздри этого оруженосца наводят на меня ужас, и я не могу оставаться около него.

– Он действительно таков, – сказал Дон-Кихот, – что, если бы я не был я, он бы меня тоже заставили трепетать. Поэтому, иди, я помогу тебе взлезть туда, куда тебе хочется.

Пока Дон-Кихот помогал Санчо вскарабкаться на седло, рыцарь Зеркал проехал все необходимое пространство и, полагая что и Дон-Кихот сделал тоже, он, не дожидаясь трубного звука, ни другого сигнала к атаке, [\[121\]](#) повернул лошадь, которая была не легче и не красивее Россинанта, и во весь опор подъехал к своему противнику. Но увидав, что тот занят тем, что помогает Санчо взобраться на седло, он потянул за повод и остановился на полпути, за что лошадь была ему очень признательна, потому что не могла сделать более ни шагу. Дон-Кихот, полагавший, что противник обрушится на него как молния, сильно сжал шпорами поджарые бока Россинанта и так его погнал, что, если верить истории, этот единственный раз можно было признать, что он немножко галопировал, потому что до сих пор самый его блистательный бег был простой рысью. С такой необычной быстротой Дон-Кихот кинулся на рыцаря Зеркал, который вонзил шпоры в бока лошади до самых каблуков, но не смог на палец сдвинуть ее с места, где она остановилась, как вкопанная, среди своего бега. При таких благоприятных обстоятельствах Дон-Кихот застал врасплох своего противника, который, спутанный лошадью и стесненный своим копьем, не мог даже направить последнего на своего неприятеля. Дон-Кихот, не снизошедший до всех этих неудобств, в полной безопасности и безо всякого риска поразил рыцаря Зеркал и при том с такой силой, что мимо воли сбросил его на землю чрез зад лошади. Падение было так тяжело, что незнакомец, не двигавший ни ногами, ни руками, казался убитым на месте.

Санчо, лишь только увидел его лежащим на земле, поспешил соскочить с дерева и подбежал к своему господину. Последний, сошедши с лошади, бросился к рыцарю Зеркал и, распустив ремни его вооружения,



чтобы увидеть, умер ли он, и чтобы дать ему вздохнуть, в случае если он жив, увидал... Но кто может передать, что он увидал, не поразив удивлением, изумлением и ошолоблением тех, кто это услышит? Он увидел, говорит история, он увидел образ, лицо, вид, лик, физиономию и очертание бакалавра Самсона Карраско. При виде его, он изо всех сил закричал Санчо:

– Беги сюда, Санчо, погляди на то, что ты будешь видеть, не веря этому. Поспешь, дитя мое, и посмотри, на что способна магия, на что способны колдуны и волшебники.

Санчо приблизился и увидал лицо бакалавра Карраско; он принялся тысячу раз осенять себя крестным знамением и произносить тысячу молитв. Опрокинутый рыцарь не подавал, однако, никакого признака жизни, и Санчо сказал Дон-Кихоту:

– Я того мнения, добрый мой господин, чтобы вы без церемонии воткнули свою шпагу в рот тому, кто похож на бакалавра Самсона Карраско; может быть вы убьете в нем кого-нибудь из ваших врагов волшебников.

– А ведь ты прав, – сказал Дон-Кихот, – ибо что касается врагов, то чем их меньше, тем лучше.

Он уже обнажил свою шпагу, чтобы привести в исполнение совет Санчо, как вдруг появился оруженосец рыцаря Зеркал, но уже без носа, который делал его столь безобразным.

– Ах, остерегитесь, господин Дон-Кихот, – закричал он громким голосом, – остерегитесь, что вы хотите делать? Этот человек, распростертый у ваших ног, – это бакалавр Самсон Карраско, ваш друг, а я его оруженосец.

Санчо, увидав его без его прежнего безобразия, спросил его:

– А нос, что случилось с ним?

– Он здесь в моем кармане, – отвечал тот.

И, опустив руку в правый карман, он вытащил накладной нос из глазированной бумаги, сделанный так, как сейчас было описано. Но Санчо, во все глаза смотря на этого человека, испустил клик удивления:

– Матерь Божия! – воскликнул он, – да ведь это Томе Сесиал, мой сосед и кум!

– Как же не я! – отвечал оруженосец без носа.

– Да, Санчо Панса, это я – Томе Сесиал, ваш друг, ваш кум. И я вам сейчас расскажу, какими путями и распутьями я был приведен сюда, но пока просите и умоляйте господина вашего хозяина, чтобы он не трогал, не бил, не ранил и не убивал рыцаря Зеркал, которого он попирает своими

ногами, потому что это, безо всякого сомнения, смелый неосторожный бакалавр Самсон Карраско, ваш земляк.

В эту минуту рыцарь Зеркал пришел в себя, и Дон-Кихот заметив, что он шевелится, положил острие меча между обоих его глаз и сказал ему:

– Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что несравненная Дульцинея Тобозская стоит по красоте выше вашей Кассильды Вандалийской. Кроме того, вы должны обещать, что, если после этого боя и этого падения вы останетесь живы, вы отправитесь в город Тобозо и от моего имени представитесь ей, чтобы она поступила с вами по своему произволу. Если она предоставит вас на ваш собственный произвол, вы обязаны возвратиться ко мне (а след моих подвигов будет вам указателем того, где меня искать), чтобы рассказать мне, что произошло между вами и ею. Условия эти, согласные поставленным вами пред вашим боем, не выходить за пределы странствующего рыцарства.

– Признаю, – отвечал поверженный рыцарь, – что грязный и разорванный башмак госпожи Дульцинеи Тобозской стоит большего, нежели нечесаная, хотя и чистая борода Кассильды. Обещаю предстать пред ее очи и возвратиться пред ваши, чтобы представить вам верный и полный отчет о том, чего вы требуете.

– Вы должны также сказать и поверить, – прибавил Дон-Кихот, – что рыцарь, которого вы победили, не был и не мог быть Дон-Кихотом Ламанчским, но был кем-то другим, на него похожим, точно так же, как я говорю и верю, что вы не Карраско, хотя похожи на бакалавра Самсона Карраско, но некто другой, на него похожий, представленный мне моими врагами под видом бакалавра, чтобы успокоить ярость моего гнева и дать мне воспользоваться с кротостью славой победы.

– Все это, – отвечал разбитый рыцарь, – я признаю; обо всем этом сужу и чувствую так же, как вы этому верите, об этом судите и чувствуете. Но позвольте мне подняться, я вас прошу, если только боль от падения позволит мне подняться, потому что падение привело меня в довольно скверное состояние.

Дон-Кихот помог ему подняться с помощью оруженосца Томе Сесиала, с которого Санчо не сводил глаз, то и дело обращаясь к нему с вопросами, ответ на которые показывал всякий раз, что это был действительно Томе Сесиал, как сам он утверждал о себе. Но впечатление, произведенное на мысли Санчо утверждением его господина, что волшебники преобразили лицо рыцаря Зеркал в лицо бакалавра Карраско, не давало ему поверить в действительность того, что было пред его глазами.

В конце концов, и господин и слуга остались при своем заблуждении, а рыцарь Зеркал и его оруженосец, смущенные и разбитые, ушли от Дон-Кихота и Санчо с намерением отыскать какую-либо деревню, где можно было бы покормиться и вправить бока раненому. Что касается Дон-Кихота и Санчо, то они отправились далее по направлению к Сарогоссе, где история и оставляет их, с тем, чтобы сообщить, кто такие были рыцарь Зеркал и его оруженосец с ужасным носом.

## **ГЛАВА XV**

### **В которой рассказано и объяснено, кто такие были рыцарь и его оруженосец**

Дон-Кихот удалился, восхищенный, гордый и сияющий, что ему удалось одержать победу над таким храбрым рыцарем, каким он воображал рыцаря Зеркал, от которого он надеялся вскоре узнать, продолжают ли еще чары над его дамой, так как побежденный, под страхом перестать считаться рыцарем, обязан был возвратиться и отдать ему отчет о том, что у него с ней произойдет. Но одно думал Дон-Кихот, другое думал рыцарь Зеркал, хотя в настоящую минуту, как говорят, у него была одна только мысль: отыскать место, где бы можно было покрыть себя пластырями. История гласит, что когда бакалавр Самсон Карраско советовал Дон-Кихоту возобновить приостановленные на время похождения свои, — это происходило после совещания его со священником и цирюльником о средстве заставить Дон-Кихота спокойно и терпеливо остаться дома, не беспокоя себя более отправлением на поиски за злосчастными приключениями. В результате этого совещания, по предложению Карраско, единодушно было решено, чтобы Дон-Кихоту дать уехать, так как удержать его, по-видимому, невозможно; чтобы Самсон Карраско выехал для встречи с ним в пути под видом странствующего рыцаря; чтобы он затеял с ним бой, а в поводах к ссоре недостатка не будет, чтобы он победил его, что казалось вещью легкой, формально выговоривши, чтобы побежденный остался во власти победителя и чтобы наконец бакалавр-рыцарь отдал приказ побежденному Дон-Кихоту возвратиться в свою деревню и свой дом с воспрещением удаляться оттуда в течение целых двух лет или пока он не отдаст ему другого приказа. Было ясно, что Дон-Кихот, если будет побежден, щепетильнейшим образом выполнит это условие, чтобы не нарушить законов рыцарства; тогда возможно, что в течение своего заключения он позабудет свои суетные помыслы, или, по крайней мере, будет время отыскать средство против его безумия.

Карраско взял на себя эту роль, а в оруженосцы к нему вызвался поступить Томе Сесиал, кум и сосед Санчо Панса, весельчак и забавник. Самсон вооружился, как выше было передано, а Томе Сесиал наклеил на свой естественный нос еще накладной нос из картона и разрисовал его, чтобы не быть узнанным своим кумом, когда они встретятся. С намерением

они поехали той же дорогой, что и Дон-Кихот, и едва не успели вовремя к приключению с колесницей Смерти. Наконец они настигли обоих путешественников в лесу, где с ними случилось все то, что благоразумным читателем прочитано; и если бы не расстроенный мозг Дон-Кихота, который воображал, что бакалавр не есть бакалавр, господин бакалавр навсегда лишился бы возможности получить свое лицензиатство за то, что не мог найти даже гнезда там, где рассчитывал поймать птиц.

Тоне Сесиал, увидав неудачу их доброго намерения и плачевный конец путешествия, сказал бакалавру:

– Положительно, господин Самсон Карраско, мы получили то, что заслужили. Легко выдумать и начать предприятие, но по большей части не так легко кончить его. Дон-Кихот сумасшедший, мы – люди в своем уме; а между тем он удаляется, смеясь и в добром здоровье, а вы остаетесь в печали и разбитый. Интересно теперь, с вашего позволения, знать, кто более безумен: тот ли, кто сошел с ума не по своей воле или тот, кто сходит с ума добровольно?

– Разница между этими двумя сумасшедшими, – отвечал Самсон, – та, что сумасшедший поневоле таким навсегда и останется, а добровольный сумасшедший перестанет им быть, как только захочет.

– Таким образом, – возразил Тоне Сесиал, – я был сумасшедшим по своей воле, когда захотел сделаться оруженосцем вашей милости, а теперь по той же воле хочу перестать им быть и хочу возвратиться восвояси.

– Как хотите, – отвечал Карраско, – но думать, что я возвращусь к себе прежде, нежели исколочу палкой Дон-Кихота, все равно, что ждать рассвета в полночь. И искать я его теперь буду не для того, чтобы вернуть ему рассудок, а чтобы отомстить за себя, потому что сильная боль в боках не дает мне вести более милостивые речи.

Так препираясь, оба спутника подъехали к одной деревне, где имели великое счастье найти алгебриста,<sup>[122]</sup> который и перевязал раны злосчастному Самсону. Томе Сесиал покинул его и возвратился домой, а бакалавр остался для приготовления в своей мести. И история, которая в другое время снова о нем заговорит, займется теперь Дон-Кихотом.

## ГЛАВА XVI

### О том, что произошло между Дон-Кихотом и скромным дворянином из Ламанчи

В радости, сиянии и гордости, о которых была уже речь, Дон-Кихот продолжал ехать, воображая, благодаря недавней победе, что во всем свете в то время не было рыцаря храбрее его. Все приключения, какие впредь случатся с ним, он считал как бы уже конченными и благополучно завершенными; он уже ни во что не ставил волшебников и всякие волшебства; он уже забыл о бесчисленных палочных ударах, полученных их во время его рыцарских походов, забыл о каменном дожде, который вышиб у него половину зубов, о неблагодарности каторжников, о дерзких побоях дубинами, которыми угостили его янгуэзские погонщики мулов. В конце концов, он про себя стал думать, что если бы ему найти какое-нибудь средство, какое-нибудь изобретение, чтобы снять чары со своей дамы Дульцинеи, он не позавидовал бы величайшему счастью, которым пользуется или мог пользоваться счастливейший из странствующих рыцарей прошедших – времен. Он ехал весь поглощенный этими приятными мечтами, когда Санчо сказал ему:

– Не странно ли, господин, что у меня все еще пред глазами этот ужасный нос, этот безмерный нос моего кума Тоне Сесиала?

– Уж не думаешь ли ты, Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – что рыцарь Зеркал был бакалавр Карраско, а его оруженосец – Тоне Сесиал, твой кум?

– Я не знаю, что сказать на это; – возразил Санчо. – Я знаю только одно, что приметы, которые дал он мне о моем доме, моей жене и моих детях, никто кроме него и звать не мог. Что касается лица, то если снять нос, право, это было лицо Томе Сесиала, как я его видел тысячи тысяч раз в вашей деревне, где мы живем стена к стене, и голос его тот-же.

– Будем рассудительны, Санчо, – заговорил Дон-Кихот. – Слушай и отвечай мне: кому может прийти в голову, чтобы бакалавр Самсон Карраско отправился странствующим рыцарем, снабженный наступательным и оборонительным оружием, сражаться со мною? Разве я был ему врагом? давал я ему случай почувствовать ко мне неприязнь? был я ему соперником, или действует сам он оружием, чтобы завидовать славе, которую я приобрел?

– А что сказать, господин, по поводу того, – сказал Санчо, – что этот

рыцарь, кто бы он ни был, так похож на бакалавра Карраско, а его оруженосец Томе Сесиал на моего кума? А если это чары, как ваша милость говорите, то разве на свете нет других двух человек, на которых эти двое могли бы быть похожи?

– Все это уловки и махинация злых волшебников, которые меня преследуют. Предвидя, что я останусь в битве победителем, они так устроили, чтобы побежденный рыцарь показал мне лицо друга моего, бакалавра, дабы дружба, которую я к нему питаю, поместилась между его горлом и острием моего меча, успокоила справедливый гнев, которым воспламенено было мое сердце и оставила жизнь тому, кто прельщениями и вероломством пытался лишить меня жизни. Если тебе нужны доказательства, ты уже хорошо знаешь, о Санчо, по опыту, который не мог тебя обмануть, как легко волшебникам изменять одни лица в другие, делать красивым то, что безобразно, и безобразным то, что красиво: ты всего два дня тому назад собственными глазами видел прелести и очарования несравненной Дульцинеи во всей их чистоте, во всем их естественном блеске, а я увидел ее уже безобразною и грубою крестьянкой с гноем под глазами, дурным запахом изо рта. Удивительно ли, если злой волшебник, осмелившийся совершить такое отвратительное превращение, сделал тоже самое с Самсоном Карраско и твоим кумом, чтобы вырвать из моих рук славу победы? Но все равно, я утешен, потому что, какую бы физиономию он ни принял, я остался победителем своего противника.

– Господь ведает истину всех вещей, – отвечал Санчо, а так как он знал, что превращение Дульцинеи было делом его хитрости, то он нисколько не был удовлетворен призрачными доводами своего господина; но отвечать он больше не хотел из опасения одним каким-нибудь словом выдать свою плутню.

В этом месте их беседы их настиг один человек, ехавший той же дорогой на прекрасной серой кобыле в яблоках. На нем был габан<sup>[123]</sup> из тонкого зеленого сукна с отделкой из коричневого бархата, а на голове шляпа такого же бархата. Упряжь на кобыле была убрана в зеленый и фиолетовый цвета. Всадник был при мавританском палаше, висевшем на перевязи зеленой с золотом. Сапоги были так же расшиты, как и перевязь. Что касается шпор, то они не были позолочены, а покрыты лишь зеленым лаком, но так были полированы и так блестели, что более совпадали со всем нарядом, чем если бы они были из чистого золота. Поравнявшись с ними, путешественник вежливо поклонился и, пришпорив лошадь, хотел проехать мимо, но Дон-Кихот его удержал.

– Милостивый государь, – сказал он ему, – если ваша милость едете

тем же путем, что и мы, и если вам не к спеху, мне было бы очень лестно продолжать путь с вами вместе.

– В сущности, – отвечал путник, – если бы я не проехал так быстро, если бы не боялся, чтобы соседство моей кобылы не беспокоило этого коня.

– О, сударь, – воскликнул тотчас же Санчо, – вы можете придержать свою кобылу, потому что конь наш самая честная и самая благовоспитанная на свете лошадь. Никогда в подобных случаях он не совершает ни малейших проказ, а единственный раз, когда он забылся, мы с господином заплатили ему за это с большими процентами. Но, впрочем, повторяю, что ваша милость можете оставаться около нас сколько угодно, потому что подавайте этому коню эту кобылу хоть на блюде, он ее даже не отведает.

Путник придержал лошадь за узду, удивленный и манерами и наружностью Дон-Кихота, ехавшего с обнаженной головой, так как Санчо держал его шлем повешенным как чемодан на луке своего ослиного седла. И если человек в зеленой одежде внимательно разглядывал Дон-Кихота, то Дон-Кихот еще более внимательно разглядывал человека в зеленой одежде, потому что он казался ему человеком значительным и знатным. Он казался человеком лет пятидесяти; в волосах его едва проглядывала проседь. Нос у него был орлиный; взгляд полувеселый, полусерьезный; наконец, в своем наряде и манерах он являл человека прекрасных качеств. Что касается его, то суждение его о Дон-Кихоте сводилось к тому, что он никогда не видел человека подобного рода и с подобной внешностью. Все его удивляло: и длина его лошади, и высота его стана, и худоба, и желтый цвет его лица, и оружие, и вид, и наряд, вся эта фигура, наконец, какой давно не было в той стороне видно. Дон-Кихот очень хорошо заметил, с каким вниманием рассматривает его путник, и в его удивлении он прочел его желание. Всегда вежливый и всегда готовый сделать удовольствие всем на свете, прежде, нежели незнакомец обратился в нему с каким-либо вопросом, он его предупредил и сказал:

– Фигура, которую ваша милость видите во мне, так нова, так необычна, что я не удивляюсь, если она вас поразит. Но ваша милость перестанете удивляться, если я скажу вам, что я рыцарь, из тех, о которых люди говорят, что они отправляются на поиски за приключениями. Я покинул свою родину, я заложил свое имение, я отказался от домашнего покоя и много дней тому назад кинулся в объятия судьбы, чтобы она повела меня, куда ей угодно. Я хотел воскресить блаженной памяти странствующее рыцарство, и здесь спотыкаясь, там падая, а далее подымаясь, я выполнил уже большую часть своего намерения, помогая



вдовам, охраняя девиц, покровительствуя малолетним и сиротам, исполняя обязанности, свойственные странствующим рыцарям. Своими многочисленными, доблестными и христианскими подвигами я и заслужил, что в печатных строках стал известен почти всему земному шару. Триста тысяч томов моей истории уже отпечатаны, и, если небо не воспротивится, она будет отпечатана тысячу раз в трехстах тысячах экземплярах. В конце концов, чтобы все заключить в несколько слов или, вернее, в одно слово, я вам скажу, что я – рыцарь Дон-Кихот Ламанчский, называемый рыцарем Печального Образа. И хотя похвалы самому себе цены не имеют, но я бываю иногда вынужден расточать их себе, за недостатком других, кто мог бы их говорить. Итак, господин дворянин, ни эта лошадь, ни это копье, ни этот щит, ни этот оруженосец, ни все мое вооружение, ни бледность моего лица не будут вас более удивлять, когда вы знаете, кто я такой и какова моя профессия.

Высказав эти слова, Дон-Кихот замолчал, а человек в зеленой одежде так долго медлил ответом, что можно было думать, что он никогда не заговорит. Однако, после долгого молчания, он сказал:

– Вам действительно, господин рыцарь, удалось в моем удивлении угадать мое желание; но вам не удалось также прекратить мое удивление, вызванное вашим видом, потому что хотя вы и сказали, сударь, что достаточно будет знать, кто вы, чтобы перестать удивляться, но это совсем не так. Напротив, теперь, когда я это знаю, я остаюсь еще более удивленным, еще более пораженным, нежели прежде. Как! возможно ли, чтобы в настоящее время на свете были странствующие рыцари, и чтобы напечатанное о странствующих рыцарях относилось к действительно существующим? Я не могу себя убедить, чтобы ныне существовал на земле кто-либо, ограждающий вдов, защищающий девиц, уважающий замужних женщин, помогающий сиротам. Я не поверил бы этому, если бы в вашей милости я не видал этого собственными глазами. Да будет благословенно небо, допустившее, чтобы напечатанная, по вашим словам, история ваших благородных и истинных подвигов рыцарства повергла в забвение бесчисленные выходки ложных странствующих рыцарей, наполнявших мир, в ущерб добрым делам и в опровержение добрым рассказам!

– Много можно сказать, – отвечал Дон-Кихот, – по вопросу о том, выдуманы или невыдуманы истории о странствующих рыцарях.

– Как, – возразил зеленый путник, неужели есть хоть один человек, сомневающийся в ложности этих историй?

– Я сомневаюсь, – отвечал Дон-Кихот, – но пока оставим это, и если наше путешествие продлится несколько, я надеюсь на Бога, что мне удастся

доказать вам, что вы дурно делали, следуя примеру тех, кто считает доказанным, что эти истории неистинны.

Это последнее замечание Дон-Кихота внушило путнику подозрение в том, что мозг рыцаря омрачен, и он стал ждать другого случая, который подтвердил бы эту мысль. Но, прежде нежели перейти к новым предметам беседы, Дон-Кихот попросил его со своей стороны сказать, кто он такой, так как сам он отдал отчет о своем положении в свете и о своем образе жизни. На это человек в зеленом габанах сказал:

– Я, господин рыцарь Печального Образа, гидальго; родился в крепости, куда мы едем сегодня обедать, если Богу будет угодно. Средства мои невелики; зовут меня Дон Диего де Миранда. Жизнь свою я провожу с женой, детьми и друзьями. Занимаюсь охотой и рыбной ловлей, но не держу ни соколов, ни гончих собак, довольствуюсь одной послушной легавой собакой или смелой ищейкой. Есть у меня около шести дюжин книг, частью на испанском, частью на латинском языках, одни исторические, другие религиозного содержания. Что касается рыцарских книг, они еще не переступали порога моего дома. Я пересматриваю книги светского содержания охотнее, нежели религиозные, но при условии, чтобы они давали честное препровождение времени, удовлетворяли хорошим языком, удивляли и нравились по замыслу. А таких книг очень мало в нашей Испании. Иногда я обедаю у своих соседей и друзей, но чаще я их в себе приглашаю. Обеды мои отличаются чистотой, изяществом и достаточным обилием. Я не люблю дурно говорить о людях и не позволю, чтобы о них дурно говорили в моем присутствии. Я не выведываю, как живут другие, и не отслеживаю их поступков. Я хожу в церковь ежедневно; отдаю бедным часть своего состояния, не рисуясь добрыми своими делами, не давая доступа в душу свою ханжеству и тщеславию, этим врагам, незаметно овладевающим самыми скромными и осмотрительными сердцами. Я стараюсь мирить ссорящихся; я чту мать Божию и глубоко верую в бесконечное милосердие Господа нашего Иисуса Христа».

Санчо весьма внимательно выслушал это повествование о жизни и занятиях гидальго. Находя такую жизнь хорошею и святою, и полагая, что тот, кто ее ведет, должен творить чудеса, он соскочил со своего осла и поспешно схватил правое стремя дворянина, потом со слезами на глазах и с благоговейных сердцем несколько раз поцеловал его ногу. Увидав это деяние, гидальго воскликнул:

– Друг, что вы делаете? Что кто за поцелуй?

– Позвольте мне целовать вас, – ответил Санчо, – потому что мне кажется, что ваша милость есть первый святой верхом на лошади, какого я

видел во все дни моей жизни.

– Я не святой, – возразил гидальго, – а большой грешник. Вы же, друг, должны быть, по-видимому, причтены к добрым людям, судя по вашей простоте.

Санчо снова вскарабкался на своего осла, вызвав глубоко меланхолический смех своего господина и новое удивление Дон Диего.

Дон-Кихот спросил его, сколько у него детей, и прибавил, что древние философы, не знавшие истинного Бога, считали одним из верховных блаз обладание всеми преимуществами природы и преимуществами счастья: многими друзьями и многочисленными хорошими детьми.

– Что касается меня, господин Дон-Кихот, – отвечал гидальго, – то у меня один сын, но такой, что, если бы его не было, я был бы, может быть, счастливее, нежели теперь, не потому, чтобы он был дурен, а потому что он не так хорош, как я бы желал. Ему теперь лет восемнадцать. Последние шесть лет он провел в Саламанке для изучения языков латинского и греческого. Но когда я пожелал, чтобы он перешел к изучению других наук, он оказался так пропитанным, так ушедшим в науку поэзии (если только она может назваться наукой), что нельзя было никак заставить его успевать в науке права, которую я хотел, чтобы он изучил, или в науке всех наук – богословии. Я хотел бы, чтобы он был венцом своего народа, потому что в ваше время короли великолепно награждают добродетельных литераторов, [124] потому что литература без добродетели то же, что жемчуг в навозе. Он ежедневно проверяет, хорошо или дурно выразился Гомер в таком то стихе Илиады, пристойна или нет такая-то эпиграмма Марциала, так или иначе должен быть понят такой или иной стих Вергилия. Наконец, все его разговоры сводятся к книгам этих поэтов или книгам Горация, Персия, Ювенала, Тибулла, ибо современными стихотворцами он пренебрегает. А между тем, несмотря на нелюбовь к низменной поэзии, у него голова занята теперь исключительно составлением стихотворения на четверостишие, которое ему прислали из Саламанки и которое, мне кажется, есть тема для литературного состязания.

– Дети, милостивый государь, – отвечал Дон-Кихот, – вышли из чрева родительского, и их должно любить, хороши они или дурны, как мы любим тех, кто дает вам жизнь. Родителям надлежит вести их с детства по стезе добродетели, благовоспитанности, мудрой и христианской нравственности, дабы, выросши, они послужили опорой в старости их родителей и к славе их потомства. Что касается принуждения их к изучению той или иной науки, то я не нахожу этого ни благоразумным, ни предусмотрительным, напротив, давать им в этом советы, на мой взгляд, губительно. Если только не

нужно работать для хлеба насущного и если занимающийся на столько счастлив, что небо дало ему родителей, обеспечивающих ему пропитание, я того мнения, что ему следует предоставить выбор для изучения той науки, в которой он чувствует наибольшую склонность, и, если наука поэзии менее полезна, чем приятна, она, по крайней мере, не позорит того, это ею занимается. Поэзия, господин гидальго, есть, на мой взгляд, тоже, что молодая девушка нежного возраста и совершенной красоты, которую наряжают и украшают несколько других молодых девушек, то есть все другие науки, ибо ей должны служить они все и ею все возвышаться. Но эта достойная любви дева не хочет давать дотрагиваться до себя всякому, не хочет быть влекомой по улицам, выставляемой на показ на перекрестках и у всех четырех углах дворца.<sup>[125]</sup> Она представляет собой алхимию такой добродетели, что тот, кто умеет с нею обращаться, сделает из нее золото чистое неизмеримой ценности. Он должен держать ее на привязи и не давать ей перебегать в постыдные сатиры или недостойные сонеты. Ее ни в каком случае не должно продавать, разве только для героических поэм, плачевных трагедий, остроумных и забавных комедий; но она никогда не должна попадать в руки гаеров или невежественной черни, не способной ни оценить, ни узнать сокровищ, в ней заключающихся. И не думайте, сударь, чтобы я называл чернью исключительно простолюдинов или людей низкого происхождения. Тот, кто ничего не знает, будь он барин или даже князь, должен быть причтен к черни. Итак, кто будет обращаться с поэзией так, как я сейчас указал, тот сделает свое имя известным и почитаемым среди всех образованных народов земли. Относительно же того, сударь, что вы говорите, что сын ваш не очень почитает поэзию на кастильском языке, то я нахожу, что в этом пункте он ошибается, и вот мои соображения: великий Гомер не писал по-латыни потому, что он был грек, а Виргилий не писал по-гречески потому, что он был латинянин.<sup>[126]</sup> Словом, все древние поэты писали на языке, который они всосали с молоком матери, и не отправлялись на поиски за чужими языками для выражения их высоких мыслей. А когда это так, то всего благоразумнее было бы распространить это обыкновение на все народы и не пренебрегать, например, ни германским поэтом, потому что он пишет на родном языке, ни кастильским, ни даже бискайским, потому что они пишут на своих наречиях. Но я полагаю, что сын как, милостивый государь, не расположен не к поэзии народной, а к самим поэтам, которые суть собственно только рифмоплеты, не знакомые с другими языками, не знающие никаких наук, которые содействовали бы пробуждению, поддержке и украшению их

природного таланта. И даже в этом можно ошибиться: потому что, по весьма основательному мнению, поэтами рождаются;<sup>[127]</sup> то есть, из чрева матери природный поэт выходит поэтом, и с одним этим дарованием, данным ему небом, без изучения и усилий, он творит вещи, которые оправдывают того, кто сказал: «Est Deus in nobis<sup>[128]</sup>» и т. д. Я же прибавлю, что природный поэт при помощи искусства будет выше того, кто захочет быть поэтом только потому, что знает искусство. Причина этому лежит в том, что искусство не превосходит природу, а совершенствует не таким образом, там, где природа примешивается к искусству, а искусство к природе, там создается истинный поэт. Итак, вывод из моей речи, господин гидальго, тот, что вы должны предоставить своему сыну идти туда, куда его влечет его звезда. Так как он учится настолько хорошо, насколько может, так как он счастливо миновал первые ступени наук, то есть древние языки, то с их помощью он достигнет вершины человеческих знаний, которые столь же приличествуют дворянину при шпаге и шляпе, для украшения и возвеличения его, как митры – епископам или тоги искусным юристам. Браните вашего сына, сударь, если он составляет сатиры, вредящие репутации других, наказывайте его и разрывайте в клочки его произведения. Но если он составляет поучения, на подобие Горация, где он осуждает все пороки вообще, с таким изяществом, как его предшественник, тогда хвалите его, ибо поэту позволительно писать против зависти, издеваться над завистниками в стихах и таким же образом относиться и к другим порокам, ни одной личности, однако, не называя. Но есть поэты, которые ради острого словца готовы подвергнуться ссылке на Понтийские острова.<sup>[129]</sup> Если поэт сам по себе нравствен, будут нравственны и стихотворенья его. Перо – язык души; какие мысли порождаются душою, такие писании начертывает перо. Если короли и принцы встречают чудесную науку поэзии в людях благоразумных, серьезных и добродетельных, они их почитают, уважают, обогащают и увещивают, наконец, листьями дерева, в которое молния никогда не ударяет,<sup>[130]</sup> чтобы показать, что никто не должен оскорблять тих, чело которых украшено подобными венками.

Человек в зеленом габоне был настолько поражен речью Дон-Кихота, что мало-помалу стал отказываться от своего первоначального мнения об умственном его расстройстве. Санчо с половины этого рассуждения, не особенно пришедшегося ему по вкусу, уклонился в сторону, чтобы попросить немного молока у пастухов, находившихся по близости и пасших овец. Гидальго возобновил беседу, очарованный умом и

рассудительностью Дон-Кихота, как вдруг этот последний, подняв глаза, увидал, что по дороге, до которой они следовали, приближается колесница, над которой возвышаются знамена с королевскими гербами. Ожидая нового приключения, он громко крикнул Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Санчо, услышав зов, покинул пастухов, изо всех сил стал пятками подгонять осла и поспешил к своему господину, с которым, как увидит читатель дальше, случилось безумное и ужасное происшествие.

## **ГЛАВА XVII**

### **Где проявляется последний предел, какого достигла и могла достигнуть неслыханная храбрость Дон-Кихота в благополучном окончании, данном им приключению со львами**

История передает, что когда Дон-Кихот позвал Санчо, чтобы тот передал ему его головной убор, Санчо покупал творог у пастухов. Поспешив на зов своего господина и не зная, что делать с творогом и во что его положить, он, чтобы не потерпеть убытки, так как за творог уже заплатил, порешил опустить его в шлем своего господина. После этой прекрасной выходки, он отправился к Дон-Кихоту, который ему сказал:

– Друг, дай мне, дай мой шлем, потому что, либо я ничего не понимаю в деле походов, либо я вижу там нечто такое, что обяжет меня и уже обязывает взяться за оружие.

Человек в зеленом габане, услышав эти слова, стал смотреть во все стороны и ничего не увидал, кроме тележки, двигавшейся им навстречу с двумя или тремя вымпелами, из чего он заключил, что тележка везла королевскую казну. Он поделился этой мыслью с Дон-Кихотом, но тот не захотел придать этому веры, вполне убежденный, что все с ним случающееся должно быть приключение за приключением. Поэтому он отвечал гidalго: – Человек, готовый драться, уже наполовину дерется; я ничего не потеряю, приготовившись, потому что по опыту знаю, что у меня есть видимые и невидимые враги, и не знаю только, когда, где, в какое время и под каким видом им вздумается напасть на меня.

Затем, обернувшись к Санчо, он потребовал свой шлем, и тот, не успев вынуть оттуда творог, вынужден был так и подать его. Дон-Кихот, не заметив, что в шлеме что-то лежит, поспешно надел его на голову; но там как творог от давления стал выжиматься, то по лицу и бороде Дон-Кихота потекли струи молока. Это привело его в такой ужас, что он оказал Санчо:

– Что это, Санчо? Можно подумать, что мой череп размягчился, или что мозг мой растаял, или что вот льет с меня с головы до ног. Если правда, что это у меня выступил пот, то, конечно, не от страха. Правда, мне предстоит ужасное приключение. Дай мне, пожалуйста, что-нибудь, что бы обтереть глаза, потому что пот так льет у меня со лба, что ослепляет меня.

Санчо, не говоря ни слова, подал ему платок и возблагодарил Бога, что господин его не догадался, в чем дело. Дон-Кихот обтерся, потом снял шлем, чтобы поглядеть, отчего его голове стало так холодно. Увидав на дне шлема какую-то белую массу, он поднес ее к носу и, понюхав, вскричал:

– Клянусь жизнью госпожи Дульцинеи Тобозской, ты положил туда мягкого творогу, бездельник, нахал, неотесанный оруженосец!

Санчо ответил с большой флегмой и замечательным притворством:

– Если это творог, так дайте его сюда, я его съем, или лучше, пусть дьявол его есть, потому что он сам его туда положил. Неужто же я осмелился бы пачкать шишак вашей милости? Как бы не так! Право, сударь, Бог меня надоумил, что и меня преследуют волшебники, потому что я член и создание вашей милости. Это, верно, они положили туда эту пакость, чтоб рассердить вашу милость и заставить помять мне как следует бока. Только на этот раз они попали впросак, потому что мой господин, надеюсь, настолько знает меня, чтобы понять, что у меня нет ни творогу, ни молока и ничего подобного, и что если бы у меня было что-нибудь такое, я бы лучше положил это в желудок, чем в шишак.

– Все может быть, – ответил Дон-Кихот.

Между тем гидальго смотрел и удивлялся, я еще более удивился, когда Дон-Кихот, вытерев голову, лицо, бороду и шлем и вдев ноги в стремяна, наполовину обнажил меч, схватил копье и вскричал:

– Теперь, что бы ни случилось, я готов сразиться хотя бы с самим дьяволом!

Тем временем подъехала телега с флагами. При ней были только возница, сидевший на одном из мулов, и человек на передке. Дон-Кихот преградил им путь и опросил:

– Куда вы едете, братцы? Что это за телега? Что вы везете в ней и что это за знамена?

Возчик ответил:

– Телега моя, а везу я в ней двух прекрасных львов в клетке, которых оранский губернатор посылает ко двору в подарок его величеству, а знамена эти королевские, в знак того, что все это принадлежит королю, вашему государю.

– А львы большие? – спросил Дон-Кихот.

– Такие большие, – ответил человек, сидевший в телеге, – что таких еще никогда не привозили из Африки в Испанию. Я сторож львов и возил их уже много, но ни одного еще не было такого. Это самец и самка. Лев в передней клетке, а львица в задней, и они теперь очень голодны, потому что еще ничего сегодня не ели. Поэтому пусть ваша милость посторонится



и даст нам поскорее доехать до места, чтобы накормить их.

Но Дон-Кихот сказал, улыбаясь:

– Для кого львы, а для меня львята, для меня львята! Ну, черт возьми, эти господа волшебники, посылающие их сюда, увидят, такой ли я человек, чтобы пугаться львов. Слезайте, милый человек, и так как вы сторож, то откройте клетки и выпустите львов. Здесь, среди поля, я покажу им, что такое Дон-Кихот Ламанчский, назло и в пику волшебникам, которые мне их посылают.

– Ба, ба! – произнес про себя гидальго.

– Наш добрый рыцарь показал, кто он таков. Творог ему, должно быть, размягчил череп и разжижил мозг.

В эту минуту к нему подбежал Санчо.

– О, господин! – вскричал он. – Ради Бога постарайтесь, ваша милость, чтобы той господин не дрался с этими львами. Если он на них нападет, они нас всех растерзают.

– Да что, – спросил гидальго, – твой господин помешанный что ли, что ты боишься, что он станет сражаться с дикими зверями?

– Он не помешанный, – ответил Санчо, – но чересчур отважный.

– Я уж позабочусь, чтоб он не был слишком отважен, – сказал гидальго. И, приблизившись к Дон-Кихоту, который настаивал, чтобы сторож открыл ему клетки, он сказал: – Господин рыцарь, странствующие рыцари должны предпринимать приключения, которые представляют какую-нибудь надежду на успех, а не такие, которые не сулят ничего. Отвага, доходящая до сумасбродства, может быть скорее названа безумием, чем храбростью. К тому же львы эти не идут против вас: они об этом и не помышляют. Это подарок его величеству, и вам не подобает задерживать их и препятствовать их путешествию.

– Полноте, господин гидальго, – возразил Дон-Кихот. – Занимайтесь своей послушной легавой собакой и своей смелой ищейкой, и не мешайтесь в чужие дела. Это касается меня одного, и мне лучше знать, ради меня или ради другого кого приехали господа львы. Потом, обратившись к сторожу, он прибавил: – Клянусь Богом, дон бездельник, что я пригвозжу вас копьём к этой повозке, если вы сейчас же не откроете клеток.

Возница, видя такую решимость этого вооруженного по-военному призрака, сказал:

– Позвольте мне, ваша милость, отпрячь моих мулов и увести их в укромное местечко, прежде чем львы разбегутся. Если они растерзают мулов, я погибший человек, потому что мулы и телега все мое добро.

– О, Фома неверный! – вскричал Дон-Кихот. – Слезай, пожалуй, и отпрягай мулов и делай, что хочешь; но ты сейчас увидишь, что напрасно трудился и мог бы не давать себе труда отпрягать мулов.

Возница соскочил с телеги и живо отпряг мулов, а сторож львов тем временем сказал:

– Будьте все свидетелями, что я против воли и насильно вынужден открыть клетки и выпустить львов. Предупреждаю, что этот господин будет отвечать за все беды и убытки, которые наделают львы, и за мое жалованье и всякие другие вознаграждения. Скорее попрячьтесь, господа, пока я еще не выпустил их, а мне они зла не сделают.

Гидальго еще раз попытался отговорить Дон-Кихота от этого безумного поступка, говоря, что браться за такое предприятие, значит испытывать Бога. Но Дон-Кихот только сказал на это, что сам знает, что делает.

– Берегитесь! – продолжал гидальго. – Я отлично знаю, что вы ошибаетесь.

– Ну, милостивый государь, – ответил Дон-Кихот, – если вы не желаете быть свидетелем того, что разыграется, по вашему мнению, в трагедию, то поторопитесь пришпорить свою кобылу и уезжайте в безопасное место.

Услыхав эти слова, Санчо подошел со слезами на глазах и стал в свою очередь умолять Дон-Кихота отказаться от этого предприятия, в сравнении с которым все прежние – и ветряные мельницы, и ужасное приключение с ваяльными мельницами и все вообще подвиги, которые он совершил в своей жизни, – были сущей благодатью.

– Берегитесь, господин! – говорил Санчо. – Кто знает, может быть, здесь и нет колдовства или чего-нибудь в этом роде. Я видел через решетку и щели клетки когти настоящего льва, и я знаю, что такие когти могут быть только у льва величиной с гору.

– Полно! – ответил Дон-Кихот. – От страха он тебе покажется, пожалуй, величиной с полмира. Ступай, Санчо, оставь меня одного. Если я здесь умру, ты знаешь ваше условие: ты пойдешь к Дульцинее, а дальше ты сам знаешь.

Он прибавил еще несколько слов, которые отняли у Санчо всякую надежду, чтоб он отказался от своего сумасбродного решения.

Человек в зеленом охотно воспротивился бы этому; но его остановило неравенство его оружия с вооружением Дон-Кихота, и притом он считал невозможным затевать ссору с сумасшедшим, каким был в его глазах Дон-Кихот. А так как этот последний возобновил свои угрозы сторожу, то гидальго решился пришпорить свою кобылу, Санчо – осла, а возница –

своих мулов, чтобы как можно более удалиться от телеги, прежде чем львы будут выпущены из клеток. Санчо уже оплакивал смерть своего господина, уверенный, что тот на этот раз лишится жизни в когтях льва. Он проклинал свою звезду, проклинал тот час, когда ему вздумалось опять поступить в услужение; но, несмотря на слезы и вопли, не забывал стегать осла то одной, то другой рукой, чтобы как можно более удалиться ото львов.

Сторож, видя, что удиравшие отъехали уже далеко, снова стал уговаривать и просить Дон-Кихота.

– Слышу, – отвечал Дон-Кихот, – но прошу превратить увещания: это потерянный труд, и вам лучше поторопиться исполнить мое требование.

Пока сторож открывал первую клетку, Дон-Кихот стал соображать, не лучше ли было бы сражаться пешим, чем верхом, и решил, что пешим действительно будет лучше, потому что Россинант может испугаться львов. Он соскакивает с коня, бросает копье, берет щит и вынимает меч, затем твердым шагом и с полным бесстрашием приближается в телеге и с замечательным мужеством останавливается перед ней, в глубине души поручая себя сперва Богу, затем своей Дульцинее.

Надо знать, что автор этой правдивой истории, дойдя до этого места, с восторгом восклицает: О храбрый, о невыразимо отважный Дон-Кихот Ламанчский! зеркало, в которое могут глядеться храбрецы всего света! новый Дон Мануэль Понсе де Леон, который был славой и честью испанских рыцарей! какими словами описать мне этот страшный подвиг? какими убедительными доводами сделать мне его правдоподобным для будущих веков? какие похвалы мне найти, которые были бы достойны и равны твоей славе, хотя бы это были преувеличения за преувеличениями? Ты пеший, ты один, ты бесстрашный, ты великодушный, с мечом в одной руке, – и не из тех острых мечей или шпаг, которые помечены собачкой, [\[131\]](#) – со щитом в другой руке, – и не из совершенно чистой и хорошей стали, – ты твердо ждешь двух ужаснейших львов, каких только питали африканские леса. О, пусть собственные твои подвиги говорят в твою похвалу, отважные Ламанчец! Что же касается меня, то я предоставляю их им самим, потому что у меня не хватает слов для их восхваления.

На этом автор кончает вышеприведенное восклицание и приступает к продолжению истории. Когда сторож зверей, говорит он, увидел, что Дон-Кихот стал в воинственную позу, и что надо было выпустить льва-самца под страхом немилости сердитого и отважного рыцаря, он открыл настежь первую клетку, в которой, как уже сказано, находился этот лев, казавшийся невероятных размеров и ужасный на вид. При этом зверь, прежде всего, завертелся в клетке, в которой лежал, затем вытянулся во весь рост,

протянул лапу и выпустил когти. Потом он открыл пасть, медленно зевнул, и, высунув двухфутовый язык, потер себе им глаза и обмыл все лицо. После того он высунул голову из клетки и осмотрелся во все стороны глазами, горевшими, как угольки. Дон-Кихот внимательно следил за ним, сгорая желанием, чтоб зверь бросился с телеги и сразился с ним, так как он был уверен, что изрубит его в куски.

Его безумие допускало такую возможность; великодушный лев, более учтивый, чем нахальный, не обратил ни малейшего внимания на ребячество и задор Дон-Кихота и, осмотревшись во все стороны, повернулся спиной, показал рыцарю свой зад и с замечательным хладнокровием снова улегся в клетке. Видя это, Дон-Кихот приказал сторожу взяться за палку и раздражить льва побоями, чтоб он вышел.

— Ну, этого я не сделаю, — ответил сторож, — потому что, если я его раздражу, он меня же первого и растерзает. Ваша милость можете удовольствоваться тем, что вы сделали: больше уж невозможно сделать по части храбрости, и вам не след еще раз испытывать судьбу. У льва дверь открыта; лев может выйти или остаться, и если он до сих пор не вышел, так уж совсем сегодня не выйдет. Но ваша милость выказали большую отвагу, а по-моему, ни один храбрец не может сделать больше, как вызвать своего противника и ожидать его для поединка. Если вызванный не приходит, так бесчестие падает на него, и тот, кто вовремя пришел на поединок, остается победителем.

— Да, это правда, — ответил Дон-Кихот. — Закрой дверь и дай мне свидетельство в наилучшей форме, какая тебе доступна, в том, что ты сейчас видел, а именно: что ты отпер клетку льва, что я его ждал, что он не вышел, что я еще подождал его, что он опять отказался выйти и что он снова улегся. Больше я ничего не обязан делать, прочь чары, и пусть Бог поможет рассудку, справедливости, истинному рыцарству, и запри двери, как я говорил, пока я дам сигнал беглецам, чтоб они вернулись и услышали о моем подвиге из собственных твоих уст.

Сторож не заставил себя долго просить, а Дон-Кихот, подняв на острие своего копья платок, которым он недавно обтирал с своего лица дождь от творага, стал звать не перестававших удирать и на каждом шагу оборачивавшихся гидальго и его товарищей по бегству. Санчо заметил сигнальный платок и вскричал:

— Убей меня Бог, если мой господин не победил этих хищников! Вот он вас зовет.

Они все трое остановились и увидали, что знаки делает действительно Дон-Кихот. Оправившись немного от страха, они мало-помалу

приблизились, так что могли слышать крики звавшего их Дон-Кихота. Когда же они совсем подъехали к телеге, Дон-Кихот сказал: – Можешь, братец, запрячь своих мулов и продолжать путь. А ты, Санчо, дай мне два золотых для него и для сторожа львов в награду за потерянное из-за меня время. – Очень охотно дам, – ответил Санчо. – Но что же случилось со львами? живы они или нет?

Тут сторож, не торопись и не обинуясь, стал рассказывать со всеми подробностями об исходе поединка.

– При виде рыцаря, – говорил он, – испуганный лев не осмелился выйти из клетки, несмотря на то, что дверь долго была открыта, и когда я сказал рыцарю, что раздражать льва, – как он требовал, чтоб заставить зверя выйти, – значит испытывать Господа, он после долгого сопротивления и против воли позволил мне запереть клетку.

– Гм! как это тебе нравится, Санчо? – вскричал Дон-Кихот. – Есть, по-твоему, волшебники, которые могут сломить храбрость? Они могут отнять у меня счастье, но мужество и храбрость никогда!

Санчо отдал два золотых, возница впряг мулов, сторож в благодарность поцеловал у Дон-Кихота руку и обещал ему рассказать о его отважном подвиге самому королю, когда увидит его во дворце.

– Ну, а если его величество, – сказал Дон-Кихот, – спросит, кто это сделал, вы ему скажите, что рыцарь Львов, потому что я хочу, чтобы отныне в это имя перешло, преобразилось и изменилось имя рыцаря Печального Образа, которое я до сих пор носил. В этом случае я следую лишь древнему обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им вздумается или когда считали себя вправе.<sup>[132]</sup> После этого телега поехала своей дорогой, а Дон-Кихот, Санчо и гидальго своей.<sup>[133]</sup>

Во все это время Дон Диего де Миранда не произносил ни слова, так он был занят поступками и словами Дон-Кихота, который казался ему или разумным человеком с помутившимся умом, или сумасшедшим со здравым рассудком. Он еще не знал первой части его истории, потому что если б он ее прочитал, то его не поражали бы до такой степени все слова и поступки рыцаря, так как он знал бы, какого рода было его сумасшествие. Не зная еще его истории, он принимал его то за разумного человека, то за сумасшедшего, потому что все, что тот говорил, было рассудительно, изящно и хорошо выражено, а все, что он делал, безрассудно, сумасбродно и нелепо. Гидальго думал: – Может ли быть большее безумие, чем надеть на голову шлем с творогом и воображать, будто волшебники размягчили его мозг? Что за безумие, что за сумасбродство драться со львами! – Дон-

Кихот вывел его из задумчивости и остановил его монолог словами:

– Бьюсь об заклад, господин Дон Диего де Миранда, что ваша милость принимаете меня за безумца, за сумасброда. И это меня ничуть не удивляет, потому что по моим поступкам ничего иного и подумать нельзя. Ну, а я скажу вашей милости, что и вовсе не такой сумасброд и не такой безумец, каким кажусь. Блестящему рыцарю вполне прилично проткнуть копьем благородного быка, на площади, на глазах у своего короля;<sup>[134]</sup> рыцарю, покрытому блестящим вооружением, вполне приличествует выйти на веселый поединок в присутствии дам; наконец, всем этим рыцарям вполне приличествует забавлять двор своих властителей и прославлять их, если можно так выразиться, всеми этими с виду военными упражнениями. Но еще более приличествует странствующему рыцарю искать в уединенных местах, в пустынях, на перекрестках дорог, в лесах и в горах опасных приключений с желанием дать им благоприятный исход, чтобы приобрести продолжительную, громкую славу. Еще более приличествует странствующему рыцарю, говорю я, помочь вдове в необитаемой пустыне, чем придворному рыцарю соблазнить девушку среди города. Но все рыцари имеют свои особые, свойственные им упражнения. Пусть придворный служит дамам, пусть своею наружностью украшает двор своего монарха, пусть платит бедным дворянам, прислуживающим у него за столом, пусть делает вызовы на турнирах и поединках,<sup>[135]</sup> пусть выказывает великодушие, щедрость и великолепие и, в особенности, пусть будет хорошим христианином, тогда он, как следует, выполнить свой долг. Странствующий же рыцарь пусть ищет окраин мира, пусть проникает в запутаннейшие лабиринты, пусть на каждом шагу берется за невозможное; пусть подвергается среди пустынь летом жгучим лучам полуденного солнца, а зимою беспощадной суровости ветров и холодов, пусть не страшится львов, не трепещет пред вампирами и другими чудовищами, – потому что его истинное назначение состоит в том, чтоб искать одних, вызывать на бой других и все побеждать. Поэтому-то я, которому выпало на долю принадлежать к членам странствующего рыцарства, и не могу уклоняться от всего того, что, по моему мнению, входит в круг обязанностей моей профессии. Так, моей прямой обязанностью было напасть на этих львов, хотя я и знал, что это безграничное сумасбродство, я прекрасно знаю, что такое храбрость: это добродетель, занимающая середину между двумя крайними пороками, трусостью и сумасбродством. Но человеку мужественному не так худо дойти до безрассудства, как опуститься до трусости; потому что как человеку расточительному легче,

чем скупому, стать щедрым, так и безрассудному легче сделаться истинно храбрым, чем трусу возвыситься до истинного мужества. Что же касается того, чтоб идти навстречу приключениям, то, верьте мне, господин Дон Диего, что отступая больше теряешь, чем идя вперед, потому что, когда говорят: «Этот рыцарь смел и безрассуден», то это звучит как-то лучше, чем когда говорят: «Этот рыцарь робок и труслив».

– Я могу сказать, господин Дон-Кихот, – ответил Дон Диего, – что все, что ваша милость изволили сказать и сделать, проистекает прямо из рассудка, и я убежден, что если бы законы и правила рыцарства затерялись, вы бы отыскиали их в своем сердце, как в их естественном складочном месте и их специальном архиве. Но поторопимся немного, потому что становится поздно, а вам нужно еще поспеть в мое поместье и в мой дом. Там ваша милость отдохнете от прошедших трудов, которые утомили, если не ваше тело, то ваш дух, что также ведет за собой физическую усталость.

– Считаю ваше приглашение за особенную честь и с благодарностью принимаю, господин Дон Диего, – ответил Дон-Кихот. Они стали энергичнее прищипоривать лошадей, и было около двух часов пополудни, когда они достигли дома Дон Диего, которого Дон-Кихот назвал рыцарем Зеленого Габана.

## ГЛАВА XVIII

### О том, что случилось с Дон-Кихотом в замке или доме рыцаря Зеленого Габана, и о других удивительных вещах

Дон-Кихот нашел дом Дон Диего обширным, как вообще бывает в деревнях, с высеченным на входной двери оружием из необделанного камня. На дворе виднелся погреб, у входа в который стояли кругом глиняные кувшины для вина. Так как кувшины эти фабриковались в Тобозо, то при виде их, Дон-Кихот вспомнил о своей заколдованной даме, я, вздохнув и не думая ни о том, что говорить, ни о том, кто его слышит, вскричал: – О, милое сокровище, найденное мною к моему несчастью! милое и веселое, когда Богу то угодно.<sup>[136]</sup> О тобозские кувшины, которые напомнили мне милое сокровище моего страшного горя! – Эти восклицания услышаны были студентом поэтом, сыном Дон Диего, который вышел с матерью приветствовать его. И мать, и сын были поражены наружностью Дон-Кихота. Он же, соскочив с коня, подошел весьма учтиво к ручке дамы, причем Дон Диего ей сказал:

– Примите, сударыня, с обычным вашим радушием господина Дон-Кихота Ламанчского, которого я вам представляю; он по профессии странствующий рыцарь, и притом отважнейший и скромнейший, какого только можно встретить на свете.

Дама, по имени донна Христина, приветствовала его с величайшей учтивостью и радушием, тогда как Дон-Кихот предлагал себя к ее услугам в самых изысканных и вежливых выражениях. Почти те же церемонии он проделал со студентом, который, слушая Дон-Кихота, счел его за человека рассудительного и умного.

Тут автор этой истории описывает со всеми подробностями дом Дон Диего, изобразив в этом описании все, что содержал дом богатого сельского дворянина. Но переводчик счел за лучшее обойти эти подробности молчанием, потому что они мало относятся к главному предмету истории, обращающей более внимания на истину, чем на холодные отступления.

Дон-Кихота ввели в зал, где Санчо разоружил его, причем он остался в замшевом камзоле, потертом и испачканном оружием. На нем был воротник в роде студенческого, не накрахмаленный и без кружев, башмаки



его были желты и вылощены воском. Он надел через плечо меч на перевязи из кожи морского волка; опоясываться им он не имел обыкновения потому, что, как рассказывают, уже много лет страдал поясницей. Наконец он накинул на спину маленький плащ из хорошего темного сукна. Но прежде всего он вымыл голову и лицо в пяти или шести тазах воды (впрочем, насчет числа тазов существует разногласие), и, несмотря на то, последняя вода все еще была слегка окрашена в цвет сыворотки, благодаря обжорству Санчо и приобретению им злополучного творога, который так испачкал его господина.

Разубранный таким образом и приняв любезный и развязный вид, Дон-Кихот вошел в другую комнату, где его ожидал студент, который должен был занимать его, пока не подадут обеда, потому что по случаю приезда такого благородного гостя, донна Христина хотела показать, что умеет хорошо принимать тех, кто к ней приезжает.

Пока Дон-Кихот разоружался, Дон Лоренсо (так звали сына Дон-Диего) сказал своему отцу:

— Что мы должны думать, сударь, о дворянине, которого ваша милость привезли к нам в дом? Его имя, наружность и то, что вы сказали, что он странствующий рыцарь, повергло нас, мою мать и меня, в величайшее изумление.

— Я и сам, право, не знаю о нем ничего, сын мой, — ответил Дон-Диего. — Все, что я могу сказать, это — что он на моих глазах проделывал такие вещи, на которые способен только совершенно помешанный человек, и говорил так рассудительно, что заставил совсем забыть о его поступках. Но поговори с ним сам, пощупай его насчет его знаний, а так как ты довольно умен, то и рассуди сам, умен ли он или глуп, хотя я, правду сказать, считаю его скорее за сумасшедшего, чем за человека с рассудком.

После этого Дон Лоренсо пошел, как уже сказано, занимать Дон-Кихота, и в происшедшем между ними разговоре Дон-Кихот между прочим сказал Дон Лоренсо:

— Господин Дон-Диего де Миранда, ваш батюшка, рассказал мне о вашем редком таланте: и замечательном уме; он мне сказал также, что ваша милость великий поэт.

— Поэт — может быть, — ответил Дон Лоренсо, — но великим я себя считать не могу. Дело в том, что я немножко пишу, как любитель, и люблю читать хороших поэтов, но из этого еще не следует, чтоб меня можно было назвать великим поэтом, как выразился мой отец.

— Это смирение мне нравится, — ответил Дон-Кихот, — потому что поэты все нахальны, и каждый воображает, что он величайший поэт в мире.

– Но нет правила без исключения, – возразил Дон Лоренсо, – и бывают поэты, которые и не считают себя поэтами.

– Мало таких, – сказал Дон-Кихот. – Но скажите, пожалуйста, какие стихи вы теперь пишете: ваш батюшка говорил мне, что вы ими очень заняты и озабочены. Если это стихи на тему, так я немного знаю в них толк и был бы очень рад прочитать их. Если это для литературного состязания, [\[137\]](#) то пусть ваша милость попытается получить второй приз, так как первый всегда отдается в пользу и по оценке личности, тогда как второй присуждается по справедливости, и, в сущности, третий становится вторым, а первый есть не что иное, как третий, подобно университетским дипломам. И все-таки название первого приза имеет большое значение.

– До сих пор, – сказал про себя Дон Лоренсо, – я не могу считать тебя сумасшедшим, но будем продолжать. Мне кажется, – сказал он вслух, – что ваша милость посещали школы: какие же науки вы изучали?

– Науку странствующего рыцарства, – ответил Дон-Кихот, – которая также возвышенна, как поэзия, и даже на два пальца выше ее.

– Я не знаю, что это за наука, – возразил Дон Лоренсо, – и даже никогда не слыхал о ней.

– Это наука, – ответил Дон-Кихот, – вторая, включает в себе все остальные науки. И в самом деле, тот, кто занимается ею, должен быть юрисконсультom и знать законы распределительные и собирательные, чтобы всякому отдавать должное. Он должен быть теологом, чтоб уметь ясно излагать символ христианской веры, которую он исповедует, когда бы и где бы это от него ни потребовалось. Он должен быть медиком и особенно ботаником, чтоб узнавать среди пустынь и необитаемых мест травы, имеющие свойство исцелять раны, потому что странствующий рыцарь не должен искать повсюду человека, который бы сумел перевязать рану. Он должен быть астрономом, чтоб ночью узнавать по звездам, который час, чтобы знать, в каком климате и какой части мира он находится. Он должен звать математику, потому что она нужна ему на каждом шагу; затем, оставив в стороне, как понятное само собою, что он должен быть украшен всеми богословскими и кардинальскими добродетелями, я перехожу к мелочам и говорю, что он должен уметь плавать, как плавал, говорят, Николай-рыба. [\[138\]](#) Он должен уметь подковывать и седлать лошадей, и – если обратимся опять к более возвышенным делам – он должен сохранять веру в Бога и в свою даму, [\[139\]](#) он должен быть целомудрен в мыслях, благопристойен в речах, щедр в поступках, храбр в делах, терпелив в страданиях, милосерд к

нуждающимся, и должен оставаться твердым подвижником истины, хотя бы для защиты ее ему пришлось рисковать жизнью. Из всех этих великих и малых качеств и состоит хороший странствующий рыцарь. Судите сами, господин Дон Лоренсо, пуста ли наука, которую изучает рыцарь, делающий из себя свою профессию, и можно ли ее сравнить с самой трудной наукой, преподаваемой в гимназиях и школах.

– Если б это было так, – ответил Дон Лоренсо, – я бы сказал, что эта наука стоит выше всех остальных.

– Как если б это было так! – вскричал Дон-Кихот.

– Я хочу сказать, – объяснил Дон Лоренсо, – что сомневаюсь, чтобы существовали когда либо, прежде или теперь, странствующие рыцари, и особенно одаренный столькими добродетелями.

– Я повторяю вам то, что уже не раз говорил, – ответил Дон-Кихот, – что большинство людей того мнения, будто странствующих рыцарей никогда не существовало; а так как и того мнения, что если небо не откроет им каким-нибудь чудом, что рыцари эти и прежде существовали и теперь существуют, то напрасно будет трудиться убедить их, как опыт уж не раз доказывал мне, то я и не стану теперь стараться вывести вашу милость из заблуждения, которое вы разделяете с другими. Я стану только просить Бога, чтобы Он вывел вас из этого заблуждения и уяснил вам, до какой степени странствующие рыцари были реальны и необходимы миру в прошедшие времена, и как они были бы полезны в настоящее время, если бы еще были в ходу. Но теперь, за грехи человечества, торжествуют лень, праздность, обжорство и изнеженность.

– Ну, наш гость стал заговариваться, – сказал про себя Дон Лоренсо. – Однако, он замечательный сумасшедший, и надо быть дураком, чтоб этого не заметить.

Тут разговор прекратился, потому что их позвали обедать. Дон Диего спросил у сына, какое заключение он вывел об уме его гостя.

– Ну, – ответил молодой человек, – ни один врач, ни один переписчик его слов не выпутается из его безумных речей. Его безумие, так сказать, периодическое, со светлыми промежутками.

Сели за стол, и обед оказался такой, какой Дон Диего дорогой говорил, что всегда предлагает своим гостям, т. е. обильный, хорошо сервированный и вкусный. Но что всего более очаровало Дон-Кихота – это удивительная тишина, царившая в доме, который походил на картезианский монастырь. Когда убрали со стола, прочитали молитвы и вымыли руки, Дон-Кихот стал просить Дон Лоренсо прочитать ему свои стихи для литературного состязания. Студент ответил:

– Чтоб не походить на тех поэтов, которые, когда их просят прочитать их стихи, отказываются, а когда не просят, навязываются с ними, я прочитаю мое стихотворение, за которое не жду никаких премий, потому что писал его единственно для умственного упражнения.

– Один из моих друзей, человек искусный, – ответил Дон-Кихот, – был того мнения, что не следует писать стихов на заданную тему. Дело в том, – говорил он, – что такое стихотворение никогда не может вполне сравниться с оригиналом и всегда уклоняется от темы; кроме того, законы таких стихотворений чересчур строги, не допускают ни вопросов, ни выражений в роде «сказал он» или «скажу я»; они не допускают ни отглагольных существительных, ни фигурных выражений вместо прямых, и вообще подчинены массе запретов и трудностей, которые тормозят и стесняют составителей их, как ваша милость, наконец, испытали на себе.

– Я хотел бы, господин Дон-Кихот, – возразил Дон Лоренсо, – поймать вас на весьма распространенном заблуждении, но не могу, потому что вы у меня выскальзываете из рук подобно угрю.

– Я не понимаю, – ответил Дон-Кихот, – что ваша милость говорите и что хотите сказать тем, что я у вас выскальзываю из рук.

– Я сейчас объяснюсь, – сказал Дон Лоренсо, – но прежде прошу вашу милость выслушать стихи, послужившие темой, и мои стихи. Вот тема:

Если б прошлое вернуть,  
Как тогда я б счастлив был,  
Иль того бы час пробил,  
Что вдали мрачит мой путь. [\[140\]](#)

### **Стихотворение.**

Кат на свете все проходит,  
Так прошел и счастья сон,  
Дни несчастья рок приводит, —  
Я к невзгодам пробужден.  
Много лет не может грудь  
От страдания вздохнуть.  
Небо, сжался надо мною!  
Нет от мысли мне покою:  
Если б прошлое вернуть.

Не ищу иной я славы,  
Ни триумфов, ни побед,  
Ни веселья, ни забавы, —  
Мысль летит за прошлым вслед,  
И душа полна отравы.  
Если б рок все воротил,  
Я б тревоги все забыл  
И когда бы во мгновенье  
Снизошло успокоенье,  
Как тогда я б счастлив был.

Но, напрасное мечтанье!  
Прошлых дней не воротить;  
Тщетно было бы желанье  
Мертвых к жизни пробудить  
Иль исправить мирозданье.  
Срок как скоро наступил,  
Отдалить его нет сил.  
Неразумен, кто мечтает:  
Это пусть конца не знает,  
Иль того бы час пробил.

Жизнь не жизнь с невзгодой вечной,  
Средь боязни и тревог.  
Полн тоскою бесконечной,  
Я б легко решиться мог  
Кончить с жизнью скоротечной.  
Но небес не обмануть,  
С ней покончив как-нибудь.  
Это жизнь мне возвращает  
И пред тем мне страх внушает,  
Что вдали мрачит мой путь.

Когда Дон Лоренсо дочитал свое стихотворение, Дон-Кихот поднялся и, схватив его правую руку, вскричал громким, крикливым голосом:

— Клянусь небом и его величием, дитя мое, вы лучший поэт во всей вселенной, вы стоите, чтоб вас увенчали лаврами не только Кипр или Гаэта, как сказал один поэт, над которым да смилуется Господь, [\[141\]](#) но и афинские

академии, если б они еще существовали, и нынешние академии в Париже, Болонье и Саламанке. Да устроят Бог, чтобы судьи, которые откажут вам в первом призе, были поражены стрелами Аполлона, и чтобы музы никогда не переступали порога их домов! Прочитайте мне, сударь, умоляю вас, какое-нибудь серьезное стихотворение, потому что я хочу со всех сторон изучить ваш чудесный гений. [\[142\]](#)

Нужно ли говорить, что Дон Лоренсо был в восторге от таких похвал со стороны Дон-Кихота, хотя и считал его сумасшедшим? О, могущество лести, как ты велико, и как широко ты распространяешь пределы своих приятных суждений! Дон Лоренсо подтвердил истину этих слов, потому что снизошел на просьбу Дон-Кихота и прочитал ему следующий сонет об истории Пирама и Фисбы.

### **Сонет.**

Стена пробита девою прелестной; —  
Ей сердце пылкое Пирам открыл.  
Летит Амур от Кипра; вот шум крыл  
Уж слышится над щелью той чудесной.

Для голоса нет места в щели тесной;  
И каждый звук беззвучен бы в ней был,  
Когда бы двух сердец горячий пыл  
Из слов не делал музыки небесной.

Их страстное желанье не свершилось;  
Неосторожность девы в том виной.  
Смотрите, что с влюбленными случилось:

Мечом, могилой, памятью одной —  
И удивленье случай тот внушает —  
Их рок разит, скрывает, воскрешает.

— Клянусь Богом! — воскликнул Дон-Кихот, выслушав сонет Дон Лоренсо, — среди множества совершенных поэтов, которые живут в наше время, я не встречал такого совершенного, как ваша милость, мой дорогой сударь; по крайней мере, искусная композиция этого сонета доказала мне, что это верно.

Дон-Кихот четыре дня прожил в доме Дон Диего, а затем попросил у последнего позволение уехать.

— Я вам очень обязан, — сказал он, — за радушный прием, который встретил в этом доме; но так как странствующим рыцарям не подобает посвящать много часов праздности и неге, то я хочу отправиться исполнять обязанности моей профессии, ища приключений, которыми, как мне известно, этот край изобилует. Я надеюсь таким образом провести время в ожидании начала сарагосских поединков, которые составляют главную цель моего путешествия. Но прежде я хочу проникнуть в Монтезинскую пещеру, о которой в околоте рассказывают так много таких чудесных вещей; в то же время я буду стараться открыть происхождение и настоящие источники семи озер, называемых в просторечии Руидерскими лагунами.

Дон Диего и его сын стали восхвалять его благородное намерение и предложили ему взять из их дома и из их имущества все, что ему угодно, с величайшей готовностью предлагая себя к его услугам и говоря, что его личные заслуги и благородная профессия, которой он занимается, обязывает их к тому.

Наконец, наступил день отъезда, столь же веселый и радостный для Дон-Кихота, сколько печальный и несчастный для Санчо Пансо, который, чувствуя себя отлично среди царившего в кухнях Дон Диего изобилия, приходил в отчаяние, что надо было возвращаться в обычному в лесах и пустынях голоду и к скудным запасам своей котомки. Тех не менее, он наполнил ее до краев всем, что ему казалось годным. Дон-Кихот, простившись со своими хозяевами, сказал Дон Лоренсо:

— Не знаю, говорил ли я уже вашей малости, во всяком случае, повторяю, что если вы хотите сократить труды и дорогу к достижению недостигаемой вершины славы, вы должны сделать только одно: оставить тропу поэзии и свернуть на узенькую тропинку странствующего рыцарства. Этого достаточно, чтоб по мановению руки сделаться императором.

Этой выходкой Дон-Кихот окончательно довершил картину своего безумия и еще более осветил ее тем, что прибавил:

— Богу известно, как мне хотелось бы увести с собой господина Дон Лоренсо, чтоб научить его, как щадить униженных и топтать ногами высокомерных,<sup>[143]</sup> добродетели нераздельные с моей профессией. Но там как его молодость еще не требует этого, а его похвальные занятия не позволяют этого, то я ограничусь тем, что дам ему следующий совет: будучи поэтом, он станет знаменит лишь тогда, когда будет полагаться на чужое мнение, а не на свое. Нет отца и матери, которым дитя их казалось

бы безобразно, а к детям ума это заблуждение еще более применимо.

Отец и сын снова были поражены путаницей в понятиях Дон-Кихота, то разумных, то безрассудных и упорством, с которых он то и дело пускался в поиски за своими неудачными приключениями, целью и краеугольным камнем всех его желаний. После обмена взаимными любезностями и предложениями услуг, Дон-Кихот и Санчо уехали с милостивого позволения хозяйки замка, один на Россинанте, другой на осле.



## **ГЛАВА XIX**

### **Где рассказывается приключение с влюбленным пастухом, вместе с другими поистине прекрасными событиями**

Едва Дон-Кихот выехал из деревни Дон Диего, как к нему присоединились два не то священника, не то студента, и два земледельца, которые все четверо ехали верхом на длинноухих животных. У одного из студентов был вместо чемодана маленький узелок из толстого зеленого холста, в котором завязано было кое-какое платье и две пары черных тиковых чулок, у другого же было при себе только две новых рапиры. Что касается земледельцев, то при них было несколько вещей, которые они, очевидно, купили в каком-нибудь городе и везли домой в деревню. И студенты, и земледельцы так же изумились при виде Дон-Кихота, как и все, кто его встречал в первый раз, и сгорали нетерпением узнать; кто такой этот человек, так непохожий на других и так отличающийся ото всех. Дон-Кихот раскланялся с ними и, узнав, что они едут по одной дороге с ним, предложил им ехать вместе, прося их несколько умерить шаг, так как их ослы ехали скорее, чем его лошадь. Желая выказать им любезность, он в немногих словах рассказал им, кто он и чем занимается, а именно что он странствующий рыцарь и что едет искать приключений во всех четырех странах света. Он прибавил, что имя его Дон-Кихот Ламанчский, а прозвище рыцарь Львов. Для крестьян все это было так же непонятно, как если бы он говорил по-гречески или по-цыгански; студенты же сразу поняли, что мозг его не в порядке. Тем не менее, они глядели на него с удивлением и не без примеси уважения, и один из них сказал ему:

— Если ваша милость, господин рыцарь, не направляетесь в определенное место, как все вообще, кто ищет приключений, то поедemте с нами, и вы увидите одну из прекраснейших и богатейших свадеб, какие когда-либо праздновались в Ламанче и на несколько миль кругом.

Дон-Кихот спросил, не принц ли какой-нибудь женится, что они так превозносят свадьбу.

— Нет, — ответил студент, — это не более, как свадьба крестьянина с крестьянкой; он всех богаче в околотке, а она всех прекраснее в мире. Их свадьба будет отпразднована с необыкновенной и невиданной пышностью, так как она совершится на лугу, прилегающем к селу невесты, которую все

называют красавицей Китерией. Жениха зовут богач Камачо. Ей восемнадцать лет, а ему двадцать два года, и оба они одинакового происхождения, хотя люди, знающие наизусть родство всего мира, уверяют, будто красавица Китерия в этом отношении стоит выше Камачо. Но на это нечего обращать внимания: богатство достаточно могущественно, чтобы заткнуть и загладить все дыры. И в самом деле, этот Камачо щедр, и ему вздумалось покрыть весь луг ветвями деревьев, так что солнцу, если оно вздумает навестить свежую травку, покрывающую землю, едва ли это удастся. Он заказал также пляски, как со шпагами, так и с бубенчиками,<sup>[144]</sup> потому что в его деревне есть люди, умеющие замечательно позвякивать ими. О плясунах с башмаками,<sup>[145]</sup> я уж и не говорю: он нанял их целую тьму. Но изо всего, что я рассказал, и из множества вещей, о которых я умолчал, ни одна, думается мне, так не запечатлеет в памяти эту свадьбу, как выходки, которые, без сомнения будет проделывать несчастный Базилио. Этот Базилио – молодой пастух, живущий в одной деревне с Китерией, в собственном домике, бок-о-бок с домом родителей красавицы-крестьянки. Амур воспользовался этим, чтоб напомнить миру забытую историю Пирама и Тизбы, потому что Базилио влюбился в Китерию с юных лет, и молодая девушка платила ему взаимностью, выражавшейся в тысячах невинных благосклонностей, так что в деревне шли пересуды о любовных шашнях между мальчиком Базилио и девочкой Китерией. Когда оба они выросли, отец Китерии решил отказать Базилио от своего дома, куда он был вхож до тех пор, затем, чтоб избавиться от забот и опасений, он сговорился выдать свою дочь за богача Камачо, считая невыгодным отдать ее за Базилио, который не так был одарен фортуной, как природой; потому что, говоря по совести и без зависти, он самый статный малый, какого только можно встретить; сильный, ловкий, превосходный боец и замечательный игрок в мяч. Он бегают, как олень, прыгает лучше козы и в кеглях пускает шары точно волшебством. Кроме того, он поет, как жаворонок, играет на гитаре так, что она словно говорит, и, в довершение всего, ловко играет кинжалом.

– За одно это качество, – вскричал Дон-Кихот, – малый стоит того, чтоб жениться не только на красавице Китерии, но даже на королеве Жениевре, если б она еще была жива, наперекор Ланселоту и всем, кто стал бы противиться этому.

– Скажите-ка это моей жене, – перебил Санчо, который до тех пор только молча слушал. – Она говорит, что всякий должен жениться только на равной, и доказывает это пословицей, что всякая овца для своего самца.<sup>[146]</sup>

Что до меня, то я бы не прочь, чтоб этот славный парень Базилио женился на этой девице Китерии, и будь проклят на этом и на том свете тот, кто мешает людям жениться по своему вкусу. – Если бы все влюбленные могли так жениться, – ответил Дон-Кихот, – то у родителей отнято было бы их законное право выбирать для своих детей и пристраивать их, как и когда им вздумается; а если бы выбор мужей предоставлен был молодым девушкам, то одна выходила бы за лакея своего отца, а другая за первого встречного, который гордо и заносчиво прошел бы по улице, хотя бы это был развратный фат. Любовь легко ослепляет глаза рассудка, так необходимые для выбора положения, а в выборе права особенно рискуешь обмануться: тут нужны величайший такт и особенная милость неба, чтобы удачно попасть. Кто собирается предпринять путешествие, тот, если он благоразумен, выбирает себе, прежде чем пуститься в путь, приятного и надежного спутника. Почему же не поступать так и тому, кто должен всю жизнь до самой своей смерти идти вперед, особенно когда спутник его не покидает его ни в постели, ни за столом, ни где бы то ни было, как жена не покидает мужа. Законная жена не то, что товар, который можно возвратить, обменять или перепродать после покупки: это нераздельная принадлежность мужа, длящаяся всю жизнь; это узел, который, когда его накинешь на шею, превращается в Гордиев узел и не может быть развязан, пока коса смерти не рассекает его. Я мог бы сказать еще многое другое по этому предмету, но меня удерживает желание узнать, не остается ли господину лиценциату еще что-нибудь рассказать по поводу истории Базилио.

– Мне остается рассказать еще только одно, – ответил студент, бакалавр или лицензиат, как его назвал Дон-Кихот, – что с того дня, как Базилио узнал, что красавица Китерия выходит замуж за богача Камачо, никто уж не видал его улыбки и не слышал ни одного разумного слова. Он всегда печален и задумчив, говорит сам с собой, а это верное доказательство, что он лишился рассудка. Он мало ест, мало спит, если ест, то только плоды, и если спит, то на открытом воздухе и на земле, как скотина. Время от времени он взглядывает на небо, а иной раз уставится в землю с таким упорством, что его можно принять за статую в развеваемой ветром одежде. Словом, он так сильно обнаруживает страсть, таящуюся в его сердце, что все знающие его опасаются, как бы да, которое произнесет завтра красавица Китерия, не было для него смертным приговором.

– Бог сумеет уладить дело, – вскричал Санчо, – потому что, посылая болезнь, он посылает и лекарство, никто не знает, что должно случиться. До завтра остается еще много часов, а дом может обвалиться в одно

мгновение. Я часто видел, как в одно время шел дождь и светило солнце, и сколько раз человек ложится вечером совершенно здоровый, а утром не может пошевелинуться. Скажите: есть ли на свете человек, который мог бы похвастать, что вбил гвоздь в колесо фортуны? Разумеется, нет, а между да и нет, которые говорит женщина, я не положил бы и кончика иголки, потому что он бы туда не пролез. Если только Китерия искренно и сильно любит Базилио, я посулю ей целый короб счастья, потому что любовь, как я слышал, глядит сквозь очки, превращающие медь в золото, бедность в богатство и стекло в бриллианты.

– Куда ты к черту суешься, проклятый Санчо? – вскричал Дон-Кихот, – ты как начнешь нагромождать пословицы и разные истории, так за тобой никто не угоняется, кроме разве Иуды, – чтоб он тебя унес! Скажи ты, животное, что ты понимаешь в гвоздях, колесах и т. п.?

– Ах, батюшки! – возразил Санчо. – Если вы меня не понимаете, так не удивительно, что мои слова кажутся вам глупыми. Ну, да все равно, я себя понимаю и знаю, что вовсе не наговорил столько глупостей, сколько вы воображаете. Это все ваша милость придираетесь, мой милый господин, ко всякому моему слову и ко всякому шагу.

– Да говори хоть придираетесь, исказитель ты прекрасного языка, чтоб тебя Господь проклял! – вскричал Дон-Кихот.

– Не сердитесь на меня, ваша милость! – ответил Санчо. – Ведь вы знаете, что я не рос при дворе, не учился в Саламанке и не могу знать, прибавляю ли я или убавляю букву другую в словах, которые говорю. Клянусь Богом! ведь нельзя же требовать, чтоб крестьянин из Санаго говорил так, как толедский горожанин.<sup>[147]</sup> Да и толедские жители не все умеют вежливо говорить.

– Это правда, – согласился лицензиат, – потому что те, которые растут в закодоверских лавках и кожевнях, не могут говорить так, как люди, гуляющие по целым дням в соборном монастыре, а между тем, и те и другие жители Толедо. Чистый, изящный, изысканный язык есть принадлежность просвещенных придворных, хотя бы они родились в махалаондском трактире; я говорю просвещенных, потому что между ними встречаются и не просвещенные, а свет – это истинная грамматика хорошего языка, если его сопровождает еще и навык. Я, сударь, за грехи мои изучал каноническое право в Саламанке и имею некоторые претензии выражать свои мысли ясными, чистыми и понятными словами.

– Если бы вы не имели еще претензии, – прибавил другой студент, – играть этой рапирой еще лучше, чем языком, то на лицензиатском экзамене была бы ваша голова, а не хвост. – Послушайте, бакалавр, возразил

лиценциат: – ваше мнение об умении владеть шпагой есть величайшее заблуждение в мире, если вы считаете его лишним и бесполезным.

– По моему, это вовсе не мнение, – ответил бакалавр, которого звали Корчуэло, – это доказанная истина, а если вы хотите, чтоб я доказал вам это на опыте, то у меня есть прекрасный случай для этого: вот у вас две рапиры, а у меня сильный кулак, и с помощью моего мужества, которое тоже не мало, он заставит вас сознаться, что я не ошибаюсь. Ну-ка, сойдите на землю и пустите в ход и ваши руки и ноги, и ваши углы, и ваши круги и всю вашу науку: я уверен, что заставлю вас видеть звезды в полдень при помощи одной моей невоспитанной и натуральной ловкости, в которую я после Бога настолько верю, чтоб утверждать, что еще не родился тот человек, который заставил меня удрать, и что нет на свете человека, которого я не взялся бы заставить потерять равновесие.

– Удерете вы или нет, мне до этого нет никакого дела, – ответил искусный фехтовальщик, – но может легко случиться, что вам выроют могилу именно там, куда вы явитесь в первый раз, т. е. я хочу сказать, что то самое искусство, которое вы презираете, причинит вам смерть.

– Ну, это мы посмотрим, – возразил Корчуэло.

И, легко соскочив с осла, он яростно схватил одну из рапир, которые вез лиценциат.

– Так нельзя поступать, – вмешался Дон-Кихот. – Я буду вашим учителем фехтования и судьей в этом столько раз возникавшем и ни разу не разрешенном споре.

Он соскочил с лошади и, взяв в руки копье, стал среди дороги, между тем как лиценциат приближался с непринужденным видом и размеренным шагом к Корчуэло, который шел к нему навстречу, мечая, как говорится, молнии из глаз. Двое крестьян, которые их сопровождали, оставались, сидя на ослах, свидетелями этой смертоносной трагедии. Корчуэло рубил и колот, и градом сыпал ударами наотмашь то одной, то обеими руками. Бакалавр нападал, как разъяренный лев, но лиценциат останавливал его одним толчком рапиры, заставляя его каждый раз целовать ее, точно это была святыня, хотя и не с таким благоговением. Лиценциат пересчитал ему рапирой все пуговицы его полукафтаны, изорвав ему короткие полы, точно хвосты полипов. <sup>[148]</sup> Он два раза сбил с него шляпу и так измучил его, что тот от злобы и бешенства схватил его рапиру за рукоятку и с такой силой швырнул ее в пространство, что она отлетела почти да три четверти мили. Это письменно засвидетельствовал один из крестьян, деревенский актуарий, который пошел поднять ее, и это свидетельство должно служить доказательством победы искусства над силой.

Корчуэло сел запыхавшись, а Санчо приблизился к нему и сказал:

– Право, господин бакалавр, послушайтесь, ваша милость, моего совета и впредь не отваживайтесь вызывать людей на фехтование, а лучше беритесь за борьбу или метание палок, потому что для этого у вас есть и молодость и сила. Что же касается тех, кого зовут бойцами на шпагах, то я слышал, что они продевают острие шпаги в игольное ушко.

– Довольно с меня, – ответил Корчуэло, – что я, как говорится, упал со своего осла и на опыте узнал истину, от которой был очень далек.

Сказав это, он поднялся, чтобы обнять лиценциата, и они остались еще большими друзьями, чем были прежде. Они не захотели дожидаться актуария, который пошел искать рапиру, полагая, что он долго не возвратится, и решили продолжать путь, чтобы засветло доехать до деревни Китерии, из которой все они были родом. Дорогой, которая еще оставалась до деревни, лиценциат объяснял их превосходство фехтования с такими наглядными доказательствами, с такими фигурами и математическими формулами, что все убедились в преимуществах этой науки, а Корчуэло излечился от своего упрямства.

Наступила ночь, и, когда они подъезжали к деревне, их глазам представилось точно усеянное блестящими звездами небо. Они слышали также неясные, приятные звуки разных инструментов, как флейт, тамбуринов, лютен, гусель, волюнок и барабанов. Подъехав ближе, они увидали, что деревья выстроенного у входа в деревню павильона увешаны зажженными фонариками, которых ветер не гасил, так как он дул до того слабо, что не имел даже силы шелохнут листка. На музыкантов возложены были все свадебные развлечения: они шныряли между гостями, одни танцуя, другие распевая, третьи играя на перечисленных инструментах, в общем, казалось, что на всем пространстве этого луга бегало веселье и прыгало довольство. Множество других людей строили возвышения и лестницы, с которых можно было бы на другой день смотреть на представления и танцы, готовившиеся в этом месте в честь свадьбы богача Камачо и похорон Базилио.

Дон-Кихот не захотел въехать в деревню, хотя бакалавр и крестьянин и просили его о том. Он привел, по его мнению, очень вескую отговорку, что странствующие рыцари имеют обыкновение спать в полях и лесах, а не в домах, хотя бы то были золоченые палаты. После этого ответа он несколько уклонился от дороги, вопреки желанию Санчо, которому вспомнился хороший приют, найденный им в замке или доме Дон Диего.

## **ГЛАВА XX**

### **В которой рассказывается о свадьбе богача Камачо и приключении бедняка Базилио**

Едва светлая заря уступила место блестящему Фебу, дабы он жгучими лучами осушил влажные бриллианты ее золотистых волос, как Дон-Кихот, стряхнув лень со своих членов, встал на ноги и позвал еще храпевшего оруженосца Санчо. Увидав его с закрытыми глазами и открытым ртом, Дон-Кихот сказал ему, прежде чем стал его будить:

– О, ты, счастливейший из всех живущих на поверхности земной! Ты сам никому не завидуешь и ни в ком не возбуждаешь зависти и спишь себе с полным душевным спокойствием, не преследуемый волшебниками и не тревожимый чарами! Они, повторяю и буду я сто раз повторять, ты, которому не приходится страдать беспрестанной бессонницей от пламени ревности, ты, которого не будит забота о неоплаченных долгах или о насущном куске хлеба для себя и своей бедной семьи, не волнует тебя честолюбие, не мучит пустая светская роскошь, потому что твои стремления не заходят за пределы забот о твоём осле, ибо забота о собственной твоей особе предоставлена мне, как справедливый противовес, который дают обычай и природа господам. Слуга спят, а хозяин бодрствует, думая о том, как прокормить его, как улучшить его участь и помочь ему. Не слугу гнетет горе, когда бронзовое небо отказывает земле в живительной росе, а хозяина, который должен прокормить и в неурожайный голодный год того, кто служил ему в урожайный и обильный год.

На все это Санчо не ответил ни одним словом, потому что спал, и он бы, конечно, не так скоро проснулся, если бы Дон-Кихот не заставил его кончиком копья прийти в себя. Он проснулся, протер глаза и потянулся; потом повернул голову направо, потом налево и сказал:

– Со стороны этого павильона, если не ошибаюсь, слышится запах дыма и пахнет скорее жареным окороком, чем тимьяном и богородской травой. Клянусь душой, свадьба, которая возвещает о себе такими ароматами, обещает быть обильна и щедра.

– Молчи, обжора, – сказал Дон-Кихот, – и вставай скорее. Мы поедем на эту свадьбу, чтобы поглядеть, что станет делать отверженный Базилио.

– По мне, – ответил Санчо, – пусть делает, что хочет. Зачем он беден?

Он сам бы мог жениться на Китерии. А когда у него нет ни копейки за душою, так не в облаках же ему жениться. По правде сказать, господин, я того мнения, что бедняк должен довольствоваться тем, что находит, а не искать бриллиантов в винограднике. Бьюсь об заклад, что Камачо может упрятать Базилио в мешок с золотыми. А если так, то Китерия будет очень глупа, если откажется от нарядов и драгоценностей, которые ей надарил и еще может надарит Камачо, и вместо того возьмет себе талант Базилио метать палки и играть рапирой. За самое лучшее метание и самый удачный удар рапирой не дают и стакана вина в трактире. Кому какая корысть от талантов и прелестей, которые ничего не приносят? А если эти таланты и прелести достаются тому, у кого кошелек полон, о! тогда желаю себе столько счастья, сколько у него достоинств. Хороший дом можно построить только на хорошем основании, а лучшее основание в мире – это деньги.

– Ради самого Господа! – вскричал Дон-Кихот, – кончай же свою речь, Санчо; я уверен, что, если бы тебе позволить доканчивать речи, которые ты начинаешь на каждом шагу, у тебя не оставалось бы времени ни для еды, ни для сна, а ты бы все только говорил и говорил.

– Если бы у вашей милости память не была так коротка, вы бы помнили условия нашего договора, который мы заключили перед тем, как выехали в поле. Одно из них состояло в том, что вы позволите мне говорить, сколько душе моей будет угодно, лишь бы я говорил не против ближних и не против вашей власти; а я, кажется, еще не нарушал условий.

– Совсем не помню этого условия, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – но если б это было и так, я все-таки требую, чтоб ты замолчал и следовал за мной, потому что уже и музыка, которую мы вчера слышали, опять веселит долины, и свадьба, без сомнения, будет праздноваться скорее утром, пока свежо, чем позже, когда начнется жара.

Санчо повиновался своему господину, и, когда Россинант и осел были оседланы, рыцарь и оруженосец сели на своих животных и шагом въехали в павильон. Первое, что представилось глазам Санчо, был целый бык, висевший на вертеле в дупле молодого вяза, а костер, разложенный для того, чтоб жарить этого быка, состоял из целой горы дров. Вокруг этого костра стояло шесть чугунов, которые, конечно, отлиты были не в обыкновенной форме для чугунов, так как это были винные кувшины, <sup>[149]</sup> из которых каждый вмещал в себе целую бойню мяса. В их стенках лежали целые бараны, казавшиеся там не больше голубей. Очищенных и совсем заготовленных зайцев и кур висело многое множество на деревьях в ожидании, пока их погребут в чугунах, такое же количество птиц и дичи разных сортов висело на ветвях, чтоб не испортиться. Санчо насчитал



более пятидесяти больших мехов пинт в пятьдесят каждый, и все они, как скоро обнаружилось, наполнены были прекрасными винами. Кучи белого хлеба были величиной с груды пшеницы в житницах. Сыры, наваленные, словно кирпичи в поле, образовали целые стены, а два котла масла, громадные, как котлы красильщиков, служили для поджаривания разных пирожных, которые оттуда вынимали двумя огромными лопатами, чтобы погружать их затем в стоявший рядом котел с медом. Поваров и поварих было до пятидесяти, и все они были чисты, проворны и довольны. В обширный живот быка зашиты были двенадцать молочных поросят, предназначенных для того, чтобы сделать быка нежнее и вкуснее. Что же касается пряностей, то их закупили, казалось, не фунтами, а пудами, и они навалены были в большом открытом сундуке. Словом, приготовления к свадебному пиру были хотя просты, но так обильны, что ими можно было накормить целую армию.

Санчо Панса вытаращил глаза на все эти чудеса и созерцал их и восхищался. Первое, что его пленило, были чугуны, из которых он охотно отведал бы супу; затем его сердце тронули мехи, и, наконец, пироги с фруктами, лежавшие еще в печах, если можно назвать печами такие огромные котлы. Наконец, не в силах выдерживать более, он подъехал к одному из проворных поваров и со всею учтивостью голодного желудка попросил у него позволения обмакнуть кусок хлеба в один из этих чугунов.

– Ну, братец, – ответил повар, – сегодняшний день, благодаря богачу Камачо, не из тех, в которые возможно голодать. Слезай с осла и поищи там ложки: можешь съесть на здоровье курочку-другую.

– Я не вижу тут ложки, – ответил Санчо.

– Сейчас, – сказал повар. – Пресвятая Богородица, какой же ты простак и из-за каких пустяков становишься в тупик! – Сказав это, он взял кастрюлю, погрузил ее в один из кувшинов, служивших чугунами, и разом вытащил оттуда трех кур и двух гусей. – Бери, приятель, – сказал он, – позавтракай малость в ожидании обеда.

– Но куда же я ее выложу? – спросил Санчо.

– Да бери ее вместе с кастрюлей, – ответил повар, – для богатства и радости Камачо все нипочем.

Пока Санчо обдeldывал таким образом свои делишки, Дон-Кихот следил, как в павильон въезжали человек двенадцать крестьян на прекрасных кобылах, в богатой деревенской упряжи с массой бубенчиков на сбруях. Крестьяне были в праздничных одеждах и дружно проехали несколько раз с одного конца луга до другого, разом радостно выкрикивая: «Да здравствует Камачо и Китерия, из которых он так же богат, как она

прекрасна, а она всех на свете прекрасней!» Услышав это, Дон-Кихот сказал про себя: «Видно, что эти люди не видали моей Дульцинеи Тобозской, потому что, если бы они ее видели, они бы придержали узду похвалам этой Китерии». Через минуту с разных сторон в павильон вошли группы разного рода плясунов, и, между прочим, партия плясунов со шпагами, состоявшая из двадцати четырех молодых людей красивой наружности в тонких белых полотняных одеждах и в разноцветных шелковых носовых платках на головах. Они шли под предводительством ловкого молодого человека, у которого один из сидевших на кобылах крестьян спросил, не ранен ли кто из плясунов.

– Пока, слава Богу, никто, – ответил предводитель. – Мы все здоровы.

Затем он начал с товарищами пляску, выделявая такие штуки и с таким искусством, что Дон-Кихот, как ни привычен был к такого рода пляскам, призвал, что никогда не видал ничего более ловкого.

Не менее восхитила Дон-Кихота и другая группа, вошедшая вслед за первой. Она состояла из молодых девушек, выбранных за красоту и так хорошо подобранных, что ни одна из них не казалась моложе четырнадцати лет и старше восемнадцати. Все они были в легких зеленых одеждах, и волосы их были наполовину заплетены, наполовину распущены, и такого золотистого цвета, что могли поспорить с самим солнцем, на волосах у них были гирлянды из жасмина, роз, амаранта и жимолости. Эта молоденькая группа шла под предводительством почтенного старца и внушительного вида матроны, которые были, однако, гораздо проворнее и живее, чем можно было ожидать при их преклонном возрасте. Эти молодые девушки с целомудренными лицами и проворными ногами, плясавшие под звуки волынки, оказались лучшими в мире плясуньями.

После них начался сложный танец из так называемых говорящих. <sup>[150]</sup> Его исполняла группа из восьми нимф, разделенная на два ряда; одним предводительствовал бог Купидон, другим Интерес, причем Купидон был с крыльями, луком и колчаном, а интерес в богатых золотых и шелковых тканях. Нимфы, следовавшие за Купидоном, носили на спине дощечки из белого пергамента, на которых крупными буквами написаны были их имена. Первую звали Поэзией, вторую Скромностью, третью Хорошей семьей, а четвертую Храбростью. Так же точно обозначены были и нимфы, шедшие за Интересом. Первую звали Щедростью, вторую Тароватостью, третью Казной, а четвертую Мирным обладанием. Перед группой двигался деревянный замок, влекомый четырьмя дикарями, одетыми в листья плюща и зеленую пряжу и до того натурально разукрашенными, что Санчо чуть-чуть не перепугался при виде их. На фасаде и на всех четырех сторонах

замка написано было: Замок бережливости. Тут музыкантами были четверо искусных флейтистов и барабанщиков. Купидон начал пляску. Проделав две фигуры, он поднял глаза и, направив свой лук в молодую девушку, стоявшую между зубцами замка, сказал ей следующее:

В мире бог я всемогущий,  
Над землей и под землею,  
Над морской пучиной суций;  
В царстве том, что под водою  
Океан таит ревуций.

Страх я ни в чем не знаю;  
Захотев, повелеваю,  
Даже то, что невозможно;  
Все же, что исполнит можно,  
Отменяю, запрещаю.

Докончив строфу, он пустил стрелу на верхушку замка и вернулся на свое место.

Тогда вперед вышел Интерес, также проплясал два раза, и, когда барабаны смолкли, он в свою очередь сказал:

Я сильней, чем Купидон,  
Но он мною руководит  
Всем природой наделен,  
Что природа производят  
Знатным родом одарен.

Интерес я, и со мной  
Правды в людях нет большой;  
Без меня им быть, – быть чуду.  
Но такой, как есть, и всюду  
Преклоняюсь пред тобой.

Когда Интерес удалился, выступила Поэзия и, проплясав так же, как другие, сказала, обратив глаза на девушку в замке:

Я Поэзией зовуся;  
Я источник звуков сладких  
Как поток к тебе стремлюся  
В выраженьях строгих, кратких,  
И волной сонетов льюся.

Если я тебе не втягость,  
Будет жизнь тебе на радость.  
Вызывая удивленье,  
Женщин зависть, огорченье,  
Ты узнаешь счастья сладость.

Поэзия удалилась, и Щедрость, отделившись от, группы Интереса и проплясав свою пляску, сказала:

Щедрость я, – так называют  
Люди способ раздавать; —  
С мотовством меня мешают, —  
Но порок тот, надо гнать,  
Лень и глупость отмечают.

Но, тебе на прославление,  
Совершаю превращенье —  
Мотовством я становлюся.  
Пусть порок, – я не боюсь:  
В том любовь мне извиненье.

Таким же образом подходили и отходили все члены обеих групп, каждый проделал свою пляску и прочитал свои стихи, одни изящные, другие смешные; но Дон-Кихот запомнил только вышеприведенные (а, между тем, память у него была хорошая). Затем обе группы смешались, то составляя, то разрывая цепь с большой грацией и легкостью. Проходя мимо замка, Купидон перебрасывал через него свои стрелы, тогда как Интерес разбивал о его стены золоченые шары.<sup>[151]</sup> Наконец после многих плясок Интерес вынул из кармана большой кошелек, сделанный из кожи большой ангорской кошки и, по-видимому, наполненный деньгами; затем он бросил им в замок, и доски замка мгновенно раздвинулись и упали на землю,

оставив девушку без прикрытия и защиты. Интерес приблизился к ней со своей свитой и, накинув ей на шею толстую золотую цепь, они ее схватили и увели в плен. При виде этого Купидон со своими приверженцами бросились как бы отнимать ее у них, причем и нападение и отбивание производились в такт, под звуки тамбуринов. Дикари подошли, чтоб разъединить обе группы, и, когда они снова ловко соединили стенки деревянного замка, девушка опять заперлась в нем, и так закончилась пляска к великому удовольствию зрителей.

Дон-Кихот спросил у одной из нимф, кто сочинил танец и положил его на музыку. Она ответила, что деревенский церковник, у которого отличный талант к такого рода сочинениям.

– Я готов биться об заклад, – начал Дон-Кихот, – что этот бакалавр или лицензиат более друг Камачо, нежели Базилио, и что он лучше умеет язвить ближнего, нежели служить вечерню. Впрочем, он очень хорошо включил в танцы небольшие таланты Базилио и большое богатство Камачо.

Сачо Панса, услышав его слова, заметил: – Петух его возьми, а я стою за Камачо.

– Сейчас видно, Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – что ты мужик и принадлежишь к тем, которые говорят: «Да здравствует победитель!»

– Я не знаю, куда я принадлежу, – отвечал Санчо, – но хорошо знаю, что никогда из котлов Базилио не получить мне такого хорошенького варева, как это, которое взято из котлов Камачо.

В то же время он показал своему господину кастрюлю, наполненную курятиной и гусятиной. Потом он взял одну пулярку и принялся ее есть с такой же грацией, как и с аппетитом.

– Ей Богу, – говорил он, поглощая ее, – на что они, таланты Базилио, потому что сколько у тебя есть, столько ты и стоишь, а сколько ты стоишь, столько у тебя и есть. Есть только два рода и вида в свете, как говорила одна из моих бабушек: имущие и неимущие, и сама она становилась на сторону имущих. А нынче, господин мой Дон-Кихот, пульс щупают имению, а не знанию, и осел, покрытый золотом, имеет вид лучший, нежели навьюченная лошадь. Поэтому я повторяю: я стою за Камачо, которого котлы дают уток, кур, зайцев и кроликов. А у Базилио если и найдется бульон, то из одних виноградных выжимок.

– Кончил ты свою речь, Санчо? – спросил Дон-Кихот.

– Я должен ее кончить, – отвечал Санчо, – потому что вижу, что вашу милость она сердит, но если бы эта причина не стала мне поперек дороги, мне хватило бы разговору на три дня.

– Если бы Богу угодно было, Санчо, – заметил Дон-Кихот, – чтобы мне

увидеть тебя немым до моей смерти!

– Если так будет идти дальше, как сейчас, – возразил Санчо, – то прежде чем вы умрете, я уже буду грызть землю зубами, и тогда, может быть, я буду так нем, что ни словечка не скажу до скончания мира или, по крайней мере, до последнего суда.

– Если бы так случилось, о Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – то никогда твое молчание не уравновесит твоей болтовни и никогда тебе не вымолчать столько, сколько ты говорил, говоришь и будешь говорить в течение твоей жизни. Притом, ход природы требует, чтобы день моей смерти наступил раньше дня твоей смерти, и я не надеюсь увидеть тебя немым даже во время питья или сна, а уж сильнее этого я ничего не могу сказать.

– Честное слово, господин, – сказал Санчо, – не следует доверять этому людоеду, я хочу сказать: смерти, которая так же пожирает ягненка, как и овцу; а я слышал от нашего священника, что она ставят на одну доску высокие башни королей и низкие хижины бедняков.<sup>[152]</sup> У этой госпожи, видите ли, более могущества, чем деликатности. Она не брезглива: она ест все, мирится со всем и наполняет свою суму людьми всякого рода, возраста и сословия. Это жнец, который никогда не отдыхает, который носит и жнет во всякий час дня, зеленую траву и сухую; нельзя про нее сказать, чтобы она разжевывала куски: она глотает и поглощает все, что пред собою находит, потому что у ней собачий голод, который никогда не утоляется, и хотя у вся нет живота, но можно думать, что у ней водянка и что она утоляет свою жажду жизнями живущих, как пьют свежую воду.

– Будет, будет, Санчо, – воскликнул Дон-Кихот. – Оставайся на высоте и не падай вниз, потому что, право, все, что ты сказал о смерти своим мужицким языком, лучше не мог бы сказать хороший проповедник. Я тебе повторяю, Санчо, что если бы при твоих добрых наклонностях, у тебя были ум и знания, ты мог бы занять кафедру и ходить по свету проповедовать красивые проповеди.

– Пусть проповедует тот, кто хорошо живет, – отвечал Санчо. – Что касается меня, я не знаю никакой теологии.

– Да тебе кто и не нужно, – прибавил Дон-Кихот. – Но вот чего я не могу понять: основанием всякой мудрости служит страх Божий; как же ты, больше боящийся ящерицы, нежели неба, умеешь говорить такие мудрые вещи.

– Судите, сударь, о вашем рыцарстве, – отвечал Санчо, – и не суйтесь в суждение о храбрости или трусости других, потому что я имею такой же страх Божий, как и всякий другой добрый прихожанин, и дайте мне, пожалуйста, покончить с этим блюдом: все остальное – праздные слова, за

которые мы ответим на том свете.

С этими словами он возобновил атаку кастрюли и при том с таким аппетитом, что возбудил его и в Дон-Кихоте, который, без сомнения, помог бы ему, если бы ему не мешало то, что следует отложить до следующей главы.

## ГЛАВА XXI

### Где продолжается свадебный пир Камачо, вместе с другими занимательными событиями

В ту минуту, как Дон-Кихот и Санчо оканчивали разговор, переданный в предшествовавшей главе, раздался шум многих голосов. Крестьяне верхом на кобылах с громкими криками и во весь опор кинулись встречать новобрачных, которые приближались среди тысячи инструментов и выдумок, сопровождаемые священником, родственниками обеих семей и блистательной толпой жителей смежных деревень в праздничных нарядах.

Только что невеста показалась, Санчо вскричал:

— Ей-Богу, она одета не крестьянкой, а придворной дамой. Ей-ей, я вижу, что патены, <sup>[153]</sup> которые она должна была надеть на шею, обратились в богатые коралловые подвески и что зеленая саржа обратилась в тридцатерный бархат. Мало того, повязка из белого полотна, честное слово, изменилась в атласную бахромку. Но посмотрите еще на эти руки, украшенные перстнями из черного янтаря! Я готов умереть, если это не золотые кольца, из хорошего тонкого золота, в которое вправлены белые, как квашеное молоко, жемчужины, из которых каждое не оплатишь дешевле, нежели глазом из головы. О, Пресвятая Дева! что за волосы! Если они не накладные, так я во всю свою жизнь не видывал столь длинных и столь светлых волос. Попробуйте описать ее фигуру и ее походку! Можно сказать, что это двигается пальма, обвешанная гроздьями фиников, так красивы все эти драгоценности, обвешивающие ее волосы и ее шею! Клянусь Богом, это бой-баба, которая смело может пройти по фландрским мелям. <sup>[154]</sup>

Дон-Кихот рассмеялся на эти мужицкие похвалы Санчо Панса, но ему и самому казалось, что он, за исключением Дульцинеи Тобозской, не видал более красивой женщины. Прекрасная Китерия была несколько бледна и бесцветна вследствие бессонной ночи, которую всегда проводят невесты, готовя свои наряды к другому дню, дню свадьбы. Новобрачные подходили к сооружению вроде театра, украшенному коврами и ветками, где должно было совершаться бракосочетание и откуда они должны были смотреть на танцы и представления. Подходя к своим местам, они услышали крики и разобрали следующие слова: «стойте, стойте, люди легкомысленные и торопливые!» При этих криках, при этих словах, все



присутствующие обернулись и увидели человека, одетого в длинный черный плащ, украшенный шелковыми лентами огненного цвета. На голове, как тотчас стало заметно, у него был венок из мрачного кипариса, а в руках – длинная палка. При его приближении все узнали в нем прекрасного пастуха Базилио и, опасаясь чего-либо неприятного от его прихода в такую минуту, все в молчании стали ждать, к чему приведут его крики и его неясные слова. Он, наконец, подошел, запыхавшись, едва переводя дыхание. Он приблизился к новобрачным и, воткнув в землю свою палку, оканчивавшуюся стальным острием, весь бледный, с глазами, обращенными на Китерию, сказал глухим и дрожащим голосом:

– Ты хорошо знаешь, неблагодарная Китерия, что, по святому закону, который мы исповедуем, пока я живу, ты не можешь выйти замуж. Ты не можешь не знать, что в ожидании, пока время и мое трудолюбие увеличат мое состояние, я не хотел изменить уважению, которого требует твоя честь. Но попирая ногами все обязательства, которые ты приняла на себя по отношению к моим лестным намерениям, ты хочешь сделать другого господином и обладателем того, что принадлежит мне, дать другому не только большое богатство, но и величайшее счастье. Хорошо! Чтоб счастье его было совсем полно (не потому чтобы я считал, что он его заслуживает, а потому, что небеса отдают ему его), я собственными своими руками уничтожу невозможность или препятствия этому мешающие, избавив вас от себя. Да здравствует, да здравствует богатый Камачо с неблагодарной Китерией и да умрет бедный Базилио, бедность которого подкосила крылья его счастьем и свергла его в могилу!

С этими словами он схватил свою палку, разделил ее на две части, из которых одна осталась воткнутою в землю, и вытащил оттуда короткий меч, которому палка служила ножнами; потом, уперев в землю рукоятку, он бросился на острие с такой же быстротой, как и решительностью. Половина окровавленного лезвия тотчас вышла позади его плеч, и несчастный, обливаясь кровью, упал распростертый на месте, пронзенный собственным своим оружием.

Друзья его подбежали к нему, чтобы оказать ему помощь, тронутые его несчастием и прискорбным событием. Дон-Кихот, оставив Россинанта, бросился к нему один из первых, и, подхватив Базилио на руки, он нашел, что тот еще не испустил духа. Ему хотели извлечь меч из груди, но этому воспротивился священник, чтобы исповедать его, так как он опасался, что извлечь меч и увидеть его умирающим было бы делом одного и того же мгновения. Базилио, придя несколько в себя, сказал голосом ослабевшим и почти потухшим:

– Если б ты, жестокая Китерия, хотела дать мне в эту последнюю минуту свою руку и стать моей женой, я готов был бы думать, что мое безрассудство простительно, так как оно доставило мне счастье быть твоим.

Священник, слышавший эти слова, сказал ему, чтобы он больше думал о спасении души, нежели о телесном наслаждении, и искренно просил у Бога прощения за свои грехи и за свою отчаянную решимость. Базилио отвечал, что он ни за что не станет исповедоваться, пока Китерия не обещает ему своей руки, что это удовлетворение позволит ему познать себя и даст сил исповедаться. Когда Дон-Кихот услышал требование раненого, он воскликнул громким голосом, что требование Базилио весьма справедливо, весьма разумно и весьма исполнимо и что господину Камачо столько же чести будет получить госпожу Китерию вдовою доблестного Базилио, как и из рук ее отца:

– Здесь, впрочем, все должно ограничиться одним да, – присовокупил он, – так как брачным ложем в этом браке будет могила.

Камачо слушал нерешительный, смущенный, не зная, что делать, что сказать. Но друзья Базилио стали с такой настойчивостью просить, чтобы он согласился отдать руку Китерии умирающему, для того чтобы душа его не ушла из этого мира в отчаянии и нечестии, что он нашел себя вынужденным ответить, что если Китерия хочет отдать свою руку Базилио, то и он на это согласен, так как это значило бы отдавать исполнение своих желаний только на мгновение. Тотчас все обратились к Китерии: одни с просьбами, другие со слезами, и все с самыми убедительными доводами настаивали, чтобы она отдала руку бедному Базилио. Но она, жестче мрамора, прямее статуи, не знала, что отвечать, или не хотела говорить; и без сомнения она ничего бы не ответила, если бы священник не сказал ей, чтобы она решалась поскорее на то, как ей следует быть, потому что Базилио находится при последнем издыхании и не может дать времени на нерешительность. Тогда прекрасная Китерия, не отвечая ни слова, встревоженная, опечаленная и взволнованная, приблизилась к месту, где Базилио, с потухшим взором и прерывистым дыханием шептал имя Китерии, заставляя думать, что он умирает, как язычник, а не как христианин. Китерия, став на колени, знаками, а не словами, спросила, хочет ли он принять ее руку. Базилио с усилием раскрыл глаза и, в упор смотря на нее, сказал:

– О, Китерия, ставшая сострадательной в такую минуту, когда твое сострадание может прервать мне жизнь, потому что у меня нет больше сил перенести восторг, который ты во мне вызываешь своим согласием взять

меня в супруги, ни остановить боль, которая так быстро задерживает мои глаза страшным мраком смерти, – я умоляю тебя об одном: о моя роковая звезда! отдавая мне свою руку и спрашивая мою, не делай этого из снисхождения или чтобы снова меня обмануть. Я умоляю тебя сказать и признаться вслух, что ты отдаешь мне свою руку, не насилуя своей воли, и что ты отдаешь мне ее, как своему законному супругу. Нехорошо было бы обмануть меня в такую минуту и поступить неискренно с тем, кто всегда действовал так открыто по отношению к тебе.

В течение этой речи он несколько раз лишился чувств настолько, что все присутствующие думали при каждом обмороке, что он отдает Богу душу. Китерия, застыдившись и с опущенными глазами, взяв своей правой рукой руку Базилио, отвечала ему:

– Никакое насилие не могло бы покорить мою волю. По свободному побуждению отдаю я тебе свою руку законной жены и беру твою, которую ты даешь мне по свободному побуждению, которого не помрачает и не изменяет катастрофа, произведенная тобою в твоём безрассудном отчаянии.

– Да, я тебе даю ее, – заговорил снова Базилио, – без помрачения, без смущения, с рассудком столь ясным, сколько дало мне небо; и так я отдаю себя тебе в мужья.

– А я тебе в жены, – отвечала Китерия, – все равно проживешь ли ты долгие годы или тебя унесут из моих объятий в могилу.

– Для такого серьезно раненого, – сказал в эту минуту Санчо, – этот малый слишком много болтает. Пусть бы прекратили уже все эти церемонии и заставили бы его подумать о своей душе, потому что, мне кажется, что она у него сидит на языке, а не в пятках.

Пока Базилио и Китерия таким образом держались за руки, священник, растроганный и со слезами на глазах, дал им брачное благословение и просил небо дать блаженное усение душе новобрачного. Но только что тот получил благословение, как быстро вскочил на ноги и с неслыханной быстротой вытащил кинжал, которому тело его служило ножнами. Присутствующие были поражены удивлением, а некоторые простакни принялись кричать: «Чудо, чудо!»

– Нет, кричите не чудо, – отвечал Базилио, – а ловкость, ловкость!

Священник изумленный, вне себя, подбежал к нему, чтобы обеими руками ощупать рану. Он нашел, что лезвие даже и прошло не в тело и бока Базилио, а в железную трубку, которую он привязал себе на боку и которая, как стало теперь видно, была наполнена кровью, составленною так, чтобы не свертывалась. В конце концов, и священник и Камачо и большинство

зрителей признали себя осмеянными и одураченными. Что касается новобрачной, то она, по-видимому, нисколько не сердилась на сыгранную шутку; напротив, когда кто-то сказал, что брак этот недействителен, потому что, запятнав обманом, она закричала, что снова подтверждает свое согласие, из чего все заключили, что вся история была устроена с согласия и с ведома обоих. Камачо и его сторонники были так разгневаны, что тут же хотели отомстить за эту обиду, и некоторые из них, с кинжалами в руках, бросились на Базилио, в защиту которого тотчас обнажились другие кинжалы. Что касается Дон-Кихота, то, образуя авангард, с копьем направленным вперед и под прикрытием своего щита, он заставлял всех давать ему дорогу. Санчо, никогда не любивший подобных развлечений, побежал укрыться к котлам, из которых получил свое угощение, так как это убежище казалось ему святилищем, которое должно быть пощажено.

Дон-Кихот закричал громким голосом:

– Остановитесь, господа, остановитесь, никакого основания нет мстить за обиды, нанесенные любовью. Заметьте, что любовь и война одно и то же. И как на войне дозволено и в обычае употреблять хитрость, чтобы победить неприятеля, так и в любовных столкновениях признаются хорошими и законными хитрости и обманы, употребляемые ради достижения цели, лишь бы это не было в ущерб и к бесчестью любимого существа. Китерия принадлежала Базилио, а Базилио Китерии по справедливому и благосклонному распоряжению небес. Камачо богат: он может покупать себе все для своего удовольствия, где, когда и как он захочет. У Базилио же есть одна только эта овца, и нет такого могущественного человека, который мог бы ее у него похитить, ибо два существа, соединенные Богом, не могут быть разлучены людьми,<sup>[155]</sup> а кто захочет это сделать, тот будет иметь дело сперва с острием этого копья.

Говоря это, он потрясал своей пикой с такой силой и ловкостью, что внушил страх всем, кто его не знал. С другой стороны, равнодушие Китерии произвело такое сильное впечатление на воображение Камачо, что в одно мгновение изгнало всю любовь из его сердца. Поэтому он тронулся уговорами священника, человека осторожного и с добрыми намерениями, которому и удалось успокоить Камачо и лиц его партии. В знак мира они вложили свои мечи в ножны, больше негодую на легкомыслие Китерии, нежели на лукавство Базилио. Камачо пришел даже к тому соображению, что если Китерия любила Базилио до замужества, то она любила бы его и после, и он должен скорее благодарить небеса за то, что они у него отняли, нежели за то, что они ему давали.

Так как Камачо утешился и между вооруженными лицами

восстановился мир, то и друзья Базилио успокоились, а богатый Камачо, чтобы показать, что не сохранил ни досады, ни сожаления, выразил желание, чтобы пир продолжался, как если бы он и на самом деле обвенчался. Но ни Базилио, ни его супруга, ни друзья его не захотели присутствовать на нем. Они отправились в деревню Базилио, так как и бедные, имеющие талант и добродетели, находят людей, которые за ними следуют, поддерживают их и оказывают им уважение, как у богатых всегда есть люди, льстящие им и составляющие их свиту. Они увели с собою и Дон-Кихота, так как признали в нем человека с сердцем. У одного только Санчо омрачилась душа, когда он увидал, что не имеет возможности дожидаться пира и празднеств Камачо, длившихся до ночи. С грустью последовал он за своим господином, удалявшимся с компанией Базилио, оставляя за собою, хотя и унося с собою в душе, египетские котлы, [\[156\]](#) которых почти готовое варево, уносимое им в кастрюле, казалось ему потерянной славой и изобилием. Таким образом, в полной задумчивости и глубоком огорчении направил он своего осла по стопам Россинанта.

## **ГЛАВА XXII**

### **Где рассказывается о великом приключении в Монтезинской пещере, расположенной в самом сердце Ламанчи; о приключении, которому храбрый Дон-Кихот положил счастливый конец**

Новобрачные приняли Дон-Кихота с большими почестями в признательность за доказательства храбрости, данные им при защите их дела, и, ставя его ум так же высоко, как и его мужество, они признали в нем Сиды по оружию и Цицерона по красноречию. Добрый Санчо угощался три дня на счет молодых, от которых стало известно, что притворная рана не была хитростью, совместно задуманною с прекрасной Китерией, а была выдумкой одного Базилио, который таких именно результатов и ждал от нее, какие получились. Он признался, впрочем, что поделился своим планом с некоторыми из своих друзей, для того чтобы в минуту необходимости они оказали ему помощь и поддержали плутаю.

– Нельзя и не должно, – сказал Дон-Кихот, – называть плутней средства, направленные к добродетельной цели, а для влюбленных обвенчаться есть первейшая цель. Но обратите внимание, что величавший враг любви нужда, постоянный недостаток. В любви все есть: радость, удовольствие, удовлетворение, особенно когда влюбленный обладает предметом своей любви, а смертельнейшие ее враги бедность и нужда. Все это говорю я с намерением отклонить господина Базилио от такого применения своих талантов, которое дает ему конечно славу, но не доставляет денег, и чтобы он постарался создать себе состояние честным промыслом, для которого не бывает недостатка в средствах у людей благоразумных и трудолюбивых. Для почитаемого бедняка (если предположить, что бедняк может быть почитаем) прекрасная жена есть жемчужина, которую у него похитить, значит похитить честь. Прекрасная и честная жена, которой муж беден, заслуживает быть увенчанною лаврами победы и пальмами триумфа. Красота сама по себе привлекает сердца всех, кто на нее глядит, и на нее набрасываются, как на вкусную добычу и королевские орлы, и благородные соколы, и все птицы высокого полета. Но если к красоте присоединяются бедность и нужда, тогда она остается на произвол воронов, коршунов и всех низменных хищных и птиц, и та,

которая противостоит стольким нападениям, по справедливости может быть названа венцом своего мужа.<sup>[157]</sup> Слушайте, скромный Базилио, – продолжал Дон-Кихот, – какой-то древний мудрец сказал, что во всем свете есть одна только хорошая жена; но он посоветовал всякому мужу думать, что его жена и есть эта единственная женщина; тогда он будет жить в полном спокойствии. Сам я не женат и до настоящей минуты не останавливался на мысли жениться; но всякому, кто спросил бы у меня совета, как выбрать женщину, на которой он хотел бы жениться, я осмелился бы сказать следующее: первое, что я посоветовал бы – обращать более внимания на репутацию, нежели на богатство, ибо добродетельная женщина приобретает добрую славу не только потому, что она добродетельна, но и потому, что она кажется таковою; действительно, явное легкомыслие и опрометчивость более вредит женской чести, нежели тайные грехи. Если ты вводишь в свой дом добродетельную женщину, тебе легко будет сохранить ее и даже подкрепить в этой добродетели, но если ты вводишь женщину с дурными наклонностями, тебе очень трудно будет поправить ее, потому что совсем нелегко переходить из одной крайности в другую. Я не говорю, чтобы это было невозможно, но считаю это делом чрезвычайной трудности.

Санчо слушал все это и заговорил про себя совсем тихо:

– Вот мой господин, когда я высказываю что-нибудь толковое и умное, имеет обыкновение говорить, что я мог бы взять в руки кафедру и отправиться по свету читать хорошенькие проповеди. Ну, так я про него скажу, что когда он принимается разглагольствовать и давать советы, так не только мог бы он взять одну кафедру в руки, но по две на каждый палец и отправиться по свету угощать всех своими проповедями. Какого черта ему в странствующих рыцарях, когда он так много знает. Я себе в душе думал, что он ничего не знает больше того, что касается его рыцарства, а оказывается вещи нет, в которую он не мог бы сунуть свой нос.

Санчо пробормотал этот монолог сквозь зубы, а господин его, услышав некоторые звуки, спросил его:

– Что ты там бормочешь, Санчо?

– Ничего я не говорю, я ничего не бормочу, – отвечал Санчо, – я только говорил себе, что очень бы хотел слышать все, что сказала ваша милость, прежде, нежели я женился. Может быть, я бы теперь говорил, что не привязанный бык облизывается с большим удовольствием, нежели привязанный.

– Как, разве твоя Тереза настолько зла, Санчо? – возразил Дон-Кихот.

– Она не очень зла, – отвечал Санчо, – но она и не из очень добрых, по

крайней мере, не так добра, как я бы хотел.

– Ты дурно делаешь, Санчо, – продолжал Дон-Кихот, – что нехорошо отзываешься о своей жене, потому что ведь она все-таки мать твоих детей. – О, мы один пред другим не в долгу, потому что и она говорят обо мне не лучше, когда ей приходит такая фантазия, а особенно когда она ревнует: тогда сам черт с нею не справится.

В конце концов, господин и слуга оставались три дня у новобрачных, где их угощали и ухаживали за ними как за королями. Дон-Кихот попросил лиценциата, учителя фехтования, дать ему проводника, который привел бы его к Монтезинской пещере, так как у него было большое желание войти в пещеру и собственными глазами увидеть, действительно ли существуют все те чудеса, которые рассказывались в окрестностях. Лиценциат отвечал, что даст ему в провожатые одного из своих двоюродных братьев, знаменитого ученого и большого любителя рыцарских книг, который очень охотно доведет его до входа в пещеру и укажет ему также Руидерские лагуны, известные по всей Ламанче и даже во всей Европе.

– Вы можете, – присовокупил лиценциат, – вести с ним приятные беседы, потому что этот малый умеет писать книги для печати и для поднесения их принцам.

И двоюродный брат явился верхом на жеребой ослице, спина которой была покрыта небольшим пестрым ковром. Санчо оседлал Россинанта, взнуздal осла и снабдил припасами свою котомку, которой под пару пришла и котомка брата, тоже достаточно набитая. Потом, предавшись воле Божьей и со всеми простившись, они пустились в путь но направлению к знаменитой Монтезинской пещере.

Дорогой Дон-Кихот спросил лиценциатового двоюродного брата, какого рода его занятия, его труды, его профессия. Тот отвечал, что профессия его состоит в том, что он гуманист, занятия и труды его состоят в составлении книг, которые он отдает в печать, и которые все весьма полезны, а равно и интересны для государства.

– Одна, – сказал он, – носит название Книги нарядов, я в ней описываю семьсот три наряда с их цветами, шифрами и девизами, а рыцари двора могут выбирать из них любые на время празднеств и развлечений, не имея нужды выклянчивать их у других и ломать себе, как говорят, головы, чтобы взять из них те, которые отвечают их желаниям и их намерениям. Действительно, у меня описаны наряды для ревнивых, для спесивых, для покинутых, для отсутствующих, и эти наряды будут сидеть на них как вылитые. Я еще написал другую книгу, которую хочу назвать *Metamorphoseos* или Испанский Овидий, новая и необыкновенная выдумка.



Подражая шуточному тому Овидия, я рассказываю и рисую в ней, чем были Гиральда Севильская, ангел св. Магдалины, сточная труба Весингерры Кордовской, быки Гязандские, Сиерра Морена, фонтаны Легатиносские и Лавапиесские в Мадриде, в том числе фонтан Пуский, фонтан Золоченой Трубы и фонтан Настоятельницы монастыря.<sup>[158]</sup> К каждому из этих предметов я присовокупляю аллегии, метафоры и подходящие перестановки слов, так что книга в одно и то же время развлекает, удивляет и поучает. Я составил и еще одну книгу, которую назвал Добавление к Виргилию Полидор<sup>[159]</sup> и которая трактует о начале вещей. Это книга большого труда и большой эрудиции, потому что я проверял и славно объясняю все вещи, о которых Полидор не упоминает. Он, например, забыл сообщить нам, у кого был первый в мире катарр, и кто первый употребил в дело растирание для излечения себя от этой французской болезни. Я это объясняю досконально и опираюсь при этом на свидетельство слишком двадцати пяти авторов. Теперь вы видите, хорошо ли я работаю, и будет ли полезна такая книга в свете.

Санчо очень внимательно выслушал кузена.

– Скажите мне сударь, – сказал он ему, – и да даст Господь вам удачу в печатании книг! Не можете ли вы мне сказать... О, конечно можете, потому что вы знаете все. Скажите, кто первый в мире почесывал голову? Я так полагаю, что первым в этом деле был прародитель Адал.

– Конечно он, – отвечал кузен, – потому что нет сомнения в том, что у Адама была голова и были волосы. Поэтому и потому что он был первым в мире человеком, он, конечно, по временам почесывал голову.

– И я так думаю, – отвечал Санчо. – Но скажите мне теперь, кто был первым прыгуном и волтижером в свете?

– По правде сказать, братец, я не могу решить этого вопроса сейчас же, не изучив его, но я изучу его, как только возвращусь туда, где мои книги, и удовлетворю вас тотчас, как мы снова увидимся с вами, ибо, я надеюсь, что мы видимся с вами не в последний раз.

– Нет, сударь, – возразил Санчо, – не трудитесь над этим, потому что я сам нашел то, о чем вас сейчас спрашивал. Знайте, что первым волтижером в свете был Люцифер, когда свержен был с неба, потому что он падал, кувыркаясь до глубины бездн.

– Черт возьми, вы правы, друг мой, – сказал кузен, – а Дон-Кихот прибавил, – «Этот вопрос и этот ответ не твои, Санчо, ты их от кого-нибудь слышал.

– Молчите, господин, – возразил Санчо. – Честное слово, если бы я

принялся спрашивать и отвечать, я бы не кончил и до завтра. Уж не думаете ли вы, что мне нужно искать помощи у соседей, чтобы спрашивать пустяки и отвечать глупостями?

– Ты высказал вещь более умную, нежели думаешь, – заговорил Дон-Кихот, – ибо много есть людей, которые мучатся, чтобы узнать и проверит такие вещи, которые, узнанные и проверенные, и на обол не приносят пользы уму и памяти.

В таких беседах и других не менее приятных провели они весь этот день. Когда наступила ночь, они остались ночевать в одной деревне, где кузен сказал Дон-Кихоту, что до Монтезинской пещеры остается всего две мили, и что если он решился проникнуть туда, ему нужно будет лишь обзавестись веревкой, чтобы обвязать себя ею и дать себя опустить в глубину. Дон-Кихот отвечал, что если бы ему пришлось опуститься в бездны ада, он хотел бы увидеть их дно. Поэтому они купили около эта сажен веревки, и на другой день, около двух часов дня, они прибыли к пещере, вход в которую широк и обширен, но оброс боярышником, дикими финиковыми деревьями, ежевикой и кустарником до такой степени густыми и переплетшимися, что был совершенно имя закрыт.

Подъехав к пещере, кузен, Санчо и Дон-Кихот все вместе сошли наземь, а первые двое тотчас занялись скреплением рыцаря веревками. Устраивая ему из них пояс вокруг талии, Санчо сказал ему:

– Остерегитесь, добрый мой господин. Что делает ваша милость? Поверьте мне, не погребайте себя заживо и не дайте себя повесить вроде кувшина, который для освежения опускают в колодец. Не вашей милости быть исследователем этой пещеры, которая должна быть хуже арабской темницы.

– Привязывай и молчи, – отвечал Дон-Кихот. – Для меня именно и прибережено это похождение.

Тогда проводник прибавил:

– Умоляю вашу милость, господин Дон-Кихот, рассматривать и разглядывать там внутри, как если бы у вас было сто глаз. Может быть, там найдутся вещи, годные для моей книги метаморфоз.

– Черт возьми, – отвечал Санчо Панса, – можете быть спокойны, он свое дело знает.

После этих слов и после того, как пояс из веревок был надет на Дон-Кихота (не на вооружение, а ниже, на живот), рыцарь сказал:

– Мы оказались очень непредусмотрительными, не запасшись каким-либо маленьким колокольчиком, который можно было бы привязать ко мне, и звон которого давал бы звать, что я все еще спускаюсь и что я жив, но так

как это уже невозможно, то отдаю себя на Божью волю!

Он стал на колени и тихим голосом прочел молитву, в которой просил у Бога помощи и счастливого исхода этого нового и опасного похождения. Потом громким голосом он воскликнул:

– О дама моего сердца, госпожа моих действий, прославленная и несравненная Дульцинея Тобозская! Если возможно, чтобы молитва и мольбы твоего счастливого возлюбленного дошли до твоих ушей, твоей неслышанной красотой заклинаю тебя выслушать их, цель им в том только и состоит, чтобы умолять тебя не отказать мне в твоей благосклонности и твоей поддержке теперь, когда я в них нуждаюсь. Я погружаюсь и опускаюсь в бездну, которая открывается передо мною, только для того, чтобы свет узнал, что если ты мне покровительствуешь, для меня не существует предприятия, которого бы я не начал и не привел к концу.

Говоря это, он приблизился к отверстию и увидал, что невозможно дать себя спустить и даже подойти, если не открыл себе прохода силою. Он поэтому взял в руки меч и начал срезать и рубить ветки кустарника, скрывавшие вход в пещеру. От шума его ударов оттуда вылетело такое множество воронов и ворон и с такой быстротой, что они опрокинули Дон-Кихота на спину, и если бы он так же верил в дурные предзнаменования, как был добрым католиком, он принял бы это происшествие за плохое предзнаменование и избавил бы себя от проникновения в подобное место. Но он поднялся и, видя, что более не появляется ни воронов, ни ночных птиц, потому что в компанию воронов замешались и летучие мыши, он потребовал, чтобы Санчо и кузен его опустили, и они дали ему осторожно соскользнуть в ужасную пещеру. В момент, когда он исчез, Санчо дал ему свое благословение и, тысячу раз осеняя его крестом, воскликнул: «Да сопровождает тебя Бог, как Скалу Франции и Троицу Гаэты,<sup>[160]</sup> цвет, сливки и пена странствующих рыцарей! Иди, мировой боец, стальное сердце, медная рука; да сопровождает тебя Бог, говорю я опять, и возвратить тебя здоровым и невредимым со свету этой жизни, который ты оставляешь, чтобы похоронить себя во мраке, который ты ищешь.

Почти такое же воззвание произнес и кузен. Однако Дон-Кихот время от времени кричал, чтобы спускали веревку, а те мало-помалу подавали ему ее. Когда крики, выходившие из пещеры, как из трубы, перестали быть слышны, все сто сажень веревки были уже спущены. Тогда они решили втащить Дон-Кихота обратно, потому что спустить его еще ниже они не могли. Тем мы менее они выждали с полчаса, и по истечении этого времени они потащили веревку обратно, но она подавалась с чрезвычайной легкостью и без всякой тяжести, что заставило их предположить, что Дон-

Кихот остался внизу. Санчо, подумав так, горько заплакал и с большой быстротой стал тащить веревку, чтобы убедиться в истине, но когда они вытащили около восьмидесяти сажен, они ощутили тяжесть, которая доставила им весьма большую радость. Наконец, на расстоянии десяти сажен они ясно различили Дон-Кихота, которому Санчо весь радостный закричал:

– Привет вам, мой добрый господин! а мы думали, что вы там остались для разведения рода.

Но Дон-Кихот не отвечал ни слова, и, когда они окончательно вытащили его из пещеры, они увидели, что глаза у него закрыты, как у спящего. Они положили его на землю и развязали ему веревочный пояс, но разбудить его не могли. Они так хорошо вертели, поворачивали и трясли его, что после довольно продолжительного времени он пришел в себя и потянулся как после тяжелого и глубокого сна. Он посмотрел по сторонам блуждающим взглядом и воскликнул:

– Да простит вас Бог, друзья! Вы меня отвлекли от приятнейшего зрелища, от восхитительнейшей жизни, какою когда-либо пользовался смертный. Теперь я действительно узнал, что все радости на этом свете проходят как тень и как сон или вянут, как цветы на полях. О, несчастный Монтезинос! О, Дюрандарт, покрытый ранами! О, злополучная Белерма! О, печальная Гвадиана! И вы, достойные плача дочери Руидеры, показавшие в своих обильных водах все слезы, пролитые вашими прекрасными глазами!

Кузен и Санчо с величайшим вниманием прислушивались к словам Дон-Кихота, который произносил их так, как будто с величайшей болью извлекал их из своих внутренностей. Они его умоляли объяснить, что такое он хочет сказать, и рассказать им, что такое видел он в этом аду.

– Ад, говорите вы! – воскликнул Дон-Кихот. Нет, не называйте его так, потому что он этого не заслуживает, как вы сейчас увидите!» Он попросил, чтобы ему дали сперва чего-нибудь поесть, потому что он страшно голоден. На зеленой траве постлан был ковер, который служил седлом кузену, котомки были опорожнены, и все трое, сидя в добром согласии и доброй дружбе, отзавтракали и отужинали в одно и то же время. Когда ковер был свят, Дон-Кихот воскликнул:

– Никто не подымайся с места, дети, и все будьте внимательны.

## **ГЛАВА XXIII**

### **Удивительные вещи, о которых славный Дон-Кихот говорит, что видел их в глубине пещеры Монтезиноса, и невозможность и величие которых заставляют думать, что описание этого похождения подложно**

Было четыре часа вечера, когда солнце, спрятавшись за облаву и бросая лишь слабый свет и смягченные лучи, позволило Дон-Кихоту рассказать, без ощущения жары и усталости, двум своим прославленным слушателям то, что он видел в пещере Монтезиноса. Он начал так:

– В двенадцати или четырнадцать саженьях глубины в этой пещере направо открывается впадина или пустое пространство, в котором может поместиться большая телега со своими мулами. В нее проникает издали слабый свет из расщелин, выходящих на поверхность земли. Эту впадину я заметил уже тогда, когда почувствовал утомление и неприятность от долгого висения на веревке и спускания без определенной цели в эту темную пучину. Поэтому я решился войти в нее и немного отдохнуть. Я крикнул вам, чтобы вы перестали спускать веревку, пока я сам не скажу вам, но вы не могли меня слышать. Я собрал веревку, которую вы продолжали опускать, свернул ее в круг и задумчиво уселся на нем, размышляя о том, что делать, чтобы достигнуть дна, когда никто уже не поддерживает меня. Погруженный в эти размышления и сомнения, я вдруг впал в глубокий сон, а потом, в то время как я об этом всего менее думал, я, не знаю как и почему, проснулся я увидел себя среди прекраснейшего, восхитительнейшего луга, какой только природа может создать или пылкое воображение представить. Я открыл глаза, протер их и убедился, что уже не сплю, а вижу все это наяву. На всякий случай я ощупал себе голову и грудь, чтобы убедиться, что это действительно я нахожусь в этом месте, а не пустой призрак вместо меня. Но и осязание, и ощупывание, и разумные размышления, проходившие в моей голове, – все доказывало мне, что я тогда был тот же, что и теперь.

«Вскоре моим глазам представился роскошный дворец, альказар, стены которого сделаны были, казалось, из светлого прозрачного хрусталя. Большие двери растворились, и я увидел выходявшего ко мне навстречу

почтенного старца. Он был одет в длинный, фиолетовый саржевый плащ, влачившийся по земле. Его плечи и грудь были окутаны, как у ученых, мантией из зеленой шелковой материи; голова покрыта была червой бархатной шапочкой, а борода его необычайной белизны спускалась ниже талии. Оружия при нем не было, но он держал в руках четки, каждая буса которых была крупнее ореха, а каждая десятая буса величиной со страусово яйцо. Его осанка, походка, важная и знатная наружность повергли меня в восторг и изумление. Он подошел ко мне и прежде всего горячо обнял меня, затем сказал:

– Уже давно, отважный рыцарь Дон-Кихот, все мы, обитатели этих заколдованных пустынь, ждем твоего прихода, чтобы ты поведал миру, что заключает и скрывает в себе глубокая пещера, в которую ты проник, называемая Монтезинской пещерой: этот подвиг предназначался только твоему непобедимому сердцу и блистательной храбрости. Иди за мной, славный рыцарь: я покажу тебе все чудеса, скрытые в этом прозрачном алькаzare, которого я состою каидом и вечным правителем, так как я сам Монтезинос, от которого пещера получила свое название.<sup>[161]</sup> – Как только он сказал мне, что он Монтезинос, я спросил его, правду ли говорят, там наверху, на свете, что он маленьким ножиком вырезал из груди своего друга Дюрандarta сердце и отнес его даме этого друга, Белерме, как Дюрандарт поручил ему перед смертью.<sup>[162]</sup> Он ответил, что это совершенная правда, но что он при этом не употреблял ни большого, ни маленького ножика, а блестящий кинжал, который был острее шила.

– Этот кинжал, – перебил Санчо, – сделал, наверное, севильский оружейник Рамон-де-Хосес.

– Не могу сказать, – ответил Дон-Кихот. – Впрочем, нет: это не мог быть этот мастер, так как Рамон де-Хосес жил еще очень недавно, а битва при Ронсевале произошла уже иного лет назад. Но эта поправка не имеет значения и ничего не изменяет ни в сути, ни в ходе рассказа.

– Конечно, – согласился кузен. – Продолжайте же, господин Дон-Кихот, я вас слушаю с величайшим удовольствием.

– А я с таким же удовольствием рассказываю, – ответил Дон-Кихот. – И там, я говорю, что почтенный Монтезинос повел меня в хрустальный дворец, где в нижней, очень свежей зале из алебаstra находилась мраморная гробница, высеченная с поразительным искусством. На этой гробнице лежал во весь рост рыцарь, не бронзовый, не мраморный и не яшмовый, как обыкновенно бывает на мавзолеях, а из тела и костей. Правая рука его (казавшаяся мне жилистой и несколько мохнатой, что доказывает

большую силу) была прижата к сердцу. Монтезинос, видя, что я с удивлением гляжу на гробницу, сказал, не дожидаясь моих расспросов: – Это мой друг Дюрандарт, цвет и зеркало храбрых и влюбленных рыцарей своего времени. И его, и меня, и еще многих мужчин и женщин в этом месте заколдовал Мерлин, этот французский чародей,<sup>[163]</sup> который происходит, говорят, от самого дьявола. А я так думаю, что он хотя и не сын дьявола, но сумеет, как говорится, заткнуть его за пояс. Что же касается того, почему и как он нас заколдовал, этого никто не знает: одно только время может открыть это, когда наступит момент, который уже недалеко, как мне думается. Что меня всего более удивляет – это то, что я знаю также хорошо, как то, что теперь день, что Дюрандарт окончил жизнь на моих руках и что после его смерти я собственными руками вырвал у него сердце; и сердце это должно было весить не менее двух фунтов, так как, по словам натуралистов, тот, у кого большое сердце, одарен большим мужеством, чем тот, у кого сердце маленькое. Так вот, после всего этого, и когда рыцарь этот действительно умер, как он может теперь время от времени стенать и вздыхать, точно он еще жив? – При этих словах несчастный Дюрандарт вскричал со стоном:<sup>[164]</sup>

Монтезинос, брат мой милый,  
Помни то, о чем просил я:  
Лишь мне смерть глаза закроет,  
Труп холодный дух покинет,  
Отнеси Белерме сердце,  
Что в груди моей трепещет,  
Вырезав его оттуда  
Иль ножом или кинжалом.

Услышав эти слова, почтенный Монтезинос бросился на колени перед злополучным рыцарем и сказал ему со слезами на глазах:

– Я уже сделал, господин Дюрандарт, мой дорогой брат, я уже сделал то, что ты приказал мне в роковой день нашего поражения: я вырвал, как умел лучше, твое сердце, не оставив ни кусочка в груди твоей; я отер его кружевным платком и поспешил пуститься во Францию, предварительно опустив тебя в недра земли и пролив при этом столько слез, что их хватило на то, чтобы вымыть мне руки и смыть кровь, которою я испачкался, роясь в твоих внутренностях. Доказательством тому может, служить, брат души моей, что в первой же деревне, которой я проезжал по выезде из Ронсеваля,

я немного посолил твое сердце, чтоб оно не пропахло и чтоб доехало если не свежим, то хоть просоленным, пред очи твоей дамы Белермы. Эта дама вместе с тобою, мною, твоим оруженосцем Гвадианой, дуэньей Руидерой, ее семью дочерьми и двумя племянницами, и еще много наших друзей и знакомых заколдованы здесь уже много лет мудрым Мерлином. Хотя с тех пор прошло уже более пятисот лет, но никто из нас еще не умер, не стало только Руидеры и ее дочерей и племянниц, которые, вызвав своими слезами жалость Мерлина, были превращены в лагуны, называемые и сейчас в мире живых людей и в провинции Ламанча Руидерскими лагунами. Дочери принадлежат испанским королям, а племянницы рыцарям религиозного ордена, называемого орденом св. Иоанна. Твой оруженосец Гвадиана, также оплакивавший твою опалу, был превращен в реку, называемую его именем, и при выходе на поверхность земную и при виде другого солнца, почувствовал такую горесть от разлуки с тобой, что снова погрузился в недра земли. Но так как невозможно идти против своей враждебной склонности, то он время от времени выходит и показывается там, где его могут видеть солнце и люди.<sup>[165]</sup> Лагуны, о которых я говорил, вливают в него постепенно свои воды, и он, увеличенный ими и многими другими присоединяющимися к нему реками, входит пышный и обширный в Португалию. Но где бы он ни протекал, он везде обнаруживает свою печаль и меланхолию. Он не может похвалиться, что питает в своих водах утонченных и любимых рыб: в нем есть рыбы только грубые и безвкусные, далеко непохожие на рыб золотого Таго. То, что я сейчас говорю тебе, о мой брат, я говорил тебе уже тысячи раз» но так как ты мне не отвечаешь, то я полагаю, что ты или не слышишь меня, или не веришь, а Богу известно, как это меня огорчает. Теперь я хочу сообщить тебе новость, которая если и не облегчит твоего горя, то вы в каком случае не усилит его. Знай, что здесь перед тобой (открой глаза, и ты увидишь) тот великий рыцарь, о котором Мерлин столько предсказывал, тот Дон-Кихот Ламанчский, который успешнее, чем в прошедшие века, воскресил в нынешнее время странствующее рыцарство, уже забытое людьми. Быть может, при его посредстве и ради него, с нас будут сняты чары, потому что великие подвиги ждут великих людей.

– А если б это даже не совершилось, – ответил злополучный Дюрандарт глухим и тихим голосом, – если б это и не совершилось, о, брат, я скажу. Терпение, и перетасуем карты. Затем, повернувшись на бок, он снова впал в обычное свое безмолвие и не произнес более ни слова.

В эту минуту послышались громкие крики и рыдания, сопровождавшиеся стенаниями и отрывистыми вздохами. Я повернул



голову и увидал сквозь хрустальные стены процессию из двух рядов молодых девушек в трауре, с белыми турецкими тюрбанами на головах, проходившую по другой зале. За обоими рядами шла дама (по крайней мере, по ее важной осанке ее можно было принять за даму) также в черном и в длинной, обширной вуали, ниспадавшей до земли. Ее тюрбан был вдвое больше, чем у остальных женщин. Брови у нее сходились, нос был несколько вздернут, рот велик, но губы красны. Ее зубы, которые она по временам обнаруживала, были редки и неправильны, хотя белы, как миндалины без кожи. В руках у нее был тонкий полотняный платок, в котором, как я успел разглядеть, лежало сердце, очевидно от мумии, потому что оно было сухо и просолено. Монтезинос сказал мне, что все эти люди слуги Дюрандарт и Белермы, заколдованные вместе со своими господами, и что шедшая позади и несшая в платке сердце, сама Белерма, которая четыре раза в неделю устраивает такие процессии со своими служанками и поет или, лучше, выкликивает погребальные песни над телом и несчастным сердцем его брата.

– Если она показалась вам не совсем красивой, – сказал он, – или, по крайней мере, не такой красавицей, какой слыла, то этому виной дурные дни и еще более дурные ночи, которые она проводит под этими чарами, как можно видеть по ее потускневшим глазам и болезненному цвету лица. Эта бледность и синие круги под глазами не происходят от обычной женской ежемесячной болезни, потому что она не знает ее уже много месяцев и даже много лет, а от огорчения, которое терзает ее сердце при виде того, что она постоянно носит в руках, и что напоминает ей о несчастье с ее возлюбленным. Иначе вряд ли кто сравнился бы с нею в красоте, грации, изяществе – клянусь великой Дульцинеей Тобозской, столь известной в этих местах и во всем мире!

– Стойте, господин Дон Монтезинос! – вскричал я тут. – Рассказывайте, ваша милость, только свою историю. Вы должны знать, что вообще сравнения неуместны и что никого не следует сравнивать с другими. Несравненная Дульцинея Тобозская остается тем, что она есть, а госпожа донья Белерма тем, что была и что есть, и оставим это.

– Господин Дон-Кихот, – ответил он, – простите меня, ваша милость. Сознаюсь, что я неправ и что дурно поступил, сказав, что госпожа Дульцинея едва сравнится с госпожой Белермой; потому что самого смутного подозрения о том, что ваша милость ее рыцарь, должно было быть достаточно, чтоб я скорее прикусил себе язык, чем сравнил эту даму с кем бы то ни было, кроме разве самого неба.

Это удовлетворение, данное мне великим Монтезиносом, успокоило

мое сердце и утишило волнение, которое я испытал, услышав, что мою даму сравнивают с Белермой.

– Удивляюсь, – заметил Санчо, – как ваша милость не вскочили на живот милого дружка, не растоптали в порошок его костей и не вырвали у него бороды до последнего волоска.

– Зачем же, – ответил Дон-Кихот. – С моей стороны было бы дурно так поступить, потому что все обязаны почитать стариков, даже когда это не рыцари, а тем более рыцарей, и еще заколдованных. Я отлично знаю, что мы во многих вопросах и ответах, которыми обменялись, не остались друг у друга в долгу.

– Я право, удивляюсь, – сказал кузен, – как это, господин Дон-Кихот, ваша милость могли в такое короткое время, какое вы пробыли в пещере, видеть, слышать и наговорить так много?

– А сколько времени я там пробыл, – спросил Дон-Кихот.

– Немного более часа, – ответил Санчо.

– Не может быть, – возразил Дон-Кихот, – потому что я видел, как наступила ночь, а потом опять рассвело, и еще три вечера и три утра, так что, по моему расчету, я, провел в этой пучине, скрытой от наших глаз, целых трое суток.

– Мой господин, верно, говорит правду, – сказал Санчо, – потому что, если все, что с ним случилось, явилось по волшебству, то то, что нам казалось одним часом, могло ему представиться тремя днями с их ночами.

– Вероятно, так, – ответил Дон-Кихот.

– Скажите мне, мой добрый господин, – ели ли ваша милость что-нибудь за все это время?

– Ни крошки, – ответил Дон-Кихот, – и не чувствовал мы малейшей потребности.

– А заколдованные едят обыкновенно? – спросил кузен.

– Нет, не едят, – ответил Дон-Кихот, – и не ходить также за грубыми надобностями; но все полагают, что ногти, волосы и бороды у них растут.

– А что эти заколдованные спят, что-ли, мой господин? – спросил Санчо.

– Конечно, нет, – ответил Дон-Кихот. – Но крайней мере, в те трое суток, которые я провел с ними, ни один из них не сомкнул глаз, и я также.

– Значит, – сказал Санчо, – правду говорит пословица: «Скажи, с кем ты друг, и я скажу, кто ты таков». Пойдите-ка поживите с заколдованными, которые постятся и бодрствуют и удивляйтесь после того, что вы все время не едите и не спите! Но простите, господин, а я должен вам сказать, что, побей меня Бог – чуть не сказал черт, – если и верю хоть одному слову из

того, что вы сейчас рассказывали.

– Как! – вскричал кузен. – Разве господин Дон-Кихот станет лгать? А если бы он и захотел лгать, так когда бы он успел выдумать столько историй?

– Нет, я не думаю, чтоб мой господин лгал, – возразил Санчо.

– А что же ты думаешь? – спросил Дон-Кихот.

– Я думаю, – ответил Санчо, – что этот Мерлин или эти волшебники, которые околдовали весь тот отряд, который ваша милость, говорите, видели и посетили там внизу, вбили вам в голову всю эту литанию, которую вы нам рассказали и которую еще хотите рассказать.

– Это могло бы случиться, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – но это все-таки не так, потому что все, что я рассказал, я видел своими глазами и ощупывал своими руками. Но что же ты скажешь, когда я сообщу тебе, что между множеством вещей и чудес, показанных мне господином Монтезиносом (я тебе их расскажу понемногу в свое время дорогой, потому что они не все теперь у места), он показал мне трех поселянок, которые уезжали свежим полем, прыгая и скача, словно возы? Едва, увидав их, я узнал, что одна была несравненная Дульцинея Тобозская, а две другие – те самые крестьянки, которые ехали с нею и с которыми мы разговаривали при выезде из Тобозо. Я спросил у Монтезиноса, знает ли он их, он ответил, что нет, но что он думает, что это заколдованные знатные дамы, недавно появившиеся на этих лугах. Он прибавил, чтоб я не удивлялся этому, потому что в этих местах есть еще много дам, заколдованных под разными видами в прошедшие и настоящие веки и что он знает между ними королеву Женевру и ее дуэнью Квинтаниону, ту самую, которая наливала вино Ланселоту, как говорится в романсе, когда он приезжал из Бретани.

Услыхав эти слова, Санчо думал, что лишится рассудка, или лопнет со смеху. Так как он лучше всякого другого знал истину о воображаемом околдовании Дульцинеи, в котором сам разыгрывал роль колдуна и которое сам выдумал, то и догадался, наконец, что его господин окончательно рехнулся и совсем потерял рассудок. Поэтому он и сказал: «В недобрый час и под худой звездой вы опустились, мой дорогой господин, в другой мир» и будь проклята та минута, когда вы встретились с этим Монтезиносом, который возвратил вас вам в таком виде! Да, ваша милость была бы здесь наверху, в полном разуме, какой дал вам Господь, и рассуждали бы и на каждом шагу давали бы советы, а не рассказывали бы, как теперь, какие глупости, от которых уши вянут.

– Так как хорошо знаю тебя, Санчо;– ответил Дон-Кихот, – то я не

обращаю внимания на твои слова.

– Так же, как и я на ваши, – сказал Санчо, – хотя бы ни били и даже убили меня за то, что и сказал и что еще думаю сказать, разве только вы исправите и перемените свой язык. Но скажите мне теперь, когда мы помирились: как и почему вы узнали нашу госпожу властительницу?

– Я узнал ее потому, – ответил Дон-Кихот, – что он была в том же платье, в каком была, когда ты мне ее показал. Я заговорил с ней, но она ни слова не ответила мне и даже отвернулась и так быстро скрылась, что даже стрела из лука ни догнала бы ее. Я хотел погнаться за ней и погнался бы, если бы Монтезинос не отсоветовал мне, говоря, что это будет напрасный труд и что все равно мне уже скоро пора будет выйти из пещеры. Он прибавил, что меня со временем известят о том, что нужно делать, чтоб снять чары с него, Белермы, Дюрандарта и всех, кто там находится. Но всего более огорчило меня из того, что я там видел и заметил, то, что во время разговора моего с Монтезиносом одна из двух спутниц печальной Дульцинеи незаметно для меня подошла ко мне и сказала мне тихим, взволнованным голосом, со слезами на глазах:

– Госпожа Дульцинея Тобозская целует руки у вашей милости и умоляет вас сказать, как вы поживаете, а так как она находится теперь в крайней нужде, то настоятельнейшим образом умоляет вашу милость одолжить ей вот под эту новую канифасовую юбку, которую я вам подаю, штук шесть реалов, или сколько у вас найдется в кармане, и дает честное слово, что скоро возвратит их вам.

Такое поручение очень удивило меня, и я спросил, обратясь к господину Монтезиносу:

– Возможно ли, чтобы заколдованная знать терпела нужду?

– Поверьте, господин Дон-Кихот, – отвечал он, – что то, что называется нуждой, встречается повсюду, распространяется во все стороны задевает всех и не щадит даже заколдованных. Если госпожа Дульцинея Тобозская посылает просить шесть реалов и дает, по-видимому, хороший залог, то вам ничего не остается делать, как дать их ей, потому что она, наверное, в большом затруднении.

– Залога я не приму, – сказал я, – но мне дам ей того, что она просит, потому что у меня при себе только четыре реала (те, что ты давеча дал мне, Санчо, на милостыню бедным, которых я встречу); – я и отдал их ей, сказав: «Передайте своей госпоже, мой милый друг, что меня до глубины души огорчают ее страдания и что я желал бы быть Фукарком,<sup>[166]</sup> чтобы помочь ей; пусть она знает, что и не могу и не должен быть здоров, пока буду лишен ее приятного лицезрения и скромного разговора, и что я

умоляю ее самым настоятельным образом показаться ее странствующему рыцарю и плененному слуге и позволить ему поддержать ее. Еще скажите ей, что я дал клятву и обет, как маркиз Мантуанский, который поклялся отомстить за своего племянника Бодуэна, найденного им на горе при последнем издыхании, т. е. что он не будет есть хлеб на столе и будет нести еще другие епитимии, пока не отомстит за него. Ну, а я дам обет никогда не останавливаться и объехать все части света еще добросовестнее, чем инфант Дон Педро Португальский, [\[167\]](#) пока не снимут с нее чар.

– Все это и еще многое другое, – заметила девушка, – ваша милость обязаны сделать для моей госпожи.

И взяв четыре реала, она, вместо того чтобы поклониться мне, сделала такой прыжок, что подскочила выше, чем на два аршина.

– О, Пресвятая Богородица! – застонал Санчо. – Что это за свет нынче и какая сила должна быть у колдунов и в их колдовствах, что они сумели превратить здоровый рассудок моего господина в такое странное помешательство! О, господин мой, господин! Оглянитесь, ваша милость, на себя, подумайте о своей чести и перестаньте верить в эту чепуху, которая смущает вас и искажает ваш здравый смысл!

– Ты так говоришь, Санчо, потому, что любишь меня, – возразил Дон-Кихот.

– Ты не имеешь никакого понятия о мирских делах, и потому все сколько-нибудь непонятное кажется тебе невозможным. Но время идет, как я уже раз говорил, и я когда-нибудь расскажу тебе все, что я видел там, внизу; услышав об этом, ты согласишься и уже рассказанному мною, истина которого не допускает ни возражений, ни оспариваний.

## ГЛАВА XXIV

### **В которой рассказываются тысячи безделиц, столь же нелепых, сколько необходимых для уразумения сей великой истории**

Тот, кто перевел эту великую историю с оригинала, написанного его настоящим автором Сид Гамедом Бен-Энгели, говорит, что, дойдя до главы, следовавшей за приключением в Монтезинской пещере, он нашел следующие подлинные слова, написанные на полях самим Гамедом: «Я не могу ни постичь, вы убедить себя, чтобы изложенное в предыдущей главе действительно приключилось с Дон-Кихотом. Причина этого заключается в том, что все приключения, встречавшиеся до сих пор, были правдоподобны и возможны; что же касается приключения в пещере, то я не вижу возможности считать его истинным, до того оно выходит за пределы рассудка. Думать, что Дон-Кихот, правдивейший из гидальго и благороднейший из рыцарей своего времени, лгал, невозможно: он не произнес бы лжи, хотя бы его изрешетили стрелами. С другой стороны, я принимаю еще в соображение, что он рассказал эту историю со всеми относящимися в ней обстоятельствами в такое короткое время, что не мог бы успеть сочинить такое сплетение лжи. Поэтому не моя вина, если это приключение покажется апокрифическим, и я пишу его, не настаивая ни на правдивости, ни на лживости его. Ты, читатель, умен и благоразумен и можешь сам судить об этом деле по собственному уразумению, потому что я ничего не могу тут помочь тебе. Во всяком случае, считается достоверным, что Дон-Кихот перед смертью сознался, что выдумал это приключение, потому что ему казалось, что оно замечательно гармонирует с вычитанными им из книг приключениями». Сказав это, историк продолжает так:

– Кузен удивлялся как дерзости Санчо, так и терпению его господина, и решил, что последнего сделала таким снисходительным радость, испытанная им оттого, что он видел свою даму Дульцинею Тобозскую, хотя и заколдованную; потому что Санчо наговорил таких вещей, за которые его следовало бы хорошенько проучить палкой. Кузен находил, что он вообще очень дерзок со своим господином, и сказал последнему: «Что касается меня, господин Дон-Кихот Ламанчский, то я считаю, что хорошо воспользовался путешествием с вашей милостью, потому что извлек из

этого четверную выгоду: во-первых познакомился с вашей милостью, что я считаю за большую честь; во-вторых, узнал, что заключается в этой Монтезинской пещере, равно как о превращении Гвадианы и Руидерских лагун, что принесет, мне большую пользу для Испанского Овидия, которым я занят в настоящее время: в третьих, открыл древность происхождения карт. Их, очевидно, употребляли еще, по меньшей мере, при императоре Карле Великом, судя по тому, что можно заключить из слов, которые вы слышали от Дюрандарт, когда он, после длинной речи, обращенной к нему Монтезиносом, очнулся и сказал: «Терпение, и перетасуем карты!». И это выражение, и этот оборот речи он узнал, конечно, не в то время, когда уже был заколдован, а тогда, когда еще жил во Франции, и во времена упомянутого императора Карла Великого. «Это справка, которая мне очень пригодится для другой книги, которую я собираюсь написать под заглавием! Дополнение к Virgiliu Полидору, об изобретении древностей. Я полагаю, что он в своей книге забыл упомянуть об изобретении карт» а я теперь укажу на это изобретение, что будет очень важным вкладом, особенно, если в подтверждение сослаться на такого авторитетного, такого правдивого автора, как господин Дюрандарт;<sup>[168]</sup> в четвертых, я достоверно, узнал, где источники реки Гвадианы, до сих пор никому неизвестные.

– Ваша милость совершенно правы, – ответил Дон-Кихот, – но я хотел бы знать, пользуетесь ли вы настолько милостью Божьею, чтобы получать разрешение на напечатание ваших книг, в чем я сомневаюсь,<sup>[169]</sup> и кому вы думаете их посвятить.

– В Испании есть вельможи и сановники, которым можно оказать эту честь, – ответил кузен.

– Есть, но немного, – возразил Дон-Кихот, – и не то чтоб они были недостойны, а просто не хотят принимать посвящений, чтоб не обязываться благодарностью авторам за их труд и внимание. Я знаю одного князя, который может заменить всех остальных вельмож даже настолько превзойти их всех, что если б я решился сказать о нем все, что я думаю, то возбудил бы, может быть, зависть не в одном великодушном сердце.<sup>[170]</sup> Но оставим это до другого, более подходящего времени, и поищем, где бы нам приютиться на ночь.

– Недалеко отсюда, – ответил кузен, – есть келья, где живет пустынный, который, говорит, был прежде солдатом, а теперь слывет добрым христианином и человеком, рассудительным и очень милосердным. Около самой кельи есть домик, построенный самим отшельником, он хоть

и тесен, но может вместить гостей.

– А есть у этого пустынника куры? – спросил Санчо.

– У редкого пустынника их не бывает, – ответил Дон-Кихот, – нынешние отшельники не похожи на живших в египетских пустынях, одевавшихся в пальмовые листья и питавшихся кореньями. Но не думайте, что, отзываясь хорошо о последних, я отзываюсь дурно о первых, я хочу только сказать, что нынешние покаяния уже не имеют той суровости и строгости, какую отличались прежние; но отшельники от этого не менее добродетельны. По крайней мере, я такого мнения о них, а когда все идет вкривь и вкось, то лицемер, который разыгрывает из себя праведника, не так дурно поступает как откровенный грешник.

Едва он проговорил эти слова, как они увидели, что к ним поспешно приближается пешеход, подгоняющий перед собой сильными ударами хлыста мула, нагруженного копьями и алебардами. Подойдя к ним, он поклонился и прошел мимо.

– Остановитесь на минутку, любезный, – сказал ему Дон-Кихот, – вы, кажется, ходите скорей, чем это хотелось бы мулу.

– Я не могу останавливаться, сударь, – ответил прохожий, – потому что оружие, которое я везу, нужно будет завтра, и времени терять мне нельзя. Прощайте же. Но если вам хочется знать, зачем я везу это оружие, так знайте, что я собираюсь переночевать в трактире за кельей пустынника, и если вы приедете туда, то найдете меня там, и я порасскажу вам разных чудес. Еще раз прощайте.

Сказав это, он так погнал мула, что Дон-Кихот не успел спросить у него, какие это чудеса он хочет их рассказать. А так как он был немножко любопытен, и его постоянно мучило желание узнать что-нибудь новенькое, то он и решил, что надо тронуться в путь сейчас же и переночевать в трактире, не заезжая к пустыннику, у которого хотел остановиться кузен. Они сели на лошадей, и все трое отправились прямо к трактиру. Кузен предложил Дон-Кихоту заехать к пустыннику выпить. Санчо, услышав это предложение, сейчас же направил туда своего осла, и Дон-Кихот с кузеном последовали за ним. Но несчастная звезда Санчо устроила так, что отшельника не оказалось дома, о чем сообщила им подпустынница, [\[171\]](#) которую они нашли в келье. Они спросили у нее лучшего домашнего вина, но она ответила, что у ее хозяина вина нет, а если они хотят воды, так она охотно даст им ее.

– Если б у меня была жажда к воде, – ответил Санчо, – так на дороге есть много источников из которых я мог бы ее утолять. О, свадьба Камачо! О, обилие дома Дон Диего! Сколько раз я еще пожалею о вас!



Они вышли из кельи и направились к трактиру. Через некоторое время они увидели юношу, шедшего впереди их настолько медленно, что они скоро нагнали его. Он носил на плече шпагу, точно палку, с узелком, в котором лежали, должно быть, его штаны, короткий плащ и несколько рубаш. На нем была бархатная куртка с остатками атласной вставки, из-за которой виднелась рубашка. Чулки на нем были шелковые, а башмаки четырехугольные, какие носили при дворе. Ему было на вид лет восемнадцать, девятнадцать; лицо у него было веселое, походка легкая, и он шел, распевая сегидильи, чтобы прогнать скуку и скрасить дорогу. Когда путники приблизились к нему, он доканчивал песенку, которую кузен запомнил и в которой говорилось:

«Иду я биться на войне,  
И сам тому не рад»  
Остался б дома я, друзья,  
Когда бы был богат».

Первый заговорил с ним Дон-Кихот.

— Вы ходите налегке, господин мой, — сказал он ему. — Куда лежит ваш путь, хотелось бы нам знать, если вам угодно будет поведать нам это.

— Хожу я налегке, — ответил юноша, — из-за жары и бедности. А куда я иду? На войну.

— Как из-за бедности! — вскричал Дон-Кихот. — Из-за жары, — это вероятнее.

— Господин мой, — ответил юноша, — в этом узелке у меня вот бархатные штаны, да вот еще эта куртка; если я взношу их дорогой, мне уже нельзя будет показаться в них в городе, а купить другое платье мне не на что. По этой-то причине и еще чтобы освежиться, я хожу так, пока не присоединюсь к пехоте, находящейся на расстоянии двенадцати миль отсюда, и не поступлю в одну в рот. Тогда у меня не будет недостатка в экипировке до места отплытия; которое, говорят, назначено в Картагене. А мне уж лучше иметь хозяином и господином короля и служить ему на войне, чем прислуживать какому-нибудь скареду при дворе.

— Но будет-ли ваша милость получать там добавочное жалованье?<sup>[172]</sup>

— Ах! — ответил юноша. — Если б я служил у какого-нибудь испанского гранда или вообще у человека с весом, я бы наверное получал добавочное жалованье. Что значит служить при хороших условиях: из пажей можно попасть прямо в прапорщики или капитаны или выслужить славную

пенсию. Я же, несчастный, всегда служил только у разных искателей мест, людей ничтожных невесть откуда явившихся и так скудно и скупко платящих своим лакеям, что на крахмал для воротника пошла бы целая половина их жалованья. Было бы чудом, если бы такой паж скопил себе что-нибудь.

– Но скажите мне, друг мой, – спросил Дон-Кихот, – неужели за столько лет службы вы не могли выслужить хоть ливрею?

– У меня их перебывало даже две, – ответил паж, – но как у того, кто до пострижения покидает монастырь, отнимают монашеское платье и клобук, возвращая ему его собственное платье, так и мои хозяева возвращали мне все платье каждый раз, как кончали дела, призывавшие их ко двору, и отнимая ливреи, которые давали мне только для виду.

– Какая ужасная низость! – воскликнул Дон-Кихот. – Но вы все-таки можете себя поздравить, что покидаете двор с таким прекрасным намерением. В самом деле, на свете нет ничего более почетного и, в то же время, более выгодного, чем служить сперва Богу, а затем королю, нашему собственному господину, и, главным образом, оружием, при помощи которого получает если не более богатств, то более чести, чем пиров, как я уже много-много раз повторял. Если правда, что перо принесло людям более имений, чем оружие, то люди оружия обладают чем-то более возвышенным, нежели люди пера, и в них есть несравненно более благородства и блеска, которые ставят их выше всех на свете. Запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу, потому что это очень пригодится вам и принесет вам большое облегчение среди тягостей военного дела: удаляйте от своего воображения все зловещие события, которых вы можете стать свидетелем. Самое худшее – это смерть, но если смерть почетна, то умереть лучше всего. У Юлия Цезаря, этого храброго римского императора, спросили, какая смерть всего лучше.

– Внезапная и непредвиденная, – ответил он.

Хотя ответ этот дан человеком, не знавшим истинного Бога, но это совершенно справедливо в том смысле, что избавляет человека от свойственного ему чувства. Не беда, если вас убьют даже в первой стычке, пушечным ли выстрелом или взрывом мины: это все равно будет смертью, и дело, значит, сделано. По словам Теренция, для солдата лучше умереть в битве, чем остаться живым в бегстве, и хороший солдат лишь настолько славен, насколько обнаруживает повиновение своим капитанам и всем, кто имеет право ему приказывать. Заметьте, сын мой, что солдату приличнее нюхать порох, чем мускус, и если старость настигает вас в этом почтенном, ремесле, то, будь вы изранены, изувечены и искалечены, ваша старость

будет почтенна, и даже бедность не сможет омрачить блеска. Впрочем, теперь стараются пристраивать и прокармливать старых и увечных солдат, потому что нехорошо было бы поступать с ними так, как наступают рабовладельцы, дающие своим неграм свободу, когда те состарятся и не могут уже служить им. Прогоняя их из дому под видом освобождений, они делают их рабами голода, от которого освобождает одна только смерть. Теперь я вам ничего более не скажу, кроме того, чтоб вы сели на круп моей лошади и сидели бы там, пока мы не доедем до корчмы; там мы с вами поужинаем, а завтра вы отправитесь далее. Да пошлет вам Господь такой счастливый путь, много заслуживают ваши намерения.

Приглашение на круп паж отверг, от ужина же в корчме не отказался, а Санчо, говорят, в эту минуту промолвил про себя: «Черт его разберет, моего господина! Как может человек, умеющий говорить столько хороших вещей, как он сейчас наговорил, болтав, будто он видел всякие там несуразности в Монтезинской пещере! Что ж, будем как-нибудь выворачиваться». Уже вечерело, когда они подъехали к корчме, к великой радости Санчо, которому было очень приятно видеть, что его господин принимает эту корчму за настоящую корчму, а не на замок, как он обыкновенно делал.

Не успели они войти, как Дон-Кихот спросил у хозяина о человеке с копьями и алебардами. Тот ответил, что он пристраивает своего мула в конюшне. Кузен и Санчо сделали то же самое со своими ослами, предоставив Россинанту лучшее место и лучшее стойло в конюшне.

## ГЛАВА XXV

### **В которой рассказывается приключение с ревом и хорошенькая история о марионеточном актере, а также о замечательных гаданиях ворожея-обезьяны**

Дон-Кихот, как говорится, сгорал нетерпением, услышать чудеса, которые посулил ему человек с оружием. Он пошел разыскивать его там, где тот, по словам хозяина, находился, и, разыскав его, попросил освободить ему сейчас же, не откладывая, то, что он хотел сообщить по поводу предложенных ему на дороге вопросов. Тот ответил:

– Ну, нет, этого так скоро не расскажешь, да и стоять устанешь. Позвольте мне, ваша милость, прежде пристроить здесь моего мула, а потом я вам порасскажу таких вещей, что вы удивитесь.

– Если остановка только за этим, – сказал Дон-Кихот, – так я вам помогу.

И он принялся везть ячмень и чистить стойло – смирение, которое заставило его собеседника рассказать ему то, что он просил. Они уселись рядышком на каменной скамейке, и человек с алебардами обратился так к сенату и аудитории, состоявшим из кузена, пажа, Санчо Панса и хозяина корчмы:

– Вы должны знать, господа, что в деревне, находящейся на расстоянии четырех с половиной миль от этой корчмы, случилось, что один местный регидор<sup>[173]</sup> лишился, по недосмотру или козням своей служанки, осла, и, что ни делал этот регидор, чтоб отыскать свою скотину, все было напрасно. Прошло две недели, как рассказывает народ, с тех пор, как пропал осел, когда раз на площади к обокраденному регидору подошел другой регидор из той же деревни.

– Дай-ка мне награду,<sup>[174]</sup> куманек, – сказал он, – твой осел нашелся.

– С удовольствием, куманек, – ответил тот. – Но скажи прежде, где осел.

– В лесу на горе, – сказал нашедший, – я видел его сегодня утром, без вьюка, без сбруи и до того отощавшего, что жалость было глядеть на него. Я хотел погнать его и привести к тебе; но он уже до того одичал, что, только я хотел к нему подойти как он шарахнулся в сторону и убежал в

самую чащу леса. Если хочешь пойти со мной искать его, так подожди только, пока я сведу домой свою ослицу: я сейчас же вернусь.

– Скажу тебе большое спасибо, – ответил хозяин осла, – я постараюсь отплатить тебе тем же.

Я вам рассказываю эту историю точь-в-точь так и теми же словами, как ее рассказывают те, которые досконально знают ее. Вот оба регидора и отправились пешком под ручку в лес, но когда они дошли до того места, где думали найти осла, его там не оказалось, и сколько они его ни искали, нигде не было и следов его. Видя, что осла нет, регидор, который встретил его, сказал:

– Слушай, кум, я придумал хитрость, которая поможет нам отыскать скотину, хотя бы она скрывалась в недрах, не только леса, но даже самой земли. Я отлично умею реветь по-ослиному, а если и ты немножко дока в этом, так дело наше в шляпе.

– Немножко, говоришь ты? – возразил тот. – Ну, а я тебе скажу, что со мной в этой штуке никто не сравнится, ни даже сами ослы.

– Посмотрим, – сказал другой регидор. – Ты иди на одну сторону горы, а я на другую, так что мы обойдем ее всю и во всех направлениях. Время от времени ты будешь кричать по-ослиному, и я буду кричать, и осел непременно услышит нас и ответит, если он еще в лесу на горе.

– Право, кум, – ответил хозяин осла, – твоя выдумка очень умна и достойна твоей гениальной головы.

Они тут же разошлись и пошли, по условию, в разные стороны; и оба начали почти в одно время кричать по ослиному и, обманутые криками друг друга, побежали один к другому навстречу, думая, что нашелся осел. Потерпевший, увидав кума, вскричал:

– Да неужто же это не мой осел ревел?

– Нет, это я, – ответил тот.

– Ну, куманек, – сказал первый, – вот уж могу сказать, что между тобой и ослом нет никакой разницы, когда ты реवेशь, и я в жизни своей не слыхивал я не видывал большего сходства.

– Без лести скажу, – ответил изобретатель хитрости, – что эти похвалы больше пристали тебе, чем мне, куманек. Клянусь Богом, который меня создал, что ты не уступишь самому лучшему ревуну в мире. Звук у тебя высокий и сильный, тоны тонки и мерны, переливы многочисленны и быстры; словом, ты превзошел меня, и я уступаю тебе пальму первенства в этом редком, прекрасном таланте.

– Вот как! – обрадовался хозяин осла. – Ну, я теперь буду о себе лучшего мнения и буду считать, что кое-что знаю, когда у меня есть талант.

Я хотя я полагал, что кричу по-ослиному довольно хорошо, но не воображал все-таки, что так уж прекрасно, как ты говоришь.

– Я скажу еще, – возразил тот, – что бывают редкие таланты, которые пропадают для света и которые плохо применяются теми, кто не умеет пользоваться ими.

– Ну, наши-то, – ответил хозяин осла, – могут годиться разве только в таких случаях, как этот, да и то дай Бог, чтоб они принесли нам какую-нибудь пользу.

После этого они снова разошлись и опять принялись реветь, но на каждом шагу вводили друг друга в заблуждение и сбегались в одно место, пока не условились кричать по два раза сряду, чтобы знать, что это они кричат, а не осел. После этого они, все учащая рев, обошли всю гору из конца в конец, не получив ни разу ответа от пропавшего осла и не найдя и следов его. Да и мог ли он, несчастный, ответить, когда они нашли его, наконец, в самой чаще леса, растерзанным волками. Увидав его, хозяин его сказал:

– А и то удивлялся, от чего он не отвечает, потому что, не будь он мертв, он бы непременно ответил вам, когда мы ревели по-ослиному, не то это не был бы осел. Но благодаря удовольствию, которое мне доставил твой ослиный рев, кум, я не считаю, что напрасно потерял труд в поисках, хотя и нашел его мертвым.

– Мы друг другу не уступим, кум, – ответил тот, – потому что хотя священник и хорошо поет, но и певчие поют не хуже.

После этого они вернулись в деревню печальные и охрипшие и рассказали своим соседям, друзьям и знакомым о том, что с ними случилось при поисках осла, расхваливая напропалую умение друг друга реветь по-ослиному. Все это сейчас стало известно и рассказывалось во всем околотке. Но так как дьявол никогда не спит и любит развеять по воздуху солому и раздувать раздоры и ссоры, то и выдумал сделать так, чтобы жители других деревень при встречах с ними принимались реветь по-ослиному, как будто в посмеяние реву наших регидоров. Тут вмешались разные негодяи, а это хуже, чем если бы все дьяволы в аду сговорились, – и слух об ослином реве до того разошелся из деревни в деревню, что теперь жители той деревни, где это приключилось, стали везде известны, и их везде чураются, словно негров между белыми. Несчастные последствия этой шутки зашли так далеко, что уже не раз осмеиваемые выступали против насмешников с оружием в руках, настоящими отрядами, и схватывались с ними, и ничто не может остановить их: ни страх, ни стыд, ни король, ни суд. Я полагаю, что завтра, либо после завтра жители деревни

с ослиным ревом – я тоже оттуда – выступит в поход против другой, находящейся в двух милях от нашей и больше всех преследующей нас. Вот я и купил всех этих мечей и алебард, чтобы их вооружить. Вот какие чудеса я хотел вам рассказать; а если они не кажутся вам чудесами, так не взыщите, других у меня нет. Так закончил человек с оружием свой рассказ.

В эту минуту в дверях корчмы показался человек, на котором вся одежда была из замши: и куртка, и штаны, и чулки.

– Господин хозяин! – закричал он громким голосом, – есть место в корчме? Там едет ворожея-обезьяна и комедия – освобождение Мелизандры.

– Клянусь жизнью! – вскричал хозяин, – уж если приехал дядя Петр, так у нас будет славный вечерок.

Я и забыл сказать, что у этого дяди Петра левый глаз и почти полщеки были залеплены зеленым пластырем, что показывало, что вся эта часть лица у него поражена какою-то болезнью.

– Добро пожаловать, дядя Петр, – продолжал хозяин. – Но где же обезьяна и театр? Я их что-то не вижу.

– Они сейчас будут здесь, – ответил человек в замше. – Я пошел вперед, чтоб узнать, найдется ли местечко.

– Уж я бы прогнал даже самого герцога Альбу, – лебезил хозяин, – чтобы дать местечко дяде Петру. Везите скорее балаган и обезьяну: сегодня в корчме есть гости, которые заплатят за представление и за талант обезьяны.

– Тем лучше, – ответил человек с пластырем, – а я уж сбавлю цены: мне бы только возвратить свои расходы, и я уж буду доволен. Однако, пойду подгоню тележку, в которой едут балаган и обезьяна.

И с этими словами он вышел из корчмы.

Дон-Кихот тотчас же стал расспрашивать хозяина, кто такой этот дядя Петр и что у него за театр и обезьяна.

– Это, – ответил хозяин, – знаменитый марионеточный актер, который с некоторого времени разъезжает в этой части аррагонской Ламанчи, представляя, как Мелизандра была освобождена знаменитым Дон Ганферосом: очень хорошенькая история и так хорошо разыгрываемая, что в этой части королевства уже много лет не видывали ничего подобного. Он возит с собой еще обезьяну, самую искусную; какую только можно встретить между обезьянами, или вообразить между людьми. Если ей представить вопрос, она внимательно выслушивает, о чем ее спрашивают, потом вскакивает на плечи к своему хозяину и говорит ему на ухо ответ на предложенный вопрос, а дядя Петр сейчас же повторяет этот ответ вслух.

Она гораздо более говорит о прошедшем, чем о будущем, и хотя не всегда сразу отгадывает, но всего чаще не ошибается, так что мы подумываем даже, не сидит ли в ней бес. За каждый вопрос платится по два реала, если обезьяна отвечает... т. е. и хочу сказать, если хозяин за нее отвечает, после того, как она скажет ему на ухо. Поэтому все думают, что этот дядя Петр очень богат. Он человек галантный, как говорят в Италии, славный товарищ и ведет лучшую в мире жизнь. Он говорит за шестерых, пьет за двенадцать человек – и все это за счет своего языка, своей обезьяны и своего театра.

В эту минуту вернулся дядя Петр, везя в тележке балаган и обезьяну, которая была велика, бесхвоста и с мохнатой шерстью, но не зла на вид. Едва увидев ее, Дон-Кихот спросил:

– Скажите, госпожа ворожея, какую *pesce pigliato*.<sup>[175]</sup> Что с нами будет? Вот вам два реала.

И он приказал Санчо выдать деньги дяде Петру. Тот ответил за обезьяну.

– Сударь, – сказал он, – это животное не отвечает и не сообщает ничего о будущем» о прошедшем оно кое-что знает, да и о настоящем тоже.

– Черт меня возьми, – вскричал Санчо, – если я дам хотя бы один обол за то, чтобы мне сказали, что со мною случилось! Не знаю я, что ли, сам? Не на такого дурака напали, чтоб я платил за то, что сам знаю. Ну, а если вы знаете настоящее, госпожа обезьяница, так вот вам два реала и скажите мне, что делает сейчас моя жена Тереза Панса. Чем она занимается?

Дядя Петр не взял, однако, денег.

– Я не беру платы вперед, – сказал он, – за услугу надо платить, только когда она уже оказана.

После этого он два раза хлопнул себя по левому плечу, и обезьяна одним прыжком вскочила на это плечо и, приблизив свой рот к уху хозяина, принялась быстро-быстро стучать зубами. Прodelав эту штуку в продолжение нескольких секунд, она опять одним прыжком соскочила на пол. Тогда дядя Петр бросился на колени перед Дон-Кихотом и, обняв его колени, вскричал: «Я обнимаю эти ноги словно Геркулесовы столбы, о славные воскреситель забытого странствующего рыцарства! о рыцарь Дон-Кихот Ламанчский, которого невозможно достаточно прославлять, опора слабых, поддержка падающих, рука для упавших и утешение для всех несчастных!»

Дон-Кихот оцепенел, Санчо окаменел, кузен был поражен изумлением, а паж ужасом, хозяин застыл в одной позе, а человек из ревущей деревни разинул рот, и у всех, кто слышал эти слова марионеточного актера, волосы



встали дыбом на головах. Он же продолжал, не смущаясь: «А ты, о добрый Санчо Панса, лучший из оруженосцев лучшего из рыцарей всего мира! радуйся: твоя жена Тереза здорова и в настоящую минуту занимается тем, что расчесывает фунт конопли, а под боком у нее стоит щербатый горшок с доброй пинтой вина, и она попивает из него, чтобы скрасить себе работу.

– О, этому я верю! – вскричал Санчо, – потому она бабенка блаженная, и не будь она немножко ревнива, я бы ее не променял даже на великаншу Андандону, которая была, говорит мой господин, умная женщина и хорошая хозяйка; а моя Тереза из таких баб, что себе ни в чем не отказывают, хотя бы пришлось урывать у своих наследников.

– Повторяю опять, – сказал Дон-Кихот, – что тот, кто путешествует и много читает, узнает и видит многое. Каким образом, спрашивается, кто-нибудь убедил бы меня, что на свете существуют обезьяны, которые угадывают все, если бы я сам не видал этого своими глазами? Ведь я действительно тот самый Дон-Кихот Ламанчский, которого назвал этот добрый зверек, только он, конечно, уж чересчур рассыпался в похвалах. Но каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно одарило меня кротким и участливым характером, всегда готовым сделать добро всякому и неспособным причинить кому-либо зло.

– Если б у меня были деньги, – заметил паж, – я спросил бы у госпожи обезьяны, что сбудется со мной в моем предстоящем путешествии.

– Я уже сказал, – ответил дядя Петр, который тем временем уже выпустил ноги Дон-Кихота и поднялся с колен, – что этот зверек не отвечает на вопросы о будущем. А если б он отвечал, так это бы не беда, что у вас нет денег, потому что ради присутствующего здесь господина Дон-Кихота я готов забыть всякий денежный расчет. А теперь, чтоб отблагодарить его и доставить ему удовольствие, я дам представление и даром позабавлю всех находящихся сейчас в корчме.

При этих словах хозяин корчмы, не помня себя от радости, указал место, где удобнее расположить театр, и все было готово в одну минуту.

Дон-Кихот не особенно был удовлетворен отгадками обезьяны, потому что ему казалось так же невероятным, чтоб обезьяна угадывала прошедшее, как и будущее. Поэтому, пока дядя Петр устанавливал принадлежности своего театра, он отвел Санчо в угол конюшни, где никто не мог их слышать, и сказал:

– Послушай, Санчо, я обдумал странный талант этой обезьяны и решил, что этот дядя Петр, ее хозяин, наверно, заключил с дьяволом явный или тайный договор.

– Какой еще тут оговор? – ответил Санчо.

– Я так полагаю, что у дьявола и так все нечисто: какая же выгода дяде Петру оговаривать его?

– Ты меня не понял, Санчо, – ответил Дон-Кихот. – Я хотел сказать, что дядя Петр, видно, сговорился с чертом, чтобы тот вложил этот талант в обезьяну, чтоб ему было чем зарабатывать себе хлеб» а когда он разбогатеет, он в обмен отдаст свою душу черту, чего всегда добивается этот враг всего человечества. Особенно меня наводит на эту мысль то, что обезьяна отвечает только на вопросы о прошедшем и настоящем, а власть черта тоже не распространяется далее этого. Будущего он не знает, разве только по догадке, и то очень редко: одному Богу известны все времена; для него не существует ни прошедшего, ни будущего, а все настоящее. Поэтому военно, что эта обезьяна говорит при помощи дьявола, и я удивляюсь, как ее не привлекли к духовному суду, чтоб исследовать ее и разъяснить, в силу чего она отгадывает все. Я уверен, что эта обезьяна не астролог, и что ни она, ни ее хозяин не знают, как располагать туманные фигуры, <sup>[176]</sup> что теперь до того вошло в моду в Испании, что нет ни одной бабенки, ни одного маленького пажа, ни одного рабочего, которые не хвастали бы, что им так же легко расположить фигуры, как поднять с пола упавшую карту; они таким образом своим невежеством и враньем унижают чудесную истину науки. Я знаю одну даму, которая спросила у одного из таких составителей гороскопов, будут ли щенята у ее маленькой собачонки, и если будут, то сколько и каких, цветов они будут. Господин астролог составил гороскоп и ответил, что собачонка затяжелеет и оценится тремя щенятами; зеленым, красным и пестрым, если только зачатие произойдет между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи и притом в понедельник или субботу. А кончилось тем, что собака через два дня околела от несварения желудка, господин же астролог сохранил свой авторитет местного астролога, как почти все люди этого сорта.

– А знаете что? – сказал Санчо. – Я хотел бы, чтоб ваша милость попросили дядю Петра спросить у обезьяны, правда ли то, что случилось с валя в Монтезинской пещере; потому, я думаю, не в обиду вам будь сказано, что все это чистейшая ложь и вранье, или попросту вам пригрезилось.

– Все может быть, – ответил Дон-Кихот, – но я все таки сделаю, как ты советуешь, хотя совесть будит мучить меня за то.

Тут к Дон-Кихоту подошел дядя Петр, чтоб сказать ему, что театр уже готов, и попросить его милость пойти посмотреть, потому что это стоит внимания. Дон-Кихот сообщил ему свое мнение и попросил его сейчас же спросить у обезьяны, пригрезилось ли ему или действительно случилось

то, что произошло с ним в Монтезинской пещере, так как ему сдается, что это столько же похоже на сон, сколько и на действительность. Дядя Петр, не говоря ни слова, пошел за обезьяной, я, став перед Дон-Кихотом и Санчо, сказал: «Слушай хорошенько, обезьянушка! Этот господин желает знать, истинно ли или ложно то, что произошло с ним в пещере, называемой Монтезинскою». Затем он дал обезьяне обычный сигнал, та вскочила к нему на левое плечо и сделала вид, что шепчет ему что-то на ухо, после чего дядя Петр сказал: «Обезьяна говорит, что то, что ваша милость видели или делали в пещере, частью ложно, частью неправдоподобно. Вот все, что она знает, а больше она ничего не может сказать по поводу этого вопроса. Если же ваша милость хотите узнать об этом подробнее, то в будущую пятницу она ответит на все, что у нее опросить. В настоящее время она лишилась своего дара отгадывания, который возвратится к ней только в будущую пятницу.

– Ну, что я говорил! – вскричал Санчо. – Я не мог поверить, чтобы то, что ваша милость, господин мой, рассказывали о приключениях в пещере, была правда хотя бы даже наполовину.

– Это покажет будущее, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – потому что время разъяснитель всего, всякое дело выводит на свет Божий, хотя бы оно было скрыто в недрах земли. Но довольно. Пойдем посмотрим театр доброго дяди Петра; я думаю, что он заключает в себе нечто любопытное.

– Как нечто любопытное! – возразил дядя Петр. – Этот самый театр заключает в себе более шестидесяти тысяч любопытных вещей. Говорю вашей милости, господин Дон-Кихот, что это одна из достойнейших вникания вещей, какую только можно встретить в настоящее время, и *operibus credite, non veris* (верьте фактам, а не словам). Пойдемте, приступим к делу! Становится поздно, а нам еще многое надо сделать, многое сказать и многое показать.

Дон-Кихот и Санчо, следуя приглашению, отправились к месту, где уже был расставлен и открыт театр марионеток, снабженный бесчисленным множеством зажженных восковых свечек, которые придавали ему роскошный и блестящий вид. Подойдя к балагану, дядя Петр спрятался позади его, потому что он сам управлял механическими фигурами, а мальчик, слуга дяди Петра, встал на виду у публики, чтобы служить толкователем и объяснять тайны представления. Мальчик держал в руке палочку, которою указывал появлявшиеся на сцене марионетки. Когда все находившиеся в корчме разместились перед театром, большинство стоя, и когда Дон-Кихот, Санчо, паж и кузен уселись на лучших местах, толкователь начал говорить то, что услышит или прочитает тот, кто захочет

прослушать или прочитать следующую главу.

## ГЛАВА XXVI

### **В которой продолжается хорошенькое приключение с марионеточным актером вместе с другими поистине очень хорошими похождениями**

Замолкли все троянцы и тиряне, <sup>[177]</sup> я хочу сказать, что все люди, глава которых были устремлены на театр, как говорится, впились в рот толкователя этих чудес, когда за сценой вдруг зазвенели литавры, затрубили трубы и заиграли рожки. Когда музыка умолкла, мальчик громко и пронзительно заговорил: «Эта правдивая история, которую здесь изображают перед вашими милостями, заимствована слово в слово из французских хроник и испанских романсов, переходящих из уст в уста и повторяемых ребятами среди улиц. Она трактует о свободе, которую возвратил господин Дон Ганферос своей супруге Мелизендре, находившейся в плену в Испании, у мавров, в городе Санеуэнье: так звали в те времена город, который теперь называется Сарагоссой. Посмотрите, как Дон Ганферос играет в триктрак, как говорится в песенке:

«Ганферос сидит, в триктрак играя;  
О Мелизендре он и позабыл уж». <sup>[178]</sup>

Актер, которые является там с короной на голове и скипетром в руке, это император Карл Великий, мнимый отец этой Мелизендры, который, раздраженный пренебрежением и бездействием своего зятя, принимается упрекать его. Заметьте, как запальчиво и раздражительно он его бранит» можно подумать, что он хочет дать ему хорошую встрепку своим скипетром» есть даже писатели, которые уверяют, будто он и в самом деле исколотил его. Наговорив ему разных разностей по поводу опасностей, которым подвергнется честь Ганфероса, если он не постарается освободить свою супругу, он, говорят, прибавил:

«Сказал довольно я; так берегись же». <sup>[179]</sup>

Melisendra esta en Sansuena,

Vos en Paris descuidado;  
Vos ausente, ella muger;  
Harto os be dicho, miradlo.

Теперь смотрите, как император отворачивается и оставляет Дон Ганфероса раздосадованным, и как этот последний, кипя гневом, опрокидывает стол с триктраком, требует, чтоб ему скорее подали оружие, и просит своего кузена Дон Роланда одолжить ему прекрасный меч Дюрандаль. Роланд не хочет одолжить его ему, а предлагает взамен разделить с ним предстоящий поход, но отважный и раздраженный Ганферос не хочет принять его предложения; он говорит, что один способен освободить свою жену, хотя бы она была зарыта в глубочайших недрах земли; после этого он вооружается, чтоб сейчас же пуститься в путь.

Теперь, ваши милости, обратите внимание на появляющуюся вон там башню. Есть предположение, что это одна из башен Сарагосского альказара, называемого ныне Альхафериа. Появляющаяся на балконе дама в мавританском костюме есть бесподобная Мелизендра, которая много-много раз находила на балкон глядеть на дорогу, ведущую во Францию, и, переносясь воображением к Парижу и к своему супругу, утешала себя таким образом в рабстве. Теперь вы увидите новое приключение, какого, быть может, никогда не видывали. Видите этого мавра, который волчьим шагом приближается к Мелизендре, не произнося ни слова и приложив палец к губам? Ну, так смотрите, как он ее целует в губы, и как она отплевывается и вытирает рот рукавом своей белой рубашки, как она горюет и с отчаяния рвет свои прекрасные волосы, точно они виноваты в ее несчастьи. Смотрите еще на этого важного человека в тюрбане, который прохаживается по коридорам: это Сансуэньский король Марсилио, <sup>[180]</sup> который видел наглость мавра. Он тотчас же приказывает, несмотря на то, что этот мавр его родственник и большой любимец, арестовать его и дать ему двести ударов кнутом, гоняя его по улицам города с глашатаем впереди и алгвазилами позади. Посмотрите, как идут исполнять приговор, хотя проступок едва совершен, дело в том, что у мавров нет очной ставки между заинтересованными сторонами, нет свидетельских показаний и апелляций, как у нас.

— Дитя, дитя! — вскричал тут Дон-Кихот, — рассказывайте прямо свою историю и не уклоняйтесь в сторону; для разъяснения какой-нибудь истины нужны доказательства и опровержения.

Тут и дядя Петр прибавил из балагана:

– Мальчик, не суйся в то, что тебя и касается, а делай то, что тебе приказывает этот добрый господин: это будет гораздо благоразумнее. И продолжая рассказывать прямо без обиняков, потому что где тонко, тем и рвется.

– Хорошо, я так и сделаю, – ответил мальчик и продолжал таким образом: «Эта фигура, появляющаяся с той стороны на коне, в большом гасконском плаще, есть сам Дон Ганферос, ожидаемый своей супругой, которая, отомщенная за дерзость влюбленного мавра, с более веселым видом вышла на балкон башни. Она заговаривает со своим супругом, которого принимает за незнакомого путника, и говорит ему все, что заключается в том романсе, который гласит:

«Рыцари, если вы едете во Францию,  
так осведомьтесь о Ганферосе».

Больше я не стану повторять, потому что излишние подробности порождают скуку. Достаточно вам будет увидеть, как Дон Ганферос открывает лицо, а по радости, которую обнаруживает Мелизандра, мы можем заключить, что она его узнала, особенно теперь, когда мы видим, как она спускается с балкона, чтобы сесть позади своего супруга на его коня. Но, о, несчастная! Ее пола юбки зацепляется за перила балкона, и она повисает в воздухе, не имея возможности достигнуть земли. Но смотрите, как милосердное небо всегда посылает нам помощь в самые критические минуты. Дон Ганферосъ подъезжает и, не обращая внимания на то, что может изорвать дорожную юбку, схватывает жену, дергает и силой стаскивает на землю; затем одним движением руки подсаживает ее на круп коня, верхом как, мужчину, и советует ей, чтобы не упасть, крепко держаться за него, обхватив его сзади руками так, чтоб они скрещивались у него на груди, потому что госпожа Мелизендра, не очень-то привычна к такого рода верховой езде. Смотрите, как конь выражает ржанием свой восторг по поводу того, что чувствует на своей спине и храбрую и прекрасную ношу в лице своего господина и своей госпожи. Смотрите, как они сворачивают, чтоб выехать из города, и как радостно направляются по пути к Парижу. Поезжайте с миром, о, бесподобная чета истинных любовников! – прибудьте здравы и невредимы в свое возлюбленное отечество, и пусть судьба не ставит вашему счастливому пути никаких препятствий! Пусть глаза ваших родных и друзей увидят, как вы мирно и счастливо

наслаждаетесь жизнью во все остальные ваши дни, столь же многочисленные, как и дни Нестора. В этом месте дядя Петр снова возвысил голос и сказал: «Полегче, полегче, мальчик! Не заносись за облака: всякая неестественность есть порок». Толкователь продолжал, не отвечая: «Не было недостатка, в праздных людях, которые видели (они всегда все видят), как Мелизендра спустилась с балкона и села на коня. Они сейчас же донесли об этом королю Марсилию, который приказал немедленно ударить в набат. Посмотрите, с какою поспешностью исполняется его приказание и как весь город сбегается на звук колоколов, которые звонят на башнях всех мечетей.

– Ну, уж это неправда! – вскричал Дон-Кихот. – Относительно колоколов дядя Петр жестоко ошибается, потому что у мавров употребляются не колокола, а литавры, род дульзаин, очень похожих на наши рожки.<sup>[181]</sup> Звонить в колокола в Сансуэнье – большое безрассудство.

На это дядя Петр, прекратив звон, ответил: «Ваша милость, господин Дон-Кихот, не должны обращать внимания на такие пустяки. Нет надобности так вести дело, чтоб все концы схоронены были в воду. Разве здесь не представляются тысячи комедий с бесчисленным множеством глупостей и несообразностей, что не мешает им иметь большой успех и слушаться среди восторгов, одобрений и аплодисментов? Продолжай, мальчик, говори; мне бы только наполнять свои карманы, а там пусть в моем представлении будет хоть больше глупостей, чем в ослице есть атомов.

– Это, пожалуй, правда, – заметил Дон-Кихот, а мальчик продолжал: – Теперь смотрите, какое множество блестящих всадников выезжает из города в погоню за обоими влюбленными католиками. Смотрите, сколько труб затрубило, сколько дульзаин огласило воздух, сколько литавров и барабанов зазвучало. Боюсь, как бы их не нагнали и не возвратили в город привязанными к хвосту их собственной лошади, что было бы ужасным зрелищем.

Когда Дон-Кихот увидал такую толпу мавров и услышал такой шум от трубных звуков, ему показалось, что следует оказать помощь беглецам. Он встал на ноги и громовым голосом закричал: «Я ни за что не позволю, пока я жив, чтобы в моем присутствии причинили какое-нибудь зло такому славному рыцарю, такому храброму любовнику, как Дон Ганферос. Стойте, вы сволочь, ничтожные люди! Не преследуйте его, не догоняйте, или вы будете иметь дело со мной!» С этими словами он обнажил меч, одним прыжком очутился около театра и с неслыханною яростью начал сыпать без разбора ударами на марионеточную мавританскую армию, одних



опрокидывая, других рассекая, у того снося голову, у другого ногу. Между прочим, один удар был нанесен с такою силой, что, если бы дядя Петр не нагнулся, не бросился наземь и не спрятался под свои подмостки, он рассек бы ему голову пополам, словно она была марципановая. Дядя Петр стал во весь голос кричать: «Остановитесь, господин Дон-Кихот, остановитесь! Подумайте: ведь те, которых вы опрокидываете, убиваете и калечите, не настоящие мавры, а картонные куклы! Подумайте, накажи меня Бог! – что вы уничтожаете и разрушаете все мое добро». Но Дон-Кихот не переставал сыпать градом ударов по всем направлениям и в минуту опрокинул театр, изорвав в клочья все декорации и фигурки, серьезно ранив короля Марсилио и рассекши пополам голову и корону Карла Великого. При этом зрелище сенат зрителей переполошился, обезьяна удрала на крышу корчмы, кузен испугался, паж убоялся, и даже Санчо Панса почувствовал страшный ужас, потому что, как он поклялся по окончании бури, он еще никогда не видывал своего господина в таком припадке гнева.

Докончив полное опустошение театра, Дон-Кихот немного успокоился.

– Хотел бы я теперь видеть всех тех, – сказал он, – которые не верят и не хотят верить, что странствующие рыцари полезны свету. Судите сами: если бы я не оказался случайно здесь, что случилось бы с храбрым Дон Ганферосом и прекрасной Мелизандрой? Наверное, в настоящую минуту эти собаки уже нагнали бы их и сыграли бы с ними плохую шутку. Итак, да здравствует странствующее рыцарство превыше всего существующего на земле! – Пусть здравствует в добрый час, – ответил плачевным голосом дядя Петр, – пусть здравствует, а я пусть умру, потому что я теперь до того несчастлив, что могу сказать, как король Дон Родриго:

«Был вчера король Испанский,  
А сегодня стену даже  
Не могу назвать своею».<sup>[182]</sup>

Еще полчаса, пять минут назад я сознавал себя господином королей и императоров, конюшни мои были наполнены бесчисленными лошадьми, а сундуки полны множества нарядов. А теперь я в отчаянии и унынии, я беден, я нищий; а главное, я лишен своей обезьяны, потому что мне придется гоняться за ней до кровавого пота. И все это из-за безрассудной ярости этого господина рыцаря, о котором рассказывают, что он помогает неимущим, исправляет всякое зло и делает другие добрые дела. Только для

меня одного у него не хватило великодушия. Да будут благословенны и славны небеса до превышних областей своих! Это рыцарь Печального Образа обезобразил мои образы.

Санчо разжалобили речи дяди Петра, и он сказал:

– Не плачь, дядя Петр, не горюй: – ты мне надрываешь сердце. И знай, что мой господин Дон-Кихот такой добрый католик и такой верный христианин, что стоит ему только заметить, что он сделал тебе зло, как он сумеет и пожелает заплатить тебе за это вдвое.

– Пусть господин Дон-Кихот заплатит мне хоть на часть фигурок, которые он обезобразил, и я уже буду доволен, а его милость сможет успокоить свою совесть; потому что кто отнял у другого против его воли его добро и не хочет возратить его, тому оно впрок не пойдет.

– Это правда, – согласился Дон-Кихот, – но до сих пор у меня, кажется, нет ничего вашего.

– Как нет? – вскричал дядя Петр. – А кто разбросал и изувечил эти остатки и развалины, которые покоятся здесь на жесткой и бесплодной почве, как не неотразимая сила этой страшной руки? А кому принадлежали их тела, как не мне? Чем я зарабатывал свой хлеб, как не ими?

– Теперь я окончательно убеждаюсь в том, – сказал Дон-Кихот, – что уже много раз думал: что преследующие меня чародеи только и делают, что показывают мне образы в настоящем их виде с тем, чтобы менять и превращать их потом во что им вздумается. Уверяю вас всех, господа, которые слышите меня, что мне действительно и поистине показалось, что все происходившее там происходило на самом деле, что Мелизендра была Мелизендрой, Дон Ганферос – Дон Ганферосом, Марсилио – Марсилио и Карл Великий – Карлом Великим. Потому-то гнев и ударил меня в голову, и я захотел оказать помощь и покровительство беглецам, чтобы выполнить свой долг странствующего рыцаря. С этим-то добрым намерением и я наделал все, что вы видели. Если все вышло наыворот, так это вина не моя, а тех злодеев, которые меня преследуют. Но как бы то ни было, и, хотя я причинил убыток без злого умысла, я сам взыскиваю с себя издержки. Пусть дядя Петр решит, сколько ему следует за уничтоженные фигурки, и я заплачу ему за них наличной кастильской монетой.

Дядя Петр низко поклонился и сказал: «Я этого и ожидал от неслыханного христианского милосердия славного Дон-Кихота Ламанчского, истинного защитника и опоры всех странствующих бедняков. Пусть господин хозяин и великий Санчо будут посредниками и ходатаями между вашей милостью и мною и пусть судят, чего стоят или могли стоять уничтоженные фигурки». Хозяин и Санчо объявили, что согласны. Тогда

дяди Петр поднял с пола обезглавленного короля Марсилио и сказал: «Вы видите, что этому королю невозможно вернуть его первоначальный вид. Поэтому, мне кажется – если только судья не много мнения, – что мне следует получить в вознаграждение за его смерть, упокоение и кончину четыре с половиной реала.

– Согласен, – ответил Дон-Кихот. – Продолжайте.

– За это отверстие сверху донизу, – продолжал дядя Петр, – взяв в руки обе половинки императора Карла Великого, не будет дорого запросить пять с четвертью реала.

– Не мало, – заметил Санчо.

– И не много, – возразил хозяин, – но возьмем среднее и назначим ему пять реалов.

– Пусть получит пять с четвертью реалов, – вскричал Дон-Кихот. – В общей сумме этого громадного убытка не имеет значения четверть реала больше или меньше. Но пусть дядя Петр поторопится, потому что настал час ужина, а я уже чувствую дрожь от голода.

– За эту фигурку, – снова начал дядя Петр, – без носа и с выбитым глазом, самую прекрасную Мелизендру, я требую, не дорожась, два реала и двенадцать мараведисов.

– Как бы не так! – вскричал Дон-Кихот. – Было бы удивительно, если бы Мелизендра в настоящую минуту не находилась вместе со своим супругом по меньшей мере на границе Франции, потому что, по-моему, лошадь, на которой они сидели, не бежала, а летела. Значит нечего выдавать мне кошку за зайца, показывая мне здесь какую-то кривую и безносую Мелизендру, тогда как настоящая теперь вместе с мужем наслаждается во Франции. Пусть Бог дает каждому свое, дядя Петр, и будем идти вперед твердым шагом и с добрыми намерениями. Можете продолжать.

Дядя Петр видя, что Дон-Кихот заговаривается и опять принимается за свое, не хотел выпустить его из рук и сказал: «В самом деле, это фигурка, должно быть, не Мелизендра, а одна из ее служанок. Поэтому я буду доволен, если мне дадут на нее хоть шестьдесят мараведисов.<sup>[183]</sup> Так он продолжал назначать за каждую из искалеченных фигурок цены, которые затем, к общему удовольствию сторон, сбавлялись третейскими судьями, и в общей сумме составили сорок и три четверти реалов. Санчо тотчас же выложил деньги, а дядя Петр потребовал еще два реала за труд по поимке обезьяны.

– Дай их ему, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – не за поимку обезьяны, а просто на выпивку. Я бы охотно дал даже двести реалов награды тому, кто

с уверенностью сказал бы мне, что прекрасная донна Мелизендра и господин Дон Ганферос благополучно доехали до Франции к своим родным.

– Никто не сумеет лучше моей обезьяны сказать вам об этом, – ответил дядя Петр. – Но какой черт ее теперь поймают? Впрочем, я полагаю, что ее привязанность ко мне и голод заставят ее вернуться ко мне ночью. Господь даст день, и мы увидимся.

Буря, наконец, прошла, и все отужинали в мире и добром согласии на счет Дон-Кихота, который был щедр до последней крайности. Человек с копьями и алебардами удалился до рассвета, а когда день наступил, кузен и паж явились проститься с Дон-Кихотом, один – чтобы возвратиться восвояси, другой – чтобы следовать далее по своему пути; последнему Дон-Кихот дал на дорожные издержки около дюжины реалов. Что касается дяди Петра, то он не хотел более ссориться с Дон-Кихотом, которого знал в совершенстве. Он поднялся до восхода солнца, собрал обломки своего театра, взял свою обезьяну и отправился искать новых приключений. Хозяин гостиницы, совсем не знавший Дон-Кихота, был не менее поражен его безумствами, нежели это щедростью. Санчо щедро заплатил ему, по приказанию своего господина, и оба они, простившись с хозяином около восьми часов утра, вышли из гостиницы и отправились в путь, на котором мы их и оставил, ибо это необходимо, для того, чтобы рассказать о других вещах, нужных для уразумения этой славной истории.

## **ГЛАВА XXVII**

**Где рассказано, кто такие были дядя Петр и его обезьяна, равно как и о неудаче Дон-Кихота в приключении с ослиным ревом, которое окончилось совсем не так, как он желал и как он думал**

Сид-Гамед Бен-Энгели, хроникер этой великой истории, начинает настоящую главу такими словами: «Клянусь как христианин-католик»... По этому поводу его переводчик говорит, что, клянясь как христианин-католик, будучи однако мавром (чем он и был в действительности), он хотел сказать только то, что как христианин-католик, когда клянется, то клянется, что скажет истину, и говорят ее в действительности, то и он так же обещает сказать ее, как клялся бы, если бы был христианином-католиком, по поводу того, что будет писать о Дон-Кихоте, а сперва относительно того, кто были дядя Петр и его обезьяна-прозорливца, приводящая всю страну в изумление своими отгадываниями. Итак он говорит, что кто читал первую часть этой истории, тот вспомнит о Хинесе де-Пассамонте, которому, между другими каторжниками, Дон-Кихот возвратил свободу, — благодеяние, дурно принятое и еще хуже оцененное этими людьми дурной наружности и дурных склонностей. Этот-то Хинес де-Пассамонт, которого Дон-Кихот называл Хинесилом де-Парапилья, и был похитителем осла Санчо Панса, а так как в первой части, по ошибке наборщиков, опущено было сообщение о том, когда и как это совершилось, то это причинило неприятность многим людям, приписавшим типографскую ошибку недостатку памяти у автора. Словом, Хинес украл осла тогда, когда Санчо спал на спине его; он воспользовался уловкой, которая послужила Брунело, когда, при осаде Альбраки, он украл лошадь у Сакраманта из-под его ног. После Санчо его накрыл, как уже было рассказано. Этот Хинес, боясь попасть в руки правосудия, которое разыскивало его, чтобы наказать за бесчисленные его мошенничества (он совершил их столько и таких интересных, что сам составил толстую книгу из рассказов о них), решил перейти в королевство Аррагонское, закрыв себе левый глаз и занявшись игрой в марионетки, которую он знал замечательно, так же как и фокусничеством. Случилось ему купить обезьяну у освобожденных

христиан, прибывших из Берберии, и он научил ее прыгать ему на плечо при известном сигнале и делать вид, что она шепчет ему что-то на ухо. Достигнув этого, он, пред появлением в какой-либо деревне, осведомлялся в окрестностях и у того, кто мог ему дать наилучшие сведения, об особенных событиях, случившихся в этой местности, и о лицах, с которыми это произошло. Хорошенько запечатлев их в своей памяти, он, прежде всего, составлял свой театр, где и разыгрывал то ту, то другую историю, но всегда забавную и известную. По окончании представления он предлагал проверить таланты его обезьяны, причем говорил публике, что она отгадывает прошедшее и настоящее, будущего же касаться не любит. За ответ на каждый вопрос он брал два реала, но некоторые он отдавал и по более дешевой цене, смотря по результату ощупывания вопрошателей. А иногда он входил даже в дома, где жили люди, историю которых он знал, и хотя его ни о чем не спрашивали, чтобы не иметь надобности платить, он давал знак обезьяне и говорил затем, что она ему раскрыла то-то и то-то, касавшееся приключений с присутствующими. Таким образом, он приобрел необычайное влияние, и все бегали за ним. Будучи очень умным, он иногда отвечал так, что ответы его удачно совпадали с истиной, а так как никто не настаивал на том, чтобы узнать, как прорицала обезьяна, то он и водил всех за нос и наполнял свою мошну. Войдя в гостиницу, он тотчас узнал Дон-Кихота и Санчо, а после того ему уже не трудно было повергнуть в удивление Дон-Кихота, Санчо Панса и всех, кто находился тут же. Но ему это дорого бы обошлось, если бы Дон-Кихот немного более опустил руку, когда отсек голову королю Марсилио и уничтожил всю его кавалерию, как было рассказано в предшествовавшей главе. Вот все, что можно было оказать о дяде Петре и его обезьяне.

Возвращаясь к Дон-Кихоту Ламанчскому, история гласит, что, по выходе из гостиницы, он решил посетить берега Эбро со всеми окрестностями, так как, прежде нежели отправиться в Сарагоссу, к назначенному состязанию у него было на все это достаточно времени. С этим намерением он направил свой путь и ехал целых два дня, не встретив ничего такого, что заслуживало бы быть записанным. Но на третий день, въезжая на холм, он услышал сильный шум барабанов, труб и пищалей. Он сперва подумал, не проходит ли стороною полк солдат и, чтобы увидеть их, прищпорил Россинанта и въехал на холм. Достигнув вершины, он увидел у подножия ската отряд, по меньше мере, во сто человек, вооруженных всякого рода оружием, арбалетами, бердышами, пиками, алебардами, несколькими пищальями и большим числом щитов. Он сошел по косоугору и настолько близко подошел к батальону, что ясно мог различить знамена,

видеть их цвета и читал на им девизы. Он обратил особенное внимание на один девиз, рисовавшийся на знамени или ротном знаке из белого атласа. На нем весьма натурально был изображен осел в миниатюре с поднятой головой, открытым ртом и высунутым языком, в позе осла, который ревет. Вокруг большими буквами было написано двестише:

«Не попусту ревут  
Алькадов двое тут».<sup>[184]</sup>

При виде этого знака, Дон-Кихот рассудил, что эти вооруженные люди должны принадлежать к деревне с ревом и высказал это и Санчо, объяснив ему то, что было написано на знамени. Он присовокупил, что человек, сообщивший ему эту историю, ошибся, когда сказал, что ревели два регидора, так как, судя по надписи на знамени, это были два алькада. «Господин, – отвечал Санчо, – этого не должно понимать так буквально, потому что возможно, что регидоры, репевшие тогда, стали современными алькадами в своей деревне,<sup>[185]</sup> и поэтому им можно давать два титула. Впрочем, для исторической истины не все ли равно, были ли ревунами алькады или регидоры, если только действительно они ревели. Алькад также годится для рева, как и регидор.<sup>[186]</sup>

В конце концов, они узнали и услышали, что жители осмеянной деревни отправлялись в поход против другой деревни, которая осмеивала их более, нежели требует справедливость и доброе соседство. Дон-Кихот подошел к ним, к большому неудовольствию Санчо, который никогда не питал слабости к подобным столкновениям. Батальон принял его в свою среду, полагая что это какой-либо из воинов их партия. Дон-Кихот, подняв с видом благородным и непринужденным свое забрало, подъехал к ослиному знамени, и главнейшие вожди армии окружили его и стали осматривать с тем изумлением, которое охватывало всякого, кто видел его в первый раз. Дон-Кихот, увидев, с каким вниманием они на него смотрят, ничего не говоря и ничего не спрашивая, пожелал воспользоваться молчанием и, прерывая собственное свое молчание и возвысив голос, воскликнул: «Храбрые господа, умоляю вас, насколько возможно настоятельнее, не прерывать рассуждения, с которым я к вам обращаюсь, пока оно вам не прискучит или не вызовет неудовольствия. Если это случится, при малейшем знаке с нашей стороны я наложу печать на свои уста и замок на свой язык». Все отвечали, что он может говорить, и что они от всего сердца будут его слушать. После этого разрешения Дон-Кихот заговорил

следующим образом: «Я, добрые мой господа, странствующий рыцарь. Мое ремесло – оружие, моя профессия – покровительствовать тем, кто нуждается в покровительстве, и помогать нуждающимся. Несколько дней тому назад я узнал о вашем несчастье и о причине, принуждающей вас всякую минуту браться за оружие, чтобы отомстить своим врагам. Я в своем уме не раз и не два обдумал ваше дело и нахожу, что, по законам поединков, вы очень ошибаетесь, считая себя обиженными. Действительно, ни один человек не может обидеть целую общину, если только он не признает ее всю виновною в измене, потому что он не знает в точности, кто совершил измену, в которой он обвиняет всю общину. Мы находим подобный пример у Диего Ордоньеса де-Лара, который обвинил весь город Замору, потому что не знал, что один только Веллидо Дольфос изменнически убил своего короля. Он и обвинил их всех, и всем им надлежало отвечать и мстить. В сущности, господин Диего немножко забылся и чересчур далеко перешел границы вызова, потому что к чему вызывать на бой мертвых, воду, хлеб, детей еще не родившихся и другие пустяки, рассказанные в его истории. Но когда гнев подымается и выходит из своего русла, язык не имеет берегов, которые его удержали бы, ни узды, которая бы его остановила.<sup>[187]</sup> «Если это так, если один человек не может оскорбить целое королевство, провинцию, республику, город, целую общину, ясно, что нечего выступать в поход для отмщения за обиду, которая не существует. Красиво было бы в самом деле, если бы Казальеро,<sup>[188]</sup> трактирщики,<sup>[189]</sup> китоловы<sup>[190]</sup> и мыловары,<sup>[191]</sup> на всяком шагу до смерти бились с теми, кто их так называет, или так поступали бы все те, которым дети дают названия и прозвища. Красиво было бы, если бы все эти славные города всегда находились в раздоре и вражде и пользовались мечами как орудием при малейшей ссоре? Нет, нет, Бог не захочет и не допустит этого! Есть только четыре вещи, за которые хорошо управляемые государства и благоразумные люди должны браться за оружие и обнажать меч, подвергая опасности свое имущество и самих себя. Первая из них защита католической веры, вторая – защита своей жизни, – право естественное и божественное; третья – защита своей чести, своей семьи и своего состояния; четвертая – служба королю в справедливой войне. А если мы захотим прибавить и пятую, которую можно поместить на втором месте, то еще защита своего отечества. К этим пяти основным пунктам можно бы прибавить еще несколько других, которые и справедливы и разумны и действительно могут заставить приняться за оружие. Но браться за него из-за ребячества, из-за того, что скорее может вызвать смет и послужить



предметом забавы, нежели кого-либо оскорбить, это значило бы, в самом деле, действовать безо всякого рассудка, притом несправедливая месть (а справедливую не можно быть ни одна из них) есть прямое преступление против святого закона, который мы исповедуем и который повелевает нам делать добро нашим врагам и любить ненавидящих нас. Это повеление кажется несколько трудным для исполнения, но оно трудно только для тех, кто менее принадлежит Богу, нежели этому миру, и в котором больше тела, нежели духа. Иисус Христос, Господь и истинный человек, никогда не лгавший и не могший лгать, сказал же, что иго его благо и бремя его легко. Он не мог, следовательно, предписать вам то, что невозможно выполнить. Итак, добрые мои господа, ваши милости обязаны, по законам божеским и человеческим, успокоиться и сложить оружие.

– Черт меня возьми, – сказал тут про себя Санчо, – если этот мой господин не богослов, а если он не богослов, так похож на него, как одно яйцо на другое.

Дон-Кихот остановился на мгновение, чтобы перевести дыхание, и, видя, что ему все еще оказывают молчаливое внимание, он хотел продолжать свою речь, и сделал бы это, если бы Санчо не разбил его намерения тонкостью своего ума. Видя, что господин его приостановился, он перебил его и сказал: «Мой господин Дон-Кихот Ламанчский, называвшийся одно время рыцарем Печального Образа, а теперь рыцарем львов, гидальго большого ума; он знает по-латыни и по-испански, как бакалавр. Во всем, о чем он говорит, во всем, что он советует, он поступает как хороший солдат: он знает до кончика ногтей все законы и предписания о том, что называется поединком. Поэтому ничего лучшего не остается, как последовать тому, что он скажет, и делайте со мной, что хотите, если вы в этом ошибетесь. Впрочем, ясно само собою, что великая глупость приходит в гнев при одном ослином реве. Честное слово, я вспоминаю, что когда был ребенком, я ревел всякий раз, как вздумается, и никто не находил в этом ничего предосудительного, а делал я это так хорошо, так естественно, что всякий раз, как я ревел, все ослы в окрестности принимались реветь со мной вместе. А я все-таки оставался сыном отца с матерью, которые были очень почтенными людьми. Этот талант вызывал зависть не в одном богаче из окрестностей, но я на это обращал столько же внимания, сколько на один обол. А чтобы вы увидали, что я говорю правду, внимайте и слушайте. Эта наука тоже, что плавание: раз научившись, никогда уж не забудешь».

И, зажав себе нос рукой, Санчо принялся реветь с такой силой, что звуки разнеслись по всем окрестным долинам. Но один из стоявших около него, вообразив, что он насмехается над ними, поднял большую дубину,

которую держал в руках, и так ею замахнулся на Санчо, что бедный ничего другого не мог сделать, как растянуться на земле во весь свой рост. Дон-Кихот, увидав Санчо в таком скверном положении, бросился с копьем вперед на того, кто его ударил» но между ними кинулось столько народу, что ему было невозможно совершить отмщение. Напротив, увидав, что на его плечи сыплется целый град камней и что ему грозит бесчисленное множество натянутых арбалетов и направленных пищалей, он повернул за узду своего Россинанта, и во весь опор, на который способна была лошадь, он спасался от своих врагов, в глубине сердца моля Бога о том, чтобы Он избавил его от этой опасности, и опасаясь на каждом шагу, чтобы какой-либо снаряд не попал ему в спину и не прошел в грудь. Каждое мгновение он переводил дыхание, чтобы убедиться, что дух не выходит из него; но батальон удовольствовался тем, что увидел его удирающим, и не сделал ни одного выстрела.

Что касается Санчо, то они посадили его на осла, прежде нежели он пришел в себя и предоставили ему догонять своего господина. Бедный оруженосец не в силах был править своим животным, но осел сам шел по следам Россинанта, от которого не мог отстать ни на шаг. Когда Дон-Кихот отъехал далее ружейного выстрела, он обернулся и, увидав, что Санчо едет никем не преследуемый, стал его поджидать. Люди батальона оставались в позиции до самой ночи, а так как неприятель их не вышел на бой, то они возвратились в свою деревню радостные и торжествующие. А если бы они знали о древнем обычае у греков, они соорудили бы трофей на месте предполагавшегося боя.

## ГЛАВА XXVIII

### О том, что рассказывает Бен-Энгели и что будет знать всякий, кто будет читать со вниманием

Если храбрец обращается в бегство, это означает, что засада его открыта и благоразумный человек считает нужным сохранить себя до лучшего случая. Эта истина нашла свое доказательство в Дон-Кихоте, который, предоставив свободу бешенству осмеянной деревни и злым намерениям яростной толпы, как говорится, наострил лыжи и, забыв о Санчо и о грозившей ему опасности, удалился на столько, на сколько ему казалось нужным для своей безопасности. Санчо, как было уже передано, следовал за ним, положенный поперек своего осла. Он, наконец, подъехал, совершенно пришедши в себя, а, подъехав, упал с осла к ногам Россинанта, едва дыша, исколоченный и разбитый. Дон-Кихот тотчас сошел с лошади, чтобы осмотреть его раны. Но увидав, что он невредим с головы до пят, сказал ему с гневным движением:

– Не в добрый час принялись вы реветь, Санчо. С чего вы взяли, что в доме повешенного хорошо говорить о веревке? Какой же мог быть аккомпанемент к музыке рева, как не удары дубиной? И благодарите еще Бога, Санчо, что вместо того, чтобы измерить вам бока палкой, они не сделали вам *per signum crucis*<sup>[192]</sup> острием палаша.

– Я не в таком настроении, чтобы отвечать, – возразил Санчо, – потому что мне кажется, что я говорю плечами. Сядем верхом и удалимся отсюда. Я теперь наложу молчание на свою охоту к реву, но не на охоту говорят, что странствующие рыцари обращаются в бегство, оставляя своих бедных, избитых как гипс, оруженосцев на произвол их врагов.

– Ретироваться, не значить бежать, – отвечал Дон-Кихот, – потому что нужно тебе знать, что храбрость, не основанная на осторожности, называется безрассудством, и подвиги безрассудного человека должны быть приписываемы удаче скорее, нежели мужеству. Итак, я признаюсь, что ретировался, но не признаю, что бежал. В этом я следовал примеру других храбрецов, которые сохранили себя для лучшего дела. Такими фактами полна история, но так как не будет вы пользы тебе, ни удовольствия мне напоминать тебе о них, то я пока и избавляю себя от этого.

Санчо удалось, наконец, взобраться на осла с помощью Дон-Кихота, который также сел на своего Россинанта. От времени до времени Санчо

издавал глубокие вздохи и болезненные стоны. Дон-Кихот спросил его и причине такой горькой скорби. Он отвечал, что от самого конца спины до самой верхней точки головы он испытывает такую боль, что едва не теряет чувств.

– Причина этой боли, – начал Дон-Кихот, – должна быть следующая: так как палка, которою тебя ударили, была значительной длины, то она захватила твою спину сверху донизу, где находятся все части, которые у тебя болят. Ударили бы тебя в другое место, ты также страдал бы в другом месте.

– Черт возьми, – воскликнул Санчо, – ваша милость избавили меня от большого затруднения и в хороших словах объяснили мне все дело. Смерть меня возьми! Уж будто причина моей боли так сокрыта, что нужно мне говорить, что я страдаю повсюду, где меняхватила палка. Если бы у меня была боль в сапожных гвоздях, можно было бы понять, что вы стараетесь узнать, почему они болят. Но угадать, что мне больно в том месте, куда меня ударили, для этого не требуется, большого усилия ума. Честное слово, синьор мой господин, – я хорошо вижу, что чужая беда не своя, и с каждым днем я убеждаюсь, что от общества вашей милости не многого могу для себя ждать. Если на этот раз вы позволили избить меня, в другой и во сто других раз мы дойдем опять до одеяла и до других детских игр, которые, сегодня остановились на плечах, а завтра дойдут до самых глаз. Я бы, конечно, лучше сделал, но я варвар, я дурак и никогда ничего хорошего не сделаю во всю мою жизнь. Я бы лучше сделал, говорю я, если бы возвратился домой к своей жене и детям кормить одну и воспитывать других с помощью того, что Богу угодно будет дать мне, вместо того, чтобы ехать за вашей милостью бездорожными дорогами и не существующими тропинками, плохо пивши, еще хуже евши. И спать то теперь можно ли? Измерьте, брат оруженосец, намерьте шесть футов земли, а если хотите больше, измерьте еще шесть, потому что вы можете кроить из целого куска; потом и растянитесь себе на здоровье. Ах! почему не был сожжен и обращен в пепел первый, ставший странствующим рыцарем или, по крайней мере, первый из тех, кто пожелал сделаться оруженосцем этих великих дураков, какими должны были быть все странствующие рыцари прошедших времен! О нынешних я не говорю ничего; так как ваша милость из их числа, то я оказываю им уважение, – и так как я знаю, что ваша милость можете дать несколько очков вперед дьяволу во всем, что вы говорите, и во всем, что думаете.

– Я с вами буду держать пари, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – что теперь, когда вы говорите в свое удовольствие и никто вас не останавливает, вы

уже вы чувствуете боли во всем своем теле. Говорите, сын мой, говорите все, что вам придет на мысль и на язык. Чтобы только вы не чувствовали больше никакой боли, я приму за удовольствие ту досаду, которую причиняют мне ваши дерзости, а если вы так желаете возвратиться домой, чтобы увидеть снова свою жену и детей, сохрани меня Бог помешать вам в этом. У вас есть мои деньги. Считите, сколько времени прошло с третьего вашего выезда из нашей деревни; считите затем, сколько вы можете и должны зарабатывать в месяц, и заплатите себе собственными своими руками.

– Когда я был в услужении у Томе Карраско, который был отцом бакалавра Самсона Карраско, как вашей милости хорошо известно, то я получал по два дуката в месяц кроме харчей. У вашей милости я не знаю, сколько я могу получать, но я знаю, что гораздо труднее быть оруженосцем странствующего рыцаря, нежели служить земледельцу, потому что мы, работающие у земли, знаем, что какова-бы ни была дневная работа и как бы плохо нам ни приходилось, но, когда ночь наступает, мы ужинаем из общего котла и ложимся спать в постель, чего я не делал с сих пор, как служу у вашей милости, если не считать короткого времени, которое мы провели у Дон Диего де Миранда, вкусных блюд, которые я получил из котлов Камачо, и того, что я пил, ел и спал у Базилио. Во все остальное время я спал на жесткой земле, под открытым небом, подвергаясь тому, что вы называете немилостью неба, питаюсь остатками сыра и корками хлеба и пия только воду то из источников, то из колосков, которые мы встречаем в пустынях, где блуждаем.

– Хорошо, – возразил Дон-Кихот, – я предположу, Санчо, что все, что вы говорите, правда; но сколько же, по-вашему, больше должен я вам дать против того, что давал вам Томе Карраско?

– По моему, – отвечал Санчо, – если ваша милость прибавите только по два реала в месяц, я буду считать, что хорошо вознагражден. Это касается моего труда, но что касается обещания вашей милости дать мне управление островом, то справедливо было бы прибавить к этому еще шесть реалов, что составят всего на всего тридцать реалов.

– Очень хорошо, – продолжал Дон-Кихот. – Прошло двадцать пять дней с того времени, как мы выехали из нашей деревни. Считите, Санчо, сколько вам приходится по расчету того вознаграждения, которое вы сами себе назначили. Узнайте, сколько я вам должен, и заплатите себе, как я уже сказал, собственными руками.

– Пресвятая дева! – воскликнул Санчо, как ваша милость ошибаетесь в сделанном расчете. За обещание острова надо считать со дня, когда ваша

милость дали обещание, и до настоящего часа.

– Хорошо, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – а давно ли я обещал вам этот остров?

– Если не ошибаюсь, так этому должно быть двадцать лет, может быть дня на три больше или меньше.

При этих словах Дон-Кихот ударил себя ладонью по лбу и разразился смехом: «Побойся Бога, – сказал он, – за все время, проведенное мною в Сиерра Морене и во всех моих путешествиях, не прошло и двух месяцев, а ты говоришь, что я обещал тебе этот остров двадцать лет назад. Я вижу, что ты хочешь, чтобы все мои деньги, находящиеся у тебя, пошли тебе в вознаграждение. Если таково твое желание, то я тебе сейчас же готов их отдать; бери их, и да доставят они тебе великое благо, потому что, чтобы избавиться от такого дурного оруженосца, я ото всего сердца готов остаться бедным и без единого обولا. И скажи мне, предатель устава, предписанного оруженосцам странствующего рыцарства, где ты видел или читал, чтобы оруженосец странствующего рыцаря принялся считаться со своим господином и говорил ему: «Мне следует столько то в месяц за то, что я вам служу?» Войди, проникни, о предатель, бандит и вампир, – потому что ты похож на все это, – погрузись, говорю я, в mare magnum рыцарских историй, и если ты найдешь, что какой-либо оруженосец когда-либо говорил или думал так, как ты сейчас говорил, я согласен, чтобы ты вбил мне гвоздь в лоб и, кроме того, чтобы ты дал мне четыре удара в лицо наотмашь. Ступай, поверни за узду или за недоуздок своего осла и возвратись домой, потому что ты более ни одного шага не проедешь со мной. О, дурно оплаченный хлеб! О, обещания, обращенные в дурную сторону! О, человек, более привязанный к животному, нежели к человеку! И теперь, когда я хотел дать тебе положение, в котором, назло твоей жене, тебя называли бы синьором, теперь ты меня оставляешь? Теперь ты уходишь, когда я твердо решился сделать тебя господином лучшего острова в мире? Но, как ты много раз говорил, мед создан не для ослиного рта. Осел ты есть, ослом будешь и ослом умрешь, когда кончится твоя жизнь, потому что, на мой взгляд, она достигнет последнего своего предела прежде, нежели ты осмотришься, что ты не более как скотина!»

Санчо пристально смотрел на Дон-Кихота в то время, как тот обращался к нему с этими горькими упреками. Он чувствовал себя охваченным таким сожалением, такими угрызениями совести, что слезы выступили у него на глазах.

– Добрый господин мой, – сказал он голосом печальным и прерывающимся, – я признаюсь, что мне недостает только хвоста, чтобы

быть совершеннейшим ослом. Если ваша милость захотите мне его прицепить, я буду считать, что тут ему и место, и я буду служить вам ослом, вьючной скотиной во все дни моей остальной жизни. Ваша милость, простите меня и пожалейте мою молодость. Обратите внимание на то, что я ничему не учился, и если я много говорю, то не из лукавства, а из невежества. Но повинную голову и меч не сечет.

– Я был бы очень удивлен, Санчо, сказал Дон-Кихот, – если бы ты не примешал к своей речи какой либо поговорки. Ну, я тебе прощаю, если ты только исправишься и не будешь впредь так следить за собственными интересами. Вооружись, напротив, мужеством, ободрись и терпеливо дожидайся исполнения моих обещаний, которое может замедляться, но которое не невозможно.

Санчо отвечал, что будет слушаться, хотя бы в ущерб своим интересам. После этого они въехали в лес, и Дон-Кихот расположился у подножия одного вяза, а Санчо у подножия бука, потому что у этих деревьев и других подобных всегда есть ноги и никогда нет рук. Санчо провел мучительную ночь, потому что удар дубиной сильнее давал себя звать от вечерней росы. Дон-Кихот провел ее в своих постоянных воспоминаниях. Тем не менее, они оба предались сну, и на другой день на рассвете продолжали свой путь, в берегам достославной реки Эбро, где с ними случилось то, что будет рассказано в следующей главе.

## ГЛАВА XXIX

### О необыкновенном приключении с очарованной лодкой

Шаг за шагом, чрез два дня после выхода из лесу, Дон-Кихот и Санчо достигли побережья Эбро. Вид этой реки доставил большое удовольствие Дон-Кихоту. Он созерцал, он любовался красотой ее берегов, чистотой ее вод, спокойствием ее течения, обилием ее хрустальной влаги, и этот очаровательный вид пробудил в его памяти тысячи любовных мыслей. Прежде всего, он вспомнил то, что видел в пещере Монтезиноса: потому что хотя обезьяна Петра и сказала ему, что факты были там наполовину истинны, на половину ложны, но он более уверен был в их истинности, нежели ложности, в противоположность Санчо, который признал их сплошь ложными.

Подвигаясь таким образом, он внезапно заметил небольшую лодку без весел и снастей, привязанную у берега к древесному стволу.<sup>[193]</sup> Дон-Кихот посмотрел во все стороны и не увидал ни одной живой души. Недолго думая, он соскочил с Россананта, потом отдал приказ Санчо сойти с осла и хорошенько привязать обоих животных вместе к подножию тополя или ивы, находившейся тут же. Санчо спросил у него, что за причина такого внезапного движения и почему надлежало привязать животных.

– Узнай, о Санчо! – ответил Дон-Кихот, – что эта лодка прямо бесспорно зовет меня и приглашает войти в нее, чтобы этим путем прийти на помощь какому-то рыцарю или другой знатной особе, которая находится в большом затруднении. Таков, действительно, обычай в рыцарских книгах и у чародеев, являющихся и беседующих в этих историях, как только рыцарь подвергается какой-либо опасности, от которой может его освободить лишь рука другого рыцаря, хотя бы они находились друг от друга в двух или трех тысячах миль или даже больше, чародея берут предполагаемого спасителя, увлекают его в облака или посылают ему лодку, чтобы он в нее сел, и во мгновение ока они переносят его по воздуху или по морю куда хотят или где нуждаются в его помощи. Без сомнения, о Санчо, эта лодка поставлена здесь с такою же целью; это так же верно, как то, что теперь день, и прежде, нежели ночь наступила, привяжи Россинанта и осла, а там – с Божьей помощью, потому что я сяду в лодку, хотя бы босоногие монахи просили меня не делать этого.



– Так как дело обстоит таким образом, – отвечал Санчо, – и так как ваша милость во что бы то мы стало хотите сделать то, что я должен был бы назвать безумием, то мне остается только повиноваться и опустить голову, согласно изречению: «Делай, что велит тебе твой господин, и садись за стол около него». Во всяком случае, я для очистки своей совести я все-таки скажу вашей милости, что мне кажется, что лодка эта принадлежит не чародеям, а какому-нибудь рыбаку с этого берега, где ловятся лучшие во всем свете железницы».

Санчо говорил это, привязывая животных и оставляя их на произвол чародеев к большому своему душевному прискорбию. Дон-Кихот сказал ему: «Не огорчайся судьбой этих животных. Тот, кто отправит нас на дальнюю дистанцию, позаботятся и об их пропитании».

– Я не понимаю слова дистанция, – сказал Санчо, – я в жизнь свою не слышал его.

– Дистанция, – отвечал Дон-Кихот, – значит расстояние. Я не удивляюсь, что ты этого слова не знаешь, потому что ты не обязан знать полатыни, как знают будто бы другие, в сущности, тоже не знающие этот язык.

– Вот животные и привязаны, – сказал Санчо. – Что теперь делать?

– Что теперь делать? Осенить себя крестом и сняться с якоря; я хочу сказать, сесть в лодку и отрезать канат, которым лодка привязана.

Он тотчас вскочил в нее, сопровождаемый Санчо, отрезал веревку, и лодка мало-помалу стала отдаляться от берега. Увидав себя окруженным водою, Санчо задрожал, считая себя погибшим, но ничто не причиняло ему такого огорчения, как рев осла и старания Россинанта освободиться от привязи. Он сказал своему господину: «Осел стонет, тронутый нашим отсутствием, а Россинант хочет возвратить себе свободу, чтобы последовать за нами. О, возлюбленные друзья, оставайтесь в мире, и да возвратит нас к вам, успокоившись, то безумие, которое удаляет нас теперь от вас». Высказав это, он принялся плакать так горько, что Дон-Кихот нетерпеливо сказал ему:

– Чего ты боишься, трусливое создание? Чего ты плачешь, сердце из сладкого теста? Кто тебя преследует, кто тебя гонит, мужество казарменной крысы? Что недостает тебе, нуждающийся среди изобилия? Уж не приходится ли тебе проходить босиком по Скалистым горам? Разве не сидишь ты на доске, как великий герцог, следуя по спокойному течению этой очаровательной реки, из которой мы вступим в безбрежное море? Но мы уже должны быть в нем, проехали мы уже семьсот или восемьсот миль. Ах! Если бы у меня была здесь астрольбия для определения высоты

полюса, я бы тебе сказал, сколько миль мы проехали. Но в сущности, если я не ошибаюсь, мы уже прошли или сейчас пройдем равноденственную линию, отделяющую и отрезающую на две равные половины расстояние между обоими противоположными полюсами.

– А когда мы дойдем до этой линии, о которой ваша милость говорите, – спросил Санчо, – какое расстояние мы проедем?

– Большое, – отвечал Дон-Кихот, – потому что из трехсот шестидесяти градусов, на которые, по исчислению Птолемея, величайшего из известных космографов, делятся земной и водяной шар, мы проедем ровно половину, если дойдем до линии, о которой я говорю. Ты должен знать, Санчо, что испанцы и все едущие из Кадикса в восточную Индию одним из признаков, указывающих на то, что они прошли равноденственную линию, считают то обстоятельство, что вши умирают на всех людях, находящихся на судне, и что ни одной из них нельзя найти на корабле ни на вес золота. Поэтому, Санчо, проведи рукой по одной из своих ляжек: если ты встретишь какое-либо живое существо, мы освободимся от вашего сомнения; если же нет, мы стало быть прошли линию.

– Я не верю во все это, – отвечал Санчо, – но все-таки сделаю, что ваша милость приказываете, хотя я не понимаю необходимости этих опытов, потому что вижу собственными глазами, что мы не прошли и пяти сажений по реке и даже и на две сажени не отъехали ниже этих бедных животных. Вон и Россинант и осел находятся там же, где мы их оставили, а если мое измерение верно, то мы подвигаемся не быстрее муравья.

– Сделай, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – сделай ту проверку, о которой я говорю, и не смущайся ничем другим. Ты не имеешь понятия о том, что такое колурия, меридианы, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, градусы и все измерения, из которых составляется сфера небесная и сфера земная. Если бы ты знал все это или часть этого, ты бы ясно увидал, сколько параллелей мы пересекли, сколько знаков зодиака мы пробежали, сколько созвездий мы оставили позади себя. Но, я повторяю, пощупай себя, поищи повсюду, потому что я думаю, что ты теперь чище и опрятнее листа белой бумаги.

Санчо ощупал себя, осторожно просунул руку в складки на левой коленке, затем поднял голову, посмотрел на своего господина и сказал:

– Или опыт этот неверен или мы еще не доехали до места, о котором говорит ваша милость, ни даже на много миль оттуда.

– Как? – спросил Дон-Кихот, – неужели ты нашел одну?

– И даже много, – отвечал Санчо, – потом потряс своими пальцами и вымыл всю руку в реке, по которой спокойно скользила лодка в самой

середине течения, не руководимая никаким тайным духом, никаким невидимым чародеем, а всего только течением, которое было в это время тихо и спокойно. Тут они заметили большую мельницу, поставленную посреди реки, и Дон-Кихот, едва лишь увидавши ее, вскричал громким голосом:

– Смотри, друг Санчо, вот как совершается открытие города, замка или крепости, где должен находиться какой-либо угнетенный рыцарь, какая-либо похищенная королева, инфанта или принцесса, на помощь которых я сюда приведен.

– Какого черта город, крепость или замок, говорите вы, господин? – отвечал Санчо. – Разве вы не видите, что это водяная мельница, построенная на реке, мельница для размола хлеба?

– Молчи, Санчо, – воскликнул Дон-Кихот. – Хотя это имеет вид мельницы, но это не то. Разве я не говорил тебе уже, что волшебники искажают внешность вещей и заставляют их выходить из естественного своего состояния? Я не хочу этим сказать, чтобы они действительно превращали одно существо в другое, но что они заставляют их казаться чем-либо другим, как доказывает опыт с превращением Дульцинеи, единственного прибежища моих надежд.

Пока они так говорили, лодка, достигнув середины течения реки, стала подвигаться с меньшей медленностью, нежели раньше. Мельники, увидевшие приближение этой лодки, подвергавшейся опасности быть втянутой под мельничные колеса, выбежали в большом числе с шестами, чтобы остановить ее, а так как и лица и одежда их покрыты были мукой, то они могли легко сойти за привидения. Они кричали изо всех своих сил:

– Черти, куда вылезете? В своем ли вы уме? Уж не хотите ли вы потонуть и быть изорванными в куски этими колесами?

– Не говорил ли я тебе, Санчо, – воскликнул Дон-Кихот, – что мы прибыли туда, где я должен показать, до какой степени может доходить моя храбрость? посмотри, сколько изменников и разбойников выходят меня встречать, сколько чудовищ приближается ко мне; сколько привидений выходят, чтобы напугать нас своим отвратительным видом. Ну, вы меня узнаете, отменные злодеи.

Он поднялся в лодке на ноги и принялся изо всей силы своих легких угрожать мельникам. «Сволочь низкорожденная и еще ниже образованная, – кричал он им, – возвратите свободу и волю лицу, которое вы держите в плену в вашей крепости, все равно высокого или низкого оно происхождения, все равно, какого оно звания. Я Дон-Кихот Ламанчский, называемый рыцарем Львов. Мне, по высшему повелению небес, суждено

положить конец этому приключению». С последним словом он взял в руки меч и принялся размахивать им в воздухе против мельников, которые, услышав, но, не поняв странной его речи, протянули свои шесты еще дальше, чтобы удержать лодку, подплывавшую к шлюзному желобу.

Санчо стал на колени, набожно молясь небесам, чтобы они избавили его от столь видимой опасности, что и было достигнуто ловкостью и проворством мельников, остановивших лодку, уперши в нее свои шесты. Но им, однако, не удалось сделать так, чтобы лодка не опрокинулась, и Дон-Кихот с Санчо не упали в воду среди реки. Хорошо еще, что Дон-Кихот умел плавать как утка, хотя тяжесть вооружения и заставила его два раза опускаться на дно; но если бы мельники не бросились в воду, чтобы вытащить обоих, кого за голову, кого за ноги, был бы им тут конец. Когда их доставили на сушу, более мокрыми, нежели умирающими от жажды, Санчо кинулся на оба колена и, сложив руки и подняв глаза к небу, стал просить Бога в длинной и набожной молитве об избавлении его впредь от безрассудств и предприятий его господина.

В это время прибыли рыбаки, владельцы лодки, которую мельничные колеса разбили в дребезги. Увидав ее изломанной, они кинулись на Санчо, чтобы раздеть его, и потребовали, чтобы Дон-Кихот вознаградил их за убытки. С великим хладнокровием и словно с ним ничего не случилось, Дон-Кихот отвечал мельникам и рыбакам, что заплатит весьма охотно при условии, однако, чтобы они возвратили полную свободу особе или особам, которые стесняются в этом замке.

— О каких особах и о каком замке говоришь ты, безмозглый? — спросил один из мельников. — Уж не хочешь ли ты увести людей, которые размалывают хлеб на этой мельнице?

— Довольно, — сказал про себя Дон-Кихот. — Стараться принудить эту сволочь к добродетели просьбами — значит проповедовать в пустыне.

В этом деле кроме того должно быть столкнулись два могущественных волшебника, один из которых мешает тому, что другой затевает. Один из них послал мне лодку, другой заставил меня нырнуть в воду. Да вмешается в это дело Господь, потому что свет состоит только из махинаций, одна другой противостоящих я больше ничего не могу сделать. Потом, возвысив голос и смотря на мельницу, он продолжал так: Друзья, кто бы вы ни были, заключенные в этой темнице! Простите меня! Мое и ваше несчастье не допускают, чтобы я извлек вас из этого томительного положения. Без сомнения, другому рыцарю суждено совершить этот подвиг.

После этого он вступил в переговоры с рыбаками и заплатил им за лодку пятьдесят реалов, которые Санчо и выдал весьма неохотно.

— Еще два подобных прыжка, как нынешний, — сказал он, — и мы выбросим в воду все свое состояние.

Рыбаки и мельники, полные удивления, смотрели на эти две фигуры, столь необычные. Они не могли понять, что означали вопросы Дон-Кихота и речи, с которыми он к ним обращался. Сочтя их обоих сумасшедшими, они их отпустили и сами удалялись, одни на мельницу, другие в свои хижины. А Дон-Кихот с Санчо возвратились к своим животным и остались такими же глупцами, как и были, и... вот конец приключения с очарованной лодкой.

## ГЛАВА XXX

### Что произошло у Дон-Кихота с прекрасной охотницей

Рыцарь и оруженосец подошли со своим животным печальные, с опущенными носами и в дурном настроении духа, особенно Санчо, для которого отдавать деньги было все равно, что отдавать свою душу, потому что ему казалось, что, вынимая их из кошелька, он вынимает зеницу своего ока. Не сказав друг другу вы слова, они сели оба верхом и удалились от пресловутой реки, Дон-Кихот погруженный в мысли о своей любви, а Санчо – в мысли о приобретении состояния, которое казалось ему более отдаленным, нежели прежде. Поэтому он искал случая, не вступая в расчеты и не прощаясь со своим господином, в один прекрасный день удрать и возвратиться домой. Но судьба устроила дело совсем обратно тому, чего он опасался.

Случилось так, что на другой день, при заходе солнца и при выезде из леса, Дон-Кихот бросил взор на зеленый луг. На противоположном конце которого он увидал людей и, подъехав к ним совсем близко, он узнал, что это компания охотников высокого полета.<sup>[194]</sup> Он подвинулся еще ближе и увидал в их числе изящную даму, верхом на дамской лошади или иноходце совершеннейшей белизны, в зеленой сбруе и под седлом, оправленным в серебро. Дама сама также была одета в зеленое с таким вкусом и с такою роскошью, что казалась воплощенным изяществом. В левой руке она держала сокола, что показало Дон-Кихоту, что она знатная дама и что она должна быть госпожой всех этих охотников, что и было в действительности. Поэтому он сказал Санчо: «Побеги, сын мой Санчо, побеги и скажи этой даме с иноходцем и соколом, что я, рыцарь Львов, лобызая руки ее великой красоты, и если ее светлость позволит, то я явлюсь лично для лобызаний и для служения ей во всем, что позволят совершить мои силы, во всем, что светлость ее мне предпишет. И будь осторожен, Санчо, в том, что будешь говорить: не вздумай вшить в свое посольство, по-своему обыкновению, какой-либо поговорки».

– Нашли вы шваля! – отвечал Санчо. – И к чему этот совет? Словно я первый раз в жизни отправляюсь с посольствами к высоким и могущественным дамам?

– Кроме посольства в донье Дульцинее Тобозской, – отвечал Дон-

Кихот, – я не знаю никаких других, с которыми ты отправлялся, по крайней мере, с тех пор, как ты находишься у меня на службе.

– Это так, – отвечал Санчо, – но наш пострел везде поспел, и было бы корыто, а черти найдутся. Потому что я знаю всего понемногу и немного годен на все.

– Я это знаю, Санчо, – сказал Дон-Кихот. – Отправляйся же в добрый час, и Господь с тобою».

Санчо понесся как стрела, погнав осла в галоп, и тотчас подъехал к прекрасной охотнице. Он сошел со своего седла, стад пред нею на оба колена и сказал ей:

– Прекрасная и благородная дама, этот рыцарь, который там виднеется и которого зовут рыцарем львов, есть мой господин, а я его оруженосец, и зовут меня дома Санчо Панса. Названный рыцарь львов, которого еще недавно называли рыцарем Печального Образа, посылает меня спросить у вашего величия, не соблагovolите ли и не разрешите ли ему для вашего удовольствия и с доброго вашего согласия явиться и привести в действие его желание, которое в том только и состоит, как он сам говорит и как я думаю, чтобы послужить вашему высокому соколинству и вашей несравненной красоте. Дав ему это позволение, ваша барская милость совершите дело, которое обратится вам на пользу, а господину моему доставит большую милость и большое удовлетворение.

– Подлинно, добрый оруженосец, – отвечала дама, – вы выполнили свое посольство со всеми формальностями, которых подобные поручения требуют. Подымитесь с земли, потому что несправедливо, чтобы оруженосец столь великого рыцаря, как рыцарь Печального Образа, о котором мы много слышали, оставался на коленях. Подымитесь, друг, и скажите вашему господину, что ему будут очень рады и что мы, мой супруг, герцог, и я, предлагаем к его услугам наш увеселительный замок, который находится здесь по близости.

Санчо поднялся не менее пораженный очаровательностью прекрасной дамы, нежели ее чрезвычайной обходительностью, а, главным образом, тем, что она сказала, что знает о его господине, рыцаре Печального Образа, которого она же назвала рыцарем Львов без сомнения потому, что он совсем недавно назвал себя так.

– Скажите мне, брат оруженосец, – спросила его герцогиня (которой титул только и был известен и которой имя так и останется скрытым, <sup>[195]</sup> скажите мне, не об этом ли рыцаре – вашем господине и распространена печатная книга? Не он ли называется хитроумным гидальго Дон-Кихотом Ламанчским, и дама его сердца – не известная ли Дульцинея Тобозская?

– Он самый, сударыня, – отвечал Санчо, – и этот его оруженосец, который играет роль или должен играть роль в этой его истории и которого зовут Санчо Панса, это я, к вашим услугам, если меня не обменяли в колыбели, то есть, я хочу сказать, если меня не обменяли в типографии.

– Все это меня очень радует, – сказала герцогиня. – Ступайте, брат Панса, скажите вашему господину, что он будет желанным гостем в моих владениях, и ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, нежели его присутствие.

С таким приятным ответом Санчо возвратился полный радости к своему господину и передал ему все, что сказала важная дама, которой он превозносил до небес, со своими мужицкими выражениями, и удивительную красоту, и грацию, и обходительность. Дон-Кихот весело вспрыгнул в седло, хорошенько продел ноги в стремяна, поправил свое забрало, пришпорил Россинанта и, приняв непринужденный вид, отправился лобызать руки герцогине, которая послала за герцогом, своим супругом, и, пока Дон-Кихот подъезжал к ним, рассказала ему о принятом ею посольстве. Оба они читали первую часть этого повествования и знакомы были со странным нравом Дон-Кихота. Поэтому они ожидали с крайним нетерпением знакомства с ним с намерением исполнять все его прихоти, соглашаться с ним во всем, что он скажет, наконец, поступать с ним, как со странствующим рыцарем во все время, которое он у них пробудет, выполняя все церемонии, употребительные в рыцарских книгах, которых они прочли множество, так как были до них большими охотниками.

В эту минуту появился Дон-Кихот с поднятым забралом, и так как он сделал вид, что намерен сойти с лошади, то Санчо бросился помогать ему. Но он был так несчастен, что, сходя с осла, так запутался в веревке седла, что не мог никак выпутаться из нее и повис, ртом и грудью касаясь земли. Дон-Кихот, не привыкший сходить с лошади без того чтобы ему не поддерживали стремя, и воображая, что Санчо находится уже подле него, бросился вниз всею тяжестью своего тела и увлек за собою седло Россинанта, которое, без сомнения, было плохо подтянуто, так что и седло и он вместе упали на землю, не без большого конфуза для него и при тысяче проклятий, которые он сквозь зубы посылал по адресу Санчо, все еще остававшегося с ногой в западне. Герцог послал своих охотников на помощь к рыцарю и его оруженосцу. Они подняли Дон-Кихота, который, весь разбитый падением, прихрамывая кое-как добрался, чтобы преклонить колени пред их светлостями, но герцог не допустил этого. Он сам сошел с лошади и обнял Дон-Кихота.



– Сожалею, господин рыцарь Печального Образа, – сказал он, – что первое посещение вашею милостью моих владений было сопряжено с такой для вас неприятностью, как сейчас, но нерешительность оруженосцев бывает часто причиною и худших происшествий.

– То, что доставляет мне честь видеть вас, о доблестный принц, – отвечал Дон-Кихот, – не может ни в каком случае быть неприятно, если бы даже мое падение окончилось в глубине бездн, ибо блаженство, вызванное тем, что я вас видел, достаточно было бы для того, чтобы вывести меня оттуда. Мой оруженосец, да проклят он будет Богом, лучше умеет развязывать свой язык, нежели связывать и подтягивать седло, чтобы оно хорошо держалось. Но в каком бы положении я ни был, распростертый или поднятый, стоя на ногах или верхом на лошади, я всегда буду к услугам вашим и достойной подруги вашей, достойной царицы красоты и всемирной государыни учтивости.

– Осторожнее, осторожнее, милостивейший государь Дон-Кихот, – сказал герцог: – там, где господствует госпожа донья Дульцинея Тобозская, несправедливо хвалить очаровательность других.

В это время Санчо освободился из силков и, подошедши к Дон-Кихоту, заговорил прежде, нежели его господин успел ответить: «Нельзя отрицать, – сказал он, – госпожа Дульцинея Тобозская необычайно прекрасна, и я готов принести в этом присягу, но всем сестрам по серьгам, и я слышал, что то, что называют природой, все равно, что горшечник, делающий горшки из глины. Кто делает один красивый горшок, может сделать их и два, и три, и сотню. Если я это говорю, то потому что, честное слово, госпоже герцогине не в чем позавидовать нашей госпоже Дульцинее Тобозской». Дон-Кихот, обращаясь к герцогине, сказал затем:

– Ваше величие должно знать, что никогда в мире ни у одного странствующего рыцаря не было более болтливое и более шутливое оруженосца, нежели мой, и он докажет, что я говорю правду, если ваше высокопревосходительство соблаговолите удержать меня в вашем распоряжении несколько дней.

Герцогиня отвечала: – Если добрый Санчо любит шутить, я его уважаю еще более, потому что это доказывает, что он умен. Остроты, неожиданные выходки, тонкие шутки, как ваша милость сами отлично знаете, синьор Дон-Кихот, не составляют удела умов тяжелых и грубых, а так как добрый Санчо хохотун и шутник, то я его впредь буду считать человеком умным.

– И болтуном, – присовокупил Дон-Кихот.

– Тем лучше, – заговорил герцог, – потому что многих острот нельзя

высказать в немногих словах. – Но чтобы самим нам не терять времени в разговорах, отправимся, и пусть великий рыцарь Печального Образа...

– Рыцарь львов, следует говорить вашей милости, – перебил Санчо, – потому что печального образа более нет. Знамя теперь львиное.

– Я говорю, – продолжал герцог, – пусть рыцарь Львов сопровождает нас в один из моих замков, который находится поблизости. Он встретит там прием, подобающий столь высокой особе и в котором герцогиня и я никогда не откажем ни одному из странствующих рыцарей, туда являющихся».

Санчо между тем поднял и надел седло на Россинанта. Дон-Кихот снова сел на своего бегуна, а герцог на великолепную лошадь, и, заняв места на обе стороны герцогини, они направились к замку. Герцогиня подозвала Санчо и велела ему ехать с собою рядом, потому что ее очень занимали его шутовские выходки. Санчо не заставил себя просить и, вмешавшись в среду троих важных пар, принял участие в беседе к большому удовольствию герцогини и ее, мужа, на долю которых выпало совершенно неожиданно счастье приютить в своем замке подобного странствующего рыцаря и подобного говорливого оруженосца.

## ГЛАВА XXXI

### Которая трактует о множестве важных вещей

Санчо был мне себя от радости, что стал с герцогиней на такую приятельскую ногу, представляя себе, что в ее замке найдет то, что нашел уже раз у Дона Диго и у Базилио. При своей всегдашней слабости к сладостям хорошей жизни, он каждый раз пользовался, когда представлялся удобный случай для кутежа. История повествует, что, прежде нежели они прибыли к замку, или увеселительному домику, герцог проехал вперед и отдал приказ всем своим слугам, как обращаться с Дон-Кихотом. Только что он с герцогиней показался у ворот замка, как из них появились два лакея или два конюха, которые, одетые до самых пят в какие-то халаты из малинового атласа, подхватили Дон-Кихота на руки, сняли его с седла и сказали ему: «Соблаговолите теперь, ваше величие, снять с коня госпожу герцогиню». Дон-Кихот повиновался; но, несмотря на бесконечные комплименты и церемонии, несмотря на бесконечные просьбы и отказы, герцогиня упорно осталась при своем. Она решила сойти только при помощи герцога, сказав, что не считает себя достойною утруждать столь великого рыцаря таким бесполезным бременем. Наконец, герцог помог ей стать на землю, и, когда они все вошли в обширный парадный двор, две красивые девушки приблизились и накинули на плечи Дон-Кихота длинную мантию нежно малинового цвета. Тотчас все галереи двора покрылись домашней прислугой, которая восклицала громко: «Добро пожаловать цвету и сливкам странствующего рыцарства!», – и наперерыв обливала из флаконов духами Дон-Кихота и его знатных хозяев. Все это восхитило Дон-Кихота, и это был первый в его жизни день, когда он счел и признал себя странствующим рыцарем истинным, а не фантастическим, видя, что обращаются с ним, так, как, судя по книгам, обращались с странствующими рыцарями в прошедшие века.

Санчо, оставив своего осла, прилип к подолу герцогини и с всю вместе вошел во дворец. Но тотчас, почувствовав угрызения совести, что оставил осла совсем одного, он приблизился к одной почтенной дуэньи, вышедшей вместе с другими встретить герцогиню, и сказал ей тихо: «Госпожа Гонзалес, или как еще называется ваша милость...».

– Меня зовут донья Родригес ли Грихальва,<sup>[196]</sup> – отвечала дуэнья: – что вам угодно, брат?

– Я хотел бы, – отвечал Санчо, – чтобы ваша милость вышли на

крыльцо дворца, где вы увидите осла, который принадлежит мне. Тогда ваша милость будете так добры и велите отвести или сами отведете его в конюшню, потому что этот бедный малый немножко робок, и если увидит себя одиноким, он не будет знать, что с собой делать.

– Если господин так же учтив, как и слуга, – отвечала дуэнья, – то хорошую находку сделали мы, нечего сказать. Ступайте, брат, в недобрый час для вас и для того, кто вас поведет, и займитесь своим ослом, а мы, дуэньи этого дома, служим не для таких обязанностей.

– А я, – отвечал Санчо, – правда, слышал от своего господина, который хорошо знает историю, когда он рассказывал о Ланселоте, прибывшем из Бретани, что дамы ухаживали за ним, а дуэньи за его конем,<sup>[197]</sup> а что касается моего осла, то я право не променяю его на коня господина Ланселота.

– Брат, – возразила дуэнья, – если вы шут по профессии, то сберегите свои остроты до другого случая. Подождите, пока их признают за остроты и заплатит за них, потому что от меня вы не получите ничего кроме фиги.

– Она по крайней мере будет очень спела, – ответил Санчо, – если только по годам она подойдет к вашей милости.

– Сын потаскухи! – воскликнула дуэнья, вспыхнув гневом, – стара и или нет, в этом я отдам отчет Богу, а не вам, олух, мужик, чесночник!

Сказано было это так громко, что герцогиня услышала; она повернула голову и, увидав дуэнью в сильном волнении, с глазами красными от бешенства, спросила ее, на кого она сердится. «Я сержусь, – ответила дуэнья, – на этого милого человека, который очень настоятельно требовал, чтобы я пошла и отвела в конюшню его осла, стоящего у подъезда замка, и приводит мне в пример, что это делалось не знаю где, что дамы пасли какого-то Ланселота, а дуэньи, его коня, потом, наконец, и в довершение всего он сказал, что я старуха.

– О! это я приняла бы за оскорбление, – воскликнула герцогиня, более, нежели все, что мне могли бы сказать! – И, обращаясь к Санчо, она сказала: – Обратите внимание, друг Санчо, донья Родригес совсем еще молода, а высокий чепчик на ней, который вы видите, она носит для отличия по должности и по обычаю, который этого требует, а не по годам.

– Пусть мне не прожить и одного года, – отвечал Санчо, – если я это сказал с намерением. О, нет! Если я так говорил, то потому, что питаю к своему ослу такую нежность, что считал возможным доверить его только такой сострадательной особе, как госпожа донья Родригес.

Дон-Кихот, услышав все это, не мог удержаться, чтобы не сказать: «Разве, Санчо, подобные предметы разговора годятся для такого места, как

это?

– Господин, – отвечал Санчо, – что у кого болит, тот о том и говорит. Здесь я вспомнил об осле и здесь и о нем заговорил, а если бы я вспомнил о нем в конюшне, я бы там говорил о нем.

– Санчо говорит правду, – присовокупил герцог, – и я не вижу, в чем его можно упрекнуть. Что касается осла, то ему дадут угощение вволю, и Санчо не о чем беспокоиться. С его ослом будут так же обращаться, как с ним самим.

Среди этих разговоров, развлекавших всех, кроме Дон-Кихота, они дошли до верхних апартаментов, и Дон-Кихота ввели в залу, обитую богатой парчой с золотом. Шесть девиц подошли, чтобы снять с него вооружение и служить ему пажами, заранее предупрежденные герцогом и герцогиней, что их должно делать, и хорошо настроенные относительно манеры обращения с Дон-Кихотом, чтобы он воображал и признал, что с ним поступают, как со странствующим рыцарем.

Когда вооружение было снято, Дон-Кихот остался в своих узких штанах и замшевом камзоле, сухой, худой, длинный, со сжатыми челюстями и такими впалыми щеками, что они как будто прикасались во рту одна к другой, – с видом таким, что если бы девицы, ему служившие, не употребляли усилий, чтобы сдержать свою веселость, согласно нарочитому предписанию господ, они бы померли со смеху. Они попросили его раздеться, чтобы на него можно было накинуть сорочку, но он не хотел на это согласиться, сказав, что благопристойность столь же приличествует странствующему рыцарю, как и храбрость. Но он попросил, чтобы сорочку передали Санчо, и, запершись с ним в своей комнате, где находилась великолепная кровать, он разделся и накинул на себя сорочку. Только что они остались наедине с Санчо, как он оказал ему: «Скажи ты мне, новый шут и старый дурак, хорошо оскорблять и бесчестить дуэнью, столь почтенную, стол достойную уважения, как эта? Подходящее было это время для того, чтобы вспомнить об осле? Где это видано! господа, способные забыть о животных, когда они с таким великолепием принимают их хозяев? Ради Бога, Санчо, исправься и не показывай, насколько ты протерся, иначе всякий заметят, что ты соткан из толстых я грубых волокон. Запомни, закоснелый грешник, что господина тем более уважают, чем почтеннее и благороднее его слуги, и что величайшая привилегия государей над другими людьми в том и состоит, что у них на службе состоят люди столь же достойные, как и сами они. Не понимаешь ты разве, узкий и безнадежный ум, что если заметят, что ты грубый олух или сказатель злых шуток, то подумают, что и я какой-нибудь захудалый

дворянчик или пройдоха? Нет, нет, друг Санчо, беги от этих подводных скал, беги от этой опасности; кто делает из себя краснобая и злого шутника, тот спотыкается при первом толчке и впадает в роль жалкого шута. Удержи свой язык, разбирай и обдумывай свои слова, прежде, нежели они выйдут из твоих уст, и заметь, что мы пришли в такое место, что с Божьей помощью и моей храбростью, мы должны выйти отсюда втрое, вчетверо более прославленные и богатые».

Санчо совершенно искренно обещал своему господину зашить себе рот и скорей откусить себе язык, чем произнести слово, которое было бы не кстати и не было бы зрело обдуманно, как тот ему приказал. «Вы можете, – прибавил он, – совершенно оставить всякую заботу, потому что если когда и узнают, кто мы такие, то не через меня». Дон-Кихот между тем окончил свой туалет, он надел на себя свою перевязь и меч, накиннул на плечи малиновый плащ, укрепил на голове атласную шляпу, принесенную ему девицами, и, в таком костюме, вошел в большую залу, где нашел тех же девиц, поставленных в два ряда, один против другого, каждая с флаконом, из которых они с бесконечными поклонами и церемониями полили духами руки Дон-Кихота. Тотчас явились двенадцать пажей с дворецким во главе для сопровождения его к столу, где ожидали его хозяева дома. Окружив его, они проводили его, преисполненного важности и величия, в другую залу, где приготовлен был пышный стол всего на четыре прибора. Герцог и герцогиня подошли к самой двери залы, навстречу ему. Их сопровождало важное духовное лицо, одно из тех, которые управляют домами важных бар» одно из тех, которые сами не высокорожденные, не сумели бы научить тех, кто высокорожден, как должно им вести себя; из тех, которые хотели бы, чтобы величие великих измерялось ничтожеством их умов» из тех, наконец, которые, желая научить тех, кем они управляют, уменьшить свою щедрость, заставляют их казаться скупыми и жалкими.<sup>[198]</sup> Несомненно, из этой категории был и важный монах, который с герцогом и герцогиней шел навстречу Дон-Кихоту. Они обменялись тысячами любезностей и, наконец, посадив Дон-Кихота между собою, уселись за стол. Герцог предложил первое место Дон-Кихоту, и хотя тот сперва отказался, но герцог так настаивал, что он, в конце концов, должен был уступить. Духовник сел против рыцаря, герцог и герцогиня по обеим сторонам стола. Санчо присутствовал при всем этом, пораженный, изумленный почестями, которые эти принцы оказывали его господину. Когда он увидел, с какими церемониями и просьбами герцог уговаривал Дон-Кихота занять место во главе стола, он выговорил: «Если ваши милости, – сказал он, – соблаговолите дать мне позволение, я вам расскажу историю, случившуюся

в моей деревне по поводу мест за столом».

Не успел Санчо произнести этих слов, как Дон-Кихот задрожал всем телом, уверенный, что он скажет какую-нибудь глупость. Санчо посмотрел на него, понял его испуг и сказал ему: «Не опасайтесь, чтобы я забылся, господин мой, или чтобы я сказал что-либо неуместное. Я не забыл еще советов, которые вы мне только что надавали на поводу того, что говорить нужно ни много, ни мало, ни дурно, ни хорошо».

– Я ничего подобного не помню, – отвечал Дон-Кихот, – говори, что хочешь, только кончай поскорей.

– То, что я хочу рассказать, – заговорил снова Санчо, – есть чистейшая правда, потому что мой господин Дон-Кихот, здесь находящийся, и не дал бы мне соврать.

– Меня это не касается, – перебил Дон-Кихот.

– Ври сколько хочешь, не мне тебя останавливать, но только говори осторожно – и так на этот раз осторожен и осмотрителен, что можно сказать, что я твердо стою на ногах, и это сейчас будет видно на деле.

– Мне кажется, – перебил Дон-Кихот, – что ваши светлости хорошо бы сделали, если бы прогнали этого дурака, который наговорит тысячу глупостей.

– Клянусь жизнью герцога, – сказала герцогиня, – Санчо ни на шаг не уйдет от меня. Я его очень люблю, потому что знаю, что он очень умен.

– Да будут умными также и дни вашей святости! – воскликнул Санчо, – за ваше доброе мнение обо мне, хотя я этого и не заслуживаю. Но вот рассказ, который я хотел рассказать. Однажды случилось, что один гидальго вашей деревни, очень богатый и очень знатный, потому что происходил от Аланосон де-Медина-дель-Кампо, женатого на донье Менсия де-Кинионес, дочери дона Алонсо Маранионского, рыцаря ордена святого Иакова, который утопился на острове Херрадура,<sup>[199]</sup> из-за которого поднялась в нашей деревне, несколько лет назад, великая распря, где участвовал, если я не ошибаюсь, и мой господин Дон-Кихот и где был ранен повеса Хонасяльо, сын: кузнеца Бальбастро... Разве все это не правда, синьор наш господин? Поклянитесь-ка своей жизнью, чтобы эти господа не приняли меня за какого-нибудь лживого болтуна.

– До сих пор, – сказал духовник, – я счел вас скорее за болтуна, нежели за лгуна. Что я подумаю о вас позже, я еще не знаю.

– Ты столько лиц призываешь в свидетели, Санчо, и приводишь столько доказательств, что я не могу не согласиться, что ты, без сомнения, говоришь правду. Но продолжай и сократи свой рассказ, потому что он принял такое направление, что ты и в два дня его не кончишь.

– Пусть не сокращает, – воскликнула герцогиня, – если хочет доставить мне удовольствие, но пусть рассказывает свою историю, как знает, хотя бы он не кончил ее и в шесть дней, потому что, если он употребит столько времени для рассказа, это будут лучшие дни в моей жизни.

– Итак я говорю, мои добрые господа, – продолжал Санчо, – что этот гидальго, которого я знаю, как свои пять пальцев, потому что от его дома до моего нет расстояния и на ружейный выстрел, пригласил к обеду одного бедного, но честного земледельца.

– В самом деле, брат, в самом деле, – воскликнул монах, – вы приняли такое направление в своем рассказе, что не окончите его до отхода на тот свет.

– Я надеюсь окончить его на половине пути к тому свету, если Богу будет угодно, – отвечал Санчо. – Так вот я говорю, что когда этот земледелец пришел к этому гидальго, который его пригласил, – да упокоит Бог его душу, потому теперь его уже нет в живых, а говорят, что смерть его была кончиной настоящего праведника; меня же не было при этом, потому что я в это время занимался жатвой в Темблеке.

– Ради жизни вашей, – снова воскликнул монах, – возвратитесь скорей из Темблека и, не хороня вашего гидальго, если не хотите похоронить и нас, поспешите со своим рассказом...

– Дело в том, – заговорил опять Санчо, – что когда они оба стали садиться к столу... Мне кажется, что я их как сейчас вижу пред собою...

Герцогу и герцогине большое удовольствие доставляло неудовольствие, которое вызывали в добром монахе паузы и остановки, которыми Санчо разбивал свой рассказ, а Дон-Кихота пожирал сдерживаемый гнев.

– Так я говорю, – сказал снова Санчо, – что когда оба они садились за стол, крестьянин настаивал на том, чтобы во главе стола занял место гидальго, а гидальго настаивал, чтобы там сел его гость, говоря, что у него всякий должен делать то, что он приказывает. Но крестьянин, который чванился своей вежливостью и своей благовоспитанностью, ни за что не хотел согласиться на это, пока гидальго, потеряв терпение, не положил ему обеих рук на плечи и силой не заставил его сесть, сказав ему: «пентюх, где бы я ни сел, я всегда буду во главе стола». Вот моя история, и я, право, думаю, что она здесь не так уж не кстати.

Дон-Кихот краснел, бледнел и принимал всевозможные цвета, которые на его бронзового цвета лице казались радужными. Герцог и герцогиня сдержали свой смех, чтобы не смутить Дон-Кихота окончательно, потому



что они поняли насмешку Санчо, и, чтобы переменить разговор и не дать Санчо выпалить новый вздор, герцогиня спросила Дон-Кихота, какие известия получил он от госпожи Дульциней и не послал ли он ей на днях в подарок великанов или маландринов, <sup>[200]</sup> потому что он, конечно, победил их еще несколько.

– Сударыня, – ответил Дон-Кихот, – мои несчастья, хотя у них и было начало, никогда не будут иметь конца. Великанов я победил, маландринов я ей послал, но как они могли ее найти, когда она заколдована и превращена в безобразнейшую крестьянку, какую только можно себе представить?

– Я ничего в этом не понимаю? – перебил Санчо Панса, – мне она показалась самым красивым существом в мире. По крайней мере, легкостью и прыжками она, я хорошо знаю, заткнет за пояс любого канатного плясуна. Честное слово, госпожа герцогиня, – она вспрыгивает с земли на ослицу как кошка.

– Вы ее видели заколдованною, Санчо? – спросил герцог.

– Как, видел ли я ее! – отвечал Санчо, – какой же черт, если не я, и распространил первый историю о колдовстве? Она, клянусь Богом, там же заколдована, как и мой отец.

Духовник, услыша, что речь идет о великанах, маландринах, колдовстве, начал уже подозревать, что этот новый пришелец и есть тот Дон-Кихот Ламанчский, историю которого обыкновенно читал герцог, за что он не раз упрекал его, говоря, что нелепо читать подобные нелепости. Когда он убедился в том, что подозрение его верно, он, полный гнева, обратился к герцогу и сказал: «Вашей светлости, милостивейший государь, придется отдать Богу отчет в том, что делает этот бедный человек. Этот Дон-Кихот или Дон Дурак, или как его там зовут, не настолько, я думаю, безумен, как вашей светлости хочется сделать его, давая ему повод спустить узду его наглости и его причудам». Потом, обращаясь к Дон-Кихоту, он прибавил: «А вам, исковерканная голова, кто всадил в мозг уверенность, что вы странствующий рыцарь, что вы побеждаете великанов и задерживаете маландринов? Ступайте с Богом, возвратитесь домой, воспитывайте своих детей, если они у вас есть, смотрите за своим добром и перестаньте бегать по свету, как бродяга, ротозей и посмешище для всех, кто вас знает и не знает. Какого дьявола вы выдумали, что были и что теперь есть странствующие рыцари? Какие в Испании великаны и какие маландрины в Ламанче? Где вы видели заколдованных Дульциней и все эти глупости, которые о вас рассказывают!»

Дон-Кихот с молчаливым вниманием выслушал речь почтенной особы. Но, увидев, что он, наконец, замолчал, он, не обращая внимания на

знатных хозяев, с угрожающим видом и с лицом, пылающим от гнева, поднялся с места и воскликнул... Но этот ответ заслуживает особой главы.

## **ГЛАВА XXXII**

### **Об ответе Дон-Кихота своему критику и о других важных и интересных событиях**

Итак, выпрямившись во весь рост и дрожа с ног до головы как в эпилептическом припадке, Дон-Кихот воскликнул взволнованно и быстро: «Место, где я нахожусь, присутствие лиц, пред которыми я нахожусь, уважение, которое я питаю и буду всегда питать к званию, которым облечена ваша милость, сковывают мне руки к основательному моему сожалению. Поэтому, в виду того, что я сказал и в доказательство того, что знает весь свет, что оружие приказного люда есть то же, что и оружие женщин, то есть язык, я вступлю своим языком в равный бой с вашей милостью, от которой скорей можно было бы ждать добрых советов, нежели постыдных упреков. Священные и благонамеренные увещания даются в другой обстановке и в другой форме. Во всяком случае, так публично и с такой язвительностью поносить меня значит перейти всякие границы справедливого увещания, которому приличествует основываться скорее на кротости, нежели на резкости, и нехорошо, не имея никакого представления о грехе, который осуждают, называть грешника безо всякой церемонии безумцем и дураком. Но скажите мне, какое безумие совершил я на ваших глазах, за которое вы осуждаете меня, отправляете смотреть за своим домом я ухаживать за своей женой и детьми, не зная даже, есть ли у меня дети и жена? Разве вам больше нечего делать кроме того, чтобы вторгаться без разбору в чужие дома и управлять их господами? и хорошо ли, воспитавшись в тесной ограде какого-либо пансиона, не выдавши света более того, что могут заключать в себе двадцать или тридцать миль в окружности, сразу предписывать законы рыцарству и судить странствующих рыцарей? Разве это пустое занятие, разве это дурно потраченное время, когда его употребляют на то, чтобы объезжать свет, в поисках не сладости его, а его шипов, чрез которые добродетельные люди восходят к бессмертию? Если бы меня считали дураком дворяне, люди превосходные, благородные, высокого происхождения, ах! тогда я почувствовал бы неизгладимое оскорбление; но что педанты, никогда не ходившие путями рыцарства, принимают меня за безумца, я смеюсь над этим, как над ничтожнейшей вещью. Рыцарь я есмь, и рыцарем умру, если так угодно Всевышнему. Одни идут широкой дорогой тщеславной

гордости; другие – дорогой низкой и раболепной лести; третьи – путем обманчивого ханжества, и некоторые, наконец, – путем искренней религиозной веры. Что касается меня, то, руководимый своей звездой, и шествуя узкой тропой странствующего рыцарства; пренебрегая в исполнении своего призвания богатством, но не честью, я отомстил за обиды, уничтожил несправедливость, наказал заносчивость, победил великанов и смело пошел навстречу чудовищам и привидениям. Я влюблен только потому, что это неизбежно для странствующих рыцарей; но, будучи влюблен» я не принадлежу в безнравственным влюбленным, а к влюбленным сдержанным и платоническим. Мои намерения всегда направлены к доброй цели, то есть к принесению добра всем и зла никому. Тот, кто так думает, кто так действует, кто стремится все это выполнить, заслуживает ли того, чтобы быть названным дураком, ссылаюсь на вас, ваши светлости, сиятельные герцог и герцогиня.

– Хорошо, клянусь Богом, хорошо! – воскликнул Санчо. – Не говорите более ничего в свою защиту, мой господин и хозяин, потому что больше и сказать нечего, и думать нечего, и доказывать нечего. Впрочем, так как этот господин утверждает, как сейчас сделал, что странствующих рыцарей и нет и не было, то что же удивительного, что он ни слова не знает о предметах, о которых говорил?

– Уж не тот ли вы, братец, – спросил духовник – Санчо Панса, о котором говорят, что господин его обещался дать ему остров?

– Да, конечно, это я, – отвечал Санчо, – я заслуживаю этого так же, как всякий другой. Я из тех, о которых говорят: «С кем поведешься, от того наберешься» и из тех также, о которых говорят: «Скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты», и еще из тех, о которых говорят: «Ласковый теленок двух маток сосет». Я привязался к доброму господину и много месяцев к ряду нахожусь с ним и стану сам совсем другим, с Божьего позволения. Да здравствует он и да здравствую я! потому что у него не будет недостатка в империях, чтобы повелевать ими, и у меня в островах, чтобы управлять ими. – Нет, не будет недостатка, друг Санчо, – воскликнул герцог, – и я от имени господина Дон-Кихота дам вам в управление остров, который у меня сейчас вакантен и значение которого не из маловажных.

– Стань на колени, – сказал Дон-Кихот, – и облобызай ноги его светлости за милость, тебе оказанную.

Санчо поспешил исполнить приказание. Увидя это, духовник с гневом и злобой встал из-за стола. «Клянусь одеянием, которое я ношу! – вскричал он. – Я чуть не сказал, что ваша светлость также безумны, как и эти грешники. Как им не быть безумными, когда люди разумные поощряют их

безумие? Ваша светлость можете оставаться с ними, пока они находятся в этом доме, а я удалюсь в свой дом и избавлю себя от необходимости осуждать то, чего исправить не могу». С этими словами он ушел, не прибавив более ни слова и не съев более ни куска, и никакие просьбы не могли его остановить. И то, правда, что герцог не особенно и настаивал, потому что его разбирал неудержимый смех при виде дерзкой ярости духовника.

Нахохотавшись вволю, герцог сказал Дон-Кихоту: «Ваша милость, господин рыцарь Львов, ответили так надменно, так победоносно, что вам более нечего мстить за эту обиду, которая только с виду кажется бесчестьем, на самом же деле не может назваться бесчестьем, так как монахи, как известно вашей милости, подобно женщинам оскорблять не могут».

– Это правда, – ответил Дон-Кихот, – и причина этого заключается в том, что кто не может быть оскорбляем, тот никого не может и оскорблять. Женщины, дети и духовные лица, не могущие защищаться, даже когда их оскорбляют, не могут получать оскорблений. В сущности, между бесчестьем и оскорблением только и есть разницы, как вашей светлости известно, лучше, чем мне, что бесчестье наносит тот, кто может его нанести, наносит и настаивает на нем, а оскорбление может нанести всякий, не нанося бесчестья. Предположим, например, что кто-нибудь ходит бесцельно по улице; вдруг являются девять вооруженных человек и наносят ему палочные удары; он берет шпагу в руки и хочет исполнить свой долг, но многочисленность неприятеля мешает ему исполнить свой долг, т. е. отомстить. Этот человек оскорблен, но не обещен. А вот и другой пример, который подтвердит ту же истину. Один человек поворачивается спиной, а другой подходит сзади и ударяет его палкой, но сейчас же после удара бросается бежать, не дожидаясь, пока оскорбленный обернется. Полученный палочный удар получил оскорбление, но не бесчестье, потому что последнее, чтобы быть таковым, должно быть поддержано. Если бы нанесший удар, хотя и изменнически, остался на месте, ожидая неприятеля, то побитый был бы и оскорблен, и вдобавок еще, и обещен: оскорблен потому, что его изменнически побили, а обещен потому, что тот, кто его побил, поддержал то, что сделал, оставшись на месте, а не бросившись бежать. Таким образом, по законам дуэли, может быть оскорблен, но не обещен. В самом деле, ни дети, ни женщины не чувствуют оскорблений: они не могут бежать и не имеют оснований ждать. Тоже можно сказать и о служителях святой веры, потому что у всех этих лиц нет ни наступательного, ни оборонительного оружия.

Поэтому, хотя они по естественному праву обязаны защищаться, оскорблять они не обязаны никого; и хотя я сейчас говорил, что мог быть оскорблен, но теперь я говорю, что вы ни в каком случае не мог быть оскорблен, потому что кто не может получать оскорбления, тот тем более не может и наносить их. По всем этим причинам я не должен сердиться и действительно не сержусь на оскорбления, которые нанес мне этот славный человек. Но я желал бы, чтоб он немного подождал для того, чтоб я мог дать ему понять заблуждение, в которое он впадает, говоря, что на этом свете нет и никогда не было странствующих рыцарей. Если бы Амадис или какой-нибудь отпрыск его рода услышал это святотатство, я думаю, что его святейшеству не поздоровилось бы.

– О, я могу поклясться, – вскричал Санчо, – что они бы так хорошо отделали его, что он разлетелся бы пополам, как бомба или перезрелая дыня. Не таковские они были, можно сказать, чтобы позволять кому-нибудь наступать на свои головы! клянусь святым крестом, я уверен, что если бы Рейналд Монतालванский слышал, как этот несчастный человечек разводил тут турусы на колесах, он бы так шлепнул его по губам, что тот бы три года не мог говорить. С ними шутки плохия, и ему бы несдобровать с ними.

Герцогиня хохотала до упаду, слушая Санчо, и решила про себя, что он еще забавнее и безумнее своего господина. Впрочем, в то время многое были того же мнения.

Наконец, Дон-Кихот успокоился, и обед закончился мирно. Когда вставали из-за стола, в комнату вошли четыре девушки, из которых одна несла серебряный таз, другая такой же рукомойник, третья два роскошных белых полотенца, четвертая с засученными по локоть белыми руками (они не могли не быть белы) несла кусок неаполитанского мыла. Первая подошла и развязно поднесла таз к подбородку Дон-Кихота, который не сказал ни слова, и хотя очень удивился, но объяснил себе это местным обычаем мыть вместо рук бороду. Поэтому он по возможности вытянул вперед свою бороду, и девушка с рукомойником стала наливать воду, а принеся мыло принялась намыливать ему бороду, покрывая снежными хлопьями (мыльная пена была не менее бела) не только подбородок, но и все лицо послушного рыцаря до самых глаз, так что ему даже пришлось закрыть их. Герцог и герцогиня, не предупрежденные об этой штуке, с любопытством ждали, чем кончится эта странная чистка. Покрыв все лицо рыцаря мыльной пеной, девушка сделала вид, будто у нее не хватило воды, и послала другую принести еще воды, прося Дон-Кихота минутку подождать. Та ушла, а Дон-Кихот остался в самом необыкновенном и

смешном виде, какой только можно себе вообразить. Все присутствующие, которых было немало, смотрели на него, и можно было счесть за чудо, что они удержались от смеха при виде его вытянутой на целый аршин более чем посредственно черной шеи, закрытых глав и намыленной бороды. Шалунии горничные стояли с опущенными глазами, не смея поднять их на своих господ, которые задыхались от гнева и смеха и не знали, что им делать: наказать ли дерзких горничных или похвалить за удовольствие, которое они им доставили видом Дон-Кихота в таком плачевном положении.

Наконец, горничная с рукомойником вернулась, и Дон-Кихота обмыли. После этого девушка, державшие полотенца, тщательно вытерла и обсушила рыцаря, и все четыре горничные, низко присев, хотели удалиться; но герцог, боясь чтоб Дон-Кихот не догадался о сыгранной с ним шутке, подозвал к себе девушку с тазом и сказал ей: «Вымой меня тоже, только смотри, чтоб у тебя хватило воды». Девушка, столь же сообразительная сколь и ловкая, поспешила подставить таз к лицу герцога как сделала с Дон-Кихотом, и все четверо принялись его мыть, намыливать, обтирать и осушать, затеем опять присели и удалились. Впоследствии герцог говорил, что если б они не вымыли его, точно так же, как Дон-Кихота, он бы наказал их за дерзость, которую они, впрочем, загладили тем, что и его намылили.<sup>[201]</sup>

Санчо весьма внимательно следил за церемонией намыливания. «Пресвятая Богородица! – пробормотал он про себя. – Уж не в обычае ли здесь, чего доброго, мыть бороды и оруженосцам, как господам? Клянусь Богом и моей душой, это было бы для меня совсем не лишнее; а кабы меня да еще бритвой поскребли, так я-бы сказал им большое спасибо».

– Что вы там бормочете, Санчо? – спросила герцогиня.

– Я говорю, сударыня; что при дворах других принцев я слышал, что после десерта всегда обливают водой руки, а не намыливают бороды, и, стало быть, век живи, век учись. Еще говорят, что больше лет, то больше бед, а я думаю, что такое мытье можно скорее назвать удовольствием, чем бедой.

– Так нечего вам и горевать, Санчо, – ответила герцогиня, – я прикажу своим горничным намылить вас и даже вымыть в щелоке, если хотите.

– Ну, пока с меня довольно будет вымыть и бороду, а что после будет, решит Бог.

– Дворецкий! – сказала герцогиня. – Расспросите доброго Санчо, чего ему хочется, и смотрите, чтобы все его желания были в точности выполнены.

Дворецкий ответил, что для господина Санчо будет сделано все, что он потребует. Затем он ушел обедать, уведя с собою Санчо, между тем как Дон-Кихот остался с хозяевами за столом, и разговор их, переходя с предмета на предмет, постоянно вертелся около событий, касавшихся оружия и странствующего рыцарства.

Герцогиня попросила Дон-Кихота описать и изобразить ей, призвав на помощь свою замечательную память, красоту и черты госпожи Дульцинеи Тобозской. «Судя по славе о ее прелестях, – сказала она, – я должна предположить, что она, несомненно, первая красавица не только в мире, но и в Ламанче». Дон-Кихот вздохнул, выслушав слова герцогиня, и ответил: «Если б я мог извлечь из груди моей сердце и положить его пред очи вашего величия, здесь, на этом столе, на блюде, я избавил бы свой язык от труда выражать то, о чем едва можно подумать, потому что ваша светлость увидели бы тогда мою даму, как живую. Но зачем стану я теперь изображать точку за точкой и описывать черту за чертой прелести бесподобной Дульцинеи? О, это бремя, достойное лучших плеч, чем мои! Это предприятие, для которого нужны кисти Парразия, Тиманта и Аппеллеса, чтоб изобразить ее на полотне и на дереве, резец Лизиппа, чтобы выгравировать ее на мраморе и бронзе; цицероновская и демосфеновская риторика, чтоб достойным образом восхвалить ее!»

– Что значит демосфеновская, господин Дон-Кихот? – спросила герцогиня. Я такого выражения никогда в жизни не слыхивала.

– Демосфеновская риторика, – ответил Дон-Кихот, – это тоже, что риторика Демосфена, как цицероновская значит риторика Цицерона, потому что они, в самом деле, были величайшими в мире риториками.

– Конечно, – подтвердил герцог, – и твой вопрос довольно бессмыслен. Но, тем не менее, господин Дон-Кихот сделал бы нам величайшее удовольствие, если бы описал свою даму. Я уверен, что малейший набросок, малейший эскиз ее прелестей возбудил бы зависть в самих красивых женщинах.

– О, я с удовольствием сделаю это, – ответил Дон-Кихот, – если только приключившееся с нею недавно несчастье не изгладило из моей памяти ее черт. Это несчастье такого рода, что я готов скорее плакать, чем описывать ее. Ваши светлости должны знать, что когда я недавно явился поцеловать у нее руки и попросить у нее благословения, выслушать ее приказания для этого третьего моего похода, я вместо нее встретил совершенно иную личность. Я нашел ее заколдованной и превращенной из принцессы в крестьянку, из красавицы в уроду, из ангела в дьявола, из благоухающей в зачумленную, из благовоспитанной в неотесанную грубиянку, из чинной и



скромной в попрыгунью, из света в мрак, словом – из Дульцинеи Тобозской в тупое отвратительное животное.

– Пресвятая Дева! – вскричал испуганно герцог, – какой же презренный сделал миру такое зло? кто осмелился отнять у нее красоту, которая была радость мира, грацию ума, составлявшую его наслаждение, и целомудрие, составлявшее его гордость?

– Кто? – переспросил Дон-Кихот, – кто же, как не один из тех бесчисленных чародеев, которых зависть вечно преследует меня, один из проклятого отродья, рожденного на свет лишь для того, чтоб помрачать и уничтожать храбрые подвиги добрых и придавать блеск и славу козням злых? Чародеи преследовали меня, чародеи преследуют и чародеи будут преследовать, пока не повергнут меня и мои высокие рыцарские подвиги в бездонную пучину забвения. Они поражают и ранят меня именно в то место, которое, по их мнению, коего чувствительнее у меня; потому что отнять у странствующего рыцаря его даму значит отнять у него глаза, которыми он смотрит, солнце, которое ему светит, и пищу, которая его питает. Я уже много раз говорил и теперь повторяю, что странствующий рыцарь без дамы то же, что дерево без листьев, здание без фундамента и тень без отбрасывающего ее предмета.

– Больше уж невозможно к этому прибавить, – сказала герцогиня. – Но если верить истории господина Дон-Кихота в том виде, как она появилась на свет Божий несколько дней назад, <sup>[202]</sup> при всеобщем одобрении всего мира, должно заключить, что ваша милость никогда не видали госпожи Дульцинеи, что эта дама не из мира сего, что это фантастическая дама, которую ваша милости создали в своем воображении, украсив ее всеми прелестями и совершенствами, какими вам благоугодно было ее наделить.

– По этому поводу можно сказать многое, – ответил Дон-Кихот. – Бог один знает, есть ли на этом свете Дульцинея или нет, фантастична ли она или действительна: это один из тех вопросов, которых проверка мы должна быть доводима до конца. Я не создал и не сочинил моей дамы: я вижу и созерцаю ее такую, какой должна быть дама, чтобы соединяя в себе все качества, могущие прославить ее более всех других женщин в мире, как незапятнанную красавицу, серьезную без гордости, целомудренно влюбленную, благодарную из обходительности и обходительную из добрых побуждений; наконец, очень знатную, так как знаменитая кровь делает красоту блестящее и ярче сияющее. Чем низкое происхождение. – Это правда, – заметил герцог. – Но да позволит мне господин Дон-Кихот сказать, на что наводит меня чтение истории его подвигов. Из нее можно заключить, даже допуская существование Дульцинеи в Тобозо или вне

Тобозо и допуская, что она прекрасна в такой степени, как описывает ваша милость; можно заключить, говорю я, что по знатности происхождения она не может сравняться с Орианами, Аластрахарями, Мадазимами<sup>[203]</sup> и многими другими в том же роде, которыми наполнены истории, хорошо известные вашей милости.

– На это, – возразил Дон-Кихот, – я могу ответить, что Дульцинея дочь своих деяния, что добродетели возвышают происхождение и что следует более уважать добродетельного человека низкого происхождения, нежели порочного знатной крови. Кроме того, Дульцинея обладает некоторыми качествами, которые сделают ее достойной быть королевой со скипетром и короной; ибо достоинство прекрасной и добродетельной женщины может производить величайшие чудеса, и если не формально, то, по крайней мере, виртуально, она заключает в себе высочайшие судьбы человеческие.

– Уверяю вас, господин Дон-Кихот, – возразила герцогиня, – что ваша милость во всем, что говорите, стоите, как говорятся, твердой ногой и с щупом в руках. Отныне я сама буду верить и заставляю всех в доме и даже, если нужно, моего господина герцога верить, что в Тобозо есть Дульцинея, что она существует в нынешнее время, что она прекрасна и высокого происхождения и что она стоит того, что бы ей служил такой рыцарь, как господин Дон-Кихот, что само по себе уже есть высшая похвала ей. Тем не менее, я не могу не чувствовать некоторого сомнения и не сердиться немного на Санчо Панса. Сомнение мое состоит в том, что если верить упомянутой истории, названный Санчо Панса застал названную Дульцинею, когда принес ей послание от вас, за просеиванием мешка с хлебом, и хлеб этот был, как говорят, рожь, что заставляет меня сомневаться в высоком качестве ее знатности.

– Сударыня, – ответил Дон-Кихот, – ваше величие должно знать, что все или, по крайней мере, большая часть того, что со мной случается, происходит не таким обыкновенным способом, как у других странствующих рыцарей, – по неисповедимым ли путям судеб или вследствие козней какого-нибудь завистливого волшебника. Всеми дознано и удостоверено, что у большинства известных странствующих рыцарей было у каждого свое особенное свойство: одного невозможно было очаровывать; другой обладал таким непроницаемым телом, что ему невозможно было наносить ран, как например, знаменитый Роланд, один из двенадцати пэров Франции, о котором рассказывают, что его невозможно было ранить ни в одно место, кроме подошвы левой ноги, да и то кончиком большой булавки, а не другим каким оружием. Поэтому, когда Бергардодель-Карпио хотел убить его в Ронсевальской долине, то, видя, что оружие

на него не действует, схватил его руками, поднял с земли и задушил, припомнив, как Геракл убил Антеона, этого свирепого гиганта, которого считали сыном земли. Из всего сказанного я заключаю, что возможно, что и у меня есть какое-нибудь особенное свойство; но не такое, чтоб меня нельзя было ранить, так как опыт показал мне, что мое тело чрезвычайно нежно и вовсе не непроницаемо; и не такое, чтоб меня нельзя было очаровать, так как меня уже сажали в клетку, куда не мог бы запереть меня и целый свет, если бы тут не было замешано колдовство. Но я все-таки сумел освободиться от этого колдовства и думаю теперь, что никакое другое не сможет остановить меня. Видя, что со мной уже невозможно проделывать таких козней, волшебники и стали мстить мне на том, что для меня всего дороже, и вздумали лишить меня жизни, отравив существование Дульцинея, которою и ради которой я только и живу. Так, я уверен, что, когда мой оруженосец понес ей мое письмо, они превратили ее в поселянку, занятую таким низким делом, как просеивание хлеба. Впрочем, я уже говорил, что зерна эти были не ржаные и не пшеничные, а восточные жемчужины. В доказательство справедливости моих слов скажу вашим светлостям, что недавно, проезжая через Тобозо, я нигде не мог разыскать дворцов Дульцинеи; а на другой день, в то время как мой оруженосец Санчо видел ее в настоящем ее виде, т. е. прекраснейшею в мире, мне она показалась безобразной и грязной мужичкой, и притом еще наглою – она, это олицетворение скромности. А так как я не околдован и по всем видимостям не могу быть околдован, то, значит, околдована, оскорблена, изменена и превращена она. На ней отомстили мне мои враги, и для нее я буду жить в вечных слезах, пока не увижу ее возвращенною в прежнее ее состояние. Я говорю все это для того, чтоб никто не обращал внимания на рассказ Санчо о решете и сите; потому что если Дульцинею преобразили для меня, то что удивительного, если ее преобразили и для него? Дульцинея хорошего происхождения и знатная дама: она происходит от благородных фамилий, которых в Тобозо очень много и которые древни и знатны. Правда, не малою долей своей знаменитости они обязаны бесподобной Дульцинее, благодаря которой ее деревня станет известна и прославится на многие века, как Троя прославилась благодаря Елене и Испания благодаря Каве,<sup>[204]</sup> но по большему праву и лучшей славой. С другой стороны, мне хотелось бы убедить ваши милости, что Санчо Панса один из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям. Он иногда говорит такие интересные глупости, что поневоле часто спрашиваешь себя, действительно ли он так прост или это лукавство; у него бывают такие выходы, что его можно счесть за плутоватого чудака,

но случается, что он скажет и такую вещь, что всякий принял бы его за чистейшего дурака. Он в одно и то же время и сомневается во всем, и верит всему, и когда я ожидаю, что он сейчас погрузится в пучину своей глупости, он вдруг заносится на небеса. Словом, я не переменял бы его на другого оруженосца, если бы мне даже подарили за то целый город. Поэтому я и сомневаюсь, хорошо ли я сделаю, если отпущу его управлять тем островом, который ваша светлость ему даровали. А между тем я замечаю в нем некоторую способность к управлению и полагаю, что он при хорошем руководстве сумеет извлечь выгоду из всякого управления, как король из своих данников. К тому же мы уже по многим опытам знаем, что для того, чтобы быть правителем, не нужно ни больших талантов, ни большого образования, потому что можно насчитать сотнями таких правителей, которые едва умеют читать, а между тем управляют подобно орлам. Все дело в том, чтоб намерения их были чисты и чтоб они желали все делать как следует. Всегда найдутся люди, которые сумеют давать им советы и указывать, что делать, чтобы быть настоящими правителями, а не юрисконсультами, чинящими суд при посредстве ассессоров. Со своей стороны, я посоветовал бы ему не быть лихоимцем, но и не поступаться также и ни одним из своих прав. И к этому я мог бы прибавить множество других мелочей, остающихся в моем желудке и которые в свое время выйдут оттуда на пользу Санчо и на благо острова, которым он будет управлять.

Тут разговор между герцогом, герцогиней и Дон-Кихотом прерван был громкими криками и топотом многих ног по комнатам замка. Вдруг Санчо вбежал в столовую растерянный и с тряпкой, обмотанной в виде нагрудника вокруг шеи, а вслед за ним ворвалось несколько мальчишек или, лучше сказать, несколько кухонных негодяев, из которых один нес миску с водой такого цвета и такого запаха, что в ней сейчас же можно было призвать помои. Этот поваренок гонялся за Санчо и старался всеми силами подставить ему миску к самому подбородку, тогда как другой делал вид, что собирается мыть его.

– Что это, братцы? – спросила герцогиня. – Что это такое и что вы хотите делать с этим славным малым? Как же так? Забыли вы, что ли, что он назначен губернатором?

Поваренок брадобрей ответил: – Этот господин не хочет дать себя вымыть по обычаю, как вымылись наш господин герцог и его господин.

– Неправда, я хочу! – возразил Санчо, задыхаясь от гнева. – Но мне хотелось бы, чтоб вода была почище, полотенце посвежее и руки у тебя не так грязны. Между моим господином и мною вовсе не такая громадная

разница, чтоб его мыли ангельской водой,<sup>[205]</sup> а меня дьявольской. Обычаи всех стран и княжеских дворцов тем и хороши, что никому не делают неприятности; а здешний обычай умывания хуже всякого нападения. У меня борода чистая, и мне не нужно таких прохладений. Пусть только кто-нибудь сунется вымыть меня или дотронуться хоть до одного волоска на моей голове, т. е. на подбородке, с позволения сказать; я дам ему такого тумака, что мой кулак врежется в его череп» потому что такие умывания и церемонии больше похожи на злые шутки, чем на обходительность с гостем».

Герцогиня падала со смеху, видя гнев и слушая речи Санчо. Что же касается Дон-Кихота, то он вовсе не был доволен при виде своего оруженосца в таком наряде, с грязной, жирной тряпкой вокруг шеи и со свитой из кухонных бездельников. По этому, сделав герцогу и герцогине низкий поклон, как бы прося у них позволения говорить, он обратился к дворне и сказал ей наставительным тоном: «Эй, господа кавалеры! Пусть ваши милости оставят в покое этого малого и убираются откуда пришли, или в другое место, куда им будет угодно. Мой оруженосец не грязнее всякого другого, и эта миска не для его шеи. Послушайтесь моего совета и оставьте его в покое, потому что ни он, ни я шуток не любим». Санчо, как говорится, подхватил его слова и продолжал: «А не то пусть-ка сунутся ко мне, и если я это стерплю, так теперь, значит, ночь. Пусть принесут гребень или что угодно и пусть поскребут мне бороду, и если у меня найдется что-нибудь оскорбительное для чистоты, так я позволю обрить себя против шерсти».

Тут заговорила герцогиня, не перестававшая хохотать. «Санчо Панса, – сказала она, – прав во всем, что он сказал, и будет прав, чтобы вы сказал еще. Он, наверное, чист и совсем не нуждается в мытье, и если наш обычай не по нем, так его добрая воля. Вы же, служители чистоты, выказали лень и нерадивость и, можно сказать, чрезмерную дерзость, принеся для бороды такой особы, вместо рукомойника из чистого золота и голландского полотенца, – деревянную миску и кухонную тряпку. Словом, вы злые люди, низкого происхождения и неучи и не можете, злодеи такие, не выказывать злобы, которую чувствуете к оруженосцам странствующих рыцарей». Не только плуты мальчишки, но даже дворецкий, шедший впереди их, думали, что герцогиня говорит серьезно. Поэтому они, смущенные и пристыженные, сняли с шеи Санчо тряпку, оставили его и скрылись.

Видя себя вне ужасной, по его мнению, опасности, Санчо бросился на колени перед герцогиней и сказал ей: «От великих дам можно ждать и великих милостей. Милость же, которую ваша светлость сейчас оказали

мне, такого рода, что за нее не иначе можно заплатить, как желанием видеть себя вооруженным странствующим рыцарем, чтобы во все время своей жизни служить такой великой принцессе. Я крестьянин, меня зовут Санчо Панса, я женат, у меня есть дети и я служу оруженосцем. Если я чем-нибудь из этих дел могу служить вашему величию, так не успеете ваша барская милость приказать, как я уже полечу исполнять».

– Сейчас видно, Санчо, – сказала герцогиня, – что вы научились обходительности в самой школе обходительности; я хочу сказать, что сейчас видно, что вы воспитаны под руководством господина Дон-Кихота, который представляет из себя сливки утонченных вежливостей и цвет церемоний или церемоний, как вы говорите. Да хранит Бог такого господина и такого слугу: одного, как компас странствующего рыцарства, а другого, как звезду верных оруженосцев. Встаньте, друг мой Санчо! И в признательность за вашу обходительность, я постараюсь, чтобы герцог, мой господин, как можно скорее исполнил свое обещание насчет того губернаторства, о котором шла речь.

На этом разговор превратился, и Дон-Кихот пошел отдохнуть. Герцогиня спросила Санчо, не может ли он отказаться от сна, чтобы провести некоторое время с нею и ее горничными в прохладной комнате. Санчо ответил, что он имеет, правда, обыкновение часа четыре или пять отдыхать летом после обеда, но что в угоду доброте ее светлости он употребит все усилия, чтоб ни минутки не соснуть в этот день, и послушно будет покоряться ее приказаниям. Сказав это, он вышел, а герцог дал опять инструкции относительно того, чтоб с Дон-Кихотом обращались, как со странствующим рыцарем, не уклоняясь от обычая и способа, сообразно с которыми, судя по книгам, обращались с древними рыцарями.

## ГЛАВА XXXIII

### О смачном разговоре, происшедшем между герцогиней, ее служанками и Санчо Панса, достойном прочтения и внимания

Итак, история повествует, что Санчо совсем не спал в это после обеда, а верный своему слову, пошел, как только отобедал, с визитом к герцогине, которую так забавляли его разговоры, что она усадила его около себя на табурете, хотя Санчо из вежливости и отказывался сесть в ее присутствии. Но когда герцогиня сказала ему, чтоб он сел, как губернатор, а говорил, как оруженосец, потому что в этих двух званиях он заслуживает даже кресла Сиды Руи Диаза Кампеадора,<sup>[206]</sup> он пожал плечами и повиновался. Все горничные и дуэньи герцогини окружили его, горя нетерпением услышать его; но первая заговорила герцогиня. «Теперь, когда мы одни, – сказала она, – и когда никто вас не слышит, я желала бы, чтоб господин губернатор разъяснил мне некоторые сомнения, которые возникли в моем уме при чтении уже напечатанной истории великого Дон-Кихота. Вот первое из этих сомнений: так как добрый Санчо никогда не видал Дульцинеи – я хочу сказать, госпожи Дульцинеи Тобозской, и так как он вовсе не относил ей письма господина Дон-Кихота, которое осталось в бумажнике в Сиерра-Морене, то, как он осмелился выдумать ответ и наговорить, будто видел эту даму просевающею хлебные зерна, когда все это было только ложью и насмешками, столь унижительными для доброй славы бесподобной Дульцинеи и столь противоречащими обязанностям хороших и преданных оруженосцев?» При этих словах Санчо, ничего не отвечая, поднялся со своего места и волчьим шагом, съезжившись и приложив палец к губам, обошел всю комнату, тщательно заглядывая за все драпировки. После этого он вернулся на место и сказал: «Теперь, сударыня, когда я видел, что никто нас не подслушивает, кроме присутствующих, я без страха и тревоги отвечу вам на то, о чем вы меня спрашиваете и о чем вам еще угодно будет спросить меня. Первое, что мне нужно сказать вам, это – что я считаю моего господина Дон-Кихота как есть помешанным, совсем таки по настоящему помешанным, хотя он подчас и говорит такие вещи, которые, по моему, – да и все, кто его слышит, так думают – до того умны, до того разумны и до того попадают в самую точку, что сам сатана не мог бы лучше говорить. И все ж-таки, сказать по правде и по совести, я знаю

верно, что он помешанный. Ну, а когда такая вещь уже засела у меня в голове, так я подчас и болтаю ему всякий вздор без головы и без ног, вот как про ответ на письмо, и как еще кое-что, что я проделал семь-восемь дней назад и что еще не записано в истории, т. е. про очарование госпожи доньи Дульцинеи Тобозской: я его уговорил, что она заколдована, а это такая же правда, как что луна заколдована».

Герцогиня попросила его рассказать об этом очаровании или мистификаций, и Санчо рассказал все, как было, что немало позабавило его аудиторию. После этого герцогиня опять заговорила: «Все, что добрый Санчо сейчас рассказал, вызывает в душе моей сомнение, которое шепчет мне на ухо: «Если Дон-Кихот безумен, безрассуден и чудаковат, а его оруженосец Санчо Панса хорошо знает это и, тем не менее, служит у него, сопровождает его и вполне верить его обещаниям, то он безо всякого сомнения еще безумнее и глупее, чем его господин. А если это так, то ты ответишь перед Господом, госпожа герцогиня, что даешь Санчо Пансе остров для управления, потому что, кто не умеет управлять самим собою, вряд ли сумеет управлять другими».

– Клянусь Богом, сударыня! – вскричал Санчо, – это сомнение совершенно право. И скажите ему от моего имени, что оно может говорить прямо и как ему угодно, потому что я признаю, что оно право, и что если бы у меня была хоть капелька смысла, я бы уже давно бросил своего господина. Но так, видно, угодно моей судьбе, и моей несчастной доле: я должен за ним следовать; тут ничего не поделаешь, потому что мы из одной деревни, я ел его хлеб, я очень люблю его, он такой благодарный, подарил мне своих ослят, и потом я верен ему. Поэтому невозможно, чтобы нас что-нибудь разлучило; разве только когда заступ и лопата приготовят нам постели. Если ваше величие не желаете пожаловать мне обещанное губернаторство – ну что ж! значит, так угодно Богу, и может быть, этот отказ послужит мне же на благо. Я хоть и дурак, а все-таки понял, отчего говорится: «Бодливой корове Бог рог не дает». Очень может быть, что Санчо-оруженосец скорее попадет на небеса, чем Санчо-губернатор. И здесь такой же хороший хлеб, как во Франции, и ночью все кошки серы; несчастен тот, кто в два часа вечера еще не завтракал, нет желудка, который был бы на одну пядь длиннее другого и который можно было бы, как говорится, заполнить севом и соломой; у маленьких полевых птичек Бог и поставщик и эконо́м, и четыре аршина толстого куэнкского сукна греют больше, чем четыре аршина тонкого сеговийского; когда мы уходим из света, и нас кладут в землю, принц идет такой же узкой дорожкой, как и поденщик, и тело папы занимает столько же места, сколько тело простого



причетника, хотя бы первый и был выше второго, потому что мы, чтобы влезть в яму, съеживаемся, сжимаемся и уменьшаемся, или, лучше оказать, нас заставляют съеживаться, сжиматься и уменьшаться, не спрашивая, нравится ли нам это, – до свидания, добрый вечер! Так вот, если вашей милости не угодно пожаловать мне остров, как дураку, я сумею помириться с этим, как умный человек. Слыхал я, что за крестом стоит черт и что не все то золото, что блестят. Слыхал я также, что земледельца Вамбу<sup>[207]</sup> взяли от плуга и волов, чтобы сделать испанским королем, и что короля Родрига<sup>[208]</sup> взяли из парчи, удовольствий и роскоши, чтобы отдать его на съедение змеям – если, конечно, куплеты старых романсов не врут.

– Как, если не врут! – вскричала дуэнья донья Родригес, находившаяся в числе слушательниц. – Есть даже романс, в котором сказано, что короля Родрига живым бросили в яму, полную жаб, змей и ящериц, и что через два дня король сказал из глубины этой могилы тихим и плаченным голосом: «Они меня едят, они меня пожирают в том месте, которым я всего более грешил».<sup>[209]</sup> Неудивительно поэтому, что он говорил, что хотел бы лучше быть крестьянином, чем королем, когда его ели эти гадкие животные.

Герцогиня не могла удержаться от смеха, при виде простоты своей дуэньи. Удивленная рассуждениями и поговорками Санчо, она сказала: «Добрый Санчо уже, конечно, знает что, раз обещав что-нибудь, рыцарь старается исполнить обещание, хотя бы даже ценою жизни. Мой муж и господин, герцог, хотя и не принадлежит к числу странствующих рыцарей, тем не менее, остается рыцарем. Значит, он сдержит свое обещание насчет острова, наперекор зависти и козням света. И так, Санчо может ободриться: в ту минуту, когда он всего менее будет этого ожидать, он вдруг увидит себя важно восседающим на губернаторском посту своего острова, если только не променяет его на другой, более прибыльный. Я только советую ему хорошенько подумать о том, как он будет управлять своими вассалами, потому что, могу сказать, что они все люди честные и хорошего происхождения».

– Что касается того, чтобы хорошо управлять, – возразил Санчо, – на этот счет мне советовать нечего, потому что я от роду милостив и всегда жалостлив к бедным. Не плюй в колодезь – пригодится напиться. Но, клянусь именем моего святого, обманывать себя подтасовыванием костей я не дам. Я старая собака и понимаю «тяв-тяв», я умею вовремя протирать глаза и не даю пускать себе пыль в глаза, потому что хорошо знаю, где у меня жмет башмак. Я хочу этим сказать, что добрые всегда могут рассчитывать на мою руку, и дверь моя будет для них открыта, а злым не

дам ни ноги, ни доступа. Мне сдается, что в деле управления главное только начало, и очень может быть, что уже через две недели я так же наострюсь в губернаторском ремесле, как в полевых работах, среди которых я родился и вырос.

– Вы правы, Санчо, – сказала герцогиня. – Никто не родится обученным, и епископы делаются из людей, а не из камней. Но возвратимся к нашему прежнему разговору об околдовании госпожи Дульцинеи: я считаю за верное и вполне доказанное, что явившаяся у Санчо мысль одурачить своего господина, убедив его, будто крестьянка сама Дульцинея Тобозская и то обстоятельство, что его господин не узнал ее, произошло вследствие ее околдования; я считаю за верное, говорю я, что это была выдумка чародеев, преследующих господина Дон-Кихота. В самом деле, я знаю из очень верных источников, что поселянка, так ловко вскочившая на свою ослицу, была действительно Дульцинея Тобозская, и что добрый Санчо, считая себя обманщиком, на самом деле сам был обманут. Это истина, в которой можно сомневаться не более чем в том, чего мы никогда не видали. Господин Санчо Панса должен звать, что и у нас в околотке есть чародеи, которые к нам расположены и которые попросту и на чистоту, безо всяких околичностей и уверток рассказывают нам все, что происходит на свете. Санчо может мне верить: скакавшая крестьянка была Дульцинея Тобозская, которая так же очарована, как и мать, которая ее родила. Она явится перед вами вдруг в настоящем своем виде именно тогда, когда мы этого всего менее будем ожидать, и тогда Санчо перестанет заблуждаться.

– Все это очень может быть! – вскричал Санчо. – Теперь я стану верить тому, что мой господин рассказывает, будто видел в Монтезинской пещере, где он видел, говорит, госпожу Дульцинею в том же наряде и в том же виде, как я ему рассказывал, что видел ее, когда мне вздумалось ее очаровать для собственного своего удовольствия. Все, верно, было наыворот, как говорите ваша милость, моя дорогая, добрая барыня; потому что не моего глупого ума дело было придумать в одну минуту такую хитрую плутню, и я не считаю моего господина таким безумным, чтобы мои жалкие убеждения могли заставить его поверить такой небылице. А все-таки, сударыня, не считайте меня таким уж злым, потому что такой болван, как я, не обязав понимать все хитрости и уловки подлых волшебников. Я выдумал эту штуку, чтоб мне не было нагоняя от моего господина Дон-Кихота, а не для того, чтоб его обидеть; а если он все повернул вверх дном, так пусть Господь на небесах нас рассудить.

– Совершенно верно, – согласилась герцогиня. – Но скажите, Санчо, что вы говорите о Монтезинской пещере? Мне очень хотелось бы знать это.

Санчо слово в слово рассказал ей все, что уже было рассказано об этом приключении.

Выслушав рассказ, герцогиня сказала: «Из этого события можно заключить, что если великий Дон-Кихот говорит, что видел там ту самую особу, которую Санчо видел при выходе из Тобозо, то это безо всякого сомнения, Дульцинея, и наши здешние волшебники, значить, совершенно правдивы, хотя и чересчур любопытны.

– Что до меня, – ответил Санчо, то я говорю, что если госпожа Дульцинея Тобозская очарована, так тем хуже для нее. У меня нет охоты ссориться с врагами моего господина, которые, видно, злы и многочисленны. По правде сказать, та, которую я видел, была крестьянка: за крестьянку я ее принял и за крестьянку считаю, а если это была Дульцинея, так, право же, не мне на то отвечать, а не то плохая выйдет штука. Пожалуй, меня станут корить на всех перекрестках: Санчо сказал, Санчо сделал, Санчо выведывает, Санчо выдумывает, – точно Санчо Бог весть кто такой, а не тот самый Санчо, что странствует по свету, что печатается в книгах, как мне сказывал Самсон Карраско, который по крайности бакалавр из Саламанского университета; а эти люди врать не станут, если только не придет им на то охота, либо из от того выходит выгода. Значит, ничего меня и корить, а так как мой господин говорить, что «добрая слава лучше богатства», так пусть мне только посадят на голову это губернаторство, и я покажу вам чудеса, потому что кто был хорошим оруженосцем, будет и хорошим губернаторов. – Все, что Санчо говорил до сих пор, подобно изречениям Катона или заимствовано, по крайней мере, из книги самого Мигеля Верино, *florentibus occidit annis*.<sup>[210]</sup> Словом, говоря его выражениями, под плохим плащом может быть и хороший нитух. – В сущности, сударыня, – отвечал Санчо, – во всю свою жизнь я не пил из шалости; из жажды – бывало, потому что я совсем не ханжа. Я пью, когда мне приходит охота, а если нет охоты, так тогда, когда мне дадут пить, потому что я не хочу корчить из себя неженки, и не хочу казаться невоспитанным. Какое сердце может быть таким каменным, чтобы не ответить на здравицу, предложенную другом? Но на брюхе шелк, а в брюхе щелк. Оруженосцы странствующих рыцарей пьют только воду, потому что всегда они находятся среди лесов, долин, гор и скал, не встречая нигде и капли вина, хотя бы они отдавали за него зеницу своего ока.

– Я думаю, – отвечала герцогиня, – но что касается настоящей минуты, то Санчо может отправиться на отдых. Потом мы поболтаем подольше и устроим, чтобы он поскорее мог, как говорит он, надеть на свою голову свое губернаторство.

Санчо снова поцеловал руки герцогини и обратился к ней с мольбой оказать ему милость и наблюдать, чтобы его Серому, зенице его ока, оказано было большое внимание. – Кто это, Серый? – спросила герцогиня.

– Это мой осел, – сказал Санчо, – которого я обыкновенно называю Серым, чтобы не назвать ослом. Я просил эту госпожу дуэнью, когда вступил в этот замок, чтобы она позаботилась о нем, но она рассердилась и покраснела так, как будто я сказал, что она стара и безобразна, а между тем это было бы для дуэний занятие более подходящее, нежели служить для парада в зале.

О, Пресвятая Дева! как зол был на этих дам один гидальго, мой земляк!

– Наверно, это был такой же мужик, как и вы, – воскликнула дуэнья донья Родригес, – потому что если бы он был дворянином и хорошего рода, он превозносил бы их до небес. – Будет, будет, – сказала герцогиня, – довольно. Пусть донья Родригес замолчит, а господин Санчо успокоится. Забота о Сером останется моей обязанностью, а так как это любимое детище Санчо, то я возьму его в свои руки.

– Для него и конюшня хороша, – отвечал Санчо, – потому что ни он, ни я недостойны быть в руках вашей светлости ни одного мгновения; скорее бы я согласился, чтобы меня пырнули ножом. Хотя мой господин и говорит, что в вежливости лучше пересолить, нежели недосолить, но в вежливости относительно ослов надо соблюдать меру и с весами в руках.

– Хорошо, – сказала герцогиня, – так пусть Санчо возьмет своего осла в свое губернаторство: там можно будет его угощать вволю, и даже дать ему пенсию.

– Не смейтесь, госпожа герцогиня, – отвечал Санчо. – Не одного осла видел я среди правящих, и если я приведу своего, вещь это будет не новая.

Эти выходки Санчо смешили и веселили герцогиню. Наконец она отослала его спать и передала герцогу о разговоре своем с ним. Потом они сообща обсудили, какую разыграть с Дон-Кихотом шутку, которая совершенно подходила бы к рыцарскому стилю, и в этом роде они сыграли с ним несколько шуток, притом столь удачных и хорошо задуманных, что они составили положительно лучшие события во всей этой великой истории.

## ГЛАВА XXXIV

**Где рассказано об открытии способа, как снять очарование с несравненной Дульцинеи, что составляет одни из самых удивительных событий в этой книге**

Герцог и герцогиня находили крайнее удовольствие в беседах с Дон-Кихотом и Санчо. Но особенно удивляла герцогиню глупость Санчо, благодаря которой он стал верить как в непреложную истину, что Дульцинея Тобозская была заколдована, тогда как сам он был и колдуном и мастером всего этого дела. Утвердившись в своем намерении сыграть со своими гостями несколько шуток, отдающих рыцарскими приключениями, они воспользовались рассказом Дон-Кихота о пещере Монтезиноса и построили на этом чудесную выдумку. Отдав своим людям инструкции и приказания о том, что каждому из них надлежало делать. Герцог и герцогиня чрез шесть дней пригласили рыцаря на охоту за большим зверем с целой командой псарей и собак, какую могло бы содержать разве только коронованное лицо. Дон-Кихоту дали охотничью одежду, так же как и Санчо, из зеленого сукна тончайшей работы. Дон-Кихот не захотел ее принять, сказав, что вскоре должен будет вновь приняться за суровое употребление оружия и что ему невозможно возить с собою гардероб. Что касается Санчо, то он взял одежду, которую ему дали, с намерением продать ее при первом случае, какой представится.

Когда день наступил, Дон-Кихот надел на себя полное вооружение, а Санчо – свое охотничье платье, и, сев на своего Серого, которого он не захотел оставить, хотя ему предлагали лошадь, замешался в толпу охотников. Герцогиня явилась в изящном наряде, а Дон-Кихот, всегда вежливый и галантный, взялся за узду ее лошади,<sup>[211]</sup> хотя герцог и попытался воспротивиться этому. Наконец они подъехали к лесу, лежавшему между двумя высокими горами; потом, расставив посты, заняв тропинки и распределившись по различным проходам, все общество принялось за охоту с таким шумом и гамом, что один другого не мог слышать отчасти из-за собачьего лая, отчасти из-за звуков охотничьих рогов. Герцогиня сошла с лошади и, взяв в руки острую рогатину, стала на место, где, как она знала, имели обыкновение проходить вепри. Герцог и

Дон-Кихот также сошли с лошадей и поместились около нее. Санчо же стал позади всех, не сходя со своего Серого, которого не решался оставить из опасения какой-либо беды.

Только что заняли они свои места, расставив по флангам большое число прислуги, как увидели бегущего на них, гонимого охотниками и преследуемого собаками громадного вепря, который скрипел зубами и клыками и извергал пену изо рта. Увидав его, Дон-Кихот тотчас схватил в руку меч, сжал свой щит и храбро выступил ему навстречу. Герцог сделал то же самое со своей рогатиной, а герцогиня предупредила бы их всех, если бы герцог не остановил ее. Один Санчо, при виде страшного зверя, пустил своего осла и со всех ног стал удирать; потом он попытался вскарабкаться на большой дуб, но тщетно, потому что, взобравшись до середины ствола и ухватившись за ветку, чтобы дотянуться до вершины, он был так несчастен, что ветка отломилась и он, падая вниз, повис на одном суку, не имея возможности добраться до земли. Почувствовав себя в таком висячем положении, заметив, что зеленый его камзол разорван, и что ужасное животное, пробегая в этом месте, могло бы его достать, он стал издавать такие крики и с такой настойчивостью просить о помощи, что все, слышавшие, но не видевшие его, подумали, что он находится в зубах какого-либо хищного зверя.

Вепрь с длинными клыками пал, наконец, под ударами множества направленных против него железных рогатин, и Дон-Кихот, обернувшись в ту сторону, откуда раздавались крики Санчо (голос которого он узнал), увидел его висящим на дубе, головой вниз, и под ним его Серого; который не покинул его в беде. Сид-Гамед говорит по этому поводу, что он очень редко видел Санчо Панса без осла, а осла без Санчо, так велика была их взаимная дружба и такую верность хранили они один к другому. Дон-Кихот подошел и отцепил Санчо, а тот, лишь только получил свободу, коснулся земли, осмотрел тотчас дыру на своем охотничьем платье, которая и пронзила его душу до глубины, потому что он уже мысленно чуть не имение купил на это платье.

Громадного вепря навьючили, наконец, на мула, и охотники, покрыв его ветками розмарина и миртовыми букетами, с торжеством привезли его, как останки неприятельского полководца, к большим палаткам, разбитым среди леса. Там оказался расставленным и накрытым стол такой изобильный, такой роскошный, что по нему можно было судить о величии и щедрости тех, кто его предлагал. Санчо, указывая на раны своего изорванного платья, сказал: «Если бы это была охота на зайцев или малых птиц, мой камзол не был бы в таком состоянии. Я не понимаю, какое

удовольствие ждать животное, которое, если схватит вас своими клыками, может отнять у вас жизнь. Я помню, слышал, как в одной старой песне говорится: «Будь ты съеден медведем, как славный Фавила!»

– Это был, – сказал Дон-Кихот, – Готский король,<sup>[212]</sup> который, отправившись на охоту за медведями, был одним медведем съеден.

– Это я и говорю, – заговорил снова Санчо;– я бы не хотел, чтобы короли и принцы подвергались подобным опасностям, ища удовольствия, которое собственно не должно было бы быть удовольствием, потому что состоит в том, чтобы убить животное, которое не сделало ничего дурного.

– Напротив, Санчо, – отвечал герцог, – вы очень ошибаетесь, потому что упражнение в охоте за большим зверем более подобает и более необходимо королям и принцам, нежели кому другому. Эта охота есть подобие войны. В ней употребляются военные хитрости, уловки и засады для победы над врагом без опасности для себя; в ней подвергаешь себя сильнейшему холоду и невыносимой жаре; в ней забываешь о сне и отдыхе; тело в ней крепнет, мускулы становятся более гибкими. Наконец, это такое дело, в котором можешь доставить удовольствие нескольким, не вредя никому. Кроме того, и это самая лучшая ее сторона, она годится не для всех, как другие виды охоты, кроме охоты соколиной, которая также принадлежит только королям и важным барам. Итак, Санчо, перемените мнение и, когда будете губернатором, предайтесь охоте. Увидите, как она вам понравится.

– О, тут-то и нет, – отвечал Санчо, – хороший губернатор, как хорошая жена должен всегда быть дома. Недурно было бы, если бы люди, занятые делами, должны были отправляться искать его Бог знает где, а он развлекался бы себе в лесу. Дела шли бы тогда вкривь и вкось. Честное слово, сударь, – охота и всякие такие развлечения созданы скорее для бездельников, нежели для губернаторов. Нет, я думаю забавляться лишь священными представлениями в четыре пасхальных дня<sup>[213]</sup> и игрой в шары во воскресеньях и другим праздникам. Все эти охоты не в моем духе и не прилаживаются к моей совести.

– Дай Бог, Санчо, чтобы это так осталось, – отвечал герцог, – потому что от слова до дела расстояние очень велико.

– Ну, и что ж, – отвечал Санчо, – хорошему плательщику не трудно брать на себя обязательства, и лучше тому, кому Бог помогает, нежели тому, кто рано встает, и не ноги служат кишкам, а кишки ногам. Я хочу сказать, что если Бог мне поможет, и если я буду исполнять то, к чему питаю доброе намерение, то без сомнения буду править лучше, нежели королевский осел,

а если нет, пусть мне положат пальцы в рот и посмотрят, сожму я зубы или нет.

– Проклят будь ты Богом и всеми его святыми! – воскликнул Дон-Кихот. – Когда же наступит день, как я тебе уже столько раз говорил, в который ты начнешь говорить без поговорок, речью последовательной и осмысленной. Оставьте, ваши светлости, этого дурака, иначе он размелет вам душу не только между двумя, но между двумя тысячами поговорок, приведенных так кстати, так к месту, что пускай Бог лишит его или меня спасения, если я охотно их слушаю.

– Поворотки Санчо Панса, – сказала герцогиня, – хотя они и многочисленнее, нежели у греческого комментатора,<sup>[214]</sup> но, тем не менее, заслуживают уважения за краткость сентенций. Что касается меня, то я могу сказать, что они доставляют мне более удовольствия, нежели какие-либо другие, лучше приведенные и более кстати примененные.

Среди таких бесед и других, не менее занимательных, вышли они из палаток и отправились в лес, где оставшая часть дня прошла в приискании постов и приготовлении сторожек. Наступила ночь, но не такая ясная и чистая, какую можно было ожидать по времени года, потому что была середина лета, она принесла с собою и распространила какой-то полумрак, который удивительно помог планам хозяев Дон-Кихота. Только что ночь упала на землю, почти тотчас как окончились сумерки, лес внезапно вспыхнул огнями со всех четырех сторон. В то же время, спереди, сзади, со всех сторон раздались бесконечные звуки труб, военного оружия, а равно и шагов многочисленной кавалерии, следовавшей лесом по всем направлениям. Свет огня и звон военного оружия почти ослепил и оглушил присутствующих, равно и всех находившихся в лесу. Вдруг раздались бесконечные гелели, обычный крик мавров, когда они вступают в бой. Барабаны бьют, трубы, рожки и дудки звучат все в одно время, так беспрерывно и так сильно, что тот никогда не имел рассудка, кто мог бы его сохранить среди смешанного шума стольких инструментов. Герцог побледнел, герцогиня задрожала, Дон-Кихот почувствовал себя смущенным, Санчо трепетал всеми своими членами, и даже те, кто знал истину, были испуганы. Вместе со страхом они были охвачены как бы немотой, но в это время на колеснице демона пронесся пред ними почтальон, трубя, вместо трубы, в рог бесконечных размеров, из которого выходили звуки хриплые и ужасные. «Эй, брат курьер, – крикнул герцог, – кто ты такой? откуда ты? что это за войско проходит лесом?» Курьер отвечал голосом грубым и суровым:

– Я дьявол, разыскиваю Дон-Кихота Ламанчского; проходящие здесь



люди – шесть отрядов волшебников, увозящих на триумфальной колеснице несравненную Дульцинею Тобозскую; заколдованная вместе с блистательным Франциском Монтезиносом она едет, чтобы сообщить Дон-Кихоту, как снять с бедной дамы очарование».

– Если б ы ты был дьяволом, как говоришь, и как показывает и вид твой, – заговорил снова герцог, – ты бы сам узнал рыцаря Дон-Кихота Ламанчского, потому что он тут пред тобою.

– Клянусь своей душой и совестью, – отвечал дьявол, – что я не обратил на него внимания; ум мой занят столькими вещами, что я забыл самую главную, именно ту, за которую ехал.

– Этот дьявол, – воскликнул Санчо, – без сомнения, человек честный и добрый христианин, потому что иначе он не клялся бы своею душою и совестью. Теперь я буду верить, что даже в аду есть добродетельные люди.

Дьявол, не сходя на землю и повернувшись к Дон-Кихоту, тотчас сказал: «К тебе, рыцарь Львов (да не попадешь ты в их когти!) – посылает меня несчастный, но доблестный рыцарь Монтезинос, чтобы сказать тебе, чтобы ты дождался его на том месте, где я тебя встречу, потому что он везет с собою ту, которую зовут Дульцинеей Тобозской, затем, чтобы сообщить тебе, какое средство ты должен употребить, чтобы снять с нее очарование. Так как прибытие мое имело одну эту цель, то я должен сейчас удаляться. Да пребудут с тобою демоны моего рода, а с этими господами – добрые ангелы». С этими словами он снова затрубил в свой громадный рог и удалился, не дожидаясь ни от кого ответа.

Удивление овладело всеми, особенно Санчо и Дон-Кихотом: Санчо потому, что он увидел, что во что бы то ни стало и вопреки истине хотят, чтобы Дульцинея действительно была заколдована, а Дон-Кихотом потому, что он все еще не мог разобрать, было ли истинно или ложно то, что произошло с ним в пещере Монтезиноса. Пока он терялся в этих мыслях, герцог обратился к нему с вопросом: «Ваша милость думаете подождать этого появления, господин Дон-Кихот? – Почему нет? – отвечал он. – Я буду ждать твердо и смело, хотя бы на меня произвел нападение целый ад.

– Ну, так и я, – воскликнул Санчо. – Если я увижу другого такого же дьявола, как тот, который был сейчас, и если услышу звуки другого такого же козлиного рога, я буду ждать здесь, как будто бы я был во Фландрии.

Ночь в это время окончательно спустилась на землю, и сквозь лес стали там и сим появляться огни, которые распространяет в небе сухое дыхание земли и которые нам кажутся целой вереницей звезд. В то же время раздался ужасающий шум, в том роде, какой производят массивные колеса телег, везомых волами, шум резкий, скрипучий, беспрерывный,

заставляющий, говорят, разбегаться волков и медведей, если они попадают на пути. Ко всему этому грохоту присоединился другой, еще более увеличивавший его; казалось, действительно, что со всех четырех сторон леса в одно и тоже время происходили четыре битвы. Там раздавался глухой и страшный гул артиллерии; здесь грохотало бесчисленное множество пищалей; совсем по близости слышались крики сражающихся, а издали доносились гегели сарацинов. Наконец, охотничьи рога и рожки, дудки, трубы, барабаны, артиллерия, выстрелы пищалей, а надо всем этим ужасный шум телег, – все это сливалось в гул такой смутный, такой страшный, что Дон-Кихот должен был собрать все свое мужество, чтобы ждать без ужаса. Что касается Санчо, то его мужество сразу исчезло: он без чувств упал к ногам герцогини, которая подостлала ему подол своего платья и поспешила брызнуть ему водой в лицо. После этого окропления он пришел в себя как раз в ту минуту, когда телеги со скрипучими колесами стали подъезжать к месту, где они находились. Ее влекли четыре ленивых вола, сплошь покрытые черными попонами, а к каждому их рогу прикреплен был зажженный факел. На телеге возвышалось нечто вроде трона, а на нем сидел почтенный старец с бородой белой как снег и такой длинной, что она спускалась ниже его пояса. Одет он был в длинное черное платье из бумажной материи, а так как телега была освещена бесчисленным множеством огней, то на ней можно было разглядеть каждую мелочь. Телегу сопровождали два безобразных демона, одетых, как и старец, но с такими отвратительными лицами, что, увидав их раз, Санчо закрыл глаза, чтобы не увидеть в другой. Когда телега поравнялась с местом, где находилась вся компания, почтенный старец поднялся со своего возвышения и, стоя на ногах, сказал громким голосом: «Я мудрый Лиргандео», – и телега проследовала далее, а он не прибавил и слова более. За, этой телегой последовала другая, точно такая же с другим старцем, восседавшим на троне, которые, оставив свою колесницу, сказал голосом не менее важным, нежели первый: «Я мудрый Алкиф, великий друг неузнанной Урганды», – и он проследовал далее. Тотчас и таким, же образом подъехала и третья телега. Но сидевший в ней на троне был не старцем, как в тех двух, это был человек толстый и коренастый, с отвратительным лицом. Подъехавши, он поднялся с места, как и другие двое, и произнес голосом еще более хриплым и дьявольским: «Я Аркалай-волшебник, смертельный враг Амадиса Галльского и всего его рода», – и проследовал далее.

В некотором расстоянии все три телеги остановились, и тогда превратился невыносимый скрип колес. И теперь слышны были лишь

звуки нежной и стройной музыки. Санчо она доставила большое удовольствие, и он принял ее за доброе предзнаменование. «Сударыня, – сказал он герцогине, от которой не отступал ни на шаг, – там, где есть музыка, ничего дурного уже быть не может».

– Так же как и там, где есть свет и сияние, – отвечала герцогиня.

– О, – заметил Санчо, – огонь дает свет, а горнило дает сияние, как мы можем видеть это по окружающим нас огням, которые, однако, могут нас сжечь. Музыка же всегда служит признаком веселия и торжества.

– А вот мы сейчас увидим, – сказал Дон-Кихот, который слушал эту беседу, и он был прав, как докажет следующая глава.

## **ГЛАВА XXXV**

### **Где продолжается рассказ об открытии, сделанном Дон-Кихоту относительно способа, как снять очарование с Дульцинеи, а также и о других событиях, достойным удивления**

Они тотчас увидели приближавшуюся к ним, под такт приятной музыки, одну из тех колесниц, которые называются триумфальными, везомую шестью гнедыми мулами, покрытыми попоною из белого сукна, на каждом из которых сидел кающийся, в роде тех, которые приносят повинную, тоже в белой одежде и с большой восковой свечой в руке. Эта колесница была вдвое, если не втрое, больше прежних. Бока и края ее были наполнены двенадцатью других кающихся, белых как снег, и каждый с зажженным факелом – зрелище одновременно и поражающее и устрашающее. На возвышенном троне среди колесницы сидела нимфа, покрытая тысячью газовых серебристых покрывал, на которых сверкало бесчисленное множество золотых блесток, служивших если не богатым, то, по меньшей мере, изящным украшением костюма. Лицо ее было покрыто шелковым тонким и прозрачным газом, ткань которого не мешала разглядеть под нею очаровательное девическое личико. Многочисленные огни давали возможность различить и черты ее и возраст, который, по видимому, не достиг двадцати лет, но перешел за семнадцать. Рядом с нею находилась особа, одетая с головы до ног в бархатное платье с длинным шлейфом, с головой покрытой черной вуалью.

В ту минуту, как колесница совершенно поравнялась с герцогом и Дон-Кихотом, звуки рожков прекратились, и тотчас послышались звуки арф и лютней, исходившие из самой колесницы. Тогда, выпрямившись во весь рост, особа в длинном платье распахнула его в обе стороны и, подняв вуаль, покрывавшую ее лицо, открыла всем взорам фигуру смерти, отвратительную и с обнаженными костями. Дон-Кихот побледнел, Санчо задрожал от страха, а герцог и герцогиня сделали движение испуга. Эта живая смерть, ставши на ноги, голосом сонным и языком плохо повинующимся, начала говорить следующее:

«Я тот Мерлин, о ком рассказы ходят,

Что будто бы отцом его был дьявол  
(Ложь, приобретшая гражданства право),  
Князь магии, монарх самодержавный,  
Хранитель зороастровой науки,  
Годов и вечности соревнователь,  
Стремящихся деянья уничтожить  
Тех странствующих рыцарей-героев,  
К которым я всегда любовь питаю.

«Хотя у всех волшебников на свете,  
У колдунов и магов нрав бывает  
Суров, жесток и мрачен постоянно,  
Мой – кроток, мягок и любвеобилен,  
И людям всем добро готов я сделать.

«В пещерах мрачных и суровых  
Рока. Когда моя душа тем занималась,  
Что линий и знаки сочетали,  
Донесся до меня вдруг голос скорбный  
Прекрасной, несравненной Дульцинеи.

«Увидел я ее очарованье  
И превращение из дамы нежной  
В крестьянку грубую; охвачен горем,  
Я заключил мой дух в места пустыя  
Вот этого ужасного скелета,  
Пред тем перелистав сто тысяч книжек  
Моей науки дьявольской, бесплодной;  
И вот являюсь я теперь с лекарством:  
Оно поможет в горести великой,

«О, честь и слава тех, кто облекает  
Себя в доспех из стали и алмаза;  
Светильник, свет, звезда, руководители  
Всех тех, которые, от сна воспрянув,  
Покинув пух перин, горят желаньем  
Служить труднейшему из всех искусству  
Тяжелого, кровавого оружия.

«Тебе я говорю, герой, достойно  
Ни разу не воспетый, вечно храбрый  
И мудрый Дон-Кихот, Ламанчи светоч,  
Звезда Испании; говорю тебе я,  
Что, для того чтоб возвратить вид прежний  
Прекрасной без сравненья Дульцинее,  
Потребно, чтоб оруженосец Санчо  
Три тысячи и триста дал ударов  
Себе по ягодицам толстым плетью,  
Их обнаживши, и таким манером,  
Чтоб от ударов тех следы остались.  
И этим лишь одним достигнуть можно,  
Чтоб скрылись счастья Дульциinei воры. —  
Докладаваю вам о том, сеньоры».

— Ну так, честное слово, — воскликнул Санчо, — не только не дам я себе трех тысяч, но и трех ударов плетью, как если бы это были три удара ножом. К черту этот способ снятия колдовства! Да и какое отношение имеют мои ягодицы к колдовству? Клянусь Богом, если господин Мерлин не нашел другого способа снять чары с госпожи Дульциinei Тобозской, то пусть ее остается заколдованною до самой могилы.

— А я возьму вас, — воскликнул Дон-Кихот, — господин мужик, напивавшийся чесноком, привяжу вас к дереву, в чем мать родила и дам вам не три тысячи триста, а шесть тысяч шестьсот ударов плетью и так метко, что вам не отделаться от них, хоть вы три тысячи триста раз вертите спину. И не отвечайте мне ни слова, или я вырву из вас душу.

Услыхавши это, Мерлин сказал: «Нет, так нельзя; нужно, чтобы удары, которые получит добрый Санчо, даны были ему по доброй его воле, а не силою, и в такие минуты, какие ему угодно будет выбрать, потому что срок ему назначен не будет. Впрочем, если он хочет искупить эту пытку половиною цифры ударов плетью, ему позволено предоставить нанесение себе этих ударов чужой рукой, хотя бы несколько и тяжелой.

— Ни чужая, ни своя, ни тяжелая, ни легкая, — отвечал Санчо, — никакая рука не тронет меня. Разве я произвел на свет госпожу Дульцинею Тобозскую, чтобы своими ягодицами платиться за грех, произведенный ее прекрасными глазами? Это хорошо для моего господина, который составляет часть ее самой, потому что на каждом шагу он называет ее: «моя жизнь, моя душа, моя опора». Он может и должен отхлестать себя за

нее и сделать все возможное для освобождения ее от чар, но мне отхлестать себя за нее, мне?... abernuncio.

Только что Санчо высказал эти слова, как серебристая нимфа, сидевшая близ духа Мерлина, поднялась во весь рост и, откинувши свою легкую вуаль, открыла лицо, которое показалось всем сверхъестественно красивым» но потом, с мужским жестом и голосом мало женственным, она произнесла, обращаясь прямо к Санчо Панса: «О, злополучный оруженосец, – сказала она, – куриное сердце, бронзовая душа, каменные внутренности! Если бы тебе приказали, дерзкий разбойник, кинуться вниз с высокой башни, если бы от тебя потребовали, враг рода человеческого, чтобы ты съел дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей; если бы тебя убеждали убить свою жену и своих детей отточенным острием тяжелого палаша, – было бы неудивительно, что ты проявил бы себя неучтивым и отказался бы напрямик. Но делать историю из-за трех тысяч трехсот ударов плети, когда не найдется ученика в монастырях, как бы плох он ни был, который каждый месяц не получал бы по столько же, – это положительно удивляет, оглушает, оцепеняет сострадательные внутренности всех тех, кто слышит подобный ответ, и даже тех, кто с течением времени узнает о нем. Обрати, о животное жалкое и очерствелое, обрати, говорю, свои отуманенные ослиные глаза на зрачки моих, блестящих, как мерцающие звезды, и ты увидишь, что они проливают слезы капли за каплей, ручей за ручьем, проводя стезя, тропинки и дороги по прекрасным полям моих щек. Сжался, чудовище упрямое и злонамеренное, сжался при виде того, как мой нежный возраст, не прошедший еще двух десятков лет, – потому что мне девятнадцать, и нет еще полных двадцати лет, – снедает себя и отцветает под корой грубой крестьянки. Если сейчас у меня вид иной, то только благодаря особенной милости, оказанной мне господином Мерлином, здесь присутствующим, исключительно для того, чтобы мой прелести тебя смягчили, потому что слезы опечаленной красоты превращают скалы в пух и тигров в овец. Бей себя, бей в эти толстые куски мяса, дикий и необузданный зверь, и оживи в себе мужество, которое ты только тогда и пускаешь в ход, когда наполняешь себе рот и живот, возврати свободу тонкости моей кожи, мягкости моего нрава и красоте моего лица. Но если ты не хочешь для меня смягчиться и покориться рассудку, то сделай это для этого бедного рыцаря, который стоит около тебя, для своего господина, говорю я, душу которого я вижу в эту минуту, потому что она засела в его горле, в пяти или шести дюймах от губ, потому что она только ждет твоего ответа, грубого или нежного, чтобы либо выйти из него через рот, либо возвратиться к нему в

желудок.

При этих словах, Дон-Кихот пощупал себе горло и, обращаясь к герцогу, воскликнул:

– Клянусь Богом, сударь, Дульцинея сказала правду, потому что вот она, душа моя, остановилась среди горла, как арбалетный орех.

– Что вы на это скажете, Санчо? – спросила герцогиня.

– Я скажу, что сказал, – сударыня, – отвечал Санчо, – что касается ударов плетью – *abrenuncio*.

– Надо говорить, Санчо, – заметил герцог, – *abrenuncio*, <sup>[215]</sup> а не так как вы говорите.

– О, ваша светлость, оставьте меня в покое, – отвечал Санчо, – я не в таком состоянии теперь, чтобы обращать внимание на тонкости и на то, меньше или больше одной буквой, потому что эти проклятые удары плетью, которые должны быть мне даны или которые я сам должен себе дать, меня так огорчают, что я не знаю, что говорю и что делаю. Но я хотел бы услышать от ее светлости госпожи доньи Дульцинеи Тобозской, где она научилась манере, которую она пускает в дело, обращаясь к людям с просьбой. Она просит у меня вскрыть себе мясо ударами плети, и при этом называет меня куриным сердцем, диким необузданным животным, с целой литанией других оскорблений, каких и дьявол не перенес бы. Разве мое мясо из бронзы? разве мне очень важно, заколдована она или нет? Какую корзину белья, сорочек, платков и обуви (хотя я ее и не ношу) послала она вперед, чтобы тронуть мне сердце? Вместо того она посылает одно оскорбление за другим, хотя знает пословицу, употребляемую здесь, что осел, навьюченный золотом, легко всходит на гору, и что подарки пробивают скалу, и что лучше синицу в руки, нежели журавля в небе, и что на Бога надейся, а сам не плошай. А синьор, мой господин, вместо того, чтобы обнять меня, подольщаться и ласкать, чтобы я растаял как воск, говорит, что если схватит меня, то привяжет меня совсем голого к дереву и удвоит мне порцию ударов плетью! Разве эти добрые, сочувствующие души не должны были бы принять в соображение, что они просят, чтобы отхлестал себя не оруженосец только, а еще и губернатор, точно они предлагают мне поесть меду на вишнях. Так пусть же в злой для себя час они научатся молить и просить, научатся быть учтивыми, потому что день на день не приходится, и люди не всегда бывают в духе. Я теперь пронзен печалью при виде дыр на моем зеленом камзоле, а от меня требуют, чтобы я по доброй воле себя отхлестал, когда у меня на это столько же охоты, как сделаться мексиканским князем.

– Ну, друг Санчо, – сказал герцог, – если вы не размягчитесь, как вялая



груша, вы не получите губернаторства. Хорошо было бы в самом деле, если бы я послал к своим островитянам жестокого губернатора с каменными внутренностями, который не сдастся на слезы опечаленных девиц, на мольбы скромных чародеев и на повеления мудрых старцев! Одним словом, Санчо, или вы сами себя отхлещете, или вас отхлещут, или вы не будете губернатором.

– Ваша светлость, не дадут ли мне два дня на размышление, чтобы мне решить, что лучше?

– Нет, вы в каком случае, – перебил Мерлин. – Тут же на месте и в эту же минуту должно быть это дело решено. Или Дульцинея возвратится в пещеру Монтезиноса, превращенная снова в крестьянку, или в своем настоящем виде она будет перенесена в Елисейские поля, чтобы дожидаться полной порции бичевания.

– Ну, добрый Санчо, – воскликнула герцогиня, – будьте мужественны и ответьте достойно за хлеб, который вы ели у господина Дон-Кихота, которому все мы должны служить и любить за его превосходный нрав и высокие подвиги рыцарства. Скажите да, сын мой. Согласитесь на эту епитимью, и пусть дьявол пойдет к дьяволу, страх уйдет к трусу, потому что несчастье разбивается о доброе сердце, как вам известно так же, как мне.

Вместо ответа на эту речь, Санчо, потеряв голову, обратился к Мерлину:

– Скажите мне, господин Мерлин, – сказал он ему, – когда дьявол курьер явился нам, он принес моему господину поручение от господина Монтезиноса, предлагавшего ему подождать его здесь, потому что он научит его, как снять чары с госпожи доньи Дульцинеи Тобозской, но до сих пор мы не видели ни Монтезиноса, ни чего-либо подобного.

– Дьявол, друг Санчо, – отвечал Мерлин, – невежда и величайший негодяй. Послал его отыскать вашего господина я и с поручением вовсе не от Монтезиноса, а от себя, потому что Монтезинос находится в своей пещере, ожидая, пока с него будут сняты чары, которым остается еще оторвать хвост. Если он вам что-либо должен или если у вас есть к нему дело, я к вам его приведу и доставлю вам его куда вам угодно. А пока согласитесь на это бичевание. Оно, поверьте мне, принесет много пользы вашей душе и телу. Душе тем, что послужит упражнением для вашего христианского милосердия; телу потому, что я знаю, что вы полнокровны и что недурно выпустить вам немного крови.

– Врачей на свете много, – отвечал Санчо, – и без волшебников, которые тоже вмешиваются в медицину. Но так как все настаивают на этом,

хотя я не вижу ничего в этом хорошего, я соглашаюсь дать себе три тысячи триста ударов плетью, но при условии, что я буду давать их себе, когда и как захочу, чтобы мне не назначали ни дней, ни сроков, но я постараюсь выплатить долг возможно скорее, чтобы свет мог наслаждаться красотой госпожи доньи Дульцинеи Тобозской, потому что она кажется, совсем напротив тому, что я думал, действительно очень красивою. Другое условие торга – чтобы мне не нужно было пускать себе кровь бичеванием, и если некоторые удары будут такие, что сгонят лишь мух, они тоже должны войти в счет. Также, если я ошибусь в счете, господин Мерлин, который знает все, позаботится сосчитать удары и дать мне знать, сколько не хватает или сколько было лишних.

– О лишних, – отвечал Мерлин, – не зачем будет сообщать, потому что, как только будет достигнута необходимая цифра, госпожа Дульцинея в ту же минуту освободится от чар и, как признательная дама, явится к доброму Санчо, чтобы поблагодарить его и вознаградить за доброе дело. Поэтому, нет надобности заботиться, будет ли больше или меньше, и да сохранит меня небо от обмана кого-либо хотя бы на один волос!

– Ну, так с Божьей помощью! – воскликнул Санчо. – Я соглашаюсь на пытку, то есть на епитимью, на выговоренных условиях.

Только что Санчо произнес эти слова, как музыка раздалась вновь, и тотчас начались залпы из ружей. Дон-Кихот повис на шее своего оруженосца и стал покрывать тысячью поцелуев его щеки и лоб. Герцог, герцогиня и все присутствующие выказывали, будто испытывают необычайную радость по случаю этой счастливой развязки. Наконец колесница тронулась в путь, и, уезжая, прекрасная Дульцинея кивнула головой герцогу и герцогине и низко присела Санчо.

В эту минуту начала всходить смеющаяся и румяная заря. Полевые цветы подняли и выпрямили свои стебли; хрустально чистые ручьи, шепчась с белыми и серыми камешками, по которым бежали, неслись к рекам с данью, которой те ожидали. Радостная земля, светлое небо, ясный воздух, прозрачный свет – все возвещало, что день, который приближался уже на подоле платья Авроры, будет спокоен и прекрасен. Удовлетворенные охотой и тем, что так легко и удачно достигли своей цели, герцог и герцогиня возвратились в свой замок с намерением продолжать шутки, которые их занимали более всяких других развлечений.

## **ГЛАВА XXXVI**

### **Где рассказано о странном и невообразимом приключении дуэньи Долориды, она же графиня Трифальди, с письмом, написанным Санчо Панса к своей жене Терезе Панса**

У герцога был мажордом – весельчак и забавник. Он и представил из себя Мерлина, распорядился приготовлениями к предшествовавшему походу, составил стихи и поручил одному пажу изобразить из себя Дульцинею. По требованию своих господ он тотчас подготовил другую шутку – самую забавную и странную из выдумок, какие можно себе вообразить.

На другой день герцогиня спросила Санчо, приступил ли он уже к епитимье, наложенной на него для освобождения Дульцинеи от чар.

– Конечно, приступил, – отвечал он. – Сегодня ночью я дал уже себе пять ударов.

– Чем же вы себе их дали? – спросила герцогиня.

– Рукой, – отвечал он.

– О, – возразила она, – это скорей значит потрепать себя, нежели ударить. Я думаю, мудрый Мерлин не будет доволен такой изнеженностью. Надо было бы вам, добрый Санчо, устроить себе хорошее бичевание веревочками с железными узлами, которые хорошо дают себя чувствовать. Говорят, что наука входит с кровью, а вы думаете, что такой легкой ценой можно купить освобождение Дульцинеи.

– Хорошо, – отвечал Санчо, – снабдите меня, ваша светлость, какой-нибудь плетью или какими-нибудь соответственными веревками. Я буду ими пороть себя, но так, чтобы меня не слишком жгли, потому что ваша милость должны знать, что хотя я и мужик, но тело мое скорей склонно к хлопку, чем к снастям, и несправедливо было бы мне разодрать себя в клочья ради других.

– В добрый час, – отвечала герцогиня. – Завтра я дам вам плетень, которая подходит к вашим целям и которая соответствует нежности ваших телес так, как будто бы она была их сестрой.

– Кстати, – сказал Санчо, – надо вашей милости, дорогая дама души моей, знать, что я написал письмо жене моей Терезе Панса с отчетом о том,

что со мной было с тех пор, как мы расстались. Письмо это тут у меня за пазухой, и остается только надписать на нем адрес. Я хотел бы, чтобы ваша милость потрудились прочесть его, потому что мне кажется, что оно составлено так, как пишут губернаторы.

– А кто его сочинил?

– Да кто же мог его сочинить, кроме меня, грешного? – ответил Санчо.

– И вы же его и написали? – продолжала спрашивать герцогиня.

– Ну, нет, – ответил Санчо, – потому что я не умею ни читать, ни писать, а умею только подписываться.

– Ну, посмотрим ваше письмо, – сказала герцогиня: – вы, наверное, обнаружили в нем все достоинство и величие своего ума.

Санчо вынул из-за пазухи незапечатанное письмо, и герцогиня, взяв его, прочитала следующее.

### **Письмо Санчо Панса к жене его Терезе Панса.**

Когда меня хорошо стегали плетьюми, я твердо сидел на своем седле, а когда у меня есть хорошее губернаторство, оно мне стоит хороших ударов плетьюми. Ты ничего теперь не поймешь в этом, дорогая Тереза, но после узнаешь, в чем дело. Знай же, Тереза, что я решил вот что: что ты будешь ездить в карете. Это теперь самое главное, потому что ездить иначе значит ползать на четвереньках:<sup>[216]</sup> ты жена губернатора, и теперь никто тебе в подметки не годится. Посылаю тебе при сем зеленый охотничий наряд, подаренный мне госпожой герцогиней; переделай его так, чтоб из него вышли юбка и корсаж для нашей дочери. Дон-Кихот, мой господин, как говорят здесь, умный безумец и забавный дурак» говорят то же, что и я того же сорта. Мы спускались в Монтезинскую пещеру, и мудрец Мерлин употребляет меня на то, чтоб снять чары с Дульцинеи Тобозской, которая называется у нас Альдонсой Лоренсо. Когда я отсчитаю себе три тысячи триста ударов плетьюми без пяти, она так же перестанет быть заколдованной, как и мать, которая ее родила. Никому не говори об этом, потому что знаешь поговорку: «на всякое чиханье не наздравствуешься», и что один находит белым, то другой называет черным. Через несколько дней я поеду губернаторствовать, и я еду туда с большой охотой скопить деньгу, потому что мне говорили, что все новые губернаторы едут всегда с такой же охотой. Я хорошенько ощупаю это место и тогда напишу тебе, приезжать ли тебе или нет. Осел здоров и

кланяется тебе; я его не брошу, хотя бы меня сделали султаном. Госпожа герцогиня тысячу раз целует твои руки; целуй ты ее руки две тысячи раз, потому что, как говорит мой господин, ничего так дешево не стоит и так высоко не ценится, как вежливости. Бог не послал мне другого такого чемодана со ста золотыми, как в тот раз, но не кручинься, дорогая Тереза: дело мое в шляпе, а губернаторство все поправит. Мне только очень неприятно, когда говорят, что оно мне так понравится, что я поем свои пальцы. Тогда, значит, оно мне не дешево обойдется, хотя для калек и безруких милостыня, которую они просят, все равно, что каноникам. Значит, так или иначе, ты будешь богата и счастлива. Да пошлет тебе Бог счастья, сколько может, и да сохраняют Он меня, чтоб служить тебе. В сем замке, 20го Июля 1614 г.

«Твой муж, губернатор

*Санчо Панса»*

Окончив чтение письма, герцогиня сказала Санчо:

– В двух вещах добрый губернатор несколько уклоняется от прямого пути. Первая – это, что он говорить или дает понять, будто ему губернаторство пожаловано за удары плетью, которые он должен себе нанести, тогда как он отлично знает и не может отрицать, что тогда, когда герцог, мой господин, обещал ему губернаторство, никто и не думал о том, что на свете существуют удары плетью. Вторая вещь – это, что он обнаруживает немножко корыстолюбия, а я не хотела бы, чтоб он был таков, потому что слишком наполненный мешок прорывается, и алчный губернатор не чинит, а продает правосудие.

– О, я вовсе не то хотел сказать, сударыня! – возразил Санчо. – Если ваша милость находит, что письмо написано не как следует, так остается только разорвать его и написать другое, и может случиться, что второе будет еще хуже, если положиться на меня.

– Нет, нет! – остановила его герцогиня. – И это хорошо, и я покажу его герцогу.

С этими словами она отправилась в сад, где в этот день накрыт был обеденный стол.

Герцогиня показала письмо Санчо герцогу, которого оно очень насмешило. Когда отобедали и убрали со стола и когда достаточно позабавились изысканными разговорами Санчо, вдруг раздался

пронзительный звук рожка вместе с глухими нестройными ударами барабана. Все, казалось, встревожились этой воинственной унылой музыкой, особенно Дон-Кихот, который едва мог усидеть на стуле, до того велика была его тревога. О Санчо нечего и говорить, кроме того, что страх загнал его в обычное его убежище, к подолу платья герцогини. И действительно, послышавшаяся музыка была уныла и меланхолична до последней степени. Среди всеобщего удивления и воцарившегося вдруг молчания, в сад вошли и стали приближаться два человека в траурных платьях до того длинных, что значительная часть их волочилась по земле. Оба они ударяли в большие барабаны, также обтянутые черным сукном. Рядом с ними шел человек, игравший на рожке, такой же черный и зловещий, как и первые двое. За этими тремя музыкантами шел человек с гигантской фигурой, не одетый, а обремененный огромнейшим черным плащом, громадный шлейф которого тащился за ним на большом расстоянии. Поверх плаща он был опоясан широкой перевязью, также черной, с висевшим на ней огромным палахом с черной рукояткой и черных же ножнах. Лицо его покрыто было прозрачным черным покрывалом, сквозь которое можно было разглядеть длинную белоснежную бороду. Он шел мерным шагом, под барабанные звуки, весьма спокойно и важно. Его рост, чернота, походка, света – все это было такого свойства, что могло бы удивить всякого не знавшего его. Он медленно и торжественно приблизился и опустился на колени перед герцогом, который поднялся с места и ожидал его, окруженный всеми присутствовавшими. Но герцог ни в каком случае не соглашался выслушать его, пока он не поднимется. Чудовищное страшилище вынуждено было уступить и, встав на ноги, подняло покрывало, скрывавшее его лицо. Тогда обнаружилась ужаснейшая, длиннейшая, белейшая и густейшая борода, какую когда-либо видели глаза человеческие. Затем великан устремил взор на герцога, а из глубины его обширной груди послышался мрачные и звучный голос, произнесший следующее:

«Высокородный и могущественный государь, меня зовут Трифальдин Белая Борода; я оруженосец графини Трифальди, иначе называемой дуэньей Долоридой, которая посылает меня послом к вашему величию, чтобы попросить ваше великолепие дать ей разрешение и позволение явиться рассказать вам об ее горе, самом невиданном и самом удивительном, какое могло придумать самое тяжелое воображение в мире. Но прежде всего она хочет знать, находятся ли в вашем замке славный и непобедимый рыцарь Дон-Кихот Ламанчский, в поисках за которым она идет пешком, не нарушая поста, от королевства Кандания до вашей

светлости, что следует считать чудом и делом колдовства. Она у ворот этой крепости или увеселительного замка и ждет лишь вашего разрешения, чтобы войти. Я кончил». Тут он закашлялся и, глядя бороду сверху вниз, стал ждать совершенно спокойно ответа герцога. «Уже много дней, добрый оруженосец Белая Борода, – ответил герцог, – как мы знаем о несчастье, постигнувшем госпожу графиню Триффльди, которую чародеи заставляют называться дуэньей Долоридой. Вы можете, удивительный оруженосец, сказать ей, чтоб она вошла, что здесь находится храбрый рыцарь Дон-Кихот Ламанчский и что от его великодушного сердца она может с уверенностью ждать всевозможной помощи и поддержки. Можете также сказать ей от моего имени, что если ей нужно мое покровительство, она его получит, потому что я обязан предложить ей его в качестве рыцаря, которому предписано покровительствовать всякого рода женщинам, и особенно дуэньям, вдовам и скорбящим, а равно и угнетенным, какова ее милость». При этих словах Триффальдин склонил колени до самой земли и, дав сигнал, чтоб заиграли рожки и барабан, вышел из сада при тех же звуках и тем же шагом, как вошел, оставив всех удивленными его видом и нарядом.

Тогда герцог сказал, обращаясь к Дон-Кихоту: – Наконец, славный рыцарь, мрак злобы и невежества делаются бессильны скрывать свет доблести и добродетели. Я говорю это потому, что нет и шести дней, как ваша милость живете в этом замке, и уже из далеких и неведомых стран являются искать вас здесь, и не в карете, не на верблюдах, а пешком и без пищи, несчастные и угнетенные, в надежде, что в этой грозной руке найдут лекарство от своих горестей и страданий, и все это благодаря вашим блестящим подвигам, слава о которых летит и распространяется по лицу всей земли».

– Я бы очень желал, господин герцог, – ответил Дон-Кихот, – что бы сейчас присутствовал здесь тот добрый монах, который тогда за столом выказал столько вражды и недоброжелательства относительно странствующих рыцарей: пусть бы он собственными глазами увидал, нужны ли свету эти рыцари. Он бы, по крайней мере, осязательно видел ту истину, что люди очень угнетенные и неутешные не обращаются в крайних случаях и особенных несчастьях за помощью ни к людям в облачении, ни к сельским причетникам, ни к дворянину, никогда не выезжавшему за пределы своего прихода, ни к ленивому горожанину, который охотнее занимается рассказыванием новостей, чем подвигами, о которых рассказывали бы и писали бы другие. Лекарство против горя, помощь в нужде, покровительство молодым девушкам, утешение вдовам нигде так

легко не находятся, как у странствующих рыцарей. Поэтому я и благодарю бесконечно небо за то, что я есть, и не считаю потерянными ни трудов, ни всякого рода повреждений, которые со мною могут случиться при исполнении таких почетных обязанностей. Пусть же эта дуэнья явится и просит, чего захочет: лекарство против ее горя сейчас же будет добыто силой моей руки и бесстрашной решимостью управляющего ею сердца.



## ГЛАВА XXXVII

### В которой продолжается пресловутое приключение с дуэньей Долоридой

Герцог и герцогиня были в восторге, что Дон-Кихот так оправдал их ожидания. В это время Санчо вмешался в разговор.

– Я бы не желал, – сказал он, – чтоб эта госпожа дуэнья подкинула какую-нибудь палку под колесо моего губернаторства, а я слышал от одного толедского аптекаря, который говорил, как щегленок, что где вмешаются дуэньи, там уже добра не жди. Пресвятая Дева! как он их ненавидел этот аптекарь! А я из этого вывел, что если все дуэньи несносны и наглы, какого бы звания и характера они ни были, что же будет из скорбящих, обездоленных или угнетенных, какова, рассказывают, эта графиня трехфалдая или треххвостая,<sup>[217]</sup> потому что на моей родине фалда и хвост, хвост и фалда одно и то же.

– Молчи, друг Санчо, – сказал Дон-Кихот. – Если эта дама явилась ко мне из таких отдаленных стран, то она не может быть из тех, которых аптекарь носил в своей памятной книжке. К тому же она графиня, а когда графини служат в качестве дуэний, то только у цариц или королев» они госпожи и хозяйки в своих домах, и им служат другие дуэньи.

К этому присутствовавшая тут же донья Родригес с живостью прибавила:

– Здесь, у госпожи герцогини, служат дуэньи, которые могли бы быть графинями, если бы судьбе это было угодно. Но всяк сверчок знай свой шестов. И все-таки пусть не отзываются дурно о дуэнях, особенно о старых и о девушках, потому что хотя я ни то, ни другое, а очень хорошо вижу и понимаю преимущество дуэнья девушки вред дуэньей вдовой; и кто вас острит, тот оставил ножницы у себя в руках.

– А все же, – ответил Санчо, – у дуэний, по словам моего аптекаря, еще столько есть чего стричь, что лучше не разрывать помойной ямы, чтоб не смердела.

– Оруженосцы уж известные ваши враги, – сказала донья Родригес. – Так как они вечно торчат в передних и то и дело сталкиваются с нами, то им и нечего больше делать, как сплетничать на вас, перемывать наши косточки и губить ваше доброе имя во все часы дня, когда они не молятся, – а таких очень много. Ну, а я скажу этим ходячим чурбанам, что

мы будем, наперекор им, продолжать жить в свете и в домах знатных господ, хотя бы нас морили там голодом и покрывали бы жалкой черной юбочкой ваши нежные или не нежные тела, как в дни процессий покрывают навоз драпировками. Право, если бы мне только позволили, и если б у меня было время, я бы хорошо объясняла не только тем, кто меня слушает, но и всему свету, что нет в мире добродетели, которой не было бы в дуэньях.

– Я думаю, – вмешалась герцогиня, – что моя добрая донья Родригес вполне права; но лучше ей отложить до более удобного времени свою защиту и защиту других дуэний, чтоб опровергнуть злое мнение злого аптекаря и с корнем вырвать то же мнение, питаемое в глубине души великим Санчо Панса.

– Право, – ответил Санчо, – с той поры, как угар от губернаторства ударил мне в голову, я уже не так дорожу званием оруженосцев и смеюсь над всеми дуэньями на свете, как над дикой фигой.

Разговор о дуэньях еще продолжался бы, если бы вновь не раздались звуки рожков и барабанов, из чего все поняли, что дуэнья Долорида приближается. Герцогиня спросила герцога, не следует ли выйти к ней навстречу, так как она графиня и знатная дама.

– Что до ее графства, – вмешался Санчо, прежде чем герцог успел открыть рот, – так я согласен, чтоб ваши величия пошли ее встречать; что же до того, что в ней принадлежит к дуэньям, так я того мнения, чтоб вы не трогались с места.

– Кто тебя просит вмешиваться, Санчо? – остановил его Дон-Кихот.

– Кто, господин? – переспросил Санчо. – Я вмешиваюсь и могу вмешиваться, как оруженосец, научившийся обязанностям вежливости в школе вашей милости, которые самый обходительный и благовоспитанный рыцарь во всем свете. В этих делах, как я слышал от вашей милости, так же вредно пересаливать, как недосаливать, – ну, а умному свисни, и умный смыслит.

– Именно так, как говорит Санчо, – сказал герцог, – Увидим еще какова эта графиня, и тогда посмотрим, какую вежливость ей оказать.

В эту минуту показались рожки и барабаны, как в первый раз, и автор заканчивает здесь эту коротенькую главу, чтоб начать другую, в которой он продолжает то же приключение, одно из замечательнейших во всей этой истории.

## **ГЛАВА XXXVIII**

### **В которой дается отчет об отчете, данном дуэньей Долоридой об ее печальной судьбе**

Вслед за исполнителями унылой музыки начали входить в сад в два ряда до дюжины дуэний, одетых в широкие саржевые монашеские платья и белые кисейные покрывала, такие длинные, что из-под них едва виднелись края платьев. За ними шла графиня Трифальди, ведомая за руку оруженосцем Трифальдином Белая Борода. Она была одета в черное платье из необделанной шерсти, потому что если бы нити этой шерсти были скручены, то получились бы зерна величиной с горошину. Хвост, или фалда, или пола, или как бы это ни называлось, разделен был на три части, поддерживаемая тремя пажами, также в черном, изображавшими из себя красивую геометрическую фигуру с тремя острыми углами, которые образовали три конца хвоста; и все увидавшие этот хвост с тремя концами поняли, что от него произошла ее фамилия графини Трифальди, т. е. графини с тремя хвостами Бен-Энгели говорит, что это так и было, и что настоящая фамилия графини была Волкинос, потому что в ее поместьях было много волков, и если бы эти волки были лисицами, так ее назвали бы графиней Лисинос, потому что в этих местах знатные бары имеют обыкновение принимать ими той вещи или тех вещей, которыми особенно изобилуют их поместья. Словом, эта графиня бросила ради новизны своего хвоста фамилию Волкинос и приняла фамилию Трифальди.

Все двенадцать дуэний и сама дама ходили размеренным шагом процессий, с опущенными на лицо черными покрывалами, не прозрачными, а такими густыми, что под ними ничего нельзя было разглядеть. Едва показался сформированный таким образом отряд дуэний, как герцог, герцогиня и Дон-Кихот, а равно и все видевшие эту длинную процессию, поднялись с мест. Двенадцать дуэний остановились, образовав шпалеру и окружив Долориду, не покидавшую руки Трифальдина. При виде этого, герцог, герцогиня и Дон-Кихот сделали навстречу ей с дюжину шагов. Тогда она, опустившись на оба колена, произнесла голосом скорее хриплым и грубым, чем мелодичным и нежным:

– Пусть ваши величия соизволят не расточать стольких учтивостей их покорному слуге... я хочу сказать, их покорной слуге, ибо я так угнетена, что никогда не сумею ответить на них так, как бы должна была. В

самом деле, мое странное и неслыханное несчастье унесло мой ум не знаю куда, но должно быть далеко, потому что чем более я его ищу, тем более он от меня удаляется.

– Нужно совсем не иметь ума, – ответил герцог, – чтоб не замечать в вас достоинств, которые уже сами по себе заслуживают сливок всех учтивостей и цвета самых обходительных вежливостей.

И, подняв ее с земли, он усадил ее рядом с герцогиней, которая также оказала ей самый радушный прием. Дон-Кихот хранил молчание, а Санчо умирал от любопытства увидеть лицо Трифальди или одной из ее многочисленных дуэний; но это было невозможно, пока они по своей воле не откроют своих лиц.

Никто не двигался, все молчали и все ждали, чтобы кто-нибудь заговорил. Первая прервала молчание дуэнья Долорида, сказавшая: – Я верю, могущественнейший государь, прекраснейшая дама и благоразумнейшие слушатели, что мое горестнейшее горе найдет в ваших мужественнейших сердцах не менее ласковый, чем великодушный и печальный прием, потому что мое горе таково, что может тронуть даже мрамор, смягчить алмаз и расплавить сталь самых жестоких в мире сердец. Но прежде чем открыть его вашему слуху (чтоб же сказать ушам), я хотела бы, чтоб вы поведали мне, находятся ли в недрах этого славного общества славнейший рыцарь Дон-Кихот Ламанчский и его оруженосейший Панса.

– Панса-то вот он, – ответил Санчо, прежде чем кто бы то ни было заговорил, и Дон-Кихотейший тоже. Стало быть, вы можете, Долоридейшая дуэнейшая, сказать все, что вам угоднейше, а мы готовейши быть вашими покорвейшими слугеишами.

Тут поднялся Дон-Кихот и, обратившись к дуэнье Долориде, сказал: – Если ваше горе, о, скорбящая дана, может надеяться на лечение при помощи какого-нибудь мужественного поступка или какой-нибудь силы какого-нибудь странствующего рыцаря, так я отдаю все свое мужество и всю свою силу, хотя они и ничтожны, целиком на служение вам и Дон-Кихот Ламанчский, занятие которого состоит в том, чтобы помогать всем, кто нуждается в помощи. Следовательно, вам нет надобности, сударыня, вымаливать наперед чьего бы то ни было расположения, и вы можете прямо и без обиняков рассказать нам о своем горе. Вас будут слушать люди, которые сумеют если не помочь, то, по крайней мере, отнестись сочувственно к вашему положению.

Услышав эти слова, дуэнья Долорида хотела броситься к ногам Дон-Кихота и даже бросилась и, силясь обнять их, вскричала: – Я падаю к этим ногам и к этим стопам, о, непобедимый рыцарь! потому что они основа и

столпы странствующего рыцарства. Я стану целовать эти ноги, от одного шага которых жду и жажду исцеления моей скорби, – о, славный странствователь! истинные подвиги которого далеко превзошли и затмили сказочные деяния Амадисов, Белианисов и Эспландианов! Затем, оставив Дон-Кихота и обернувшись к Санчо Панса, она охватила его за руку и сказала: «О, ты, честнейший из всех оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю в настоящие и в прошедшие века, которого доброта больше бороды Трифальдина, присутствующего здесь спутника моего! ты можешь смело похвалиться, что, служа великому Дон-Кихоту, служишь в миниатюре всем рыцарям в мире, когда-либо носившим оружие. Заклинаю тебя твоей великодушной добротой стать моим заступником пред твоим господином, чтоб он сейчас же и немедля оказал покровительство этой униженной и несчастнейшей графине.

Санчо ответил: – Что моя доброта, любезная дама, так же велика и так же длинна, как борода вашего оруженосца, это к делу не относится. Ну, а что моя душа может на том свете очутиться без бороды и без усов, это меня беспокоить, а о здешних бородах я нимало не забочусь. К тому же я и без этих упрашиваний, вымаливаний попрошу моего господина (а я знаю, что он меня любит, особенно теперь, когда и ему нужен для одного дела), чтоб он помог вашей милости, чем можно. Только выкладывайте нам поскорее свое горе, не стесняйтесь, и мы уж поладим.

Герцог и герцогиня, подстроившие все это дело, задыхались от смеха, радуясь в душе ловкости и уменью, с которыми Трифадьи выполняла свою роль. Она между тем, снова села на свое место и сказала: – В знаменитом Кандинском королевстве, лежащем между великой Трапобаной и Южным морем, за две мили от Коморинского мыса, царствовала королева донья Магуисия, вдова короля Арчипиелы, ее супруга и господина. От их брака произошла и родилась инфанта Антономазия, наследница престола, каковая инфанта Антономазия выросла и воспиталась под моей опекой и моим руководством, потому что я была самая старинная и самая благородная из дуэний ее матери. Дни шли за днями, и маленькая Антономазия достигла четырнадцати лет и стала такой совершеннейшей красавицей, что природа уже не могла бы ничего прибавить к ее красоте. Но, может быть, вы думаете, что относительно ума она была еще совсем дурочкой? Нет, она была и рассудительна, и умна, и прекраснее всех на свете, или, лучше сказать, есть и теперь, если только завистливая судьба и беспощадные Парки не перерезали нити ее жизни. Но нет, они этого не сделали, потому что небеса не допустили бы, чтобы земле причинено было такое зло, чтобы срезана была недозревшая кисть с прекраснейшей в мире

виноградной лозы. В эту красавицу, прелести которой мой тяжелый, неловкий язык не в состоянии так восхвалить, как они того заслуживают, влюбилось множество принцев, как туземных, так и чужестранных. Между ними осмелился вознести свои мысли до небес этой чудной красоты простой рыцарь, находившийся ври дворе. Его надежды поддерживались его молодостью, красотой, грацией, множеством талантов, легкостью и быстротой ума. Ваши величия должны звать, если вам не скучно слушать, что он так играл на гитаре, что она словно говорила под его руками, кроме того, он был поэтом и отличным танцором и, еще, так хорошо умел делать птичьи клетки, что мог бы даже зарабатывать себе этим хлеб, если бы пришла нужда. Все эти качества, все эти достоинства могут сдвинуть с места даже гору, не то что тронуть слабую молодую девушку. Тем не менее, все его достоинства, прелести и таланты не в силах были бы заставить сдаться крепость моей воспитанницы, если бы этот наглый вор не пустил в дело все свое искусство, чтобы пленить мое сердце. Этот негодный злодей вздумал склонять меня, слабого гувернера, отдать ему ключи от крепости, охрана которой вверена была мне. Он стал льстиво превозносить мой ум и парализовал мою волю, не знаю какими зельями, которых надавал мне. Но что всего более заставило меня споткнуться и упасть, это песня, которую он распевал в одну ночь, прогуливаясь по маленькой улице под моим решетчатым окном. Песня эта, если память мне не изменяет, состояла в следующем:

«От неприятельницы милой  
Исходит зло, что грудь терзает,  
И тех мне муки умножает,  
Что служит грудь мольбам могилой».[\[218\]](#)

Этот куплет показался мне золотым, а его голос медовым» и с тех пор, видя, в какое несчастье повергли меня эти и подобные ям стихи, я решила, что следует, как советует Платон, изгнать поэтов из хорошо организованных государств – по крайней мере, поэтов эротических, потому что они пишут стихи не такие, как жалобы маркиза Мантуанского. которые забавляют женщин и заставляют плакать детей, а умственные иглы, которые пронзают душу подобно нежным шипам и жгут ее, как молния, не касаясь платья. В другой раз он пел так:

«Приди, о смерть, приди украдкой,

Чтоб о тебе не мог я знать:  
Боюсь я к жизни вновь возстать,  
Приход увидя смерти сладкой». [\[219\]](#)

Потом он еще пел куплеты и строфы, которые чаруют в пении и восхищают в чтения. Но, когда эти поэты примутся, бывало, сочинять очень модные в то время в Кандане стихи, которые они называют сегедилами, [\[220\]](#) тогда душа принимается плясать, тело приходит в движение, вырывается неудержимый хохот, и все чувства приходят в восхищение. Поэтому я и говорю, милостивые государи, что всех этих поэтов и трубадуров следовало бы по справедливости сослать на Ящеричные острова. [\[221\]](#) Впрочем, виноваты собственно не они, а те простаки, что расхваливают их, и дуры, что верят им. Если б я была как следует хорошей дуэньей, я бы, конечно, не польстилась на их пустые сладкие речи и не приняла бы за чистую монету красивых слов вроде я живу, умирая, я горю во льду, я дрожу в тени, я надеюсь без надежды, я уезжаю и остаюсь и тому подобные несообразности, которыми полны их писания. А что выходит из того, что они обещают феникс Аравии, корову Ариадны, коней Солнца, перлы Южного моря, золото Пактола и бальзам Панкаии? Они тут-то и принимаются скорее, чем всегда, действовать мечом, потому что им ни чего не стоит наобещать того, чего они никогда не в состоянии будут исполнить. Но что я делаю? Чем я, несчастная, развлекаюсь? Что за безумие, что за безрассудство побуждает меня рассказывать о чужих грехах, когда мне столько нужно рассказать о своих собственных. Горе мне! Не стихи меня сломили, а глупость моя; не серенады меня смягчили, а преступная неосторожность моя. Мое великое невежество и слабая предусмотрительность открыли дорогу и приготовили путь желаниям Дон Клавихо (так звали рыцаря, о котором идет речь). Под моим покровительством и при моем посредстве он входил, и не раз, а много раз, в спальню Антономазии, обманутой не им, а мною; но это делалось уже в звании законного супруга, потому что, как я ни грешна, я бы ни за что не позволила, чтоб он, не будучи ее мужем, дотронулся хотя бы до кончика носка ее туфель. Нет, нет, никогда! Брак должен предшествовать во всех делах подобного рода, о которых я говорю. В этом деле была только одна дурная сторона – неравенство положений, так как Дон Клавихо был простой рыцарь, а инфанта Антономазия, как уже сказано, наследница престола. Несколько дней интрига эта оставалась скрытой, благодаря моей ловкости и моим предосторожностям, но вскоре мне показалось, что она

должна неизбежно открыться благодаря странной опухоли живота Антономазии. Это опасение заставило нас всех троих устроить тайное совещание, и мы единогласно решили, чтоб Клавихо, прежде чем откроется тайна, попросил у великого викария руки Антономазии, на основании письменного обещания с ее стороны стать его женой, составленного мною и такого сильного, что даже Самсон не мог бы его нарушить. Все так и было сделано; викарий прочитал обязательство, выслушал исповедь Антономазии, которая без околичностей созналась во всем, и затем засвидетельствовал все это у одного честного придворного алгвазила.

– Как! – вскричал Санчо. – Разве я в Кандаие есть алгвазилы, поэты и сегедиллы? Клянусь всевозможными клятвами! я начинаю думать, что свет везде один и тот же. Но поторопитесь немножко, ваша милость, госпожа Трифальди: становится поздно, а я помираю от любопытства узнать конец такой длинной истории.

– Хорошо, я потороплюсь, – ответила графиня.



## ГЛАВА XXXIX

### В которой Трифальди продолжает свою удивительную и достопамятную историю

Всякое слово, произносимое Санчо, столько же восхищало герцогиню, сколько приводило в отчаяние Дон-Кихота. Долорида, между тем, продолжала так:

– Наконец, после многих допросов, опросов и ответов, в продолжение которых инфанта все поддерживала первое показание, ничего не прибавляя и не убавляя, великий викарий решил дело в пользу Клавихо и передал ее ему, как законную супругу. Это так опечалило королеву донью Магунсию, мать инфанты Антономазии, что мы через три дня должны были ее похоронить.

– Она, значит, умерла? – спросил Санчо.

– Понятно, – ответил Трифальдин, – потому что в Кандаие хоронят не живых, а мертвых.

– Ну, мы видели и такие случаи, господин оруженосец, – возразил Санчо, – что хоронили человека обмершего, считая его за мертвого, а мне казалось, что королева Магунсия сделала бы лучше, если бы обмерла, вместо того чтоб умереть, потому что при жизни можно многое поправить. К тому же поступок инфанты был вовсе уж не такой страшный, чтоб ей нужно было непременно так огорчаться. Если б эта барышня вышла за пажа или другого какого домашнего слугу, как сделали, говорят другие, – ну, тогда дело было бы пропащее; а выйти за рыцаря, такого славного и притом дворянина, судя по описанию, это, право, хоть и глупость, но вовсе уж не такая большая, как полагают. Потому что, как говорит мой господин, здесь присутствующий, который не позволит обвинить меня во лжи, – как из людей духовного звания делают епископов, так из рыцарей, особенно если они странствующие, можно делать и королей, и императоров.

– Ты прав, Санчо, – ответил Дон-Кихот, потому что странствующий рыцарь, если у него есть хоть крошечка счастья, всегда может рассчитывать сделаться могущественнейшим в мире государем. Но продолжайте, госпожа Долорида: мне кажется, что вам остается теперь досказать все горькое из этой до сих пор сладостной истории.

– Горькое! – вскричала графиня. – О, да, такое горькое, что в сравнении с ним полынь покажется сладкой и лавр вкусным.

Так как королева умерла, а не обмерла, то мы ее и схоронили. Но только что мы бросили на ее гроб последнюю горсть земли, только-что сказали ей последнее прощание, как вдруг – *quis talia fando temperet a lacrymis*, [222] – на могиле королевы появился верховный на деревянной лошади великан Маланбруко, двоюродный брат Магунсии, очень жестокий и вдобавок колдун. Чтоб отомстить за смерть своей кузины и показать дерзость Дон Клавихо и слабость Антономазии, он пустил в ход свое проклятое искусство и оставил влюбленную чету заколдованною на самой могиле, обратив ее в бронзовую обезьяну, а его в страшного крокодила из какого-то неведомого металла. Между ними воздвиглась колонна, также металлическая, с надписью на сирийском языке, которая, если перевести ее на канданский язык, а потом на кастильский, означает следующее: Сии два дерзкие любовника до тех пор не примут прежнего своего вида, пока отважный Ламанец не сразится со мной с поединке, ибо его лишь отваге судьба предназначила сие неслыханное приключение. После этого он вынул из ножен громадный, широкий палаш и, схватив меня за волосы, сделал вид, что хочет перерезать мне горло и отсечь голову по самые плечи. Я испугалась, голос мой замер, и мне стало дурно; но я сделала над собой усилие и дрожащим голосом стала говорить ему такие вещи, что он вынужден был отложить исполнение своей ужасной кары. Затем он приказал привести к себе всех дуэний из дворца, здесь присутствующих, и, побранив нас за наш проступок и горько осудив нравы дуэний, их скверные хитрости и еще худшие интриги, обвинив всех их в проступке, который совершила я одна, он сказал, что не хочет наказать вас смертною казнью, а наложит на нас более продолжительное наказание, которое поведет за собой вечную гражданскую смерть. Едва он произнес эти слова, как все мы почувствовали, что поры наших лиц раскрылись и в них точно впились тысячи иголок. Мы ухватились руками за лица и почувствовали, что превратились в то, что вы сейчас увидите.

Тут Долорида и другие дуэньи подняли покрывала, которыми были прикрыты, и обнаружили лица, обросшие бородами, у кого русой, у кого черной, у кого совсем седой, а у кого с проседью. При этом зрелище герцог и герцогиня казались пораженными изумлением, Дон-Кихот и Санчо остолбенели, а остальные зрители ужаснулись. Трифальди же продолжала так:

– Вот как покарал нас этот свирепый и злонамеренный Маламбурно. Он прикрыл белизну и бледность наших лиц этими жесткими волосами, и лучше бы он уже отсек нам головы своим огромным острым палашом, чем затемнить свет наших лиц этой покрывшей нас густой шерстью, потому

что, если даже стать считать... но то, что я собираюсь сказать, я хотела бы сказать с глазами, из которых текли бы целые ручьи; но море слез, пролитых из глаз моих при постоянной мысли о постигшем нас несчастье, иссушило их, как тростник, и потому я буду говорить без слез. И так, я говорю: куда деться бородатой дуэнье? Какой отец, какая мать сжалятся над нею? Кто ей поможет? Если даже тогда, когда кожа у нее гладка и лицо раскрашено разными косметиками, на нее мало находится охотников, так что же будет, если она покажет лицо, похожее на лес? О, подруги мои дуэньи! Под злой звездой родились мы и под роковым влиянием зародили нас отцы наши!

При этих словах Трифальди сделала вид, что падает в обморок.

## ГЛАВА LX

### О делах, касающихся этой достопамятной истории

Поистине, все любящие подобного рода истории должны быть благодарны Сиду Гамеду, ее первоначальному автору, за особую заботливость, с которой он постарался рассказать малейшие подробности ее, не оставив не разъясненной и самой крошечной частички ее. Он изображает все мысли, показывает все воображения, отвечает на немые вопросы, разъясняет сомнения, разрешает всякие затруднения – словом, обнаруживает до последней крайности усерднейшее желание все узнать и разъяснить. О, знаменитый писатель! О, счастливый Дон-Кихот! О, славная Дульцинея! О, грациозный Санчо Панса! Живите все вместе и каждый в отдельности бесконечное число веков для удовольствия и развлечения всех людей!

И так, история повествует, что Санчо, при виде Долориды в обмороке, вскричал:

– Клянусь, как честный человек, спасением всех моих предков Панса, что никогда не слыхал и не видал, да и господин мой никогда не рассказывал, я не мог вообразить себе в своей фантазии ничего подобного этому приключению. Пусть тысяча чертей нашлют на тебя проклятия, колдун и великан Маламбурно! Не мог ты, что ли, придумать другого наказания для этих грешниц, а не обратить их в бородатые рожи? Да разве не лучше было бы и не приличнее для них рассечь им сверху до низу ноздри, хотя бы им пришлось потом говорить в нос, чем вырастить им бороды? Бьюсь об заклад, что им не на что дать побрить.

– О, это правда, господин, – отвечала одна из двенадцати. – Нам не из чего платить цирюльнику, поэтому некоторые из нас прибегают к экономическому средству – к употреблению смоляных пластырей. Мы их приклеиваем к лицу и, рванувши, делаем своя подбородки такими бритыми и гладкими, как внутренность каменной ступки. Есть в Кандане женщины, которые ходят из дома в дом выщипывать волосы у дам, выравнивать ресницы и изготавливать разного рода снадобья,<sup>[223]</sup> но мы, дуэньи герцогини, никогда не хотели воспользоваться их услугами, потому что от большинства из них отдает сводничеством, и если господин Дон-Кихот нам не поможет, мы в могилу сойдем со своими бородами.

– Я скорей вырву в стране мавров свою бороду, – воскликнул Дон-Кихот, – нежели откажусь освободить вас от ваших!»

В это время Трифальди очнулась от обморока.

– Приятные звуки этого обещания, – сказала она доблестному рыцарю, – дошли до моих ушей среди моего обморока, и их было достаточно, чтобы возвратить мне чувства. И поэтому я снова умоляю вас, странствующий, знаменитый и неукротимый синьор, обратите в дело ваше милостивое обещание.

– Не моя будет вина, если оно останется неисполненным, – отвечал Дон-Кихот. – Итак, сударыня, скажите, что должен я сделать; мое мужество готово к услугам вашим.

– Дело в том, – начала Долорида, – что отсюда до королевства Кандани, если отправиться сушей, будет пять тысяч миль, может быть мили на две больше или меньше. Но если отправиться по воздуху или прямым путем, расстояние будет три тысячи двести двадцать семь миль. Надо также знать, что Маламбруно мне сказал, что в тот момент, как судьба пошлет мне навстречу рыцаря, нашего освободителя, он пришлет ему лошадь немного лучшую и немного менее норовистую, нежели рыцарские кони, потому что это будет та самая деревянная лошадь, на которой доблестный Петр провансальский увез красивую Магалону.<sup>[224]</sup> Эта лошадь управляется помощью пружины, находящейся у нее на лбу и служащей вместо повода, и летает она по воздуху с такой быстротой, как будто дьяволы ее уносят. Эта лошадь, по древнему преданию, была сделана мудрым Мерлигом. Он ссудил ею графа Петра, который был его другом и который совершал на ней большие путешествия; между прочим, он увез, как сказано, красивую Магалону, посадив ее на круп лошади, и, уносясь по воздуху, оставил в изумлении всех тех, кто с земли видел их пролетающими. Мерлин давал лошадь только тем, кого очень любил, или кто ему больше платил, а со времени известного Петра до наших дней нам неизвестно, чтобы кто-либо ездил на ней. Маламбруно силой своей магии привлек ее к себе и держит ее в своей власти. Ею-то и пользуется он в своих путешествиях, которые совершает каждое мгновение в разные части света. Сегодня он здесь, завтра во Франции, а через сутки в Потоси. Хорошо в этой лошади то, что она не ест, не спит, не употребляет подков и что она по воздуху бежит иноходью, так как крыльев у ней нет, так что тот, кто на ней сидит, может держать в руке стакан, наполненный водою и не пролить ни капли, так плавно и спокойно она бежит. Поэтому-то красивая Магалона и радовалась такезде на этой лошади.

– Честное слово, – перебил Санчо, – никто не может подвигаться шагом более спокойным и размеренным, нежели мой осел. Правда, он не ходит по воздуху, но на земле я с ним поспорю со всеми иноходцами в

свете.

Все рассмеялись, а Долорида продолжала: – Итак, эта лошадь, если Маламбруно захочет положить конец нашему бедствию, явится пред нами приблизительно за полчаса до наступления ночи, потому что он мне сказал, что указанием, что действительно я нашла рыцаря, которого искала, будет то, что он пришлет мне лошадь, где бы я в то время ни находилась, быстро и без труда.

– А сколько человек подымает эта лошадь? – спросил Санчо.

– Двоих, – отвечала Долорида: – одного на спине, другого на крупе, и обыкновенно на ней ездят рыцарь и его оруженосец, если нет какой-либо похищенной девицы.

– Я бы хотел теперь знать, госпожа Долорида, – сказал Санчо, – как зовут эту лошадь?

– Зовут ее, – отвечала Долорида, – не Беллерофоном, как назывался Пегас, ни так, как звали лошадь Александра Великоого, которой имя было Буцефал. Она не называется ни Брильядором, как лошадь Роланда Неистового, ни Байярдом, как лошадь Рейвальда Монтальванского, ни Фронтину, как лошадь Рухеро, ни Волопасом или Перитоа, как, говорят, назывались лошади Солнца,<sup>[225]</sup> ни Орелией, как лошадь, на которой злосчастный Родриго, последний готский король, вступил в битву, в которой потерял и жизнь и королевство.

– Бьюсь об заклад, – воскликнул Санчо, – что если ей не дали ни одного из прославленных имен стол известных лошадей, то тем более ей не дали бы имени и коня моего господина, Россинанта, которое в этом случае годилось бы более всех до сих пор названных.

– Это правда, – отвечала бородатая графиня, – другое имя тоже очень к ней подошло, потому что она называется Клавиленьо Быстроногий,<sup>[226]</sup> что обозначает, что она сделана из дерева, что имеет пружину во лбу и что бежит с поразительной быстротой. Итак, что касается имени, то оно может поспорить с прославленным Россинантом.

– Действительно, имя, по моему, не дурно, – заметил Санчо, – но какой уздой или каким поводом эта лошадь управляется?

– Я ведь сказала, – отвечала Трифальди, – что она управляется пружиною. Поворачивая ее в ту или другую сторону, рыцарь, сидящий на ней, заставляет ее бежать, куда он хочет, то еще выше в воздухе, то касаясь и почти подметая землю, то в золотой середине, которую должно искать во всех правильных действиях.

– Я бы хотел ее видеть, – снова заговорил Санчо, – но думать, что я

мог бы ездить на ней верхом, на спине ли или на крупе, все равно, что искать груш на вязе. Я едва умею держаться на своем Сером, сидя в продавленном седле, которое мягче шелка, а вы хотите, чтобы я держался на деревянном крупе, без подушки, без ковра! Черт возьми, у меня нет охоты разбиться в дребезги из-за того, чтобы снять с кого-либо бороду. Пускай те, кому она не нужна, бреют ее, а что меня касается, я и не подумаю сопровождать своего господина в таком дальнем путешествии. Впрочем, мне и не предписано так же служить для стрижки этих бород, как для снятия чар с госпожи Дульцинеи.

– Нет, предписано, друг, – отвечала Долорида, – так что без вашего присутствия мы ничего не достигнем.

– Вот тебе и еще! – воскликнул Санчо, – и какое дело оруженосцам до походов их господ? Что ж, они за них будут пользоваться славой, а мы исполнять работу? Да провались я! Хотя бы историки, по крайней мере, говорили: «Такой-то рыцарь совершил такое-то и такое-то похождение, но с помощью такого-то своего оруженосца, без которого невозможно было бы его завершить»... с Богом, а то они пишут совсем сухо: «Дон Паралипоменон, рыцарь Трех Звезд, совершил похождение против шести вампиров», и не называют даже особы его оруженосца, который находился при всем этом, как будто его совсем не было на свете! Это невыносимо. Теперь, господа, я повторяю, что мой господин может отправляться один, и дай ему Бог успеха! Я же останусь здесь с госпожой герцогиней. Может случиться, что по возвращении он застанет дело госпожи Дульцинеи на три четверти доделанным, потому что в свободное время я думаю надавать себе столько ударов, что они взрежут мне кожу.

– И все-таки, – прервала герцогиня, – вам придется сопровождать своего господина, если это необходимо, добрый Санчо, потому что с мольбой к вам обращаются такие же добрые люди, как вы. По крайней мере, нельзя будет сказать, что из-за вашего пустого страха подбородки этих дам остались со своим руном, это было бы бессовестно.

– Вот тебе и еще, – отвечал Санчо. – Если бы это благодеяние нужно было оказать каким-либо заключенным девицам или для каких-либо девочек, учащих в монастыре, – куда ни шло; можно было бы тогда немножко и потрудиться для них. Но чтобы снять бороды с дуэний! Черт возьми! Да я рад был бы видеть их всех бородатыми, от самой большой до самой маленькой, от самой жеманной до самой забористой.

– Вы очень злы на дуэний, друг Санчо, – сказала герцогиня, – и в этом близко сходитесь с мнением толедского аптекаря. А между тем вы не правы. Есть между моими дуэнями такие, которые могли бы служить

примером хозяйкам дома, хотя бы вот моя хорошая донья Родригес, о которой я больше и не скажу.

– Благодарю, ваша светлость, что вы и это говорите, – заметила Родригес, – а Господь знает истину. Хороши или дурны мы, дуэньи, с бородами мы или безбородые, но наши матери родили нас, как и других женщин, и если Господь произвел нас на свет, то он знал для чего. Поэтому я жду милосердия от Него, а не от кого бы то ни было.

– Вот это хорошо, госпожа Родригес, – сказал Дон-Кихот, – а что касается вас, госпожа Трифальди – и остальных, то я надеюсь, что небо благосклонным оком взглянет на вашу печаль и что Санчо сделает то, что я ему прикажу, явится ли Клавиленьо или мне придется сразиться с Маламбруно. Одно я знаю верно, что никакая бритва не срежет так легко растительность с лиц ваших милостей, как моя шпага срежет голову с плеч Маламбруно, Господь терпит злых, но не всегда.

– Ах, – воскликнула Долорида, – да воззрят на вашу милость благосклонными очами все звезды небесных областей, о доблестный рыцарь; да вложат они в ваше великодушное сердце всевозможную храбрость и всякое благополучие, дабы вы стали щитом и опорой печального и оскорбленного рода дуэний, ненавидимого аптекарями, поносимого оруженосцами и обманываемого пажами. Проклята будь та дура, которая во цвете своих лет лучше не идет в монахини, нежели в дуэньи! Несчастные мы дуэньи, которым наши госпожи кидают в лицо ты, как будто бы они были королевы, я хотя бы мы по прямой мужской линии происходили от Гектора Троянского! О, великан Маламбруно! ты, который, хотя и волшебник, остаешься верен своим обещаниям, пришли нам поскорее несравненного Клавиленьо, чтобы несчастию нашему положить конец, ибо если жары наступят и бороды наши останутся при нас, тогда, увы! мы люди погибшие.

Трифальди произнесла эти слова таким раздирающим душу голосом, что вызвала слезы на глаза присутствующих. Даже Санчо почувствовал, что глаза его увлажнились, и в глубине своей души он решил сопровождать своего господина на край света, если от этого зависит снять шерсть с этих почтенных лиц.



## **ГЛАВА XLІ**

### **О прибытии Клавиленьо, с окончанием этого длинного и растянутого приключения**

Тем временем наступила ночь, а с всю и час, назначенный для прибытия соня Клавиленьо. Его отсутствие начало беспокоит Дон-Кихота, который из того, что Маламбруно не посылал коня, выводил заключение, что либо не он был рыцарем, которому предназначено было совершить этот подвиг, либо Маламбруно не решался выступить с ним на бой в поединке. Но вдруг в саду показалось четыре дикаря, одетых в листья плюща и несших на своих плечах большую деревянную лошадь. Они ее поставили на землю, на ее ноги, и один из дикарей сказал: – Пускай рыцарь, у которого хватят на это мужества, сядет на эту машину.

– В таком случае, – перебил Санчо, – я не сяду, потому что у меня вовсе нет мужества, и я не рыцарь.

Дикарь продолжал: – и пускай оруженосец его, если у него таковой есть, сядет на ее круп. Пускай доверится храброму Маламбруно, уверенный, что опасаться может только его меча, и ничьего другого, равно и никаких козней. Ему нужно только повернуть пружину, которая находится здесь на шее лошади, и она унесет рыцаря и оруженосца по воздуху туда, где их ждет Маламбруно. Но, чтобы высота и величие пути не вызвали у них головокружения, нужно, чтобы они прикрыли себе глаза, пока лошадь не заржет. Это будет сигналом, что путешествие их кончено.

Сказав это и оставив Клавиленьо, четыре дикаря удалились размеренным шагом туда, откуда пришли. Увидав лошадь, Долорида, со слезами на глазах, обратилась к Дон-Кихоту и сказала: – Доблестный рыцарь, обещания Маламбруно исполнены: лошадь здесь, и наши бороды растут. Каждая из нас и каждым волоском на наших подбородках молим мы тебя: сними и сбрей с вас эти бороды, потому что это зависит только от того, чтобы тебе сесть на эту лошадь со своим оруженосцем и чтобы оба вы счастливо начали ваше новомодное путешествие.

– Я это и сделаю, госпожа графиня Трифальди, – отвечал Дон-Кихот, – ото всего сердца и с полной охотой, не беря с собой подушки и не надевая даже шпор, чтобы не терять времени, так сильно во мне желание увидеть вас, сударыня, а также и всех дуэний, гладкими и бритыми.

– Я не сделаю этого, – сказал Санчо, – ни охотно, ни неохотно. Если

эта стрижка не может состояться без того, чтобы мне сесть на круп, то пусть мой господин ищет себе другого оруженосца, который бы с ним поехал, а эти дамы другого средства отполировать свои подбородки, потому что я не колдун, чтобы находить удовольствие в рыскании по воздуху. Да и что скажут мои островитяне, узнав, что их губернатор носится по ветру? Притом, так как до Кандаии отсюда три тысячи миль и еще сколько, то если лошадь утомится или великан рассердится, нам понадобится с полдюжины лет, чтобы возвратиться сюда, и тогда не окажется ни островов, ни островков на свете, которые меня признали бы, как обыкновенно говорят, что опоздал-потерял, и что если тебе дали телку, так ты ее тотчас привяжи, то я прошу прощения у бород этих дам, но святому Петру хорошо в Риме: я хочу сказать, что мне очень хорошо здесь в доме, где со мною поступают с такой добротой, и от хозяина которого я ожидаю великого счастья сделаться губернатором.

– Друг Санчо, – отвечал герцог, – остров, обещанный мною вам, не может ни двигаться, ни убежать. У него такие глубокие корни, проникшие в самые недра земли, что ни вырвать их, не переменить им место нельзя никак. А так как мы с вами оба знаем, что нет ни одной должности, я подразумеваю из высших, которые получались бы без какого-либо магарыча, более или менее крупного,<sup>[227]</sup> то я за это губернаторство хочу, чтобы вы отправились вместе со своим господином Дон-Кихотом и положили конец этому достопамятному приключению. Возвратитесь ли вы на Клавиленьо чрез короткое время, как можно ожидать, судя по его быстроте, приведет ли вас обратно неблагоприятная судьба пешком, как бедного паломника, от деревни в деревне, от постоялого двора к постоялому двору, но, как только вы прибудете обратно, вы найдете свой остров на том месте, где вы его оставили, а своих островитян преисполненными, как и прежде, желанием иметь вас губернатором. Моя воля останется неизменной, и вы, господин Санчо, не допускайте в этом никакого сомнения, потому что это будет чувствительным оскорблением за мое желание служить вам.

– Довольно, довольно, сударь, – воскликнул Санчо. – Я не более как бедный оруженосец и не могу вынести на своих руках столько учтивости. Пусть господин мой садится на лошадь, пусть мне завяжут глаза и пусть отдадут меня на волю Божию. Мне еще нужно справиться о том, можно ли мне будет, когда мы буден нестись по этим высотам, поручить свою душу Богу или надо будет прибегнуть к заступничеству ангелов.

– Вы отлично можете, Санчо, – отвечала Долорида, – поручить свою душу Богу или кому захотите, потому что Маламбруно хотя и волшебник,

но христианин: он совершает свои волшебства с большим тактом и благоразумием, ни с кем не ссорясь. – Ну, – сказал Санчо, – так с помощью Бога и пресвятой Гаэтской Троицы!

– После достопамятного приключения с мельницами, – сказал Дон-Кихот, – я еще ни разу не видал Санчо столь бесстрашным, как сейчас. Если бы я верил в предзнаменования, как многие другие, я бы должен был почувствовать гусиную кожу на моем мужестве. Но подите сюда, Санчо: с разрешения герцога и герцогини я скажу вам два слова наедине.

Отошедши с Санчо к небольшой группе деревьев, он взял его за обе руки и сказал ему:

– Ты видишь, брат Санчо, какое далекое путешествие нас ожидает. Господь ведает, когда мы возвратимся и какой досуг, какой отдых дадут вам дела. Я бы хотел, чтобы ты удалялся теперь в свою комнату, будто отправляешься за чем-нибудь необходимым пред отъездом и чтобы ты, в счет трех тысяч трехсот ударов плетью, которые ты обязался дать себе, дал бы себе сейчас пять или шесть сот в ряду. Когда они будут даны, это будет дело сделанное, потому что начинать дело, значит на половину кончить его.

– Клянусь Богом! – воскликнул Санчо. – Ваша милость, должно быть, потеряли рассудок. Это все равно как говорят: – Ты видишь, что я спешу, и просишь руки моей дочери! Как! теперь, когда я должен сесть верхом на гладкую доску, вы хотите, чтобы я разодрал себе задницу? Положительно, это не имеет смысла. Отправимся сперва побрить этих дуэний, а по возвращения я вам обещаю честным словом, что я так поспешу исполнять свое обязательство, что ваша милость останетесь вполне довольны, и больше об этом ни слова.

– Это обещание, добрый Санчо, – сказал Дон-Кихот, – достаточно, чтобы меня утешить, и я твердо верю, что ты его исполнишь, потому что, как ты ни глуп, а обмануть меня ты не посмеешь.

– Я не смеясь сдержу свое слово, – отвечал Санчо.

Затем они возвратились, чтобы сесть верхом на Клавильню. В ту минуту, как они стали садиться, Дон-Кихот обратился к Санчо: – Ну, Санчо, завяжите себе глаза, потому что тот, кто посылает вас в столь отдаленные местности, не может нас обмануть. Какая ему слава, если ему удастся обмануть тех, кто ему доверился? Но если бы все окончилось совершенно противно тому, чего я жду, то ничто не может затмить славу, которую заслуживает самая решимость на подобный подвиг.

– Едем, господин, – сказал Санчо, – гвоздем засели мне в сердце и бороды и слезы этих дам, я всякий кусок застрянет у меня в горле, пока я не увижу их подбородков гладкими по-прежнему. Пусть ваша милость

сперва сядете и завяжете себе глаза, потому если я должен ехать на крупе, то ясно, что я не должен садиться раньше того, кто едет на спине.

– Ты прав, – отвечал Дон-Кихот, и, вынув из кармана свои носовой платок, он попросил Долориду повязать ему глаза. Когда это было сделано, он снял свою повязку и сказал: – Я помню, если только не ошибаюсь, что у Виргилия прочел историю троянского Палладиума: это была деревянная лошадь, которую греки принесли в жертву богине Палладе и внутренность которой была наполнена вооруженными рыцарями; ими-то и было совершено разрушение Трои. Поэтому хорошо было бы сперва посмотреть, что находится внутри Клавиленьо. – Это бесполезно, – воскликнула Долорида, – я за нее ручаюсь, и я знаю, что Маламбруно не способен ни к измене, ни к злой выходке. Садитесь, ваша милость, господин Дон-Кихот, без малейшего страха, а я беру на свою ответственность все дурное, что может произойти.

Дон-Кихоту показалось, что все, что он мог бы возразить относительно личной своей безопасности, было бы оскорблением для его храбрости, и, без дальнейших препирательств, он сел верхом на Клавиленьо и попробовал пружину, которая легко подалась. Так как стремян не было и ноги его висели во всю их длину, то он походил на те фигуры, которые нарисованы или, вернее, вытканы на фландрских коврах, изображающих триумфальный въезд римских императоров.

Неохотно и потирая себе за ухом, сел на лошадь и Санчо. Он устроился как мог на ее крупе, который показался ему очень жестким и совсем не шелковистым. Поэтому он обратился к герцогу с просьбой ссудить его, если возможно, подушкой со скамейки ли госпожи герцогини или с постели какого-либо пажа, потому что круп этой лошади казался ему скорее мраморным, нежели деревянным. Но Трифальди объяснила, что Клавиленьо не терпит на своей спине ни малейшей упряжи и ни малейшего украшения, и что облегчение можно сделать одно лишь: что бы Санчо сел, как садятся на лошадь женщины; таким образом он менее будет чувствовать жесткость лошади. Он так и сделал и, простившись, дал себе завязать глаза. Но только что повязка была надета, он снял ее снова, и, бросая нежные и умоляющие взгляды на всех бывших в саду, он со слезами на глазах умолял их помочь ему в эту критическую минуту многократным повторением Отче наш и Богородице Дево, радуйся, чтобы Господь и им послал столько же людей для молитвы за них, когда и они окажутся в подобном же бедственном положении. «Разбойник! – воскликнул Дон-Кихот, – разве тебя поднимают на виселицу? разве ты находишься при последнем издыхании, что прибегаешь к подобной мольбе? Разве ты,

трусливое и извращенное создание, не занимаешь места, на котором сидела красивая Магалона и с которого она сошла не в могилу, а на французский престол, если историки не врут? А я, едущий с тобою вместе, разве не могу поставить себя на одну доску с доблестным Петром, который сдавливал ногами то самое место, которое теперь сдавливаю я? Завяжи, завяжи себе глаза, бессердечное животное, и пусть страх тебя охватывающий не сходит более с твоих уст, по крайней мере, в моем присутствии.

– Ну, завязывайте мне глаза, – отвечал Санчо, – но так как мне не дают поручить душу свою Богу и не дают, чтобы другие сделали это за меня, что же удивительного, что я боюсь, нет ли здесь легиона дьяволов, которые унесут нас в Перальвилью. [\[228\]](#)

Наконец им завязали глаза, и Дон-Кихот, усевшись, как нужно, повернул пружину. Только что он коснулся ее рукой, как все дуэнья и остальные присутствующие воскликнули: «Да сопутствует тебе Господь, храбрый рыцарь, да поможет тебе Бог, смелый оруженосец! Вот вы подымаетесь уже на воздух и летите, как стрела; вот уже все глядящие на вас с земли, дивятся и изумляются при виде вас. Держись крепче, отважный Санчо, не качайся, не то упадешь, а твое падение было бы еще ужаснее падения того безумца, который вздумал править колесницей своего отца Солнца». Санчо, слыша эти предостережения, крепче прижался к своему господину, которого обхватывал руками, и сказал: – Господин, как эти люди могут говорить, что мы летим так высоко, когда все слова их так явственно доносятся до нас, точно они говорят совсем около нас?

– Не обращай на это внимания, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – так как полеты и приключения при них выходят за пределы обыденных вещей, то ты будешь видеть и слышать все, что угодно, даже за три тысячи миль. Но не сжимай меня так: ты меня душишь. Не понимаю, что тебя так тревожит и пугает» я, напротив, готов поклясться, что никогда так спокойно не ездил: мы точно совсем не двигаемся. Полно, мой друг, брось свой страх. Все идет как следует, и ветер дует попутный.

– Вот это так правда, – согласился Санчо, – потому что с той стороны на меня дует такой ветер, словно раздувают тысячи мехов.

Санчо не ошибался: действительно на него дули из нескольких больших мехов. Приключение это было так хорошо подстроено герцогом, герцогиней и мажордомом, что ни одна подробность не была в нем опущена. Почувствовав на себе ветер, Дон-Кихот сказал: – Без сомнения, Санчо, мы поднялись до второй атмосферной области, где зарождаются град и снег» в третьей области зарождаются уже гром и молния, и если мы будем продолжать так подыматься, мы скоро достигнем области огня. Не

знаю, право, как задержать пружину, чтоб мы не залетели туда, где можем сгореть.

В эту минуту их стали подогрывать легко воспламеняемой и так же легко погашаемой зажженной паклей, которую издали, подставляли на длинных тростях к их лицам. Санчо первый почувствовал жар. «Будь я повешен, – вскричал он, – если мы не долетели до области огня или, по крайней мере, уже не близки от нее, потому что часть моей бороды уже опалилась. А очень бы мне хотелось, господин, развязать себе глаза и посмотреть, где мы находимся.

– И не подумай сделать это, – отвечал Дон-Кихот. – Припомни истинную историю лиценциата Торральвы, которого черти унесли на воздух верхом на палке и с закрытыми глазами. В продолжение двенадцати часов он достиг Рима, сошел у башни Ноны, такой улицы в Риме, присутствовал при штурме, видел поражение и смерть коннетабля Бурбонского; затем на другой день был уже снова в Мадриде и донес обо всем, что видел. Этот Торральва еще рассказывал, что во время полета черт велел ему открыть глаза; он открыл их и увидел себя так близко, как ему показалось, к луне, что он мог бы достать ее рукой; но на землю взглянуть он не решился из боязни, чтоб у него не закружилась голова.<sup>[229]</sup> Значит, Санчо, нам не следует развязывать себе глаз: тот, кто взялся нами руководить, ответит за нас, и, быть может, мы так взлетаем на воздух, чтобы вдруг опуститься за королевство Кандаию, как охотничий сокол на цаплю, чтоб схватить ее сверху, как бы та ни старалась улететь. Хотя с виду кажется, будто мы не более получаса назад выехали из сада, но мы уже, наверное, проехали порядочное расстояние.

– Не знаю, так оно или не так, – ответил Санчо, – но могу сказать, что если госпожа Магдалина или Магалона довольствовалась этим крупом, так у нее, значит, кожа не очень-то нежная.

Весь этот разговор обоих храбрецов от слова до слова слышали герцог, и герцогиня, и все находившиеся в саду, которых это очень забавляло. Наконец, чтоб достойным образом завершить это чудное и хорошо подготовленное приключение, подожгли паклей хвост Клавильньо, и так как лошадь была наполнена ракетами и петардами, то она в ту же минуту с ужасным треском взлетела на воздух, сбросив в траву опаленных Дон-Кихота и Санчо. Незадолго перед тем из сада скрылся отряд бородатых дуэний вместе с Трифальди и свитой, а люди, оставшиеся в саду, бросились на землю и лежали распростертые, как бы в обмороке. Дон-Кихот и Санчо, несколько расшибленные, поднялись и, оглянувшись вокруг, остолбенели при виде того самого сада, из которого выехали, и стольких людей,

недвижимо распростертых на земле. Но изумление их еще более возросло, когда они увидали в уголку сада воткнутое в землю копье, к которому двумя зелеными ленточками привязан был гладкий, белый пергамент со следующей надписью крупными золотыми буквами:

«Славный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский заключил и закончил приключение графини Трифальди, иначе называемой дуэньи Долориды, и прочих одним лишь тем, что предпринял его. Маламбруно признает себя вполне довольным и удовлетворенным. Подбородки дуэний обриты и гладки; король, Дон Клавихо и королева Антономазия вернулись в прежнее свое состояние. Как только будет выполнено оруженосцево бичевание, белая голубка вырвется из зачумленных когтей преследующих ее коршунов и очутится в объятиях своего возлюбленного голубка. Так повелевает мудрый Мерлин, архичародей из чародеев».

Едва разобрав написанное на пергаменте, Дон-Кихот сразу понял, что речь шла о снятии чар с Дульцинеи. Возблагодарив небо, что ему без особенного ряска удалось совершить такой великий подвиг и возвратить прежнюю гладкость лицам исчезнувших почтенных дуэний, он приблизился к тому месту, где герцог и герцогиня сидели как бы в столбняке. Потрясши руку герцога, он сказал: «Ободритесь же, добрый сеньор: все благополучно, и приключение кончилось без опасности для души или тела, как ясно доказывает вон та надпись». Герцог постепенно стал приходить в себя, точно просыпаясь от тяжелого сна. То же самое проделали и герцогиня, и все лежавшие распростертыми на земле, обнаруживая при этом такое удивление и поражение, что можно было подумать, будто все, что они так хорошо подстроили для собственного развлечения, действительно и серьезно приключилось с ними. Герцог прочитал полузакрытыми главами надпись, потом раскрыл свои объятия и заключил в них Дон-Кихота, называя его лучшим рыцарем какого когда-либо производил свет. Санчо искал глазами Долориду, чтобы посмотреть, какова она без бороды и так ли она красива с гладким подбородком, как можно было ожидать от ее наружности. Но ему сказали, что в ту минуту, как Клавиленьо спустился весь в огне с атмосферных высот и разлетелся в дребезги на земле, весь отряд дуэний вместе с Трифальди исчез, и все они оказались бритыми и без малейших признаков волос на лице.

Герцогиня спросила у Санчо, как он чувствовал себя во время этого продолжительного путешествия и что с ним происходило. Санчо ответил:

– Я почувствовал, сударыня, что мы летим, как говорил мой господин, в области огня, и хотел чуточку приоткрыть глаза. Но мой господин, когда я попросил у него позволения снять повязку, не согласился на это. Тогда я,

всегда немножко любопытный и охочий до того, что от меня скрывают, не говоря худого слова, потихонечку приподнял с носа платок, который прикрывал мне глаза, и взглянул на землю. Она мне показалась не больше горчичного зерна, а ходившие по ней люди величиной с орех: можете себе поэтому представить, как высоко мы должны были быть в эту минуту.

– Однако, друг Санчо, – перебила его герцогиня, – подумайте, что вы говорите. Вы значит, видели не землю, а ходивших по ней людей, потому что если земля вам показалась с горчичное зерно, а каждый человек с орех, то ясно, что один человек должен был прикрыть собой всю землю.

– Это правда, – ответил Санчо: – а все-таки я ее видел из своей щелочки, и видел всю целиком.

– Вспомните, Санчо, – возразила герцогиня, – что из щелочки невозможно видеть целиком вещи, на которые смотришь.

– Этих тонкостей я не понимаю, – ответил Санчо. – Я знаю только, что ваша милость должны-бы понимать, что так как мы летали по волшебству, то и видеть всю землю и всех людей я мог тоже по волшебству, как бы я на них ни смотрел. А если ваша милость этому не верите, так и тому не поверите, что, когда я приоткрыл глаза со стороны бровей, я увидел себя так близко от неба, что между мною и им было не более полутора пядей расстояния, и могу вам побожиться, сударыня, что оно ужасно большое. Случилось так, что мы в это время пролетали со стороны семи коз, <sup>[230]</sup> а так как я ребенком был на родине козьим пастухом, так меня, как только я их увидал, разобрала, клянусь Богом и своей душой, такая охота поболтать с ними, что я бы, наверное, лопнул, если б не исполнил своей фантазии. Так вот подлетаю я к ним, и что ж бы вы думали? Не говоря ни слова никому, ни даже моему господину, я попросту схожу с Клавиленьо я принимаюсь болтать с козами, которые, право, такие же милые, как левкой, и такие же славные, как цветы. И проболтал я с ними с три четверти часа, и во все это время Клавиленьо не двигался с места.

– Но пока добрый Санчо занимался козами, – спросил герцог, – чем занимался господин Дон-Кихот?

– Так как все это происходило вне обыденного порядка вещей, – ответил Дон-Кихот, – то, что Санчо рассказывает, вовсе не удивительно. Что меня касается, то я не открывал глаз ни сверху, ни снизу, и не видал ни неба, ни земли, ни моря, ни песчаных пустынь. Я, правда, отлично чувствовал, что лечу по атмосферной области и даже касаюсь области огня, но не думаю, чтоб мы залетели дальше. И в самом деле, так как область огня находится между луной и последней атмосферной областью, то мы не могли, не сгорев, достигнуть неба, где находятся семь коз, о которых



говорит Санчо, а так как мы не изжарились, то Санчо или лжет, или грезит.

– Я не лгу и не грежу, – возразил Санчо. – Вот спросите у меня приметы этих коз, и вы увидите, говорю ли я правду или лгу.

– Ну, скажите, Санчо, каковы они, – предложила герцогиня.

– А вот каковы, – ответил Санчо, – две зеленые, две красные, две голубые и одна пестренькая.

– Это совсем новая порода коз, – заметил герцог, – на нашей земле таких цветов не видать.

– О, это понятно! – ответил Санчо. – Подумайте только, какая разница должна быть между земными и небесными козами.

– Скажите, Санчо, – спросил герцог, – видали вы между этими козами козла?

– Нет, сударь, – ответил Санчо. – Я слышал, что ни один рогатый зверь не проходил никогда через рога луны.

Герцог и герцогиня перестали расспрашивать Санчо о его путешествии, потому что он готов был, по-видимому, занестись на седьмое небо и рассказать им обо всем, что там происходило, не сделав из сада ни одного шага. Так закончилось приключение дуэньи Долориды, над которым все хохотали вволю, не только пока оно продолжалось, но и всю остальную свою жизнь, и которое доставило бы Санчо достаточный материал для рассказов, даже если бы он прожил многие века. Дон-Кихот подошел к своему оруженосцу и шепнул ему на ухо: «Санчо, как вы хотите, чтоб все верили тому, что вы видели на небе, так и я хочу, чтоб вы верили тому, что я видел в пещере Монтезиноса; больше я ничего не прибавлю».

## **ГЛАВА XLII**

### **О советах, которые надавал Дон-Кихот Санчо Панса, перед тем как последний отправился управлять своим островом, и о многих других хороших вещах**

Счастливое и веселое окончание приключения с Долоридой так пришлось по душе герцогу и герцогине, что они решились продолжать свои шутки, видя, какой неоценимый материал являют собой их гости, принимающие все за чистую монету. На другой же день после полета Клавиленьо герцог, составив план действий и отдав своим слугам и вассалам приказания относительно того, как поступать с Санчо при управлении им обещанным ему островом, велел ему приготовиться к губернаторству, прибавив, что его островитяне ждут его, как манны небесной.

Санчо поклонился до земли и сказал: – С тех пор как я сошел с неба, с тех пор как глядел с его бесконечных высот на землю и видел, как она мала, у меня несколько поостыло прежнее желание сделаться губернатором. Что за величие, в самом деле, в управлении горчичным зерном? Что за заслуга, что за власть в управлении полудюжиной людей величиной с орех? Больше я не насчитал тогда на земле. Если бы ваша барская милость сооблаговолили подарить мне клочочек неба, хотя бы с полмили, то я принял бы его гораздо охотнее, чем величайший в мире остров.

– Заметьте, Санчо, – ответил герцог, – что я никому не могу дать ни клочка неба, хотя бы даже величиной с ноготок, потому что такого рода милости и дары свойственны одному Богу. А я дарю вам, что могу: готовый, законченный, круглый, хорошо устроенный остров, очень плодородный и богатый, в котором вы, если хорошо приметесь за дело, сумеете приобрести, вместе с земными богатствами, также и небесные.

– Ну, хорошо, – согласился Санчо. – Пусть будет остров, и я буду таким губернатором, что наперекор злым людям попаду прямо на небо. И не то чтоб мне хотелось из гордости подняться из моей хижины и скрыться в вышине; а мне хочется попробовать, какой вкус у губернаторства.

– Если вы его попробуете, Санчо, – сказал герцог, – вы поедите свои пальцы, потому что приказывать и видеть, как повинуются твоим

приказаниям, очень приятно. Когда ваш господин сделается императором (а он без сомнения сделается им, судя по обороту, который принимают его дела), он, наверное, нелегко откажется от этого поста, и вы увидите, что он в глубине души пожалеет о том времени, когда еще не был императором.

– Сударь, – ответил Санчо, – я полагаю, что повелевать хорошо даже стадом баранов.

– Пусть меня погребут вместе с вами, Санчо, – вскричал герцог, – если вы не сведущи во всем решительно, и я надеюсь, что из вас выйдет хороший губернатор, как и можно ожидать от вашего здравого смысла. Но оставим это, и заметьте, что вы должны завтра же утром отправиться на остров губернаторствовать. Сегодня вечером вас снабдят подходящим платьем, которое вы должны будете носить, и всем необходимым для отъезда.

– Пусть оденут меня как угодно, – сказал Санчо, – как бы я ни был одет, я останусь все тем же Санчо Панса.

– Это правда, – согласился герцог, но нужно, чтоб наряд соответствовал положению, в котором человек находится, или званию, которое он носит. Нехорошо было бы, если б юрисконсульт был одет по военному, а военный по духовному. Вы же, Санчо, будете одеты наполовину ученым, наполовину капитаном» потому что на том острове, который я вам даю, ученость также нужна, как оружие.

– Ученость? – переспросил Санчо. – У меня ее совсем нет: я даже грамоты не знаю; но мне достаточно знать наизусть молитвы, чтобы быть отличным губернатором. Что же до оружия, так я до тех пор буду действовать тем, которое мне дадут, пока не упаду, а в остальном воля Божья.

– С такой хорошей памятью, – сказал герцог, – Санчо ни в чем не может ошибиться.

В это время к ним подошел Дон-Кихот. Узнав, в чем дело, и услышав, что Санчо так скоро должен отправиться управлять островом, он с позволения герцога взял его за руку и отвел в свою комнату с намерением надавать ему советов, как ему исполнять свои новые обязанности. Придя в свою комнату, он запер дверь, почти насильно усадил Санчо рядом с собой и сказал ему голосом медленным и твердым:

– Я бесконечно благодарю небо, друг Санчо, что фортуна пошла к тебе навстречу и взяла тебя за руку, прежде чем сам я встретил удачу. Я, думавший, что найду в дарованных мне судьбой милостях, чем заплатить за твои услуги, еще нахожусь в начале своего странствования, ты же, раньше времени и в противность всем законам разумного расчета, видишь желания

свои исполненными. Одни расточают подарки и щедроты, хлопочут, надоедают, молятся по утрам, когда встают, умоляют, настаивают, и не получают того, о чем просят. Иной же является и, сам не зная, как и почему, вдруг получает место, которого домогалась целая толпа просителей. Можно сказать, что в искании мест все зависит от удачи или неудачи. Ты, который, на мой взгляд, не более как толстое животное, вдруг без усилий, без ранних вставаний и бессонных ночей, единственно потому, что странствующее рыцарство коснулось тебя своим дыханием, сделался ни более, ни менее, как губернатором острова. Я говорю тебе это, Санчо, для того, чтоб ты не приписывал своим заслугам оказываемой тебе милости, а благодарил бы прежде всего небо, которое благосклонно устроило все, а затем величие, заключающееся в покровительстве странствующего рыцаря. Теперь, когда твое сердце расположено верить тому, что я тебе сказал, будь, о сын мой, внимателен к словам этого нового Катона,<sup>[231]</sup> который хочет давать тебе советы, хочет быть твоим компасом и путеводителем, чтобы довести тебя до спасительной гавани на том бурном море, в которое ты собираешься пуститься, так как высшие должности ничто иное, как глубокая пучина, обьятая мраком и усеянная подводными камнями.

«Во-первых, о, сын мой, сохраняй страх Божий, потому что страх этот есть мудрость, и если ты будешь мудр, ты никогда не будешь впадать в заблуждение.

«Во-вторых, никогда не забывай, кто ты, и употребляй все усилия, чтобы познать самого себя: это познание дается всего труднее. Познав самого себя, ты не станешь раздуваться, как лягушка, которая желает сравняться с волком. В том случае, когда твое тщеславие распустил хвост, одно соображение заменит тебе уродство ног.<sup>[232]</sup> воспоминание о том, что ты в своей деревне пас свиней.

– Этого я не могу отрицать, – ответил Санчо, – но тогда я был еще маленьким мальчиком. А потом, когда я стал маленьким мужчиной, я стал уже пасти не свиней, а гусей. Но мне кажется, что это вовсе не относится к делу, потому что не все правители происходят от царей.

– Это правда, – согласился Дон-Кихот, – и потому те, которые не благородного происхождения, должны соединять с важностью занимаемого ими поста ласковую кротость, которая, при разумном направлении, предохраняет их от укулов злословия, от которых не спасает никакое положение в свете.

Гордись, Санчо, своим низким происхождением и не стыдись сознаваться, что ты приходишь от крестьянской семьи. Видя, что ты сам

не краснеешь от этого, никто никогда и не заставит тебя краснеть оттого. Старайся быть лучше смиренным праведником, чем высокомерным грешником. Много есть людей, которые, родившись в низком состоянии, дошли до высокого положения тиары или короны, и я мог бы привести тебе бесчисленное множество таких примеров.

Заметь, Санчо, что если ты примешь за руководство добродетель, если будешь стараться совершать добродетельные деяния, то тебе не нужно будет завидовать тем, у кого предками были принцы и вельможи, потому что кровь наследуется, а добродетель приобретается, и добродетель сама по себе имеет такую ценность, какой кровь иметь не может.

И так, если к тебе приедет, когда ты будешь жить на своем острове, кто-нибудь из твоих родных, не усылай его и не оскорбляй: напротив, ты должен принять его, обласкать и угостить. Таким образом, ты исполнишь свой долг относительно неба, которое не любит, чтоб человек презирал то, что оно создало, и свой долг относительно природы.

Если ты вызовешь к себе жену (а тем, кто управляет, нехорошо долго оставаться без жены), позаботься наставить ее, как подобает, отполировать ее, сгладить ее врожденную грубость, потому что все, что бы ни приобрел сдержанный губернатор, теряется и растрачивается глупой и грубой женщиной.

Если бы случилось так, что ты бы овдовел, что очень может случиться, и если бы твой пост дал тебе возможность жениться на другой, более знатной, не бери такой, которая служила бы тебе приманкой и удочкой и капюшоном, чтобы говорить: «Я не хочу».<sup>[233]</sup> Истинно говорю тебе: за все, что получит жена судьи, ответит муж ее на страшном суде, и он вчетверо заплатит после смерти по тем статьям счета, о которых не позаботился при жизни.

Никогда не руководись законом произвола,<sup>[234]</sup> который в такой милости у невежд, воображающих себя очень умными и проницательными.

Пусть слезы бедняков встречают в тебе более сострадания, но не более справедливости, чем просьбы богачей.

Старайся разузнавать истину среди подарков и обещаний богача, так же как среди рыданий и надоеданий бедняка.

Когда ты сможешь и должен будешь совершать правосудие, не сваливай на голову виновного всей тяжести закона, ибо репутация неумолимого судьи, конечно, не лучше репутации судьи сострадательного.

Если тебе случится отложить в сторону лозу правосудия, то пусть это совершится не из-за подарков, а из милосердия.

Если тебе случится решать дело, в котором замешан будет твой враг, брось воспоминание об обиде и сосредоточь свою мысль на истине дела.

Пусть личные страсти никогда не ослепляют тебя в чужом деле; в противном случае, большая часть ошибок, которые ты сделаешь, будут непоправимы, а если бы их и можно было иной раз поправить, так лишь в ущерб твоему кредиту и даже твоему кошельку.

Если хорошенькая женщина явится просить у тебя правосудия, отведи глаза от ее слез и не слушай ее стонов, а обдумай спокойно и медленно сущность того, о чем она просит, если не желаешь, чтоб рассудок твой утонул в ее слезах, а добродетель твоя задохлась бы от ее вздохов.

Кого ты должен карать делом, не унижай словами: для несчастных достаточно одной пытки, и незачем словами усиливать их страданий.

На виновного, который попадет к тебе под суд, смотри как на человека слабого и несчастного, подверженного слабостям нашей развращенной натуры. Во всем, что от тебя будет зависеть, обнаруживай по отношению к нему жалость и милосердие, не будучи в то же время несправедлив и к противной стороне, ибо, хотя все свойства Божьи равны, но милосердие сияет и светит нам в глаза еще с большим блеском, чем правосудие.

Если ты будешь, о Санчо, следовать этим правилам и принципам, ты будешь иметь долгую жизнь, слава твоя будет вечна, желания будут исполняться, и счастье будет невыразимо. Ты поженишь по своему усмотрению детей своих, они получают дворянские титулы – и они, и твои внуки; ты будешь жить в мире, благословляемые людьми; когда жизнь твоя придет к концу, смерть застанет тебя среди тихой, зрелой старости, и глаза твои будут закрыты нежными, слабыми ручками твоих правнуков. Все, что я сказал тебе до сих пор, способно украсить твою душу, а теперь слушай советы, которые послужат на украшение твоего тела.

## ГЛАВА LXIII

### О других советах, данных Дон-Кихотом Санчо Панса

Слыша предыдущие советы Дон-Кихота, кто бы ни счел его за очень умного и благонамеренного человека? Но, как уже много раз говорено было в течение этой длинной истории, он терял голову лишь тогда, когда затрагивали рыцарство, обнаруживая во всех других вопросах ясный и быстрый ум, так что его поступки на каждом шагу дискредитировали его суждения, а суждения опровергали поступки. Но в других советах, данных им Санчо, он выказал себя в совершенстве и довел до высшей степени и свой ум и свое безумие.

Санчо слушал его с величайшим вниманием и делал всевозможные усилия, чтоб сохранить в памяти его советы, твердо решившись следовать им и довести при их помощи до благополучного конца произведение на свет своего губернаторства. Дон-Кихот, между тем, продолжал так:

– Что касается того, как ты должен управлять собой и своим домом, Санчо, первое, что я тебе посоветую, кто – быть чистым и стричь себе ногти, не отращивая их, как некоторые люди, воображающие в своем невежестве, будто длинные ногти украшают руки; точно надставки, которые они остерегаются стричь, могут назваться ногтями, тогда как это ястребиные когти, – грязное и возмутительное злоупотребление.

Никогда не показывайся, Санчо, в изорванном и беспорядочном платье: это признак распущенности и лени, если только эта небрежность в одежде не скрывает под собой рассчитанного плутовства, как рассказывают о Юлии Цезаре. [\[235\]](#)

Пощупай тихонько пульс у своей должности, чтоб узнать, что она может дать, и если она позволит тебе наделить ливреями твоих слуг, дай им подходящие и удобные, а не бросающиеся в глаза и блестящие. Главное, подели ливреи между лакеями и бедняками, т. е., если тебе нужно одеть шесть пажей, одень троих лакеев и троих бедняков. Таким образом, у тебя будут пажи и для земли, и для неба: это новый способ давать ливреи, незнакомый высшим мира сего.

Не ешь ни чесноку, ни луку, что бы по запаху нельзя было узнать о твоём мужицком происхождении. Ходи чинно, говори медленно, но не так, как будто ты сам себя слушаешь, потому что всякая аффектация порок.

Обедай мало и еще менее ужинай: здоровье всего тела зависит от желудка.

Будь умерен в питье, памятуя, что лишнее вино не умеет ни хранить тайн, ни держать слова.

Берегись, Санчо, чтоб не есть за обе щеки и не эруктировать при других.

– А что это такое эруктировать? – спросил Санчо.

– Это, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – все равно, что рыгать, а так как последнее можно назвать одним из отвратительнейших слов в вашем языке, хотя оно и очень выразительно, то люди утонченные придумали употреблять латинское слово. Хотя не все понимают это выражение, но это не беда: со временем, оно войдет во всеобщее употребление и все станут понимать его. Это обогащает язык, на который чернь и обычай имеют одинаковое влияние.

– Право, господин, – сказал Санчо, – совет не рыгать я, кажется, всего лучше запомню, потому я, честное слово, на каждом шагу рыгаю.

– Не рыгаешь, а эруктируешь, Санчо! – вскричал Дон-Кихот.

– Эруктировать я буду говорить после, – возразил Санчо, – надеюсь, что не забуду.

– Еще ты не должен, Санчо, пересыпать свою речь таким множеством пословиц, какое ты всегда примешиваешь к разговору. Пословицы, правда, короткие изречения; но ты их обыкновенно так дергаешь за волосы, что они становятся более похожи на чушь, чем на изречения.

– О! – вскричал Санчо. – Этому может помочь один только Бог, потому что я знаю больше пословиц, чем любая книга, и когда я говорю, у меня просится на язык такое множество их зараз, что между ними начинается драка из-за того, кому выйти первой. Тогда мой язык хватает первые попавшиеся, хотя бы они были и совсем не у места. Но теперь буду стараться говорить только такие, которые будут приличны моему важному положению; потому что в хорошем доме, что в печи, то на стол мечи, и на Бога надейся, а сам не плошай, и брать иль давать, да не прогадать.

– Так, так, Санчо! – вскричал Дон-Кихот. – Сыпь, сыпь поговорками, пока некому тебя остановить. Мать меня наказывает, а я стегаю волчок. Я только-что говорю тебе, чтоб ты отучился от пословиц, а ты в одну минуту изрыгаешь их целую кучу, да так кстати, что выходит, как говорят, ни к селу, ни к городу. Заметь, Санчо, я не говорю, чтобы пословица производила неприятное впечатление, когда приведена кстати; но сыпать и нагромождать пословицы вкривь и вкось значит делать речь тяжелой и тривиальной.



Когда садишься на лошадь, не откидывайся назад на арчаке и не выдвигай вперед прямо и неуклюже ног своих, отдаляя их от живота лошади; но в то же время не сиди и так небрежно, точно ты на спине у своего Серого. Иные сидят верхом, как истинные наездники, а другие кажутся более подходящими для сидения на них самих.

Сон твой должен быть умерен, потому что кто не встает рано, тот не наслаждается днем. Помни, Санчо, что прилежание есть мать благородства, а его враг – леность еще никогда не достигала исполнения какого-нибудь справедливого желания.

Еще один последний совет. Хотя он и не сможет служить тебе для украшения тела, но я хотел бы, чтоб ты всегда держал его в памяти, потому что полагаю, что он будет тебе не менее полезен, чем те, которые я тебе раньше дал. Вот он: не спорь никогда о знатности фамилий, по крайней мере, по сравнению одной с другою. Между сравниваемыми непременно должно быть отдано преимущество одной, а другая, которую ты унизишь, тебя возненавидит, тогда как возвеличенная тобою ничем не вознаградит тебя.

Ты должен одеваться в штаны, в длинный камзол и плащ немного подлиннее камзола. Портков не носи никогда: они неприличны как для дворян, так и для губернаторов. Вот, Санчо, советы, которые я мог сейчас припомнить. С течением времени я постараюсь посылать тебе советы, по мере того, как ты будешь извещать меня о положении твоих дел.

– Господин, – ответил Санчо, – я вижу, что все, что ваша милость мне сказали, хорошо, свято и полезно. Но на что мне все это, если я не буду помнить ничего? Конечно, насчет отращивания себе ногтей и женитьбы, если представится случай, я не позабуду. Ну, а все прочие мелочи, глупости и белиберды я помню и буду помнить, как прошлогодний снег. Так уж лучше бы записать их, потому я хоть и не умею ни читать, ни писать, но велю моему духовнику повторять их мне, когда нужно, и хорошенько вколотить их мне в голову.

– Ах, грехи мои тяжкие! – вскричал Дон-Кихот. – Как это нехорошо, чтоб губернатор не умел ни читать, ни писать! Знай, Санчо, что если человек не умеет читать и если он левша, так это доказывает одно из двух: или что он происходит от очень низменных родителей, или что он такой негодяй, что его невозможно было приучить к добрым обычаям и правилам. Это у тебя громадный недостаток, и я хотел бы, чтоб ты научился хоть подписываться.

– Я умею подписывать свое имя, – ответил Санчо. – Когда я был у себя в деревне церковным сторожем, я научился выделывать такие большие

буквы, как на метках, на тюках, и говорили, что это мое имя. Впрочем, я могу притвориться, что у меня правая рука разбита параличом, и подписываться за меня будет другой. Против всего можно найти средство, только не против смерти, а так как у меня будет власть и палка, то я буду делать все, что захочу. Тем более что у кого отец алькад... а я буду губернатором, что гораздо важнее, чем алькад, тогда подходите, милости просим. А не то пусть меня презирают и перекрестят, кто пойдет за шерстью, тот вернется стриженный, потому к кому Бог расположен, того он посещает, и всякая глупость богача сходит за мудрое изречение, а когда я буду богат, потому что буду губернатором, и буду еще тароват – а тароватым я хочу быть, – кто же станет искать во мне недостатков? В конце концов, если вы сделаетесь медом, мухи съедят вас» не красна изба углами, а красна пирогами, говаривала моя бабушка, и кто богат, тот тебе и сват.

– О, будь ты проклят Богом, проклятый Санчо! – вскричал Дон-Кихот. – Чтоб шестьдесят тысяч чертей унесли тебя и твои пословицы! Уже целый час ты их нагромождаешь и мучишь меня, как на пытке, при каждой из них. Предсказываю тебе, что эти пословицы когда-нибудь доведут тебя до виселицы; они вынудят твоих вассалов отнять у тебя губернаторство и посеют среди них соблазн и смуты. Скажи мне, неуч, где ты их набираешь? и как ты применяешь их, дурак? Я, чтоб сказать и хорошо применить хоть одну, тружусь и потею, точно землю копаю.

– Клянусь Богом, господин мой хозяин, – ответил Санчо, – ваша милость придираетесь к пустякам. Кто может, черт возьми, находить дурным, что я пользуюсь своим добром, когда у меня нет ничего другого: ни денег, ни земель, а есть только пословицы и одни пословицы? Вот теперь мне пришли на память целых четыре, и все так кстати, как март месяц для поста. Но я их не скажу, потому что никто так не годится для молчания, как Санчо. [\[236\]](#)

– Этот Санчо не ты, – возразил Дон-Кихот. – Если ты на что и годишься, так не для молчания, а для того, чтоб говорить глупости и упрямиться. А все-таки я хотел бы услышать те четыре пословицы, которые теперь так кстати пришли тебе на память. Я вот напрасно ищу их в своей памяти, которая тоже не из последних, и не нахожу ни одной.

– Какие же пословицы, – ответил Санчо, – могут быть лучше этих: «другому пальца в рот не клади», «наступай вон и отстань от моей жены отвечать нечего» и «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». Все они очень кстати и означают: пусть никто не ссорится со своим губернатором или начальником, или ему придется раскаяться в том, как человеку, который положит другому палец в рот и попадет между его

зубами. То же самое на слова губернатора нечего отвечать, так же как наступай вон и отстань от моей жены. А что до кувшина, который повадился по воду ходить, так это и слепой поймет. Поэтому нужно, чтобы тот, кто видит сучок в чужом глазу, видел бревно в своем, а то о нем станут говорить, что смерть бояться казненного, а ваша милость хорошо знаете, что дурак в своем доме больше знает, чем умник в чужом.

– Ну, нет, Санчо, – возразил Дон-Кихот: – ни в своем, ни в чужом доме дурак ничего не знает, потому что на фундаменте глупости невозможно возвести здания ума и рассудка. Но оставим это, Санчо. Если ты будешь плохо управлять, так твоя будет вина, а стыд падет на меня. Меня утешает только то, что я сделал все, что мог, надавав тебе советов со всем рвением и усердием, какое было мне доступно. Сделав это, я исполнил свой долг и обещание. Да будет Господь твоим руководителем, Санчо, и да направляет он тебя в твоём губернаторстве. Избави и меня Бог от терзающего меня сомнения: я боюсь, право, чтоб ты не перевернул всего острова вверх дном, что я мог бы предотвратить, открыв герцогу, кто ты такой, объяснив ему, что вся твоя тучность, вся твоя толстая фигура ничто иное, как мешок, наполненный пословицами и плутнями.

– Господин, – ответил Санчо, – если вам кажется, что я не гожусь для этого губернаторства, так я сейчас брошу его, потому что я больше дорожу кончиком ногтей моей души, чем всем моим телом, и мне так же будет хорошо, если я буду просто Санчо и буду есть хлеб с луком, как если я буду губернатором Санчо и буду лакомиться каплунами и куропатками. Притом во время сна все равны, большие и малые, богатые и бедные. Если ваша милость хорошенько пораздумаете об этом, вы увидите, что сами вбили мне в башку губернаторство, потому я столько же понимаю в управлении островами, сколько гусенок. А если вы думаете, что за то, что я был губернатором, меня черт возьмет, так я хочу лучше отправиться простым Санчо на небо, чем губернатором в ад.

– Клянусь Богом, Санчо! – вскричал Дон-Кихот, – за одни твои последние слова я полагаю, что ты заслуживаешь быть губернатором целой сотни островов. У тебя доброе сердце, а без этого ни одна наука ничего не стоит. Отдай себя на волю Божью и старайся только не грешить первым побуждением, т. е. имей всегда в виду и твердо стремись к отысканию истины и справедливости во всяком деле, какое тебе представится: небо всегда благословляет чистые намерения. А теперь пойдем обедать, потому что их светлости уже, наверное, ждут нас.

## ГЛАВА XLIV

### Как Санчо Панса был отвезен в свое губернаторство, и о странном приключении, случившемся с Дон-Кихотом в замке

Говорят, что Сид Гамед предпослал этой главе вступление, которое переводчик передал не так, как оно было написано. Это нечто вроде жалобы, с которой мавр обращается к самому себе по поводу того, что предпринял написать такую сухую и ограниченную историю, в которой он принужден говорить постоянно о Дон-Кихоте и Санчо, не осмеливаясь делать никаких отступлений и примешивать более интересные и серьезные эпизоды. Он прибавляет, что постоянно занимать свой ум, руку и перописанием об одной личности и говорить устами немногих людей – несносная работа, и результаты ее не соответствуют трудам автора; что, во избежание этого неудобства, он в первой части употребил уловку, введя несколько повестей, как о Безрассудном Любопытном и о Пленном Капитане – не относящихся к этой истории, тогда как другие, рассказанные в ней, все составляют события, в которых фигурирует сам Дон-Кихот и которых потому нельзя было пройти молчанием. С другой стороны, он полагал, как прямо говорит, что многие люди внимание которых всецело поглощено будет главными подвигами Дон-Кихота, не обратят должного внимания на эти повести и прочитают их или вскользь, или с неудовольствием, не заметив обнаруживаемых в них изобретательности и прелести, качеств, которые прямо бросятся в глаза, когда эти повести появятся на свет, предоставленные самим себе, а не опирающиеся на безрассудство Дон-Кихота и грубости Санчо Панса.<sup>[237]</sup> Поэтому-то он во второй части и не захотел вставлять или вшивать отдельных повестей, ограничившись лишь несколькими эпизодами, проистекающими из самых событий, основанных на истине, и то сжато и настолько кратко, насколько только возможно. И так, в виду того, что держится и заключается в тесных рамках рассказа, обладая достаточным умом, искусством и умением, чтоб говорить о делах всей вселенной, он и просит соблаговолить не пренебречь его трудом и наделить его похвалами не за то, что он пишет, а за то, от чего воздерживается. После этого он такими словами продолжает историю:

По выходе из-за стола в тот день, когда Дон-Кихот надавал Санчо советов, он вечером изложил их письменно, что бы Санчо заставлял кого-

нибудь читать их себе. Но едва он отдал их по принадлежности, как они исчезли, попав в руки герцога, который показал их герцогине, причем оба снова удивлялись смеси безумия и здравого смысла в Дон-Кихоте. Желая продлить начатые шутки, они в тот же вечер отправили Санчо под большим конвоем в местечко, которое должно было сойти у него за остров. Случилось так, что проводник, которому его поручили, был герцогский мажордом, умный и остроумный – да без ума и невозможно быть остроумным, – тот самый, который так ловко разыграл графиню Трифальди. Благодаря своему таланту и инструкциям, данным ему господами относительно образа действий с Санчо, он прекрасно выполнил свою задачу.

Случилось также, что Санчо, когда увидал этого мажордома, сразу узнал в его лице Трифальди.

– Господин, – сказал он, обернувшись к Дон-Кихоту, – или черт меня побери отсюда, как есть, верующим и праведным, или ваша милость должны сознаться, что вот у этого герцогского мажордома лицо Долориды, а Дон-Кихот внимательно взглянул в лицо мажордома и, рассмотрев его, сказал:

– Не понимаю, Санчо, зачем тебе отдаваться черту верующим или неверующим, да я и не пойму, что ты хочешь этим сказать.<sup>[238]</sup> Из того что лицо Долориды то же, что лицо мажордома, еще не следует, чтоб мажордом был Долоридой, иначе вышло бы страшное противоречие. Но теперь не время производить расследования, потому что это завело бы нас в безысходный лабиринт. Поверь мне, друг: оба мы должны от всего сердца возблагодарить Господа, что он избавил нас от злых волшебников и чародеев.

– Это не шутка, господин, – возразил Санчо. – Я слышал сейчас, как он говорил и хохотал, и мне казалось, что уши мои режет голос Трифальди. Ладно, я буду молчать, но буду вперед смотреть в оба, что бы выследить какой-нибудь знак, который бы подтвердил или опроверг мои подозрения.

– Вот что ты должен делать, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – извещай меня обо всем, что узнаешь на этот счет, и обо всем, что с тобой случится во время твоего губернаторства.

Наконец, Санчо уехал, в сопровождении множества народу. Он одет был судьей, в рыжем камлотовом плаще поверх платья и в такой же шляпе на голове. Он ехал верхом на муле, а позади его шел, по распоряжению герцога, его осел в шелковой и сверкавшей новизной сбруе. Время от времени Санчо поворачивал голову, чтобы взглянуть на своего осла, и его так радовало присутствие его, что он не поменялся бы судьбой даже с

германским императором. Прощаясь с герцогом и герцогиней, он поцеловал у них руки, затем пошел просить благословения у своего господина, который благословил его со слезами на глазах, причем Санчо всхлипывал, как плачущий ребенок.

Теперь, любезный читатель, пусть добрый Санчо мирно и счастливо едет, а ты терпеливо подожди, пока у тебя прибавится целых два стакана крови, когда ты узнаешь, как он держался во время своего правления. В ожидании же удовольствуйся тем, что услышишь о происшедшем в эту ночь с его господином. Если ты и не будешь хохотать над этим во все горло, так, по крайней мере, скорчишь, как говорится, обезьянью гримасу, ибо все похождения Дон-Кихота возбуждают или удивление, или веселость.

Рассказывают, что едва Санчо уехал, как Дон-Кихот почувствовал такое сожаление о его отъезде и такое одиночество, что если бы только мог, вернул бы своего оруженосца и отнял бы у него губернаторство. Герцогиня заметила его печаль и спросила у него о причине.

– Если ваша печаль вызвана отсутствием Санчо, – сказала она, – так у меня в доме найдется множество оруженосцев, дуэний и молодых девушек, которые готовы будут исполнять все ваши прихоти.

– Конечно, сударыня, – ответил Дон-Кихот, – и жалею об отсутствии Санчо; но не это главная причина печали, написанной на моем лице. Из всех учтивостей и многочисленных предложений, которыми ваша милость осыпаете меня, я принимаю только одно: подсказывающее их доброе желание. Кроме того, я попрошу у вашей милости разрешения служить себе самому в моей комнате.

– О, нет, господин Дон-Кихот! – возразила герцогиня. Этого я не допущу: я хочу, чтобы вам служили четыре молодых девушки, прекрасных, как цветки, которых я выбрала: из своих горничных.

– Для меня, – ответил Дон-Кихот, – они будут не цветками, а шипами, которые будут пронзать мою душу. Поэтому они, или какое-нибудь подобие их, так и не войдут в мою комнату, как у меня не вырастут крылья для летания. Если вашему величию угодно, продолжать осыпать меня милостями, которых я не стою, так позвольте мне поступать, как мне самому будет приятнее, и делать все при закрытых дверях. Я должен ставить преграду между моими желаниями и моим целомудрием и не хочу отказаться от этой хорошей привычки, чтобы принять щедрость, которую вашему высочеству угодно оказывать мне. Словом, я лучше буду спать одетый, чем позволю кому бы то ни было раздевать меня.

– Довольно, довольно, господин Дон-Кихот, – остановила его герцогиня. – Я со своей стороны, отдам приказание, чтобы в вашу комнату

не впускали никого; не только девушки, но даже мухи. О, я неспособна допустить посягательства на стыдливость господина Дон-Кихота: сколько я могла заметить, из всех его многочисленных добродетелей наиболее сияет целомудрие. Итак, ваша милость может тайком и по своему одеваться и раздеваться, когда и как вам будет угодно: никто не будет критиковать вас, и вы найдете у себя в комнате все сосуды, необходимые для человека, спящего при закрытых дверях, чтоб никакая естественная надобность не заставила вас отпереть двери. Да здравствует тысячу веков великая Дульцинея Тобозская и да прогремит ее имя по всей земной поверхности, если она сумела заслужить любовь такого доблестного и целомудренного рыцаря! Да вселят сострадательные небеса в душу Санчо Панса, нашего губернатора, пылкое желание поскорее окончить свое искупление, дабы свет снова мог пользоваться счастьем наслаждаться прелестями такой великой дамы!

На это Дон-Кихот ответил: – Ваше величие говорили, как подобает таким дамам, ибо из уст высокородных дам не может вырваться ни одно низменное или лукавое слово. От похвал вашей милости Дульцинея станет счастливее и известнее в свете, чем от всех восхвалений, какие могли бы ей расточать красноречивейшие ораторы вселенной.

– Довольно комплиментов, господин Дон-Кихот, – остановила его герцогиня, – уже наступил час ужина, и герцог, вероятно, ждет нас. Пусть ваша милость поведет меня к столу, а потом вы пораньше пойдете спать, потому что ваше вчерашнее путешествие в Кандаию были не настолько кратко, чтоб не утомить вас.

– Я ничуть не утомлен, сударыня, – возразил Дон-Кихот, – потому что, могу поклясться вашей светлости, во всю свою жизнь не ездил на коне с более плавной поступью, чем у Клавиленьо. Не понимаю, право, что заставило Маламбруно отделаться от такого приятного и легкого коня и без околичностей сжечь его.

– Можно предположить, – ответила герцогиня, – что он, раскаявшись в том зле, которое причинил Трифальди и ее товаркам, а также и другим лицам, и в злодеяниях, которые, вероятно, совершил в качестве колдуна и чародея, захотел уничтожить все орудия своей деятельности и сжечь Клавиленьо, как одно из главных, наиболее беспокоившее и волновавшее его перенесением его из страны в страну. Поэтому пепел от этой машины и трофей в виде надписи будут вечными свидетелями доблести великого Дон-Кихота Ламанчского.

Дон-Кихот опять стал благодарить герцогиню и затем, отужинав, отправился один в свою комнату, никому не позволяя входить туда помочь

ему, из опасения наткнуться на случай, который заставил бы или побудил бы его изменить его даме Дульцинее, ибо у него вечно была пред глазами добродетельность Амадиса, этого цвета и зеркала странствующих рыцарей. Он запер за собою дверь и начал при свете двух свечей раздеваться. Но разуваясь он (о, незаслуженное несчастье!) надорвал – не свое сердце вздохами или другими проявлениями измены своей чистоте и самообладанию, а дюжины две петель в одном из чулков, который стал вдруг прозрачен, как жалюзи. Это происшествие весьма опечалило доброго рыцаря, и он с радостью отдал-бы целую унцию серебра за полдрахмы зеленого шелка: я говорю зеленого, потому что чулки его были зеленые.

Тут Бен-Энгели, продолжая писать, восклицает: «О, бедность, бедность! Не знаю, какая причина могла побудить великого кордовского поэта назвать тебя «святым даром, неблагодарно полученным».<sup>[239]</sup> Что до меня, то я хотя и мавр, но прекрасно знаю понаслышке от христиан, что святость заключается в милосердии, смирении, вере, повиновении и бедности. Во всяком случае, я говорю, что тот должен считать себя осыпанным милостями Божьими, кто радуется своей бедности, если только это не та бедность, о которой один из величайших святых сказал: «Имейте все, как если б вы ничего не имели».<sup>[240]</sup> Это называется бедностью ума. Ты же, другая бедность, та, о которой я говорю, зачем ты вечно преследуешь только гидальго и знатных людей, а не кого-нибудь другого.<sup>[241]</sup> Зачем ты заставляешь их класть заплаты на башмаки и носить куртки, на которых одна пуговица шелковая, другая волосяная, третья стеклянная? Почему воротники их почти всегда измяты как цикорные листья и не имеют должной формы (что доказывает древность обычая носить открытые воротники и крахмалить их)?» Далее он прибавляет: «Несчастлив тот гидальго, благородного происхождения, который охраняет свою честь, питаясь плохо и при закрытых дверях, а потом лицемерно ковыряет в зубах зубочисткой, когда выходит из своей квартиры, тогда как он ничего не ел, чтоб ему нужно было чистить зубы. Несчастлив тот, говорю я, честь которого чересчур щепетильна и который воображает, что все замечают издали заплаты на его башмаках, жирные пятна на шляпе, нитки на его плаще и голод в его желудке».

Все эти мысли пришли в голову Дон-Кихоту по поводу разорвавшегося чулка его; но он успокоился, увидав, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, которые он и намеревался надеть на другой день. Наконец, он лег, задумчивый и опечаленный как пустотой, оставленной отъездом Санчо, так и несчастьем с чулками, распутившиеся петли



которых он бы охотно починил хотя бы шелком другого цвета, что составляет одно из лучших доказательств бедности, какое может дать гидальго за все время своей вечной нищеты. Он погасил свечи, но было так жарко, что он не мог уснуть. Он встал и пошел открыть решетчатое окно, выходящее в прекрасный сад, в это время он услышал, что под этим окном ходят и разговаривают. Он стал прислушиваться. Гулявшие говорили настолько громко, что он мог расслышать их разговор: – Не требуй, о Эмеренсия, не требуй, чтоб я пела, потому что ты знаешь, что с тех пор как этот чужестранец вступил в этот замок, с тех пор как глаза мои его увидели, я не могу уже петь, а могу только плакать. Притом, у герцогини сон очень чуткий, а я ни за что на свете не хотела бы, чтоб она застигла нас здесь. Да хоть бы она и спала и не просыпалась, к чему послужило бы мое пение, когда он спит и не просыпается, чтоб меня слушать, он, этот новый Энэй, явившийся в наши края, чтоб сделать меня игрушкой своего пренебрежения?

– Не стесняйся, милая Альтисидора, – ответил другой голос. – Герцогиня и все живущие в этом замке, наверное, все погружены в сон, кроме того, кто пробудил твою душу и царит в твоём сердце. Я слышала, как открылось в его комнате решетчатое окно, – значит, он не спит. Пой, раненая бедняжка, пой тихонько на нежный, сладостный мотив под звуки арфы. Если герцогиня нас услышит, мы извинимся жарой, которая стоит.

– Не это меня удерживает, о Эяеренсия, – отвечала Альтисидора, – но я не хотела бы, чтобы мое пение раскрыло состояние моего сердца и чтобы те, кто не знает непреодолимой силы любви, не приняли бы меня за девушку своенравную и без стыда. Но я отдамся, что бы ни произошло, потому что лучше краска стыда на лице, нежели пятно на сердце.

Тут она ваялась за свою арфу и извлекла из нее нежные переливы.

Услышав эти слова и эту музыку, Дон-Кихот пришел в изумление, потому что в ту же минуту на память ему пришли бесконечные приключения в том же вкусе, с решетчатыми окнами, садами, серенадами, ухаживаниями и обмороками, о которых он читал в своих глупых книгах о странствующем рыцарстве. Он тотчас вообразил, что какая-либо из камеристок герцогини влюбилась в него и что скромность вынуждала ее хранить свою страсть в тайне. Он устранился, как бы ей не удалось тронуть его, и в сердце своем он твердо решил не дать себя победить. Поручив себя с пылом и преданностью даме своей Дульцинее Тобозской, он, однако, решил выслушать музыку, а чтобы дать знать, что он здесь, он сделал вид, что чихает, что очень обрадовало обеих девиц, которые ничего более не желали, как быть услышанными Дон-Кихотом. Настроив арфу и

проиграв вступление, Альтисидора спела следующий романс:

О, лежащий на кровати,  
В простынях голландских тонких,  
Спящий, ноги протянувши,  
От заката до рассвета;

Рыцарь более отважный,  
Чем все рыцари Ламанчи;  
Благородней кто и чище  
Золотых песков Аравьи!

Слушай голос девы скорбной,  
Без взаимности влюбленной;  
От твоих двух солнц в которой  
Сердце пламенем объято.

Ищешь ты все приключений,  
Принося другим несчастье;  
Раны тяжкие наносишь  
И не хочешь исцелить их.

Храбрый юноша, поведай  
(Да печаль тебя минует!),  
Сын ли Ливии ты знойной  
Или гор высоких Хака;

Змеи ли тебя вскормили,  
Или, может быть, воспитан  
Был ты средь лесов дремучих,  
Диких гор суровой жизнью.

Славься вечно, Дульцинея,  
Дева полная здоровья,  
Потому что приручила  
Зверя ты лютее тигра.

Славят пусть ее за это  
С Генареса до Хамары,

С Таго до Мансанареса,  
С Писуэрги до Арлансы.

Поменялась бы я с нею;  
Платье ей дала б в придачу  
Я одно из самых пестрых,  
С золотою бахромою.

Кто бы спал в твоих объятьях!  
Ил стоял бы у постели,  
Гладя голову рукою,  
Чистя волосы от грязи!

Но я многого желаю, —  
Чести этой я не стою;  
Щекотать одни лишь ноги  
Для меня б блаженством было.

Сколько б я тебе ермолок,  
Дорогих чулков связала;  
Сколько б брюк тебе нашила  
И плащей из тканей тонких!

Сколько перлов подарила б,  
Каждый перл в орех чернильный,  
И единственных названье  
Все они носить могли бы! [\[242\]](#)

Не взирай с скалы Тарпейской  
На огонь меня палящий;  
Гневом, о, Нерон Ламанчский,  
Не усиливай пожара!

Молода я и нежна я,  
И пятнадцати нет лет мне  
(Мне четырнадцать лишь только —  
В том душой моей клянуся).

Не хрома я, не горбата;

Недостатков не имею;  
Волосы мои как лилии,  
По земле у ног влачатся.

Пусть мой рот как клюв орлиный,  
Пусть мой нос курнос немного,  
Как топазы мои зубы; —  
Красота моя тем ярче.

Голос мой, когда ты слышишь,  
Назовешь приятным, верно;  
Я могу считаться ростом  
Ниже среднего немного,

Эти чары и другие  
Для тебя добычей станут.  
В этом доме я служанка;  
Имя мне Альтисидора».

На этом прекратилось пение влюбленной Альтисидоры и началась мука для Дон-Кихота, который, испустив глубокий вздох, сказал самому себе: «Почему я так несчастливо странствую, что ни одна девица не может видеть меня без того, чтобы не влюбиться! Почему несравненная Дульцинея так мало счастлива, что ей не дают в мире и спокойствии наслаждаться моей невероятной верностью? Чего вы от нее хотите, богачки? Чего вы от нее требуете, императрицы? Из-за чего вы ее преследуете, девицы между четырнадцатью и пятнадцатью годами? Оставьте, оставьте ее, бессовестные; предоставьте ей торжествовать и гордиться судьбой, которую доставила ей любовь, сделав сердце мое ей подвластным и отдав ей ключи от моей души. Заметьте, о влюбленная армия, что я только для Дульцинеи состою из воска и мягкого теста, для других же я – камень и бронза. Для нее я сладок, как мед, для вас – горек, как полынь. Для меня одна Дульцинея прекрасна, одна она скромна, одна она целомудренна и одна она высокорожденна; все остальные безобразны, глупы, бесстыжи и низменного происхождения. Только для нее и ни для кого другого природа произвела меня на свет. Пускай Альтисидора плачет или поет, пускай приходит в отчаяние, я услышу только ту, из-за которой меня так мучили в заколдованном замке мавра. Одной Дульцинее я должен

принадлежать, хотя бы меня варили или жарили. Для нее одной я должен оставаться чист, честен и учтив, на зло всем колдовствам в мире».

С этими словами он с шумом захлопнул окно, потом, преисполненный досады и печали, как будто с ним случилось большое несчастье, возвратился к себе на постель, где мы его пока и оставим, потому что нас призывает великий Санчо Панса, который намерен с треском начать свое губернаторство.

## ГЛАВА XLV

### Как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом и каким образом начал он губернаторствовать

«О, ты, постоянно открывающее антиподов, факел мира, око неба, кроткий творец колебания кувшинов для освежения,<sup>[243]</sup> здесь называемое Фебом, там Тимбриен, то стрелок, то врач, изобретатель музыки; ты, всегда встающее и никогда не лежащее; к тебе, о солнце, обращаюсь я; ты, с помощью которого человек рождает человека, помоги мне и освети мрак моего ума, чтобы я мог рассказать шаг за шагом губернаторство великого Санчо Панса; без тебя я чувствую себя слабым, поверженным в уныние, смущенным».

Итак, Санчо вскоре прибыл со своей свитой в город с жителями человек в тысячу, один из богатейших городов во владениях герцога. Ему сообщили, что остров называется Баратария, может быть потому, что город назывался Баратарио, а может быть для выражения того, что ему дешево досталось губернаторство.<sup>[244]</sup> Когда он прибыл к воротам города, окруженного стеною, навстречу ему вышел городской совет. Колокола зазвонили и среди общего веселья, проявляемого населением, его с большой помпой проводили в собор для принесения благодарности Богу. Затем со смешными церемониями ему вручили ключи от города, и он был введен в должность постоянного губернатора острова Баратории. Наряд, борода, толщина и малый рост нового губернатора повергли в удивление всех, кто не знал разгадки этого, а число таких незнающих было велико. По выходе из церкви, его отвели в аудиенц-зал и усадили на судейское кресло: Тут, мажордом герцога сказал ему: – На этом острове, господин губернатор, существует исконный обычай, по которому всякий, вступающий во владение островов, должен ответить на один обращенный к нему вопрос, немного туманный и затруднительный. По ответу на этот вопрос население прощупывает пульс ума своего нового губернатора и по нему узнает радоваться или печалиться ему по случаю его вступления.

Пока мажордон держал эту речь, Санчо разглядывал на стене против его сидения какие-то выведенные там большие буквы, а так как он читать не умел, то и спросил, что это за рисунки на стене. Ему отвечали: – господин! Здесь написан и занесен в летописи день, когда ваша светлость

вступили во владение островом. Эпитафия составлена так: Сегодня, такого-то числа такого-то месяца и года, вступил во владение этим островом господин Дон Санчо Панса. Да пользуется он им долгие годы!

– А кто это называется доном-Санчо Панса? – спросил Санчо.

– Ваша светлость, отвечал мажордом, – потому что на этот остров не вступал никакой другой Панса кроме того, который сейчас сидит на этом кресле.

– Ну так знайте, брат, – сказал Санчо, – что я не ношу титула дона и что никто его не носил в моей семье. Просто Санчо Панса, вот я как называюсь. Санчо назывался мой отец, Санчо – мой дед и все были Панса без дона и других удлиннений. Я думаю, здесь на острове более донов, нежели камней. Но пусть только, если Господь меня услышит, а это возможно, пусть только губернаторство мое продлится дня четыре, как я выполню всех этих донов, которые своей многочисленностью должны быть так же докучливы, как москиты и комары.<sup>[245]</sup> Ну, а теперь господин мажордом может изложить свой вопрос. Я отвечу на него как смогу к огорчению или к радости народа.

В эту минуту в залу вошли два человека, один в одежде крестьянина, другой портной, потому что в руках у него были ножницы, и портной сказал: – Господин губернатор, этот крестьянин и я являемся вред вашей милостью потому, что этот добрый человек явился вчера ко мне в лавку (с позволения вашего и всей компании я, слава Богу, состою присяжным портным) и, отдав мне в руки кусок сукна, спросил меня: – Сударь, хватит ли мне из этого сукна на колпак?

Смерив кусок, я отвечал: «да». Он, должно быть, как я думаю, вообразил, что я хочу украсть у него кусок сукна, потому что основывался на собственной своей недобросовестности и на общем дурном мнении о портных, и говорить мне, чтобы я посмотрел, не хватит мне сукна на два колпака. Я угадал его мысль и снова сказал: «да». Тогда все с тем же злым намерением он стал прибавлять колпаки, а я свое да, пока мы не дошли до пяти колпаков. Сейчас он за ними явился. Я ему их отдаю, но он не хочет уплатить мне за работу, а, напротив, требует, чтобы я ему заплатил или отдал сукно.

– Так ли это, брат? – спросил Санчо крестьянина.

– Да, сударь, – отвечал тот, – но пусть ваша милость заставит его показать пять колпаков, который он сделал. – Очень охотно, сказал портной, и, вытащив руку из-за пазухи, показал пять колпаков на кончиках пяти пальцев своей руки.

– Вот, – сказал он, – пять колпаков, которые требует от меня этот

добрый человек. Клянусь своей душой и совестью, что у меня не осталось и дюйма сукна: я готов отдать свою работу на суд ремесленных испытателей.

Все присутствующие рассмеялись при виде множества колпаков и по случаю необыкновенной тяжбы. Санчо размышлял несколько мгновений и сказал затем: – Эта тяжба, мне кажется, не требует отсрочки и может быть решена судом честного человека. И вот мой приговор: пусть портной лишится своей платы, а крестьянин своего сукна, и пусть колпаки отдадут арестантам, и делу конец.

Следующий приговор с деньгами пастуха вызвал в присутствующих удивление, этот же заставил их всех расхохотаться.<sup>[246]</sup> Но приказ губернатора был исполнен, после чего пред ним предстали два человека преклонного возраста. У одного в руках была камышовая трость; другой старик без трости обратился к Санчо и сказал: – Господин, много времени тому назад я дал этому доброму человеку десять золотых, чтобы оказать ему услугу и удовольствие, но с условием, что он возвратил их мне по первому требованию. Много прошло дней, пока я у него их потребовал, потому что я не хотел поставить его в более тяжелое положение требованием возврата, нежели то, в котором он был, когда брал деньги взаймы. Наконец, видя, что он забыл о необходимости расплатиться, я потребовал у него возврата моих десяти золотых раз, а потом и много раз» а он не только мне их не отдает, но отвечает, что никогда у меня их не брал, а что если и ему их давал, то он давно мне их возвратил. У меня нет свидетелей ни относительно займа, ни относительно уплаты, потому что уплаты он не производил. Я просил бы, чтобы ваша милость привели его к присяге. Если он присягает, что возвратил их мне, я буду считать его сквитавшимся пред людьми и пред Богом. – Что вы скажете на это, добрый старик с палкой? – спросил Санчо. Старик отвечал: – Я сознаюсь, господин, что он мне их давал, но пусть ваша милость опустит жезл, и так как он полагается на мою присягу, то я поклянусь, что я ему их возвратил и уплатил как быть должно.

Губернатор наклонил свой жезл, а старик отдал свою трость другому старику, прося его, как будто бы она, очень его стесняла, поддержать ее, пока он будет присягать; затем он положил руку на крест жезла и сказал: «Правда, что явившийся на суд дал мне взаймы десять золотых, которые от меня требует, но я их отдал ому из рук в руки, и он спрашивает их с меня снова каждую минуту только потому, что не обратил на это внимания». Тогда славный губернатор спросил кредитора, что он может ответить на сказанное его противником. Тот отвечал, что должник его, вероятно, сказал



правду, потому что он считает его добросовестным человеком и хорошим христианином, что должно быть он сам забыл, когда и как совершилась уплата, но что впредь им больше ничего не станет с него спрашивать. Должник взял свою трость, наклонил голову и вышел из залы.

Увидав, что он без церемонии уходит и обратив внимание на безропотность истца, Санчо склонил голову на грудь и, доложив указательный палец правой руки вдоль носа и обеих бровей, оставался в размышлении несколько мгновений, потом поднял голову и велел позвать старика с тростью, который успел пока скрыться. Его привели, и Санчо, только что он показался, тотчас сказал ему: – Дайте мне эту трость, добрый человек, она мне нужна.

– Очень охотно, – отвечал старик, – вот она, – и он отдал ее в руки Санчо. Тот ее взял и, протянув ее другому старику, сказал ему: «Ступайте с Богом, вот вам уплата».

– Кому? мне, господин? – воскликнул старик, – разве эта трость стоит десять золотых?

– Да, – отвечал губернатор, – или я грубейшее животное в мире, увидим, достаточно ли у меня мозга, чтобы управлять целым королевством.

Тогда он приказал, чтобы трость была сломана в присутствии всей публики, что и было сделано, и внутри камыша оказалось десять золотых. Все присутствующие были поражены и стали считать своего губернатора новым Соломоном. Его спросили, отчего он предположил, что в этой трости должны были оказаться десять золотых. Он отвечал, что когда старик передал свою трость противной стороне на время, пока будет присягать, и поклялся, что должно и действительно отдал десять золотых, потом присягнувши обратно взял свою трость, он, видя все это, подумал, что в трости и должна заключаться уплата, которую с него требовали. «Отсюда, – прибавил он, – можно вывести заключение, что тех, кто управляет, будь они хоть дураки, Господь иногда милостиво направляет в их суждениях. Впрочем я когда-то слышал подобную историю от нашего деревенского священника,<sup>[247]</sup> а память у меня такая хорошая, такая полная, что если бы в большинстве случаев я не забывал как раз то, что мне нужно вспомнить, на всем острове не было бы лучшей памяти». Кончилось тем, что оба старика ушли, один сконфуженный, другой вознагражденный, а все присутствующие остались в удивлении. А тот, чья обязанность была записывать слова, действия и даже движения Санчо, никак не мог решить, считать ли и изобразить его дураком или мудрецом.

Только что окончился этот процесс, как в залу явилась женщина, держа обеими руками человека, одежда которого выдавала в нем богатого

собственника стад. Она вбежала с ужасными криками: – Правосудия, – кричала она, – правосудия, господин губернатор! Если я не найду его на земле, я пойду искать его на небе. Господин губернатор души моей, этот злой человек застал меня среди полей и воспользовался моим телом, как будто бы это была грязная тряпка. Ах, я несчастная! Он отнял у меня сокровище, которое я хранила более двадцати трех лет, защищая его от мавров и христиан, от здешних и чужестранцев. Это ужасно, что всегда твердая, как ветка плюща, я сохранила себя неприкосновенною, как Саламандра в огне или как ткань среди кустарника, и только для того, чтобы эта скотина пришла и взяла меня своими чистыми руками.

– Еще надо проверить, – сказал Санчо, – чистые ли или грязные руки у этого молодца, и, обратившись к нему, он потребовал, чтобы тот отвечал на жалобу этой женщины. Ответчику, весь смущенный, сказал: – Добрые господа, я – бедный свинопас, и сегодня я ушел отсюда, так удачно продав, с вашего позволения, четыре свиньи, что на городской сбор, соляной налог и другие обманные штуки с меня взыскали почти столько же, сколько я получил с продажи. Возвращаясь в свою деревню, я встретил на дороге эту дуэнью, и черт, который повсюду суется, чтобы все спутывать, заставил вас пошалить друг с другом. Я заплатил, сколько следовало, но она, недовольная много, схватила меня за горло и не отпускала, пока не привела сюда. Она говорит, что я совершил над нею насилие, но она лжет, даю в том клятву и готов принять присягу. И вот вся правда до последней ниточки.

Тогда губернатор спросил его, есть ли при нем какие либо деньги крупной монетой. Тот отвечал, что у него в кожаном кошельке есть до двадцати дукатов. Санчо приказал ему вынуть кошелек из кармана и отдать его целиком истице. Он повиновался весь дрожа; женщина взяла кошелек и с тысячью поклонов всем присутствующим и, молясь Богу за жизнь и здоровье господина губернатора, берущего под свою защиту молодых и бедных сирот, вышла из залы, обеими руками сжимая кошелек, впрочем, раньше уверившись в том, что в нем действительно находятся золотые монеты.

Только что она вышла, как Санчо обратился к пастуху, который заливался слезами и сердце которого и глаза следовали за его кошельком: «Бегите, любезный, за этой женщиной и возьмите у нее назад кошелек, хочет она этого или нет, а потом возвращайтесь с нею вместе. Санчо не пришлось повторять своего приказания, потому что пастух вылетел из залы как стрела, чтобы сделать то, что он ему велел. Все зрители остались в недоумении, дожидаясь конца процесса. Чрез несколько мгновений

мужчина и женщина возвратились, еще крепче сцепившись и схватившись, нежели в первый раз. У женщины платье было подоткнуто, и кошелек всунут между колен. Мужчина изо всей силы старался вырвать его у нее, но она так защищалась, что это оказывалось невозможным. – Защити меня Бог и люди! – кричала она во весь голос. – Смотрите, господин губернатор, как мало стыда и страха у этого негодяя и изверга: среди города, среди улиц, он хотел отнять у меня кошелек, который ваша милость велели мне дать.

– И отнял он его у вас? – спросил губернатор.

– Отнял? как бы не так! – отвечала женщина, – да я бы скорей рассталась с жизнью, нежели с кошельком. Благодарю покорно! О, для этого надо было бы напустить на меня других кошек, а не этого отвратительного дурака. Ни клещами, ни молотками, ни ножницами, ни колотушками не вырвать его из моих ногтей, ни даже львиными когтями. Да легче вырвать душу мою из моего тела.

– Она права, – сказал мужчина, – я признаю себя побежденным и сдавшимся, и сознаюсь, что моих сил не хватит, чтобы вырвать его у нее. Сказав это, он ее выпустил из рук. Тогда губернатор, обращаясь к женщине, сказал: – Покажите мне этот кошелек, целомудренная и храбрая героиня». Она тотчас же отдала его, а губернатор, возвращая его мужчине, сказал изнасилованной силачке: «Сестра, если бы то же мужество и ту же силу, какую проявили вы, защищая кошелек, вы употребили при защите своего тела, или даже на половину меньше, сил Геркулеса не хватило бы, чтобы вас изнасиловать. Ступайте с Богом и, неровен час, не оставайтесь здесь на острове и не на шесть миль в окружности под страхом получить двести ударов плетью. Ну, прочь, говорю я, прелестница, бесстыжая, негодница!» Женщина, вся в страхе, ушла с потупленной головой и с проклятиями в душе, а губернатор сказал ответчику: «Ступайте с Богом, добрый человек, в свою деревню и со своими деньгами и впредь, если не хотите погибнуть, не предавайтесь фантазии связываться с кем бы то ни было».

Человек этот поблагодарил его с большой неловкостью и вышел.<sup>[248]</sup> Присутствующие снова пришли в изумление по поводу приговоров и решений нового губернатора, и все эти подробности, собранные его историографом, тотчас были пересланы к герцогу, который ждал их с большим нетерпением. Но оставим пока доброго Санчо и поспешим возвратиться к его господину, сильно взволнованному серенадой Альтисидоры.

## **ГЛАВА XLVI**

### **Об ужасной музыке из колокольчиков и мяуканья, устроенной Дон-Кихоту в его любовной историй с влюбленной Альтисидорой**

Мы оставили великого Дон-Кихота погруженным в различные мысли, внушенные ему серенадой влюбленной компаньонки. Он лег с этими мыслями, и, как блохи, они не дали ему ни спать, ни отдохнуть ни мгновения, не говоря о том, что к этому присоединилось еще уничтожение петель в его чулках. Но так как время легкокрыло и ничто не препятствует его делу, то оно верхом неслось на часах, и скоро наступил утренний час. При виде дня Дон-Кихот покинул перины, и с обычным проворством надел свой верблюжий камзол и обул дорожные сапоги, чтобы скрыть несчастное приключение со своими дырявыми чулками. Потом он набросил на себя свой пурпуровый плащ, а на голову надел монтеру из зеленого бархата с серебряным галуном. Через плечо он перекинул перевязь с своим добрым острым мечем, к поясу прикрепил четки, которые всегда носил при себе, и в таком блистательном наряде величественно приблизился к вестибюлю, где герцог и герцогиня, уже вставшие с постели, находились, по-видимому, в ожидании его.

В галерее, чрез которую он должен был пройти, Альтисидора и другая девушка, ее подруга, стояли, подстерегая его. Как только Альтисидора увидела Дон-Кихота, она сделала вид, что падает в обморок, а подруга ее, подхватив ее в свои объятия, поспешила распустить ей корсаж ее платья. Дон-Кихот увидел эту сцену и, приблизившись, сказал: «Я уже знаю, отчего происходить эти припадки».

– А я ничего не знаю, – отвечала подруга, – потому что Альтисидора самая здоровая и самая крепкая из всех женщин этого дома, и я вздоха от нее не слышала, с тех пор как знаю ее. Но пусть небо уничтожит всех странствующих рыцарей, какие только есть на свете, соля только правда, что они все неблагодарны. Уходите, господин Дон-Кихот, потому что бедное дитя не придет в себя, пока ваша милость будете здесь.

Дон-Кихот отвечал: – Постарайтесь, сударыня, чтобы сегодня ночью в моей комнате была лютня; я постараюсь по мере сил своих утешить эту девицу с раненым сердцем. В начале любви быстрое вразумление есть превосходнейшее средство.

Сказав это, он удалился, чтобы не быть замеченным теми, кто мог его видеть.

Только что он повернулся на своих каблуках, как бесчувственная Альтисидора, придя в себя, сказала своей подруге: «Надо позаботиться, чтобы ему положили лютню, которую он требует. Дон-Кихот, без сомнения, хочет задать нам музыку; его музыка будет не плоха». Обе девушки тотчас отправились с докладом к герцогине о том, что произошло, и о том, что Дон-Кихот потребовал лютню. Герцогиня, вне себя от радости, сговорила с герцогом и своими прислужницами сыграть с рыцарем шутку более забавную, чем дурную. В надежде на это развлечение все они стали ждать ночи, которая наступила так же скоро, как наступил день, который герцог и герцогиня провели в усадительных беседах с Дон-Кихотом. В этот самый день герцогиня действительно отослала одного из своих пажей (того самого, который в лесу изображал заколдованную Дульцинею) к Терезе Панса с письмом от мужа ее Санчо Панса и с узлом его пожитков, которые он отсылал своей жене. Пажу было поручено принести точный отчет обо всем, что произойдет во время его посольства.

После всего этого, когда пробило одиннадцать часов, Дон-Кихот, возвратившись в свою комнату, нашел в ней мандолину. Он проиграл прелюдию, открыл решетчатое окно и увидал, что в саду кто то есть. Пробежав пальцами по всем струнам мандолины, чтобы по мере своего умения настроить ее, он отхаркнулся, прочистил горло, потом несколько хриплым голосом, но правильно, пропел следующий романс, нарочно для того в этот день составленный им самим.

Очень часто страсти сила  
Души нам срывает с петель;  
Рычагом тогда ей служит  
Та, что праздностью зовется.

Очень часто вышиванье,  
Непрерывное занятье  
Служат нам противоядьем  
Против тайных вождлений.

Для девиц в уединеньи  
И мечтающих о браке  
Есть приданое их честность,  
Слава добрая имен их,

Рыцарь странствующий каждый,  
Во дворце живущий рыцарь —  
Все свободными играют,  
В жены ж честных выбирают.

Часто страсть восходит с солнцем  
Меж хозяйкою и гостем,  
Но тотчас-же и заходит,  
Если время им расстаться.

Страсть, пришедшая так быстро —  
Нынче есть, а завтра скрылась —  
Образов не оставляет  
В душу глубоко запавших.

Как картина на картине  
Нам казалась бы бесцветной;  
Точно так же и вторая  
Красота за первой меркнет.

Образ доньи Дульцинеи  
На доске моей сердечной  
Живо так запечатлелся,  
Что стереть его нет силы.

Постоянство у влюбленных —  
Величайшее из качеств:  
Чудеса творит любовь с ним,  
С ним достигнуть можно счастья.

Только что Дон-Кихот дошел до этого места в своем пении, которое слушали герцог, герцогини Альтисидора и почти все обитатели замка, как вдруг, с высоты галереи, которая находилась над самым окном Дон-Кихота, опустилась веревка, к которой прикреплено было более сотни колокольчиков, а затем из большого мешка выпущено было множество кошек, к хвостам которых были также прикреплены колокольчики. Звон колокольчиков и мяуканье кошек были так сильны, что даже герцог и

герцогиня, хотя сами выдумали эту шутку, были испуганы, а Дон-Кихот почувствовал, что волосы у него становятся дыбом. Судьба устроила еще так, что две или три кошки впрыгнули чрез окно в комнату, а так как они, как шальные, бегали взад и вперед, то можно было подумать, что целый легион чертей устроил себе шабаш. Стараясь выбраться наружу, они потушили обе свечи, которыми освещалась комната, а так как веревка с большими колокольчиками не переставала опускаться и подыматься, то большинство обитателей замка, не посвященные в шутку, были поражены удивлением и страхом.

Дон-Кихот между тем стал на ноги и, взяв меч в руку, стал чрез окно наносить удары, крича во всю мощь своего голоса: «Прочь, злобные волшебники; прочь, заколдованная сволочь! Я Дон-Кихот Ламанчский, против которого бессильны ваши злые намерения!» Потом, обратившись на кошек, которые носились по его комнате, он нанес им несколько ударов мечом, они все бросились в окно и исчезли чрез этот выход. Одна из них, однако, которой особенно грозили удары мечом, прыгнула к самому лицу Дон-Кихота и вцепилась ему в нос когтями и зубами. Дон-Кихот закричал от боли раздирающим голосом. Услыхав крики, герцог и герцогиня догадались в чем дело, и, поспешно вбежав в комнату, дверь которой отперли отмычкой, они увидели бедного рыцаря изо всех сил отрывающим кошку от своего лица. Принесли огня, и при свете явилась глазам присутствующих страшная битва. Герцог кинулся, чтобы развить сражающихся, но Дон-Кихот воскликнул: «Никто пусть не вмешивается; пусть оставят меня лицом к лицу с этим демоном, с этим колдуном, этим волшебником. Я ему докажу, кто такой Дон-Кихот Ламанчский». Но кошка, нисколько не трогаясь этими угрозами, ворчала и стискивала зубы. Наконец герцог овладел ею и выкинул ее за окошко. Дон-Кихот остался с лицом изрезанным как решето и с носом, который тоже был в довольно жалком состоянии, но больше всего его досадовало, что ему не дали окончить бой, так хорошо им начатый с разбойником чародеем.

Принесли масло апарисио,<sup>[249]</sup> и Альтсидора сама, своими белыми руками, стала прикладывать компрессы ко всем израненным местам. Прикладывая их, она сказала тихо: «Все эти неприятности, безжалостный рыцарь, случаются с тобою в наказание за твою суровость и твоё упрямство. Дай Бог, чтобы твой оруженосец Санчо забыл себя хлестать, чтобы Дульцинея, так тобою любимая, никогда не освободилась от своих чар и чтобы ты никогда не разделил с нею брачного ложа, по крайней мере пока жива я, тебя обожающая». Дон-Кихот ни слова не отвечал на эту страстную речь: он испустил глубокий вздох и растянулся на своей

постели, поблагодарив герцога и герцогиню за их благосклонность, не потому, сказал он, чтобы эта сволочь – кошки, волшебники и колокольчики внушили ему какой-либо страх, а в признательность за доброе намерение, которое заставило их прийти к нему на помощь. Благородные хозяева замка предоставили ему отдыхать и удалились, сильно огорченные неудачей шуток. Они не ожидали, что Дон-Кихот так дорого заплатится в этой истории; ему пришлось пять дней провести в одиночестве и в постели, а в это время с ним произошла другая история, более забавная нежели эта. Но историк его не хочет передать ее сейчас, так как он намерен возвратиться в Санчо Панса, который проявил себя очень деятельным и очень милостивым в своем губернаторстве.



## ГЛАВА XLVII

### Где продолжается рассказ о том, как вел себя Санчо в своем губернаторстве

История рассказывает, что из залы суда Санчо был отведен в роскошный дворец, где в большом зале был расставлен стол изящно и по-царски сервированный. При входе Санчо в банкетную залу рожки затрубили, и четыре пажа приблизились к Санчо, чтобы полить ему водой руки, и Санчо с великой важностью выполнил эту церемонию. Музыка прекратилась, и Санчо сел во главе стола, потому что ни другого сидения, ни другого прибора не было вокруг всего стола. Тогда около него поместилось стоя на ногах некое лицо, в котором он признал врача, с жезлом из китового уса в руках, затем снята была тонкая белая скатерть, покрывавшая фрукты и блюда всякого рода, которыми стол был уставлен. Какое-то духовное лицо дало свое благословение, а один паж придерживал под подбородком Санчо детский нагрудник. Другой паж, исполнявший обязанности метр-д'отеля, протянул ему блюдо с фруктами. Но только что Санчо откусил кусок, как человек с китовым усом дотронулся концом своего жезла до блюда, и оно было удалено с поразительной быстротой. Метр-д'отель пододвинул второе блюдо, которое Санчо считал долгом отведать, но не успел он коснуться его не только зубами, но даже руками, как жезл уже дотронулся до блюда, и паж унес его с такой же поспешностью, как блюдо с фруктами. Увидав это, Санчо остался недвижимым от удивления; потом, оглядев всех присутствующих, он спросил, уж не фокусный ли это обед. Человек с жезлом отвечал ему: – Кушать нужно, господин губернатор, согласно обычаям и обыкновениям, существующим на других островах, где есть губернаторы, как и вы. Я, милостивый государь, врач, нанятый во врачи к губернаторам этого острова. Я более забочусь об их здоровье, нежели о своем, работая день и ночь и изучая сложение губернатора, чтобы удачно лечить его, если он захворает. Мое главное занятие состоит в присутствии при его трапезах, чтобы давать ему кушать только то, что, на мой взгляд, пойдет ему в пользу, и запрещать то, что мне кажется вредным для его желудка.<sup>[250]</sup> Поэтому я распорядился, чтобы унесла блюдо с фруктами, как предмет, заключающий в себе слишком много влаги, а что касается второго блюда, то я тоже велел его унести, потому что это субстанция чересчур горячая и в ней много

пряностей, возбуждающих жажду. А кто много пьет, тот разрушает и поглощает основную влагу, из которой состоит жизнь.

– В таком случае, – заговорил Санчо, – это блюдо с куропатками, которые кажутся мне так впору зажаренными, не может мне сделать никакого вреда?

– Господин губернатор, – отвечал врач, – не будет есть этих куропаток, пока я жив.

– Почему же? – спросил Санчо.

– Почему? – переспросил врач, – потому что наш учитель Иппократ, руководитель и светоч медицины, сказал в одном афоризме: *Omnis saturatio mala, perdisis autem pessima*,<sup>[251]</sup> а это означает, что всякое несварение желудка дурно, но всего хуже несварение от куропаток.

– Если это так, – сказал Санчо, – то пусть господин врач оглядит стол и посмотрит, нет ли между блюдами на этом столе такого, которое принесет мне всего больше пользы или всего менее вреда, и соблаговолит предоставить мне есть его в свое удовольствие, не ударяя его палкой, потому что, клянусь губернаторской жизнью (да позволит мне Бог пользоваться ею!), что я умираю от голода. Если мне помешают есть, чтобы ни говорил господин доктор и как бы он об этом ни сожалел, этим скорее лишат меня жизни, нежели сохранят ее.

– Ваша милость совершенно правы, господин губернатор, – отвечал врач. – Поэтому я того мнения, что ваша милость не должны есть этого шпигованного зайца, потому что это блюдо тяжелое. Что касается этого куска телятины, то если бы он не был сделан душеным, то его можно было бы отведать, а в таком его виде и думать об этом нельзя.

Тогда Санчо сказал: – Это большое блюдо там вдали, из которого выходит столько пара, кажется, заключает в себе *olla podrida*,<sup>[252]</sup> а в этих *ollas podridas* столько есть вещей и столько сортов, что я наверно найду там кое-что и по вкусу и для здоровья.

– Отнюдь нет! – воскликнул врач. – Мы далеки от этой мысли! Ничего нет на свете для пищеварения хуже, нежели *olla podrida*. Она годится для каноников, для начальников школ, для деревенских свадеб, но от нее должны быть избавлены губернаторские столы, где должна царить тонкость вкуса и аккуратность. Причина этому ясна: повсюду и всеми простые лекарства всегда предпочитают сложным лекарствам, потому что в простых обмануться нельзя, а в сложных можно очень легко, если только изменить количество входящих в него медикаментов. Если господин губернатор хочет мне верить, то ему следует теперь съесть сотню тонких

облаточек и три или четыре ломтика айвы, очень тоненьких, которые, укрепив ему желудок, удивительно помогут пищеварению.

Услышав это, Санчо откинулся на спинку кресла, пристально посмотрел на врача и важным тоном спросил его, как его зовут и где он учился. «Зовут меня, господин губернатор, – отвечал врач, – доктором Педро Ресио де Агиро;<sup>[253]</sup> родился я в деревне, называемой Тиртеафуэра,<sup>[254]</sup> которая находится между Каракуэлем и Альмодовар дель Кампо по правую руку, и я получил звание врача в Осунском университете.

– Ну, – вскричал Санчо, пылая гневом, – господин доктор Педро Ресио, авгур, уроженец Тиртеафуэры, деревни, находящейся по правую руку, когда едем из Каракуаля в Альмодовар дель Кампо, получивший ученую степень от Осунского университета, убирайтесь с глаз моих долой, да поскорее, а не то, клянусь солнцем, я возьму в руки дубину и, начиная с вас, побоями очищу остров от всяких докторов, по крайней мере, от тех, кого признаю за неучей; потому что знающих, благоразумных и скромных докторов я посажу себе на голову и буду почитать как святых. Но повторяю, пусть Педро Ресио живо убирается отсюда, а не то я схвачу стул, на котором сижу, и размозжу ему голову. Пусть потом спрашивают от меня при резиденции.<sup>[255]</sup> Для моего оправдания достаточно будет сказать, что я послужил Богу, убив злого лекаря, палача страны. И пусть мне дадут есть или пусть отберут губернаторство, потому что ремесло, которое не дает хлеба человеку, занимающемуся им, гроша медного не стоит.

Врач испугался, видя губернатора в таком страшном гневе, и хотел уже броситься вон из залы, когда на улице раздался рожок почтальона. Метрд'отель подбежал к окну и, взглянув в него; сказал: «Едет курьер от герцога, ваша милость: он, вероятно, везет важную депешу». В это время вошел запыхавшийся и облитый потом курьер. Он вынул из-за пазухи и подал губернатору пакет, который Санчо передал в руки мажордома, приказав ему прочитать надпись. Она была следующая: Дон Санчо Панса, губернатору острова Баратария, в собственные руки или в руки его секретаря. «А кто тут мой секретарь?» спросил Санчо. На это один из присутствующих ответил: «Я, господин, потому что я умею читать и писать, и притом я бискаец.

– С этим титулом в придачу, – заметил Санчо, – вы могли-бы быть секретарем самого императора.<sup>[256]</sup> Откройте пакет и посмотрите, что в нем.

Новорожденный секретарь повиновался и, прочитав депешу, сказал, что в ней говорится о деле, которое требует тайного обсуждения. Санчо

приказал выйти из залы всем, кроме мажордома и метр-д'отеля. Все вышли вместе, не исключая и врача, и тогда секретарь прочитал депешу, которая состояла в следующем:

«До моего сведения дошло, что какие-то враги мои и того острова, которым вы управляете, собираются жестоко штурмовать его, не знаю в какую ночь. Постарайтесь бодрствовать и держаться наготове, чтоб не быть захваченным врасплох. Я знаю также через достойных веры шпионов, что четыре переодетых лица проникли в ваш город с целью лишить вас жизни, потому что проницательности вашего ума особенно боятся. Будьте настороже, следите за всеми, кто к вам приближается, и не ешьте ничего, что вам будут давать. Я позабочусь оказать ним помощь, если вы будете в опасности; но поступайте во всем так, как все ждут от вашего ума. Здесь, 16-го августа, в четыре часа утра. Ваш друг герцог».

Санчо остолбенел, и все присутствующие не менее его были поражены. Он сказал, обратившись к мажордому: – Первое, что надо сделать теперь, я хочу сказать сейчас, – это упрятать в тюрьму этого лекаря Ресио, потому что если кто хочет убить меня, так это он, и еще самой медленной и ужасной смертью – голодной.

– Мне тоже кажется, – ответил метр-д'отель, – что вашей милости лучше не есть всего, что стоят на этом столе, потому что большую часть этих припасов поставляют монахини, а недаром говорится, что за крестом прячется дьявол.

– Я этого не отрицаю, – сказал Санчо. – Пусть мне сейчас дадут добрый ломоть хлеба и четыре-пять фунтов винограда, в который невозможно вложить яду: ведь не могу же я, наконец, жить без пищи. А если нам нужно быть готовыми к битвам, которые нам грозят, так нужно хорошенько подкрепиться, потому что не сердце несет кишки, а кишки несут сердце. Вы, секретарь, ответьте моему господину герцогу и напишите, что все до капли, что он приказал, будет исполнено. Пошлите от моего имени поцелуй ручкам госпожи герцогини и прибавьте, что я умоляю ее не забыть послать через нарочного мое письмо и посылку жене моей Терезе Панса; что она этим окажет мне большую услугу, и что я постараюсь служить ее всем, что будет мне по силам. Между прочим, можете написать, что я целую руку у моего господина Дон-Кихота, чтоб: он видел, что я, как говорится, не забыл старую хлеб-соль. А от себя можете, как хороший бискаец, прибавить, что захотите и что будет нужно. Теперь пусть уберут со стола и пусть дадут мне поесть, а после того я сумею посчитаться со всеми шпионами, убийцами и чародеями, сколько бы их ни обрушилось на меня и на мой остров.

В эту минуту вошел паж. «Один крестьянин торговец, – сказал он, – желает поговорить с вашей милостью об одном очень важном, как он уверяет, деле.

– Что за чудаки эти деловые люди! – вскричал Санчо. – Неужто же они так глупы, что не понимают, что теперь не время являться со своими делами? Разве мы, губернаторы и судьи, не люди из тела и костей? Разве они не должны давать нам отдыхать сколько нужно, или они воображают, что мы мраморные? Клянусь душой и совестью, что если губернаторство не выскользнет из моих рук (чего я не думаю, сколько могу понять), так я образумлю этих деловых лицей. Ну, а сегодня, так я быть, велите этому человеку войти; но прежде удостоверьтесь, что он не шпион я не убийца.

– Нет, господин, – возразил паж, – у него вид, как у святого, и если он не так же добр, как добрый хлеб, так я, значит, ничего не понимаю.

– Притом бояться нечего, – прибавил мажордом, – ведь мы все здесь.

– Можно ли будем, метр д'отель, – спросил Санчо, – чтоб теперь, когда доктор Педро Ресио ушел, я поел чего-нибудь тяжелого и существенного, хотя бы краюху хлеба и луковицу?

– Сегодня вечером, за ужином, – ответил метр-д'отель, – недостаток обеда будет исправлен, и ваша милость будете удовлетворены и вознаграждены. – Дай-то Бог! – вздохнул Санчо.

В это время вошел крестьянин, которого за тысячу миль можно было бы сразу признать за добрую душу и доброго дурака. Прежде всего, он спросил: – Кто здесь из вас господин губернатор?

– Кто же, – ответил секретарь, – как не тот, кто сидит в кресле.

– Тогда я преклонюсь перед ним, – продолжал крестьянин, – опускаясь на оба колена и прося позволения поцеловать у него руку. Санчо руки не дал и велел просителю подняться и сказать, что ему нужно. Крестьянин повиновался и сейчас же начал: – Я, господин, земледелец, родом из Митель-Турры, деревни, отстоящей мы две мили от Сиудад-Реаля.

– Ну, вот вам еще одна Тиртеафуэра! – вскричал Санчо. – Говорите, братец, а Миголь-Турру я отлично знаю, потому что она недалеко от моей родины.

– Так дело в том, господин, – продолжал крестьянин, – что я милостью Бога женат по законам святой римско-католической церкви; у меня два сына студента: младшие готовятся в бакалавры, а старший в лиценциаты. Я вдов, потому что жена моя умерла, или, лучше сказать, потому, что ее убил плохой лекарь, дав ей слабительного, когда она была беременна; а если бы Господу было угодно, чтобы плод созрел и чтоб это был сын, я бы послал его учиться быть докторов, чтоб он не завидовал своим братьям бакалавру

и лиценциату.

– Так что, – перебил Санчо, – если бы ваша жена не умерла или если б ее не утомили, вы бы теперь не была вдовы?

– Нет, господин, ни в каком случае, – ответил крестьянин.

– Вот мы и подвинулись вперед, – сказал Санчо. – Дальше, братец, дальше; теперь скорее время сна, чем разбирательств.

– Так я говорю, – продолжал крестьянин, – что тот из моих сыновей, который будет бакалавром, влюбился в этом самом городе в девушку по имени Клара Перлерины, дочь Андрея Перлерины, очень богатого крестьянина. И имя их Перлерины происходит не из генеалогии или какой-нибудь другой земли, а оттого, что все в их семье калеки,<sup>[257]</sup> а чтоб скрасить прозвище, их называют Перлерины. Впрочем, молодая девушка, сказать по правде, чисто восточная жемчужина. Если на нее глядеть справа, так она похожа на полевой цветок» слева она не так хороша, потому что у нее недостает глаза, которого она лишилась от оспы. И хотя знаков и рябин на ее лице много, но все, кто ее любит, говорят, что это не рябины, а ямы, в которых погребаются души ее возлюбленных. Она такая чистоплотная, что для того, чтоб не испачкать лица, подобрала, как говорится, нос кверху, так что он словно убегает ото рта. Не смотря на все это, она восхитительно прекрасна, потому что рот у нее большой, и если б не десять-двенадцать недостающих спереди и с боков зубов, этот рот сошел бы за один из самых красивых. О губах я ничего не могу сказать, потому что они так тонки и так нежны, что если бы губы можно было закатывать, из них вышел бы клубок. Но так как цвет их совсем не такой, как всегда бывает у губ, так они кажутся странными, потому что усеяны синими, зелеными и фиолетовыми крапинками. Да простит мне господин губернатор, что я так подробно описываю ему качество той, которая, в конце концов, должна стать моей дочерью: дело в том, что я ее очень люблю, и что она не кажется мне дурною.

– Описывайте все, что вам угодно, – ответил Санчо, – потому что это описание меня забавляет, и если б я пообедал, мне бы не нужно было лучшего десерта, как ваше описание.

– Мне только это и остается делать к вашим услугам, – сказал крестьянин. – Но будет время, когда и мы что-нибудь да будем значить, хоть теперь и ничего не значим. Так я говорю, господин, что если б я мог описать прелесть и высоту ее стана, так все бы попадали от восхищения. Но это невозможно, потому что она скрючена и сгорблена вдвое, так что колени ее приходятся около рта, и все-таки легко заметить, что если б она могла выпрямиться, так достала бы головой до крыши. Она бы уже отдала

свою руку моему бакалавру, но дело в том, что она не может вытянуть ее, потому что рука эта сведена, но по длинным, круглым ногтям видно, что форма руки ее была бы очень красива.

– Ладно уж, – заметил Санчо. – Вообразите, братец, что вы уже описали ее с ног до головы; что же дальше? приступайте к делу без обиняков и околичностей, без урезок и надставок.

– Я хотел бы, Господин, чтоб ваша милость смиловались и дали бы мне рекомендательной письмо к отцу моей невестки, умоляя его поскорее сыграть свадьбу, так как мы не уступим один другому ни дарами судьбы, ни дарами природы. И в самом деле, по правде сказать, господин губернатор, мой сын одержим бесом, и дня не проходит, чтоб злые духи не мучили его по три-четыре раза; кроме того, он когда-то в один прекрасный день попал в огонь, и лицо у него стало такое морщинистое, как пергамент, а глаза мокнут и слезятся. Но за то характер у него ангельский, и если б он не бился и не колотился, он был бы просто блаженный.

– Нужно вам еще чего-нибудь, дружище? – спросил Санчо.

– Нужно-то нужно, – ответил крестьянин, – только я не смею сказать. Ну, да уж будь что будет! Нельзя же, чтоб это осталось у меня в животе. Так я говорю, господин, чтоб ваши милость дали мне триста или шестьсот золотых на приданое моему бакалавру, т. е. чтоб помочь ему устроиться, потому что нужно же, чтоб у этих детей было чем жить самостоятельно, независимо от грубых тестей.

– Подумайте, не нужно ли вам еще чего-нибудь, – сказал Санчо, – и не стесняйтесь и не бойтесь высказать все.

– Нет, право, больше ничего, – ответил крестьянин.

Едва он договорил эти слова; как губернатор вскочил с места, схватил стул, на котором сидел, и вскричал: – Клянусь Богом, дон бездельник, мужик и невежа, что если вы не удерете и не скроетесь от меня, я разобью, я размозжу вам голову этим самым стулом. Мошенник, негодяй, чертова мазилка! В такое то время ты являешься просить у меня шестьсот золотых! Откуда я возьму их, болван ты этакой? и за что мне дать тебе их, если б у меня даже было, дурак несуразный? Какое мне дело до Мигеля Турры и всей своры Перлеринов? Убирайся, говорят тебе, или клянусь жизнью моего господина герцога, я сделаю, что сказал! Ты, верно, не из Мигельтурры, а попросту хитрый плут, и ад прислал тебя сюда искушать меня. Скажи, ты, отродье человеческое: еще нет и полутора дней, как я губернаторствую, а ты хочешь, чтобы я уже накопил шестьсот золотых!

Метр-д'отел сделал крестьянину знак, чтобы он вышел, и тот ушел, понуриив голову, делая вед, что действительно боится, чтоб губернатор не

исполнил своей угрозы, потому что плут этот отлично разыграл свою роль.

Но оставим Санчо в гневе, и пусть, как говорят, на сцену выступит мир. Нужно вернуться к Дон-Кихоту, которого мы оставили с лицом, облепленным пластырями, лечащего свои кошачьи раны, от которых он оправился не ранее как через восемь дней, в один из которых с ним случилось то, что Сид Гамед обещает рассказать с пунктуальнейшей правдивостью, с которой рассказывает все вообще эпизоды этой истории, как бы бесконечно малы они ни были.



## ГЛАВА XLVIII

### О том, что случилось с Дон-Кихотом и доньей Родригес, дуэньей герцогини, а равно и о других событиях, достойных описания и вечной памяти

Грустный и печальный томился Дон-Кихот с компрессами на лице, отмеченном не Богом, а кошачьими когтями: несчастье, знакомое странствующему рыцарству. Целых шесть дней он не показывался никому, и в одну из ночей этого невольного отшельничества, когда он лежал, погруженный в мысля о своих несчастьях и о преследованиях Альтисидоры, он услышал, как щелкнул замок в двери его комнаты. Ему сейчас же пришло в голову, что влюбленная девушка явилась посягать на его честность, чтоб заставить его изменить его даме Дульцинее Тобозской. «Нет! – вскричал он под влиянием этой мысли так громко, чтобы голос его мог быть услышан. – Нет, восхитительнейшая в мире красавица не в силах заставить меня хоть на минуту перестать обожать ту, которую я ношу запечатленною в глубине моего сердца и в самых недрах моих внутренности. Пусть ты будешь, о, моя дама, превращена в крестьянку, употребляющую в пищу лук, или в нимфу золотого Таго, ткущую золотые и шелковые ткани; пусть Мерлин или Монтезинос держат тебя, где хотят, где бы ты ни была, ты моя, так же как где бы я ни был я твой – был, есть и буду всегда».

Едва он договорил эти слова, как отворилась дверь. Дон-Кихот встал во весь рост на постели, окутанный сверху до низу желтым атласным стеганым одеялом, в шапочке на голове, с забинтованным для сокрытия царапин лицом и с папильотками на усах для выпрямления их. В таком наряде он имел вид ужаснейшего призрака, какой можно себе вообразить. Он устремил глаза на дверь, ожидая увидеть нежную и покорную Альтисидору, но вместо нее увидал почтенную дуэнью с белым покрывалом на волосах, таким широким и длинным, что оно закрывало ее, как плащ, с головы до ног. Она держала в левой руке маленькую зажженную свечку, а правой прикрывалась, чтоб свет не падал ей в глаза, скрытые, впрочем, под огромными очками. Она подвигалась волчьим шагом и на цыпочках. Дон-Кихот глядел на нее с своего наблюдательного поста,<sup>[258]</sup> видя ее наряд и заметив ее молчаливость, он вообразил, что это какая-нибудь колдунья или волшебница, явившаяся в таком костюме с

целью сыграть с ним злую штуку в духе своего ремесла, и начал с живостью креститься.

Однако, видение приближалось. Дойдя до середины комнаты, дуэнья подняла глаза и увидала, с какою быстротой Дон-Кихот крестится, и если он испугался при виде ее фигуры, то она просто ужаснулась при виде его; едва взглянув на это длинное, желтое тело в одеяле и с обезображенным компрессами лицом, она закричала: «Господи Иисусе! Что это такое?» От испуга она выронила из рук свечу и, очутившись в темноте, бросилась бежать, но со страху запуталась, в своем платье и растянулась на полу.

Дон-Кихот, испуганный более прежнего, заговорил: «Заклинаю тебя, о, призрак, или кто бы ты мы был, скажи мне, кто ты и чего хочешь от меня. Если ты душа в нужде, то не бойся сказать мне об этом: я сделаю для тебя все, что позволят мне мои силы, ибо я христианин и католик и готов всем оказывать услуги; за тем я избрал орден странствующего рыцарства, в обязанности которого входит и оказание услуг душам из чистилища». Дуэнья, оглушенная падением, слыша, что ее заклиняют и умоляют, поняла по собственному страху страх Дон-Кихота и ответила ему тихим, скорбным голосом:

– Господин Дон-Кихот, – если ваша милость действительно Дон-Кихот, – я ни призрак, ни видение, ни душа из чистилища, как ваша милость, кажется, думаете, а донья Родригес, дуэнья госпожи герцогини, и пришла я к вашей милости с одной из нужд, от которых ваша милость имеет обыкновение давать лекарство.

– Скажите мне, госпожа донья Родригес, – перебил ее Дон-Кихот, – не с любовными ли посланиями вы сюда пришли? Так предупреждаю вас, что я ни для чего не гожусь по причине неподобной красоты моей дамы Дульцинеи Тобозской. Словом, я говорю, госпожа донья Родригес, что если только ваша милость оставите всякие любовные поручения, так можете пойти зажечь свою свечу и возвратиться сюда; тогда мы поговорим с вами обо всем, что вам будет угодно и приятно, кроме, как я уже сказал, всяких инсинуаций и подстреканий.

– Я с поручениями от кого-нибудь, мой добрый господин! – вскричала дуэнья. Ваша милость плохо знаете меня. О, я еще вовсе не так стара, чтоб у меня не было другого развлечения, кроме таких ребячеств. Слава Богу, у меня в теле еще есть душа и во рту все зубы, верхние и нижние, кроме нескольких выпавших от трех-четырех простуд, столь частых в Арагонии. Но пусть ваша милость подождет минутку: я схожу зажгу свечу и сейчас вернусь, чтоб рассказать вам о своих нуждах, как врачевателю всех бед в мире.

И дуэнья, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты, в которой Дон-Кихот остался в ожидании ее, совершенно успокоенный и оправившийся от страха. Но скоро его стали обуревать тысячи мыслей по поводу этого нового приключения. Ему казалось, что он дурно поступает, подвергая себя опасности нарушить верность, в которой поклялся своей даме. Он сказал себе: «Кто знает, не попытается ли дьявол, вечно хитрый и коварный, заставить меня при помощи дуэньи попасть в ловушку, в которую не могли меня завлечь императрицы, королевы, герцогиня, графиня и маркизы? Я не раз слышал от людей знающих, что дьявол, если сможет, постарается скорее послать человеку соблазнительницу курносую, нежели с греческим носом. Наконец, кто знает, не пробудят ли это одиночество, эта тишина, этот случай моих заснувших желаний и не заставят ли они меня пасть на старости лет, тогда как я до сих пор ни разу не спотыкался. В таких случаях всегда лучше бежать, чем принимать вызов... Однако, я, видно, лишился рассудка, если мне могут приходить в голову и на язык такие странные мысли. Нет, это невозможно, чтоб дуэнья в очках и длинном белом покрывале возбудила сладострастные мысли даже в развращеннейшем в мире сердце. Разве есть на свете дуэнья, которой тело не было бы хоть немножко жирно и жестко? разве есть во всей вселенной дуэньи, которые не были бы наглы, жеманны и лицемерны? Убирайся же отсюда, шайка в покрывалах, бесполезная для человеческого спокойствия. О, как хорошо поступала та дама, о которой рассказывают, что у нее на скамейке сидели с обеих сторон две дуэньи в виде восковых фигур, в очках, с подушечками и в таких позах, точно шьют! они так же хорошо служили ей для виду и приличия, как если бы были настоящими дуэньями».

С этими словами он соскочил с постели с намерением запереть дверь и не впускать к себе дуэньи Родригес. Но в ту самую минуту, как он взялся за ключ, донья Родригес вернулась с зажженной свечой. Увидав вблизи Дон-Кихота, укутанного в желтое одеяло, с компрессами и в шапочке, она снова почувствовала страх и, сделав два-три шага назад, сказала: – В безопасности ли мы, господин Дон-Кихот? На мой взгляд то, что ваша милость сошли с постели, не служит признаком большого воздержания.

– Этот же самый вопрос, сударыня, я мог бы сделать я вам, – возразил Дон-Кихот. – Итак, я спрашиваю вас, могу ли я быть уверен, что не подвергнусь ни нападению, ни насилию?

– У кого или от кого вы требуете этой безопасности, господин рыцарь? – спросила дуэнья.

– У вас и от вас, – ответил Дон-Кихот, – потому что я не мраморный и не бронзовый, и теперь не десять часов утра, а полночь и даже несколько

позже, как мне кажется, и мы находимся в более отдаленной и уединенной комнате, чем даже грот, в котором дерзкий изменник Эней злоупотребил прекрасной, нежной Дидоной. Но дайте мне руку, сударыня, я не желаю большей безопасности, как собственные мои воздержность и самообладание, поддерживаемые теми, которые прикрываются этим покрывалом.

С этими словами он поцеловал у нее руку и протянул ей свою, которую дуэнья приняла с теми же церемониями.

В этом месте Сид Гамед ставят скобки и говорит: «Клянусь Магометом, я отдал бы лучшую из имеющихся у меня шуб, чтоб увидеть, как оба эти лица шли об руку от двери к кровати».

Наконец Дон-Кихот опять лег на постель, а донья Родригес села на стул несколько поодаль от него, не снимая очков и не выпуская из рук свечи. Дон-Кихот свернулся и спрятался под одеяло, оставив открытым одно лишь лицо, и когда оба они устроились, как следует, он первый нарушил молчание.

– Теперь, – сказал он, – госпожа донья Родригес, ваша милость можете открыть свои уста и излить все, что заключается в вашем огорченном сердце и ваших озлобленных внутренностях: и буду слушать вас целомудренными ушами и помогу вам милосердными делами.

– Я так и думала, – отвечала дуэнья, – потому что от милой и любезной наружности вашей милости ничего, кроме такого христианского ответа, и ждать было нельзя. И так, дело в том, господин Дон-Кихот, что хотя ваша милость и видите меня сидящую на этом стуле и в самой середине Аррагонского королевства, в костюме дуэньи, постаревшую, морщинистую и ни на что негодную, но я родом из Овиедской Астурии и происхожу от рода, с которым роднились многие знатнейшие фамилии провинции. Но моя несчастная звезда и нерадивость моих отца и матери, которые преждевременно обеднели, не зная как и почему, довели меня до Мадрида, где мои родители, чтоб устроить свою судьбу и избавить меня от больших несчастий, отдали меня в качестве швеи в дом одной знатной дамы, а ваша милость должны знать, что в деле маленьких чехлов и тонких работ иглой еще ни одна женщина во всю мою жизнь не могла сравниться со мной. Мои родители оставили меня на службе, а сами вернулись на родину, откуда, через несколько лет должны были переселиться на небо, потому что они были добрыми католиками. Я осталась сиротой, не имея ничего, кроме скудного жалованья и мелких милостей, оказываемых в замках вельмож такого рода служанкам. Но в это время, без малейшего повода с моей стороны, в меня влюбился один из оруженосцев моих господ. Это был

человек уже довольно пожилой, с большой бородой, почтенный на вид и, главное, такой же благородный, как король, потому что он был горец.<sup>[259]</sup> Мы не скрывали своей связи, и она дошла до сведения моей госпожи, которая, во избежание толков и пересудов, поженила нас по законам римско-католической церкви. От этого брака у меня родилась дочь, в довершение несчастья, – не то чтоб я умерла от родов, нет, она родилась вовремя и благополучно, – но вскоре после того умер мой муж от причиненного ему испуга, который был такого рода, что, если б у меня было время сейчас рассказать об этом, я уверена, ваша милость очень были бы удивлены.

Тут дуэнья тихо заплакала и сказала: – Простите меня, ваша милость господин Дон-Кихот, я не могу удержаться: каждый раз, как я вспомню о моем бедном покойнике, у меня навертываются слезы на глазах. Пресвятая Богородица! как торжественно он провожал мою госпожу на спине громадного мула, черного, как агат! Тогда не знали ни карет, ни порт-шезов, как теперь, а дамы ездили на крупах мулов позади своих оруженосцев. Не могу удержаться, чтоб не рассказать вам этой истории, для того чтоб вы видели, как мой добрый муж был обходителен и аккуратен. Однажды в Мадриде, когда он въезжал на улицу Сантьяго, которая немного узка, навстречу ему выехал придворный алькад с двумя альгвазилами впереди. Едва добрый оруженосец увидел это, как повернул своего мула, делая вид, что хочет последовать за алькадом. Моя госпожа, ехавшая на крупе позади его, тихо спросила его: «Что вы делаете, презренный? Разве вы не видите, что я здесь?» Алькад в качестве учтивого человека остановил свою лошадь и сказал: «Ступайте своей дорогой, сударь, это я должен следовать за доньей Кассильдой (так звали мою госпожу)». Но мой муж, держа шляпу в руках, настаивал на том, что он последует за алькадом. Видя это, моя госпожа, рассерженная и разгневанная, взяла в руку толстую булавку, или, лучше сказать, вынула из футляра шило и воткнула его ему в поясницу. Мой муж страшно вскрикнул, скорчился и упал на землю вместе со своей госпожой. Лакеи госпожи и алькад и его альгвазилы бросились подымать ее. Это переполошило всю Гвадалахару, т. е. всех находившихся там ротозеев. Моя госпожа вернулась домой пешком, а мой муж укрылся в лавке цирюльника, говоря, что все внутренности у него истерзаны. Его учтивость стала так известна и наделала столько шума, что за ним бегали по улицам мальчишки. По этой причине и потому, что он был немножко близорук, моя госпожа уволила его, и горе, причиненное ему этим, и вызвало, я уверена, болезнь, от которой он умер. Я осталась вдовой, без средств, с дочерью на руках, красота которой с каждым днем росла, как

пена морская. Наконец, так как я славилась, как замечательная швея, госпожа герцогиня, вышедшая замуж за моего господина герцога, вздумала увезти меня с собой в Аррагонское королевство, а также и мою дочь, все мое добро. Тем временем дочь моя выросла, а с ней вместе выросли и все прелести в мире. Она поет, как жаворонок, танцует, как мысль, читает и пишет, как школьный учитель, и считает, как ростовщик. Как она блюдет себя, нечего и говорить, потому что текучая вода не может быть чище ее; и теперь ей, сколько мне помнится, шестнадцать лет, пять месяцев и три дня, или одним больше или меньше. Так вот в эту мою дочь влюбился сын очень богатого земледельца, живущий в одной из деревень моего господина герцог, недалеко отсюда; потом, не знаю как, они сумели сойтись, и молодой человек, обещавший моей дочери жениться на ней, соблазнил ее. А теперь он не хочет исполнить обещанья, и хотя мой господин герцог знает всю эту историю, потому что я жаловалась ему, и не раз, а много раз, и просила его заставить этого крестьянина жениться на моей дочери, но он остается глух к моим просьбам и почти не слушает меня. Дело в том, что он не хочет причинить неприятность или какое бы то ни было беспокойство отцу соблазнителя, который в качестве очень богатого человека часто ссужает его деньгами и прикрывает все его глупости. Так вот я и хотела бы, мой добрый господин, чтоб ваша милость взялись поправить эту беду, просьбами или оружием, потому что все говорят, что ваша милость приехали сюда поправлять всякие беды, исправлять зло и помогать несчастным. Подумайте, ваша милость, о моей покинутой дочери-сироте, о ее прелести, молодых годах и всех талантах, которые я вам описала. Клянусь душой и совестью, что изо всех служанок госпожи герцогини ни одна и в подметки не годится моей дочери, потому что даже некая Альтисидора, которую считают за самую бойкую и искусную, и та на целую милню не подходит к моей дочери, если их сравнить. Ваша милость должны знать, что не все то золото, что блестит. У этой маленькой Альтисидоры больше чванства, чем красоты, и больше нахальства, чем сдержанности; не говоря уж о том, что она далеко не святая, потому что у нее так несет изо рта, что невозможно и минутки стоять около нее, и даже госпожа герцогиня... Но я лучше замолчу, потому что говорят, что и у стен есть уши.

– Что же госпожа герцогиня, донья Родригес? – спросил Дон-Кихот. – Заклинаю вас моей жизнью, говорите.

– Когда меня так заклинают, – ответила донья Родригес, – я не могу не ответить по совести на то, о чем меня спрашивают. Ведь вы видите, господин Дон-Кихот, красоту госпожи герцогини, ее цвет лица, блестящий,

как отполированная шпага, ее щеки, похожие на лилии и розы и напоминающие одна солнце, другая луну? Вы видите, как гордо она выступает, топча и презирая землю, так что можно подумать, что она сеет и распространяет здоровье повсюду, куда вы придет. Ну, так знайте, что за все это она, прежде всего, должна благодарить Бога, а потом два фонтана, [\[260\]](#) которые находятся у вся на ногах и через которые вытекают все нездоровые соки, наполняющие ее, как говорят доктора.

– Пресвятая Богородица! – вскричал Дон-Кихот. – Неужели у госпожи герцогини бывают такие истечения? Я не поверил бы этому, если бы даже услышал это от босоногих кармелитских монахов, но когда госпожа донья Родригес это говорит, так значит, это правда. Однако из таких фонтанов, находящихся на таких местах, должны течь не нездоровые соки, а жидкая амбра. Право, я начинаю думать, что этот обычай открывать себе фонтаны очень полезен для здоровья. [\[261\]](#)

Едва Дон-Кихот договорил эти слова, как кто-то сильным ударом отворил дверь его комнаты. Испуг заставил донью Родригес выронить из рук свечу, и в комнате, что называется, стало не видать. Бедная дуэнья почувствовала, что кто-то сжал в руках ее горло, да так сильно, что она не могла даже вскрикнуть; потом кто-то другой приподнял ей юбки и принялся изо всех сил безжалостно сечь ее чем-то вроде туфли. Дон-Кихот, хотя и проникнутый жалостью, не трогался с постели, не зная, что все это значит» он лежал тихий и молчаливый, боясь, как бы наказание не обрушилось и на него. И страх его был не напрасен, потому что, хорошенько исколотив дуэнью, которая не осмелялась даже пикнуть, невидимые палачи подошли к Дон-Кихоту и, высвободив его из простынь и одеял, так сильно и часто стали его щипать, что он довольно начал защищаться кулаками, – и все это совершенно безмолвно. Баталия продолжалась с полчаса, затем призрак исчезли. Донья Родригес оправила свои юбки и, испуская стоны по поводу обрушившейся на нее беды, вышла, не сказав ни слова Дон-Кихоту, который остался исципанный и помятый, сконфуженный и угнетенный на своей постели, где? мы его и оставим погруженным в размышление о том, какой злой чародей довел его до такого состояния. Но это в свое время объяснится, а теперь последовательность рассказа требует, чтобы мы возвратились к Санчо Панса, который нас призывает.

## ГЛАВА XLIX

### Что случилось с Санчо Панса при обходе им острова

Мы оставили великого губернатора в гневе против крестьянина, изобразителя каррикатур, который, хорошо подготовленный мажордомом, насмеялся над Санчо Панса так же как последний, подговоренный герцогом. Однако, Санчо, как ни был прост, смело боролся с ними со всеми, не уступая ни шагу. Он сказал всем окружающим, не исключая и доктора Педро Ресио, вошедшего в залу после чтения секретной депеши от герцога: «Правда, я теперь вижу, что судьи и губернаторы должны быть или сделаться бронзовыми, чтобы не чувствовать нахальства тяжущихся, которые хотят, чтоб их во всякий час и во всякую минуту выслушивали, решая их дела и, чтобы ни случилось, не обращая ни малейшего внимания ни на что, кроме этих дел, и если бедный судья не выслушает и не решит их дел, потому ли, что не может, или что не наступил час аудиенций, они проклинают его, кусают, рвут, грызут его кости и даже оспаривают его благородство. Глупый, смешной торговец, не торопись так: погоди, пока настанет время и будет случай решить твое дело; не приходи в обеденный час или когда пора ложиться спать, потому что и судьи тоже сделаны из мяса и костей, и они должны отдавать природе то, что она от них требует, — только, впрочем, не я, потому что я ничего не даю есть своей природе, благодаря господину доктору Педро Ресио Тиртеафуэра, здесь находящемуся, который хочет, чтобы я умер с голоду, и уверяет, что эта смерть и есть жизнь. Да пошлет Бог такую же смерть и ему, и всем людям его породы, т. е. злым лекарям, потому что добрый заслуживают лавровых венков».

Все звавшие Санчо Панса удивлялись, слыша от него такую изящную речь, и не знали, чему приписать эту перемену, если не тому, что важные и серьезные посты или пробуждают или обостряют умы. Наконец, доктор Педро Ресио Агуэро де Тиртеафуэра обещал позволить ему в этот вечер поужинать, хотя бы ему пришлось для этого пренебречь всеми афоризмами Гиппократы. Это обещание исполнило губернатора радостью, и он с величайшим нетерпением стал ждать наступления ночи и вместе с тем времени ужина. И хотя ему казалось, что время остановилось и не двигалось с места, но столь пылко желанный им момент, наконец,



наступил, и ему дали поужинать холодным рубленным мясом с луком и не совсем свежими телячьими ножками. Он набросился на эти блюда с большим удовольствием, чем если б ему подали миланских франколинов, римских фазанов, соррентской телятины, марокканских куропаток или лавахосских гусей. Во время ужина он сказал, обращаясь к доктору: – Послушайте, господин доктор, не трудитесь вперед наставлять меня есть питательных вещей и тонких блюд: это все равно, что снимать с петель мой желудок, который привык к козлятине, баранине, салу, солонине, брюкве и луку. А если ему дадут царских соусов, так он примет их угрюмо, а иной раз и с отвращением. Самое лучше, что может сделать метр-д'отель, это – подавать мне кушанья, которые называются блюдами из разных мяс с овощами; <sup>[262]</sup> они чем больше испорчены, тем вкуснее, и он может валять туда все, что захочет, лишь бы это было съедобное; я буду ему очень благодарен и даже заплачу ему за это как-нибудь. Но пусть никто не смеется надо мной, потому что ведь мы или живем, или не живем. Будем все есть и пить мирно и дружно, потому что Бог велит солнцу светить для всех. Я буду управлять этим островом, ничего не беря и никому не позволяя ничего брать. Но пусть все берегутся и будут на стороже, потому что и покажу им, где раки зимуют, и покажу, что пусть мне только дадут случай, и я наделаю чудес, а не то станьте медом, и пусть мухи вас поедят.

– Действительно, господин губернатор, – сказал метр-д'отель, – ваша милость совершенно правы во всем, что говорите, и я ручаюсь за всех островитян этого острова, что они будут служить вашей милости с точностью, любовью и благоволением, потому что любезный способ управления, которого ваша милость держитесь с самого начала, не позволяет ни делать, ни думать ничего такого, что доказывало бы их забвение обязанностей относительно вашей милости.

– Я думаю, – отвечал Санчо, – они были бы дураками, если бы делали или думали иначе. Повторяю только, чтоб заботились о питании моем и моего Серого; это главное здесь и самое нужное. Когда наступит время, мы совершим обход, потому что я намерен очистить остров ото всякого рода дряни, бродяг, бездельников и людей, занимающихся дурным делом. Надо вам знать, друзья мои, что в государстве люди без дела и ленивые то же, что трутни в улье, съедающие мед, заготавливаемый трудолюбивыми пчелами. Я думаю покровительствовать рабочим, сохранить за гонимыми их преимущества, вознаградить добродетельных людей, а главным образом, требовать уважения к религии и к благочестивым людям. Что вы об этом скажете, друзья? А? Говорю я что-либо толковое или стучаюсь головой об стену?

– Ваша милость говорите таким образом, господин губернатор, – сказал мажордом, – что я удивлен, как человек, так мало ученый, как ваша милость, чему я вовсе не верю, говорит такие вещи полные верных изречений и мудрых правил, столь далеких от того, чего от ума вашей милости ожидали пославшие нас сюда и мы сюда отправлявшиеся. Каждый день мы видим новые вещи: шутки обращаются в серьезную действительность, а насмешники оказываются осмеянными».

Ночь наступила, и губернатор, как было сказано, отужинал с разрешения доктора Ресио. Одевшись для обхода, он вышел с мажордомом, секретарем, метр-д'отелем, хроникером, которому поручено было записывать все его действия и движения, и с таким множеством альгвазилов и судейских чиновников, что из них можно было бы составить небольшой эскадрон. Санчо шел среди них, с жезлом в руках, и производил прекрасное впечатление. Только что прошли они несколько улиц, как услышали шум от ударов шпагами. Они бросились туда и увидели, что бой происходит всего только между двумя. Увидав, что правосудие близко, сражавшиеся остановились, и один из них воскликнул: – Во имя Бога и короля! Можно ли терпеть, чтоб здесь грабили среди города и нападали на улицах, как на большой дороге?

– Успокойтесь, честный человек, – сказал Санчо, – и расскажите мне причину вашей ссоры: я губернатор.

– Господин губернатор, – заговорил другой, я расскажу вам все, как можно короче. Ваша милость должны знать, что этот дворянин сейчас выиграл вот в том игорном доме напротив более тысячи реалов, и Бог один знает как. А так как я присутствовал при этом, то решил не один сомнительный ход в его пользу, в противность всему, что подсказывала мне совесть. Он ушел со своим выигрышем. Я ожидал, что он даст мне в награду хоть один золотой, как полагается и водится давать таким, как я, знатым людям,<sup>[263]</sup> которые собираются, чтоб так или иначе провести время, защищать несправедливости и предупреждать ссоры, но он спрятал свой выигрыш в карман и ушел себе из дому. Я с сердцем побежал вслед за ним и вежливо попросил, чтоб он дал мне хоть восемь реалов, потому что он знает отлично, что я человек честный и что у меня нет ни ремесла, ни доходов, так как родители мои не научили меня первому и не оставили второго. Но этот плут, который вороватее Какуса и плутоватее Андрадильи, не захотел дать мне более четырех реалов. Видите, господин губернатор, как у него мало стыда и совести! Но, право же, если б ваша милость не пришли, я бы ему задал хороший выигрыш, и он бы у меня научился рассчитывать.

– Что вы на это скажете? – спросил Санчо.

Обвиняемый ответил: – Все, что сказал мой противник, правда. Я не хотел дать ему более четырех реалов, потому что часто даю их ему, а кто ждет благодарности от игроков, тот должен быть вежлив и довольствоваться тем, что ему дают, не торгуясь с выигравшими, если только это не мошенники и если их выигрыш не обманный. А чтоб показать, что я честный человек, не нужно лучшего доказательства, как то, что я ничего не хотел ему давать, потому что мошенники вечные данники зрителей, которые их знают.

– Это правда, – заметил мажордом. – Пусть ваша милость, господин губернатор, решит, что делать с этими людьми.

– Вот что нужно с ними делать, – ответил Санчо, – вы, выигравший, хороший или дурной, или ни то мы другое, дайте сейчас же своему противнику сто реалов и, кроме того, еще тридцать в пользу бедных заключенных. А вы, не имеющий ни ремесла, вы доходов, и живущий на этом острове сложа руки, берите скорее эти сто реалов и завтра же днем уезжайте с этого острова в десятилетнее изгнание, под страхом на том свете закончить срок, если вы его нарушите, потому что я вздерну вас на виселицу, т. е. палач вздернет вас по моему приказанию. И никто не смей возражать, а не то худо будет.

Один выдал деньги, другой принял» второй покинул остров, а первый отправился к себе домой. Тогда губернатор сказал: – Или я окажусь бессилен, или уничтожу эти игорные дома, потому что, я полагаю, они делают много зла.

– Этого, по крайней мере, ваша милость не уничтожите, – заметил один актуариус, – потому что его содержит один важный вельможа, который ежегодно теряет на нем гораздо больше, чем выручает от карт. Ваша милость можете показать свою власть на игорных домах низшего разбора: они делают всего более зла и скрывают в себе наиболее подлостей. В домах же дворян и знатных вельмож знаменитые мошенники не осмеливаются пускать в ход свои ловкие штуки. А так как эта страсть к игре так распространилась повсюду, то уж лучше пусть играют в домах знатных людей, чем у каких-нибудь мастеровых, где несчастного держат с полуночи до утра, чтоб обобрать его, как липку.<sup>[264]</sup>

– О, об этом, актуариус, – ответил Санчо, – я знаю, что есть что порассказать.

В это время подошел стрелок из объездной команды, державший за шиворот какого-то молодого человека.

– Господин губернатор, – сказал он, – этот парень шел сюда, но, увидав

правосудие, повернул оглобли и пустился удирать, как олень, – верный признак, что это какой-нибудь преступник. Я бросился его догонять, но, не споткнувшись он и не упав во время бега, мне бы его не поймать.

– Почему ты удирал, молодой человек? – спросил Санчо. – Господин, – ответил юноша, – я хотел избежать ответа на бесчисленные вопросы, которые задают судьи. – А какое твое ремесло?

– Я ткач.

– А что ты ткешь?

– Железо для копий, с позволения вашей милости.

– А, вы разыгрываете шута, изволите потешаться надо мной? Прекрасно! Но куда же вы теперь идете?

– Подышать свежим воздухом.

– А где здесь на острове дышат свежим воздухом?

– Там, где дует.

– Хорошо, вы славно отвечаете, вы умны, молодой человек. Ну, так представьте себе, что я воздух, что я дую вам по пути и что я толкаю вас в тюрьму. Эй! схватить его и увести: я заставляю его там проспать ночь, и без всякого воздуха.

– Ей-Богу, – возразил молодой человек, – ваша милость так же заставите меня спать там, как сделаете королем.

– А почему же я тебя не заставляю спать в тюрьме? – спросил Санчо, – разве не в моей власти брать и отпускать тебя, сколько мне заблагорассудится?

– Какова бы вы была власть вашей милости, – ответил молодой человек, – ее не хватит на то, чтоб заставить меня спать в тюрьме.

– Почему же нет? – переспросил Санчо. – Уведите его скорее, и пусть он собственными своими глазами убедится в этом, хотя бы тюремщик и пожелал применить к нему свое корыстное снисхождение. Я оштрафую его двумя тысячами золотых, если он хоть на шаг выпустит тебя из тюрьмы.

– Все это бесполезно, – ответил молодой человек, – и я говорю, что ни один человек в мире не заставит меня спать в тюрьме.

– Скажи мне, дьявол, – вскричал Санчо, – что, у тебя есть к твоим услугам ангел, который бы вывел тебя из тюрьмы и снял с тебя колодки, в которые я собираюсь заковать тебя?

– Полноте, господин губернатор, – развязно сказал молодой человек, – будем благоразумны и объяснимся. Предположим, что ваша милость отправите меня в тюрьму, что меня закуют в цепи и колодки, что меня бросят в темницу, что вы назначите строгое наказание тюремщику, если он выпустит меня, и что он покорится вашим приказаниям, со всем тем, если я

не пожелаю спать, если я захочу бодрствовать всю ночь, не смыкая глаз, разве ваша милость при всей своей власти можете заставить меня спать против воли?

– Конечно, нет! – вскричал секретарь, – парень славно выпутался.

– Значит, – спросил Санчо, – если вы не станете спать, так это будет для того, чтоб исполнить свою волю, а не чтобы идти против моей?

– О, понятно, сударь, – ответил молодой человек.

– Я об этом не думал. – Ну, так ступайте с Богом, – решил Санчо. – Идите домой спать, и да пошлет вам Бог доброго сна, потому что я не хочу лишать вас его. Но советую вам вперед не играть с правосудием, потому что вы можете когда-нибудь нарваться на такое, от которого вам не поздоровится.

Молодой человек ушел, а губернатор продолжал свой обход. Через несколько минут к нему подошли два стрелка, державшие за руки какого-то человека. «Господин губернатор, – сказали они, – эта личность, которая кажется мужчиной, вовсе не мужчина, а переодетая мужчиной женщина, и, право, не безобразная». Когда пленника осветили двумя-тремя фонарями, присутствующие увидели при свете их лицо молодой девушки лет шестнадцати-семнадцати, с волосами, собранными в зеленую шелковую сетку с золотом, и прекрасную, как тысячи восточных жемчужин. Ее осмотрели с головы до ног и увидели, что на ней красные шелковые чулки с подвязками из белой тафты с золотой бахромой и маленькими жемчужинами, ее штаны были зеленые парчовые, а из-под открытого камзола из той же материя виднелась куртка из тонкой белой ткани с золотом. Башмаки на ней были белые мужские; на поясе у нее вместо шпаги висел кинжал, а пальцы были усеяны множеством блестящих перстней. Словом, девушка всем понравилась, но никто из глядевших на нее не мог ее признать. Местные жители говорили, что не знают, кто она такая, а те, которые были посвящены в тайну подготовлявшихся шутов над Санчо, были еще более поражены, так как это непредвиденное происшествие не ими было подстроено. Все они были в недоумении, чем кончится это приключение. Санчо, восхищенный прелестями молодой девушки, спросил, кто она такая, куда идет и что заставило ее так нарядиться. Она ответила, опустив глаза и краснея от стыда: «Я не могу, сударь, сказать при всех то, что мне так необходимо было сохранить в тайне. Единственное, что я хотела бы доказать, это – что я не вор и не какой-нибудь злодей, а несчастная молодая девушка, которую сила ревности заставила забыть уважение, подобающее честности.

– Господин губернатор, – вмешался мажордом, слышавший этот

ответ, – велите разойтись окружающим нас людям, чтоб эта дама могла без стеснения рассказать все, что ей угодно.

Губернатор так и сделал, и все разошлись, кроме мажордома, метр-д'отеля и секретаря. Видя, что кроме них никого не осталось, молодая девушка опять заговорила: – Я, сударь, дочь Педро Переса Масорка, здешнего фермера, который имеет обыкновение часто ходить к моему отцу. – Это бессмыслица, сударыня, – заметил мажордом: – я хорошо знаю Педро Переса, и знаю, что у него совсем нет детей – ни дочерей, ни сыновей. Кроме того, вы говорите, что он ваш отец, потом прибавляете, что он имеет обыкновение часто ходить к вашему отцу.

– И я это заметил, – сказал Санчо.

– Я в эту минуту очень смущена, сударь, – ответила молодая девушка, и не знаю, что говорю. В действительности я дочь Диего де ла Льяна, которого ваши милости все должны знать.

– Это хоть имеет смысл, – сказал мажордом: – я знаю Диего де ла Льяна, знаю, что он богатый, благородный гидальго, что у него есть один сын и одна дочь, и что с тех пор, как он лишился жены, никто в околоте не может похвастать, что видел в лицо его дочь, потому что он держит ее взаперти и даже солнцу не позволяет видеть ее, а между тем молва идет, что она очень хороша собой.

– Это совершенно верно, – ответила молодая девушка, – и эта дочь я самая. Правду ли или неправду говорит молва о моей красоте, можете судить сами, господа, потому что вы меня видели». При этих словах она залилась слезами. Тогда секретарь, подойдя к метр-д'отелю, сказал ему на ухо: «С этой бедной молодой девушкой случилось, без сомнения, что-то очень серьезное, если она, знатная по происхождению, в таком наряде и в такой час убежала из дому». «Невозможно и сомневаться в этом», ответил метр-д'отель, – тем более что ее слезы подтверждают наше подозрение».

Санчо стал утешать ее самыми лучшими словами, какие мог придумать, и просил ее без опасения рассказать ему, что с ней случилось, обещая, что все они постараются от всего сердца и всеми возможными средствами помочь ей. «Дело в том, господа, – сказала она, – что мой отец уже десять лет держит меня взаперти, т. е. с тех самых пор, как земляные черви стали есть мою бедную мать. У нас служится обедня в богатой часовне, и за все это время я видела одно только небесное солнце в продолжение дня и луну и звезды в продолжение ночи и не знаю, что такое улицы, площади, храмы и даже мужчины, кроме моего отца, брата и Педро Переса, фермера, которого и вздумала выдать за своего отца, потому что он часто приходит к нам в дом, а настоящего своего отца я назвать не хотела.

Уже много дней и много месяцев я не могу мириться с этим постоянным затворничеством и с этими вечными запрещениями выходить даже в церковь. Я хотела видеть свет или хоть то место, где я родилась, потому что мне казалось, что это желание не противоречит благопристойности и уважению к самим себе, подобающему знатым девушкам. Когда я слышала, что существуют бои быков или игры в кольцо, и что в театре представляются комедии, я просила брата, который годом моложе меня, рассказать мне, что все это значит, и вообще обо всем, чего я никогда не видала. Он объяснял мне все, как мог, но это только еще более разжигало мое желание видеть все это. Наконец, чтоб не останавливаться долго на истории моей гибели, сознаюсь, что я просила и умоляла брата, и лучше бы и не просила ни о чем подобном!..». Тут молодая девушка снова залилась слезами, а мажордом сказал ей: «Пожалуйста, продолжайте, сударыня, и скажите нам, что с вами случилось, потому что ваши слова и слезы приводят нас всех в недоумение». – «Мне уже немного остается досказать, – ответила молодая девушка, – хотя много остается плакать, потому что неосторожные и неуместные фантазии только и могут кончаться такими бедами и искуплениями».

Прелести молодой девушки до глубины души поразили метр-д'отеля. Он опять поднес к ней фонарь, чтоб еще раз взглянуть на нее, и ему показалось, что из ее глаз текут не слезы, а капли луговой росы, и он даже возводил их в восточные жемчужины. Поэтому он горячо желал, чтоб ее несчастье было не так велико, как можно было судить по ее слезам. Что же касается губернатора, то он приходил в отчаяние от того, что молодая девушка так мешкала продолжением своей истории; он просил ее не оставлять их так долго в неизвестности, говоря, что уже поздно и что им остается еще пройти порядочную часть города. Она стала рассказывать, прерывая свою речь рыданиями и всхлипываниями. «Вся моя беда, все мое несчастье произошли от того, что и просила брата одеть меня в свое платье мужчиной и пойти со мной ночью осмотреть весь город, когда отец наш будет спать. Я так надоела ему своими просьбами, что он, наконец, уступил моему желанию, он надел на меня это платье, сам оделся в мое, которое так пришлось ему, как будто шито было на него, – потому что у моего брата еще нет ни одного волоска на подбородке, и он совсем похож на хорошенькую девушку, – и около часу тому назад мы вышли из дому. Руководимые своим безрассудным и бессмысленным планом, мы обошли весь город, а когда мы захотели вернуться домой, нам навстречу вдруг показалась большая толпа людей, и брат сказал мне: «Сестра, это верно обход: беги за мной что есть духу, потому что если нас поймают, нам

придется раскаяться». С этими словами он повернулся и не побежал, а просто полетел. Я же после нескольких шагов упала, до того я была испугана. Тогда ко мне подошел судейский чиновник, который и привел меня к вашей милости, и я стыжусь теперь, что могу показаться стольким людям ветреной и беспутной.

– Значить, сударыня, – сказал Санчо, – с вами другой беды не приключилось, и не ревность, как вы сказали в начале вашего рассказа, заставила вас уйти из своего дома?

– Больше ничего со мной не случилось, – ответила она, – и не ревность заставила меня выйти из дому, а желание видеть свет, не заходившее дальше желания видеть улицы этого города». Слушатели окончательно убедились, что молодая девушка говорит правду, когда стрелки привели и ее брата, которого им удалось схватить: один из них нагнал его, когда он бежал впереди сестры. На нем была только юбка из дорогой материи и голубая камковая мантилья с тонкой золотой бахромой; голова его ничем не была покрыта, кроме собственных его волос, которые казались золотыми кольцами, так они были белокуры и кудрявы.

Губернатор, мажордом и метр-д'отел отвели его в сторону и спросили его так, чтоб сестра не слыхала, почему он так нарядился, и он, не менее смущенный и сконфуженный, рассказал совершенно то же, что рассказывала его сестра, что вызвало большую радость в душе влюбленного метр-д'отеля. Но губернатор сказал молодым людям: «Вот в самом деле славная шалость, и право, не стоило столько вздыхать и плакать, чтоб рассказать такую глупость. Можно было просто сказать: «Мы такой-то и такая-то и убежали из дому при помощи такой-то хитрости, но без всякого дурного намерения, а единственно из любопытства», и всему делу конец, и не зачем было так сокрушаться и хныкать.

– Это правда, – ответила молодая девушка, – но ваши милости должны знать, что я так была встревожена, что не могла поступать, как следовало.

– Ну, невелика беда, – успокоил ее Санчо, – пойдемте, мы отведем вас к вашему отцу, который, может быть, еще не хватился вас» но вперед не поступайте так по-детски и не желайте так видеть свет. Девушка с клюкой из дома ни ногой, курице и бабе прыть не ко двору, людей посмотреть значит, себя показать, и больше я ничего не скажу».

Молодой человек поблагодарил губернатора за милость, которую он хотел им оказать, проводив их домой, и вся процессия направилась к их дону, который был недалеко от того места. Подойдя к дому, брат бросил камешек в окно, и дожидавшаяся их служанка сейчас же сошла вниз, отперла им дверь, и они оба вошли в дом, оставив зрителей столь же



удивленными их красивой наружностью, сколько их желанием видеть свет ночью и не выходя из города. Но эту фантазию все приписали неопытности, свойственной их возрасту. Метр-д'отель остался с истерзанной вдоль и поперек душой и решился на другой же день просить у отца молодой девушки ее руки, вполне уверенный, что не получит отказа, так как он служит у самого герцога. Санчо, со своей стороны, возымел желание и намерение женить молодого человека на своей дочери Санчике. Он также решил в свое время привести это дело в исполнение, уверяя самого себя, что губернаторской дочери не откажет никакой жених. Так кончился в эту ночь обход, а через два дня кончилось и губернаторство, с падением которого пали и рушились и все его планы, как читатель увидит далее.

## **ГЛАВА I**

### **Где объясняется, что это за чародеи и палачи высекли дуэнью и исщипали и исцарапали Дон- Кихота, и где рассказываются похождения пажа, отвезшего письмо Терезе Панса, жене Санчо Панса**

Сид Гамед, точный исследователь всех атомов этой правдивой истории, говорит, что когда донья Родригес выходила из своей комнаты, чтоб пойти к Дон-Кихоту, ее шаги услышаны были другой дуэньей, спавшей рядом с нею, а так как все дуэньи любят подсматривать, подслушивать и обнюхивать, то и эта последняя сейчас же пошла по следам доньи Родригес, но так тихо, что та ничего и не заметила. Едва подглядывавшая увидела, что она вошла в комнату Дон-Кихота, как, по общему всем дуэньям обычаю болтать и доносить, отправилась к своей госпоже и рассказала ей, как донья Родригес проникла к Дон-Кихоту. Герцогиня рассказала об этом герцогу и попросила у него позволения пойти с Альтисидорой посмотреть, чего нужно ее дуэнье от рыцаря. Герцог позволил, и обе любопытные женщины бесшумно, на цыпочках, подошли к самой двери комнаты Дон-Кихота, так что могли ясно слышать все, что там говорилось. Но когда герцогиня услышала, что донья Родригес вынесла, так сказать, на улицу тайну о ее фонтанах, она не могла уже сдерживать себя, и Альтисидора также. Обе, пылая гневом и жаждой мести, внезапно вторглись в комнату Дон-Кихота, где исцарапали его ногтями и отстегали, как уже рассказано дуэнью, – до того оскорбления, прямо направленные против красоты и гордости женщин, возбуждают их гнев и зажигают в сердцах их жажду мести, герцогиня рассказала о происшедшем герцогу, которого это очень насмешило; затем, не оставляя намерения позабавиться и посмеяться по поводу Дон-Кихота, она отправила пажа, изображавшего Дульцинею в церемонии снятия с нее чар (о чем Санчо, впрочем, совсем забыл среди своих губернаторских занятий) к Терезе Панса, жене Санчо, с письмом от него и другим письмом от себя, прибавив к этому еще большое коралловое ожерелье в подарок от себя.

История повествует, что паж был бойкий и веселый малый и что, желая угодить своим господам, он охотно отправился в деревню Санчо.

Недалеко от въезда в нее он встретил нескольких женщин, полоскавших белье в ручье, и спросил у них, живет ли в этой деревне женщина по имени Тереза Панса, жена некоего Санчо Панса, оруженосца рыцаря, которого зовут Дон-Кихот Ламанчский. При этом вопросе молодая девушка, полоскавшая белье, приподнялась и сказала: – Эта Тереза Панса моя мать, а этот Санчо Панса мой господин и отец, а этот рыцарь наш барин.

– Ну, так идите, барышня, – сказал нам, – ведите меня к вашей матери, потому что я везу ей письмо и подарок от этого господина вашего отца.

– С удовольствием, добрый господин, – ответила молодая девушка, которой казалось на вид лет четырнадцать. И, передав одной из товаровок белье, которое стирала, она, не покрыв головы и не обувшись – она была босиком и с развевавшимися по ветру волосами – пустилась бежать впереди ехавшего за нею паж.

– Пойдемте, пойдемте, – говорила она: – наш дом тут в начале деревни, и моя мать все тоскует, что так долго не получала известий от моего господина отца.

– Вот и прекрасно! – ответил паж. – Я привез ей таких хорошим вестей, что она возблагодарит за них Господа.

Наконец, молодая девушка, прыгая, бегая и скача, ввела паж в деревню и, не входя в дом, стала кричать у дверей: «Выходи, маменька Тереза, выходи, выходи скорее! Вот этот господин везет письмо от моего доброго отца и еще что-то». На эти крики вышла Тереза Панса с прялкой в руках, одетая в короткую темную саржевую юбку, точно подрезанную у колен, такой же темный маленький корсаж и рубаху с нагрудником. Она была не стара; ей было на вид за сорок лет, но она была крепка, пряха, коренаста и с загорелым лицом. Увидав дочь и пажу верхом на лошади, она спросила: – Что это, дочка? Кто этот господин?

– Я покорнейший слуга госпожи доньи Терезы Панса, – ответил паж, – соскакивая при этих словах с лошади и опускаясь на оба колена перед тетушкой Терезой. Соболаговолите, ваша милость, госпожа донья Тереза, дать мне поцеловать ваши ручки, как законной и единственной супруге доня Санчо Панса, собственного губернатора острова Баратарии.

– Ах, Господи, Боже мой! – вскричала Тереза. – Убирайтесь и не делайте этого. Я вовсе не дама, а бедная крестьянка, дочь землекопа и жена странствующего оруженосца, а совсем не губернатора.

– Ваша милость, – ответил паж, – супруга распренаидостойнейшего губернатора, а в доказательство сей истины благоволите принять это письмо и этот подарок.

И он поспешно вынул из кармана коралловое ожерелье с золотыми

застежками и, надевая его ей на шею, продолжал: «Это письмо от господина губернатора, а это, вместе с коралловым ожерельем, от госпожи герцогини, которая послала меня к вашей милости». И Тереза, и дочь ее точно окаменели от удивления. Наконец, девочка вскрикнула: – Пусть меня убьют, если наш господин и барин Дон-Кихот не впутался в это дело! Это, верно, он дал папеньке губернаторство или графство, которое столько раз обещал ему.

– Совершенно верно, – ответил паж. – Это благодаря господину Дон-Кихоту господин Санчо стал губернатором острова Баратарии, как вы увидите из этого письма.

– Сделайте одолжение, прочитайте его, господин барин, – сказала Тереза, – я хотя и умею прясть, но читать ни крошечки не умею. И я тоже, – прибавила Санчика.

– Но погодите, я выйду позову кого-нибудь, кто умеет читать: либо самого священника, либо бакалавра Самсона Карраско. Они охотно придут, чтоб узнать что-нибудь о моем отце.

– Не зачем ходить за ними, – возразил паж: – я не умею прясть, за то умею читать и прочитаю вам письмо.

И он действительно прочитал его все, но так как оно уже было приведено выше, то здесь его повторять не зачем. Затем он взял другое письмо, от герцогини, и прочитал следующее:

«Друг мой Тереза, прекрасные сердечные и умственные качества вашего мужа побудили и даже вынудили меня просить герцога, моего мужа, чтоб он даровал ему управление одним из островов, которыми владеет. Я узнала, что он управляет, как орел, и это меня очень радует, и моего господина, герцога, также. Я тысячи раз благодарю Бога, что не ошиблась, выбрав его для этого губернаторства, потому что да будет известно госпоже Терезе, что найти в свете хорошего губернатора очень трудно, и да поможет мне Бог быть такой же хорошей, как Санчо хорошо управляет. Посылаю вам, моя милая, коралловое ожерелье с золотыми застежками. Я желала бы, чтоб оно было из восточных жемчужин, но, как говорит пословица, дающий тебе кость не желает твоей смерти. Придет время, когда мы познакомимся и посетим друг друга, и кто знает, что тогда будет. Кланяйтесь от меня вашей дочери Санчике и скажите ей от моего имени, чтоб она была наготове; я хочу ее выдать замуж за знатного человека, когда она совсем не будет ждать этого. Говорят, что у вас в

деревне есть большие сладкие желуди: пошлите мне их дюжины две, мне будет очень приятно получить их от вас. Пишите мне подробно, чтоб я знала о вашем здоровье и житье-бытье. Если вам что-нибудь понадобится, вы только скажите и все исполнится, как по щучьему веленью. Да хранит вас Бог! Здесь. Ваша любящая вас приятельница

*Герцогиня».*

«Ах, Господи! – вскричала Тереза, выслушав письмо. – Какая добрая барыня! Какая простая и не гордая! Ах, я хотела бы, чтоб меня схоронили с такими дамами, а не с женами гидальго, какие встречаются здесь в деревне, они воображают, что если они знатные, так даже ветер не смеет их трогать. И идут в церковь так гордо и спесиво, точно королевы, и считают для себя бесчестьем даже взглянуть в лицо крестьянке. А вот эта добрая барыня, хоть она и герцогиня, называет меня своим другом, и пишет мне, как равной. Дай Бог ей так высоко подняться, чтобы быть выше самой высокой колокольни во всей Ламанче. А что до сладких желудей, мой добрый господин, так я пошлю ее милости целый четверик, да таких больших, что все будут сбегаться глядеть на них. А теперь, Санчика, постарайся хорошенько угостить этого господина. Позаботься об этой лошади, сходи в конюшню за яйцами, нарежь побольше сала, и накормим его, как принца, потому что хорошие вести, которые он принес, стоят того, что мы для него сделаем. А я пока схожу расскажу соседкам о нашем счастье, и господину священнику, и цирюльнику дяде Николаю, которые были и остались добрыми друзьями твоего отца.

– Хорошо, маменька, хорошо, я все сделаю, – ответила Санчика. – Но смотри, чтоб ты отдала мне половину этого ожерелья, потому что я не думаю, чтоб госпожа герцогиня была так глупа, что послала его тебе одной.

– Оно все будет твое, дочка, – возразила Тереза, – дай мне только несколько дней поносить его на шее, потому что оно, право, словно радует мое сердце.

– Вы еще более обрадуетесь, когда увидите сверток, который я везу в чемодане. Это платье из тонкого сукна, которое губернатор носил всего один раз на охоте и которое посылает целиком госпоже Санчике.

– Да проживет он тысячу лет! – вскричала Санчина, – а также и тот, кто привез платье, и даже две тысячи, если нужно!

Тут Тереза вышла из своего дома с письмами в руках и ожерельем на шее. Она шла, щелкая по письмам пальцами, точно по барабану. Случайно

встретившись со священником и Самсоном Карраско, она принялась плясать перед ними и закричала: – С богатого по нитке, бедному рубашка, и вот у нас есть маленькое губернаторство. Пусть-ка теперь сунется ко мне какая-нибудь спесивая жена гидальго: я ей задам трепку.

– Да что случилось, Тереза Панса? – спросил священник. – Что это за глупости, что за бумаги?

– Только всего и глупостей, – ответила она, – что эти письма от герцогинь и губернаторов, и что это ожерелье у меня на шее из настоящих кораллов, что Богородице Дево, радуйся, и Отче наш из чеканного золота и что я губернаторша!

– Да Бог с вами, Тереза! – вскричал бакалавр. – Вас не поймешь и не разберешь, что вы говорите.

– Вот из этого вы все узнаете, – ответила Тереза, передавая им письма.

Священник прочел их вслух Самсону Карраско, потом они переглянулись, удивленные прочитанным. Наконец, бакалавр спросил, кто привез письма. Тереза ответила, что им стоит только пойти к ней, и они увидит там посла, молодого парня, красивого, как архангел, привезшего ей еще один подарок, еще богаче этого. Священник снял с ее шеи ожерелье, поворачивал и переворачивал его во все стороны, рассматривал кораллы и, убедившись, что они настоящие, снова изумился.

– Клянусь рысью, которую ношу, – вскричал он, – я не знаю, что и подумать об этих письмах и этих подарках. С одной стороны я вижу и ощущаю изящество этих кораллов, а с другой читаю, что герцогиня просит две дюжины желудей!

– Согласуйте это, как хотите, – заметил Карраско, – но пойдёмте посмотрим на принесшего эти послания: мы порасспросим его, чтоб разъяснить все, что нас затрудняет.

Оба отправились вместе с Терезой к ее дому. Они нашли пажа просевающим овес для своей лошади, а Санчику отрезающую большой кусок сала, чтоб испечь его с яйцами и угостить пажа, приятная наружность и изящный наряд которого очень понравились обоим друзьям. Обменявшись с пажом учтивыми поклонами, Самсон попросил его рассказать им что-нибудь как о Дон-Кихоте, так и о Санчо Панса.

– Потому что, – прибавил он, – хотя мы и прочитали письма от Санчо и от госпожи герцогини, но ничуть не вышли из затруднения и не можем понять, что это за история с губернаторством Санчо, особенно на острове, когда все или почти все острова, находящиеся в Средиземном море, принадлежат его величеству.

– Что господин Санчо Панса губернатор, – ответил нам, – в этом

сомневаться нельзя. Островом ли он управляет или нет – дело не мое. Достаточно, что это местечко с тысячью слишком жителей. Что же касается сладких желудей, то я могу сказать, что госпожа герцогиня такая простая, что не только посылает просить у крестьянки желудей, но иногда даже посылает к соседям просить одолжить ей гребенку. Ваши милости должны знать, что наши аррагонские дамы, хотя очень благородные и знатные, не так горды и чванны, как кастильские: они не так заносчиво обращаются с людьми.

В это время прибежала Санчика с корзиной яиц и спросила пажа: – Скажите мне, сударь, мой господин отец носит брюки, с тех пор, как он губернатором?

– Я не заметил, – отвечал паж, – но должно быть носит.

– Ах, Боже мой! – вскричала Санчика. Как я хотела бы посмотреть на отца в шушуне!<sup>[265]</sup> Как это смешно, что с тех пор как я родилась, мне все хочется посмотреть на отца в брюках.

– Да разве ваша милость не увидите его в таком наряде! – вскричал паж. – Ей-Богу он скоро будет путешествовать с маской на носу,<sup>[266]</sup> если губернаторство его продлится хоть два месяца.

Священник и бакалавр прекрасно видели, что паж говорит все в насмешку; но изящество кораллов и охотничье платье, которое прислал Санчо (Тереза уже успела показать им это) сбивали их с толку. Это не помешало им, однако, посмеяться над мечтой Санчии, и еще более, когда Тереза сказала: «господин священник, разузнайте, пожалуйста, не едет ли кто отсюда в Мадрид или Толедо: я хочу поручить кому-нибудь купить мне круглые фижмы, сшитые, как следует, по моде, и самые лучшие, какие найдутся. Право же, право, я не могу ударить лицом в грязь, когда мой муж губернатор: я должна во всем, в чем могу, оказывать ему честь. Я даже могу, не во гнев как будь сказано, поехать ко двору, сидя в карете, как другие, потому что у кого муж губернатор, тот может раскошелиться и купить себе карету.

– Конечно, маменька! – вскричала Санчика. – Ах, если б сегодня, а не завтра, все говорили, видя, как я сижу в карете рядом с госпожей моей матерью: «Скажите, пожалуйста! Посмотрите-ка на эту дурочку, на эту дочку чеснока, как она развалилась в карете, словно папесса». А мне что, лишь бы они шлепали по грязи, а я ехала бы в карете, задравши ноги! Будь прокляты на этом и на том свете все злые языки, какие только есть на земле! Пусть их смеются бездельники, только бы мне ездить в карете. Так я говорю, маменька?

– Так, так, дочка, – ответила Тереза. – Все это счастье и еще многое другое мой добрый Санчо мне предсказывал, и увидишь, дочка, что он не успокоится, пока не сделает меня графиней. Нужно только начать, чтоб счастье повалило, и я много раз слыхала от твоего отца, который столько же отец пословицам, как и тебе, что если тебе дадут телку, так привяжи ее, если тебе дадут губернаторство, так бери его, если графство, так хватай его, а если тебе скажут про хороший подарок: «бери, бери!» так вскочи на него. А не то спите себе и не отвечайте счастьем и удачам, когда они будут стучаться в двери вашего дома.

– А мне какое дело, – заметила Санчика, – если кто, видя, что я спешивлюсь и задираю нос, скажет: «надела ворона павлиньи перья, так сам черт ей не брат».

– Никак не могу, – вскричал священник, услышав эти слова, – никак не могу не думать, что все члены семьи Панса родились с целым коробом пословиц в теле: я не видал между ними ни одного, который не расточал и не сыпал бы ими во всякое время и при всяком удобном случае.

– Это правда, – согласился паж, – потому что господин губернатор Санчо говорить пословицы на каждом шагу, и хотя не все они бывают у места, однако, всем нравятся, и госпожа герцогиня и ее супруг восхищаются ими.

– Как, сударь! – вскричал бакалавр. – Вы продолжаете настаивать на действительности губернаторства Санчо и все еще утверждаете, будто на свете есть герцогиня, которая пишет его жене и посылает ей подарки? Что касается нас, то мы хотя и видим и осязаем эти подарки и читали письма, но не верим ничему этому и полагаем, что это одна из историй Дон-Кихота, нашего земляка, который воображает, что все делается по волшебству. Поэтому мне бы, по правде сказать, хотелось хорошенько пощупать и потрогать вашу милость, чтоб узнать, воображаемый ли вы посланец или человек из мяса и костей?

– Все, что я знаю, сударь, – ответил паж, – это – что я действительный посланец, что господин Санчо Панса в самом деле губернатор и что их светлости герцог и герцогиня могут давать и действительно дали названное губернаторство и, кроме того, что упомянутый Санчо Панса, сколько я слышал, чудесно вел там дела. Есть ли в этом волшебство или нет, о том ваши милости могут переговорить между собой. Я же ничего больше не знаю, клянусь в тон жизнью отца и матери, которые еще живы и которых я очень люблю!<sup>[267]</sup>

– Ну что ж, может быть и так, – сказал бакалавр, – но... dubitat Augustinus. – Сомневайтесь, сколько хотите, – ответил паж, – но я сказал



правду, и она должна всплыть из лжи, как масло всплывает из воды. Впрочем, *operibus credite, et non verbis*: стоит только кому-нибудь из вас поехать со мной, и он увидит собственными глазами то, в чем не хочет верить собственным ушам.

– Эту поездку должна сделать я, – вмешалась Санчика. – Повезите меня, сударь, на крупе своей клячи: я бы охотно съездила к моему господину отцу.

– Дочери губернаторов, – ответил паж, – не должны ездить одни по больших дорогам: они ездят в сопровождении карет, носилок и множества слуг.

– Ей-Богу же! – возразила Санчика, – я могу ехать не только в карете, но и на осле. Нашли тоже модницу и святую!

– Молчи, дочка, – остановила ее Тереза. – Ты не знаешь, что говоришь, а этот господин понимает дело. Час на час не приходится: когда был Санчо, была Санча, а когда губернатор – так барышня, и не знаю, так ли я говорю.

– Тетушка Тереза говорит лучше, чем полагает, – ответил паж. – Но дайте мне пообедать и отпустите меня, потому что я хочу еще сегодня вечером отправиться обратно.

– Ваша милость, – сказал священник, – разделите трапезу со мной, потому что у тетушки Терезы больше радушия, чем добра, чтоб угощать такого важного гостя.

Паж сперва отказался от приглашения, но потом вынужден был согласиться, и священник с радостью увел его к себе, довольный тем, что ему удастся порасспросить его вволю про Дон-Кихота и его подвиги. Бакалавр вызвался написать от Терезы ответ на письма, но она не захотела, чтоб он вмешивался в ее дела, потому что считала его немножко насмешником. Она предпочла дать пирожок и два яичка ничтожному монаху, умевшему писать, и он состряпал ей два письма: одно к герцогине, а другое к мужу, оба собственного своего сочинения и ничуть не хуже других, заключающихся в этой великой истории, как читатель увидит далее.

## ГЛАВА LI

### Об успехах губернаторства Санчо Панса и о всяких других событиях

Наступил день после ночи губернаторского обхода, ночи, которую метр-д'отель провел без сна, мечтая о наружности и прелестях переодетой молодой девушки. Мажордом употребил остаток этой ночи на письмо к своим господам о том, что делал и говорил Санчо Панса, удивленный как его поступками, так и словами, потому что во всех его действиях замечалась смесь ума и глупости. Наконец, господин губернатор встал, и ему, по приказанию доктора Педро Ресио, дали позавтракать небольшим количеством консервов и четырьмя глотками свежей воды, что Санчо охотно променял бы на краюху хлеба с кистью винограда. Но, видя, что приходится поневоле покориться необходимости, он удовольствовался тем, что ему дали, к великой горести для своей души и великой неприятности для желудка, потому что Педро Ресио убедил его, что легкие и нежные блюда оживляют ум, что очень полезно людям, облеченным знатностью и занимающим высокие посты, для которых умственные силы нужнее физических. Благодаря этим хитросплетениям, несчастный Санчо так сильно страдал от голода, что проклинал все губернаторство, за исключением себя, и даже того, кто ему дал его.

Тем не менее, после одних консервов и голодный, он принялся судить и в этот день, и прежде всего ему пришлось выслушать вопрос одного незнакомца в присутствии мажордома и остальных своих спутников. «Сударь, – начал проситель, – широкая и глубокая река разделяет две области одного и того же владения. Слушайте внимательно, ваша милость, потому что это случай серьезный и довольно трудно разрешимый. Так я говорю, что на этой реке был мост, а на краю моста виселица и нечто вроде суда, где обыкновенно заседали четверо судей, обязанные применять закон, изданный владельцем реки, моста и земли. Закон этот был следующий: «Всякий переходящий через сей мост с одного берега на другой обязан вот присягой заявить, куда он идет и что хочет делать. Если он скажет правду, пусть его пропустят, если же солжет, пусть его немедля вздернут на виселицу». Хотя закон и его суровое условие были известны, но многие все-таки переходили через мост, и из того, что они говорили под присягой, судьи узнавали, правду ли они говорят, и в таком случае давали им

свободный пропуск. Но вот случилось, что человек, у которого потребовали объяснения, присягнул и сказал: «Клянусь присягой, которую сейчас дал, что иду умереть на этой виселице и больше не зачем». Судьи подумали над этим заявлением и сказали: «Если мы дадим этому человеку свободно пройти, значит, он солгал под присягой и по закону должен умереть, если же мы его повесим, то ведь он поклялся, что идет умереть на этой виселице, значит, по тому же закону, он, сказав правду, должен остаться свободен». Вот у вашей милости, господин губернатор, и спрашивают, что должны судьи сделать с этим человеком, ибо они и посейчас находятся в недоумении и нерешимости. Узнав о тонкости и возвышенности ума, обнаруживаемого вашей милостью, они послали меня умолять вашу милость от их имени высказать в таком сомнительном и запутанном случае свое мнение.

– Право, – ответил Санчо, – господа судья, пославшие вас ко мне, могли бы избавить себя от этого труда, потому что я такой человек, у которого больше толщины в теле, чем тонкости в уме. Впрочем, повторите мне это дело еще раз, чтоб я его хорошенько понял: может быть, я тогда и найду разгадку». Проситель повторил то, что рассказал, еще раз и другой. Тогда Санчо сказал: «По моему, я могу одним взмахом руки покончить с этим делом, и вот как: этот человек клянется, что идет умереть на виселице, не правда ли? и если он умрет, так, значит, он сказал правду, и по закону он имеет право быть свободным и пройти через мост? Если же его не повесят, так он, значит, солгал под присягой и по тому же закону заслуживает быть повешенным?

– Именно так, как говорят господин губернатор, – ответил посол, – а что касается полнейшего понимания дела, так больше нечего ни сомневаться, ни расспрашивать.

– Я говорю, – продолжал Санчо, – чтоб ту часть этого человека, которая сказала правду, пустили перейти, а ту, которая солгала, повесили бы: таким образом буквально будет исполнено условие перехода.

– Но тогда, господин губернатор, – возразил проситель, – этого человека придется разрезать на две части: правдивую и лживую; а если его разрежут, он должен будет умереть. Таким образом, не будет достигнуто ничего из того, чего требует закон, который, однако, необходимо исполнить.

– Послушайте, господин любезнейший, – сказал Санчо, – или я чурбан, или прохожий, о котором вы говорите, имеет столько же права умереть, сколько перейти через мост, потому что если правда его спасает, то ложь осуждает. А потому мое мнение таково, чтоб сказали тем господам, которые прислали вас ко мне, что так как причины для его осуждения я для

его оправдания равны на чашках весов, тат пусть они его пропустят, потому что всегда лучше сделать добро, чем зло, а я подписался бы под этим, если бы умел подписываться. Впрочем, я в этом случае говорил не из своей головы: мне пришло в голову наставление, которое мне между многими другими дал мой господин Дон-Кихот в ночь перед тем, как я отправился губернатором на этот остров» это наставление было такое, что если правосудие будет сомнительно, так чтоб я склонялся к милосердию и придерживался бы его. Богу угодно было, чтоб я сейчас вспомнил о нем, потому что оно как будто сделано для этого дела. – О, разумеется! – вскричал мажордом. – И я подтверждаю, что сам Ликург, тот, что дал законы лакедемонянам, не мог бы произвести лучшего приговора, чем тот, который произнес великий Санчо Панса. Прекратим на нынешнее утро суд, и я сделаю распоряжение, чтоб господин губернатор пообедал всласть.

– Вот это по моему! вскричал Санчо. – Ну, будь что будет. Пусть мне дадут поесть, и тогда хоть засыпьте меня делами и тяжбами: я их все решу одним духом.

Мажордом сдержал слово, потому что считал бессовестным убивать голодом такого скромного губернатора. К тому же он собирался покончить с ним все дела в эту же ночь, сыграв с ним последнюю штуку, которая была ему поручена.

Случилось так, что когда Санчо пообедал в этот день против правил и афоризмов доктора Тиртеафуэры, за десертом в столовую вошел курьер с письмом от Дон-Кихота к губернатору. Санчо приказал секретарю прочитать его сперва про себя, а затем вслух, если он не найдет там ничего секретного. Секретарь повиновался и, пробежав письмо, сказал: «Его можно прочитать вслух, ибо то, что пишет вашей милости Дон-Кихот, заслуживает быть выгравированным золотыми буквами. Вот что он пишет:

**Письмо от Дон-Кихота Ламанчского к Санчо Панса, губернатору острова Баратарии.**

«В то время как я ждал известий о твоих безрассудствах и грубостях, друг Санчо, и получил вести о твоём мудром поведении, за что особенно возблагодарил небо, которое умеет возвышать бедняка из навоза, из дураков делать умных людей. Говорят, что ты управляешь, точно ты мужчина, и что ты мужчина, точно скотина, так смиренно ты держишься. Но я хочу обратить твоё внимание, Санчо, что иной раз можно и даже должно для поддержания авторитета власти идти против сердечного смирения; ибо внешность человека, возвышенного до

важных постов, должна соответствовать тому, чего эти посты требуют, а не тому, к чему его склоняет природное смирение. Одевайся хорошо: разубранная палка не зовется уже палкой. Я не говорю, чтоб ты носил драгоценности и кружева или чтобы, будучи губернатором, одевался по военному; а чтоб ты надевал платье, подходящее к твоему положению, и чтоб носил его опрятно и чисто. Чтобы заслужить любовь той местности, которою ты управляешь, ты должен, между прочим, делать две вещи: во-первых, быть ласковым и учтивым со всеми, что я уже раз говорил тебе; во-вторых, заботиться о достаточном снабжении жителей съестными припасами, потому что ничто так не утомляет сердца бедняка, как нужда и голод.

Не издавай слишком много правил и приказов, а когда издаешь, старайся, чтоб они были хорошими, и в особенности чтоб их соблюдали и исполняли, ибо приказы, которых не соблюдают, все равно, что не изданы; они показывают, что правитель, имевший достаточно ума и власти для издания их, не обладает ни силой, ни мужеством для их проведения. Законы, долженствующие устрашать и остающиеся без применения, уподобляются, наконец, чурбану, лягушечьему царю, которого лягушки вначале пугались, а под конец до того стали презирать, что даже садились на него.

Будь матерью добродетелям и мачехой порокам. Не будь ни постоянно суров, ни постоянно благодушен, а выбирай середину между обеими этими крайностями: в этом и заключается главная мудрость. Посещай тюрьмы, мясные лавки, рынки: присутствие губернатора в этих местах чрезвычайно важно. Утешай арестантов, ожидающих скорого решения своих дел. Будь страшилищем для мясников и скупщиков, чтоб они не обвешивали покупателей. Остерегайся проявлять корыстолюбие, жадность и пристрастие к женщинам, если они в тебе есть, чего я не думаю, ибо стоит только твоим подчиненным, особенно имеющим в тебе какое-нибудь дело, узнать твои слабости, как все будут бить по этим струнам, пока не повергнут тебя в пучину гибели. Читай и перечитывай, просматривай и пересматривай советы и наставления, которые я тебе написал перед тем, как ты уехал губернаторствовать: увидишь, что, следуя им ты найдешь в них подмогу, которая даст тебе возможность переносить труды и препятствия, встречаемые губернаторами, на каждом шагу. Пиши

к своим господам и высказывай им признательность, ибо неблагодарность есть дочь гордости и один из величайших в мире грехов. Человек, признательный тем, которые делают ему добро, доказывает, что он будет признателен и Богу, от которого получил и постоянно получает столько милостей.

Госпожа герцогиня отправила нарочного к твоей жене Терезе Панса с твоим охотничьим платьем и еще одним подарком. Мы каждую минуту ждем ответа. Я был немного не здоров от царапин, которые нанесла мне кошка и от которых не поздоровилось моему носу; но ничего серьезного не было: если есть чародеи, преследующие меня, так есть и такие, которые мне покровительствуют. Сообщи мне, принимал ли какое-нибудь участие в деле Трифальди сопровождающий тебя мажордом, как ты тогда заподозрил. Обо всем, что с тобой случится, сообщай мне, благо расстояние между нами невелико. Впрочем, я намерен скоро бросить эту праздную жизнь, в которой я томлюсь, потому что не рожден для нее. Представляется дело, которое, кажется, вызовет немилость ко мне герцога и герцогини. Хотя это и очень огорчает меня, но это не беда, ибо я непременно, непременно должен исполнить скорее обязанности своей профессии, чем думать об их удовольствиях, сообразно с поговоркой: *Amiens Plato, sed magis arnica veritas*, и говорю тебе эту латинскую поговорку потому, что думаю, что ты научился латыни с тех пор, как ты губернатором. Поручаю тебя Богу, который да предохранит тебя от чьей бы то ни было жалости.

«Твой друг

*Дон-Кихот Ламанчский».*

Санчо весьма внимательно выслушал письмо, которое все слышавшие чтение его хвалили, превозносили и называли чрезвычайно мудрым. Встав из-за стола, Санчо позвал секретаря и заперся с ним в своей комнате, чтоб немедленно ответить на письмо своего господина Дон-Кихота. Он велел секретарю писать, что он будет диктовать, не прибавляя и не убавляя ни слова. Тот повиновался и написал следующее ответное письмо:

### **Письмо Санчо Панса к Дон-Кихоту Ламанчскому.**

Дела мои отымают у меня столько времени, что я не успеваю даже почесать у себя в голове или остричь ногти: поэтому они

так длинны, что да простят меня Господь. Я говорю это, господин души моей, чтоб ваша милость не ужасались, что я до сих пор не писал вам о хорошем или дурном положении моем в этом губернаторстве, в котором я голодаю больше, чем когда мы оба странствовали по лесам и пустыням.

«Герцог, мой господин, намедни писал мне и сообщил, что некие шпионы явились на этот остров, чтоб убить меня; но я до сих пор не встречал ни одного, кроме некоего лекаря, которые нанят здесь для того, чтоб морить всех губернаторов, которые здесь правят. Его зовут доктор Педро Рисио, я родом он из Тиртеафуэры. Заметьте, что за имена, и не прав ли я, что боюсь умереть от его руки. Этот лекарь сам говорит от себя, что не лечит болезней, когда они приходят, а предупреждает их, чтоб они не пришли. Все его лекарства – одна диета, и еще такая диета, которая доводят людей до такого состояния, что кости торчат у них из-под кожи – точно худоба не худшее зло, чем лихорадка. Словом, он понемногу убивает меня голодом, и я умираю от злобы, потому я надеялся на это губернаторство, чтобы поесть сладко, попить славно и побаловать свое тело на простынях из голландского полотна и пуховиках, а вместо того мне приходится поститься, как какому-нибудь пустынноiku, а так как я делаю это не по своей воле, так я думаю, что в конце концов черт меня возьмет.

Я до сих пор не получал ни доходов, ни подарков, и не понимаю, что это значит, потому что мне говорили, что губернаторы, которые приезжают на этот остров, стараются, еще прежде чем они приедут, чтоб жители дарили или одолжили им много денег, и что это в обычае у всех приезжающих в другие губернаторства, а также и в это.

«Вчера вечером, обходя остров, я встретил очень хорошенькую девушку, одетую мужчиной, и ее брата, одетого женщиной. Мой метр-д'отель влюбился в девушку и выбрал ее в своем воображении себе в жены, как он говорит. А я выбрал молодого человека себе в зятя. Сегодня мы поговорим о своих планах с отцом молодых людей, неким Диего де ла Льяна, гидальго и истинным старым христианином.

Я посещаю рынки, как советуете мне ваша милость. Вчера я встретил торговку, продававшую свежие орехи, и увидел, что она смешала четверик свежих орехов с четвериком старых, пустых и

гнилых. Я конфисковал все ее орехи в пользу детей христианской школы, которые сумеют разобрать их, и запретил ей на две недели являться на рынок. Все нашли, что я славно рассудил. Вы должны знать, ваша милость, что здесь ходит слух, что нет худшего отродья, как рыночные торговки, потому что все они безпутные, бесстыжие и бездушные, и я верю этому, судя по тем, которых я видал в других местах.

Что госпожа герцогиня написала моей жене Терезе Панса и послала ей подарок, как говорите ваша милость, я очень доволен и постараюсь в свое время и в своем месте поблагодарить ее за это. Пусть ваша милость от моего имени поцелует ее руки и скажет ей, что я говорю, что она не в дырявый мешок бросила свое благодеяние, как она увидит на деле. Я не хотел бы, чтоб ваша милость затеяли ссоры и неприятности с моими господами, герцогом и герцогиней; потому, если ваша милость поссоритесь с ними, вся неприятность, наверное, падет на мою голову; к тому же нехорошо, когда ваша милость даете мне советы о благодарности, чтоб ваша милость не были благодарны людям, от которых вы видели столько милостей и которые так хорошо принимали вас в своем замке.

«Что до кошачьих царапин, так я в этом ничего не понимаю; но я полагаю, что это какая-нибудь злая штука, которую с вашей милостью сыграли по обыкновению злые волшебники – вы мне расскажете об этом, когда мы свидимся. Я хотел бы послать что-нибудь вашей милости, но не знаю, что послать, разве только клистирные трубки, приделанные к пузырям, которые здесь чудесно делают. Но если это место останется за мной, я постараюсь послать вам чего-нибудь – фалды или рукава.<sup>[268]</sup> В случае если жена моя Тереза Панса напишет мне, заплатите, пожалуйста, за письмо и перешлите его мне, потому мне очень хочется узнать, что делается у нас дома, что жена и что дети. Затем да избавит Господь вашу милость от злонамеренных волшебников и да даст мне в мире и здоровье кончить мое губернаторство, в чем я сомневаюсь, потому что думаю оставить его вместе с жизнью, судя по тому, как со мной обращается доктор Педро Ресио.

«Слуга вашей милости,

*Санчо Панса, губернатор».*



Секретарь запечатал письмо и сейчас же отправил его с курьером, затем мистификаторы Санчо решили между собой, как изгнать его из губернаторства. Санчо провел этот день в распоряжениях относительно лучшего управления тем, что он считал островом. Он приказал, чтоб в его владениях не было скупщиков съестных припасов и чтоб вино свободно ввозилось отовсюду, только с обязательством показывать место происхождения его, чтоб можно было определять цены по его качеству и наименованию; к этому он прибавил, что кто будет подмешивать к пиву воду или подменять его название, того будут казнить смертью за это преступление. Он понизил цены на всякого рода обувь, особенно за башмаки, потому что ему казалось, что они чересчур вздорожали.<sup>[269]</sup> Он назначил таксу для жалованья прислуге, при определении которого не было удержу корыстолюбию. Он назначил строгое наказание тем, кто будет петь непристойные песни днем или ночью. Он приказал, чтоб слепые не пели о чудесах, если у них нет свидетельств об истинности этих чудес, потому что ему казалось, что большая часть чудес, о которых поют слепые, вымышлены в ущерб истинным чудесам. Он назначил альгвазила для бедных, но не для того, чтоб их преследовать, а чтоб только расследовать, действительно ли они бедны; потому что под прикрытием ложных ампутаций или подложных ран часто скрываются вороватые руки и пьяные желудки. Словом, он сделал такие хорошие распоряжения, что его законы и поныне еще действуют в той местности под названием: Установления великого Санчо Панса.

## **ГЛАВА LII**

### **В которой рассказывается приключение второй дуэньи Долориды или Скорбящей, настоящее имя которой донья Родригес**

Сид Гамед повествует, что Дон-Кихот, выздоровев от своих царапин, нашел, что жизнь, которую он ведет в замке, совершенно противоречит уставу рыцарства, к которому он принадлежит» поэтому он решил распрощаться с герцогом и герцогиней и отправиться в Сарагоссу; там уже приближались празднества, на которых он намеревался добиться доспехов, награды победителю. Однажды, когда он, сидя за столом со своими хозяевами, начал приводить в исполнение свое намерение, прося у них позволения уехать, в дверь столовой вдруг вошли две женщины, как стало известно впоследствии, – с головы до ног одетые в черное. Одна из них, подойдя к Дон-Кихоту, бросилась к его ногам, и, распростершись на полу и прижавшись губами к стопам рыцаря, стала так жалобно, глубоко и скорбно вздыхать, что смутила умы всех видевших и слышавших ее. Хотя герцогу и герцогине и пришло в голову, что это прислуга их вздумала сыграть какую-нибудь штуку с Дон-Кихотом, но видя, как естественно эта женщина вздыхала, плакала и стонала, они сами стали в тупик, пока тронутый Дон-Кихот не поднял не с пола и не заставил ее поднять вуаль, закрывавший ее омоченное слезами лицо. Она повиновалась и показала то, чего никто не мог ожидать: лицо доньи Родригес, дуэньи герцогини; другая же женщина в трауре оказалась ее дочерью, той самой, которую соблазнил сын богатого земледельца. Все знавшие дуэнью были поражены, и всех более ее господа, потому что, хотя они и считали ее довольно тупоголовой, но не думали, чтоб она была так глупа, чтобы решиться на такие безрассудства.

Донья Родригес, обратившись к герцогу и герцогине, сказала им смиренным тоном: «Да позволят мне ваши светлости немножко поговорить с этим рыцарем, потому что это необходимо, чтоб я могла счастливо покончить дело, в которое вовлекла меня наглость подлого злодея». Герцог ответил, что позволяет и что она может говорить с господином Дон-Кихотом обо всем, что ей угодно. Тогда она, обратив взоры и речь к Дон-Кихоту, сказала: «Прошло уже несколько дней, доблестный рыцарь, как я поведала вам об оскорблении и вероломстве, с которым поступил один злой

крестьянин с моей дорогой, любимой дочерью, присутствующей здесь несчастной девушкой. Вы обещали мне взяться за ее дело и поправить причиненное ей зло. Теперь до моего сведения дошло, что вы собираетесь уехать из этого замка в поисках за приключениями, которые Богу угодно будет вам послать. Поэтому я хотела бы, чтобы вы, прежде чем пуститесь в дорогу, сделали вызов этому неотесанному мужику и заставили бы его жениться на моей дочери во исполнение обещания, которое он дал ей до обещенья ее, что он будет ее мужем. Думать, чтобы герцог, мой господин, оказал мне правосудие, все равно, что ждать груш от вяза, по причине того обстоятельства, о котором я уже откровенно рассказала вашей милости. Затем, да пошлет вам Господь доброго здоровья и да не покинет Он нас, мою дочь и меня».

На эти слова Дон-Кихот отвечал весьма серьезно и горячо: – Добрая дуэнья, сдержите свои слезы или, лучше сказать, осушите их и не расточайте вздохов. Я беру на себя возмещение, подобающее вашей дочери, которая бы лучше сделала, если б не так легко верила обещаниям влюбленных, которые обыкновенно очень легко делаются и очень трудно выполняются. И так, с разрешения моего господина герцога, я сейчас же отправлюсь разыскивать этого извращенного малого, отыщу его, вызову и убью, в случае если он откажется сдержать свое слово; потому что первая обязанность моего призвания состоит в том, чтобы прощать смиренных и карать надменных, т. е. помогать несчастным и повергать в прах обидчиков.

– Вашей милости не зачем, – вмешался герцог, – разыскивать мошенника, на которого жалуется эта добрая дуэнья, и незачем спрашивать у меня позволения, чтоб делать ему вызов. Я считаю и признаю его вызванным и берусь сам передать ему вызов и заставить принять его, для того чтоб он сам явился в этот замок дать ответ, и я предоставлю как обоим полную свободу и безопасность действий, с соблюдением всех условий, которые должны быть соблюдаемы в таких случаях, и с оказанием справедливости каждому из вас, как подобает правителям, дающим место для поединков в пределах своих владений.

– С этой охранительной грамотой и с позволения вашего величия, – ответил Дон-Кихот, – я заранее предупреждаю, что отказываюсь на этот раз от привилегий дворянства и принижаю и приравниваю к простому происхождению обидчика, делаюсь равным ему и признаю его достойным драться со мной. И так, хотя его здесь и нет, я вызываю и призываю его в виду того, что он дурно поступил, обманув эту бедную девушку, которая была девственницей, а теперь по его вине перестала быть ею, и с тем, чтоб он сдержал данное ей слово сделаться ее законным супругом или чтоб умер

на поединке.

И, сняв перчатку с одной из своих рук, он кинул ее на середину комнаты. Герцог поднял ее, повторяя, что от имени своего вассала принимает вызов и назначает поединок на шестой день, местом поединка площадку перед замком, а оружием то, что обыкновенно употребляют рыцари: копье, щит, кольчугу и все остальное, должным образом осмотренное секундантами, без обмана, подлога или какого-либо талисмана.

– Но прежде всего, – прибавил герцог, – нужно, чтоб эта добрая дуэнья и эта мнимая девственница передали право на свое дело господину Дон-Кихоту, а иначе ничего нельзя будет сделать, и вызов будет недействителен.

– Я передаю, – ответила дуэнья.

– И я тоже, – прибавила ее дочь, заплаканная, пристыженная и смущенная.

Когда заявления эти сделаны были в должной форме, обе просительницы в трауре удалились, а герцог стал думать о том, что следует предпринять в подобном случае. герцогиня отдала приказание, чтоб с дуэньей и ее дочерью отныне обращались, не как с ее служанками, а как с дамами искательницами приключений, явившимися к ней просить правосудия. Им дали отдельное помещение и стали прислуживать им, как чужестранцам, к великому изумлению остальных камеристок, недоумевавших, до чего дойдет наглость чудачества доньи Родригес и ее безрассудной дочери.

В это время, в довершение удовольствия хозяев и для доставления хорошего десерта после обеда в столовую вдруг явился паж, возивший письма и подарки Терезе Панса, жене губернатора Санчо Панса. Его приход чрезвычайно обрадовал герцога и герцогиню, жаждавших узнать, что с ним произошло во время его поездки. Они стали его тут же расспрашивать, но паж ответил, что не может рассказывать при такой публике и что в немногих словах всего не перескажешь, поэтому пусть их светлости оставят это дело до более интимного разговора, а пока они могут развлечься вот этими письмами, которые он им привез. И, вынув из-за пазухи два письма, он передал их герцогине. На одном из них был такой адрес: «Письмо к госпоже герцогине такой-то не знаю откуда», а на другом: «Моему мужу Санчо Панса, губернатору острова Баратарии, которому да пошлет Господь больше лет жизни, чем мне».

Горя нетерпением прочитать свое письмо, герцогиня сейчас же распечатала его и пробежала сначала про себя; потом, видя, что его можно читать вслух, так чтоб герцог и другие присутствующие могли его слышать,

она прочитала следующее:

### **Письмо Терезы Панса к герцогине.**

«Моя милая барыня, письмо, которое ваше величие мне написали, доставило мне много радости. Потому что я, право, давно уже желала получить его. Коралловое ожерелье хорошая и красивая вещица, а охотничий наряд моего мужа хоть куда. То, что ваша светлость сделали губернатором моего мужа Санчо, обрадовало всю деревню, хотя никто и не верит этому, особенно священник, цирюльник дядя Николай и бакалавр Самсон Карраско. Но мне нет до этого никакого дела, потому, лишь бы все было так, как есть, всякий может болтать все, что ему угодно. Впрочем, сказать по правде, не будь кораллов и платья, я и сама не поверила бы этому, потому здесь все считают моего мужа за толстую скотину и не могут себе представить, для какого такого губернаторства он может годиться, если не для управления стадом коз. Да поможет и направит его Бог, который видит, когда Его дети нуждаются в Нем. Что до меня, дорогая дама души моей, так я решилась, с позволения вашей милости, впусьят, как говорится, счастье в дом, т. е. отправиться ко двору в карете, чтоб глаза лопнули у тысячи моих завистниц. Поэтому умоляю вашу светлость посоветовать моему мужу послать мне немножко деньжонок, только чтобы было больше, чем ничего, потому при дворе расходы большие: там хлеб стоит целый реал, а говядина тридцать мараведисов фунт – просто ужас! Если он не хочет, чтоб я туда поехала, так пусть скорее даст мне звать, потому меня так и подмывает пуститься в дорогу. Мои друзья и соседи говорят мне, что если мы с дочкой явимся ко двору разодетые и расфранченные, так мой муж станет больше известен благодаря мне, чем я благодаря ему. Потому многие будут спрашивать: «Кто эти дамы в карете?» А один из моих лакеев будет отвечать: «Это жена и дочь Санчо Паиса, губернатора острова Баратарии». Таким образом, Санчо станет известен, а меня будут превозносить – и в Рим за всем!<sup>[270]</sup> Я очень огорчаюсь, как только можно огорчаться, что в этом году не было у нас урожая желудей. Все таки посылаю вашему высочеству около полу четверика, которые я сама ходила в лес собирать и выбирать один в одном. Больших я не нашла, а мне хотелось бы, чтоб они были со страусово яйцо.

Не забывают, ваша пресветлость, писать мне: я постараюсь вам отвечать и извещать вас о моем здоровье и обо всем, что случится в деревне, где я буду молить нашего Господа Бога, чтоб Он сохранял ваше величие и не забыл меня. Моя дочь Санча и мой сын целуют ручки у вашей милости.

Та, которая больше желает увидеть вашу милость, чем писать вам.

«Ваша слуга

*Тереза Панса».*

Всем доставило большое удовольствие чтение письма Терезы Панса, и особенно герцогу и герцогине; последняя спросила у Дон-Кихота совета, не распечатать ли письмо к губернатору, так как оно должно быть в высшей степени интересно. Дон-Кихот ответил, что ради удовольствия всей компании сам распечатает его, что и исполнил, и оно оказалось следующего содержания:

#### **Письмо Терезы Панса к ее мужу Санчо Панса.**

«Я получила твое письмо, мой Санчо, душа моя, и божусь тебе, как верная католичка, что я была на волосок от того, чтоб помешаться от радости. Видишь ли, батюшка, когда я услыхала, что ты губернатор, я чуть не умерла на месте от неожиданности, потому ты знаешь, что говорят, что неожиданная радость так же убивает, как большое горе. А что до твоей дочери Санчики, так она даже замочила свою юбку и не заметила этого, и все только от радости. У меня перед глазами было платье, которое ты мне прислал, а на нем коралловое ожерелье, которое прислала мне госпожа герцогиня, а в руках письма и тут же посланец, – и все-таки мне казалось, что все, что я вижу я слышу, один сон, потому кто бы поверил, что пастух коз может стать губернатором островов? Ты знаешь, друг, что моя мать говорила, что век живи, век учись. Я говорю это потому, что надеюсь увидеть еще больше, если дольше проживу: я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя сборщиком пошлин или податей, потому это такие должности, что, хотя те, которые дурно поступают на них, и попадают к черту в лапы, но, в конце концов, тут можно зашибить деньгу. Госпожа герцогиня расскажет тебе, что мне хочется поехать ко двору. Подумай об этом хорошенько и сообщи, как ты

решишь: я постараюсь сделать тебе там честь, прогуливаясь в карете.

Священник, цирюльник, бакалавр и даже причетник не хотел верить, что ты губернатор: они говорят, что все это одни выдумки, волшебство, как все у твоего господина Дон-Кихота. Самсон еще говорит, что поедет к тебе, чтоб выбить у тебя из головы губернаторство и вырвать из мозга Дон-Кихота безумие. А я только посмеиваюсь, я посматриваю на коралловое ожерелье и снимаю мерку для платья, которое буду шить нашей дочери из твоего платья. Я послала госпоже герцогине несколько желудей, и мне хотелось бы, чтоб они были золотые. Пришли мне жемчужных ожерелий, если они в моде на твоём острове. Вот деревенские новости: Барруэка выдала свою дочь за какого-то плохенького живописца, который приехал к нам рисовать, что встретится. Деревенский совет поручил ему нарисовать герб его величества на двери общинного дома; он запросил два золотых, которые ему заплатили вперед, потом проработал восемь дней и в конце концов ничего не нарисовал, тогда он сказал, что никак не сладит со столькими мелочами. Деньги он возвратил, а все-таки женился, как порядочный рабочий. Да и то правда: он уже бросил кисть и взялся за заступ и гоголем ходит по полю. Сын Педро Лобо постригся в монахи, чтобы стать священником. Мингилья, внучка Минго Сильного, с ним прежде якшалась и теперь затеяла с ним тяжбу, потому что он дал ей слово жениться на ней. Злые языки даже говорят, что она от него забеременела, но он и руками и ногами отмахивается от этого. В нынешнем году не уродилась маслина, и во всей деревне не найдешь ни капли уксусу. Тут прошла рота солдат и мимоходом увела с собой трех девок. Я не скажу тебе, кто они: может быть, они и вернутся, и найдутся люди, которые возьмут их в жены, хорошими или дурными. Санчика делает сети и зарабатывает в день кроме расходов по восьми мараведисов. Она бросает эти деньги в копилку, чтобы скопить себе приданое; но теперь, когда она дочь губернатора, ты сам дашь ей приданое, и ей не зачем работать, чтоб копить деньги. Источник у нас высох, а в виселицу ударил гром: да постигнет та же участь все виселицы! Жду ответа на это письмо и решения о моем отъезде ко двору. Затем да хранит тебя Бог дольше, чем меня, или хоть столько же, а то и не хотела бы оставить тебя без себя на этом свете.

*«Твоя жена Тереза Панса».*

Все нашли, что письма заслуживают похвал, смеха, уважения и почтения. Чтоб завершить веселье всей компании, в эту минуту прибыл курьер, привезший письмо от Санчо Панса к Дон-Кихоту, и письмо это также прочитано было вслух» однако, оно вызвало сомнение в глупости Санчо. Герцогиня удалилась, чтоб расспросить пажа, что с ним произошло в деревне Санчо, и паж подробнейшим образом рассказал ей все, не опустив ни одной мелочи. Он передал герцогине желуди и, кроме того, сыр, который Тереза прибавила к подарку, потому что он был так хорош, что с ним не могли сравняться даже трончонские сыры. Герцогиня с величайшим удовольствием приняла его, и мы оставим ее с ее радостью, чтобы рассказать, как кончилось губернаторство великого Санчо Панса, цвета и зеркала всех губернаторов островов.



## **ГЛАВА LIII**

### **Об ужасном конце и неприятном заключении губернаторства Санчо Панса**

Верить, что на этом свете все навсегда остается в одном состоянии, значит верить в невозможное. Напротив, можно сказать, что все здесь идет кругом, т. е. сменяется: за весной следует лето, за летом осень, за осенью зима, а за зимой весна, и время постоянно вращается на этом колесе. Только жизнь человеческая идет в конце, более легкая, чем время, и без надежды на возобновление, кроме как в другой жизни, которой нет предела. Вот что говорит Сид Гамед, магометанский философ, потому что, в конце концов, вопрос о быстротечности и непрочности здешней жизни и о вечности будущей жизни очень хорошо понимают люди, не просвещенные светом веры, а одаренные одним природным умом. Но в этом месте наш автор говорит так по поводу быстроты, с которою губернаторство Санчо сгинуло, разрушилось, уничтожилось, погибло во мраке и дыме.

В седьмую ночь дней своего губернаторства Санчо лежал в постели, подкрепленный не хлебом и вином, а произнесенными приговорами, данными им советами, изданием уставов и утверждением различных правил. Только что сон стал смежать его веки вопреки голоду, как вдруг до него донесся такой шум от звона колоколов и криков, что можно было подумать, что весь остров рушится. Он сел на постели и стал прислушиваться, чтобы угадать, что могло послужить причиной такого сильного шума. Однако он не только не понял ничего, но к шуму голосов и колоколов тотчас присоединился гром бесчисленного множества барабанов и труб. Весь в тревоге и страхе, он соскочил на землю, всунул ноги в туфли вследствие сырости почвы, и не надевая на себя ни халата, ни чего-нибудь такого, что бы его напоминало, он бросился к двери своей комнаты. В то же время он увидал, что по коридору идут с зажженными факелами и обнаженными саблями более двадцати человек, громко крича: «К оружию, к оружию, господин губернатор! К оружию! Несметная неприятельская сила проникла на остров, и мы погибнем, если вам не поможет ваше искусство и ваша храбрость». С шумом и яростью подошли они к месту, где находился Санчо, более мертвый, нежели живой ото всего виденного и слышанного. Когда они приблизились, один из них сказал ему: – Если ваша

светлость не хотите погибнуть и погубить весь остров, то вооружитесь скорее.

– Что же мне делать, чтоб вооружиться? – спросил Санчо. – Да я что я понимаю в деле оружия и помощи? Эти дела было бы лучше предоставить моему господину Дон-Кихоту, который устроит все одним мановением руки и выпутает нас из этого дела. А я, грешный, в этих штуках ничего не понимаю.

– Эй, господин губернатор, – вскричал другой, – что за хладнокровие? Вооружитесь поскорее: ведь мы вам принесли наступательное и оборонительное оружие, покажитесь на площади и будьте нашим вождем и нашим капитаном, потому что вы, как наш губернатор, по праву должны быть нашим руководителем.

– Ну, так пусть меня вооружат, и в добрый час! – вскричал Санчо.

Принесли два больших панциря, которыми запаслись эти люди, и привязали их ему прямо на рубашку, один панцирь впереди, а другой сзади, не дав ему надеть ничего другого из одежды. Его заставили продеть руки в отверстия, которые были проделаны в панцирях, и так крепко связали веревками, что он оказался между двумя досками точно в тисках, прямой, как веретено, и не в состоянии ни двинуться на шаг, ни согнуть колен. Ему дали в руки копье, на которое он оперся, потому что не мог стоять. Нарядив его таким образом, ему сказали, чтоб он пошел вперед, чтоб руководить и одушевлять всех, уверяя, что, пока он будет компасом, звездой и фонарем, дела будут идти хорошо.

– Да как же, черт возьми, мне, несчастному, ходить? – возразил Санчо, – когда я не могу даже согнуть колен, закованный в эти доски, которые въелись в мое тело? Меня в пору понести на руках и поставить или положить в каком-нибудь подземелье крепости, которое я и стану защищать или этим копьем, или своим телом.

– Ну же, господин губернатор, – сказал кто-то, – вам больше страх мешает идти, чем доски. Двигайтесь и делу конец, потому что уже поздно: неприятель умножается, крики усиливаются и опасность растет.

При этих увещаниях и упреках бедный губернатор попытался двинуться; но эта попытка кончилась для него таким тяжким падением во весь рост, что ему казалось, что он разбился в куски. Он остался на земле, как черепаха в своей раковине или как барка на мели. Видя его падение, это насмешливое отродье нисколько не пожалело его, напротив, погасив факелы, они стали кричать, что есть духу, призывать к оружию, ходить взад и вперед через распростертого Санчо и так колотить саблями его панцирь, что, не скрючась он так, чтобы голова тоже спряталась под панцирь, был

бы капут несчастному губернатору, который, валяясь в своей узкой тюрьме, обливался кровавым дотом и искренно молил Бога спасти его от такой опасности. Одни спотыкались об него, другие падали; нашелся и такой, который влез к нему на спину, несколько времени оставался на ней и командовал оттуда, как с возвышения, войсками выкрикивая: «Наши сюда! Неприятель стреляет оттуда! Охраняйте эту брешь! Заприте эти ворота! Заградите ту лестницу! Принесите горшки со смолой, дегтю, вару, котлы с кипящим маслом! Завалите улицы матрасами». Словом, он перечислил одно за другим все военные орудия и машины, которыми обыкновенно защищают город против штурма. Что касается несчастного Санчо, который, лежа под ногами толпы, слышал и мучился всем этим, то он бормотал сквозь зубы: «О, если бы Господь помог, чтоб остров этот был уже взят, и чтоб я уже видел себя или мертвым, или освобожденным от муки». Небо услышало его молитву, и до ушей его донеслись совершенно неожиданно голоса, кричавшие: «Победа! Победа! Неприятель отступает. Ну, господин губернатор, вставайте; насладитесь победой и распределите добычу, отнятую у неприятеля доблестью этой непобедимой руки»!

– Пусть меня подымут, – ответил слабым голосом страдалец Санчо. Ему помогли подняться, и он, очутившись на ногах, сказал: «Я согласен, чтобы мне пригвоздили ко лбу неприятеля, которого я победил. Не хочу распределять добычи от неприятеля, а только прошу и умоляю какого-нибудь друга, если только у меня еще остался друг, дать мне каплю вина, потому что у меня все пересохло внутри, и вытереть мне пот, которым я истекаю». Его вытерли, принесли вина и развязали панцири; он сел на свою постель и в ту же минуту лишился чувств от страха, тревог и страданий, которые перенес.

Мистификаторы уже начали было раскаиваться, что так далеко завели игру, но Санчо, придя в себя, успокоил страх, испытанный ими при его обмороке. Он спросил, который час» ему ответили, что начинает рассветать. Он замолчал и, не говоря ни слова, стал одеваться, все время храня молчание. Присутствующие не мешали ему, ожидая, чем кончится это поспешное одевание. Наконец, он оделся и медленно (он был слишком разбит, чтоб ходить быстро) дошел до конюшни, куда последовали за ним и все присутствовавшие, он подошел к ослу, обнял его, поцеловал в лоб и сказал со слезами на глазах: «Поди сюда, мой товарищ, мой друг, помогающий мне переносить все мои труды и нужды. Когда я жил с тобой в мире, когда у меня не было других забот, кроме починки твоей упряжи и доставления пищи твоему хорошенькому тельцу, все мои часы, дни и годы были счастливы. А с той поры, как я тебя покинул, как я вознесся на

крыльях тщеславия и гордости, в душу мою вселились тысяча бедствий, тысяча страданий и четыре тысячи тревог». Говоря эти слова, Санчо седлал своего осла, а все кругом молчали. Оседлав осла, он с трудом взобрался к нему за спину и, обращаясь к мажордому, секретарю, метр-д'отелю и доктору Педро Ресио, а также к толпе других присутствовавших, сказал:

– Дайте дорогу, господа, и дайте мне вернуться к моей прежней свободе; дайте мне вернуться к моей прежней жизни, чтоб воскреснуть от настоящей моей смерти. Я не рожден быть губернатором и защищать острова и города от неприятелей, которым вздумается атаковать их. Я умею лучше владеть заступом, управлять плугом и подрезать виноградник, чем издавать законы или защищать провинции и королевства. Место святого Петра – в Риме, т. е. всякий на своем месте, когда занимается делом, для которого рожден. Коса мне больше по руке, чем губернаторский жезл. Мне приятнее насыщаться луковым супом, чем подвергаться козням наглого врача, морящего меня голодом, мне приятнее спать летом под тенью дуба и одеваться зимою в волосяной плащ, сохраняя свою свободу, чем спать с губернаторскими тревогами на простынях из голландского полотна и носить соболя. Желаю вашим милостям доброго вечера и прошу вас передать герцогу, моему господину, что гол я родился, гол и остаюсь, не проиграв и не выиграв, т. е. без одного обола я вступил в это губернаторство и без обола ухожу из него, в противность тому, что делают губернаторы других островов. Посторонитесь и дайте мне проехать: я поеду смазать свои бока, потому что они у меня совсем разбиты, благодаря неприятелям, которые сегодня ночью прогуливались по моему животу.

– Не делайте этого, господин губернатор, – вскричал доктор Ресио. – Я дам вашей милости напиток против падений и ушибов, который сейчас же вернет вам прежнее здоровье и силу. Что же касается пищи, так обещаю вашей милости исправиться и давать вам есть вволю всего, что вам будет угодно.

– Слишком поздно ты пищишь,<sup>[271]</sup> – ответил Санчо, – Я так же останусь, как сделаюсь турком. Ни, ни! Опять то же самое – слуга покорный! Ей Богу, у меня столько же охоты удержать это губернаторство или взять на себя другое, хотя бы мне преподнесли его между двумя блюдами, как без крыльев полететь на небо. Я из семьи Панса, которые все чертовски упрямы, и раз они сказали нет, нет и будет, наперекор всему свету.<sup>[272]</sup> Я оставляю в этой конюшне муравьиные крылья, поднявшие меня на воздух, чтоб меня заклевали птицы.<sup>[273]</sup> Спустимся снова на землю, чтоб ходить по ней твердой ногой; и если мы не будем носить башмаков из

стеганого сафьяна, у нас будут все-таки лапти.<sup>[274]</sup> Всяк сверчок знай свой шесток и по одежке протягивай ножки, и дайте мне проехать, потому что становится поздно.

Тут вмешался мажордом. – Господин губернатор, – сказал он, – мы бы охотно дали вашей милости уехать, хотя нам и очень горько лишиться вас, потому что ваш ум и ваши чисто христианские поступки заставляют нас жалеть о вас. Но всем известно, что всякий губернатор обязан резидировать, прежде чем покинет место, которым управлял. Ваша милость должны дать отчет о десяти днях своего губернаторства, а потом можете с Богом ехать.

– Никто, – ответил Санчо, – не может требовать у меня отчета, если герцог, мой господин, не прикажет этого. Я съезжу к нему и дам ему отчет обо всем до кончика ногтей. К тому же, когда я уйду из этого губернаторства голый, так не нужно лучших доказательств, что я управлял, как ангел.

– Ей-Богу, великий Санчо прав, – вскричал доктор Ресио, – и я того мнения, что нам следует пустить его уехать, потому что герцог будет очень рад видеть его.

Остальные согласились с этими словами и дали ему уехать, предварительно предложив проводить его и снабдить его всем, что ему угодно для личного его наслаждения и для удобств путешествия. Санчо ответил, что возьмет только немного овса для Серого и пол сыра с половиной хлеба для себя, и что так как дорога не дальняя, то ему не нужно ни более обильной, ни лучшей провизии. Все перецеловали его и он перецеловал всех со слезами на глазах, оставив их пораженными как всем, что он говорил, так и его твердым и скромным решением.

## ГЛАВА LIV

### Трактующая о делах, касающихся этой истории, а не о чем-либо ином

Герцог и герцогиня решились дать ход вызову, который Дон-Кихот сделал их вассалу по выше рассказанному поводу; а так как молодой человек удрал во Фландрию, чтоб не сделаться зятем доньи Родригес, то они и придумали заменить его лакеем, гасконцем, но имени Тозилос, предупредив его заранее обо всем, что он должен будет делать. Через два дня герцог сказал Дон-Кихоту, что по истечении еще четырех дней его противник явится на место поединка вполне вооруженный и докажет, что девушка лжет в половину или даже во всю свою бороду, если она будет продолжит настаивать, будто он обещал на ней жениться. Дон-Кихот с чрезвычайным удовольствием выслушал это известие и, обещая себе выказать чудеса в этом деле, считал за большое счастье, что представляется такой случай показать его светлейшим хозяевам, до чего простирается доблесть его страшной руки. Поэтому он ждал, исполненный радости и восторга, конца этих четырех дней, которые, при его нетерпеливом ожидании казались ему четырьмястами столетий. Но дадим и им пройти, как давали проходить многому другому, и вернемся в общество Санчо, который, полувеселый, полупечальный, ехал на своем осле к своему господину, свидеться с которым ему было приятнее, чем быть губернатором всех островов в мире.

Случилось так, что не успел он далеко отъехать от острова, которым правил, – потому что никогда он не пытался проверить, управлял ли он островом, городом, местечком или деревней, – как увидел на дороге, по которой ехал, шесть странников с посохами, принадлежавших к тем чужестранцам, которые пением просят милостыню. Поравнявшись с ним, странники эти выстроились в два ряда и запели на своем жаргоне, что-то такое, чего Санчо не мог понять. Он только расслышал ясно произнесенное слово милостыня и из этого заключил, что они пением просят милостыню; а так как он был, по словам Сила Гамеда, очень милостив, то и вынул из своей котомки половину хлеба и пол сыра, которыми запасся, и отдал все это им, объяснив им знаками, что у него больше ничего нет для них. Чужестранцы очень охотно приняли подаяние и закричали: «Guelt, Guelt! [\[275\]](#)»

– Не понимаю, добрые люди, чего вы у меня просите, – ответил Санчо. Тогда один из них вынул из-за пазухи кошелек и показал Санчо, чтобы дать ему понять, что они просят денег. Но Санчо, приставив большой палец к горлу и вытянув остальные пальцы, дал им понять, что у него в кармане нет ничего, затем, прищипорив осла, он поехал дальше. Но когда он проезжал мимо них, один из чужестранцев, пристально взглянув на него, бросился вперед, обнял его за талию и громко закричал на чистом кастильском наречии: «Караул! Возможно ли, чтоб я держал в своих объятиях моего дорогого друга, моего доброго соседа Санчо Панса? Да, это он безо всякого сомнения, потому что я не сплю и не пьян. Санчо очень удивился, слыша, что незнакомый странник называет его по имени и так обнимает его. Он долго молча глядел на него, но все-таки признать не мог. Странник, видя его затруднение, сказал: «Как! Возможно ли, брат Санчо Панса, чтоб ты не узнал своего соседа Рикоте мориска, лавочника из твоей деревни?» Тут Санчо, внимательнее взглянув на него, начал узнавать его черты и, наконец, совсем признал. Не сходя с осла, он обнял его и сказал: – Какой же черт узнал бы тебя, Рикоте в этом маскарадном платье, которое ты надел? Скажи мне, кто тебя так разрядил, и как ты решаешься являться в Испанию, где, если тебя узнают, тебе плохо придется?

– Если ты меня не узнал, Санчо, – возразил странник, – так я уверен, что никто меня не узнает в этом наряде, но оставим дорогу и войдем вон в тот лесок, который там виднеется и в котором мои товарищи хотят сделать привал и пообедать. Ты пообедаешь там с ними, потому что они славные ребята, а я пока расскажу тебе, что со мной было со времени моего отъезда из нашей деревни, во исполнение приказа его величества, который грозил, как ты знаешь, такими строгостями несчастным остаткам моего народа.<sup>[276]</sup>

Санчо согласился; Рикоте поговорил со своими спутниками, и они все направились к видневшемуся вдали лесу, удалившись таким образом от большой дороги. В лесу они сбросили свои котомки, сняли плащи и остались в полукафтанях. Все они были молоды и красивы, кроме Рикоте, который был уже пожилой человек. Все были с сумами, и притом хорошо наполненными, по крайней мере, вещами возбуждающими, которые вызывают жажду на две мили в округности. Они растянулись на земле и, сделав скатерть из трав, разложили на ней хлеб, соль, ножи, орехи, куски сыру и окорока, которые хотя и не поддавались зубам, но годились для сосания. Они положили еще на стол черное кушанье, которое называли *cabial* и которое делается из рыбьих яичек,<sup>[277]</sup> великих понудителей к посещению бутылки. Не было недостатка и в маслинах, правда, сухих и

без всяких приправ, но вкусных и годных для времяпрепровождения.

Но с наибольшим блеском выдавались среди пышных принадлежностей этого пира шесть мехов с винами, ибо каждый из странников достал из котомки своей мех, даже добрый Рикоте, превратившийся из мориска в немца, принес свой мех, который мог бы толщиной поспорить с остальными пятью. Они принялись есть с большим аппетитом, но медленно, смакуя каждый кусок, который отрезали и набирали на кончик ножа от того или другого блюда. Вслед затем, они все подняли в воздух мехи, и, прижавшись губами к горлышкам и устремив глаза на небо, так что можно было подумать, что они прицеливаются, и, раскачивая из стороны в сторону головы, точно для того, чтобы показать, какое удовольствие они испытывают при этом деле, они порядочно долго переливали внутренности козьих кож в свои желудки. Санчо глядел на все это и нисколько не огорчился. Напротив, – во исполнение хорошо знакомой ему поговорки: С волками жить, по-волчьи выть – он попросил у Рикоте мех и в свою очередь прицелился, не менее других наслаждаясь. Четыре раза компания ласкала мехи, в пятый же раз это оказалось уже невозможным, потому что мехи стали плоски и сухи, как тростник, что вызвало на лица гримасы вместо царившего до того веселья. Время от времени кто-нибудь из странников пожимал правую руку Санчо и говорил: «Espagnoli y Tudesqui, tuto uno bon compagno». А Санчо отвечал: «Bon compagno, jura Di». Потом он разражался хохотом, который продолжался с добрый час, и совсем и не вспоминал о том, что с ним случилось во время губернаторства; потому что на то время, когда ешь и пьешь, не распространяются заботы. Наконец, истощение вина было началом сна, овладевшего всеми, и они попадали сонные на самый стол и на скатерть. Только Рикоте и Санчо не спали, потому что они меньше пили, чем ели. Они отошли несколько в сторону, уселись у подошвы бука, оставив всех странников погруженными в тихий сон, и Рикоте, не уклоняясь ни на шаг в свой морисский язык, рассказал ему на чистом кастильском наречии следующее:

– Ты хорошо знаешь, о, Санчо Панса, мой сосед и друг, какой испуг, какой ужас поселил в нас эдикт, изданный его величеством против моего народа. Я, по крайней мере, так был напуган, что мне казалось, что наказание уже обрушивается во всей своей строгости на меня и на моих детей еще до назначенного нам срока. Поэтому я решил, по-моему, благоразумно, как человек, который, зная, что его должны выгнать из дома, где он живет, заранее приискивает дом, куда переехать; я решил, говорю я, покинуть страну один и без семьи и отправиться искать место, куда-бы



перевезти ее со всеми удобствами и без спешки, с которой вынуждены были уехать другие. И я, и все наши старики скоро убедились, что эти декреты были не простыми угрозами, как воображали некоторые, а настоящими законами, которые в свое время будут выполнены. Я особенно потому считал это верным, что знал о необычайных, преступных замыслах со стороны своих, замыслах такого рода, что мне казалось, что наитие свыше побудило его величество принять такое энергичное решение. Не то чтобы все мы были виновны: между нами были искренние и настоящие христиане; но их было так мало, что они были бессильны против тех, кто не разделял их веры, а оставлять в сердце государства столько врагов значило вскормить змею на груди. Словом, мы не даром были наказаны изгнанием – наказанием мягким и слабым в глазах некоторых людей, но самым ужасным, какое можно вообразить, в наших глазах. Где бы мы ни были, мы оплакиваем Испанию, потому что ведь мы в ней родились, и она наше настоящее отечество. Нигде мы не встречаем такого приема, в каком нуждается наше несчастье; в Берберии и во всех частях Африки, где мы надеялись, что нас встретят, примут и будут обращаться с нами, как с братьями, нас всего более оскорбляют и унижают. Увы! Мы оценили счастье, только когда потеряли его, и большинство тех многих из нас, которые, как я, знают испанский язык, возвращаются сюда, оставляя своих жен и детей, – до того велика любовь их к этой стране! Теперь я по опыту убеждаюсь в том, что обыкновенно говорят: ничего нет милее любви к отечеству. Я оставил, как говорил тебе, нашу деревню, отправился во Францию, и хотя нас там хорошо принимали, но я хотел все видеть, прежде чем решусь. Я проехал в Италию, потом в Германию, и там мне показалось, что можно жить всего свободнее. Там жители не взыскательны; всякий живет, как ему заблагорассудится и в большей части страны все пользуются свободой совести. Я нанял дом в одной деревне близ Аугсбурга, потом присоединился к этим странникам, обыкновенно во множестве посещающим каждый год святыни Испании, которую они считают как бы своей Индией, потому что уверены, что найдут в ней выгоду. Они ее обходят почти всю, и нет деревни, из которой они не вышли бы, так сказать, опоенными и окормленными и хоть с одним реалом в кармане. По окончании путешествия они возвращаются с запасом в сотенку ефимков, которые, обмененные на золото и спрятанные или в посохах, или в плащах, или как-нибудь иначе, выносятся из королевства и переносятся на их родину, не взирая на охранителей портов и проходов, где всех осматривают.

[\[278\]](#) Теперь, Санчо, я отправляюсь за кладом, который я зарыл в землю, – а это не опасно, потому что он находится за деревней, – и напишу дочери и

жене или сам отправлюсь к ним из Валенсии в Алжир, где они, как мне известно, находятся; затем постараюсь найти средство довести их до какого-нибудь французского порта, чтобы переправить их в Германию, где мы увидим, что Богу угодно будет сделать с нами, потому что, Санчо, я уверен, мои дочь Рикота и жена Франциска католички. Я хотя и не такой католик, но более христианин, чем мавры, и каждый день молюсь Богу, чтоб Он открыл глаза моему уму и научил меня, как служить Ему. Меня только удивляет, и я никак не пойму, почему моя жена с дочерью уехали в Берберию, а не во Францию, где могли бы жить, как христианки.

– Послушай, друг Рикоте, – ответил Санчо, – им, вероятно, не представлялось другого выбора, потому что увез их брат твоей жены Хуан Тиопено: а так как он отчаянный мавр, то и выбрал лучшее для себя убежище. Я должен сказать тебе и еще одно: ты, по моему, напрасно идешь искать то, что зарыл в землю, потому что, нам известно, что у твоего шурина и у твоей жены украли много жемчуга и золотых монет, которые они увозили с собой.

– Очень может быть, – согласился Рикоте, – но я отлично знаю, что до моего клада никто не дотронулся, потому что я из боязни какого-нибудь несчастья никому не говорил, где он зарыт. И так, Санчо, если ты хочешь ехать со мной и помочь мне достать и спрятать мой клад, я дам тебе двести ефимков, которыми ты заткнешь все дыры в своем хозяйстве: ведь я знаю, что их у тебя немало всякого рода.

– Я бы охотно помог тебе, – ответил Санчо, – но я вовсе не корыстолюбив, а то я не выпустил бы из рук еще сегодня утром такое место, на котором я мог бы разукрасить золотом даже стены своего дома и через полгода есть с серебряных блюд. Поэтому и еще потому, что мне кажется, что это была бы измена относительно моего короля, если б я помогал его врагам, я бы не поехал с тобой, даже если бы ты не то, что посулил мне двести ефимков, а отсчитал бы тут же чистоганом целых четыреста.

– А какое такое место ты бросил, Санчо? – спросил Рикоте.

– Я бросил место губернатора острова, – ответил Санчо, – да такое, что ей Богу же другого такого мы найдешь и на три мили в окружности.

– А где же этот остров? – спросил Рикоте.

– Где? – переспросил Санчо. – В двух милях отсюда. Он называется Баратарией.

– Полно, Санчо, – возразил Рикоте, – острова там, на море, а на земле островов не бывает.

– Как не бывает! – вскричал Санчо, – Говорю тебе, друг Рикоте, что я

сегодня утром уехал оттуда, а вчера губернаторствовал там вволю, точно сагиттарий. И все-таки я бросил его потому, что нашел губернаторскую должность опасной.

– А какая тебе вышла польза от этого губернаторства? – спросил Рикоте.

– А польза вышла такая, – ответил Санчо, – что я узнал, что не гожусь ни для какого управления, кроме разве в овчарне, и что богатства, которые приобретаешь в этих губернаторствах, приобретаются в ущерб покою, сну и даже жизни, потому что губернаторы островов должны есть мало, особенно если у них есть лекаря, которые обязаны смотреть за их здоровьем.

– Я тебя не понимаю, Санчо, – сказал Рикоте, – но мне кажется, что все, что ты говоришь, попросту чепуха. Какой черт мог дать тебе в управление остров? Разве нет на свете людей поискуснее тебя, чтобы быть губернаторами? Замолчи, Санчо, будь рассудителен и подумай, не согласишься ли ты отправиться со мной, как я тебе уже сказал, чтобы помочь мне вынуть клад, который я зарыл и который так велик, что его по справедливости можно назвать кладом. Я дам тебе, повторяю, столько, что тебе хватит, чем прожить до конца дней твоих.

– Я уже сказал тебе, Рикоте, что не хочу, – возразил Санчо. – Довольно с тебя и того, что я тебя не выдам. Иди ты своей дорогой с Божьею помощью, а мне не мешай идти своей, потому что я знаю поговорку: «Что честно наживается, теряется, и что дурно наживается, теряется, захватывая с собой и владельца своего».

– Не стану настаивать, Санчо, – промолвил Рикоте. – Но скажи мне: ты был дома, когда уезжали моя жена, дочь и шурин?

– Да, был, – ответил Санчо, – и могу сказать тебе, что дочь твоя во время своего отъезда была так прекрасна, что все деревенские жители выбежали смотреть, как она проедет, и все говорили, что красивее ее никого нет на свете. Она, уезжая, плакала и целовала своих подруг, знакомых, всех, кто приходил посмотреть на нее, и просила их помолиться за все Богу и Его Святой Матери, Богородице. Это было так жалостно, что даже я, хотя вовсе не плакса, расплакался. Право, многие хотели скрыть ее у себя или увезти ее с дороги, но их удерживал только страх ослушаться королевского указа. Больше всех выказал страстность Дон Педро Грегорио [279] – знаешь, тот молодой наследник майората, такой богач, который, говорят, был очень влюблен в нее. Словом, с тех пор, как она уехала, он исчез из наших мест, и мы думаем, что он погнался за ней, чтобы похитить ее. Но до сих пор об этом ничего не известно.

– Я всегда подозревал, сказал Рикоте, – что этот барин любит мою дочь, но я так верил в добродетельность Рикоты, что нисколько не тревожился тем, что он в нее влюбился, потому что ты, верно, слышал, Санчо, что это большая редкость, чтоб морискские женщины по любви выходили за исконных христиан, и моя дочь, которая, как мне кажется, больше предавалась христианству, чем любви, не могла обращать большого внимания на ухаживания этого майоратного дворянина.

– Дай Бог! – ответил Санчо. – Потому что это было бы плохо и для того, и для другой. Однако отпусти меня, друг мой Рикоте: я хочу сегодня же свидеться с моим господином Дон-Кихотом.

– Поезжай с Богом, брат Санчо. Вот уж и спутники мои начинают протирать глаза, и нам тоже пора в дорогу. Они нежно поцеловались; Санчо сел на своего осла; Рикоте взял в руки посох, и они расстались.

## **ГЛАВА LVI**

### **О неслыханной и чудовищной битве, данной Дон-Кихотом лакею Тозидосу в защиту дочери госпожи Родригес**

Герцогу и герцогине совсем не пришлось раскаяться в шутке, сыгранной ими с Санчо Панса в смешном губернаторстве, которое они ему дали, тем более что в этот самый день их мажордом возвратился и рассказал им слово за словом почти все слова и все действия, сказанные и совершенные Санчо Панса в эти несколько дней. Наконец, он рассказал им об осаде острова, испуге Санчо и его поспешном бегстве. Это особенно их позабавило.

После этого история повествует, что назначенные для битвы день наступил. Герцог в несколько приемов научил своего лакея Тозилоса, каким способом схватиться с Дон-Кихотом, чтобы победить его, не убивая и не рая. Он распорядился, чтобы с копий снято было железо, сказав Дон-Кихоту, что христианское милосердие, которое он считал своей специальностью, не позволяет, чтобы бой совершался с опасностью для жизни, и что сражающиеся должны удовольствоваться тем, что он дает им свободу действий в своих владениях, вопреки постановлению святого совета. Тридцати, которым воспрещены были подобного рода поединки, и им, поэтому, не должно доводить своего раздора до крайности. Дон-Кихот отвечал, что его светлости остается только по своему желанию установить правила, и что он во всех пунктах будет беспрекословно сообразоваться с ними.

Герцог приказал перед террасой замка соорудить подмости, где должны были поместиться судьи боя и истицы – мать и дочь. Когда страшный день наступил, из всех соседних деревень и деревушек бежалось множество народа, чтобы посмотреть на новое для них зрелище подобной битвы, потому что в этой местности никогда никто не видел и не слышал ни о чем подобном, ни бывшие в живых, ни умершие.

Первым пошел в ограду поля битвы церемониймейстер. Он обежал и осмотрел всю площадь, чтобы узнать, не было ли приготовлено какой-нибудь скрытой западни, какого-нибудь препятствия, где можно было бы споткнуться и упасть; а затем появилась дуэнья, со своей дочерью, они уселись на своих местах, покрытые своими вуалями до глаз и даже до

горла, в знак великого сердечного сокрушения. Дон-Кихот находился уже на месте боя. Тотчас после этого с одной из сторон площадки показался сопровождаемый несколькими трубачами и сидя на сильной лошади, под которой дрожала земля, великий лакей Тозилос с опущенным забралом, прямой как палка и покрытый толстым и сверкающим оружием. Лошадь была фрисландская: широкая грудь и прекрасный серый цвет в яблоках. Храбрый боец хорошо был научен герцогом, как вести себя с доблестным Дон-Кихотом Ламанчским. Ему было внушено прежде всего не убивать его, а напротив избежать первого столкновения, чтобы избавить рыцаря от опасности верной смерти. Тозилос объехал поле битвы и, когда поравнялся с местом, где находились дуэньи, стал осматривать ту, которая требовала, чтобы он на ней женился.

Распорядитель битвой вызвал Дон-Кихота, который находился уже на месте боя и в присутствии Тозилоса спросил дуэний, согласны ли они предоставить Дон-Кихоту защиту их дела, они отвечали, что согласны и что все, что он по этому случаю сделает, они сочтут хорошим, законным и достоподобным. В это время герцог и герцогиня уселись на галерее, которая выходила в поле битвы и которой ограда украшена была бесчисленным множеством людей, прибежавших посмотреть в первый раз на этот кровавый поединок. Условием боя было поставлено, что если Дон-Кихот победит, его противник должен жениться на дочери доньи Родригес» если же он останется побежденным, тот освободится он слова, за которое с него взыскивали, и от обязанности дать другое какое-либо удовлетворение.

Церемониймейстер разделил между дерущимися небо и землю и поставил их на места, которые они должны были занять. Барабаны ударили, воздух затрепетал от звука труб, земля задрожала под ногами лошадей, и в любопытной толпе, ожидавшей, хороший или дурной будет исход битвы, сердца заволновались от страха и надежды. Наконец Дон-Кихот, в глубине души предавшись Господу Богу и своей даме Дульцинее Тобозской, стал ждать, чтобы ему подали сигнал для атаки. Но наш лакей занят был совсем другими мыслями и думал о том, о чем я сейчас скажу. По-видимому, когда он стал рассматривать свою неприятельницу, она показалась ему самой красивой особой, какую он когда-либо видел на своем веку, и слепое дитя, которое в здешних местах принято называть амуром, не хотело упустить случая восторжествовать над душой их лакейской и вписать ее в список своих трофеев. Он приблизился тайком, никем не видимый, и всадил в левый бок бедного лакея двухаршинную стрелу, которая насквозь пронзила ему сердце, и ему действительно можно было спокойно нанести свой удар, потому что любовь невидима; она

входит и выходит, как ей нравится, и никто не спрашивает у нее отчета в ее действиях. Так я говорю, что, когда подан был сигнал к атаке, наш лакей был вне себя, думая о прелестях той, которую он сделал госпожой своей свободы; поэтому он не мог слышать звука трубы, как слышал ее Дон-Кихот, который при первом же призыве бросил повод и пустился на своего противника со всей быстротой, какую позволяли ноги Россинанта. Когда оруженосец его Санчо увидал его удаляющимся, он воскликнул во всю силу своего голоса: «Да сопутствует тебе Бог, сливки и цвет странствующих рыцарей! Да даст тебе Бог победу, потому что справедливость на твоей стороне!»

Хотя Тозилос и видел, что Дон-Кихот несется на него, но он не двинулся с места; напротив, громким голосом призван распорядителя битвой, который тотчас же прибежал узнать, что ему нужно, он сказал: – Сударь, эта битва не затем ли происходит, чтобы мне жениться или не жениться на этой даме?

– Именно затем, – был ему ответ.

– Ну, так я боюсь угрызений своей совести, – заговорил снова лакей, – а я ее тяжело обременю, если дам ход этой битве. Я поэтому объявляю, что считаю себя побежденным, и что готов жениться на этой даме тотчас же.

Распорядитель битвой был очень поражен речью Тозилоса, а так как он был посвящен в тайну махинации этого дела, то не мог найти и слова в ответ ему. Что касается Дон-Кихота, то он остановился среди своего бега, увидав, что неприятель его не едет ему навстречу. Герцог не знал, по какой причине битва отменена, но распорядитель боя явился доложить ему сказанное Тозилосом, и это повергло его в крайнее удивление и гнев.

Пока все это происходило, Тозилос приблизился к эстраде, на которой находилась донья Родригес, и сказал ей громким голосом: «Я готов, сударыня, жениться на вашей дочери, и не хочу тяжбой и ссорами добиваться того, что я могу подучить в мире и без смертельной опасности». Храбрый Дон-Кихот услышал эти слова и со своей стороны сказал: «Если это так, я свободен и освобожден от своего обещания. Пускай они женятся в добрый час, и да отдаст ему ее Бог и да благословит ему ее св. Петр».

Герцог между тем сошел на площадку пред замком и, приблизившись к Тозилосу, сказал ему: – Правда ли, рыцарь, что вы признаете себя побежденным и что, движимые угрызениями вашей совести, вы хотели бы жениться на этой молодой девице?

– Да, сударь, – отвечал Тозилос.

– Очень хорошо, – заговорил тут Санчо, – потому что свои собаки грызутся, чужая не приставай, и благо те будет.

Тозилос принялся развязывать ремни своего забрала и просил, чтобы ему помогли снять его, потому что он задыхается и более не может оставаться запертым в этой тесной темнице; с него сняли его головной убор со всевозможной быстротой, и его лакейское лицо явилось во всем своем блеске. Когда донья Родригес и ее дочь увидали его, они разразились пронзительными криками: «Это обман, – вскричали они, – бессовестный обман. Тозилосом, лакеем моего господина герцога, заменили моего настоящего жениха. Во имя Бога и короля, правосудия требуем мы за такую хитрость, чтобы не сказать, за такое мошенничество!»

– Не огорчайтесь, сударыни, – воскликнул Дон-Кихот, – здесь нет ни хитрости, ни мошенничества, или если есть, то не герцог в этом виноват, а скорее злые волшебники, меня преследующие: завидуя славе, которую я приобрел этой победой, они превратили лицо вашего жениха в лицо человека, который, по вашим словам, состоит лакеем у герцога. Примите мой совет и, не смотря на хитрость моих врагов, выйдите за него замуж, потому что, без сомнения, это тот самый человек, которого вы желали себе в супруги.

Герцог, услышав эти слова, чуть было не сменил гнева на взрыв хохота.

– Все случающееся с Дон-Кихотом так необычайно, – сказал он, – что я готов верить, что этот мой лакей не мой лакей. Но попытаем уловку и прибегнем к стратагеме: для этого достаточно отложить свадьбу на две недели и все время держать под замком этого человека, приведшего нас в недоумение. Может быть, в течении этих двух недель он и возвратит себе первоначальный свой вид, и злоба волшебников против господина Дон-Кихота не продлится так долго, особенно в виду того, что для них ничего не стоит прибегать к таким обманам и превращениям.

– О, господин, – воскликнул Санчо, – разве вы не знаете, что эти разбойники имеют обыкновение превращать все, что касается моего господина? Намедни он победил одного рыцаря, который назывался рыцарем Зеркал, а они превратили его и показали нам его под видом бакалавра Самсона Карраско, родом из нашей деревни нашего близкого друга. Что касается госпожи Дульцинеи Тобозской, то ее они изменили в грубую крестьянку. Поэтому я думаю, что это лакей должен жить и умереть лакеем во все дни своей жизни». Тогда дочь Родригес воскликнула: «Кто бы ни был тот, кто предлагает мне свою руку, но я ему бесконечно благодарна, потому что мне лучше быть законной женой лакея, нежели соблазненной и обманутой любовницей дворянина, хоть тот, кто меня соблазнил, и не дворянин».



Эти события и все эти истории кончились тем, что Тозилос был заперт с целью узнать, чем кончится его превращение. Все воскликнули: «Победа за Дон-Кихотом!» И большинство разошлось в печали и с опущенными головами, недовольные, что бойцы не изорвали друг друга в куски; как в печали расходятся мальчишки, когда повешенный, которого они ожидали, не вздергивается на виселицу, потому что получает помилование или от истца или от суда. Люди разошлись; герцог и герцогиня возвратились во дворец, Тозилос был заперт, донья Родригес и ее дочь остались очень довольны тем, что так или иначе это дело окончится браком, а Тозилос лучшего и не хотел.

## ГЛАВА LVII

### **Рассказывающая о том, как Дон-Кихот простился с герцогом и что у него произошло с дерзкой и скромной Альтисидорой, камеристкой герцогини**

Дон-Кихоту показалось, наконец, необходимым выйти из той полной праздности, в которой он пребывал в этом замке. Ему мнилось, что он берет на себя большую вину пред светом, давая удерживать себя и разнеживать среди бесконечных наслаждений, которыми угощали его благородные хозяева как странствующего рыцаря, и что ему придется отдать пред небом строгий отчет в этой разреженности и праздности. В один прекрасный день поэтому он попросил у герцога и герцогини позволение проститься с ними. Они позволение дали, но при этом выразили большое огорчение, что он их покидает. Герцогиня передала Санчо Панса письма его жены, и он плакал, слушая чтение этих писем.

– Кто бы подумал, – сказал он, – что столько прекрасных надежд, родившихся в сердце моей жены Терезы Панса при известии о моем губернаторстве, расплывутся как дым, и мне снова придется тащиться ныне за войсками приключений для моего господина Дон-Кихота Ламанчского? Во всяком случае, я доволен, что моя Тереза ответила, как подобало, и прислала герцогине желудей. Если бы она этого не сделала, она показала бы себя неблагодарной, и я был бы в отчаянии. Меня утешает, что этому подарку нельзя дать названия взятки, потому что, когда она его посылала, я уже обладал губернаторством, а хорошо, чтобы те, кто получает благодеяния, проявляли свою признательность хотя бы пустяками. В конце концов, нагим я принял губернаторство и нагим я его оставил, так что с самой спокойной совестью могу повторять: нагим я родился, наг и теперь, ничего я не потерял, ничего не выиграл, – а это немало.

Вот что говорил себе Санчо в день отъезда. Дон-Кихот, который накануне простился с герцогом и герцогиней, вышел рано утром и в полном вооружении появился на площадке пред замком. Все обитатели замка смотрели на него с галерей, и герцог с герцогиней также вышли взглянуть на него. Санчо сел на своего осла со своей котомкой, своим чемоданом и своей провизией, в полном восторге, так как мажордом герцога, тот самый, который исполнял роль Трифальди, опустил ему в карман маленький кошелек с двумястами золотых дукатов на покрытие

дорожных расходов, о чем Дон-Кихот еще ничего не знал. В то время, как взоры всех были обращены на рыцаря, как уже было сказано, вдруг дерзкая и скромная Альтисидора, смотревшая на него тоже среди других дуэний и камеристок, возвысила голос и стала причитать:

Слушай ты, негодный рыцарь!  
Придержи узду немного;  
Не терзай так сильно бедер  
Плохо выезженной клячи.

Посмотри, ты убегаешь  
Не от жала змея злого,  
А от нежного ягненка,  
Что овцой не скоро станет.

Надсмехался ты, о, изверг,  
Над прекраснейшею девой;  
Ей подобной не видали  
Ни Диана, ни Венера.

О, Бирен<sup>[280]</sup> жестокий, о Эней беглец,  
Да пошлет же черт тебе лихой конец!<sup>[281]</sup>

Ты в когтях своих уносишь,  
О, безбожное создание!  
Сердце девы столь же скромной,  
Сколько пылкой в страсти нежной.

Три ночных платка, подвязки  
Ты уносишь с ног, которым  
Мрамор лишь один Паросский  
Белизной своей подобен.

Около двух тысяч вздохов  
Ты уносишь, и столь жарких,  
Что они сожгли б все Трои  
Если б было не одна их.

«О, Бирен жестокий, о Эней беглец,

Да пошлет же черт тебе лихой конец!

«Пусть оруженосца Санчо  
Сердце так окаменеет,  
Что от чар освобожденья  
Не узнает Дульцинея.

Пусть она тоской томима,  
За тебя страданье терпят,  
Как, бывает, за виновных  
Неповинный страдают.

Пусть твои все приключения  
В злоключенья обратятся;  
Радость станет сновиденьем»  
Небылицей станет верность.

О, Бирен жестокий, о, Эней беглец,  
Да пошлет же черт тебе лихой конец!

Имя будь тебе изменник  
От Севильи до Марчены,  
От Гренады и до Лохи  
И до Англии до самой.

Сядешь ли играть ты в карты,  
Например, в пикет ил ломбер,  
Пусть бегут тебя семерки,  
И тузы, и короли все.

Станешь ли срезать мозоли,  
Пусть польется кровь рекою;  
Если будешь дергать зубы,  
В деснах пусть торчат осколки.

О, Бирен жестокий, о, Эней беглец,  
Да возьмет же черт тебе лихой конец!

Пока опечаленная Альтисидора так скорбела, Дон-Кихот пристально смотрел на все, потом, не отвечая ни слова, повернул голову в сторону Санчо и сказал ему: – Спасением твоих предков, мой добрый Санчо, я тебя заклинаю и умоляю сказать мне правду. Не уносишь ли ты с собою трех ночных платков и подвязок, о которых говорит эта влюбленная девица?

– Три платка я уношу, – отвечал Санчо, – а подвязок у меня так же нет, как тут на ладони.

Герцогиня была сильно поражена дерзостью Альтисидоры и хотя она и знала, что она смела и смешлива, но на такую вольность не считала ее способною. Кроме того, так как она не была предупреждена об этой выходке, то тем более была поражена. Герцог хотел поддержать шутку и сказал Дон-Кихоту: – Мне кажется, что после доброго приема, оказанного вам в этом замке, с вашей стороны, господин рыцарь, дурно, что вы осмеливаетесь унести с собою три платка или, по меньшей мере, если не по большей мере, подвязки этой девицы. Это доказывает дурное сердце и служит уликами не соответствующими вашей славе. Возвратите ей ее подвязки, или я вызываю вас на смертный бой, не опасаясь, что злые волшебники меня превратят или исказят мне лицо, как они сделали с коим лакеем Тозилосом, который вышел на поединок с вами.

– Да сохранит меня Бог, – отвечал Дон-Кихот, – обнажать шпагу против вашей сиятельной особы, от которой я видел столько милостей! Я возвращу платки, так как Санчо говорит, что они у него; что же касается подвязок, то вернуть их невозможно, потому что ни я их не получал, ни Санчо, и если ваша девица поищет их в своих шкатулках, она их найдет непременно. Никогда, господин герцог, никогда я не был вором и думаю, что никогда им не буду во всю мою жизнь, если рука господня меня не покинет. Эта девица, по собственным ее словам, влюбленная, говорит вещи, в которых я невинен» поэтому мне не приходится просить прощения ни у нее, ни у вашей светлости; вас я умоляю быть обо мне лучшего мнения и дать мне еще раз позволение продолжать мое путешествие.

– Дай Бог, чтобы путешествие ваше было благополучно, господин Дон-Кихот, – воскликнула герцогиня, – и чтобы мы получали постоянно хорошие известия о ваших подвигах! Отправляйтесь с Богом, потому что чем больше вы здесь остаетесь, тем больше усиливаете вы пламя любви в сердцах девиц, смотрящих на вас. Что касается моей камеристки, то я ее накажу так, что впредь она не будет распускать ни своих глаз, ни языка.

– Я хочу, чтобы ты услышал еще одно только слово, о доблестный Дон-Кихот, – заговорила тотчас Альтисидора, – я прошу у тебя прощения за то, что обвинила тебя в краже подвязок, потому что клянусь душой своей и

совестью, они у меня на обеих ногах, и я оказалась рассеянною, как тот, кто стал искать своего осла после того, как сел на него верхом.

– Ну, не говорил ли я? – воскликнул Санчо. – О, я право мастер скрывать кражи. Клянусь Богом, если бы я только хотел я бы нашел подходящий к тому случай в моем губернаторстве.

Дон-Кихот наклонил голову, сделал глубокий поклон герцогу, герцогине, всем присутствующим и, повернув за повод Россинанта, имея позади себя Санчо на Сером, он покинул замок и поехал по направлению к Сарагоссе.

## **ГЛАВА LVIII**

### **Как на Дон-Кихота посыпалось столько приключений, что они следовали одно за другим без передышки**

Когда Дон-Кихот увидал себя среди чистого поля, свободным и избавившимся от преследований влюбленной Альтисидоры, ему показалось, что он попал в свою сферу, и что жизненные силы снова ожили в нем для продолжения и распространения своей рыцарской деятельности, он обратился к Санчо и сказал ему: – Свобода, Санчо, есть один из драгоценнейших даров неба людям. Ничто с ней не сравнится ни сокровища, заключенные в недрах земли, ни сокровища, которые скрывает море в своих глубинах. За свободу, как и счастье, можно и должно рисковать своей жизнью; рабство, напротив, есть величайшее несчастье, которое только может постигнуть человека. Я тебе говорю это, Санчо, потому, что ты хорошо видел изобилие и наслаждение, которыми мы пользовались в замке, сейчас нами покинутом. Так вот, среди этих изысканных блюд и замороженных напитков, мне казалось, что я страдаю от голода, потому что я не мог пользоваться ими с той свободой, как если бы они мне принадлежали, ибо обязанность благодарности за благодеяния и милости, которые получаешь, как бы сковывают их, не давая ему свободного полета. Счастлив тот, кому небо дает кусок хлеба, за который он должен благодарить только небо и никого другого!

– И все-таки, – возразил Санчо, – не смотря на все, сказанное мне вашей милостью, нехорошо было бы оставить без признательности с нашей стороны те двести дукатов золотом, которые даны мне мажордомом герцога в кошельке, каковой кошелек ношу я на груди, как крепительный бальзам, для случаев, какие могут представиться. Мы не всегда будем встречать замки, где нас будут угощать, может быть, мы попадем в такие гостиницы, где нас убьют палками».

Так беседуя, странствующий рыцарь и оруженосец ехали дальше до тех пор, пока, проехав несколько более мили, не увидели около дюжины человек, одетых по-крестьянски, и обедавших на траве среди зеленой равнины, подостлав вместо скатерти свои плащи. Около них виднелись в недалеком расстоянии одна от другой как бы белые растянутые простыни, которые, по-видимому, что-то собою покрывали. Дон-Кихот приблизился к

обедавшим и, вежливо им поклонившись, спросил их, что скрывалось под полотнами. Один из них ответил: «Сударь, под этими полотнами лежат выпуклые и лепные изображения святых, которые предназначены для кладбища, устраиваемого в нашей деревне. Мы их несем покрытыми из опасения, чтобы они не слиняли, и на наших плечах им опасения, чтобы они не сломались».

– Если бы вы позволили, – сказал Дон-Кихот, – я бы с удовольствием посмотрел их, потому что образа, несомые с такой осторожностью, конечно, должны быть хороши.

– Еще как хороши, – возразил собеседник, – достаточно сказать их цену: здесь нет ни одного, который стоил бы менее пятидесяти дукатов. А чтобы ваша милость видели, что я говорю правду, подождите мгновение, и вы увидите это собственными глазами». Встав со стола, человек этот открыл первое изображение, которое оказалось изображением св. Георгия, верхом на своей лошади, попирающего ногами дракона и вонзающего в него копье с гордым видом, какой ему обыкновенно придают. Все изображение было, как говорится, словно точеное.

– Этот всадник, – сказал Дон-Кихот, увидав его, – был один из лучших странствующих рыцарей божественного воинства; он назывался св. Георгием и был, кроме того, великим защитником девушек. Посмотрим другого.

Крестьянин открыл его, и глазам присутствующих предстало изображение св. Мартина, также на лошади, разделяющего свой плащ с нищим. Едва лишь увидав его, Дон-Кихот воскликнул: – Этот всадник, был тоже одним из христианских авантюристов, и я думаю, более щедрым, нежели храбрым, как ты можешь видеть, Санчо, потому что он делит свой плащ с бедным и отдает ему половину, и кто было, должно быть, еще зимою, потому что иначе он отдал бы ему весь плащ, до такой степени был он благотворителен.

– Вовсе не в этом дело, – отвечал Санчо, – а дело в поговорке, которая говорит: «На Бога надейся, а сам не плошай». Дон-Кихот рассмеялся и попросил открыть другое полотно, под которым оказался патрон испанцев на лошади, с окровавленным мечом, убивающий мавров и попирающий ногами их головы. Увидав его, Дон-Кихот воскликнул: «О, это рыцарь и притом из Христова воинства. Его зовут св. Иаковом Матаморосом,<sup>[282]</sup> это один из наиболее храбрых святых и рыцарей, какие когда-либо бывали на свете и какие в настоящее время находятся на небе». Затем поднято было еще одно полотно, под которым находился апостол Павел, изображенный падающим с лошади и со всеми обстоятельствами, с какими соединяют



обыкновенно изображение его обращения ко Христу. Увидав его настолько хорошо переданным, что можно было сказать, что Иисус с ним говорить, а Павел отвечает, Дон-Кихот сказал: – Этот был величайшим врагом церкви нашего Господа Бога в свое время и величайшим защитником ее после, какого она когда-либо видела, странствующим рыцарем во всю свою жизнь, покойным святым только после смерти, неустанным тружеником в винограднике нашего Бога, врачом народов, школой которому служили небеса, а учителем и наставником был сам Иисус Христос.

Так как никаких больше образов не было, то Дон-Кихот велел закрыть показанные и сказал тем, кто их нес: – Я считаю добрым предзнаменованием, братцы, что видел вами показанное, потому что эти святые рыцари имели ту же профессию, что и я, то есть действовали оружием, с той только разницей впрочем, что они были святые, воевали божественным способом, тогда как я грешник и воюю, как человек. Они завоевали небо силой своей руки, потому что небо сдается силе, <sup>[283]</sup> а я до сих пор не знаю, что я завоевал силою страдания. Но если бы моя Дульцинея Тобозская могла избавиться от своих страданий, может быть с улучшением моей судьбы и возвращением всей силы моего ума я пошел бы по лучшему пути, нежели тот, по которому я пошел.

– Да услышит тебя Бог я да оглохнет грех! – сказал тихо Санчо.

Эти люди были одинаково удивлены и речами Дон-Кихота него видом, хотя они не поняли и половины того, что он говорил. Они кончили обед, подняли образа на плечи и, простившись с Дон-Кихотом, отправились в дальнейший путь.

Что касается Санчо, то он как будто никогда не знал своего господина – так был он поражен его знаниями, и подумал, что нет на свете истории, которую он не знал бы, как свои пять пальцев и не запечатлел бы в своей памяти.

– По истине, сеньор наш господин, если то, что с нами сегодня было, может быть названо приключением, то это было самое приятное, самое сладостное из всех, какие случались с нами во все время нашего паломничества. Мы вышли из него без шума и без единого удара палкой; мы же взяли шпаги в руку, не ударяли землю нашими телами, не испытали мук голода; слава Богу, что он дал мне собственными глазами увидеть такую вещь.

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – но обрати внимание на то, что час к часу не приходится и что не всегда бывает одинаковая удача. Что касается тех случаев, которые в просторечии называются предзнаменованиями и которые не основываются ни на каком естественном

основании, то благоразумные люди судят о них и считают их счастливыми встречами. Когда один из суеверных людей встает рано утром, выходит из дому и встречает монаха из ордена блаженного святого Франциска, он отворачивается к нему спиною, как будто бы наткнулся на грифа, и возвращается обратно домой. Другой просыплет соль на стол, и становятся оттого не в духе, как будто бы природа обязана предувещивать о будущих несчастьях помощью таких малых средств. Благоразумный человек и христианин не должен по таким пустякам судить о том, что небо намерено совершить. Сципион приезжает в Африку, спотыкается сходя на землю, и видит, что солдаты приняли это за дурное предзнаменование. А он, обнимая землю, говорит: «Ты не уйдешь от меня больше, Африка, потому что я тебя держу в своих руках». Так вот, Санчо, встреча с этими святыми иконами была для меня счастливым событием.

– Я думаю, – отвечал Санчо, – но я бы хотел, чтобы ваша милость, сказали мне одну вещь: отчего испанцы, когда идут в битву, говорят, призывая св. Иакова Матамореса: «Святой Иаков, и запишись Испания».<sup>[284]</sup> Разве Испания отворена и хорошо бы было запереть ее? или что это за церемония такая?

– Как ты прост, Санчо! – отвечал Дон-Кихот. – Ты должен знать, что этот великий рыцарь Гиацинтового креста дан Богом в патроны Испании исключительно для кровавых столкновений, которые бывали у испанцев с маврами. Поэтому они и призывают его как своего защитника во всем битвах, которые, они дают, и много раз он являлся воплощенный и атаковал сламывал и уничтожал саррацин. Эту истину я могу подтвердить множеством примеров из испанской истории, самых достоверных.

Переменив разговор, Санчо сказал своему господину: – Я поражен, господин, наглостью этой Альтисидоры, герцогининой камеристки. Она должно быть порядочно ранена этим плутом, который называется Амуром. Говорят, это слепой охотник, который, хотя и близорук, или, вернее, безглаз, но если избирает себе какую цель, то попадает в нее, как бы мала она не была и пронзает ее то и дело своими стрелами. Я слышал, что о целомудрии и скромности девушек стрелы притупляются и сламываются, но, по-видимому, об эту Альтисидору они еще обостряются, вместо того чтобы притупляться.

– Заметь, Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – что Амур в своих замыслах не проявляет ни уважения, ни тени рассудка. Он схож со смертью, которая также поражает одинаково и высокие башни королевских дворцов и скромные хижины пастухов, а когда она совершенно овладевает душой, она, прежде всего, отнимает у нее страх и стыд. Потому-то Альтисидора и

высказала нескромно свои желания, которые в моей душе отозвались больше смущением, нежели жалостью.

— Поразительная жестокость! — воскликнул Санчо. — Неслыханная неблагодарность! Что меня касается, то я могу сказать, что бы я сдался и дал себя взять при малейшем слове любви, с которым ко мне бы обратились. Черт меня возьми! Какое каменное сердце! Какие бронзовые внутренности, какая жестокая душа! Но не могу себе представить, что эта дева увидала в вас, что так влюбилась и разгорелась. Какой наряд, какая осанка, какая грация, какая черта лица могла ее прельстить? Как каждая из этих вещей в отдельности или все вместе могли заставить ее так влюбиться? Право же, я не раз принимаюсь осматривать вашу милость с кончика ног до последнего волоска на голове и вижу только вещи, созданные скорее для того, чтобы пугать людей, чем чтобы влюблять их. Так как я слышал, что красота первое и главное качество нужное, чтобы пробуждать любовь, а ваша милость вовсе не обладаете ею, так я и не понимаю, во что влюбилась эта бедная девушка. — Заметь, Санчо, — возразил Дон-Кихот, — что есть два рода красоты: телесная и духовная. Духовная сияет и обнаруживается в уме, благопристойности, щедрости и обходительности, а всеми этими качествами обладает даже безобразный человек. Когда прельщаются такою красотой, а не телесной, любовь бывает особенно горяча и продолжительна. Я отлично вижу, Санчо, что я некрасив, но сознаю также, что я и не уродлив, а человеку порядочному достаточно иметь названные мною духовные качества и не быть чудовищем, чтобы быть нежно любимым.

Разговаривая таким образом, они въехали в лес, стоящий в стороне от дороги, и Дон-Кихот вдруг, совершенно неожиданно, очутился в зеленых шелковых сетях, протянутых между двумя деревьями. Не понимая, что это означает, он сказал Санчо: — Мне кажется, Санчо, что то, что мы встретили эти сети, означает, что с нами случилось одно из удивительнейших приключений, какие можно вообразить. Будь я повешен, если преследующие меня чародеи не хотят задержать меня ими, чтобы не дать мне уехать в наказание за суровость, выказанную мною прекрасной Альтисидоре. Ну, а я говорю им, что, будь эти сети, не то что из зеленого шелка, а хоть бы так же крепки, как алмаз, или даже крепче тех, которые ревнивый Вулкан запутал Венеру и Марса, я бы и тогда разорвал их, как камыш или простые нитки.

Сказав это, он хотел разорвать все петли и вырваться из сетей, когда взорам его вдруг представились две прекрасные пастушки, выходившие из чащи леса, или, по крайней мере, две женщины, одетые пастушками,

только не в кожаных, а в парчовых корсажах, и в юбках из дорогой золотой тафты. Волосы их ниспадали локонами на плечи и были такого золотистого цвета, что их можно было сравнить с солнцем. Головы их были украшены гирляндами, в которых зеленый лавр переплетался с красным амарантом. По наружности им можно было дать больше пятнадцати, но меньше восемнадцати лет. Их появление удивило Санчо, сразило Дон-Кихота и остановило солнце в его течении. Все четверо стояли, храня полнейшее молчание, нарушенное, наконец, одною из пастушек, которая сказала Дон-Кихоту:

– Удержите коня, господин всадник, и не рвите этих сетей, которые протянуты здесь не вам во вред, а нам на удовольствие. А так как я знаю, что вы спросите у нас, зачем они протянуты и кто мы такие, то я скажу вам все в немногих словах. В одной деревне, в двух милях отсюда, где живут несколько знатных господ и богатых гidalго, несколько друзей и родственников сговорились со своими женами, сыновьями и дочерьми, друзьями и родными приехать повеселиться в это место, одно из красивейших во всем округе. Мы все вместе составили новую пастушескую Аркадию; девушки оделись пастушками, а юноши пастухами. Мы выучили наизусть два пастушеских стихотворения – одно знаменитого Гарсилазо де да Вега, а другое превосходного Камозэнса, на его родном португальском языке. Мы еще не изображали их, потому что только вчера приехали. Мы расставили несколько палаток, в этой листве и на берегах ручья, оплодотворяющего все эти луга. Прошлой ночью мы растянули между деревьями эти сети, чтобы обмануть птиц, которые, разогнанные нашим шумом должны доверчиво броситься в них. Если вам угодно, сударь, быть нашим гостем, вас примут с учтивостью и щедростью, потому что мы в этих окрестностях не оставляем места для горя и печали.

Пастушка замолкла, а Дон-Кихот ответил: – Право, прекрасная, благородная дама, Актеон не мог более удивиться и восхититься, встретив купающуюся Диану, чем я при виде вашей красоты. Хвалю предмет ваших забав и очень благодарен вам за ваше любезное предложение. Если я, в свою очередь, могу чем-нибудь служить вам, приказывайте и будьте уверены в моем повиновении, ибо, мое призвание в том и состоит, чтоб обнаруживать благодарность и услуживать относительно всякого рода людей, особенно людей знатных, к которым, очевидно, принадлежите вы. Если б эти сети, которым подобает занимать небольшое пространство, заняли всю земную поверхность, я бы и тогда отправился искать новых миров, чтобы только не разорвать их, а чтоб вы поверили этой гиперболе, знайте, что тот, кто вам дает такое обещание, никто иной; как Дон-Кихот

Ламанчский, если, впрочем, это имя дошло до вашего слуха.

– Ах, милый друг души моей! – вскричала вдруг другая пастушка. – Какое счастье выпало нам на долю! Ты видишь этого господина, говорящего с нами? Ну, так знай, что это доблестнейший, влюбленнейший и учтивейший рыцарь, какого можно найти на свете, если только отпечатанная и разошедшаяся история его подвигов, которую и я читала, не лжет и не обманывает нас. Пари держу, что этот славный человек, которого он возит с собой, есть некий Санчо Панса, его оруженосец, с которым никто не сравнится в приятности, и остроумии.

– Это правда, – вмешался Санчо: – я тот самый шутник и оруженосец, о котором вы говорите, а этот барин мой господин: и тот самый Дон-Кихот Ламанчский, который пропечатан и рассказан в истории.

– Ах, милая подруга! – вскричала первая пастушка, – будем умолять его остаться: наши родители и братья будут бесконечно рады этому. И я слышала о его доблести и заслугах то же самое, что ты сейчас говорим. Рассказывают еще, что он постояннейший и вернейший из влюбленных, каких можно только встретить, и что его дама некая Дульцинея Тобозская, которой вся Испания отдает пальму первенства в деле красоты.

– И отдает по справедливости, – вмешался Дон-Кихот, – если, впрочем, ваша бесподобная красота не заставить усомниться в том. Но не теряйте напрасно времени, сударыни, желая задержать меня, ибо настоятельные нужды моего призвания не дают мне нигде останавливаться.

Тем временем к четверем собеседникам присоединился брат одной из пастушек, одетый с изяществом и роскошью, гармонировавшими с их нарядами, они сообщили ему, что тот, кто с ними разговаривает, есть доблестный Дон-Кихот Ламанчский, а другой – его оруженосец Санчо, которых молодой человек уже знал, потому что читал их историю. Галантный пастух тотчас же предложил рыцарю свои услуги и так действительно стал просить его пойти с ними к их палаткам, что Дон-Кихоту пришлось уступить и пойти за ними. В это время происходила охота с гиканьем, и сети наполнились множеством птиц, которые, обманутые цветом петель, бросались в опасность, от которой улетали. Более тридцати человек собралось в этом месте, все изящно одетые пастухами и пастушками. Им сейчас же сообщили, что это Дон-Кихот и его оруженосец, что привело всех в восторг, так как они уже знали их по их истории. Все вернулись в палатки, где уже накрыты были столы, сервированные богато, чисто и обильно. Дон-Кихота посадили на самое почетное место. Все глядели на него и удивлялись. Наконец, когда убрали со столов, Дон-Кихот заговорил.

– Среди величайших грехов, совершаемых людьми, – сказал он, – несмотря на то, что другие говорят, будто первое место занимает гордость, я считаю главным неблагодарность, ссылаясь на то, что обыкновенно говорят, что ад наполнен неблагодарными. Я старался избегать, как мог, этого греха, с тех самых пор, как стал владеть своим разумом. Если я не могу отплачивать за делаемое мне добро таким же добром, то, по крайней мере, желаю это делать, а если этого бывает недостаточно, так я разглашаю всем о делаемом мне добре, ибо тот, кто рассказывает и разглашает о получаемых им благодеяниях, оплатит за них, когда сможет, другими благодеяниями. Действительно, большинство получающих стоят ниже дающих. Так Бог выше всех, ибо он всеобщий благодетель, и дары человеческие не могут сравняться с дарами Божьими по причине разделяющего их бесконечного пространства. Но это бессилие, эту нужду пополняет отчасти признательность. И так, я, признательный, за оказанную мне здесь милость, но не в состоянии ответить не нее тем же, предлагаю, заключаясь в тесные рамки моих сил, то, что могу, и что подсказывает мне мой ум. И так, я говорю, что буду в продолжение целых двух дней доказывать среди этой большой дороги, ведущей в Сарагоссу, что эти дамы, переодетые пастушками, прекраснее и обходительнее всех на свете, за исключением, впрочем, бесподобной Дульцинеи Тобозской, единственной властительницы моих помыслов, не в обиду будь сказано тем, кто меня слушает.

Санчо, весьма внимательно слушавший все, что говорил Дон-Кихот, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: «Возможно ли, чтоб на свете нашлись люди до того смелые, чтобы сметь говорить и клясться, будто вот этот самый мой господин сумасшедший!.. Скажите сами, господа пастухи, есть ли на свете деревенский священник, какой-бы он ни был ученый и краснобай, который сумел бы наговорить то, что наговорил мой господин? Есть ли на свете странствующий рыцарь, как бы он ни славился храбростью, который сумел бы предложить то, что предложил мой господин?» Дон-Кихот порывисто обернулся к Санчо и сказал ему, пылая гневом: «Возможно ль, о, Санчо, чтоб во всем свете был хоть один человек, который бы сказал, что ты не дурак на дураковской подкладке и с отделкой из плутовства и лукавства? Зачем ты мешаешься в мои дела, и кто тебя просит проверять, рассудительный ли я человек или безумный? Молчи, не возражай и ступай, оседлай Россинанта, если он расседлан, а затем отправимся исполнять мое предложение, потому что право на моей стороне, и ты можешь заранее считать побежденными тех, кто вздумает мне противоречить». Сказав это он встал со стула, гневно жестикулируя и

удивив всех присутствовавших, которые не знали, считать ли его за человека со здравым рассудком или за сумасшедшего.

Напрасно старались они отклонить его от его рыцарского предприятия, говоря, что они считают достаточно доказанными его чувства признательности, и что нет надобности в новых доказательствах, чтоб свет узнал об его храбрости, ибо достаточно и тех, о которых повествует его история. Дон-Кихот продолжал настаивать на своем решении. Он сел на Россинанта, взял в руки копье, вооружился щитом и направился к самой середине большой дороги, проходившей около зеленой лужайки. Санчо на своем осле и вся пастушеская компания последовала за ним, желая посмотреть, чем кончится его смелое и безрассудное предложение.

Остановившись, как сказано, среди дороги, Дон-Кихот изрек следующие слова: «О, вы, прохожие и путешественники, оруженосцы, пешеходы и всадники, которые проходите или пройдете по этой дороге в продолжение следующих двух дней! Знайте, что Дон-Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, встал здесь для того, чтобы утверждать, что красота и обходительность нимф, живущих в этих лесах и лугах, выше красоты и обходительности всех женщин в мире, за исключением, разумеется, царицы души моей Дульцинеи Тобозской; поэтому пусть явится сюда всякий, кто иного мнения: я жду его». Два раза повторил он слово в слово это воззвание, и оба раза ни один странствующий рыцарь не услышал его. Но судьбе, устраивавшей его дела все лучше и лучше, угодно было, чтоб несколько времени спустя на дороге показалась толпа всадников, по большей части с копьями в руках, ехавших врассыпную и чрезвычайно поспешно. Едва заметив их, все сопровождавшие Дон-Кихота повернули вспять и отошли подальше от большой дороги, зная, что, дождавшись столкновения, они подвергнут себя большой опасности. Один Дон-Кихот твердо, с бесстрашным сердцем, оставался на месте, а Санчо Панса сделал себе щит из боков Россинанта. Между тем, нестройная толпа копьеносцев приближалась, и один из них, ехавший впереди, изо всех сил закричал Дон-Кихоту: – Прочь, дьявол, прочь с дороги! Эти быки растерзают тебя.

– Полно, сволочь, – ответил Дон-Кихот, – для меня не существует быков, которые стоили бы внимания, хотя бы это были страшнейшие из тех, которых питал на своих берегах Харама. Признайте, мошенники, признайте оптом и гуртом справедливость того, что я сейчас возвестил, или я выступлю в бой с вами.

Коровник не успел ответить, а Дон-Кихот отстраниться, если бы даже и хотел этого, как стадо боевых быков с мирными волами,<sup>[285]</sup> ведшими их,

и толпой коровников и всякого рода людей, отводивших их в город, где на другой день должны были происходить бега, налетели на Дон-Кихота, Санчо, Россинанта и осла, опрокинули их на землю и затоптали ногами. От этого приключения Санчо оказался помятым, Дон-Кихот ошеломленным, осел ушибленным и Россинант далеко не невредимым. Тем не менее, все они все-таки поднялись, и Дон-Кихот, спотыкаясь и падая, пустился вдогонку за армией рогатого скота, крича во весь голос: «Стойте, стойте, подлые мошенники! Вас ждет единый рыцарь, который не разделяет ни настроения, ни мнения тех, кто говорит: «Бегущему врагу скатертью дорога». Но торопившиеся беглецы не замедляли шагу и обращали на эти угрозы столько же внимания, сколько на прошлогодние тучи. Усталость остановила, наконец, Дон-Кихота, который, более пылая гневом, чем пресыщенный местью, уселся на краю дороги в ожидании приближавшихся к нему Санчо, Россинанта и осла. Они, наконец, подошли, господин и слуга сели на своих животных, и, не простившись с мнимой Аркадией, снова пустились в путь, скорее со стыдом, чем с радостью.



## ГЛАВА LIX

**В которой рассказывается необычайное событие, могущее сойти за приключение, которое случилось с Дон-Кихотом**

Дон-Кихот и Санчо нашли лекарство против пыли и усталости, оставленных им неучтивостью быков, в светлом, прозрачном ручейке, который протекал среди самой чащи деревьев. Дав Россинанту и ослу свободно пастись без сбруи и узды, оба искателя приключений, господин и слуга, уселись на берегу ручья. Дон-Кихот выполоскал рот, вымыл лицо и этим омовением возвратил некоторую энергию своим подавленным чувствам. Санчо прибег к кладовой своей котомки и вынул оттуда-то, что обыкновенно называл своими съестными припасами. Дон-Кихот не ел единственно из печали, а Санчо не осмеливался дотрагиваться до блюд, которые перед ним стояли, единственно из вежливости: он ждал, чтоб его господин попробовал их. Но видя, что тот, погруженный в свои мечты, и не вспоминает подносить хлеб ко рту, он, не открывая своего рта, чтоб заговорить, и, презрев всякую благопристойность, принялся запрятывать в свой желудок хлеб и сыр, попадавшие ему под руку.

– Ешь, друг Санчо, – сказал ему Дон-Кихот, – питай свою жизнь; тебе это нужнее, чем мне, а мне дай умереть под тяжестью моих мыслей и ударами моих бед. Я родился, Санчо, чтобы жить, умирая, а ты – чтобы жить, кушая. Чтобы ты видел, насколько я прав, говоря таким образом, посмотри на меня, прошу тебя, как обо мне печатают исторические книги, на меня, знаменитого в делах оружия, ласкового и вежливого в моих поступках, уважаемого великими вельможами, умоляемого о помощи молодыми девушками; и вот когда я, наконец, ждал пальм и венков, заслуженных при помощи моих доблестных подвигов, я сегодня утром был затоптан, опрокинут и смят под ногами грязных животных. Эта мысль притупляет мой зубы, парализует руки и до того лишает меня охоты к еде, что я даже хочу уморить себя голодом, ужаснейшей в мире смертью.

– Стало быть, – ответил Санчо, не переставая торопливо жевать, – ваша милость не разделяете мнения поговорки: «Умри, Тит, но умри сыт?» А я так вовсе не хочу сам себя уморить. Напротив, я хочу поступать, как чеботарь, который до тех пор тянет зубами кожу, пока не дотянет, куда ему нужно. А я буду едой до того тянуть свою жизнь, пока не дотяну ее до

назначенного ей небом конца. Вы должны знать, господин, что нет худшего безрассудства, как позволять себе, как ваша милость, отчаиваться. Послушайтесь меня: покушайте хорошенько, потом растянитесь на зеленом ковре этого луга и выпитесь немножко, и вы увидите, когда проснетесь, как это вас облегчит.

Дон-Кихот послушался совета Санчо, находя, что он говорит скорее как философ, чем как дурак: – Если б ты хотел, о, Санчо, сделать для меня то, что я тебе скажу, тогда мое облегчение было бы больше, а горе меньше: пока я буду спать, чтоб тебе угодить, ты удались немного отсюда, и, обнаружив свое тело, дай себе поводьями Россинанта сотни три-четыре ударов в счет трех тысяч с чем-то, которые ты должен дать себе для снятия чар с бедной Дульцинеи, потому что это, право, стыдно, что эта бедная дама остается очарованной по твоей небрежности и нерадивости.

– Ну, это еще терпит отлагательства, – ответил Санчо. – Поспим сейчас оба, а там что Бог даст. Знайте, сударь, что так, зря, сечь себя дело очень тяжелое, особенно когда удары должны сыпаться на плохо вскормленное и еще хуже вспоенное тело. Пусть госпожа Дульцинея потерпит: в один прекрасный день, совершенно неожиданно, она увидит мое тело проколотым ударами, точно решето, а до смерти все жизнь; я хочу сказать, что я еще пока жив, и у меня еще не прошла охота исполнить то, что я обещал.

Поблагодарив его за доброе намерение, Дон-Кихот поел немного, а Санчо много, потом оба легли и уснули, предоставив обоим закадычным друзьям, Россинанту и Серому, пастись вволю на этих обильных травяных лугах. Проснулись они довольно поздно, сели верхом и продолжали путь, торопясь доехать до постоянного двора, видневшегося на расстоянии одной мили от них. Я говорю: постоянный двор, потому что Дон-Кихот так называл его против своего обыкновения называть все постоянные дворы замками. Приехав туда, они спросили у хозяина, есть ли у него где переночевать. Тот ответил, что есть и что они найдут у него все удобства и все довольство, какие можно найти в Сарагоссе. Они оба сошли с седел, и Санчо снес свой багаж в комнату, от которой хозяин дал ему ключ. Потом он отвел животных в конюшню, задал им корму и, вознося к небу благодарность за то, что его господин не принял этого постоянного двора за замок, вернулся за приказаниями к Дон-Кихоту, который уселся на скамейке.

Когда приблизился час ужина, они вошли в дом, и Санчо спросил у хозяина, чем он может их угостить. «Всем, что душе вашей будет угодно, – ответил хозяин. Спрашивайте, чего хотите, потому что этот постоянный двор обильно снабжен по части птиц небесных, зверей земных и рыб морских.

Стольких вещей нам и не нужно, – возразил Санчо, – с нас довольно будет и пары жареных цыплят, потому мой господин очень нежный и есть мало, да и я небольшой обжора.

Хозяин ответил, что цыплят у него нет, потому что коршуны опустошают всю местность.

– Ну, – ответил Санчо, – так пусть господин хозяин прикажет зажарить молоденькую курицу.

– Курицу? Пресвятая Богородица! – вскричал хозяин. – Право же, я вчера послал в город продать их больше пятидесяти штук, но, кроме кур, ваша милость можете спрашивать все, что угодно.

– Так, стало быть, – спросил Санчо, – у вас найдется и телятина, и козлятина?

– Сейчас, – ответил хозяин, – нет, потому что вся провизия у нас кончилась; но на будущей неделе будет много.

– Хорошо же мы попались! – вскричал Санчо. – Но зато, я уверен, у вас есть вволю сала и яиц.

– Ей-Богу, у моего гостя славная память! – ответил хозяин. – Я сейчас сказал ему, что у меня нет ни кур, ни цыплят, а он воображает, что у меня найдутся яйца! Пусть он выдумает другие прелести и пусть перестанет спрашивать кур.

– Да к делу, ради Христа! вскричал Санчо.

– Скажите лучше сами, что у вас есть, и будет вздор молоть.

– Господин гость, – ответил хозяин, – на самом деле у меня есть две бычачьи ноги, похожие на телячьи, или две телячьи ноги, похожие на бычачьи. Они приготовлены со своей приправой из гороху, луку и сала и, кипя на огне, говорят в настоящую минуту: «Съешь меня, съешь меня!»

– Ну, я тут же оставляю их за собой, – вскричал Санчо, – и пусть никто их не трогает. Я заплачу за них лучше, чем всякий другой, потому ничто не может быть мне больше по вкусу. Мне все равно, бычачьи они или телячьи, лишь-бы это были ноги.

– Никто их не тронет, – ответил хозяин, – потому что другие гости, находящиеся в доме, такие знатные, что возят с собой повара, официанта и всякую провизию. – Что до знатности, – сказал Санчо, – так с моим господином никто не поспорит, но его занятие не допускает ни сундуков с провизией, ни корзин с бутылками. Мы садимся себе посреди луга и наедаемся досыта желудями и кизилем.

Таков-был разговор, который Санчо вел с хозяином постоялого двора и который он прекратил на этом, не желая ответить, когда тот спросил, что за занятие или служба у его господина. Наступил час ужина, Дон-Кихот

пошел в свою комнату, хозяин принес кушанье, и рыцарь сел за стол.

Вскоре после того Дон-Кихот услышал, как в соседней комнате, отделявшейся от его комнаты только тонкой перегородкой, кто-то сказал: «Ради жизни вашей милости, господин Дон Геронимо, прочитаем в ожидании ужина еще одну главу из второй части Дон-Кихота Ламанчского». Услышав свое имя, Дон-Кихот вскочил на ноги, наострил уши и стал внимательно прислушиваться к тому, что о нем говорили. Он слышал, как Дон Геронимо ответил: «На что нам, господин Дон Хуан, читать эти глупости? Кто читал первую часть Дон-Кихота Ламанчского, тому неинтересно читать эту вторую часть».

– Все-таки, – возразил Дон Хуан, – мы хорошо сделаем, если прочитаем ее, потому что нет такой плохой книги, в которой не нашлось бы чего-нибудь хорошего. Всего более мне не нравится в этой книге то, что в ней изображают Дон-Кихота излечившимся от любви к Дульцинее Тобозской.<sup>[286]</sup> Услыхав это, Дон-Кихот, полный злобы и гнева, возвысил голос и закричал: «Тому, кто осмелится сказать, что Дон-Кихот Ламанчский забыл или может забыть Дульцинею Тобозскую, я докажу с оружием в руках, что он очень далек от истины, ибо ни Дульцинея Тобозская не может быть забыта, ни забвение не может поселиться в Дон-Кихоте. Его девиз постоянство и его обет – оставаться верным, без насилия над собой, по выбору и из удовольствия.

– Кто нам отвечает? – спросили из другой комнаты.

– Кто же другой может это быть, – ответил Санчо, – как не сам Дон-Кихот Ламанчский, который докажет все, что сказал, и даже все, что еще скажет, потому долг платежом красен.

Едва Санчо договорил эти слова, как два дворянина (по крайней мере, такова была их наружность) отворили дверь, и один из них, обвив руками шею Дон-Кихота, сказал ему с увлечением: «Ни ваша наружность не противоречит вашему имени, ни ваше имя не противоречит вашей наружности. Вы, сударь, безо всякого сомнения, настоящий Дон-Кихот Ламанчский, полярная звезда странствующего рыцарства, вопреки тому, кто вздумал украсть ваше имя и уничтожить ваши геройские подвиги, наподобие этого писателя, которого я и передаю в ваши руки». И с этими словами он вручил ему книгу, которую держал его товарищ. Дон-Кихот взял книгу и стал перелистывать, не отвечая ни слова, затем, через несколько минут, возвратил ее и сказал: «Из того немногого, что я видел, я заметил у этого писателя три вещи, достойные осуждения: первая – это несколько слов, которые я прочитал в прологе,<sup>[287]</sup> вторая – это арагонское

нарекание, потому что автор часто пропускает член» наконец, третья, окончательно доказывающая, что он неуч, это – что ошибается и удаляется от истины в главной части истории. В самом деле, он говорит, что жену моего оруженосца Санчо Панса зовут Марией Гутьеррес,<sup>[288]</sup> тогда как ее зовут Терезой Панса; а тот, кто ошибается в одном капитальном факте, заставляет опасаться, что он ошибается и во всем остальном.

– Вот, ей Богу, славная вещь для историка! – вскричал Санчо, – Хорошо же он знает наши дела, если называет мою жену Терезу Панса Марией Гутьеррес! Возьмите-ка опять книгу, сударь, и посмотрите, нет ли там меня и не исковеркано ли мое имя.

– Судя по тому, что вы сказали, мой друг, – сказал Дон Геронимо, – вы должны быть Санчо Панса, оруженосец господина Дон-Кихота?

– Да, я самый, – ответил Санчо, – и я горжусь этим.

– Так право же, – продолжал дворянин, – этот новый писатель говорит о вас вовсе не с тою благопристойностью, которая подобает вам. Он изображает вас обжорой и глупцом и ничуть не забавным, – словом, совсем не тем Санчо, которого мы видим в первой части истории вашего господина.

– Да простить его Бог! – ответил Санчо. – Уж лучше-бы он оставил меня в моем углу, не вспоминая обо мне, потому беда, кол пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник, и всяк сверчок знай свой шесток.

Оба дворянина пригласили Дон-Кихота в свою комнату, чтобы вместе поужинать, зная хорошо, сказали они, что для него ничего нет подходящего на этом постоялом дворе. Дон-Кихот, всегда любезный и учтивый, сдался на их просьбы и поужинал с ними. Санчо остался полновластным хозяином кастрюли; он сел на главном краю стола, а хозяин постоялого двора уселся против него, так как не менее его был влюблен в свои бычачьи ноги.

За ужином Дон Хуан спросил у Дон-Кихота, какие у него известия о госпоже Дульцинее Тобозской: не вышла ли она замуж, не родила ли или не забеременела ли, или же, храня обет целомудрия, она помнит любовные мечты господина Дон-Кихота.

– Дульцинея, – ответил Дон-Кихот, – еще чиста и невинна, а мое сердце постоянное, нежели всегда; переписки мы по обыкновению не ведем, а ее красота обратилась в безобразие отвратительной крестьянки». Затем он рассказал им во всех подробностях об очаровании Дульцинеи, о своих приключениях в пещере Монтезиноса и о рецепте, данном ему мудрым Мерлином для снятия чар с его дамы, именно о бичевании Санчо. Оба дворянина с величайшим удовольствием слушали из уст самого Дон-

Кихота рассказ о странных событиях его истории. Они были столь же поражены его сумасбродствами, сколько его изящной манерой рассказывать. Они то считали его умным и рассудительным, то видели, как он скользит и впадает в чепуху, и, в конце концов, не знали, какое место отвести ему между мудростью и безумием.

Санчо кончил ужин и, оставив хозяина одного, вошел в комнату своего господина и при входе сказал: – Пусть меня повесят, господа, если автор этой книги, которая у ваших милостей, хочет, чтоб мы оставались друзьями! Уж если он, как вы говорите, называет меня обжорой, так я бы хотел, чтоб он хоть не называл меня пьяницей.

– А он именно так и называет вас, – ответил Дон Геронимо. – Не припомню, как он это делает, но знаю, что слова, которые он вам приписывает, непристойны и, кроме того, лживы, сколько я вижу теперь по лицу доброго Санчо.

– Ваши милости можете мне поверить в этом, – возразил Санчо, – Санчо и Дон-Кихот этой истории совсем не те, которые встречаются в истории, написанной Сидом Гамедом Бен-Энгели. Тут действительно вы: мой господин, храбрый, скромный и влюбленный, и я, простой, забавный и не обжора и не пьяница.

– Так и я думаю, – подтвердил Дон Хуан. – И если бы было возможно, следовало бы отдать приказ, чтоб никто не смел писать о приключениях великого Дон-Кихота, кроме Сида Гамеда, его первоначального автора, точно так, как Александр отдал приказ, чтоб никто не смел писать его портрета, кроме Апеллеса.

– Мой портрет пусть пишет, кто хочет, – возразил Дон-Кихот, – но пусть меня не оскорбляют, потому что от множества оскорблений терпение не может не лопнуть.

– Какое же оскорбление можно нанести господину Дон-Кихоту, – спросил Дон Хуан, – за которое он не мог бы легко отомстить, если только не захочет отразить его щитом своего терпения, которое, я полагаю, обширно и сильно?

В таких и подобных им разговорах прошла большая часть ночи, и хотя Дон Хуан и его друг упрашивали Дон-Кихота лучше просмотреть книгу, чтоб узнать, какова она, но склонить его к этому им не удалось. Он ответил, что считает книгу как-бы прочтенною целиком, что признает ее, с начала до конца, нахальной и не хочет доставить автору ее радость, – если он когда-нибудь узнает, что книга его была у него в руках, – думать, что он ее прочитал. «К тому же, – прибавил он, – от непристойных и смешных вещей отвращается даже мысль, а тем более глаза<sup>[289]</sup>». У него спросили, куда он

думает направить свой пут. Он ответил, что едет в Сарагоссу, чтобы присутствовать на празднествах, называемых состязаниями упряжи и празднуемых в этом городе каждый год. Тогда Дон Хуан сказал ему, что в этой новой истории рассказывается, как Дон-Кихот или тот, кого автор так называет, присутствовал в этом же городе на празднествах, и как рассказ этот лишен изобретательности, беден изложением и вообще плохо написан, но зато богат глупостями. [\[290\]](#)

– В таком случае, – ответил Дон-Кихот, – ноги моей не будет в Сарагоссе, и я таким образом докажу в виду всего света лживость этого нового историка, и все тогда убедится, что я не тот Дон-Кихот, о котором он говорит.

– Это будет очень хорошо, – заметил Дон Геронимо, – к тому же есть еще состязания в Барселоне, где господин Дон-Кихот может показать свою ловкость и доблесть. – Так я и думаю сделать, – ответил Дон-Кихот, – но да соблаговолят ваши милости позволить мне пойти спать, потому что уже пора, и да считают меня отныне в числе своих лучших друзей и слуг.

– И меня также, – прибавил Санчо. – Может быть, я на что-нибудь да пригожусь.

После этого Дон-Кихот и Санчо, простившись со своими соседями, вернулись в свою комнату, оставив Дон Хуана и Дон Геронимо пораженными смесью скромности и безумия, обнаруженной рыцарем. Впрочем, они были вполне уверены, что это были настоящие Дон-Кихот и Санчо, а не те, которых описал их арагонский историк.

Дон-Кихот встал очень рано и, постучавшись в перегородку соседней комнаты, простился с ее жильцами. Санчо щедро расплатился с хозяином, но посоветовал ему вперед меньше хвастать обилием своего постоянного двора или лучше снабжать его провизией.

## ГЛАВА LX

### Что случилось с Дон-Кихотом на дороге в Барселону

Утро было свежее и сулило такой же свежий день, когда Дон-Кихот оставил постоялый двор, хорошенько расспросив о дороге, ведущей прямо в Барселону, минуя Сарагоссу, так как ему непременно хотелось заставить солгать этого нового историка, который, как говорили, так оскорбительно отзывался о нем. Случилось так, что в течение шести дней с ним не приключилось ничего такого, что заслуживало бы быть записанным. По истечении этих шести дней, когда он уклонился от большой дороги, ночь застигла его в густой дубовой или пробковой роще: на этот счет Сид Гамед не дает точных указаний Господин и слуга сошли со своих животных, и Санчо, поевший в этот день четыре раза, пристроился к стволу дерева и сразу вступил в дверь сна. Дон-Кихот же, который терзался не столько от голода, сколько от своих мыслей, не мог сомкнуть глаз. Его воображение носило его по тысяче разных мест: то ему казалось, что он опять находится в пещере Монтезиноса; то он видел, как превращенная в крестьянку Дульцинея прыгает и скачет на своей ослице; то в ушах его раздавались слова мудрого Мерлина, напоминавшие ему условия, которые он должен выполнить и усилия, которые нужно сделать, чтобы снять чары с Дульцинеи. Он приходил в отчаяние от нерадивости и недостатка милосердия оруженосца своего Санчо, который, как он полагал, дал себе до сих пор не более пяти ударов плетью – очень малое и ничтожное число в сравнении с тем множеством ударов, которые ему оставалось дать себе. Эти размышления причинили ему столько горя и досады, что он сказал сам себе: «Если Александр Великий рассек гордиев узел, сказав: Лучше разрубить, чем развязать, и если он от этого не перестал быть властителем всей Азии, то тоже самое, не больше и не меньше, будет теперь со снятием чар с Дульцинеи, если я сам буду сечь Санчо против его желания. И в самом деле, если средство состоит в том, чтоб Санчо получил три тысячи с чем то ударов бичом, то не все ли равно, сам ли он себе их даст или другой ему их даст? Все дело в том, чтоб он их получил, все равно, от кого бы они ни шли».

С этою мыслью он подошел к Санчо, предварительно взяв в руки поводья Россинанта, и, скрутив их наподобие кнута, стал распускать



единственную его шнуровку, ибо, по общему мнению, Санчо носил только одну переднюю для поддержания своих брюк. Но едва он принялся за это дело, как Санчо проснулся, широко раскрыл глаза и резко произнес: – Это что? Кто это меня трогает и раздевает?

– Это я, – ответил Дон-Кихот, – хочу исправить твою нерадивость и помочь моему горю. Я хочу тебя сечь, Санчо, и хоть отчасти уплатить долг, который лежит на тебе. Дульцинея погибает, ты живешь, ни о чем не заботясь; я умираю с отчаяния: поэтому спусти штаны по доброй воле, ибо моя воля состоит в том, чтоб дать тебе в этом уединенном месте, по крайней мере, две тысячи ударов плетью.

– Ну, уж нет! – вскричал Санчо. – Оставьте меня, ваша милость, а не то я подыму такой шум, что даже глухие услышат нас. Удары бичом, которые я обязался дать себе, должны быть даны добровольно, а не силой. Теперь у меня нет охоты сечь себя; довольно, если я дам вашей милости слово стегать себя и сгонять с себя мух, когда мне придет охота.

– Я не могу положиться на твое великодушие, – ответил Дон-Кихот, – потому что ты жестокосерд, и хотя принадлежишь к черни, но изнежен.

Говоря таким образом, он все старался распустил его шнуровку. Видя это, Санчо вскочил на ноги, бросился на своего господина, схватил его в охапку и, подтолкнув ногой, опрокинул его на землю, за тем поставил ему правое колено на грудь и сжал его руки в своих, так что он не мог ни пошевелинуться, ни вскрикнуть. Дон-Кихот сказал ему глухим голосом: – Как, подлец, ты восстаешь против твоего господина и хозяина! Ты нападаешь на того, чей хлеб ты ешь!

– Я не делаю и не разделяю королей,<sup>[291]</sup> – ответил Санчо, – а помогаю себе самому, т. е. своему настоящему господину. Если ваша милость дадите мне слово оставить меня в покое и не стараться стегать меня теперь, так я вас отпущу и дам уйти, а не то ты умрешь здесь, изменник, враг доньи Санчи.<sup>[292]</sup>

Дон-Кихот обещал то, что он требовал: он поклялся жизнью своих мыслей, что не тронет на нем ни одной ниточки его кафтана и отныне предоставит на его волю и милость заботу о самобичевании в какое ему будет угодно время. Санчо поднялся и поскорее отошел на некоторое расстояние; но, опершись о другое дерево, он почувствовал, что что-то дотронулось до его головы. Он поднял руки и нащупал две мужских ноги в башмаках. Дрожа от страха, он побежал спрятаться под другим деревом, но и там было то же самое. Тогда он закричал о помощи, призывая Дон-Кихота. Дон-Кихот подбежал и спросил, что с ним случилось и чего он

испугался. Санчо ответил, что все эти деревья полны человеческих ног. Дон-Кихот ощупал их и сразу понял, в чем дело. – Нечего тебе пугаться, Санчо, – сказал он, – эти ноги, которые ты нащупал и которых не можешь видеть, принадлежат, наверное, вора и разбойникам, повешенным на этих деревьях, потому что правосудие, ловя их, имеет обыкновение вешать их здесь по двадцати – тридцати человек разом. Я вижу из этого, что мы должны быть уже недалеко от Барцелоны. – И его предположение было действительно верно. На заре они подняли глаза и увидели, какие гроздьи висели на этих деревьях: это были тела бандитов.

Между тем рассвело, и они, напуганные мертвецами, еще более испугались при виде человека сорока живых бандитов, которые неожиданно окружили их, приказывая им на каталонском наречии оставаться на своих местах до прибытия их атамана. Дон-Кихот стоял на ногах, лошадь его была расседлана, копье было прислонено к дереву – словом, он был незащищен. Ему пришлось скрестить руки и опустить голову, сохраняя силы до более удобного случая. Бандиты посетили Серого и не оставили на нем ни крошки из того, что находилось в котомке и в чемодане. Хорошо еще, что Санчо спрятал в кожаный пояс, который носил на животе, золотые, данные ему герцогом и привезенные им из дому. Впрочем, эти добрые люди, наверное, тщательно обыскали бы его и нашли бы то, что у него было спрятано между поясом и телом, если бы в эту минуту не появился их атаман. Это был человек лет тридцати четырех, крепкий, высокий, со смуглым лицом и серьезным, уверенным взглядом. Он сидел на могучем коне, и на кольчуге его было четыре пистолета, из тех, которые называются в этих местах *pedrenales*.<sup>[293]</sup> Он увидел, что его оруженосцы (так называли себя люди этой профессии) собираются грабить Санчо Панса, и запретил им это. Они тотчас же повиновались, и пояс был спасен. Он удивился при виде копья у дерева, щита на земле и Дон-Кихота в вооружении, с мрачнейшим и жалчайшим лицом, олицетворением скорби. Он подошел к нему и сказал: – Не печальтесь так, любезнейший: вы попали в руки не какого-нибудь варвара Озириса, а Роке Гинарта, более сострадательного, нежели жестокого.<sup>[294]</sup> – Моя печаль, – ответил Дон-Кихот, – происходит не оттого, что я попал в твои руки, о, храбрый Роке, слава которого не имеет предела на земле: она происходит оттого, что моя небрежность допустила твоих солдат захватить меня не на седле, тогда как, по правилам странствующего рыцарства, в которому я принадлежу, я обязан жить всегда под ружьем и во всякую минуту быть настороже. Я должен сказать тебе, о, великий Гинарт, что, если бы они застали меня на

коне, с копьем и щитом, им бы не удалось так легко овладеть мною, ибо я Дон-Кихот Ламанчский, тот самый, который наполнил вселенную славой своих подвигов.

Роке Гинарт сразу понял, что болезнь Дон-Кихота состоит скорее в безумии, чем в храбрости, и хотя он несколько раз слышал о нем, но никогда не верил в его историю и не мог допустить, чтоб такая фантазия могла овладеть человеком. Поэтому он очень обрадовался, встретив его, так как желал на деле убедиться в том, что слышал о нем.

– Доблестный рыцарь, – сказал он ему, – не отчаивайтесь и не считайте, что злая судьба привела вас сюда. Напротив, может случиться, что эти неприятные встречи направят на настоящую дорогу вашу сбившуюся с пути судьбу, ибо небо обыкновенно поднимает угнетенных и обогащает бедных странными путями и неслыханными способами, недоступными человеческому разуму.

Дон-Кихот хотел поблагодарить, когда они вдруг услышали позади себя большой шум как бы от табуна лошадей. А, между тем, это была всего одна лошадь, на которой ехал, опустив удила, молодой человек лет двадцати в зеленом камковом обшитом золотом кафтане, валлонской шляпе с загнутыми полями, узких вычищенных ваксой сапогах, со шпагой, кинжалом и золотыми шпорами, с маленьким ружьем в руке и двумя пистолетами за поясом. Роке обернулся на шум и увидел молодого человека, который, приблизившись, сказал ему: – Я ищу тебя, о, храбрый Рок, чтоб найти в тебе если же средство, то, по крайней мере, облегчение моим несчастным. А чтоб не держать тебя долго в недоумении, потому что я вижу, что ты меня не узнаешь, скажу тебе, кто я. Я – Клавдия Геронима, дочь Симона Форте, твоего лучшего друга и заклятого врага Клаукеля Торрельяса, также и твоего врага, так как он принадлежит к противной стороне. Ты знаешь, что у этого Торрельяса есть сын, которого зовут Дон Висенте Торрельяс или, по крайней мере, звали так часа два назад. Скажу тебе в немногих словах, чтоб сократить рассказ о моих несчастьях, какое несчастье он мне причинил. Он увидел меня, стал ухаживать, я слушала его и тайком от отца платила ему взаимностью, потому что нет на свете женщины, как бы замкнуто и благоразумно она ни жила, у которой не нашлось бы времени для удовлетворения своих желаний, если она этого захочет. Словом, он обещал мне жениться на мне, а я дала ему слово принадлежать ему, но за нашими клятвами исполнения не последовало. Вчера я узнала, что он, забыв своя долг относительно меня, женится на другой, и что сегодня утром назначено их венчание. Эта весть встревожила мой ум и вывела меня из терпения. Так как отца моего не было дома, то

мне легко было переодеться таким образом и, пустившись вскачь на этом коне, доехать до Дон Висенте, в одной миле отсюда. Там, не теряя времени на жалобы и на выслушивание его оправданий, я выстрелила в него из этого карабина и еще из этих двух пистолетов, всадив ему, как я полагаю, более двух пуль в тело и открыв таким образом выходы, из которых вместе с его кровью вышла и моя честь. Я оставила его на руках у его слуг, которые не осмелились или не сумели выступить на его защиту. Я приехала к тебе, чтоб ты помог мне бежать во Францию, где у меня есть родные, у которых я могу поселиться, и чтобы просить тебя еще защитить моего отца, чтобы многочисленная семья Дон Висенте не обратила на него своей ужасной мести.

Роке, пораженный красотой, энергией и странным приключением прекрасной Клавдии, ответил ей: – Поедьте, сударыня, посмотрим, умер ли ваш враг, а потом увидим, что нам предпринять.

Дон-Кихот внимательно выслушал все, что говорила Клавдия и что ответил Роке Гинарт.

– Никому, – вскричал он, – нет надобности защищать эту даму. Пусть мне подадут моего коня и мое оружие и подождите меня здесь. Я отправлюсь к этому рыцарю и заставлю его, живым или мертвым, сдержать слово, данное такой очаровательной красавице. – Пусть никто в этом не сомневается, – прибавил Санчо, – потому у моего господина счастливая рука в деле свадеб, еще нет и двух недель, как он заставил жениться другого человека, который тоже отказывался исполнить обещание, данное другой девушке, и если бы преследующие его волшебники не превратили настоящее лицо молодого человека в лицо лакея, названная девушка теперь уже не была бы девушкой.

Гинарт, которого больше интересовало приключение прекрасной Клавдии, чем речи его пленников, господина и слуги, не слушал ни того, ни другого, и, приказав своим оруженосцам возвратить Санчо все, что они сняли с его Серого, он велел им удаляться в место их ночевки, затем пустился галопом вместе с Клавдией к Дон Висенте, раненому или мертвому. Они приехали к тому месту, где Клавдия встретилась со своим любовником, но нашли там только свежие кровавые пятна. Оглянувшись вокруг, они увидели на вершине холма группу людей и сообразили, как оно и было на самом деле, что это слуги уносят Дон Висенте, живого или мертвого, чтобы перевязать ему раны или похоронить его. Они ускоряли шаги, чтоб нагнать их, что было нетрудно, так как те подвигались медленно. Они нашли Дон Висенте на руках у слуг, которых он умолял упавшим голосом дать ему умереть на этом месте, ибо боль, которую он

испытывал от ран, не давала ему двигаться дальше. Роке и Клавдия соскочили с коней и приблизились к умирающему. Слуги перепугались при виде Гинарта, а Клавдия еще более взволновалась при виде Дон Висенте. Наполовину смягченная, наполовину суровая, она приблизилась к нему и взяла его за руку. – Если б ты мне дал эту руку, – сказала она, – как вы условились, ты не дошел бы до такого состояния. – Раненый дворянин открыл глаза, уже почти сомкнутые смертью, и, узнав Клавдию, сказал ей: – Я вижу, прекрасная обманутая Клавдия, что это ты убила меня. Мои желания и поступки никогда не были направлены на то, чтоб тебя оскорбить, и не заслужили такого наказания. – Как! – вскричала Клавдия. – Разве ты не собирался сегодня утром жениться на Леоноре, дочери богатого Бальбастро? – О, конечно, нет! – ответил Дон Висенте. – Моя несчастная звезда принесла тебе эту ложную весть, чтоб ты в порыве ревности лишила меня жизни, но так как я лишаясь жизни, покидая ее в твоих объятиях, то считаю себя счастливым. Чтоб ты поверила моим словам, сожми мою руку и прими меня, если желаешь, в супруги. Другого удовлетворения я не могу тебе дать за оскорбление, которое я, по твоему мнению, нанес тебе.

Клавдия сжала его руку, но и сердце ее до того сжалось, что она упала без чувств на окровавленную грудь Дон Висенте, с которым сделался смертельный припадок. Роке, полный смятения, не знал, что делать. Слуги побежали за водой, чтобы вспырынуть их и, принеся ее, стали обливать их. Клавдия очнулась от обморока, Дон Висенте же не приходил в себя: он так и расстался с жизнью. Клавдия, увидав его недвижимым и убедившись, что жених ее умер, огласила воздух воплями, а небо жалобами, стала рвать на себе волосы, развеивая их по ветру, царапать собственными руками лицо, – словом, обнаруживала все признаки сожаления и печали, каких можно ожидать от раненого сердца. – О, жестокая, безрассудная женщина! – говорила она. – С какой легкостью ты привела в исполнение свою ужасную мысль! О, ярость ревности, до каких ужасных крайностей ты доводишь того, кто дает тебе доступ в свою душу! О, мой дорогой муж! Именно тогда, когда ты стал моим, безжалостная судьба переносит тебя с брачного ложа в могилу! – Столько горечи и отчаяния было в жалобах, произносимых Клавдией, что глаза Роке, не имевшего обыкновения проливать слезы в каких бы то ни было обстоятельствах, невольно увлажнились. Слуги заливались слезами, Клавдия ежеминутно лишалась чувств, и весь холм казался юдолею скорби и несчастий.

Наконец, Роке Гинарт приказал слугам Дон Висенте отнести тело молодого человека в дом его отца, недалеко от этого места, чтоб его похоронили. Клавдия сказала Роке, что уйдет в монастырь, в котором одна

из ее теток состоит настоятельницей, и что проведет там всю жизнь в обществе лучшего и вечного жениха. Роке одобрил ее благочестивое намерение и предложил проводить ее, куда она захочет, и оградить ее отца от родителей Дон Висенте. Клавдия ни за что не соглашалась, чтоб он ее проводил и, поблагодарив его, как могла, за предложение услуг, удалилась, заливаясь слезами. Слуги Дон Висенте унесли его тело, а Роке вернулся к своим людям. Таков был конец любви Клавдии Геронимы. Но что же тут удивительного, когда неотразимая сила слепой ревности соткала нить ее печальной истории?

Роке Гинарт нашел своих людей в том месте, куда приказал им удалиться, и среди них находился также Дон-Кихот, который, сидя верхом на Россинанте, держал к ним речь, чтоб убедить их бросить этот образ жизни, столь же опасный для души, сколько для тела. Но большинство из них были гасконцы, люди грубые, прошедшие через огонь и медные трубы, и проповедь Дон-Кихота на них не подействовала. Роке по возвращении спросил у Санчо Панса, вернули ли ему драгоценности и алмазы, снятые его людьми с осла.

– Да, – ответил Санчо. – Недостает только трех главных платков, стоивших трех больших городов.

– Что ты болтаешь, милый! – вскричал один из присутствовавших бандитов. Они у меня, и цена из не больше трех реалов.

– Это правда, – сказал Дон-Кихот, – но мой оруженосец ценит их так, как говорит, в уважение к особе, которая мне их дала, Роке Гинарт сейчас же приказал возвратить их и, расставив в ряд всех своих людей, велел разложить перед ними платья, драгоценности, деньги, – словом, все, что было наворовано со времени последней дележки; затем, быстро сделал расчет и, оценив на деньги то, что невозможно было разделить, он распределил между всеми добычу с такою мудростью и справедливостью, что ни в одном пункте не оскорбил справедливости по дележной части. Когда дело это было кончено, и все оказались довольны и сочли себя хорошо вознагражденными, Роке сказал Дон-Кихоту:

– Если бы не соблюдать с этими людьми такой пунктуальности, с ними невозможно было бы жить.

– Судя по тому, что я видел здесь, – вмешался Санчо, – правосудие такая хорошая вещь, что его нужно соблюдать даже между ворами.

Один из оруженосцев услышал эти слова и поднял дуло своего ружья, которым, наверное, раскроил бы голову Санчо, если б Роке Гинарт не закричал ему, чтоб он остановился. Санчо задрожал всем телом и принял твердое решение не разжимать более губ, пока будет находиться среди этих

людей.

В эту минуту пришел один из оруженосцев, стоявших на страже на дороге, чтоб подстергать прохожих и доносить атаману о том, чем можно попользоваться.

– Господин, – сказал он, – недалеко отсюда, на дороге, ведущей в Барселону, идет большая толпа людей.

– Не разглядел-ли ты, – спросил Роке, – из тех ли они, которые нас ищут, или из тех, кого мы ищем?

– Из тех, кого мы ищем, – ответил оруженосец.

– В таком случае, – приказал Роке, – отправляйтесь все и подведите их сюда во мне, не выпустив ни одного.

Люди повиновались, и Роке остался один с Дон-Кихотом и Санчо, в ожидании тех, кого должны были привести оруженосцы. – Господину Дон-Кихоту, – сказал он, – должны казаться новыми наш образ жизни и наши приключения, вдобавок очень опасные. Меня не удивляет, что он так думает, потому что в самом деле – сознаюсь в этом – нет более беспокойной и тревожной жизни, как наша. Меня толкнуло в нее желание мести, которое было так сильно, что могло смутить самые спокойные сердца. От природы я сострадателен и благонамерен, но, как я сказал, желание отомстить за нанесенное мне оскорбление до того перевернуло все мои хорошие наклонности, что я все остаюсь в этом положении, хотя и вижу все его последствия. А так как один грех ведет за собой другой и одна пропасть другую, то месть до того переплелась, что я теперь беру на себя не только свои, но и чужие. Однако, Бог попускает, чтоб я, блуждая в лабиринте своих грехов, не терял надежды выбраться из него и добраться до спасительной гавани.

Дон-Кихот очень удивился, слыша такие разумные и назидательные речи от Гинарта, ибо он думал, что между людьми, все дело которых состоит в том, чтоб грабить и убивать на большой дороге, не может найтись человека со здравым смыслом и добрыми чувствами.

– Господин Роке, – сказал он ему, – начало выздоровления для больного – это знание своей болезни и желание принимать лекарства, предписываемые врачом. Ваша милость больны, знаете свою болезнь, и небо или, лучше сказать, Бог, наш врач, даст вам лекарства, которые вас излечат. Но эти лекарства обыкновенно излечивают лишь постепенно и чудом. Впрочем, грешники, одаренные умом, ближе к исправлению, чем глупцы, а так как ваша милость в речах своих проявили столько благоразумия, то нужно мужаться и надеяться на выздоровление вашей совести. Если ваша милость желаете сократить путь и легко вступить на

путь своего спасения, так поедemте со мной, и я научу вас, как сделаться странствующим рыцарем. В этом занятии приходится переносить столько трудностей, лишений и неудач, что вам стоит только взяться за него для искупления, и вы уже очутитесь на небе. – Роке принялся хохотать над советом Дон-Кихота и для перемены разговора рассказал ему трагическое приключение Клавдия Геронимы. Санчо до глубины души был тронут им, потому что красота и живость молодой девушки пришлись ему очень по душе.

В это время явились оруженосцы-ловцы, как их называют. Они привели с собой двух дворян на конях, двух пеших пилигримов, карету с женщинами, шесть пеших и верховых лакеев, которые их сопровождали, и двух мальчиков погонщиков мулов, следовавших за господами. Оруженосцы окружили эту толпу, и побежденные и победители хранили молчание в ожидании, пока заговорит великий Роке Гинарт. Этот последний, обратясь к дворянам, спросил, кто они, куда едут и какие у них с собою деньги. Один из них ответил:

– Сударь, мы испанские пехотные капитаны, наши полки в Неаполе, и мы едем, чтобы сесть на четыре галеры, которые, говорят, находятся в Барселоне и которым отдан приказ плыть в Сицилию. При нас есть около двух или трех сот дукатов, и этого достаточно, чтоб мы были богаты и ехали довольные, потому что обычная бедность солдат не допускает больших богатств. – Роке предложил пилигримам тот же вопрос, что и капитанам. Они ответили, что собираются ехать морем в Рим и что у них обоих найдется реалов с шестьдесят. Роке захотел также узнать, что это за дамы в карете, куда они едут и сколько при них денег. Один из верховых лакеев ответил: – Это госпожа донья Гиомар де-Киньонес, жена регента неапольского интендантства, и едет она с дочерью, еще девочкой, горничной и дуэньей. Мы шестеро слуг сопровождаем ее, а денег у нее до шестисот дукатов. – Так что, – сказал Роке, – тут наберется девятьсот дукатов и шестьдесят реалов. Моих солдат около шестидесяти, так сочтите, сколько приходится на каждого, потому что я плохой счетчик. – При этих словах разбойники возвысили голоса и закричали: – Да здравствует Роке Гинарт! – Да здравствует он многие годы, назло ищейкам правосудия, которые поклялись сгубить его!» Но капитаны опечалились, госпожа регентша сокрушилась, и пилигримы не особенно обрадовались, когда услышали приговор о конфискации их имущества. Рок продержал их в этом настроении несколько минут, но долее не желал оставлять их в печали, которую нетрудно было разглядеть на всех лицах, и сказал офицерам: – Будьте столь любезны, ваши милости, одолжите мне шестьдесят дукатов, а



госпожа регентша восемьдесят для удовлетворения сопровождающего меня отряда, потому что поп тем и живет, что обедню дает. А затем вы можете свободно и без задержки продолжать свой путь с охраной, которую я вам дал, для того, чтоб, если вы встретите мои другие отряды, которые рассеяны здесь в окрестностях, они не причинили вам никакого зла. Я вовсе не намерен быть несправедливым к военным или оскорблять женщин, особенно знатных.

Офицеры рассыпались в благодарностях Роке за его любезность и щедрость, ибо в их глазах действительно с его стороны было щедростью оставить им их собственные деньги. Что касается доньи Гиомар де-Киньонес, то она готова была выпрыгнуть из кареты, чтоб расцеловать ноги и руки великого Роке; но он не допустил до этого, а, напротив, сам попросил у нее прощения за то, что, вынужденный требованиями своего скверного ремесла, причиняет ей неприятность. Госпожа регентша приказала одному из своих слуг немедленно заплатить приходящиеся с нее восемьдесят дукатов, и капитаны также отдали свои шестьдесят. Пилигримы хотели в свою очередь развязать свой кошель, но Роке сказал им, что этого не нужно, и затем, обратясь к своим людям, прибавил: – Из этих ста сорока дукатов каждый из вас получит по два, а из остающихся двадцати десять отдайте этим пилигримам и остальные десять этому доброму оруженосцу на добрую память об этом приключении. – После этого принесли письменный прибор и портфель, которые всегда имелись при Роке, и он дал путешественникам письменный пропуск для начальников своих отрядов. Затем он простился с ними и отпустил их, и все они были поражены благородством его души, представительной наружностью и странными поступками, делавшими его скорее похожим на Александра великого, чем на признанного разбойника.

– Нашему атаману надо бы скорее быть монахом, чем разбойником, – заметил один из оруженосцев на своем полугасконском, полукаталовском наречии. – Если он хочет быть щедрым, так пусть вперед щедрится на свое добро, а не на наше. – Несчастный сказал эти немногие слова не настолько тихо, чтобы Роке не услышал их. Схватив в руки шпагу, он рассек ему голову почти пополам и холодно сказал: – Вот как я караю нахалов, не умеющих держать язык за зубами. – Все затрепетали, и никто не осмелился сказать ему ни слова, столько почтения и покорности он им внушал.

Роке отошел в сторону и написал своему другу в Барселону письмо, в котором извещал его, что у него находится знаменитый Дон-Кихот Ламанчский, тот странствующий рыцарь, о котором рассказывают столько чудес, и что он может поклясться, что это самый забавный и самый

сведущий во всех отношениях человек. Он прибавлял, что через три дня, в день св. Иоанна Крестителя, привезет его к нему в самую Барселону, в полном вооружении, верхом на Россинанте, вместе с его оруженосцем Санчо, верхом на осле. – Не забудьте известить об этом, – писал он в заключение, – наших друзей Ниарросов, чтоб они позабавились рыцарем. Я хотел бы лишить этого удовольствия их врагов Каделлов, но эти невозможно, так как разумные безумства Дон-Кихота и выходки его оруженосца Санчо Панса не могут не доставить одинакового удовольствия всем. – Роке отправил это письмо через одного из своих оруженосцев, который, переменив костюм бандита на крестьянское платье, явился в Барселону и передал письмо по адресу.

## ГЛАВА LXI

### **О том, что случилось с Дон-Кихотом при въезде в Барселону, и о других вещах, в которых больше правды, чем здравого смысла**

Дон-Кихот оставался у Роке трое суток, но пробудь он у него хоть триста лет, он все-таки нашел бы, на что поглядеть и чему подивиться в его образе жизни. Просыпались они здесь, обедали там, но временам бежали, не зная от чего, в другой раз дожидались, не зная кого. Эти люди спали стоя, прерывая свой сон и то и дело меняя место. Они только и делали, что расставляли стражу, прислушивались к крикам вождей, раздували труты у ружей, которых, впрочем, было мало, так как почти все они были снабжены кремневыми мушкетами. Роке проводил ночи вдали от своих, в таких местах, о которых они не могли догадаться, ибо множество банов <sup>[295]</sup> барселонского вице-короля, оценившие его голову, держали его в постоянной тревоге. Он не решался довериться никому, даже своим людям, из боязни быть ими убитым или преданным правосудию: жизнь поистине тяжкая и жалкая.

Наконец, Роке, Дон-Кихот и Санчо отправились окольными путями и скрытыми тропинками в Барселову в сопровождении шести оруженосцев. Они прибыли на берег моря накануне Иоанна Крестителя, ночью, и Роке, поцеловавшись с Дон-Кихотом и Санчо, которому вручил при этом обещанные десять дукатов, еще не отданные ему, расстался с ними, обменявшись предварительно тысячью комплиментов и предложений услуг. По отъезде Роке, Дон-Кихот выждал рассвета, как был верхом на коне. Вскоре он увидел на балконах востока смеющееся личико светлой Авроры, которая веселила взор, освещая растения и цветы. Почти в ту же минуту до слуха путников принесли веселящие звуки рогов и барабанов, шум бубенчиков и крики как бы бегущих из города людей. Заря сменилась солнцем, лицо которого, шире круглого щита, постепенно поднималось на горизонте. Дон-Кихот и Санчо осмотрелись вокруг и увидели море, которого еще не видели. Оно показалось им обширным, огромным, гораздо больше Руидерских лагун, которые они видели в своей провинции, увидели они также и галеры, стоявшие на якоре у берегов, опустившие свои шатры и открывшиеся во всей красе со множеством знамен и вымпелов, которые то развевались по ветру, то целовали море и вздымали брызги. С галер

слышались трубы и рога, наполнявшие воздух вблизи и вдали приятными, воинственными звуками. Галеры вдруг задвигались и вступили в нечто в роде схватки на тихих волнах моря, в то время как множество выезжавших из города на добрых лошадках дворян в блестящих одеяниях предавались таким же играм. Солдаты с судов открыли продолжительную пальбу, на которую ответили тем же стоявшие на городских стенах и фортах солдаты, а тяжелая артиллерия оглашала воздух ужасным треском, на который отвечали пушки с палуб судов. Море было спокойно, земля улыбалась, воздух был чист и ясен, хотя его по временам и затуманивал дым пушек, все, казалось, радовало и веселило горожан. Что касается Санчо, то он никак не мог понять, как этидвигающиеся по морю массы могут иметь столько ног.

В эту минуту нарядные всадники подскакали с воинственными и радостными кликами к месту, где Дон-Кихот продолжал стоять, как пригвожденный. Один из них, тот самый, который был предуведомлен Роке, сказал громким голосом Дон-Кихоту: – Добро пожаловать в наш город, зеркало, светоч, полярная звезда всего странствующего рыцарства! Добро пожаловать, говорю я, доблестный Дон-Кихот Ламанчский, – не фальшивый, мнимый, апокрифический, каким его изображали нам в последнее время лживые истории, а настоящий, лояльный и верный, каким изобразил нам его Сид Гамед Бен-Энгели, цвет историков! – Дон-Кихот ни слова не ответил, да всадники и не ждали его ответа, а, заставив своих лошадей прогарцовать кругом, образовали вместе со всеми сопровождавшими их как бы движущийся круг около Дон-Кихота, который обернулся к Санчо и сказал ему: – Эти люди прекрасно узнали нас: бьюсь об заклад, что они читали нашу историю и даже недавно напечатанную историю арагонца.

Всадник, который первый заговорил с Дон-Кихотом, снова подъехал к нему и сказал: – Пусть ваша милость, господин Дон-Кихот, благоволит поехать с нами, ибо все мы ваши покорные слуги и большие друзья Роке Гинарта. – Если любезности, – ответил Дон-Кихот, – порождают любезности, то ваша, господин рыцарь, есть дочь или близкая родственница любезности великого Роке. Ведите меня, куда вам будет угодно: у меня не будет иной воли, кроме вашей, особенно если вы захотите употребить мою на служение вам. – Всадник ответил ему точно такими же учтивыми словами, и вся группа, окружив его со всех сторон, направилась к городу при звуках рогов и литавров. Но при въезде в Барселону проказники, от которых исходят все проказы, т. е. мальчишки, более шаловливые, чем дерзкие и плутоватые, протолкались сквозь толпу

и, приподняв хвосты ослу и Россинанту, всадили им по пучку чертополоха. Бедные животные, чувствуя эти новомодные шпоры, опустили хвосты и тем так усилили свою боль, что стали подпрыгивать и метаться, пока не сбросили на землю своих всадников. Дон-Кихот, смущенный и униженный, поторопился снять с хвоста своей лошади султан, а Санчо сделал то же самое для своего осли. Сопровождавшие Дон-Кихота всадники охотно наказали бы дерзких мальчишек, но это было невозможно, так как те в ту же секунду затерялись среди тысячи других следовавших за ними мальчишек. Дон-Кихот и Санчо снова сели верхом и, сопровождаемые музыкой и криками «ура», доехали до дома своего проводника, большого и красивого, как подобает дому богатого дворянина. Здесь мы и оставим нашего рыцаря, ибо так желает Сид Гамед Бен-Энгели.

## ГЛАВА LXII

### **В которой говорится о приключении с заколдованной головой и о других пустяках, которых нельзя не рассказать**

Хозяина Дон-Кихота звали Дон Антонио Морено. Это был богатый и умный дворянин, любивший повеселиться, но прилично и со вкусом. Увидав Дон-Кихота у себя, он стал придумывать средства обнаружить его безумства, впрочем, без вреда кому бы то ни было; ибо шутки, оскорбляющие других, уже не шутки, и всякое времяпрепровождение в ущерб другому гнусно. Первое, что он придумал, было разоружить Дон-Кихота и показать его публично в его узком потертом от оружия кафтане, уже много раз описанном нами. Рыцаря повели на балкон, выходящий на одну из главных улиц города, и выставили там на показ прохожим и мальчишкам, глазевшим на него, как на редкого зверя. Разодетые всадники снова собрались перед ним, точно они так нарядились лично для него, а не для праздника, справлявшегося в тот день. Что касается Санчо, то он был очарован, восхищен, потому что воображал, что снова попал, сам не зная, как и почему, на свободу, к Камачо, или в такой дом, как у Дон Диего де Миранда, или в замок, как у герцога.

В этот день к Дон Антонио собрались к обеду несколько друзей. Все они обращались с Дон-Кихотом с большим почтением, как с настоящим странствующим рыцарем, и это наполнило его гордостью и чванством, и он был вне себя от удовольствия. Что же касается Санчо, то он так и сыпал остротами, так что вся прислуга и все слышавшие его, как говорится, впились глазами в его рот. За обедом Дон Антонио сказал Санчо: – Мы слышали, добрый Санчо, что вы так любите клецки и бланманже, что, когда они остаются от обеда, вы их прячете за пазуху до другого дня.<sup>[296]</sup> – Нет, сударь, – ответил Санчо, – это неправда, потому что я больше чистоплотен, чем прожорлив, и мой господин Дон-Кихот, здесь присутствующий, отлично знает, что мы вдвоем часто питались целую неделю горстью орехов или желудей. Правда, если случается, что мне дарят телку, так я спешу накинуть ей аркан на шею, т. е. я ем то, что мне дают, и умею пользоваться случаем. Кто говорит, что я ем обжорливо и неопратно, тот пусть намотает себе на ус, что не знает сам, что говорит, и я сказал бы ему это позабористее, если бы не уважение мое к почтенным бородам, сидящим

за этим столом. – В самом деле, – подтвердил Дон-Кихот, умеренность и чистоплотность, с какими Санчо есть, заслуживают быть записанными и выгравированными на бронзовых листах, дабы о них сохранилось вечное воспоминание на будущие века. Правда, когда он голоден, он немножко прожорлив, потому что принимается уплетать за обе щеки и глотать сразу по четыре куска. Но чистоплотности он никогда не забывает, а за то время, когда он был губернатором, он научился есть по-аристократически, так что даже виноградные и гранатные ягодки набирал вилкой. – Как! – вскричал Дон-Антонио, – Санчо был губернатором? – Да, ответил Санчо, – на острове, называемом Баратарией. Я управлял им по своему десять дней и потерял в эти десять дней покой и сон и научился презирать все губернаторства в мире. Я бежал с этого острова, потом провалился в пещеру, где думал, что умру, и откуда вышел только чудом. – Тут Дон-Кихот подробно рассказал все приключение с губернаторством Санчо и тем весьма позабавил все общество.

По выходе из-за стола, Дон-Антонио взял Дон-Кихота за руку и отвел его в отдаленную комнату, в которой не было другой мебели и другого убранства, кроме стола, сделанного, по-видимому, из яшмы, на такой же ножке. На столе этом лежала голова вроде бюстов римских императоров, казавшаяся бронзовой. Дон-Антонио, прежде всего, обвел Дон-Кихота вокруг всей комнаты, затем несколько раз вокруг стола и сказал: – Теперь, когда я уверен, что нас никто не услышит, и когда дверь плотно затворена, я расскажу вашей милости, господин Дон-Кихот, одно из удивительнейших приключений или, лучше сказать, одну из удивительнейших новостей, какую только можно себе вообразить; но с условием, что ваша милость погребете в глубочайших недрах тайны то, что я вам сейчас расскажу. – Клянусь, – ответил Дон-Кихот, – а для большей верности я положу сверху еще каменную плиту. Знайте, господин Дон-Антонио (Дон-Кихот уже знал имя своего хозяина), – что вы говорите с человеком, у которого хотя и есть уши, чтоб слушать, но нет языка, чтоб говорить. Так что ваша милость можете совершенно спокойно излить в мое сердце то, что храните в своем, и быть уверенным, что повергли это в пучину молчания. – Полагаясь на это обещание, – продолжал Дон-Антонио, – я повергну вашу милость в изумление тем, что вы увидите и услышите, а также несколько облегчу горе, испытываемое мною оттого, что мне некому поверить свои тайны, которые, по истине, не такого свойства, чтоб их можно было доверить всякому. – Дон-Кихот стоял недвижимый, с тревогой ожидая, чем разрешится столько предосторожностей. Дон-Антонио, взяв его за руку, заставил его провести его по бронзовой голове, лежавшей на яшмовом

столе с поддерживавшей его ножкой, и сказал: – Эта голова, господин Дон-Кихот, сделана была одним из величайших чародеев и волшебников, каких знавал свет. Он был, я полагаю, поляком по происхождению и учеником знаменитого Эскотильо, о котором рассказывают столько чудес.<sup>[297]</sup> Он жил здесь, у меня в доме, и за тысячу дукатов, которые я ему дал, сделал эту голову, которая обладает странным свойством отвечать на все, что у вся спрашивают на ухо. Он начертил круги, нарисовал иероглифы, сделал наблюдения над звездами, сопоставил разные сочетания, – словом, закончил свою работу с совершенством, которое мы завтра увидим. По пятницам она нема, а так как сегодня как раз пятница, то она только завтра снова заговорит. Пока ваша милость можете подготовить вопросы, которые желаете ей предложить, ибо я по опыту знаю, что она всегда отвечает одну только правду.

Дон-Кихот был чрезвычайно удивлен свойством и способностями головы и даже не поверил Дон Антонио. Но видя, что остается очень мало времени до предстоящего опыта, он ничего не стал говорить ему, кроме того, что очень благодарен ему за открытие такой великой тайны. Они вышли из комнаты, Дон Антонио запер дверь на ключ, и они вернулись в гостиную, где их ожидали остальные дворяне, которым Санчо пока успел рассказать приключения, случившиеся с его господином.

Когда наступил вечер, Дон-Кихота повели гулять, не вооруженного, а в городском платье: в рыжем суконном плаще на плечах, от которого в это время года вспотел бы даже лед. Лакеям поручено было развлекать Санчо, так чтоб он ни в каком случае не вышел из дому. Дон-Кихот сидел верхом не на Россинанте, а на громадном муле с плавной поступью и в богатой упряжи. На рыцаря накинули плащ и незаметно для него прицепили к его спине пергамент, на котором написано было крупными буквами: «Вот Дон-Кихот Ламанчский». Как только он выехал, надпись стала обращать на себя внимание всех прохожих, а там как они читали: «Вот Дон-Кихот Ламанчский», то Дон-Кихот чрезвычайно удивлялся, что все взглядывавшие на него узнавали его и называли по имени. Он обернулся к ехавшему рядом с ним Дон Антонио и сказал: – Великое преимущество заключает в себе странствующее рыцарство, если делает известным того, кто им занимается, и прославляет его по всем странам мира. Смотрите сами, Дон Антонио: меня здесь знают все до последнего мальчишка, хотя никогда не видали меня прежде. – Так и должно быть, господин Дон-Кихот, – ответил Дон Антонио. Как огня нельзя ни запереть, ни спрятать, так и доблесть не может не сделаться известной; а та, которая проявляется в военной профессии, блесит и сияет более всякой другой.



Случилось так, что в то время как Дон-Кихот ехал среди таких приветствий, один кастилец, прочитав надпись на его спине, приблизился к нему и сказал ему прямо в лицо: – Черт возьми Дон-Кихота Ламанчского! Как ты мог доехать сюда, не умерев под бесчисленным множеством палочных ударов, которые сыпались на твои плечи? Ты сумасшедший, и если бы тебя убрали и заперли одного в сумасшедший дом, беда была бы не велика, но ты обладает заразительным свойством делать сумасшедшими всех, кто с тобой имеет дело, посмотреть хоть на этих господ, которые тебя сопровождают. Убирайся, дурак, возвращайся к себе; смотри за твоим добром, твоей женой и твоими детьми и оставь там эту чепуху, которая точит твой мозг и иссушает твой разум. – Братец, – отвечал Дон Антонио, – ступайте своею дорогой и не суйтесь с советами к тем, кто у вас их не спрашивает, господин Дон-Кихот в полном своем уме, а мы, его сопровождающие, не дураки. Доблесть должна быть чтима, где бы она ни встречалась. А теперь, не ровен час, ступайте и старайтесь не соваться туда, куда вас не зовут. – Клянусь Богом, ваша милость правы, – отвечал кастилец, – потому что давать советы этому молодцу то же, что идти с кулаком против рогатины. И все-таки я с большим сожалением смотрю на то, что ум, который, говорят, проявляется этим дураком повсюду, пропадает и расходуется на глупое странствующее рыцарство. Но пусть злой час, которым ваша милость меня провожаете, станет достоянием моим и всех моих потомков, если когда-нибудь, хоть проживу Мафусаиловы годы, я дам кому-нибудь совет, когда его у меня даже попросят.

Советчик исчез, и прогулка продолжалась. Но читать надпись сбежалось столько мальчишек и всякого рода людей, что Дон Антонио вынужден был снять ее со спины Дон-Кихота, как будто бы он снял совсем другую вещь. Ночь наступила, и они возвратились домой, где оказалось большое собрание дам;<sup>[298]</sup> потому что жена Дон Антонио, которая была знатной дамой, красивой, приветливой и веселой, пригласила нескольких своих подруг, чтобы почтить своего гостя и позабавиться странными его выходками. Большинство из них пришли. После блистательного ужина, бал начался в десять часов вечера. Между дамами были две с умом игривым и насмешливым: будучи честными, они были несколько легкомысленны, и шутки их забавляли, не раздражая, они так принуждали Дон-Кихота танцевать, что изнурили не только его тело, но и самую душу. Странно было видеть фигуру Дон-Кихота, длинную, тощую, сухую, с желтой кожей, стесненную платьем, вялую и далеко не подвижную. Девушки украдкой делали ему глазки и объяснялись в любви, а он, то же как бы украдкой, презрительно отвечал на их заигрывания. Наконец, увидав себя

осажденным и окруженным столькими кокетками, он возвысил голос и воскликнул: – *Fugite, partes adversae*,<sup>[299]</sup> оставьте меня в покое, неуместные мысли; успокойте, сударыни, свои желания, потому что та, которая царит над моими желаниями, несравненная Дульцинея Тобозская, не допускает победы и покорения меня другими, кроме ее самой. – Сказав это, он сел на пол среди залы, разбитый и утомленный столь сильным напряжением.

Дон Антонио велел на руках отнести его в постель, и Санчо первый кинулся исполнять приказание. – Ей-ей, господин мой хозяин, – сказал он, – вы хорошо отделались. Вы воображали, что все храбрецы должны быть хорошими танцорами и что все странствующие рыцари могут делать антраша? Клянусь Богом, что если вы это думали, то вы очень ошибались. Бывают люди, которые скорее осмелятся убить великана, нежели сделать прыжок. Ах, если бы дело шло об игре в туфлю, я бы вас отлично заменил, потому в ударах пяткой себе в зад мне нет равного. А в других танцах я ничего не понимаю. – Этими речами и еще другими Санчо насмешил все общество; потом он отправился уложить в постель своего господина и укрыл его хорошенько, чтобы он пропотел после освежительных напитков, употребленных на балу.

На другой день Дон Антонио счел удобным совершить опыт с заколдованной головой. В сопровождении Дон-Кихота, Санчо, двух других друзей и двух дам, которые так удачно изнурили Дон-Кихота на балу и которые переночевали у жены Дон Антонио, он заперся в комнате, где была голова. Он объяснил присутствующим ее особенность, попросил их соблюсти тайну и сказал им, что сегодня он первый раз испытывает силу этой заколдованной головы.<sup>[300]</sup> За исключением двух друзей Дон Антонио, никто не знал тайны колдовства, а если бы Дон Антонио не раскрыл ее заранее своим друзьям, они бы так же не могли воздержаться от удивления и поражения, как и остальные, так искусно и с таким совершенством была смастерена машина.

Первым приблизился к уху головы сам Дон Антонио. Он сказал пониженным голосом, но не столько тихо, чтобы его не слышали все остальные: – Скажи мне, голова, силою, которою ты обладаешь, какие у меня сейчас мысли? – И голова, не шевеля губами, но голосом ясным и разборчивым, так что все могли ее слышать, отвечала: – Я мыслей не разбираю. – При этом ответе все присутствующие обомлели, видя, что ни в комнате, ни вокруг стола не было ни одной человеческой души, которая могла бы отвечать. – Сколько нас здесь? – спросил Дон Антонио. – Вас здесь, – раздалось в ответ медленно и в таком же роде, – ты и твоя жена, с

двумя твоими друзьями и двумя ее подругами, а также один славный рыцарь по имени Дон-Кихот Ламанчский и один его оруженосец, носящий имя Санчо Панса. – Тут удивление удвоилось, тут волосы дыбом поднялись у всех присутствующих. Дон Антонио отошел от головы. – Этого, – сказал он, – достаточно, чтобы убедить меня, что я не был обманут тем, кто тебя продал, голова ученая, голова говорящая, голова отвечающая и голова удивительная. – Так как женщины обыкновенно нетерпеливы и все хотят видеть и знать, то первую приблизилась к голове одна из подруг жены Дон Антонио. – Скажи мне, голова, – спросила она ее, – что мне делать, чтобы быть очень красивою? – Будь очень честною! – последовал ответ. – Я этого и хочу, – заметила спрашивающая, ее подруга тотчас подбежала и сказала: – Я хотела бы знать, голова, сильно меня муж любит или нет. – Следи за тем, как он себя ведет, – отвечала голова, – и ты узнаешь его любовь по его действиям. – Замужняя дама отошла со словами: – Этот ответ не требовал вопроса, потому что действительно действия свидетельствуют о степени любви того, кто их совершает. – Один из друзей Дон-Кихота приблизился и спросил: – Кто я такой? – Ответ был: – Ты это знаешь. – Я не об этом спрашиваю, – возразил спрашивавший, – а хочу, чтобы ты сказала, знаешь ли ты меня. – Да, я тебя знаю, – последовал ответ, – ты Дон Педро Норис. – Мне больше и не нужно знать, – заметил Дон Педро, – потому что для меня этого достаточно, голова, чтобы понять, что ты все знаешь. – Он удалился; другой друг подошел и спросил в свою очередь: – Скажи мне, голова, какое желание у моего сына, наследника майората? – Я уже сказал, – был ответ, – что я не разбираю желаний; но я могу тебе сказать, что желания твоего сына состоят в том, чтобы тебя схоронить. – Это так, – сказал спрашивавший, – это я вижу собственными глазами, могу указать пальцами; мне больше не о чем спрашивать.

Жена Дон Антонио приблизилась и сказала: – В сущности, голова, я не знаю, что у тебя спросить и только хотела бы знать от тебя, долго ли останется в живых мой добрый муж, – Да, долго, – получила она в ответ, – потому что его здоровье и его уверенность обещают долгие годы жизни, тогда как многие люди сокращают свою жизнь распутством.

Наконец, Дон-Кихот приблизился и сказал: – Скажи мне, ты, отвечающая, правда ли, сон ли то, что я рассказываю о происшедшем со мною в пещере Монтезиноса? До конца ли дойдут удары, которые наносит себе мой оруженосец Санчо? Удастся ли Дульцинее освободиться от чар? – Что касается истории с пещерой, – последовал ответ, – то об этом много можно сказать. В ней есть все – и ложь, и правда; удары Санчо будут идти медленно; освобождение Дульциinei от чар достигнет полного своего

осуществления. – Я больше ничего не хочу знать, – сказал Дон-Кихот. – Лишь бы мне увидеть Дульцинею освобожденную от чар, и я поверю, что всевозможное желанное счастье сразу свалится на меня.

Последним вопрошателем был Санчо, и вот что он спросил: – Будет у меня, голова, другое губернаторство? Выйду я когда-нибудь из жалкого положения оруженосца? Увижу я свою жену и детей? – Ему было отвечено: – Ты будешь губернаторствовать в своем доме, и если в него возвратишься, то увидишь свою жену и детей, а если перестанешь служить, то перестанешь быть оруженосцем. – Черт возьми, вот так-так! – воскликнул Санчо. – Я бы и сам мог себе это сказать, и пророк Перо-Грульо не сказал бы лучше.<sup>[301]</sup> – Глупое ты животное, – заметил Дон-Кихот, – какого еще ответа тебе нужно? Разве недостаточно, что ответы этой головы сходятся с тем, о чем ее спрашивают? – Конечно, достаточно, – отвечал Санчо, – но я бы, впрочем, желал, чтобы она объяснилась лучше и сказала мне больше.

На этом кончились вопросы и ответы, но не окончилось удивление, унесенное всеми присутствующими кроме двоих друзей Дон Антонио, которые звали тайну этого дела. Тайну эту Сид Гамед Бен-Энгели намерен тут же объяснить, чтобы не оставлять всех в недоумении и не дать подумать, что в голове заключалось какое-либо колдовство, какая-либо сверхъестественная тайна. Дон Антонио Морено, говорит он, в подражание голове, которую он видел в Мадриде, у одного фабриканта статуй, велел сделать такую же у себя дома, чтобы забавляться на счет невежд. Механизм был очень прост. Верхняя доска на столе была сделана из дерева разрисованного и лакированного в подражание яшме, так же как поддерживавшая ее подножка и орлиные когти, которые в числе четырех служили столу основанием. Голова, цвета бронзы, изображавшая бюст римского императора, была совершенно пустая, равно как и столешница, к которой она была прикреплена так хорошо, что место скрепления не было заметно. Ножка стола, тоже совершенно пустая, наверху сходилась с грудью и шеей бюста, а внизу с другим пустым пространством, которое находилось на одной линии с головой. Чрез пустоту ножки стола и груди бюста проходила жестяная трубка, хорошо прикрепленная и никому не видимая. В нижней камере, сообщавшейся с верхней, поместился тот, кто должен был отвечать; он прикладывал к трубке то ухо, то рот, так что, как чрез слуховую трубку, звуки сверху в низ и с низу в верх проходили с такой ясностью и членораздельностью, что ни одно слово не пропадало. Таким образом, было невозможно открыть хитрость. Одному студенту, племяннику Дон Антонио, юноше осмысленному и умному, были поручены ответы, а так как дядя дал ему сведения о лицах, которые должны

были вместе с ним войти в комнату головы, то ему было легко отвечать без колебания и точно на первый вопрос, а на остальные он отвечал по догадке со смыслом, как человек осмысленный.

Сид Гамед прибавляет, что эта чудесная машина действовала десять или двенадцать дней, но так как в городе распространялся слух, что у Дон-Антонио есть волшебная голова, которая отвечает на обращенные к ней вопросы, то он испугался, как бы слух не дошел до ушей бдительных стражей нашей веры. Он отправился к господам инквизиторам объяснить, в чем дело, и они приказали снять голову со стола и не пользоваться ею более, из опасения, чтобы невежественная чернь не подняла скандала. Но во мнении Дон-Кихота и Санчо Панса голова осталась волшебною, отвечающею и размышляющею, к большому удовольствию Дон-Кихота, нежели Санчо. <sup>[302]</sup>

Городское дворянство, в угоду Дон-Антонио и в честь Дон-Кихота, а также и с целью дать последнему случай публично проявить свои странности, постановило чрез шест дней после того устроить бег, но этот бег не состоялся по причине, о которой я скажу позже.

Между тем Дон-Кихоту пришла фантазия обойти город, но пешком и не вооруженным, из опасения, что если он выедет верхом, мальчишки и праздный люд кинутся за ним. Он вышел с Санчо и двумя другими слугами, которых дал ему Дон-Антонио. Случилось так, что, проходя по одной улице, Дон-Кихот поднял глаза и увидал на одной двери надпись крупными буквами: Здесь печатаются книги. Эта находка доставила ему большое удовольствие, потому что до этих пор он не видел ни одной типографии, а ему очень хотелось знать, что это такое. Поэтому он вошел туда со всею своею свитой и увидал, как набирают, печатают, исправляют, кладут в формы и вообще все то, что делается в больших типографиях. Дон-Кихот подошел к одной кассе и спросил, что тут делают, рабочий объяснил ему; рыцарь посмотрел и вошел дальше. Между прочим, он подошел к одному наборщику и спросил его, что он делает. — Сударь, — отвечал рабочий, указывая на человека приятной наружности и серьезного вида, — этот господин перевел итальянскую книгу на наш кастильский язык, а я ее теперь набираю, чтоб предать ее печати. — Как заглавие этой книги? — спросил Дон-Кихот. Тогда заговорил автор: — Сударь, — сказал он, — эта книга по-итальянски называется *le Bagatelle*. — А что по нашему значит *le Bagatelle*? — спросил Дон-Кихот. — *Le Bagatelle*, — опять заговорил автор, — значит Пустяки, но, несмотря на свое скромное заглавие, она заключает в себе очень хорошие и очень существенные вещи. — Я знаю немного итальянский язык, — сказал Дон-Кихот, — и могу похвастать тем,

что пою некоторые стансы из Ариоста. Но скажите мне, сударь (я говорю это не для испытания ума вашей милости, а из одной любознательности), встретили вы в своем оригинале слово *pignata*? – Да, несколько раз, – отвечал автор. – А как переводите вы его по-кастильски? – спросил Дон-Кихот, – как же перевести его иначе, – отвечал автор, – как не словом котел? – Черт возьми, – воскликнул Дон-Кихот, – как вы далеко ушли в тосканском наречии! Я готов побиться об заклад на что угодно, что там, где итальянец говорит *riase*, ваша милость ставите нравится, и что *riu* вы переводите больше, *su* – вверх, а *giu* – вниз. – Именно так, – сказал автор, – потому что это совершенно соответствующие понятия. – Ну, так я готов поклясться, – воскликнул Дон-Кихот, – что вы неведомы миру, который всегда медлителен в вознаграждении расцветших умов и достохвальных трудов. О, сколько погибших талантов! сколько осмеянных добродетелей! сколько зарытых гениев! Притом мне кажется, что переводить с одного языка на другой, кроме царей всех языков – греческого и латинского, то же что разглядывать фландрские ковры с изнанки. Фигуры, конечно, видны, но они наполнены нитями, которые их стушевывают, и не имеют ни той ровности, ни того цвета, что лицевая сторона. Впрочем, чтобы переводить с языка легкого и почти схожего со своим, не нужно ни ума ни слога более того, какие требуются для переписывания и списывания с одной бумаги на другую и тем не менее не хочу сказать этим, чтоб ремесло переводчика не было весьма похвально, потому что человек может заниматься гораздо более дурными делами и менее прибыльными.<sup>[303]</sup> Из их числа надо впрочем исключил двух знаменитых переводчиков Кристоваля де Фигероа с его *Pastor Fido*, и Дон Хуана де Хаурегу с его *Аминтой*, в которых и тот и другой необычайно удачно заставляют усомниться в том, где перевод и где оригинал.<sup>[304]</sup> Но скажите мне, пожалуйста, книга эта печатается на ваш счет или вы продали право какому-нибудь книгопродавцу? – Она печатается на мой счет, – отвечал автор, – и я рассчитываю заработать на этом первом издании по меньшей мере тысячу дукатов. Она будет издана в двух тысячах экземпляров, и они разойдутся по шести реалов штука, в один миг. – Ваша милость, мне кажется, ошибаетесь в расчете, – заметил Дон-Кихот. – Видно, что вы не знакомы с уловками типографов и не знаете, что они между собою в стачке. Я вам предсказываю, что если у вас окажется две тысячи экземпляров одной книги, они так отдавят вам плечи, что вы сами в ужас придете, особенно если в книге мало соли, и если она не имеет большого значения. – Так что же! – воскликнул автор, – вы хотите, чтобы я подарил ее какому-либо книгопродавцу, который даст мне за нее

три мараведиса и еще будет думать, что оказал мне большую милость, давая мне столько?<sup>[305]</sup> – Ни за что; я издаю книги не за тем, чтобы приобрести имя в свете, потому что, слава Богу, я уже известен чрез мои творения. Я ищу выгоды, без которой слава не стоит ни одного обولا. – Дай вам Бог счастья! – отвечал Дон-Кихот и подошел к другой кассе. Он увидал, что там исправляют страницу книги под заглавием Свет души.<sup>[306]</sup> – Вот, – сказал он, – книги, которые должно печатать, хотя и много уже есть книг этого рода, потому что много есть грешников, нуждающихся в этом и свет особенно нужен тем, у кого его нет. – Он отправился дальше я увидал, что исправляют еще одну книгу. Он спросил ее заглавие. – Это вторая часть Хитроумного гидальго Дон-Кихота Ламанчского, составленная каким-то гражданином Тордезильяса, – отвечали ему, – А, я знаю уже эту книгу, – сказал Дон-Кихот, – и я по совести думал, что она уже сожжена и обращена в пепел за свои нелепости. Но и для нее, как для всякой свиньи, наступит свой день св. Мартина.<sup>[307]</sup> Выдуманная история тем лучше, чем приятнее, чем ближе они к истине или к правдоподобию, а истинные уже тем лучше, что они истинны. – Сказав это и выказав некоторую досаду, он вышел из типографии.

В тот же день Дон Антонио решил повезти его смотреть галеры, стоявшие у берега, к большому удовольствию Санчо, который не видел их ни разу в жизни. Дон Антонио уведомил начальника галерной эскадры, что после полудня он приведет к нему своего гостя, знаменитого Дон-Кихота Ламанчского, которого уже знали и начальник эскадры, и все городские граждане. Но то, что произошло во время этого посещения, будет рассказано в следующей главе.



## ГЛАВА LXIII

### О плохом результате посещения галер для Санчо и о новом приключении с прекрасной Мориской

Дон-Кихот долго размышлял об ответах волшебной головы, но ни одна из его догадок не доходила до подозрения, что дело основано на мошенничестве; а напротив, все они останавливались на обещании, в его глазах несомненном, что Дульцинея освободится от чар. Он только и делал, что расхаживал и радовался про себя, ожидая скорого исполнения этого обещания. Что касается Санчо, то хотя он возненавидел обязанности губернатора, как сказано было раньше, но все-таки желал снова попасть еще раз в такое положение, чтобы иметь право приказывать и чтобы ему повиновались, потому что таково сожаление, какое оставляет после себя всякое командование, хотя бы и шуточное.

Наконец, когда назначенный час наступил, Дон Антонио и оба его друга отправились с Дон-Кихотом и Санчо осматривать галеры. Начальник эскадры, предупрежденный об их визите, ожидал обоих знаменитых людей, Дон-Кихота и Санчо. Едва лишь появились они на набережной, как на всех галерах опустили тенты и затрубили в рога. В то же время на воду был спущен ялик, покрытый богатыми коврами и убранный подушками из алого бархата. Только что Дон-Кихот ступил на ялик, как с главной галеры, раздался пушечный выстрел, который был повторен остальными галерами; затем, когда Дон-Кихот взошел на палубу с правой лестницы, все каторжники приветствовали его, как приветствовали обыкновенно высокопоставленных лиц при посещении имя галеры, троекратным кликом: Гу, гу, гу!<sup>[308]</sup> Генерал (так мы будем его называть), который был дворянином родом из Валенсии,<sup>[309]</sup> подошел приветствовал его: Он обнял Дон-Кихота и сказал ему: – Я отмечу этот день белым камнем, потому что это один из счастливейших дней, какими я пользовался в своей жизни, так как я видел господина Дон-Кихота Ламанчского, в котором сияет и сосредоточивается весь блеск странствующего рыцарства. – Дон-Кихот, восхищенный столь почетным приемом, отвечал ему в словах не менее учтивых. Они оба взошли в каюту на корме, изящно меблированную, и уселись на скамьях планшира. Смотритель над каторжниками вышел на пространство между деками и свистком дал каторжникам звать, чтобы они сняли с себя плащи, что и было немедленно исполнено. Санчо, увидав



столько совершенно голых людей, разинул рот, но еще более расширял его, когда тент подняли с такой быстротой, как будто бы все дьяволы принялись за дело. Но все это было ничтожно в сравнении с тем, что я сейчас скажу. Санчо сидел на эстантероле или корковом столбе, близ первого гребца на первой скамейке. Наученный заранее, гребец схватил Санчо и, подняв его на своих руках, тогда как все каторжники стояли на ногах и наготове, передал его следующему гребцу, и бедный Санчо тотчас стал перелетать из рук в руки, со скамьи на скамью, с такой быстротой, что перестал видеть и подумал, что его черти взяли. Каторжники не оставили его в покое до тех пор, пока левой стороной не принесли его обратно к корме, где он остался распростертый, еле дышащий, покрытый крупными каплями нота и не понимая, что с ним произошло. Дон-Кихот, увидав полет Санчо без крыльев, спросил генерала, есть ли это одна из церемоний, которыми приветствуют на галерах вновь прибывших. – Что касается меня, – прибавить он, – то так как я не имею никакого желания заняться этим ремеслом, то не хочу я исполнять подобное упражнение; и, клянусь Богом, что если кто-нибудь дотронется до меня, чтобы заставить меня летать по воздуху, то я вырву из него душу ударами ног по животу. – С этими словами он поднялся с места и сжал рукой свой меч.

В эту минуту тент спустили и большую мачту опрокинули с ужасающим шумом, Санчо подумал, что небо соскочило со своих петель и обрушивается на его голову, так что, весь в ужасе, он спрятал голову между ног. Сам Дон-Кихот не сумел сохранить хладнокровия: он тоже задрожал, сдвинул плечи и побледнел. Каторжники подняли мачту с такой же быстротой и шумом, какой она сама прежде производила, но в полном молчании, как будто у этих людей не было ни голосов, ни дыхания. Смотритель дал сигнал поднять якорь и, бросившись на середину палубы, с плетью из бычачьих жил в руке, он принялся бить каторжников по плечам, и галера тотчас же вышла в море.

Санчо сказал про себя, когда увидал, как все эти красные ноги, какими ему казались весла, поднялись зараз. – Вот действительные чудеса, а не те, о которых рассказывает мой господин. Но что, такое сделали эти несчастные, что их так стегают? И как этот человек, расхаживающий себе со свистом, имеет смелость один бить стольких людей? Ах, я уверен, что здесь именно ад или, по меньшей мере, чистилище. – Дон-Кихот, увидав, с каким вниманием Санчо смотрел на происходящее, поспешил сказать ему: – Ах, Санчо, друг мой, с какой легкостью и с какой быстротой вы могли бы, если бы захотели, раздеться от пояса до шеи и поместиться между этими господами, чтобы покончить с освобождением Дульцинеи от чар! Среди

мук и страданий стольких людей вы бы не очень почувствовали ваши собственные страдания. Возможно, что мудрый Мерлин счел бы каждый из этих ударов плетью, нанесенных сильной рукой, за десять тех ударов, которые вам еще остается нанести себе.

Генерал хотел спросить, что это за удары плетью и что за освобождение от чар, как вдруг вахтенный закричал: – Форт Монхуичский подает сигнал, что к западу у берега находится одно весельное судно. – При этих словах генерал соскочил с междупалубного пространства: – Вперед, дети, – сказал он, – чтобы оно от нас не ушло. Это должна быть об алжирском разбойничьем брига говорить часовой на верху мачты. – Три другие галеры приблизились к главной, чтобы узнать, что им надлежит делать. Генерал приказал двум из них идти в открытое море, тогда как он с оставшейся галерой пойдет вдоль берега, чтобы бриг не мог ускользнуть от них. Каторжники налегли на весла, с такой силой подвигая этим галеры, что они, казалось, летели по воде. Галеры, ушедшие в открытое море, милях в двух расстояния увидели судно, которое с первого взгляда показалось четырнадцати или пятнадцативесельным, что и было верно. Заметив приближение галер, судно это стало удаляться с намерением и надеждой скрыться благодаря своей легкости. Но это ему не особенно удалось, потому что главная галера была одним из быстроходнейших морских судов. Она так быстро шла вперед, что люди с брига тотчас увидели, что им не спастись. Поэтому арразэ<sup>[310]</sup> приказал оставить весла и сдаться, чтобы не раздражить командующего нашими галерами. Но судьба распорядилась иначе: в ту минуту, как главная галера подошла так близко, что бывшие на брига слышали, как им кричали, чтобы они сдались, двое пьяных турок, находившихся на брига с двенадцатью другими турками, выстрелили из своих пицалей и смертельно ранили двоих из наших матросов, находившихся на обшивной доске. Увидав это, генерал поклялся, что не оставит в живых ни одного из людей, которых найдет на брига. Он с бешенством напал на него, но маленькое судно увернулось от удара, галера ушла от него вперед на несколько узлов. Считая себя погибшими, люди на брига развернули паруса, пока галера поворачивала обратно, потом, под парусами и веслами, стали снова спасаться бегством. Но их старания не могли помочь им настолько, насколько повредила им их дерзость, потому что главная галера настигла их в полумиле расстояния, притянула бриг к себе веслами и всех захватила живыми. Другие галеры подошли в ту же минуту, и все вместе вернулись со своей добычей к берегу, где их ожидало множество народа, интересовавшегося тем, что они привезли. Генерал

бросил якорь недалеко от берега и заметил, что вице-король города<sup>[311]</sup> находится на пристани. Он велел спустить ялик на воду, чтобы отправить его за вице-королем, поднять мачту, чтобы повесить на ней арраэца и других турок, взятых на бриге, число которых достигало тридцати шести: все они были красивые люди, и большинство из них – с ружьями.

Генерал спросил, кто был арраэцом на бриге; один из пленных, в котором потом узнали испанского ренегата, отвечал по-кастильски: – Этот молодой человек, господин, которого ты так видишь, и есть ваш арроэц, – и он указал на самого красивого и самого милого мальчика, какого человеческое воображение способно себе представить. Ему, по-видимому, не было и двадцати лет. – Скажи мне, безрассудная собака, – спросил его генерал, – кто тебя понудил убить моих солдат, когда ты видел, что спастись невозможно? Как ты осмелился оказать такое неуважение главной галере? Разве ты не знаешь, что дерзость не храбрость? Сомнительные надежды могут сделать человека отважным, но не дерзким.

Арраэц хотел ответить, но генерал не дождался его ответа, потому что побежал встречать вице-короля, который вступил на галеру в сопровождении нескольких из своих подчиненных и других лиц из города. – Вы поймали хорошую добычу, господин генерал! – сказал вице-король. – Очень хорошую, действительно, – отвечал генерал, – и ваше превосходительство увидите ее повешенною на этой мачте. – Почему повешенною? – спросил вице-король. – Потому что они убили, – отвечал генерал, – противно всяким законам, всякому основанию и всякому обычаю, двух лучших моих солдат, какие когда-либо были на галерах, поэтому я поклялся вздернуть на виселицу всех, кого я возьму, особенно же этого молодого парня, который был арраэцом на бриге. – При этом он указал на молодого человека со связанными руками и с веревкой на шее, ожидающего смерти. Вице-король взглянул на него и, увидав такого красивого, так хорошо сложенного и столь покорного судьбе мальчика, почувствовал себя тронутым жалостью, и у него явилось желание спасти его. – Скажи мне, арраэц, – спросил он его, – какой ты нации? Турок, мавр или ренегат? – Я ни турок, – отвечал юноша по-кастильски, ни мавр, ни ренегат. – Кто же ты? – продолжал вице-король. – Женщина христианка, – отвечал юноша. – Женщина христианка в таком наряде и в таком деле! Этому можно удивиться, но поверить никак нельзя! – Отложите, о господи, – заговорил снова юноша, – отложите мою казнь; вы ничего не потеряете, если отсрочите свою месть на то короткое время, которое понадобится для рассказа о моей жизни. – У кого могло быть столь жесткое сердце, чтобы не смягчиться от этих слов, по крайней мере, настолько,

чтобы выслушать, что скажет этот молодой человек? Генерал отвечал, что он может говорить, что хочет, но чтобы он не надеялся добиться прощения за столь явный проступок. Получив это позволение, молодой человек начал так:

– Я принадлежу к той более несчастной, нежели благоразумной нации, на которую в последнее время дождем сыплются несчастья. Мои родители мориски. Во время ваших бедствий меня увезли двое моих дядей в Берберию, и мне не помогло, что я говорила, что я христианка, каковою я и есть на самом деле, не из тех, которые притворяются христианами, а из самых искренних и самых благочестивых. Я тщетно говорила эту правду: люди, которым поручено было выселить нас, не слушали меня, как не хотели этому верить и мои дяди; они приняли это за ложь, выдуманную с целью остаться в стране, где я родилась. Таким образом, они увезли меня насильно, против моей воли. Моя мать была христианка, и отец имел благоразумие быть им, я с молоком матери всосала в себя католическую веру: я была воспитана в доброй нравственности; никогда ни по языку, ни по обычаям, мне кажется, я не выдавала, что я мориска. В то же время эти добродетели, потому что я считаю это добродетелями, увеличивали и мою красоту, если она у меня есть, и хотя я росла в уединении, но не в очень строгой замкнутости, так что у меня был случай увидеть одного молодого человека по имени Гаспар Грегорио, старшего сына одного дворянина, имение которого было совсем поблизости от нашей деревни. Как мы увидались, как поговорили, как он безумно влюбился в меня, а я почти так же в него, это было бы слишком долго рассказывать, особенно потому, что я боюсь, как бы угрожающая мне жестокая веревка не отделила моего языка от моего горла. Я скажу только поэтому, что Дон Григорио хотел последовать за мною в нашу ссылку. Он замешался в среду морисков, изгнанных из других мест, потому что очень хорошо знал их язык, и во время этого путешествий сдружился с обоими дядями, которые увозили меня с собою. Мой отец, человек осторожный и догадливый, при первом слухе о приказе относительно нашего изгнания, покинул страну и стал искать для нас убежища в иностранных государствах. Он зарыл в земле, в таком месте, которое знаю одна лишь я, много драгоценных камней и жемчужин большой ценности, а также крузад и дублонов на большую сумму. Он приказал мне не дотрагиваться до сокровищ, которые он оставляет, в случае если нас вышлют раньше, нежели он возвратится. Я повиновалась ему и последовала в Берберию со своими дядями, другими родственниками и знакомыми. Бежали мы в Алжир, а это то же самое, как если бы мы вздумали искать прибежище в самом аду. Дей услышал, что и

хороша; слух донес ему и славу о моих богатствах, и последнее послужило мне к счастью. Он призвал меня к себе и спросил меня, в какой части Испании я родилась и какие деньги и какие драгоценности привезла с собой. Я ему назвала свою родину и прибавила, что деньги и драгоценности остались зарытыми в землю, но что их легко будет получить, если я сама за ними отправлюсь. Я сказала это затем, чтобы его алчность ослепила его больше, нежели моя красота. Во время этого разговора ему пришли сказать, что меня сопровождал один из прекраснейших молодых людей, какого только можно себе представить. Я тотчас догадалась, что речь идет о Дон Гаспаре Грегорио, красота которого действительно превосходит все, что наиболее превозносится. Дей отдал приказ, чтобы его немедленно привели к нему, и спросил меня, правда ли то, что говорят об этом молодом человеке. Но я, как будто само небо внушило мне, отвечала ему, не колеблясь: – Да, это правда; но я должна вам сказать, что это не юноша; это такая же женщина, как и я. Позвольте мне, умоляю вас, отправиться и одеть ее в ее природное платье, чтобы она без стеснения появилась пред вами. – Он отвечал, что согласен и что на другой день мы обсудим средства к тому, чтобы мне отправиться в Испанию за зарытыми сокровищами. Я поспешила к Гаспару, чтобы поговорить с ним, я рассказала ему, какая ему грозит опасность, если он явятся к ней в мужском платье. Я одела его женщиной мавританкой и в тот же вечер отвела его к ней, который пришел от него в восторг и решил удержать у себя эту молодую девушку, чтобы принести ее в подарок турецкому султану. Но чтобы освободить ее от опасности, которой она могла подвергнуться даже от него самого в серале его женщин, он приказал, чтобы ее отдали на хранение и к услугам знатных мавританских дам, к которым Дон Грегорио и был тотчас отведен. О горе, которое мы оба при этом испытали, потому что я не могу отрицать, что люблю его, и предоставляю судить людям, которым приходилось расставаться, нежно любя друг друга. Дей тотчас после того решил, что я возвращусь в Испанию на бриге, в сопровождении тех самых двух турок, которые убили ваших солдат. Меня сопровождал также и этот испанский ренегат, – продолжала она, указывая на того, который говорил первым, – от которого я знаю, что он христианин в глубине своей души и что едет он с желанием скорее остаться в Испании, нежели возвратиться в Берберию. Остальной экипаж состоит из турок и мавров, которые служат только для гребли. Оба турка, дерзкие и жадные, вопреки приказу высадить нас, меня и этого ренегата, на землю на первом испанском берегу и в христианской одежде, которою нас снабдили, захотели сперва пристать к этому побережью и

захватить, если можно, какую-либо добычу, опасаясь, если они сперва спустят нас на землю, чтоб с вами не случилось чего-нибудь такого, что открыло бы, что судно их лежит в дрейфе, и их не взяли бы тотчас в плен, если у берега окажутся галеры. Вчера вечером мы подошли к этому берегу, не зная об этих четырех галерах, сегодня нас открыли, и с нами произошло то, что вы видели. В конце концов, Грегорио остается в женской одежде между женщинами и в неминуемой опасности для своей жизни, а я нахожусь здесь со связанными руками, ожидая смерти, которая избавит меня от страданий. Вот, господа, конец этой плачевной истории, столь же истинной, сколько и исполненной бедствий. Я прошу вас об одной милости: дайте мне умереть христианкой, потому что, как я сказала, я отнюдь не разделяю вины моих соплеменников. – После этих слов она замолчала, с глазами полными горьких слез, к которым примешался плач большинства присутствующих.

Взволнованный и растроганный, вице-король приблизился к ней, не говоря ни слова, и собственными руками развязал веревку, которою были связаны прекрасные руки христианки-мориски. Во все время, пока она рассказывала свою странную историю, один старый пилигрим, вошедший на галеру в свите вице-короля, не спускал с нее своих глаз. Только что она перестала говорить, как он бросился на колени, обхватил руками ее ноги и голосом, прерывавшимся от тысячи вздохов и тысячи рыданий, воскликнул: – О, Ана Феликс, дочь моя, моя несчастная дочь! Я твой отец Рикоте. Я возвратился, чтобы разыскать тебя, потому что не могу жить без тебя, без тебя, моей души. – При этих словах Санчо открыл глаза и поднял голову, которую держал опущенной, размышляя о своей неудачной прогулке, и, посмотрев внимательно на пилигрима, узнал, что это был тот самый Рикоте, которого он встретил в день удаления своего с губернаторства, он узнал также и дочь его, которой развязали руки и которая целовала отца, смешивая свои слезы с его слезами. Отец сказал генералу и вице-королю: – Вот, сеньоры, вот моя дочь, более несчастная в своих приключениях, нежели в своем имени. Ее зовут Ана Феликс, а фамилия ее Рикоте; она так же известна своей красотой, как я моими богатствами. Я покинул отечество, чтобы найти убежище у чужих народов, и, нашедши его в Германии, я в одежде пилигрима и в сопровождении других германцев возвратился, чтобы разыскать свою дочь и отыскать богатства, которые там зарыл. Дочери я не нашел, а нашел лишь свою казну, которую и ношу с собою, а теперь после странных событий, о которых вы слышали, я нашел сокровище, которое делает меня более богатым, – нашел свою возлюбленную дочь. Если наша невинность, если ее

слезы и мои могут под защитою вашего правосудия открыть двери милосердию, то употребите их в нашу пользу, потому что у нас никогда не было намерения оскорблять вас и никогда мы не принимали участия в планах наших соплеменников, которые изгнаны по справедливости. – О, я хорошо знаю Рикоте, – сказал тут Санчо, – и я знаю, что он говорит правду о том, что Ана Феликс его дочь. А что касается всех этих приездов и отъездов, добрых и злых намерений, в это я не вмешиваюсь.

Все присутствующие были поражены этим странным событием. – Во всяком случае, – воскликнул генерал, – ваши слезы не дадут мне выполнить мою клятву. Живите, прекрасная Ана Феликс, столько лет, сколько назначено вам небом, и пусть наказание падет на тех дерзких и безрассудных, которые виновны действительно. – И он тотчас приказал повесить на мачте обоих турок, которые убили солдат. Но вице-король стал настоятельно просить его, чтобы он их не казнил, так как с их стороны здесь было больше безумия, чем храбрости. Генерал уступил желаниям вице-короля, потому что совершать месть хладнокровно дело трудное.

Затем поднят был вопрос о средствах к освобождений Гаспара Грегорио от опасности, в которой он находился. Рикоте предлагал для его освобождения более двух тысяч дукатов, которые были у него в жемчуге и драгоценностях. Были предложены и некоторые другие средства, но лучше всех оказалось средство, предложенное испанским ренегатом, о котором было говорено.

Он предложил отправиться в Алжир на каком-нибудь небольшом судне весел в шест, но с гребцами христианами, потому что он знал, где, когда и как можно будет высадиться, и знал также дом, в котором заключен был Дон Гаспар. Генерал и вице-король не решались довериться ренегату и в особенности доверить ему христиан, которые должны были исполнить обязанности гребцов. Но Ана Феликс ручалась за него, а Рикоте обязался заплатить за христиан выкуп, в случае если они будут преданы. Когда предложение их было принято, вице-король сошел на землю, а Дон Антонио Морено увел к себе мориску и ее отца, напутствуемый вице-королем, который поручал ему принять их и обращаться с ними со всевозможной заботливостью, предлагая помочь хорошему приему всем, что найдется у него в доме, до того сильны были расположение и любовь, пробужденные в его сердце красотой Аны Феликс.

## ГЛАВА LXIV

### **В которой рассказывается о приключении, причинившем Дон-Кихоту больше горя, чем все случившееся с ним в то-же время**

Жена Дон Антонио Морено, по словам истории, была очень довольна присутствием в ее доме Аны Феликс. Она приняла ее чрезвычайно любезно, столь же прельщенная ее прелестью, сколько обхождением, ибо мориска одинаково блистала красотой и умом. Все городские жители сбегались, как на набат, смотреть на нее и любоваться ею.

Дон-Кихот сказал Дон Антонио, что решение, принятое для освобождения Дон Грегорио, никуда не годится, что оно более опасно, чем целесообразно, и что лучше было бы, если б его самого отвезли с его оружием и конем в Берберию, откуда он вызвал бы молодого человека, не взирая на всю мусульманскую сволочь, как сделал Дон Ганферос со своей супругой Мелизендрой.

– Вспомните, – вмешался Санчо, слышавший эти слова, – что Дон Ганферос увез свою жену на суше и отвез ее во Францию сухим путем, тут же, если мы я утащим Дон Грегорио, как мы отвезем его в Испанию, когда посредине море?

– Против всего, кроме смерти, есть средство, – ответил Дон-Кихот: – судно подплывет в берегу, и мы сядем в него, хотя бы весь свет воспротивился этому.

– Ваша милость очень хорошо все устраиваете, – продолжал Санчо, – но от слова до дела еще далеко. Я стою за ренегата, который кажется мне хорошим человеком: и очень милосердного характера.

– К тому же, – прибавил Дон Антонио, – если ренегат не успеет в своем предприятии, так можно будет прибегнуть к другому средству и перевезти великого Дон-Кихота в Берберию.

Через два дня ренегат уехал на легком судне в шесть весел, снабженном храбрыми гребцами; а еще через два дня галеры направились на восток, причем генерал попросил вице-короля известить его о том, что будет сделано для освобождения Дон Грегорио, и о продолжении приключений Аны Феликс. Вице-король обещал исполнить его просьбу.

Однажды утром, когда Дон-Кихот выехал на берег погулять в полном вооружении, ибо, как уже не раз было говорено, его оружие было его



нарядом, а битва отдыхом,<sup>[312]</sup> он ни минуты не обходился без оружия, он увидал, что к нему приближается рыцарь, также вооруженный с головы до ног, с нарисованной на щите блестящей луной. Подойдя настолько близко, чтоб Дон-Кихот его мог слышать, он обратился к нему и громко сказал: – Доблестный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский, которого невозможно достаточно превозносить! Я рыцарь Белой Луны, имя которого ты, вероятно, припоминаешь по его неслыханным героическим подвигам. Я приехал померяться с тобой и испытать твои силы, с намерением заставить тебя признать и назвать мою даму, кто бы она ни была, несравненно более прекрасной, чем твоя Дульцинея Тобозская. Если ты сразу признаешь эту истину, то избежешь смерти, а я – труда тебе ее нанести. Если мы сразимся, и я останусь победителем, я не желаю другого удовлетворения, как того, чтоб ты, сняв оружие и отказавшись от поисков приключений, удалился в свою деревню на год, который ты проведешь, не беря в руки шпаги, в мире и покое, ибо этого требуют забота о твоей судьбе и спасение твоей души. Если я буду побежден, моя голова останется в твоей власти, мое оружие и мой конь станут твоей добычей, а слава моих подвигов присоединится к славе твоих. Подумай, что для тебя лучше, и ответь мне сейчас же, ибо у меня в распоряжении для этого дела всего только один сегодняшний день.

Дон-Кихот одинаково был ошеломлен сколько наглостью рыцаря Белой Луны, столько же и причиной его вызова. Он спокойным и суровым тоном ответил: – Рыцарь Белой Луны, подвиги которого еще не достигали до моего слуха, я заставляю вас поклясться, что вы никогда не видали знаменитой Дульцинеи. Я знаю, что если бы вы ее видели, то остереглись бы браться за это предприятие, ибо ее наружность разубедила бы вас и показала бы вам, что нет и не может быть красоты, подобной ее красоте. И так, не говоря, что вы лжете, но утверждая, что вы совершенно заблуждаетесь, я принимаю ваш вызов с условиями, которые вы поставили, и принимаю его сейчас же, чтоб не заставлять вас потерять назначенный вами день. Я исключаю из условий только одно – то, чтобы слава ваших подвигов была присоединена к славе моих, потому что мне неизвестно, ни что они такое, ни какого они рода, – да и каковы бы они ни были, с меня довольно и моих. Отмеряйте же сколько хотите поля и я сделаю то же самое, и да, благословит святой Петр то, что пошлет каждому из нас Бог.

В городе заметили рыцаря Белой Луны и донесли вице-королю, что он вступил в переговоры с Дон-Кихотом Ламанчским. Вице-король, думая, что это, вероятно, новое приключение, придуманное Дон Антонио Морено или каким-нибудь другим барселонским дворянином, сейчас же отправился на

побережье в сопровождении Дон Антонио и нескольких других дворян. Она пришли туда в ту самую минуту, как Дон-Кихот повернул лошадь, чтоб отмерять себе поле. Вице-король, видя, что оба бойца готовятся броситься один на другого, встал между ними и спросил, что за причина побудила их так внезапно вступить в бой. – Преимущества красоты, ответил рыцарь Белой Луны, и он вкратце повторил то, что сказал Дон-Кихоту, равно как условия дуэли, принятые обеими сторонами. Вице-король подошел в Дон Антонио и тихо спросил у него, знает ли он, кто этот рыцарь Белой Луны и не штуку ли это хотят сыграть с Дон-Кихотом. Дон Антонио ответил, что не знает, ни кто этот рыцарь, ни шуточная ли это дуэль или серьезная. Этот ответ сильно встревожил вице-короли: он не знал, позволить ли он продолжать битву или нет. Но, не допуская и мысли, чтоб это была не шутка, он отошел, сказал: – Господа рыцари, если нет середины между признанием и смертью, если господин Дон-Кихот несговорчив, а ваша милость, господин рыцарь Белой Луны, не хотите уступить, так с Богом, приступайте. – Рыцарь Белой Луны в учтивых выражениях поблагодарил вице-короля за данное им разрешение, и Дон-Кихот сделал то же. Последний, положившись на Бога и за свою Дульцинею, как обыкновенно делал перед предстоявшими ему битвами, отмерял себе небольшое поле, видя, что и противник его делает то же; затем, без сигнала, данного рогом или каким-нибудь другим военным инструментом, оба в одно время пустили лошадей. Но так как конь рыцаря Белой Луны был легче Россинанта, то он и подъехал к Дон-Кихоту, проехав две трети расстояния, и при этом так сильно толкнул его, не коснувшись его копьем, острие которого, по-видимому, нарочно поднял кверху, что опрокинул на землю и Россинанта, и Дон Кинхота. Приблизившись к нему и дотронувшись острием копья до его забрала, победитель сказал: – Вы побеждены, рыцарь, и даже умрете, если не признаете условий нашего поединка. – Дон-Кихот, ошеломленный и разбитый падением, ответил, не поднимая забрала, хриплым и скорбным голосом, исходившим как бы из глубины могилы: – Дульцинея Тобозская прекраснейшая в мире женщина, а я несчастнейший в мире рыцарь. Эта истина не должна пострадать от моего бессилия поддержать ее. Всади, рыцарь, всади свое копье и лиши меня жизни, лишив чести. – О, этого я, конечно, не сделаю! – вскричал рыцарь Белой Луны. Да здравствует, да здравствует вполне слава госпожи Дульцинеи Тобозской! Я хочу только одного: чтоб великий Дон-Кихот удалялся в свою деревню на год или на то время, какое я ему предпишу, как мы условились перед тем, как вступили в поединок.

Вице-король, Дон Антонио и несколько других присутствовавших лиц

ясно слышали этот разговор, они слышали также, как Дон-Кихот ответил, что если у него только не потребуют ничего, в ущерб Дульцинее, он исполнить все остальное, как добросовестный и честный рыцарь. После того как заявление это было сделано и выслушано, рыцарь Белой Луны повернул лошадь, и, кивнув головой вице-королю, легкой рысью направился к городу. Вице-король приказал Дон Антионио последовать за ним, чтоб, во что бы то ни стало, разузнать, кто он такой. Дон-Кихота подняли и открыли ему лицо, которое оказалось бледно, безжизненно и покрыто потом. Россинат так пострадал, что не мог подняться на ноги. Санчо, развесив уши и со слезами на глазах, не знал, ни что сказать, ни что сделать. Ему казалось, что все это приключение сон, дело волшебства. Он видел своего господина побежденным, во власти другого, вынужденным целый год не братья за оружие. Он вдел уже в воображении свет его славы померкшим, и надежды на его новые обещания рассеявшимися, как дым по ветру. Наконец, он боялся, чтоб Россинант не оказался на всю жизнь покалеченным, а его господин с каким-нибудь вывихом. Хорошо еще, если вывихнутые члены приведут в порядок его мозг!<sup>[313]</sup> Наконец, рыцаря понесли в город на носилках, принесенных по приказанию вице-короля, который затем вернулся в свой дворец, горя нетерпением узнать, кто такой этот рыцарь Белой Луны, приведший Дон-Кихота в такое жалкое состояние.

## **ГЛАВА LXV**

### **Где рассказывается, кто такой рыцарь Белой Луны, и где рассказывается об освобождении Дон Григорио, равно как о других событиях**

Дон Антонио Морено наследовал за рыцарем Белой Луны, за которым последовали также или, лучше сказать, которого преследовали множество мальчишек до порога постоянного двора в центре города. Дон Антонио вошел туда с целью познакомиться с ним. Оруженосец встретил и разоружил рыцаря, который заперся в зале внизу, все сопровождаемый Дон Антонио, который умирал от любопытства узнать, кто этот незнакомец. Наконец рыцарь Белой Луны, видя, что этот дворянин от него не отстает, сказал ему: – Я понимаю, сударь, зачем вы сюда пришли: вы хотите узнать кто я, а так как у меня нет причин скрывать этого, то я скажу вам всю правду, пока мой слуга будет меня разоружать. Знайте же, сударь, что меня зовут бакалавром Самсоном Карраско. Я из одной деревни с Дон-Кихотом Ламанчским, безумие которого составляет предмет жалости для всех нас, знающих его, а для меня, быть может, более, чем для всякого другого. А так как я полагаю, что его выздоровление зависит от того, чтоб он оставался в покое и не трогался из своей деревни и своего дома, то я и искал случая заставить его оставаться в покое. Месяца три назад я, переодетый рыцарем Зеркал, разыскал его с целью сразиться с ним и победить его, не причиняя ему никакого вреда и поставив предварительно условием поединка, чтобы побежденный отдался на волю победителя. Уверенный в победе над ним, я намеревался потребовать, чтобы он вернулся домой, и не выезжал никуда целый год, в продолжение которого он мог бы выздороветь. Но судьба распорядилась совершенно иначе, и не я его победил и сбросил с лошади, а он меня, так что мой план не удался. Он продолжал свой путь, а я остался побежденный, пристыженный и разбитый падением, которое оказалось довольно опасно. Однако это не отбило у меня охоты снова разыскать его и в свою очередь победить, как я и сделал сегодня при вас. Он так добросовестен в исполнении обязанностей странствующего рыцарства и так верен данному слову, что безо всякого сомнения выполнит полученное от меня приказание. Вот, сударь, весь мой рассказ, к которому мне нечего прибавлять. Умоляю вас не выдавать меня и не говорить Дон-Кихоту, кто я, для того, чтоб мое доброе намерение возымело действие и чтобы мне

удалось возратить рассудок человеку, вполне рассудительному, как только он забывает нелепости своего странствующего рыцарства. – О, сударь! – вскричал Антонио. – Да простит вам Бог зло, которое вы причинили всему свету, пожелав вернуть рассудок самому забавному в мире сумасшедшему. Разве вы не видите, сударь, что польза, могущая произойти от здравого рассудка Дон-Кихота, не сравнится с удовольствием, которое он доставляет своими выходками? Но я думаю, что всей науки, всего искусства господина бакалавра не хватит на то, чтоб сделать разумным человека, так окончательно спятившего с ума; не будь это противно милосердию, я бы даже желал, чтоб Дон-Кихот никогда не выздоравливал, ибо с его выздоровлением мы не только лишимся его милых безумств, но еще и безумств его оруженосца Санчо Панса малейшее из которых способно развеселить даже самую меланхолию. Тем не менее, я буду молчать и ничего не скажу, чтобы посмотреть, верно ли я угадал, что господин Карраско не извлечет никакой пользы из своего поступка. Бакалавр ответил, что дело, во всяком случае, идет хорошо и что он надеется на счастливый исход. Он простился с Дон Антонио, который учтиво предложил себя к его услугам, затем, приказав привязать свое оружие в мулу, он сейчас же оставил город на той самой лошади, которая служила ему во время поединка, и вернулся в свою деревню без какого бы то ни было происшествия, достойного быть занесенным в эту правдивую историю.

Дон Антонио донес вице-королю обо всем, что рассказал ему Карраско, и это не доставило вице-королю ни малейшего удовольствия, ибо заключение Дон-Кихота должно было разрушить удовольствие, испытываемое всеми, до кого дошли вести о его безумствах.

Дон-Кихот оставался шесть дней в постели, печальный, огорченный, задумчивый, в мрачном и унылом настроении и с мыслями, занятыми исключительно несчастным событием его поражения. Санчо старался утешить его и однажды, между прочим, сказал ему: – Полноте, мой добрый господин, подымите голову и попытайтесь снова развеселиться, в особенности же благодарите небо за то, что, упавши, вы не сломали себе ребер. Вы знаете, что где удары наносятся, там они и получают, и что не всегда есть сало там, где есть крючки, чтоб его вешать: натяните-ка лучше нос лекарю, потому вам его совсем не нужно, чтобы вылечиться от этой болезни. Вернемся домой и перестанем рыскать по свету в поисках за приключениями, до странам и землям, которых мы не знаем. Если хорошенько рассудить, так я больше вашего теряю тут, хотя вы и больше пострадали. Я, который вместе с губернаторством оставил и желание быть

губернатором, не оставил еще желания сделаться графом, а желание это никогда не будет удовлетворено; если вы не сделаетесь королем, оставив занятия рыцарством. Стало быт, все мои надежды пошли прахом. – Замолчи, Санчо, – ответил Дон-Кихот. – Разве ты не знаешь, что мое удаление и заключение должны продолжаться всего один год? Когда срок этот кончится, я снова займусь своей благородной профессией и не премину завоевать королевства и даровать тебе графство. – Да услышит вас Бог, – вскричал Санчо, – и да останется глух грех, потому что я слышал, что добрая надежда лучше худого обладания.

На этом месте разговора вошел Дон Антонио с проявлением величайшей радости. – Добрые вести, добрые вести, господин Дон-Кихот! – вскричал он. – Дон Грегорио и ездивший за ним ренегат уже на берегу. Что я говорю на берегу? Они уже у вице-короля и через минуту будут здесь. – Дон-Кихот как будто несколько обрадовался. По правде сказать, я бы больше обрадовался, если бы случилось наоборот, – сказал он. – Тогда бы я был принужден поехать в Берберию, где освободил бы силою своей руки не только Дон Грегорио, но всех находящихся там пленных христиан. Но, увы! Что я говорю, несчастный! Разве я не был побежден? Разве я не был опрокинут на землю? Разве я не тот, который не смеет целый год братья за оружие? Что же я обещаю, и чем могу тщеславиться, когда я должен скорее управлять веретеном, чем мечом? – Оставьте это, господин, – вмешался Санчо. – Да здравствует курица, несмотря на ее типун! К тому же, сегодня ты, а завтра я. В делах встреч, ударов и тумачков ни за что ручаться нельзя, потому что тот, кто сегодня падает, завтра может встать, если сам не пожелает остаться в постели, то есть, если не даст себя победить, не набравшись новой хитрости для новых битв. Ну, вставайте, ваша милость, и встречайте Дон Грегорио, потому мне кажется по шуму и движению, который я слышу, что он уже в доме.

Это была правда: сходя с ренегатом к вице-королю, чтобы дать ему отчет об отъезде и возвращении, Дон Грегорио, торопись свидеться с Аной Феликс, поспешил со своим спутником в дом Дон Антонио. Выезжая из Алжира, Дон Грегорио был еще в женском платье, но на судне он переменял его на платье одного пленника, бежавшего вместе с ним. Но в каком бы платье он ни явился, в нем можно было узнать человека, достойного зависти, уважения и ухаживания, потому что он был чудно хорош и казался не старше семнадцати – восемнадцати лет. Рикоте и дочь его вышли к нему навстречу – отец, тронутый до слез, а дочь, очаровательно стыдливая. Они не целовались, потому что любовь сильная не смела. Красота Дон Грегорио и Аны Феликс одинаково очаровывала

всех, присутствовавших при этой сцене. Молчание влюбленных говорило за них, а глаза их были языками, которые выражали их счастье и их целомудренные мысли. Ренегат рассказал, какие ловкие средства он употребил, чтоб извлечь Дон Грегорио из тюрьмы, а Дон Грегорио рассказал, в каких он был затруднениях и опасностях среди охранявших его женщин, и рассказал все это не пространно, а в коротких словах, и с умом, далеко превосходившим его возраст. Затем Рикоте щедро заплатил и вознаграждал как ренегата, так и гребших на судне христиан. Что касается ренегата, то он возвратился в лоно церкви и из пораженного члена стал снова чистым и здоровым членом, благодаря раскаянию и искуплению.

Два дня спустя вице-король стал совещаться с Дон Антонио относительно средств, которые следовало употребить, чтобы Ана Феликс и ее отец остались в Испании, потому что они не видели ничего дурного в том, чтобы оставить в своем отечестве такую христианку-дочь и такого благонамеренного отца. Дон Антонио предложил выхлопотать эту милость при дворе, куда его, кроме того, призывали еще и другие дела. При этом он намекнул, что там с помощью милостей и подарков можно уладить многие затруднения. – Нет, – возразил Рикоте, присутствовавший при этом разговоре: – ни от милостей, ни от подарков ничего ждать нельзя, потому что с великим Дон Бернардино де Веласко, графом де Салазар, на которого его величество возложил заботу о нашем изгнании, все бесполезно: и просьбы, и слезы, и обещания, и подарки. Правда, он соединяет с правосудием милосердие, но так как он видит, что наш народ вообще испорчен и извращен, то и употребляет в качестве лекарства не смягчающий бальзам, а жгучие прижигания. С благоразумием и мудростью, которые он вносит во все свои дела, и с трепетом, который он внушает, он вынес на своих крепких плечах исполнение этой великой меры, и ни наша ловкость, ни наши подвохи, ни стратагемы, ни плутни не могли обмануть его аргусовых глаз, которые всегда бодрствуют, чтоб не дать ни одному из нас скрыться от него и остаться, как невидимый корень, который со временем даст ростки распространит ядовитый плоды по Испании, наконец очищенной и освобожденной от страха перед нашим размножением. Это было геройское решение со стороны великого Филиппа III и неслыханная мудрость – поручить исполнение этого дела Дон Бернардино де Веласко.<sup>[314]</sup> – Как бы то ни было, – ответил Дон Антонио, – я, будучи там, употреблю все усилия, и пусть небо решит по своей воле. Дон Грегорио поедет со мной, чтоб утешить своих родителей в горе, которое должно было причинить им его исчезновение. Ана Феликс останется с моей женой в моем доме или в каком-нибудь монастыре, а

господин вице-король, я уверен, не откажется взять к себе Рикоте до окончания моих хлопот.

Вице-король согласился на все предложения, Дон Грегорио же, зная, что происходит, сначала уверял, что не может и не хочет оставить донью Ану Феликс. Однако, желая повидаться с родителями и думая, что найдет возможность вернуться за своей возлюбленной, он, наконец, согласился на то, что было решено. Ана Феликс осталась у жены Дон Антонио, а Рикоте во дворце вице-короля.

Наступил день отъезда Дон Антонио, затем, два дня спустя, день отъезда Дон-Кихота и Санчо, так как последствия падения не позволяли рыцарю раньше пуститься в путь. Когда Дон Грегорио расставался с Анной Феликс, было много слез, вздохов, рыданий и обмороков. Рикоте предложил своему будущему зятю тысячу дукатов, если он желает, но Дон Грегорио не взял ни одного и занял у Дон Антонио пять дукатов, обещаясь возвратить их ему в Мадриде. Наконец, они оба уехали, а несколько времени спустя отбыли, как уже сказано, и Дон-Кихот с Санчо, – Дон-Кихот безоружный и в дорожном платье, а Санчо пешком, так как осел нес на спине оружие.



## ГЛАВА LXVI

### **Трактующая о том, что увидит всякий, кто ее прочитает, и услышит всякий, кто услышит ее чтение**

При выезде из Барцелоны Дон-Кихот отправился поглядеть на то место, на котором упал и вскричал: – Здесь была Троя! Здесь моя несчастная звезда, а не моя трусость, отняла у меня про: шедшую мою славу! Здесь фортуна совершила по отношению ко мне свое круговращение! Здесь помрачаются мои геройские подвиги, и здесь, наконец, рухнуло мое счастье, чтоб никогда уже не подниматься!

Санчо, услышавший эти сетования, оказал ему: – Мужественному сердцу, мой добрый господин, подобает также иметь терпение и твердость в несчастье, как радость в счастье. Я сужу по себе, потому если я губернатором чувствовал себя весело, так и теперь пешим оруженосцем не чувствую себя печальным. В самом деле, я слыхал, что особа, которую зовут Фортуной, капризная, сумасбродная женщина, вечно пьяная и вдобавок слепая. Вот она и не видит, что делает, и мы знает, кого опрокидывает и кого поднимает.

– Ты настоящий философ, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – и говоришь, как человек рассудительный. Не знаю, кто тебя учит таким вещам. Могу тебе только сказать, что никакой Фортуны на свете нет, и что все, что случается здесь, как хорошее, так и дурное, происходит не случайно, а по особому предопределению неба. Поэтому-то и говорят обыкновенно, что всякий человек творец своего счастья. И я был творцом своего счастья, но только не достаточно благоразумным, и потому моя самоуверенность так дорого обошлась мне. Я должен был бы сообразить, что тщедушие Россинанта не устоит против безмерной величины коня, на котором сидел рыцарь Белой Луны. А между тем, я отважился принять вызов. Я сделал все, что от меня зависело, и все-таки был выбит из седла; но хотя я лишился чести, но не лишился и не мог лишиться способности держать свое слово. Когда я был странствующим рыцарем, смелым и отважным, моя рука и мое сердце рекомендовали меня человеком сердца, теперь же, когда я – сверженный рыцарь, я хочу зарекомендовать себя человеком слова, сдержав обещание, которое дал. Шагай же, друг Санчо: отправимся домой, чтобы провести там год искуса. В этом вынужденном уединении мы

почерпнем новые силы для возобновления занятия оружием, которого и никогда не брошу. – Господин, – сказал Санчо, – ходить пешком вовсе не так интересно, чтоб мне хотелось делать большие концы. Повесим это оружие, как человека, на какое-нибудь дерево, и, когда я сяду на спину к Серому, подняв ноги от земли, мы будем в состоянии отмерять такие расстояния, какие вашей милости будет угодно назначить. А думать, будто я много пройду пешком, значит воображать, будто в полночь бывает день. – Ты хорошо придумал, – ответил Дон-Кихот: – привяжем мое оружие в качестве трофеев и вырежем под ним и вокруг него то, что было написано на трофеях из оружия Роланда:

Да не дерзнет, коснуться их никто, —  
С Роландом будет драться он за то.

– Это золотые слова, – возразил Санчо, – и если бы Россинант не был нам нужен в дороге, я бы посоветовал и его также повесить. – Ну, так ни он, ни оружие не будут повешены! – вскричал Дон-Кихот. – Я не хочу, чтоб обо мне говорили, что старая хлеб соль забывается. – Славно сказано! – одобрил Санчо: – потому, по мнению умных людей, – нечего сваливать с больной головы на здоровую. А так как в этом приключении виноваты только ваша милость, так себя и накажите, и пусть ваш гнев не падет ни на это и без того окровавленное и разбитое оружие, ни на кроткого и доброго Россинанта, который ни в чем не виноват, ни на моя ноги, которые слишком нежны. чтоб их можно было заставлять ходить больше, чем полагается.

В таких разговорах прошел весь день и еще четыре других дня, и с ними не случилось ничего такого, что помешало бы их путешествию. На пятый день они увидали при въезде в одно село, у дверей постоялого двора, много народу, который веселился, так как был праздник. Когда Дон-Кихот стал подъезжать к ним, один крестьянин возвысил голос и сказал: – Ладно! один из тех двух господ, которые не знают спорщиков, решит наш спор. – Очень охотно, – ответил Дон-Кихот, – и по всей справедливости, если, конечно, пойму его. – Дело в том, мой добрый господин, – продолжал крестьянин, – что один житель этой деревни, такой толстый, что весит два и три четверти центнера, вызвал наперегонки другого жителя, который весит всего сто двадцать пять фунтов. Условие вызова состоит в том, чтобы пробежать расстояние во сто шагов с одинаковым весом. Когда у вызвавшего спросили, как уравнивать вес, он ответил, что вызванный, весящий один центнер с четвертью, должен взвалить себе на спину полтора

центнера железа, и тогда сто двадцать пять центнеров тощего уравниются с двумястами семьдесятю пятью фунтами толстого. – Вовсе нет! – вскричал Санчо, прежде чем Дон-Кихот ответил. – Мне, который был, как всем известно, несколько дней назад губернатором и судьей, подобает разъяснять такие сомнения я прекращать всякие споры. – Вот и прекрасно, – сказал Дон-Кихот. – Возьмись, друг Санчо, ответить им, потому что я не гожусь для такого переливания из пустого в порожнее: у меня и так все в голове спуталось и смешалось.

Получив это позволение, Санчо обратился к крестьянам, собравшимся толпой вокруг него и ожидавших, разиня рты, приговора, который он должен был произнести. – Братцы, – сказал он: – то, чего требует толстый, не имеет смысла и тени справедливости; потому если правду говорят, что вызванный имеет право выбирать оружие, то здесь не годится, чтоб вызвавший выбрал такое, с которым противнику его невозможно одержать победу, Поэтому мое мнение таково, чтоб толстый и жирный вызыватель подрезался, обрезался, надрезался, сократился и уменьшился – словом, снял бы с себя сто пятьдесят фунтов мяса отсюда, оттуда, от всего своего тела, как захочет и как ему будет угодно; таким образом, оставшись с весом в его фунтов, он уравниется тяжестью со своим противником, тогда они могут бежать, и силы будут равны. – Божусь, – сказал один из крестьян, выслушав приговор Санчо, – что этот господин говорит, как святой, и рассудил, как каноник. Но толстяк наверное не захочет отнять у себя и унции мяса, не то что сто пятьдесят фунтов. – Самое лучшее будет, чтоб они вовсе не бежали, – заметил другой, – для того чтобы тощему не пришлось надорваться от тяжести или толстому себя искромсать. Купите на половину заклада вина, позовем этих господ в кабак, и я возьму все на себя. – Что касается меня, господа, – ответил Дон-Кихот, – то я вам очень благодарен, но мне нельзя ни на минуту останавливаться, ибо мрачные мысли и печальные события заставляют меня казаться неучтивым и спешить вперед как только можно скорее. И, пришпорив Россинанта, он проехал мимо крестьян, оставив их столь же пораженными его странной наружностью, сколько умом Санчо. Один из крестьян вскричал: – Если у лакея столько ума, такт каков же должен быть господин? Бьюсь об заклад, что если они поедут в Саламанку, так сразу сделаются при дворе алькадами. Все пустяки, только одно важно: учиться и все учиться, а потом иметь немножко покровительства и счастья, и не успеешь оглянуться, как очутишься с жезлом в руке или митрой на голове.

Эту ночь господин и слуга провели в поле, под открытым небом, а на другой день, пустившись снова в путь, они увидели приближавшегося к

ним пешком человека с котомкой на шее и железной палкой в руке – обычный наряд пешего посла. Этот последний, увидя Дон-Кихота, ускорил шаг и почти подбежал к нему, затем, обняв его правую ногу, так как выше не мог достать, закричал с признаками величайшей радости: – О, господин Дон-Кихот Ламанчский! какую радость испытает в тайниках души своей господин герцог, узнав, что ваша милость возвращаетесь в его замок, где он еще продолжает жить с госпожой герцогиней! – Я вас не знаю, друг мой, – ответил Дон-Кихот, – и не узнаю, кто вы, если вы не скажете мне сами. – Я, господин Дон-Кихот, – ответил посол, – я Тозилос, лакей его светлости герцога, тот самый, который не хотел драться с вашей милостью по поводу женитьбы на дочери доньи Родригес, – Помилосердуйте! – вскричал Дон-Кихот. – Возможно ли, чтоб вы были тот, которого мои враги – чародеи превратили в упомянутого вами лакея, чтоб отнять у меня славу победы? – Полноте, мой добрый господин, – возразил посол: – не говорите этого. Тут не было ни колдовства, ни перемены лица. Как я вошел в ограду лакеем Тозилосом, так и вышел из нее лакеем Тозилосом. Я захотел жениться без битвы, потому что молодая девушка пришлась мне по вкусу. Но дело вышло совсем наоборот, потому что, как только ваша милость уехали из нашего замка, мой господин, герцог, приказал отсчитать мне сто палочных ударов за то, что я ослушался приказаний, которые он дал мне перед началом битвы. Кончилась эта история тем, что бедная девушка поступила в монастырь, донья Родригес вернулась в Кастилию, а я иду теперь в Барселону снести письмо, которое посылает мой господин вице-королю. Если ваша милость желаете напиться чистого, хотя и теплого вина, так у меня здесь есть мех со старым вином и еще несколько кусков трончонского сыру, которые сумеют пробудить вашу жажду, если она дремлет. – Я без околичностей принимаю приглашение, – ответил Санчо, – и пусть добрый Тозилос наливает стаканы на зло всем чародеям, какие найдутся в Индии. – Право, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – ты величавший в мире обжора и страшнейший неуч, если не хочешь понять, что этот курьер очарован и этот Тозилос не настоящий. Оставайся с ним и набивай себе желудок, а я медленно поеду вперед и подожду, пока ты подойдешь. – Лакей расхохотался, достал свой мех, вынул из котомки хлеб и сыр и уселся с Санчо на траве. Мирно и дружно принялись они за провизию и стали уплетать ее с таким мужеством и аппетитом, что облизали даже бумагу, единственно потому, что она пахла сыром. Тозилос сказал Санчо: – Наверное, друг Санчо, твой господин должен быть сумасшедший. – Как должен? – удивился Санчо. – Нет, он никому не должен: он всем платит чистоганом, особенно если приходится расплачиваться сумасшедшей

монетой. Я отлично вижу это и даже говорил ему; да что же тут поделаешь? Особенно теперь он такой сумасшедший, что хоть вяжи его, потому его победил рыцарь Белой Луны. – Тозилос попросил его рассказать ему это приключение, но Санчо ответил, что невежливо заставлять его господина еще дольше дожидаться его, и что они поговорят об этом в другой раз, если встретятся. Затем он встал, стряхнул крошки с своего платья и бороды, толкнул вперед осла, простился с Тозилосом и присоединился к своему господину, который ждал его б тени, под деревом.

## **ГЛАВА LXVII**

### **О решении Дон-Кихота сделаться пастухом и вести сельскую жизнь, пока не пройдет год его искуса, и о других интересных и поистине забавных происшествиях**

Если множество мыслей всегда терзали Дон-Кихота еще до его поражения, то еще больше мыслей стало терзать его со времени поражения. Он стоял в тени дерева, и там, как мухи к меду, слетались мучить его тысячи мыслей. Одни относились к снятию чар с Дульциней, другие к жизни, которую он будет вести во время своего вынужденного уединения. Тем временем подошел к нему Санчо и стал расхваливать ему щедрость лакея Тозилоса.

– Возможно ли, – вскричал Дон-Кихот, – что б ты все еще думал, о, Санчо, что этот малый действительно лакей? Разве ты забыл, что видел Дульцинею обращенною в крестьянку и рыцаря Зеркал превращенных в бакалавра Карраско? Вот дела рук преследующих меня чародеев. Но скажи мне: ты спрашивал у этого Тозилоса, что Бог сделал с Альтисидорой? Оплакивала ли она мое отсутствие или повергла уже в лоно забвения влюбленные мысли, терзавшие ее в моем присутствии?

– Мои мысли, – ответил Санчо, – не дают мне справляться о всяком вздоре. Но, во имя Бога, сударь, какая муха вас укусила, что вы справляетесь о чужих мыслях, и особенно о влюбленных?

– Послушай, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – большая разница между поступками, которые делаешь из любви, и поступками, которые вызываются благодарностью. Может случиться, чтоб рыцарь оставался холоден и бесчувствен, но поистине невозможно, чтоб он был неблагодарен. По всем видимостям, Альтисидора нежно любила меня: она дала мне три головных платка, которые тебе известны, она оплакивала мой отъезд, упрекала меня, проклинала меня, публично жаловалась, забывая стыдливость. Все это доказательства, что она меня обожала, ибо гнев влюбленных всегда выражается в проклятиях. Я не мог дать ей никаких надежд, потому что все мои надежды сосредоточены на Дульцинее; не мог дать ей сокровищ, потому что сокровища странствующих рыцарей обманчивы и лживы, как блуждающие огни. Значит, я могу уделять ей

только оставшиеся у меня воспоминания о ней, не оскорбляя этим, однако, воспоминаний о Дульцинее, которой ты делаешь зло тем, что медлишь бичевать и сечь эти куски мяса, которые я желал бы видеть в зубах у волков за то, что они предпочитают лучше сохранить себя на съедение земляным червям, чем обратиться на излечение этой бедной дамы.

– Право, господин, – возразил Санчо, – я, сказать правду, не могу себя уверить, чтоб шлепки по моей заднице имели что-нибудь общее со снятием чар с очарованных. Это все равно, что говорить: у тебя болит голова, так намажь себе пятки. Я могу, по крайности, побожиться, что во всех историях, которые читали ваша милость о странствующем рыцарстве, вы не видали никогда снятия чар посредством ударов бичом. Ну, да уж так и быть, я дам себе их, когда мне придет охота и когда время представит мне все удобства для этого дела. – Дай Бог! – ответил Дон-Кихот. – Да пошлют тебе небеса такую милость, чтоб ты сознал лежащую на тебе обязанность помочь моей даме и госпоже, которая также и твоя, ибо и ты мой.

Они продолжали путь, разговаривая таким образом, когда очутились на том месте, где их опрокинули и затоптали быки. Дон-Кихот узнал это место и сказал Санчо: – Вот луг, на котором мы встретили очаровательных пастушек и изящных пастухов, которые хотели воскресить пастушескую Аркадию. Это столь же новая, сколько умная мысль, и если ты разделяешь мое мнение, о, Санчо, то я хотел бы, чтоб мы в подражание им, превратились в пастухов, хоть на время, которое я должен провести в заточении.<sup>[315]</sup> Я куплю несколько овечек и все необходимое для пастушеской профессии; потом, назвавшись – ты пастухом Пансино, а я пастухом Кихотис, мы станем бродить по горам, лесам и лугам, тут распевая песни, там жалобы, утоляя жажду хрустальной влагой из ручьев или из глубоких рек. Дубы будут щедрой рукой расточать нам свои сладкие, душистые плоды, а пробковые деревья – доставлять нам сидение и пристанище. Ивы будут давать нам тень, розы – благоухание, обширные луга – ковры, затканые тысячами цветов, воздух – свое чистое дыхание, луна и звезды – кроткий свет, не взирая на ночной мрак, песня – удовольствие, слезы – радость, Аполлон – стихи, а любовь – чувствительные мысли, которые могут прославить и обессмертить нас не только в настоящем, но и в будущем.

– Ей Богу, – вскричал Санчо, – эта жизнь мне по душе, тем более что и бакалавр Самсон Карраско, и цирюльник дядя Николай, закрывши глаза, захотят тоже вступить в эту жизнь и сделаться, как мы, пастухами. И еще дай Бог, чтоб священнику не пришла охота сунуться в пастухи, потому он тоже человек веселый и не прочь повеселиться.

– То, что ты говоришь, прелестно, – ответил Дон-Кихот.

– А если бакалавр вступит в пастушеское общество, в чем я не сомневаюсь, то его можно будет называть пастухом Самсоново или пастухом Каррасконом. Цирюльник Николай может называться пастухом Никулозо, как древний Боскан назывался Неморозо.<sup>[316]</sup> Что касается священника, то я не знаю, какое имя ему дать: разве производное от его имени, как например, пастух Куриамбро.<sup>[317]</sup> Что до пастушек, в которых мы должны быть влюблены, там для них можно приискать сотни имен, а так как имя моей дамы столько же годится для пастушеского звания, сколько для звания принцессы, то мне и не зачем ломать себе голову, чтобы подыскать ей более подходящее. А ты, Санчо, дашь своей какое тебе будет угодно имя.

– Я не думаю дать ей иное имя, как Терезона:<sup>[318]</sup> оно очень подходит к ее высокому росту и ее настоящему имени. Впрочем, если я буду прославлять ее в моих песнях, то докажу, как целомудренны мои желания, когда я на чужой каравай рта не разеваю. Священнику не нужно пастушки, а то это будет дурной пример для других. Ну, а бакалавр если захочет иметь пастушку, так это его дело.

– Боже мой! – вскричал Дон-Кихот, – какую жизнь мы себе устроим, друг Санчо! Сколько волынок будут раздаваться в моих ушах! Сколько свирелей, тамбуринов, сонах и рабелей! А если между этими звуками еще раздадутся звуки альбогов,<sup>[319]</sup> то мы, значит, услышим все пастушеские инструменты.

– А что это такое альбоги? – спросил Санчо.

– Я их никогда не видывал и ничего не слыхивал о них.

– Альбоги, – ответил Дон-Кихот, – это металлические доски, похожие на ножки подсвечников, когда их ударяют одну о другую вогнутой стороной, они издают звук, если не особенно гармонический и приятный, то, по крайней мере, не режущий уха и вполне подходящий к грубости волынки и тамбурина. Это название альбога арабское, как и все слова в нашем испанском языке, начинающиеся на al, как например: almohaza,<sup>[320]</sup> almorzar,<sup>[321]</sup> alhombra,<sup>[322]</sup> alguazil,<sup>[323]</sup> almacén,<sup>[324]</sup> alcancía<sup>[325]</sup> и т. п. В нашем языке есть всего три арабских слова, кончающихся на i: borseguí,<sup>[326]</sup> zaquízami,<sup>[327]</sup> и maravedí,<sup>[328]</sup> потому что alhelí<sup>[329]</sup> и alfaquí<sup>[330]</sup> признаются арабскими как по начальному al, так и по окончанию i. Это замечание я сделал мимоходом, потому что оно пришло мне в голову по поводу альбогов. Особенно нам поможет в совершенстве устроить нашу пастушескую жизнь то, что я немножко причастен к поэзии, как тебе



известно, а бакалавр Самсон Карраско настоящий поэт. О священнике я ничего верного сказать не могу, но я готов побиться об заклад, что он имеет претензию на рифмоплетство; ну, а насчет дяди Николая я не допускаю и тени сомнения, потому что все цирюльники играют на гитаре и сочиняют куплеты. Я буду сетовать о разлуке; ты будешь хвастать верной любовью; пастух Карраскон будет разыгрывать покинутого, а священник Куриамбро – что ему будет угодно: таким образом, все пойдет у нас чудесно.

– Что до меня, господин, – ответил Санчо, – так я такой несчастный, что боюсь никогда не дожить до того дня, когда для меня наступит такая жизнь. Ах, какие красивые деревянные ложки я буду делать, когда стану пастухом! Сколько у нас будет салату, битых сливок, венков и всяких пастушеских безделок. Если все это не ославить меня умным человеком, так хоть искусным и ловким. Моя дочь Санчика будет приносить нам в поле обед. Впрочем, надо будет держать ухо востро: она смазливенькая, а между пастухами есть люди, которых скорее назовешь хитрецами, чем простаками. Я бы не хотел, чтоб она приходила за шерстью и уходила стриженная. Любовные шашни и дурные желания встречаются и в поле, как в городе, и забираются одинаково в королевские дворцы и в хижины пастухов. Но если убрать причину, так убереешь и грех, и когда глаза не видят, сердце не надывается, и лучше прыжок с забора, чем молитвы честных людей.

– Будет тебе сыпать пословицами, Санчо! – вскричал Дон-Кихот. – Каждой из приведенных тобою было бы достаточно для выражения твоей мысли. Сколько раз я тебе советовал не быть таким расточительным на пословицы и не давать себе воли, когда ты их говоришь. Но тебе говорить – кажется, все равно, что проповедовать в пустыне и то же самое, что мать бьет меня, а я стегаю свой волчок.

– И еще кажется, – возразил Санчо, – что ваша милость делаете, как когда печка говорит котлу: «Убирайся отсюда, ты, с черной внутренностью!» Вы научились от меня говорить пословицы и сыплете имя попарно.

– Послушай, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – я привожу пословицы кстати и, когда я их говорю, они подходят, как кольцо к пальцу; ты же так треплешь их за волосы, что тащишь их, вместо того чтобы приводить. Если память не изменяет мне, я уже как-то говорил тебе, что пословицы – это короткие правила, извлеченные из продолжительного опыта и наблюдений наших древних мудрецов. Но пословица, приводимая некстати, скорее глупость, чем сентенция. Однако, оставим это, и так как наступает ночь, удалимся с дороги и поищем, где бы вам переночевать. Бог знает, что с

нами будет завтра.

Они отошли в сторону от дороги и поздно и плохо поужинали к большому неудовольствию Санчо, которые думал о нужде, ожидающей странствующих рыцарей в лесах и горах, если даже время от времени обилие и является им в замках и богатых домах, как у Дон Диего де Миранда, на свадьбе у Камачо или в доме у Дон Антонио Морено. Но, приняв также в соображение, что не всегда бывает день и не всегда ночь, он уснул на эту ночь, между тем как его господин бодрствовал подле него.

## ГЛАВА LXVIII

### О смешном приключении, случившемся с Дон-Кихотом

Ночь была темна; хотя луна и была на небе, но не в таком месте, где ее можно было видеть, ибо госпожа Диана по временам отправляется гулять к антиподам, оставляя горы в тени и долины во мраке. Дон-Кихот отдал дань природе, проспав первый сон, второго же он себе уже не позволил, в противоположность Санчо, у которого, впрочем, второго сна никогда не бывало, так как один и тот же сон длился у него всегда от вечера и до утра – доказательство, что он обладал хорошей комплекцией и не имел забот. Дон-Кихоту же заботы до того не давали уснуть, что он даже разбудил Санчо и сказал ему: – Удивляюсь, право, Санчо, невозмутимости твоего настроения. Я полагаю, что ты мраморный или бронзовый и что в тебе нет ни чувства, вы сострадания. Я бодрствую, когда ты спишь, плачу, когда ты воешь; лишаюсь чувств от истощения, когда ты тяжелеешь и еле дышишь оттого, что объедаешься. А между тем, верный слуга должен делить страдания своего господина и волноваться его волнениями, хотя бы из приличия. Взгляни на спокойствие этой жизни, взгляни на уединение, в котором мы находимся, и которое как бы приглашает нас несколько пободрствовать между первым и вторым сном. Вставай, во имя неба! Отойди немного отсюда и добровольно и мужественно дай себе три или четыре сотни ударов плетью в счет ударов для снятия чар с Дульцинеи. Я умоляю тебя об этом, потому что не хочу вступать с тобой в рукопашную, как в тот раз: я знаю, что рука у тебя тяжела и жестка. Когда ты хорошенько отстегаешь себя, мы проведем остаток ночи в песнях – я о горестях разлуки, а ты о прелестях верности, и тем положим начало пастушеской жизни, которую должны будем вести у себя в деревне.

– Господин, – ответил Санчо, – я не картезианский монах, чтобы вставать среди сна и наказывать себя, и не думаю также, чтоб можно было сразу перейти от боли от ударов плетью к наслаждению музыкой. Пусть ваша милость даст мне поспать и не доводит меня до крайности касательно моего стегания себя, потому вы доведете меня до того, что я побожусь, что не трону на себе даже ниточки своего кафтана, а не то что собственного тела.

– О, жестокая душа! – вскричал Дон-Кихот. – О, оруженосец без

нутра! О, как дурно я употребил хлеб и как неуместны были милости, которые я тебе оказал и еще думаю оказать! Благодаря мне ты видел себя губернатором, благодаря мне надеешься стать со временем графом или получить какое-нибудь другое соответствующее звание, и надежда эта отсрочивается не далее, как на один этот год, потому что ведь *post tenebras spero lusem*.<sup>[331]</sup>

– Этого я не понимаю, – возразил Санчо, – а отлично понимаю, что, когда сплю, то не чувствую ни страха, ни надежды, ни горя, ни удовольствия. Да будет благословен тот, кто выдумал сов, этот плащ, прикрывающий все человеческие мысли, блюдо, утоляющее голод, воду, утоляющую жажду, огонь согревающий стужу, свежесть, умеряющую жгучий зной, – оловом, всемирную монету, на которую можно все купить, и весы, на которых уравниваются скотник и король, простак и мудрец. У сна только одно дурная сторона, сколько я слышал, он похож на смерть, потому что между спящим и мертвым разница небольшая.

– Никогда, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – я не слышал, чтоб ты так изящно выражался, как сейчас, и это доказывает мне, как верна поговорка, которую ты иногда приводишь. «Не от кого ты родился, а с кем ты водился».

– Ах, ах, господин ваш хозяин! – вскричал Санчо. – Я, что сыплю теперь пословицами? Ей Богу, ваша милость роняете их изо рта попарно, еще почище моего. Только между моими и вашими, должно-быть, та разница, что ваши являются кстати, а мои ни к селу, ни к городу. Но в конце концов, и те и другие – пословицы.

На этом месте своего разговора они услышали глухие звуки и пронзительный крик по всей долине. Дон-Кихот поднялся и взял в руки шпагу, Санчо же подлез, свернувшись клубком, под осла и устроил себе с обеих сторон укрепление из узла с оружием и вьюка от своего осла, столько же дрожа от страха, сколько Дон-Кихот был встревожен. Шум с каждой минутой усиливался и приближался к обоим нашим трусам, т. е. к одному, ибо всем известно мужество другого. Дело в том, что торговцы вели продавать на ярмарку более шестисот поросят и гнали их туда в этот поздний час ночи. Шум, который производили эти животные, хрюкая и сопя, был так ужасен, что оглушил Дон-Кихота и Санчо, и они никак не могли понять, что это такое. Громадное хрюкающее стадо приблизилось в беспорядке, и, ничуть не уважив достоинства Дон-Кихота и Санчо, перешло через них, унеся укрепления Санчо и опрокинув на землю не только Дон-Кихота, но даже и Россинанта. Это нашествие, это хрюканье, быстрота, с которой приблизились эти грязные животные, истрепали и

разбросали оружие, вьюк, осла, Россинанта, Санчо и Дон-Кихота. Санчо поднялся через силу и попросил у своего господина меч, говоря, что хочет убить с полдюжины этих нахальных господ поросят, чтоб научить их жить, потому что он понял, что это они. Дон-Кихот грустно ответил ему: – Оставь их, друг: это поражение – наказание за мой грех, и так и следует, чтоб небо карало побежденного странствующего рыцаря, дав лисицам его есть, осам жалить и свиньям топтать ногами.

– А это тоже кара небесная, – спросил Санчо, – когда оруженосцев странствующих рыцарей жалят москиты, пожирают вши и мучит голод? Если бы мы, оруженосцы, были сыновьями рыцарей, у которых служим, или близкими родственниками, тогда было бы неудивительно, что наказание за их грехи падает на вас до четвертого поколения. Но что общего между Панса и Дон-Кихотами? Давайте-ка уляжемся и проспим остаточек ночи. Бог велит солнцу взойти, и нам станет легче.

– Спи, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – спи: ты только на то и рожден, чтобы спать. А я, который рожден на то, чтобы бодрствовать, до самого утра буду давать волю своим мыслям и изолью их в маленьком мадригале, который, незаметно для тебя, вчера вечером сочинил про себя.

– Мне кажется, – заметил Санчо, – что мысли, укладывающиеся в куплеты, не особенно мучительны. Ваша милость можете рифмоплествовать, сколько хотите, а я буду спать, сколько смогу. – И заняв на земле столько места, сколько хотел, он свернулся, съежился и уснул глубоким сном, не тревожными ни заботами, ни долгами, ни горестями. Что же касается Дон-Кихота, то он, прислонившись к пробковому дереву или к буку (Сид Ганед Бен-Энтели не указывает, что это было за дерево), пропел следующие строфы, под аккомпанемент своих собственных вздохов:

Любовь, когда я размышляю  
О страшной боли, мне тобою приносимой,  
От этой боли нестерпимой  
Найти прибежище я в смерти уповаю.

Когда ж я к смерти приближаюсь,  
Что служит гаванью моих страданий моря,  
Во мне как не бывало горя,  
На сердце радостно, – и вспять я обращаюсь.

Итак, мне жизнь лишь в смерти служит,

А смерть лишь для того, что жизнь мне возвращает.  
Какой конец всему, кто знает,  
К которому мне вместе с смертью жизнь послужит!

Рыцарь сопровождал каждый из этих стихов множеством вздохов и ручьями слез, словно сердце его разрывалось от сожаления о его поражении и о разлуке с Дульциней.

Между тем наступил день, и солнце ударило своими лучами в глаза Санчо. Он проснулся, встряхнулся, протер глаза и потянулся; потом бросил взгляд на опустошение, произведенное свиньями в его кладовой, и проклял стадо, не забыв и тех, кто гнал это стадо. Затем они оба снова пустились в путь и к вечеру увидели приближавшихся к ним человек десять верхами и человек пять пешком. У Дон-Кихота забилося сердце, а у Санчо оно просто замерло, потому что приближавшиеся к ним люди были с мечами и щитами и одеты были, как для войны. Дон-Кихот обернулся к Санчо и сказал: – Если б я мог, о, Санчо, пустить в ход свое оружие и если бы мое обещание не связывало мне рук, этот отряд, который собирается напасть на меня был бы для меня находкой. Но может быть, это вовсе не то, чего мы опасаемся. – В эту минуту подъехали верховые и с копьями в руках, не говоря ни слова, окружили Дон-Кихота и приложили острия своих копий к его груди и спине, грозя ему таким образом смертью. Один из пеших, приложив палец к губам и давая тем знак молчать, схватил Россинанта за узду и стащил его с дороги. Остальные пешие, окружив Санчо и осла и все сохраняя тоже полное молчание, последовали за тем, который уводил Дон-Кихота. Два три раза рыцарь пытался спросить, куда его ведут и чего хотят от него, но едва он начинал двигать губами, как ему закрывали рот наконечниками копий. То же самое было и с Санчо: только что он собирался заговорить, как один из его стражей колот его рогатиной и при этом колот также и осла, точно и тот хотел говорить. Наступала ночь. Они прибавили шагу, а страх все возрастал в сердцах обоих пленников, особенно каждый раз как им кричали: – Двигайтесь, троглодиты! Молчите, варвары! Терпите, антропофаги! Перестаньте ныть, скифы! Закройте глаза, убийственные полифемы, пожирающие львы! – и многое тому подобное, что резало уши обоих несчастных, господина и слуги. Санчо говорил про себя: «Мы бандиты? Мы воры? Мы анафемы? Эти прозвища мне вовсе не по нутру. Подует скверный ветер – и беда идет за бедой, точно палочные удары на собаку. И дал бы Бог, чтоб кончилось палочными ударами это приключение, которое пахнет такими бедами!»

Дон-Кихот шил совершенно растерянный и, несмотря на тысячи осаждавших его мыслей, не мог сообразить, что означают ругательства, которыми их награждали. Одно он заключал из этого: что ничего хорошего ждать нельзя, а нужно опасаться многого дурного. Наконец около часу ночи они подошли к какому-то замку, в котором Дон-Кихот сейчас же признал замок герцога, где гостил несколько дней назад. – Пресвятая Богородица! – вскричал он, как только узнал дом. – Что это значит? В этом доме все олицетворенная любезность, радушный прием, учтивость, во для побежденных добро обращается в зло, а зло в еще худшее. – Они вошли в передний двор замка и увидали в нем нечто такое, что усилило их удивление и удвоило ужас, как читатель увидит в следующей главе.

## **ГЛАВА LXIX**

### **О самом странном и самом новом приключении, какое только случалось с Дон-Кихотом в течение этой великой истории**

Всадники сошли с коней и, при помощи пеших внезапно схватив на руки Дон-Кихота и Санчо, внесли их во двор замка. Сто факелов на подставках горели во дворе, а пятьсот ламп освещали окружающие галереи, так что, несмотря на ночь, к тому же очень темную, невозможно было заметить отсутствия дневного света. Среди двора высился катафалк на два аршина от земли, весь покрытый громадным черным бархатным балдахином, а кругом, на ступенях, горело более ста белых восковых свеч в серебряных подсвечниках. На катафалке лежал труп молодой девушки, до того прекрасной, что даже смерть казалась в ней прекрасной. Голова ее лежала на парчовой подушке и украшена была венком из душистых цветов. В руках, скрещенных на груди, она держала пальмовую ветвь. С одной стороны двора возвышалось нечто вроде подмосток и там, на двух стульях, сидело два лица, которых, судя по коронам на головах и скипетрам в руках, легко было признать за царей, настоящих или мнимых. У подножия этих подмосток, куда вели ступеньки, стояло два стула, на которые стражи пленников усадили Дон-Кихота и Санчо, все молча и показывая им знаками, чтоб и они молчали. Но они молчали бы и без знаков и угроз, потому что языки их были парализованы удивлением, в которое повергло их это зрелище. В ту же минуту стали подниматься на подмостки два знатных лица в сопровождении многочисленной свиты. Дон-Кихот сейчас же признал в них своих хозяев, герцога и герцогиню, которые уселись на двух роскошных креслах, рядом с венценосными царями.

Кто не изумился бы при виде таких странных вещей, особенно если прибавить к этому, что Дон-Кихот узнал в распростертом на катафалке трупе прекрасную Альтисидору? Когда герцог и герцогиня взошли на подмостки, Дон-Кихот и Санчо отвесили им по глубокому поклону, на которые благородная чета ответила легким наклоном головы. Тут явился гайдук и, подойдя к Санчо, накинул ему на плечи длинное черное баркановое платье, испещренное нарисованными огоньками, потом снял с него шляпу и покрыл ему голову длинной, остроконечной митрой, вроде тех, которые носят осужденные инквизицией, причем сказал ему на ухо,



чтоб он не разжимал губ, иначе ему заткнут рот кляпом или убьют на месте. Санчо оглядел себя сверху донизу и увидал себя всего в огоньках, но так как огни эти не жгли его, то он и не обращал на них вы малейшего внимания. Он снял митру и увидал, что она вся покрыта нарисованными чертями; тогда он опять надел ее и пробормотал про себя: – Ладно, но крайности те меня не жгут, а эти не уносят. – Дон-Кихот также смотрел на него и, невзирая на то, что все чувства его были парализованы ужасом, не мог удержаться, чтоб не расхохотаться при виде фигуры Санчо.

В это время из-под катафалка слышались приятные, тихие звуки флейт, которые, не будучи нарушаемы ни одним человеческим голосом – ибо в этом месте даже тишина молчала, – раздавались нежно и уныло. Вдруг около подушки, на которой лежал труп, появился прекрасный молодой человек, одетый римлянином, и приятным, звучным голосом пропел под аккомпанемент арфы, на которой сам играл, следующие стансы:

Пока в себя придет Альтисидора,  
Сраженная презреньем Дон-Кихота,  
Пока в цвета печального убора,  
Оденет дам о трауре забота,  
Дуэньям креп велит надеть синьора  
И будет скрыта черным позолота, —  
Я воспою прекрасной огорченье,  
Как Фракии певца то было б пенье.

Я думаю, что я к тому обязан  
Не только в этой жизни скоротечной:  
Пускай язык мой будет смертью связан,  
Я буду петь тебя за гробом вечно.  
Когда мне к Стиксу будет путь указан,  
Чтоб мне в аду томиться бесконечно,  
Я стану петь тебе на прославление,  
И Леты тем остановлю течение.<sup>[332]</sup>»

Довольно, – сказал в эту минуту один из царей: – довольно, певец, ты никогда не кончишь, если станешь описывать нам теперь смерть и прелести бесподобной Альтисидоры, которая не умерла, как воображает невежественный свет, а живет в тысяче языках славы и в испытании, которое должен будет нести присутствующий здесь Санчо Панса, чтоб

вернуть ей свет. Поэтому, о, Радамант, ты, который судишь вместе со мной в мрачных пучинах судеб и знаешь все, что написано в непроницаемых книгах, чтоб вернуть эту молодую девушку к жизни, скажи нам сейчас же, что делать, и не лишай нас долее счастья, которого мы ждем от ее возвращения в мир.

Едва Минос произнес эти слова, как его товарищ Радамант поднялся и сказал: – Эй вы, слуги этого дома, высокие и низкие, большие и малые, бегите сюда скорее один за другим! Дайте Санчо двадцать четыре щелчка по лицу, ущипните ему двенадцать раз руки и сделайте ему шесть булавочных уколов в поясницу: в этом заключается излечение Альтисидоры. – Услышав это, Санчо закричал, забыв, что должен молчать: – Божусь, что так же дам свое лицо на муку и тело на растерзание, как сделаюсь турком. Боже мой! Что общего между моей шкурой и воскресением этой барышни? Уж подлинно, посади свинью за стол, она и ноги на стол. Дульцинея очарована, так меня стегают, чтоб снять с нее чары. Альтисидора умирает от болезни, которую Богу угодно было, послать ей, и вот, чтоб ее воскресить, понадобилось дать мне двадцать четыре щелчка, исколоть мое тело булавками и исщипать мне до крови руки! Слуга покорный! Поищите кого другого, а я старая лисица и провести себя не дам. – Так ты умрешь! – проговорил ужасным голосом Радамант. Смягчись, тигр! Смирись, гордый Немврод! Терпи и молчи, ибо от тебя не требуют ничего невозможного, и не берись перечислять трудностей этого дела. Ты должен получить щелчки, ты должен быть исколот булавками, ты должен стонать под щипками. Ну же, говорю я, исполнители приказов, к делу, не то, честное слово, я научу вас понимать, для чего вы рождены!

Шесть дуэний сейчас же показались во дворе и стали приближаться одна за другой, и четверо из них были в очках. У всех у них правая рука была поднята кверху с вытянутыми вперед четыремя пальцами, чтоб руки казались длиннее, как требует мода. Едва Санчо увидал их, как замычал по-бычьи. – Нет, нет, – кричал он, – я лучше дам кому угодно мучить и терзать меня, но никогда не позволю, чтоб до меня дотронулась дуэнья! Пусть мне исцарапают лицо, как кошки исцарапали моего господина в этом самом замке; пусть исколют мое тело острыми кинжалами; пусть изорвут мне руки железными щипцами; я все снесу и покорюсь этим господам, но чтоб дуэньи до меня дотронулись – нет, этого я не потерплю, хотя бы черт меня побрал!

Тут Дон-Кихот нарушил молчание и сказал Санчо: – Потерпи, сын кой, и доставь удовольствие этим господам. Ты должен еще благодарить небо, что оно дало тебе такую силу, что ты своим мученичеством снимаешь чары

с очарованных и воскрешаешь мертвых. – Дуэньи уже успели приблизиться к Санчо. Сдавшись на увещания и смягчившись, он поудобнее уселся на своем стуле и протянул подбородок первой из них, которая дала ему довольно умеренный щелчок и затем низко присела перед ним. – Поменьше учтивостей, госпожа дуэнья, – сказал ей Санчо, – и поменьше духов, потому ваши руки пахнут, ей Богу, розовым уксусом. – Все дуэньи дали ему по щелчку, потом другая прислуга исщипала ему руки, но, когда дело дошло до булавочных уколов, он не выдержал. Вскочив со стула вне себя от ярости и схватив ближайший к нему факел, он бросился на дуэний и остальных своих палачей и закричал: – Прочь отсюда, слуги ада! Я не бронзовый, чтоб не чувствовать таких ужасных пыток!

В эту минуту Альтисидора, по-видимому, утомленная долгим лежанием на спине, повернулась на бок. При виде этого, все присутствующие разом закричали: «Альтисидора жива!» Радамант приказал Санчо успокоить свой гнев, так как результат, которого ждали, уже получился. Что касается Дон-Кихота, то увидя движение Альтисидоры, он бросился на колени перед Санчо и вскричал: – Вот подходящий момент, о, сын моей утробы, а не оруженосец, вот подходящий для тебя момент, чтоб дать себе несколько ударов бичом из тех, которые ты должен нанести себе для снятия чар с Дульцинеи. Вот подходящий момент, говорю я, когда твоя сила в полном блеске и наиболее способна творить добро, которого от тебя ожидают! – Это, – ответил Санчо, – уж похоже на злобу со злобой, а не на хлеб с медом. Славно было бы, нечего сказать, если бы после щелчков, щипков и булавочных уколов еще посыпались удары бичом! Мне остается только одно: привязать себе на шею большой камень и броситься в воду, если я вечно должен для излечения чужих болезней быть козлом отпущения. Оставьте меня, ради Бога, а не то я натворю тут дел!

Между тем, Альтисидора поднялась на катафалке, и в ту же минуту зазвучали рожки, вторя флейтам и голосам всех присутствовавших, которые закричали: – Да здравствует Альтисидора! Да здравствует Альтисидора! – Герцог и герцогиня поднялись со своих мест, а за ними поднялись и цари Минос и Радомант, и все вместе, не исключая и Дон-Кихота с Санчо, пошли к катафалку, чтобы помочь Альтисидоре сойти с него. Эта последняя, делая вид, что очнулась от долгого обморока, поклонилась своим господам и обоим царям, потом, косо взглянув на Дон-Кихота, сказала: – Да простит тебя Бог, бесчувственный рыцарь, что твоя жестокость заставила меня отправиться на тот свет, где я оставалась, как мне казалось, более тысячи лет. Тебя же, о, сострадательнейший из всех оруженосцев мира, благодарю за возвращенную мне жизнь. Отныне

можешь располагать навсегда, о, Санчо, шестью из моих сорочек, которые я завещаю тебе, чтоб ты сделал себе из них шесть сорочек для себя. Если они и не совсем новы, то, по крайней мере, совсем чисты. – Санчо, преисполненный благодарности, поцеловал у нее руку, держа митру в руке, точно шляпу, и преклонив оба колена. Герцог приказал, чтоб у него взяли эту митру и сняли платье, вышитое огоньками и чтоб ему возвратили его шляпу и кафтан. Тогда Санчо попросил у герцога позволения взять себе это платье и митру,<sup>[333]</sup> говоря, что он хочет увезти их в себе в деревню в знак и в память этого удивительного приключения. Герцогиня ответила, что дарит ему их, потому что она, как ему известно, очень расположена к нему. Герцог приказал, чтоб двор очистили от всего этого убранства, чтоб все разошлись по своим комнатам и чтоб Дон-Кихота и Санчо отвели в известные уже им покои.

## ГЛАВА LXX

### **Которая следует за шестьдесят девятой и очень важна для уразумения этой истории**

Эту ночь Санчо спал на походной кровати в комнате Дон-Кихота, чего ему очень хотелось избежать, так как он знал, что его господин своими вопросами и разговорами не даст ему спать; а между тем он вовсе не был расположен много разговаривать, потому что боли от перенесенных пыток еще продолжали терзать его и не давала ему свободно двигать языком. Поэтому он бы охотнее лег один в хижине пастуха, чем в такой компании в этом богатом покое.

Его опасения были так справедливы и подозрения так верны, что едва он лег, как его господин позвал его и сказал: – Что ты думаешь, Санчо, о приключении этой ночи? Велико и сильно должно быть отчаяние любви, когда ты мог собственными глазами видеть Альтисидору мертвой и убитой не иной стрелой, не иным мечом, не иной военной машиной, не иным смертоносным ядом, как видом суровости и презрения, которые я ей всегда выказывал. – Пусть бы она умерла на здоровье, – ответил Санчо, – как и когда ей угодно, и пусть бы оставила меня в покое, потому я никогда в жизни не влюблял ее в себя и не отталкивал. Я, право, не знаю и не могу понять, повторяю опять, что общего между выздоровлением этой Альтисидоры, капризной и вовсе нерассудительной девушки, и мучительством Санчо Панса. Только теперь я ясно вижу, что на этом свете есть волшебники и волшебство, от которых да избавит меня Бог, потому что я сам не умею от них избавляться. И все-таки я умоляю вашу милость дать мне спать и больше не спрашивать меня, если вы не хотите, чтоб я выбросился из окна. – Спи, друг Санчо, – сказал Дон-Кихот, – если тебе не мешают боли от щелчков, щипков и булавочных уколов. – Никакая боль, – ответил Санчо, – не сравнится с обидой от щелчков, только потому, что мне их дали дуэньи (чтоб они пропали!). Но умоляю опять вашу милость дать мне спать, потому сон – это облегчение страданий для тех, кому они не дают спать. – Да будет так, – согласился Дон-Кихот, – и да поможет тебе Бог!

Они оба уснули, а в это время Сиду-Гамеду, автору этой великой истории, пришла фантазия объяснить, что навело герцога и герцогиню на мысль воздвигнуть похоронный катафалк о котором была речь. Вот что он

говорят по этому поводу: Бакалавр Самсон Карраско не забыл, как рыцарь Зеркал был опрокинут и побежден Дон-Кихотом, не забыл падения и поражения, перевернувших все его планы. Он захотел сделать новую попытку, надеясь на больший успех. Поэтому, расспросив у пажа, которые возил письмо и подарки жене Санчо, Терезе Панса, о месте, в котором находился Дон-Кихот, он запасся новым оружием, взял нового коня, нарисовал белую луну на своем щите и положил оружие на мула, которого повел один крестьянин, но не прежний его оруженосец Томе Сесиал, из боязни, чтоб его не узнали Санчо или Дон-Кихот. Он приехал в замок герцога, который сказал ему, куда направился Дон-Кихот, чтобы поехать на состязания в Сарагоссу. Герцог рассказал ему также, какие шутки сыграны были с рыцарем, а равно и о мнимом снятии чар с Дульцинеи, которое должно было совершиться в ущерб заднице Санчо. Наконец, он рассказал ему и о плутне Санчо, уверившего своего господина, что Дульцинея очарована и превращена в крестьянку, и о том, как герцогиня, в свою очереди, уверила Санчо, что он сам ошибается и что Дульцинея действительно очарована. Надо всем этим бакалавр много хохотал и не мало удивлялся как хитрости и простоватости Санчо, так и высокой степени, которой достигло безумие Дон-Кихота. Герцог просил его, если он встретится с рыцарем, на обратном пути заехать опять в замок, все равно, победит ли он Дон-Кихота или нет, и рассказать ему обо всем, что произойдет. Бакалавр обещал ему это. Он отправился искать Дон-Кихота, не нашел его в Сарагоссе и проехал в Барселону, где с ним случилось уже рассказанное раньше. На обратном пути он заехал в замок герцога и рассказал ему обо всем случившемся, а также об условиях поединка, прибавив, что Дон-Кихот, как честный странствующий рыцарь, уже возвращается, чтобы сдержать слово и удалиться в свою деревню на год. – Время, в которое, быть может, можно будет излечить его от безумия, – заметил бакалавр. – С этой именно целью я и проделал все эти метаморфозы, потому что достойно жалости, что у такого просвещенного гidalго, как Дон-Кихот, помутился ум. С этими словами он простился с герцогом и вернулся в свою деревню ждать Дон-Кихота, который следовал за ним.

При этом герцогу пришла в голову мысль сыграть с рыцарем эту новую штуку, потому что его очень забавляли Дон-Кихот и Санчо. Он расставил конную и пешую стражу по всем дорогам вблизи и вдали от замка и по всем местам, где мог проехать Дон-Кихот, для того, чтоб его волей или неволей привели в замок, как только найдут его. Его действительно нашли и уведомили герцога, который, велел все

приготовить, приказал, как только узнал о его прибытии, зажечь факелы и погребальные свечи во дворе и положить Альтисидору на катафалк со всеми атрибутами, которые были описаны, и все это было устроено до того естественно, что невозможно было отличить этих приготовлений к погребению от настоящих. Сид Гамед говорит еще, что, на его взгляд, мистификаторы были такие же сумасшедшие, как мистифицируемые, и что герцог и герцогиня были на волос от того, чтоб их обоих можно было принять за глупцов, когда они могли столько хлопотать из-за того, чтобы посмеяться над двумя глупцами, из которых один был погружен в глубокий сон, а другой бодрствовал с расстроенным мозгом, когда наступил день и время вставать, ибо Дон-Кихот, победитель или побежденный, не любил праздности.

Альтисидора, которая, по мнению рыцаря, вернулась от смерти к жизни, действовала по желанию и фантазии своих господ. Украшенная тем самым венком, который был на ней в гробу, одетая в белую тафтяную тунику, усыпанную золотыми цветами, распустив волосы по плечам и опираясь на черную эбеновую палку, она вдруг вошла в комнату Дон-Кихота. При ее входе, рыцарь, встревоженный и смущенный, почти совсем зарылся в простыни и одеяла, словно онемев и не находя для нее ни одного учтвого слова. Альтисидора уселась на стуле у его изголовья и, глубоко вздохнув, сказала нежным, слабым голосом: — Когда знатные дамы и скромные молодые девушки топчут ногами свою честь и позволяют своему языку переходить через все преграды, публично раскрывая тайны, заключающиеся в их сердцах, то это означает, что они доведены до последней крайности. И я, господин Дон-Кихот Ламанчский, одна из таких побуждаемых и побежденных любовью женщин, но все-таки настолько терпеливая и целомудренная, что мое сердце, наконец, не выдержало и разорвалось от молчания, и я лишилась жизни. Два дня назад назойливое воспоминание о суровости, с которой ты со мной обошелся, о бесчувственный рыцарь, более жесткий к моим жалобам, чем мрамор,<sup>[334]</sup> довело меня до того, что я упала мертвая — по крайней мере, все видевшие меня сочли меня мертвою. И если бы Амур, сжавшись надо мной, не вложил средства против моей болезни в мученичество этого доброго оруженосца, я осталась бы на том свете. — Право же, — вмешался Санчо, — Амур должен был бы вложить его в мученичество моего осла, и я бил бы ему очень благодарен. Однако, скажите мне, сударыня, — да наградит вас Бог любовником попокладистее моего господина! — что вы видели на том свете? Что такое в аду? Потому если человек умирает в отчаянии, так уж он непременно попадет в ад. Сказать правду, — ответила Альтисидора, — я,

верно, не совсем умерла, потому что в аду не была; а если бы я туда попала, я бы уже, верно, оттуда не вырвалась, хоть бы и захотела. На самом деле я подошла к двери, у которой с дюжину чертей играли в мяч, и все они были в брюках и кафтанах, с воротниками, обшитыми кружевом, и такими же отворотами, служившими им вместо рукавчиков, из которых высовывались четыре пальца, чтобы сделать руки длиннее. Они держали огненные отбойники для мячей, и меня удивило больше всего то, что они подавали друг другу вместо мячей книги вздутые ветром и наполненные волосом, – вещь, несомненно, удивительная и необыкновенная. Но еще больше меня удивило то, что обыкновенно у игроков естественно радуются те, которые выигрывают, и печалются те, кто проигрывает, а в этой игре все брюзжали, все ворчали, все проклинали. – Это неудивительно, – сказал Санчо, – потому что черти, играют они или не играют, проигрывают или выигрывают, никогда не могут быть довольны. – Так и должно быть, отвечала Альтисидора. – Но еще одна вещь меня удивляет, то есть я хочу сказать, что удивила тогда: ни один мяч не оставался после первого же помета на месте и для второго раза уже не годился. Поэтому книги старые и новые так и сыпались дождем. Одна из них, новенькая, как с иголки, и очень хорошо переплетенная, получила такого тумака, что из нее вывалились внутренности и рассыпались листы. – Посмотри-ка, что это за книга, – сказал один черт другому, а тот отвечал: – Это вторая часть Дон-Кихота Ламанчского, написанная не Сидом Гамедом, первоначальным ее автором, а одним arraгонцем, который говорит о себе, что он родом из Тордезильяс. – Прочь ее, – воскликнул другой дьявол, – и бросьте ее в бездны ада, чтобы мои глаза ее не видели. – Она, значит, очень плоха? – спросил другой. – Так плоха, – отвечал первый, – что если бы я сам нарочно захотел сделать хуже, то не достиг бы этого. – Они продолжали свою игру, перекидываясь другими книгами, а я, услышав имя Дон-Кихота, которого люблю так пылко, постаралась хорошенько запомнить это видение. – Это конечно и было видение, – заметил Дон-Кихот, – потому что другого меня на свете нет. Эта история переходит здесь из рук в руки, но ни в одних руках не остается, потому что всякий дает ей толчок ногой. Что касается меня, то я ни встревожен, ни рассержен, узнав, что, как фантастическое тело, разгуливаю во мраке бездны и в солнечном свете на земле, потому что я не тот, о котором говорится в этой истории. Если она хороша, верна и истинна, то она проживет целые века, а если она плоха, то от ее рождения до ее могилы путь будет не долог. – Альтисидора хотела дальше жаловаться на Дон-Кихота, но рыцарь ее предупредил. – Я вам уже много раз говорил, сударыня, – сказал он ей, – как я сожалею, что вы на



меня обратили свою любовь, потому что в ответ я могу дать только благодарность, а не взаимность. Я рожден для того, чтобы принадлежать Дульцинее Тобозской, а судьба, если только она есть, воспитала и сохранила меня для нее. Думать, что какая либо другая красавица может отнять место, которое она занимает в моей душе, значит мечтать о невозможном, а так как невозможное невозможно, то эта речь должна образумить вас настолько, чтоб вы возвратились в границы своей честности.

Эти слова взволновали и раздражили Альтисидору: – Жив Господь! – воскликнула она. – Господин сушеная треска, известковая душа, ядро греха, более суровый и более жесткий, чем скряга, которого о чем-нибудь просят! Если я дорвусь до вашего лица, я вырву вам глаза. Уж не думаете ли вы, дон побежденный, дон нещадно избитый палкой, что я умираю от любви к вам? О, я не такая женщина, чтобы дать в обиду кончика моего ногтя таким верблюдам, не только что умирать от любви к ним. – Клянусь Богом, я этому верю, – перебил Санчо. – Когда говорят, что влюбленные умирают от любви, это всегда смешно. Говорить, конечно, можно, но сделать это... сам черт этому не поверит.

Во время этого разговора вошел музыкант, певец и поэт, который пел две строфы, выше переданные. Он обратился с глубоким поклоном к Дон-Кихоту и сказал ему: – Соблаговолите, ваша милость, причислить и занести меня в число самых преданных ваших слуг, потому что я уже давно предан вам, как за вашу славу, так и за ваши подвиги. – Соблаговолите, ваша милость, – отвечал Дон-Кихот, – сказать мне, кто вы такой, чтобы я мог отвечать вам с учтивостью по вашим заслугам. Молодой человек отвечал, что это он прошлую ночью играл и пел панегирик. – У вашей милости, – заговорил снова Дон-Кихот, – положительно прелестный голос, но то, что вы пели, мне кажется, было не совсем уместно; потому что, что общего между стансами Гарсилазо и смертью этой дамы?<sup>[335]</sup> – Не удивляйтесь этому, – отвечал музыкант: – между подлинными поэтами настоящего времени в моде, чтобы всякий писал, что ему нравится, и крал то, что ему годится, кстати и некстати, и нет такой глупости, спетой или написанной, которая не приписывалась бы поэтической вольности.

Дон-Кихот хотел отвечать, но ему помешало появление герцога и герцогини, которые пришли отдать ему визит. Последовала длинная и сладостная беседа, во время которой Санчо произнес столько острот и столько шуток, что герцог и герцогиня снова пришли в изумление от такой тонкости ума, соединенной с такой простоватостью. Дон-Кихот умолял их позволить ему уехать в тот же день, прибавив, что таким побежденным

рыцарям, каким был он, приличнее жить в свином хлеву, нежели в королевских замках. Хозяева милостиво простились с ними, и герцогиня спросила, сохранил ли он злобу против Альтисидоры. – Сеньора, – отвечал он, – ваша милость можете быть уверены, что все зло в этой молодой девице происходит от праздности и что средством против этого послужит только постоянное и честное занятие. Она мне сказала, что в аду носят кружева. Она, без сомнения, знает это рукоделие, пускай же ни на мгновение не оставляет его; пока ее пальцы будут заняты движением коклюшек, предметы ее любви не будут расстраивать ее воображения. Вот истина, вот мое мнение и вот мой совет. – Мой тоже, – прибавил Санчо, – потому я в жизни своей не видал, чтобы кружевница умерла от любви. Очень занятые девушки более думают о том, чтобы кончить свое дело, чем о любовных похождениях. Я говорю по опыту, потому, когда я работаю в поле, я и не вспомню о своей хозяйке, то есть о своей Терезе Панса, которую, однако, люблю, как зеницу ока. – Вы очень хорошо говорите, Санчо, – заговорила герцогиня, – и я постараюсь, чтобы Альтисидора вперед занялась шитьем, которое она понимает чудесно. – Это бесполезно, сударыня, – возразила Альтисидора, – и употреблять этого средства нет надобности. Жестокость, которую платил мне этот разбойник и бродяга, сотрут с моей души воспоминание о нем без всяких других тонкостей, и с позволения вашей светлости я удалюсь отсюда, чтобы не видеть более, не скажу его печального лица, но его безобразного и ужасного остова. – Это похоже на то, что обыкновенно говорят, – сказал герцог, – кто бранится, тот близок к прощению. – Альтисидора сделала вид, что утирает платком слезы, и, присев вред своими господами, вышла из комнаты. – Бедная девушка, – сказал Санчо, – ты получила то, что заслужила, потому что обратилась к душе, сухой как тростник, к сердцу жесткому, как камень! Клянусь Богом, если бы ты обратилась ко мне, ты услышала бы совсем другую песню.

Разговор кончился, Дон-Кихот оделся, отобедал со своими хозяевами и уехал тотчас после стола.

## ГЛАВА LXXI

### Что случилось с Дон-Кихотом и его оруженосцем Санчо при их возвращении в свою деревню

Побежденный и празднующийся Дон-Кихот уехал с одной стороны задумчивый, с другой радостный. Печаль внушало ему его поражение; радость доставляло размышление о чудесной силе Санчо, которую доказало воскресение Альтисидоры. Впрочем, он несколько сомневался в том, чтобы влюбленная девица в действительности умирала. Что касается Санчо, то он ехал без малейшего веселия, а огорчало его то, что Альтисидора не сдержала своего обещания дать ему полдюжины сорочек. Думая и передумывая об этом, он сказал своему господину: – В сущности, господин, я должно быть самый несчастный врач, какого только можно встретить на свете, потому есть такие, которые, уморив больного, которого пользовали, еще требуют платы за свои труды, только в том и состоявшие, чтобы написать рецепт какого-нибудь лекарства, которое не сами и делают, а делает аптекарь, – да так и следует бедным дуракам. А я, которому здоровье других достается щипками, щелчками, уколами булавок и ударами плетью, не получаю за это ни обола. Так вот же, клянусь Богом, что если мне в руки попадетсЯ новый больной, я потребую, чтобы мне их смазали прежде, нежели я его вылечу, потому всякий кормится своим ремеслом, а я не думаю, чтобы небо одарило меня такой силой, какую я обладаю, для того, чтобы я пользовал ею других безо всякой для себя выгоды. – Ты прав, друг Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – и со стороны Альтисидоры очень дурно, что она не дала тебе обещанных сорочек. Хотя сила твоя и даром тебе досталась, потому что тебе не приходилось учиться для этого, но испытывать на себе мучения хуже, чем учиться. Что касается меня, то я могу сказать, что если бы ты захотел платы за удары плетью ради освобождения Дульцинеи от чар, то я бы дал тебе всякую плату, какая для меня возможна, но я не знаю, последует ли выздоровление после платы, а я не хочу вознаграждением помешать действию этого средства. Впрочем, мне кажется, что попытаться можно. Сообрази, Санчо, сколько тебе за это потребовать, и стегай себя поскорее, потом ты заплатишь себе наличными деньгами и собственными руками, потому что мои деньги у тебя.

При этом предложении Санчо раскрыл глаза и уши на целый аршин и в глубине души очень охотно согласился стегать себя. – Хорошо,

господин, – сказал он Дон-Кихоту, – я очень расположен сделать удовольствие вашей милости, как вы желаете, потому нахожу в этом и свою выгоду. Корыстолюбивым делает меня любовь к моим детям и моей жене. Скажите мне теперь, сколько вы дадите мне за каждый удар, который я нанесу себе плетью по хребту.

– Если бы, о Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – я должен был тебе заплатить соразмерно величию и качеству зла, которому ты поможешь, то не хватило бы ни венецианской казны, ни золотых россыпей Потоси, чтобы прилично вознаградить тебя. Но прими в расчет то, что находится у тебя в моем кошельке, и сам назначь цену каждому удару.

– Ударов плетью, – отвечал Санчо, – будет три тысячи триста с чем-то. Я дал уже себе до пяти ударов, остается остаток. Пускай эти пять будут с чем-то, и будем считать круглым числом три тысячи триста. По [квартильо \[336\]](#) штука, – а меньше я не возьму ни за что на свете, – это составит три тысячи триста [квартильо](#); будем считать: три тысячи составят тысячу пятьсот полуреалов, которые составляют семьсот пятьдесят реалов, а триста дадут сто пятьдесят полуреалов, которые составят семьдесят пять реалов, а если их сложить с семьюстами пятьюдесятью, то выйдет восемьсот двадцать пять реалов. Я отчислю эту сумму из денег вашей милости, которые находятся у меня, и возвращусь к себе домой богатый и довольный, хотя очень избитый и очень окровавленный, но [форелей](#) не поймаешь... [\[337\]](#) я больше я ничего не скажу.

– О, Санчо благословенный! О, любезный Санчо! – воскликнул Дон-Кихот, – как мы будем тебе обязаны, Дульцинея и я, мы должны будем отплачивать тебе во все дни нашей жизни, которые небо нам уделит! Если она возвратит себе прежний вид, а невозможно, чтобы она себе его не возвратила, ее несчастье станет ее счастьем, а мое поражение торжеством. Ну, Санчо, когда же ты думаешь начать свое бичевание? Чтобы ты сделал его поскорее, я прибавлю еще сто реалов.

– Когда? – отвечал Санчо. – Нынче же ночью. Постарайтесь, чтобы мы провели ее в чистом поле и под открытым небом, я тогда я раздеру себе кожу.

Ночь наступила, та самая ночь, которую Дон-Кихот ожидал с величайшим нетерпением в мире; ему казалось, что колеса Аполлона сломались, и что день затягивается больше обыкновенного, точно так как бывает с влюбленными, которые никогда не знают меры своим желаниям. Наконец, рыцарь и оруженосец подъехали к группе тенистых деревьев, несколько в стороне от дороги, и, сняв седло с Россинанта и вьюк с Серого,

растянулись на траве и поужинали из запасов Санчо. Последний, сделав из недоуздки и подпруги своего осла здоровую и гибкую плетъ, удалился шагов на двадцать от Дон-Кихота, под тень нескольких буков. Увидав его удаляющимся с таким мужеством и решимостью, его господин сказал ему: – Смотри, друг, не раздери себя на куски. Сделай так, чтобы один удар дождался другого и не так спеши достигнуть конца пути, чтобы не остаться без дыхания среди дороги; я хочу сказать, – не бей себя так сильно, чтобы жизнь твоя не кончилась, прежде, нежели ты достигнешь желанной цифры. Чтобы ты не сбился со счета, я берусь считать отсюда по своим четкам удары, которые ты себе дашь, и да покровительствует тебе небо, как ты заслуживаешь за свое доброе намерение. – Хороший плательщик не тревожится своими обязательствами, – отвечал Санчо. – Я думаю бить себя так, чтобы не убить себя, но чтобы это меня хорошенько жгло. В этом и должна состоять сущность этого чуда.

Он тотчас разделся от пояса до верхней части туловища, потом, взяв в руки веревку, стал себя стегать, а Дон-Кихот – считать удары, но не успел он дать себе шести или восьми ударов, как шутка эта показалась ему несколько тяжелою, а цена несколько легкою. Он остановился и сказал своему господину, что считает сделку обманом, потому что такие удары заслуживают оплаты полуреалом, а не одним квартильо. – Продолжай, друг Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – я удваиваю плату. – Ну, так с помощью Божьей, – сказал Санчо, – и пускай сыплются удары дождем. – Но хитрец скоро перестал давать себе удары по плечам. Он бил по деревьям, издавая от времени до времени такие вздохи, что можно было думать, будто он с каждым ударом вырывает из себя душу. Дон-Кихот, разжалобленный и опасаясь притом, как бы он не лишился жизни, и как бы неосторожность Санчо не погубила всего дела, сказал ему, наконец: – Ради неба, друг, оставь это дело; средство кажется мне слишком острым, и хорошо бы давать себе передышку. Не в один час взята была Замора.<sup>[338]</sup> Ты уже нанес себе, если я не ошибся в счете, более тысячи ударов плетью, этого достаточно пока, потому что осел, как говорится попросту, может вывести бремя, но не обременение. – Нет, нет, господин, – отвечал Санчо, – пусть обо мне не говорят: долг платить, дома нет. Пусть ваша милость отойдет отсюда немного и даст мне нанести себе еще тысячу ударов. В два таких присеста дело будет сделано, и за нами останется только излишек. – Если ты находишься в таком добром расположении, – заговорил Дон-Кихот, – то да благословит тебя небо; давай себе удары на здоровье, а я отойду.

Санчо возвратился к своему делу с такой энергией, что скоро на нескольких деревьях не осталось коры: с такой силой он себя бичевал.

Наконец, испустив громкий крик и дав страшный удар одному буку, он сказал: – Здесь умрет Самсон и все кто с ним. – Дон-Кихот прибежал на звук этого ужасного удара и жалобного стога и, схватив сплетенный ремень, который служил Санчо плетью, сказал ему: – Упаси господи, друг Санчо, чтобы из-за моего удовольствия ты лишил себя жизни, которая нужна твоей жене и твоим детям. Пускай Дульцинея дожидается лучшего случая, а я буду держаться в пределах надежды на будущее и буду ждать, чтобы ты приобрел новые силы, дабы это дело окончилось к удовольствию всех. – Если ваша милость, мой господин, так хотите, – отвечал Санчо, – хорошо, я согласен, но накиньте мне ваш плащ, потому что пот катится с меня каплями, а я не хочу схватить насморк, как случается с кающимися, которые впервые выносят бичевание. – Дон-Кихот поспешил разоблачиться и, оставшись в одном полукафтаны, хорошенько укрыл Санчо, который проспал до тех пор, пока его разбудило солнце. Они продолжили свой путь и остановились в этот день в деревне в трех милях расстояния.

Они подъехали к постоялому двору, который и был Дон-Кихотом признан за таковой, а не за замок со рвами, башнями, опускными решетками и подъемными мостами, потому что после своего поражения он рассуждал обо всех вещах более здраво, как и видно будет впредь. Его поместили в низкой комнате, в которой на окнах вместо гардин висели два куска старой разрисованной саржи по деревенскому обычаю. На одном грубо изображено было похищение Елены, когда дерзкий гость Менелая увозит его супругу. Другой представлял историю Энея и Дидоны, когда последняя, взойдя на высокую башню, задернутая в простыню, делает знаки убегающему любовнику, который спасается от нее в открытом море на фрегате или бриге. Рыцарь, рассматривая обе картины, заметил, что Елена уходила совсем не против воли, потому что она украдкой смеялась под плащом. Что касается прекрасной Дидоны, то с ее глаз капали слезы, большие как орех. Хорошенько рассмотрев их, Дон-Кихот сказал: – Эти обе дамы были крайне несчастны, что родились не в наше время, а я еще более несчастен, что не родился в их время, потому что если бы я встретил этих обеих красавиц, Троя не была бы сожжена, а Карфаген разрушен, мне достаточно было бы убить Париса, чтобы не допустить таких великих бедствий. – Я готов биться об заклад, – сказал Санчо, что немного пройдет времени, и ни одного не будет кабачка, гостинцы, постоялого двора и цирюльни, где не оказалось бы в картинах истории наших подвигов. Но я хотел бы, чтобы они были нарисованы лучшей рукой, нежели та, которая намазала этих дам. – Ты прав, Санчо, – заметил Дон-Кихот, потому что действительно это похоже на картины Орбаньехи, художника, жившего в

Убеде, который, когда его спрашивали, что он рисует, отвечал: «Что выйдет», а если случайно у него выходил петух, он подписывал под ним: «Это петух», чтобы его не приняли за лисицу. Таков же, Санчо, если я не ошибаюсь, должен быть художник или писатель (это одно и то же), который напечатал историю нового Дон-Кихота; он нарисовал или написал наудачу. Это похоже также и на одного поэта по имени Маулеон, который несколько лет назад явился представиться ко двору. Он быстро отвечал на все обращенные к нему вопросы, а когда его спросили, что значит *Deum de Deo*, он отвечал: «Отселе доселе».<sup>[339]</sup> Но оставим это, а скажи лучше, Санчо: в случае если ты захочешь дать себе этой ночью следующий залп ударов, предпочтешь ты сделать это под кровлей дома или под открытым небом? – Клянусь богом, господин, – отвечал Санчо, – что для тех ударов, которые я думаю дать себе, все равно, быть в доме или в поле. Но впрочем, я хотел бы; чтобы это произошло под деревьями; мне кажется, что они составляют мне компанию и что они удивительно помогают моему терпению. – Ну, не надо ни того, ни другого, друг Санчо, – отвечал Дон-Кихот, – чтобы тебе собраться с силами мы оставим окончание этого дела до нашей деревни, куда мы прибудем не позже, как послезавтра. – Делайте, как знаете, – отвечал Санчо, – а я хотел бы покончить с этим делом поскорее, пока железо горячо и точильный камень в движении, потому откладывать иногда опасно; надо молиться Богу и давать колотушки, потому лучше синица в руке, чем журавль в небе. – Будет, Санчо, – воскликнул Дон-Кихот, – оставь свои поговорки ради единого Бога; можно подумать, что ты возвращаешься к *sieut erat*. Говори просто, гладко, не запутываясь и не заплетаясь, как я тебе уже столько раз говорил. Ты увидишь, что будешь себя чувствовать хорошо. – Я не знаю, какое на мне лежит проклятие, – отвечал Санчо. – Я не могу привести ни одного доказательства без поговорки и ни одной поговорки, которая не казалась бы мне доказательством. Но я исправлюсь, если только это мне удастся. – И на этом их беседа кончилась.

## ГЛАВА LXXII

### Как Дон-Кихот и Санчо прибыли в свою деревню

Весь этот день Дон-Кихот и Санчо оставались в этом деревенском постоялом дворе, ожидая ночи, один – чтобы покончить со своим наказанием среди чистого поля, другой – чтобы увидеть конец его, который должен будет быть и целью его желаний. Между тем к дверям гостиницы подъехал один путешественник верхом на лошади и в сопровождении троих или четверых слуг, один из которых, обращаясь к тому, кто казался их господином, сказал ему: – Ваша милость, господин Дон Альваро Тарфе, можете очень хорошо отдохнуть здесь, дом кажется чистым и свежим. – Дон-Кихот, услышав это, сказал Санчо: – Слушай, Санчо, когда я перелистывал эту вторую часть моей истории, мне кажется я там между прочим встретил имя Дон Альваро Тарфе. – Очень может быть, – отвечал Санчо;– дадим ему сойти с лошади, потом допросим его. – Барин сошел с лошади, и хозяйка гостиницы отвела ему против комнаты Дон-Кихота низкую залу, убранную другой разрисованной саржей, как и та, которая украшала комнату вашего рыцаря. Новый пришелец облачился в летнее платье, и, выйдя на крыльцо гостиницы, которое было обширно и прохладно, он увидал там Дон-Кихота, который прохаживался взад и вперед. – Можно узнать, куда лежит путь вашей милости, господин дворянин? – спросил он его. – Я отправлюсь, – отвечал Дон-Кихот, – в одну деревню, отсюда по близости, откуда я родом и где живу. А ваша милость куда едете? – Я, сударь, – отвечал приезжий, – еду в Гренаду, на свою родину. – Хорошая родина, – заметил Дон-Кихот. – Но ваша милость не будете ли столь любезны и не скажете ли мне своего имени? Я полагаю, что для меня это более важно знать, нежели я могу сказать. – Мое имя, – отвечал путешественник, – Дон Альваро Тарфе. – Без всякого сомнения, – заметил Дон-Кихот, – я полагаю, что ваша милость тот самый Дон Альваро Тарфе, который фигурирует во второй части истории Дон-Кихота Ламанчского, недавно напечатанной и преданной гласности современным писателем, – Я тот самый, – отвечал дворянин, – и этот Дон-Кихот, главное лицо этой истории, был моим близким другом. Это я увлек его из его родины или, по крайней мере, понудил его отправиться к состязаниям, которые происходили в Сарагоссе и на которые я сам отправлялся. И действительно, действительно, я ему оказал много услуг и не допустил, чтобы его плечи были избиты палачом, за то, что он был несколько



чересчур дерзок.<sup>[340]</sup> – Скажите мне, господин Дон Альваро, – заговорил снова Дон-Кихот, – похожу я несколько на того Дон-Кихота, о котором говорит ваша милость? – Нет, конечно, нет, – отвечал путешественник, – ни в каком случае. – А у этого Дон-Кихота, – прибавил наш путешественник, – не было ли с собой оруженосца по имени Санчо Панса? – Да, без сомнения, был, – отвечал Дон Альваро, – но хотя он и славился тем, что был забавником и балагуром, но я никогда не слышал от него шуток, которая была бы забавна, – Честное слово, я этому верю! – воскликнул Санчо. – Шутить как нужно дается не всякому, а этот Санчо, о котором говорите ваше милость, господин дворянин, должен быть величайшим негодяем, скотом и вором, все вместе. Настоящий Санчо – я, и у меня к вашим услугам больше шуток, чем если бы они сыпались дождем, если не верите, ваша милость, произведите опыт. Ходите за мною, по меньшей мере, в течение года, и вы увидите, как они падают с моих уст при каждом шаге таким частым и мелким дождем, что всего чаще я сам не знаю, что говорю, а все слушающие меня покатываются со смеху.<sup>[341]</sup> Что касается настоящего Дон-Кихота Ламанчского, знаменитого, храброго, мудрого, влюбленного, расторжителя неправых дел, покровителя сирот, защитника вдов, губителя девиц, того, у кого единственная дама несравненная Дульцинея Тобозская, то вот он, этот господин, мой хозяин. Всякий другой Дон-Кихот и всякий другой Санчо суть только для вида, суть только воздушные мечты. – Клянусь Богом, я верю этому, – отвечал Дон Альваро, – потому что вы, мой друг, в четырех произнесенных вами словах высказали больше острот, чем другой Санчо Панса во всех своих речах, которые я от него слышал, а число их велико. От него больше отдавало обжорством, нежели красноречием, и дураком, нежели забавником, и я имею основание думать, что волшебники, преследующие хорошего Дон-Кихота, хотели преследовать и меня с плохим Дон-Кихотом. Но в сущности я, право, не знаю, что сказать, потому что я готов был бы поклясться, что оставил того Дон-Кихота в доме сумасшедших в Толедо, чтобы его там излечили, и вдруг здесь встречаю другого Дон-Кихота, хотя совершенно не похожего на моего. – Я не знаю, – заметил Дон-Кихот, – могу ли я назваться хорошим, но могу, по крайней мере, сказать, что я не плохой. В доказательство того, что я утверждаю, я хотел бы, господин Дон Альваро Тарфе, чтобы ваша милость знали одну вещь, именно: никогда в моей жизни нога моя не была в Сарагоссе. Напротив, услышав, что этот фантастический Дон-Кихот был на состязаниях в этом городе, я не хотел показываться туда, чтобы обличить его пред всем светом. Поэтому я прямо

проехал в Барселону, единственный по расположению и по красоте город, сокровищница учтивости, прибежище чужестранцев, богадельня для бедных, отечество храбрых, мститель за обиды и место свидания для верных друзей. Хотя то, что со мною там произошло и не относится к приятным воспоминаниям, а напротив вызывает жгучее сожаление, но я переносу их, однако, без сожаления и только потому, что имел случай насладиться видом Барцелоны. Итак, господин Дон Альваро Тарфе, я Дон-Кихот Ламанчский тот, о котором говорит молва, а не тот подлец, который хотел воспользоваться моим именем и хвастать моими мыслями. Я умоляю поэтому вашу милость, во имя обязанностей дворянина, соблаговолите заявить и подтвердить пред алькадом этой деревни, что ваша милость никогда во всю свою жизнь не видали меня до нынешнего дня, что я не Дон-Кихот напечатанной второй части и что этот Санчо Панса, мой оруженосец, не тот, которого знала ваша милость. – Очень охотно, – отвечал Дон Альваро, – но, право, это удивительно увидеть в одно и то же время двоих Дон-Кихотов и двоих Санчо Панса, так схожих по именам и столь не вхожих по действиям. Да, я повторяю и подтверждаю, что я не видал того, что видел, и что со мной не было того, что было. – Без сомнения, – заметил Санчо, – ваша милость заколдованы, как госпожа Дульцинея Тобозская, и если бы небу угодно было назначить, чтобы для освобождения вас от чар я должен был дать себе еще три тысячи с чем-то ударов плетью, какие я даю себе для нее, я бы безо всякой корысти дал себе их. – Я не понимаю, что вы хотите сказать словами: удары плетью, – отвечал Дон Альваро. – О, это долго рассказывать, – сказал Санчо, – но потом я расскажу вам, в чем дело, если мы поедем по одной дороге.<sup>[342]</sup> Во время этих разговоров наступил час обеда, и Дон-Кихот с Дон Альваро вместе сели за стол. Местный алькад случайно вошел в гостиницу в сопровождении протоколиста. Дон-Кихот изложил ему прошение в форменной записке, как подобало по его чину, чтобы Дон Альваро, дворянин, бывший на лицо, заявил его милости, что никогда не знал Дон-Кихота Ламанчского, также присутствовавшего на лицо, и что он не тот, который фигурирует в истории, напечатанной под заглавием: Вторая часть Дон-Кихота Ламанчского, и написанной неким Авельянедой, родом из Тордезильяс. Алькад разобрал дело по судебным законам. Заявление было сделано по всем правилам и со всеми формальностями, требуемыми в подобных случаях, что доставило большое наслаждение Дон-Кихоту и Санчо, как будто такое заявление было им очень нужно, как будто действия их и слова не ясно показывали различие между обоими Дон-Кихотами и обоими Санчо Панса.

Кучей любезностей и взаимным предложением услуг обменялись Дон Альваро и Дон-Кихот, причем знаменитый Ламанчец выказал свой ум и свою мудрость так явно, что Дон Альваро Тарфе наконец разубедился и стал думать, что он в самом деле заколдован, потому что воочию видел двух совершенно разных Дон-Кихотов. По наступлении вечера они вместе выехали с места своего отдыха и в полумиле расстояния увидели две расходившиеся дороги: одна вела к деревне Дон-Кихота, подругой должен был поехать Дон Альваро. Во время этого краткого путешествия Дон-Кихот рассказал ему о своем несчастном поражении, равно как о чарах, в которых находилась Дульцинея, и о средстве, указанном Мерлином. Все это повергло в новое удивление Дон Альваро, который, сердечно расцеловавшись с Дон-Кихотом и Санчо, поехал своей дорогой, предоставив им ехать своей.

Рыцарь провел эту ночь под несколькими деревьями, чтоб дать Санчо случай закончить свою епитимью. Он ее действительно окончил и таким же образом как прошлой ночью, к большому ущербу коре буков, нежели своих плеч, которые он оберегал так тщательно, что удар плетью не согнал бы и муху, если б она уселась на плечах Санчо. Обманутый Дон-Кихот не потерял ни одной единицы в счете и нашел, что вместе с ударами за прошлую ночь число их дошло до трех тысяч двадцати девяти. По-видимому, солнце очень рано встало, чтобы увидеть жертву, но с первым же рассветом хозяин и слуга продолжали свой путь, разговаривая о заблуждении, из которого они вывели Дон Альваро и радуясь, что получили его заявление пред судебной властью в такой достоверной форме.

Весь этот день и следующую ночь они ехали без приключений, которые заслуживали бы быть рассказанными, если не считать того, что Санчо кончил свою задачу, что преисполнило Дон-Кихота такой безумной радостью, что он не мог дожидаться дня, чтобы увидеть, не едет ли по дороге Дульцинея, его дама, уже освобожденная от чар, и по всему пути, увидав какую-либо женщину, он спешил ей навстречу, чтобы посмотреть, не Дульцинея ли это Тобозская, так был он уверен в непреложности обещаний Мерлина. В таких мыслях и желаниях достигли они холма, с высоты которого была видна их деревня. При виде ее Санчо стал на колени и воскликнул: — Открой свои глаза, желанная родина, и посмотри на своего возвращающегося сына Санчо Панса, если не более богатого, то хорошо избитого. Открой свои объятия и получи также своего сына Дон-Кихота, который, возвращаясь побежденным от руки других, возвращается за то победителем над самим собою, а это, как он мне говорил, наибольшая победа, какую может человек одержать. Но я приношу с собою деньги,

потому что если мне давали хороших тумачков, то я хорошо держался на своем седле. – Оставь эти глупости, – сказал Дон-Кихот, – и приготовимся твердой ногой вступить в нашу деревню, где мы спустим узду нашей фантазии, чтобы начертать план пастушеской жизни, которую мы хотим вести. – После этих слов они съехали с холма и достигли деревни.

## ГЛАВА LXXXIII

### **О мрачных предсказаниях, поразивших Дон-Кихота при вступлении в родную деревню, а также и о других событиях, которые украшают и возвышают интерес этой великой истории**

Вступая на родную почву, как передает Сид Гамед, Дон-Кихот увидел на гумне<sup>[343]</sup> двух маленьких мальчиков, ссорившихся между собою. Один из них говорил другому: – Напрасно стараешься, Перекильо, ты ее не увидишь больше во всю свою жизнь, во все свои дни. – Дон-Кихот услышал эти слова. – Друг, – сказал он Санчо, – слышишь ты, что говорит этот маленький мальчик: Ты не увидишь ее более во всю свою жизнь, и во все свои дни! – Ну, – отвечал Санчо, – что из того, что этот маленький мальчик так сказал? – Как! – заговорил снова Дон-Кихот. – Разве ты не видишь, что если применить эти слова к моему положению, то это значит, что я не увижу больше Дульцинеи? – Санчо хотел отвечать, но ему помешал вид зайца, который несся поперек воля, преследуемый стаей борзых. Бедное животное, в полном страхе, бросилось к ногам осла, ища около них убежища. Санчо взял зайца в руки и показал его Дон-Кихоту, который не переставал повторять: «*Malum signum, malum signum*». Заяц бежит, борзые его преследуют, конечно Дульцинея более не явится. – Какой вы право странный, – сказал Санчо. – Предположим, что этот заяц был Дульцинеей Тобозской, а эти преследующие ее борзые – разбойники-волшебники, которые ее превратили в крестьянку; она бежит, я ее схватываю и отдаю во власть вашей милости, а выдержите ее в руках и ласкаете в свое удовольствие. Чем же это плохой признак? И какое дурное предзнаменование можно из этого вывести?

Оба маленьких спорщика приблизились, чтобы посмотреть зайца, и Санчо спросил их, о чем они спорили. Они ответили, что тот, который сказал: – Ты ее не увидишь во всю свою жизнь, взял у другого маленькую клетку для сверчков, которую и не думает никогда возвратить другому. Санчо достал из кармана серебряную монету и дал ее маленькому мальчику за его клетку, которую и передал в руки Дон-Кихота, оказав: – Ну, господин, вот эти плохие предсказания и разбиты и уничтожены; отношение к нашему делу они имеют, как я думаю, как я ни глуп, такое же,

как прошлогодние облака. Если память мне не изменяет, помнится, я слышал от нашего деревенского священника, что христианин и просвещенный человек не должен обращать внимания на эти ребяческие вещи. И ваша милость говорили мне намеренно то же самое, объяснив мне, что все те христиане, которые обращают внимание на предзнаменования, не больше как глупцы. Не надо думать больше об этом. Оставим это и вступим в деревню.

Подъехали охотники и потребовали, чтобы заяц был им отдан, что Дон-Кихот и сделал, потом рыцарь поехал дальше и встретил у околицы священника и бакалавра Карраско, которые прогуливались на лужайке, повторяя на память молитвы. Надо сказать, что Санчо Панса накинул на осла, сверх связки с оружием, в виде попоны, тунику из баркана, усыпанную разрисованными на ней огоньками, в которую его завернули в замке герцога в ту ночь, когда Альтисидора воскресла; кроме того на голову осла он надел остроконечную митру, что представляло самую странную метаморфозу и самый удивительный наряд, в каком когда-либо на свете появлялся осел. Оба искателя приключений тотчас были узнаны священником и бакалавром, которые и бросились к ним с распростертыми объятиями. Дон-Кихот сошел с лошади и крепко прижал к груди обоих друзей. Деревенские повесы, от которых отделаться никогда нельзя, издали увидели ослиный колпак и, подбежав, чтобы разглядеть его, говорили друг другу: – Сюда, дети, сюда! идите, посмотрите на осла Санчо Панса, более нарядного, нежели Минго Ревульго,<sup>[344]</sup> и на лошадь Дон-Кихота, более худую, чем прежде! – Наконец, окруженные этими повесами и сопровождаемые священником и Карраско, они въехали в деревню и прямо направились к дону Дон-Кихота, где встретила у входа экономку и племянницу, которые были уже уведомлены об их приезде. Такое же точно извещение, ни больше, ни меньше, дано было Терезе Панса, жене Санчо, которая, растрепанная и полуодетая, таща за руку свою дочь Санчику, прибежала к своему мужу. Но, увидав, что он совсем не так наряден и разодет, как она себе представляла губернатора, она воскликнула: – А, муженек, так вот вы каковы! Мне кажется, что вы пришли пешком, как собака и с распухшими лапами. У вас скорее вид негодяя, нежели губернатора. – Молчи, Тереза, – отвечал Санчо, – очень часто корыто есть, а свиней нет. Пойдем домой, ты услышишь чудеса. Я привез с собою деньги, а это главное, и заработанные собственным трудом, без ущерба другим. – Принесите деньги, мой добрый муж, – отвечала Тереза, – а здесь или там они заработаны и каким способом заработаны, вы никого этим не удивите. – Санчика бросилась на шею отцу и спросила его, не привез ли он

чего-нибудь, потому что она ожидала, сказала она, столько же, сколько дождя выпадает в мае. Потом она взяла его с одной стороны за кожаный пояс, а жена с другой стороны под руку, и, ведя осла за ремень, они все трое пошли домой, оставив Дон-Кихота в его доме во власти экономки и племянницы и в обществе священника и бакалавра.

Дон-Кихот, не дожидаясь ни срока, ни случая, тотчас заперся со своими двумя друзьями, потом вкратце рассказал им о своем поражении и об обязательстве не покидать деревни в течение года, которое он и намерен выполнить буквально, не нарушая его ни на иоту, как странствующий рыцарь, связанный точными правилами странствующего рыцарства. Он присовокупил, что намерен на этот год сделаться пастухом и развлекаться в тиши полей, где ему можно будет спустить узду и дать полную свободу своим любовным мыслям, выполняя добродетельные пастушеские обязанности. Затем он стал их умолять, чтобы они составили ему компанию, если они не особенно заняты и если им не помешают в этом более серьезные обязанности. – Я куплю, – сказал он, – стадо овец, достаточное для того, чтобы нас называли пастухами, и я должен вам сказать, что главное уже сделано, потому что я нашел для вас имена, который подойдут к вам, как вылитые. – Что же это за имена? – спросил священник. – Я, – отвечал Дон-Кихот, – буду называться пастух Кихотис, вы, господин бакалавр, – пастух Карраскон, вы, господин священник, – пастух Куриамбро, а Санчо Панса – пастух Пансино.

Оба друга точно с неба свалились, услышав об этом новом безумии Дон-Кихота; но, боясь, чтоб он вторично не ушел с родины и не вернулся к своим рыцарским экспедициям, и надеясь к тому же, что в продолжение года можно будет его излечить, они согласились на его новый план, одобряли его безумную мысль, как очень благоразумную, у предложили ему себя в товарищи его сельских занятий. – Мало того, – прибавил Самсон Карраско, – так как я, как всем известно, весьма знаменитый поэт, то я буду на каждом шагу сочинять пасторальные стихи или героические, как мне вздумается, чтобы убить время в уединенных местах, по которым мы будем странствовать. Самое важное, господа, чтобы каждый из вас выбрал имя пастушки, которую будет прославлять в своих стихотворениях, и чтоб мы на всех, даже самых жестких, деревьях вырезали и увенчивали ее имя, по исконному обычаю влюбленных пастухов. – Вот это чудесно, – ответил Дон-Кихот. – Мне-то нечего придумывать имя какой-нибудь воображаемой пастушки, потому что бесподобная Дульцинея Тобозская, слава здешних мест, краса лугов, гордость красоты, цвет прелестей и ума – словом, совершенство, заслуживает всяческих похвал, даже кажущихся

преувеличенными. – Это правда, – подтвердил священник. – Ну, а мы поищем здесь каких-нибудь новеньких пастушечек, которые пришлись бы нам по вкусу, если не по душе. – А если мы таких не найдем, то дадим своим пастушкам имена тех описанных в книгах и увенчанных пастушек, о которых говорит весь свет: – Филид, Амарилид, Диан, Флерид, Галатей и Белизард. Так как их продают на рынке, то мы можем купить их и сделать их своими. Если, например, моя дама или, лучше сказать, моя пастушка будет называться Ана, я стану воспевать ее под именем Анарды; если ее будут звать Франциской, я назову ее Франсенией, Люцию – Люсиндой, и так далее. Таким образом все устроится. И сам Санчо Панса, если вступит в наше братство, может прославлять свою жену Терезу под именем Терезаины.<sup>[345]</sup> Дон-Кихот расхохотался при этом имени, а священник, осыпав его похвалами за его достойную решимость, снова предложил ему себя в товарищи на все время, которое у него будет оставаться от его главных занятий. После этого оба друга простились с рыцарем, советуя и прося его побольше заботиться о своем здоровье, ничего не жалея для этого.

Судьбе угодно было, чтобы племянница и экономка слышали этот разговор, и, как только Дон-Кихот остался один, они вошли в его комнату. – Это еще что такое, дядюшка? – спросила племянница. – Уж мы с экономкой надеялись, что ваша милость, наконец, вернулись домой, чтоб зажить спокойной, честной жизнью, а вы вдруг выдумали впутаться в новый лабиринт и сдаться – ты, пастушок, который приходишь, ты, пастушок, который уходишь! Право же, ячменная солома чересчур жестка, чтоб из вся делать свирели. – Да и как, – вмешалась экономка, – ваша милость будете проводить в поле летние знойные дни и зимние ночи, слушая вой волков? Это, честное слово, годится только для людей сильных, зачерствелых, с пеленок приученных к такой жизни. Уж если выбирать из двух зол меньшее, так уж лучше быть странствующим рыцарем, чем пастухом. Послушайте, сударь, примите мой совет. Я даю вам его не с пьяных глав, а трезвая, и с пятьюдесятью годами за плечами: оставайтесь дома, приведите в порядок свои дела, исповедуйтесь каждую неделю, давайте милостыню бедным, и, клянусь душой, если с вами приключится что-нибудь дурное... – Хорошо, хорошо, дети мои! – перебил Дон-Кихот. – Я сам прекрасно знаю, что делать. Отведите меня лучше в постель, потому что я, кажется, не совсем здоров, и будьте уверены, что рыцарем или пастухом я никогда не перестану заботиться о том, чтоб вы ни в чем не нуждались, как вы увидите на деле. – Обе добрые девушки, племянница и экономка, повели его в постель, где накормили и убаюкали его, как только умели.



## ГЛАВА LXXIV

### Как Дон-Кихот захворал, о составленном им завещании и о его смерти

Так как все человеческое не вечно и постоянно стремится от начала к концу, особенно жизнь человеческая, и так жив Дон-Кихот не получил от неба привилегии остановить ход своей жизни, то его конец и смерть пришли совершенно неожиданно для него. От горя ли, причиняемого ему сознанием его поражения, по промыслу ли неба, которое так захотело, но у него открылась упорная лихорадка, продержавшая его в постели шесть дней, в продолжение которых его много раз навещали священник, бакалавр, цирюльник и другие друзья, а у изголовья его неотступно сидел его верный оруженосец Санчо Панса. Все они, думая, что его довели до такого состояния сожаление о том, что он был побежден, и горе от невозможности освободить от чар и от неволи Дульцинею, старались всеми силами развлекать его. – Ну, будьте мужественны, – говорил ему бакалавр: вставайте и начнемте пастушескую жизнь. Я уже сочинял эклогу, которая затмит все эклоги Санназара;<sup>[346]</sup> потом я еще купил на свои деньги у одного кинтанарского пастуха двух славных догов, которые будут стеречь стадо, одного по имени Барсино, а другого Бутрон. – Но все это не могло развлечь Дон-Кихота. Тогда друзья его пригласили врача. Врач пощупал его пульс, остался не особенно доволен и сказал: – Во всяком случае, надо подумать о спасения души, потому что тело в опасности. – Дон-Кихот спокойно и покорно выслушал этот приговор. Но не так отнеслись в этому его племянница, экономка и оруженосец, которые горько заплакали, точно у них перед глазами был уже его труп. Врач высказал мнение, что скрытые причины горя и печали доводят рыцаря до могилы. Дон-Кихот попросил, чтоб его оставили одного, потому что он хочет соснуть. Все вышли, и он уснул и проспал, как говорится, без просыпа более шести часов, так что его племянница и экономка думали, что он уж никогда не проснется. Однако по прошествии шести часов он проснулся и громко вскрикнул: – Да будет благословен всемогущий Господь, которому я обязан таким высоким благодеянием. Милосердие Его бесконечно, и грехи человеческие не могут ни уничтожить, ни уменьшить его.

Племянница внимательно слушала речи своего дяди, которые показались ей более разумными, чем обычные его речи, по крайней мере с

тех пор, как он захворал. – Что ваша милость говорите, сударь? – спросила она. – Разве есть что-нибудь новое? О каком это милосердии и грехах человеческих вы говорите? – Милосердие, о, племянница моя, – ответил Дон-Кихот, – это то, что излил на меня сейчас Господь, которого, как я уже сказал, не остановили мои грехи. Рассудок мой освободился и прояснился, избавившись от густого мрака невежества, навеянного глупым, беспрестанным чтением гнусных рыцарских книг. Я понял теперь их нелепость и обманчивые соблазны. Мне жаль только, что я так поздно опомнился, что у меня уже не остается времени исправить зло, принявшись за чтение других книг, которые просветили бы мою душу. Я чувствую себя, о, племянница моя, в когтях смерти и хотел бы умереть так, чтоб все видели, что моя жизнь была вовсе не так дурна, чтоб за мной осталась слава безумца. Правда, я был безумцем, но не хотел бы своею смертью дать доказательства этой истины. Позови, дорогая моя, всех моих добрых друзей – священника, бакалавра Самсона Карраско и цирюльника дядю Николая: я хочу исповедаться и составить завещание. – Племяннице не пришлось трудиться исполнить его просьбу, потому что все они в эту минуту явились сами. Увидав их, Дон-Кихот продолжал: – Поздравьте меня, господа, с тем, что я уже не Дон-Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, которого за простой и тихий нрав прозвали добрым. Теперь я враг Амадиса Галльского и бесчисленного множества людей его сорта; я возненавидел все невежественные истории о странствующих рыцарях, я понял свою глупость и опасность, которой подвергло меня их чтение; словом, я, милостью Бога, приобрел, в ущерб себе, опытность и теперь презираю и гнушаюсь ими.

Слыша такие речи, трое друзей вообразили, что его мозг поражен каким-нибудь новым безумием. – Как, господин Дон-Кихот! – вскричал Самсон. – Теперь, когда мы из верного источника узнали, что госпожа Дульцинея освободилась от чар, вы затаили такую песню! И когда мы уже готовы стать пастухами, чтобы в пении по-княжески проводить время, вы вдруг вздували сделаться отшельником! – Полноте, ради Бога; придите в себя и бросьте эти нелепости. Занимавшие меня до сих пор нелепости были, к сожалению, чересчур реальны для моего предубежденного ума, – ответил Дон-Кихот. – Дай Бог, чтоб моя смерть обратила их в мою пользу! Я прекрасно чувствую, господа, что гигантскими шагами приближаюсь к предельному моему часу. Теперь уже не время шутить. Пошлите за священником, чтоб он исповедал меня, и за нотариусом, чтоб составить мое завещание. В такой крайности человеку не подобает играть своей душой. Поэтому прощу вас, пока господин священник будет меня исповедовать, привести сюда нотариуса.

Все переглянулись, пораженные словами Дон-Кихота, но как им это ни казалось странно, они поверили ему. Главное, что убеждало их, что больной умирает, была легкость, с которой он пришел от безумия к рассудительности. И действительно, к сказанному им он прибавил еще многое другое, до того красноречивое, умное и согласное с христианским учением, что последние сомнения их рассеялись, и они поверили, что к нему вернулся рассудок. Священник удалял всех и остался один с Дон-Кихотом, которого исповедал. Тем временем бакалавр сходил за нотариусом и привел его вместе с Санчо Панса. Бедняга Санчо, узнавший от бакалавра, в каком печальном состоянии находится его господин, принялся при виде заплаканных глаз племянницы и экономки, рыдать и проливать слезы. Исповедав больного, священник вышел и оказал: действительно, Алонсо Кихано Добрый выздоровел от своего безумия, и мы можем войти, чтоб выслушать его завещание. – Эти слова вызвали новые потоки из распухших глаз экономки, племянницы и доброго оруженосца Санчо Панса, так что из под век их так и потекли слезы, а из груди посыпались тысячи вздохов, потому что, как уже было говорено ранее, был ли Дон-Кихот просто Алонсо Кихано Добрым или Дон-Кихотом Ламанчским, характер его всегда был так кроток, а обхождение так приветливо, что его любили не только домашние, но и все знавшие его.

Вместе с другими вошел и нотариус, который написал заглавие завещания. Затем, Дон-Кихот, кончив духовные свои дела со всеми необходимыми в таких случаях христианскими обрядностями, приступил к завещанию и стал диктовать: – Я желаю, чтобы с Санчо Панса, которого я в своем безумии сделал своим оруженосцем и с которым имел некоторые прихода-расходные счета, не требовали ничего из той суммы денег, которая находилась у него на хранении, и чтоб с него не спрашивали никакого отчета об этих деньгах. Если останется что-нибудь после того, как ему будет уплачено, что я ему должен, то пусть остаток, который должен быть невелик, принадлежит ему и пусть он принесет ему большую пользу. Если бы я, как в безумии своем добыл ему губернаторство над островом, мог теперь, когда я стал человеком здоровым, подарить ему царство, я бы ему подарил его, ибо наивность его характера и преданность его заслуживают такой награды. – И, обратившись к Санчо, он прибавил: – Прости меня, друг мой, что и подал тебе повод казаться таким же сумасшедшим, как я, заставив тебя впасть в то же заблуждение, в каком был я сам, поверив, будто на свете были и есть странствующие рыцари. – Увы, увy! – ответил Санчо рыдая. – Не умирайте, мой добрый господин, а послушайтесь моего совета и живите еще многие годы, потому человек не может на этом свете

сделать худшего безумства, как умереть ни с того, ни с сего, убитый не кем-нибудь и не какими-нибудь ударами, а только горем. Полноте, не ленитесь, вставайте с постели и пойдете в поле, одетые пастухами, как мы условились: может быть, мы найдем за каким-нибудь кустом госпожу Дульцинею, освобожденную вам на радость от чар. Если ваша милость умираете от горя, что вас победили, так свалите всю вину на меня и говорите, что вы упали оттого, что я плохо оседлал Россинанта. Притом же ваша милость ведь читали в своих книгах, что это самая обыкновенная вещь, что рыцари валят друг друга, и что тот, кто побежден сегодня, может сам победить завтра. – Совершенно верно, – заметил Самсон, – добрый Санчо Панса отлично понимает эти истории. – Господа, – возразил Дон-Кихот, – оставьте это: в прошлогодних гнездах не бывает птиц. Я был сумасшедший и стал здоров, я был Дон-Кихотом Ламанчским и стал теперь Алонсо Кихано Добрым. Пусть мое раскаяние и моя искренность возвратят мне прежнее уважение ваших милостей ко мне и пусть господин нотариус продолжает... И так, я завещаю все мое движимое и недвижимое имущество племяннице моей, здесь присутствующей Антонии Кихана, по вычете из него всех сумм, необходимых для исполнения всех моих распоряжений, и первое, чего я требую, это уплаты жалованья моей экономке за все время, которое она у меня прослужила, и сверх того, выдачи ее двадцати дукатов на экипировку. Душеприказчиками и исполнителями моего завещания назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Карраско, здесь присутствующих. Далее завещаю, если моя племянница Антония Кихана захочет выйти замуж, чтоб она вышла за человека, о котором будет дознано предварительно судебным порядком, что он не знает даже, что такое рыцарские книги. Если же будет дознано, что он их знает, а племянница моя все-таки захочет за него выйти, то я лишаю ее всего, что завещаю ее, и мои душеприказчики будут иметь право употребить все на богоугодные дела по своему усмотрению... Далее, умоляю этих господ, моих душеприказчиков,<sup>[347]</sup> если им удастся каким-нибудь способом познакомиться с автором, написавшим, как говорят, историю под заглавием Вторая часть походов Дон-Кихота Ламанчского, попросить его от моего имени как можно настоятельнее, чтоб он простил меня, что я невольно подал ему повод написать так много таких ужасных глупостей, потому что я покидаю этот свет с угрызением совести, что дал ему такой повод.

После этих слов Дон-Кихот подписал и запечатал завещание и, утомленный, в обмороке растянулся на постели. Все присутствовавшие, испугавшись, бросились к нему на помощь, но и во все три дня, которые он

еще прожил после составления завещания. Он каждый час лишался чувств. Весь дом был перевернут вверх дном, но, несмотря на то, племянница ела с аппетитом, экономка угощала, а Санчо был весел, как всегда, потому что всякое наследство имеет свойство изглаживать и смягчать в сердцах наследников чувство горести, причиняемое потерей умершего.

Наконец, наступил последний час Дон-Кихота. Он все время не переставал в самых энергических выражениях проклинать рыцарские книги и перед смертью причастился, как подобает христианину. Присутствовавший при этом нотариус утверждал, что ни в одной из рыцарских книг не встречал странствующего рыцаря, который умер бы в своей постели так спокойно и так по-христиански, как Дон-Кихот. Этот последний отдал Богу душу, т. е. умер, окруженный горюющими и плачущими друзьями. Видя, что он скончался, священник попросил нотариуса выдать свидетельство, что Алонсо Кихано Добрый, всеми называемый Дон-Кихотом Ламанчским, перешел из этого мира в другой и умер естественной смертью. При этом священник сказал, что просит этого свидетельства для того, чтоб отнять у всех писателей, исключая Сида Гамеда Бен-Энгели, всякую возможность ложно воскрешать его и сочинять о его похождениях бесконечные истории!

Таким был конец доблестного гидальго Ламанчского, родины которого Сид Гамед не хотел точно указать, для того чтобы все города и местечки Ламанчи оспаривали друг у друга честь быть его родиной и считать его в числе своих детей, подобно тому как было с семью городами Греции относительно Гомера.<sup>[348]</sup> Тут еще не было упомянуто о слезах Санчо, племянницы и экономки, а также о новых эпитафиях, написанных на памятнике Дон-Кихота. Вот эпитафия, сочиненная Самсоном Карраско:

Здесь отважного могила  
С твердой волей и рукою,  
Пред которым смерти сила,  
Как доносится молвою,  
Власть свою остановила.

С миром он все жизнь сражался  
И за пугало считался.  
Небеса ему судили,  
Дни кого безумством были,  
Чтоб разумным он скончался.

Здесь хитроумный Сид Гамед обращается к своему перу и говорить: – Ты будешь висеть на этом крючке и на этой латунной проволоке, о, мое перышко, очиненное хорошо или дурно, не знаю. Ты проживешь так долгие годы, если мнимые и злонамеренные историки не снимут тебя, чтоб осквернить тебя. Но прежде чем он к тебе приблизится, ты можешь их предупредить и сказать ни как можно красноречивее:

Назад, мошенники, назад!  
Не тронет пусть меня никто:  
Судьбы веленьем суждено  
Лишь мне свершить деянье то.

Да, для меня одного родился Дон-Кихот, и я родился для него. Он умел действовать, а я писать. Только мы с ним составляли одно, вопреки пресловутому тордезильяскому повествователю, который осмелился или осмелится описывать страусовым пером, грубым и плохо очиненным, похождения моего доблестного рыцаря. Это бремя ему совсем не по плечу, этот предмет не по его холодному уму, и если ты с ним повстречаешься, увещевай его оставить и покое в могиле усталые и уже подгнившие кости Дон-Кихота, и в особенности не водить его, наперекор законам смерти, в Старую Кастилию, <sup>[349]</sup> заставив его выйти из могилы, в которой он действительно покоится, вытянувшись во весь рост и не будучи в состоянии снова выйти из нее и совершит третий поход. Чтоб осмеять все походы, совершенные столькими странствующими рыцарями, достаточно и двух совершенных им, на радость и удовольствие людям, познакомившимся с ними, как в этом государстве, так и в иностранных государствах. Поступая так, ты исполнишь свой христианский долг, ты дашь добрый совет человеку, желающему тебе зла, а я буду радоваться и гордиться, что первый собрал со своих сочинений плоды, которых он ожидал, ибо у меня не было иного желания, как предать на посмеяние людям лживые и нелепые рыцарские истории, которые, пораженные на смерть историей моего настоящего Дон-Кихота, стали уже прихрамывать и скоро, наверное, совсем упадут. – Vale.

Конец.



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytskyi  
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8  
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20  
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное  
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8  
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20  
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана  
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:  
**[www.strelbooks.com](http://www.strelbooks.com)** **[www.audio-book.com.ua](http://www.audio-book.com.ua)**

Желаем приятного чтения!  
Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Эта книга охраняется авторским правом  
Copyright © 2015  
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**

---

---

**notes**

## Примечания



**1**

Баранина в Испании дороже говядины.

Так называлось кушанье из потрохов животных, которое кастильские дворяне обыкновенно ели по субботам в исполнение обета, данного после битвы при Лас-Навас-де-Толоза.

В то время в Испании было только два больших университета – в Саламанке и Алькале. Следовательно, об ученой степени священника Сервантес говорит с иронией.

Шут герцога Борзо-де-Фирраре, живш. в XV ст.

Из старинного испанск. романа.

Оттуда-же.

Сервантес приводит старый романс, заменив имя Ланселот – Дон-Кихотом.

Нет ничего удивительного в том, что крестьянин носил копье, – в течение восьмивековой борьбы с маврами, испанцы всех сословий приобрели привычку носить оружие.



Из них было трое евреев: Иисус Навин, Давид и Иуда Маккавей; трое язычников: Гектор, Александр и Цезарь, и трое христиан: Артур, Карл Великий и Годфрид Бульонский.

Заморский срок (*termino ultramarino*), необходимый для того, чтобы иметь возможность вызвать в суд кого-либо из живших в испанских колониях, равнялся шести месяцам.

Пастушеский роман, написанный португальцем на испанском языке.

Балансьенский поэт, написавший продолжение Дианы Монтемайора.

Сервантес намекает на множество евреев в Толедо.

Такими названиями награждали друг друга испанцы и мавры.

Старинный испанский инструмент, похожий на скрипку с тремя струнами.

Этот и следующие переводы стихов принадлежат М. О.



Качопинами назывались в Испании все те, которых бедность вынудила переселиться в колонии.

Туллия, жена Тарквиния, велела проехать своей колеснице по трупу ее отца, Сервия Туллия. Сервантес, по рассеянности, делает ошибку, называя ее дочерью Тарквиния.

Название одного из мечей Сида.

В Испании в начале XVII века большая часть погонщиков мулов были мавры.

Познай мою судьбу.

Так испанские пастухи называют созвездие Малой Медведицы.

Старинными христианами в Испании называют тех, у кого в числе предков нет ни евреев, ни мавров, обратившихся в христианство.

Испанская пословица: Если камень ударит по кувшину, тем хуже для кувшина; если кувшин ударит по камню, тем хуже для кувшина.



Волшебный шлем принадлежавший мавру Мамбрину и делавший неуязвимым того, кто его носил (Боярдо и Ариосто).

По готским законам (Fuero-Juzgo) оскорбленный кем-либо дворянин мог требовать судом пятьсот sueldos вознаграждения. Простолюдин мог требовать только 300.

Первый из романов, принадлежащих к тому разряду, который называют в Испании *literatura picaresca*, т. е. повествующая о жизни и похождениях преступников. Эта книга, появилась в 1539 г. и считается принадлежащей Дон-Диого Хуртадо де Мендоса, министру и посланнику Карла V.

Сьерра Морана (темные горы) – горная цепь, идущая от устья Эбро до мыса св. Викентия в Португалии и отделяющая Ламанчу от Андалузии.

Св. Германдада умерщвляла стрелами преступников, приговоренных к смерти.

Сервантес, по-видимому, забыл здесь, что осел у Санчо украден.

Действующие лица в Хронике дон-Флоризеля Никейского, соч. Фелициано де-Сильва.

Опять та же ошибка.



Orlando furioso, песнь IV.

In inferno nulla est redemptio.

Дон-Кихот хотел сказать: Тезеум.

Овидий так говорит о Фэтони (Мет. кн. II).

Один из последних готских королей Испании VII века.

Ганелон, по прозванию Изменник, – один из двенадцати пэров Карла Великого, предавший христианскую армию Сарацинам.

Вельидо Дольфос – имя убийцы короля Санчо Сильного, при осаде Саморы в 1673 г.

Зулема – название горы к юго-западу от Алькалы Генаресской, на вершине которой находятся развалины, как предполагают, древнего Комплутума.



Намек на уловку цыган, употребляемую ими при продаже. Если мул или осел слишком ленив и вял, то цыгане вливают ему немного ртути в уши для того, чтобы он был поживее.

Аллегория, приводимая Ариостом в гл. XLII Orlando Furioso.

Sabio, Solo, Solicito y Secreto (умный, единственный, заботливый и скромный). Далее в подлиннике Леонелла приводит целую азбуку достоинств истинного любовника, которые, при переводе на русский язык, трудно расположить в алфавитном порядке, вследствие несходства русской азбуки с латинскою: agradecido, bueno, caballero, dadiuoso, enamorado, firme, gallardo, honrado, illustre, leal, mozo, noble, onesto, principal, quantioso, rico (признательный, добрый, рыцарь, великодушный, влюбленный, твердый, красивый, благопристойный, славный, верный, молодой, благородный, честный, знатный, щедрый, богатый), четыре приведенные уже S, tacito, vernadero (молчаливый, правдивый), X к нему не идет, как грубая буква, а у Y нет подходящего слова.

Сервантес допускает здесь анахронизм. Великий Капитан оставил Италию в 1507 г. и умер в 1515 г. Лотрек же стал во главе французской армии только в 1527 г., когда армией Карла V командовал принц Оранский.

Во время путешествия тогда имели обыкновение надевать на лицо маски (antifaces) из черной тафты.

Лелья означает по-арабски божественная, блаженная. Это имя дается преимущественно Марии Богоматери.

Ходить на суп называется у нищих получать в определенный час у ворот богатых монастырей похлебку и куски хлеба. Так же делали и бедные студенты во времена Сервантеса и даже в вашем столетии.

Под командой этого Диего-де-Урбина Сервантес участвовал в битве при Лепанто.



О битве при Лепанто Сервантес говорит как очевидец.

Мулей-Гамет и Мулей-Гамида были сыновья Мулей-Гассана – тунисского короля. Гамида лишил своего отца трона и ослепил его. Гамет, опасаясь от своего жестокого брата, убежал в Палермо. Гамида был выгнан из Туниса Учали и турками и укрепился в Гулетте. Дон-Хуан Австрийский, в свою очередь, выгнал турок из Туниса, призвал Гамета и сделал его правителем этого королевства, а жестокого Гамида отдал в руки Дон-Карлоса Аррогонского, вице-короля Сицилии. Гамида был отвезен в Неаполь, где один из сыновей его обратился в христианство. Там он и умер от горя.

Так назывались тогда албанцы.

Этот господин пленника был по происхождению венецианец, по имени Андрета. Он был взят в плен Учали, после которого сделался алжирским королем и потом главнокомандующим флота и умер отравленный соперником, заместившим его должность.

Этот Сааведра – сам Сервантес.

Этого ренегата звали Морато Даес Мальтрапильо. Он был другом Сервантеса и однажды спас его от смертной казни после его попытки к бегству в 1579 году. Пленник же, рассказывающий свою историю, – капитан Руи Перес де-Вьедой товарищ Сервантеса по плену.

Эту невольницу звали Хуана де-Рентерия. Сервантес говорит о ней также в своей комедии «Los Banos de Argel».

Молитва.



Тагарин, то есть пограничный; так назывались мавры Аррогонии и Валенсии.

Каждый сольтани равняется двум испанским пиастрам.

Багарин означает матрос.

Ардос – командир алжирского судна.

Кормчий в «Энеиде» Вергилия.

La garrucha. – пытка эта состояла в том, что подсудимого обремененного кандалами и другими значительными тяжестями, подвешивали и оставляли так, пока он не признавался в своем преступлении.

Старинная испанская пословица: Законы пишутся так, так хотят короли.

Orlando furioso, canto XXVII.



Приключение с объездными произошло в предыдущей главе, и заглавие, которое подходило бы к этой главе: О странном способе, которым был очаровании Дон-Кихот и пр., перенесено на следующую главу. Это часто неточное и неверное разделение на главы произошло по всей вероятности оттого, что первая часть Дон-Кихота была издана в первый раз в отсутствие автора, по рукописям не приведенным в порядок.

Автор схоластической книги Sumas de las sumulas.

Венецианский путешественник XIII столетия.

Пьесы, принадлежащие Луперсио Леонардо де-Аргенсола.

Отмщенная неблагодарность – Лопе-де-Вега, Нуманция – самого Сервантеса, Влюбленный купец – Гаспара-де-Агиляра и Полезный враг – каноника Франсиско Таррого.

Сервантес говорит о Лопе-де-Вега. Приведенная выше критика несообразностей комедий по большей части относится также к пьесам того же автора.

Святой Грааль – сосуд, в который Иосиф Аримафейский принял кровь Христа при снятии с креста. Завоевание св. Грааля королем Артуром и рыцарями Круглого стола послужило темой для одной рыцарской книги, написанной по латыни в XII веке и переведенной на испанский язык в 1500 году.

В остальных местностях Испании замужние женщины сохраняли и сохраняют еще свои девичьи фамилии. Сервантес в продолжение всего романа дает несколько имен жене Санчо. В начале первой части он называет ее Мария Гутьеррес, теперь Хуана Панса; во второй части он назвал ее Тереза Каскахо; потом еще раз Мария Гутьеррес, потом окончательно Тереза Панса.



В Саррогосе было в то время братство под покровительством св. Георгия, устраивавшее три раза в год турниры.

Подобным же способом были найдены повествования об Амадисе Греческом, об Эмлондиане и других рыцарях, как уверяют в том авторы в жизнеописаний.

Orlando furioso, canto XXX.

Санчо перепутал имя Бен-Энгели с испанским названием огородного растения бадиджан – berangena, доставляющего плод, похожий на огурец и введенного в употребление в Валенсии маврами.

Дон Алонзо де Мадригаль, епископ Авильский, по прозвищу el Tostado (обожженный), умерший 40 лет (в 1450 г.), оставил после себя 48 фолиантов. Он играл на соборе в Базеле выдающуюся роль.

Sanbenito (священная власяница) называлось одеяние осужденных святой инквизицией. Это был род короткого плаща или наплечника желтого цвета с красным крестом на нем.

Garcilaso de la Vega. Стихи взяты Дон-Кихотом из элегии, посвященной герцогу Альбе, на смерть его брата дон Бернардино Толедского.

Молитва святой Аполлонии – нечто в роде заклинания против болезней – была в большом употреблении во времена Сервантеса.



Garcilaso de la Vega. В третьей эклоге он говорит:

De cuatro ninfas, que del Tajo amado  
Solieron juntas, a cantar me ofresco, etc.

Пантеон, сооруженный Марком Агриппой, зятем Августа, и посвященный Юпитеру Мстителю.

Сервантес ошибается. Светоний, за одно с Плутархом, говорит напротив, что добрые предзнаменования заставили Цезаря перейти Рубикон и сказать: «Жребий брошен!» (Vita Caesaris, cap. XXXIII и XXXIII).

Это египетский обелиск, по повелению Сикста V поставленный в 1586 г. в центре колоннады св. Петра. Сервантес, видевший его на месте, которое он прежде занимал, ошибочно предположил, что он был предназначен для хранения праха Юлия Цезаря. В Рим он был привезен при императоре Калигуле. (Плиний, книга XVI, глава XI.)

Сервантес, на восемнадцатом году своей жизни, видел, вероятно, торжественный прием, оказанный королем Филиппом II в ноябре 1565 г. останкам св. Евгения, привезенным ему Карлом IX в дар.

Без сомнения, св. Диего Алькальского, канонизованного Сикстом V в 1588 г., и св. Петра Алькантарского ум. в 1562 г.

Media noche era por filo, etc. Это первый стих старинного романа, автор которого – граф Кларос де-Монтальван и который находится в Антверпенской коллекции.

Арабское название дворца (al-kasr). Это слово по-испански имеет более возвышенное значение, нежели palacio.



Mala la hovistes, Franceses,  
La caza de Roncesvalles, ect.

Романс той же эпохи и находящийся в той же коллекции, как и предыдущий. Этот романс служил вместо поговорки, соответствующей нашему «плюю и на это».

Mengagero sois, amigo,  
Non mereceis culpa, non.

Стихи из одного старого романса Бернарда дель Карпио, повторявшиеся впоследствии в других романсах и ставшие очень популярными.

O diem laetura notandumque mihi candidissimo calculo! (Plin., lib. VI, ep. XI.)

Хо, que te estrogo, burra de mi suegro – очень старая поговорка на деревенском жаргоне.

В этой фразе заключается несколько полустий, заимствованных у Гарцилазо де ла Вега, которого Дон-Кихот воображает, будто знает наизусть.

«Физиономисты, говорит Коваррубиас (*Tesoro de la lengua castellana*, к слову *lunar*) судят об этих пятнах, и особенно на лице, давая им соответствие на других частях тела. Все это ребячества...»

В оригинале игра слов основана на сходстве слова *lunares* (знаки, родимые пятна) и *lunas* (луны).



Sila à la gineta. Это арабское седло с двумя высокими арчагами спереди и сзади.

Сервантес действительно хотел повести своего героя на Сарогозские петушиные бои; но, когда он увидел, что литературный вор Авелланеда заставил его героя присутствовать на этих боях, он переменял намерение, как видно из главы LIX.

Angulo el Malo. Этот Ангуло, родившийся в Толедо около 1550 г., был знаменит между антрепренерами странствующих трупп, которые сочиняли фарсы для своего репертуара, и которые назывались autores. Сервантес говорит о нем еще в Диалоге собак: «От двери к двери, говорит Берганца, мы пришли к автору комедий, которого звали, сколько мне помнится, Ангуло Дурной, в отличие от другого Ангуло, не autor'a, а комедианта, самого прелестного, какого только видели театры».

Это была, без сомнения, одна из тех религиозных комедий, называвшихся autos sacramentales, которые игрались главным образом в неделю праздника тела Господня. Для этого на улицах воздвигались особые досчатые театры, и комедианты, переезжая в телегах одетые в костюмы, играли во всех театрах поочередно. Они называли это на современном закулисном жаргоне делать телеги (hacer los carros).

Autor. Это слово происходит не от латинского auctor, а от испанского auto, акт, представление.

В оригинале сказано Caratula и Farandula, две труппы комедиантов времен Сервантеса.

Филипп III приказал, по причине бесчинств, которые себе позволяли эти странствующие труппы, чтоб они запасались свидетельствами от Кастильского совета. Эти то свидетельства они и называли титулами (titulo), точно это была грамота на дворянство.

No bay amigo para amigo,  
Las canas se vuelven lanzas.

Эти стихи взяты из романса в романе Гинеса Перец де Хита, под заглавием История гражданских войн Гренады.



Во всем этом пассаже Сервантес только копирует натуралиста Плиния. Этот последний действительно прямо говорит, что люди научились от журавлей бдительности (lib. X, cap. XXIII), от муравьев предусмотрительности (lib. XI, cap. XXX), от слонов стыдливости (lib. VII, cap. V), от лошади верности (lib. VIII, cap. XL), от собак рвоте (lib. XXIX, cap. IV) и благодарности (lib. VIII, cap. XL). Только изобретение, которое Сервантес приписывает аисту, Плиний относит к египетскому ибису. Он еще говорит, что кровопусканию и многим другим средствам научили нас животные. Полагаясь на римского натуралиста, этот вздор долго повторяли в школах.

Еванг. от Матв, гл. XII, стих 34.

В Испании между XII и XVI стол., во главе армий часто стояли прелаты, как напр., знаменитый Родриго Хименец де-Рада, архиепископ, генерал и историк. В войне, происходившей в 1520 г., составилась отряд из священников под командой епископа из Заморы.

В оригинале выражение, которое не принято в печати, но которое в те времена так часто употреблялось, что сделалось обыкновенным восклицанием.

Игра слов, основанная на двойном значении прилагательного *cruda* – жесткая и сырая.

Еванг. от Матфея, гл. XV, стих 14.

В повести «Видриерский лицензиат» Сервантес также упоминает, в числе знаменитейших вин, вино из города более имперского, чем королевского (Real Ciudad), гостиной бога веселья.

Этот рассказ нравился Сервантесу, и он раньше привел его в интермедии la Election de los Alcaldes de Daganzo, где реджидор Алонзо Альгорроба применяет его к кандидату Хуану Беррокаль, говоря перед муниципальными избирателями:

En mi casa probò, los dias pasados,  
Una finaја, и т. д.



Вандалия – это Андалузия. Древняя Бетика стала так называться с тех пор, как в ней утвердились в V столетии вандалы. А из Вандалии или Вандалии арабы, у которых совсем нет буквы в, сделали Андалузию.

Гиральда – это большая бронзовая статуя, изображающая, по мнению одних, веру, по мнению других – победу, и служащая флюгером на высокой арабской башне Севильского собора, ее имя происходит от слова, girar – вертеться. Эта статуя вышиной в 14 фут. и весит 36 центнеров. В левой руке она держит победную пальму, а в правой знамя, которое показывает направление ветра. Она воздвигнута была в 1668 г. на вершине этой башни, древней арабской обсерватории, сделавшейся колокольной собора со времени победы вс. Фердинанда, в 1248 году.

Los Toros de Guisando называются четыре серых, почти бесформенных каменных глыб, находящихся среди виноградника, который принадлежит гиеронимскому монастырю Гизандо, в провинции Авила. Эти глыбы, стоящие рядом и обращенные на запад, имеют 12–18 пядей в длину, 8 в высоту и 4 в ширину. Гизандские быки знамениты в истории Испании, потому что там заключен был трактат, по которому Генрих VI, после свержения его кортесами Авильскими, признал наследницей престола свою сестру Изабеллу Католичку, обойдя свою дочь Иоанну, по прозвищу Beltraneja. – И в других местностях Испании, как в Сеговии, Торо, Ледесме, Баниосе и Торральве, также встречаются каменные глыбы, грубо изображающие быков и кабанов. Есть предположение, что эти древние памятники – дело рук карфагенян, но точно их происхождение не установлено.

На одной из вершин Сьерры-де-Кабра, в провинции Кордова, есть отверстие – быть может, кратер потухшего вулкана, которое туземцы называют устами ада. В 1683 г. туда кто-то спускался на канате, чтобы вытащить труп убитого человека. По его рассказам, предполагают, что глубина пещеры доходит до 43 аршин.

Оба цитируемые Сервантесом стиха заимствованы, хотя и с некоторыми видоизменениями, из поэмы Агаусана Алонзо де Эрсилья:

Pues no es el vencedor mas estimado  
De aquello en que el vencido es reputado.  
Протоиерей Хита сказал в XIV столетии:  
El vencedor ha hora del precio del vencido,  
Su loor es atanto cuanto es el debatido.

Испанцы в поединках называют крестными секундантов.

Обычный штраф, который налагался на членов всякого братства, отсутствовавших в дни собраний.

A esto vos respondemos, древняя формула ответов, которые давали кастильские короли на петиции кортесов. Это объясняет конец фразы, которая составлена также в стиле формулы.



Senza che tromba ô segno altro accenasse, говорит Ариост, описывая битву Градасса и Рено на меч Дуриндана и лошадь Байярт. (Canto XXXIII, str. LXXIX).

Слово algebrista происходит от algebrar и по Коваррубиасу означало в прежние времена искусство вправлять сломанные кости. И теперь еще на некоторых вывесках цирюльников-хирургов можно видеть надпись: algebrista y sangrador.

Gaban – короткий закрытый плащ с рукавами и капюшоном, употреблявшийся главным образом в путешествиях.

В Сервантесе, бедном и забытом, пришлось бы предположить, не скажу, христианскую любовь к ближнему, а наивность или низость, если бы эта фраза, вышедшая из под его пера, не была жестокой иронией.

В своей повести *la Gitanilla de Madrid* Сервантес раньше уже сказал: «Поэзия есть прекрасная дева, целомудренная, честная, скромная, умная, сдержанная... Она любит уединение; родинки развлекают ее, луга утешают, деревья разгоняют скуку, цветы дают наслаждение, а сама она очаровывает и просвещает всех, кто к ней приближается».

Лопе де Вега буквально повторил это выражение в третьем акте своей Доротеи. В предисловии к своей комедии *El verdadero amante*, обращенном к его сыну, он тоже говорит: «Я видел много людей, которые, не зная собственного языка, гордились знанием латинского и пренебрегали просторечием, забывая, что греки не писали по-латыни, а латиняне по-гречески. Истинный поэт – такой, о каких говорят, что они являются по одному в столетие, – пишет на родном своем языке и пишет на нем образцово, как Петрарка в Италии, Ронсар во Франции и Гарсилазо в Испании».

Nascantur poetae, fiant oratores, сказал Квинтилиан.

Овидий, Искусство любить, кн. III, ст. 547, и Faeto, кн. VI, ст. 6.



Намек на Овидия, который сослан был, однако, не на острова, а к западному побережью Черного моря, и не за острое словцо, а за нескромный взгляд

Inscia quod crimen videront lumina, plector;  
Peccatumquo oculos est habuisse meum.  
Trietes. (Элег. V).

Древние полагали, и Плиний вместе с ними, что лавр предохраняет от молнии. Светоний говорит о Тиберии: *Et turbatiore coelo nunquam non coronam lauream capite gestavit, quod fulmine adflari negetur id genus frondis* (Глава LXIX).

Шпагами с собачкой (Espadas del Perillo) назывались, по причине своей марки, шпаги фабрики Юлиана дель Рей, знаменитого толедского оружейного мастера. Лезвия их были коротки и широки. Со времени победы испанцев над арабами и завоевания Толедо (в 1085 г.), этот город в продолжение нескольких столетий фабриковал самое лучшее белое оружие во всем христианском мире. Там жили, кроме Юлиана дель Рей, и масса других оружейных мастеров, имена которых прославились. В 1617 г. Кристоаль де Фигероа в своей книге: *Plaza universal de ciencias y artes* перечислил по именам до 18 знаменитых оружейных мастеров, живших в том же городе, и в местных муниципальных архивах еще сохраняются марки 99 фабрикантов оружия. Теперь из них не осталось уже ни одной, и забыта даже закалка стали, секрет, который мозарабы открыли испанцам.

Так Амадис Галльский, которого Дон Кихот принимал за образец, называл себя также рыцарем Львов, а затем последовательно менял это имя на Красного рыцаря, рыцаря Крепкого Острова, рыцаря Зеленого меча, рыцаря Карлика и рыцаря Греческого.

Рыцарские истории полны рассказов о битвах рыцарей со львами. Пальмерив Оливский убивал их, как ягнят, а его сын Прималеон не более церемонился с ними. Пальмерин Английский один бился против двух тигров и двух львов, а когда король Перион, отец Амадиса Галльского, хотел победить льва, который отнял у него на охоте оленя, то сошел с лошади, которая, испугавшись, не хотела двинуться вперед. Но не в одних этих книгах мог Дон Кихот найти пример для своего безумного поступка. Рассказывают, что, когда, во время последней Гренадской войны, католические короли получили в подарок от одного африканского эмира несколько львов, придворные дамы глядели с балкона на этих зверей в загороженном месте. Одна из них, которой служил знаменитый дон Мануэль Понсе, уронила, нарочно или случайно, перчатку. Дон Мануэль в тот же миг бросился со шпагой в руке за загородку и поднял перчатку своей дамы. По этому-то королева назвала его дон Мануэлем Понсе де Леон, и все потомки его сохранили это имя, и потому-то Сервантес называет Дон Кихота новым Понсе де Леон. Эту историю рассказывали многие летописцы и, между прочим, Перес де Хита в одном из своих романсов. (Guerras civiles de Grenada, cap. XVII.)

!O el bravo don Manuel,  
Fonce de Leon llamado,  
A quel que sacará el guante,  
Que por industrie fue echado  
Donde estaban los leones,  
Y el lo saeó may osado!

Бои быков, прежде чем были предоставлены наемным гладиаторам, долго были в Испании любимым упражнением знати и изысканнейшим придворным развлечением. О них упоминается в латинской хронике Альфонса VII, где рассказывается о празднествах, которые устраивал Леон в 1144 г. по поводу бракосочетания инфанты доны Урраки с доном Гарсиа, королем Наваррским: *Alii, latratu caput provocatis tauris, protento venabuto occidebant...* Впоследствии этот обычай распространился; установились правила для такого рода боев, и многие знатные мужи приобрели в них большую известность. Дон Луис Сапата рассказывает в интересной главе своей *Miscelanea*, под названием *de toros y toreros*, что сам Карл V бился в Валадолиде, в присутствии императрицы и других дам, с большим черным быком по имени Магомет. Несчастные случаи при этом были весьма заурадным явлением, и часто человеческая кровь обагрляла арену. Летописи полны рассказов о таких трагедиях, и достаточно будет привести слова П. Педро Густава, который говорит в своей книге *Bienas del honesto trabajo* (discurso V): «Удостоверено, что в Испании от этих боев умирает из году в год до 300 человек...» Но ни увещания кортесов, ни проклятия папы, ни попытки воспреещения королевскою властью не могли охладить пристрастия испанцев к боям быков.

Разница между поединками (justas) и турнирами (torneos) состояла в том, что в поединках бились один против одного, а в турнирах четверо против четверых, кроме того, поединки всегда происходили верхами и на копьях, турниры же были общим названием рыцарских упражнений и заключали в себе все роды боев.

Сервантес влагает здесь в уста Дон Кихота два популярных стиха, которыми начинается десятый сонет Гарсаиано де ла-Вега:

!O dulces prendas, por mi mal halladas!  
Dulces y alegres cuando Dios quería.

Это подражание стихам Виргилия (Aen., lib IV):

Dulces exuviae, dum fata deasque sinebant.



Литературные состязания еще были в большой моде во времена Сервантеса, который и сам, будучи в Севилье, получил первый приз на конкурсе, устроенном в Сарагоссе по случаю причисления к святым Гиацинта, и который принимал еще участие к концу своей жизни в состязании во славу св. Терезы. После смерти Лопе де Вега было такое состязание для прославления его, и лучшие стихотворения, представленные на конкурс, собраны были под общим заглавием *Fama postuma*. – Крестоваль Суарес де Фигероа говорит в своем *Pasagero* (Alivio 3): «На состязание, состоявшееся на днях в честь св. Антония Падуанского, представлено было 5.000 стихотворений; так что, когда изящнейшими из них обвешали два монастыря и средину церкви, то их осталось еще на 100 монастырей».

По-испански el pege Nicolas, по-итальянски pesce Colas – это имя знаменитого пловца XV столетия, уроженца Сицилии. Рассказывают, что он жил больше в воде, чем на земле и, наконец, погиб, погрузившись на дно Мессинского залива, чтобы достать оттуда золотую чашу, брошенную в воду неаполитанским королем дон Фадриком. Но его история, очень популярная в Италии и Испании, еще не так странна, как история уроженца деревни Лиэрганес, близь Сантандера, родившегося в 1660 г., и имя которого было Франциско де ла-Вега Касарь. Р. Feijoo, современник этого события, рассказывает в двух местах своих сочинений (*Teatro crítico et Carias*), что этот человек в продолжение нескольких лет жил в море, что рыбаки Кадиксовой бухты поймали его в сеть, что его вернули на родину, но он снова бежал чрез несколько времени в море и уже не возвращался оттуда.

Nemo duplici potest amore ligari, говорится в одном из канонов Статута любви, записанного Андри, капелланом французского двора, в XIII столетии, в его книге de Arts amandi (cap. XIII).

Стихотворение на тему (glosa) нечто вроде игры ума во вкусе акростиha, образчик которого дает Сервантес, и законы которого объясняет Дон-Кихот, было, по словам Лопе де Вега, очень древней формой стихосложения, свойственной Испании и незнакомой другим народам. Действительно, таких стихотворений очень много встречается в *Cancionero general*, относящемся к XV столетию. Обыкновенно для таких стихотворений давались стихотворные темы, которые не только трудно было прилаживать к концу каждой строфы, но подчас и понять было довольно затруднительно.

В этой фразе заключается насмешка над какими-то поэтами того времени, но понять ее не удалось.

Сервантес хотел, без сомнения, показать здесь свойственные всем восхвалителям преувеличения, и невозможно предположить, чтоб он сам себя серьезно так восторженно расхваливал. Он вернее судил о себе в своем «Путешествии на Парнас», сказав сам о себе: «Я беспрестанно стараюсь и забочусь, чтобы придать себе грацию поэта, которой небу не угодно было мне дать...».

Дон Кихот применяет к странствующим рыцарям принцип *Parcere subjectis et debellare superbos*, который Вергилий приписывал римскому народу.

Пляской со шпагами (*danzas de espadas*) назывались эволюции, которые проделывали при звуках музыки четверо танцующих в белых полотняных одеждах со шпагами наголо. Пляску с маленькими бубенчиками (*danzas de cascabel menudo*) проделывали люди с подвязанными к икрам ожерельями из бубенчиков, которые звенели при каждом их шаге. Обе эти пляски очень древни в Испании.



Плясунами с башмаками (zapateadores) назывались исполнявшие деревенский танец, в котором такт отбивался руками на башмаках.

Cada oveja con su pareja. Pareja значит половина пары.

Tierra de Sayago – это местность в провинции Замора, в которой жители носят только грубые полотняные плащи (sayo) и говорить языком, не более изящным, чем их наряд. – Альфонс Ученый приказал, чтобы, в случае разногласия относительно смысла или произношения какого-нибудь кастильского слова, обращались в Тохело, как к мерилу испанского языка.

Hecho rabos de pulpo – это поговорка, применяемая к изорванному платью.

Tinajas – это род больших мисок, в которых, за неимением бочек, в Ламанче держат вино.

Говорящие танцы или пляски (*danzas habladas*) были, как видно из следующего описания, особого рода пантомимы, перемешанные с танцами и песнями или речитативами.

Alcancias. Так назывались глиняные шары величиной с апельсин, которые наполнялись цветами и благовониями, а иногда и пеплом или водой, и которыми всадники перекидывались на турнирах. Это была арабская игра, перенятая испанцами, которые сохранили за ней ее первоначальное название.

Намек на известное изречение Горация: *Pallida mors* и т. д.



Так назывались металлические подвески, нечто вроде ладанок, которые надевались в прежние времена испанскими дамами вместо ожерелья и которые во времена Сервантеса употреблялись уже только женщинами в деревнях.

Песчаные мели, обрамляющие Нидерландское побережье, сильно устрашали испанских моряков. Опасности, которым моряки подвергались в этих водах, и ловкость, с какой приходилось ограждать себя от них, привели к тому, что в виде похвалы особе, заслуживающей одобрения, стали говорить, что она может проходить по фландрским мелям.

Намек на притчу, рассказанную пророком Нафаном Давиду после похищения жены Урии, и на евангельския слова: что Бог сочетал, того человек да не разлучает. (Матф., гл. XIX).

По исходе из Египта евреи в пустыне говорили: «Когда мы сидели у котлов мясных, когда мы ели хлеб досыта!» (Исход, гл. XVI).

Mulier diligetu corona est viro suo. (Посл.)

О Гиральде и о быках Гизандских говорилось в предшествовавших примечаниях – Ангел св. Магдалины есть безобразная фигура, помещенная в виде флюгера на колокольне церкви св. Магдалины в Саламанке. – Сточная труба Кисингерры отведет дождевые воды с улиц Кордоны в Гвадалквивир. – Фонтаны Легатиносские и другие находятся на улицах и общественных площадях Мадрида.

Надлежало сказать Полидор Виргилий. Это имя одного итальянского ученого, который в 1499 г. написал трактат *De rerum inventioribus*.

Скала Франции есть высокая гора в округе Альберка, провинция Саламанка, где, как рассказывают, один француз Симон Вела в 1434 г. нашел образ Святой Девы. С того времени там выстроено несколько скитов и один доминиканский монастырь. Троицей Гаэты называют часовню и монастырь, построенные королем Аррагонским Фердинандом V во имя св. Троицы, на вершине мыса над портом Гаэта.



По словам древних рыцарских романсов, собранных в Cancionero general, граф Гримальд, французский паладин, был несправедливо обвинен в измене графом Томильясом, лишен имущества и изгнан из Франции. Когда он бежал со своей женой графиней через горы, она родила сына, который был назван Монтезиносом и взят на воспитание отшельником, жившим в пещере. В пятнадцать лет Монтезинос отправился в Париж, убил в присутствии короля вероломного Томильяса и доказал невинность своего отца, который и был снова призван ко двору. Монтезинос, сделавшийся одним из двенадцати пэров Франции, женился впоследствии на испанке по имени Роза Флорида из замка Роча Фрида в Кастилии. Он до самой смерти жил в этом замке, и находившаяся по близости пещера названа была его именем. Пещера эта, лежащая в местности, называвшейся Оса-де-Монтиель, и близ пустыни Сан-Педроте Селисес, имеет до тридцати сажень глубины. В настоящее время она гораздо чаще посещается, чем во времена Сервантеса, и пастухи прячутся в нее от стужи и непогоды. На две пещеры течет довольно глубокая речка, соединяющаяся с Руидерскими лагунами, из которых вытекает Гвадиана.

Дюрандарт был двоюродным братом Монтезиноса и так же, как он, пэром Франции. По словам вышеназванных романсов, он умер на руках Монтезиноса при Ронсевальском поражении и потребовал перед смертью, чтоб Монтезинос снес его сердце его даме Белерме.

Этот Мерлин, отец рыцарской магии, был родом не из Галлии, а из Валлиса; его история относится скорее ко времени короля Артура и паладинов Круглого Стола, чем Карла великого и двенадцати пэров.

Ответ Дюрандарту заимствовав из древних романсов о его похождениях, но Сервантес, приводя стихи на память, предпочел лучше составить их вновь, чем справиться с оригиналом.

Гвадиана берет начало у подошвы Сьерры де Алькараз, в Ламанче. Ручьи, стекающие с этих гор, образуют семь маленьких озер, называемых Руидерскими лагунами, воды которых вливаются из одной в другую. При выходе из этих озер, Гвадиана погружается на протяжении семи-восьми миль в очень глубокое русло, скрытое под богатой растительностью, и снова показывается после того, как проходит через два новых озера, называемых глазами (*los ojos*) Гвадианы. Еще Плиний знал и описывал особенности течения этой реки, которую он называет *saepius nasci gaudens* (*Hist. nat., lib. III, cap. III*). На этих-то естественных особенностях Сервантес и основывает свою остроумную выдумку.

Фукар или Фуггер была фамилия одной семьи, происходившей из Сузбы и жившей в Аугсбурге, как Медичи жили во Флоренции. Богатство Фукаров вошло в поговорку, и в самом деле, когда Карл V, по возвращении из Туниса, остановился в Аугсбурге в их доме, в его камин положили коричневых дров и разожгли их векселем, за громадную сумму, которую государственная казна должна была Фукарам. Некоторые члены его семьи переселились в Испанию, где скупали серебряные руды в Гвадалканале, ртутные в Альмадене и проч. Улица в Мадриде, где они жили, и сейчас, еще называется call de los Fucares.

Отчет о воображаемых путешествиях инфанта Дон Педро написав Гомером де Сантистебан, выдававшим себя за одного из двенадцати спутников инфанта.

Игральные карты, по словам Коваррубиаса, назывались в Испании *païres*, потому что первые, привезенные из Франции карты были помечены буквами N. P., инициалами Николая Пепина, который изобрел их во время болезни Карла VI. Разрисовал же карты Жаккмен Гренгоннер во времена Карла VII, и они давно уже были изобретены и известны во всей Европе. И действительно, они в 1333 г. были запрещены в Испании духовными властями; кроме того, о них упоминается в старом романе *Поддельная лисица*, написанном неизвестным автором между 1528 и 1542 гг., а также в итальянской книге *Trttato del governo della famiglia* Сандро Пиппоццо, напечатанной в 1599 г.



Во времена Сервантеса с большим трудом удавалось выхлопатывать разрешение на напечатание книги. Д-р Альдрете, напечатавший в Риме в 1606 г. ученый трактат *Origen y principio de la lengua castellana*, говорит в предисловии, адресованном к Филиппу III, что в Испании в то время прекратили по некоторым причинам всякие разрешения на печатание новых книг.

Это намек на покровителя Сервантеса графа де-Лемос, которому Сервантес посвятил вторую часть своего Дон Кихота.

Una sota-ermitano – шуточное прозвище служанки пустынного, игравшей роль его наместницы.

Una ventaja – добавочное жалование, выдававшееся знатным солдатам, которые назывались aventajados и впоследствии заменены были кадетами.

Муниципальный чиновник, старшина.

Albricias, подарок тому, кто приносит добрую весть.

Какую рыбу мы едим – итальянское выражение.

Alzar или levantar figuras judiciaias означало у астрологов, по словам Коваррубиаса, способ определять положение двенадцати фигур зодиака, планет и неподвижных звезд, в данную минуту, для составления гороскопа.



Шуточное подражание первому стиху второй книги Энеиды:  
Conticuere omnes и т. д.

Эти стихи и все встречающиеся ниже заимствованы из романсов Cancionero и Silva de romances, в которых рассказывается история Ганфероса и Мелизендры.

Этот стих повторяется в комическом романе, сочиненном по поводу походов Ганфероса Мигелем Санчес, поэтом XVII столетия.

Король Марсилио, столь знаменитый в песне о Роланде под именем короля Марсиля, был Абдаль-Малек-бен-Омар, Сарагосский валя. Он защищал Сарагоссу от нападения Карла Великого. В современных хрониках, написанных плохим латинским языком, он называется Omaris filius, из чего образовалось исковерканное имя Марфилиус или Марсилиус. (История арабов и испанских мавров, том I, гл. III).

Dutzaïna, которая и сейчас еще употребляется в Валенсии, – это загнутый инструмент с очень резким звуком, а *chirimia*, переведенная здесь словом рожок, – есть инструмент арабского происхождения, в роде длинного гобоя, с двенадцатью отверстиями и с сильным густым звуком.

Стихи из древнего романса Coto perdió à Espana el rey Don Rodrigo.  
(Cancionero general).

В реале тридцать четыре мараведиса.

No rebuznaron en valde  
El uno y el otro alcalde.



Алькады, действительно избираются из регидоров.

В романе Персилес и Сигнемонда (кн. III, гл. X) Сервантес рассказывает, что один алькад послали двух глашатаев (*pregotiero*) отыскать двух ослов, на которых могли бы быть провезены по улицам двое бродяг, присужденных к сечению. «Господин алькад, – сказал возвратившись один из глашатаев, – я не нашел на указанном месте ослов, кроме регидоров Берруэко и Креспо, прогуливающих там. – Я послал тебя за ослами, дурак, отвечал алькад, а не за регидорами. Но возвратись и приведи их ко мне: пусть они присутствуют при произнесении приговора. Нельзя будет сказать, что приговор не мог быть приведен в исполнение на недостатком ослов, потому что, благодарение небу, в них нет у нас недостатка».

Вот вызов Дона-Диего Ордоньеса, как его передает древняя песня, заимствованная из хроник Сида (*Cançionero general*): «Диего Ордоньес, у выхода из лагеря, едет верхом в двойном вооружении на карой лошади. Он вызывает жителей Заморы на бой за смерть своего двоюродного брата (Санчо сильного), которого убил Веллидо Дольфос, сын Дольфоса Веллидо. Я вас вызываю, заморские жители, как изменников и вероломных. Я вызываю всех мертвых, а с ними всех живых. Я вызываю мужчин и женщин, тех, которые родились и которые должны родиться. Я вызываю взрослых и детей, говядину и рыбу, речные воды» и т. д.

Жители Вальядолиды. Намек на Августина Казальского, погибнувшего на эшафоте.

Жители Тохедо.

Жители Мадрида.

Жители Гетафы, как думают.

Так назывался крестообразный шрам на лице.



Это приключение с очарованной лодкой встречается часто в рыцарских книгах. Оно есть в Амадисе Галльском (кн. IV, гл. XII), в Оливанте Даурском (кн. II, гл. I.) и др.

Так называлась соколиная охота за высоколетающей птицей, как цапля, журавль, дикая утка и т. п. Этим удовольствием пользовались только принцы и важные бары.

Эти слова доказывают, что Сервантес не хотел называть ни одного из грандов своего времени и что его герцог и герцогиня суть личности совершенно выдуманные. По местоположению предполагали, однако, что замок, где Дон Кихоту оказан был столь хороший прием, был увеселительный дом, под названием Буэнавия, находившийся близ Педролы в Арагонии и принадлежавший герцогам Виллагермоза.

Дон или донья, как сэр у англичан, ставятся только пред именем. Исключение составляют только дуэньи, которым давали титул доньи пред их фамилиями.

Намек на стихи из песни о Ланселоте, цитированные в первой части.

Во времена Сервантеса было почти общим обыкновением у больших бар иметь при себе всем известных собственных духовников, которые исполняли при них домашнюю службу. Эти фавориты в сутане и капюшоне редко довольствовались управлением совестью своих духовных детей; они вмешивались и в личные их дела и, главным образом, становились посредниками в их благотворительности, к большому ущербу несчастных и к невыгоде репутации господ, которым служили. Клеймя этот общий порок, Сервантес совершает вместе с тем и личную маленькую месть. Из его биографии видно, что один из монахов этого сорта решительно воспротивился тому, чтобы герцог Бехарский принял посвящение первой части Дон Кихота. Этого-то монаха он и рисует здесь.

Этот Алонсо Маранионский действительно утопился на острове Херрадура по Гренадскому побережью вместе со многими другими воинами, когда эскадра, посланная Филиппом II на помощь герцогу Оранскому, осаждавшему Гассан-Ага, была бурей выброшена на этот остров в 1662 г.

Маландринами в эпоху крестовых походов назывались арабские разбойники, наводнявшие Сирию и Египет. Это слово осталось в наречиях южных народов для обозначения вора на большой дороге или морских разбойников, и в рыцарских романах оно встречается весьма часто.



В Miscelania Дон Луиса Запата описана почти подобная же шутка, сыгранная с одним португальским дворянином у графа де Бенаvente. Быть может, Сервантес заимствовал оттуда мысль о шутке как Дон Кихотом.

Во многих местах Сервантес старается связать вторую часть своей книги с первой и с этою целью предполагает промежуток между ними не в десять лет, а в несколько дней.

Ориана, любовница Амадиса Галльского, Аластрахаря, дочь Амадиса Греческого и королевы Загары, и Мадазима, дочь Фамонгомодана, великана кипящего озера, суть дамы рыцарского измышления.

Имя, данное арабскими летописцами Флоринде, дочери графа Дон Юлиана.

Так называлась пахучая вода, бывшая очень в моде во времена Сервантеса. В состав этой ангельской воды (Aqua de angeles) входили красные розы, белые розы, трилистник, лаванда, жимолость, померанцевые цветы, тимьян, лилия, гвоздика и апельсины.

Это кресло Сада (escano) последний завоевал в Валенсии, по словам его летописцев, у внука туземного мавританского короля Али-Мамуна.

Вамба царствовал в готической Испании от 672 по 680 г.

Родриго, последний готский король, побежденный Тариком в битве при Гуадалете (711–712 г.)



Ya me comea, ya me comen  
Por do mas pecado habia.

Это не точная цитата из романса о покаянии короля Родрига. (См. Cancionero general 1555 г., т. XVI, стр. 128). Стихи, вероятно, искажены переводом.

Мигель Верино был автор элементарной книжки под заглавием *De puerorum moribus dieticha*, по которой когда-то учились школьники. Сервантес, которому приходилось объяснять двестишестеро Верино в классе учителя Хуана Лопеца де-Хоиос, вероятно, вспомнил и его эпитафию, сочиненную Политьеном и начинающуюся так:

Michael Verinus florentibus occidit annis,  
Moribus ambiguum major an ingenio – и т. д.

Этот род учтивости по отношению к дамам был употребителен не в одних только рыцарских книгах, где примеров ему множество. Мариана рассказывает, что когда инфанта Изабелла после трактата los toros de Guisando, обеспечившего ей корону Кастилии, показалась на улицах Сеговии в 1474 г., король Генрих IV, ее брат, для оказания ей чести, взялся за повод ее лошади.

Фавила был, собственно, не готский король. Он был преемником Пелагия в Астурии. Его царствование или, вернее, правление, длилось с 737 по 739 г.

Рождество, Богоявление, Пасха и Троицын день.

Так ввали знаменитого гуманиста Фернанда Нуньеса Гускана, который в начале XVI столетия преподавал в Саламанке греческий, латинский языки и риторику. Его называли также el Pinciano, потому что он родился в Вальядолиде, которая, как полагали, и была Пинчией, о которой упоминается в римской истории. Его собрание пословиц появилось уже после его смерти, которая была в 1453 г. Другой гуманист Хуан де-Маллара, в Севилье, составил к ней комментарий под названием *Filosofia vulgar*.

Латинское слово, вошедшее в Испании во всеобщее употребление.

Во времена Сервантеса карета была предметом величайшей роскоши, и знатные дамы всего более мечтали о них. Многие семьи разорялись, чтобы содержать этот дорогой предмет суетности и тщеславия, и в короткое время от 1578 до 1626 г. издано было шесть законов (*pragmaticas*), запрещавших злоупотребление этим новым тогда способом передвижения. По словам Сандоваля (*Historia de Carlos Quinto*, ч. II), первая карета явилась в Испанию из Германии и вошла там в употребление при Карле V, в 1546 г. Жители всего города стекались глядеть на эту диковину и удивлялись, точно при виде centaвра или какого-нибудь чудовища. Впрочем, кареты, разорительные для бедных людей, были очень выгодны для больших бар, которые до того никогда не выходили без конвоя из всевозможных лакеев. Один современник этого события, Дон Луис Брочеро (*Discurso del uso de los coches*), сделал такое замечание: «Обычай ездить в каретах избавляет их от целой армии слуг, авангарда из лакеев и арьергарда из пажей».



Игра слов по поводу фамилии Трифальди.

De la dolce mi enemiga  
Nace un mal que al aima hiere,  
Y por mas tormento quiere  
Que же sienta y no же diga.

Это четверостишие переведено с итальянского и вот оригинал,  
написанный Серафино Аквидеано:

De la dolce mia nemica  
Nasce on duol ch'esser non suole:  
Et per piu tormento vuole  
Che si senta e non si dica.

Yen, muerte, tan escondida  
Que no te sienta venir,  
Porque el placer del morir  
No me torne a dar la vida.

Это четверостишие впервые написано было с некоторыми видоизменениями во втором и третьем стихах командором Эскрибой.

Segedillas, вошедшие в моду во времена Сервантеса и называвшиеся также copias de seguida, – маленькие строфы из коротких стихов, положенные на легкую и веселую музыку. Это не только стихи, но и танцы.

Пустынные острова.

Ироничекий намек на знаменитое обращение Виргилия, когда Эней рассказывает Дидоне о бедствиях Трои:

Quis, talia fando,  
Myrmidonum, Dolopumve, aut duri miles Ulysei.  
Temperet a lacrymis...? (Aen., lib. II).

Эти женщины, профессия которых была очень в моде во времена Сервантеса, назывались тогда *velleras*.

Сервантес заимствовал идею этой деревянной лошади из Истории красивой Мегалоны, дочери короля Неаполитанского, и Петра, сына графа Провансальского, рыцарского романа, напечатанного в Севилье в 1533 г. Доктор Боул, в своих Примечаниях к Дон Кихоту, замечает, что старый Чоусер, Энний английских поэтов, умерший в 1400 г., говорит о подобной лошади, принадлежавшей Камбусвану, татарскому хану: лошадь эта летала по воздуху и могла быть управляема с помощью пружины, находившейся в ее ухе. Только лошадь Камбускана была из бронзы.



Волопас не был одной из лошадей Солнца: это созвездие, соседнее с Большой Медведицей. Другая лошадь называлась не Перитоа, а Пирофис, судя по следующим стихам Овидия (Метам., кн. II):

Interea volucres Pyroeis, Eo'us et Aethon,  
Solis equi, qaaturque Phlegon, hinnitibns auras  
Flammiferis implent, pedibusque repagola puisant.

Clavileno el aligero. Имя составлено из слов: claviја – пружина и leno – полено.

Cohechas (взятка, подкуп) назывались подарки, которые давать обязаны были вновь назначаемые чиновники тем, кто им доставлял новую должность. Во времена Сервантеса таким путем доставались места не только гражданские и судебные, но и прелатуры и высшие духовные должности. Этот постыдный торг, на который намекает Сервантес, был так всеобщ, так обычен, так открыт, что Филипп III указом от 19 марта 1644 г. предписал довольно тяжелые наказания просителям и протекторам, которые впредь окажутся в этом виновными.

Перальвильо – небольшая деревня на пути от Сиудад-Реала в Толедо, около которой братство святой Германдады казнило стрелами и выставляло затем тела осужденных им злодеев.

Доктор Евгенио Торральва осужден был инквизицией на смертную казнь, как колдун, и казнен 6-го мая 1531 г. Процесс его начался еще 10-го января 1528 г. Между манускриптами мадридской королевской библиотеки найдены многие из его показаний, снятых с него во время процесса. Вот вкратце то, на которое намекает Сервантес: «На вопрос, уносил ли его дух Зекиил куда-нибудь, и каким образом уносил, он ответил: В бытность мою в Вальядолиде в прошедшем мае месяце (1527 г.) названный Зекиил увидал меня и рассказал мне, что в этот самый час Рим берут приступом и разрушают, я сообщил об этом нескольким лицам, и сам император (Карл V) узнал об этом, но не хотел верить. В следующую ночь, видя, что этому не верят, дух стал уговаривать меня отправиться с ним, обещая доставить меня в Рим и в ту же ночь привезти назад. Так все и сделалось: мы оба отправились в четыре часа вечера, выйдя как бы для прогулки за город. Когда мы вышли из Вальядолиды, названный дух сказал мне: *No haber paura: fidade de me, que yo te prometo que no tendrai ningun desplacer: per tanto piglia aquesto in mano* (этот полу итальянский, полу испанский жаргон означает: Не бойся, доверься мне; обещаю тебе, что не будешь иметь никакой неприятности. Итак возьми это в руку); и мне показалось, когда я взял это в руку, что это суковатая палка. А дух сказал мне: *Cierra ochi* (закрой глаза); когда же я открыл их, мне показалось, что я так близко от моря, что могу рукой достать его. Потом мне показалось, когда я открыл глаза, что я вижу что-то очень темное, будто тучу, а затем и молнию, которая меня очень испугала. А дух мне сказал: *Noli timere, bestia fiera* (не бойся, хищный зверь), и я повиновался. Когда же я через полчаса пришел в себя, я увидал себя в Риме, на земле, и дух спросил меня: *Dove pensate que srtate adesso?* (где, думаете вы, вы сейчас находитесь). Я ответил, что нахожусь на улице башни Ноны, и услышал, как пробило на часах замка Св. Ангела пять часов вечера. Мы отправились оба, гуляя и разговаривая, к башне св. Гиниана, где жил германский епископ Копис, и я видел, как разграбили несколько доков, и видел все, что происходило в Риме. Я вернулся оттуда тем же путем, в продолжение полутора часов, в Вальядолиду, где дух довез меня до моей квартиры близ монастыря Сан-Бевито», и проч.

Так испанские крестьяне называют созвездие Плеяд.

Сервантес говорит здесь или о цензоре Катоне, или о Дионисии Катоне, авторе *Disticha de moribus ad filium*, книги, в то время считавшейся в испанских университетах классической. Об этом Дионисии Катоне ничего неизвестно, кроме того, что он жил после Лукана, так как упоминает о последнем в своих *Disticha*.

Намек на павлина, который, говорят, распускает хвост, когда видит свои ноги. Фраи Луис де-Гревала еще раньше сказал, употребив ту же метафору: «Взгляни на самое уродливое, что есть в тебе, и распускай тогда хвост своего тщеславия».



Намек на пословицу: «Нет, нет, я этого не хочу, а положи мне это в капюшон». Судьи носили тогда мантии с капюшонами (сарас соn саpilla).

La oey deo encaje называлось произвольное толкование, которое судьи давали законам.

Светоний действительно рассказывает (гл. XLV), что Цезарь одевался небрежно и не застегивал пояса у своей тоги. С его стороны это была аффектация, чтоб его принимали за человека изнеженного и не открыли в нем сразу мужества и ума. Так, когда кто-то спросил у Цицерона, почему он принял сторону Помпея, а не Цезаря, он ответил: «Цезарь обманул меня своей манерой подпоясывать тогу».

Санчо применяет к себе старую поговорку: Al buen callar llaman Sancho.

Сервантес хочет этим сказать, что ему бы следовало изъять из Дон Кихота эти две повести и поместить их в своем сборнике Примерные повести, что и сделали впоследствии некоторые из его издателей.

Эти слова означают, по словам Коваррубиаса (*Tesoro de la lengua castellana*), – вдруг, сразу.

Этот поэт Хуан де-Мена, умерший в 1456 г. Он говорит в 227 строфе Лабиринта или поэмы *Trescientas copias*:

!O vida segura la manza pobreza!  
!O dadiva santa, desagradecida!

Гезиод в своей поэме Часы и Дни также назвал бедность даром богов бессмертных.

Апост. Павел.



Сервантес говорит также в своей комедии *La gran sultana dona Catalina de Oviedo*: «...Гидальго, но не богатый; это проклятие нашего века, в который бедность стала, по-видимому, принадлежностью знатности».

Сервантес без сомнения намекает на превосходную жемчужину, которая находилась в то время в числе драгоценностей Испанской короны и которая называлась сиротой или единственной (*huerfana* или *tola*). Эта жемчужина со множеством драгоценностей сгорела во время пожара в Мадриде в 1734 г.

Для освежения воды летом в Испании раскачивают по воздуху стеклянные графины, называемые cantimploras, или глиняные очень тонкие кувшины с водою. Отсюда странный эпитет, даваемый Сервантесом солнцу.

Barato – дешёвый.

Во времена Сервантеса многие разночинцы присвоили себе частицу дон, которая до того была принадлежностью только дворянства. Теперь же все присвоили себе этот титул, совсем потерявший прежнее свое значение.

В оригинале сказано «предшествующий приговор». Очевидно, Сервантес переставил ранее принятый им порядок трех решений Санчо, но забыл исправить следовавшее за первым замечание.

Эта история действительно заимствована из *Lombardica historia* Фра Джакобо-ди-Бораджино в Жизни св. Николая Мирликийского.

Эта история, истинная или вымышленная, вошла уже в книгу Франциско де-Осуна под заглавием *Note de los Estados*, напечатанную в 1550 г. Сервантес же, познакомившийся с нею в этой ли книге или в устной передаче, рассказывает ее совсем иначе.



Так назывался бальзам из цветов зверобоя. От испанского названия этого растения *hipericó* и образовалось несколько исковерканное слово *apapicío*.

В книге этикетов, составленной Оливье де-ла-Маршек для герцога Бургонского Карла Смелого и принятой впоследствии испанскими королями Австрийского дома для руководства в их дворце, говорится: «У герцога шесть докторов медицины, которые осматривают его особу и состояние его здоровья; когда герцог находится за столом, они стоят позади него, чтобы смотреть, какие блюда и яства подаются герцогу, и советовать, какие, по их мнению, принесут ему наибольшую пользу».

На самом деле так: *Onmis saturatio mala, panis autem pessima.*

Смесь нескольких сортов говядины, овощей и приправ.

Resio значит неперенный, а aguero – авгур, предвещатель.

Tirteafuera или, вернее, tirateafuera значит убирайся отсюда. В этом смысле употребляет это слово Симон Абриль в переводе Теренциева Евнуха, где служанка Пноиаса говорит слуге Херея:

Neque pol servandmn tibi  
Qoidquam dare ausim, neque te serrare. Apage.

(Акт V, сцена II).

En buena fe que ni yo osaria  
Darte à guardar nada, ni menos guardarte  
Yo. Tirateafuera.

По окончании своих полномочий губернаторы, так же как многие другие государственные сановники, должны были некоторое время резидировать в той стране, которой управляли. Во все это время они подвергались взысканиям со стороны своих бывших подчиненных, ставших теперь равными им. Испанцы заимствовали этот мудрый обычай от арабов.

В эпоху Сервантеса бискайцы с незапамятных времен занимали места секретарей при короле и совете.



По-испански perlaticos – паралитики.

В оригинале сказано *atalaya*; так арабы называли башенки на возвышениях, с которых разведчики следили за движениями неприятеля, извещая при помощи сигналов о сделанных наблюдениях.

Уроженец гор Астурии, где все жители считают себя потомками Пелага и его спутников.

Так назывались прижигательные средства (См. Gil Bios, книга VII, гл. I).

Эти прижигательные средства и заволоки на руках и на ногах и даже на затылке были в большом ходу во времена Сервантеса. Матиас де Лера, хирург Филиппа IV, говорит в своем трактате об этом предмете, что одни употребляют это средство против обыкновенных болезней, другие для предупреждения этих болезней, а иные вовсе без надобностей, а только для того, чтоб войти в моду. (Pratica de fuentes y sus utilidades.)

Ollas podridas. В это блюдо входили говядина, баранина, сало, куры, куропатки, колбаса разных сортов, овощи и всякие приправы.

Barato назывался род вознаграждения, дававшийся выигравшими игроками зрителям, державшим их сторону. Эти зрители, называвшиеся barateros или miroties, делились на pedagogo, или gantos, учивших новичков игре, и doncaires, руководивших ими во время игры и решавших сомнительные ходы. Barato называлось также то, что игроки платили за карты и освещение хозяевам игорных домов, которые содержались как знатными вельможами, там и бедными людьми, и назывались разными именами, как tablages, tablagerias, cotas de conversacion, leneras, mandrachos, encierros, garitos.

Modoros назывались опытные мошенники, которые спали половину ночи и, освежившись, налетали после полуночи на разгорячившихся игроков, которых при этом легко обирали. Это называлось на их жаргоне «приберегать себя для сбора колосьев после жатвы» (*quedarse à la espiga*).



Брюки, называемые calzas atacadas, узкие и лежавшие в обтяжку на ногах, и закругленные и очень широкие среди ляжек, назывались pedoderras. Эти брюки были запрещены королевским указом немного времени спустя после появления второй части Дон Кихота. Амброзио де Саласар рассказывает, что один гидальго, который позволил себе носить calzas atacadas после этого запрещения, был привлечен к суду и в свое оправдание привел то обстоятельство, что эти брюки его единственный шкаф, в который он прячет свои пожитки. И действительно, он вынул оттуда гребень, рубашку, две скатерти, две салфетки и простыню. (Las clarillenas de recreacion. Брюссель, 1625 г. стр. 99).

Знатные люди во время путешествий носили нечто вроде вуали или легкой маски для защиты лица от воздуха и солнца. Народ называл эти маски *parahigos*.

Клятва отцом и матерью была в большом ходу во время Сервантеса.

De haidag o de mangas. Оба эти слова имеют двойной смысл: одно означает фалды судейского платья и, кроме того, сборы, которые делали губернаторы; другое значит рукава и, сверх того, подарки, которые делались в большие годовые праздники, как в Пасху и Рождество, и во время общественных радостных событий, как восшествие на престол нового короля. Отсюда и поговорка: Ваепай son mangas despues de Pascuas.

Один экономист времен Сервантеса говорит: «В то время как зерновой хлеб продавался в прошедшие года в Сеговии на вес золота, как цены квартир возвысились до небес, и как тоже самое было и в других городах, пара башмаков на двойной подошве стоила три реала, а в Мадриде – четыре. Теперь же за них нагло запрашивают по семи реалов и не уступают дешевле шести с половиной. Страшно подумать, до чего это может прийти». (Mon. de la Bibl Royale. – Code 156, f. 64).

Очень употребительное выражение в те времена, когда Рим раздавал милости и отпущения.

Tarde pioche (вместо piaste) – поговорка, происхождение которой следующее: рассказывают, что один студент, евший яйца всмятку, между прочим съел одно до того несвежее, что в нем уже образовался цыпленок. Слыша, что цыпленок этот запищал, проходя через его горло, он преспокойно и пресерьезно сказал: «Слишком поздно ты пицишь».

Непереводимый каламбур: *pones* – нечетные или нет во множественном числе и *pages* – четные.



Намек на пословицу: «У муравья выросли крылья, а птицы его съели».

Alpargatas, обычная обувь испанских крестьян.

От немецкого слова Geld – деньги.

Сервантес говорит здесь о серьезнейшем событии, свидетелем которого он был, – об изгнании морисков. После сдачи Гренады в 1492 г. в Испании жило много мавров, остававшихся мусульманами. Но скоро на посланными к ним миссиями последовали гонения, и, наконец, Карл V приказал декретом от 4 апреля 1525 г., чтоб все мавры под страхом изгнания крестились. Эти насильно крещенные мавры названы были морисками (*moriscoe*) в отличие от старых христиан. При Филиппе II от них потребовали больше, чем отречения: в 1566 г. им запретили, посредством прагматики употреблять родной язык, национальные одежды, церемонии, бани, рабов и даже имена. Эти тиранические распоряжения, проведенные с неумолимой строгостью, вызвали продолжительное восстание, известное под названием бунта морисков, которое угрожало власти Филиппа II и было подавлено лишь в 1570 г. Дон Жуаном Австрийским. Побежденные мориски были рассеяны по всем провинциям полуострова; но эта гонимая раса все продолжала благоденствовать и размножаться при помощи работы и промыслов, поэтому придуманы были политические поводы для устрашения тех, которых недостаточно пугал пущенный против них религиозный фанатизм. Эдиктом Филиппа III, изданным в 1609 г. и приведенным в исполнение в следующем году, все мориски окончательно изгонялись. От 1.200.000 до 1.500.000 несчастных были выгнаны из Испании, а небольшое число их, оставшееся после этого ужасного погрома, затерялось, скрывая свое происхождение, среди других рас. Таким образом, население Испании, уже убавленное эмиграцией в Америку, лишилось самых искусных в промыслах членов, которые умножили собой число берберийских пиратов, наводнявших берега Африки. Несмотря на то, что Сервантес прямо не высказывается, не трудно понять, что его симпатии на стороне угнетенного народа.

Русская икра.

Другой писатель времен Сервантеса, Кривоваль де-Геррера, сказал за несколько лет до того: «Надо бы запретить французам и германцам обходить государства, выманивая у нас наши деньги, ибо все люди этого сорта и в этой одежде уносят их от нас. Говорят, что во Франции родители сулят дочерям в приданое то, что принесут из своего путешествия назад и вперед к святому Якову де Компостелла, точно они отправляются в Ост-Индию». (Amparo de pobres).

Дальше он назвал Дон Гаспаром Грегорио.

В десятой песне Неистового Орlando Бирено покидает свою возлюбленную Олимпию на необитаемом острове. При своем пробуждении, она клянет изменника и осыпает его проклятиями, как Дидона при отъезде Энея. Отсюда оба сравнения Альтисидоры.



Это закливание образует то, что испанцы называют el estribillo (припев) и повторяется в конце каждой строфы.

То есть мавроубийца.

Царствие Небесное силою берется. (Матф., глава 11, ст. 12).

Santiago, y cierra, Espana. Буквально: Святой Иаков, и атакуй Испания. Слово cerrar, в прежние времена означавшее атаковать, теперь употребляется только в смысле запереть. Отсюда игра словами у Санчо.

Сторожа быков, предназначенных для бегов, сторожат их верхом и вместо кнутов употребляют копья. Быков, которых приводят с пастбищ в цирк накануне боев, ведут волы, специально приученные к тому и называемые *sabestros*.

Сервантес говорит здесь о наглom продолжении Дон Кихота, написанном каких-то арагонским писателем, скрывшемся под псевдонимом, Алонсо Фернандеса де-Авельянеда, продолжении, появившемся в то время, когда сам он еще писал вторую часть. Этот Авельянеда действительно изображает Дон Кихота, в глав. IV, VI, VIII, XII и XIII, как бы излечившимся от его любви. В третьей главе он говорит: «Дон Кихот закончил свой разговор с Санчо, говоря, что хочет ехать в Сарагоссу на состязание и намеревается забыть неблагодарную инфанту Дульцинею Тобозскую и поискать себе другую даму».

Это грубая ругань, обращенная прямо к Сервантесу.

Сервантес забывает, что сам дает ей это имя в первой части и называет ее Хуаной Гутьеррес в VII главе второй части.



Эти непристойные и смешные подробности встречаются особенно в главах XV, XVI, XVII, XVIII и XIX.

Это описание находится в XI главе.

Эти слова, по преданию, сказал коннетабль Дю-Геклен, когда он во время борьбы Петра-Жестокого с его братом Генрихом Транстамарским на Монтиельской равнине помог последнему влезть на тело Петра, которого Генрих заколол своим кинжалом.

Санчо применяет к своему господину два последних стиха старого романа, написанного на предание о семи инфантах Лары (Cane, de Amberes, стр. 172). Гонсало Густос де Лара женился на донье Санче, сестре Руи-Веласкеса. Этот последний, в отместку за оскорбление, предал мавританскому королю Кордовы своего шурина и своих семерых племянников. Отцу подали к столу головы семерых сыновей его и затем бросили его в тюрьму. Однако, любовь одной арабской женщины, дочери короля, вывела его из тюрьмы, а сын, которого он прижил с нею, по имени Мударра Гонсало, отомстил за кровь своих братьев кровью Руи-Веласкеса. Встретив его однажды на охоте, он бросился на него, и хотя тот просил его дать ему время сходить на оружием, убил его, ответив ему стихами, которые цитирует Санчо:

Esperesme, don Gonzalo,  
 Iré à tomar las mis armas, —  
 – El espera que tu diste  
 A los infantes de Lara:  
 Aquí moriras, traidor,  
 Enemigj de dona Sancha.

Это были маленькие мушкетоны, названные *pedrenales* оттого, что они приводились в действие при помощи не трута, как аркебузы, а кремня (*pedernal*).

Во времена Сервантеса, Каталония страдала более всякой другой испанской провинции от семейных распрей, часто толкавших в общество бандитов знатных молодых людей, провинившихся в убийстве из мести. Ниарросы и Каделлы разделяли в то время Барселону, как Капулетти и Монтекки разделяли Равенну. Один приверженец Ниарросов, принужденный бежать, сделался атаманом воров. Его звали Роке Гинарт или Гиньярт, но настоящее его имя было Педро Рочи Гимарда. Это был славный, великодушный молодой человек, каким изображает его Сервантес, и он в свое время пользовался в Каталонии такой же репутацией, как в ваши времена знаменитый Хозе Мария в Андалузии. О нем упоминается в записках Комминеса.

От слова bando – публичное оповещение – произошло слово bandolero, означавшее разбойника, голова которого была оценена.

В XII главе Дон Кихота Авельянеды говорится, что Санчо получил от Дон Карлоса дюжины с две клецок и шесть целых бланманже, и что, не будучи в состоянии съесть все это, он спрятал остаток за пазуху до другого дня.



Михаил Скотто, которого англичане называют Скотт, а французы Скот или Лескот, или Шотландец. Это был астролог XIII столетия, очень любимый императором Фридрихом II, которому посвятил свой Трактат о физиономии и другие свои сочинения. Данте упоминает о нем в XX песне Ада.

Quell'astro, che ne' fianchi è così poco,  
Michele Scotto fu, che veramente  
Delie magiche frode seppe li gioco.

Рассказывают, что он часто приглашал к обеду несколько человек, не заказывая ничего, и, когда гости усаживались за стол, он приказывал духам приносить блюда. «Это, говорил он, из кухни французского короля, а то – испанского», и т. д. (Бейль, статья о Скотте).

В то время это называлось sarao.

Формула заклинания бесов, которую употребляла церковь и которая перешли в просторечье.

Намек на одно место в Авельянеде, гл. XII.

Поговорка.

Вопрос о волшебных головах поднимался часто. Одна такая голова, говорят, сделана была Альбертом Великим, другая маркизом Вильеной. Тостал рассказывает о бронзовой голове, которая пророчествовала в городе Табире и главная обязанность которой состояла в том, чтобы сообщать, не было ли в стране еврея. Она тогда кричала: *Judaeus adest*, пока того не изгоняли. (Super Numer, гл. XXI).

Прежде нежели Сервантес осмеял переводчиков с итальянского, Лопе де Вега сказал в своей Филомеле: Дай Бог, чтобы для своего пропитания он был принужден переводить с итальянского на кастильский! потому что, на мой взгляд, это худшее преступление, нежели проезжать лошадей во Франции.

Pastor Fido произведение Гуарини; Aminta произведение Тассо. Похвала Сервантеса особенно заслужена переводом стихов Доном-Хуаном де Хауреги.



Сервантес сказал уже о книгопродавцах в своей повести Лиценциат Видриэра: «...как они издеваются над автором, если он издает книгу на свой счет! Вместо тысячи пятисот, они печатают три тысячи экземпляров, и когда автор думает, что продаются его экземпляры, они сбывают лишние».

Luz del alma cristiana contra la ceguedad e ignorancia Фелипе Менезеского, доминиканского монаха. Саламанка, 1664 г.

Существует испанская поговорка: «Для всякой свиньи наступает свой день св. Мартина».

Ура тогдашнего времени.

Дон Луис Колома, граф д'Эльда, командовал Барселонской эскадрой в 1614 г., когда закончено было изгнание морисков.

**310**

Командующий алжирским судном.

Вице-королем Барцелоны был в 1614 г. Дон Франциско Гуртадо де Менхоза, маркиз Альмазанский.

Слова из старинного ромansa, уже приведенные во II главе первой части.



Сервантес играет здесь словом *deslocado*, которому придает значение то вывихнутого, то излеченного от безумия.

Изгнание морисков поручено было многим комиссарам, а этому Дон Бернардино де Веласко, восхваление которого Сервантес так некстати вкладывает в уста Рикоте, поручено было изгнать морисков только из Ламанчи. Очень может быть, что он исполнял свои обязанности строго и неподкупно, но других комиссаров можно было смягчать, и, как видно из современных мемуаров, не один богатый мориск покупал право оставаться в Испании, переменяв только провинцию.

Сервантес подражает здесь одному месту из Амадиса Греческого (ч. II, гл. СХХХИИ): «Среди этих многочисленных забот Дон Флоризель де Никеа решил одеться пастухом и поселиться в деревне. Решив так, он уехал, открыл свой план одному доброму человеку и заставил его купить несколько овечек, чтобы водить их в поле».

Полагают, что Гартилазо де ла Вега в своих поэмах подразумевал под именем Неморозо своего друга поэта Боскана, так как итальянское слово bosco и латинское nemus, от которого произошло имя Неморозо, тождественны.

От испанского слова *suga* – священник.

Увеличительное имя.

Нечто вроде цимбалы.

**320**

Скребница.



321

[\[cclxix\]](#) Завтрак.

**322**

Ковер.

Судейский чиновник.

Магазин.

Небольшой полый шар, наполненный цветами, и духами, или пеплом, которым перекидывались на арабских турнирах при плясках на конях.

**326**

Полусапог.

**327**

Чердак.

**328**

Мелкая монета стоимостью в  $1/34$  реала.



Гвоздичное дерево.

Факир – мусульманский священник или монах. Сервантес забыл упомянуть об *alfoli* – магазин соли, и *aljonjoli* – кунжут (растение).

После мрака я надеюсь на свет. Эти латинские слова, написанные вокруг журавля, составляли девиз первого издателя Дон Кихота и друга Сервантеса Хуана де ла Кеста.

Эта строфа и два последние стиха предыдущей дословно списаны из третьей эклоги Гарсилазо де Вега.

Остроконечная шапка осужденных инквизицией называлась coroza. Ее называли еще злодейской митрой в отличие от епископской.

O mas duro que marmot à mie quejas! (Стихи из первой эклоги Гарсилазо).

См. выноску стр. 432.

Монета, равная четверти реала, – несколько более 1 копейки.



Поговорка гласит: «Форелей не поймает, если обуви не замочишь».  
No se toman truchas, à bragas enjutas.

Древний город Леонского Королевства, который долго оспаривали друг у друга арабы и христиане.

По-испански Dé donde diore. В своем Диалоге собак Сервантес приводит те же слова того же Маулеона, которого он называет поэтом-дураком, хотя он и был членом Академии Подражателей.

Эта академия подражателей или Imitatoria (в подражание итальянским академиям) основана была в Мадриде в 1586 г. в доме одного важного барина, любителя словесности, но существовала очень недолго.

См. гл. VIII, IX и XXVI Дон Кихота Авельянеды.

В этой тираде на испанском языке повторяется беспрестанная игра словами между gracioso забавный, gracias остроты и gracia грация, приятность, которые невозможно передать на другом языке.

В этой тираде на испанском языке повторяется беспрестанная игра словами между gracioso забавный, gracias остроты и gracia грация, приятность, которые невозможно передать на другом языке.

В Испании нет крытых риг. Хлеб молотят под открытым небом, на гладких местах, находящихся у въезда в деревню и называемых las erat.

Герой древней народной песни, в которой говорится:

!Ah! Mingo Revulgo, ô hao!  
?Que es de tu sayo de blao?  
?No le vistes en domingo?

«Эй, Минго Ревульго, эй, эй! Что ты сделал со своим голубым суконным камзолом? Ты не надеваешь его по воскресеньям?»



Аїпа – это древнее слово, означающее скоро, второпях. Прежде Санчо называл ее Терезоной, что соответствует русскому выражению Терезище.

Джакобо Санназаро, родившийся в Неаполе в 1458 г., автор многих итальянских эклог и знаменитой латинской поэмы *De Partu Virginie*, над которой он работал двадцать лет.

**347**

По-испански albaceas.

И как было с восемью городами Испании относительно Сервантеса.

Псевдоним Авальянеда заканчивает вторую часть, своей книги тем, что помещает Дон Кихота в дом умалишенных (cota del Nuncio) в Толедо. Но он прибавляет, что по преданию известно, что рыцарь вышел из больницы и, проехав через Мадрид, чтобы повидаться с Санчо, отправился в Старую Кастилию, где с ним случились удивительные приключения. На эту-то угрозу третьей частью и намекает Сервантес.